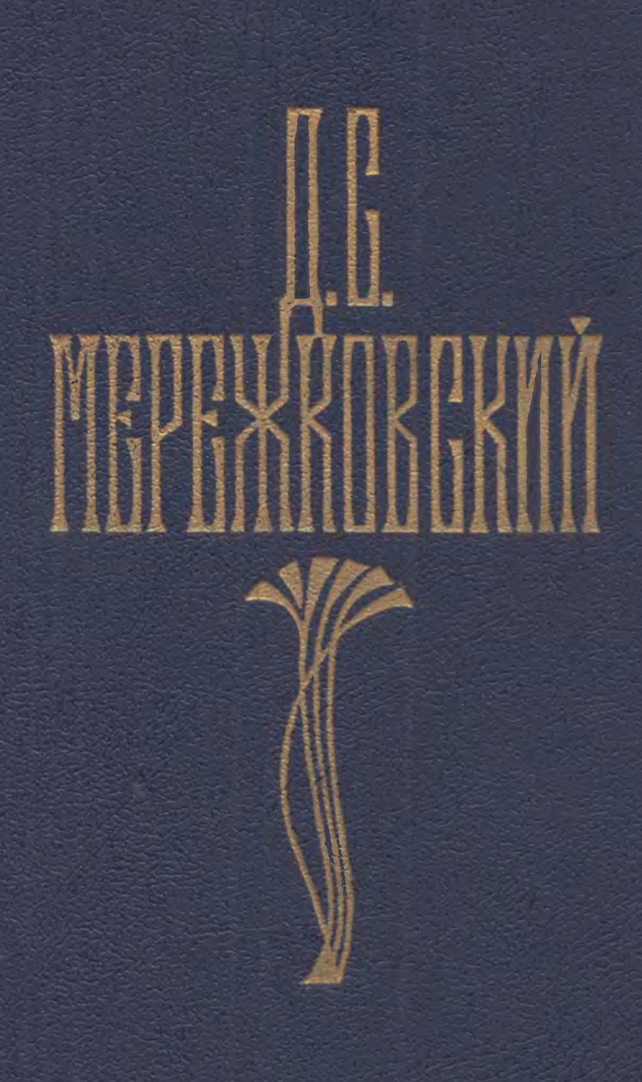

Д.С.
МЕРЕЖКОВСКИЙ



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПРАВДА“
1990

84Р
М52

Составление
и
общая редакция
О. Н. Михайлова

Коллажи художника
Анатолия Брусиловского

М $\frac{4702010000—2235}{080(02)—90}$ 2235—90





ТРИЛОГИЯ

II

ВОСКРЕСШИЕ БОГИ

(ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ)

ДЕСЯТАЯ КНИГА

ТИХИЕ ВОЛНЫ

I

Обитая железом маленькая дверь в северо-западной башне Рокетты вела в подвал, уставленный дубовыми сундуками,— казнохранилище герцога Моро. Над этой дверью, в неоконченных фресках Леонардо, изображен был бог Меркурий, подобный грозному ангелу. Ночью, первого сентября 1499 года придворный казначей Амброджо да Феррари и управитель герцогских доходов Боргонцио Ботто с помощниками вынимали из этого подвала деньги, жемчуг, который, как зерно, черпали ковшами, и другие драгоценности, складывали в кожаные мешки и запечатывали; слуги выносили их в сад и навьючивали на мулов. Двести сорок мешков были наполнены; тридцать мулов навьючены — а заплывшие огарки все еще озаряли в глубине сундуков груды червонцев.

Моро сидел у входа в казнохранилище за письменным поставцом, заваленным счетными книгами, и, не обращая внимания на работу казначеев, бессмысленным взором смотрел на пламя свечи.

С того дня, как получил весть о бегстве главного полководца своего, синьора Галеаццо Сансеверино, и о приближении французов к Милану, погрузился он в это странное оцепенение.

Когда все драгоценности были вынесены из подвалов, казначей спросил его, желает ли он взять с собою или оставить золотую и серебряную посуду. Моро посмотрел на него, нахмурившись, как бы напрягая мысль, чтобы понять, о чем он говорит; он тотчас отвернулся, махнул рукой и снова устремил неподвижный взор на пламя свечи. Когда мессер Амброджо повторил вопрос, герцог уже не расслышал вовсе. Казначеи ушли, так и не добившись ответа. Моро остался один.

Старый камерьере Мариоло Пустерло доложил о приходе нового начальника крепости, Бернардино да Корте. Моро провел рукой по лицу, встал и проговорил:

— Да, да, конечно, прими!

Питая недоверие к потомкам знатных родов, любил он создавать людей из ничего, первых делать последними, последних — первыми. Среди вельмож его были дети истопников, огородников, поваров, погонщиков мулов. Бернардино, сын придворного лакея, впоследствии кухонного счетовода, в молодости сам носил ливрею. Моро возвысил его до первых должностей государственных и теперь оказывал ему величайшее доверие, поручал защиту миланского замка, последней твердыни своего могущества в Ломбардии.

Герцог милостиво принял нового префекта, усадил, развернул перед ним планы замка и начал объяснять военные знаки для переговоров крепостного отряда с жителями города: необходимость скорой помощи обозначали: днем — кривой садовый нож, ночью — три зажженные факела, показанные с главной башни замка; измену солдат — белая простыня, вывешенная на башне Боны Савойской; недостаток пороха — стул, спущенный на веревке из бойницы; недостаток вина — женская юбка; хлеба — мужские штаны из черной фустаньи; врача — глиняный ночной горшок.

Моро сам изобрел эти знаки и простодушно утешался ими, как будто в них заключалась теперь вся надежда на спасение.

— Помни, Бернардино,— заключил он,— все предусмотрено, всего у тебя вдоволь: денег, пороха, съестных припасов, огнестрельных орудий; трем тысячам наемников заплачено вперед; в руках твоих крепость, которая могла бы выдержать осаду в течение трех лет, но я прошу только о трех месяцах, и если не вернусь к тебе на выручку,— делай, что знаешь.— Ну, теперь, кажется, все. Прощай. Господь да сохранит тебя, сын мой!

Он обнял его на прощание.

Когда префект ушел, Моро велел пажу постлать походную постель, помолился, лег, но не мог уснуть. Опять зажег свечу, вынул из дорожной сумки пачку бумаг и отыскал стихотворение соперника Беллинчони, некоего Антонио Камелли да Пистойя, изменившего герцогу, своему благодетелю, и бежавшего к французам. В стихотворении изображалась война Моро с Францией под видом борьбы крылатой Змеи Сфорца с древним галльским Петухом:

Борьбу я вижу Петуха и Змея:
Вцепилися друг в друга, вьются клубом;
Уж выщербил Петух Дракону глаз,
Змей хочет взвиться и не может.
Когтями рот ему зажал Петух,
И корчится Змея от боли.
Издохнет гад, и воцарится Галл;
И тем, кто мнил себя превыше неба,
Побрезгают не только люди — звери
И падалью питающийся ворон.

Всегда он трусом был, но лишь в раздорах наших
Казалось мужественным сердце труса.
За то, что ты врагов в отечество призвал,
Похитил власть, племянника ограбив,
О Моро, Бог тебя бедою поразил,
Для коей нет врача иного, кроме смерти;
И если своего ты счастья не забыл,
Теперь ты знаешь, Лодовико,
Как тех страдание велико,
Кто говорит: я счастлив был!

Грустное и в то же время почти сладостное чувство обиды было в сердце Моро. Он вспомнил недавние раболепные гимны того же самого Антонио Камелли да Пистойя:

Кто видит славу Моро, каменеет
В священном ужасе, как от лица Медузы.
Владыка мира и войны,
Одной ногой ты попираешь небо,
Другою — землю.
Тебе, о герцог наш, поднять довольно палец,
Чтоб повернуть весь мир;
Ты первый, после Бога, правишь
Рулем вселенной, колесом Фортуны.

Было за полночь. Пламя догоревшей свечи трепетало, потухая, когда герцог все еще ходил взад и вперед по сумрачной башне Сокровищницы. Он думал о своих страданиях, о несправедливости судьбы, о неблагодарности людей.

«Что я им сделал? За что они возненавидели меня? Говорят: злодей, убийца. Но ведь тогда и Ромул, умертвивший брата, и Цезарь, и Александр, все герои древности — только убийцы и злодеи! Я хотел им дать новый век золотой, какого народы не видели со времени Августа, Траяна и Антонина. Еще бы немного — и под моею державою в объединенной Италии расцвели бы древние лавры Аполлона, оливы Паллады, наступило бы царство вечного мира, царство божественных Муз. Первый из государей, я искал величия не в кровавых подвигах, а в

плодах золотого мира — в просвещении. Браманте, Пачили, Карадоссо, Леонардо и сколько других! В отдаленнейшем потомстве, когда суетный шум оружия умолкнет, имена их будут звучать вместе с именем Сфорца. И то ли бы еще я сделал, на такую ли высоту вознес бы, новый Перикл, мои новые Афины, если бы не это дикое полчище северных варваров!.. За что, за что же, Господи?»

Опустив голову на грудь, он повторил стихи поэта:

Теперь ты знаешь, Лодовико,
Как тех страдание велико,
Кто говорит: я счастлив был!

Пламя в последний раз вспыхнуло, озарило своды башни, бога Меркурия над дверью казнохранилища — и потухло. Герцог вздрогнул, ибо угасание догоревшей свечи было дурною приметою. В темноте, ощупью, чтобы не будить Ричардетто, он подошел к постели, разделся, лег и на этот раз тотчас уснул.

Ему приснилось, будто бы стоит он на коленях перед мадонною Беатриче, которая, только что узнав о любовном свидании мужа с Лукрецией, ругает и бьет его по щекам. Ему больно, но не обидно; он рад, что она опять жива и здорова. Покорно подставляя лицо свое под удары, ловит он ее маленькие смуглые ручки, чтобы припасть к ним губами, и плачет от любви, от жалости к ней. Но вдруг перед ним — уже не Беатриче, а бог Меркурий, тот самый, что изображен на фреске Леонардо над железной дверью, подобный грозному ангелу. Бог схватил его за волосы и кричит: «Глупый! глупый! на что ты надеешься? Думаешь, помогут тебе твои хитрости, спасут от кары Господней, убийца!»

Когда он проснулся, свет утра брезжил в окнах. Рыцари, вельможи, ратные люди, немецкие наемники, которые должны были сопровождать его в Германию,— всего около трех тысяч всадников — ожидали выхода герцога на главной аллее парка и на большой дороге к северу — к Альпам.

Моро сел на коня и поехал в монастырь делле Грацие последний раз помолиться над гробом жены.

С первыми лучами солнца печальный поезд тронулся в путь.

II

Вследствие осенней непогоды, испортившей дороги, путешествие затянулось более чем на две недели.

Восемнадцатого сентября, поздно вечером, на одном из последних переходов, герцог, больной и усталый, решил переночевать на высоте в пещере, служившей приютом пастухов. Не трудно было найти более спокойное и удобное убежище, но он выбрал нарочно это дикое место для свидания с отправленным к нему послом императора Максимилиана.

Костер озарял сталактиты в нависших сводах пещеры. На походном вертеле жарились фазаны для ужина. Герцог сидел на походном ременчатом стуле, закутанный, с грелкой в ногах. Рядом, ясная и тихая, как всегда, с домашним хозяйственным видом, мадонна Лукреция приготовляла полоскание от зубной боли, собственного изобретения, из вина, перца, гвоздики и других крепких пряностей: у герцога болели зубы.

— Так-то, мессер Одоардо,— говорил он послу императора, не без тайного самодовольства утешаясь величием собственных бедствий,— вы можете передать государю, где и как встретили вы законного герцога Ломбардии!

Он был в одном из тех припадков внезапной болтливости, которые теперь иногда овладевали им после долгого молчания и оцепенения.

— Лисицы имеют норы, птицы — гнезда, я же не имею места, где приклонить голову!

— Корио,— обратился он к придворному летописцу,— когда будешь составлять хронику, упомяни и об этом ночлеге в пастушьем вертепе — последнем убежище потомка великих Сфорца, из рода троянского героя Англа, Энеева спутника!

— Синьор, ваши несчастья достойны пера нового Тацита! — заметил Одоардо.

Лукреция подала герцогу зубное полоскание. Он взглянул на нее и залюбовался. Бледная, свежая, в розовом отблеске пламени, с черными гладкими начесами волос на ушах, с бриллиантом на тонкой нити ферроньеры посредине лба, смотрела она на него с улыбкой материнской нежности, немного исподлобья, своими внимательными, строгими и важными, как у детей, невинными глазами.

«О милая! Вот кто не предаст, не изменит»,— подумал герцог и, окончив полоскание, молвил:

— Корио, запиши: в горниле великих страданий познается истинная дружба, как золото в огне.

Карлик-шут Янакки подошел к Моро.

— Куманек, а, куманек! — заговорил он, усаживаясь в ногах его и дружески хлопая герцога по колену.— Чего ты нос повесил, как мышь на крупу надулся? Брось, право, брось! От всякого горя, кроме смерти, есть лекарство. И то сказать: лучше быть живым ослом, чем мертвым государем.— Седла! — закричал он вдруг, указывая на кучу сбруи, лежавшей на полу.— Куманек, посмотрика: ослиные седла!

— Чему же ты обрадовался? — спросил герцог.

— Старая басенка, Моро! Не мешало бы и тебе напомнить. Хочешь, расскажу?

— Расскажи, пожалуй!..

Карлик привскочил, так что все бубенчики на нем зазвенели, и помахал шутовской палкой, на конце которой висел пузырь, наполненный сухим горохом.

— Жил да был у короля неаполитанского Альфонсо живописец Джотто. Однажды приказал ему государь изобразить свое королевство на стене дворца. Джотто написал осла, который, имея на спине седло с государственным гербом — золотой короной и скипетром, обнюхивает другое, новое седло, лежащее у ног его, с таким же точно гербом.— Что это значит? — спросил Альфонсо.— Это ваш народ, государь, который, что ни день, то желает себе нового правителя,— ответил художник.— Вот тебе и вся моя сказочка, куманек. Хоть я и дурак, а слово мое верно: французское седло, что́ нынче миланцы обнюхивают, скоро им спину натрет,— дай только ослику вволю натешиться, и старое опять покажется новым, новое — старым.

— Stulti aliquando sapientes.— Глупые иногда мудры,— с грустной усмешкой молвил герцог.— Корио, запиши...

Но на этот раз не суждено ему было произнести достопамятного изречения: у входа в пещеру послышалось фырканье лошади, топот копыт, заглушенные голоса. Вбежал камерьере Мариоло Пустерло с испуганным лицом и что-то прошептал на ухо главному секретарю, Бартоломео Калько.

— Что случилось? — спросил Моро.

Все притихли.

— Ваше высочество...— молвил секретарь, но голос его дрогнул, и, не кончив, он отвернулся.

— Синьоре,— произнес Луиджи Марлиани, подходя к Моро,— Господь да сохранит вашу светлость! Будьте готовы ко всему: недобрые вести...

— Говорите, говорите скорее! — воскликнул Моро и вдруг побледнел.

У входа в пещеру, среди солдат и придворных, увидел он человека в кожаных высоких сапогах, забрызганного грязью. Все расступились молча. Герцог оттолкнул от себя мессера Луиджи, бросился к вестнику, вырвал у него из рук письмо, распечатал, пробежал, вскрикнул и повалился навзничь. Пустерло и Марлиани едва успели его поддержать.

Боргонцо Ботто извещал Моро о том, что семнадцатого сентября, в день св. Сатира, изменник Бернардино да Корте сдал миланский замок маршалу французского короля, Джан-Джакопо Тривульцио.

Герцог любил и умел падать в обморок. Он иногда пользовался этим средством, как дипломатической хитростью. Но на этот раз обморок был непритворный.

Долго не могли привести его в чувство. Наконец он открыл глаза, вздохнул, приподнялся, набожно перекрестился и проговорил:

— От Иуды до наших дней не было большего предателя, чем Бернардино да Корте!

И более в этот день не произнес ни слова.

Несколько дней спустя, в городе Инсбруке, где император Максимилиан милостиво принял Моро, в поздний час ночи, наедине с главным секретарем Бартоломео Калько, расхаживая по одному из покоев во дворце кесаря, герцог сочинял, а мессер Бартоломео записывал доверительные грамоты двум послам, которых тайно отправлял Моро в Константинополь к турецкому султану.

Лицо старого секретаря ничего не выражало кроме внимания. Перо послушно бегало по бумаге, едва поспевая за быстрою речью герцога.

— «Пребывая постоянно твердыми и неизменными в добрых намерениях и расположении к вашему величеству, а ныне, особливо, для возвращения нашего государства, на великодушную помощь повелителя Оттоманской Империи уповая, решили мы послать трех гонцов тремя различными путями, дабы, по крайней мере, один из них исполнил наши поручения»...

Далее герцог жаловался султану на папу Александра VI:

— «Папа, будучи, по природе своей, коварным и злым»...

Бесстрастное перо секретаря остановилось. Он поднял брови, сморщил кожу на лбу и переспросил, думая, что ослышался:

— Папа?

— Ну, да, да. Пиши скорее.

Секретарь еще ближе наклонил голову к бумаге, и снова перо заскрипело.

— «Папа, будучи, как известно вашему величеству, по природе своей, коварным и злым, побудил французского короля к походу на Ломбардию».

Описывались победы французов:

— «Получив об этом известие, объяты были мы страхом,— признавался Моро,— и почли за благо удалиться к императору Максимилиану в ожидании помощи вашего величества. Все предали и обманули нас, но более всех Бернардино»...

При этом имени голос его задрожал.

— «Бернардино да Корте — змей, отогретый у сердца нашего, раб, осыпанный милостями и щедротами нашими, который продал нас, как Иуда»... Впрочем, нет, погоди, об Иуде не надо,— спохватился Моро, вспомнив, что пишет неверному турку.

Изобразив свои бедствия, умолял он султана напасть на Венецию с моря и суши, обещая верную победу и уничтожение исконного врага Оттоманской Империи, республики Сан-Марко.

— «И да будет вам известно,— заключал он послание,— что в сей войне, как во всяком ином предприятии, все, что мы имеем, принадлежит вашему величеству, которое едва ли найдет в Европе более сильного и верного союзника».

Он подошел к столу, что-то хотел прибавить, но махнул рукой и опустился в кресло.

Бартоломео посыпал из песочницы последнюю невысохшую страницу. Вдруг поднял глаза и посмотрел на государя: герцог, закрыв лицо руками, плакал. Спина, плечи, пухлый двойной подбородок, синеватые бритые щеки, гладкая прическа — ца́ккера беспомощно вздрагивали от рыданий.

— За что, за что? Где же правда Твоя, Господи?

Обратив к секретарю сморщенное лицо, напоминавшее в это мгновение лицо слезливой старой бабы, он пролепетал:

— Бартоломео, я тебе верю: ну, скажи, по совести, прав ли я или не прав?

— Ваша светлость разумеет турецкое посольство?

Моро кивнул головой. Старый политик задумчиво поднял брови, выпятил губы и сморщил кожу на лбу.

— Конечно, с одной стороны, с волками жить, по-волчьи выть, ну, а с другой... осмелюсь доложить вашему высочеству: если бы подождать?..

— Ни за что! — воскликнул Моро.— Довольно я ждал! Я покажу им, что миланского герцога они из игры, как ненужную пешку, не вышвырнут, потому что,— видишь ли, друг мой,— когда правый обижен, как я, кто дерзнет судить его, ежели обратится он за помощью не только к Великому Турку, но к самому дьяволу?

— Ваше высочество,— вкрадчиво молвил секретарь,— не должно ли опасаться, что нашествие турок на Европу может иметь последствия неожиданные... например, для церкви христианской?

— О, Бартоломео, неужели ты думаешь, что я этого не предвидел? Лучше согласился бы я тысячу раз умереть, чем причинить какой-либо вред святой нашей матери церкви. Сохрани меня Боже! — Ты еще не знаешь всех моих замыслов,— прибавил он с прежнею хитрою и хищною усмешкою.— Погоди, ужо такую кашу заварим, такими сетями врагов оплетем, что свету Божьего не взвидят! Одно скажу тебе: Великий Турок — только орудие в руках моих. Придет пора — и мы уничтожим его, нечестивую секту Магомета истребим, Гроб Господень от ига неверных освободим!..

Ничего не ответив, Бартоломео уныло потупил глаза.

«Плох,— подумал он,— совсем плох! Замечтался. Какая уж тут политика»!

Долго в эту ночь с горячею верою и надеждой на помощь Великого Турка молился герцог перед своей любимой иконой работы Леонардо да Винчи, где Матерь Господа изображена была под видом прекрасной наложницы Моро, графини Чечилии Бергамини.

III

Дней за десять до сдачи Миланского замка, маршал Тривульцио, при радостных кликах народа: «Франция! Франция!» и звоне колоколов въехал в Милан как в завоеванный город.

Въезд короля назначен был на шестое октября. Граждане готовили торжественную встречу.

Для праздничного шествия торговые синдики извлекли из соборной ризницы двух ангелов, которые, пятьдесят лет назад, еще во времена Амброзианской Республики, изображали гениев народной свободы. Ветхие пружины,

приводившие в движение позолоченные крылья, ослабели. Синдики отдали их починить бывшему герцогскому механику Леонардо да Винчи.

В это время Леонардо занят был изобретением новой летательной машины. Однажды, ранним, еще темным, утром, сидел он за чертежами и математическими выкладками. Легкий камышовый остов крыльев, обтянутый тафтою, подобной перепонке, напоминал не летучую мышь, как прежняя машина, а исполинскую ласточку. Одно из крыльев было готово и, тонкое, острое, необычайно прекрасное, вздымалось от полу до потолка, а внизу, в тени его, Астро копошился, поправляя сломанные пружины у двух деревянных ангелов Миланской Коммуны.

На этот раз Леонардо решил как можно ближе следовать строению тел пернатых, в котором сама природа дает человеку образец летательной машины. Он все еще надеялся разложить чудо полета на законы механики. По-видимому, все, что можно было знать,— он знал и, однако, чувствовал, что есть в полете тайна, ни на какие законы механики не разложимая. Опять, как в прежних попытках, подходил к тому, что отделяет создание природы от дела рук человеческих, строение живого тела от мертвой машины, и ему казалось, что он стремится к невозможному.

— Ну, слава Богу, кончено! — воскликнул Астро, заводя пружины.

Ангелы замахали тяжелыми крыльями. В комнате пронеслось дуновение — и тонкое, легкое крыло исполинской ласточки зашевелилось, зашелестело, как живое. Кузнец взглянул на него с невыразимой нежностью.

— Времени-то сколько даром на этих болванов ушло! — проворчал он, указывая на ангелов.— Ну, да уж теперь, воля ваша, мастер, а я не выйду отсюда, пока не кончу крыльев.— Пожалуйте чертеж хвоста.

— Не готов еще, Астро. Погоди, надо обдумать.

— Как же, мессере? Вы третьего дня обещали...

— Что делать, друг! Ты знаешь, хвост нашей птицы — вместо руля. Тут, ежели самая малая ошибка,— все пропало.

— Ну, ну, хорошо, вам лучше знать. Я подожду, а пока второе крыло...

— Астро,— молвил учитель,— ты бы подождал. А то я боюсь, как бы чего-нибудь опять изменить не пришлось...

Кузнец не ответил. Бережно поднял он и стал поворачивать камышовый остов, затянутый переплетом бечевок

из воловьих жил. Потом, вдруг обернувшись к Леонардо, произнес глухим, дрогнувшим голосом:

— Мастер, а мастер, вы на меня не сердитесь, но ежели опять вы с вашими вычислениями до того дойдете, что и на этой машине нельзя будет лететь,— я все-таки полечу, назло вашей механике полечу,— да, да, не могу я дольше терпеть, сил моих нет! Потому что я знаю: если и на этот раз...

Не кончил и отвернулся. Леонардо внимательно посмотрел на его широкоскулое, тупое и упрямое лицо, в котором была неподвижность единой, безумной и всепоглощающей мысли.

— Мессере,— заключил Астро,— скажите лучше прямо, полетим мы или не полетим?

Такой страх и такая надежда была в словах его, что Леонардо не имел духа сказать правду.

— Конечно,— ответил он, потупившись,— знать нельзя, пока не сделаем опыта; но думаю, Астро, что полетим...

— Ну и довольно, довольно! — с восторгом замахал руками кузнец.— Слышать больше ничего не хочу! Если уж и вы говорите, что полетим,— значит полетим!

Он, видимо, хотел удержаться, но не мог и рассмеялся счастливым, детским смехом.

— Чего ты? — удивился Леонардо.

— Простите, мессере. Я все мешаю вам. Ну, да уж в последний раз,— больше не буду... Верите ли, как вспомню о миланцах, о французах, о герцоге Моро, о короле, так вот меня разбирает,— и смешно, и жалко: копошатся, бедненькие, дерутся и ведь тоже, поди, думают,— великие дела творят,— черви ползучие, козявки бескрылые! И никто-то из них не ведает, какое чудо готовится. Вы только представьте себе, мастер, как выпучат они глаза, рты разинут, когда увидят крылатых, летящих по воздуху. Ведь это уже не деревянные ангелы, что крыльями машут на потеху черни! Увидят и не поверят. Боги,— подумают. Ну, то есть, меня-то, пожалуй, за бога не примут, скорее за черта, а вот вы с крыльями воистину будете, как бог. Или, может быть, скажут — Антихрист. И ужаснутся, падут и поклонятся вам. И сделаете вы с ними, что хотите. Я так полагаю, учитель, что тогда уже не будет ни войн, ни законов, ни господ, ни рабов,— все переменится, наступит все новое, такое, о чем мы теперь и подумать не смеем. И соединятся народы, и, паря на крыльях, подобно ангельским хорам, воспоют единую осанну... О, мессер Леонардо! Господи! Господи! — Да неужели вправду?..

Он говорил точно в бреду.

«Бедный! — подумал Леонардо.— Как верит! Чего доброго, в самом деле, с ума сойдет. И что мне с ним делать? Как ему правду сказать?»

В это мгновение в наружную дверь дома раздался громкий стук, потом голоса, шаги и, наконец, такой же стук в запертые двери мастерской.

— Кого еще нелегкая несет? Нет на них погибели! — злобно проворчал кузнец.— Кто там? Мастера видеть нельзя. Уехал из Милана.

— Это я, Астро! — Я — Лука Пачоли. Ради Бога, отопри скорее!

Кузнец отпер и впустил монаха.

— Что с вами, фра Лука? — спросил художник, вглядываясь в испуганное лицо Пачоли.

— Не со мной, мессер Леонардо,— впрочем, да, и со мной, но об этом после, а теперь... О, мессер Леонардо!.. Ваш Колосс... гасконские арбалетчики,— я только что из Кастелло, собственными глазами видел,— французы вашего Коня разрушают... Бежим, бежим скорее!

— Зачем? — спокойно возразил Леонардо, только лицо его слегка побледнело.— Что мы можем сделать?

— Как что? Помилуйте! Не будете же вы тут сидеть, сложа руки, пока величайшее произведение ваше погибает. У меня есть лазейка к сиру де ла Тремуйлю. Надо хлопотать...

— Все равно, не успеем,— проговорил художник.

— Успеем, успеем! Мы напрямик, огородами, через плетень. Только скорее!

Увлекаемый монахом, Леонардо вышел из дома, и они пустились почти бегом к Миланскому замку.

По дороге фра Лука рассказал ему о своем собственном горе: накануне ночью ландскнехты разграбили погреб каноника Сан-Симпличано, где жил Пачоли,— перепились, начали буйствовать и, между прочим, найдя в одной из келий хрустальные изображения геометрических тел, приняли их за дьявольские выдумки черной магии, за «кристаллы гадания», и разбили вдребезги.

— Ну, что им сделали,— сетовал Пачиоли,— что им сделали мои невинные хрусталики?

Вступив на площадь Замка, увидели они у главных Южных Ворот, на подъемном мосту Баттипонте, у башни Торре дель Филарете молодого французского щеголя, окруженного свитой.

— Мэтр Жиль! — воскликнул фра Лука и объяснил Леонардо, что этот мэтр Жиль птичник, так называемый «свистун рябчиков», учивший пению, говору и прочим хитростям чижей, сорок, попугаев, дроздов его христианнейшего величества, короля французского,— лицо при дворе немаловажное. Ходили слухи, что во Франции под дудку мэтра Жиля пляшут не одни сороки. Пачоли давно уже собирался преподнести ему свои сочинения — «Божественную Пропорцию» и «Сумму Арифметики» — в роскошных переплетах.

— Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне, фра Лука,— сказал Леонардо.— Ступайте к мэтру Жилю: я и один сумею сделать все, что нужно.

— Нет, к нему потом,— проговорил Пачоли в смущении.— Или вот что, знаете? Мигом слетаю к мэтру Жилю, только расспрошу, куда он едет,— и тотчас к вам. А вы пока прямо к сиру де ла Тремуйлю...

Подобрав полы коричневой ряски, юркий монах засеменил босыми ножками в дробно стукающих цоколях и побежал вприпрыжку за свистуном королевских рябчиков.

Через подъемные ворота Баттипонте вступил Леонардо на Марсово Поле — внутренний двор Миланского замка.

IV

Утро было туманное. Огни костров догорали. Площадь и окрестные здания, загроможденные пушками, ядрами, лагерным скарбом, кулями овса, ворохами соломы, кучами навоза, превращены были в одну огромную казарму, конюшню и кабак. Вокруг походных лавок и кухонных вертелов, бочек, полных и пустых, опрокинутых, служивших игорными столами, слышались крики, хохот, клятвы, разноязычная брань, богохульства и пьяные песни. Порою все затихало, когда проходили начальники; трещал барабан, играли медные трубы рейнских и швабских ландскнехтов, заливались пастушьими унылыми звуками альпийские роги наемников из вольных кантонов Ури и Унтервальдена.

Пробравшись на средину площади, художник увидел своего Колосса почти нетронутым.

Великий герцог, завоеватель Ломбардии, Франческо-Аттендоло Сфорца, с лысой головой, похожей на голову римского императора, с выражением львиной мощи и лисьей хитрости, по-прежнему сидел на коне, который взвился на дыбы, попирая копытами павшего воина.

Швабские аркебузники, граубюндские стрелки, пикардийские пращники, гасконские арбалетчики толпились вокруг изваяния и кричали, плохо разумея друг друга, дополняя слова телодвижениями, по которым Леонардо понял, что речь идет о предстоявшем состязании двух стрелков, немца и француза. Они должны были стрелять по очереди на расстоянии пятидесяти шагов, выпив четыре кружки крепкого вина. Мишенью служила родинка на щеке Колосса.

Отмерили шаги и бросили жребий, кому стрелять первому. Маркитантка нацедила вина. Немец выпил, не переводя духу, одну за другой, четыре условленных кружки, отошел, прицелился, выстрелил и промахнулся. Стрела оцарапала щеку, отбила край левого уха, но родинки не задела.

Француз приложил к плечу арбалет, когда в толпе произошло движение. Солдаты расступились, пропуская поезд пышных герольдов, сопровождавших рыцаря. Он проехал, не обратив внимания на потеху стрелков.

— Кто это? — спросил Леонардо стоявшего рядом пращника.

— Сир де ла Тремуйль.

«Еще не поздно! — подумал художник.— Бежать за ним, просить»...

Но он стоял, не двигаясь, чувствуя такую неспособность к действию, такое непреодолимое оцепенение, расслабление воли, что казалось, если бы в эту минуту дело шло о спасении жизни его,— не пошевельнул бы пальцем. Страх, стыд, отвращение овладевали им при одной мысли о том, как надо протискиваться сквозь толпу лакеев, конюхов и бежать за вельможей, подобно Луке Пачоли.

Гасконец выстрелил. Стрела свистнула и вонзилась в родинку.

— Bigore! Bigore![1] Montjoie Saint-Denis![2] — махая беретами, кричали солдаты.— Франция победила!

Стрелки окружили Колосса и продолжали состязание.

Леонардо хотел уйти, но, прикованный к месту, точно в страшном и нелепом сне, покорно смотрел, как разрушается создание шестнадцати лучших лет его жизни,— быть может, величайшее произведение ваяния со времен Праксителя и Фидия.

Под градом пуль, стрел и камней глина осыпалась мелким песком, крупными глыбами и разлеталась пылью, обнажая скрепы, точно кости железного остова.

---

[1] Здесь: так его! (*франц.*)

[2] Святой Денис, покровитель отечества! (*франц.*) — старинный боевой клич французов. (Здесь и далее — *прим. ред.*)

Солнце вышло из-за туч. В радостно брызнувшем блеске казалась еще более жалкой развалина Колосса, с обезглавленным туловищем героя на безногом коне, с обломком царственного скипетра в уцелевшей руке и надписью внизу на подножии: «Esse deus!» — «*Се бог!*»

В это время по площади проходил главный полководец французского короля, старый маршал Джан-Джакопо Тривульцио. Взглянув на Колосса, остановился он в недоумении, еще раз взглянул, заслонил глаза рукой от солнца, потом обернулся к сопровождавшим его и спросил:

— Что это?

— Монсеньор,— молвил подобострастно один из лейтенантов,— капитан Жорж Кокебурн разрешил арбалетчикам собственной властью...

— Памятник Сфорца,— воскликнул маршал,— произведение Леонардо да Винчи — мишень гасконских стрелков!..

Он подошел к толпе солдат, которые так увлеклись стрельбой, что ничего не видели, схватил за шиворот пикардийского пращника, повалил его на землю и разразился неистовой бранью.

Лицо старого маршала побагровело, жилы вздулись на шее.

— Монсеньор! — лепетал солдат, стоя на коленях и дрожа всем телом.— Монсеньор, мы не знали... Капитан Кокебурн...

— Погодите, собачьи дети,— кричал Тривульцио,— покажу я вам капитана Кокебурна, за ноги всех перевешаю!..

Сверкнула шпага. Он замахнулся и ударил бы, но Леонардо левою рукою схватил его за руку, немного повыше кисти, с такою силою, что медный нарукавник сплющился.

Тщетно стараясь высвободить руку, маршал взглянул на Леонардо с изумлением.

— Кто это? — спросил он.

— Леонардо да Винчи,— ответил тот спокойно.

— Как ты смеешь!..— начал было старик в бешенстве, но, встретив ясный взор художника, умолк.

— Так ты — Леонардо,— произнес он, вглядываясь в лицо его.— Руку-то, руку пусти. Нарукавник согнул. Вот так сила! Ну, брат, смелый же ты человек...

— Монсеньор, умоляю вас, не гневайтесь, простите их! — молвил художник почтительно.

Маршал еще внимательнее посмотрел ему в лицо, усмехнулся и покачал головой:

— Чудак! Они лучшее твое произведение уничтожили,— и ты за них просишь?

— Ваша светлость, если вы их всех перевешаете, какая польза мне и моему произведению? Они не знают, что делают.

Старик задумался. Вдруг лицо его прояснилось; в умных маленьких глазах засветилось доброе чувство.

— Послушай, мессер Леонардо, одного я в толк не возьму. Как же ты стоял тут и смотрел? Зачем не дал знать, не пожаловался мне или сиру де ла Тремуйлю? Кстати, он, должно быть, только что здесь проезжал?

Леонардо потупил глаза и проговорил, запинаясь и краснея, как виноватый:

— Не успел... Сира де ла Тремуйля в лицо я не знаю...

— Жаль,— заключил старик, оглядываясь на развалину.— Сотню лучших людей моих отдал бы я за твоего Колосса!..

Возвращаясь домой и проходя через мост с изящной лоджией Браманте, где произошло последнее свидание Моро с Леонардо, художник увидел французских пажей и конюхов, забавлявшихся охотою на ручных лебедей, любимцев Миланского герцога. Шалуны стреляли из луков. В тесном рву, отовсюду закрытом высокими стенами, птицы метались в ужасе. Среди белого пуха и перьев на черной воде плавали, качаясь, окровавленные тела. Только что раненный лебедь, с пронзительно жалобным криком, выгнув длинную шею, трепетал слабеющими крыльями, как будто пытаясь взлететь перед смертью.

Леонардо отвернулся и поскорее прошел мимо. Ему казалось, что он сам похож на этого лебедя.

V

В воскресенье шестого октября король Франции Людовик XII въехал в Милан через Тичинские ворота. В сопровождавшем его поезде был Чезаре Борджа, герцог Валентино, сын папы. Во время шествия от Соборной площади к замку ангелы Миланской Коммуны исправно махали крыльями.

С того дня, как разрушен был Колосс, Леонардо более не возвращался к работе над летательной машиной. Астро один кончил прибор. Художник не имел духа сказать ему, что и эти крылья не годятся. Видимо, избегая учителя, кузнец также не заговаривал о предстояв-

шем полете, только иногда украдкой взглядывал на него с безмолвным укором своим единственным глазом, в котором горел унылый, безумный огонь.

Однажды утром, в двадцатых числах октября, Пачоли прибежал к Леонардо с известием, что король требует его во дворец. Художник пошел неохотно. Встревоженный исчезновением крыльев, он боялся, чтобы Астро, забрав себе в голову лететь во что бы то ни стало, не наделал беды.

Когда Леонардо вошел в столь памятные залы Рокетты, Людовик XII принимал старшин и синдиков Милана.

Художник взглянул на своего будущего повелителя, короля Франции.

Ничего царственного не было в его наружности: хилое, слабое тело, узкие плечи, вдавленная грудь, лицо с некрасивыми морщинами, страдальческое, но не облагороженное страданием,— плоское, будничное, с выражением мещанской добродетели.

На верхней ступени трона стоял молодой человек лет двадцати, в простом черном платье без украшений, кроме нескольких жемчужин на отворотах берета и золотой цепи из раковин ордена св. Архангела Михаила, с длинными белокурыми волосами, маленькою, слегка раздвоенною темно-русою бородою, ровною бледностью в лице и черно-синими, приветливо-умными глазами.

— Скажите, фра Лука,— шепнул художник на ухо спутнику,— кто этот вельможа?

— Сын папы,— отвечал монах,— Чезаре Борджа, герцог Валентино.

Леонардо слышал о злодействах Чезаре. Хотя явных улик не было, никто не сомневался, что он убил брата Джованни Борджа, наскучив быть младшим, желая сбросить кардинальский пурпур и наследовать звание военачальника — гонфалоньера церкви. Ходили слухи еще более невероятные, будто бы причиной Каинова злодеяния было соперничество братьев не только из-за милостей отца, но также из-за кровосмесительной похоти к родной сестре, мадонне Лукреции.

«Не может быть!» — думал Леонардо, вглядываясь в спокойное лицо его, в невинные глаза.

Должно быть, почувствовав на себе пристальный взор, Чезаре оглянулся, потом, наклонившись к стоявшему рядом благообразному старику в длинной темной одежде, вероятно секретарю своему, что-то шепнул, указывая на

Леонардо, и когда старик ответил,— посмотрел на художника пристально. Тонкая усмешка скользнула по губам Валентино. И в то же мгновение Леонардо почувствовал:

«Да, может быть, все может быть — и даже еще худшее, чем о нем говорят!»

Старшина синдиков, окончив унылое чтение, подошел к трону, стал на колени и поднес королю прошение. Людовик нечаянно уронил пергаментный свиток. Старшина засуетился, желая поднять. Но Чезаре, предупредив его, быстрым и ловким движением поднял свиток и подал королю с поклоном.

— Хам! — злобно прошептал кто-то за спиной Леонардо, в толпе французских вельмож.— Обрадовался, выскочил!

— Ваша правда, мессере,— подхватил другой.— Сын папы отлично исполняет должность лакея. Если бы только видели, как утром, когда король одевался, он ему прислуживает, рубашку греет. Я, чай, и конюшню чистить не побрезгал бы?

Художник заметил подобострастное движение Чезаре, но оно показалось ему скорее страшным, чем гнусным,— как предательская ласковость хищного зверя.

В это время Пачоли хлопотал, волновался, подталкивал спутника под локоть, но, видя, что Леонардо, со своей обычной застенчивостью, чего доброго, целый день простоит в толпе, не найдя случая привлечь внимание короля,— принял решительные меры, схватил его за руку и, весь изогнувшись, с быстрым непрерывным свистом и шипением превосходных степеней: stupendissimo, prestantissimo, invincibilissimo,[1] — представил королю художника.

Людовик заговорил о Тайной Вечере; хвалил изображения апостолов, но более всего восхищался перспективой потолка.

Фра Лука ожидал с минуты на минуту, что его величество пригласит Леонардо к себе на службу. Но вошел паж и подал королю письмо, только что полученное из Франции.

Король узнал почерк жены, возлюбленной своей бретонки Анны: то было известие о разрешении королевы от бремени.

Вельможи начали поздравлять его. Толпа оттеснила Леонардо и Пачоли. Король взглянул было на них, вспом-

---

[1] Изумительнейший, превосходнейший, непобедимейший (*итал.*)

нил, хотел что-то сказать, но тотчас снова забыл, любезно пригласил дам поскорее выпить за здоровье новорожденной и вышел в другую залу.

Пачоли, ухватив за руку спутника, потащил его за собой.

— Скорее! Скорее!

— Нет, фра Лука,— спокойно возразил Леонардо.— Благодарю вас за хлопоты; но я напоминать о себе не буду: его величеству теперь не до меня.

И он ушел из дворца.

На подъемном мосту Баттипонте, в южных воротах Кастелло, догнал его секретарь Чезаре Борджа, мессер Агапито. Он предложил ему от имени герцога место «главного строителя», ту самую должность, которую исполнял Леонардо у Моро.

Художник обещал дать ответ через несколько дней.

Подходя к дому, еще издали, на улице, заметил он толпу народа и ускорил шаг. Джованни, Марко, Салаино, Чезаре несли, должно быть, за неимением носилок, на громадном, измятом, продранном и сломанном крыле новой летательной машины, подобном крылу исполинской ласточки, своего товарища, кузнеца Астро да Перетола, в разорванной, окровавленной одежде, с мертвенно-бледным лицом.

Случилось то, чего боялся учитель: кузнец решил испытать крылья, полетел, сделал два-три взмаха, упал и убился бы до смерти, если бы одно крыло машины не зацепилось за ветви рядом стоявшего дерева.

Леонардо помог внести носилки в дом и бережно уложил больного в постель. Когда он наклонился к нему, чтобы осмотреть раны, Астро пришел в себя и прошептал, взглянув на Леонардо с бесконечной мольбою:

— Простите, учитель!

VI

В первых числах ноября, после великолепных торжеств в честь новорожденной, Людовик XII, приняв от миланцев присягу и назначив наместником Ломбардии маршала Тривульцио, уехал во Францию.

В соборе отслужили благодарственную обедню Духу Святому. В городе было восстановлено спокойствие, но только наружное: народ ненавидел Тривульцио за его жестокость и коварство. Приверженцы Моро бунтовали чернь, распространяли подметные письма. Те, кто еще так недавно провожал его в изгнание насмешками и бра-

нью, теперь вспоминали о нем, как о лучшем из государей.

В последних числах января толпа у Тичинских ворот разгромила прилавки французских сборщиков пошлин. В тот же день на вилле Лардираго, около Павии, французский солдат посягнул на честь молодой ломбардской поселянки. Защищаясь, ударила она обидчика метлою по лицу. Солдат пригрозил ей топором. На крик прибежал отец ее с палкою. Француз убил старика. Собралась толпа и умертвила солдата. Французы напали на ломбардцев, перебили множество народа и опустошили местечко. В Милане известие это было тем же, что искра, упавшая в порох. Народ запрудил площади, улицы, рынки с яростными воплями:

— Долой короля! Долой наместника! Бейте, бейте французов! Да здравствует Моро!

У Тривульцио было слишком мало людей, чтобы защищаться против населения трехсоттысячного города. Поставив пушки на башню, временно служившую колокольнею собора, направил он жерла в толпу, велел по первому знаку стрелять и, желая сделать последнюю попытку примирения, вышел к народу. Чернь едва не убила его, загнала в ратушу, и здесь бы он погиб, если бы на помощь не подоспел из крепости отряд швейцарских наемников с капитаном, сеньором Курсенжем, во главе.

Начались поджоги, убийства, грабежи, пытки, казни французов, попадавших в руки бунтовщиков, и граждан, подозреваемых в сочувствии французам.

В ночь на первое февраля Тривульцио тайно ушел из крепости, оставив ее под защитой капитана д'Эспи и Кодебекара. В ту же ночь возвратившийся из Германии Моро радостно принят был жителями города Комо. Граждане Милана ждали его, как избавителя.

Леонардо в последние дни мятежа, опасаясь пушечной пальбы, которая разрушила несколько соседних домов, переселился в свой погреб, искусно провел в него ночные трубы, устроил очаги и несколько жилых покоев. Как в маленькую крепость, перенесли сюда все, что было ценного в доме: картины, рисунки, рукописи, книги, научные приборы.

В это время окончательно решил он поступить на службу к Чезаре Борджа. Но прежде, чем отправиться в Романью, куда, по условиям заключенного с мессером Агапито договора, Леонардо должен был прибыть не позже летних месяцев 1500 года, намеревался он заехать к

старому другу своему Джироламо Мельци, чтобы пережидать опасное время войны и бунта на его уединенной вилле Ваприо близ Милана.

Утром 2 февраля, в день Сретения Господня, прибежал к художнику фра Лука Пачоли и объявил, что в замке — наводнение: миланец Луиджи да Порто, бывший на службе у французов, бежал к бунтовщикам и открыл ночью шлюзы каналов, наполнявших крепостные рвы. Вода разлилась, затопила мельницу в парке у стены Рокетты, проникла в подвалы, где хранился порох, масло, хлеб, вино и прочие припасы; так что, если бы французам не удалось с большим трудом спасти от воды некоторую часть их,— голод принудил бы их к сдаче крепости, на что и рассчитывал мессер Луиджи. Во время наводнения соседние с крепостью каналы в низменном предместьи Верчельских ворот вышли из берегов и затопили болотистую местность, где находился монастырь делле Грацие. Фра Лука сообщил художнику свои опасения, как бы вода не повредила Тайной Вечери, и предложил пойти осмотреть, цела ли картина.

С притворным равнодушием возразил Леонардо, что ему теперь некогда, и что он за Тайную Вечерю не боится,— картина, будто бы, на такой высоте, что сырость не может причинить ей вреда. Но только что Пачоли ушел, Леонардо побежал в монастырь.

Войдя в трапезную, увидел на кирпичном полу грязные лужи — следы наводнения. Пахло сыростью. Один из монахов сказал, что вода поднялась на четверть локтя.

Леонардо подошел к стене, где была Тайная Вечеря. Краски оставались, по-видимому, ясными.

Прозрачные, нежные, не водяные, как в обычной стенописи, а масляные, они были его собственным изобретением. Он приготовил и стену особенным способом: загрунтовал ее слоем глины с можжевельным лаком и олифою, на первый нижний грунт навел второй — из мастики, смолы и гипса. Опытные мастера предсказывали непрочность масляных красок на сырой стене, сложенной в болотистой низменности. Но Леонардо, со свойственным ему пристрастием к новым опытам, к неведомым путям в искусстве, упорствовал, не обращая внимания на советы и предостережения. От стенописи водяными красками отвращало его и то, что работа на только что наведенной влажной извести требует быстроты и решительности, тех именно свойств, которые были ему чужды. «Малого достигает художник не сомневающийся», утверж-

дал он. Эти необходимые для него сомнения, колебания, поправки, искания ощупью, бесконечная медлительность работы возможны были только в живописи масляными красками.

Наклонившись к стене, он рассматривал в увеличительное стекло поверхность картины. Вдруг, в левом нижнем углу, под скатертью стола, за которым сидели апостолы, у ног Варфоломея, увидел маленькую трещину и рядом, на чуть поблекших красках, бархатисто-белый, как иней, налет выступающей плесени.

Он побледнел. Но, тотчас же овладев собой, еще внимательнее продолжал осмотр.

Первый глиняный грунт покоробился, вследствие сырости, и отстал от стены, приподнимая верхний слой гипса с тонкою корою красок и образуя в ней неуловимые для глаза трещинки, сквозь которые просачивалось выпотение селитренной сырости из ветхих ноздреватых кирпичей.

Участь Тайной Вечери была решена: если самому художнику не суждено было видеть увядания красок, которые могли сохраниться лет сорок, даже пятьдесят, то все же не было сомнения в страшной истине: величайшее из его произведений погибло.

Перед тем, чтобы выйти из трапезной, взглянул он в последний раз на лик Христа и,— словно теперь только увидев его впервые,— вдруг понял, как это произведение ему дорого.

С гибелью Тайной Вечери и Колосса порывались последние нити, которые связывали его с живыми людьми, если не с ближними, по крайней мере, с дальними, теперь одиночество его становилось еще безнадежнее.

Глиняная пыль Колосса развеется ветром; на стене, где был лик Господень, тусклую чешую облупившихся красок покроет плесень, и все, чем он жил, исчезнет как тень.

Он вернулся домой, сошел в подземелье и, проходя через комнату, где лежал Астро, остановился на минуту. Бельтраффио делал больному примочки из холодной воды.

— Опять жар? — спросил учитель.

— Да, бредит.

Леонардо наклонился, чтобы осмотреть перевязку, и прислушался к быстрому бессвязному лепету.

— Выше, выше! Прямо к солнцу. Не загорелись бы крылья. Маленький? Откуда? Как твое имя? Механика? Никогда я не слыхивал, чтобы черта звали Механикой. Чего зубы скалишь?.. Ну же, брось. Пошутил и довольно.

Тащит, тащит... Не могу, погоди,— дай вздохнуть... Ох, смерть моя!..

Крик ужаса вырвался из груди его. Ему казалось, что он падает в бездну.

Потом опять забормотал поспешно:

— Нет, нет, не смейтесь над ним! Моя вина. Он говорил, что крылья не готовы. Кончено... Осрамил, осрамил я учителя!.. Слышите? Что это? Знаю, о нем же, о маленьком, о самом тяжелом из дьяволов — о Механике!..

— «И повел Его дьявол во Иерусалим,— продолжал больной нараспев, как читают в церкви,— и поставил на крыле храма и сказал Ему: если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано: ангелам своим заповедает о Тебе сохранить Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею»... А вот и забыл, что ответил Он бесу Механики? Не помнишь, Джованни?

Он посмотрел на Бельтраффио почти сознательным взором.

Тот молчал, думая, что он все еще бредит.

— Не помнишь? — настаивал Астро.

Чтобы успокоить его, Джованни привел стих двенадцатой главы четвертой Евангелия от Луки:

— «Иисус Христос сказал ему в ответ: сказано, не искушай Господа Бога Твоего!»

— «Не искушай Господа Бога Твоего!» — повторил больной с невыразимым чувством,— но тотчас же опять начал бредить:

— Синее, синее, ни облачка... Солнца нет и не будет — и вверху, и внизу только синее небо. И крыльев не надо. О, если бы учитель знал, как хорошо, как мягко падать в небо!..

Леонардо смотрел и думал:

«Из-за меня, и он из-за меня погибает! Соблазнил единого от малых сих, сглазил я и его, как Джованни!..»

Он положил руку на горячий лоб Астро. Больной мало-помалу затих и задремал.

Леонардо вошел в свою подземную келью, зажег свечу и погрузился в вычисления.

Для избежания новых ошибок в устройстве крыльев изучал он механику ветра — течений воздуха, по механике волн — течений воды.

«Если ты бросишь два камня одинаковой величины в спокойную воду на некотором расстоянии один от другого,— писал он в дневнике,— то на поверхности образу-

ются два расходящихся круга. Спрашивается: когда один круг, постепенно расширяясь, встретится с другим, соответственным, войдет ли он в него и разрежет, или удары волн отразятся в точках соприкосновения под равными углами?»

Простота, с которою природа решала эту задачу механики, так пленила его, что сбоку на полях он приписал: «Questo è bellissimo, questo è sottile! — Вот прекраснейший вопрос и тонкий!»

«Отвечаю на основании опыта,— продолжал он.— Круги пересекутся, не сливаясь, не смешиваясь и сохраняя постоянными средоточиями оба места, где камни упали».

Сделав вычисление, убедился, что математика законами внутренней необходимости разума оправдывает естественную необходимость механики.

Часы за часами пролетали неслышно. Наступил вечер.

Поужинав и отдохнув в беседе с учениками, Леонардо снова принялся за работу.

По знакомой остроте и ясности мыслей предчувствовал, что приближается к великому открытию.

«Посмотри, как ветер в поле гонит волны ржи, как они струятся, одна за другой, а стебли, склоняясь, остаются недвижными. Так волны бегут по недвижной воде; эту рябь от брошенного камня или ветра должно назвать скорее дрожью воды, чем движением,— в чем можешь убедиться, бросив соломинку на расходящиеся круги волн, и наблюдая, как она колеблется, не двигаясь».

Опыт с соломинкой напомнил ему другой, подобный же, который он уже делал, изучая законы движения звуков. Перевернув несколько страниц, прочел в дневнике: «Удару в колокол отвечает слабой дрожью и гулом другой, соседний колокол; струна, звучащая на лютне, заставляет звучать на соседней лютне струну того же звука, и если положишь на нее соломинку, увидишь, как она дрожит».

С невыразимым волнением чуял он связь между этими двумя, столь разными явлениями — целый неоткрытый мир познания между трепетными соломинками — одной на ряби волн, другой на ответно звенящей струне.

И вдруг внезапная, как молния, ослепляющая мысль сверкнула в уме его:

«Один закон механики и здесь, и там! Как волны по воде от брошенного камня, так волны звуков расходятся в воздухе, пересекаясь, не смешиваясь и храня средоточием место рождения каждого звука. — А свет? Как эхо

есть отражение звука, так отражение света в зеркале есть эхо света. Единый закон механики во всех явлениях силы. Единая воля и справедливость Твоя, Первый Двигатель: угол падения равен углу отражения!»

Лицо его было бледно, глаза горели. Он чувствовал, что снова, и на этот раз так страшно близко, как еще никогда, заглядывает в бездну, в которую никто из живых до него не заглядывал. Он знал, что это открытие, если будет оправдано опытом, есть величайшее в механике со времен Архимеда.

Два месяца назад, получив от мессера Гвидо Берарди письмо с только что пришедшим в Европу известием о путешествии Васко да Гама, который, переплыв через два океана и обогнув южный мыс Африки, открыл новый путь в Индию, Леонардо завидовал. И вот теперь он имел право сказать, что сделал большее открытие, чем Колумб и Васко да Гама, что увидел более таинственные дали нового неба и новой земли.

За стеной раздался стон больного. Художник прислушался и сразу вспомнил свои неудачи — бессмысленное разрушение Колосса, бессмысленную гибель Тайной Вечери, глупое и страшное падение Астро.

«Неужели,— думал он,— и это открытие погибнет так же бесследно, так же бесславно, как все, что я делаю? Неужели никто никогда не услышит голоса моего, и вечно буду я один, как теперь,— во мраке, под землей, точно заживо погребенный,— с мечтою о крыльях?»

Но эти мысли не заглушили в нем радости.

— Пусть — один. Пусть во мраке, в молчании, в забвении. Пусть никто никогда не узнает. Я знаю!

Такое чувство силы и победы наполнило душу его, как будто те крылья, которых он жаждал всю жизнь, были уже созданы и подымали его ввысь.

Ему стало тесно в подземелье, захотелось неба и простора.

Выйдя из дому, направился он к Соборной площади.

VII

Ночь была ясная, лунная. Над крышами домов вспыхивали дымно-багровые зарева пожаров. Чем ближе к середине города, к площади Бролетто, тем гуще становилась толпа. То в глубоком сиянии луны, то в красном свете факелов выступали искаженные яростью лица, мелькали белые, с алыми крестами, знамена Миланской Коммуны,

шесты с подвешенными фонарями, аркебузы, мушкеты, пищали, булавы, палицы, копья, рогатины, косы, вилы, дреколья. Как муравьи, копошились люди, помогая волам тащить огромную старинную бомбарду из бочоночных досок, соединенных железными обручами. Гудел набат. Грохотали пушки. Французские наемники, засевшие в крепости, обстреливали улицы Милана. Осажденные хвастали, что, прежде чем сдадутся, в городе не останется камня на камне. И с гулом колоколов, с пушечным грохотом сливался бесконечный вопль народа:

— Бейте, бейте французов! Долой короля! Да здравствует Моро!

Все, что видел Леонардо, похоже было на страшный и нелепый сон.

У Восточных ворот, в Бролетто, на Рыбной площади вешали попавшего в плен пикардийского барабанщика, мальчика лет шестнадцати. Он стоял на лестнице, прислоненной к стене. Веселый балагур, златошвей Маскарелло исполнял должность палача. Накинув ему на шею веревку и слегка ударив по голове пальцами, произнес он с шутовской торжественностью:

— Раб Божий, французский пехотинец «Перескочи-Куст», прозвищем На-брюхе-шелк-а-в-брюхе-щелк в рыцари Пенькового Ожерелья посвящается. Во имя Отца и Сына и Духа Святого!

— Аминь! — ответила толпа.

Барабанщик, должно быть, плохо понимая, что с ним происходит, быстро и часто моргал глазами, как дети, готовые заплакать,— ежился и, крутя тонкою шеей, поправлял петлю. Странная улыбка не сходила с губ его. Вдруг в последнее мгновение, как будто очнувшись от столбняка, повернул он к толпе свое удивленное, сразу побледневшее, хорошенькое личико, попытался что-то сказать, о чем-то попросить. Но толпа заревела. Мальчик слабо и покорно махнул рукою, вынул из-за пазухи серебряный крестик, подарок сестры или матери, на голубой тесемке, и, торопливо поцеловав его, перекрестился. Маскарелло столкнул его с лестницы и весело крикнул:

— А ну-ка, рыцарь Пенькового Ожерелья, покажи, как пляшут французскую гальярду!

При общем смехе тело мальчика повисло на крюке подсвечника для факелов, задергалось в предсмертной судороге, точно в самом деле заплясало.

Пройдя несколько шагов, Леонардо увидел старуху, одетую в лохмотья, которая, стоя на улице перед вет-

хим домишком, только что развалившимся от пушечных ядер, среди нагроможденной кухонной посуды, домашней рухляди, пуховиков и подушек, протягивала голые, костлявые руки и вопила:

— Ой, ой, ой! Помогите!

— Что с тобой, тетка? — спросил башмачник Корболо.

— Мальчика, мальчика задавило! В постельке лежал... Пол провалился... Может быть, жив еще... Ой, ой, ой! Помогите!..

Чугунное ядро, разрывая воздух с визгом и свистом, шлепнулось в покосившуюся кровлю домика. Балки треснули. Пыль взвилась столбом. Кровля рухнула, и женщина умолкла.

Леонардо подошел к Ратуше. Против Лоджии Озиев у Меняльного ряда школяр, должно быть, студент Павийского университета, стоя на скамье, служившей ему кафедрой, ораторствовал о величии народа, о равенстве бедных и богатых, о низвержении тиранов. Толпа слушала недоверчиво.

— Граждане! — выкрикивал школяр, размахивая ножом, который в обычное время служил ему для мирных надобностей — чинки гусиных перьев, разрезывания белой колбасы из мозгов — черверлаты, изображения пронзенных стрелами сердец с именами трактирных нимф на коре вязов в подгородных рощах, и который теперь называл он «кинжалом Немезиды».— Граждане, умрем за свободу! Омочим кинжал Немезиды в крови тиранов! Да здравствует республика!

— Что он такое врет? — послышались голоса в толпе.— Знаем мы, какая у вас на уме свобода, предатели, шпионы французские! К черту республику! Да здравствует герцог! Бейте изменника!

Когда оратор стал пояснять свою мысль классическими примерами и ссылками на Цицерона, Тацита, Ливия,— его стащили со скамьи, повалили и начали бить, приговаривая:

— Вот тебе за свободу, вот тебе за республику! Так, так, братцы, в шею ему! Шалишь, брат, дудки,— не обманешь! Будешь помнить, как народ бунтовать против законного герцога!

Выйдя на площадь Аренго, Леонардо увидел лес белых стрельчатых игл и башен собора, подобных сталактитам, в двойном освещении, голубом от луны, красном от зарева пожаров.

Перед дворцом архиепископа из толпы, похожей на груду наваленных тел, слышались вопли.

— Что это? — спросил художник старика-ремесленника с испуганным, добрым и грустным лицом.

— Кто их разберет? Сами, поди, не знают. Шпион, говорят, подкупленный французами, рыночный викарий, мессер Джакопо Кротто. Отравленными припасами, будто бы, народ кормил. А может быть, и не он. Кто первый под руку попался, того и бьют. Страшное дело! О, Господи Иисусе Христе, помилуй нас, грешных!

Из груды тел выскочил Горгольо, выдувальщик стекла, махая, как трофеем, длинным шестом с воткнутой на конце окровавленной головой.

Уличный мальчишка Фарфаниккио бежал за ним, подпрыгивая, и визжал, указывая на голову:

— Собаке собачья смерть! Смерть изменникам!

Старик перекрестился набожно и проговорил слова молитвы:

— A furore populi libera nos, Domine! — От ярости народа избави нас, Боже!

Со стороны замка послышались трубные звуки, бой барабанов, треск аркебузной пальбы и крики солдат, шедших на приступ. В то же мгновение с бастионов крепости грянул выстрел, такой, что земля задрожала и, казалось, весь город рушится. Это был выстрел знаменитой гигантской бомбарды, медного чудовища, называвшегося у французов Margot la Folle, у немцев die Tolle Grete — Бешеная Маргарита.

Ядро ударилось за Борго-Нуово в горевший дом. Огненный столб взвился к ночному небу. Площадь озарилась красным светом — и тихое сияние луны померкло.

Люди, как черные тени, сновали, бегали, метались, обуянные ужасом.

Леонардо смотрел на эти человеческие призраки.

Каждый раз, как вспоминал он о своем открытии, — в блеске огня, в криках толпы, в гуле набата, в грохоте пушек чудились ему тихие волны звуков и света, которые, плавно колеблясь, как рябь по воде от упавшего камня, расходились в воздухе, пересекаясь, не сливаясь и храня средоточием место своего рождения. И великая радость наполняла душу его при мысли о том, что люди ничем никогда не могут нарушить этой бесцельной игры, этой гармонии бесконечных невидимых волн и царящего надо всем, как единая воля Творца, закона механики, закона справедливости — угол падения равен углу отражения.

Слова, которые некогда записал он в дневнике своем и потом столько раз повторял,— опять звучали в душе его:

«O, mirabile giustizia di te, primo Motore! — О, дивная справедливость Твоя, Первый Двигатель! Никакую силу не лишаешь Ты порядка и качества неминуемых действий. О, божественная необходимость! Ты принуждаешь все последствия вытекать кратчайшим путем из причины».

Среди толпы обезумевшего народа — в сердце художника был вечный покой созерцания, подобный тихому свету луны над заревом пожаров.

Утром 4 февраля 1500 года Моро въехал в Милан через ворота Порта-Нуово.

Накануне этого дня Леонардо отправился на виллу Мельци, Ваприо.

VIII

Джироламо Мельци служил при дворе Сфорца. Когда, лет десять назад, скончалась молодая жена его, он покинул двор, поселился в уединенной вилле, у подножия Альп, в пяти часах езды к северо-востоку от Милана, и зажил здесь философом, вдали от треволнений света, собственными руками обрабатывая сад и предаваясь изучению сокровенных знаний и музыки, которой был страстным любителем. Рассказывали, будто бы мессер Джироламо занимается черной магией для того, чтобы вызывать из мира загробного тень покойной жены.

Алхимик Галеотто Сакробоско и фра Лука Пачоли нередко гостили у него, проводя целые ночи в спорах о тайнах Платоновых Идей и о законах Пифагорейских Чисел, управляющих музыкой сфер. Но наибольшую радость доставляли хозяину посещения Леонардо.

Работая над сооружением канала Мартезаны, художник часто бывал в этих краях и полюбил прекрасную виллу.

Ваприо находилась на левом берегу реки Адды. Канал проложен был между рекой и садом. Здесь быстрое течение Адды преграждалось порогами. Слышен был непрерывный шум воды, напоминавший гул морского прибоя. В обрывистых берегах из выветренного желтого песчаника Адда стремила холодные зеленые волны — бур-

ная, вольная; а рядом зеркально гладкий, тихий канал, с такой же зеленою горною водою, как в Адде, но успокоенною, укрощенною, дремотно тяжелою, безмолвно скользил в прямых берегах. Эта противоположность казалась художнику полною вещего смысла: он сравнивал и не мог решить, что прекраснее — создание разума и воли человеческой, его собственное создание — канал Мартезана, или гордая, дикая сестра его, Адда; — сердцу его были одинаково близки и понятны оба течения.

С верхней площадки сада открывался вид на зеленую равнину Ломбардии между Бергамо, Тревильо, Кремоной и Брешей. Летом с необозримых поемных лугов пахло сеном. На тучных нивах буйная рожь и пшеница заслоняли до самых верхушек плодовые деревья, соединенные лозами так, что колосья целовались с грушами, яблоками, вишнями, сливами — и вся равнина казалась огромным садом.

К северу чернели горы Комо. Над ними возвышались полукругом первые отроги Альп, и еще выше, в облаках, сияли золотисто-розовые снежные вершины.

Между веселою равниною Ломбардии, где каждый уголок земли был возделан рукой человека, и дикими, пустынными громадами Альп Леонардо чувствовал такую же противоположность, полную гармонии, как между тихой Мартезаной и грозно бушующей Аддою.

Вместе с ним на вилле гостил фра Лука Пачоли и алхимик Сакробоско, дом которого у Верчельских ворот разрушен был французами. Леонардо держался в стороне от них, предпочитая уединение. Но зато с маленьким сыном хозяина, Франческо, он скоро сошелся.

Робкий, стыдливый, как девочка, мальчик долго дичился его. Но однажды, зайдя к нему в комнату по поручению отца, увидел разноцветные стекла, с помощью которых изучал художник законы дополнительных цветов. Леонардо предложил ему посмотреть сквозь них. Забава понравилась мальчику. Знакомые предметы принимали сказочный вид — то угрюмый, то радостный, то враждебный, то ласковый — смотря по тому, глядел ли он в желтое, голубое, красное, лиловое или зеленое стекло.

Понравилось ему и другое изобретение Леонардо — камера-обскура: когда на листе белой бумаги явилась живая картина, где можно было отчетливо видеть, как вертятся колеса мельницы, стая галок кружится над церковью, серый ослик дровосека Пеппо, навьюченный хворостом, перебирает ногами по грязной дороге, и верхуш-

ки тополей склоняются под ветром,— Франческо не выдержал — захлопал в ладоши от восторга.

Но более всего пленял его «дождемер», состоявший из медного кольца с делениями, палочки, подобной коромыслу весов, и двух подвешенных к ней шариков: одного — обернутого воском, другого — хлопчатой бумагой; когда воздух насыщался влагою, хлопок впитывал ее, обернутый им шарик тяжелел и, опускаясь, наклонял коромысло весов на несколько делений круга, по которым можно было с точностью измерить степень влажности, между тем как восковой — оставался для нее непроницаемым, по-прежнему легким. Таким образом, движения коромысла предвещали погоду за день или за два. Мальчик устроил свой собственный дождемер и радовался, когда, к удивлению домашних, исполнялись его предсказания.

В сельской школе старого аббата соседней каноники, дом Лоренцо, Франческо учился лениво: латинскую грамматику зубрил с отвращением; при виде замазанного чернилами зеленого корешка арифметики лицо его вытягивалось. Не такова была наука Леонардо; она казалась ребенку любопытною, как сказка. Приборы механики, оптики, акустики, гидравлики манили его к себе, словно живые волшебные игрушки. С утра до вечера не уставал он слушать рассказы Леонардо. Со взрослыми художник был скрытен, ибо знал, что всякое неосторожное слово может навлечь на него подозрения или насмешку. С Франческо говорил обо всем доверчиво и просто. Не только учил, но и сам учился у него. И, вспоминая слово Господне: «истинно, истинно говорю вам, ежели не обратитесь и не станете, как дети, не можете войти в царствие небесное»,— прибавлял: «не можете войти и в царствие познания».

В то время писал он «Книгу о звездах».

В мартовские ночи, когда первое дыхание весны уже веяло в еще холодном воздухе, стоя на крыше виллы вместе с Франческо, наблюдал он течение звезд, срисовывал пятна луны, чтобы впоследствии, сравнив их, узнать, не меняют ли они своих очертаний. Однажды мальчик спросил его, правда ли то, что говорит о звездах Пачоли, будто бы, как алмазы, вставлены они Богом в хрустальные сферы небес, которые, вращаясь, увлекают их в своем движении и производят музыку. Учитель объяснил, что, по закону трения, сферы, вращаясь в продолжение стольких тысяч лет с неимоверной быст-

ротою, разрушились бы, хрустальные края их истерлись бы, музыка прекратилась бы, и «неугомонные плясуньи» остановились бы в своем движении.

Проколов иголкою лист бумаги, он дал ему посмотреть сквозь отверстие. Франческо увидел звезды, лишенные лучей, похожие на светлые круглые бесконечно малые точки или шарики.

— Эти точки,— сказал Леонардо,— огромные, многие из них в сотни, в тысячи раз бо́льшие миры, чем наш, который, впрочем, отнюдь не хуже, не презреннее, чем все небесные тела. Законы механики, царящей на земле, открыва́емые разумом человеческим, управляют мирами и солнцами.

Так восстановлял он «благородство нашего мира».

— Такой же нетленною звездою,— говорил учитель,— такой же светлою пылинкою кажется земля обитателям других планет, как нам — эти миры.

Многого из слов его не понимал Франческо. Но когда, закинув голову, смотрел в звездное небо,— ему делалось страшно.

— Что же там, за звездами? — спрашивал он.

— Другие миры, Франческо, другие звезды, которых мы не видим.

— А за ними?

— Еще другие.

— Ну, а в конце, в самом конце?

— Нет конца.

— Нет конца? — повторил мальчик, и Леонардо почувствовал, что в руке его рука Франческо дрогнула,— при свете недвижного пламени лампады, горевшей на маленьком столике среди астрономических приборов, он увидел, что лицо ребенка покрылось внезапной бледностью.

— А где же,— медленно, с возрастающим недоумением произнес он,— где же рай, мессер Леонардо,— ангелы, угодники, Мадонна и Бог Отец, сидящий на престоле, и Сын, и Дух Святой?

Учитель хотел было возразить, что Бог — везде, во всех песчинках земли, так же как в солнцах и вселенных, но промолчал, жалея детскую веру.

IX

Когда деревья стали распускаться, Леонардо и Франческо, проводя целые дни в саду виллы или в соседних

рощах, наблюдали воскресающую жизнь растений. Порой художник срисовывал какое-нибудь дерево или цветок, стараясь уловить, как в портрете, живое сходство — то особенное, единственное лицо его, которое уже никогда нигде не повторится.

Он объяснял Франческо, как по числу кругов в стволе разрубленного дерева узнавать, сколько ему лет, и по толщине каждого из этих кругов степень влажности соответственного года, и в каком направлении росли ветви, ибо круги, обращенные к северу,— толще, а сердцевина ствола всегда находится к южной стороне дерева, нагреваемой солнцем, ближе, чем к северной.

Рассказывал ему, как вешний сок, собираясь между внутренней зеленой кожицей ствола — «рубашечкою» — и наружною корою, уплотняет, распирает, морщит ее, образуя в прошлогодних трещинах новые, более глубокие, и таким образом увеличивает объем растения. Ежели срезать сук или содрать кору, врачующая сила жизни стягивает к больному месту большее обилие питательной влаги, чем во все другие места, так что впоследствии на залеченной язве кора утолщается. И столь могущественно это стремление соков, что, достигнув поранения, не могут они остановиться с разбега, подымаются выше больного места и проступают наружу разными почкованиями — узловатыми наростами, «наподобие пузырей кипящей воды».

Сдержанно, как будто холодно и сухо, заботясь только о научной ясности, говорил Леонардо о природе. Нежную подробность весенней жизни растения определял с бесстрастною точностью, словно речь шла о мертвой машине: «угол ветви и ствола тем острее, чем ветвь моложе и тоньше». К отвлеченной математике сводил таинственные законы кристаллически правильного, конусообразного расположения хвойных игл на пихтах, соснах и елях.

А между тем, под этим бесстрастием и холодом Франческо угадывал любовь его ко всему живому — и к жалобно сморщенному, как личико новорожденного, листику, который природа поместила под шестым верхним листом, нарочно так, чтобы первому было светло, чтобы ничем не задерживалась капля дождя, стекающая к нему по стеблю,— и к древним могучим ветвям, которые тянутся из тени к солнцу, как молящие руки, и к силе растительных соков, которые устремляются на помощь к раненому месту, как живая кипящая кровь.

Порою в чаще леса останавливался он и долго с улыбкой глядел, как из-под увядших прошлогодних листьев

пробивается зеленая былинка, как в чашечку нераспустившегося подснежника с трудом пролезает пчела, слабая от зимней спячки. Кругом было так тихо, что Франческо слышал удары собственного сердца. Робко подымал он глаза на учителя: солнце сквозь полупрозрачные ветви озаряло белокурые волосы, длинную бороду и густые нависшие брови Леонардо, окружая голову его сиянием; лицо было спокойно и прекрасно; — в эти минуты походил он на древнего Пана, который прислушивается, как трава растет, как подземные родники лепечут и таинственные силы жизни пробуждаются.

Все было для него живым: вселенная — одним великим телом, как тело человека — малою вселенною.

В капле росы видел он подобие водной сферы, объемлющей землю. На шлюзах, в местечке Треццо, близ Ваприо, где начинался канал Мартезана, изучал он водопады, водовороты реки, которые сравнивал с волнами женских кудрей.

— Заметь,— говорил он,— как волосы следуют по двум течениям: одному — прямому, главному, по которому влечет их собственная тяжесть, другому — возвратному, которое завивает их в кольца кудрей. Так и в движении воды одна часть устремляется вниз, а другая образует водовороты, извивы струй, подобные локонам.

Художника привлекали эти загадочные сходства, созвучия в явлениях природы, как бы из разных миров перекликающиеся голоса.

Исследуя происхождение радуги, заметил он, что те же переливы красок встречаются и в перьях птиц, и в стоячей воде около гнилых корней, и в драгоценных камнях, и в жире на поверхности воды, и в старых мутных стеклах. В узорах инея на деревьях, на замерзших окнах находил он сходство с живыми листьями, цветами и травами,— как будто уже в мире ледяных кристаллов природе снятся вещие сны о растительной жизни.

И порою чувствовал, что подходит к великому новому миру познания, который, может быть, откроется только грядущим векам. Так, о силе магнита и янтаря, натертого сукном, писал в дневнике: «я не вижу способа, которым бы ум человеческий мог объяснить это явление. Полагаю, что сила магнита есть одна из многих неизвестных людям сил. Мир полон бесчисленными возможностями, никогда не воплощенными».

Однажды приехал к ним в гости поэт, живший близ Ваприо, в Бергамо, Джудотто Престинари. За ужином,

обидевшись на Леонардо, который недостаточно хвалил стихи его,— затеял он спор о преимуществах поэзии перед живописью. Художник молчал. Но, наконец, ожесточение стихотворца рассмешило его; он стал возражать ему полушутя:

— Живопись,— сказал, между прочим, Леонардо,— выше поэзии уже потому, что изображает дела Бога, а не человеческие вымыслы, которыми довольствуются поэты, по крайней мере, наших дней: они не изображают, а только описывают, заимствуя у других все, что имеют, торгуя чужими товарами; они только сочиняют — собирают старый хлам различных наук; их можно бы сравнить с продавцами краденых вещей...

Фра Лука, Мельци и Галеотто стали возражать, Леонардо мало-помалу увлекся и заговорил, уже без шутки:

— Глаз дает человеку более совершенное знание природы, чем ухо. Виденное достовернее слышанного. Вот почему живопись, немая поэзия, ближе к точной науке, чем поэзия, слепая живопись. В словесном описании — только ряд отдельных образов, следующих один за другим; в картине же все образы, все краски являются вместе, сливаясь в одно, подобно звукам в созвучии, что делает в живописи, так же как в музыке, возможной бóльшую степень гармонии, чем в поэзии. А там, где нет высшей гармонии, нет и высшей прелести.— Спросите любовника, что ему приятнее, портрет возлюбленной или описание, сделанное хотя бы величайшим поэтом.

Все невольно улыбнулись этому доводу.

— Вот какой случай был со мною,— продолжал Леонардо.— Одному флорентинскому юноше так понравилось женское лицо в моей картине, что он купил ее и хотел уничтожить те признаки, по которым видно было, что картина священная, дабы целовать без страха любимый образ. Но совесть преодолела желания любви. Он удалил картину из дома, так как иначе не было ему покоя. Ну-ка, стихотворцы, попробуйте, описывая прелесть женщины, возбудить в человеке такую силу страсти. Да, мессеры, скажу не о себе,— я знаю, сколь многого недостает мне,— но о таком художнике, который достиг совершенства: воистину, по силе созерцания, он уже не человек. Захочет быть зрителем небесной прелести, или образов чудовищных, смешных, плачевных, ужасных — надо всем он владыка, как Бог!

Фра Лука пенял учителю за то, что он не собирает и не печатает сочинений своих. Монах предлагал найти издателя. Но Леонардо упорно отказывался.

Он остался верен себе до конца: ни одна строка его не была напечатана при жизни. А между тем он писал свои заметки так, как будто вел беседу с читателем. В начале одного из дневников извинялся в беспорядке своих записок, в частых повторениях: «не брани меня за это, читатель, потому что предметы бесчисленны, и память моя не может вместить их, так чтобы знать, о чем было и о чем не было говорено в прежних заметках, тем более, что я пишу с большими перерывами, в разные годы жизни».

Однажды, желая представить развитие человеческого духа, нарисовал он ряд кубов: первый, падая, валит второй, второй — третий, третий — четвертый, и так без конца. Внизу надпись: «один толкает другого». И еще прибавлено: «эти кубы обозначают поколения и познания человеческие».

На другом рисунке изобразил плуг, взрывающий землю, с надписью: «*Упрямая суровость*».

Он верил, что очередь и до него дойдет в ряду падающих кубов,— что когда-нибудь люди откликнутся и на его призыв.

Он подобен был человеку, проснувшемуся в темноте, слишком рано, когда все еще спят. Одинокий среди ближних, писал он свои дневники сокровенными письменами для дальнего брата, и для него, в предутренней мгле, пустынный пахарь вышел в поле пролагать таинственные борозды плугом, с «упрямой суровостью».

X

В последних числах марта на виллу Мельци стали приходить все более тревожные вести. Войско Людовика XII, под начальством сира де ла Тремуйля, перевалило через Альпы. Моро, подозревая измену солдат, уклонялся от битвы и, томимый суеверными предчувствиями, сделался «трусливее женщины».

Слухи о войне и политике доходили как слабый, заглушенный гул на виллу Ваприо.

Не думая ни о французском короле, ни о герцоге, Леонардо с Франческо блуждали по окрестным холмам, долинам и рощам. Иногда уходили вверх по течению реки в лесистые горы. Здесь нанимал он рабочих и делал раскопки, отыскивая допотопные раковины, окаменелых морских животных и водоросли.

Однажды, возвращаясь с прогулки, сели они отдохнуть под старою липою, на крутом берегу Адды, над об-

рывом. Бесконечная равнина, с рядами придорожных тополей и вязов, расстилалась у ног их. В свете вечернего солнца виднелись приветные белые домики Бергамо. Снежные громады Альп, казалось, реяли в воздухе. Все было ясно. Только вдали, почти на самом краю неба, между Тревильо, Кастель Роццоне и Бриньяно, клубилось дымное облачко.

— Что это? — спросил Франческо.

— Не знаю,— ответил Леонардо.— Может быть, сражение... Вон, видишь, огоньки. Как будто пушечные выстрелы. Не стычка ли французов с нашими?

В последние дни такие случайные перестрелки все чаще виднелись то здесь, то там на равнине Ломбардии.

Несколько мгновений глядели они молча на облачко. Потом, забыв о нем, стали рассматривать добычу последних раскопок. Учитель взял в руки большую кость, острую, как игла, еще покрытую землею,— должно быть из плавника допотопной рыбы.

— Сколько народов,— произнес он задумчиво, как будто про себя, и лицо его озарилось тихою улыбкою,— сколько царей уничтожило время с тех пор, как эта рыба с дивным строением тела уснула в глубоких извилинах пещеры, где мы нашли ее сегодня. Сколько тысячелетий пронеслось над миром, какие перевороты совершились в нем, пока лежала она в тайнике, отовсюду закрытом, подпирая тяжелые глыбы земли голыми костями остова, разрушенного терпеливым временем!

Он обвел рукою расстилавшуюся перед ними равнину.

— Все, что ты видишь здесь, Франческо, было некогда дном океана, покрывавшего большую часть Европы, Африки и Азии. Морские животные, которых мы находим в здешних горах, свидетельствуют о тех временах, когда вершины Апеннин были островами великого моря, и над равнинами Италии, где ныне реют птицы, плавали рыбы...

Они взглянули опять на далекий дымок с искрами пушечных выстрелов. Теперь показался он им таким маленьким в бесконечной дали, таким безмятежным и розовым в лампадном сиянии вечернего солнца, что трудно было поверить, что там — сражение, и люди убивают друг друга.

Стая птиц пролетела по небу. Следя за ними взором, Франческо старался вообразить себе рыб, некогда плававших здесь, в волнах великого моря, такого же глубокого и пустынного, как небо.

Они молчали. Но в это мгновение оба чувствовали одно и то же: не все ли равно, кто кого победит — французы ломбардцев или ломбардцы французов, король или герцог, свои или чужие? Отечество, политика, слава, война, падение царств, возмущение народов — все, что людям кажется великим и грозным, не похоже ли на это маленькое, в вечернем свете тающее облачко — среди вечной ясности природы?

XI

На вилле Ваприо окончил Леонардо картину, которую начал много лет назад, еще во Флоренции.

Матерь Божия, среди скал, в пещере, обнимая правою рукою младенца Иоанна Крестителя, осеняет левою — Сына, как будто желая соединить обоих — человека и Бога — в одной любви. Иоанн, сложив благоговейно руки, преклонил колено перед Иисусом, который благословляет его двуперстным знамением. По тому, как Спаситель-младенец, голый на голой земле, сидит, подогнув одну пухлую с ямочками ножку под другую, опираясь на толстую ручку, с растопыренными пальчиками, видно, что он еще не умеет ходить — только ползает. Но в лице Его — уже совершенная мудрость, которая есть в то же время и детская простота. Коленопреклоненный ангел, одной рукой поддерживая Господа, другой указывая на Предтечу, обращает к зрителю полное скорбным предчувствием лицо свое с нежной и странной улыбкой. Вдали, между скалами, влажное солнце сияет сквозь дымку дождя над туманно голубыми, тонкими и острыми горами, вида необычайного, неземного, похожими на сталактиты. Эти скалы, как будто изглоданные, источенные соленой волной, напоминают высохшее дно океана. И в пещере — глубокая тень, как под водой. Глаз едва различает подземный родник, круглые лапчатые листья водяных растений, слабые чашечки бледных ирисов. Кажется, слышно, как медленные капли сырости падают сверху, с нависшего свода черных слоистых скал доломита, просочившись между корнями ползучих трав, хвощей и плаунов. Только лицо Мадонны, полудетское, полудевичье, светится во мраке, как тонкий алебастр с огнем внутри. Царица Небесная является людям впервые в сокровенном сумраке, в подземной пещере, быть может, убежище древнего Пана и нимф, у самого сердца природы, как тайна всех тайн,— Матерь Богочеловека в недрах Матери Земли.

Это было создание великого художника и великого ученого вместе. Слияние тени и света, законы растительной жизни, строение человеческого тела, строение земли, механика складок, механика женских кудрей, которые вьются, как струи водоворотов, так что угол падения равен углу отражения,— все, что ученый исследовал с «упрямою суровостью», пытал и мерил с бесстрастною точностью, рассекал, как безжизненный труп,— художник вновь соединил в божественное целое, превратил в живую прелесть, в немую музыку, в таинственный гимн Пречистой Деве, Матери Сущего. С равною любовью и знанием изобразил он тонкие жилки в лепестках ириса, и ямочку в пухлом локотке младенца, и тысячелетнюю морщину в доломитовом утесе, и трепет глубокой воды в подземном источнике, и трепет глубокой печали в улыбке ангела.

Он знал все и все любил, потому что великая любовь есть дочь великого познания.

XII

Алхимик Галеотто Сакробоско задумал сделать опыт с «тростью Меркурия». Так назывались палки из миртового, миндального, тамаринового или какого-либо иного «астрологического» дерева, имеющего, будто бы, сродство с металлами. Палки эти служили для указания в горах медных, золотых и серебряных жил.

С этою целью отправился он с мессером Джироламо на восточный берег озера Лекко, где было много приисков. Леонардо сопровождал их, хотя не верил в трость Меркурия и смеялся над нею так же, как над прочими бреднями алхимиков.

Недалеко от селения Манделло, у подножия горы Кампионе, был железный рудник. Окрестные жители рассказывали, что несколько лет назад обвал похоронил в нем множество рабочих, что в самой глубине его серные пары вырываются из щели, и камень, брошенный в нее, летит с бесконечным, постепенно замирающим гулом, не достигая дна, ибо у пропасти нет дна.

Эти рассказы возбудили любопытство художника. Он решил, пока товарищи будут заняты опытами с тростью Меркурия, исследовать покинутый рудник. Но поселяне, полагая, что в нем обитает нечистая сила, отказывались проводить его. Наконец, один старый рудокоп согласился.

Крутой, темный, наподобие колодца, подземный ход, с полуразвалившимися скользкими ступенями, спускаясь

по направлению к озеру, вел в шахты. Проводник с фонарем шел впереди; за ним — Леонардо, неся на руках Франческо. Мальчик, несмотря на просьбы отца и отговорки учителя, умолил взять его с собой.

Подземный ход становился все уже и круче. Насчитали более двухсот ступеней, а спуск продолжался, и казалось, конца ему не будет. Снизу веяло душною сыростью. Леонардо ударял заступом в стены, прислушиваясь к звуку, рассматривая камни, слои почвы, яркие слюдяные блестки в жилах гранита.

— Страшно? — спросил он с ласковой улыбкой, чувствуя, как Франческо прижимается к нему.

— Нет, ничего,— с вами я не боюсь.

И помолчав, прибавил тихо:

— Правда ли, мессер Леонардо,— отец говорит, будто бы вы скоро уедете?

— Да, Франческо.

— Куда?

— В Романью, на службу к Чезаре, герцогу Валентино.

— В Романью? Это далеко?

— В нескольких днях пути отсюда.

— В нескольких днях! — повторил Франческо.— Значит, мы больше не увидимся?

— Нет, отчего же? Я приеду к вам, как только можно будет.

Мальчик задумался; потом вдруг обеими руками с порывистою нежностью обнял шею Леонардо, прижался к нему еще крепче и прошептал:

— О, мессер Леонардо, возьмите, возьмите меня с собой.

— Что ты, мальчик? Разве тебе можно? Там война...

— Пусть война! Я же говорю, что с вами ничего не боюсь!.. Вот ведь, как страшно здесь, а если и еще страшнее, я не боюсь!.. Я буду вашим слугою, платье буду чистить, комнаты мести, лошадям корм задавать, еще, вы знаете, я раковины умею находить и растения углем печатать на бумаге. Ведь вы же сами намедни говорили, что я хорошо печатаю. Я все, все, как большой, буду делать, что вы прикажете... О, только возьмите меня, мессер Леонардо, не покидайте!..

— А как же мессер Джироламо? Или, ты думаешь, он тебя отпустит со мной?..

— Отпустит, отпустит! Я упрошу его. Он добрый. Не откажет, если буду плакать... Ну, а не отпустит, так я потихоньку уйду... Только скажите, что можно... Да?

— Нет, Франческо,— я ведь знаю, ты только так говоришь, а сам не уйдешь от отца. Он старый, бедный, и ты его жалеешь...

— Жалею, конечно я жалею... Но ведь и вас. О, мессер Леонардо, вы не знаете, думаете, я маленький. А я все знаю! Тетка Бона говорит, что вы колдун, и школьный учитель дон Лоренцо тоже говорит, будто вы злой и с вами я душу могу погубить. Раз, когда он нехорошо говорил о вас, я ему такое ответил, что он меня чуть не высек. И все они боятся вас. А я не боюсь, потому что вы лучше всех, и я хочу всегда быть с вами!..

Леонардо молча гладил его по голове, и почему-то вспоминалось ему, как несколько лет назад также нес он в объятиях своих того маленького мальчика, который изображал Золотой Век на празднике Моро.

Вдруг ясные глаза Франческо померкли, углы губ опустились, и он прошептал:

— Ну, что же? И пусть, пусть! Я ведь знаю, почему вы не хотите взять меня с собой. Вы не любите... А я...

Он зарыдал неудержимо.

— Перестань, мальчик. Как тебе не стыдно? Лучше послушай, что я тебе скажу. Когда ты вырастешь, я возьму тебя в ученики, и славно заживем вместе и уже никогда не расстанемся.

Франческо поднял на него глаза, с еще блестевшими на длинных ресницах слезами, и посмотрел пытливым, долгим взором.

— Правда, возьмете? Может быть, вы только так говорите, чтобы утешить меня, а потом забудете?..

— Нет, обещаю тебе, Франческо.

— Обещаете? А через сколько лет?

— Ну, через восемь-девять, когда тебе будет пятнадцать...

— Девять,— пересчитал он по пальцам.— И мы уж больше никогда не расстанемся?

— Никогда, до самой смерти.

— Ну, хорошо,— если наверное, только уж наверное — через восемь лет?

— Да, будь спокоен.

Франческо улыбнулся ему счастливой улыбкой, ласкаясь особенной, им изобретенной, лаской, которая состояла в том, чтобы тереться, как это делают кошки, о лицо его щекою.

— А знаете, мессер Леонардо, как это удивительно! Мне снилось раз, будто я спускаюсь в темноте по длин-

ным, длинным лестницам, вот так же точно, как теперь, и будто это всегда было и будет, и нет им конца. И кто-то несет меня на руках. Лица я не вижу. Но знаю, что это матушка. Ведь я ее не помню: она умерла, когда я был очень маленький. И вот теперь — этот сон наяву. Только — вы, а не матушка. Но с вами мне так же хорошо, как с нею. И не страшно...

Леонардо взглянул на него с бесконечною нежностью.

В темноте глаза ребенка сияли таинственным светом. Он протянул к нему свои губы доверчиво, точно в самом деле к матери. Учитель поцеловал их — и ему казалось, что в этом поцелуе Франческо отдает ему душу свою.

Чувствуя, как у сердца его бьется сердце ребенка,— твердым шагом, с неутолимою пытливостью, за тусклым фонарем, по страшной лестнице железного рудника, Леонардо спускался все ниже и ниже в подземный мрак.

XIII

Возвратившись домой, обитатели Ваприо были встревожены вестью, что французские войска приближаются.

Разгневанный король в отмщение за измену и бунт отдавал Милан на разграбление наемникам. Кто мог, спасался в горы. По дорогам тянулись возы, нагруженные скарбом, с плачущими детьми и женщинами. Ночью из окон виллы виднелись на равнине «красные петухи» — зарево пожаров. Со дня на день ожидали сражения под стенами Новары, которое должно было решить участь Ломбардии.

Однажды фра Лука Пачоли, вернувшись на виллу из города, сообщил о последних страшных событиях.

10 апреля назначена была битва. Утром, когда герцог, выйдя из Новары, уже в виду неприятеля строил войска, главная сила его, швейцарские наемники, подкупленные маршалом Тривульцио, отказались идти в сражение. Герцог со слезами умолял их не губить его и клялся отдать им, в случае победы, часть своих владений. Они остались непреклонны. Моро переоделся монахом и хотел бежать. Но один швейцарец из Люцерна, по имени Шаттенхальб, указал на него французам. Герцога схватили и отвели к маршалу, который заплатил швейцарцам тридцать тысяч дукатов — «тридцать сребреников Иуды-предателя».

Людовик XII поручил сиру де ла Тремуйлю доставить пленника во Францию. Того, кто, по выражению

придворных поэтов, «первый после Бога правил колесом Фортуны, кормилом вселенной», повезли на телеге, в решетчатой клетке, как пойманного зверя. Рассказывали, будто бы герцог просил у тюремщиков, как особой милости, позволения взять с собой во Францию «Божественную Комедию» Данте.

Пребывание на вилле с каждым днем становилось опаснее. Французы опустошали Ломеллину, ландскнехты — Сеприо, венецианцы — область Мартезаны. Разбойничьи шайки бродили по окрестностям Ваприо. Мессер Джироламо с Франческо и теткою Боною собирался в Киавенну.

Леонардо проводил последнюю ночь на вилле Мельци. По обыкновению, отмечал он в дневнике все, что слышал и видел любопытного в течение дня.

«Когда хвост у птицы маленький,— писал он в ту ночь,— а крылья широкие,— она сильно взмахивает ими, повертываясь так, чтобы ветер дул ей прямо под крылья и подымал ее вверх, как я наблюдал это в полете молодого ястреба над каноникой Ваприо, слева от дороги в Бергамо, утром 14 апреля 1500 года».

И рядом на той же странице:

«Моро потерял государство, имущество, свободу, и все дела его кончились ничем».

Более ни слова — как будто гибель человека, с которым провел он шестнадцать лет, низвержение великого дома Сфорца для него были менее важны и любопытны, чем пустынный полет хищной птицы.

ОДИННАДЦАТАЯ КНИГА

БУДУТ КРЫЛЬЯ

I

В Тоскане, между Пизой и Флоренцией, недалеко от города Эмполи, на западном склоне Монте-Альбано находилось селение Винчи — родина Леонардо.

Устроив дела свои во Флоренции, художник пожелал, перед отъездом в Романью на службу к Чезаре Борджа, посетить это селение, где жил старый дядя его, сире Франческо да Винчи, брат отца, разбогатевший на шелковом промысле. Один из всей семьи любил он племянника. Художнику хотелось повидать его и, если возможно, поселить в доме сире Франческо ученика своего, механика Зороастро да Перетола, который все еще не оправился от последствий страшного падения. Ему грозила опасность остаться на всю жизнь калекою. Горный воздух, сельская тишина и спокойствие, надеялся учитель, помогут больному лучше всякого лечения.

Леонардо выехал из Флоренции, один, верхом на муле, через ворота Аль-Прато, вниз по течению Арно. У города Эмполи, покинув долину реки с большою Пизанскою дорогою, свернул на узкую проселочную, извивавшуюся по невысоким однообразным холмам.

День был не жаркий, облачный. Мутно-белое, заходившее в тумане солнце, с жидким рассеянным светом, предвещало северный ветер.

Кругозор по обсим сторонам дороги ширился. Холмы незаметно и плавно, как волны, подымались. За ними чувствовались горы. На лужайках росла не густая и не яркая весенняя трава. И все кругом было не яркое, тихое, зеленовато-серое, простое, почти бедное, напоминающее север,— поля с бледными колосьями, бесконечные виноградники с каменными стенами и, в равном расстоянии одна от другой, оливы с коленчатыми, крепкими стволами, бро-

савшие на землю тонкие, переплетенные, паукообразные тени. Кое-где, перед одинокою часовнею, пустынным загородным домом с гладкими желтыми стенами, с редкими, неправильно расположенными решетчатыми окнами и черепичными навесами для земледельческих орудий, на тихой ровной дали уже показавшихся, тоже сероватых гор, резко и стройно выделялись ряды угольно-черных, кругло-острых, как веретена, кипарисов, подобных тем, какие можно видеть на картинах старых флорентинских мастеров.

Горы вырастали. Чувствовался медленный, но непрерывный подъем. Дышалось легче. Путник миновал Сант-Аузано, Калистри, Лукарди, капеллу Сан-Джованни.

Темнело. Облака рассеялись. Замигали звезды. Ветер свежел. Это было начало пронзительно-холодного и звонко-ясного северного ветра — трамонтано.

Вдруг, за последним крутым поворотом, сразу открылось селение Винчи. Тут уже почти не было ровного места. Холмы перешли в горы, равнина — в холмы. И к одному из них, небольшому, острому, прилепилось каменное тесное селение. На сумеречном небе тонко и легко подымалась черная башня старой крепости. В окнах домов мерцали огни.

У подножия горы, на перекрестке двух дорог, лампада освещала в углублении стены с детства знакомое художнику изваяние Божьей Матери из глины, покрытой глянцевитой белой и синей глазурью. Перед Мадонной стояла на коленях, согнувшись и закрыв лицо руками, женщина в бедном темном платье, должно быть, поселянка.

— Катарина,— прошептал Леонардо имя своей покойной матери, тоже простой поселянки из Винчи.

Переехав через мост над быстрою горною речкою, взял он вправо, узкою тропинкою между садовыми оградами. Здесь было уже совсем темно. Ветвь розового куста, свесившаяся через ограду, тихонько задела его по лицу, как будто поцеловав в темноте, и пахнула душистою свежестью.

Перед ветхими деревянными воротами в стене он спешился, поднял камень и ударил в железную скобу. Это был дом, некогда принадлежавший деду его, Антонио да Винчи — ныне дяде Франческо, где Леонардо провел свои детские годы.

Никто не откликнулся. В тишине слышалось журчание потока Молине-ди-Гатте, на дне оврага. Наверху, в селе-

нии, разбуженные стуком, собаки залаяли. Им ответил на дворе хриплым, надтреснутым лаем, должно быть, очень дряхлый пес.

Наконец, вышел с фонарем седой сгорбленный старик. Он был туг на ухо и долго не мог понять, кто такой Леонардо. Но когда узнал его, то заплакал от радости, едва не выронил фонарь, кинулся целовать руки господина, которого лет сорок или более назад носил на собственных руках,— и все повторял сквозь слезы: «О, синьор, синьор, мой Леонардо!» Дворовый пес лениво, видимо только из угождения старому хозяину, вилял опущенным хвостом. Джан-Баттиста,— так звали старика садовника,— сообщил, что сире Франческо уехал в свой виноградник у Мадонны дель'Эрта, откуда хотел быть в Марчильяну, где знакомый монах лечил его от боли в пояснице златотысячной настойкой, и что вернется он дня через два. Леонардо решил подождать, тем более, что на следующий день утром должны были приехать из Флоренции Зороастро и Джованни Бельтраффио.

Старик повел его в дом, где в это время никого не было,— дети Франческо жили во Флоренции,— засуетился, позвал хорошенькую белокурую шестнадцатилетнюю внучку и начал заказывать ужин. Но Леонардо попросил только винчианского вина, хлеба и родниковой воды, которой славилось имение дяди. Сире Франческо, несмотря на достаток, жил так же, как отец его, дед и прадед, с простотою, которая могла бы казаться бедностью человеку, привыкшему к удобствам больших городов.

Художник вступил в столь ему знакомую нижнюю комнату, в одно и то же время приемную и кухню, с немногими неуклюжими стульями, скамьями и сундуками из потемневшего, зеркально гладкого от старости, точеного дерева, с поставцом для тяжелой оловянной посуды, с продольными закоптелыми балками потолка, с подвешенными к ним пучками сушеных лекарственных трав, с голыми белыми стенами, огромным закоптелым очагом и кирпичным полом. Единственной новизной были толстые, мутно-зеленые, с ячейкообразными круглыми гранями, стекла в окнах. Леонардо помнил, что в детские годы его окна были затянуты, как и во всех домах тосканских поселян, навощенным холстом, так что в комнатах и днем был сумрак. А в верхних покоях, служивших спальнями, закрывались они лишь деревянными ставнями, и нередко по утрам в зимнюю стужу, которая в этих местах бывает суровою, вода в рукомойниках замерзала.

Садовник развел огонь из душистого горного вереска и можжевельника — джинепри, зажег маленькую, висевшую внутри камина на медной цепочке глиняную лампаду с длинным узким горлом и ручкою, подобною тем, какие находятся в древних этрусских гробницах. Ее изящный, нежный облик в простой, бедной комнате казался еще прелестнее. Здесь, в полудиком уголке Тосканы, в крови, в языке, в домашней утвари, в обычаях народа, сохранились отпечатки незапамятной древности — следы этрусского племени.

Пока молодая девушка хлопотала, ставя на стол круглый пресный хлеб, плоский, похожий на лепешку, блюдо с латуковым салатом в уксусе, кувшин с вином и сушеные фиги, Леонардо взошел по скрипучей лестнице в верхние покои. И здесь было все по-старому. Посередине просторной, низкой горницы — та же громадная четырехугольная кровать, где могло поместиться целое семейство, и где добрая бабушка, мона Лучиа, жена Антонио да Винчи некогда спала вместе с маленьким Леонардо. Теперь семейное святохранимое ложе досталось по наследству дяде Франческо. Так же у изголовья на стене висело Распятие, образок Мадонны, раковина для святой воды, пучок серой сухой травы, называвшейся «туманом» — «неббиа», и ветхий листик с латинской молитвой.

Он вернулся вниз, сел у огня, выпил воды с вином из деревянной круглой чашки,— у нее был свежий запах оливы, который также напомнил ему самое далекое детство,— и, оставшись один, когда Джан-Баттиста с внучкой ушли спать, погрузился в ясные, тихие думы.

II

Он думал об отце своем, нотариусе Флорентинской Коммуны, сире Пьеро да Винчи, которого видел на днях во Флоренции, в его собственном благоприобретенном доме на бойкой улице Джибеллино,— семидесятилетнем, еще бодром старике с красным лицом и белыми курчавыми волосами. Леонардо не встречал во всю свою жизнь человека, который бы любил жизнь такой простодушной любовью, как сире Пьеро. В былые годы нотариус питал отеческую нежность к своему незаконнорожденному первенцу. Но когда подросли двое младших законных сыновей, Антонио и Джульяно,— опасаясь, как бы отец не выделил старшему часть наследства, они старались поссорить Леонардо с отцом. В последнее свидание он чув-

ствовал себя чужим в семье. Особенное сокрушение по поводу распространявшихся в это время слухов об его безбожии выказал брат Лоренцо, почти мальчик по летам, но уже деловитый — ученик Савонаролы, «плакса», добродетельный и скопидомный лавочный сиделец цеха флорентинских шерстников. Нередко заговаривал он с художником при отце о христианской вере, о необходимости покаяния, смиренномудрия, о еретических мнениях некоторых нынешних философов и на прощание подарил ему душеспасительную книжку собственного сочинения.

Теперь, сидя у камина в старинной семейной комнате, вынул Леонардо эту книжку, исписанную мелким, старательным лавочным почерком.

«Книга Исповедальная, сочиненная мною, Лоренцо ди сире Пьеро да Винчи, флорентинцем, посланная Нанне, невестке моей, наиполезнейшая всем исповедаться в грехах своих желающим. Возьми книгу и читай: когда увидишь в перечне свой грех, записывай, а в чем неповинен, пропускай, оное будет для другого пользительно, ибо о таковой материи, будь уверен, даже тысячи языков всего не могли бы пересказать».

Следовал подробный, составленный юным шерстником с истинною торговою щепетильностью, перечень грехов и восемь благочестивых размышлений, «кои должен иметь в душе своей каждый христианин, приступая к таинству исповеди».

С богословскою важностью рассуждал Лоренцо, грех или не грех носить сукна и другие шерстяные товары, за которые не уплачены пошлины. «Что касается души,— решал он,— то таковое ношение чужеземных тканей никакого вреда причинить не может, ежели пошлина неправедна. А посему да не смущается совесть ваша, возлюбленные братья и сестры мои, но будьте благонадежны! А если кто скажет: Лоренцо, на чем ты утверждаешься, полагая так о заграничных сукнах? — я отвечу: в прошлом, 1499 году, находясь по торговым делам в городе Пизе, слышал я в церкви Сан-Микеле проповедь монаха ордена Св. Доминика, некоего брата Дзаноби, с удивительным и почти невероятным обилием ученых доказательств, утверждавшего то самое о заграничных сукнах, что и я ныне».

В заключение, все с тем же унылым, тягучим многословием, рассказывал он, как дьявол долго удерживал его от написания душеполезной книги, между прочим, под предлогом будто бы он, Лоренцо, не обладает потребной

к сему ученостью и красноречием, и что более приличествует ему, как доброму шерстнику, заботиться о делах своей лавки, нежели о писании духовных книг. Но, победив искушения дьявола и придя к заключению, что в этом деле не столь научные познания и красноречие, сколь христианское любомудрие и богомыслие потребны,— с помощью Господа и Приснодевы Марии, окончил он «книгу сию, посвящаемую невестке Нанне, так же как всем братьям и сестрам во Христе».

Леонардо обратил внимание на изображения четырех добродетелей христианских, которые Лоренцо, быть может, не без тайной мысли о брате своем, знаменитом художнике, советовал живописцам представлять со следующими аллегориями: Благоразумие — с тремя лицами, в знак того, что оно созерцает настоящее, прошлое и будущее; Справедливость — с мечом и весами; Силу — облокотившейся на колонну; Умеренность — с циркулем в одной руке, с ножницами в другой, «коими обрезает и пресекает она всякое излишество».

От книги этой веяло на Леонардо знакомым духом того мещанского благочестия, которое окружало детские годы его и царило в семье, передаваемое из поколения в поколение.

Уже за сто лет до его рождения родоначальники дома Винчи были такими же честными, скопидомными и богобоязненными чиновниками на службе Флорентинской Коммуны, как отец его сире Пьеро. В 1339 году в деловых записях впервые упоминался прапращур художника, нотарий Синьории, некий сире Гвидо ди сире Микеле да Винчи.

Как живой, вставал перед ним дед Антонио. Житейская мудрость деда была точь-в-точь такая же, как мудрость внука, Лоренцо. Он учил детей не стремиться ни к чему высокому — ни к славе, ни к почестям, ни к должностям государственным и военным, ни к чрезмерному богатству, ни к чрезмерной учености.

«Держаться середины во всем,— говаривал он,— есть наиболее верный путь».

Леонардо помнил спокойный и важный старческий голос, которым преподавал он это краеугольное правило жизни — *середину во всем:*

— О, дети мои, берите пример с муравьев, которые заботятся сегодня о нуждах завтрашнего дня. Будьте бережливы, будьте умеренны. С кем сравню я доброго хозяина, отца семейства? С пауком сравню его, в средоточии

широко раскинутой паутины, который, чувствуя колебание тончайшей нити, спешит к ней на помощь.

Он требовал, чтобы каждый день к вечернему колоколу Ave Maria все члены семьи были в сборе. Сам обходил дом, запирал ворота, относил ключи в спальню и прятал под подушку. Никакая мелочь в хозяйстве не ускользала от недремлющего глаза его: сена ли мало задано волам, светильня ли в лампаде чересчур припущена служанкою, так что лишнее масло сгорает,— все замечал, обо всем заботился. Но скаредности не было в нем. Он сам употреблял и детям советовал выбирать для платья лучшее сукно, не жалея денег, ибо оно прочнее,— реже приходится менять, а потому одежда из доброго сукна не только почетнее, но и дешевле.

Семья, по мнению деда, должна жить, не разделяясь, под одной кровлей: «ибо,— говорил он,— когда все едят за одним столом,— одной скатерти, одной свечи хватает, а за двумя,— нужно две скатерти и два огня; когда греет всех один очаг, довольно одной вязанки дров, а для двух нужны две,— и так во всем».

На женщин смотрел свысока: «им следует заботиться о кухне и детях, не вмешиваясь в мужнины дела; глупец — кто верит в женский ум».

Мудрость сире Антонио не лишена была хитрости.

— Дети мои,— повторял он,— будьте милосердны, как того требует святая мать наша Церковь; но все же друзей счастливых предпочитайте несчастным, богатых — бедным. В том и заключается высшее искусство жизни, чтобы, оставаясь добродетельным, перехитрить хитреца.

Он учил их сажать плодовые деревья на пограничной меже своего и чужого поля так, чтобы они кидали тень на ниву соседа; учил просящему взаймы отказывать с любезностью.

— Тут корысть двойная,— прибавлял он,— и деньги сохраните, и получите удовольствие посмеяться над тем, кто желал вас обмануть. И ежели проситель умный человек, он поймет вас и станет еще больше уважать за то, что вы сумели отказать ему с благопристойностью. Плут — кто берет, глуп — кто дает. Родным же и домашним помогайте не только деньгами, но и пóтом, кровью, честью,— всем, что имеете, не жалея самой жизни для благополучия рода, ибо, помните, возлюбленные мои: гораздо большая слава и прибыль человеку — делать благо своим, нежели чужим.

После тридцатилетнего отсутствия, сидя под кровлей отчего дома, слушая завывание ветра и следя, как потуха-

ют угли в очаге, художник думал о том, что вся его жизнь была великим нарушением этой скопидомной, древней, как мир, паучьей и муравьиной, дедовской мудрости — была тем буйным избытком, беззаконным излишеством, которое, по мнению брата Лоренцо, богиня Умеренности должна обрезать своими железными ножницами.

III

На следующий день рано утром вышел он из дома, не разбудив садовника, и пройдя через бедное селение Винчи с высокими и узкими домиками, тесно лепившимися по склону холма вокруг крепости, стал подыматься в соседний поселок Анкиано крутою дорогою, все время в гору.

Опять, как вчера, светило печальное белое, точно зимнее, солнце, небеса были безоблачны и холодны, с мутнолиловыми краями, даже в это раннее утро. Трамонтано за ночь усилился. Но ветер не рвал и не мотал, как вчера, а дул ровно, прямо с севера, как будто падая с неба, однообразно свистя в ушах. Опять те же бледные тихие нивы с редкими колосьями — здесь, на этой высоте, еще более напоминавшие север, расположенные по склонам холмов полукруглыми ярусами — лунками, как выражались поселяне Винчи,— тощие виноградники, не густые и не яркие травы, облетающие маки, пыльно-серые оливы, крепкие черные сучья которых коротко и болезненно вздрагивали от ветра.

Войдя в поселок Анкиано, Леонардо остановился, не узнавая мест. Он помнил, что некогда здесь были развалины замка Адимари и в одной из уцелевших башен — маленькая сельская харчевня. Теперь на этом месте, на так называемом Кампо делла Торрачча, виднелся новый, с гладко выбеленными стенами, дом среди виноградника. За низкой каменной оградой поселянин окапывал заступом лозы. Он объяснил художнику, что владелец харчевни умер, а наследники продали землю богатому овцеводу из Орбиньяно, который, очистив вершину холма, развел на нем виноградник и рощу олив.

Недаром расспрашивал Леонардо об анкианском кабачке: он родился в нем.

Здесь, при самом въезде в бедный горный поселок, над большой дорогой, которая, переваливая через Монте-Альбано, вела из долины Ньеволе в Прато и Пистойю, в мрачном остове рыцарской башни Адимари, лет пять-

десят назад, ютилась веселая сельская харчевня — остерия. Вывеска на скрипучих заржавленных петлях с надписью «Боттильерия» — распивочная, открытая дверь, с видневшимися рядами бочек, оловянных кружек и пузатых глиняных кувшинов, два подслеповатых, точно лукаво подмигивающих, решетчатых окошка без стекол, с почерневшими ставнями, и гладко вытертые ногами посетителей ступеньки крылечка выглядывали из-под свежего навеса виноградных лоз, сквозивших на солнце. Жители окрестных селений по пути на ярмарку в Сан-Миньято или Фучеккио, охотники за дикими козами, погонщики мулов, доганьеры — стражники флорентинской пограничной таможни и другой невзыскательный люд заходили сюда покалякать, распить фиаско дешевого терпкого вина, сыграть в шашки, карты, зернь, дзару или тарокку.

Служанкою в кабаке была девушка лет шестнадцати, круглая сирота, бедная контадина — поселянка из Винчи, по имени Катарина.

Однажды весною, в 1451 году, молодой флорентинский нотариус Пьеро ди сире Антонио да Винчи, приехав погостить к отцу на виллу из Флоренции, где проводил он большую часть года в делах, был приглашен в Анкиано для заключения договора по долгосрочному найму шестой части каменного масличного точила. Скрепив условия законным порядком, поселяне пригласили нотариуса вспрыснуть договор в соседнем кабачке на Кампо делла Торрачча. Сире Пьеро, человек простой, любезный и обходительный даже с простыми людьми, охотно согласился. Им прислуживала Катарина. Молодой нотариус, как сам признавался впоследствии, с первого взгляда влюбился в нее. Под предлогом охоты на перепелов отложил до осени отъезд во Флоренцию и, сделавшись завсегдатаем кабачка, стал ухаживать за Катариной, которая оказалась девушкой более недоступною, чем он предполагал. Но сире Пьеро недаром слыл победителем сердец. Ему было двадцать четыре года; он одевался щеголем; был красив, ловок, силен и обладал самонадеянным любовным красноречием, которое пленяет простых женщин. Катарина долго сопротивлялась, молила помощи у Пречистой Девы Марии, но, наконец, не устояла. К тому времени, когда тосканские перепела, разжиревшие на сочных осенних гроздьях, улетают из долины Ньеволе, — она забеременела.

Слух о связи сире Пьеро с бедной сиротой, служанкой анкианской харчевни дошел до сире Антонио да Винчи. Пригрозив сыну отцовским проклятием, снарядил

он его немедленно во Флоренцию и в ту же зиму, чтобы, по собственному выражению, «остепенить малого», женил на мадонне Альбьере да сире Джованни Амадори, девушке не молодой, не красивой, но из почтенного семейства, с хорошим приданым, а Катарину выдал замуж за поденщика своего, бедного поселянина из Винчи, некоего Аккаттабригу ди Пьеро дель Вакка, человека пожилого, угрюмого, с тяжелым нравом, который, рассказывали, заколотил в гроб побоями под пьяную руку первую жену. Позарившись на обещанные тридцать флоринов и маленький клочок оливковой рощи, Аккаттабрига не побрезгал покрыть чужой грех своею честью. Катарина покорилась безропотно. Но заболела от горя и едва не умерла после родов. Молока у нее не было. Чтобы кормить маленького Леонардо,— так назвали ребенка,— взяли козу с Монте-Альбано. Пьеро, несмотря на свою любовь и печаль о Катарине, тоже покорился, но упросил отца взять Леонардо в свой дом на воспитание. В те времена побочных детей не стыдились, почти всегда воспитывали наравне с законными и даже нередко оказывали им предпочтение. Дед согласился, тем более, что первый брак сына был бездетным, и поручил мальчика заботам жены своей, доброй старой бабушки моны Лучии ди Пьеро-Зози да Бакаретто.

Так Леонардо, сын незаконной любви двадцатичетырехлетнего флорентинского нотариуса и соблазненной служанки анкианского кабачка, вошел в добродетельное, богобоязненное семейство да Винчи.

В государственном архиве города Флоренции в переписи — катасто, от 1457 года хранилась отметка, сделанная рукой деда, нотариуса Антонио да Винчи:

«Леонардо сын вышереченного Пьеро, незаконнорожденный, от его и от Катарины, ныне жены Аккаттабриги ди Пьеро дель Вакка да Винчи, пяти лет от роду».

Леонардо помнил мать, как сквозь сон, в особенности ее улыбку, нежную, неуловимо скользящую, полную тайны, как будто немного лукавую, странную в этом простом, печальном, строгом, почти сурово прекрасном лице. Однажды во Флоренции, в музее Медичейских садов Сан-Марко, увидел он изваяние, найденное в Ареццо, старинном городе Этрурии,— маленькую медную Кибелу, незапамятно древнюю Богиню Земли, с такою же странною улыбкою, как у молодой поселянки из Винчи, его матери.

О Катарине думал художник, когда писал в своей «Книге о живописи»:

«Не замечал ли ты, как женщины гор, одетые в грубые и бедные ткани, побеждают красотой тех, которые наряжены?»

Знавшие мать его в молодости уверяли, что Леонардо похож на нее. В особенности тонкие длинные руки, мягкие, как шелк, золотистые кудри и улыбка его напоминали Катарину. От отца унаследовал он могущественное телосложение, силу здоровья, любовь к жизни; от матери — женственную прелесть, которой все существо его было проникнуто.

Домик, где жила Катарина с мужем, находился неподалеку от виллы сире Антонио. В полдень, когда дед почивал, и Аккаттабрига уходил с волами в поле на работу, мальчик пробирался по виноградонику, перелезал через стену и бежал к матери. Она поджидала, сидя на крыльце с веретеном в руках. Завидев его издали, протягивала руки. Он бросался к ней, и она покрывала поцелуями его лицо, глаза, губы, волосы.

Еще более нравились им ночные свидания. В праздничные вечера старый Аккаттабрига уходил в кабак или к кумовьям метать кости. Ночью Леонардо тихонько вставал с широкой семейной постели, где спал рядом с бабушкой Лучией; полуодевшись, неслышно отворял ставни, вылезал из окна, по сучьям развесистого фигового дерева спускался на землю и бежал к дому Катарины. Сладки были ему холод росистой травы, крики ночных коростелей, ожоги крапивы, острые камни, резавшие босые ноги, и блеск далеких звезд, и страх, чтобы бабушка, проснувшись, не хватилась его, и тайна как будто преступных объятий, когда, забравшись в постель Катарины, во мраке, под одеялом, прижимался он к ней всем своим телом.

Мона Лучиа любила и баловала внука. Он помнил всегда одинаковое темно-коричневое платье бабушки, белый платок вокруг темного, покрытого морщинами, доброго лица ее, тихие колыбельные песни и лакомый запах сельского печения — берлингоццо, с поджаренной в сметане корочкой, которое она готовила.

Но с дедом они не поладили. Сначала сире Антонио сам учил внука. Мальчик слушал уроки неохотно. Когда ему исполнилось семь лет, поступил он в школу при церкви св. Петрониллы, рядом с Винчи. Латинская грамота также не шла ему впрок.

Нередко, выйдя поутру из дому, вместо школы забирался он в дикий овраг, поросший тростником, ложился на спину и, закинув голову, целыми часами следил за пролетавшими станицами журавлей, с мучительною завистью. Или, не срывая, а только бережно, так, чтобы не повредить, развертывая лепестки цветов, дивился их нежному строению, опушенным рыльцам, влажным от меда тычинкам и пыльникам. Когда сире Антонио уезжал в город по делам, маленький Нардо, пользуясь добротой бабушки, убегал на целые дни в горы и по каменным кручам, над пропастями, никому не ведомыми тропинками, где лазают лишь козы, взбирался на голые вершины Монте-Альбано, откуда видны необозримые луга, рощи, нивы, болотное озеро Фучеккио, Пистойя, Прато, Флоренция, снежные Апуанские Альпы и, в ясную погоду, узкая туманно-голубая полоса Средиземного моря. Возвращался домой исцарапанный, пыльный, загорелый, но такой веселый, что мона Лучиа не имела духу браниться и жаловаться дедушке.

Мальчик жил одиноко. С ласковым дядей Франческо и отцом, дарившим ему городские лакомства,— оба проводили большую часть года во Флоренции,— виделся редко, со школьными товарищами не сходился вовсе. Их игры были ему чужды. Когда обрывали они крылья бабочке, любуясь, как она ползает,— болезненно морщился, бледнел и уходил. Увидев раз, как на скотном дворе старая ключница резала к празднику откормленного молочного поросенка, который бился и пронзительно визжал,— долго и упорно, не объясняя причины, отказывался от мяса, к негодованию сире Антонио.

Однажды школьники, под предводительством некоего Россо, смелого, умного и злого шалуна, поймали крота и, насладившись его мучениями, полуживого, привязали за лапку, чтобы отдать на растерзание овчаркам. Леонардо бросился в толпу детей, повалил трех мальчиков,— он был силен и ловок,— пользуясь остолбенением школьников, которые не ожидали такой выходки от всегда тихого Нардо, схватил крота и во весь дух помчался в поле. Опомнившись, товарищи устремились за ним, с криком, смехом, свистом и бранью, швыряя каменьями. Долговязый Россо,— он был лет на пять старше Нардо,— вцепился ему в волосы, и началась драка. Если бы не подоспел дедушкин садовник Джан-Баттиста, они избили бы его жестоко. Но мальчик достиг своей цели. Во время свалки крот убежал и спасся. В пылу борьбы, защищаясь

от нападавшего Россо, Леонардо подбил ему глаз. Отец шалуна, повар жившего на соседней вилле вельможи, пожаловался дедушке. Сире Антонио так рассердился, что хотел высечь внука. Заступничество бабушки отклонило казнь. Нардо был только заперт на несколько дней в чулан под лестницей.

Впоследствии, вспоминая об этой несправедливости, первой в бесконечном ряду других, которые суждено ему было испытать, он спрашивал себя в дневнике своем:

«Если уже в детстве тебя сажали в тюрьму, когда ты поступал как следует,— что же сделают с тобой теперь, взрослым?»

Сидя в темном чулане, мальчик смотрел, как паук в сердце паутины, отливавшей радугой в луче солнца, высасывал муху. Жертва билась в лапах его с тонким, постепенно замиравшим жужжанием. Нардо мог бы спасти ее, как спас крота. Но смутное, непобедимое чувство остановило его: не мешая пауку пожирать добычу, наблюдал он алчность чудовищного насекомого с таким же бесстрастным и невинным любопытством, как тайны нежного строения цветов.

IV

Неподалеку от Винчи строилась большая вилла для синьора Пандольфо Ручеллаи флорентинским зодчим Биаджо да Равенна, учеником великого Альберти. Леонардо, часто бывая на месте постройки, смотрел, как рабочие выводят стены, ровняют кладку камней угломером, подымают их машинами. Однажды сире Биаджо, заговорив с мальчиком, был удивлен его ясным умом. Сначала мимоходом, полушутя, потом мало-помалу увлекшись, стал он учить его первым основам арифметики, алгебры, геометрии, механики. Невероятной, почти чудесной казалась учителю легкость, с которой ученик схватывал все на лету, как будто вспоминая то, что и прежде знал сам без него.

Дед смотрел косо на причуды внука. Не нравилось ему и то, что он левша: это считалось недобрым знаком. Полагали, что люди, заключающие договор с дьяволом, колдуны и чернокнижники родятся левшами. Неприязненное чувство к ребенку усилилось в сире Антонио, когда опытная знахарка из Фальтуньяно уверила его, что старуха с Монте-Альбано, из глухого местечка Форнелло, которой принадлежала черная коза, кормилица Нардо,—

была ведьмой. Легко могло статься, что колдунья, в угоду дьяволу, очаровала молоко Нардовой козы.

«Что правда, то правда,— думал дед.— Как волка ни корми, все в лес глядит. Ну, да видно, воля Господня! В семье не без урода».

С нетерпением ждал старик, чтобы любимый сын Пьеро осчастливил его рождением законного внука, достойного наследника, ибо Нардо был как бы случайный подкидыш, воистину «незаконнорожденный» в этой семье.

Жители Монте-Альбано рассказывали об одной особенности тех мест, нигде более не встречающейся,— белой окраске многих растений и животных: тот, кто не видел собственными глазами, не поверил бы этим рассказам; но путнику, бродившему по Альбанским рощам и лугам, хорошо известно, что в самом деле попадаются там нередко белые фиалки, белая земляника, белые воробьи и даже в гнездах черных дроздов белые птенчики. Вот почему,— уверяют обитатели Винчи,— вся эта гора еще в незапамятной древности получила название Белой — Монте-Альбано.

Маленький Нардо был одним из чудес Белой горы, уродом в добродетельной и будничной семье флорентинских нотариусов — белым птенцом в гнезде черных дроздов.

V

Когда мальчику исполнилось тринадцать лет, отец взял его из Винчи в свой дом во Флоренцию. С тех пор Леонардо редко посещал родину.

От 1494 года — в это время был он на службе Миланского герцога — в одном из дневников художника сохранилась краткая и, по обыкновению, загадочная запись:

«Катарина прибыла 16 июля 1493 года».

Можно было подумать, что речь идет о служанке, принятой в дом по хозяйственной надобности. На самом деле это была мать Леонардо.

После кончины мужа, Аккаттабриги ди Пьеро дель Вакка, Катарина, чувствуя, что и ей остается жить недолго, пожелала перед смертью увидеть сына.

Присоединившись к странницам, которые отправлялись из Тосканы в Ломбардию для поклонения мощам св. Амвросия и честнейшему Гвоздю Господню, пришла она в Милан. Леонардо принял ее с благоговейной нежностью.

Он по-прежнему чувствовал себя с нею маленьким Нардо, каким, бывало, тайно ночью с босыми ножками прибегал и, забравшись в постель, под одеяло, прижимался к ней.

Старушка после свидания с сыном хотела вернуться в родное селение, но он удержал ее, нанял ей и заботливо устроил покойную келью в соседнем девичьем монастыре Санта-Кьяра у Верчельских ворот. Она заболела, слегла, но упорно отказывалась перейти к нему в дом, чтобы не причинить беспокойства. Он поместил ее в лучшей, построенной герцогом Франческо Сфорца, похожей на великолепный дворец, больнице Милана — Оспедале Маджоре и навещал каждый день. В последние дни болезни не отходил от нее. А между тем никто из друзей, даже из учеников не знал о пребывании Катарины в Милане. В дневниках своих он почти не говорил о ней. Только раз упомянул, и то вскользь, по поводу любопытного, как он выражался, «сказочного» лица одной молодой девушки, измученной тяжким недугом, которую наблюдал в то самое время, в той самой больнице, где мать его умирала:
«Giovannina — viso fantastico — sta, asca Catarina, all'ospedale». — «Джованнина — сказочное лицо,— спроси Катарину в больнице». Когда в последний раз прикоснулся он губами к ее холодеющей руке, ему казалось, что этой бедной поселянке из Винчи, смиренной обитательнице гор, обязан он всем, что есть у него. Он почтил ее великолепными похоронами, как будто Катарина была не скромной служанкой анкианского кабачка, а знатною женщиной. С такою же точностью, унаследованною от отца, нотариуса, с какою, бывало, без всякой нужды, записывал цены пуговиц, серебряных галунов и розового атласа для нового наряда Андреа Салаино, записал и счет похоронных издержек.

Через шесть лет, в 1500 году, в Милане, уже после гибели Моро, укладывая вещи перед отъездом во Флоренцию, нашел он в одном из шкапов своих тщательно перевязанный, небольшой узелок. Это был сельский гостинец, принесенный ему из Винчи Катариною,— две рубахи грубого серого холста, тканого ее собственными руками, и три пары чулок из козьего пуха, тоже самодельных. Он не надевал их, потому что привык к тонкому белью. Но теперь, вдруг увидев этот узелок, забытый среди научных книг, математических приборов и машин, почувствовал, как сердце наполнилось жалостью.

Впоследствии, во время долголетних, одиноких и унылых скитаний из края в край, из города в город, никогда не забывал он брать с собой ненужный, бедный узелок с чулками и рубахами, и каждый раз, пряча его от всех, стыдливо и старательно укладывал с теми вещами, которые были ему особенно дороги.

VI

Эти воспоминания проносились в душе Леонардо, когда по крутой, знакомой с детства, тропинке он всходил на Монте-Альбано.

Под уступом скалы, где меньше было ветра, присел на камень отдохнуть и оглянулся: малорослые неопадающие корявые дубы с прошлогодними сухими листьями, мелкие пахучие цветы тускло-зеленого вереска, который здешние поселяне называли «скопа» — «метелка», бледные дикие фиалки, и надо всем неуловимый свежий запах, не то полыни, не то весны, не то каких-то горных неведомых трав. Волнистые горизонты уходили, понижаясь к долине Арно. Направо возносились голые каменные горы с извилистыми тенями, змеевидными трещинами и серо-лиловыми пропастями. У самых ног его Анкиано белело на солнце. Глубже в долине, к заостренно-круглому холму лепилось маленькое, похожее на осиный улей, селение Винчи, с башнею крепости, такой же острою и черною, как два кипариса на Анкианской дороге.

Ничто не изменилось: казалось, вчера еще карабкался он по этим тропинкам; и теперь, как сорок лет назад, росла здесь обильная скопа и беловатые фиалки; сухо шелестели дубы сморщенными, темно-коричневыми листьями; сумрачно синело Монте-Альбано; и такое же все кругом было простое, тихое, бедное, бледное, напоминающее Север. А между тем сквозь эту тишину и бледность порой тонкая, едва уловимая прелесть благороднейшей в мире земли, некогда Этрурии, ныне Тосканы, вечно весенней земли Возрождения, сквозила, подобная странной и нежной улыбке в строгом, почти сурово-прекрасном лице молодой поселянки из Винчи, Леонардовой матери.

Он встал и пошел дальше круто подымавшеюся в гору тропинкою. Чем выше, тем холоднее и злее становился ветер.

Опять воспоминания обступили его — теперь о первых годах юности.

VII

Дела нотариуса сире Пьеро да Винчи процветали. Ловкий, веселый и добродушный, один из тех, у которых в жизни все идет как по маслу, которые сами живут и другим жить не мешают,— умел он ладить со всеми. В особенности лица духовного звания благоволили к нему. Сделавшись доверенным богатого монастыря Святейшей Аннунциаты и многих других богоугодных учреждений, сире Пьеро округлял свое имущество, приобретал новые участки, дома, виноградники в окрестностях Винчи, не изменяя прежнего скромного образа жизни, согласно с житейской мудростью сире Антонио. Только на украшения церквей охотно жертвовал и, заботясь о чести рода, положил могильную плиту на семейную гробницу Винчи во Флорентинской Бадии.

Когда умерла первая жена его, Альбьера Амадори, быстро утешившись, тридцативосьмилетний вдовец женился на совсем молоденькой прелестной девушке, почти ребенке, Франческе ди сире Джованни Ланфредини. Детей и от второй жены у него не было. В это время Леонардо жил с отцом во Флоренции, в нанимаемом у некоего Микеле Брандолини доме, на площади Сан-Фиренце, близ Палаццо Веккьо. Сире Пьеро намеревался незаконнорожденному первенцу своему дать хорошее воспитание, не жалея денег, чтобы, может быть, впоследствии, за неимением законных детей, сделать наследником — тоже, конечно, флорентинским нотариусом, как и все старшие сыновья в роде Винчи.

Во Флоренции жил тогда знаменитый естествоиспытатель, математик, физик и астроном Паоло даль Поццо Тосканелли. Он обратился к Христофору Колумбу с письмом, в котором вычислениями доказывал, что морской путь в Индию через страны антиподов не так далек, как предполагают, ободрял к путешествию и предрекал успех. Без помощи и напутствия Тосканелли Колумб не совершил бы своего открытия: великий мореплаватель был только послушным орудием в руках неподвижного созерцателя,— исполнил то, что было задумано и рассчитано в уединенной келье флорентинского ученого. В стороне от блестящего двора Лоренцо Медичи, от изящных и бесплодных болтунов-неоплатоников, подражателей древности, Тосканелли «жил, как святой», по выражению современников,— молчальник, бессребреник, постник, никогда не вкушавший от мяса, и совершенный девственник. Лицо

имел безобразное, почти отталкивающее; только светлые, тихие и младенчески простые глаза его были прекрасны.

Когда, однажды, ночью в 1470 году постучался в двери дома его у палаццо Питти молодой незнакомец, почти мальчик, Тосканелли принял его сурово и холодно, подозревая в госте обычное праздное любопытство. Но, вступив в беседу с Леонардо, он, так же как некогда сире Биаджо да Равенна, поражен был математическим гением юноши. Сире Паоло сделался его учителем. В ясные летние ночи подымались они на один из холмов близ Флоренции, Поджо аль Пино, покрытый вереском, пахучим можжевельником и смолистыми черными соснами, где полуразвалившаяся от ветхости деревянная сторожка служила обсерваторией великому астроному. Он рассказывал ученику все, что знал сам о законах природы.

В этих беседах Леонардо почерпнул веру в новое, еще неведомое людям, могущество знания.

Отец не стеснял его, только советовал выбрать какое-либо доходное занятие. Видя, что он постоянно лепит или рисует, сире Пьеро отнес некоторые из этих работ старому приятелю своему, золотых дел мастеру, живописцу и скульптору Андреа дель Вероккьо.

Вскоре Леонардо поступил к нему в мастерскую на выучку.

VIII

Вероккьо, сын бедного кирпичника, был старше Леонардо на семнадцать лет.

Когда с очками на носу и с лупой в руках сидел он за прилавком в полутемной мастерской — боттеге своей, недалеко от Понте Веккьо, в одном из тех старинных, покосившихся домиков, с гнилыми подпорками, стены которых купаются в мутно-зеленых водах Арно,— сире Андреа был скорее похож на обыкновенного флорентинского лавочника, чем на великого художника. Лицо имел неподвижное, плоское, белое, круглое и пухлое, с двойным подбородком; лишь в тонких, плотно сжатых губах и в пронзительно остром, как игла, взоре крошечных глаз виден был ум, холодный, точный и бесстрашно любопытный.

Учителем своим Андреа считал древнего мастера Паоло Учелло. Рассказывали, будто бы, занимаясь отвлеченной математикой, которую он применял к искусству, и головоломными задачами перспективы, презренный и поки-

нутый всеми, Учелло впал в нищету и едва не сошел с ума; целые дни проводил без пищи, целые ночи без сна; порой, лежа в постели с открытыми глазами в темноте, будил жену восклицанием:

— О, сколь сладостная вещь перспектива!

Умер осмеянный и непонятый.

Вероккьо, так же как Учелло, полагал математику общей основой искусства и науки, говорил, что геометрия, будучи частью математики,— «матери всех наук», есть в то же время «мать рисунка — отца всех искусств». Совершенное знание и совершенное наслаждение красотою было для него одно и то же. Когда встречал он редкое по уродству или прелести лицо или другую часть тела человеческого, то не отворачивался с брезгливостью, не забывался в мечтательной неге, подобно таким художникам, как Сандро Боттичелли, а изучал, делал анатомические слепки из гипса, чего никто из мастеров не делал до него. С бесконечным терпением сравнивал, мерил, испытывал, предчувствуя в законах красоты законы математической необходимости. Еще неутомимее, чем Сандро, искал новой прелести — но не в чуде, не в сказке, не в соблазнительных сумерках, где Олимп сливается с Голгофою, как Сандро, а в таком проникновении в тайны природы, на какое не дерзал еще никто, ибо не чудо было для Вероккьо истиной, а истина — чудом.

В тот день, как сире Пьеро да Винчи привел к нему в мастерскую своего восемнадцатилетнего сына, участь обоих была решена. Андреа сделался не только учителем, но и учеником ученика своего, Леонардо.

В картине, заказанной Вероккьо монахами Валломброзы, изображавшей крещение Спасителя, Леонардо написал коленопреклоненного ангела. Все, что Вероккьо смутно предчувствовал и чего искал ощупью, как слепой,— Леонардо увидел, нашел и воплотил в этом образе. Впоследствии рассказывали, будто бы учитель, приведенный в отчаяние тем, что мальчик превзошел его,— отказался от живописи. На самом деле вражды между ними не было. Они дополняли друг друга: ученик обладал тою легкостью, которой природа не одарила Вероккьо, учитель — тем сосредоточенным упорством, которого недоставало слишком разнообразному и непостоянному Леонардо. Не завидуя и не соперничая, они часто сами не знали, кто у кого заимствует.

В это время Вероккьо отливал из меди Христа с Фомою для Орсанмикеле.

На смену райским видениям фра Беато и сказочному бреду Боттичелли, впервые, в образе Фомы, влагающего пальцы в язвы Господа, явилось людям еще небывалое на земле дерзновение человека перед Богом — испытующего разума перед чудом.

IX

Первым произведением Леонардо был рисунок для шелковой завесы, тканной золотом во Фландрии, подарка флорентинских граждан королю Португалии. Рисунок изображал грехопадение Адама и Евы. Коленчатый ствол одной из райских пальм изображен был с таким совершенством, что, по словам очевидца, «ум помрачался при мысли о том, как могло быть у человека столько терпения». Женоподобный лик демона-змея дышал соблазнительной прелестью, и, казалось, слышались слова его:

«Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло».

И жена протягивала руку к дереву познания, с тою же улыбкою дерзновенного любопытства, с которой в изваянии Вероккьо Фома Неверный влагал персты свои в язвы Распятого.

Однажды сире Пьеро, по поручению соседа своего, поселянина из Винчи, услугами которого пользовался для рыбной ловли и охоты, попросил Леонардо изобразить что-либо на круглом деревянном щите, так называемой «ротелле». Подобные щиты с аллегорическими картинами и надписями употреблялись для украшения домов.

Художник задумал изобразить чудище, которое внушало бы зрителю ужас, подобно голове Медузы.

В комнату, куда никто не входил, кроме него, собрал он ящериц, змей, сверчков, пауков, сороконожек, ночных бабочек, скорпионов, летучих мышей и множество других безобразных животных. Выбирая, соединяя, увеличивая разные части их тел, образовал он сверхъестественное чудовище, не существующее и действительное,— постепенно вывел то, чего нет, из того, что есть, с такою же ясностью, с какой Евклид или Пифагор выводят одну теорему из другой.

Видно было, как животное выползает из расщелины утеса, и казалось, слышно, как шуршит по земле кольчатым черно-блестящим скользким брюхом. Зияющая пасть выхаркивала смрадное дыхание, очи — пламя, ноздри —

дым. Но всего изумительнее было то, что ужас чудовища пленял и притягивал, подобно прелести.

Целые дни и ночи проводил Леонардо в запертой комнате, где невыносимое зловоние издохших гадов так заражало воздух, что трудно было дышать. Но в другое время чрезмерно, почти изнеженно-чувствительный ко всякому дурному запаху, теперь не замечал он его. Наконец, объявил отцу, что картина готова и что он может взять ее. Когда сире Пьеро пришел, Леонардо попросил его подождать в другой комнате, вернулся в мастерскую, поставил картину на деревянный постав, окружил ее черной тканью, притворил ставни так, что один лишь луч падал прямо на ротеллу, и позвал сире Пьеро. Тот вошел, взглянул, вскрикнул и отступил в испуге: ему показалось, что он видит перед собой живое чудовище. Пристальным взором следя, как страх на лице его сменяется удивлением, художник молвил с улыбкой:

— Картина достигает цели: действует именно так, как я того хотел. Возьмите ее — она готова.

В 1481 году от монахов Сан-Донато-а-Скопето получил Леонардо заказ написать запрестольную икону Поклонения Волхвов.

В наброске для этой иконы обнаружил он такое знание анатомии и выражения человеческих чувств в движениях тела, какого до него не было ни у одного из мастеров.

В глубине картины виднеются как бы образы древней эллинской жизни — веселые игры, единоборства наездников, голые тела прекрасных юношей, пустынные развалины храма с полуразрушенными арками и лестницами. В тени оливы на камне сидит Матерь Божия с младенцем Иисусом и улыбается робкою детскою улыбкою, как будто удивляясь тому, что царственные пришельцы неведомых стран приносят сокровища — ладан, мирру и золото, все дары земного величия — в яслях Рожденному. Усталые, согбенные под бременем тысячелетней мудрости, склоняют они свои головы, заслоняя ладонями полуослепшие очи, смотрят на чудо, которое больше всех чудес,— на явление Бога в человеке, и падают ниц перед Тем, Кто скажет: «истинно, истинно говорю вам, ежели не обратитесь и не станете, как дети, не можете войти в царствие Божие».

В этих первых двух созданиях Леонардо как бы очертил весь круг своего созерцания: в Грехопадении — змеиную мудрость в дерзновении разума; в Поклонении Волхвов — голубиную простоту в смирении веры.

Он, впрочем, не кончил этой картины, как впоследствии не кончал почти ни одной из своих работ. В погоне за совершенством недосягаемым создавал себе трудности, которых кисть не могла победить: «утолению, по слову Петрарки, мешала чрезмерность желания».

Вторая жена сире Пьеро, мадонна Франческа, умерла в юности. Он женился в третий раз на Маргерите, дочери сире Франческо ди Гульельмо, взяв на нею в приданое 365 флоринов. Мачеха невзлюбила Леонардо, особенно с тех пор, как осчастливила мужа рождением двух сыновей, Антонио и Джулиано.

Леонардо был расточителен. Сире Пьеро, хотя и не щедро, помогал ему. Мона Маргерита поедом ела мужа за то, что он отнимает имущество у законных наследников и «отдает подкидышу, пащенку, питомцу ведьминой козы», как называла Леонардо.

Среди товарищей в боттеге Вероккьо и в других мастерских было у него также много врагов. Один из них, ссылаясь на необычайную дружбу между учителем и учеником, составил безымянный донос, где обвинял их в содомии. Клевета приобретала подобие вероятия, благодаря тому, что молодой Леонардо, будучи прекраснейшим из юношей Флоренции, удалялся от женщин. «Во всей его наружности,— говорил современник,— было такое сияние красоты, что при виде его всякая печальная душа прояснялась».

В том же году, покинув мастерскую Вероккьо, он поселился один. Тогда уже ходили слухи и об «еретических мнениях», о «безбожии» Леонардо. Пребывание во Флоренции становилось для него все более тягостным.

Сире Пьеро доставил сыну выгодный заказ у Лоренцо Медичи. Но Леонардо не сумел ему угодить. От своих приближенных Лоренцо прежде всего требовал, хотя и высшего, утонченного, но все же подобострастного поклонения. Слишком смелых и свободных людей недолюбливал.

Тоска бездействия овладевала Леонардо. Он даже вступил было в тайные переговоры с одним вельможей — диодарием Сирийским через посольство египетского султана Каит-бея, которое прибыло во Флоренцию,— чтобы поступить на службу к диодарию главным строителем, хотя знал, что для этого должен был отречься от Христа и перейти в мусульманскую веру.

Ему было все равно куда, только бы прочь из Флоренции. Он чувствовал, что погибнет, если останется в ней.

Случай спас его. Он изобрел многострунную серебряную лютню, наподобие лошадиного черепа. Лоренцо Великолепному, большому любителю музыки, понравился необычайный вид и звук этой лютни. Он предложил изобретателю поехать в Милан, чтобы поднести ее в дар герцогу Ломбардии, Лодовико Сфорца Моро.

В 1482 году, тридцати лет от роду, Леонардо покинул Флоренцию и отправился в Милан, не в качестве художника или ученого, а только придворного музыканта. Перед отъездом написал герцогу Моро:

«Изучив и обсудив, Синьор мой Славнейший, работы нынешних изобретателей военных машин, я нашел, что в них нет ничего такого, чем бы они отличались от находящихся во всеобщем употреблении. А посему решаюсь обратиться к Вашей Светлости, дабы открыть ей тайны моего искусства».

И перечислил свои изобретения: мосты чрезвычайно легкие и несгораемые; новый способ разрушать, без помощи бомбард, всякую крепость или замок, ежели только основания их не высечены в камне; подземные ходы и подкопы, пролагаемые бесшумно и быстро под рвами и реками; крытые повозки, врезающиеся во вражий строй, так что никакие силы не могут им противиться; бомбарды, пушки, мортиры, пассаволанты нового «весьма прекрасного и полезного устройства»; осадные тараны, исполинские метательные снаряды и другие орудия «действия изумительного»; и для каждого отдельного случая изобретение новых машин; также для морских сражений всевозможное оборонительное и наступательное оружие, корабли, стены которых выдерживают каменные и чугунные ядра; никому не известные взрывчатые составы.

«В мирное время,— заключал он,— надеюсь удовлетворить Вашу Светлость в зодчестве, в сооружении частных и общественных зданий, в устройстве каналов и водопроводов.

Также в искусстве ваяния из мрамора, меди, глины, и в живописи могу исполнить какие угодно заказы не хуже всякого другого, кто бы ни был.

И еще могу принять на себя работу по отливке из бронзы Коня, долженствующего быть вечною славою блаженной памяти синьора Вашего отца и всего именитейшего дома Сфорца.

А ежели какие-либо из вышеозначенных изобретений покажутся невероятными, предлагаю сделать опыт в парке вашего замка или во всяком другом месте, которое угодно

будет назначить вашей светлости, милостивому вниманию коей поручает себя Вашего Высочества всепокорнейший слуга *Леонардо да Винчи».*

Когда над зеленой равниной Ломбардии увидел он впервые снежные вершины Альп, то почувствовал, что начинается новая жизнь, и что эта чужая земля будет для него родной.

X

Так, подымаясь на Монте-Альбано, вспоминал Леонардо полвека своей жизни.

Он уже близок был к вершине Белой горы — к перевалу. Теперь тропинка шла вверх прямо, без извилин, между сухим кустарником и тощими корявыми дубами с прошлогодними листьями. Горы, мутно-лиловые под дыханием ветра, казались дикими, страшными и пустынными — точно не на земле, а на другой планете. Ветер бил в лицо, колол его льдистыми иглами, слепил глаза. Порой камень, сорвавшийся из-под ноги, катился с гулом в пропасть.

Он поднимался все выше и выше — и странная, знакомая с детства, отрада была в этом усилии подъема: как будто побеждал он суровые, нахмуренные горы, облитые ветром, и с каждым шагом взор становился длиннее, острее, необъятнее, потому что с каждым шагом даль открывалась все шире и шире.

Весны уже не было: на деревьях — ни почки; даже трава едва зеленела. Пахло только пронзительно влажными мхами. А еще выше, там, куда он шел, были одни камни и бледное небо. Противоположной долины, где находилась Флоренция, не было видно. Но все необозримое пространство до Эмполи расстилалось перед глазами: сначала — горы, холодные, мутно-лиловые, с широкими тенями, уступами и провалами; потом — бесконечные волны холмов, от Ливорно через Кастелину-Маритиму и Вольтерано до Сан-Джиминьяно. И везде — пространство, пустота, воздушность,— как будто узкая тропинка уходила из-под ног, и медленно, с неощутимой плавностью, он летел над этими волнистыми, падающими далями на исполинских крыльях. Здесь крылья казались естественными, нужными, и то, что их нет, вызывало в душе удивление и страх, как у человека, сразу лишившегося ног.

Он вспомнил, как, будучи ребенком, следил за полетом журавлей и, когда доносилось до него чуть слышное курлыкание, как будто призыв: полетим! полетим! — плакал от зависти. Вспомнил, как выпускал тайком скворцов и малиновок из дедушкиных клеток, любуясь радостью освобожденных пленниц; как однажды школьный учитель-монах рассказал ему о сыне Дедала, Икаре, который задумал лететь на крыльях, сделанных из воска, упал и погиб, и как впоследствии на вопрос учителя, кто самый великий из героев древности, он ответил без колебания: «Икар, сын Дедала!» Вспомнил также свое удивление и радость, когда в первый раз на Кампаниле — колокольне флорентинского собора Марии дель Фьоре, среди барельефов Джотто, изображавших все искусства и науки, увидел смешного, неуклюжего человека, летящего механика Дедала, с головы до ног покрытого птичьими перьями. Было у него и еще одно воспоминание самого первого детства, из тех, которые кажутся другим нелепыми, а тому, кто хранит их в душе, полными тайною, как вещие сны.

«Должно быть, подробно писать о Коршуне — судьба моя,— говорил он об этом воспоминании в одном из дневников,— ибо, помню однажды, в раннем детстве, снилось мне, что я лежу в колыбели, и некий Коршун прилетел ко мне, и открыл мне уста, и много раз провел по ним перьями, как бы в знак того, что всю жизнь я буду говорить о Крыльях».

Пророчество исполнилось: Человеческие Крылья стали последнею целью всей его жизни.

И теперь опять, на том же склоне Белой горы, как ребенку сорок лет назад, нестерпимою обидою и невозможностью казалось ему то, что люди бескрылы.

«Кто знает все, тот может все,— думал он.— Только бы знать — и Крылья будут!»

XI

На одном из последних поворотов тропинки почувствовал, что кто-то схватил его сзади за край одежды,—обернулся и увидел ученика своего, Джованни Бельтраффио.

Зажмурив глаза, наклонив голову, придерживая рукой шляпу, Джованни боролся с ветром. Видно было, что давно уже кричал и звал, но ветром относило голос. Когда же учитель обернулся,— на этой пустынной мертвой высоте, с развевающимися длинными волосами, с длинной

бородой, откинутой ветром за плечи, с выражением непреклонной, как бы беспощадной, воли и мысли в глазах, в глубоких морщинах лба, в сурово сдвинутых бровях,— лицо его показалось таким чужим и страшным, что ученик едва узнал его. Широкие, бившиеся по ветру, складки темно-красного плаща походили на крылья исполинской птицы.

— Только что из Флоренции,— кричал Джованни, но в шуме ветра крик его казался шепотом, и можно было разобрать только отдельные слова: «письмо — важное — велено передать — сейчас —».

Леонардо понял, что получено письмо от Чезаре Борджа.

Джованни передал его учителю. Художник узнал почерк мессера Агапито, секретаря герцога.

— Ступай вниз! — крикнул он, взглянув на посинелое от холода лицо Джованни. Я сейчас...

Бельтраффио начал спускаться по круче, цепляясь за ветви кустарников, скользя по камням, согнувшись, съежившись,— такой маленький, хилый и слабый, что вот-вот, казалось, буря подымет и умчит его, как былинку.

Леонардо смотрел ему вслед, и жалобный вид ученика напомнил учителю собственную слабость его — проклятье бессилья, тяготевшее над всей его жизнью,—бесконечный ряд неудач: бессмысленную гибель Колосса, Тайной Вечери, падение механика Астро, несчастия всех, кто любил его, ненависть Чезаре, болезнь Джованни, суеверный ужас в глазах Майи и страшное, вечное одиночество.

«Крылья! — подумал он.— Неужели и это погибнет, как все, что я делаю?»

И ему пришли на память слова, которые больной механик Астро шептал в бреду,— ответ Сына Человеческого тому, кто соблазнял его ужасом бездны и восторгом полета: «Не искушай Господа Бога твоего».

Он поднял голову, еще суровее сжал тонкие губы, сдвинул брови и снова стал подыматься, побеждая ветер и гору.

Тропинка исчезла; он шел теперь без дороги, по голому камню, где, может быть, никто никогда не ходил до него.

Еще одно усилие, один последний шаг — и он остановился на краю обрыва. Дальше идти было некуда, можно было только лететь. Скала окончилась, оборвалась, и по ту сторону открылась доселе невидимая, противоположная бездна. Воздушная, мглистая, мутно-лиловая, зияла она, как будто внизу, под ногами, была не земля, а такое же небо, пустота, бесконечность, как вверху, над головою.

Ветер превратился в ураган, гудел и грохотал в ушах, подобно оглушающему грому,— точно невидимые, быстрые, злые птицы пролетали мимо, рой за роем, трепеща и свистя исполинскими крыльями.

Леонардо наклонился, заглянул в бездну, и вдруг опять, но с такою силою, как еще никогда, знакомое с детства чувство естественной необходимости, неизбежности полета охватило его.

— Будут,— прошептал он,— будут крылья! Не я, так другой, все равно — человек полетит. Дух не солгал: познавшие, крылатые будут, как боги!

И ему представился царь воздуха, победитель всех пределов и тяжестей, сын человеческий, во славе и силе своей, Великий Лебедь, летящий на крыльях, исполинских, белых, сверкающих, как снег, в лазури неба.

И душу его наполнила радость, подобная ужасу.

XII

Когда он спускался с Монте-Альбано, солнце уже близко было к закату. Кипарисы, под густыми желтыми лучами, казались черными, как уголь, удалявшиеся горы — нежными и прозрачными, как аметист. Ветер слабел.

Он подошел к Анкиано. Вдруг из-за поворота, внизу, в глубокой, уютной долине, похожей на колыбель, открылось маленькое темное селение Винчи — осиный улей, с острой, как черные кипарисы, башней крепости.

Остановился, вынул памятную книжку и записал:

«С Горы, которая получила имя свое от Победителя»,— Vinci-vincere значит *побеждать*,— «предпримет свой первый полет Великая Птица — человек на спине большого Лебедя, наполняя мир изумлением, наполняя все книги своим бессмертным именем.— И вечная слава гнезду, где он родился!»

Взглянув на родное селение у подножия Белой горы, он повторил:

— Вечная слава гнезду, где родился Великий Лебедь!

Письмо Агапито требовало немедленного прибытия нового герцогского механика в лагерь Чезаре для сооружения осадных машин к предстоящему приступу Фаэнцы.

Через два дня Леонардо выехал из Флоренции в Романью к Чезаре Борджа.

ДВЕНАДЦАТАЯ КНИГА

ИЛИ ЦЕЗАРЬ — ИЛИ НИЧТО

I

«Мы, Чезаре Борджа де Франча, Божьей милостью герцог Романьи, князь Андрии, повелитель Пиомбино и прочее, и прочее, Святейшей Римской Церкви Знаменосец и главный Капитан.

Всем наместникам, кастелланам, военачальникам, Кондотьерам, Оффичиалам, солдатам и подданным нашим повелеваем: подателя сего, именитейшего и возлюбленнейшего, главного при особе нашей Строителя и Зодчего, Леонардо Винчи, дружественно принимать, ему и всем, кто с ним, пропуск чинить беспошлинный,— мерить, осматривать и всякую по желанию виденную вещь в крепостях и замках наших обсуждать дозволяя, потребных людей немедленно наряжая, всякую помощь и содействие усердно оказывая. С волей же вышереченного Леонардо, кому надзор за крепостями и замками во владениях наших поручаем, остальным строителям нашим по всякому делу в соглашение входить приказываем.

Дано в Павии, августа 18 дня, года от Рождества Христова 1502, правления же нашего в Романье лета второго. Чезаре, Герцог Романьи. Cesar Dux Romandiolae».

Таков был пропуск Леонардо для предстоявшего осмотра крепостей.

В это время, при помощи обманов и злодеяний, совершаемых под верховным покровительством римского первосвященника и христианнейшего короля Франции, Чезаре Борджа завоевывал древнюю Церковную Область, полученную, будто бы, папами в подарок от императора Константина Равноапостольного. Отняв город Фаэнцу у законного государя, восемнадцатилетнего Асторре Манфреди, город Форли у Катарины Сфорца,— обоих, ре-

бенка и женщину, доверившихся рыцарской чести его, бросил он в римскую тюрьму Св. Ангела. С герцогом Урбино заключил союз для того, чтобы, обезоружив его, предательски напасть, как нападают разбойники на больших дорогах, и ограбить.

Осенью 1502 года задумал поход на Бентиволио, правителя Болоньи, дабы, овладев этим городом, сделать его столицей нового государства. Ужас напал на соседних правителей, которые поняли, что каждый из них, в свою очередь, рано или поздно будет жертвой Чезаре, и что он мечтает,— уничтожив соперников, объявить себя единым самодержавным повелителем Италии.

28 сентября враги Валентино, кардинал Паоло, герцог Гравина Орсини, Вителоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, Джан Паоло Бальони, правитель Перуджи, и Антонио Джордани да Венафро, посол правителя Сиены, Пандольфо Петруччи собрались в городе Маджоне, на равнине Карпийской, и заключили тайный союз против Чезаре. Между прочим, на этом собрании Вителоццо Вителли поклялся клятвой Ганнибала — в течение года умертвить, заточить или выгнать из Италии общего врага.

Только что распространилась весть о маджонском заговоре — к нему присоединились бесчисленные государи, обиженные Чезаре. Герцогство Урбино возмутилось и отпало. Собственные войска изменяли ему. Король Франции медлил помощью. Чезаре был на краю гибели. Но, преданный и покинутый, почти безоружный, он был все еще страшен. Пропустив в малодушных перекорах и колебаниях самое выгодное время, чтобы уничтожить его, враги вступили с ним в переговоры и согласились на перемирие. Хитростями, угрозами и обещаниями обольстил он их, опутал и разъединил. Со свойственным ему глубоким искусством лицемерия, очаровывая любезностями новых друзей, звал их в только что сдавшийся город Синигаллию, будто бы для того, чтобы уже не на словах, а на деле, в общем походе, доказать свою преданность.

Леонардо был одним из главных приближенных Чезаре Борджа.

По поручению герцога украшал завоеванные города великолепными зданиями, дворцами, школами, книгохранилищами, строил обширные казармы для чезаревых войск на месте разрушенной крепости Кастель-Болоньезе, вырыл гавань Порто-Чезенатико, лучшую на всем западном берегу Адриатического моря, и соединил ее каналом

с Чезеною; заложил могущественную крепость в Пиомбино; сооружал боевые машины, рисовал военные карты и, следуя всюду за герцогом, присутствуя во всех местах, где совершались кровавые подвиги Чезаре — в Урбино, Пезаро, Имоле, Фаэнце, Чезене, Форли, по обыкновению, вел краткий, точный дневник. Но ни единым словом не упоминал в этих заметках о Чезаре, как будто не видя или не желая видеть того, что совершалось вокруг. Записывал каждую мелочь, встречавшуюся на пути: способ, которым земледельцы Чезены соединяли плодовые деревья висячими лозами, устройство рычагов, приводивших в движение соборные колокола в Сиене, странную, тихую музыку в звуках падающих струй городского фонтана Римини. Срисовывал голубятню и башню с витою лестницей в замке Урбино, откуда только что бежал злополучный герцог Гвидобальдо, ограбленный Чезаре, по выражению современников, «в одной нижней сорочке». Наблюдал, как в Романье, у подножия Апеннин, пастухи, чтобы усилить звучность рога, вставляют его широким концом в узкое отверстие глубоких пещер — и громоподобный звук, наполняющий долину, повторяемый эхом, становится так силен, что стада, пасущиеся на самых далеких горах, слышат его. Один на берегу пустынного моря в Пиомбино, целыми днями следил, как набегает волна на волну, то выбрасывая, то всасывая щебень, щепки, камни и водоросли. «Так сражаются волны из-за добычи, которая достается победителю»,— писал Леонардо. И между тем как вокруг него нарушались все законы справедливости человеческой — не осуждая, не оправдывая, созерцал он в движении волн, по виду, случайном и прихотливом, на самом деле, неизменном и правильном, ненарушимые законы справедливости божественной — механики, установленной Первым Двигателем.

9-го июня 1502 года, близ Рима, в Тибре, найдены были мертвые тела юного государя Фаэнцы, Асторре и брата его, удавленных, с веревками и камнями на шее, выброшенных в реку из тюрьмы Св. Ангела. Тела эти, по словам современников, столь прекрасные, что «подобных им не нашлось бы среди тысячи», хранили знаки противоестественного насилия. Народной молвой злодеяние было приписано Чезаре.

В это время Леонардо отметил в своем дневнике:

«В Романье употребляются повозки на четырех колесах; два передних — маленькие, два задних — большие; устройство нелепое, ибо, по законам физики — смотри пя-

тый параграф моих Элементов — вся тяжесть упирается в передние колеса».

Так, умалчивая о величайших нарушениях законов духовного равновесия, возмущался он нарушением законов механики в устройстве романьольских телег.

II

Во второй половине декабря 1502 года герцог Валентино со всем своим двором и войском переехал из Чезены в город Фано, на берегу Адриатического моря, на речке Арцилле, милях в двадцати от Синигаллии, где назначено было свидание с бывшими заговорщиками, Оливератто да Фермо, Орсини и Вителли. В конце этого же месяца к Чезаре выехал Леонардо из Пезаро.

Отправившись утром, он думал быть на месте к сумеркам. Но поднялась вьюга. Горы покрыты были непроходимыми снегами. Мулы то и дело спотыкались. Копыта скользили по обледенелым камням. Внизу, слева от узкой, над самой кручей, горной тропинки, шумели волны Адриатики, черные, разбивавшиеся о белый снежный берег. К ужасу проводника, мул его шарахнулся, почуяв тело висельника, качавшееся на суке осины.

Стемнело. Поехали наудачу, отпустив поводья, доверившись умным животным. Вдали замерцал огонек. Проводник узнал большой постоялый двор под Новиларою, местечком в горах, как раз на полпути между Фано и Пезаро.

Долго пришлось им стучаться в громадные двери, обитые железными гвоздями, похожие на ворота крепости. Наконец, вышел заспанный конюх с фонарем, потом хозяин гостиницы. Он отказал в ночлеге, объявив, что не только все комнаты, но и конюшни битком набиты — нет, будто бы, ни одной постели, на которой не спало бы в эту ночь человека по три, по четыре, и все люди знатные — военные и придворные из свиты герцога.

Когда Леонардо назвал ему себя и показал пропуск с печатью и подписью герцога, хозяин рассыпался в извинениях, предложил свою собственную комнату, занятую пока лишь тремя начальниками ратных людей из французского союзного отряда Ив-д'Аллегра, которые, напившись, спали мертвым сном, а сам с женой вызвался лечь в каморке, рядом с кузницей.

Леонардо вошел в комнату, служившую столовой и кухней, точно такую же, как во всех гостиницах Ро-

маньи,— закоптелую, грязную, с пятнами сырости на голых облупленных стенах, с курами и цесарками, дремавшими тут же на шесте, поросятами, визжавшими в решетчатой закуте, рядами золотистых луковиц, кровяных колбас и окороков, подвешенных к почернелым брусьям потолка. В огромном очаге с нависшей кирпичной трубой пылал огонь, и на вертеле шипела свиная туша. В красном отблеске пламени, за длинными столами, гости ели, пили, кричали, спорили, играли в зернь, шашки и карты. Леонардо присел к огню в ожидании заказанного ужина.

За соседним столом, где среди слушателей художник узнал старого капитана герцогских копейщиков Бальдассаре Шипионе, главного придворного казначея, Алессандро Спаноккия и Феррарского посла, Пандольфо Колленуччо, неизвестный человек, размахивая руками, с необыкновенным одушевлением, говорил тонким, визгливым голосом:

— Примерами из новой и древней истории могу я это доказать, синьоры, с точностью математической! Вспомните только государства, которые приобрели военную славу,— римлян, лакедемонян, афинян, этолийцев, ахеян и множество племен по ту сторону Альп. Все великие завоеватели набирали войска из граждан собственного народа: Нин — из ассирийцев, Кир — из персов, Александр — из македонян... Правда, Пирр и Ганнибал одерживали победы с наемниками; но тут уже все дело в необычайном искусстве вождей, сумевших вдохнуть в чужеземных солдат мужество и доблесть народного ополчения. К тому же, не забывайте главного положения, краеугольного камня военной науки: в пехоте, говорю я, и только в пехоте решающая сила войска, а не в коннице, не в огнестрельных орудиях и порохе — этой нелепой выдумке новых времен!..

— Увлекаетесь, мессер Никколó,— с вежливой улыбкой возразил капитан копейщиков,— огнестрельные орудия приобретают с каждым днем все большее значение. Что бы вы ни говорили о спартанцах и римлянах, смею думать, что нынешние войска гораздо лучше вооружены, чем древние. Не в обиду будь сказано вашей милости, эскадрон французских рыцарей или артиллерии с тридцатью бомбардами опрокинул бы скалу, а не только отряд вашей римской пехоты!

— Софизмы! Софизмы!— горячился мессер Никколо.— Я узнаю в словах ваших, синьоре, пагубное заблуждение, которым лучшие военные люди нашего века извра-

щают истину. Погодите, когда-нибудь полчища северных варваров протрут итальянцам глаза, и увидят они жалкое бессилие наемников, убедятся в том, что конница и артиллерия выеденного яйца не стоят перед твердыней правильной пехоты,— но будет поздно... И как только люди спорят против очевидности? Хоть бы о том подумали, что с ничтожным отрядом пехоты Лукулл разбил сто пятьдесят тысяч конницы Тиграна, среди которой были когорты всадников точь-в-точь такие же, как эскадроны нынешних французских рыцарей!..

С любопытством посмотрел Леонардо на этого человека, говорившего о победах Лукулла так, как будто видел их собственными глазами.

На незнакомце было длинное платье из темно-красного сукна, величавого покроя, с прямыми складками, какое носили почтенные государственные люди Флорентинской Республики, между прочим, секретари посольства. Но платье имело вид поношенный: кое-где, правда, на местах не очень заметных, были пятна; рукава лоснились. Судя по краю рубашки, которая обыкновенно выставлялась наружу тонкой полоской на шее из-под плотно застегнутого ворота, белье было сомнительной свежести. Большие узловатые руки с мозолью на среднем пальце, как у людей, которые много пишут, замараны чернилами. Представительного, внушающего людям почтение мало было в наружности этого человека, еще не старого, лет сорока, худощавого, узкоплечего, с поразительно живыми, резкими, угловатыми чертами лица, странными до необычайности. Иногда, во время разговора, подняв вверх плоский и длинный, точно утиный нос, закинув маленькую голову назад, прищурив глаза и задумчиво выставив вперед оттопыренную нижнюю губу, смотрел он поверх головы собеседника, как будто вдаль, делаясь похожим на зоркую птицу, которая вглядывается в очень далекий предмет, вся насторожившись и вытянув тонкую, длинную шею. В беспокойных движениях, в лихорадочном румянце на выдающихся, широких скулах над смуглыми и впалыми бритыми щеками, и особенно в больших серых тяжко-пристальных глазах угадывался внутренний огонь. Эти глаза хотели быть злыми; но порой сквозь выражение холодной горечи, едкой насмешки мелькало в них что-то робкое и жалобное.

Мессер Никколо продолжал развивать свою мысль о военной силе пехоты, и Леонардо удивлялся смешению правды и лжи, безграничной смелости и рабского подра-

жания древним в словах этого человека. Доказывая бесполезность огнестрельного оружия, упомянул он, между прочим, о том, как труден прицел пушек большого размера, ядра которых проносятся или чересчур высоко над головами врагов, или чересчур низко, не долетая до них. Художник оценил остроту и меткость этого наблюдения, зная сам по опыту несовершенства тогдашних бомбард. Но тотчас же затем, высказав мнение, что крепости не могут защитить государства, сослался Никколо на римлян, не строивших крепостей, и жителей Лакедемона, не позволявших укреплять Спарту, дабы иметь оплотом лишь мужество граждан, и, как будто все, что делали и думали древние, было истиной непререкаемой, привел знаменитое в школах изречение спартанца о стенах Афин: «они были бы полезны, если бы в городе обитали только женщины».

Окончания спора Леонардо не слышал, потому что хозяин повел его наверх в комнату, приготовленную для ночлега.

III

К утру вьюга разыгралась. Проводник отказывался ехать, уверяя, что в такую погоду добрый человек и собаки из дома не выгонит. Художник должен был остаться еще на день.

От нечего делать он стал прилаживать в кухонном очаге самовращающийся вертел собственного изобретения — большое колесо с наискось расположенными лопастями, приводимое в движение тягой нагретого воздуха в трубе и, в свою очередь, двигавшее вертел.

— С такою машиною,— объяснил Леонардо удивленным зрителям,— повару нечего бояться, что жаркое пригорит, ибо степень жара остается равномерной: когда он увеличивается, вертел ускоряет, когда уменьшается — замедляет движение.

Совершенный кухонный вертел устраивал художник с такою же любовью и вдохновением, как человеческие крылья.

В той же комнате мессер Никколо объяснял молодым французским сержантам артиллерии, отчаянным игрокам, найденное, будто бы, им в законах отвлеченной математики правило выигрывать в кости наверняка, побеждая прихоти «фортуны-блудницы», как он выражался. Умно и красноречиво излагал он это правило, но каждый раз,

как пытался доказать его на деле,— проигрывал, к немалому удивлению своему и злорадству слушателей, утешаясь, впрочем, тем, что допустил ошибку в применении верного правила. Игра кончилась объяснением, неприятным для мессера Никколо: когда наступило время расплачиваться, оказалось, что кошелек его пуст, и что он играл в долг.

Поздно вечером приехала с огромным количеством тюков и ящиков, с многочисленными слугами, пажами, конюхами, шутами, арапками и разными потешными животными вельможная венецианская кортиджана, «великолепная блудница» Лена Гриффа, та самая, которая некогда во Флоренции едва не подверглась нападению Священного Воинства маленьких инквизиторов брата Джироламо Савонаролы.

Года два назад, по примеру многих подруг своих, мона Лена покинула свет, превратилась в кающуюся Магдалину и постриглась в монахини, для того, чтобы впоследствии возвысить себе цену в знаменитом «Тарифе кортиджан, или Рассуждении для знатного иностранца, в коем обозначены цены и качества всех кортиджан Венеции с именами их своден». Из темной монашеской куколки выпорхнула блестящая бабочка. Лена Гриффа быстро пошла в гору: по обыкновению кортиджан высшего полета, уличная венецианская «маммола» — «душка» сочинила себе пышное родословное древо, из коего явствовало, что она, ни более, ни менее, как незаконная дочь брата миланского герцога, кардинала Асканио Сфорца. В то же время сделалась главной наложницей одного дряхлого, наполовину выжившего из ума и несметно богатого кардинала. К нему-то Лена Гриффа и ехала теперь из Венеции в город Фано, где монсиньор ожидал ее при дворе Чезаре Борджа.

Хозяин был в затруднении: отказать в ночлеге такой знатной особе — «ее преподобию», наложнице кардинала, не смел, а свободных комнат не было. Наконец удалось ему войти в соглашение с анконскими купцами, которые за обещанную скидку в счете перешли ночевать в кузницу, уступив свою спальню свите вельможной блудницы. Для самой госпожи потребовал он комнату у мессера Никколо и его сожителей, французских рыцарей Ив-д'Аллегра, предложив им лечь тоже в кузнице, вместе с купцами.

Никколо рассердился и начал было горячиться, спрашивая хозяина, в своем ли он уме, понимает ли, с кем имеет дело, позволяя себе такие дерзости с порядочными

людьми из-за первой встречной потаскухи. Но тут вступилась хозяйка, женщина словоохотливая и воинственная, которая «жиду языка не закладывала». Она заметила мессеру Никколо, что, прежде чем браниться и буянить, следовало бы заплатить по счету за свой собственный харч, слугу и трех лошадей, кстати отдать и четыре дуката, которые муж ее ссудил ему по доброте сердечной еще в прошлую пятницу. И как будто про себя, но достаточно громко, чтобы все присутствовавшие могли ее слышать, пожелала злую Пасху тем шаромыжникам, прощелыгам, что шляются по большим дорогам, выдают себя невесть за каких важных господ, а живут на даровщинку и туда же, нос еще задирают перед честными людьми.

Должно быть, в словах этой женщины была доля правды; по крайней мере, Никколо неожиданно притих, потупив глаза под ее обличительным взором и, видимо, размышлял, как бы отступить поприличнее.

Слуги уже выносили вещи его из комнаты, и безобразная мартышка, любимица мадонны Лены, полузамерзшая во время путешествия, корчила жалобные рожи, вскочив на стол с бумагами, перьями и книгами мессера Никколо, среди которых были «Декады» Тита Ливия и «Жизни знаменитых людей» Плутарха.

— Мессере,— обратился к нему Леонардо с любезной улыбкой,— если бы вам угодно было разделить со мной ночлег, я счел бы за большую честь для себя оказать вашей милости эту незначительную услугу.

Никколо обернулся к нему с некоторым удивлением и еще более смутился, но тотчас оправился и поблагодарил с достоинством.

Они перешли в комнату Леонардо, где художник позаботился отвести своему новому сожителю лучшее место.

Чем больше наблюдал он его, тем привлекательнее и любопытнее казался ему этот странный человек.

Он сообщил ему свое имя и звание — Никколо Макиавелли, секретарь Совета Десяти Флорентинской Республики.

Месяца три назад, лукавая и осторожная Синьория отправила Макиавелли для переговоров к Чезаре Борджа, которого надеялась перехитрить, отвечая на все его предложения оборонительного союза против общих врагов, Бентиволио, Орсини и Вителли, платоническими и двусмысленными изъявлениями дружбы. На самом деле Республика, опасаясь герцога, не желала иметь его ни врагом, ни другом. Мессеру Никколо Макиавелли, лишенному всяких

действительных полномочий, поручено было выхлопотать только пропуск флорентинским купцам через владения герцога по берегу Адриатического моря — дело, впрочем, немаловажное для торговли, «этой кормилицы Республики», как выражалась напутственная грамота Синьоров.

Леонардо также назвал ему себя и свой чин при дворе Валентино. Они разговорились с естественной легкостью и доверием, свойственным людям противоположным, одиноким и созерцательным.

— Мессере,— тотчас признался Никколо, и эта откровенность понравилась художнику,— я слышал, конечно, что вы великий мастер. Но должен вас предупредить, в живописи я ничего не смыслю и даже не люблю ее, хотя полагаю, что искусство это могло бы мне ответить то же, что Данте некогда ответил зубоскалу, который на улице показал ему фигу: одной моей я не дам тебе за сто твоих. Но я слышал также, что герцог Валентино считает вас глубоким знатоком военной науки, и вот о чем хотелось бы мне когда-нибудь побеседовать с вашею милостью. Всегда казалось мне, что это — предмет, тем более важный и достойный внимания, что гражданское величие народов зиждется на могуществе военном, на количестве и качестве постоянного войска, как я докажу в моей книге о монархиях и республиках, где естественные законы, управляющие жизнью, ростом, упадком и смертью всякого государства, будут определены с такою же точностью, с какой математик определяет законы чисел, естествоиспытатель — законы физики и механики. Ибо надо вам сказать, до сих пор все, кто писал о государстве...

Но тут он остановился и перебил себя с добродушною улыбкою:

— Виноват, мессере! Я, кажется, злоупотребляю вашею любезностью: может быть, политика вас так же мало занимает, как живопись меня?..

— Нет, нет, напротив,— молвил художник,— или вот что: скажу вам так же откровенно, как вы, мессер Никколо. Я, в самом деле, не люблю обычных толков людей о войне и делах государственных, потому что эти разговоры лживы и суетны. Но ваши мнения так непохожи на мнения большинства, так новы и необычайны, что, поверьте, я слушаю вас с большим удовольствием.

— Ой, берегитесь, мессере Леонардо! — рассмеялся Никколо еще добродушнее.— Как бы не пришлось вам раскаяться: вы меня еще не знаете; ведь это мой конек — сяду на него и уж не слезу, пока вы сами не прикажете мне

замолчать! Хлебом не корми меня, только с умным человеком дай поговорить о политике! Но вот беда, где их возьмешь, умных людей? Наши великолепные синьоры знать ничего не хотят, кроме рыночных цен на шерсть да на шелк, а я,— прибавил он с гордой и горькой усмешкой,— я видно, уж таким уродился по воле судеб, что, не умея рассуждать ни об убытках, ни о прибылях, ни о шерстяном, ни о шелковом промысле, должен выбрать одно из двух: или молчать, или говорить о делах государственных.

Художник еще раз успокоил его и, чтобы возобновить беседу, которая в самом деле казалась ему любопытною, спросил:

— Вы только что сказали, мессере, что политика должна быть точным знанием, таким же, как науки естественные, основанные на математике, почерпающие свою достоверность из опыта и наблюдения над природой. Так ли я вас понял?

— Так, так! — произнес Макиавелли, сдвинув брови, прищурив глаза, смотря поверх головы Леонардо, весь насторожившись и сделавшись похожим на зоркую птицу, которая вглядывается в очень далекий предмет, вытянув тонкую длинную шею.

— Может быть, я не сумею этого сделать,— продолжал он,— но я хочу сказать людям то, чего никто никогда еще не говорил о делах человеческих. Платон в своей «Республике», Аристотель в «Политике», св. Августин в «Граде Господнем» — все, кто писал о государстве, не видели самого главного — законов естественных, управляющих жизнью всякого народа и находящихся вне человеческой воли, вне зла и добра. Все говорили о том, что́ кажется добрым и злым, благородным и низким, воображая себе такие правления, какие должны быть, но каких нет и не может быть в действительности. Я же хочу не того, что́ должно быть, и не того, что́ кажется, а лишь того, что́ есть на самом деле. Я хочу исследовать природу великих тел, именуемых республиками и монархиями,— без любви и ненависти, без хвалы и порицания, как математик исследует природу чисел, анатом — строение тела. Знаю, что это трудно и опасно, ибо люди нигде так не боятся истины и не мстят за нее, как в политике, но я все-таки скажу им истину, хотя бы потом они сожгли меня на костре, как брата Джироламо!

С невольной улыбкой следил Леонардо за выражением пророческой и в то же время легкомысленной, словно школьнической, дерзости в лице Макиавелли, в глазах

его, блестевших странным, почти безумным, блеском,— и думал:

«С каким волнением говорит он о спокойствии, с какой страстью — о бесстрастии!»

— Мессер Никколо,— молвил художник,— ежели вам удастся исполнить этот замысел, открытия ваши будут иметь не менее великое значение, чем Евклидова геометрия или исследования Архимеда в механике.

Леонардо, в самом деле, был удивлен новизной того, что слышал от мессере Никколо. Он вспомнил, как, еще тринадцать лет назад, окончив книгу с рисунками, изображавшими внутренние органы человеческого тела, приписал сбоку на полях:

«Да поможет мне Всевышний изучить природу людей, их нравов и обычаев, так же, как я изучаю внутреннее строение человеческого тела».

IV

Они беседовали долго. Леонардо, между прочим, спросил его, как мог он во вчерашнем разговоре с капитаном копейщиков отрицать всякое боевое значение крепостей, пороха, огнестрельного оружия; не было ли это простой шуткою?

— Древние спартанцы и римляне,— возразил Никколо,— непогрешимые учителя военного искусства, не имели понятия о порохе.

— Но разве опыт и познание природы,— воскликнул художник,— не открыли нам многого, и каждый день не открывает еще большего, о чем и помышлять не смели древние?

Макиавелли упрямо стоял на своем:

— Я думаю,— твердил он,— в делах военных и государственных новые народы впадают в ошибки, уклоняясь от подражания древним.

— Возможно ли такое подражание, мессер Никколо?

— Отчего же нет? Разве люди и стихии, небо и солнце изменили движение, порядок и силы свои, стали иными, чем в древности?

И никакие доводы не могли его разубедить. Леонардо видел, как смелый до дерзости во всем остальном, становился он вдруг суеверным и робким, словно школьный педант, только что речь заходила о древности.

«У него великие замыслы, но как-то исполнит он их?» — подумал художник, невольно вспомнив игру в ко-

сти, во время которой Макиавелли так остроумно излагал отвлеченные правила, но каждый раз, как пытался доказать их на деле — проигрывал.

— А знаете ли, мессере? — воскликнул Никколо среди спора с искрою неудержимой веселости в глазах,— чем больше я слушаю вас, тем больше удивляюсь — ушам своим не верю!.. Ну, подумайте только, какое нужно было редкое соединение звезд, чтобы мы с вами встретились! Умы человеческие, говорю я, бывают трех родов: первые — те, кто сам все видит и угадывает; вторые видят, когда им другие указывают, последние сами не видят и того, на что им указывают, не понимают. Первые — лучшие и наиболее редкие; вторые — хорошие, средние; последние обычные и никуда не годные. Вашу милость... ну, да, пожалуй, и себя, чтобы не быть заподозренным в чрезмерной скромности, я причисляю к первому роду людей. Чему вы смеетесь? Разве не правда? Воля ваша — думайте, что хотите, а я верю, что это недаром, что тут воля верховных судеб совершается, и для меня не скоро в жизни повторится такая встреча, как сегодня с вами, ибо я знаю, как мало на свете умных людей. А чтобы достойно увенчать нашу беседу, позвольте мне прочесть одно прекраснейшее место из Ливия и послушайте мое объяснение.

Он взял со стола книгу, придвинул заплывший сальный огарок, надел железные, сломанные и тщательно перевязанные ниткою очки с большими круглыми стеклами и придал лицу своему выражение строгое, благоговейное, как во время молитвы или священнодействия.

Но только что поднял он брови и указательный палец, готовясь искать ту главу, из коей явствует, что победы и завоевания ведут государства неблагоустроенные скорее к гибели, чем к величию, и произнес первые, звучащие как мед, слова торжественного Ливия,— дверь тихонько отворилась, и в комнату, крадучись, вошла маленькая, сгорбленная и сморщенная старушка.

— Синьоры мои,— прошамкала она, кланяясь низко,— извините за беспокойство. Госпожи моей, яснейшей мадонны Лены Гриффы любимый зверек сбежал — кролик с голубою ленточкой на шейке. Ищем, ищем, весь дом обшарили, с ног сбились, ума не приложим, куда запропастился...

— Никакого здесь кролика нет,— сердито прервал ее мессер Никколо,— ступайте прочь!

И встал, чтобы выпроводить старуху, но вдруг посмотрел на нее внимательно сквозь очки, потом, опустив

их на кончик носа, посмотрел еще раз поверх стекол, всплеснул руками и воскликнул:

— Мона Альвиджа! Ты ли это, старая хрычовка? А я-то думал, что давно уже черти крючьями стащили падаль твою в пекло!..

Старуха прищурила подслеповатые, хитрые глаза и осклабилась, отвечая на ласковые ругательства беззубой улыбкой, от которой сделалась еще безобразнее:

— Мессере Никколо! Сколько лет, сколько зим! Вот не гадала, не чаяла, что Бог приведет еще встретиться...

Макиавелли извинился перед художником и пригласил мону Альвиджу в кухню покалякать, вспомнить доброе старое время. Но Леонардо уверил его, что они ему не мешают, взял книгу и сел в стороне. Никколо подозвал слугу и велел подать вина с таким видом, точно был в доме почтеннейшим гостем.

— Скажи-ка, братец, этому мошеннику-хозяину, чтобы не смел угощать нас той кислятиной, что подал мне намедни, ибо мы с моной Альвиджей не любим скверного вина, так же как священник Арлотто, который, говорят, и перед Святыми Дарами из плохого вина ни за что бы не стал на колени, полагая, что оно не может претвориться в кровь Господню!..

Мона Альвиджа забыла кролика, мессер Никколо — Тита Ливия, и за кувшином вина разговорились они, как старые друзья.

Из беседы этой Леонардо понял, что старуха некогда сама была кортиджаной, потом содержательницей дома терпимости во Флоренции, сводней в Венеции и теперь служила главной ключницей, заведующей гуардаробою мадонны Лены Гриффы. Макиавелли расспрашивал ее об общих знакомых, о пятнадцатилетней голубоглазой Аталанте, которая однажды, говоря о любовном грехе, воскликнула с невинною улыбкою: «разве это хула на Духа Святого? Монахи и священники могут проповедывать, что им угодно,— никогда не поверю я, будто бы доставлять бедным людям удовольствие — смертный грех!» — о прелестной мадонне Риччеи, муж которой замечал с равнодушием философа, когда ему сообщали об изменах супруги: жена в доме, что огонь в очаге — давай соседям, сколько хочешь, не убудет. Вспомнили и толстую рыжую Мармилию, которая каждый раз, бывало, склоняясь на мольбы своих поклонников, набожно опускала завесу перед иконою, «чтобы Мадонна не увидала».

Никколо в этих сплетнях и непристойностях по-видимому чувствовал себя, как рыба в воде. Леонардо удивлялся превращению государственного мужа, секретаря Флорентинской Республики, тихого и мудрого собеседника в беспутного гуляку, завсегдатая притонов. Впрочем, истинной веселости не было в Макиавелли, и художник угадывал тайную горечь в его циническом смехе.

— Так-то, государь мой! Молодое растет, старое старится,— заключила Альвиджа, впадая в чувствительность и качая головой, как дряхлая парка любви.— Времена уже нынче не те...

— Врешь, старая ведьма, чертова угодница! — лукаво подмигнул ей Никколо.— Не гневи-ка ты Бога, кума. Кому другому, а вашей сестре нынче масленица. Теперь у хорошеньких женщин ревнивых и бедных мужей не бывает вовсе, и, вступив в дружбу с такими мастерицами, как ты, живут они припеваючи. Самые гордые синьоры охотно сдаются за деньги — по всей Италии свальный грех да непотребство. Распутную женщину от честной только разве и отличишь, что по желтому знаку...

Упомянутый желтый знак был особою, шафранного цвета, головною повязкою, которую закон обязывал носить блудниц, с тою целью, чтобы не смешивали их в толпе с честными женщинами.

— Ох, не говорите, мессере! — сокрушенно вздохнула старуха.— Куда же нынешнему веку против прежнего? Да хоть бы то взять: не так давно еще в Италии о французской болезни никто не слыхивал — жили мы, как у Христа за пазухой. Или опять же насчет этого желтого знака — и, Боже ты мой, просто беда! Верите ли, в прошлый карнавал госпожу мою едва в тюрьму не упрятали. Ну, посудите сами, статочное ли дело мадонне Лене желтый знак носить?

— А почему бы ей не носить?

— Что вы, что вы, как можно, помилуйте! Разве яснейшая мадонна какая-нибудь уличная девчонка из тех, что со всякой сволочью шляются? Да известно ли милости вашей, что одеяло на ее постели великолепнее папских облачений в день св. Пасхи? Что же касается до ума и учености, тут уж она, полагаю, и самих докторов Болонского университета за пояс заткнет. Послушали бы вы только, как рассуждает она о Петрарке, о Лауре, о бесконечности небесной любви!..

— Еще бы,— усмехнулся Никколо,— кому же и знать бесконечность любви, как не ей!..

— Да уж смейтесь, смейтесь, мессере, а ведь вот, ей Богу, чтобы мне с этого места не встать: намедни, как читала она свое послание в стихах одному бедному юноше, которому советует обратиться к упражнению в добродетелях, слушала я, слушала, да и расплакалась, ну так за душу и хватает, точь-в-точь как бывало в Санта-Мария дель Фьоре на проповедях брата Джироламо, царствие ему небесное. Воистину новый Туллий Цицерон! И то сказать, недаром же знатнейшие господа платят ей за один разговор о тайнах платонической любви разве что на два или на три дуката менее, чем другим за целую ночь. А вы говорите — желтый знак!

В заключение мона Альвиджа рассказала про собственную молодость: и она была прекрасна, и за нею ухаживали; все ее прихоти исполнялись; и чего только она, бывало, не выделывала. Однажды в городе Падуе, в соборной ризнице сняла митру с епископа и надела на свою рабыню. Но с годами красота поблекла, поклонники рассеялись, и пришлось ей жить сдачей комнат внаймы да стиркою белья. А тут еще заболела и дошла до такой нищеты, что хотела на церковной паперти просить подаяния, чтобы купить яду и отравиться. Только Пречистая Дева спасла ее от смерти: с легкой руки одного старого аббата, влюбленного в ее соседку, жену кузнеца, вступила мона Альвиджа на торный путь, занявшись более выгодным промыслом, чем стирка белья.

Рассказ о чудесной помощи Матери Господа, ее особливой Заступницы, прерван был служанкою мадонны Лены, прибежавшей сказать, что госпожа требует у ключницы баночки с мазью для мартышки, отморозившей лапу, и «Декамерона» Боккаччо, которого вельможная блудница читала перед сном и прятала под подушку, вместе с молитвенником.

По уходе старухи Никколо вынул бумагу, очинил перо и стал сочинять донесение великолепным синьорам Флоренции о замыслах и действиях герцога Валентино — послание, полное государственной мудрости, несмотря на легкий, полушутливый слог.

— Мессере,— молвил он вдруг, поднимая глаза от работы и взглядывая на художника,— а признайтесь-ка, удивились вы, что я так внезапно перешел от беседы о самых великих и важных предметах, о добродетелях древних спартанцев и римлян к болтовне о девчонках со сводней? Но не осуждайте меня слишком строго и вспомните, государь мой, что этому разнообразию нас учит сама

природа в своих вечных противоположностях и превращениях. А ведь главное — бесстрашно следовать природе во всем! Да и к чему притворяться? Все мы люди, все человеки. Знаете старую басню о том, как философ Аристотель в присутствии ученика своего Александра Великого, по прихоти распутной женщины, в которую влюблен был без памяти, стал на четвереньки и взял ее к себе на спину, и бесстыдная, голая, поехала верхом на мудреце, как на муле? Конечно, это только басня, но смысл ее глубок. Уж если сам Аристотель решился на такую глупость из-за смазливой девчонки,— где же нам, грешным, устоять?..

Час был поздний. Все давно спали. Было тихо. Только сверчок пел в углу, и слышалось,. как за деревянной перегородкой в соседней комнате мона Альвиджа что-то лепечет, бормочет, натирая лекарственной мазью отмороженную лапку обезьяны.

Леонардо лег, но долго не мог заснуть и смотрел на Макиавелли, прилежно склоненного над работою с обгрызенным гусиным пером в руках. Пламя огарка бросало на голую белую стену огромную тень от головы его с угловатыми резкими очертаниями, с оттопыренною нижнею губою, непомерно длинною, тонкою шеей и длинным птичьим носом. Кончив донесения о политике Чезаре, запечатав обертку сургучом и сделав обычную на спешных посылках надпись — cito, citissime, celerrime — скорее, самое скорое, наискорейшее! — открыл он книгу Тита Ливия и погрузился в любимый многолетний труд — составление объяснительных примечаний к Декадам.

«Юний Брут, притворившись дураком,— писал он,— приобрел больше славы, чем самые умные люди. Рассматривая всю его жизнь, прихожу я к тому заключению, что он действовал так, дабы избегнуть подозрений и тем легче низвергнуть тирана,— пример, достойный подражания для всех цареубийц. Ежели могут они восстать открыто, то, конечно, это благороднее. Но когда сил не хватает для явной борьбы, следует действовать тайно, вкрадываясь в милость государя и не брезгая ничем, чтобы ее заслужить, деля с монархом все его пороки и будучи ему сообщником в распутстве, ибо такое сближение, во-первых, спасет жизнь мятежника, во-вторых, позволит ему, при удобном случае, погубить государя. Итак, говорю я, должно притворяться дураком, подобно Юнию Бруту — хваля, порицая и утверждая обратное тому, что думаешь, дабы вовлечь тирана в погибель и возвратить свободу отечеству».

Леонардо следил, как при свете потухающего огарка странная черная тень на белой стене плясала и корчила бесстыдные рожи, между тем как лицо секретаря Флорентинской Республики хранило торжественное спокойствие, словно отблеск величия Древнего Рима. Только в самой глубине глаз да в углах извилистых губ сквозило порой выражение двусмысленное, лукавое и горько-насмешливое, почти такое же циническое, как во время беседы о девочках со своднею.

V

На следующее утро вьюга утихла. Солнце искрилось в заиндевелых мутно-зеленых стеклах маленьких окошек постоялого двора, как в бледных изумрудах. Снежные поля и холмы сияли, мягкие, как пух, ослепительно белые под голубыми небесами.

Когда Леонардо проснулся, сожителя уже не было в комнате. Художник сошел вниз, в кухню. Здесь в очаге пылал большой огонь, и на новом самовращающемся вертеле шипело жаркое. Хозяин не мог налюбоваться машиною Леонардо, а дряхлая старушка, пришедшая из глухого горного селения, смотрела, выпучив глаза, в суеверном ужасе, на баранью тушу, которая сама себя подрумянивала, ходила, как живая, повертывая бока так, чтобы не пригореть.

Леонардо велел проводнику седлать мулов и присел к столу, чтобы закусить на дорогу. Рядом мессер Никколо в чрезвычайном волнении разговаривал с двумя новыми приезжими. Один из них был гонец из Флоренции, другой — молодой человек безукоризненной светской наружности, с лицом, как у всех, не глупым, не умным, не злым и не добрым, незапоминаемым лицом толпы,— некий мессер Лучо, как впоследствии узнал Леонардо, двоюродный племянник Франческо Веттори, знатного гражданина, имевшего большие связи и дружески расположенного к Макиавелли, родственник самого гонфалоньера, Пьеро Содерини. Отправляясь по семейным делам в Анкону, Лучо взялся отыскать Никколо в Романье и передать ему письма флорентинских друзей. Приехал он вместе с гонцом.

— Напрасно изволите беспокоиться, мессер Никколо,— говорил Лучо.— Дядя Франческо уверяет, что деньги скоро будут высланы. Еще в прошлый четверг синьоры обещали ему...

— У меня, государь мой,— злобно перебил его Макиавелли,— двое слуг да три лошади, которых обещаниями великолепных синьоров не накормишь! В Имоле получил я 60 дукатов, а долгов заплатил на 70. Если бы не сострадание добрых людей, секретарь Флорентинской Республики умер бы с голоду. Нечего сказать, хорошо заботятся синьоры о чести города, принуждая доверенное лицо свое при чужом дворе выпрашивать по три, по четыре дуката на бедность!..

Он знал, что жалобы тщетны. Но ему было все равно, только бы излить накипевшую горечь. В кухне почти никого не было: они могли говорить свободно.

— Наш соотечественник, мессер Леонардо да Винчи,— гонфалоньер должен его знать,— продолжал Макиавелли, указывая на художника, и Лучо вежливо поклонился ему,— мессер Леонардо вчера еще был свидетелем оскорблений, которым я подвергаюсь...

— Я требую, слышите, не прошу, а требую отставки! — закончил он, все более горячась и видимо воображая в лице молодого флорентинца всю Великолепную Синьорию.— Я человек бедный. Дела мои в расстройстве. Я, наконец, болен. Если так будет продолжаться, меня привезут домой в гробу! К тому же все, что можно было сделать с данными мне полномочиями, я здесь уже сделал. А затягивать переговоры, ходить вокруг да около, шаг вперед, шаг назад, и хочется, и колется — слуга покорный! Я считаю герцога слишком умным для такой ребяческой политики. Я, впрочем, писал вашему дяде...

— Дядя,— возразил Лучо,— конечно, сделает для вас, мессере, все, что в силах,— но вот беда: Совет Десяти считает донесения ваши столь необходимыми для блага Республики, проливающими такой свет на здешние дела, что никто и слышать не хочет о вашей отставке. Мы бы-де и рады, да заменить его некем. Единственный, говорят, золотой человек, ухо и око нашей Республики. Могу вас уверить, мессер Никколо,— письма ваши имеют такой успех во Флоренции, что большего вы сами не могли бы желать. Все восхищаются неподражаемым изяществом и легкостью вашего слога. Дядя мне говорил, что намедни в зале Совета, когда читали одно из шуточных ваших посланий, синьоры так и покатывались со смеху...

— А, так вот оно что! — воскликнул Макиавелли, и лицо его вдруг передернулось.— Ну, теперь я все понимаю: синьорам письма мои по вкусу пришлись. Слава

Богу, хоть на что-нибудь да пригодился мессер Никколо! Они там, изволите ли видеть, со смеху покатываются, изящество слога моего оценивают, пока я здесь живу, как собака, мерзну, голодаю, дрожу в лихорадке, терплю унижение, бьюсь, как рыба об лед — все для блага Республики, черт бы ее побрал вместе с гонфалоньером, этой слезливой старой бабой. Чтоб вам всем ни гроба, ни савана...

Он разразился площадною бранью. Привычное бессильное негодование наполняло его при мысли об этих вождях народа, которых он презирал, и у которых был на посылках.

Желая переменить разговор, Лучо подал Никколо письмо от молодой жены его, моны Мариетты.

Макиавелли пробежал несколько строк, нацарапанных детским крупным почерком на серой бумаге.

«Я слышала,— писала, между прочим, Мариетта,— что в тех краях, где вы находитесь, свирепствуют лихорадки и другие болезни. Можете себе представить, каково у меня на душе. Мысли о вас ни днем, ни ночью не дают мне покоя. Мальчик, слава Богу, здоров. Он становится удивительно похож на вас. Личико белое, как снег, а головка в густых черных-пречерных волосиках, точь-в-точь как у вашей милости. Он кажется мне красивым, потому что похож на вас. И такой живой, веселый, как будто ему уже год. Верите ли, только что родился, открыл глазенки и закричал на весь дом.— А вы не забывайте нас, и очень, очень прошу, приезжайте скорее, потому что я более ждать не могу и не буду. Ради Бога, приезжайте! А пока да сохранит вас Господь, Приснодева Мария и великомощный мессер Антонио, коему непрестанно о здравии вашей милости молюсь».

Леонардо заметил, что во время чтения этого письма лицо Макиавелли озарилось доброю улыбкой, неожиданной для резких, угловатых черт его, как будто из-за них выглянуло лицо другого человека. Но оно тотчас же скрылось. Презрительно пожав плечами, скомкал он письмо, сунул в карман и проворчал сердито:

— И кому только понадобилось сплетничать о моей болезни?

— Невозможно было скрыть,— возразил Лучо.— Каждый день мона Мариетта приходит к одному из ваших друзей или членов Совета Десяти, расспрашивает, выпытывает, где вы и что с вами...

— Да уж знаю, знаю, не говорите — беда мне с ней!

Он нетерпеливо махнул рукой и прибавил:

— Дела государственные должно поручать людям холостым. Одно из двух — или жена, или политика!

И, немного отвернувшись, резким, крикливым голосом продолжал:

— Не имеете ли намерения жениться, молодой человек?

— Пока нет, мессер Никколо,— ответил Лучо.

— И никогда, слышите, никогда не делайте этой глупости. Сохрани вас Бог. Жениться, государь мой, это все равно, что искать угря в мешке со змеями! Супружеская жизнь — бремя для спины Атласа, а не обыкновенного смертного. Не так ли, мессер Леонардо?

Леонардо смотрел на него и угадывал, что Макиавелли любит мону Мариетту с глубокою нежностью, но, стыдясь этой любви, скрывает ее под маскою бесстыдства.

Гостиница опустела. Постояльцы, вставшие спозаранку, разъехались. Собрался в путь и Леонардо. Он пригласил Макиавелли ехать вместе. Но тот грустно покачал головою и ответил, что ему придется ждать из Флоренции денег, чтобы расплатиться с хозяином и нанять лошадей. От недавней напускной развязности в нем и следа не оставалось. Он весь вдруг поник, опустился, казался несчастным и больным. Скука неподвижности, слишком долгого пребывания на одном и том же месте была для него убийственна. Недаром в одном письме члены Совета Десяти упрекали его за слишком частые, беспричинные переезды, которые производили путаницу в делах: «видишь, Никколо, до чего доводит нас этот твой непоседливый дух, столь жадный к перемене мест».

Леонардо взял его за руку, отвел в сторону и предложил денег взаймы. Никколо отказался...

— Не обижайте меня, друг мой,— молвил художник.— Вспомните то, что сами вчера говорили: какое нужно редкое соединение звезд, чтобы встретились такие люди, как мы. Зачем же лишаете вы меня и себя этого благодеяния судьбы? И разве вы не чувствуете, что не я вам, а вы мне оказали бы сердечную услугу?..

В лице и голосе художника была такая доброта, что Никколо не имел духу огорчить его и взял тридцать дукатов, которые обещал возвратить, как только получит деньги из Флоренции. Тотчас расплатился он в гостинице с щедростью вельможи.

VI

Выехали. Утро было тихое, нежное, с почти весеннею теплотою и капелью на солнце, с душисто-морозною свежестью в тени. Глубокий снег с голубыми тенями хрустел под копытами. Между белыми холмами сверкало бледно-зеленое зимнее море, и желтые косые паруса, подобные крыльям золотистых бабочек, кое-где мелькали на нем.

Никколо болтал, шутил и смеялся. Каждая мелочь вызывала его на неожиданно забавные или печальные мысли.

Проезжая бедное селение рыбаков на берегу моря и горной речки Арциллы, увидели путники на маленькой церковной площади жирных веселых монахов в толпе молодых поселянок, которые покупали у них крестики, четки, кусочки мощей, камешки от дома Лореттской Богоматери и перышки из крыльев Архангела Михаила.

— Чего зеваете? — крикнул Никколо мужьям и братьям поселянок, стоявшим тут же на площади.— Не подпускайте монахов к женщинам! Разве вы не знаете, как жир легко зажигается огнем, и как любят святые отцы, чтобы красавицы не только называли их, но и делали отцами?

Заговорив со спутником о римской церкви, он стал доказывать, что она погубила Италию.

— Клянусь Вакхом,— воскликнул он, и глаза его загорелись негодованием,— я полюбил бы, как себя самого, того, кто принудил бы всю эту сволочь — попов и монахов, отречься или от власти, или от распутства!

Леонардо спросил его, что думает он о Савонароле, Никколо признался, что одно время был пламенным его приверженцем, надеялся, что он спасет Италию, но скоро понял бессилие пророка.

— Опротивела мне до тошноты вся эта ханжеская лавочка. И вспоминать не хочется. Ну их к черту! — заключил он брезгливо.

VII

Около полудня въехали они в ворота города Фано. Все дома переполнены были солдатами, военачальниками и свитой Чезаре. Леонардо, как придворному зодчему, отвели две комнаты близ дворца на площади. Одну из них предложил он спутнику, так как достать другое помещение было трудно.

Макиавелли пошел во дворец и вернулся с важною новостью: главный герцогский наместник дон Рамиро де Лорка был казнен. Утром в день Рождества, 25-го декабря, народ увидел на Пьяцетте между Замком и Роккою Чезены обезглавленный труп, валявшийся в луже крови, рядом — топор, и на копье, воткнутом в землю, отрубленную голову Рамиро.

— Причины казни никто не знает,— заключил Никколо.— Но теперь об этом только и говорят по всему городу. И мнения прелюбопытные! Я нарочно зашел за вами. Пойдемте-ка на площадь, послушаем. Право же, грешно пренебрегать таким случаем изучения на опыте естественных законов политики!

Перед древним собором Санто-Фортунато толпа ожидала выхода герцога. Он должен был проехать в лагерь для смотра войск. Разговаривали о казни наместника. Леонардо и Макиавелли вмешались в толпу.

— Как же, братцы? Я в толк не возьму,— допытывался молодой ремесленник с добродушным и глуповатым лицом,— как же сказывали, будто бы более всех вельмож любил он и жаловал наместника?

— Потому-то и взыскал, что любил,— наставительно молвил кузнец благообразной, почтенной наружности, в беличьей шубе.— Дон Рамиро обманывал герцога. Именем его народ угнетал, в тюрьмах и пытках морил, лихоимствовал. А перед государем овечкой прикидывался. Думал, шито да крыто. Не тут-то было! Час пришел, исполнилась мера долготерпения государева, и первого вельможу своего не пощадил он для блага народа, приговора не дождавшись, голову на плахе отрубил, как последнему злодею, чтобы другим не повадно было. Теперь, небось, все, у кого рыльце в пуху, хвосты поджали — видят, страшен гнев его, праведен суд. Смиренного милует, гордого сокрушает!

— Regas eos in virga ferrea,— привел монах слова Откровения: «Будешь пасти их жезлом железным».

— Да, да, жезлом бы их всех железным, собачьих детей, мучителей народа!

— Умеет казнить — умеет миловать!

— Лучшего государя не надо!

— Истинно так! — молвил поселянин.— Сжалился, видно, Господь над Романьей. Прежде, бывало, с живого и с мертвого шкуру дерут, поборами разоряют. И так-то есть нечего, а тут за недоимки последнюю пару волов со двора уводят. Только и вздохнули при герцоге Валентино — пошли ему Господь здоровья!

— Тоже и суды,— продолжал купец.— Бывало, таскают, таскают — всю душу вымотают. А теперь мигом решат, так что скорее не надо!

— Сироту защитил, вдовицу утешил,— прибавил монах.

— Жалеет, что говорить, жалеет народ!

— Никому в обиду не даст!

— О, Господи, Господи! — всхлипывая от умиления. залепетала дряхлая старушка-нищенка.— Отец ты наш, благодетель, кормилец, сохрани тебя Матерь Царица Небесная, солнышко наше ясное!..

— Слышите, слышите? — шепнул Макиавелли на ухо спутнику.— Глас народа — глас Божий! Я всегда говорил: надо быть в долине, чтобы видеть горы — надо быть с народом, чтобы знать государя. Вот куда привел бы я тех, кто считает герцога извергом! Утаил сие от премудрых, неразумным открыл.

Зазвучала военная музыка. Толпа заволновалась.

— Он... Он... Едет... Смотрите...

Приподымались на цыпочки, вытягивали шеи. Из окон высовывались любопытные головы. Молодые девушки и женщины с влюбленными глазами выбегали на балконы и лоджии, чтобы видеть героя — «Чезаре белокурого, прекрасного» — «Cesare biondo e bello». Это было редкое счастье, ибо герцог почти никогда не показывался народу.

Впереди шли музыканты с оглушительно звонким бряцанием литавров, сопровождавшим тяжелую поступь солдат. За ними романьольская гвардия герцога — все отборные молодые красавцы, с трехлоктевыми алебардами, в железных шлемах и панцырях, в двухцветной одежде — правая половина желтая, левая красная. Никколо налюбоваться не мог истинно древнею римскою стройностью этого войска, созданного Чезаре. За гвардией выступали пажи и стремянные, в одеждах невиданной роскоши — в камзолах золотой парчи, в накидках пунцового бархата, с вытканными золотом листьями папоротника; ножны и пояса мечей — из змеиной чешуи с пряжками, изображавшими семь голов ехидны, мечущих к небу свой яд,— знаменье Борджа. На груди выткано было серебром по черному шелку: «Caesar». Далее — телохранители герцога, албанские страдиоты в зеленых турецких чалмах, с кривыми ятаганами. Маэстро дель кампо — начальник лагеря, Бартоломео Капраника нес поднятый вверх, обнаженный меч Знаменосца Римской Церкви. За ним, на черном берберийском жеребце с бриллиантовым солнцем в челке, ехал сам повелитель Романьи, Чезаре Борджа, герцог Ва-

лентино, в бледно-лазоревой шелковой мантии, с белыми жемчужными лилиями Франции, в гладких, как зеркало, бронзовых латах, с разинутой львиной пастью на панцыре, в шлеме, изображавшем морское чудовище или дракона с колючими перьями, крыльями и плавниками из кованой, тонкой, при каждом движении звонко трепещущей меди.

Лицо Валентино — ему было двадцать шесть лет — похудело и осунулось с тех пор, как Леонардо увидел его впервые при дворе Людовика XII в Милане. Черты сделались резче. Глаза с черно-синим блеском вороненой стали — тверже и непроницаемее. Белокурые волосы, все еще густые, и раздвоенная бородка потемнели. Удлинившийся нос напоминал клюв хищной птицы. Но совершенная ясность, как прежде, царила в этом бесстрастном лице. Только теперь в нем было выражение еще более стремительной отваги и ужасающей остроты, как в обнаженном отточенном лезвии.

За герцогом следовала артиллерия, лучшая во всей Италии — тонкие медные кулеврины, фальконеты, черботаны, толстые чугунные мортиры, стрелявшие каменными ядрами. Запряженные волами, катились они с глухим потрясающим гулом и грохотом, который сливался со звуками труб и литавров. В багровых лучах заходящего солнца пушки, панцыри, шлемы, копья вспыхивали молниями, и казалось, Чезаре ехал в царственном пурпуре зимнего вечера, как триумфатор, прямо к этому огромному, низкому и кровавому солнцу.

Толпа смотрела на героя, молча, затаив дыхание, желая и не смея приветствовать его криками, в благоговении, подобном ужасу. Слезы текли по щекам старой нищенки.

— Святые угодники!.. Матерь Пречистая! — лепетала она, крестясь.— Привел-таки Господь увидеть светлое личико твое, солнышко ты наше красное!..

И сверкающий меч, врученный папой Чезаре для защиты Церкви Господней, казался ей огненным мечом самого Архангела Михаила.

Леонардо невольно усмехнулся, заметив одинаковое выражение простодушного восторга в лице Никколо и полоумной нищенки.

VIII

Вернувшись домой, художник нашел подписанное главным секретарем герцога, Агапито, приказание на следующий день явиться к его высочеству.

Лучо, который, продолжая путь в Анкону, остановился отдохнуть в городе Фано и должен был выехать утром, пришел к ним проститься. Никколо заговорил о казни Рамиро де Лорка. Лучо спросил его, что думает он о действительной причине этой казни.

— Угадывать причины действий такого государя, как Чезаре, трудно, почти невозможно,— возразил Макиавелли.— Но ежели угодно вам знать, что́ я думаю,— извольте. До завоевания герцогом Романья, как вам известно, находясь под игом множества отдельных ничтожных тиранов, полна была буйствами, грабежами и насилиями. Чезаре, чтобы положить им сразу конец, назначил главным наместником умного и верного слугу своего, дона Рамиро де Лорка. Лютыми казнями, пробудившими в народе спасительный страх перед законом, в короткое время прекратил он беспорядок и водворил совершенное спокойствие в стране. Когда же государь увидел, что цель достигнута, то решил истребить орудие жестокости своей: велел схватить наместника под предлогом лихоимства, казнить и выставить на площади труп. Это ужасное зрелище в одно и то же время удовлетворило и оглушило народ. А герцог извлек три выгоды из действия, полного глубокою и достойною подражания мудростью: во-первых, с корнем вырвал плевелы раздоров, посеянные в Романье прежними слабыми тиранами; во-вторых, уверив народ, будто бы жестокости совершены были без ведома государя, умыв руки во всем и свалив бремя ответственности на голову наместника, воспользовался добрыми плодами его свирепости; в-третьих, принося в жертву народу своего любимого слугу, явил образец высокой и неподкупной справедливости.

Он говорил спокойным, тихим голосом, сохраняя бесстрастную неподвижность в лице, как будто излагал выводы отвлеченной математики; только в самой глубине глаз дрожала, то потухая, то вспыхивая, искра шаловливой, дерзкой, почти школьнически задорной веселости.

— Хороша справедливость, нечего сказать! — воскликнул Лучо.— Да ведь из ваших слов, мессере Никколо, выходит, что это мнимое правосудие — величайшая гнусность!

Секретарь Флоренции опустил глаза, стараясь потушить их резвый огонь.

— Может быть,— прибавил он холодно,— очень может быть, мессере; но что же из того?

— Как, что из того? Неужели гнусность считаете вы достойною подражания, государственною мудростью?

Макиавелли пожал плечами.

— Молодой человек, когда вы приобретете некоторую опытность в политике, то сами увидите, что между тем, как люди поступают, и тем, как должно поступать, такая разница, что забывать ее значит обрекать себя на верную гибель, ибо все люди по природе своей злы и порочны, ежели выгода или страх не принуждают их к добродетели. Вот почему, говорю я, государь, чтобы избегнуть гибели, должен прежде всего научиться искусству казаться добродетельным, но быть или не быть им, смотря по нужде, не страшась укоров совести за те тайные пороки, без коих сохранение власти невозможно, ибо, с точностью исследуя природу зла и добра, приходишь к заключению, что многое кажущееся доблестью уничтожает, а кажущееся пороком возвеличивает власть государей.

— Помилуйте, мессере Никколо!— возмутился, наконец, Лучо — Да ведь если так рассуждать, то все позволено, нет такого злодейства и низости, которых бы нельзя оправдать...

— Да, все позволено,— еще холоднее и тише произнес Никколо и, как бы углубляя значение этих слов, поднял руку и повторил: — все позволено тому, кто хочет и может властвовать!

— Итак,— продолжал он,— возвращаясь к тому, с чего мы начали, я заключаю, что герцог Валентино, объединивший Романью при помощи дона Рамиро, прекративший в ней грабежи и насилия — не только разумнее, но и милосерднее в своей жестокости, чем, например, флорентинцы, допускающие постоянные мятежи и буйства в подчиненных им землях, ибо лучше жестокость, поражающая немногих, чем милосердие. от которого гибнут в мятежах народы.

— Позвольте, однако,— видимо запутанный и ошеломленный, спохватился Лучо.— Как же так? Разве не было великих государей, чуждых всякой жестокости? Ну, хотя бы император Антонин или Марк Аврелий — да мало ли других в летописях древних и новых народов?..

— Не забывайте, мессере,— возразил Никколо,— что я пока имел в виду не столько наследственные, сколько завоеванные монархии, не столько сохранение, сколько приобретение власти. Конечно, императоры Антонин и Марк Аврелий могли быть милосердными без особенного вреда для государства, потому что в прошлые века совершено было достаточно свирепых и кровавых деяний. Вспомните только, что при основании Рима один из братьев, вскормленных волчицею, умертвил другого — злодея-

ние ужасное,— но, с другой стороны, как знать, если бы не совершилось братоубийство, необходимое для установления единодержавия — существовал ли бы Рим, не погиб ли бы он среди неизбежных раздоров двоевластия? И кто посмеет решить, какая чаша весов перевесит, если на одну положить братоубийство, на другую — все добродетели и мудрость Вечного Города? Конечно, следует предпочитать самую темную долю величию царей, основанному на подобных злодеяниях. Но тот, кто раз покинул путь добра, должен, если не хочет погибнуть, вступить на эту роковую стезю без возврата, чтобы идти по ней до конца, ибо люди мстят только за малые и средние обиды, тогда как великие отнимают у них силы для мщения. Вот почему государь может причинять своим подданным только безмерные обиды, воздерживаясь от малых и средних. Но большею частью, выбирая именно этот средний путь между злом и добром, самый пагубный, люди не смеют быть ни добрыми, ни злыми до конца. Когда злодейство требует величия духа, они отступают перед ним и с естественною легкостью совершают только обычные подлости.

— Волосы дыбом встают от того, что вы говорите, мессере Никколо!— ужаснулся Лучо, и так как светское чувство подсказывало ему, что всего приличнее отделаться шуткой, прибавил, стараясь улыбнуться:

— Впрочем, воля ваша, я все-таки представить себе не могу, чтобы вы в самом деле думали так. Мне кажется невероятным...

— Совершенная истина почти всегда кажется невероятною,— прервал его Макиавелли сухо.

Леонардо, внимательно слушавший, давно уже заметил, что, притворяясь равнодушным, Никколо бросал на собеседника украдкою испытующие взоры, как бы желая измерить силу впечатления, которое производят мысли его,— удивляет ли, пугает ли новизна их и необычайность? В этих косвенных, неуверенных взорах было тщеславие. Художник чувствовал, что Макиавелли не владеет собой, и что ум его, при всей своей остроте и тонкости, не обладает спокойною побеждающей силой. Из нежелания думать, как все, из ненависти к общим местам, впадал он в противоположную крайность — в преувеличение, в погоню за редкими, хотя бы неполными, но, во что бы то ни стало, поражающими истинами. Он играл неслыханными сочетаниями противоречивых слов — например, *добродетель* и *свирепость*, как фокусник играет обнаженными шпагами, с бесстрашною ловкостью. У него была целая оружейная пала-

та этих отточенных, блестящих, соблазнительных и страшных полуистин, которыми он метал, словно ядовитыми стрелами, во врагов своих, подобных мессеру Лучо,— людей толпы, мещански благопристойных и здравомыслящих. Он мстил им за их торжествующую пошлость, за свое непонятное превосходство, колол, язвил — но не убивал, даже не ранил.

И художнику вспомнилось вдруг его собственное чудовище, которое некогда изобразил он на деревянном щите — ротелле, по заказу сире Пьеро да Винчи, создав его из разных частей отвратительных гадов. Не образовал ли и мессер Никколо так же бесцельно и бескорыстно своего богоподобного изверга, не существующего и невозможного Государя, противоестественное и пленительное чудовище, голову Медузы — на страх толпе?

Но, вместе с тем, под этой беспечною прихотью и шалостью воображения, под бесстрастием художника Леонардо угадывал в нем действительно великое страдание — как будто фокусник, играя мечами, нарочно резал себя до крови: в прославлении чужих жестокостей была жестокость к самому себе.

«Не из тех ли он жалких больных, которые ищут утоления боли, растравляя собственные раны?»— думал Леонардо.

И все-таки последней тайны этого темного, сложного, столь близкого и чуждого сердца он еще не знал.

В то время, как он смотрел на Макиавелли с глубоким любопытством, мессер Лучо беспомощно, как в нелепом сне, боролся с призрачною головою Медузы.

— Что ж? Я спорить не буду,— отступал он в последнюю твердыню здравого смысла.— Может быть, есть некоторая доля правды в том, что говорите вы о необходимой жестокости государей, если применить это к великим людям прошедших веков. Им простится многое, потому что добродетель и подвиги их выше всякой меры. Но помилуйте, мессере Никколо, при чем же тут герцог Романьи? Quod licet Jovi, non licet bovi.[1] Что позволено Александру Великому и Юлию Цезарю, позволено ли Александру VI и Чезаре Борджа, о котором пока ведь еще неизвестно, что он такое — Цезарь или ничто[2]? Я, по крайней мере, думаю и со мною все согласятся...

— О, конечно, с вами все согласятся! — уже явно теряя самообладание, перебил Никколо.— Только это еще не доказательство. мессере Лучо. Истина обитает не на

---

[1] Что позволено Юпитеру, то не позволено быку (*лат.*).

[2] «Aut Caesar [император, царь], aut nihil» (*лат.*)— девиз Чезаре Борджа.

больших дорогах, по которым ходят все. А чтобы кончить спор, вот вам последнее слово мое: наблюдая действия Чезаре, я нахожу их совершенными и полагаю, что тем, кто приобретает власть оружием и удачей, можно указать на него, как на лучший образец для подражания. Такая свирепость с такою добродетелью соединились в нем, он так умеет ласкать и уничтожать людей, так прочны основания власти, заложенные им в столь короткое время, что уже и теперь это — самодержец, единственный в Италии, может быть, в Европе, а что ожидает его в будущем, и представить себе трудно...

Голос его дрожал. Красные пятна выступили на впалых щеках. Глаза горели, как в лихорадке. Он был похож на ясновидящего. Из-под насмешливой маски циника выглядывало лицо бывшего ученика Савонаролы.

Но только что Лучо, утомленный спором, предложил заключить мировую двумя, тремя бутылками в соседнем погребке,— ясновидец исчез.

— Знаете ли что? — возразил Никколо,— пойдемте-ка лучше в другое местечко. У меня на это нюх собачий! Здесь нынче, полагаю, должны быть прехорошенькие девочки...

— Ну какие могут быть девочки в этом дрянном городишке?— усомнился Лучо.

— Послушайте, молодой человек,— остановил его секретарь Флоренции с важностью,— никогда не брезгайте дрянными городишками. Боже вас упаси! В этих самых грязненьких предместьицах, в темненьких переулочках можно иногда такое откопать, что пальчики оближешь!..

Лучо развязно потрепал Макиавелли по плечу и назвал его шалуном.

— Темно,— отнекивался он,— да и холодно, замерзнем...

— Фонари возьмем,— настаивал Никколо,— шубы наденем, каппы [1] на лицо. По крайней мере никто не узнает. В таких похождениях, чем таинственнее, тем приятнее.— Мессере Леонардо, вы с нами?

Художник отказался.

Он не любил обычных грубых мужских разговоров о женщинах, избегал их с чувством непреодолимой стыдливости. Этот пятидесятилетний человек, бестрепетный испытатель тайн природы, провожавший людей на смертную казнь, чтобы следить за выражением последнего ужаса в лицах, иногда терялся от легкомысленной шутки, не знал, куда девать глаза и краснел, как мальчик.

Никколо увлек мессера Лучо.

---

[1] Капюшоны (от итал. cappa).

IX

На следующий день рано утром пришел из дворца камерьере узнать, доволен ли главный герцогский строитель отведенным ему помещением, не терпит ли недостатка в городе, переполненном таким множеством иностранцев, и передал ему с приветствием герцога подарок, состоявший, по гостеприимному обычаю тех времен, из хозяйственных припасов — куля с мукой, бочонка с вином, бараньей туши, восьми пар каплунов и кур, двух больших факелов, трех пачек восковых свечей и двух ящиков конфетти. Видя внимание Чезаре к Леонардо, Никколо попросил его замолвить за него словечко у герцога — выхлопотать ему свидание.

В одиннадцать часов ночи, обычное время приема у Чезаре, отправились они во дворец.

Образ жизни герцога был странен. Когда однажды феррарские послы жаловались папе на то, что не могут добиться приема у Чезаре, его святейшество ответил им, что он и сам недоволен поведением сына, который обращает день в ночь, и по два, по три месяца откладывает деловые свидания.

Время его распределялось так: летом и зимою ложился он спать в четыре или пять часов утра, в три пополудни для него только что брезжила утренняя заря, в четыре вставало солнце, в пять вечера он одевался, тотчас обедал, иногда лежа в постели, во время обеда и после занимался делами. Всю свою жизнь окружал тайной непроницаемой, не только по естественной скрытности, но и по расчету. Из дворца выезжал редко, почти всегда в маске. Народу показывался во все дни великих торжеств, войску — во время сражения, в минуты крайней опасности. Зато каждое из его явлений было поражающим, как явление полубога: он любил и умел удивлять.

О щедрости его ходили слухи невероятные. На содержание Главного Капитана Церкви не хватало золота, непрерывно стекавшегося в казну св. Петра со всего христианского мира. Послы уверяли государей, будто бы он тратит не менее тысячи восьмисот дукатов в день. Когда Чезаре проезжал по улицам городов, толпа бежала за ним, зная, что он подковывает лошадей своих особыми, легко спадающими серебряными подковами, чтобы нарочно терять их по пути, в подарок народу.

Чудеса рассказывали и о телесной силе его: однажды будто бы, в Риме, во время боя быков, юный Чезаре

бывший тогда кардиналом Валенсии, разрубил череп быку ударом палаша. В последние годы французская болезнь только потрясла, но не сокрушила его здоровья. Пальцами прекрасной, женственной тонкой руки гнул он лошадиные подковы, скручивал железные прутья, разрывал корабельные канаты. Недоступного собственным вельможам и послам великих держав, можно было видеть его на холмах в окрестностях Чезены, присутствующим на кулачных боях полудиких горных пастухов Романьи. Порой и сам принимал он участие в этих играх.

В то же время — совершенный кавальере, законодатель светских мод. Однажды, ночью, в день свадьбы сестры своей, мадонны Лукреции, покинув осаду крепости, прямо из лагеря прискакал во дворец жениха, Альфонсо д'Эсте, герцога Феррарского; никем не узнанный, весь в черном бархате, в черной маске, прошел толпу гостей, поклонился, и, когда они расступились перед ним, один, под звуки музыки, начал пляску и сделал несколько кругов по зале с таким изяществом, что тотчас все его узнали. «Чезаре! Чезаре! Единственный Чезаре!» — пронесся восторженный шепот в толпе. Не обращая внимания на гостей и хозяина, он отвел невесту в сторону и, наклонившись, стал что-то шептать ей на ухо. Лукреция потупила глаза, вспыхнула, потом побледнела, как полотно, и сделалась еще прекраснее, вся нежная, бледная, как жемчужина, быть может, невинная, но слабая, бесконечно покорная страшной воле брата, покорная, как уверяли, даже до кровосмешения.

Он заботился об одном: чтобы не было явных улик. Может быть, молва преувеличивала злодеяния герцога, может быть, действительность была еще ужаснее молвы. Во всяком случае, он умел прятать концы в воду.

X

Дворцом его высочеству служила старинная готическая ратуша Фано.

Пройдя через большую, унылую и холодную залу, общую приемную для менее знатных посетителей, Леонардо и Макиавелли вступили в маленький внутренний покой, должно быть, некогда часовню, с цветными стеклами в стрельчатых окнах, высокими седалищами церковного хора, где в тонкой дубовой резьбе изображены были двенадцать апостолов и учителя первых веков христианства. В увядшей фреске на потолке, среди облаков и ан-

гелов, реял голубь Духа Святого. Здесь находились приближенные. Разговаривали полушепотом: близость государя чувствовалась через стену.

Плешивый старичок, злополучный посол Римини, уже третий месяц дожидавшийся свидания с герцогом, видимо усталый от многих бессонных ночей, дремал в углу на церковном седалище.

Иногда дверь приотворялась, секретарь Агапито, с озабоченным видом, с очками на носу и пером за ухом, просовывал голову и приглашал к его высочеству кого-нибудь из присутствовавших.

При каждом его появлении посол Римини болезненно вздрагивал, приподымался, но видя, что очередь не за ним, тяжело вздыхал и опять погружался в дремоту, под звук аптекарского пестика в медной ступе.

За неимением других удобных комнат в тесной ратуше, часовня превращена была в походную аптеку. Перед окном, где было место алтаря, на столе, загроможденном бутылями, колбами и банками врачебной лаборатории, епископ Санта-Джуста, Гаспаре Торелла, главный врач — архиатрос его святейшества папы и Чезаре, приготовлял недавно вошедшее в моду лекарство от «французской болезни» — сифилиса, настойку из так называемого «святого дерева»— *гуайяко*, привозимого с новооткрытых Колумбом полуденных островов. Растирая в красивых руках остропахучую шафранно-желтую сердцевину гуайяко, слипавшуюся в жирные комки, врач-епископ объяснял с любезной улыбкой природу и свойства целительного дерева.

Все слушали с любопытством: многие из присутствовавших знали по опыту страшную болезнь.

— И откуда только взялась она? — в горестном недоумении покачивал головой кардинал Санта-Бальбина.

— Испанские жиды и мавры, говорят, занесли,— молвил епископ Эльна.— Теперь, как издали законы против богохульников,— еще, слава Богу, поутихла. А лет пять, шесть назад — не только люди, но и животные, лошади, свиньи, собаки заболевали, даже деревья и хлеба на полях.

Врач выразил сомнение в том, чтобы французскою болезнью могли заболевать пшеница и овес.

— Покарал Господь,— сокрушенно вздохнул епископ Трани,— за грехи послал нам бич гнева Своего!

Собеседники умолкли. Раздавался лишь мерный звон пестика в ступе, и казалось, что учителя первых веков христианства, изображенные в хорах по стенам, с удивлением внимают этой странной беседе новых пастырей

церкви Господней. В часовне, озаренной мерцающим светом аптекарской лампочки, где удушливый камфарный запах лекарственного дерева смешивался с едва уловимым благоуханием прежнего ладана, собрание римских прелатов как будто совершало тайное священнодействие.

— Монсиньоре,— обратился к врачу герцогский астролог Вальгулио,— правда ли, будто бы эта болезнь передается через воздух?

Врач сомнительно пожал плечами.

— Конечно, через воздух! — подтвердил Макиавелли с лукавой усмешкой.— Как же иначе могла бы она распространиться не только в мужских, но и в женских обителях.

Все усмехнулись.

Один из придворных поэтов, Баттисто Орфино, торжественно, как молитву, прочел посвящение герцогу новой книги епископа Тореллы о французской болезни, где он, между прочим, уверяя, будто бы Чезаре добродетелями своими затмил великих древних мужей: Брута — справедливостью, Деция — постоянством, Сципиона — воздержанием. Марка Регула — верностью и Павла Эмилия — великодушием,— прославлял Знаменосца Римской Церкви как основателя ртутного лечения.

Во время этой беседы секретарь Флоренции, отводя то одного, то другого придворного в сторону, ловко расспрашивал их о предстоящей политике Чезаре, выпытывал, выслеживал и нюхал воздух, как ищейка. Подошел и к Леонардо и, опустив голову на грудь, приложив указательный палец к губам, поглядывая на него исподлобья, проговорил несколько раз в глубокой задумчивости:

— Съем артишок... съем артишок...

— Какой артишок? — удивился художник.

— В том-то и штука — какой артишок?.. Недавно герцог загадал загадку посланнику Феррары, Пандольфо Коленуччо: я, говорит, съем артишок, лист за листом. Может быть, это означает союз врагов его, которых он, разделив, уничтожит, а может быть, и что-нибудь совсем другое. Вот уже целый час ломаю голову!

И наклонившись к уху Леонардо, прошептал:

— Тут все загадки да ловушки! О всяком вздоре болтают, а только что заговоришь о деле — немеют, как рыбы или монахи за едою. Ну, да меня не проведешь! Я чую — что-то у них готовится. Но что именно? Что? Верите ли, мессере,— душу заложил бы дьяволу, только бы знать, что именно!

И глаза у него заблестели, как у отчаянного игрока.

Из приотворенной двери высунулась голова Агапито. Он сделал знак художнику.

Через длинный, полутемный ход, занятый телохранителями — албанскими страдиотами, вступил Леонардо в опочивальню герцога, уютный покой с шелковыми коврами по стенам, на которых выткана была охота за единорогом, с лепною работою на потолке, изображавшею басню о любви царицы Пазифаи к быку. Этот бык, багряный или золотой телец, геральдический зверь дома Борджа, повторялся во всех украшениях комнаты, вместе с папскими трехвенечными тиарами и ключами св. Петра.

В комнате было жарко натоплено: врачи советовали больным после ртутного втирания беречься сквозняка, греясь на солнце или у огня. В мраморном очаге пылал благовонный можжевельник; в лампадах горело масло с примесью фиалковых духов: Чезаре любил ароматы.

По обыкновению, лежал он, одетый, на низком ложе без полога, посередине комнаты. Только два положения тела были ему свойственны: или в постели, или верхом. Неподвижный, бесстрастный, облокотившись на подушки, следил он, как двое придворных играют в шахматы рядом с постелью на яшмовом столике, и слушал доклад секретаря: Чезаре обладал способностью разделять внимание на несколько предметов сразу. Погруженный в задумчивость, медленным, однообразным движением перекатывал он из одной руки в другую золотой шар, наполненный благоуханиями, с которым никогда не расставался, так же как со своим дамасским кинжалом.

XI

Он принял Леонардо со свойственной ему очаровательной любезностью. Не позволяя преклонить колено, дружески пожал художнику руку и усадил его в кресло.

Пригласил его, чтобы посоветоваться о планах Браманте для нового монастыря в городе Имоле, так называемой *Валентины*, с богатою часовнею, больницею и странноприимным домом. Чезаре желал сделать эти благотворительные учреждения памятником своего христианского милосердия.

После чертежей Браманте показал ему новые, только что вырезанные образчики букв для печатного станка Джеронимо Сончино, в городе Фано, которому покрови-

тельствовал, заботясь о процветании искусств и наук в Романье.

Агапито представил государю собрание хвалебных гимнов придворного поэта Франческо Уберти. Его высочество благосклонно принял их и велел щедро наградить поэта.

Затем, так как он требовал, чтобы ему представляли не только хвалебные гимны, но и сатиры, секретарь подал ему эпиграмму неаполитанского поэта Манчони, схваченного в Риме и посаженного в тюрьму Св. Ангела — сонет, полный жестокою бранью, где Чезаре назывался лошаком, отродьем блудницы и папы, восседающего на престоле, которым некогда владел Христос, ныне же владеет сатана,— турком, обрезанцем, кардиналом-расстригою, кровосмесителем, братоубийцей и богоотступником.

«Чего ты ждешь, о Боже терпеливый,— восклицал поэт,— или не видишь, что святую церковь он в стойло мулов обратил и в непотребный дом?»

— Как прикажете поступить с негодяем, ваше высочество? — спросил Агапито.

— Оставь до моего возвращения,— тихо молвил герцог.— Я с ним сам расправлюсь.

Потом прибавил еще тише:

— Я сумею научить писателей вежливости.

Известен был способ, которым Чезаре «учил писателей вежливости»: за менее тяжкие обиды отрубал им руки и прокалывал языки раскаленным железом.

Кончив доклад, секретарь удалился.

К Чезаре подошел главный придворный астролог Вальгулио с новым гороскопом. Герцог выслушал его внимательно, почти благоговейно, ибо верил в неизбежность рока, в могущество звезд. Между прочим, объяснил Вальгулио, что последний припадок французской болезни у герцога зависел от дурного действия сухой планеты Марс, вступившей в знак влажного Скорпиона; но только что соединится Марс с Венерою, при восходящем Тельце,— болезнь пройдет сама собою. Затем посоветовал, в случае, если его высочество намерен предпринять какое-либо важное действие, выбрать 31 число декабря, после полудня, так как соединение светил в этот день знаменует счастье Чезаре. И, подняв указательный палец, наклонившись к уху герцога, молвил он трижды таинственным шепотом:

— Сделай так! Сделай так! Сделай так!

Чезаре потупил глаза и ничего не ответил. Но художнику показалось, что по лицу его промелькнула тень.

Движением руки отпустив звездочета, обратился он снова к придворному строителю.

Леонардо разложил перед ним военные чертежи и карты. Это были не только исследования ученого, объяснявшие строение почвы, течение воды, преграды, образуемые горными цепями, исходы рек, открываемые долинами, но и произведения великого художника — картины местностей, как бы снятые с высоты птичьего полета. Море обозначено было синею краскою, горы — коричневою, реки — голубою, города — темно-алою, луга — бледно-зеленою; и с бесконечным совершенством исполнена каждая подробность — площади, улицы, башни городов, так что их сразу можно было узнать, не читая названий, приписанных сбоку. Казалось, будто бы летишь над землей и с головокружительной высоты видишь у ног своих необозримую даль. С особенным вниманием рассматривал Чезаре карту местности, ограниченной с юга озером Бельсенским, с севера — долиною речки, впадающей в Арно, Валь д'Эмою, с запада — Ареццо и Перуджей, с востока Сиеною и приморскою областью. Это было сердце Италии, родина Леонардо, земля Флоренции, о которой герцог давно уже мечтал, как о самой лакомой добыче.

Углубленный в созерцание, наслаждался Чезаре этим чувством полета. Словами не сумел бы он выразить того, что испытывал, но ему казалось, что он и Леонардо понимают друг друга, что они — сообщники. Он смутно угадывал великую новую власть над людьми, которую может дать наука, и хотел для себя этой власти, этих крыльев для победоносного полета. Наконец, поднял глаза на художника и пожал ему руку с обворожительно-любезной улыбкой:

— Благодарю тебя, мой Леонардо! Служи мне, как до сих пор служил, и я сумею тебя наградить.

— Хорошо ли тебе? — прибавил заботливо.— Доволен ли жалованьем? Может быть, есть у тебя какое-либо желание? Ты знаешь, я рад исполнить всякую просьбу твою.

Леонардо, пользуясь случаем, замолвил слово за мессера Никколо — попросил для него свидания у герцога. Чезаре пожал плечами с добродушною усмешкою.

— Странный человек этот мессер Никколо! Добивается свиданий, а когда принимаю его, говорить нам не о чем. И зачем только прислали мне этого чудака?

Помолчав, спросил, какого мнения Леонардо о Макиавелли.

— Я полагаю, ваше высочество, что это один из самых умных людей, каких я когда-либо встречал в моей жизни.

— Да, умен,— согласился герцог,— пожалуй, кое-что и в делах разумеет. А все-таки... нельзя на него положиться. Мечтатель, ветреник. Меры не знает ни в чем. Я, впрочем, всегда ему желал добра, а теперь, когда узнал, что он твой друг,— тем более. Он ведь добряк! Нет в нем никакого лукавства, хотя он и воображает себя коварнейшим из людей и старается меня обмануть, как будто я враг вашей Республики. Я, впрочем, не сержусь: понимаю, что он это делает потому, что любит отечество больше, чем душу свою.— Ну, что же, пусть придет ко мне, ежели ему так хочется... Скажи, что я рад. А кстати, от кого это намедни я слышал, будто бы мессер Никколо задумал книгу о политике или о военной науке что ли?

Чезаре опять усмехнулся своею тихою усмешкою, как будто вспомнил вдруг что-то веселое.

— Говорил он тебе о своей македонской фаланге? Нет? Так слушай. Однажды из этой самой книги о военной науке объяснял Никколо моему начальнику лагеря, Бартоломео Капраника и другим капитанам правило для расположения войск в порядке, подобном древней македонской фаланге, с таким красноречием, что всем захотелось увидеть ее на опыте. Вышли в поле перед лагерем, и Никколо начал командовать. Бился, бился с двумя тысячами солдат, часа три продержал их на холоде, под ветром и дождем, а хваленой фаланги не выстроил. Наконец Бартоломео потерял терпение, вышел тоже к войску, и хотя отроду ни одной книги о военной науке не читывал — во мгновение ока, под звук тамбурина, расположил пехоту в прекрасный боевой порядок. И тогда-то все еще раз убедились, сколь великая разница между делом и словом.— Только смотри, Леонардо, ему ты об этом не сказывай: Никколо не любит, чтобы ему напоминали македонскую фалангу!

Было поздно, около трех часов утра. Герцогу принесли легкий ужин — блюдо овощей, форель, немного белого вина: как настоящий испанец, отличался он умеренностью в пище.

Художник простился. Чезаре еще раз с пленительной любезностью поблагодарил его за военные карты и велел трем пажам проводить с факелами, в знак почета.

Леонардо рассказал Макиавелли о свидании с герцогом.

Узнав о картах, снятых им для Чезаре с окрестностей Флоренции, Никколо ужаснулся.

— Как? Вы — гражданин Республики — для злейшего врага отечества?..

— Я полагал,— возразил художник,— что Чезаре считается нашим союзником...

— Считается! — воскликнул секретарь Флоренции, и в глазах его блеснуло негодование.— Да знаете ли вы, мессере, что, если только это дойдет до сведения великолепных синьоров[1], вас могут обвинить в измене?..

— Неужели? — простодушно удивился Леонардо.— Вы, впрочем, не думайте, Никколо,— я в самом деле ничего не смыслю в политике — точно слепой...

Они молча посмотрели друг другу в глаза и вдруг оба почувствовали, что в этом они до последней глубины сердца навеки различны, чужды друг другу и никогда не сговорятся: для одного как будто вовсе не было родины; другой любил ее, по выражению Чезаре, «больше, чем душу свою».

XII

В ту ночь уехал Никколо, не сказав, куда и зачем.

Вернулся на следующий день после полудня, усталый, озябший, вошел в комнату Леонардо, тщательно запер двери, объявил, что давно уже хотелось ему поговорить с ним о деле, которое требует глубокой тайны, и повел речь издалека.

Однажды, три года назад, в сумерки, в пустынной местности Романьи, между городами Червией и Порто-Чезенатико, вооруженные всадники в масках напали на конный отряд, провожавший из Урбино в Венецию жену Баттисто Карачоло, капитана пехоты Яснейшей республики, мадонну Доротею, отбили ее и ехавшую с ней двоюродную сестру ее, Марию, пятнадцатилетнюю послушницу Урбинского девичьего монастыря, усадили на коней и ускакали. С того дня Доротея и Мария пропали без вести.

Совет и Сенат Венеции почли оскорбленной Республику в лице своего капитана и обратились к Людовику XII, к испанскому королю и папе с жалобами на герцога Романьи, обвиняя его в похищении Доротеи. Но улик не было, и Чезаре ответил с насмешкою, что, не терпя недостатка в женщинах, не имеет нужды отбивать их по большим дорогам.

---

[1] Здесь: членов флорентинской Синьории.

Ходили слухи, будто бы мадонна Доротея быстро утешилась, следуя за герцогом во всех его походах и не слишком горюя о муже.

У Марии был брат, мессер Дионнджо, молодой капитан на службе Флоренции, в Пизанском лагере. Когда все ходатайства флорентинских синьоров оказались столь же бесполезными, как жалобы Яснейшей Республики, Дионнджо решил сам попытать счастья, приехал в Романью под чужим именем, представился герцогу, заслужил его доверие, проник в башню Чезенской крепости и бежал с Марией, переодетой мальчиком. Но на границе Перуджи настигла их погоня. Брата убили. Марию вернули в крепость.

Макиавелли, как секретарь Флорентинской Республики, принимал участие в этом деле. Мессер Дионнджо подружился с ним, доверил ему тайну отважного замысла, рассказал все, что мог узнать о сестре своей от тюремщиков, которые считали ее святой и уверяли, будто бы она творит исцеления, пророчествует, будто бы руки и ноги ее запечатлены кровавыми крестными язвами. подобными «стигматам» святой Екатерины Сиенской.

Когда Чезаре наскучила Доротея, он обратил свое внимание на Марию. Знаменитый обольститель женщин, зная за собой очарование, которому самые чистые не могли противиться, был уверен, что, рано или поздно, Мария окажется такой же покорной, как все. Но ошибся. Воля его встретила в сердце этого ребенка непобедимое сопротивление. Молва гласила, что в последнее время герцог часто бывал в ее тюремной келье, подолгу оставался с ней наедине, но то, что происходило на этих свиданиях, для всех было тайною.

В заключение Никколо объявил, что намерен освободить Марию.

— Если бы вы, мессере Леонардо,— прибавил он,— согласились помочь мне, я повел бы это дело так, что никто ничего не узнал бы о вашем участии. Я, впрочем, хотел просить у вас лишь некоторых сведений о внутреннем расположении и устройстве крепости Сан-Микеле, где находится Мария. Вам, как придворному строителю, было бы легче проникнуть туда и все разузнать.

Леонардо смотрел на него молча, с удивлением, и под этим испытующим взором Никколо рассмеялся вдруг неестественным, резким, почти злобным смехом.

— Смею надеяться,— воскликнул он,— в излишней чувствительности и в рыцарском великодушии вы меня не заподозрите! Соблазнит ли герцог эту девочку, или нет,

мне, конечно, все равно. Из-за чего же хлопочу я, угодно вам знать? Да хотя бы из-за того, чтобы доказать великолепным синьорам, что и я могу на что-нибудь пригодиться, кроме шутовства. А главное, надо же чем-нибудь позабавиться. Человеческая жизнь такова, что если не позволять себе изредка глупостей, околеешь от скуки. Надоело мне болтать, играть в кости, ходить в непотребные дома и писать ненужные донесения флорентинским шерстникам! Вот и придумал я это дело — все-таки не слова ведь, а дело!.. Да и жаль пропустить случай. Весь план готов с чудеснейшими хитростями!..

Он говорил поспешно, как бы в чем-то оправдываясь. Но Леонардо уже понял, что Никколо мучительно стыдится доброты своей и, по обыкновению, скрывает ее под цинической маской.

— Мессере, — остановил его художник, — прошу вас, рассчитывайте на меня, как на себя, в этом деле — с одним условием, чтобы, в случае неудачи, ответил я так же, как вы.

Никколо, видимо, тронутый, ответил на пожатие руки его и тотчас изложил ему свой план.

Леонардо не возражал, хотя в глубине души сомневался, чтобы столь же легким оказался на деле, как на словах, этот план, в котором было что-то слишком тонкое и хитрое, непохожее на действительность.

Освобождение Марии назначили на 30-е декабря — день отъезда герцога из Фано.

Дня за два перед тем прибежал к ним поздно вечером один из подкупленных тюремщиков предупредить о грозящем доносе. Никколо не было дома. Леонардо отправился искать его по городу.

После долгих поисков нашел он секретаря Флоренции в игорном вертепе, где шайка негодяев, большею частью испанцев, служивших в войске Чезаре, обирала неопытных игроков.

В кружке молодых кутил и развратников объяснял Макиавелли знаменитый сонет Петрарки:

Ferito in mezzo di core di Laura —
Пораженный Лаурою в самое сердце —

открывая непристойное значение в каждом слове и доказывая, что Лаура заразила Петрарку французскою болезнью. Слушатели хохотали до упаду.

Из соседней комнаты послышались крики мужчин, визги женщин, стук опрокинутых столов, звон шпаг, раз-

битых бутылок и рассыпанных денег: поймали шулера. Собеседники Никколо бросились на шум. Леонардо шепнул ему, что имеет сообщить важную новость по делу Марии. Они вышли.

Ночь была тихая, звездная. Девственный, только что выпавший снег хрустел под ногами. После духоты игорного дома Леонардо с наслаждением вдыхал морозный воздух, казавшийся душистым.

Узнав о доносе, Никколо решил с неожиданной беспечностью, что пока еще беспокоиться не о чем.

— Удивились вы, найдя меня в этом притоне? — обратился он к спутнику.— Секретарь Флорентинской Республики — чуть не в должности шута придворной сволочи! Что же делать? Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет. Они, хоть и мерзавцы, а щедрее наших великолепных синьоров!..

Такая жестокость к самому себе была в этих словах Никколо, что Леонардо не выдержал, остановил его.

— Неправда! Зачем вы так о себе говорите, Никколо? Разве не знаете, что я ваш друг и сужу не как все?..

Макиавелли отвернулся и, немного помолчав, продолжал тихим изменившимся голосом:

— Знаю... Не сердитесь на меня, Леонардо! Порой, когда на сердце слишком тяжело — я шучу и смеюсь, вместо того, чтобы плакать...

Голос его оборвался, и, опустив голову, проговорил он еще тише:

— Такова судьба моя! Я родился под несчастною звездою. Между тем как сверстники мои, ничтожнейшие люди, преуспевают во всем, живут в довольстве, в почестях, приобретают деньги и власть,— я один остаюсь позади всех, затертый глупцами. Они считают меня человеком легкомысленным. Может быть, они правы. Да, я не боюсь великих трудов, лишений, опасностей. Но терпеть всю жизнь мелкие и подлые оскорбления, сводить концы с концами, дрожать над каждым грошом — я, в самом деле, не умею. Э, да что говорить!..— безнадежно махнул он рукою, и в голосе его задрожали слезы.

— Проклятая жизнь! Ежели Бог надо мной не сжалится, я, кажется, скоро брошу все, дела, мону Мариетту, мальчика,— ведь я им только в тягость, пусть думают, что я умер,— убегу на край света, спрячусь в какую-нибудь дыру, где никто меня не знает, к подеста в письмоводители, что ли, наймусь, или детей буду учить азбуке в сельской школе, чтобы не околеть с голоду, пока не отупею, не по-

теряю сознания,— ибо всего ужаснее, друг мой, сознавать, что силы есть, что мог бы что-нибудь сделать и что никогда ничего не сделаешь — погибнешь бессмысленно!..

XIII

Время шло, и по мере того, как приближался день освобождения Марии, Леонардо замечал, что Никколо, несмотря на самоуверенность, слабеет, теряет присутствие духа, то медлит неосторожно, то суетится без толку. По собственному опыту художник угадывал то, что происходило в душе Макиавелли. Это была не трусость, а та непонятная слабость, нерешительность людей, не созданных для действия, та мгновенная измена воли в последнюю минуту, когда нужно решать не сомневаясь и не колеблясь, которые ему самому, Леонардо, были так знакомы.

Накануне рокового дня Никколо отправился в местечко по соседству с башней Сан-Микеле, чтобы все окончательно приготовить к побегу Марии. Леонардо должен был утром приехать туда же.

Оставшись один, ожидал он с минуты на минуту плачевных известий, теперь уже не сомневаясь, что дело кончится глупой неудачей, как шалость школьников.

Тусклое зимнее утро брезжило в окнах. Постучали в дверь. Художник отпер. Вошел Никколо, бледный и растерянный.

— Кончено! — произнес он, в изнеможении опускаясь на стул.

— Так я и знал,— без удивления молвил Леонардо.— Я говорил вам, Никколо, что попадемся.

Макиавелли посмотрел на него рассеянно.

— Нет, не то,— продолжал он.— Мы-то не попались, а птичка из клетки улетела. Опоздали.

— Как улетела?

— Да так. Сегодня перед рассветом нашли Марию на полу тюрьмы с перерезанным горлом.

— Кто убийца? — спросил художник.

— Неизвестно, но, судя по виду ран, едва ли герцог. На что другое, а на это Чезаре и его палачи — мастера: сумели бы перерезать горло ребенку. Говорят, умерла девственницей. Я думаю, сама...

— Не может быть! Такая, как Мария — ее ведь считали святою?..

— Все может быть! — продолжал Никколо,— вы их еще не знаете! Этот изверг...

Он остановился и побледнел, но кончил с неудержимым порывом:

— Этот изверг на все способен! Должно быть, и святую сумели довести до того, что сама на себя наложила руки...

— В прежнее время,— прибавил он,— когда еще ее не так стерегли, я видел ее раза два. Худенькая, тоненькая, как былинка. Личико детское. Волосы редкие, светлые, как лен, точно у Мадонны Филиппино Липпи в Бадии Флорентинской, что является св. Бернарду. И красоты-то в ней особенной не было. Чем только герцог прельстился... О, мессере Леонардо, если бы вы знали, какой это был жалкий и милый ребенок!..

Никколо отвернулся, и художнику показалось, что на ресницах его заблестели слезы.

Но тотчас спохватившись, докончил он резким, крикливым голосом:

— Я всегда говорил: честный человек при дворе все равно, что рыба на сковороде. Довольно с меня! Я не создан быть слугою тиранов. Добьюсь наконец, чтобы Синьория отозвала меня в другое посольство — все равно куда, лишь бы подальше отсюда!

Леонардо жалел Марию, и ему казалось, что он не остановился бы ни перед какой жертвой, чтобы спасти ее, но в то же время в самой тайной глубине сердца его было чувство облегчения, освобождения при мысли о том, что не надо больше действовать. И он угадывал, что Никколо испытывает то же самое.

XIV

Тридцатого декабря, с рассветом, главные боевые силы Валентино, около десяти тысяч пехоты и двух тысяч конницы, выступили из города Фано и расположились лагерем по дороге в Синигаллию, на берегу речки Метавр, в ожидании герцога, который должен был выехать на следующий день, назначенный астрологом Вальгулио — 31 декабря.

Заключив мир с Чезаре, маджонские заговорщики, по соглашению с ним, предприняли общий поход на Синигаллию. Город сдался, но кастеллан объявил, что не откроет ворот никому, кроме герцога. Бывшие враги его, теперешние союзники, в последнюю минуту, предчувствуя недоброе, уклонялись от свидания. Но Чезаре обманул их еще раз и успокоил, как впоследствии выразился

Макиавелли,— «чаруя ласками подобно василиску, который манит жертву сладким пением».

Сгоравший любопытством Никколо не захотел дожидаться Леонардо и отправился тотчас вслед за герцогом.

Через несколько часов художник выехал один.

Дорога шла на юг, так же, как от Пезаро, по самому берегу моря. Справа были горы. Их подножия иногда так близко подступали к берегу, что едва оставалось узкое пространство для дороги.

День был серый, тихий. Море такое же серое, ровное, как небо. Бездыханный воздух окован дремотой. Карканье ворон предвещало оттепель. Вместе с каплями едва моросившего дождя или талого снега падали ранние сумерки.

Показались черно-красные кирпичные башни Синигаллии.

Город, стиснутый между двумя преградами — водой и горами, как настоящая западня, находился на расстоянии мили от плоского взморья и арбалетного выстрела от подножия Апеннин. Достигнув речки Мизы, дорога круто заворачивала влево. Здесь был мост, построенный наискось через реку, и против него городские ворота. Перед ними небольшая площадь с низкими домиками предместья — большей частью кладовыми венецианских купцов.

В то время Синигаллия была обширным полуазиатским рынком, где купцы Италии обменивались товарами с турками, армянами, греками, персами, славянами из Черногории и Албании. Но теперь даже самые многолюдные улицы — Кипра, Занте, Кандии, Кефалонии — были пусты. Леонардо никого не встречал, кроме солдат. Кое-где в бесконечно длинных, однообразно тянувшихся по обеим сторонам улиц, сводчатых навесах торговых рядов с кладовыми и фондаками, заметил он следы грабежа — разбитые стекла в окнах, сорванные замки и запоры, выломанные двери, разбросанные тюки товаров. Пахло гарью. Полуобгоревшие здания еще дымились, и по углам старинных кирпичных дворцов, на толстых кольцах чугунных факельных подсвечников, виднелись трупы висельников.

Темнело, когда на главной площади города, между палаццо Дукале и круглою, приземистою, с грозными зубцами, синигалльскою крепостью, окруженною глубоким рвом, среди войска, при свете факелов, увидел Леонардо Чезаре.

Он казнил солдат, виноватых в грабеже. Мессер Агапито читал приговор.

По знаку Чезаре осужденных повели на виселицу.

В то время, как художник искал глазами в толпе придворных, кого бы расспросить о том, что здесь произошло, увидел он секретаря Флоренции.

— Знаете? Слышали? — обратился к нему Никколо.

— Нет, ничего не знаю и рад, что встретил вас. Расскажите.

Макиавелли повел его в соседнюю улицу, потом, через несколько тесных и темных переулков, занесенных снежными сугробами, в глухое предместье на взморье, около верфи, где в одинокой покривившейся лачуге, у вдовы корабельного мастера, удалось ему в это утро, после долгих поисков, найти единственное свободное помещение в городе — две маленькие каморки, одну для себя, другую для Леонардо.

Безмолвно и поспешно засветил Никколо свечу, вынул из походного погребка бутылку вина, раздул головни в очаге и уселся против собеседника, вперив в него горящий взор:

— Так вы еще не знаете? — произнес торжественно.— Слушайте. Событие необычайное и достопамятное! Чезаре отомстил врагам. Заговорщики схвачены. Оливеротто, Орсини и Вителли ожидают смерти.

Он откинулся на спинку стула и посмотрел на Леонардо молча, наслаждаясь его изумлением. Потом, делая над собой усилие, чтобы казаться спокойным и бесстрастным, как летописец, излагающий события давних времен, как ученый, описывающий явление природы, начал рассказ о знаменитой «Синигалльской западне».

Приехав рано поутру в лагерь на реке Метавре, Чезаре отправил вперед двести всадников, двинул пехоту и следом за ней выехал сам с остальною конницей. Он знал, что союзники встретят его и что главные силы их удалены в соседние с городом крепости, чтобы очистить место для новых войск.

Подъезжая к воротам Синигаллии, там, где дорога, заворачивая влево, идет по берегу Мизы, велел коннице остановиться и выстроил ее в два ряда — один задом к реке, другой задом к полю, оставив между ними проход для пехоты, которая, не останавливаясь, переходила через мост и вступала в ворота Синигаллии.

Союзники — Вителоццо, Вителли, Гравина и Паоло Орсини — выехали ему навстречу верхом на мулах, в сопровождении многочисленных всадников.

Как будто предчувствуя гибель, Вителоццо казался таким печальным, что на него дивились те, кто знал его прошлое счастье и храбрость. Впоследствии рассказывали,

что перед отъездом в Синигаллию он простился с домашними, как будто предвидел, что идет на смерть.

Союзники спешились, сняли береты и приветствовали герцога. Он также сошел с коня, сначала подал руку по очереди каждому, потом обнял и поцеловал их, называя милыми братьями.

В это время военачальники Чезаре, как заранее было условлено, окружили Орсини и Вителли так, что каждый из них оказался между двумя приближенными герцога, который, заметив отсутствие Оливеротто, подал знак своему капитану, дону Микеле Корелла. Тот поскакал вперед и нашел его в Борго. Оливеротто присоединился к поезду и, все вместе, дружески беседуя о военных делах, направились во дворец перед крепостью.

В сенях союзники хотели было проститься, но герцог, все с той же пленительной любезностью, удержал их и пригласил войти во дворец.

Только что вступили в приемную, как двери заперлись, восемь вооруженных людей бросились на четырех, по двое на каждого, схватили их, обезоружили и связали. Таково было изумление несчастных, что они почти не сопротивлялись.

Ходили слухи, будто бы герцог намерен покончить с врагами в ту же ночь, удавив их в тайниках дворца.

— О, мессер Леонардо,— заключил Макиавелли свой рассказ,— если бы вы только видели, как он обнимал их, как целовал! Один неверный взгляд, одно движение могли его погубить. Но такая искренность была в лице его и в голосе, что — верите ли? — до последней минуты я не подозревал ничего — отдал бы руку на отсечение, что он не притворяется. Я полагаю, что из всех обманов, какие совершались в мире с тех пор, как существует политика, это прекраснейший!

Леонардо усмехнулся.

— Конечно,— молвил он,— нельзя отказать герцогу в отваге и хитрости, но все же, признаюсь, Никколо, я так мало посвящен в политику, что не понимаю, чем собственно вы так восхищаетесь в этом предательстве?

— Предательстве? — остановил его Макиавелли.— Когда дело, мессере, идет о спасении отечества, не может быть речи о предательстве и верности, о зле и добре, о милосердии и жестокости,— но все средства равны, только бы цель была достигнута.

— При чем же тут спасение отечества, Никколо? Мне кажется, герцог думал только о собственной выгоде...

— Как? И вы, и вы не понимаете? Но ведь это же ясно, как день! Чезаре — будущий объединитель и самодержец Италии. Разве вы не видите?.. Никогда еще не было столь благоприятного времени для пришествия героя, как теперь. Ежели нужно было Израилю томиться в египетском рабстве, дабы восстал Моисей, персам — под игом мидийским, дабы возвеличился Кир, афинянам погибать в междоусобиях, дабы прославился Тезей,— то так же точно и в наши дни нужно было, чтобы Италия дошла до такого позора, в котором находится ныне, испытала худшее рабство, чем евреи, тягчайшее иго, чем персы, бóльшие раздоры, чем афиняне,— без главы, без вождя, без правления, опустошенная, растоптанная варварами, претерпевшая все бедствия, какие только может претерпеть народ,— дабы явился новый герой, спаситель отечества! И хотя в былые времена как будто мелькала для нее надежда в людях, казавшихся избранниками Божьими, но каждый раз судьба изменяла им, на самой высоте величия, перед совершением подвига. И полумертвая, почти бездыханная, все еще ожидает она того, кто уврачует ее раны — прекратит насилия в Ломбардии, грабежи и лихоимства в Тоскане и Неаполе, исцелит эти смрадные, от времени гноящиеся язвы. И днем, и ночью взывает к Богу, молит об Избавителе...

Голос его зазвенел, как слишком натянутая струна — и оборвался. Он был бледен; весь дрожал; глаза горели. Но, вместе с тем, в этом внезапном порыве было что-то судорожное и бессильное, похожее на припадок.

Леонардо вспомнил, как несколько дней назад, по поводу смерти Марии, называл он Чезаре «извергом».

Художник не указал ему на это противоречие, зная, что он теперь отречется от жалости к Марии, как от постыдной слабости.

— Поживем — увидим, Никколо,— молвил Леонардо.— А только вот о чем я хотел бы спросить вас: почему именно сегодня вы как будто окончательно уверились в божественном избрании Чезаре? Или «западня Синигалльская» с большею ясностью, чем все его прочие действия, убедила вас в том, что он герой?

— Да,— ответил Никколо, уже овладев собой и опять притворяясь бесстрастным.— Совершенство этого обмана больше, чем прочие действия герцога, показывает в нем столь редкое в людях соединение великих и противоположных качеств. Заметьте, я не хвалю, не порицаю — я только исследую. И вот моя мысль: для достижения

каких бы то ни было целей существуют два способа действия — законный или насильственный. Первый — человеческий, второй — зверский. Желающий властвовать должен обладать обоими способами — умением быть по произволу человеком и зверем. Таков сокровенный смысл древней басни о том, как царь Ахиллес и другие герои вскормлены были кентавром Хироном, полубогом, полузверем. Государи, питомцы кентавра, так же, как он, соединяют в себе обе природы — зверскую и божескую. Обыкновенные люди не выносят свободы, боятся ее больше, чем смерти, и совершив преступление, падают под бременем раскаяния. Только герой, избранник судьбы, имеет силу вынести свободу — переступает закон без страха, без угрызения, оставаясь невинным во зле, как звери и боги. Сегодня в первый раз увидел я в Чезаре эту последнюю свободу — печать избрания!

— Да. Теперь я вас понимаю, Никколо,— в глубокой задумчивости проговорил художник.— Только мне кажется, не тот свободен, кто, подобно Чезаре, смеет все, потому что не знает и не любит ничего, а тот, кто смеет, потому что знает и любит. Только такой свободой люди победят зло и добро, верх и низ, все преграды и пределы земные, все тяжести, станут, как боги, и — полетят...

— Полетят? — изумился Макиавелли.

— Когда у них,— пояснил Леонардо,— будет совершенное знание, они создадут крылья, изобретут такую машину, чтобы летать. Я много думал об этом. Может быть, ничего не выйдет — все равно, не я, так — другой, но человеческие крылья будут.

— Ну, поздравляю! — рассмеялся Никколо.— Договорились мы до крылатых людей. Хорош будет мой государь, полубог, полузверь — с птичьими крыльями. Вот уж подлинно химера!

Прислушавшись к бою часов на соседней башне, он вскочил и заторопился. Ему надо было поспеть во дворец, чтобы узнать о предстоявшей казни заговорщиков.

XV

Итальянские государи поздравляли Чезаре с «прекраснейшим обманом». Людовик XII, узнав о «западне Синигалльской», назвал ее «подвигом, достойным древнего римлянина». Маркиза Мантуанская, Изабелла Гонзага, прислала в подарок Чезаре к предстоявшему карнавалу сотню разноцветных шелковых масок.

«Знаменитейшая Синьора, досточтимая кума и сестрица наша,— отвечал ей герцог,— присланную Вашею Светлостью в дар сотню масок мы получили, и они весьма для нас приятны, по причине редкого изящества и разнообразия, особливо же потому, что прибыли ко времени и месту, лучше коих нельзя было выбрать — точно Синьория ваша заранее предугадала значение и порядок наших действий, ибо милостью Божьей мы в течение одного дня городом и страною Синигаллии со всеми крепостями овладели, праведною казнью коварных изменников, супостатов наших казнили, Кастелло, Фермо, Чистерну, Монтоне и Перуджу от ига тиранов освободили и в должное повиновение Святейшему Отцу, Наместнику Христову привели. Всего же более сердцу нашему личины сии любезны, как нелицемерное свидетельство братского к нам благоволения Вашей Светлости».

Никколо, смеясь, уверял, что нельзя себе представить лучшего дара мастеру всех притворств и личин — лисице Борджа от лисицы Гонзага, чем эта сотня масок.

XVI

В начале марта 1503 года Чезаре вернулся в Рим.

Папа предложил кардиналам наградить героя знаком высшего отличия, даруемым церковью ее защитникам — Золотою Розою. Кардиналы согласились, и через два дня назначен был обряд.

В первом ярусе Ватикана, в зале Первосвященников, выходившей окнами на двор Бельведера, собралась Римская Курия и послы великих держав.

Сияя драгоценными каменьями плувиала, в трехвенечной тиаре, обвеваемый павлиньими опахалами, по ступеням трона взошел тучный бодрый семидесятилетний старик с добродушно-величавым и благообразным лицом — папа Александр VI.

Прозвучали трубы герольдов, и по знаку главного церемониере, немца Иоганна Бурхарда, в залу вступили оруженосцы, пажи, скороходы, телохранители герцога и начальник лагеря, мессер Бартоломео Капраника, державший поднятый вверх острием, обнаженный меч Знаменосца Римской Церкви.

Третья нижняя часть меча была вызолочена, и по ней вырезаны тонкие рисунки: богиня Верности на престоле с надписью: *Верность сильнее оружия*; Юлий Цезарь триумфатор на колеснице с надписью: *Или цезарь, или ни-*

что. Переход через Рубикон со словами: «*Жребий брошен*» и, наконец, жертвоприношение Быку, или Апису, рода Борджа, с нагими юными жрицами, которые жгут фимиам над только что заколотой человеческой жертвой; на алтаре надпись: «Deo Optimo Maximo Hostia» — *Богу Всеблагому, Всемогущему Жертва*. И внизу другая: «In nomine Caesaris omen»—*Имя Цезаря — счастие Цезаря*. Человеческая жертва богу-зверю приобретала тем более ужасный смысл, что эти рисунки и надписи были заказаны в то время, когда Чезаре замышлял убийство брата своего, Джованни Борджа, чтобы получить в наследство меч Капитана и Знаменосца Римской Церкви.

За мечом шел герой. На голове его был высокий герцогский берет, осененный жемчужным голубем Духа Святого.

Он приблизился к папе, снял берет, стал на колени и поцеловал рубиновый крест на туфле первосвященника.

Кардинал Монреале подал его святейшеству Золотую Розу, чудо ювелирного искусства, со спрятанным в главном среднем цветке, внутри золотых лепестков, маленьким сосудцем, из которого сочилось миро, распространяя как бы дыхание бесчисленных роз.

Папа встал и произнес дрожащим от умиления голосом:

— Прими, возлюбленное чадо мое, Розу сию, знаменующую радость обоих Иерусалимов, земного и небесного, Церкви воинствующей и торжествующей, цвет неизглаголанный, блаженство праведных, красу нетленных венцов, дабы и твоя добродетель цвела во Христе, подобно Розе на бреге многих вод прозябающей. Аминь.

Чезаре принял из рук отца таинственную Розу. Папа не выдержал; по выражению очевидца — «плоть одолела его»: к негодованию чопорного Бурхарда, нарушая чин обряда, склонился он, протянул трепещущие руки к сыну, и лицо его сморщилось, все тучное тело заколыхалось. Выпятив толстые губы и старчески захлебываясь, он пролепетал:

— Дитя мое... Чезаре... Чезаре!..

Герцог должен был передать Розу стоявшему рядом кардиналу Климента. Папа порывисто обнял сына и прижал к своей груди, смеясь и плача.

Снова прозвучали трубы герольдов, загудел колокол на соборе Петра — и ему ответили колокола со всех церквей Рима и с крепости Святого Ангела грохот пушечной пальбы.

— Да здравствует Чезаре!— кричала романьольская гвардия на дворе Бельведера.

Герцог вышел к войску на балкон.

Под голубыми небесами, в блеске утреннего солнца, в пурпуре и золоте царственных одежд, с жемчужным голубем Духа Святого над головою, с таинственною Розою в руках — радостью обоих Иерусалимов — казался он толпе не человеком, а богом.

XVII

Ночью устроено было великолепное шествие в масках, по рисунку на мече Валентино — Триумф Юлия Цезаря.

На колеснице с надписью *Божественный Цезарь* восседал герцог Романьи, с пальмовой ветвью в руках, с головой, обвитой лаврами. Колесницу окружали солдаты, переодетые в древнеримских легионеров, с железными орлами и связками копий. Все исполнено было с точностью по книгам, памятникам, барельефам и медалям.

Перед колесницею шел человек в длинной белой одежде египетского иерофанта, держа в руках священную хоругвь с геральдическим, позолоченным червленым золотом, багряным быком рода Борджа, Аписом, богом-покровителем папы Александра VI. Отроки в серебряных туниках, с тимпанами, пели:

Vivat diu Bos! Vivat diu Bos! Borgia vivat!
Слава Быку! Слава Быку! Борджа слава!

И высоко над толпою в звездном небе, озаренный мерцанием факелов, колебался идол зверя, огненно-красный, как восходящее солнце.

В толпе был ученик Леонардо, Джованни Бельтраффио, только что приехавший к учителю в Рим из Флоренции. Он смотрел на багряного зверя и вспоминал слова Апокалипсиса:

«И поклонились Зверю, говоря: кто подобен Зверю сему? И кто может сразиться с ним?

И я увидел Жену, сидящую на Звере Багряном, преисполненном именами богохульными, с седьмью головами и десятью рогами.

И на челе ее написано имя: Тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным».

И так же, как некогда писавший эти слова, Джованни, глядя на Зверя, «дивился удивлением великим».

ТРИНАДЦАТАЯ КНИГА

БАГРЯНЫЙ ЗВЕРЬ

I

У Леонардо был виноградник близ Флоренции, на холме Фьезоле. Сосед, желая отнять кусок земли, затеял с ним тяжбу. Будучи в Романье, художник поручил это дело Джованни Бельтраффио и в конце марта 1503 года вызвал его к себе в Рим.

По дороге заехал Джованни в Орвьетто взглянуть на знаменитые, недавно оконченные фрески Луки Синьорелли, в соборе. Одна из фресок изображала пришествие Антихриста.

Лицо Антихриста поразило Джованни. Сначала показалось ему злым, но когда он вгляделся, то увидел, что оно не злое, а только бесконечно страдальческое. В ясных глазах с тяжелым, кротким взором отражалось последнее отчаяние мудрости, отрекшейся от Бога. Несмотря на уродливые острые уши сатира, искривленные пальцы, напоминавшие когти зверя,— он был прекрасен. И перед Джованни из-под этого лица выступало точно так же, как некогда в горячечном бреду, иное, до ужаса сходное, Божественное Лицо, которое он хотел и не смел узнать.

Слева, на той же картине, изображена была гибель Антихриста. Взлетев к небесам на невидимых крыльях, чтобы доказать людям, что он Сын Человеческий, грядущий на облаках судить живых и мертвых, враг Господень падал в бездну, пораженный Ангелом. Этот неудавшийся полет, эти человеческие крылья пробудили в Джованни знакомые страшные мысли о Леонардо.

Вместе с Бельтраффио рассматривали фрески тучный, откормленный монах лет пятидесяти и спутник его, долговязый человек неопределенных лет, с голодным и веселым лицом, в платье кочующего клерка, из тех, которых

в старину звали бродячими школярами, вагантами и голиардами.

Они познакомились с Джованни и поехали вместе. Монах был немец из Нюрнберга, ученый библиотекарь августинского монастыря, по имени Томас Швейниц. В Рим ехал он хлопотать о спорных бенефициях и пребендах. Спутник его, тоже немец, из города Зальцбурга, Ганс Платер, служил ему не то секретарем, не то шутом и конюхом.

По дороге беседовали о делах церкви.

Спокойно, с научною ясностью, доказывал Швейниц бессмыслицу догмата папской непогрешимости, уверяя, будто бы двадцати лет не пройдет, как вся Германия восстанет и свергнет иго Римской церкви.

«Этот не умрет за веру,— думал Джованни, глядя на сытое, круглое лицо нюрнбергского монаха,— не пойдет в огонь, как Савонарола. Но, как знать, может быть, он опаснее для церкви».

Однажды вечером, вскоре по приезде в Рим, Джованни встретился на площади Сан-Пьетро с Гансом Платером. Школяр повел его в соседний переулок Синибальди, где было множество немецких постоялых дворов для чужеземных богомольцев — в маленький винный погреб под вывеской Серебряного Ежа, принадлежавший чеху гуситу, Яну Хромому, который охотно принимал и угощал отборными винами своих единомышленников — тайных врагов папы, с каждым днем размножавшихся вольнодумцев, чаявших великого обновления церкви.

За первою общею комнатою была у Яна другая, заветная, куда допускались лишь избранные. Здесь собралось целое общество. Томас Швейниц сидел на верхнем почетном конце стола, прислонившись к бочке спиной, сложив толстые руки на толстом животе. Пухлое лицо его с двойным подбородком было неподвижно; крохотные осовелые глазки слипались: он, должно быть, выпил лишнее. Изредка подымал он стакан в уровень с пламенем свечи, любуясь бледным золотом рейнского в граненом хрустале.

Захожий монашек, фра Мартино изливал свое негодование на лихоимство Курии в однообразных жалобах:

— Ну, возьми раз, возьми два, но ведь и честь, говорю, надо знать, а то, помилуйте, что же это такое? Лучше разбойникам в руки попасть, чем здешним прелатам. Дневной грабеж! Пенитенциарию дай, протонотарию дай и кубикуларию, и остиарию, и конюху, и повару,

и тому, кто ведро с помоями выносит у ее преподобия, кардинальской наложницы, прости Господи! Как в песне поется:

Продают они Христа,
Новые Иуды.

Ганс Платер встал, принял торжественный вид и, когда все умолкли, обратив на него взоры,— возгласил протяжным голосом, подражая церковному чтению:

— Приступили к папе ученики его, кардиналы и спросили: что нам делать, чтобы спастись. И сказал Александр: что спрашиваете меня? в законе написано, и я говорю вам: люби золото и серебро всем сердцем твоим и всею душой твоею, и люби богатого, как самого себя. Сие творите и живы будете. И воссел папа на престоле своем и сказал: блаженны имущие, ибо узрят лицо мое, блаженны приносящие, ибо нарекутся сынами моими, блаженны грядущие во имя серебра и золота, ибо тех есть Курия папская. Горе бедным, приходящим с пустыми руками, лучше было бы им, если бы навесили им жернов на шею и ввергли в море. Кардиналы ответили: сие исполним. И сказал папа: дети, пример вам даю, чтобы, как я грабил, так и вы грабили с живого и мертвого.

Все рассмеялись. Органный мастер Отто Марпург, седенький, благообразный старичок с детскою улыбкою, до сих пор сидевший молча в углу, вынул из кармана сложенные тщательно листочки и предложил прочесть только что полученную в Риме и ходившую по рукам во множестве списков сатиру на Александра VI, в виде безымянного письма одному вельможе, Паоло Савелли, бежавшему от преследования папы к императору Максимилиану. Здесь, в длинном перечне, обличались злодейства и мерзости, происходившие в доме римского первосвященника, начиная от симонии, кончая братоубийством Цезаря и кровосмешением папы с Лукрецией, собственной дочерью. Послание заключалось ко всем государям и правителям Европы увещанием соединиться, дабы уничтожить «этих извергов, зверей в человеческом образе»:

«Антихрист пришел, ибо воистину у веры и церкви Божьей никогда еще не было таких врагов, как папа Александр VI и сын его, Чезаре».

После чтения все заговорили, обсуждая, действительно ли папа Антихрист.

Мнения были различные. Органщик Отто Марпург признался, что давно уже мысли эти не дают ему покоя

и что он полагает, что не папа настоящий Антихрист, а его сын, Чезаре, который, как думают многие, после смерти отца сделается папою. Фра Мартино доказывал, ссылаясь на одно место из книги «Восхождение Иесеево», что Антихрист, имея образ человеческий, в действительности будет не человеком, а только бесплотным призраком, ибо, по словам святого Кирилла Александрийского,— «сын погибели, грядущий во тьме, именуемый Антихристом, есть не что иное, как сам Сатана, великий Змий, ангел Велиар, князь мира сего, пришедший в мир».

Томас Швейниц покачал головой:

— Ошибаетесь, фра Мартино. Иоанн Златоуст прямо говорит: «кто сей? не сатана ли? — Отнюдь. Но *человек*, всю силу его приявший, ибо два естества в нем, одно дьявольское, другое человеческое». Впрочем, ни папа, ни Чезаре не могут быть Антихристом: сыном Девы надлежит ему быть...

И Швейниц привел выдержку из Ипполитовой книги «О кончине мира».

И слова Ефрема Сирина: «Дьявол осенит деву из колена Данова и внидет во чрево ее Змей похотливый — и зачнет, и родит».

Все приступили к Швейницу с вопросами и недоумениями. Ссылаясь на св. Иеронима, Киприана, Иренея и многих других отцов церкви, монах рассказал им о пришествии Антихриста.

— Одни утверждают, что родится он в Галилее, как Христос, другие — в великом граде, именуемом духовно Вавилон или Содом и Гоморра. Лицо у него будет, как лицо оборотня, и многим будет казаться похожим на лицо Христа. И сотворит он великие знамения. Скажет морю,— утихнет, скажет солнцу,— померкнет; и горы сдвинутся, и камни обратятся в хлебы, и насытит голодных, и больных исцелит, и немых и слепых, и расслабленных. Воскресит ли мертвых, не знаю, ибо в третьей книге Сибилловой сказано: воскресит; но святые отцы сомневаются. «Над духами, говорит Ефрем, власти не имеет,— non habet potestatem in spiritus». И притекут к нему все племена и народы с четырех ветров неба — Гог и Магог, так что земля убелится палатками, море — парусами. И соберет их, и воссядет во Иерусалиме, во храме Бога Всевышнего и скажет: я есмь Сущий, я — Сын и Отец.

— Ах ты, пес окаянный! — воскликнул фра Мартино, не выдержав, и ударил кулаком по столу.— Кто же поверит

ему? Я так полагаю, фра Томас, младенцев неразумных и тех не обманет?

Швейниц опять покачал головой:

— Поверят, многие поверят, фра Мартино, и соблазнятся личиною святости, ибо плоть свою умертвит, чистоту соблюдет, с женами не осквернится, от мяса не вкусит, и не только людей, но и всякую живую тварь, всякое дыхание будет миловать. Как лесная куропатка, созовет чужой выводок обманчивым голосом: придите ко мне, скажет, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас...

— Если так,— проговорил Джованни,— кто же узнает его, кто обличит?

Монах посмотрел на него глубоким, проникновенным взором и ответил:

— Человеку сие невозможно — разве Богу. Великие праведники, и те не узнают, ибо разум их помутится, и мысли раздвоятся, так что не увидят, где свет и тьма. И будет на земле уныние народов и недоумение, каких еще не было от начала мира. И скажут люди горам: падите и скройте нас. И будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда сидящий на престоле во храме Бога Всевышнего скажет: «О чем смущаетесь и чего хотите? Овцы ли не узнали голоса Пастыря. О, род неверный и лукавый! Знаменья хотите — и будет вам знаменье. Се узрите Сына Человеческого, грядущего на облаках судить живых и мертвых». И возьмет великие крылья, устроенные хитростью бесовской, и вознесется на небо в громах и молниях, окруженный учениками своими, в образе ангелов — и полетит...

Джованни слушал, бледнея, с неподвижными глазами, полными ужаса: ему вспоминались широкие складки в одежде Антихриста, низвергаемого ангелом в бездну, на картине Луки Синьорелли и точно такие же складки, бившиеся по ветру, похожие на крылья исполинской птицы, за плечами Леонардо да Винчи, стоявшего у края пропасти, на пустынной вершине Монте-Альбано.

В это время за дверью, в соседней общей комнате, куда скрылся школяр, потому что не любил слишком долгих ученых бесед, послышались крики, девичий смех, беготня, стук падающих стульев, звон разбитого стакана: то подвыпивший Ганс шалил с хорошенькой трактирною служанкою.

Вдруг все затихло,— должно быть, он поймал ее, поцеловал и усадил к себе на колени.

Под рокот струн зазвучала старинная песня:

Дева винных погребов,
    Сладостная роза,
    Ave, ave[1], я пою,
    Virgo gloriosa![2]
Наш трактирщик трезвый плут,
    С хитрой лисьей рожей,—
Все же погреб твой люблю
    Больше Церкви Божьей.
От Кипридиных сетей
    И от стрел Амура
Не спасают клобуки,
    Четки и тонзура.
За единый поцелуй
    Я пойду на плаху.
Нацеди же мне вина,
    Доброму монаху.
Не боюсь святых отцов;
    Знаем мы законы:
В Риме золотом звучат,—
    И молчат каноны.
Рим — разбойничий вертеп,
    Путь в геенну торный.
Папа — Божьей Церкви столп,
    Только столп позорный,
Ну же, дева, поцелуй!
    Dum vinum potamus[3]—
Богу Вакху пропоем:
    Te deum laudamus[4]!

Томас Швейниц прислушался, и жирное лицо его расплылось в блаженную улыбку. Он поднял стакан, в котором искрилось бледное золото рейнского, и тонким дребезжащим голосом ответил на старую песню бродячих школяров, вагантов и голиардов, первых мятежников, восставших на Римскую церковь:

Богу Вакху пропоем:
Te deum laudamus!

II

Леонардо занимался анатомией в больнице Сан-Спирито. Бельтраффио помогал ему.

Однажды, заметив постоянную грусть Джованни и желая чем-нибудь развлечь его, учитель предложил ему пойти вместе с ним во дворец папы.

В это время испанцы и португальцы обратились к Александру VI за разрешением спорных вопросов о владе-

---

[1] Радуйся, радуйся (*лат.*).
[2] Славная дева! (*лат.*).
[3] Упиваясь вином (*лат.*).
[4] Тебя, бога, хвалим! (*лат.*).

нии новыми землями и островами, которые были недавно открыты Христофором Колумбом. Папа должен был окончательно освятить пограничную черту, разделявшую шар земной, проведенную им десять лет назад, при первом известии об открытии Америки. Леонардо приглашен был вместе с другими учеными, с которыми папа желал посоветоваться.

Джованни сперва отказался, но потом любопытство превозмогло: ему хотелось увидеть того, о ком он так много слышал.

На следующее утро отправились они в Ватикан и, пройдя большую залу Первосвященников, ту самую, где Александр VI вручил Чезаре Золотую Розу, вступили во внутренние покои — в приемную, так называемую залу Христа и Божьей Матери, потом — в рабочую комнату папы. Своды и полукруги — простеночные лунки между арками, украшены были фресками Пинтурриккьо, картинами из Нового Завета и житиями святых.

Рядом, на тех же сводах, изобразил художник языческие таинства. Сын Юпитера — Озирис, бог солнца, сходит с неба и обручается с богинею земли Изидою. Учит людей возделывать землю, собирать плоды, насаждать лозу. Люди убивают его. Он воскресает, выходит из земли и снова является под видом белого быка, непорочного Аписа.

Как ни странно было здесь, в покоях римского первосвященника, соседство картин из Нового Завета с обожествлением золотого быка рода Борджа, под видом Аписа,— единая всепроникающая радость жизни примиряла оба таинства — сына Иеговы и сына Юпитера: тонкие молодые кипарисы гнулись под ветром между уютными холмами, подобными холмам пустынной Умбрии, и в небе реявшие птицы играли в весенние игры любви; рядом со св. Елизаветой, обнимавшей Матерь Божию с приветствием: «Благословен плод чрева Твоего»,— крошечный паж учил собачку стоять на задних лапках; а в Обручении Озириса с Изидою такой же точно шалун ехал голый верхом на жертвенном гусе: все дышало единою радостью; во всех украшениях, между цветочными гирляндами, ангелами с крестами и кадильницами, козлоногими пляшущими фавнами с тирсами и корзинами плодов, являлся таинственный бык, златобагряный зверь — и от него-то, казалось, как свет от солнца, изливалась эта радость.

«Что это? — думал Джованни.— Кощунство или детская невинность? Не то же ли святое умиление — в лице Елизаветы, у которой младенец взыграл во чреве, и в

лице Изиды, плачущей над растерзанными членами бога Озириса? Не тот же ли молитвенный восторг — в лице Александра VI, склонившего колена перед Господом, выходящим из гроба, и в лице египетских жрецов, принимающих бога солнца, убитого людьми и воскресшего под видом Аписа?»

И тот бог, перед которым люди падают ниц, поют славословия, жгут фимиам на алтарях, геральдический бык рода Борджа, преображенный золотой телец был не кто иной, как сам римский первосвященник, обожествленный поэтами:

Caesare magna fuit, nunc Roma est maxima: Sextus
Regnat Alexander, ille vir, iste deus.
Рим был великим при Цезаре, ныне же стал величайшим:
Царствует в нем Александр: тот — человек, этот — бог.

И страшнее всякого противоречия казалось Джованни это беззаботное примирение Бога и зверя.

Рассматривая живопись, в то же время прислушивался он к разговорам вельмож и прелатов, наполнявших залы в ожидании папы.

— Откуда вы, Бельтрандо?— спрашивал феррарского посланника кардинал Арбореа.

— Из собора, монсиньоре.

— Ну, что? Как его святейшество? Не утомился ли?

— Нисколько. Так пропел обедню, что лучшего желать нельзя. Величие, святость, благолепие ангелоподобное! Мне казалось, что я не на земле, а на небе, среди святых Божьих угодников. И не я один, многие плакали, когда папа возносил чашу с Дарами...

— От какой болезни умер кардинал Микеле? — полюбопытствовал недавно приехавший французский посланник.

— От пищи или питья, которые оказались вредными его желудку,— ответил вполголоса датарий, дон Хуан Лопес, родом испанец, как большинство приближенных Александра VI.

— Говорят,— молвил Бельтрандо,— будто бы в пятницу, как раз на следующий день после смерти Микеле, его святейшество отказал в приеме испанскому послу, которого ожидал с таким нетерпением,— извиняясь горем и заботой, причиненными ему смертью кардинала.

В этой беседе, кроме явного, был тайный смысл: так, недосуг и забота, причиненные папе смертью кардинала Микеле, заключались в том, что он весь день пересчитывал деньги покойного; пища, вредная для желудка

его преподобия, был знаменитый яд Борджа — сладкий белый порошок, убивавший постепенно, в какие угодно заранее назначаемые сроки, или же настойка из высушенных, протертых сквозь сито шпанских мух. Папа изобрел этот быстрый и легкий способ доставать деньги: в точности следя за доходами всех кардиналов, в случае надобности, первого, кто казался ему достаточно разбогатевшим, отправлял на тот свет и объявлял себя наследником. Говорили, что он откармливает их, как свиней на убой. Немец Иоганн Бурхард, церемониймейстер, то и дело отмечал в дневнике своем среди описаний церковных торжеств внезапную смерть того или другого прелата с невозмутимой краткостью:

«Испил чашу.— Biberat calicem».

— А правда ли, монсеньоры,— спросил камерарий, тоже испанец Педро Каранса,— правда ли, будто бы сегодня ночью заболел кардинал Монреале?

— Неужели? — воскликнул Арбореа.— Что же с ним такое?

— Не знаю наверное. Тошнота, говорят, рвота...

— О, Господи, Господи! — тяжело вздохнул Арбореа и пересчитал по пальцам: — кардиналы Орсини, Феррари, Микеле, Монреале...

— Не здешний ли воздух, или, может быть, тибрская вода имеют столь вредные свойства для здоровья ваших преподобий? — лукаво заметил Бельтрандо.

— Один за другим! Один за другим! — шептал Арбореа, бледнея.— Сегодня жив человек, а завтра...

Все притихли.

Новая толпа вельмож, рыцарей, телохранителей, под начальством внучатого племянника папы, дона Родригеса Борджа, камерариев, кубикулариев, датариев и других сановников Апостолической Курии хлынули в покои из обширных соседних зал Папагалло.

«Святой отец, святой отец!» — прошелестел и замер почтительный шепот.

Толпа заволновалась, раздвинулась, двери распахнулись — и в приемную вступил папа Александр VI Борджа.

III

В молодости он был хорош собою. Уверяли, что ему достаточно взглянуть на женщину, чтобы воспламенить ее страстью, как будто в глазах его сила, которая притягивает к нему женщин, как магнит — железо. До сих пор черты его, хотя расплылись в чрезмерной тучности, со-

хранили величавое благообразие: смуглый цвет лица, череп голый, с остатками седых волос на затылке, большой орлиный нос, отвислый подбородок, маленькие, быстрые глазки, полные живостью необыкновенною, мясистые, мягкие губы, выдававшиеся вперед, с выражением сластолюбивым, лукавым и в то же время почти детски-простодушным.

Напрасно Джованни искал в наружности этого человека чего-либо страшного или жестокого. Александр Борджа обладал в высшей степени даром светских приличий — врожденным изяществом. Что бы ни говорил и ни делал, казалось, что так именно следует сказать и сделать — нельзя иначе.

«Папе семьдесят лет,— писал один посланник,— но с каждым днем он молодеет; самые тяжкие горести его длятся не более суток; природа у него веселая; все, за что он берется, служит к пользе его, да он, впрочем, и не думает ни о чем, кроме славы и счастья детей своих».

Борджа выводили свой род от кастильских мавров, выходцев из Африки, и, в самом деле, судя по смуглому цвету кожи, толстым губам, огненному взору Александра VI, в жилах его текла африканская кровь.

«Нельзя себе представить,— думал Джованни,— лучшего ореола для него, чем эти фрески Пинтуриккьо, изображающие славу древнего Аписа, рожденного солнцем быка».

Сам старый Борджа, несмотря на семьдесят лет, здоровый и могучий, как матерый бык, казался потомком своего геральдического зверя, златобагряного быка, бога солнца, веселья, сладострастья и плодородия.

Александр VI вошел в залу, разговаривая с евреем, золотых дел мастером Саломоне да Сессо, тем самым, который изобразил триумф Юлия Цезаря на мече Валентино. Особой милости его святейшества заслужил он, вырезав на плоском, большом изумруде, в подражание древним камням, Венеру Каллипигу; она так понравилась папе, что этот камень он велел вставить в крест, которым благословлял народ во время торжественных служб в соборе Петра, и таким образом, целуя Распятие, целовал прекрасную богиню.

Он, впрочем, не был безбожником: не только исполнял все внешние обряды церкви, но и в тайне сердца своего был набожен; особливо же чтил Пречистую Деву Марию и полагал ее своей нарочитою Заступницей, всегдашнею теплою Молитвенницей перед Богом.

Лампада, которую теперь заказывал он жиду Саломоне, была даром, обещанным Марии дель Пополо за исцеление мадонны Лукреции.

Сидя у окна, рассматривал папа драгоценные камни. Он любил их до страсти. Длинными, тонкими пальцами красивой руки тихонько трогал их, перебирал, выпятив толстые губы, с выражением лакомым и сластолюбивым.

Особенно понравился ему большой хризопраз, более темный, чем изумруд, с таинственными искрами золота и пурпура.

Он велел принести из собственной сокровищницы шкатулку с жемчугом.

Каждый раз, как открывал ее, вспоминалась ему возлюбленная дочь его, Лукреция, похожая на бледную жемчужину. Отыскав глазами в толпе вельмож посланника феррарского герцога Альфонсо д'Эсте, своего зятя, подозвал его к себе.

— Смотри же, Бельтрандо, не забудь гостинчика для мадонны Лукреции. Не добро тебе к ней возвращаться с пустыми руками от дядюшки.

Он называл себя «дядюшкой», потому что в деловых бумагах именовалась мадонна Лукреция не дочерью, а племянницей его святейшества: римский первосвященник не мог иметь законных детей.

Он порылся в шкатулке, вынул огромную, в лесной орех, продолговатую, розовую индийскую жемчужину, которой не было цены, поднял к свету и залюбовался: она представилась ему в глубоком вырезе черного платья на матово-белой груди мадонны Лукреции, и он почувствовал нерешимость, кому отдать ее — герцогине Феррарской или Деве Марии? Но тотчас, подумав, что грешно отнимать у Царицы Небесной обещанный дар, передал жемчужину еврею и приказал вставить в лампаду на самое видное место, между хризопразом и карбункулом, подарком султана.

— Бельтрандо,— снова обратился он к посланнику,— когда увидишь герцогиню, скажи ей от меня, чтоб здорова была и усерднее молилась Царице Небесной. Мы же, как видишь, милостью Господа и Приснодевы Марии, всегдашней Заступницы нашей, в здравии совершенном обретаемся и ей апостольское шлем благословение. А гостинчик доставим тебе на дом сегодня же вечером.

Испанский посол, подойдя к шкатулке, воскликнул почтительно:

— Никогда не видывал я такого множества жемчуга! По крайней мере, семь пшеничных мер?

— Восемь с половиною! — поправил папа с гордостью.— Да, можно чести приписать жемчужок изрядный! Двадцать лет коплю. У меня ведь дочка до перлов охотница...

И, прищурив левый глаз, рассмеялся тихим странным смехом.

— Знает, плутовка, что ей к лицу. Я хочу,— прибавил торжественно,— чтобы после смерти моей у Лукреции были лучшие перлы в Италии!

Погружая обе руки в жемчуг, забирал он его пригоршнями и ссыпал между пальцами, любуясь, как тусклые нежные зерна струятся с шуршанием и матовым блеском.

— Все, все для нее, дочки нашей возлюбленной! — повторял, захлебываясь.

И вдруг в горящих глазах его что-то промелькнуло, от чего холод ужаса пробежал по сердцу Джованни — и вспомнились ему слухи о чудовищной похоти старого Борджа к собственной дочери.

IV

Его святейшеству доложили о Чезаре.

Папа пригласил его по важному делу: французский король, выражая через своего посланника при дворе Ватикана неудовольствие на враждебные замыслы герцога Валентино против Республики Флорентинской, находившейся под верховным покровительством Франции, обвинял Александра VI в том, что он поддерживает сына в этих замыслах.

Когда доложили о приходе сына, папа взглянул украдкою на французского посланника, подошел к нему, взял его под руку и говоря что-то на ухо, подвел как бы нечаянно к двери той комнаты, где ожидал Чезаре; потом, войдя в нее, оставил дверь, должно быть, тоже нечаянно, непритворенной, так что сказанное в соседнем покое могло быть услышано стоявшими у двери, в том числе французским посланником.

Скоро послышались оттуда яростные крики папы.

Чезаре начал было возражать ему спокойно и почтительно. Но старик затопал на него ногами и закричал неистово:

— Прочь с глаз моих! Чтоб тебе удавиться, собачьему сыну, блудницыну пащенку!..

— Ах, Боже мой! Слышите? — шепнул французский посланник своему соседу, венецианскому ораторе Антонио Джустиниани.— Они подерутся, он прибьет его!

Джустиниани только пожал плечами: он знал, что, если кто кого побьет, то скорее сын отца, чем отец сына. Со времени убийства Чезарева брата, герцога Гандиа, папа трепетал перед Чезаре, хотя полюбил его еще с большею нежностью, в которой суеверный ужас соединялся с гордостью. Все помнили, как молоденького камерария Перотто, спрятавшегося от разгневанного герцога под одежду папы, Чезаре заколол на груди его, так что в лицо ему брызнула кровь.

Джустиниани догадывался также, что теперешняя ссора их — обман: они хотят окончательно сбить с толку французского посланника, доказав ему, что, если бы даже у герцога были какие-либо замыслы против Республики, папа в них не участвует. Джустиниани говаривал, что они всегда помогают друг другу: отец никогда не делает того, что говорит; сын никогда не говорит того, что делает.

Погрозив вдогонку уходившему герцогу отцовским проклятьем и отлучением от церкви, папа вернулся в приемную, весь дрожа от бешенства, задыхаясь и вытирая пот с побагровевшего лица. Только в самой глубине его глаз блестела веселая искра.

Подойдя к французскому посланнику, снова отвел его в сторону, на этот раз в углубление двери, выходившей на двор Бельведера.

— Ваше святейшество,— начал было извиняться вежливый француз,— мне бы не хотелось быть причиною гнева...

— А разве вы слышали? — простодушно изумился папа и, не давая опомниться, отечески ласковым движением взял его за подбородок двумя пальцами — знак особого внимания — и быстро, плавно, с неудержимым порывом заговорил о своей преданности королю и о чистоте намерений герцога.

Посланник слушал, отуманенный, ошеломленный, и, хотя имел почти неопровержимые доказательства обмана, готов был скорее не верить собственным глазам, чем выражению глаз, лица, голоса папы.

Старый Борджа лгал естественно, никогда не обдумывал заранее лжи, которая слагалась на устах его сама собой, так же невинно, почти непроизвольно, как в любви у женщин. Всю жизнь развивал он в себе упражне-

нием эту способность и, наконец, достиг такого совершенства, что, хотя все знали, что он лжет, и что, по выражению Макиавелли, «чем менее было у папы желания что-либо исполнить, тем более давал он клятв»,— все ему однако верили, ибо тайна этой лжи заключалась в том, что он и сам себе верил, как художник, увлекаясь вымыслом.

V

Кончив беседу с посланником, Александр VI обратился к своему главному секретарю, Франческо Ремолино да Илерда, кардиналу Перуджи, который некогда присутствовал на суде и казни брата Джироламо Савонаролы. Он ожидал с готовой к подписи буллой об учреждении духовной цензуры. Папа сам обдумывал и составлял ее.

«Признавая,— говорилось в ней, между прочим,— пользу печатного станка, изобретения, которое увековечивает истину и делает ее доступной всем, но желая предотвратить могущее произойти для Церкви зло от сочинений вольнодумных и соблазнительных, сим возбраняем печатать какую бы то ни было книгу без разрешения начальства духовного — окружного викария или епископа».

Выслушав буллу, папа обвел взором кардиналов с обычным вопросом:

— Quod videtur? — Как полагаете?

— Помимо книг печатных,— возразил Арбореа,— не должно ли принять какие-либо меры и против таких сочинений рукописных, как безымянное письмо к Паоло Савелли?

— Знаю,— перебил папа.— Илерда показывал мне.

— Если вашему святейшеству уже известно...

Папа посмотрел кардиналу прямо в глаза. Тот смутился.

— Ты хочешь сказать: как же не начал я розыска, не постарался уличить виновного? О, сын мой, за что же б я стал преследовать моего обвинителя, когда в словах его нет ничего кроме истины?

— Отче святый! — ужаснулся Арбореа.

— Да,— продолжал Александр VI голосом торжественным и проникновенным,— прав обвинитель мой! Последний из грешников есмь аз — и тать, и лихоимец, и прелюбодей, и человекоубийца! Трепещу и не знаю, куда скрыть лицо мое на суде человеческом — что же будет на страшном судилище Христовом, когда и праведный едва оправдается?.. Но жив Господь, жива душа моя!

И за меня окаянного венчан был тернием, бит по ланитам и распят и умер Бог мой на кресте! Довольно капли крови Его, дабы убелить и такого, как я, паче снега. Кто же, кто из вас, обличители — братья мои, испытал глубины милосердия Божьего так, чтобы сказать о грешнике: осужден? Пусть же праведные судом оправдаются, мы же, грешные — только смирением и покаянием, ибо знаем, что нет без греха покаяния, без покаяния нет спасения. И согрешу, и покаюсь, и паки согрешу, и паки восплачу о грехах моих, как мытарь и блудница. Ей, Господи, как разбойник на кресте, исповедую имя Твое! И ежели не только люди, может быть, столь же грешные, как я, но и ангелы, силы, начала и власти небесные осудят и отвергнут меня,— не умолкну, не престану вопить к Заступнице моей, Деве Пречистой — и знаю, Она меня помилует, помилует!..

С глухим рыданием, потрясшим все тучное тело его, протянул он руки к Божьей Матери в картине Пинтурикькьо над дверью залы. Многие думали, что в этой фреске, по желанию самого папы, художник придал Мадонне сходство с прекрасной римлянкой Джулией Фарнезе[1], наложницей его святейшества. матерью Чезаре и Лукреции.

Джованни глядел, слушал и недоумевал: что это — шутовство или вера? а может быть, и то, и другое вместе?

— Одно еще скажу, друзья мои,— продолжал папа,— не себе в оправдание, а во славу Господа. Писавший послание к Паоло Савелли называет меня еретиком. Свидетельствуюсь Богом живым — в сем неповинен! Вы сами... или нет, вы в лицо мне правды не скажете,— но хоть ты, Илерда, я знаю, ты один меня любишь и видишь сердце мое, ты не льстец,— скажи же мне, Франческо, скажи, как перед Богом, повинен ли я в ереси?

— Отче святый,— произнес кардинал с глубоким чувством,— мне ли тебя судить? Злейшие враги твои, если читали творение папы Александра VI «Щит Святой Римской Церкви», должны признать, что в ереси ты неповинен.

— Слышите, слышите? — воскликнул папа, указывая на Илерду и торжествуя, как ребенок.— Если уж он меня оправдал, значит и Бог оправдает. В чем другом, а в вольнодумстве, в мятежном любомудрии века сего, в ереси неповинен! Ни единым помыслом, ниже сомнением

[1]Матерью Чезаре и Лукреции Борджа была римлянка Ваноцца Катанеи.

богопротивным не осквернил я души моей. Чиста и непоколебима вера наша. Да будет же булла сия о цензуре духовной новым щитом адамантовым Церкви Господней!

Он взял перо и крупным, детски-неуклюжим, но величественным почерком вывел на пергаменте:

«Fiat. Быть по сему.— Alexander Sextus episcopus servus servorum Dei.— Александр Шестый, епископ, раб рабов Господних».

Два монаха цистерцианца из апостолической коллегии «печатников» — пиомбаторе, подвесили к булле на шелковом шнуре, продетом сквозь отверстия в толще пергамента, свинцовый шар и расплющили его железными щипцами в плоскую печать с оттиснутым именем папы и крестом.

— Ныне отпущаеши раба Твоего! — прошептал Илерда, подымая к небу впалые глаза, горевшие огнем безумной ревности.

Он, в самом деле, верил, что, если бы положить на одну чашу весов все злодеяния Борджа, а на другую эту буллу о духовной цензуре,— она перевесила бы.

VI

Тайный кубикуларий приблизился к папе и что-то сказал ему на ухо. Борджа, с озабоченным видом, прошел в соседнюю комнату и далее, через маленькую дверь, спрятанную ковровыми обоями, в узкий сводчатый проход, озаренный висячим фонарем, где ожидал его повар отравленного кардинала Монреале. До Александра VI дошли слухи, будто бы количество яда оказалось недостаточным и больной выздоравливает.

Расспросив повара с точностью, папа убедился, что, несмотря на временное улучшение, он умрет через два, три месяца. Это было еще выгоднее, так как отклоняло подозрения.

«А все-таки,— подумал он,— жаль старика! Веселый был, обходительный человек и добрый сын Церкви».

Сокрушенно вздохнул, понурив голову и добродушно выпятив пухлые, мягкие губы.

Папа не лгал: он, в самом деле, жалел кардинала, и если бы можно было отнять у него деньги, не причинив ему вреда,— был бы счастлив.

Возвращаясь в приемную, увидел в зале Свободных Искусств, иногда служившей трапезною для маленьких дружеских полдников, накрытый стол и почувствовал голод.

Деление земного шара отложено было на послеобеденное время. Его святейшество пригласил гостей в трапезную.

Стол украшен был живыми белыми лилиями в хрустальных сосудах, цветами Благовещения, которые папа особенно любил, потому что девственная прелесть их напоминала ему Лукрецию.

Блюда не были роскошными: Александр VI в пище и питье отличался умеренностью.

Стоя в толпе камерариев, Джованни прислушивался к застольной беседе.

Датарий, дон Хуан Лопес, навел речь на сегодняшнюю ссору его святейшества с Чезаре и, как будто не подозревая, что она притворная, начал усердно оправдывать герцога.

Все присоединились к нему, превознося добродетели Чезаре.

— Ах, нет, нет, не говорите! — качал головой папа с ворчливою нежностью.— Не знаете вы, друзья мои, что это за человек. Каждый день я жду, какую еще штуку выкинет. Помяните слово мое, доведет он нас всех до беды, да и сам себе шею сломает...

Глаза его блеснули отеческою гордостью.

— И в кого только уродился, подумаешь? Вы ведь меня знаете: я человек простой, бесхитростный. Что на уме, то и на языке. А Чезаре, Господь его ведает,— все-то он молчит, все-то прячется. Верите ли, мессеры, иногда кричу на него, ругаюсь, а сам боюсь, да, да, собственного сына боюсь, потому что вежлив он, даже слишком вежлив, а как вдруг поглядит — точно нож в сердце...

Гости принялись еще усерднее защищать герцога.

— Ну, да уж знаю, знаю,— молвил папа с хитрою усмешкою,— вы его любите, как родного, и нам в обиду не дадите...

Все притихли, недоумевая, каких еще похвал ему нужно.

— Вот вы все говорите: такой он, сякой,— продолжал старик, и глаза его загорелись уже неудержимым восторгом,— а я вам прямо скажу: никому из вас и не снилось, что такое Чезаре! О, дети мои, слушайте — я открою вам тайну сердца моего. Не себя ведь я в нем прославляю, а некий высший Промысел.— Два было Рима. Первый собрал племена и народы земные под властью меча. Но взявший меч от меча погибнет. И Рим погиб. Не стало в мире власти единой, и рассеялись народы, как овцы без пастыря. Но миру нельзя быть без Рима.

И новый Рим хотел собрать языки[1] под властью Духа, и не пошли к нему, ибо сказано: будешь пасти их жезлом железным. Единый же духовный жезл над миром власти не имеет. Я, первый из пап, дал церкви Господней сей меч, сей жезл железный, коим пасутся народы и собираются в стадо единое. Чезаре — мой меч. И се, оба Рима, оба меча соединяются, да будет папа Кесарем и Кесарь папою, царство Духа на царстве Меча в последнем вечном Риме!

Старик умолк и поднял глаза к потолку, где золотыми лучами, как солнце, сиял багряный зверь.

— Аминь! Аминь! Да будет! — вторили сановники и кардиналы Римской церкви.

В зале становилось душно. У папы немного кружилась голова не столько от вина, сколько от опьяняющих грез о величии сына.

Вышли на балкон — рингиеру, выходившую на двор Бельведера.

Внизу папские конюхи выводили кобыл и жеребцов из конюшен.

— Алонсо, ну-ка, припусти! — крикнул папа старшему конюху.

Тот понял и отдал приказ: случка жеребцов с кобылами была одной из любимых потех его святейшества.

Ворота конюшни распахнулись; бичи захлопали; послышалось веселое ржание, и целый табун рассыпался по двору; жеребцы преследовали и покрывали кобыл.

Окруженный кардиналами и вельможами церкви, долго любовался папа этим зрелищем.

Но мало-помалу лицо его омрачилось: он вспомнил, как несколько лет назад любовался этой же самой потехой вместе с мадонной Лукрецией. Образ дочери встал перед ним, как живой: белокурая, голубоглазая, с немного толстыми чувственными губами — в отца, вся свежая, нежная, как жемчужина, бесконечно покорная, тихая, во зле не знающая зла, в последнем ужасе греха непорочная и бесстрастная. Вспомнил он также с возмущением и ненавистью теперешнего мужа ее, феррарского герцога Альфонсо д'Эсте. Зачем он отдал ее, зачем согласился на брак?

. . . .

Тяжело вздохнув и понурив голову, как будто вдруг почувствовав на плечах своих бремя старости, вернулся папа в приемную.

---

[1] Языки (церковнослав.) — народы.

VII

Здесь уже приготовлены были сферы, карты, циркули, компасы для проведения великого меридиана, который должен был пройти в трехстах семидесяти португальских «легуах» к западу от островов Азорских и Зеленого Мыса. Место это выбрано было потому, что именно здесь, как утверждал Колумб, находился «пуп земли», отросток грушевидного глобуса, подобный сосцу женской груди — гора, достигающая лунной сферы небес, в существовании коей убедился он по отклонению магнитной стрелки компаса во время своего первого путешествия.

От крайней западной точки Португалии с одной стороны и берегов Бразилии — с другой отметили равные расстояния до меридиана. Впоследствии кормчие и астрономы должны были с большею точностью определить эти расстояния днями морского пути.

Папа сотворил молитву, благословил земную сферу тем самым крестом, в который вставлен был изумруд с Венерой Каллипигою, и, обмакнув кисточку в красные чернила, провел по Атлантическому океану от северного полюса к южному великую миротворную черту: все острова и земли, открытые или имевшие быть открытыми к востоку от этой черты, принадлежали Испании, к западу — Португалии.

Так, одним движением руки разрезал он шар земли пополам, как яблоко, и разделил его между христианскими народами.

В это мгновение, казалось Джованни, Александр VI, благолепный и торжественный, полный сознанием своего могущества, походил на предсказанного им миродержавного Кесаря-Папу, объединителя двух царств — земного и небесного, от мира и не от мира сего.

В тот же день вечером, в своих покоях в Ватикане, Чезаре давал его святейшеству и кардиналам пир, на котором присутствовало пятьдесят прекраснейших римских «благородных блудниц» — meretrices honestae.

После ужина закрыли окна ставнями, двери заперли, со столов сняли огромные серебряные подсвечники и поставили их на пол. Чезаре, папа и гости кидали жареные каштаны блудницам, и они подбирали их, ползая на четвереньках, совершенно голые, между бесчисленным множеством восковых свечей: дрались, смеялись, визжали, падали; скоро на полу, у ног его святейшества, заше-

велилась голая груда смуглых, белых и розовых тел в ярком, падавшем снизу, блеске догоравших свечей.

Семидесятилетний папа забавлялся, как ребенок, бросал каштаны пригоршнями и хлопал в ладоши, называя кортиджан своими «птичками-трясогузочками».

Но мало-помалу лицо его омрачилось точно такою же тенью, как после полдника на рингиере Бельведера: он вспомнил, как в 1501 году, в ночь кануна Всех Святых, любовался вместе с мадонной Лукрецией, возлюбленною дочерью, этой же самою игрою с каштанами.

В заключение праздника гости спустились в собственные покои его святейшества, в залу Господа и Божьей Матери. Здесь устроено было любовное состязание между кортиджанами и сильнейшими из романьольских телохранителей герцога; победителям раздавались награды.

Так отпраздновали в Ватикане достопамятный день Римской церкви, ознаменованный двумя великими событиями — разделением шара земного и учреждением духовной цензуры.

Леонардо присутствовал на этом ужине и видел все. Приглашение на подобные празднества считалось величайшею милостью, от которой невозможно было отказаться.

В ту же ночь, вернувшись домой, писал он в дневнике:

«Правду говорит Сенека: в каждом человеке есть бог и зверь, скованные вместе».

И далее, рядом с анатомическим рисунком:

«Мне кажется, что люди с низкими душами, с презренными страстями, недостойны такого прекрасного и сложного строения тела, как люди великого разума и созерцания: довольно с них было бы мешка с двумя отверстиями, одним — чтобы принимать, другим — чтобы выбрасывать пищу, ибо воистину они не более, как проход для пищи, как наполнители выгребных ям. Только лицом и голосом похожи на людей, а во всем остальном хуже скотов».

Утром Джованни застал учителя в мастерской за работой над св. Иеронимом.

В пещере, подобной львиному логову, отшельник, стоя на коленях и глядя на Распятие, бьет себя камнем в грудь с такою силою, что прирученный лев, лежащий у ног его, смотрит ему в глаза, открыв пасть, должно быть, с протяжным, унылым рыканием, как будто зверю жаль человека.

Бельтраффио вспомнил другую картину Леонардо — белую Леду с белым лебедем, богиню сладострастия, объятую пламенем на костре Савонаролы. И опять, как уже столько раз, спрашивал себя Джованни: какая из этих двух противоположных бездн ближе сердцу учителя — или обе ему одинаково близки?

VIII

Наступило лето. В городе свирепствовала гнилая лихорадка Понтийских болот — малярия. В конце июля и в начале августа не проходило дня, чтобы не умирал кто-либо из приближенных папы.

В последние дни казался он тревожным и печальным. Но не страх смерти, а иная, давнишняя тоска грызла его,— тоска по мадонне Лукреции. У него и прежде бывали такие припадки неистовых желаний, слепых и глухих, подобных безумию, и он боялся их: ему казалось, что,если он не утолит их тотчас, они задушат его.

Он писал ей, умоляя приехать, хотя бы на несколько дней, надеясь потом удержать ее силою. Она ответила, что муж не пускает ее. Ни перед каким злодеянием не остановился бы старый Борджа, чтобы истребить этого последнего, ненавистнейшего зятя своего, так же как уже истребил он всех остальных мужей Лукреции. Но с герцогом Феррары шутки были плохи: у него была артиллерия лучшая во всей Италии.

5 августа отправился папа на загородную виллу кардинала Адриана. За ужином, несмотря на предостережение врачей, ел свои любимые пряные блюда, запивал их тяжелым сицилийским вином и долго наслаждался опасною свежестью римского вечера.

На следующее утро почувствовал недомогание. Впоследствии рассказывали, будто бы, подойдя к открытому окну, папа увидел сразу два похоронных шествия — одного из своих камерлингов и мессера Гульельмо Раймондо. Оба покойника были тучными.

— Опасное время года для нашего брата, тучных людей,— молвил будто бы папа.

И только что он это сказал, горлинка влетела в окно, ударилась об стену и, оглушенная, упала к ногам его святейшества.

— Дурная примета! Дурная примета! — прошептал он, бледнея, и тотчас удалился в опочивальню.

Ночью сделалась с ним тошнота и рвота.

Врачи определяли болезнь различно: одни называли ее терцианою, третичною лихорадкою, другие — разлитием желчи, третьи — «кровяным ударом». По городу ходили слухи об отравлении папы.

С каждым часом он ослабевал. 16 августа решили прибегнуть к последнему средству — лекарству из толченых драгоценных камней. От него больному сделалось еще хуже.

Однажды ночью, очнувшись от забытья, стал шарить на груди, под рубашкою. В течение многих лет Александр VI носил на себе маленький золотой ковчежец, нательную дароносицу, в виде шарика, с частицами Крови и Тела Господня. Астрологи предсказали ему, что он не умрет, пока будет ее иметь при себе. Сам ли он потерял ее, или украл кто-либо из бывших при нем, желая ему смерти,— осталось тайною. Узнав, что нигде не могут отыскать ее, смежил глаза с безнадежною покорностью и произнес:

— Значит, умру. Кончено!

Утром 17 августа, почувствовав смертельную слабость, велел выйти всем и, подозвав к себе любимого врача своего, епископа Ванозы, напомнил ему о способе лечения, изобретенном одним евреем, врачом Иннокентия VIII, перелившим будто бы в жилы умирающего папы кровь трех младенцев.

— Ваше святейшество,— возразил епископ,— вам известно, чем кончился опыт?

— Знаю, знаю,— пролепетал папа.— Но, может быть, не удалось потому, что дети были семи, восьми лет, а нужно, говорят, самых маленьких, грудных...

Епископ ничего не ответил. Глаза больного померкли. Он уже бредил:

— Да, да, самых маленьких... беленьких... Кровь у них чистая, алая... Я деток люблю... Sinite parvulos ad me venire.— Не возбраняйте малым приходить ко мне...

От этого бреда в устах умирающего наместника Христова покоробило даже невозмутимого, ко всему привыкшего епископа.

Однообразным, беспомощным, словно утопающий, судорожно-торопливым движением руки папа все еще шарил, щупал, искал на груди своей пропавшей дароносицы с Телом и Кровью Господнею.

Во время болезни ни разу не вспомнил о детях. Узнав, что Чезаре тоже при смерти, остался равнодушен. Когда же спросили, не желает ли, чтобы сыну или дочери была

передана его последняя воля,— отвернулся молча, как будто для него уже не было тех, кого всю жизнь любил он такой неистовой любовью.

18 августа, в пятницу, утром, исповедался духовнику своему, епископу Каринола, Пьеро Гамбоа и приобщился.

К повечерию стали читать отходную. Несколько раз умирающий усиливался что-то сказать или сделать знак рукою. Кардинал Илерда наклонился к нему и по слабым звукам, выходившим из уст его, понял, что папа говорит:

— Скорей... скорей... читай молитву Заступнице...

Хотя по церковному чину над умирающими молитву эту читать не полагалось, Илерда исполнил последнюю волю друга и прочел: Stabat Mater Dolorosa[1].

На Голгофе, Матерь Божья,
Ты стояла у подножья
Древа Крестного, где был
Распят Сын Твой,— и, разящий,
Душу Матери Скорбящей
Смертной муки меч пронзил.
Как Он умер, Сын Твой нежный,
Одинокий, безнадежный,
Очи видели Твои.

. . . .

Не отринь меня, о, Дева,
Дай и мне стоять у Древа
Обагренного,— в крови,—
Ибо, видишь, сердце жаждет,
Пострадать, как Сын Твой страждет.
Дева дев, родник любви,
Дай мне болью ран упиться,
Крестной мукой насладиться,
Мукой Сына Твоего,
Чтоб огнем любви сгорая
И томясь, и умирая,
Мне увидеть славу рая
В смерти Бога моего!

Невыразимое чувство блеснуло в глазах Александра VI, как будто он уже видел пред собою Заступницу. С последним усилием протянул он руки, весь встрепенулся, приподнялся, повторил коснеющим языком:

— «Не отринь меня, о, Дева!» — упал на подушки — и его не стало.

IX

В это время Чезаре также был между жизнью и смертью.

Врач, епископ Гаспаре Торелла подверг его необычайному способу лечения: велел распороть брюхо мулу

---

[1][У Креста] стояла скорбящая Матерь Божия (*лат.*)

и погрузить больного, потрясаемого ознобом, в окровавленные дымящиеся внутренности; потом окунули его в ледяную воду. Не столько лечением, сколько неимоверным усилием воли Чезаре победил болезнь.

В эти страшные дни сохранял он совершенное спокойствие; следил за происходившими событиями, выслушивал доклады, диктовал письма, отдавал приказания. Когда пришла весть о кончине папы, велел перенести себя через потайной ход из Ватикана в крепость Св. Ангела.

По городу распространялись целые сказания о смерти Александра VI. Венецианский посланник Марино Сануто доносил Республике, будто бы умирающий видел обезьяну, которая дразнила его, прыгая по комнате, и когда один из кардиналов предложил поймать ее, воскликнул в ужасе: «Оставь ее, оставь; это — дьявол!» Другие рассказывали, что он повторял: «Иду, иду, только погоди еще немного!» и объясняли это тем, что, находясь в конклаве, избиравшем папу после кончины Иннокентия VIII,— Родриго Борджа, будущий Александр VI, заключил договор с дьяволом, продав ему душу свою за двенадцать лет папства. Уверяли также, будто бы, за минуту до смерти, у изголовья его появилось семь бесов; только что он умер, тело его начало разлагаться, кипеть, выбрасывая пену изо рта, точно котел на огне, стало поперек себя толще, вздулось горой, утратив всякий человеческий образ, и почернело, «как уголь или самое черное сукно, а лицо сделалось, как лицо эфиопа».

По обычаю, перед погребением римского первосвященника, следовало служить заупокойные обедни в соборе св. Петра в течение десяти дней. Но таков был ужас, внушаемый останками папы, что никто не хотел служить. Вокруг тела не было ни свечей, ни ладана, ни чтецов, ни стражей, ни молящихся. Долго не могли найти гробовщиков. Наконец отыскалось шесть негодяев, готовых на все за стакан вина. Гроб оказался не впору. Тогда с головы папы сняли трехвенечную тиару, набросили на него, вместо покрова, дырявый ковер и кое-как пинками втиснули тело в слишком короткий и узкий ящик. Другие уверяли, будто бы, не удостоив гроба, сволокли его в яму за ноги, привязав к ним веревку, как падаль или труп зачумленного.

Но и после того, как тело зарыли, не было ему покоя: суеверный ужас в народе все увеличивался. Казалось, что в самом воздухе Рима к смертоносному дыханию малярии присоединился новый, неведомый, еще более отвратительный и зловещий смрад. В соборе св. Петра стала

являться черная собака, которая бегала с неимоверною скоростью, правильными расходящимися кругами. Жители Борго не смели выходить из домов с наступлением сумерек. И многие были твердо уверены в том, что папа Александр VI умер не настоящею смертью — воскреснет, сядет снова на престол — и тогда начнется царство Антихриста.

Обо всех этих событиях и слухах Джованни подробно узнавал в переулке Синибальди, в погребе чеха-гусита Яна Хромого.

X

В это время Леонардо, вдали от всех, безмятежно работал над картиною, которую начал давно по заказу монахов-сервитов для церкви их, Санта-Мария дель Аннунциата во Флоренции, и потом, будучи на службе Чезаре Борджа, продолжал со своею обычною медлительностью. Картина изображала св. Анну и Деву Марию.

Среди пустынного горного пастбища, на высоте, откуда виднеются голубые вершины дальних гор и тихие озера, Дева Мария, по старой привычке, сидя на коленях матери, удерживает Иисуса Младенца, который схватил ягненка за уши, пригнул его к земле и поднял ножку с шаловливою резвостью, чтобы вскочить верхом. Св. Анна подобна вечно юной Сибилле. Улыбка опущенных глаз и тонких, извилистых губ, неуловимо скользящая, полная тайны и соблазна, как прозрачно-глубокая вода,— улыбка змеиной мудрости, напоминала Джованни улыбку самого Леонардо. Рядом с ней младенчески ясный лик Марии дышал простотою голубиною. Мария была совершенная любовь, Анна — совершенное знание. Мария знает, потому что любит, Анна любит, потому что знает. И Джованни казалось, что, глядя на эту картину, он понял впервые слово учителя: великая любовь есть дочь великого познания.

В то же время Леонардо исполнял рисунки разнообразных машин, гигантских подъемных лебедок, водокачальных насосов, приборов для вытягивания проволок, пил для самого твердого камня, станков сверлящих для выделки железных прутьев,— ткацких, суконострижных, канатопрядильных, гончарных.

И Джованни удивлялся тому, что учитель соединяет эти две работы — над машинами и над св. Анной. Но соединение не было случайным.

«Я утверждаю,— писал он в Началах Механики,— что сила есть нечто духовное, незримое; духовное, потому что в ней жизнь бестелесная; незримое, потому что тело, в котором рождается сила, не меняет ни веса, ни вида».

С одинаковой радостью созерцал он, как по членам прекрасных машин — колесам, рычагам, пружинам, дугам, приводным ремням, бесконечным винтам, шурупам, стержням, могучим железным валам и маленьким зубчикам, спицам, тончайшим калевкам — ходит сила, переливается; и точно так же — любовь, сила Духа, которою движутся миры, течет, переливается от неба к земле, от матери к дочери, от дочери к внуку, таинственному Агнцу, чтобы, совершая вечный круг, вернуться вновь к Началу Своему.

Участь Леонардо решалась вместе с участью Чезаре. Несмотря на спокойствие и отвагу, которые сохранял Чезаре,— «великий знаток судьбы», по выражению Макиавелли, чувствовал, что счастье от него отвернулось. Узнав о смерти папы и болезни герцога, враги его соединились и захватили земли Римской Кампаньи. Просперо Колонна подступал к воротам города; Вителли двигался на Читта ди Кастелло; Джан-Паоло Бальони — на Перуджу; Урбино возмутилось; Камерино, Кальи, Пиомбино, одно за другим, отпадали; конклав, открытый для избрания нового папы, требовал удаления герцога из Рима. Все изменяло, все рушилось.

И те, кто недавно трепетали перед ним, теперь издевались и приветствовали гибель его — лягали издыхающего льва ослиным копытом. Поэты слагали эпиграммы:

«Или ничто, или Цезарь!»— А если и то, и другое?
Цезарем ты уже был, будешь ты скоро ничем.

Однажды, во дворце Ватикана, беседуя с венецианским посланником Антонио Джустиниани, тем самым, который, во дни величия герцога, предсказывал, что он «сгорит, как соломенный огонь», Леонардо завел речь о мессере Никколо Макиавелли.

— Говорил ли он вам про свое сочинение о государственной науке?

— Как же, беседовали не раз. Мессер Никколо, конечно, изволит шутить. Никогда не выпустит он в свет этой книги. Разве о таких предметах пишут? Давать советы правителям, разоблачать перед народом тайны власти, доказывать, что всякое государство есть не что иное, как насилие, прикрытое личиной правосудия — да ведь это все

равно, что кур учить лисьим хитростям, вставлять овцам волчьи зубы. Сохрани нас Боже от такой политики!

— Вы полагаете, что мессер Никколо заблуждается и переменит мысли?

— Ничуть. Я с ним совершенно согласен. Так надо делать, как он говорит, но не говорить. Впрочем, если он и выпустит в свет эту книгу, никто не пострадает, кроме него самого. Бог милостив, овцы и куры поверят, как верили доныне своим законным повелителям, волкам и лисицам, которые обвинят его в дьявольской политике — в лисьей хитрости, в волчьей лютости. И все останется по-прежнему. По крайней мере, на наш век хватит!

XI

Осенью 1503 года пожизненный гонфалоньер Флорентинской Республики, Пьеро Содерини пригласил к себе Леонардо на службу, намереваясь послать его в качестве военного механика в Пизанский лагерь для устройства осадных машин.

Художник проводил в Риме последние дни.

Однажды вечером бродил он на холме Палатинском. Там, где возвышались некогда дворцы императоров — Августа, Калигулы, Септимия Севера,— теперь только ветер шумел в развалинах, и между серыми оливами слышалось блеяние пасущихся овец да стрекотание кузнечиков. Судя по множеству обломков белого мрамора, изваяния богов неведомой прелести почивали в земле, как мертвецы, ожидающие воскресения.

Вечер был ясный. Кирпичные остовы арок, сводов и стен, озаренные солнцем, горячо алели в темно-синем небе. И царственнее, чем пурпур и золото, которые некогда украшали чертоги римских императоров, были пурпур и золото осенних листьев.

На северном склоне холма, недалеко от садов Капроника, Леонардо, стоя на коленях, раздвигал травы и внимательно рассматривал осколок древнего мрамора с тонким узором.

По узкой тропинке из кустов вышел человек. Леонардо взглянул на него, встал, взглянул еще раз, подошел и воскликнул:

— Вы ли это, мессер Никколо? — и, не дожидаясь ответа, обнял и поцеловал как родного.

Одежда секретаря Флоренции казалась еще старее и беднее, чем в Романье: видно было, что правители рес-

публики по-прежнему не баловали его — держали в черном теле. Он похудел; бритые щеки осунулись; длинная, тонкая шея вытянулась; плоский утиный нос выдавался вперед еще острее, и ярче горели глаза лихорадочным блеском.

Леонардо стал расспрашивать его, надолго ли он в Рим и с какими поручениями. Когда художник упомянул о Чезаре, Никколо отвернулся, избегая взоров его и пожимая плечами, возразил холодно, с напускною небрежностью:

— По воле судеб я был в моей жизни свидетелем таких событий, что давно уже не удивляюсь ничему...

И, видимо желая переменить разговор, спросил, в свою очередь, Леонардо, что он поделывает. Узнав, что художник поступил на службу Флорентинской Республики, Макиавелли только махнул рукой:

— Не обрадуетесь! Бог знает, что лучше — злодеяния такого героя, как Чезаре, или добродетели такого муравейника, как наша Республика. Впрочем, одно стоит другого. Меня спросите: я ведь кое-что знаю о прелестях народного правления! — усмехнулся он своею горькою усмешкою.

Леонардо сообщил ему слова Антония Джустиниани о лисьей хитрости, которой, будто бы, он, Макиавелли, собирается учить кур, о волчьих зубах, которые он хочет вставить овцам.

— Что правда, то правда! — добродушно рассмеялся Никколо.— Раздразню я гусей — отсюда вижу, как честные люди готовы будут сжечь меня на костре за то, что я первый заговорил о том, что делают все. Тираны объявят меня бунтовщиком народа, народ — приспешником тиранов, святоши — безбожником, добрые — злым, а злые возненавидят меня больше всех, потому что я буду им казаться злее, чем сами они.

И прибавил с тихою грустью:

— Помните наши беседы в Романье, мессер Леонардо? Я часто думаю о них, и мне кажется иногда, что у нас с вами общая судьба. Открытие новых истин всегда было и будет столь же опасно, как открытие новых земель. У тиранов и толпы, у малых и великих — мы с вами везде чужие, лишние — бездомные бродяги, вечные изгнанники. Кто не похож на всех, тот один против всех, ибо мир создан для черни, и нет в нем никого, кроме черни.— Так-то, друг мой,— продолжал он еще тише и задумчивее,— скучно, говорю я, жить на свете, и, пожа-

луй, самое скверное в жизни не заботы, не болезни, не бедность, не горе — а скука...

Молча спустились они по западному склону Палатина и тесной грязной улицей вышли к подножию Капитолия, к развалинам храма Сатурна — месту, где некогда был Римский Форум.

XII

По обеим сторонам древней Священной Улицы, Сакра-Виа, от арки Септимия Севера до амфитеатра Флавиев, лепились жалкие, ветхие домишки. Рассказывали, будто бы основания многих из них сложены из обломков драгоценных изваяний, из членов олимпийских богов: в течение столетий Форум служил каменоломней. В развалинах языческих капищ уныло и робко ютились христианские церкви. Наслоения уличного мусора, пыли, навоза возвысили уровень почвы больше, чем на десять локтей. Но все еще кое-где возносились древние колонны с частями архитравов, грозивших падением.

Никколо указал спутнику место Римского Сената, Курии, народного Собрания, теперь называвшееся Коровьим Полем. Здесь был скотный рынок. Пары белых крутом рогих быков и черных буйволов лежали на земле; свиньи хрюкали в лужах, поросята визжали. И упавшие мраморные колонны, плиты с полустертыми надписями, облепленные скотским пометом, утопали в черной жидкой грязи. К триумфальной арке Тита Веспасиана прислонилась старая рыцарская башня, некогда разбойничье гнездо баронов Франджипани. Тут же, перед аркою, была харчевня для земледельцев, приезжавших на скотный рынок. Из окон слышались крики ругавшихся женщин, и вылетал клубами чад прогорклого масла и жареной рыбы. На веревке сушились лохмотья. Старый нищий с лицом, изможденным лихорадкой, сидя на камне, завертывал в рубище больную распухшую ногу.

Внутри, по обеим сторонам победной арки, были два барельефа: на одном — император Тит Веспасиан, завоеватель Иерусалима, в триумфальном шествии, на колеснице, запряженной квадригою; на другой — еврейские пленники в оковах, с трофеями победителя — жертвенною трапезой Иеговы, хлебами предложения и седмисвещниками Соломонова храма; вверху, посередине свода — ширококрылый орел, возносящий на Олимп обожествленного Кесаря. На челе ворот Никколо прочел уцелевшую

надпись: «Senatus populusque Romanus divo Tito divi Vespasiani filio Vespasiano Augusto» [1].

Солнце, проникая под арку со стороны Капитолия, озарило триумф императора последними багровыми лучами сквозь голубоватые, подобные облакам фимиама, смрадные волны кухонного чада.

И сердце Никколо болезненно сжалось, когда, в последний раз оглянувшись на Форум, увидел он розовый отблеск вечернего света на трех одиноких колоннах из белого мрамора перед церковью Мария Либератриче. Унылый, дряхло-лепечущий звон колоколов, вечерний благовест Ave Maria казался похоронной жалобой над Римским Форумом.

Они вошли в Колизей.

— Да,— проговорил Никколо, глядя на исполинские глыбы камня в стенах амфитеатра,— те, кто умели строить такие здания, не нам чета. Только здесь, в Риме, чувствуешь, какая разница между нами и древними. Куда уж нам соперничать с ними! Мы и представить себе не можем, что это были за люди...

— Мне кажется,— возразил Леонардо медленно, как будто с усилием, выходя из задумчивости,— мне кажется. Никколо, вы неправы. Есть и у нынешних людей сила не меньшая, чем у древних, только иная...

— Уж не христианское ли смирение?

— Да, между прочим, и смирение...

— Может быть,— произнес Макиавелли холодно.

Они присели отдохнуть на нижнюю, полуразрушенную ступень амфитеатра.

— Я полагаю,— продолжал Никколо с внезапным порывом,— я полагаю, что людям следовало бы или принять, или отвергнуть Христа. Мы же не сделали ни того, ни другого. Мы не христиане и не язычники. От одного отстали, к другому не пристали. Быть добрыми силы не имеем, быть злыми страшимся. Мы ни черные, ни белые — только серые; ни холодные, ни горячие — только теплые. Так изолгались, измалодушествовались, виляя, хромая на обе ноги между Христом и Велиаром, что нынче уж и сами, кажется, не знаем, чего хотим, куда идем. Древние, те по крайней мере, знали и делали все до конца — не лицемерили, не подставляли правой щеки тому, кто ударял их по левой. Ну, а с тех пор, как люди поверили, что

---

[1] «Весь народ — божественному Титу, божественного Веспасиана сыну, Веспасиану Августу [императору] (*лат.*).

ради блаженства на небе должно терпеть всякую неправду на земле, негодяям открылось великое и безопасное поприще. И что же в самом деле, как не это новое учение, обессилило мир и отдало его в жертву мерзавцам?..

Голос его дрожал, глаза горели почти безумною ненавистью, лицо исказилось, как бы от нестерпимой боли.

Леонардо молчал. В душе его проходили ясные, детские мысли, такие простые, что он не сумел бы их выразить: он смотрел на голубое небо, сиявшее сквозь трещины стен Колизея, и думал о том, что нигде не кажется лазурь небес такой вечно юной и радостной, как в щелях полуразрушенных зданий.

Некогда завоеватели Рима, северные варвары, не умевшие добывать руду из земли, вынули железные скрепы, соединявшие камни в стенах Колизея, чтобы древнее римское железо перековать на новые мечи; и птицы свили себе гнезда в отверстиях вынутых скреп. Леонардо следил, как черные галки, слетаясь на ночлег с веселыми криками, прятались в гнезда, и думал о том, что миродержавные кесари, воздвигавшие это здание, варвары, разрушавшие его, не подозревали, что трудятся для тех, о которых сказано: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец Небесный питает их.

Он не возражал Макиавелли, чувствуя, что тот не поймет, ибо все, что для него, Леонардо, было радостью, для Никколо было скорбью; мед его был желчью Никколо; великая ненависть — дочерью великого познания.

— А знаете ли, мессер Леонардо,— произнес Макиавелли, желая, по обыкновению, кончить разговор шуткою,— я теперь только вижу, как ошибаются те, кто считает вас еретиком и безбожником. Попомните слово мое: в день Страшного суда, как разделят нас на овец и на козлищ, быть вам со смиренными овечками Христовыми, быть вам в раю со святыми угодниками!

— И с вами, мессер Никколо! — подхватил художник, смеясь.— Если уж я попаду в рай, то и вам не миновать.

— Ну, нет, слуга покорный! Заранее уступаю место мое всем желающим. Довольно с меня скуки земной...

И лицо его вдруг озарилось добродушною веселостью.

— Послушайте, друг мой, вот какой вещий сон приснился мне однажды: привели меня, будто бы, в собрание голодных и грязных оборванцев, монахов, блудниц, рабов, калек слабоумных и объявили, что это те самые, о коих сказано: блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие

Небесное. Потом привели меня в другое место, где увидел я сонм величавых мужей, подобный древнему Сенату; здесь были полководцы, императоры, папы, законодатели, философы — Гомер, Александр Великий, Платон, Марк Аврелий; они беседовали о науке, искусстве, делах государственных. И мне сказали, что это ад и души грешников, отвергнутых Богом за то, что возлюбили они мудрость века сего, которая есть безумие пред Господом. И спросили, куда я желаю, в ад или в рай? «В ад,— воскликнул я,— конечно, в ад к мудрецам и героям!»

— Да, если все это в действительности так, как вам приснилось,— возразил Леонардо,— то ведь и я, пожалуй, не прочь...

— Ну, нет, поздно! Теперь уж не отвертитесь. Насильно потащат. За христианские добродетели наградят вас и раем христианским.

Когда они вышли из Колизея, стемнело. Огромный желтый месяц выплыл из-за черных сводов базилики Константина, разрезая слои облаков, прозрачных, как перламутр. Сквозь дымную, сизую мглу, расстилавшуюся от Арки Тита Веспасиана до Капитолия, три одинокие, бледные колонны перед церковью Мария Либератриче, подобные призракам, в сиянии луны казались еще прекраснее. И дряхло-лепечущий колокол, сумеречный Angelus [1] еще заунывнее звучал, как похоронный плач, над Римским Форумом.

---

[1] «Ангел [Божий возвестил Марии]» (*лат.*)— католическая молитва.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ КНИГА

МОНА ЛИЗА ДЖОКОНДА

I

Леонардо писал в *Книге о живописи*:

«Для портретов имей особую мастерскую — двор продолговатый, четырехугольный, шириной в десять, длиной в двадцать локтей, со стенами, крашенными в черную краску, с кровельным выступом по стенам и полотняным навесом, устроенным так, чтобы, собираясь или распускаясь, смотря по надобности, служил он защитой от солнца. Не натянув полотна, пиши только перед сумерками, или когда облачно и туманно. Это — свет совершенный».

Такой двор для писания портретов устроил он в доме хозяина своего, знатного флорентинского гражданина, комисария Синьории, сире Пьеро ди Барто Мартелли, любителя математики, человека умного и дружески расположенного к Леонардо,— во втором доме по левой стороне улицы Мартелли, ежели идти от площади Сан-Джованни к Палаццо Медичи.

Однажды, в конце весны 1505 года, был тихий, теплый и туманный день. Солнце просвечивало сквозь влажную дымку облаков тусклым, точно подводным, светом, с тенями нежными, тающими, как дым — любимым светом Леонардо, дающим, как он утверждал, особенную прелесть женским лицам.

«Неужели не придет?» — думал он о той, чей портрет писал почти три года, с небывалым для него постоянством и усердием.

Он приготовил мастерскую для ее приема. Джованни Бельтраффио украдкой следил за ним и удивлялся тревоге ожидания, почти нетерпению, которые были несвойственны всегда спокойному учителю.

Леонардо привел в порядок на полке разнообразные кисти, палитры, горшочки с красками, которые, застыв, подернулись, как будто льдом, светлою корою клея; снял

полотняный покров с портрета, стоявшего на выдвижном трехногом поставе — леджо; пустил фонтан посередине двора, устроенный им для ее забавы, в котором ниспадавшие струи, ударяясь о стеклянные полушария, вращали их и производили странную тихую музыку; — вокруг фонтана росли его рукой посаженные и взлелеянные ее любимые цветы — ирисы; принес нарезанного хлеба в корзине для ручной лани, которая бродила тут же по двору, и которую *она* кормила из собственных рук; поправил пушистый ковер перед креслом из гладкого темного дуба с решетчатою спинкою и налокотниками. На этом ковре, привычном месте своем, уже свернулся и мурлыкал белый кот редкой породы, привезенный из Азии, купленный тоже для ее забавы, с разноцветными глазами, правым — желтым, как топаз, левым — голубым, как сапфир.

Андреа Салаино принес ноты и начал настраивать виолу. Пришел и другой музыкант, Аталанте. Леонардо знавал его еще в Милане при дворе герцога Моро. Особенно хорошо играл он на изобретенной художником серебряной лютне, имевшей сходство с лошадиным черепом.

Лучших музыкантов, певцов, рассказчиков, поэтов, самых остроумных собеседников приглашал Леонардо в свою мастерскую, чтобы они развлекали *ее*, во избежание скуки, свойственной лицам тех, с кого пишут портреты. Он изучал в ее лице игру мыслей и чувств, возбуждаемых беседами, повествованиями и музыкой.

Впоследствии собрания эти сделались реже: он знал, что они больше не нужны, что она и без них не соскучится. Не прекращалась только музыка, которая помогала обоим работать, потому что и *она* принимала участие в работе над своим портретом.

Все было готово, а она еще не приходила.

«Неужели не придет? — думал он.— Сегодня свет и тени как будто нарочно для нее. Не послать ли? Но она ведь знает, как я жду. Должна прийти».

И Джованни видел, как нетерпеливая тревога его увеличивалась.

Вдруг легкое дыхание ветра отклонило струю фонтана; стекло зазвенело, лепестки белых ирисов под водяной пылью вздрогнули. Чуткая лань, вытянув шею, насторожилась. Леонардо прислушался. И Джованни, хотя сам ничего еще не слышал, по лицу его понял, что это — *она.*

Сначала, со смиренным поклоном, вошла сестра Камилла, монахиня-конвертита, которая жила у нее в доме и каждый раз сопровождала ее в мастерскую художника,

имея свойство стираться и делаться невидимой, скромно усевшись в углу с молитвенником в руках, не подымая глаз и не произнося ни слова, так что за три года их посещений Леонардо почти не слыхал ее голоса.

Вслед за Камиллою вошла та, которую здесь ожидали все,— женщина лет тридцати, в простом темном платье, с прозрачно-темной дымкой, опущенной до середины лба,— мона Лиза Джоконда.

Бельтраффио знал, что она неаполитанка из древнего рода, дочь некогда богатого, но во время французского нашествия в 1495 году разорившегося вельможи Антонио Джерардини, жена флорентинского гражданина, Франческо дель Джокондо. В 1481 году вышла за него дочь Мариано Ручеллаи. Через два года она умерла. Он женился на Томмазе Виллани и после смерти ее уже в третий раз — на моне Лизе. Когда Леонардо писал с нее портрет, художнику было за пятьдесят лет, а супругу моны Лизы, мессеру Джокондо, сорок пять. Он был выбран одним из XII буономини и скоро должен был сделаться приором. Это был человек обыкновенный, каких много всегда и везде,— ни очень дурной, ни очень хороший, деловитый, расчетливый, погруженный в службу и сельское хозяйство. Изящная молодая женщина казалась ему самым пристойным украшением в доме. Но прелесть моны Лизы была для него менее понятной, чем достоинство новой породы сицилийских быков или выгода таможенной пошлины на сырые овечьи шкуры. Рассказывали, что замуж вышла она не по любви, а только по воле отца, и что первый жених ее нашел добровольную смерть на поле сражения. Ходили также слухи, может быть, только сплетни, и о других ее страстных, упорных, но всегда безнадежных поклонниках. Впрочем, злые языки — а таких во Флоренции было не мало — не могли сказать ничего дурного о Джоконде. Тихая, скромная, благочестивая, строго соблюдавшая обряды церкви, милосердная к бедным, была она доброю хозяйкою, верною женою и не столько мачехой для своей двенадцатилетней падчерицы Дианоры, сколько нежною матерью.

Вот все, что знал о ней Джованни. Но мона Лиза, приходившая в мастерскую Леонардо, казалась ему совсем другою женщиною.

В течение трех лет — время не истощало, а напротив, углубляло это странное чувство — при каждом ее появлении он испытывал удивление, подобное страху, как перед чем-то призрачным. Иногда объяснял он чувство это тем,

что до такой степени привык видеть лицо ее на портрете, и столь велико искусство учителя, что живая мона Лиза кажется ему менее действительной, чем изображенная на полотне. Но тут еще было и что-то другое, более таинственное.

Он знал, что Леонардо имеет случай видеть ее только во время работы, в присутствии других, порой многих приглашенных, порой одной, неразлучной с нею сестры Камиллы — и никогда наедине, а между тем Джованни чувствовал, что есть у них тайна, которая сближает и уединяет их. Он также знал, что это — не тайна любви, или, по крайней мере, не того, что люди называют любовью.

Он слышал от Леонардо, что все художники имеют наклонность в изображаемых ими телах и лицах подражать собственному телу и лицу. Учитель видел причину этого в том, что человеческая душа, будучи создательницей своего тела, каждый раз, как ей предстоит изобрести новое тело, стремится и в нем повторить то, что уже некогда было создано ею,— и так сильна эта наклонность, что порой даже в портретах, сквозь внешнее сходство с изображаемым, мелькает, если не лицо, то, по крайней мере, душа самого художника.

Происходившее теперь в глазах Джованни было еще поразительнее: ему казалось, что не только изображенная на портрете, но и сама живая мона Лиза становится все более и более похожей на Леонардо, как это иногда бывает у людей, постоянно, долгие годы живущих вместе. Впрочем, главная сила возраставшего сходства заключалась не столько в самих чертах — хотя и в них в последнее время она иногда изумляла его,— сколько в выражении глаз и в улыбке. Он вспоминал с неизъяснимым удивлением, что эту же самую улыбку видел у Фомы Неверного, влагающего руку в язвы Господа, в изваянии Вероккьо, для которого служил образцом молодой Леонардо, и у прародительницы Евы перед Древом Познания в первой картине учителя, и у ангела *Девы в скалах*, и у Леды с лебедем, и во многих других женских лицах, которые писал, рисовал и лепил учитель, еще не зная моны Лизы,— как будто всю жизнь, во всех своих созданиях, искал он отражения собственной прелести и, наконец, нашел в лице Джоконды.

Порой, когда Джованни долго смотрел на эту общую улыбку их, становилось ему жутко, почти страшно, как перед чудом: явь казалась сном, сон явью, как будто мона

Лиза была не живой человек, не супруга флорентинского гражданина, мессера Джоконда, обыкновеннейшего из людей, а существо, подобное призракам,— вызванное волей учителя,— оборотень, женский двойник самого Леонардо.

Джоконда гладила свою любимицу, белую кошку, которая вскочила к ней на колени, и невидимые искры перебегали по шерсти с чуть слышным треском под нежными тонкими пальцами.

Леонардо начал работу. Но вдруг оставил кисть, внимательно всматриваясь в лицо ее: от взоров его не ускользала малейшая тень или изменение в этом лице.

— Мадонна,— проговорил он,— вы сегодня чем-нибудь встревожены?

Джованни также чувствовал, что она менее похожа на свой портрет, чем всегда.

Лиза подняла на Леонардо спокойный взор.

— Да, немного,— ответила она.— Дианора не совсем здорова. Я всю ночь не спала.

— Может быть, устали, и вам теперь не до моего портрета? Не лучше ли отложить?..

— Нет, ничего. Разве вам не жаль такого дня? Посмотрите, какие нежные тени, какое влажное солнце: это мой день!

— Я знала,— прибавила она, помолчав,— что вы ждете меня. Пришла бы раньше, да задержали,— мадонна Софонизба...

— Кто такая? Ах, да, знаю... Голос, как у площадной торговки, и пахнет, как из лавки продавца духов...

Джоконда усмехнулась.

— Мадонне Софонизбе,— продолжала она,— непременно нужно было рассказать мне о вчерашнем празднике в Палаццо Веккьо у яснейшей синьоры Арджентины, жены гонфалоньера, и что именно подавали за ужином, и какие были наряды, и кто за кем ухаживал...

— Ну, так и есть! Не болезнь Дианоры, а болтовня этой трещотки расстроила вас. Как странно! Замечали вы, мадонна, что иногда какой-нибудь вздор, который мы слышим от посторонних людей, и до которого нам дела нет,— обыкновенная человеческая глупость или пошлость — внезапно омрачает душу и расстраивает больше, чем сильное горе?

Она склонила молча голову: видно было, что давно уже привыкли они понимать друг друга, почти без слов, по одному намеку.

Он снова попытался начать работу.

— Расскажите что-нибудь,— проговорила мона Лиза.

— Что?

Немного подумав, она сказала:

— О царстве Венеры.

У него было несколько любимых ею рассказов, большею частью из своих или чужих воспоминаний, путешествий, наблюдений над природою, замыслов картин. Он рассказывал их почти всегда одними и теми же словами, простыми, полудетскими, под звуки тихой музыки.

Леонардо сделал знак и, когда Андреа Салаино на виоле, Аталанте на серебряной лютне, подобной лошадиному черепу, заиграли то, что было заранее выбрано и неизменно сопровождало рассказ о *царстве Венеры*, начал своим тонким женственным голосом, как старую сказку или колыбельную песню:

— Корабельщики, живущие на берегах Киликии, уверяют, будто бы тем, кому суждено погибнуть в волнах, иногда, во время самых страшных бурь, случается видеть остров Кипр — царство богини любви. Вокруг бушуют волны, вихри, смерчи, и многие мореходы, привлекаемые прелестью острова, сломали корабли свои об утесы, окруженные водоворотами. О, сколько их разбилось, сколько потонуло! Там, на берегу, еще виднеются их жалобные остовы, полузасыпанные песком, обвитые морскими травами: одни выставляют нос, другие — корму; одни — зияющие бревна боков, подобные ребрам полусгнивших трупов, другие — обломки руля. И так их много, что это похоже на день Воскресения, когда море отдаст все погибшие в нем корабли. А над самым островом — вечно голубое небо, сияние солнца на холмах, покрытых цветами, и в воздухе такая тишина, что длинное пламя курильниц на ступенях перед храмом тянется к небу столь же прямое, недвижное, как белые колонны и черные кипарисы, отраженные в зеркально гладком озере. Только струи водометов, переливаясь через край и стекая из одной порфировой чаши в другую, сладко журчат. И утопающие в море видят это близкое тихое озеро; ветер приносит им благовоние миртовых рощ — и чем страшнее буря, тем глубже тишина в царстве Киприды.

Он умолк; струны лютни и виолы замерли, и наступила та тишина, которая прекраснее всяких звуков,— тишина после музыки. Только струи фонтана журчали, ударяясь о стеклянные полушария.

И как будто убаюканная музыкой, огражденная тишиною от действительной жизни — ясная, чуждая всему,

кроме воли художника,— мона Лиза смотрела ему прямо в глаза с улыбкою, полною тайны, как тихая вода, совершенно прозрачная, но такая глубокая, что сколько бы взор ни погружался в нее, как бы ни испытывал, дна не увидит,— с его собственною улыбкою.

И Джованни казалось, что теперь Леонардо и мона Лиза подобны двум зеркалам, которые, отражаясь одно в другом, углубляются до бесконечности.

II

На следующий день утром художник работал в Палаццо Веккьо над *Битвой при Ангиари.*

В 1503 году, приехав из Рима во Флоренцию, получил он заказ от пожизненного гонфалоньера, тогдашнего верховного правителя Республики, Пьеро Содерини, изобразить какую-либо достопамятную битву на стене новой залы Совета, во дворце Синьории, в Палаццо Веккьо. Художник выбрал знаменитую победу флорентинцев при Ангиари, в 1440 году, над Никколо Пичинино, военачальником герцога Ломбардии, Филиппо-Мария Висконти.

На стене залы Совета была уже часть картины: четыре всадника сцепились и дерутся из-за боевого знамени; на конце длинной палки треплется лохмотье; древко сломано. Пять рук ухватились за него и с яростью тащат в разные стороны. В воздухе скрещены сабли. По тому, как рты разинуты, видно, что неистовый крик вылетает из них. Искаженные человеческие лица не менее страшны, чем звериные морды баснословных чудовищ на медных панцирях. Люди заразили коней своим бешенством: они взвились на дыбы, сцепились передними ногами и с прижатыми ушами, сверкая дико скошенным зрачком, оскалив зубы, как хищные звери, грызутся. Внизу, в кровавой грязи, под копытами, один человек убивает другого, схватив его за волосы, ударяя головой о землю и не замечая, что тотчас они оба вместе будут раздавлены.

Это война во всем своем ужасе, бессмысленная бойня, «самая зверская из глупостей» — «pazzia bestialissima», по выражению Леонардо, которая «не оставляет ни одного ровного места на земле, где бы не было следов, наполненных кровью».

Только что начал он работу, по звонкому, кирпичному полу пустынной залы послышались шаги. Он узнал их и, не оборачиваясь, поморщился.

То был Пьеро Содерини, один из тех людей, о которых Никколо Макиавелли говорил, что они — ни холодные, ни горячие — только теплые, ни черные, ни белые — только серые. Флорентинские граждане, потомки разбогатевших лавочников, вылезших в знать, избрали его в вожди Республики, как равного всем, как совершенную посредственность, безразличную и безопасную для всех, надеясь, что он будет их послушным орудием. Но ошиблись. Содерини оказался другом бедных, защитником народа. Этому, впрочем, никто не придавал значения. Он был все-таки слишком ничтожен: вместо государственных способностей была у него чиновничья старательность, вместо ума — благоразумие, вместо добродетели — добродушие. Всем было известно, что его супруга, надменная и неприступная мадонна Арджентина, не скрывавшая своего презрения к мужу, иначе не называла его, как «моя крыса». И, в самом деле, мессер Пьеро напоминал старую, почтенную крысу канцелярского подполья. У него не было даже той ловкости, врожденной пошлости, которые необходимы правителям, как сало для колес машины. В республиканской честности своей он был сух, тверд, прям и плосок, как доска,— столь неподкупен и чист, что, по выражению Макиавелли, от него «пахло мылом, как от только что вымытого белья». Желая всех примирить, он только всех раздражал. Богатым не угодил, бедным не помог. Вечно садился между двумя стульями, попадал между двух огней. Был мученик золотой середины. Однажды Макиавелли, которому Содерини покровительствовал, сочинил на него эпиграмму в виде надгробной надписи:

В ту ночь, как умер Пьеро Содерини,
Душа его толкнулась было в ад.
«Куда ты, глупая? — Плутон ей крикнул,—
Ступай-ка в средний круг для маленьких детей!»

Принимая заказ, Леонардо должен был подписать очень стеснительный договор, с неустойкою в случае малейшей просрочки. Великолепные синьоры отстаивали выгоды свои, как лавочники. Большой любитель канцелярской переписки, Содерини докучал ему требованиями отчетности во всяком гроше, выданном из казначейства, на постройку лесов, на покупку лака, соды, извести, красок, льняного масла и на другие мелочи. Никогда на службе «тиранов», как презрительно выражался гонфалоньер,— при дворе Моро и Чезаре, не испытывал Леонардо такого рабства, как на службе народа, в свободной Республике, в царстве мещан-

ского равенства. И хуже всего было то, что, подобно большинству людей, в искусстве бездарных и невежественных, мессер Пьеро имел страсть давать советы художникам.

Содерини обратился к Леонардо с вопросом о деньгах, выданных на покупку тридцати пяти фунтов александрийских белил и не записанных в отчете. Художник признался, что белил не покупал, забыл, на что истратил деньги, и предложил возвратить их в казну.

— Что вы, что вы! Помилуйте, мессер Леонардо. Я ведь так только напоминаю, для порядка и точности. Вы уж с нас не взыщите. Сами видите: мы люди маленькие, скромные. Может быть, в сравнении с щедростью таких великолепных государей, как Сфорца и Борджа, бережливость наша кажется вам скупостью. Но что же делать? По одежке протягивай ножки. Мы ведь не самодержцы, а только слуги народа и обязаны ему отчетом в каждом сольди, ибо, сами знаете, казенные деньги дело святое, тут и лепта вдовицы, и капли пота честного труженика, и кровь солдата. Государь один — нас же много, и все мы равны перед законом. Так-то, мессер Леонардо! Тираны платили вам золотом, мы же медью; но не лучше ли медь свободы, чем золото рабства, и не выше ли всякой награды спокойная совесть?..

Художник слушал молча, делая вид, что соглашается. Он ждал, чтобы речь Содерини кончилась, с унылою покорностью, как путник на большой дороге, застигнутый вихрем пыли, ждет, наклонив голову и зажмурив глаза. В этих обыкновенных мыслях обыкновенных людей чувствовал Леонардо силу слепую, глухую, неумолимую, подобную силам природы, с которыми спорить нельзя, и хотя на первый взгляд они казались только плоскими, но, глубже вдумываясь в них, испытывал он такое ощущение, как будто заглядывал в страшную пустоту, в головокружительную бездну.

Содерини увлекся. Ему хотелось вызвать противника на спор. Чтобы задеть его за живое, заговорил он о живописи.

Надев серебряные круглые очки, с важным видом знатока начал рассматривать оконченную часть картины.

— Превосходно! Удивительно! Что за лепка мускулов, какое знание перспективы! А лошади, лошади — точно живые!

Потом взглянув на художника поверх очков, добродушно и строго, как учитель на способного, но недостаточно прилежного ученика:

— А все-таки, мессер Леонардо, я и теперь скажу, что уже много раз говорил: если вы кончите, как начали, действие картины будет слишком тяжелое, удручающее, и вы уж на меня не сердитесь, почтеннейший, за мою откровенность, я ведь всегда говорю людям правду в глаза,— не на то мы надеялись...

— На что же вы надеялись? — спросил художник с робким любопытством.

— А на то, что вы увековечите в потомстве военную славу Республики, изобразите достопамятные подвиги наших героев,— что-нибудь такое, знаете, что, возвышая души людей, может им подать благой пример любви к отечеству и доблестей гражданских. Пусть война в действительности такова, как вы ее представили. Но почему же, спрошу я вас, мессер Леонардо, почему не облагородить, не украсить или, по крайней мере, не смягчить некоторых крайностей, ибо мера нужна во всем. Может быть, я ошибаюсь, но кажется мне, что истинное назначение художника состоит именно в том, чтобы, наставляя и поучая, приносить пользу народу...

Заговорив о пользе народа, он уже не мог остановиться. Глаза его сверкали вдохновением здравого смысла; в однообразном звуке слов было упорство капли, которая точит камень.

Художник слушал молча, в оцепенении, и только порой, когда, очнувшись, старался представить себе, что собственно думает этот добродетельный человек об искусстве,— ему делалось жутко, как будто входил он в тесную, темную комнату, переполненную людьми, с таким спертым воздухом, что нельзя в нем пробыть ни мгновения, не задохнувшись.

— Искусство, которое не приносит пользы народу,— говорил мессер Пьеро,— есть забава праздных людей, тщеславная прихоть богатых, или роскошь тиранов. Не так ли, почтеннейший?

— Конечно, так,— согласился Леонардо и прибавил с чуть заметной усмешкой в глазах:

— А знаете ли, синьоре? Вот что следовало бы сделать нам, дабы прекратить наш давний спор: пусть бы в этой самой зале Совета, на общем народном собрании, решили граждане Флорентинской Республики белыми и черными шарами, по большинству голосов — может ли моя картина принести пользу народу или не может? Тут двойная выгода: во-первых, достоверность математическая, ибо только стоит сосчитать голоса, чтобы знать истину. А во-

вторых, всякому сведущему и умному человеку, ежели он один, свойственно заблуждаться, тогда как десять, двадцать тысяч невежд или глупцов, сошедшихся вместе, ошибиться не могут, ибо глас народа — глас Божий.

Содерини сразу не понял. Он так благоговел перед священнодействием белых и черных шаров, что ему в голову не пришло, чтобы кто-нибудь мог себе позволить насмешку над этим таинством. Когда же понял, то уставился на художника с тупым удивлением, почти с испугом, и маленькие, подслеповатые, круглые глазки его запрыгали, забегали, как у крысы, почуявшей кошку.

Он скоро, впрочем, оправился. По врожденной склонности ума своего смотрел гонфалоньер на всех вообще художников, как на людей, лишенных здравого смысла, и потому шуткой Леонардо не оскорбился.

Но мессеру Пьеро стало грустно: он считал себя благодетелем этого человека, ибо, несмотря на слухи о государственной измене Леонардо, о военных картах с окрестностей Флоренции, которые он, будто бы, снимал для Чезаре Борджа, врага отечества, Содерини великодушно принял его на службу республики, надеясь на доброе свое влияние и на раскаяние художника.

Переменив разговор, мессер Пьеро, уже с деловым начальническим видом, объявил ему между прочим, что Микеланджело Буонарроти получил заказ написать военную картину на противоположной стене той же залы Совета,— сухо простился и ушел.

Художник посмотрел ему вслед: серенький, седенький, с кривыми ногами, круглой спиной, издали он еще более напоминал крысу.

III

Выходя из Палаццо Веккьо, остановился Леонардо на площади, перед Давидом Микеланджело.

Здесь, у ворот Флорентинской ратуши, как бы на страже, стоял он, этот исполин из белого мрамора, выделяясь на темном камне строгой и стройной башни.

Голое отроческое тело худощаво. Правая рука с пращею свесилась, так что выступили жилы; левая, поднятая перед грудью, держит камень. Брови сдвинуты, и взор устремлен вдаль, как у человека, который целится. Над низким лбом кудри сплелись, как венец.

И Леонардо вспомнил слова Первой Книги Царств.

«Сказал Давид Саулу: раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь, и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его, а если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними.— И взял посох свой в руку свою и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую суму, и с сумою, и с пращею в руке своей выступил против филистимлянина. И сказал филистимлянин Давиду: что ты идешь на меня с палкою и камнями — разве я собака? И сказал Давид: нет, но хуже собаки. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою. и отдам труп твой и трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным — и узнает вся земля, что есть Бог во Израиле».

На площади, где был сожжен Савонарола, Давид Микеланджело казался тем Пророком, которого тщетно звал Джироламо, тем Героем, которого ждал Макиавелли.

В этом создании своего соперника Леонардо чувствовал душу, быть может, равную своей душе, но навеки противоположную, как действие противоположно созерцанию, страсть — бесстрастью, буря — тишине. И эта чуждая сила влекла его к себе, возбуждала в нем любопытство и желание приблизиться к ней, чтобы познать ее до конца.

В строительных складах флорентинского собора Мария дель Фьоре лежала огромная глыба белого мрамора, испорченная неискусным ваятелем: лучшие мастера отказывались от нее, полагая, что она уже ни на что не годится.

Когда Леонардо приехал из Рима, ее предложили ему. Но пока, с обычною медлительностью, обдумывал он, вымеривал, высчитывал и колебался, другой художник, на двадцать три года моложе его, Микеланджело Буонарроти перехватил заказ и с неимоверною быстротою, работая не только днем, но и ночью при огне, кончил своего Исполина в течение двадцати пяти месяцев. Шестнадцать лет Леонардо работал над памятником Сфорца, глиняным Колоссом, а сколько времени понадобилось бы ему для мрамора такой величины, как Давид, он и подумать не смел.

Флорентинцы объявили Микеланджело в искусстве ваяния соперником Леонардо. И Буонарроти без колебания принял вызов.

Теперь, приступая к военной картине в зале Совета, хотя до тех пор почти не брал кистей в руки, с отвагою, которая могла казаться безрассудной, начинал он состязание с Леонардо и в живописи.

Чем бóльшую кротость и благоволение встречал Буонарроти в сопернике, тем беспощаднее становилась ненависть его. Спокойствие Леонардо казалось ему презрением. С болезненною мнительностью он прислушивался к сплетням, выискивал предлогов для ссор, пользовался каждым случаем, чтобы уязвить врага.

Когда окончен был Давид, синьоры пригласили лучших флорентинских живописцев и ваятелей для совещания о том, куда его поставить. Леонардо присоединился к мнению зодчего Джульяно да Сан-Галло, что следует поместить Гиганта на площади Синьории, в глубине лоджии Орканьи, под среднею аркою. Узнав об этом, Микеланджело объявил, что Леонардо из зависти хочет спрятать Давида в самый темный угол так, чтобы солнце никогда не освещало мрамора, и чтобы никто не мог его видеть.

Однажды в мастерской, во дворе с черными стенами, где писал Леонардо портрет Джоконды, на одном из обычных собраний, в присутствии многих мастеров, между прочим, братьев Поллайоли, старика Сандро Боттичелли, Филиппино Липпи, Лоренцо ди Креди, ученика Перуджино, зашла речь о том, какое искусство выше, ваяние или живопись,— любимый в то время среди художников спор.

Леонардо слушал молча. Когда же приступили к нему с вопросами, сказал:

— Я полагаю, что искусство тем совершеннее, чем дальше от ремесла.

И с двусмысленной скользящей улыбкой своей, так что трудно было решить, искренне ли он говорит или смеется, прибавил:

— Главное отличие этих двух искусств заключается в том, что живопись требует бóльших усилий духа, ваяние — тела. Образ, заключенный, как ядро, в грубом и твердом камне, ваятель медленно освобождает, высекая из мрамора ударами резца и молота, с напряжением всех телесных сил, с великою усталостью, как поденщик, обливаясь потом, который, смешиваясь с пылью, становится грязью; и лицо у него замарано, обсыпано мраморною белою мукою, как у пекаря, одежда покрыта осколками, точно снегом, дом наполнен камнями и пылью. Тогда как живописец в совершенном спокойствии, в изящной одежде,

сидя в мастерской, водит легкою кистью с приятными красками. И дом у него — светлый, чистый, наполненный прекрасными картинами; всегда в нем тишина, и работа его услаждается музыкою, или беседою, или чтением, которых не мешают ему слушать ни стук молотков, ни другие докучные звуки...

Слова Леонардо были переданы Микеланджело, который принял их на свой счет, но, заглушая злобу, только пожал плечами и возразил с ядовитой усмешкой:

— Пусть мессер да Винчи, незаконный сын трактирной служанки, корчит из себя белоручку и неженку. Я — потомок древнего рода, не стыжусь моей работы, не брезгаю пóтом и грязью, как простой поденщик. Что же касается до преимуществ ваяния или живописи, то это спор нелепый: искусства все равны, вытекая из одного источника и стремясь к одной цели. А ежели тот, кто утверждает, будто бы живопись благороднее ваяния, столь же сведущ и в других предметах, о которых берется судить, то едва ли он смыслит в них больше, чем моя судомойка.

С лихорадочною поспешностью принялся Микеланджело за картину в зале Совета, желая догнать соперника, что, впрочем, было не трудно.

Он выбрал случай из войны Пизанской: в жаркий летний день флорентинские солдаты купаются в Арно; забили тревогу — показались враги: солдаты торопятся на берег, вылезают из воды, где усталые тела их нежились в прохладе, и, покорные долгу, натягивают потное, пыльное платье, одеваются в медные, раскаленные солнцем, брони и панцири.

Так, возражая на картину Леонардо, изобразил Микеланджело войну не как бессмысленную бойню — «самую зверскую из глупостей», но как мужественный подвиг, совершение вечного долга — борьбу героев из-за славы и величия родины.

За этим поединком Леонардо и Микеланджело следили флорентинцы с любопытством, свойственным толпе при соблазнительных зрелищах. И так как все, в чем не было политики, казалось им пресным, как блюдо без перца и соли, поспешили объявить, что Микеланджело стоит за Республику против Медичи, Леонардо — за Медичи против Республики. И спор, сделавшись понятным для всех, разгорелся с новою силою, перенесен был из домов на улицы, площади, и участие в нем приняли те, кому не было никакого дела до искусства. Произведения

Леонардо и Микеланджело стали боевыми знаменами двух враждующих лагерей.

Дошло до того, что по ночам неизвестные люди стали швырять камнями в Давида. Знатные граждане обвиняли в этом народ, вожаки народа — знатных граждан, художники — учеников Перуджино, открывшего недавно мастерскую во Флоренции, а Буонарроти, в присутствии гонфалоньера, объявил, что негодяев, швырявших камнями в Давида, подкупил Леонардо.

И многие этому поверили, или, по крайней мере, притворились, что верят.

Однажды, во время работы над портретом Джоконды — в мастерской никого не было кроме Джованни и Салаино — когда зашла речь о Микеланджело, Леонардо сказал моне Лизе:

— Мне кажется иногда, что если бы я поговорил с ним с глазу на глаз, все объяснилось бы само собою, и не осталось бы следа от этой глупой ссоры: он понял бы, что я ему не враг и что нет человека, который бы мог полюбить его, как я...

— Полно, так ли, мессер Леонардо? Понял ли бы он?

— Понял бы,— воскликнул художник,— не может такой человек не понять! Все горе в том, что он слишком робок и неуверен в себе. Мучится, ревнует и боится, потому что сам еще не знает себя. Это бред и безумие! Я сказал бы ему все, и он успокоился бы. Ему ли бояться меня? Знаете ли, мадонна,— намедни, когда я увидел его рисунок для «Купающихся воинов», я глазам своим не поверил. Никто и представить себе не может, кто он, и чем он будет. Я знаю, что он уже и теперь не только равен мне, но сильнее, да, да, я это чувствую, сильнее меня!..

Она посмотрела на него тем взором, который, казалось Джованни, отражал в себе взор Леонардо, как в зеркале, и улыбнулась тихой странной улыбкой.

— Мессере,— молвила она,— помните то место в Священном Писании, где Бог говорит Илии пророку, бежавшему от нечестивого царя Ахава в пустыню, на гору Хорив: «выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой, и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы — пред Господом; но не в ветре Господь. После ветра — землетрясение; но не в землетрясении Господь; после землетрясения — огонь; но не в огне Господь. После огня — веяние тихого ветра,— и там Господь». Может быть, мессер Буонарроти силен, как ветер, раздирающий горы и сокрушаю-

щий скалы пред Господом. Но нет у него тишины, в которой Господь. И он это знает и ненавидит вас за то, что вы сильнее его — как тишина сильнее бури.

В часовне Бранкаччи, в заречной старой церкви Мариа дель Кармине, где были знаменитые фрески Томмазо Мазаччо — школа всех великих мастеров Италии, по ним учился некогда и Леонардо, увидел он однажды незнакомого юношу, почти мальчика, который изучал и срисовывал эти фрески. На нем был замаранный красками, старый черный камзол, белье чистое, но грубое, должно быть, домашнего изделия. Он был строен, гибок, с тонкою шеей, необычайно белою, нежною и длинною, как у малокровных девушек, с немного жеманною и слащавою прелестью продолговато-круглого, как яичко, прозрачно-бледного лица, с большими черными глазами, как у поселянок Умбрии, с которых Перуджино писал своих Мадонн,— глазами, чуждыми мысли, глубокими и пустыми, как небо.

Через некоторое время Леонардо снова встретил этого юношу в монастыре Мария Новелла, в зале Папы, где выставлен был картон *Битвы при Ангиари*. Он изучал и срисовывал его так же усердно, как фрески Мазаччо. Должно быть, теперь, уже зная Леонардо в лицо, юноша впился в него глазами, видимо, желая и не смея с ним заговорить.

Заметив это, Леонардо сам подошел к нему. Торопясь, волнуясь и краснея, с чуть-чуть навязчивой, но детски-невинною вкрадчивостью, молодой человек объявил ему, что считает его своим учителем, величайшим из мастеров Италии, и что Микеланджело недостоин развязать ремень обуви у творца *Тайной Вечери*.

Еще несколько раз встречался Леонардо с этим юношей, подолгу беседовал с ним, рассматривал его рисунки, и, чем больше узнавал его, тем больше убеждался, что это будущий великий мастер.

Чуткий и отзывчивый, как эхо, на все голоса, податливый на все влияния, как женщина,— подражал он и Перуджино, и Пинтуриккьо, у которого недавно работал в Сиенском Книгохранилище, в особенности же Леонардо. Но под этою незрелостью учитель угадывал в нем такую свежесть чувства, какой еще ни в ком никогда не встречал. Всего же больше удивляло его то, что этот мальчик проникал в глубочайшие тайны искусства и жизни как будто нечаянно, сам того не желая; побеждал величайшие трудности с легкостью, точно играя. Все ему давалось даром, как будто вовсе не было для него в худо-

жестве тех бесконечных поисков, трудов, усилий, колебаний, недоумений, которые были мукой и проклятием всей жизни Леонардо. И когда учитель говорил ему о необходимости медленного, терпеливого изучения природы, о математически точных правилах и законах живописи, юноша смотрел ему в глаза своими большими, удивленными и бездумными глазами, видимо, скучая и внимательно слушая, только из уважения к учителю.

Однажды сорвалось у него слово, которое изумило, почти испугало Леонардо своей глубиною:

— Я заметил, что когда пишешь, думать не надо: лучше выходит.

Как будто этот мальчик всем существом своим говорил ему, что того единства, той совершенной гармонии чувства и разума, любви и познания, которых он искал,— вовсе нет и быть не может.

И перед кроткою, безмятежною, бессмысленною ясностью его Леонардо испытывал бóльшие сомнения, бóльший страх за грядущие судьбы искусства, за дело всей своей жизни, чем перед возмущением и ненавистью Буонарроти.

— Откуда ты, сын мой? — спросил он его в одно из первых свиданий.— Кто отец твой и как твое имя?

— Я родом из Урбино,— ответил юноша со своею ласковой, немного приторной улыбкой.— Отец мой — живописец Джованни Санти. Имя мое — Рафаэль.

IV

В это время Леонардо принужден был покинуть Флоренцию по важному делу.

С незапамятных времен Республика вела войну с соседним городом Пизою — бесконечную, беспощадную, изнурительную для обоих городов.

Однажды в беседе с Макиавелли художник рассказал ему военный замысел: направить воды Арно из старого в новое русло, отвести их от Пизы в Ливурнское болото посредством каналов, дабы, отрезав осажденный город от сообщения с морем и прекратив подвоз съестных припасов, принудить к сдаче. Никколо, со свойственным ему пристрастием ко всему необычайному, пленился этим замыслом и сообщил его гонфалоньеру, отчасти убедил и увлек его своим красноречием, ловко задев самолюбие мессера Пьеро, чьей бездарности в последнее время многие приписывали все неудачи Пизанской войны; отчасти обманул, скрыв действительные издержки и трудности

замысла. Когда гонфалоньер предложил его Совету Десяти, едва не подняли его на смех. Содерини обиделся, решил доказать, что у него не меньше здравого смысла, чем у кого бы то ни было, и начал действовать с таким упорством, что добился своего, благодаря усердной помощи врагов своих, которые подали голоса за предложение, казавшееся им верхом нелепости,— чтобы погубить мессера Пьеро. От Леонардо Макиавелли, до поры до времени, скрыл свои хитрости, рассчитывая на то, что впоследствии, окончательно втянув в это дело гонфалоньера, станет вертеть им, как пешкою, и достигнет всего, что им нужно.

Начало работ казалось удачным. Уровень воды в реке понизился. Но скоро обнаружились трудности, которые требовали все больших и больших издержек, а бережливые синьоры торговались из-за каждого гроша.

Летом 1505 года река, вышедшая из берегов после сильного грозового ливня, разрушила часть плотины. Леонардо был вызван на место работ.

За день до отъезда, возвращаясь домой из-за Арно от Макиавелли, с которым беседовал по этому делу, и который ужаснул его своими признаниями, художник переходил через мост Санта-Тринита, по направлению к улице Торнабуони.

Время было позднее. Прохожих мало. Тишина нарушалась только шумом воды на мельничной плотине за Понте алла Карайя. День был жаркий. Но перед вечером прошел дождь и освежил воздух. На мосту пахло теплою летнею водою. Из-за черного холма Сан-Миньято подымался месяц. Справа, по набережной Понте Веккьо, маленькие ветхие домики, с неровными выступами на кривых деревянных подпорках, отражались, как в зеркале, в мутно-зеленой воде, углубленной и утишенной запрудою. Слева, над предгорьями Монте-Альбано, лиловыми и нежными, дрожала одинокая звезда.

Облик Флоренции вырезывался в чистом небе, подобно заглавному рисунку на тусклом золоте старинных книг,— облик единственный в мире, знакомый, как живое лицо человека: сначала к северу древняя колокольня Санта-Кроче, потом прямая, стройная и строгая башня Палаццо Веккьо, белая мраморная кампанила Джотто и красноватый черепичный купол Мария дель Фьоре, похожий на исполинский, не распустившийся цветок древней, геральдической Алой Лилии; вся Флоренция, в двойном вечернем и лунном свете, была как один огромный, серебристо-темный цветок.

Леонардо заметил, что у каждого города, точно так же, как у каждого человека,— свой запах: у Флоренции — запах влажной пыли, как у ирисов, смешанный с едва уловимым свежим запахом лака и красок очень старых картин.

Он думал о Джоконде.

Почти так же мало знал он ее жизнь, как Джованни. Его не оскорбляла, но удивляла мысль, что у нее есть муж, мессер Франческо, худой, высокий, с бородавкой на левой щеке и густыми бровями, положительный человек, который любит рассуждать о преимуществах сицилийской породы быков и о новой пошлине на бараньи шкуры. Бывали мгновения, когда Леонардо радовался ее призрачной прелести, чуждой, дальней, не существующей и более действительной, чем все, что есть; но бывали и другие минуты, когда он чувствовал ее живую красоту.

Мона Лиза не была одной из тех женщин, которых в те времена называли «учеными героинями». Никогда не выказывала она своих книжных сведений. Только случайно он узнал, что она читает по-латыни и по-гречески. Она держала себя и говорила так просто, что многие считали ее неумной. На самом деле, казалось ему, у нее было то, что глубже ума, особенно женского,— вещая мудрость. У нее были слова, которые вдруг делали ее родной ему, близкой, ближе всех, кого он знал, единственною, вечною подругою и сестрою. В эти мгновения хотелось ему переступить заколдованный круг, отделяющий созерцание от жизни. Но тотчас же он подавлял в себе это желание и каждый раз, как умерщвлял живую прелесть моны Лизы, вызванный им призрачный образ ее на полотне картины становился все живее, все действительнее.

И ему казалось, что она это знает и покоряется, и помогает ему приносить себя в жертву собственному призраку — отдает ему свою душу и радуется.

Было ли то, что́ их соединяло, любовь?

Ничего, кроме скуки или смеха, не возбуждали в нем тогдашние платонические бредни, томные вздохи небесных любовников, слащавые сонеты во вкусе Петрарки. Не менее чуждо ему было и то, что́ большинство людей называет любовью. Так же, как не ел мяса, потому что оно казалось ему не запретным, но противным, он воздерживался и от женщин, потому что всякое телесное обладание — все равно, в супружестве или в прелюбодеянии — казалось ему не грешным, но грубым. «Действие совокупления,— писал он в своих анатомических заметках,—

и члены, служащие ему, отличаются таким уродством, что если бы не прелесть лиц, не украшения действующих и не сила похоти, род человеческий прекратился бы». И он удалялся от этого «уродства», от сладострастной борьбы самцов и самок, точно так же, как от кровавой бойни пожирающих и пожираемых, не возмущаясь, не порицая и не оправдывая, признавая закон естественной необходимости в борьбе любви и голода, только сам не желая участвовать в ней, подчиняясь иному закону — любви и целомудрия.

Но если бы он и любил ее, мог ли бы желать более совершенного соединения с возлюбленной, чем в этих глубоких и таинственных ласках — в созидании бессмертного образа, нового существа, которое зачиналось, рождалось от них, как дитя рождается от отца и матери,— было он и она вместе?

А между тем он чувствовал, что и в этом, столь непорочном союзе есть опасность, быть может, большая, чем в союзе обычной плотской любви. Оба они шли по краю бездны, там, где еще никто никогда не ходил,— побеждая соблазн и притяжение бездны. Между ними были скользкие, прозрачные слова, в которых тайна сквозила, как солнце сквозь влажный туман. И порой он думал: что, если туман рассеется и блеснет ослепляющее солнце, в котором тайны и призраки умирают? Что, если он или она не выдержит, переступит черту — и созерцание сделается жизнью? Имеет ли он право испытывать, с таким же бесстрастным любопытством, как законы механики или математики, как жизнь растения, отравленного ядами, как строение рассеченного мертвого тела,— живую душу, единственно близкую душу вечной подруги и сестры своей? Не возмутится ли она, не оттолкнет ли его с ненавистью и презрением, как оттолкнула бы всякая другая женщина?

И ему казалось порой, что он казнит ее страшною, медленною казнью. И он ужасался ее покорности, которой так же не было предела, как его нежному и беспощадному любопытству.

Только в последнее время ощутил он в себе самом этот предел, понял, что, рано или поздно, должен будет решить, кто она для него — живой человек или только призрак — отражение собственной души в зеркале женственной прелести. У него была еще надежда, что разлука отдалит на время неизбежность решения, и он почти радовался, что покинет Флоренцию. Но теперь, когда раз-

лука наступала, он понял, что ошибся, что она не только не отсрочит, но приблизит решение.

Погруженный в эти мысли, не заметил он, как вошел в глухой переулок и, когда оглянулся, не сразу узнал, где он. Судя по видневшейся над крышами домов мраморной колокольне Джотто, он был недалеко от собора. Одна сторона узкой, длинной улицы вся была в непроницаемо черной тени, другая — в ярком, почти белом лунном свете. Вдали краснел огонек. Там, пред угловым балконом, с пологим черепичным навесом, с полукруглыми арками на стройных столбах,— флорентинской лоджией,— люди в черных масках и плащах под звуки лютни пели серенаду. Он прислушался.

Это была старая песня любви, сложенная Лоренцо Медичи Великолепным, сопровождавшая некогда карнавальное шествие бога Вакха и Ариадны,— бесконечно радостная и унылая песня любви, которую Леонардо любил, потому что часто слышал ее в юности:

Quant'è bella giovinezza,
Che ai fugge tuttavia.
Chi vuol'esser' lieto, sia —
Di domañ non ć'è certezza —
О, как молодость прекрасна,
Но мгновенна! Пой же, смейся,
Счастлив будь, кто счастья хочет —
И на завтра не надейся.

Последний стих отозвался в сердце его темным предчувствием.

Не посылала ли ему судьба теперь, на пороге старости, в его подземный мрак и одиночество родную, живую душу? Оттолкнет ли он ее, отречется ли, как уже столько раз отрекался, от жизни для созерцания, пожертвует ли снова ближним дальнему, действительным несуществующему и единственно прекрасному? Кого выберет — живую или бессмертную Джоконду? Он знал, что, выбрав одну, потеряет другую, и обе были ему одинаково дороги; также знал, что надо выбрать, что нельзя больше медлить и длить эту казнь. Но воля его была бессильна. И не хотел, и не мог он решить, что лучше: умертвить живую для бессмертной или бессмертную для живой — ту, которая есть, или ту, которая будет всегда на полотне картины?

Пройдя еще две улицы, он подошел к дому своего хозяина, Мартелли.

Двери были заперты, огни потушены. Он поднял молоток, висевший на цепи, и ударил в чугунную скобу.

Привратник не ответил — должно быть, спал или ушел. Удары, повторенные гулкими сводами каменной лестницы, замерли; наступила тишина; казалось, лунный свет углублял ее.

Вдруг раздались тяжкие, медленно-мерные медные звуки — бой часов на соседней башне. Их голос говорил о безмолвном и грозном полете времени, о темной одинокой старости, о невозвратимости прошлого.

И долго еще последний звук, то слабея, то усиливаясь, дрожал и колебался в лунной тишине расходящимися звучными волнами, как будто повторяя:

Di doman'non c'è certezza —
И на завтра не надейся.

V

На следующий день мона Лиза пришла к нему в мастерскую в обычное время, в первый раз одна, без всегдашней спутницы своей, сестры Камиллы. Джоконда знала, что это — их последнее свидание.

День был солнечный, ослепительно-яркий. Леонардо задернул полотняный полог — и во дворе с черными стенами воцарился тот нежный, сумеречный свет — прозрачная, как будто подводная, тень, которая лицу ее давала наибольшую прелесть.

Они были одни.

Он работал молча, сосредоточенно, в совершенном спокойствии, забыв вчерашние мысли о предстоящей разлуке, о неизбежном выборе, как будто не было для него ни прошлого, ни будущего, и время остановилось,— как будто всегда она сидела так и будет сидеть перед ним, со своею тихою, странною улыбкою. И то, чего не мог сделать в жизни, он делал в созерцании: сливал два образа в один, соединял действительность и отражение — живую и бессмертную. И это давало ему радость великого освобождения. Он теперь не жалел ее и не боялся. Знал, что она ему будет покорна до конца — все примет, все вытерпит, умрет и не возмутится. И порой он смотрел на нее с таким же любопытством, как на тех осужденных, которых провожал на казнь, чтобы следить за последними содроганиями боли в их лицах.

Вдруг почудилось ему, что чуждая тень живой, не им внушенной, ему не нужной, мысли мелькнула в лице ее, как туманный след живого дыхания на поверхности зеркала. Чтобы оградить ее — снова вовлечь в свой при-

зрачный круг, прогнать эту живую тень, он стал ей рассказывать певучим и повелительным голосом, каким волшебник творит заклинания, одну из тех таинственных сказок, подобных загадкам, которые иногда записывал в дневниках своих.

— «Не в силах будучи противостоять моему желанию видеть новые, неведомые людям, образы, созидаемые искусством природы, и, в течение долгого времени, совершая путь среди голых, мрачных скал, достиг я наконец Пещеры и остановился у входа в недоумении. Но, решившись и наклонив голову, согнув спину, положив ладонь левой руки на колено правой ноги и правой рукой заслоняя глаза, чтобы привыкнуть к темноте, я вошел и сделал несколько шагов. Насупив брови и зажмурив глаза, напрягая зрение, часто изменял я мой путь и блуждал во мраке, ощупью, то туда, то сюда, стараясь что-нибудь увидеть. Но мрак был слишком глубок. И когда я некоторое время пробыл в нем, то во тьме пробудились и стали бороться два чувства — страх и любопытство,— страх перед исследованием темной Пещеры, и любопытство — нет ли в ней какой-либо чудесной тайны?»

Он умолк. С лица ее чуждая тень все еще не исчезала.

— Какое же из двух чувств победило? — молвила она.

— Любопытство.

— И вы узнали тайну Пещеры?

— Узнал то, что можно знать.

— И скажете людям?

— Всего нельзя, и я не сумею. Но я хотел бы внушить им такую силу любопытства, чтобы всегда оно побеждало в них страх.

— А что, если мало одного любопытства, мессер Леонардо? — проговорила она с неожиданно блеснувшим взором.— Что, если нужно другое, большее, чтобы проникнуть в последние, и может быть, самые чудесные тайны Пещеры?

И она посмотрела ему в глаза с такою усмешкою, какой он никогда не видал у нее.

— Что же нужно еще? — спросил он.

Она молчала.

В это время тонкий и острый, ослепляющий луч солнца проник сквозь щель между двумя полотнищами полога. Подводный сумрак озарился. И на лице ее очарование нежных, подобных дальней музыке, светлых теней и «темного света» было нарушено.

— Вы уезжаете завтра? — проговорила Джоконда.

— Нет, сегодня вечером.

— Я тоже скоро уеду,— сказала она.

Он взглянул на нее пристально, хотел что-то прибавить, но промолчал: догадался, что она уезжает, чтобы не оставаться без него во Флоренции.

— Мессер Франческо,— продолжала мона Лиза,— едет по делам в Калабрию, месяца на три, до осени; я упросила его взять меня с собою.

Он обернулся и с досадою, нахмурившись, взглянул на острый, злой и правдивый луч солнца. Дотоле одноцветные, безжизненно и призрачно-белые брызги фонтана, теперь, в этом преломляющем, живом луче, вспыхнули противоположными и разнообразными цветами радуги — цветами жизни.

И вдруг он почувствовал, что возвращается в жизнь — робкий, слабый, жалкий и жалеющий.

— Ничего,— проговорила мона Лиза,— задерните полог. Еще не поздно. Я не устала.

— Нет, все равно. Довольно,— сказал он и бросил кисть.

— Вы никогда не кончите портрета?

— Отчего же? — возразил он поспешно, точно испугавшись.— Разве вы больше не придете ко мне, когда вернетесь?

— Приду. Но, может быть, через три месяца я буду уж совсем другая, и вы меня не узнаете. Вы же сами говорили, что лица людей, особенно женщин, быстро меняются...

— Я хотел бы кончить,— произнес он медленно, как будто про себя.— Но не знаю. Мне кажется иногда, что того, что я хочу, сделать нельзя...

— Нельзя? — удивилась она.— Я, впрочем, слышала, что вы никогда не кончаете, потому что стремитесь к невозможному...

В этих словах ее послышался ему, может быть, только почудился, бесконечно-кроткий, жалобный укор.

«Вот оно»,— подумал он, и ему сделалось страшно.

Она встала и молвила просто, как всегда:

— Ну, что же, пора. Прощайте, мессер Леонардо. Счастливого пути.

Он поднял на нее глаза — и опять почудились ему в лице ее последний безнадежный упрек и мольба.

Он знал, что это мгновение для них обоих невозвратимо и вечно, как смерть. Знал, что нельзя молчать. Но чем больше напрягал волю, чтобы найти решение и слово, тем больше чувствовал свое бессилие и углубляв-

шуюся между ними непереступную бездну. А мона Лиза улыбалась ему прежнею, тихою и ясною улыбкою. Но теперь ему казалось, что эта тишина и ясность подобны тем, какие бывают в улыбке мертвых.

Сердце его пронзила бесконечная, нестерпимая жалость и сделала его еще бессильнее.

Мона Лиза протянула руку, и он молча поцеловал эту руку, в первый раз с тех пор, как они друг друга знали,— и в то же мгновение почувствовал, как, быстро наклонившись, она коснулась губами волос его.

— Да сохранит вас Бог,— сказала она все так же просто.

Когда он пришел в себя, ее уже не было. Кругом была тишина мертвого летнего полдня, более грозная, чем тишина самой глухой, темной полночи.

И точно так же, как ночью, но еще грознее и торжественнее, послышались медленно мерные, медные звуки — бой часов на соседней башне. Они говорили о безмолвном и страшном полете времени, о темной, одинокой старости, о невозвратимости прошлого.

И долго еще дрожал, замирая, последний звук и, казалось, повторял:

Di doman'non c'è certezza —
И на завтра не надейся.

VI

Соглашаясь принять участие в работах по отводу Арно от Пизы, Леонардо был почти уверен, что это военное предприятие повлечет за собою, рано или поздно, другое, более мирное и более важное.

Еще в молодости мечтал он о сооружении канала, который сделал бы Арно судоходным от Флоренции до Пизанского моря и, оросив поля сетью водяных питательных жил и увеличив плодородие земли, превратил бы Тоскану в один цветущий сад. «Прато, Пистойя, Пиза, Лукка,— писал он в своих заметках,— приняв участие в этом предприятии, возвысили бы свой ежегодный оборот на 200.000 дукатов. Кто сумеет управлять водами Арно в глубине и на поверхности, тот приобретет в каждой десятине земли сокровище».

Леонардо казалось, что теперь, перед старостью, судьба дает ему, быть может, последний случай исполнить на службе народа то, что не удалось на службе государей,— показать людям власть науки над природою.

Когда Макиавелли признался ему, что обманул Содерини, скрыл действительные трудности замысла и уверил его, будто бы достаточно тридцати — сорока тысяч рабочих дней, Леонардо, не желая принимать на себя ответственности, решил объявить гонфалоньеру всю правду и представил расчет, в котором доказывал, что для сооружения двух отводных, до Ливорнского болота, каналов в 7 футов глубины, 20 и 30 ширины, представляющих площадь в 800.000 квадратных локтей, потребуется не менее 200.000 рабочих дней, а может быть, и более, смотря по свойствам почвы. Синьоры ужаснулись. Со всех сторон посыпались на Содерини обвинения: недоумевали, как могла подобная нелепость прийти ему в голову.

А Никколо все еще надеялся, хлопотал, хитрил, обманывал, писал красноречивые послания, уверяя в несомненном успехе начатых работ. Но, несмотря на огромные, с каждым днем возраставшие, издержки, дело шло все хуже и хуже.

Точно зарок был положен на мессера Никколо: все, к чему ни прикасался он,— изменяло, рушилось, таяло в руках его, превращаясь в слова, в отвлеченные мысли, в злые шутки, которые больше всего вредили ему самому. И невольно вспоминал художник его постоянные проигрыши при объяснении правила выигрывать наверняка — неудачное освобождение Марии, злополучную македонскую фалангу.

В этом странном человеке, неутолимо жаждавшем действия и совершенно к нему не способном, могучем в мысли, бессильном в жизни, подобном лебедю на суше,— узнавал Леонардо себя самого.

В донесении гонфалоньеру и синьорам советовал он или тотчас отказаться от предприятия или кончить его, не останавливаясь ни перед какими расходами. Но правители Республики предпочли, по своему обыкновению, средний путь. Решили воспользоваться уже вырытыми каналами, как рвами, которые служили бы преградой движению пизанских войск, и, так как чересчур смелые замыслы Леонардо никому не внушали доверия, пригласили из Феррары других водостроителей и землекопов. Но, пока во Флоренции спорили, обличали друг друга, обсуждали вопрос во всевозможных присутственных местах, собраниях и советах по большинству голосов, белыми и черными шарами,— враги, не дожидаясь, пушечными ядрами разрушили то, что было сделано.

Все это предприятие до того, наконец, опротивело художнику, что он не мог слышать о нем без отвращения.

Дела давно позволяли ему вернуться во Флоренцию. Но, узнав случайно, что мессер Джоконда возвращается из Калабрии в первых числах октября, Леонардо решил приехать на десять дней позже, чтобы уже наверное застать мону Лизу во Флоренции.

Он считал дни. Теперь, при мысли о том, что разлука может затянуться, такой суеверный страх и тоска сжимали сердце его, что он старался не думать об этом, не говорил ни с кем и не расспрашивал, из опасения, как бы ему не сказали, что она не вернется к сроку.

Рано поутру приехал во Флоренцию.

Осенняя, тусклая, сырая — казалась она ему особенно милой, родственной, напоминавшей Джоконду. И день был ее — туманный, тихий, с влажно-тусклым, как бы подводным, солнцем, которое давало женским лицам особую прелесть.

Он уже не спрашивал себя, как они встретятся, что он ей скажет, как сделает, чтобы больше никогда не расставаться с нею, чтобы супруга мессера Джокондо была ему единственной, вечной подругой. Знал, что все устроится само собой — трудное будет легким, невозможное возможным — только бы свидеться.

«Главное, не думать, тогда лучше выходит,— повторял он слова Рафаэля.— Я спрошу ее, и теперь она скажет мне то, что тогда не успела сказать: что нужно, кроме любопытства, чтобы проникнуть в последние, может быть, самые чу́дные тайны Пещеры?»

И такая радость наполняла душу его, как будто ему было не пятьдесят четыре, а шестнадцать лет, как будто вся жизнь была впереди. Только в самой глубине сердца, куда не досягал ни единый луч сознания, под этой радостью было грозное предчувствие.

Он пошел к Никколо, чтобы передать ему деловые бумаги и чертежи землекопных работ. К мессеру Джоконда предполагал зайти на следующее утро; но не вытерпел и решил в тот же вечер, возвращаясь от Макиавелли и проходя мимо их до́ма на Лунгарно делле Грацие, спросить у конюха, слуги и привратника, вернулись ли хозяева, и все ли у них благополучно.

Леонардо спускался по улице Торнабуони к мосту Санта-Тринита — по тому же пути, только в обратном направлении, как в последнюю ночь перед отъездом.

Погода к вечеру изменилась внезапно, как это часто бывает во Флоренции осенью. Из ущелья Муньоне подул северный ветер, пронзительный, точно сквозной. И высо-

ты Муджелло сразу побелели, точно поседели, от инея. Накрапывал дождь. Вдруг снизу, из-под полога туч, как будто отрезанного и оставлявшего над горизонтом узкую полосу чистого неба, брызнуло солнце и осветило грязные, мокрые улицы, глянцевитые крыши домов и лица людей медно-желтым, холодным и грубым светом. Дождь сделался похожим на медную пыль. И кое-где вдали засверкали оконные стекла, точно раскаленные уголья.

Против церкви Санта-Тринита, у моста, на углу набережной и улицы Торнабуони, возвышался огромный, из дикого коричнево-серого камня, с решетчатыми окнами и зубцами, напоминавший средневековую крепость, палаццо Спини. Внизу, по стенам его, как у многих старинных флорентинских дворцов, тянулись широкие каменные лавки, на которых сиживали граждане всех возрастов и званий, играя в кости или шашки, слушая новости, беседуя о делах, зимою греясь на солнце, летом отдыхая в тени. С той стороны дворца, что выходила на Арно, над скамьей устроен был черепичный навес со столбиками, вроде лоджии.

Проходя мимо навеса, увидел Леонардо собрание полузнакомых людей. Одни сидели, другие стояли. Разговаривали так оживленно, что не замечали порывов резкого ветра с дождем.

— Мессер, мессер Леонардо! — окликнули его.— Пожалуйте сюда, разрешите-ка наш спор.

Он остановился.

Спорили о нескольких загадочных стихах «Божественной Комедии» в тридцать четвертой песне «Ада», где поэт рассказывает о великане Дите, погруженном в лед до середины груди, на самом дне Проклятого Колодца. Это — главный вождь низвергнутых ангельских полчищ, «Император Скорбного Царства». Три лица его — черное, красное, желтое — как бы дьявольское отражение божественных ипостасей Троицы. И в каждой из трех пастей — по грешнику, которого он вечно гложет: в черной — Иуда Предатель, в красной — Брут, в желтой — Кассий. Спорили о том, почему Алигьери казнит того, кто восстал на Человекобога, казнит убийцу Юлия Цезаря и величайшего из Отступников, того, кто восстал на Богочеловека, почти одинаковою казнью,— ибо вся разница лишь в том, что у Брута ноги внутри Дитовой пасти, голова — снаружи, тогда как ноги Иуды — снаружи, а голова — внутри. Одни объясняли это тем, что Данте, пламенный гибеллин, защитник власти императорской против земного владычества

пап, считал Римскую монархию столь же, или почти столь же священною и нужною для спасения мира, как Римскую церковь. Другие возражали, что такое объяснение отзывается ересью и не соответствует христианскому духу благочестивейшего из поэтов. Чем больше спорили, тем неразгаданнее становилась тайна поэта.

Пока старый богатый шерстник подробно объяснял художнику предмет спора, Леонардо, немного прищурив глаза от ветра, смотрел вдаль, в ту сторону, откуда, по набережной Лунгарно Ачайоли, тяжелою, неуклюжею, точно медвежьей, поступью шел небрежно и бедно одетый человек, сутулый, костлявый, с большой головой, с черными, жесткими, курчавыми волосами, с жидкою и клочковатою козлиною бородкою, с оттопыренными ушами, с широкоскулым и плоским лицом. Это был Микеланджело Буонарроти. Особенное, почти отталкивающее уродство придавал ему нос, переломленный и расплющенный ударом кулака еще в ранней молодости, во время драки с одним ваятелем-соперником, которого злобными шутками довел он до бешенства. Зрачки маленьких желто-карих глаз отливали порою странным багровым блеском. Воспаленные веки, почти без ресниц, были красны, потому что, не довольствуясь днем, работал он и ночью, прикрепляя ко лбу круглый фонарик, что делало его похожим на Циклопа с огненным глазом посередине лба, который копошится в подземной темноте и с глухим медвежьим бормотаньем и лязгом железного молота яростно борется с камнем.

— Что скажете, мессере? — обратились к Леонардо спорившие.

Леонардо всегда надеялся, что ссора его с Буонарроти кончится миром. Он мало думал об этой ссоре во время своего отсутствия из Флоренции и почти забыл ее.

Такая тишина и ясность были в сердце его в эту минуту и он готов был обратиться к сопернику с такими добрыми словами, что Микеланджело, казалось ему, не мог не понять.

— Мессер Буонарроти — великий знаток Алигьери,— молвил Леонардо с вежливою, спокойною улыбкою, указывая на Микеланджело.— Он лучше меня объяснит вам это место.

Микеланджело шел, по обыкновению, опустив голову, не глядя по сторонам, и не заметил, как наткнулся на собрание. Услышав имя свое из уст Леонардо, остановился и поднял глаза.

Застенчивому и робкому до дикости, были ему тягостны взоры людей, потому что никогда не забывал он о своем уродстве и мучительно стыдился его: ему казалось, что все над ним смеются.

Застигнутый врасплох, он в первую минуту растерялся: подозрительно поглядывал на всех исподлобья своими маленькими желто-карими глазками, беспомощно моргая воспаленными веками, болезненно жмурясь от солнца и человеческих взоров.

Но когда увидел ясную улыбку соперника и проницательный взор его, устремленный невольно сверху вниз, потому что Леонардо был ростом выше Микеланджело,— робость, как это часто с ним бывало, мгновенно превратилась в ярость. Долго не мог он произнести ни слова. Лицо его то бледнело, то краснело неровными пятнами. Наконец, с усилием проговорил глухим, сдавленным голосом:

— Сам объясняй! Тебе и книги в руки, умнейший из людей, который доверился каплунам-ломбардцам, шестнадцать лет возился с глиняным Колоссом и не сумел отлить его из бронзы — должен был оставить все с позором!..

Он чувствовал, что говорит не то, что следует, искал и не находил достаточно обидных слов, чтобы унизить соперника.

Все притихли, обратив на них любопытные взоры.

Леонардо молчал. И несколько мгновений оба молча смотрели друг другу в глаза — один с прежнею кроткою улыбкою, теперь удивленной и опечаленной, другой — с презрительной усмешкой, которая ему не удавалась, только искажала лицо его судорогой, делая еще безобразнее.

Перед яростной силой Буонарроти тихая, женственная прелесть Леонардо казалась бесконечною слабостью.

У Леонардо был рисунок, изображавший борьбу двух чудовищ — Дракона и Льва: крылатый змей, царь воздуха, побеждал бескрылого царя земли.

То, что теперь помимо сознания и воли их происходило между ними, было похоже на эту борьбу.

И Леонардо почувствовал, что мона Лиза права: никогда соперник не простит ему «тишины, которая сильнее бури».

Микеланджело хотел что-то прибавить, но только махнул рукою, быстро отвернулся и пошел дальше своею неуклюжею, медвежьей поступью, с глухим, неясным бормотаньем, понурив голову, согнув спину, как будто неимо-

верная тяжесть давила ему плечи. И скоро скрылся, точно растаял в мутной, огненно-медной пыли дождя и зловещего солнца.

Леонардо также продолжал свой путь.

На мосту догнал его один из бывших в собрании у палаццо Спини — вертлявый и плюгавый человечек, похожий на еврея, хотя и чистокровный флорентинец. Художник не помнил, кто этот человечек, и как его имя, только знал, что он злой сплетник.

Ветер на мосту усилился; свистел в ушах, колол лицо ледяными иглами. Волны реки, уходившие вдаль к низкому солнцу, под низким и темным, точно каменным небом, казались подземным потоком расплавленной меди.

Леонардо шел по узкому сухому месту, не обращая внимания на спутника, который поспевал за ним, шлепая по грязи, вприпрыжку, забегая вперед, как собачонка, заглядывая в глаза ему и заговаривая о Микеланджело. Он, видимо, желал подхватить какое-нибудь словцо Леонардо, чтобы тотчас передать сопернику и разнести по городу. Но Леонардо молчал.

— Скажите, мессере,— не отставал от него назойливый человечек,—ведь вы еще не кончили портрета Джоконды?

— Не кончил,— ответил художник и нахмурился.— А вам что?

— Нет, ничего, так. Вот ведь, подумаешь, целых три года бьетесь над одною картиною, и все еще не кончили. А нам, непосвященным, она уже и теперь кажется таким совершенством, что большего мы и представить себе не можем!..

И усмехнулся подобострастно.

Леонардо посмотрел на него с отвращением. Этот плюгавый человечек вдруг сделался ему так ненавистен, что, казалось, если бы только он дал себе волю, то схватил бы его за шиворот и бросил в реку.

— Что же однако будет с портретом? — продолжал неугомонный спутник.— Или вы еще не слышали, мессере Леонардо?..

Он, видимо, нарочно тянул и мямлил: у него было что-то на уме.

И вдруг художник, сквозь отвращение, почувствовал животный страх к своему собеседнику — словно тело его было скользким и коленчато-подвижным, как тело насекомого. Должно быть, и тот уже что-то почуял. Он еще более сделался похожим на жида; руки его затряслись, глаза запрыгали.

— Ах, Боже мой, а ведь и в самом деле, вы только сегодня утром приехали и еще не знаете. Представьте себе, какое несчастие. Бедный мессер Джокондо. Третий раз овдовел. Вот уже месяц, как мадонна Лиза волею Божьей преставилась...

У Леонардо в глазах потемнело. Одно мгновение казалось ему, что он упадет. Человечек так и впился в него своими колючими глазками.

Но художник сделал над собой неимоверное усилие — и лицо его, только слегка побледнев, осталось непроницаемым; по крайней мере, спутник ничего не заметил.

Окончательно разочаровавшись и увязнув по щиколотку в грязи на площади Фрескобальди, он отстал.

Первою мыслью Леонардо, когда он опомнился, было то, что сплетник солгал, нарочно выдумал это известие, чтобы увидеть, какое впечатление оно произведет на него, и потом всюду рассказывать, давая новую пищу давно уже ходившим слухам о любовной связи Леонардо с Джокондой.

Правда смерти, как это всегда бывает в первую минуту, казалась невероятною.

Но в тот же вечер узнал он все: на возвратном пути из Калабрии, где мессер Франческо выгодно устроил дела свои, между прочим, поставку сырых бараньих шкур во Флоренцию,— в маленьком глухом городке Лагонеро, мона Лиза Джоконда умерла, одни говорили, от болотной лихорадки, другие — от заразной горловой болезни.

VII

Дело с каналом для отвода Арно от Пизы кончилось постыдною неудачею.

Во время осеннего разлива наводнение уничтожило начатые работы и превратило цветущую низменность в гнилую трясину, где рабочие умирали от заразы. Огромный труд, деньги, человеческие жизни — все пропало даром.

Феррарские водостроители сваливали вину на Содерини, Макиавелли и Леонардо. Знакомые на улицах отворачивались от них и не кланялись. Никколо заболел от стыда и горя.

Года два назад умер отец Леонардо:

«9-го июля 1504 г., в среду, в седьмом часу ночи,— записал он с обычною краткостью,— скончался отец мой, сире Пьеро да Винчи, нотариус во дворце Подеста. Ему было восемьдесят лет. Он оставил десять человек детей мужского и двух женского пола».

Сире Пьеро неоднократно, при свидетелях, выражал намерение завещать своему незаконному первенцу Леонардо такую же долю имения, как остальным детям. Сам ли изменил он перед смертью это намерение, или сыновья не захотели исполнить волю покойного, но они объявили, что, в качестве побочного сына, Леонардо в разделе не участвует. Тогда один из ростовщиков, ловкий еврей, у которого художник брал деньги под обеспечение ожидаемого наследства, предложил ему купить права его в тяжбе с братьями. Как ни страшился Леонардо семейных и судебных дрязг, денежные дела его в это время так запутались, что он согласился. Началась тяжба из-за 300 флоринов, которой суждено было длиться шесть лет. Братья, пользуясь всеобщим раздражением против Леонардо, подливали масла в огонь, обвиняли его в безбожии, в государственной измене во время службы у Чезаре Борджа, в колдовстве, в кощунстве над христианскими могилами при откапывании трупов для анатомических сечений, воскресили и двадцать пять лет назад похороненную сплетню о противоестественных пороках его, бесчестили память покойной матери его, Катарины Аккаттабрига.

Ко всем этим неприятностям присоединилась неудача с картиной в зале Совета.

Так сильна была привычка Леонардо к медлительности, допускаемой в стенописи масляными красками, и отвращение к поспешности, требуемой водяными, что, несмотря на предостерегающий опыт с Тайной Вечерей, решил он и Битву при Ангиари писать, хотя другими, как он полагал, усовершенствованными, но все же масляными красками. Когда половина работы была исполнена, развел большой огонь на железных жаровнях перед картиною, чтобы по новому, изобретенному им способу, ускорить впитывание красок в известь; но скоро убедился, что жар действует только на нижнюю часть картины, между тем как в верхней, удаленной от жара, лак и краски не сохнут.

После многих тщетных усилий понял он окончательно, что второй опыт с масляной стенописью будет столь же неудачен, как первый: Битва при Ангиари так же погибнет, как Тайная Вечеря;— и опять, по выражению Буонарроти, он «должен был оставить все с позором».

Картина в зале Совета опостылела ему еще больше, чем дело с Пизанским каналом и тяжба с братьями.

Содерини мучил его требованиями канцелярской точности в исполнении заказа, торопил окончанием работы к назначенному сроку, грозил неустойкою и, видя, что

ничего не помогает, начал открыто обвинять в нечестности, в присвоении казенных денег. Когда же, заняв у друзей, Леонардо хотел отдать ему все, что получил из казны, мессер Пьеро отказался принять, а между тем во Флоренции ходило по рукам распространяемое друзьями Буонарроти письмо гонфалоньера к флорентинскому поверенному в Милане, который хлопотал об отпуске художника к наместнику французского короля в Ломбардии, сеньору Шарлю д'Амбуазу:

«Действия Леонардо неблаговидны,— говорилось, между прочим, в этом письме.— Забрав большие деньги вперед и едва начав работу, бросил он все и поступил в этом деле с Республикой, как изменник».

Однажды зимою ночью сидел Леонардо один в своей рабочей комнате.

Вьюга выла в трубе очага. Стены дома вздрагивали от ее порывов; пламя свечи колебалось; подвешенное к деревянной перекладине в приборе для изучения полета чучело птицы на крыльях, изъеденных молью, качалось, точно собираясь взлететь, и в углу, над полкою с томами Плиния Натуралиста, знакомый паук тревожно бегал в своей паутине. Капли дождя или талого снега ударяли в оконные стекла, словно кто-то тихонько стучался.

После дня, проведенного в житейских заботах, Леонардо почувствовал себя усталым, разбитым, как после ночи, проведенной в бреду. Пытался было приняться за давнишнюю работу — изыскания о законах движения тел по наклонной плоскости; потом — за карикатуру старухи с маленьким, как бородавка, вздернутым носом, свиными глазками и гигантскою, чудовищно оттянутою книзу, верхнею губой; пробовал читать; — но все валилось из рук. А спать не хотелось, и целая ночь была впереди.

Он взглянул на груды старых, пыльных книг, на колбы, реторты, банки с бледными уродцами в спирту, на медные квадранты, глобусы, приборы механики, астрономии, физики, гидравлики, оптики, анатомии — и неизъяснимое отвращение наполнило ему душу.

Не был ли сам он — как этот старый паук в темном углу над пахнущими плесенью книгами, костями человеческих остовов и мертвыми членами мертвых машин? Что́ предстояло ему в жизни, что́ отделяло от смерти — кроме нескольких листков бумаги, которые покроет он значками никому не понятных письмен?

И вспомнилось ему, как в детстве, на Монте-Альбано, слушая крики журавлиных станиц, вдыхая запах смо-

листых трав, глядя на Флоренцию, прозрачно-лиловую в солнечной дымке, словно аметист, такую маленькую, что вся она умещалась между двумя цветущими золотистыми ветками поросли, которая покрывает склоны этих гор весною,— он был счастлив, ничего не зная, ни о чем не думая.

Неужели весь труд его жизни — только обман, и великая любовь — не дочь великого познания?

Он прислушивался к вою, визгу, грохоту вьюги. И ему приходили на память слова Макиавелли: «самое страшное в жизни не заботы, не бедность, не горе, не болезнь, даже не смерть,— а скука».

Нечеловеческие голоса ночного ветра говорили о понятном человеческому сердцу, родном и неизбежном — о последнем одиночестве в страшной, слепой темноте, в лоне отца всего сущего, древнего Хаоса — о беспредельной скуке мира.

Он встал, взял свечу, отпер соседнюю комнату, вошел в нее, приблизился к стоявшей на треножном поставе картине, завешанной тканью с тяжелыми складками, подобной савану,— и откинул ее.

Это был портрет моны Лизы Джоконды.

Он не открывал его с тех пор, как работал над ним в последний раз, в последнее свидание. Теперь казалось ему, что он видит его впервые. И такую силу жизни почувствовал он в этом лице, что ему сделалось жутко перед собственным созданием. Вспомнил суеверные рассказы о волшебных портретах, которые, будучи проколоты иглою, причиняют смерть изображенному. Здесь, подумал,— наоборот: у живой отнял он жизнь, чтобы дать ее мертвой.

Все в ней было ясно, точно — до последней складки одежды, до крестиков тонкой узорчатой вышивки, обрамлявшей вырез темного платья на бледной груди. Казалось, что, всмотревшись пристальнее, можно видеть, как дышит грудь, как в ямочке под горлом бьется кровь, как выражение лица изменяется.

И, вместе с тем, была она призрачная, дальняя, чуждая, более древняя в своей бессмертной юности, чем первозданные глыбы базальтовых скал, видневшиеся в глубине картины — воздушно-голубые, сталактитоподобные горы как будто нездешнего, давно угасшего мира. Извилины потоков между скалами напоминали извилины губ ее с вечной улыбкой. И волны волос падали из-под прозрачно-темной дымки по тем же законам божественной механики, как волны воды.

Только теперь — как будто смерть открыла ему глаза — понял он, что прелесть моны Лизы была все, чего искал он в природе с таким ненасытным любопытством,— понял, что тайна мира была тайной моны Лизы.

И уже не он — ее, а она его испытывала. Что значил взор этих глаз, отражавших душу его, углублявшихся в ней, как в зеркале — до бесконечности?

Повторяла ли она то, чего не договорила в последнее свидание: нужно больше, чем любопытство, чтобы проникнуть в самые глубокие и, может быть, самые чу́дные тайны Пещеры?

Или это была равнодушная улыбка всеведения, с которою мертвые смотрят на живых?

Он знал, что смерть ее — не случайность: он мог бы спасти ее, если бы хотел. Никогда еще, казалось ему, не заглядывал он так прямо и близко в лицо смерти. Под холодным и ласковым взором Джоконды невыносимый ужас леденил ему душу.

И первый раз в жизни отступил он перед бездною, не смея заглянуть в нее,— не захотел знать.

Торопливым, как будто воровским, движением опустил на лицо ее покров с тяжелыми складками, подобный савану.

Весною, по просьбе французского наместника Шарля д'Амбуаза, получил Леонардо отпуск из Флоренции на три месяца и отправился в Милан.

Он был так же рад покинуть родину и таким же бесприютным изгнанником увидел снежные громады Альп над зеленою равниною Ломбардии, как двадцать пять лет назад.

ПЯТНАДЦАТАЯ КНИГА

СВЯТЕЙШАЯ ИНКВИЗИЦИЯ

I

Во время первого пребывания в Милане, будучи на службе Моро, Леонардо занимался анатомией вместе с одним еще очень молодым, лет восемнадцати, но уже знаменитым ученым, Марко-Антонио, из древнего рода веронских патрициев делла Торре, у которых любовь к науке была наследственной. Отец Марко-Антонио преподавал медицину в Падуе, братья также были учеными. Сам он с отроческих лет посвятил себя служению науке, подобно тому, как некогда потомки славных родов посвящали себя рыцарскому служению даме сердца и Богу. Ни игры детства, ни страсти юности не отвлекали его от этого строгого служения. Он полюбил девушку; но, решив, что нельзя служить двум госпожам — любви и науке,— покинул невесту и окончательно отрекся от мира. Еще в детстве расстроил он свое здоровье чрезмерными занятиями. Худое, бледное, точно у сурового подвижника, но все еще прекрасное лицо его напоминало лицо Рафаэля, только с выражением более глубокой мысли и грусти.

Когда он был отроком, два знаменитых университета северной Италии, Падуанский и Павийский, спорили из-за него. Когда же Леонардо вернулся в Милан, двадцатилетний Марко-Антонио считался одним из первых ученых Европы.

Стремления в науке были у них, по-видимому, общие: оба заменяли схоластическую анатомию средневековых арабских толкователей Гиппократа и Галена опытом и наблюдением над природою, исследованием строения живого тела; но под внешним сходством скрывалось и глубокое различие.

На последних пределах знания художник чувствовал тайну, которая сквозь все явления мира притягивала его к себе, как магнит и сквозь ткань притягивает железо.

Описывая мускулы плеча, он говорил: «Эти мускулы концами тонких нитей прикреплены только к внешнему краю вместилищ своих: Великий Мастер устроил так, дабы имели они возможность свободно расширяться и суживаться, удлиняться и сокращаться, смотря по нужде». В примечаниях к рисунку, изображавшему связки бедренных мускулов, он писал: «Рассмотри эти прекрасные мускулы — *a, b, c, d* и *e,* и если кажется тебе, что их много, попробуй,— убавь, если мало — прибавь, а достаточно,— воздай хвалу первому Строителю столь дивной машины». Так, последнею целью всякого знания было для него великое удивление перед Непознаваемым, перед Божественной Необходимостью — волей Первого Двигателя в механике, Первого Строителя в анатомии.

Марко-Антонио также чувствовал тайну в явлениях природы, но не смирялся перед нею, и, не будучи в силах ни отвергнуть, ни победить ее, боролся с нею и страшился ее. Наука Леонардо шла к Богу; наука Марко-Антонио — против Бога, и утраченную веру хотел он заменить новою верою — в разум человеческий.

Он был милосерд. Нередко, отказывая богатым, ходил к беднякам, лечил их даром, помогал деньгами и готов был отдать им все, что имел. У него была доброта, свойственная людям не от мира сего, погруженным в созерцание. Но когда речь заходила о невежестве монахов и церковников, врагов науки, лицо его искажалось, глаза сверкали неукротимою злобою, и Леонардо чувствовал, что этот милосердный человек, если бы дали ему власть, посылал бы людей на костер во имя разума, точно так же, как враги его, монахи и церковники, сжигали их во имя Бога.

Леонардо в науке был столь же одинок, как в искусстве; Марко-Антонио окружен учениками. Он увлекал толпу, зажигал сердца, как пророк, творил чудеса, воскрешал больных не столько лекарствами, сколько верою. И юные слушатели, как все ученики, доводили до крайности мысли учителя. Они уже не боролись, а беспечно отрицали тайну мира, думали, что не сегодня, так завтра наука все победит, все разрешит, не оставит камня на камне от ветхого здания веры. Хвастали безверием, как дети обновкою, буйствовали, как школьники — и победоносная резвость их напоминала визгливую резвость щенят.

Для художника изуверство мнимых служителей знания было столь же противно, как изуверство мнимых служителей Бога.

«Когда наука восторжествует,— думал он с грустью,— и чернь войдет в ее святилище, не осквернит ли она своим признанием и науку, точно так же, как осквернила церковь, и будет ли менее пошлым знание толпы, чем вера толпы?»

В те времена добывание мертвых тел для анатомических сечений, воспрещенных буллою папы Бонифация VIII Extravagantes, было делом трудным и опасным. Двести лет назад Мундини деи Луцци, первый из ученых, дерзнул произвести всенародное анатомическое сечение двух трупов в Болонском университете. Он выбрал женщин, как «более близких к животной природе». И тем не менее, совесть мучила его, по собственному признанию, так, что анатомировать голову, «обиталище духа и разума», он вовсе не посмел.

Времена изменились. Слушатели Марко-Антонио были менее робки. Не останавливаясь ни перед какими опасностями и даже преступлениями, добывали они свежие трупы: не только покупали за большие деньги у палачей и больничных гробовщиков, но и силой отнимали, крали с виселиц, вырывали из могил на кладбищах, и, если бы учитель позволил, убивали бы прохожих по ночам в глухих предместьях.

Обилие трупов делало работу делла Торре особенно важной и драгоценной для художника.

Он готовил целый ряд анатомических рисунков пером и красным карандашом, с объяснениями и заметками на полях. Здесь, в приемах исследования, еще более сказывалась противоположность исследователей.

Один был только ученый, другой — и ученый, и художник вместе. Марко-Антонио знал. Леонардо знал и любил — и любовь углубляла познание. Рисунки его были так точны и в то же время так прекрасны, что трудно было решить, где кончается искусство и начинается наука: одно входило в другое, одно сливалось с другим в неразделимое целое.

«Тому, кто мне возразит,— писал он в этих заметках,— что лучше изучать анатомию на трупах, чем по моим рисункам, я отвечу: это было бы так, если бы ты мог видеть в одном сечении все, что изображает рисунок; но, какова бы ни была твоя проницательность, ты увидел и узнал бы лишь несколько вен. Я же, дабы иметь совершенное знание, произвел сечения более чем десяти человеческих тел различных возрастов, разрушая все члены, снимая до последних частиц все мясо, окружавшее вены,

не проливая крови, разве только чуть заметные капли из волосяных сосудов. И когда одного тела не хватало, потому что оно разлагалось во время исследования, я рассекал столько трупов, сколько требовало совершенное знание предмета, и дважды начинал одно и то же исследование, дабы видеть различия. Умножая рисунки, я даю изображения каждого члена и органа так, как будто ты имел их в руках и, повертывая, рассматривал со всех сторон, внутри и снаружи, сверху и снизу».

Ясновидение художника давало глазу и руке ученого точность математического прибора. Никому неизвестные разделения вен, скрытые в соединительных тканях или в слизистых оболочках, тончайшие кровеносные сосуды и нервы, разветвленные в мышцах и мускулах, ощупывала скальпелем, обнажала левая рука его — такая сильная, что гнула подковы, такая нежная, что улавливала тайну женственной прелести в улыбке Джоконды.

И Марко-Антонио, не желавший верить ни во что, кроме разума, испытывал порой смущение, почти страх перед этим вещим знанием, как перед чудом.

Иногда художник говорил себе: «так должно быть, так хорошо». И когда, исследуя, убеждался, что действительно, так есть, то воля Творящего как будто отвечала воле созерцающего: красота была истиной, истина — красотою.

Чувствуя, что Леонардо предается и науке, как всему, только на время и сохраняет свободу для новых увлечений, точно играя, Марко-Антонио, вместе с тем, видел, какого бесконечного терпения, какой «упрямой суровости» требует работа, казавшаяся в руках учителя игрой и забавою.

«И ежели ты имеешь любовь к науке,— обращался Леонардо в своих заметках к читателю,— не помешает ли тебе чувство брезгливости? И ежели ты преодолеешь брезгливость — не овладеет ли тобою страх в ночные часы перед мертвецами, истерзанными, окровавленными? И если победишь ужас, окажется ли у тебя совершенно ясный предварительный замысел, необходимый для такого изображения тел? И ежели есть у тебя замысел, обладаешь ли ты знанием перспективы? И ежели оно есть у тебя, владеешь ли ты приемами геометрических доказательств и потребными сведениями в механике для измерения сил и напряжения мускулов? И наконец, хватит ли у тебя самого главного — терпения и точности? Насколько я обладаю всеми этими качествами, покажут сто двадцать книг

Анатомии, которые я сочинил. И причина того, что я не привел труда моего к желанному концу — не корысть или небрежность, а только недостаток времени».

«Точно так же, как до меня Птоломей описывал мир в своей Космографии, я описываю человеческое тело — эту маленькую вселенную — мир в мире».

Он предчувствовал, что труды его, если б были узнаны и поняты людьми, произвели бы величайший переворот в науке, ждал «последователей», «преемников», которые могли бы оценить в его рисунках «благодеяние, оказанное им человеческому роду».

«Пусть книга о началах механики,— писал он,— предшествует твоему исследованию законов движений и сил человека и других животных, дабы ты мог, ссылаясь на механику, доказывать всякое положение анатомии с ясностью геометрическою».

Он рассматривал члены людей и животных как живые рычаги. Корни всякого знания погружались для него в механику, которая была воплощением «дивной справедливости Первого Двигателя». И благая воля Первого Строителя вытекала из правосудной воли Первого Двигателя — Тайны всех тайн.

Рядом с математической точностью у Леонардо были догадки, предчувствия, пророчества, которые пугали Марко Антонио своею смелостью, казались ему невероятными, подобно тому, как человеку, видящему горы в первый раз, далекие вершины кажутся облаками, висящими в воздухе, и трудно ему поверить, что у этих призраков — корни гранитные, уходящие к сердцу земли.

Изучая на трупах беременных женщин последовательные ступени развития зародыша в матке, Леонардо поражен был сходством в строении тел людей и животных, не только четвероногих, но и рыб и птиц.

«Сравни человека,— писал он,— с обезьяною и многими другими животными почти той же породы. Сравни внутренности человека с внутренностями обезьяны, и льва, и быка, и рыб, и птиц. Сравни пальцы человеческой руки с пальцами медвежьей лапы, с хрящами рыбьих плавников, с кистями птичьих крыльев и крыльев летучей мыши».

«Тому, кто обладает совершенным знанием строения человеческого тела, легко быть всеобъемлющим, ибо члены всех животных сходствуют».

В многообразии телесных строений прозревал он единый закон развития, единый связующий замысел природы.

Марко-Антонио спорил, горячился, называл догадки эти бреднями, не достойными ученого и противными духу точного знания; но иногда, побежденный, как бы очарованный, умолкал и слушал. В эти минуты детски-нежное и монашески-строгое лицо его было прекрасно. И, глядя в глубокие, всегда печальные глаза его, Леонардо чувствовал, что этот затворник науки — не только жрец ее, но и жертва: для него великая скорбь была «дочь великого познания».

II

По ходатайству наместника Шарля д'Амбуаза и французского короля, художник получил от Флорентинской Синьории отпуск на неопределенное время, а в следующем 1507 году, перейдя окончательно на службу Людовика XII, поселился в Милане и только изредка по делам наезжал во Флоренцию.

Прошло четыре года.

В конце 1511 Джованни Бельтраффио, в то время уже считавшийся искусным мастером, работал над стенописью в новой церкви Сан-Маурицио, принадлежавшей старинной, построенной на развалинах древнеримского цирка и храма Юпитера, женской обители Маджоре. Рядом, за высокой оградой, выходившей на улицу Делла Винья, находился запущенный сад и некогда великолепный, но давно покинутый и полуразвалившийся дворец владетельного рода Карманьола.

Монахини сдавали внаймы эту землю и дом алхимику Галеотто Сакробоско и его племяннице, дочери Галеоттова брата, мессера Луиджи, знаменитого собирателя древностей, моне Кассандре, которые недавно вернулись в Милан.

Вскоре после первого нашествия французов и разграбления маленького домика повивальной бабки моны Сидонии у Катаранской плотины за Верчельскими воротами уехали они из Ломбардии и девять лет провели в скитаниях по Востоку, Греции, островам Архипелага, Малой Азии, Палестине, Сирии. Странные слухи ходили о них: одни уверяли, будто бы алхимик нашел камень мудрецов, превращающий олово в золото; другие — будто бы он выманил у диодария Сирийского для опытов огромные деньги, и, присвоив их, бежал; третьи — что мона Кассандра, по договору с дьяволом и по записи отца своего, откопала древний клад, зарытый на месте финикийского хра-

ма Астарты; четвертые, наконец,— что она ограбила в Константинополе старого, несметно богатого, смирнского купца, которого очаровала и опоила приворотными зельями. Как бы то ни было, уехав из Милана нищими, они вернулись богачами.

Бывшая ведьма, ученица Деметрия Халкондилы, воспитанница старой ведьмы Сидонии, Кассандра сделалась или, по крайней мере, притворилась благочестивой дочерью церкви; строго соблюдала все обряды и посты, посещала церковные службы и щедрыми вкладами заслужила особое покровительство не только сестер монастыря Маджоре, приютивших ее на своей земле, но и самого владыки, архиепископа Миланского. Злые языки утверждали, впрочем (может быть, только из свойственной людям зависти к внезапному обогащению), будто бы она вернулась из своих далеких странствий еще большей язычницей, что ведьма с алхимиком должны были бежать из Рима, спасаясь от Святейшей Инквизиции, и что, рано или поздно, не миновать им костра.

Перед Леонардо мессер Галеотто все также благоговел и считал его своим учителем — обладателем «сокровенной мудрости трижды великого Гермеса».

Алхимик привез с собой из путешествия много редких книг, большею частью александрийских ученых времен Птоломеев, по математическим наукам. Художник брал у него эти книги, за которыми обыкновенно посылал Джованни, работавшего по соседству в церкви Сан-Мауричо. Через некоторое время Бельтраффио, по старой привычке, стал заходить к ним все чаще и чаще под каким-либо предлогом, в действительности же только для того, чтобы видеть Кассандру.

Девушка была с ним в первые свидания настороже, притворялась кающейся грешницей, говорила о своем желании постричься; но, мало-помалу, убедившись, что бояться нечего, стала доверчивей.

Они вспоминали беседы свои десять лет назад, когда оба были почти детьми, на пустынном пригорке над Катаранской плотиной, у стен монастыря св. Редегонды; вспоминали вечер с бледными зарницами, с душным запахом летней воды из канала, с глухим, точно подземным, ворчанием грома, и то, как она предрекала ему воскресение олимпийских богов, и как звала на шабаш ведьм.

Теперь жила она отшельницей; была или казалась больною и почти все время, свободное от служб церков-

ных, проводила в уединенной комнате, куда никого не пускала, в одном из немногих уцелевших покоев старого дворца — мрачной зале со стрельчатыми окнами, выходившими в заглохший сад, где безмолвной оградою возвышались кипарисы, и яркий влажный мох покрывал стволы дуплистых вязов. Убранство этой комнаты напоминало музей и книгохранилище. Здесь находились древности, привезенные ею с Востока,— обломки эллинских статуй, псоглавые боги Египта из гладкого черного гранита, резные камни гностиков с волшебным словом *Абраксас*, изображающим триста шестьдесят пять горних небес, византийские пергаменты, твердые, как слоновая кость, с обрывками навеки утраченных произведений греческой поэзии, глиняные черепки с клинообразными ассирийскими надписями, книги персидских магов, закованные в железо, и прозрачно-тонкие, как лепестки цветов, мемфисские папирусы.

Она рассказывала ему о своих странствиях, о виденных чудесах, о пустынном величии храмов из белого мрамора на черных, изъеденных морем, утесах, среди вечно голубых, пахнущих солью, как будто свежестью голого тела Пенорожденной богини, Ионических волн,— о неимоверных трудах своих, бедах, опасностях. И однажды, когда он спросил, чего она искала в этих странствиях, зачем собирала эти древности, претерпевая столько мучений,— ответила ему словами отца своего, мессера Луиджи Сакробоско:

— Чтобы воскресить мертвых!

И глаза ее загорелись огнем, по которому узнал он прежнюю ведьму Кассандру.

Она мало изменилась. У нее было все то же лицо, чуждое печали и радости, неподвижное, как у древних изваяний,— широкий, низкий лоб, прямые, тонкие брови, строго сжатые губы, на которых нельзя было представить себе улыбки,— и глаза, как янтарь, прозрачно-желтые. Но теперь, утонченное болезнью или единой, чрезмерно обострившейся, мыслью, лицо это, особенно нижняя часть, слишком узкая, маленькая, с нижнею губою, немного выдавшейся вперед,— еще яснее выразило суровое спокойствие и в то же время детскую беспомощность. Сухие, пушистые волосы, живые, живее всего лица, точно обладавшие отдельной жизнью, как змеи Медузы, окружали бледное лицо черным ореолом, от которого казалось оно еще бледнее и неподвижнее, алые губы ярче, желтые глаза прозрачнее. И еще неотразимее, чем десять лет назад,

влекла к себе Джованни прелесть этой девушки, возбуждавшая в нем любопытство, страх и жалость.

Во время путешествия по Греции посетила Кассандра родину своей матери, унылый, маленький городок Мистру, близ развалин Лакедемона, меж пустынных, выжженных холмов Пелопоннеса, где полвека назад умер последний из учителей эллинской мудрости, Гемистос Плетон. Собрала неизданные отрывки его сочинений, письма, благоговейные предания учеников, которые верили, что душа Платона, еще раз сойдя с Олимпа, воплотилась в Плетоне. Рассказывая Джованни об этом посещении, повторила она пророчество, уже слышанное им от нее, в одну из их прошлых бесед у Катаранской плотины и с тех пор часто ему вспоминавшееся,— слова Плетона, сказанные, будто бы, столетним старцем-философом за три года до смерти:

«Немного лет спустя после кончины моей, над всеми племенами и народами земными воссияет единая истина, и обратятся все во единую веру». Когда же спрашивали его — в какую, во Христову или Магометову,— он отвечал: «Ни в ту, ни в другую, но в новую веру, от древнего язычества не отличную».

— Прошло уже более полвека со смерти Плетона,— возразил Джованни,— а пророчество не исполняется. Неужели вы все еще верите, мона Кассандра?..

— Истины совершенной,— молвила она спокойно,— не было у Плетона. Он во многом заблуждался, ибо многого не знал.

— Чего? — спросил Джованни, и вдруг, под ее глубоким, пристальным взором, почувствовал, что сердце его падает.

Вместо ответа взяла она с полки старинный пергамент — это была трагедия Эсхила *Скованный Прометей* — и прочла ему несколько стихов. Джованни понимал немного по-гречески, а то, чего не понял, она объяснила ему.

Перечислив дары свои людям — забвение смерти, надежду и огонь, похищенный с неба, которые рано или поздно сделают их равными богам — Титан предрекал падение Зевса:

В тот страшный день исполнится над ним
Отцовское проклятие, что на сына
Обрушил Кронос, падая с небес.
И указать от этих бед спасенье
Из всех богов могу лишь я один —
Я знаю тайну.

Посланник олимпийцев, Гермес, возвещал Прометею:

До той поры не жди конца страданьям,
Пока другой не примет мук твоих,
Страдалец-бог и к мертвым в темный Тартар
Во глубину Аида не сойдет.

— Как ты думаешь, Джованни,— молвила Кассандра, закрывая книгу,— кто этот «Страдалец-бог, сходящий в Тартар»?

Джованни ничего не ответил; ему казалось, что перед ним, точно при свете внезапно блеснувшей молнии, открывается бездна.

А мона Кассандра по-прежнему смотрела на него в упор своими ясными, прозрачными глазами; в это мгновение была она, действительно, похожа на злополучную пленницу Агамемнона, вещую деву Кассандру.

— Джованни,— прибавила она, немного помолчав,— слышал ли ты о человеке, который, более десяти веков назад, так же как философ Плетон, мечтал воскресить умерших богов,— об императоре Флавии Клавдии Юлиане?

— Об Юлиане Отступнике?

— Да, о том, кто врагам своим галилеянам и себе,— увы! — казался отступником, но не дерзнул им быть, ибо в новые мехи влил старое вино: эллины так же, как христиане, могли бы назвать его отступником...

Джованни рассказал ей, что видел однажды во Флоренции мистерию Лоренцо Медичи Великолепного, которая изображала мученическую смерть Сан-Джованни и Паоло, двух юношей, казненных за веру Христову Юлианом Отступником. Он даже помнил несколько стихов из этой мистерии, особенно поразивших его,— между прочим, предсмертный крик Юлиана, пронзенного мечом св. Меркурия:

Ты победил, Галилеянин!
O Cristo Galileo, tu hai pur vinto!

— Слушай, Джованни,— продолжала Кассандра,— в странной и плачевной судьбе этого человека есть великая тайна. Оба они, говорю я, и кесарь Юлиан, и мудрец Плетон были одинаково не правы, потому что обладали только половиной истины, которая, без другой половины, есть ложь: оба забыли пророчество Титана, что тогда лишь боги воскреснут, когда Светлые соединятся с Темными, небо вверху — с небом внизу, и то, что было Двумя, будет Едино. Этого не поняли они и тщетно отдали душу свою за богов Олимпийских...

Она остановилась, как будто не решалась договорить, и потом прибавила тихо:

— Если бы ты знал, Джованни, если бы могла я сказать тебе все до конца!.. Но нет, теперь еще рано. Пока скажу одно: есть бог среди богов олимпийских, который ближе всех других к подземным братьям своим, бог светлый и темный, как утренние сумерки, беспощадный, как смерть, сошедший на землю и давший смертным забвение смерти — новый огонь от огня Прометеева — в собственной крови своей, в опьяняющем соке виноградных лоз. И кто из людей, брат мой, кто поймет и скажет миру, как мудрость венчанного гроздьями подобна мудрости Венчанного Терниями,— Того, Кто сказал: «Я есмь истинная виноградная лоза», и так же, как бог Дионис, опьяняет мир Своею кровью? Понял ли ты, о чем я говорю, Джованни? Если не понял, молчи, не спрашивай, ибо здесь тайна, о которой еще нельзя говорить...

В последнее время у Джованни явилось новое, дотоле неведомое, дерзновение мысли. Он ничего не боялся, потому что ему нечего было терять. Он чувствовал, что ни вера фра Бенедетто, ни знание Леонардо не утолят муки его, не разрешат противоречий, от которых душа его умирала. Только в темных пророчествах Кассандры чудился ему, быть может, самый страшный, но единственный путь к примирению, и по этому последнему пути он шел за нею с отвагою отчаяния.

Они сходились все ближе и ближе.

Однажды он спросил ее, зачем она притворяется и скрывает от людей то, что ей кажется истиной?

— Не все — для всех,— возразила Кассандра.— Исповедание мучеников, так же, как чудо и знаменье, нужно для толпы, ибо лишь те, кто верит не до конца, умирают за веру, чтобы доказать ее другим и себе. Но совершенная вера есть совершенное знание. Разве ты думаешь, что смерть Пифагора подтвердила бы истины геометрии, открытые им? Совершенная вера безмолвна, и тайна ее выше исповедания, как учитель сказал: «Вы знайте всех, вас же пусть никто не знает».

— Какой учитель? — спросил Джованни и подумал: «Это мог бы сказать Леонардо: он тоже знает всех, а его никто».

— Египетский гностик Базилид,— отвечала Кассандра и объяснила, что *гностиками — знающими* называли себя великие учителя первых веков христианства, для которых совершенная вера и совершенное знание было одно и то же.

И она поведала ему их странные, иногда чудовищные, подобные бреду, сказания.

Особенно поразило его одно из них — учение Александрийских офитов, змеепоклонников о создании мира и человека.

«Надо всеми небесами есть Мрак безымянный, недвижный, нерождаемый, прекраснее всякого света. Отец Непознаваемый, Πατηρ αγνωσξ — Бездна и Молчание. Единородная дочь его, Премудрость божия, отделившись от отца, познала бытие и омрачилась, и восскорбела. И сын ее скорби был Иальдаваоф, созидающий бог. Он захотел быть один и, отпав от матери, погрузился еще глубже, чем она, в бытие и создал мир плоти, искаженный образ мира духовного, и в нем человека, который должен был отразить величие создателя и свидетельствовать об его могуществе. Но помощники Иальдаваофа, стихийные духи, сумели вылепить из персти только бессмысленную громаду плоти, пресмыкавшуюся, как червь, в первозданной тине. И, когда привели ее к царю своему, Иальдаваофу, дабы вдохнул он в нее жизнь,— Премудрость божия, сжалившись над человеком, отомстила сыну свободы и скорби своей за то, что он отпал от нее, и, вместе с дыханием плотской жизни через уста Иальдаваофовы вдохнула в человека искру божественной мудрости, полученной ею от отца Непознаваемого. И жалкое создание — перст от персти, прах от праха, на котором творец хотел показать свое всемогущество, стало вдруг неизмеримо выше своего создателя, сделалось образом и подобием не Иальдаваофа, а истинного бога, отца Непознаваемого. И поднял человек из праха лицо свое. И творец, при виде твари, вышедшей из-под власти его, исполнился гнева и ужаса. И устремил свои очи, горевшие огнем поедающей ревности, в самые недра вещества, в первобытную черную тину — и там их мрачный пламень и все лицо его, полное ярости, отразилось, как в зеркале, и этот образ сделался Ангелом Тьмы, Змеевидным. Офиоморфом, ползучим и лукавым, Сатаною — Проклятою Мудростью. И с помощью его создал Иальдаваоф все три царства природы и в самую глубь их, как в смрадную темницу, бросил человека и дал ему закон: делай то и то, не делай того и, ежели преступишь закон, смертью умрешь. Ибо все еще надеялся поработить свою тварь игом закона, страхом зла и смерти. Но Премудрость божия, Освободительница, не покинула человека и, возлюбив, возлюбила его до конца, и послала ему Утеши-

теля, Духа Познания, Змеевидного, Крылатого, подобного утренней звезде, Ангела Денницы, того, о ком сказано: «будьте мудры, как змеи». И сошел он к людям и сказал: «вкусите и познаете, и откроются глаза ваши, и станете, как боги».

— Люди толпы, дети мира сего,— заключила Кассандра,— суть рабы Иальдаваофа и Змея лукавого, живущие под страхом смерти, пресмыкающиеся под игом закона. Но дети Света, Знающие, гностики, избранники Софии [1], посвященные в тайны Премудрости, попирают все законы, преступают все пределы, как духи — неуловимы, как боги — свободны, крылаты, добром не возвышаются и остаются чистыми во зле, как золото в грязи. И Ангел Денницы, подобный звезде, мерцающей в утренних сумерках, ведет их сквозь жизнь и смерть, сквозь зло и добро, сквозь все проклятия и ужасы Иальдаваофова мира к Матери своей, Софии Премудрости, и через нее — в лоно Мрака безымянного, царящего над всеми небесами и безднами, недвижного, нерождаемого, который прекраснее всякого света, в лоно Отца Непознаваемого.

Слушая это предание офитов, Джованни сравнивал Иальдаваофа с Кронионом, божественную искру Софии с огнем Прометеевым, Змия благого, Ангела светоносного — Люцифера со скованным Титаном.

Так, во всех веках и народах — в трагедии Эсхила, в сказаниях гностиков, в жизни императора Юлиана-Отступника, в учении мудреца Платона — находил он дальние, родные отголоски великого разлада и борьбы, наполнявших его собственное сердце. Скорбь углублялась и утишалась сознанием того, что за десять веков люди уже страдали, боролись с теми же «двоящимися мыслями», погибали от тех же противоречий и соблазнов, как он.

Бывали минуты, когда он просыпался от этих мыслей, как от тяжелого опьянения или горячечного бреда. И тогда казалось ему, что мона Кассандра притворяется сильной и вещей, посвященною в тайну, а в действительности так же ничего не знает, так же заблудилась, как он: оба они — еще более жалкие, потерянные и беспомощные дети, чем двенадцать лет назад, и этот новый шабаш полубожественной, полусатанинской мудрости — еще безумнее, чем шабаш ведьм, на который некогда звала она его, и который теперь презирала, как забаву черни. Ему делалось страшно, хотелось бежать. Но было поздно.

[1] София — премудрость (*греч.*).

Сила любопытства, подобно наваждению, влекла его к ней, и он чувствовал, что не уйдет, пока не узнает всего до конца,— спасется или погибнет вместе с нею.

В это время приехал в Милан знаменитый доктор богословия, инквизитор фра Джорджо да Казале. Папа Юлий II, встревоженный слухами о небывалом распространении колдовства в Ломбардии, отправил его с грозными буллами. Сестры монастыря Маджоре и покровители, бывшие у моны Кассандры во дворце архиепископа, предупреждали ее об опасности. Фра Джорджо был тот самый член Инквизиции, от которого мона Кассандра и мессер Галеотто едва успели бежать из Рима. Они знали, что если бы еще раз попались ему в руки, то никакое покровительство не могло бы их выручить, и решили скрыться во Францию, а ежели надо будет,— дальше: в Англию, Шотландию.

Утром, дня за два до отъезда, Джованни беседовал с моной Кассандрою, по обыкновению в рабочей комнате ее, уединенной зале дворца Карманьола.

Солнце, проникавшее в окна сквозь густые черные ветви кипарисов, казалось бледным, как лунный свет; лицо девушки—особенно прекрасным и неподвижным. Только теперь, перед разлукой, понял Джованни, как она ему близка.

Он спросил, увидятся ли они еще раз и откроет ли она ему ту последнюю тайну, о которой часто говорила.

Кассандра взглянула на него и молча вынула из шкатулки плоский четырехугольный прозрачно-зеленый камень. Это была знаменитая Tabula Smaragdina — изумрудная скрижаль, найденная, будто бы, в пещере близ города Мемфиса в руках мумии одного жреца, в которого, по преданию, воплотился Гермес Трисмегист, египетский Ор, бог пограничной межи, путеводитель мертвых в царство теней. На одной стороне изумруда вырезано было коптскими, на другой — древними эллинскими письменами четыре стиха:

Ουρανο ανω ουρανο κατω
Αυτερα ανω αστερα κατω
Παν ανω παν τουτο κατω
Ταυτκ λαβε και εστσκε.

Небо — вверху, небо — внизу,
Звезды — вверху, звезды — внизу.
Все, что вверху, все и внизу,—
Если поймешь, благо тебе.

— Что это значит? — сказал Джованни.

— Приходи ко мне ночью сегодня,— проговорила она тихо и торжественно.— Я скажу тебе все, что знаю сама,

слышишь,— все до конца. А теперь, по обычаю, перед разлукой, выпьем последнюю братскую чашу.

Она достала маленький, круглый, запечатанный воском, глиняный сосуд, из тех, какие употребляются на Дальнем Востоке, налила густого, как масло, вина, странно пахучего, золотисто-розового, в древний кубок из хризолита, с резьбою по краям, изображавшей бога Диониса и вакханок, и, подойдя к окну, подняла чашу, как будто для жертвенного возлияния. В луче бледного солнца на прозрачных стенках оживились розовым вином, словно теплою кровью, голые тела вакханок, славивших пляской бога, венчанного гроздьями.

— Было время, Джованни,— молвила она еще тише и торжественнее,— когда я думала, что учитель твой Леонардо обладает последнею тайною, ибо лицо его так прекрасно, как будто в нем соединился бог олимпийский с подземным Титаном. Но теперь вижу я, что он только стремится и не достигает, только ищет и не находит, только знает, но не сознает. Он предтеча того, кто идет за ним и кто больше, чем он.— Выпьем же вместе, брат мой, этот прощальный кубок за Неведомого, которого оба зовем, за последнего Примирителя!

И благоговейно, как будто великое таинство, она выпила чашу до половины и подала ее Джованни.

— Не бойся,— молвила,— здесь нет запретных чар. Это вино непорочно и свято: оно из лоз, растущих на холмах Назарета. Это — чистейшая кровь Диониса-Галилеянина.

Когда он выпил, она, положив ему на плечи обе руки с доверчивою ласкою, прошептала быстрым, вкрадчивым шепотом:

— Приходи же, если хочешь знать все, приходи, я скажу тебе тайну, которой никому никогда не говорила,— открою последнюю муку и радость, в которой мы будем вместе навеки, как брат и сестра, как жених и невеста!

И в луче солнца, проникавшем сквозь густые ветви кипарисов, бледном, точно лунном,— так же как в памятную грозовую ночь у Катаранской плотины, в блеске бледных зарниц,— приблизила к лицу его неподвижное, грозное лицо свое, белое, как мрамор изваяний, в ореоле черных пушистых волос, живых, как змеи Медузы, с губами алыми, как кровь, глазами желтыми, как янтарь.

Холод знакомого ужаса пробежал по сердцу Бельтраффио, и он подумал:

«Белая Дьяволица!»

III

В условленный час стоял он у калитки в пустынном переулке Делла Винья, перед стеной сада, окружавшего дворец Карманьола.

Дверь была заперта. Он долго стучался. Не отворяли. Подошел с другой стороны, с улицы Сант-Аньезе к воротам соседнего монастыря Маджоре и узнал от привратницы страшную новость: инквизитор папы Юлия II, фра Джорджо да Казале появился в Милане внезапно и велел тотчас схватить Галеотто Сакробоско, алхимика, и племянницу его, мону Кассандру, как лиц, наиболее подозреваемых в черной магии.

Галеотто успел бежать. Мона Кассандра была в застенках Святейшей Инквизиции.

Узнав об этом, Леонардо обратился с просьбами и ходатайствами за несчастную к доброжелателям своим, главному казначею Людовика XII, Флоримонду Роберте и к наместнику французского короля в Милане, Шарлю д'Амбуазу.

Джованни также хлопотал, бегал, носил письма учителя и ходил для разведок в Судилище Инквизиции, которое помещалось около собора, в Архиепископском дворце.

Здесь познакомился он с главным письмоводителем фра Джорджо, фра Микеле да Вальверда, магистром теологии, написавшим книгу о черной магии: «Новейший Молот Ведьм», где, между прочим, доказывалось, что так называемый *Ночной Козел* — Hyrcus Nocturnus, председатель шабаша, есть ближайший родственник козлу, которого некогда эллины приносили в жертву богу Дионису, среди сладострастных плясок и хоров, из коих впоследствии вышла трагедия. Фра Микеле был вкрадчиво любезен с Бельтраффио. Он принял, или делает вид, что принимает живое участие в судьбе Кассандры, верит в ее невинность, и, в то же время, притворяясь поклонником Леонардо, «величайшего из христианских мастеров», как он выражался, расспрашивал ученика о жизни, привычках, занятиях и мыслях учителя. Но, только что речь заходила о Леонардо, Джованни настораживался и скорее умер бы, чем выдал единым словом учителя. Убедившись, что хитрости бесполезны, фра Микеле объявил однажды, что, несмотря на краткий срок знакомства, успел полюбить его, Джованни, как брата, и считает долгом предупредить об опасности, грозящей ему от мессера да Винчи, подозреваемого в колдовстве и черной магии.

— Ложь! — воскликнул Джованни.— Никогда не занимался он черной магией и даже...

Бельтраффио не кончил. Инквизитор посмотрел на него долгим взором.

— Что хотели вы сказать, мессер Джованни?

— Нет, ничего.

— Вы не желаете быть со мной откровенным, друг мой. Я ведь знаю, вы хотели сказать: мессер Леонардо даже не верит в возможность черной магии.

— Я этого не хотел сказать,— спохватился Джованни.— Впрочем, если он и не верил, неужели это доказательство виновности?

— Дьявол,— возразил монах с тихой усмешкой,— превосходный логик. Порой самых опытных врагов своих ставит он в тупик. От одной ведьмы узнали мы недавно речь его на шабаше. «Дети мои,— сказал он,— радуйтесь и веселитесь, ибо с помощью новых союзников наших, ученых, которые, отрицая могущество дьявола, тем самым притупляют меч Святейшей Инквизиции, мы в скором времени одержим совершенную победу и распространим наше царство по всей вселенной».

Спокойно и уверенно говорил фра Микеле о самых неимоверных действиях Силы Нечистой, например, о признаках, по которым можно отличить младенцев-оборотней, рожденных от бесов и ведьм: всегда оставаясь маленькими, они гораздо тяжелее обыкновенных грудных детей, весят от 80 до 100 фунтов, постоянно кричат и высасывают молоко пяти-шести кормилиц.

С математической точностью знал число главных властителей Ада — 572, и подданных, младших бесов различного звания — 7.405.926.

Но особенно поразило Джованни учение об инкубах и суккубах, демонах двуполых, принимающих по произволу вид то мужчины, то женщины, дабы, соблазняя людей, вступать с ними в плотское соединение. Монах объяснял ему, как бесы, то уплотняя воздух, то похищая трупы с виселиц, образуют тела для блуда, которые, впрочем, в самых пламенных любовных ласках остаются холодными, точно мертвые. Он приводил слова св. Августина, отрицавшего существование антиподов как богохульную ересь и не сомневавшегося в инкубах и суккубах, некогда, будто бы, чтимых язычниками под именем фавнов, сатиров, нимф, гамадриад и других божеств, обитающих в деревьях, воде и воздухе.

— Как в древности,— прибавлял уже от себя фра Микеле,— нечистые боги и богини сходили к людям для скверного смешения, так точно и ныне не только младшие, но и старшие, самые могущественные демоны, например, Аполлон и Вакх, могут являться инкубами, Диана или Венера — суккубами.

Из этих слов Джованни мог заключить, что Белая Дьяволица, которая преследовала его всю жизнь, была суккубою — Афродитою.

Иногда приглашал его фра Микеле в судилище, во время делопроизводства: должно быть, все еще надеясь, рано или поздно, найти в нем сообщника и доносчика, зная по опыту, как ужасы инквизиции втягивают. Преодолевая страх и отвращение, Джованни не отказывался присутствовать на допросах и пытках, потому что, в свою очередь, надеялся если не облегчить судьбу Кассандры, то, по крайней мере, что-нибудь узнать о ней.

Отчасти в самом судилище, отчасти из рассказов инквизитора узнавал Джованни почти невероятные случаи, в которых смешное соединялось с ужасным.

Одна ведьма, еще совсем молоденькая девушка, раскаявшись и вернувшись в лоно Церкви, благословляла истязателей своих за то, что они спасли ее от когтей сатаны, переносила все муки с бесконечным терпением и кротостью, радостно и тихо шла на смерть, веруя, что временное пламя избавит ее от вечного; только умоляла судей, чтобы перед смертью вырезали у нее черта из руки, который, будто бы, вошел в нее в виде острого веретена. Святые отцы пригласили опытного хирурга. Но, несмотря на большие деньги, которые предлагали ему, врач отказался вырезывать черта, боясь, чтобы во время операции бес не свернул ему шеи.

Другую ведьму, вдову хлебопека, женщину здоровую и красивую, обвиняли в том, что прижила она, в восемнадцатилетней связи с дьяволом, нескольких оборотней. Эта несчастная во время страшных пыток то молилась, то лаяла собакой, то коченела от боли, немея, и делалась бесчувственной, так что должны были насильно открывать ей рот особым деревянным снарядом, чтобы заставить говорить; наконец, вырвавшись из рук палачей, бросилась на судей, с неистовым воплем: «Я отдала душу мою дьяволу и буду принадлежать ему вовеки!» — и пала бездыханною.

Нареченная тетка Кассандры, мона Сидония, также схваченная, после долгих мучений, однажды ночью, чтобы

избегнуть пыток, подожгла в тюрьме соломенную подстилку, на которой лежала, и задохлась в дыму.

Полоумную старушку-лоскутницу уличили в том, что каждую ночь она ездит на шабаш верхом на своей собственной дочери, с искалеченными руками и ногами, которую, будто бы, черти подковывают. Добродушно и лукаво подмигивая судьям, как будто они были ее сообщниками в заранее условленной шутке, старушка охотно соглашалась со всеми обвинениями, которые взводили на нее.

Она была очень зябкою. «Огонек! Огонек! — пролепетала она радостно, захлебываясь от смеха, как очень маленькие дети, и потирая руки, когда подвели ее к пылавшему костру, чтобы сжечь,— дай вам Бог здоровья, миленькие: наконец-то я погреюсь!»

Девочка лет десяти без стыда и страха рассказывала судьям, как однажды вечером, на скотном дворе, хозяйка ее, коровница, дала ей кусок хлеба с маслом, посыпанный чем-то кисло-сладким, очень вкусным. Это был черт. Когда она съела хлеб, подбежал к ней черный кот с глазами, горевшими, как уголья, и начал ластиться, мурлыкая и выгибая спину колесом. Она вошла с ним в ригу и здесь на соломе отдалась ему и много раз, шаля, не думая, что это дурно, позволяла ему все, что он хотел. Коровница сказала ей: «Видишь, какой у тебя жених!» — И потом родился у нее большой, величиной с грудное дитя, белый червь с черной головой. Она зарыла его в навоз. Но кот явился к ней, исцарапал ее и человеческим голосом велел кормить ребенка, прожорливого червяка, парным молоком.— Все это рассказывала девочка так точно и подробно, глядя на инквизиторов такими невинными глазами, что трудно было решить, лжет ли она странной, бесцельной ложью, иногда свойственной детям, или бредит.

Но особенный, незабываемый ужас возбудила в Джованни шестнадцатилетняя ведьма необычайной красоты, которая на все вопросы и увещевания судей отвечала одним и тем же упорным, непреклонно умоляющим криком: «Сожгите! сожгите меня!» Она уверяла, будто бы дьявол «прохаживается в теле ее, как в собственном доме», и, когда «он бегает, катается внутри ее спины, словно крыса в подполье», на сердце у нее становится так жутко, так темно, что, если бы в это время ее не держали за руки или не связывали веревками, она размозжила бы себе голову об стену. О покаянии и прощении не хотела слышать, потому что считала себя беременной от дьявола, невозвратно погибшею, осужденною еще при жизни вечным

судом и молила, чтобы сожгли ее прежде, чем родится чудовище. Она была сирота и очень богата. После смерти ее огромное имение должно было перейти в руки дальнего родственника, скупого старика. Святые отцы знали, что если бы несчастная осталась в живых, то пожертвовала бы свои богатства на дело Инквизиции, и потому старались ее спасти, но тщетно. Наконец, послали ей духовника, который славился искусством умягчать сердце закоренелых грешников. Когда начал он уверять ее, что нет и быть не может такого греха, которого бы Господь не искупил Своею Кровью, и что Он все простит, она отвечала своим страшным криком: «Не простит, не простит,— я знаю. Сожгите меня, или я сама наложу на себя руки!» По выражению фра Микеле, «душа ее алкала святого огня, как раненый олень — источника водного».

Главный инквизитор, фра Джорджо да Казале был старичок, сгорбленный, с худеньким, бледным личиком, добрым, тихим и простым, напоминавшим лицо св. Франциска. По словам близко знавших его, это был «кротчайший из людей на земле», великий бессребреник, постник, молчальник и девственник. Порою, когда Джованни вглядывался в это лицо, ему казалось, что, в самом деле, нет в нем злобы и хитрости, что он страдает больше своих жертв и мучит, и сжигает их из жалости, потому что верит, что нельзя иначе спасти их от вечного пламени.

Но иногда, особенно во время самых утонченных пыток и чудовищных признаний, в глазах фра Джорджо мелькало вдруг такое выражение, что Джованни не мог бы решить, кто страшнее, кто безумнее — судьи или подсудимые?

Однажды старая колдунья, повивальная бабка, рассказывала инквизиторам, как, нажимая большим пальцем, продавливала темя новорожденным и умертвила этим способом более двухсот младенцев, без всякой цели, только потому, что ей нравилось, как мягкие детские черепа хрустят, подобно яичной скорлупе. Описывая эту забаву, она смеялась таким смехом, от которого мороз пробегал по спине Джованни.— И вдруг почудилось ему, что у старого инквизитора глаза горят точно таким же сладострастным огнем, как у ведьмы. И хотя в следующее мгновение подумал, что ему только померещилось, но в душе его осталось впечатление невысказанного ужаса.

В другой раз, со смиренным сокрушением, признался фра Джорджо, что больше всех грехов мучит совесть его то, что много лет назад велел он, «из преступного мило-

сердия, внушенного дьяволом», семилетних детей, заподозренных в блудном смешении с инкубами и суккубами, вместо того, чтобы сжечь, только бить плетьми на площади перед кострами, где горели отцы их и матери.

Безумие, которое царствовало в застенках Инквизиции среди жертв и палачей, распространялось по городу. Здравомыслящие люди верили тому, над чем в обыкновенное время смеялись как над глупыми баснями. Доносы умножались. Слуги показывали на господ своих, жены на мужей, дети на родителей. Одну старуху сожгли только за то, что она сказала: «Да поможет мне черт, если не Бог!» Другую объявили ведьмой, потому что корова ее, по мнению соседок, давала втрое больше молока, чем следует.

В женский монастырь Санта-Мария делла Скала чуть не каждый день после Ave Maria повадился черт под видом собаки и осквернял по очереди всех монахинь, от шестнадцатилетней послушницы до дряхлой игуменьи, не только в кельях, но и в церкви, во время службы. Сестры Санта-Мария так привыкли к черту, что уже не боялись и не стыдились его. И длилось это в течение восьми лет.

В горных селениях около Бергамо нашли сорок одну ведьму-людоедку, сосавших кровь и пожиравших мясо некрещеных младенцев. В самом Милане уличили тридцать священников, крестивших детей «не во имя Отца, Сына и Духа Святого, а во имя дьявола»; женщин, которые нерожденных детей своих обрекали сатане; девочек и мальчиков от шести до трех лет, соблазненных дьяволом, предававшихся с ним несказанному блуду: опытные инквизиторы узнавали этих детей по особенному блеску глаз, по томной улыбке и влажным, очень красным губам. Спасти их нельзя было ничем, кроме огня.

И всего страшнее казалось то, что, по мере возраставшей ревности отцов-инквизиторов, бесы не только не прекращали, а напротив, умножали козни свои, как будто входили во вкус и резвились.

В покинутой лаборатории мессера Галеотто Сакробоско нашли необычайно толстого, мохнатого черта, одни уверяли — живого, другие — только что издохшего, но отлично сохранившегося, заключенного, будто бы, в хрустальную чечевицу, и хотя, по исследовании, оказалось, что это был не черт, а блоха, которую алхимик рассматривал в увеличительное стекло, многие все-таки остались при убеждении, что это был подлинный черт, но превратившийся в блоху в руках инквизиторов, дабы надругаться над ними.

Все казалось возможным: исчезла граница между явью и бредом. Ходили слухи о том, что фра Джорджо открыл в Ломбардии заговор 12.000 ведьм и колдунов, поклявшихся произвести в течение трех лет такие неурожаи по всей Италии, что люди принуждены будут пожирать друг друга, как звери.

Сам главный инквизитор, опытный полководец войска Христова, изучивший козни древнего Врага, испытывал недоумение, почти страх перед этим небывалым, возрастающим натиском сатанинского полчища.

— Я не знаю, чем это кончится,— сказал однажды фра Микеле в откровенной беседе с Джованни.— Чем больше мы сжигаем их, тем больше из пепла рождается новых.

Обычные пытки — испанские сапоги, железные колодки, постепенно сжимаемые винтами, так что кости жертв хрустели, вырывание ногтей раскаленными добела клещами — казались игрою в сравнении с новыми утонченными муками, изобретаемыми «кротчайшим из людей», фра Джорджо,— например, пыткою бессоницей — tormentum insomniae, состоявшею в том, что подсудимых, не давая им уснуть, в течение нескольких дней и ночей гоняли по переходам тюрьмы, так что ноги их покрывались язвами, и несчастные впадали в умоисступление.— Но и над этими муками Враг смеялся, ибо он был настолько сильнее голода, сна, жажды, железа и огня, насколько дух сильнее плоти.

Тщетно прибегали судьи к хитростям: вводили ведьм в застенок задом, чтобы взгляд их не очаровал судью и не внушил ему преступной жалости; перед пыткою женщин и девушек раздевали донага и брили, не оставляя на теле ни волоса, дабы удобнее было отыскивать «дьявольскую печать» — stigma diabolicum, которая, скрываясь под кожею или в волосах, делала ведьму бесчувственной; поили и кропили их святою водою; окуривали ладаном орудия пытки, освящали их частицами Проскомидийного Агнца и мощей; опоясывали подсудимых полотняною лентою, длиной тела Господня, подвешивали им бумажки, на которых начертаны были слова, произнесенные на кресте Спасителем.

Ничто не помогало: враг торжествовал над всеми святынями.

Монахини, каявшиеся в блудном сожительстве с дьяволом, уверяли, будто бы он входит в них между двумя Ave Maria, и даже имея Святое Причастие во рту, чув-

ствовали они, как проклятый любовник оскверняет их бесстыднейшими ласками. Рыдая, сознавались несчастные, что «тело их принадлежит ему вместе с душою».

Устами ведьм в судилище издевался Лукавый над инквизиторами, изрыгал такие богохульства, что у самых бестрепетных вставали дыбом волосы, и смущал докторов и магистров теологии хитросплетенными софизмами, тончайшими богословскими противоречиями или же обличал их вопросами, полными такого сердцеведения, что судьи превращались в подсудимых, обвиненные — в обвинителей.

Уныние граждан достигло крайней степени, когда распространилась молва о полученном, будто бы, папою доносе, с неопровержимыми доказательствами того, что волк в шкуре овечьей, проникший в ограду Пастыря, слуга дьявола, притворившийся гонителем его, дабы вернее погубить стадо Христово, глава сатанинского полчища есть не кто иной, как сам великий инквизитор Юлия II — фра Джорджо да Казале.

По словам и действиям судей Бельтраффио мог заключить, что сила дьявола кажется им равной силе Бога и что вовсе еще неизвестно, кто кого одолеет в этом поединке. Он удивлялся тому, как эти два учения — инквизитора фра Джорджо и ведьмы Кассандры — сходятся в своих крайностях, ибо для обоих верхнее небо равно было нижнему, смысл человеческой жизни заключался в борьбе двух бездн в человеческом сердце — с тою лишь разницею, что ведьма все еще искала, может быть, недостижимого примирения, тогда как инквизитор раздувал огонь этой вражды и углублял ее безнадежность.

И в образе дьявола, с которым так беспомощно боролся фра Джорджо, в образе змееподобного, пресмыкающегося, лукавого, узнавал Джованни помраченный, словно в мутном искажающем зеркале, образ Благого Змия, Крылатого, Офиоморфа, Сына верховной освобождающей Мудрости, Светоносного, подобного утренней звезде, Люцифера, или титана Прометея. Бессильная независимость врагов его, жалких слуг Иальдаваофовых, была как бы новой песнью победною Непобедимому.

В это время фра Джорджо объявил народу назначенное через несколько дней на страх врагам, на радость верным чадам Церкви Христовой, великолепное празднество — сожжение на площади Бролетто ста тридцати девяти колдунов и ведьм.

Услышав об этом от фра Микеле, Джованни произнес, бледнея:

— А мона Кассандра?

Несмотря на притворную сообщительность монаха, Джованни до сих пор еще не узнал о ней ничего.

— Мона Кассандра,— отвечал доминиканец,— осуждена вместе с другими, хотя достойна злейшей казни. Фра Джорджо полагает, что это — самая сильная ведьма из всех, каких он когда-либо видел. Столь непобедимы чары бесчувственности, которые ограждают ее во время пыток, что, не говоря уже о признании или раскаянии, мы так и не добились от нее ни слова, ни стона — даже звука голоса ее не слышали.

И сказав это, посмотрел в глаза Джованни глубоким взором, как бы чего-то ожидая. У Бельтраффио мелькнула мысль покончить сразу — донести на себя, сознаться, что он сообщник моны Кассандры, чтобы погибнуть с нею. Он этого не сделал не из страха, а из равнодушия — странного оцепенения, которое все более овладевало им в последние дни и было похоже на «чары бесчувственности», ограждавшие ведьму от пыток. Он был спокоен, как спокойны мертвые.

Поздно вечером, накануне дня, назначенного для сожжения ведьм и колдунов, сидел Бельтраффио в рабочей комнате учителя. Леонардо кончил рисунок, изображавший сухожилия, мускулы верхней части руки и плеча, тем более для него любопытные, что ими должны были приводиться в движение рычаги летательной машины. Лицо его в этот вечер казалось Джованни особенно прекрасным. Несмотря на первые, недавно, после смерти моны Лизы, углубившиеся морщины, в нем была совершенная тишина и ясность созерцания.

Иногда, подымая глаза от работы, он взглядывал на ученика. Оба молчали. Джованни давно уже ничего не ждал от учителя и ни на что не надеялся.

Для него не могло быть сомнения в том, что Леонардо знает об ужасах Инквизиции, о предстоящей казни моны Кассандры и других несчастных, об его, Джованни, собственной гибели. Часто спрашивал он себя, что обо всем этом думает учитель.

Окончив рисунок, сбоку на том же листе, над изображением мышц и мускулов плеча, Леонардо сделал надпись:

«И ты, человек, в этих рисунках созерцающий дивные создания природы, если считаешь преступным уничтожить мой труд,— подумай, насколько преступнее отнять у человека жизнь, подумай также, что телесное строение, кажущееся тебе таким совершенным, ничто в сравнении с ду-

шою, обитающей в этом строении, ибо она, чем бы ни была, есть все-таки нечто божественное. И, судя по тому, как неохотно расстается она с телом, плач и скорбь ее не без причины. Не мешай же ей обитать в созданном ею теле, сколько сама она пожелает, и пусть коварство твое или злоба не разрушают этой жизни, столь прекрасной, что воистину — кто ее не ценит, тот ее не стоит».

Пока учитель писал, ученик с такой же безнадежною отрадою смотрел на тихое лицо его, как заблудившийся в пустыне, умирающий от зноя и жажды путник смотрит на снежные горы.

IV

На следующий день Бельтраффио не выходил из комнаты. Ему с утра недомогалось, болела голова. До вечера пролежал в постели, в полузабытьи, ни о чем не думая.

Когда стемнело, послышался над городом необычайный, не то похоронный, не то праздничный, перезвон колоколов, и в воздухе распространился слабый, но упорный и отвратительный запах гари. От этого запаха у него еще сильнее разболелась голова и стало тошнить.

Он вышел на улицу.

День был душный, с воздухом сырым и теплым как в бане, один из тех дней, какие бывают в Ломбардии во время сирокко, поздним летом и ранней осенью. Дождя не было. Но с крыш и с деревьев капало. Кирпичная мостовая лоснилась. И под открытым небом, в мутно-желтом липком тумане еще сильнее пахло зловонною гарью.

Несмотря на позднее время, на улицах было людно. Все шли с одной стороны — с площади Бролетто. Когда он вглядывался в лица, ему казалось, что встречные в таком же полузабытьи, как он,— хотят и не могут проснуться.

Толпа гудела смутным тихим гулом. Вдруг, по случайно долетевшим до него отрывочным словам о только что сожженных ста тридцати девяти колдунах и ведьмах, о моне Кассандре, он понял причину страшного запаха, который его преследовал: это был смрад обгорелых человеческих тел.

Ускорил шаг, почти побежал, сам не зная куда, натыкаясь на людей, шатаясь, как пьяный, дрожа от озноба и чувствуя, как зловонная гарь, в мутно-желтом, липком тумане, гонится за ним, окутывает, душит, проникает в легкие, сжимает виски тупо-ноющей болью и тошнотою.

Не помнил, как доплелся до обители Сан-Франческо и вошел в келью фра Бенедетто. Монахи пустили, но фра Бенедетто не было — уехал в Бергамо.

Джованни запер дверь, зажег свечу и в изнеможении упал на постель.

В этой смиренной обители, столь ему знакомой, все по-прежнему дышало тишиной и святостью. Он вздохнул свободнее: не было страшного зловония, а был особенный монастырский запах постной оливы, церковного ладана, воска, старых кожаных книг, свежего лаку и тех легких, нежных красок, которыми фра Бенедетто, в простоте сердечной, пренебрегая суетным знанием перспективы и анатомии, писал своих Мадонн с детскими лицами, праведников, осиянных горнею славою, ангелов с радужными крыльями, с кудрями, золотыми как солнце, в туниках голубых как небо. Над изголовьем постели, на гладкой белой стене, висело черное Распятие и над ним подарок Джованни, засохший венчик из алых маков и темных фиалок, собранных в памятное утро в кипарисовой роще, на высотах Фьезоле, у ног Савонаролы, в то время, как братья Сан-Марко пели, играли на виолах и плясали вокруг учителя, как маленькие дети или ангелы.

Он поднял глаза на Распятие. Спаситель все так же распростирал пригвожденные руки, как будто призывая мир в Свои объятия: «придите ко мне, все труждающиеся и обремененные».— Не единая ли это, не совершенная ли истина? — подумал Джованни.— Не упасть ли к ногам Его, не воскликнуть ли: Ей, Господи, верую, помоги моему неверию!

Но молитва замерла на губах его. И он почувствовал, что если бы вечная гибель грозила ему, он не мог бы солгать, не знать того, что знал,— ни отвергнуть, ни примирить двух истин, которые спорили в сердце его.

В прежнем тихом отчаянии отвернулся он от Распятия — и в то же мгновение почудилось ему, что смрадный туман, страшный запах гари проникает и сюда, в последнее убежище.

Закрыл лицо руками.

И ему представилось то, что он видел недавно, хотя не мог бы сказать, было ли то во сне или наяву: в глубине застенка, в отблеске красного пламени, среди орудий пытки и палачей, среди окровавленных человеческих тел — обнаженное тело Кассандры, охраняемое чарами Благого Змия, Освободителя, бесчувственное под орудиями пытки, под железом, огнем и взорами мучителей — нетлен-

ное, неуязвимое, как девственно-чистый и твердый мрамор изваяний.

Очнувшись, понял по догорающей свече и числу колокольных ударов на монастырской башне, что несколько часов прошло в забытьи и что теперь уже за полночь.

Было тихо. Туман, должно быть, рассеялся. Смрадного запаха не было; но сделалось еще жарче. В окне мелькали бледно-голубые зарницы, и, как в памятную грозовую ночь у Катаранской плотины, слышалось глухое, точно подземное, ворчание грома.

У него кружилась голова; во рту пересохло; мучила жажда. Вспомнил, что в углу стоит кувшин с водой. Встал, держась рукой за стену, дотащился, выпил несколько глотков, помочил голову и уже хотел вернуться на постель, как вдруг почувствовал, что в келье кто-то есть,— обернулся и увидел, что под черным Распятием кто-то сидит на постели фра Бенедетто, в длинной до земли, темной, точно монашеской, одежде с остроконечным куколем, как у братьев «баттути», закрывающим лицо. Джованни удивился, потому что знал, что дверь заперта на ключ,— но не испугался. Испытывал скорее облегчение, как будто только теперь, после долгих усилий, проснулся. Голова сразу перестала болеть.

Подошел к сидевшему и начал всматриваться. Тот встал. Куколь откинулся. И Джованни увидел лицо, недвижное, белое, как мрамор изваяний, с губами алыми, как кровь, глазами желтыми, как янтарь, окруженное ореолом черных волос, живых, живее самого лица, словно обладавших отдельною жизнью, как змеи Медузы.

И торжественно, и медленно, как бы для заклятья, подняла Кассандра — это была она — руки вверх. Послышались раскаты грома, уже близкого, и ему казалось, что голос грома вторит словам ее:

> Небо — вверху, небо — внизу,
> Звезды — вверху, звезды — внизу,
> Все, что вверху, все и внизу,—
> Если поймешь, благо тебе.

Черные одежды, свившись, упали к ногам ее — и он увидел сияющую белизну тела, непорочного, как у Афродиты, вышедшей из тысячелетней могилы,— как у пенорожденной богини Сандро Боттичелли с лицом Пречистой Девы Марии, с неземною грустью в глазах,— как у сладострастной Леды на пылающем костре Савонаролы.

В последний раз взглянул Джованни на Распятие, последняя мысль блеснула в уме его, полная ужасом: «Белая

Дьяволица!» — и как будто завеса жизни разорвалась перед ним, открывая последнюю тайну последнего соединения.

Она приблизилась к нему, охватила его руками и сжала в объятиях. Ослепляющая молния соединила небо и землю.

Они опустились на бедное ложе монаха.

И всем своим телом Джованни почувствовал девственный холод тела ее, который был ему сладок и страшен, как смерть.

V

Зороастро да Перетола не умер, но и не выздоровел от последствий своего падения при неудачном опыте с крыльями: на всю жизнь остался он калекою. Говорить разучился, только бормотал невнятные слова, так что никто, кроме учителя, не разумел его. То бродил по дому, не находя себе места, хромая на костылях, огромный, неуклюжий, взъерошенный, как большая птица; то вслушивался в речи людей, как будто стараясь что-то понять; то, сидя в углу, поджав под себя ноги и не обращая ни на кого внимания, быстро наматывал длинную полотняную ленту на круглый брусок — занятие, придуманное для него учителем, так как в руках механика оставалась прежняя ловкость и потребность движения; — строгал деревянные палочки, выпиливал чурки для городков, вырезывал волчки; или целыми часами, в полузабытьи, с бессмысленной улыбкой, раскачиваясь и махая руками, точно крыльями, мурлыкал себе под нос все одну и ту же песенку:

Курлы, курлы,
Журавли, орлы
Среди солнечной мглы,
Где не видно земли,
Журавли, журавли...
Курлы, курлы.

Потом, глядя на учителя своим единственным глазом, начинал вдруг тихо плакать.

В эти минуты он был так жалок, что Леонардо поскорее отворачивался или уходил. Но совсем удалить больного не имел духу. Никогда, во всех скитаниях, не покидал его, заботился о нем, посылал ему деньги и только что поселялся где-нибудь, брал в свой дом.

Так проходили годы, и этот калека был как бы живым укором, вечною насмешкою над усилиями всей жизни Леонардо — созданием крыльев человеческих.

Не менее жалел он и другого ученика своего, может быть, самого близкого сердцу его — Чезаре да Сесто.

Не довольствуясь подражанием, Чезаре хотел быть самим собою. Но учитель уничтожал его, поглощал, претворял в себя. Недостаточно слабый, чтобы покориться, недостаточно сильный, чтобы победить, Чезаре только безысходно мучился, озлоблялся и не мог до конца ни спастись, ни погибнуть. Подобно Джованни и Астро, был калекою — ни живым, ни мертвым, одним из тех, которых Леонардо «сглазил», «испортил».

Андреа Салаино сообщал учителю о тайной переписке Чезаре с учениками Рафаэля Санти, работавшего в Риме у папы Юлия II над фресками в покоях Ватикана. Многие предсказывали, что в лучах этого нового светила суждено померкнуть славе Леонардо.— Иногда учителю казалось, что Чезаре замышляет измену.

Но едва ли не хуже измены врагов была верность друзей.

Под именем Леонардовой Академии образовалась в Милане школа молодых ломбардских живописцев, отчасти прежних учеников его, отчасти новых пришельцев, бесчисленных, которые плодились, теснились к нему, сами воображая и других уверяя, будто бы идут по следам его. Издали следил он за суетою этих невинных предателей, которые не знали сами что творят. И порой подымалось в нем чувство брезгливости, когда он видел, как все, что было в жизни его святого и великого, становится достоянием черни: лик Господень в Тайной Вечери передается потомству в снимках, примиряющих его с церковною пошлостью; улыбка Джоконды бесстыдно обнажается, делаясь похотливой, или же, претворяясь в грезах платонической любви, добреет и глупеет.

Зимой 1512 года, в местечке Рива ди Тренто, на берегу Гардского озера умер Марко-Антонио делла Торре, тридцати лет от роду, заразившись гнилой горячкой от бедняков, которых лечил.

Леонардо терял в нем последнего из тех, кто был ему, если не близок, то менее чужд, чем другие, ибо, по мере того, как на жизнь его сходили тени старости,— нить за нитью порывались связи его с миром живых, все бóльшая пустыня и молчание окружали его, так что иногда казалось ему, что он спускается в подземный мрак по узкой темной лестнице, пролагая путь железным заступом сквозь каменные глыбы, «с упрямою суровостью» и с, может быть, безумною надеждою, что там, под землею, есть выход в другое небо.

Однажды, зимнею ночью, сидел он один в своей комнате, прислушиваясь к вою вьюги, точно так же, как в ночь того дня, когда узнал о смерти Джоконды. Нечеловеческие голоса ночного ветра говорили о понятном человеческому сердцу, родном и неизбежном — о последнем одиночестве в страшной слепой темноте, в лоне Отца всего сущего, древнего Хаоса — о беспредельной скуке мира.

Думал о смерти, и эта мысль, которая теперь все чаще приходила к нему, сливалась с мыслью о Джоконде.

Вдруг кто-то постучался в дверь. Он встал и отпер.

В комнату вошел незнакомый юноша, с веселыми и добрыми глазами, с морозным румянцем на свежем лице, с тающими звездами снега в темно-русых кудрях.

— Мессер Леонардо! — воскликнул юноша.— Не узнаете?

Леонардо вгляделся и узнал маленького друга своего, восьмилетнего мальчика, с которым бродил по весенним рощам Ваприо,— Франческо Мельци.

Он обнял его с отеческою нежностью.

Франческо рассказал, что он из Болоньи, куда отец его уехал вскоре после французского нашествия в 1500 году, не желая видеть позора и бедствий родины, и где заболел тяжелою болезнью, длившейся долгие годы; недавно он умер, и Мельци поспешил к Леонардо, помня его обещание.

— Какое обещание? — спросил учитель.

— Как? Забыли? А я-то, глупый, надеялся!.. Да неужели вы в самом деле не помните?.. Это было в последние дни перед нашей разлукой, в селении Манделло, на озере Лекко, у подножия горы Кампионе. Мы спускались в покинутый рудник, и вы несли меня на руках, чтобы я не упал, и когда сказали, что уезжаете в Романью на службу к Чезаре Борджа, я заплакал и хотел бежать с вами от отца, но вы не захотели и дали мне слово, что через десять лет, когда я выросту...

— Помню, помню! — прервал его учитель радостно.

— Ну, то-то же! — Я знаю, мессер Леонардо, что я вам не нужен. Но ведь и мешать не буду. Не гоните же меня. Впрочем, все равно, не уйду, если и станете гнать... Воля ваша, учитель, делайте со мной, что хотите, а я уже вас никогда не покину...

— Мальчик мой милый!..— произнес Леонардо, и голос его дрогнул.

Он снова обнял его, поцеловал в голову, и Франческо прижался к его груди с такою же доверчивой лас-

кою, как маленький мальчик, которого нес Леонардо в руках своих в железном руднике, спускаясь все ниже и ниже в подземный мрак, по скользкой страшной лестнице.

VI

С тех пор, как художник покинул Флоренцию в 1507 году, он числился придворным живописцем на службе короля французского, Людовика XII. Но, не получая жалованья, должен был рассчитывать на милости. Часто забывали о нем вовсе, а напоминать о себе своими произведениями он не умел, потому что с годами работал все меньше и медленнее. По-прежнему, вечно нуждаясь и все больше запутываясь в денежных делах, занимал у всех, у кого можно было занять — даже у собственных учеников, и, не расплатившись со старыми долгами, делал новые. Такие же стыдливые, неловкие и униженные просьбы писал французскому наместнику Шарлю д'Амбуазу и казначею Флоримонду Роберте, как некогда герцогу Моро.

«Не желая более докучать вашей милости, беру на себя смелость спросить, буду ли получать жалованье. Неоднократно писал я об этом вашей Синьории, но до сих пор ответа не имею».

В приемных вельмож, среди других просителей, смиренно ожидал очереди, хотя, с наступающей старостью, все круче казались чужие лестницы, все горше вкус чужого хлеба. Чувствовал себя на службе государей таким же лишним, как на службе народа,— всегда, везде чужим.

Пока Рафаэль, пользуясь щедростью папы, из полунищего стал богачом, римским патрицием; пока Микеланджело сколачивал сольди на черный день,— Леонардо попрежнему оставался бездомным скитальцем, не зная, где перед смертью преклонить голову.

Войны, победы, поражения своих и чужих, перемены законов и правительств, угнетение народов, низвержение тиранов — все, что кажется людям единственно важным и вечным — проносилось мимо него, как пыльный вихрь мимо странника на большой дороге. С таким же неизменным равнодушием к политике укреплял он замок Милана для французского короля против ломбардцев, как некогда для ломбардского герцога — против французов. В честь победы Людовика XII над венецианцами при Аньяделло воздвиг триумфальную арку с теми же самыми деревянными ангелами, которые некогда приветст-

вовали, махая позолоченными крыльями, Амброзианскую республику, Франческо Сфорца, Лодовико Моро.

Через три года, папа, кесарь и король Испании, Фердинанд Католический, заключили союз под именем Священной Лиги против Людовика XII, выгнали французов из Ломбардии и, с помощью швейцарцев, посадили на престол Массимилиано Моретто, «маленького Моро», сына Лодовико Сфорца, девятнадцатилетнего юношу, выросшего в изгнании, при дворе императора.

Леонардо и ему воздвиг триумфальную арку.

Правительство Моретто оказалось непрочным: швейцарские наемники вовсе о нем не заботились, обращаясь с ним, как с ничего не значившей куклой; союзники Священной Лиги заботились о нем слишком усердно, как семь нянек, у которых дитя без головы. Маленькому герцогу было не до живописи. Тем не менее принял он Леонардо на службу, заказал ему портрет и назначил жалованье, которого не платил.

В Тоскане в это время произошел точно такой же переворот, как в Ломбардии. Воля народа, воля Божья и пушки Фердинанда Католического удалили злополучного Пьеро Содерини. Разочаровавшись окончательно в республиканских добродетелях сограждан, бежал он в Рагузу. Прежние тираны, братья Медичи, сыновья Лоренцо Великолепного, вернулись во Флоренцию. Один из них, Джулиано, странный мечтатель, равнодушный к власти и почестям, грустный и добрый чудак, большой любитель алхимии, наслышавшись всяких чудес от приютившегося у него после бегства из Милана Галеотто Сакробоско о сокровенных знаниях Леонардо, пригласил его к себе на службу, не столько в качестве художника, сколько алхимика.

В начале 1513 года маршал Джан-Джакопо Тривульцио вступил в переговоры с швейцарцами о выдаче маленького Моро. Ему грозила та же участь, как отцу его. Леонардо предвидел новый переворот в Ломбардии.

В последние годы начинал он чувствовать усталость от этих однообразных и прихотливых случайностей политики — от вечного похмелья на чужих пирах: воздвигать триумфальные арки, чинить пружины в крыльях обветшалых ангелов надоело, и все чаще казалось, что пора бы этим ангелам, так же как ему, на покой.

Он решил покинуть Милан и перейти на службу Медичи.

Умер папа Юлий II. Преемником избран был Джованни Медичи, под именем Льва X. Новый папа назна-

чил брата своего, Джулиано главным Капитаном и Знаменосцем Римской Церкви, на должность, исполнявшуюся некогда Чезаре Борджа. Джулиано отправился в Рим. Леонардо должен был следовать за ним туда же осенью.

За несколько дней до его отъезда из Милана, на заре той ночи, когда сожжены были сто тридцать девять колдунов и ведьм на площади Бролетто, монахи в обители Сан-Франческо в келье фра Бенедетто нашли ученика Леонардо, Джованни Бельтраффио, лежавшим на полу в беспамятстве.

По-видимому, это был припадок той же болезни, как пятнадцать лет назад, после рассказа фра Паоло о смерти Савонаролы. Но на этот раз Джованни скоро оправился. Только иногда, в равнодушных глазах его, в странно-неподвижном, точно мертвом, лице мелькало выражение, которое внушало Леонардо больший страх за него, чем прежняя тяжелая болезнь.

Все еще сохраняя надежду спасти его, удалив от себя, от своего «дурного глаза»,— учитель советовал ему остаться в Милане у фра Бенедетто до совершенного выздоровления. Но Джованни молил не покидать его, взять с собою в Рим, с таким непреклонным упорством, с таким тихим отчаянием, что у Леонардо не хватило духу отказать.

Французские войска приближались к Милану. Чернь волновалась. Маленький Моро губил себя ребяческим безрассудством и своенравием. Нельзя было медлить.

Как некогда от Лоренцо Медичи к Моро, от Моро к Чезаре, от Чезаре к Содерини, от Содерини к Людовику XII, отправлялся теперь Леонардо к новому покровителю, Джулиано Медичи — со скучающей покорностью, продолжая, вечный скиталец, свои безнадежные странствия.

«23 сентября 1513 года,— отметил в дневнике своем с обычною краткостью,— выехал я из Милана в Рим, с Франческо Мельци, Салаино, Чезаре, Астро и Джованни».

ШЕСТНАДЦАТАЯ КНИГА

ЛЕОНАРДО, МИКЕЛАНДЖЕЛО и РАФАЭЛЬ

I

И папа Лев X, верный преданиям рода Медичи, сумел прослыть великим покровителем искусств и наук. Узнав о своем избрании, он сказал брату своему, Джулиано Медичи:

— Насладимся папскою властью, так как Бог нам ее даровал!

А любимый шут его, монах фра Мариано, с философической важностью прибавил:

— Заживем, святый отче, в свое удовольствие, ибо все прочее вздор!

И папа окружил себя поэтами, музыкантами, художниками, учеными. Всякий, кто умел сочинять в изобилии, хотя бы посредственные, но гладкие стихи, мог рассчитывать на жирную пребенду, на теплое местечко у его святейшества. Наступил золотой век подражателей-словесников, у которых была одна незыблемая вера — в недосягаемое совершенство прозы Цицерона и стихов Вергилия. «Мысль о том,— говорили они,— что новые поэты могут превзойти древних, есть корень всяческого нечестия».

Пастыри душ христианских избегали в проповедях называть Христа по имени, так как этого слова нет в речах Цицерона, монахинь звали весталками, Святой Дух — дыханием верховного Юпитера и просили у папы разрешения причислить Платона к лику святых.

Сочинитель *Азолани*, диалога о неземной любви, и неимоверно цинической поэмы *Приап*, будущий кардинал, Пьетро Бембо, признался, что не читает посланий апостола Павла, «дабы не испортить себе слога».

Когда Франциск I, после победы над папою, требовал у него в подарок недавно открытого Лаокоона, Лев X объявил, что скорее расстанется с головой Апостола, мощи коей хранилось в Риме, чем с Лаокооном.

Папа любил своих ученых и художников, но едва ли не больше любил своих шутов. Знаменитого стихокропателя, обжору и пьяницу, Куерно, получившего звание архипоэта, венчал в торжественном триумфе лавро-капустным венком и осыпал его такими же щедротами, как Рафаэля Санти. На роскошные пиры ученых тратил огромные доходы с Анконской Марки, Сполетто, Романьи; но сам отличался умеренностью, ибо желудок его святейшейства плохо варил. Этот эпикуреец страдал неизлечимой болезнью — гнойною фистулой. И душу его, так же как тело, разъедала тайная язва — скука. Он выписывал в зверинец свой редких животных из далеких стран, в свое собрание шутов — забавных калек, уродов и помешанных из больниц. Но развлечь его не могли ни звери, ни люди. На праздниках и пиршествах, среди самых веселых шутов, с лица его не исчезало выражение скуки и брезгливости.

Только в политике выказывал он свою истинную природу: был столь же холодно жесток и клятвопреступен, как Борджа.

Когда Лев X лежал при смерти, всеми покинутый, монах фра Мариано, любимый шут его, едва ли не единственный из друзей, оставшийся верным ему до конца, человек добрый и благочестивый, видя, что он умирает как язычник, умолял его со слезами: «Вспомните о Боге, отче святый, вспомните о Боге!» Это была невольная, но самая злая насмешка над вечным насмешником.

Несколько дней после приезда в Рим, в приемной папы, во дворце Ватикана, Леонардо ожидал очереди, уже не в первый раз, так как добиться свидания с его святейшеством даже для тех, кого сам он выразил желание видеть, было очень трудно.

Леонардо слушал беседу придворных о предполагаемом триумфе папского любимца, чудовищного карлика Барабалло, которого должны были возить по улицам на слоне, недавно присланном из Индии. Рассказывали также о новых подвигах фра Мариано, о том, как намедни за ужином, в присутствии папы, вскочив на стол, начал он бегать, при общем хохоте, ударяя кардиналов и епископов по головам и перекидываясь с ними жареными каплунами с одного конца стола на другой, так что струи подливок текли по одеждам и лицам их преподобий.

Пока Леонардо слушал рассказ, из-за дверей приемной послышалась музыка и пение. На лицах, истомленных ожиданием, выразилось еще большее уныние.

Папа был плохим, но страстным музыкантом. Концерты, в которых он всегда сам участвовал, длились бесконечно, так что приходившие к нему по делам, при звуках музыки, впадали в отчаяние.

— Знаете ли, мессере,— проговорил на ухо Леонардо сидевший рядом непризнанный поэт с голодным лицом, тщетно ожидавший очереди в течение двух месяцев,— знаете, какое есть средство добиться свидания с его святейшеством? — Объявить себя шутом. Мой старый друг, знаменитый ученый Марко Мазуро, видя, что ученостью тут ничего не поделаешь, велел папскому камерьеру доложить о себе, как о новом Барабалло — и тотчас приняли его, и он получил все, чего желал.

Леонардо не последовал доброму совету, не объявил себя шутом и снова, не дождавшись, ушел.

В последнее время испытывал он странные предчувствия. Они казались ему беспричинными. Житейские заботы, неудачи при дворе Льва X и Джулиано Медичи не беспокоили его: он давно к ним привык. А между тем зловещая тревога увеличивалась. И особенно в этот лучезарный осенний вечер, когда возвращался он домой от дворца, сердце его ныло, как перед близкой бедой.

Во второй приезд жил он там же, где и в первый, при Александре VI,— в нескольких шагах от Ватикана, позади собора Св. Петра, в узком переулке, в одном из маленьких, отдельных зданий папского Монетного Двора. Здание было ветхое и мрачное. После отъезда Леонардо во Флоренцию оставалось оно в течение нескольких лет необитаемым, отсырело и приняло еще более мрачный вид.

Он вошел в обширный сводчатый покой, с паукообразными трещинами на облупившихся стенах, с окнами, упиравшимися в стену соседнего дома, так что, несмотря на ранний ясный вечер, здесь уже стемнело.

В углу, поджав ноги, сидел больной механик Астро, строгал какие-то палочки и, по обыкновению, раскачиваясь, мурлыкал себе под нос унылую песенку:

Курлы, курлы,
Журавли да орлы,
Среди солнечной мглы,
Где не видно земли —
Журавли, журавли...
Курлы, курлы.

Сердце Леонардо еще сильнее заныло от вещей тоски.

— Что ты, Астро? — спросил он ласково, положив ему руку на голову.

— Ничего,— ответил тот и посмотрел на учителя пристально, почти разумно, даже лукаво.— Я ничего. А вот Джованни... Ну, да ведь и ему так лучше. Полетел...

— Что ты говоришь, Астро? Где Джованни?— произнес Леонардо и понял вдруг, что вещая тоска, которой ныло сердце его, была о нем, о Джованни.

Не обращая более внимания на учителя, больной начал снова строгать.

— Астро,— приступил к нему Леонардо и взял его за руку,— прошу тебя, друг мой, вспомни, что ты хотел сказать. Где Джованни? Слышишь, Астро, мне очень нужно видеть его сейчас!.. Где он? Что с ним?

— Да разве вы еще не знаете?— произнес больной.— Он там, наверху. Утомился... удалился...

Он видимо искал и не находил нужного звука, ускользавшего из памяти. Это бывало с ним часто. Он путал отдельные звуки и даже целые слова, употребляя одно вместо другого.

— Не знаете?— прибавил спокойно.— Ну, пойдем. Я покажу. Только не бойтесь. Так лучше...

Встал и, неуклюже переваливаясь на костылях, повел его по скрипучей лестнице.

Взошли на чердак.

Здесь было душно от нагретой солнцем черепичной кровли; пахло птичьим пометом и соломою. Из слухового окна проникал косой, пыльный красный луч солнца. Когда они вошли, испуганная стая голубей с шелестом крыльев вспорхнула и улетела.

— Вот,— по-прежнему спокойно молвил Астро, указывая в глубину чердака, где было темно.

И Леонардо увидел под одной из поперечных толстых балок Джованни, стоявшего прямо, неподвижно, странно вытянувшегося и как будто глядевшего на него в упор широко раскрытыми глазами.

— Джованни!— вскрикнул учитель и вдруг побледнел, голос пресекся.

Он бросился к нему, увидел страшно искаженное лицо, прикоснулся к руке его, она была холодна. Тело качнулось: оно висело на крепком шелковом шнурке, одном из тех, какие употреблял учитель для своих летательных машин, привязанном к новому железному крюку, видимо, недавно ввинченному в балку. Тут же лежал кусок мыла, которым самоубийца, должно быть, намылил петлю.

Астро, снова забывшись, подошел к слуховому окну и заглянул в него.

Здание стояло на пригорке. С вышины открывался вид на черепичные крыши, башни, колокольни Рима, на волнистую, как море, мутно-зеленую равнину Кампаньи в лучах заходящего солнца, с длинными, черными, кое-где обрывавшимися нитями римских акведуков, на горы Альбано, Фраскати, Рокка-ди-Папа, на чистое небо, где реяли ласточки.

Он смотрел, полузакрыв глаза, и, с блаженной улыбкой, раскачиваясь, махал руками, точно крыльями:

Курлы, курлы,
Журавли да орлы...

Леонардо хотел бежать, звать на помощь, но не мог пошевелиться и стоял, в оцепенении ужаса, между двумя учениками своими — мертвым и безумным. . . . .
. . . .

Через несколько дней, разбирая бумаги покойного, учитель нашел среди них дневник. Он прочел его внимательно.

Тех противоречий, от которых Джованни погиб, Леонардо не понял, только почувствовал еще яснее, чем когда-либо, что был причиной этой гибели — «сглазил», «испортил» его, отравил плодами Древа Познания.

Особенно поразили его последние строки дневника, писанные, судя по разнице в цвете чернил и почерке, после многолетнего перерыва:

«Намедни, в обители фра Бенедетто, монах, приехавший с Афона, показывал мне в древнем пергаментном свитке, в раскрашенном заставном рисунке, Иоанна Предтечу Крылатого. Таких изображений в Италии нет; взято с греческих икон.— Члены тонки и длинны. Лик странен и страшен. Тело, покрытое мохнатой одеждой верблюжьего волоса, кажется пернатым, как у птицы.— «Вот, Я посылаю Ангела Моего и он приготовит путь предо Мною, и внезапно пройдет во храм Свой Господь, Которого вы ждете, и Ангел завета, Которого вы желаете. Вот Он идет». Пророк Малахия III, 1.— Но это не ангел, не дух, а человек с исполинскими крыльями.

В 1503 году, в последний год царствования Багряного Зверя, папы Александра VI Борджа, августинский монах Томас Швейниц в Риме говорил о полете Антихриста:

«И тогда сидящий на престоле во храме Сионском Бога Всевышнего, Зверь, похитивший с неба огонь, ска-

жет людям: «Зачем смущаетесь и чего хотите? О, род неверный и лукавый, знаменья хотите — и будет вам знаменье: се, узрите Сына Человеческого, грядущего на облаках судить живых и мертвых». Так скажет Он и возьмет великие огненные крылья, устроенные хитростью бесовскою, и вознесется в громах и молниях, окруженный учениками своими в образе ангелов,— и полетит».

Следовали отрывочные, писанные, видимо, дрожавшею рукою, во многих местах зачеркнутые слова:

«Подобие Христа и Антихриста — совершенное подобие. Лик Антихриста в лике Христа, лик Христа в лике Антихриста. Кто отличит? Кто не соблазнится? Последняя тайна — последняя скорбь, какой не было в мире».

«В Орвьетском соборе, в картине Лука Синьорелли — развеваемые ветром, складки в одежде Антихриста, летящего в бездну. И точно такие же складки, похожие на крылья исполинской птицы,— за плечами Леонардо, когда стоял он у края пропасти, на вершине Монте-Альбано, над селением Винчи».

На последней странице, в самом низу, опять другим почерком, должно быть, снова после долгого перерыва, было написано:

«Белая Дьяволица — всегда, везде. Будь она проклята! Последняя тайна: два — едино. Христос и Антихрист — едино. Небо вверху и небо внизу.— Да не будет, да не будет сего! Лучше смерть. Предаю душу мою в руки Твои, Боже мой! Суди меня».

Дневник кончился этими словами. И Леонардо понял, что они были написаны накануне или в самый день самоубийства.

II

В одном из приемных покоев Ватикана, в так называемой Станца делла Сеньятура, с недавно оконченною стенописью Рафаэля, под фрескою, изображавшею бога Аполлона среди муз на Парнасе, сидел папа Лев X, окруженный сановниками Римской церкви, учеными, поэтами, фокусниками, карликами, шутами.

Огромное тело его, белое, пухлое, как у старых женщин, страдающих водянкою, лицо толстое, круглое, бледное, с белесоватыми лягушачьими глазами навыкате, были безобразны; одним глазом он почти совсем не видел, другим видел плохо, и когда ему надо было что-нибудь рассмотреть, употреблял, вместо приближающего стекла, гра-

ненный берилловый очек — «окиале»; в зрячем глазу светился ум, холодный, ясный и безнадежно скучающий. Гордостью папы были руки его, действительно красивые: при каждом удобном случае он выставлял их напоказ и хвастал ими, так же как своим приятным голосом.

После делового приема святой отец отдыхал, беседуя с приближенными о двух новых поэмах.

Обе написаны были безукоризненно изящными латинскими стихами в подражание «Энеиде» Вергилия. Одна под заглавием «Христиада» — переложение Евангелия, с модным в те времена смещением христианских и языческих образов: так, Святое Причастие называлось «божественною пищею, скрытою для слабого зрения людей под видом Цереры и Вакха», то есть хлеба и вина; Диана, Фетида, Эол оказывали услуги Божией Матери; когда архангел Гавриил благовествовал в Назарете, Меркурий подслушивал у двери и передавал эту весть собранию олимпийцев, советуя принять решительные меры.

Другая поэма Фракастора, озаглавленная «Siphilis», посвященная будущему кардиналу Пьетро Бембо, тому самому, который избегал читать послания апостола Павла, дабы «не испортить себе слога», воспевала столь же безупречными стихами во вкусе Вергилия французскую болезнь и способы лечения серными ваннами и ртутной мазью. Происхождение болезни объяснялось, между прочим, тем, что однажды, в древние времена, некий пастух, по имени Siphilis, своими насмешками прогневил бога Солнца, который наказал его недугом, не уступавшим никакому лечению, пока нимфа Америка не посвятила его в свои таинства и не привела к роще целебных гваяковых деревьев, серному источнику и ртутному озеру. Впоследствии испанские путешественники, переплыв океан и открыв Новые Земли, где обитала нимфа Америка, также оскорбили бога Солнца, застрелив на охоте посвященных ему птиц, из коих одна провещала человечьим голосом, что за это святотатство Аполлон пошлет им французскую болезнь.

Папа прочел наизусть несколько отрывков из обеих поэм. Особенно удалась ему речь Меркурия перед богами Олимпа о благовестии Архангела и любовная жалоба пастуха Сифила, обращенная к нимфе Америке.

Когда при шепоте восторженных похвал и почтительно сдержанных, как бы нечаянно сорвавшихся, рукоплесканиях он кончил, ему доложили о Микеланджело, недавно приехавшем из Флоренции.

Папа немного нахмурился, но тотчас же велел его принять.

Сумрачный Буонарроти внушал Льву X чувство, подобное страху. Он предпочитал веселого, готового на все, покладистого «доброго малого», Рафаэля.

Папа принял Микеланджело со своею неизменною скучающею любезностью. Но, когда художник заговорил о деле, в котором считал себя смертельно обиженным, о данном ему и внезапно отнятом заказе нового мраморного фасада флорентийской церкви Сан-Лоренцо, святой отец замял разговор и, привычным движением вставив в свой зрячий глаз берилловый очек, посмотрел на него с добродушием, под которым скрывалось насмешливое лукавство, и молвил:

— Мессер Микеланджело, есть у нас одно дельце, о котором мы хотели бы знать твое мнение: брат наш, герцог Джулиано, советует нам воспользоваться для какой-либо работы твоим земляком, флорентинцем Леонардо да Винчи. Скажи, сделай милость, что ты думаешь о нем, и какую работу было бы всего пристойнее поручить этому художнику?

Угрюмо потупив глаза и, по обыкновению, мучаясь под устремленными на него любопытными взорами, от непреодолимой робости и сознания своего уродства, Микеланджело молчал. Но папа смотрел на него пристально в берилловый очек, ожидая ответа.

— Вашему святейшеству,— произнес, наконец, Буонарроти,— может быть, неизвестно, что многие считают меня врагом мессера да Винчи. Правда это, или нет,— я полагаю, что мне всего менее прилично быть судьею в этом деле и высказывать какое бы то ни было мнение, дурное или хорошее.

— Клянусь Вакхом,— оживляясь и, видимо, готовя что-то забавное, воскликнул папа,— если бы даже это было действительно так, тем более желали бы мы знать твое мнение о мессере Леонардо, ибо другого кого, а тебя не считаем способным к пристрастию и не сомневаемся, что в суждении о враге сумеешь ты выказать благородство, не меньшее, чем в суждении о друге. Но никогда, впрочем, я не верил и не поверю тому, что вы в самом деле — враги. Полно! Такие художники, как ты и он, не могут не быть выше всякого тщеславия. И что вам делить, из-за чего соперничать? А если и было между вами что-нибудь,— зачем об этом вспоминать? Не лучше ли жить в мире? Говорят, в согласии малое растет, в раздоре умаля-

ется великое. И неужели, сын мой, если бы я, твой отец, пожелал соединить ваши руки, неужели ты отказал бы мне, не подал бы ему руки своей?

Глаза Буонарроти блеснули; как это часто бывало с ним, робость мгновенно превратилась в ярость.

— Я не подаю руки изменникам!— проговорил он глухо и отрывисто, едва владея собой.

— Изменникам?— подхватил папа, еще более оживляясь.— Тяжкое обвинение, Микеланджело, тяжкое, и мы уверены, что ты не решился бы высказать его, не имея доказательств...

— Никаких доказательств нет у меня, да их и не надо! Я говорю то, что знают все. Пятнадцать лет был он прихвостнем герцога Моро, того, кто первый призвал на Италию варваров и предал им отечество. Когда же Господь наказал тирана заслуженною казнью и он погиб, Леонардо перешел на службу к еще большему негодяю — Чезаре Борджа, и, будучи гражданином Флоренции, снимал военные карты с Тосканы, дабы облегчить врагу завоевание собственной родины.

— Не судите, да не судимы будете,— молвил папа с тихою усмешкою.— Ты забываешь, друг мой, что мессер Леонардо — не воин, не государственный муж, а только художник. Служители вольных Камен не имеют ли права на бо́льшую свободу, чем прочие смертные? Какое дело до политики, до вражды народов и государей — вам, художникам, обитателям области высшей, где нет ни рабов, ни свободных, ни иудея, ни эллина, ни варвара, ни скифа, но всяческая и во всех — Аполлон? Подобно древним философам, не могли бы ли и вы назвать себя гражданами вселенной, для коих, где хорошо — там и отечество?

— Извините меня, ваше святейшество,— прервал его Микеланджело почти с грубостью.— Я человек простой, не словесный, тонкостей философических не разумею. Белое привык называть белым, черное — черным. И презреннейшим из негодяев кажется мне тот, кто не чтит своей матери, отрекается от родины. Я знаю, мессер Леонардо считает себя выше всех законов человеческих. Но по какому праву? Он все обещает, собирается мир удивить чудесами. Не пора ли и за дело? Где они, чудеса его и знамения? Уж не эти ли шутовские крылья, на которых вздумал лететь один из учеников его, и как дурак, сломал себе шею? Доколе же нам верить ему на слово? Не вправе ли и мы, простые смертные, усомниться и полюбопыт-

ствовать, что же такое скрывается, наконец, под всеми загадками его и тайнами?.. Э, да что говорить! В старину, бывало, проходимцев так и величали проходимцами, негодяев негодяями, а нынче зовут их мудрецами, гражданами вселенной, и скоро, кажется, не будет такого плута и бездельника, который бы не корчил из себя бога Гермеса Триждывеликого и титана Прометея!..

Папа, уставившись на Микеланджело своими светлыми лягушачьими глазами, спокойно и холодно наблюдал его, и, размышляя о тщете всего земного, о суете суетствий, созерцал унижение гордого, ничтожество великого. Он уже мечтал о том, как бы свести обоих соперников, натравить их друг на друга, устроить зрелище невиданное, вроде петушиного боя в исполинских размерах — философскую потеху, которой бы он, любитель всего редкого и чудовищного, наслаждался с таким же эпикурейским, немного брезгливым и скучающим любопытством, как дракой шутов своих, калек, юродивых, обезьян и карликов.

— Сын мой,— произнес, наконец, с тихим, грустным вздохом,— я вижу теперь, что вражда, которой до сей поры не хотелось нам верить, действительно есть между вами, и удивлен, да, признаюсь, удивлен и опечален суждением твоим о мессере Леонардо. Как же так, Микеланджело, помилуй! Мы слышали о нем столько хорошего; не говоря уже о великом искусстве и учености,— сердце, говорят, у него такое доброе, что не только людей, но и тварей бессловесных, даже растения жалеет он, не позволяет, чтобы люди причиняли им какой-либо вред,— подобно мудрецам индийским, именуемым гимнософистами, о коих путешественники рассказывают нам столько чудесного...

Микеланджело молчал, отвернувшись. Лицо его порой искажалось злобною судорогой. Он чувствовал, что папа над ним издевается. Стоявший рядом и внимательно следивший за беседою Пьетро Бембо понял, что шутка может плохо кончиться; Буонарроти неудобен для игры, затеянной папою. Ловкий царедворец вступился тем охотнее, что и сам недолюбливал Леонардо, по слухам, за его насмешки над словесниками, «подражателями древних», «воронами в чужих перьях».

— Ваше святейшество,— произнес он,— может быть, в словах мессера Микеланджело есть доля правды; по крайней мере, о Леонардо ходят слухи столь противоречивые, что, в самом деле, не знаешь порой, чему верить.

Тварей, говорят, милует, от мяса не вкушает; а вместе с тем изобретает смертоносные орудия для истребления рода человеческого и любит провожать преступников на казнь, наблюдая в их лицах выражение последнего ужаса. Я слышал также, что ученики его и Марко-Антонио для анатомических сечений не только воровали трупы из больниц, но откапывали их из земли на христианских кладбищах.— Кажется, впрочем, во все времена великим ученым свойственны были необычайные странности: так древние повествуют о знаменитых александрийских естествоиспытателях Эразистрате и Герофиле, которые, будто бы, производили свои анатомические сечения над живыми людьми, преступниками, осужденными на казнь, оправдывая жестокость к людям любовью к знанию, о чем свидетельствует Цельзий: Herophylus homine odit ut nosset. Герофил людей ненавидел, чтобы знать...

— Молчи, молчи, Пьетро! С нами сила Господня!— остановил его папа уже в непритворном смятении.— Живых людей резать — славная наука, нечего сказать!.. Никогда не смей нам говорить об этих мерзостях. И ежели мы только узнаем, что Леонардо...

Не кончил и набожно перекрестился. Все толстое, пухлое тело его заколыхалось.

Будучи скептиком, Лев X в то же время был суеверен, как старая женщина. В особенности же боялся черной магии. Одной рукой награждая сочинителей таких поэм, как «Сифилис» и «Приап», другой скреплял полномочия великого инквизитора, фра Джорджо да Казале для борьбы с колдунами и ведьмами.

Услышав о краже мертвых тел из могил, вспомнил только что полученный донос, на который сперва не обратил внимания,— одного из людей Джулиано Медичи, немецкого зеркальщика Иоганна, жившего в доме Леонардо и обвинявшего мастера в том, что, под предлогом анатомии, на самом деле, для черной магии, он вырезывает зародыши из трупов беременных женщин.

Ужас папы длился впрочем не долго: по уходе Микеланджело устроен был концерт, в котором особенно удалась его святейшеству трудная ария, что всегда приводило его в доброе расположение духа; затем, во время полдника, учреждая в шутовском совете порядок триумфального шествия карлика Барабалло на слоне, он окончательно развлекся и забыл о Леонардо.

Но на следующий день настоятель Сан-Спирито, где в монастырской больнице художник занимался анатомией,

получил строжайшее внушение — не давать ему трупов, не пускать в больничные покои, вместе с напоминанием буллы Бонифация VIII De sepulturis, запрещавшей, под страхом церковного отлучения, вскрытие человеческих тел, без ведома Апостолической Курии.

III

После смерти Джованни Леонардо стал тяготиться пребыванием в Риме.

Неизвестность, ожидание, вынужденное бездействие утомили его. Обычные занятия — книги, машины, опыты, живопись — опротивели.

В долгие осенние вечера, когда в доме, теперь еще более мрачном, наедине с безумным Астро и тенью Джованни, становилось ему слишком жутко, уходил он в гости к мессеру Франческо Веттора, флорентинскому посланнику, который переписывался с Никколо Макиавелли, рассказывал о нем и давал читать его письма художнику.

Судьба по-прежнему преследовала Никколо. Мечта всей жизни его — созданное им народное ополчение, от которого ждал он спасения Италии, оказалось никуда не годным: при осаде Прато в 1512 году под первыми испанскими ядрами разбежалось оно на глазах его, как стадо баранов. Когда вернулись Медичи, Макиавелли отставили от должности, «низложили, удалили и лишили всего». Вскоре затем открыт был заговор для восстановления Республики и низвержения тиранов. Никколо в нем участвовал. Его схватили, судили, пытали, четыре раза подымали на виску. Пытки вынес он с мужеством, которого, по собственному признанию, «не ожидал от себя». Отпустив на поруки, оставили под надзором и запретили в течение года переезжать границу Тосканы. Он впал в такую нищету, что должен был покинуть Флоренцию и поселиться на маленьком наследственном клочке земли в горном селении, близ Сан-Кашьяно, милях в десяти от города, по Римской дороге. Но и здесь, после всех испытанных бедствий, не угомонился: из пламенного республиканца обернулся вдруг столь же пламенным другом тиранов, с искренностью, свойственной ему в этих внезапных превращениях, переходах от одной крайности к другой. Еще сидя в тюрьме, обращался к Медичи с покаянными и хвалебными посланиями в стихах. В книге «О Государе», посвященной Лоренцо Великолепному, племяннику Джулиано, предлагал, как высший образец государственной

мудрости, Чезаре Борджа, тогда уже умершего в изгнании, некогда им же самим столь жестоко развенчанного и теперь снова окруженного ореолом почти сверхчеловеческого величия, сопричисленного к лику бессмертных героев. Втайне чувствовал Макиавелли, что сам себя обманывает: мещанское самодержавие Медичи столь же противно ему, как мещанская республика Содерини; но, уже не в силах будучи отказаться от этой последней мечты, он хватался за нее, как утопающий за соломинку. Больной, одинокий, с незажившими на руках и ногах рубцами от веревок, которыми вздергивали его на дыбу, молил Веттори похлопотать за него у папы, у Джулиано, достать ему «хоть какое-нибудь местечко, потому что бездействие для него страшнее смерти: только бы приняли его опять на службу — он готов на всякую работу, хоть камни ворочать».

Чтобы не надоесть покровителю вечными просьбами и жалобами, Никколо старался иногда позабавить его шутками и рассказами о своих любовных похождениях. В пятьдесят лет, отец голодной семьи, он был или притворялся влюбленным, как школьник. «Я отложил в сторону все умные, важные мысли: ни повествования о подвигах древности, ни разговоры о современной политике не занимают меня: я люблю».

Когда Леонардо читал эти игривые послания, ему приходили на память слова Никколо, однажды сказанные в Романье, при выходе из игорного притона, где кривлялся он, как шут, перед испанскою сволочью: «Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет». Порой и в этих письмах, среди эпикурейских советов, любовных излияний и бесстыдно-цинического смеха над самим собою вырывался крик отчаяния:

«Неужели ни одна живая душа не вспомнит обо мне? Если вы еще любите меня, мессер Франческо, как любили когда-то, то не могли бы видеть без негодования ту бесславную жизнь, которой я теперь живу».

В другом письме описывал так свою жизнь:

«Охота на дроздов была доселе главным моим развлечением. Я вставал до света, собственноручно прилаживал силки и выходил из дому, нагруженный клетками, уподобляясь Гэте вольноотпущеннику, который с книгами Амфитриона возвращается из гавани. Обыкновенно я брал не меньше двух, не более шести дроздов.— Так провел я сентябрь. Потом и этой забавы не стало, и, сколь ни была она глупа, я пожалел о ней.

Теперь встаю несколько позже, отправляюсь в рощу мою, которую рубят, остаюсь в ней часа два, осматривая вчерашнюю работу и болтая с дровосеками. Затем иду к колодцу; оттуда в лес, где прежде охотился. Со мной всегда какая-нибудь книга — Данте, Петрарка, Тибулл или Овидий. Читая их страстные жалобы, думаю о собственных делах сердечных и нахожу недолгое, но сладкое забвение в этих грезах. Потом иду в гостиницу на большой дороге, беседую с проезжими, слушаю новости, наблюдая человеческие вкусы, привычки и прихоти. Когда наступает обеденный час, возвращаюсь домой, сажусь за стол с домашними, утоляю голод теми скромными блюдами, которые дозволяют скудные доходы с имения. После обеда опять бреду в гостиницу. Тут уже в сборе целое общество: хозяин, мельник, мясник, двое пекарей. Всю остальную часть дня провожу с ними, играя в шашки, кости, крикку. Спорим, горячимся, бранимся, большею частью из-за гроша, и так шумим, что слышно в Сан-Кашьяно.

Вот в какой грязи я утопаю, заботясь об одном, как бы не заплесневеть окончательно или с ума не сойти от скуки, предоставляя, впрочем, судьбе топтать меня ногами, делать со мной все, что ей угодно, дабы знать наконец, есть ли предел ее бесстыдству.

Вечером иду домой. Но перед тем, чтобы запереться в комнате, снимаю с себя грязное, будничное платье, надеваю придворные или сенаторские одежды и в этом пристойном наряде вступаю в чертоги древности, где великие мудрецы и герои встречают меня с благосклонностью, где питаюсь я пищею, для которой рожден,— не смущаясь, беседую с ними, спрашиваю, узнаю причины их действий, и, по доброте своей, они отвечают мне, как равному. В течение нескольких часов не скучаю, не боюсь ни бедности, ни смерти, забываю все мои страдания и весь живу в прошлом. Потом записываю все, что узнал от них, и сочиняю таким образом книгу «О Государе».

IV

Читая эти письма, Леонардо чувствовал, как Никколо, несмотря на всю противоположность ему, близок. Он вспомнил его пророчество, что судьба у них общая: оба они останутся навеки бездомными скитальцами в этом мире, где «нет никого, кроме черни». В самом деле, жизнь Леонардо в Риме была такая же бесславная, как жизнь Макиавелли в захолустье Сан-Кашьяно — та же скука,

то же одиночество, вынужденное бездействие, которое страшнее всякой пытки, то же сознание силы своей и ненужности людям. Так же как Никколо, предоставлял он судьбе топтать его ногами, делать с ним все, что ей угодно, только с большею покорностью, не желая даже знать, есть ли предел ее бесстыдству, ибо давно уже уверился, что этого предела нет.

Лев X, занятый триумфом шута Барабалло, все еще не удосужился принять Леонардо и, чтобы отделаться от него, поручил ему усовершенствовать чеканный станок на папском Монетном Дворе. По обыкновению не брезгая никакой работой, даже самою скромною, художник исполнил заказ в совершенстве — изобрел такую машину, что монеты, прежде с неровными, зазубренными краями, теперь выходили безукоризненно круглые.

В это время дела его, вследствие прежних долгов, были в таком расстройстве, что большая часть жалованья уходила на уплату процентов. Если бы не помощь Франческо Мельци, который получил от отца наследство, Леонардо терпел бы крайнюю нужду.

Летом 1514 года заболел он римской малярией. Это была первая трудная болезнь во всю его жизнь. Лекарств не принимал, врачей не допускал к себе. Один Франческо ухаживал за ним, и с каждым днем Леонардо привязывался к нему все более и более, ценил простую любовь его, и порой казалось учителю, что Бог послал ему в нем последнего друга, ангела-хранителя, посох бездомной старости.

Художник чувствовал, что о нем забывают, и делал иногда напрасные попытки напомнить о себе. Больной, писал он своему покровителю, Джулиано Медичи, приветственные письма, с обычною в те времена, плохо удававшеюся, придворною любезностью:

«Когда узнал я о вашем столь желанном выздоровлении, знаменитейший государь мой, радость моя была столь велика, что она меня самого исцелила, как бы чудом воскресила из мертвых».

К осени малярия прошла. Но все еще оставалось недомогание и слабость. В течение нескольких месяцев после смерти Джованни Леонардо опустился и постарел, как будто за долгие годы.

Странное малодушие, тоска, подобная смертельной усталости, овладевали им все чаще.

По-видимому с жаром принимался иногда за какое-нибудь прежде любимое дело — математику, анатомию,

живопись, летательную машину — но тотчас бросал; начинал другое, чтобы и его покинуть с отвращением.

В самые черные дни свои вдруг увлекался детскими забавами.

Тщательно вымытые и высушенные бараньи кишки, такие мягкие и тонкие, что могли бы уместиться в горсти руки, соединял через стену с кузнечными мехами, спрятанными в соседней комнате, и, когда они раздувались исполинскими пузырями, так что испуганный зритель должен был отступать и жаться в угол,— сравнивал их с добродетелью, которая тоже вначале кажется малою, презренною, но, постепенно разрастаясь, наполняет мир.

Огромную ящерицу, найденную в саду Бельведера, облепил красивыми рыбьими и змеиными чешуями, приделал ей рога, бороду, глаза, крылья, наполненные ртутью, трепетавшие при каждом движении зверя, посадил его в ящик, приручил и стал показывать гостям, которые, принимая это чудовище за дьявола, отпрядывали в ужасе.

Или из воска лепил маленьких сверхъестественных животных с крыльями, наполнял теплым воздухом, отчего они делались такими легкими, что подымались и реяли. А Леонардо, наслаждаясь удивлением или суеверным страхом зрителей, торжествовал и в суровых морщинах лица его, в тусклых, печальных глазах мелькало вдруг что-то простодушное, детски веселое, но вместе с тем такое жалкое в этом старом, усталом лице, что сердце у Франческо обливалось кровью.

Однажды нечаянно услышал он, как Чезаре да Сесто говорил, провожая гостей, как учитель вышел из комнаты:

— Так-то, мессеры. Вот какими игрушками нынче мы занимаемся. Что греха таить? Старичок-то наш из ума выжил, в детство впал, бедненький. Начал с крыльев человеческих, кончил летающими восковыми куколками. Гора мышь родила!

И прибавил, рассмеявшись своим злобным, принужденным смехом:

— Удивляюсь я папе: ведь в чем другом, а в шутах да юродивых знает, кажется, толк. Мессер Леонардо истинный клад для него. Они точно созданы друг для друга. Право же, синьоры, похлопочите-ка за мастера, чтобы святой отец принял его на службу. Не бойтесь, останется доволен: старик наш сумеет его утешить лучше самого фра Мариано и даже карлика Барабалло!

Шутка эта была ближе к истине, чем можно было думать: когда слухи о фокусах Леонардо, о бараньих кишках, раздуваемых кузнечными мехами, о крылатой ящерице и летающих восковых изваяниях дошли до Льва X, ему так захотелось видеть их, что даже страх, внушаемый колдовством и безбожием Леонардо, папа готов был забыть. Ловкие царедворцы давали понять художнику, что наступило время действовать: судьба посылает ему случай сделаться соперником не только Рафаэля, но и самого Барабалло в милостях его святейшества. Но Леонардо снова, как уже столько раз в жизни, не внял совету мудрости житейской — не сумел воспользоваться случаем и ухватиться вовремя за колесо Фортуны.

Угадывая чутьем, что Чезаре — враг Леонардо, Франческо предостерегал учителя; но тот не верил.

— Оставь его, не трогай,— заступался он за Чезаре.— Ты не знаешь, как он любит меня, хотя и желал бы ненавидеть. Он такой же несчастный, даже несчастнее, чем...

Леонардо не кончил. Но Мельци понял, что он хотел сказать: несчастнее, чем Джованни Бельтраффио.

— И мне ли судить его?— продолжал учитель.— Я, может быть, сам виноват перед ним...

— Вы — перед Чезаре?— изумился Франческо.

— Да, друг мой. Ты этого не поймешь. Но мне кажется иногда, что я сглазил, испортил его, потому что, видишь ли, мальчик мой, у меня, должно быть, в самом деле дурной глаз...

И, немного подумав, прибавил с тихою, доброю улыбкою:

— Оставь его, Франческо, и не бойся: он не сделает мне зла и никуда не уйдет от меня, никогда не изменит. А что возмутился он и борется со мной, то ведь это — за душу свою, за свободу, потому что он ищет себя, хочет быть самим собою. И пусть! Помоги ему Господь,— ибо, я знаю, когда он победит, то вернется ко мне, простит меня, поймет, как я его люблю, и тогда я дам ему все, что имею,— открою все тайны искусства и знания, чтобы он, после смерти моей, проповедовал их людям. Потому что, если не он, то кто же?..

Еще летом, во время болезни Леонардо, Чезаре целыми неделями пропадал из дому. Осенью исчез окончательно и более не возвращался.

Заметив его отсутствие, Леонардо спросил о нем Франческо. Тот потупил глаза в смущении и ответил, что Чезаре уехал в Сиену для исполнения спешного заказа.

Франческо боялся, что Леонардо станет расспрашивать, почему уехал он, не простившись. Но, поверив или притворяясь, что верит неискусной лжи, учитель заговорил о другом. Только углы губ его дрогнули и опустились с тем выражением горькой брезгливости, которое все чаще в последнее время стало появляться на лице его.

V

Осень была дождливая. Но в конце ноября наступили солнечные дни, лучезарно-тихие, которые нигде не бывают так прекрасны, как в Риме: пышное увядание осени родственно пустынному великолепию Вечного Города.

Леонардо давно уже собирался в Сикстинскую часовню, чтобы видеть фрески Микеланджело. Но все откладывал, словно боялся. Наконец однажды утром вышел из дому вместе с Франческо и направился в часовню.

Это было узкое, длинное, очень высокое здание, с голыми стенами и стрельчатыми окнами. На потолке и на сводах были только что оконченные фрески Микеланджело.

Леонардо взглянул на них и замер. Как ни боялся, все-таки не ожидал того, что увидел.

Перед исполинскими образами, как будто видениями бреда — перед Богом Саваофом, отделяющим тьму от света в лоне хаоса, благословляющим воды и растения, творящим Адама из персти, Еву из ребра Адамова; перед грехопадением, жертвой Авеля и Каина, потопом, насмешкою Сима и Хама над наготою спящего родителя; перед голыми прекрасными юношами, стихийными демонами, сопровождающими вечною игрою и пляскою трагедию вселенной, борьбу человека и Бога; перед сивиллами и Пророками, страшными гигантами, как будто отягченными сверхчеловеческою скорбью и мудростью; перед Иисусовыми предками, рядом темных поколений, передающих друг другу бесцельное бремя жизни, томящихся в муках рождения, питания, смерти, ожидающих пришествия Неведомого Искупителя,— перед всеми этими созданиями своего соперника Леонардо не судил, не мерил, не сравнивал, только чувствовал себя уничтоженным. Перебирал в уме свои собственные произведения: погибающая Тайная Вечеря, погибший Колосс, Битва при Ангиари, бесчисленное множество других неоконченных работ — ряд тщетных усилий, смешных неудач, бесславных поражений. Всю жизнь только начинал, собирался, готовился, но до-

селе ничего не сделал — и к чему себя обманывать? — теперь уже поздно,— никогда ничего не сделает. Несмотря на весь неимоверный труд своей жизни, не был ли он подобен лукавому рабу, зарывшему талант свой в землю?

И в то же время сознавал, что стремился к большему, к высшему, чем Буонарроти,— к тому соединению, к той последней гармонии, которых тот не знал и знать не хотел в своем бесконечном разладе, возмущении, буйстве и хаосе. Леонардо вспомнил слова моны Лизы о Микеланджело — о том, что сила его подобна бурному ветру, раздирающему горы, сокрушающему скалы пред Господом, и что он, Леонардо, сильнее Микеланджело, как тишина сильнее бури, потому что в тишине, а не в буре — Господь. Теперь ему было яснее, чем когда-либо, что это так: мона Лиза не ошиблась, рано или поздно дух человеческий вернется на путь, указанный им, Леонардо, от хаоса к гармонии, от раздвоения к единству, от бури к тишине. Но все-таки, как знать, на сколько времени останется победа за Буонарроти, сколько поколений увлечет он за собою?

И сознание правоты своей в созерцании делало для него еще более мучительным сознание своего бессилия в действии.

Молча вышли они из часовни.

Франческо угадывал то, что происходило в сердце учителя, и не смел расспрашивать. Но, когда заглянул в лицо его, ему показалось, что Леонардо еще больше опустился, как будто сразу постарел, одряхлел на многие годы за тот час, который пробыли они в Сикстинской Капелле.

Перейдя через площадь Сан-Пьетро, они направились по улице Борго-Нуово к мосту Сант-Анжело.

Теперь учитель думал о другом сопернике, быть может, не менее страшном для него, чем Буонарроти — о Рафаэле Санти.

Леонардо видел недавно оконченные фрески Рафаэля, в верхних приемных покоях Ватикана, так называемых Станцах, и не мог решить, чего в них больше,— величия в исполнении, или ничтожества в замысле, неподражаемого совершенства, напоминавшего самые легкие и светлые создания древних, или раболепного заискивания в сильных мира сего? Папа Юлий II мечтал об изгнании французов из Италии: Рафаэль представил его взирающим на изгнание силами небесными оскорбителя святыни, сирийского вождя Элиодора из храма Бога Всевышнего;

папа Лев X воображал себя великим оратором: Рафаэль прославил его в образе Льва I Великого, увещевающего варвара Атиллу отступить от Рима; попавшись в плен к французам во время Равеннской битвы, Лев X благополучно спасся: Рафаэль увековечил это событие под видом чудесного избавления апостола Петра из темницы.

Так превращал он искусство в необходимую часть папского двора, в приторный фимиам царедворческой лести.

Этот пришелец из Урбино, мечтательный отрок, с лицом непорочной Мадонны, казавшийся ангелом, слетевшим на землю, как нельзя лучше устраивал свои земные дела: расписывал конюшни римскому банкиру Агостино Киджи, готовил рисунки для его посуды, золотых блюд и тарелок, которые тот, после угощения папы, бросал в Тибр, дабы они больше никому не служили. «Счастливый мальчик» — fortunato garzon, как называл его Франчиа, достигал славы, богатства, почестей точно играя. Злейших врагов и завистников обезоруживал любезностью. Не притворялся, а был действительно другом всех. И все удавалось ему; дары фортуны как будто сами шли ему в руки: получил выгодное место покойного зодчего Браманте при постройке нового собора; доходы его росли с каждым днем; кардинал Биббиена сватал за него свою племянницу, но он выжидал, так как ему самому обещали кардинальский пурпур. Выстроил себе изящный дворец в Борго и зажил в нем с царственною пышностью. С утра до ночи толпились у него в передней сановные лица, посланники иностранных государей, желавших иметь свой портрет или, по крайней мере, какую-нибудь картину, рисунок на память. Заваленный работою, отказывал всем. Но просители не унимались, осаждали его. Давно уже не имел он времени кончать своих произведений; только начинал, делал два, три мазка и тотчас передавал ученикам, которые подхватывали и кончали как бы на лету. Мастерская Рафаэля сделалась огромною фабрикою, где ловкие дельцы, как Джулио Романо, превращали холст и краски в звонкую монету с неимоверною быстротою, с рыночною наглостью. Сам он уже не заботился о совершенстве, довольствуясь посредственным. Служил черни, и она ему служила, принимала его с восторгом, как своего избранника, свое любимое детище, плоть от плоти, кость от кости, порождение собственного духа. Молва объявила его величайшим художником всех веков и народов: Рафаэль стал богом живописи.

И хуже всего было то, что в своем падении он все еще был велик, обольстительно прекрасен, не только для толпы, но и для избранных. Принимая блестящие игрушки из рук богини счастья, с простодушною беспечностью, оставался чистым и невинным, как дитя. «Счастливый мальчик» сам не ведал, что творит.

И пагубнее для грядущего искусства, чем разлад и хаос Микеланджело, была эта легкая гармония Санти, академически-мертвое, лживое примирение.

Леонардо предчувствовал, что за этими двумя вершинами, за Микеланджело и Рафаэлем, нет путей к будущему — далее обрыв, пустота. И в то же время сознавал, сколь многим оба обязаны ему: они взяли у него науку о тени и свете, анатомию, перспективу, познание природы, человека — и, выйдя из него, уничтожали его.

Погруженный в эти мысли, шел он по-прежнему, словно в забытьи, потупив глаза, опустив голову.

Франческо пытался заговорить с ним, но слова замирали каждый раз, как, вглядываясь в лицо учителя, видел на бледных старческих губах выражение тихой бесконечной брезгливости.

Подходя к мосту Сант-Анжело, должны они были посторониться, уступая дорогу толпе человек в шестьдесят, пеших и всадников в роскошных нарядах, которая двигалась навстречу по тесной улице Борго-Нуово.

Леонардо взглянул сначала рассеянно, думая, что это поезд какого-нибудь римского вельможи, кардинала или посланника. Но его поразило лицо молодого человека, одетого роскошнее других, ехавшего на белой арабской лошади с позолоченной сбруей, усыпанной драгоценными каменьями. Где-то, казалось ему, он уже видел это лицо. Вдруг вспомнил тщедушного, бледного мальчика в черном камзоле, запачканном красками, с истертыми локтями, который лет восемь назад во Флоренции говорил ему с робким восторгом: «Микеланджело недостоин развязать ремень вашей обуви, мессер Леонардо!»— Это был он, теперешний соперник Леонардо и Микеланджело, «бог живописи» — Рафаэль Санти.

Лицо его, хотя все такое же детское, невинное и бессмысленное, уже несколько менее, чем прежде, походило на лицо херувима — едва заметно пополнело, отяжелело и обрюзгло.

Он ехал из своего палаццо в Борго на свидание к папе в Ватикан, сопровождаемый, по обыкновению, друзьями, учениками и поклонниками: никогда не случалось ему

выезжать из дома, не имея при себе почетной свиты человек в пятьдесят, так что каждый из этих выездов напоминал триумфальное шествие.

Рафаэль узнал Леонардо, чуть-чуть покраснел и, с поспешною, преувеличенною почтительностью, сняв берет, поклонился. Некоторые из учеников его, не знавшие в лицо Леонардо, с удивлением оглянулись на этого старика, которому «божественный» так низко кланяется,— скромно, почти бедно одетого, прижавшегося к стене, чтобы дать им дорогу.

Не обращая ни на кого внимания, Леонардо вперил взор в человека, шедшего рядом с Рафаэлем, среди ближайших учеников его, и вглядывался в него с недоумением, как будто глазам своим не верил: это был Чезаре да Сесто.

И вдруг понял все — отсутствие Чезаре, свою вещую тревогу, неискусный обман Франческо: последний ученик предал его.

Чезаре выдержал взор Леонардо и посмотрел ему в глаза с усмешкою дерзкою и в то же время жалкою, от которой лицо его болезненно исказилось, сделалось страшным, как лицо сумасшедшего.

И не он, а Леонардо, в невыразимом смущении, потупил глаза, точно виноватый.

Поезд миновал. Они продолжали путь. Леонардо опирался на руку спутника. Лицо его было бледно и спокойно.

Перейдя через мост Сант-Анжело, по улице Деи Коронари, вышли на площадь Навоне, где был птичий рынок.

Леонардо накупил множество птиц — сорок, чижей, малиновок, голубей, охотничьего ястреба и молодого дикого лебедя. Отдал все деньги, которые были при нем, и еще занял у Франческо.

С головы до ног увешанные клетками, в которых щебетали птицы, эти два человека, старик и юноша, обращали на себя внимание. Прохожие с любопытством оглядывались; уличные мальчишки бежали за ними.

Пройдя весь Рим, мимо Пантеона и Траянова Форума, вышли на Эсквилинский холм и через ворота Маджоре — за город, по древней римской дороге Виа-Лабикана. Потом свернули на узкую пустынную тропинку — в поле.

Перед ними расстилалась необозримая, тихая и бледная Кампанья.

Сквозь пролеты полуразрушенного, увитого плющом акведука, построенного императорами Клавдием, Титом и Веспасианом, виднелись холмы, однообразные, серо-

зеленые, как волны вечернего моря; кое-где одинокая черная башня — разоренное гнездо хищных рыцарей; и далее, на краю неба, воздушно-голубые горы, окружавшие равнину, подобные ступеням исполинского амфитеатра. Над Римом лучи заходящего солнца из-за круглых белых облаков сияли длинными широкими снопами. Крутирогие быки, с лоснящейся белою шерстью, с умными, добрыми глазами, лениво оборачивая головы на звук шагов, жевали медленную жвачку, и слюна стекала с их черных влажных морд на колючие листья пыльного терновника. Стрекотание кузнечиков в жесткой выжженной траве, шорох ветра в мертвых стеблях чернобыльника над камнями развалин и гул колоколов из далекого Рима как будто углубляли тишину. Казалось, что здесь, над этою равниною, в ее торжественном и чудном запустении, уже совершилось пророчество Ангела, который «клялся Живущим вовеки, что времени больше не будет».

Выбрали место на одном из пригорков, сняли с себя клетки, поставили их на землю, и Леонардо начал выпускать птиц на свободу.

Это была его любимая с детства забава. Между тем как они улетали с радостным трепетанием и шелестом крыльев, провожал он их ласковым взором. Лицо его озарилось тихою улыбкою. В эту минуту, забыв все свои горести, казался он счастливым, как ребенок.

В клетках оставался только охотничий ястреб и дикий лебедь; учитель берег их напоследок.

Присел отдохнуть и вынул из дорожной сумки сверток со скромным ужином — хлебом, печеными каштанами, сухими винными ягодами, фляжку красного орвьетского вина в соломенной плетенке и два рода сыра: козий для себя, сливочный для спутника; зная, что Франческо не любит козьего, нарочно взял для него сливочного.

Учитель пригласил ученика разделить с ним трапезу и начал закусывать, с удовольствием поглядывая на птиц, которые в клетках, предчувствуя свободу, бились крыльями: такими маленькими пиршествами в поле под открытым небом любил он праздновать освобождение крылатых пленниц.

Они ели молча. Франческо взглядывал на него изредка, украдкою. В первый раз после болезни видел он лицо Леонардо в ярком свете дня, на воздухе, и никогда еще оно ему не казалось таким утомленным и старым. Волосы, уже седеющие, с желтоватым отливом сквозь седину, поредевшие сверху, обнажали крутой, огромный

лоб, изрытый упрямыми, суровыми морщинами, а книзу — все еще густые, пышные — сливались с начинавшейся под самыми скулами, длинною, до середины груди, тоже седеющею, волнистою бородою. Бледно-голубые глаза из глубоких темных впадин под густыми, нависшими бровями глядели с прежнею зоркостью, бесстрашною пытливостью. Но этому выражению как бы сверхчеловеческой силы мысли, воли познания противоречило выражение человеческой слабости, смертельной усталости в болезненных складках ввалившихся щек, в тяжелых старческих мешках под глазами, в немного выдававшейся нижней губе и углах тонкого рта, опущенных с презрительною горечью, с неизъяснимою брезгливостью: это было лицо покорившегося, старого, почти дряхлого титана Прометея.

Франческо смотрел на него, и знакомое чувство жалости овладевало им.

Он заметил, что порой достаточно ничтожной мелочи, чтобы выражение человеческих лиц мгновенно изменилось и открыло неведомую глубину свою: так, во время дороги, когда спутники, ему неизвестные и безразличные, вынимали узелок или сверточек с домашними припасами, садились в стороне и закусывали, немного отвернувшись, с тою стыдливостью, которая свойственна людям за едою, в месте непривычном, среди незнакомых,— вдруг, без всякого повода, начинал он испытывать к ним непонятную, странную жалость: они казались ему одинокими и несчастными. Особенно часто бывало это в детстве, но и потом возвращалось. Ничем не сумел бы он объяснить этой жалости, корни которой были глубже сознания. Он почти не думал о ней, но когда она приходила, тотчас узнавал ее и не мог ей противиться.

Так теперь, наблюдая, как учитель, сидя на траве, среди пустых клеток, и поглядывая на оставшихся птиц, режет старым складным ножом со сломанною костяною ручкою хлеб и тонкие ломтики сыру, кладет их в рот и тщательно, с усилием жует, как жуют старики ослабевшими деснами, так что кожа на скулах движется,— он почувствовал вдруг, что в сердце его подымается эта знакомая жгучая жалость. И она была еще невыносимее, потому что соединялась с благоговением. Ему хотелось упасть к ногам Леонардо, обнять их, рыдая, сказать ему, что, если он отвержен и презрен людьми, то в этом бесславии все-таки больше славы, чем в торжестве Рафаэля и Микеланджело.

Но он не сделал этого — не посмел и продолжал смотреть на учителя молча, удерживая слезы, которые сжимали ему горло, и с трудом глотая кусочки сливочного сыра и хлеба.

Окончив ужин, Леонардо встал, выпустил ястреба, потом открыл последнюю, самую большую клетку с лебедем.

Огромная белая птица выпорхнула, шумно и радостно взмахнула порозовевшими в лучах заката крыльями и полетела прямо к солнцу.

Леонардо следил за нею долгим взором, полным бесконечною скорбью и завистью.

Франческо понял, что эта скорбь учителя — о мечте всей жизни его, о человеческих крыльях, о «Великой Птице», которую некогда предсказывал он в дневнике своем:

«Человек предпримет свой первый полет на спине огромного Лебедя».

VI

Папа, уступая просьбам брата своего, Джулиано Медичи, заказал Леонардо небольшую картину.

По обыкновению, мешкая и со дня на день откладывая начало работы, художник занялся предварительными опытами, усовершенствованием красок, изобретением нового лака для будущей картины.

Узнав об этом, Лев X воскликнул с притворным отчаянием:

— Этот чудак никогда ничего не сделает, ибо думает о конце, не приступая к началу!

Придворные подхватили шутку и разнесли ее по городу. Участь Леонардо была решена. Лев X, величайший знаток и ценитель искусства, произнес над ним приговор: отныне Пьетро Бембо и Рафаэль, карлик Барабалло и Микеланджело могли спокойно почивать на лаврах: соперник их был уничтожен.

И все сразу, точно сговорившись, отвернулись от него: забыли о нем, как забывают о мертвых. Но отзыв папы все-таки передали. Леонардо выслушал его так равнодушно, как будто давно предвидел и ничего иного не ожидал.

В тот же день ночью, оставшись один, писал он в дневнике своем:

«Терпение для оскорбляемых то же, что платье для зябнущих. По мере того, как холод усиливается, одевайся

теплее и ты не почувствуешь холода. Точно так же во время великих обид умножай терпение — и обида не коснется души твоей».

---

1 января 1515 года скончался король Франции, Людовик XII. Так как сыновей у него не было, ему наследовал ближайший родственник, муж дочери его, Клод де Франс, сын Луизы Савойской, герцог Ангулемский, Франсуа де Валуа, под именем Франциска I.

Тотчас по восшествии на престол юный король предпринял поход для отвоевания Ломбардии; с неимоверною быстротою перевалил через Альпы, прошел сквозь теснины д'Аржантьер, внезапно явился в Италии, одержал победу при Мариньяно, низложил Моретто и вступил в Милан триумфатором.

В это время Джулиано Медичи уехал в Савойю.

Видя, что в Риме делать ему нечего, Леонардо решил искать счастья у нового государя и осенью того же года отправился в Павию, ко двору Франциска I.

Здесь побежденные давали праздники в честь победителей. К устройству их приглашен был Леонардо в качестве механика, по старой памяти, сохранившейся о нем в Ломбардии со времени Моро.

Он устроил самодвижущегося льва: лев этот на одном из праздников прошел всю залу, остановился перед королем, встал на задние лапы и открыл свою грудь, из которой посыпались к ногам его величества белые лилии Франции.

Игрушка эта послужила славе Леонардо более, чем все его остальные произведения, изобретения и открытия.

Франциск I приглашал к себе на службу итальянских ученых и художников. Рафаэля и Микеланджело папа не отпускал. Король пригласил Леонардо, предложив ему семьсот экю годового жалованья и маленький замок Дю-Клу в Турене, близ города Амбуаза, между Туром и Блуа.

Художник согласился и на шестьдесят четвертом году жизни, вечный изгнанник, без надежды и без сожаления покидая родину, со старым слугою Вилланисом, служанкою Матуриною, Франческо Мельци и Зороастро да Перетола в начале 1516 года выехал из Милана во Францию.

VII

Дорога, особенно в это время года, была трудная — через Пьемонт на Турин, долиной притока По, Дориа-Рипария, потом сквозь горный проход Коль-де-Фрейус на перевал между Мон-Табором и Мон-Сенисом.

Из местечка Бордонеккиа выехали ранним, еще темным утром, чтобы добраться до перевала засветло.

Верховые и вьючные мулы, стуча копытами и позвякивая бубенчиками, взбирались узкою тропинкою по краю пропасти.

Внизу, в долинах, обращенных к полдню, уже пахло весною, а на высоте была еще зима. Но в сухом и редком безветренном воздухе холод был мало чувствителен. Утро чуть брезжило. В пропастях, где призрачно белели, как сталактиты, струи замерзших водопадов, и черные верхушки елей по ребрам стремнин торчали из-под снега шершавою щетиною,— лежали тени ночи. А вверху, на бледном небе, снежные громады Альп уже яснели, как будто изнутри освещенные.

На одном из поворотов Леонардо спешился: ему хотелось поближе взглянуть на горы. Узнав от проводников, что боковая пешеходная тропинка, еще более узкая и трудная, ведет к тому же месту, как и проезжая для мулов, он стал взбираться вместе с Франческо на соседнюю кручу, откуда видны были горы.

Когда умолкли бубенчики, сделалось так тихо, как бывает только на самых высоких горах. Путникам слышались удары собственного сердца да изредка протяжный гул обвала, подобный гулу грома, повторяемый многоголосыми откликами.

Они карабкались все выше и выше.

Леонардо опирался на руку Франческо.— И вспомнилось ученику, как много лет назад, в селении Манделло, у подножия горы Кампионе, вдвоем спускались они в железный рудник по скользкой страшной лестнице в подземную бездну: тогда Леонардо нес его на руках своих; теперь Франческо поддерживал учителя. И там, под землею, было так же тихо, как здесь, на высоте.

— Смотрите, смотрите, мессер Леонардо,— воскликнул Франческо, указывая на внезапно у самых ног их открывшуюся пропасть,— опять долина Дориа-Рипария! Уж это, должно быть, в последний раз. Сейчас перевал, и больше мы ее не увидим.

— Вон там Ломбардия, Италия,— прибавил он тихо.

Глаза его блеснули радостью и грустью.

Он повторил еще тише:

— В последний раз...

Учитель посмотрел в ту сторону, куда указывал Франческо, где была родина,— и лицо его осталось безучастным. Молча отвернулся он и снова пошел вперед, туда, где яснели вечные снега и ледники Мон-Табора, Мон-Сениса, Рочччо-Мелоне.

Не замечая усталости, он шел теперь так быстро, что Франческо, который замешкался внизу, у края обрыва, прощаясь с Италией,— отстал от него.

— Куда вы, куда вы, учитель?— кричал ему издали.— Разве не видите — тропинка кончилась! Выше нельзя. Там пропасть. Берегитесь!

Но Леонардо, не слушая, поднимался все выше и выше, твердым, юношески легким, словно окрыленным, шагом, над головокружительными безднами.

И в бледных небесах ледяные громады яснели, вздымаясь, точно исполинская, воздвигнутая Богом, стена между двумя мирами. Они манили к себе и притягивали, как будто за ними была последняя тайна, единственная, которая могла утолить его любопытство. Родные, желанные, хотя от них отделяли его неприступные бездны, казались близкими, как будто довольно было протянуть руку, чтобы прикоснуться к ним, и смотрели на него, как на живого смотрят мертвые — с вечною улыбкою, подобною улыбке Джоконды.

Бледное лицо Леонардо освещалось их бледным отблеском. Он улыбался так же, как они. И, глядя на эти громады ясного льда на ясном, как лед, холодном небе, думал о Джоконде и о смерти, как об одном и том же.

СЕМНАДЦАТАЯ КНИГА

СМЕРТЬ.— КРЫЛАТЫЙ ПРЕДТЕЧА

I

В середине Франции, над рекою Луарою, находился королевский замок Амбуаз. Вечером, когда закат угасал, отражаясь в пустынной реке, желтовато-белый туренский камень, из которого построен замок, озаряясь бледно-зеленым, точно подводным, светом, казался призрачно легким, как облако.

С угловой башни открывался вид на заповедный лес, луга и нивы по обоим берегам Луары, где весной поля алых маков сливаются с полями лазурного льняного цвета. Эта равнина, подернутая влажною дымкою, с рядами темных тополей и серебристых ив, напоминала равнины Ломбардии, так же, как зеленые воды Луары напоминали Адду, только та горная, бурная, юная, а эта — тихая, медленная, с мелями, словно усталая, старая.

У подножия замка теснились острые кровли Амбуаза, крытые аспидными плитками, черными, гладкими, блестевшими на солнце, с высокими кирпичными трубами. В извилистых улицах, тесных и темных, все дышало Средними Веками, под карнизами, водосточными трубами, в углах окон, дверных косяков и притолок лепились маленькие человечки из того же белого камня, как замок: портреты смеющихся толстых монахов с флягами, четками, с поджатыми ногами в деревянных башмаках, судейских клерков, важных докторов богословия в наплечниках, озабоченных и скопидомных горожан, с туго набитыми мошнами, прижатыми к груди. Точно такие же лица, как у этих изваяний, мелькали по улицам города: все здесь было мещански зажиточно, опрятно, скупо-расчетливо, холодно и набожно.

Когда король приезжал в Амбуаз для охоты, городок оживлялся: улицы оглашались лаем собак, топотом коней,

звуком рогов; пестрели наряды придворных; по ночам из дворца слышалась музыка, и белые, словно облачные, стены замка озарялись красным блеском факелов.

Но король уезжал — и снова городок погружался в безмолвие; только по воскресным дням шли к обедне горожанки в белых чепцах из кружева, которое плетут соломенными длинными спицами; но в будни весь город точно вымирал: ни человеческого шага, ни голоса; лишь крики ласточек, реющих между белыми башнями замка, или в темной лавке шелест вертящегося колеса в токарном станке; да в весенние вечера, когда веяло свежестью тополей из пригородных садов, мальчики и девочки, играя чинно, как взрослые, становились в кружок, брались за руки, плясали и пели старинную песенку о Сен Дени, святителе Франции. И в прозрачных сумерках яблони из-за каменных стен роняли бело-розовые лепестки свои на головы детей. Когда же песня умолкала, наступала вновь такая тишина, что по всему городу слышался лишь мерный медный бой часов над воротами башни Орлож, да крики диких лебедей на отмелях Луары, гладкой, как зеркало, отражавшей бледно-зеленое небо.

К юго-востоку от замка, минутах в десяти ходьбы, по дороге к мельнице Сен-Тома, находился другой маленький замок, Дю Клу, принадлежавший некогда дворецкому и оруженосцу короля Людовика XI.

Высокая ограда с одной стороны, речка Амас, приток Луары, с другой,— окружали эту землю. Прямо перед домом влажный луг спускался к речке, справа возвышалась голубятня; ивы, вербы, орешник переплетались ветвями, и вода в их тени, несмотря на быстрое течение, казалась неподвижною, стоячею, как в колодце или в пруде. В темной зелени каштанов, ильм и вязов выделялись розовые стены кирпичного замка с белою зубчатою каймою из туренского камня, обрамлявшею углы стен, стрельчатые окна и двери. Небольшое здание с остроконечной аспидною крышею, с крохотной часовенкой справа от главного входа, с восьмигранною башенкою, в которой была деревянная витая лестница, соединявшая восемь нижних покоев с таким же числом верхних, напоминало виллу или загородный дом. Перестроенное лет сорок назад, снаружи казалось оно еще новым, веселым и приветливым.

В этом замке Франциск I поселил Леонардо да Винчи.

II

Король принял художника ласково, долго беседовал с ним о прежних и будущих работах его, почтительно называл своим «отцом» и «учителем».

Леонардо предложил перестроить замок Амбуаз и соорудить огромный канал, который должен был превратить соседнюю болотистую местность Солонь, бесплодную пустыню, зараженную лихорадками, в цветущий сад, связать Луару с руслом Соны у Макона, соединить через область Лиона сердце Франции — Турень с Италией и открыть таким образом новый путь из Северной Европы к берегам Средиземного моря. Так мечтал Леонардо облагодетельствовать чужую страну теми дарами знания, от которых отказалась его родина.

Король дал согласие на устройство канала, и почти тотчас по приезде в Амбуаз художник отправился исследовать местность. Пока Франциск охотился, Леонардо изучал строение почвы в Солони у Роморантена, течение притоков Луары и Шерры, измерял уровень вод, составлял чертежи и карты.

Странствуя по этой местности, заехал он однажды в Лош, небольшой городок к югу от Амбуаза, на берегу реки Эндр, среди привольных туренских лугов и лесов. Здесь был старый королевский замок с тюремною башнею, где восемь лет томился в заточении и умер герцог Ломбардии Лодовико Моро.

Старый тюремщик рассказал Леонардо, как Моро пытался бежать, спрятавшись в телеге под ржаною соломою; но, не зная дорог, заблудился в соседнем лесу; на следующее утро настигла погоня, и охотничьи собаки нашли его в кустах.

Последние годы провел Миланский герцог в благочестивых размышлениях, молитвах и чтении Данте, единственной книги, которую позволили ему взять из Италии. В пятьдесят лет он казался уже дряхлым стариком. Только изредка, когда приходили слухи о переворотах политики, глаза его вспыхивали прежним огнем. 17-го мая 1508 года, после недолгой болезни, он тихо скончался.

По словам тюремщика, за несколько месяцев до смерти, Моро изобрел себе странную забаву: выпросил кистей, красок и начал расписывать стены и своды темницы.

На облупившейся от сырости известке Леонардо нашел кое-где следы этой живописи — сложные узоры, полосы, палочки, крестики, звезды, красные по белому, желтые

по голубому полю, и среди них большую голову римского воина в шлеме, должно быть, неудачный портрет самого герцога, с надписью на ломаном французском языке:

«Девиз мой в плену и страданиях: мое оружие — мое терпение».

Другая, еще более безграмотная, надпись шла по всему потолку, сначала огромными трехлоктевыми желтыми буквами старинного уставного письма:

Celui qui —

Затем, так как места не хватило, мелкими, тесными:

— *n'est pas content.* «Тот, кто — несчастен».

Читая эти жалобные надписи, рассматривая неуклюжие рисунки, напоминавшие те каракули, которыми школьники марают тетради, художник вспоминал, как, много лет назад, любовался Моро, с доброю улыбкою, лебедями во рву Миланской крепости.

«Как знать,— думал Леонардо,— не было ли в душе этого человека любви к прекрасному, которая оправдывает его перед Верховным Судом?»

Размышляя о судьбе злополучного герцога, вспомнил он и то, что слышал некогда от путешественника, приехавшего из Испании, о гибели другого покровителя своего, Чезаре Борджа.

Преемник Александра VI, папа Юлий II изменнически выдал Чезаре врагам. Его отвезли в Кастилью и заточили в башне Медина дель Кампо.

Он бежал с ловкостью и отвагою неимоверною, спустившись по веревке из окна темницы, с головокружительной высоты. Тюремщики успели перерезать веревку. Он упал, расшибся, но сохранил достаточно присутствия духа, чтобы, очнувшись, доползти до лошадей, приготовленных сообщниками, и ускакать. Явился в Памплону ко двору зятя своего, короля Наваррского, и поступил к нему на службу кондотьером. При вести о побеге Чезаре ужас распространился в Италии. Папа трепетал. За голову герцога назначили десять тысяч дукатов.

Однажды зимним вечером 1507 года в стычке с французскими наемниками Бомóна, под стенами Вианы, врезавшись во вражий строй, Чезаре был покинут своими, загнан в овраг, русло высохшей реки, и здесь, как затравленный зверь, обороняясь до конца с отчаянною храбростью, пал, наконец, пронзенный больше чем двадцатью ударами. Наемники Бомона, прельстившись пышностью доспехов и платья, сорвали их с убитого и оставили голый труп на дне оврага. Ночью, выйдя из крепости, наваррцы

нашли его и долго не могли признать. Наконец, маленький паж Джуанико узнал господина своего, бросился на мертвое тело, обнял его и зарыдал, потому что любил Чезаре.

Лицо умершего, обращенное к небу, было прекрасно: казалось, он умер так же, как жил,— без страха и без раскаяния.

Герцогиня Феррарская, мадонна Лукреция Борджа всю жизнь оплакивала брата. Когда она умерла, нашли на теле ее власяницу.

Молодая вдова Валентино, французская принцесса Шарлотта д'Альбре, которая в немного дней, проведенных с Чезаре, полюбила его, подобно Гризельде, любовью верною до гроба, узнав о смерти мужа, поселилась вечною затворницей в замке Ла-Мотт-Фельи, в глубине пустынного парка, где ветер шелестел сухими листьями, и выходила из покоев, обитых черным бархатом, только для того, чтобы раздавать милостыню в окрестных селениях, прося бедняков помолиться за душу Чезаре.

Подданные герцога в Романье, полудикие пастухи и земледельцы в ущельях Апеннин, также сохранили о нем благодарную память. Долго не хотели они верить, что он умер, ждали его, как избавителя, как бога, и надеялись, что рано или поздно вернется он к ним, восстановит на земле правосудие, низвергнет тиранов и защитит народ. Нищие певцы по городам и селам распевали «слезную жалобу о герцоге Валентине», в которой был стих:

Fe cose extreme, ma senza misura.—
Дела его были преступны, но безмерно велики.

Сравнивая с жизнью этих двух людей, Моро и Чезаре, полной великого действия и промелькнувшей, как тень, без следа, свою собственную жизнь, полную великого созерцания, Леонардо находил ее менее бесплодной и не роптал на судьбу.

III

Перестройка замка в Амбуазе, сооружение канала в Солони кончились так же, как почти все его предприятия — ничем.

Убеждаемый благоразумными советниками в невыполнимости слишком смелых замыслов Леонардо, король, мало-помалу, охладел к ним, разочаровался и скоро забыл о них вовсе. Художник понял, что от Франциска, несмотря

на всю его любезность, не следует ждать большего, чем от Моро, Чезаре, Содерини, Медичи, Льва X. Последняя надежда быть понятым, дать людям хоть малую часть того, что он копил для них всю жизнь, изменила ему, и он решил уйти, теперь уже безвозвратно, в свое одиночество — отречься от всякого действия.

Весною 1517 года вернулся в замок Дю Клу, больной, изнуренный лихорадкою, схваченной в болотах Солони. К лету стало ему легче. Но совершенное здоровье никогда уже не возвращалось.

Заповедный лес Амбуаза начинался почти у самых стен Дю Клу, за речкой Амасом.

Каждый день после полдника выходил Леонардо из дому, опираясь на руку Франческо Мельци, так как все еще был слаб, пустынною тропинкою углублялся в чащу леса и садился на камень. Ученик ложился на траве, у ног его и читал ему Данте, Библию, какого-либо древнего философа.

Кругом было темно; лишь там, где луч солнца пронизывал тень, на далекой прогалине, пышный, дотоле невидимый, цветок вспыхивал вдруг, как свеча, лиловым или красным пламенем, и мох в дупле поваленного бурей, полусгнившего дерева, загорался изумрудом.

Лето стояло жаркое, грозное; но тучи бродили по небу, не проливаясь дождем.

Когда, прерывая чтение, Франческо умолкал, в лесу наступала тишина, как в самую глухую полночь. Одна лишь птица, должно быть, мать, потерявшая птенца, повторяла унылую жалобу, точно плакала. Но и она умолкала, наконец. Делалось еще тише. Па́рило. От запаха прелых листьев, грибов, душной сырости, гнили дыханье спиралось. Чуть слышался гул отдаленного, словно подземного, грома.

Ученик подымал глаза на учителя: тот сидел неподвижно, точно в оцепенении, и, прислушиваясь к тишине, смотрел на небо, листья, камни, травы, мхи прощальным взором, как будто в последний раз перед вечною разлукою.

Мало-помалу оцепенение, обаяние тишины овладевало и Франческо. Он видел, как сквозь сон, лицо учителя, и ему казалось, что лицо это уходит от него все дальше, погружается все глубже в тишину, как в темный омут. Хотел очнуться и не мог. Становилось жутко, как будто приближалось что-то роковое, неизбежное, как будто должен был раздаться в этой тишине оглушающий крик бога Пана, от которого все живое бежит в сверхъестест-

венном ужасе. Когда же, наконец, усилием воли преодолевал он оцепенение,— тоска предчувствия, непонятная жалость к учителю сжимали ему сердце. Робко и молча припадал он губами к руке его.

И Леонардо смотрел на него и тихо гладил по голове, как испуганного ребенка, с такою печальною лаской, что сердце Франческо сжималось еще безнадежнее.

В эти дни художник начал странную картину.

Под выступом нависших скал, во влажной тени, среди зреющих трав, в тиши бездыханного полдня, полного большею тайною, чем самая глухая полночь, бог, венчанный гроздьями, длинноволосый, женоподобный, с бледным и томным лицом, с пятнистою шкурою лани на чреслах, с тирсом в руке, сидел, закинув ногу на ногу, и как будто прислушивался, наклонив голову, весь — любопытство, весь — ожидание, с неизъяснимою улыбкою указывая пальцем туда, откуда доносился звук,— может быть, песня менад, или гул отдаленного грома, или голос великого Пана, оглушающий крик, от которого все живое бежит в сверхъестественном ужасе.

В шкатулке покойного Бельтраффио нашел Леонардо резной аметист, должно быть, подарок моны Кассандры, с изображением Вакха.

В том же ящике были отдельные листки со стихами из *Вакханок* Еврипида, переведенными с греческого и списанными рукою Джованни. Леонардо несколько раз перечитывал эти отрывки.

В трагедии Вакх, самый юный из богов Олимпа, сын Громовержца и Семелы, является людям в образе женоподобного, обольстительно прекрасного отрока, пришельца из Индии. Царь Фив, Пентей, велит схватить его, дабы предать казни за то, что под видом новой вакхической мудрости проповедует он людям варварские таинства, безумие кровавых и сладострастных жертв.

«О, чужеземец,— говорит с насмешкою Пентей неузнанному богу,— ты прекрасен и обладаешь всем, что нужно для соблазна женщин: твои длинные волосы падают по щекам твоим, полные негою; ты прячешься от солнца, как девушка, и сохраняешь в тени белизну лица твоего, дабы пленять Афродиту».

Хор Вакханок, наперекор нечестивому царю, прославляет Вакха — «самого страшного и милосердного из богов, дающего смертным в опьянении радость совершенную».

На тех же листах, рядом со стихами Еврипида, сделаны были рукой Джованни Бельтраффио выписки из

Священного Писания. Из Песни Песней: «Пейте и опьянимся, возлюбленные».

Из Евангелия:

«Я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в царствии Божием.

Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь.

Кровь Моя истинно есть питие.

Пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную.

Кто жаждет, иди ко Мне и пей».

Оставив неконченным Вакха, Леонардо начал другую картину, еще более странную — Иоанна Предтечу.

С таким для него небывалым упорством и с такой поспешностью работал он над ней, как будто предчувствовал, что дни его сочтены, сил уже немного, с каждым днем все меньше и меньше, и торопился высказать в этом последнем создании самую заветную тайну свою — ту, о которой молчал всю жизнь не только перед людьми, но и перед самим собою.

Через несколько месяцев работа подвинулась настолько, что виден был замысел художника.

Глубина картины напоминала мрак той Пещеры, возбуждавшей страх и любопытство, о которой некогда рассказывал он моне Лизе Джоконде. Но мрак этот, казавшийся сперва непроницаемым,— по мере того, как взор погружался в него, делался прозрачным, так что самые черные тени, сохраняя всю свою тайну, сливались с самым белым светом, скользили и таяли в нем, как дым, как звуки дальней музыки. И за тенью, за светом являлось то, что́ не свет и не тень, а как бы «светлая тень» или «темный свет», по выражению Леонардо. И, подобно чуду, но действительнее всего, что́ есть, подобно призраку, но живее самой жизни, выступало из этого светлого мрака лицо и голое тело женоподобного отрока, обольстительно прекрасного, напоминавшего слова Пентея:

«Длинные волосы твои падают по щекам твоим, полные негою; ты прячешься от солнца, как девушка, и сохраняешь в тени белизну лица твоего, дабы пленять Афродиту».

Но, если это был Вакх, то почему же вместо небриды, пятнистой шкуры лани, чресла его облекала одежда верблюжьего волоса? Почему, вместо тирса вакхических оргий, держал он в руке своей крест из тростника пустыни, прообраз Креста на Голгофе, и, склоняя голову, точно прислушиваясь, весь — ожидание, весь — любопытство, ука-

зывал одной рукой на Крест, с не то печальной, не то насмешливой улыбкой, другой — на себя, как будто говорил:

«Идет за мной сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его».

IV

Весной 1517 года происходили в Амбуазе торжества по случаю рождения сына у Франциска I. В крестные отцы приглашен был папа. Он прислал племянника своего, Джулианова брата, Лоренцо Медичи, герцога Урбинского, обрученного с французскою принцессою Мадлен, дочерью герцога Бурбонского.

Среди послов различных государств Европы на эти торжества ожидался и русский — Никита Карачаров из Рима, где находился при дворе его святейшества.

Лев X давно вступил в сношения с великим князем Московии, Василием Иоанновичем, рассчитывая на него, как на могущественного союзника в Лиге европейских держав против султана Селима, который, усилившись после завоевания Египта, грозил нашествием Европе. Папа обольщал себя и другою надеждою — на воссоединение Церквей, и, хотя великий князь ничем не оправдывал этой надежды, Лев X отправил в Москву двух пронырливых доминиканцев, братьев Шомбергов. Римский первосвященник клялся не нарушать обрядов и догматов Церкви восточной, только бы согласилась Москва признать духовное главенство Рима, обещал утвердить независимого русского патриарха, венчать великого князя королевскою короною и, в случае завоевания Константинополя, уступить ему этот город. Находя выгодными заискивания папы, великий князь отправил к нему двух послов, Дмитрия Герасимова и Никиту Карачарова — того самого, который двадцать лет назад, проездом через Милан, вместе с Данилой Мамыровым, присутствовал на празднике Золотого Века и беседовал с Леонардо о Московии.

Дмитрий Герасимов, по прозвищу Митя Толмач, человек «искусный в священных книгах» и опытный в делах посольских, в молодости своей, по поручению владыки Новгородского, Геннадия, ездил в Италию, «провел два лета, некиих ради нужных изысканий», в Венеции, Риме, Флоренции и привез оттуда в Новгород собранные им сведения по вопросу о трегубой и сугубой аллилуйе,* пасхалию на восьмую тысячу лет и знаменитую «Повесть о Белом Клобуке». Впоследствии, уже в глубокой старости,

этот самый Герасимов сообщал сведения о России итальянскому писателю Паоло Джовио.

Главная цель русского посольства в Рим выражена была в наказе великого князя: «добывать в Москву рудознатцев, муролей (зодчих), также мастера хитрого, который бы умел к городам приступать, да другого мастера, который умел бы из пушек стрелять, да каменщика хитрого, который бы умел палаты ставить, да серебряного мастера, который бы умел большие сосуды делать, да чеканить, да писать на сосудах; также добывать лекаря и органного игреца».

Старшим писцом у Карачарова служил подьячий Посольского Двора, Илья Потапыч Копыла, старик лет шестидесяти. При нем было двое младших писцов: Евтихий Паисеевич Гагара и двоюродный племянник Ильи Потапыча, Федор Игнатьевич Рудометов, по прозвищу Федька Жареный.

Всех троих сближала любовь к иконописному художеству: Федор и Евтихий сами были добрые мастера, а Илья Потапыч тонкий знаток и ценитель.

Сын бедной вдовы, просвирни при церкви Благовещения в Угличе, Евтихий, после смерти матери, остался сиротой, принят был на воспитание пономарем той же церкви, Вассианом Елеазоровым, и в отроческих летах «отдан в научение иконного воображения» некоему старцу Прохору из Городца, человеку праведному, но мастеру неискусному, о котором можно было сказать то же, что сказано в иконописном подлиннике о преподобном Антонии Сийском: «не хитр был мудростью сею преподобный, но препросто иконописательство его было, более же в посте и в молитве упражнялся, восполняя сими недостаток хитрости».

От старца Прохора перешел Евтихий к иноку Даниле Черному, который расписывал церкви в Спасо-Андрониковом монастыре,— ученику величайшего из древних русских мастеров, Андрея Рублева. Пройдя все ступени науки от услуг «ярыжного» — простого работника, носившего воду, и терщика красок до «знаменщика» — рисовальщика, Евтихий, благодаря природному дару, достиг такого мастерства, что приглашен был в Москву писать «Деисусное тябло» [1] в Мироварной палате патриаршего дома.

[1] Деисус — икона или фреска, на которой изображаются: в центре — Христос, справа от Него — Богоматерь, слева — Иоанн Креститель Тябло — ряд икон.

Здесь подружился он с Федором Игнатьевичем Рудометовым, Федькою Жареным, тоже молодым иконописцем и «преоспективного дела мастером добрым», который расписывал стены той же палаты «травным письмом по золоту».

Рудометов ввел товарища в дом боярина Федора Карпова, жившего у Николы на Болвановке. В хоромах этого боярина Федька писал на потолке — «подволоке» столовой избы «звездочетное небесное движение, двенадцать месяцев и беги небесные», также «бытейские и преоспективные разные притчи» и «цветные и разметные травы», и «левчата», то есть ландшафты, наперекор завету старых мастеров, запрещавших иконописцам изображать какие-либо предметы и лица, кроме священных.

Федор Карпов находился в дружеских сношениях с немцем Николаем Булевым, любимым врачом великого князя Василия Ивановича. Этот Булев, «хульник и латынномудренник», по выражению Максима Грека, «писал развращенно на православную веру», проповедуя соединение церквей. Благочестивые московские люди утверждали, будто бы, под влиянием немчина Булева, и боярин Федор «залатынился», начал «прилежать звездозаконию, землемерию» — геометрии, «остроумии» — астрономии и чародейству, и чернокнижию, и «многим эллинским баснотворениям», стал держаться книг еретических, церковью отреченных, и «всяких иных составов и мудростей бесовских, которые прелести от Бога отлучают».

Обвиняли его и в ереси жидовской.

Боярин Федор полюбил молодых иконописцев, работавших в доме его, Федьку Рудометова и Тишу Гагару. Полагая, что странствие в чужие земли принесет большую пользу мастерству их, он выхлопотал им должности младших писцов при Посольском Дворе.

Уже в Москве, в доме Карпова, среди заморских диковин, отреченных книг и вольнодумных толков об учении жидовствующих, Федька пошатнулся в вере. А в чужой земле, среди чудес тогдашних итальянских городов, Венеции, Милана, Рима, Флоренции, окончательно сбился с толку, потерял голову и жил в непрестанном изумлении, «исступлении ума», как выражался Илья Потапыч. С одинаковым благоговением, посещал игорные вертепы, книгохранилища, древние соборы и притоны разврата. Кидался на все с любопытством ребенка, с жадностью варвара. Учился латинскому языку и мечтал нарядиться во фряжское [1] платье, даже сбрить усы и бороду,

[1] Итальянское (*устар.*)

что почиталось грехом смертным. «Ежели кто бороду сбреет и так умрет,— предостерегал племянника Илья Потапыч,— недостоит над ним служить, ни сорокоустия петь, ни просвиры, ни свечи по нем в церковь приносить. С неверными да причтется, образ мужеский растлевающий, женам блудовидным уподобляющийся, или котам и псам, которые усы имеют простертые, брад же не имеют».

В разговорах начал Федька употреблять без нужды иноземные слова. Хвастал познаниями, «высокоумничал», рассуждал об «алхиме́и» — «как делать золото», о диалектике — «что́ есть препинательное толкование, коим изыскуется истина», о «софистикии, открывающей едва постижное естеству человеческому».

— На Москве людей нет,— жаловался Евтихию,— все люд глупый, жить не с кем.

Будучи навеселе, любил «пытать о вере и простирать вопросы недоуменные».

— Я учился философству, и на меня находит гордость,— признавался он,— я знаю все везде, где что ни делается!

И доходил до такого вольнодумства в этих пытаниях о вере, что, не довольствуясь «софистикией» чужеземною, проповедывал еще более крайние мнения собственных русских философов, последователей жидовской ереси, доказывавших, что Иисус Христос не родился, когда же родится, то Сыном Божиим наречется, «не по существу, а по благодати»,— «кого же называют христиане Иисусом Христом Богом, тот простой человек, а не Бог, умер и во гробе истлел»;— утверждавших, что ни иконам, ни кресту, ни чаше поклоняться не подобает, «почитать достоит, поклоняться же не подобает ничему, разве единому Богу», и никаким земным властям повиноваться не следует. Федька приводил также слова о бессмертии души и о загробной жизни, которые приписывались соблазненному, будто бы, в ересь жидовствующих, московскому митрополиту Зосиме:

— «А что́ то царство небесное? а что́ то второе пришествие? А что́ то воскресение мертвых? Ничего того нет. Умер кто, так и умер — по-та-места и был».

Дяди Ильи Потапыча, учившего племянника не только словом, но и посохом, Федька, несмотря на школьнический задор свой, все-таки крепко побаивался.

Илья Потапыч Копыла был человек старого закала, до конца возлюбивший «твердое о благочестии стояние».

Чудеса иноземных искусств и наук не прельщали его. «Вся сия суть знамения антихристова пришествия, начало болезням,— говаривал он.— Нас, овец Христовых. софистиками вашими не премудряйте: некогда нам философства вашего слушать — уже кончина века приходит, и суд Божий стоит при дверях. Какое приобщение света к тьме или какое соединение Велиару со Христом,— так же и поганому латынству с нашим православным христианством?»

«В Европии,— по словам Копылы,— третьей части земли, части Ноева сына, Яфета, люди живут величавые, гордые, обманчивые и храбрые во бранях, к похотям же телесным и ко всяким сластям слабые; все творят по своей воле; к учению искательны, к мудростям и всяким наукам тщательны; от благочестия же заблудились и, по наущению дьявольскому в различные ереси рассеялись, так что ныне во всей вселенной одна лишь русская земля в благочестии стоит неподвижно и, хотя к наукам словесным не очень прилежит, в высокоумных мудроплетениях софистических не изощряется, зато здравую веру содержит неблазненно. Люди же в ней сановиты, брадаты и платьем пристойным одеяны; Божии церкви святым именем украшаются; и подобной той земле и благолепнее во всей Европии не обретается».

В сыне углицкой просвирни, Евтихии Паисеевиче Гагаре, чужие земли возбуждали не меньшее любопытство, чем в Федьке Жареном. Вольнодумствам товарища, в которых чувствовал Евтихий больше хвастовства и удали, чем действительного безбожия, не придавал он значения. Но и спокойного презрения Ильи Потапыча ко всему иноземному не разделял. После всего, что́ видел и слышал он в чужих краях, не удовлетворяли его Измарагды, Златоструи, Торжественники, которые заключали весь круг человеческих знаний в таких вопросах и ответах: «Отгадай, философ, курица ли от яйца, или яйцо от курицы? — Кто родился прежде Адама с бородою? — Козел.— Какое есть первое ремесло?— Швечество, ибо Адам и Ева сшили себе одежду из листьев древесных.— Что́ есть, четыре орла одно яйцо снесли?— Четыре евангелиста написали св. Евангелие.— Что держит землю?— Вода высокая.— Что держит воду?— Камень великий.— Что держит камень?— Восемь больших золотых китов да тридцать меньших на озере Тивериадском».

Евтихий, впрочем, не верил и Федькиной ереси, будто бы «земное строение — не четвероугольное, не треуголь-

ное и не круглое, а наподобие яйца: во внутреннем боку — желток, извне — белок и черепок; так же разумей и о земле: земля есть желток посередине яйца, воздух же — белок, и как черепок окружает внутренность яйца, так небо окружает землю и воздух». Но, и не веря этому соблазнительному учению, все-таки чувствовал, что некогда недвижные киты, на коих утверждена земля, для него зашевелились, сдвинулись — и теперь уже не остановит их никакая сила.

Смутно чуялось ему, что в суеверном поклонении Федьки иноземным хитростям, несмотря на все его озорничество, что-то скрывается истинное, чего ни насмешки, ни угрозы, ни даже суковатая палка дяди Копылы опровергнуть не могут.

«Хорошему не стыдно навыкать и со стороны, с примера чужих земель.— Арифметика и преоспектива есть дело полезное, меду сладчайшее и не богопротивное», говаривал Федька с глубоким чувством. И слово это находило отклик в сердце Евтихия.

Силы и разумения испрашивал он у Бога, дабы, не заблудившись от веры отцов, не «залатынившись», подобно Федьке, но и не отвергая без разбору всего чужеземного, подобно Илье Потапычу,— очистить пшеницу от плевел, доброе от злого, найти «истинный путь и образ любомудрия». И сколь ни казалось ему дело это трудным, даже страшным, тайный голос говорил, что оно свято, и что Господь не оставит его Своею помощью.

В Амбуаз, на свадьбу герцога Урбинского и крестины новорожденного дофина отправился один из двух русских послов, находившихся в Риме — Никита Карачаров: он должен был представить королю «поминки», дары великого князя Московского — шубу на горностаях, атласную, червчатую, с травным золотым узором, другую шубу на бобровых пупках, третью на куньих черевах; сорок сороков соболей, да лисиц чернобурых и сиводушчатых, да остроги-шпоры золоченые, да птиц охотничьих.

Среди других посольских писцов и подъячих Никита взял с собою во Францию Илью Потапыча Копылу, Федьку Жареного и Евтихия Гагару.

V

Однажды, в конце апреля 1517 года, ранним утром, на большой дороге через заповедный лес Амбуаза, лесничий короля увидел всадников в таких необычайных нарядах, говоривших на таком странном языке, что остано-

вился и долго провожал их глазами, недоумевая, турки ли это, послы ли Великого Могола, или самого Пресвитера Иоанна, живущего на краю света, там, где небо сходится с землею.

Но это были не турки, не послы Великого Могола или Пресвитера Иоанна, а люди «зверского племени», выходцы страны, считавшейся не менее варварской, чем сказочный Гог и Магог,— русские люди из посольства Никиты Карачарова.

Тяжелый обоз с посольской челядью и королевскими поминками отправлен был вперед; Никита ехал в свите герцога Урбинского. Всадники, повстречавшиеся леснichему, сопровождали персидских соколов, челиг и кречетов, посланных в подарок Франциску I. Драгоценных птиц везли с большими предосторожностями, на особом возке, в лубяных коробах, внутри обитых овчинами.

Рядом с возком ехал на серой в яблоках, резвой кобыле Федька Жареный.

Ростом он был так высок, что прохожие на улицах чужеземных городов оглядывались на него с удивлением; лицо у него было широкоскулое, плоское, очень смуглое; черные как смоль волосы, за что он и прозван был Жареным; бледно-голубые, ленивые и в то же время жадно-любопытные глаза, с тем противоречивым, разнообразным и непостоянным выражением, которое свойственно русским лицам — смесью робости и наглости, простодушия и лукавства, грусти и удали.

Федька слушал беседу двух товарищей, тоже слуг посольских, Мартына Ушака да Ивашки Труфанца, знатоков соколиной охоты, которым Никита поручил доставку птиц в Амбуаз. Ивашка рассказывал об охоте, устроенной для герцога Урбинского французским вельможею Анн де Монморанси в лесах Шатильона.

— Ну, и что же. хорошо, говоришь, летел Гамаюн?

— И-и, братец ты мой!— воскликнул Ивашка.— Так безмерно хорошо, что и сказать не можно. А наутро в субботу, как ходили мы тешиться с челигами в Шатилове (Шатиловым называл он Шатильон), так погнал Гамаюн, да осадил в одном конце два гнезда шилохвостей да полтретья гнезда чирят; а вдругорядь погнал, так понеслось одно утя-шилохвост, побежало к роще наутек, увалиться хотело от славной кречета Гамаюна добычи, а он-то, сердечный, как ее мякнет по шее, так она десятью разами перекинулась, да ушла пеша в воду опять. Хотели по ней стрелять, чаяли, что худо заразил, а он ее так заразил,

что кишки вон,— поплавала немножко, да побежала на берег, а Гамаюн-от и сел на ней!

Выразительными движениями, так что лошадь под ним шарахалась, показывал Ивашка, как он ее «мякнул» и как «заразил».

— Да,— молвил с важностью Ушак, любитель книжного витийства,— зело потеха сия полевая утешает сердца печальные; угодна и хвальна кречатья добыча, красносмотрителен же и радостен высокого сокола лет!

Впереди, в некотором расстоянии от возка, ехали, тоже верхом, Илья Копыла и Евтихий Гагара.

У Ильи Потапыча лицо было темное, строгое, борода белая как лунь и такие же белые волосы; все дышало в нем благообразною степенностью; только в маленьких, зеленоватых, слезящихся глазках светилась насмешливая хитрость и пронырство.

Евтихий был человек лет тридцати, такой тщедушный, что издали казался мальчиком, с острою, жидкою бородкою клином и незначительным лицом, одним из тех лиц, которые трудно запомнить. Лишь изредка, когда оживлялся он, в серых глазах его загоралось глубокое чувство.

Федьке надоело слушать о соколах и шилохвостях. Несмотря на раннее утро, не раз уже прикладывался он к дорожной сулее, и, как всегда в таких случаях, язык у него чесался от желания поспорить — «повысокоумничать».

По отдельным, долетавшим до него словам, понял он, что ехавшие впереди Гагара и Копыла беседуют об иконном художнике,— пришпорил коня, догнал их и прислушался.

— Ныне,— говорил Илья Потапыч,— икон святых изображения печатают на листах бумажных, и теми листами люди храмины свои украшают небрежно, не почитания, но пригожества ради, без страха Божия, которые листы, резав на досках, печатают немцы да фрязи-еретики, по своему проклятому мнению, развращенно и неистово, наподобие лиц страны своей и в одеждах чужестранных, фряжских, а не с древних православных подлинников. Еще и Пресвятую Богородицу пишут иконники с латинских же образцов с непокровенною главою, с власами растрепанными...

— Как же так, дядюшка?— отхлебнув из сулеи, вступился Федька с притворною почтительностью, с тайным вызовом,— неужели скажешь, что русским одним дано писать иконы? Отчего бы и мастерства иноземного не принять, ежели по подобию и свято и лепо?

— Не гораздо ты, Федька, о святых иконах мудрствуешь,— остановил его Копыла, нахмурившись.— Стропотное говоришь и развращенное!

— Почему же стропотное, дядюшка?— притворился Федька обиженным.

— А потому, что пределов вечных прелагать не подобает: кто возлюбит и похвалит веру чужую, тот своей поругался.

— Да ведь я не о вере, Потапыч. Я только говорю: преоспектива есть дело полезное и меду сладчайшее...

— Что ты мне преоспективу свою в глаза тычешь? Заладила сорока Якова... Сказано: кроме предания святых отцов, не дерзать. Слышишь? В преоспективе ли, в ином чем, своим замышлением ничего не претворят. Где новизна, так и кривизна.

— Твоя правда, дядюшка,— опять увернулся Федька, с лицемерною покорностью.— Я и то говорю: много нынче иконники пишут без рассуждения, без разума, а надобно писать да вопросу ответ дать. Сказано: подлинно изыскивать подобает, как древние мастера писали. Да вот беда: древних-то много: и Новгородские, и Корсунские, и Московские — всяк на свой лад. Да и подлинники разные. В одних одно, в других другое. Ин старое кажется новым, ин новое старым. Вот и поди тут, разбери, где старина, где новизна. Нет, Потапыч, воля твоя, а без своего умышления, без разума, мастеру доброму быть нельзя!

Старик, озадаченный неожиданностью обхода, на минуту опешил.

— Опять же и то,— продолжал Федька, пользуясь его смущением, с еще большею смелостью,— где таковое указание нашли, будто бы единым обличием, смугло и темновидно святых иконы писать подобает? Весь ли род человеческий в одно обличие создан? Все ли святые скорбны и тощи бывали? Кто не посмеется такому юродству, будто бы темноту более света чтить достоит? Мрак и очадение на единого дьявола возложил Господь, а сынам Своим, не только праведным, но и грешным, обещал светоподание: «яко снег, убелю вас и яко ярину, очищу». И в другой раз: «Аз есмь свет истинный, ходяй по Мне не имать ходити во тьме». И у пророка сказано: «Господь воцарился, в лепоту облекся».

Федька говорил, хотя не без книжного витийства, но искренно.

Евтихий молчал; по горящим глазам его видно было, что он слушает с жадностью.

— По преданию святых отцов,— начал было снова Илья Потапыч с важностью,— что́ у Бога свято, то и лепо...

— А что́ лепо, то и свято,— подхватил Федька,— это, дядюшка, все едино.

— Нет, не едино,— рассердился, наконец, старик.— Есть лепота и от дьявола!

Он обернулся к племяннику и посмотрел ему прямо в глаза, как бы соображая, не прибегнуть ли к обычному доводу, к суковатой палке. Но Федька выдержал взор его, не потупившись.

Тогда Копыла поднял правую руку и, как будто произнося заклятие на самого духа нечистого,— воскликнул торжественно:

— Сгинь, пропади, окаянный, со своими ухищрениями! Христос мне спаситель и свет, и веселие, и стена несокрушимая!

Всадники были на опушке Амбуазского леса. Оставив слева ограду замка Дю Клу, въехали в городские ворота.

VI

Русскому посольству отвели помещение в доме королевского нотариуса, мэтра Гильома Боро́, недалеко от башни Орлож — единственном доме, оставшемся свободным в городе, переполненном приезжими.

Евтихию с товарищами пришлось поселиться в маленькой комнате, похожей на чердак, под самою крышею. Здесь, в углублении слухового окна, устроил он крошечную мастерскую: прибил к стене полки, разместил на них гладкие дубовые и липовые дощечки для икон, муравленные горшочки с олифой, с прозрачным стерляжьим и севрюжьим клеем, глиняные черепки и раковины с твореным золотом, с яичными вапами; поставил деревянный ящик, постланный войлоком, служивший ему постелью, и повесил над ним икону Углицкой Божьей Матери, подарок инока Данилы Черного.

В углу было тесно, но тихо, светло и уютно. Из окна, между крышами и трубами, открывался вид на зеленую Луару, на дальние луга и синие верхушки леса. Порой снизу, из небольшого садика, в открытое окно — дни стояли жаркие — подымался дух черемухи, напоминавший Евтихию родину — знакомый огород на окраине Углича, с грядками укропа, хмеля, смородины, с полуразвалившимся тыном перед старым домиком благовещенского пономаря.

Однажды вечером, несколько дней спустя по приезде в Амбуаз, сидел он один в своей мастерской. Товарищи ушли в замок на турнир в честь герцога Урбинского.

Было тихо; только под окном слышалось воркование голубей, шелковый шелест их крыльев да порой мерный бой часов на соседней башне.

Он читал любимую книгу свою «Иконописный Подлинник», свод кратких указаний, расположенных по дням и месяцам,— как изображать святых. Всякий раз Евтихий, хотя знал эту книгу почти наизусть, перечитывал ее с новым любопытством, находил в ней новую отраду.

Но в последние дни слышанный в лесу по дороге в Амбуаз спор Ильи Потапыча с Федькой Жареным пробудил давно уже таившиеся в нем, навеянные всем, что видел он в чужих краях, тревожные мысли. И он искал им разрешения в «Подлиннике», единственно верном источнике «изящного познания истинных образов».

«Какова была телесные образом Богородица?— читал он одно из своих любимых в книге мест.— Росту среднего, вид лица ее, как вид зерна пшеничного; волоса желтого; острых очей, в них же зрачки, подобные плоду маслины; брови наклоненные, изрядночерные; нос не краток; уста, как цвет розы,— сладковесия исполнены; лицо ни кругло, ни остро, но мало продолжено; персты же богоприимных рук ее тонкостью источены были; весьма проста, никакой мягкости не имела, но смирение совершенное являла; одежду носила темную».

Читал также о великомученице Екатерине, за красоту и светлость лица своего получившей название от эллинов «тезоименитая луне»; о Филарете Милостивом, который «преставился, имея девяносто лет; но и в такой старости не изменилося лицо его, благолепно же и прекрасно было, как яблоко румяное».

И казалось Евтихию, что Федя прав: ликам святых должно быть светлыми и радостными, ибо Сам Господь в «лепоту облекся», и все, что прекрасно — от Бога.

Но, перевернув несколько страниц, прочел он в той же книге:

«9 Ноембрия, память преподобной Феоктистии Лезвиянини. Видел ее некий ловец в пустыне и дал ей с себя поняву прикрыть наготу телесную; и стояла она перед ним, страшная, только подобие человеческое имевшая; и не видно в ней было плоти живой: от поста — одни кости да суставы, кожею прикрытые; волосы белые, как овечья волна, а лицо черно — мало нечто бледновато; очи

глубоко западшие; и весь образ ее таков, как образ мертвеца, давно во гробе лежавшего. Едва дышала и тихо говорить могла. И не было на ней отнюдь лепоты человеческой».

«Значит,— подумал Евтихий,— не все, что свято — лепо: есть и в поругании всей лепоты человеческой у великих подвижников, в зверином образе — образ ангельский».

И вспомнился ему св. Христофор, часто изображавшийся на русских иконах, о котором сказано в «Подлиннике», под числом девятым месяца мая: «о сем прекрасном мученике некое чудное глаголется — яко песию главу имел».

Лик псоглавого святого наполнил сердце иконописца еще бо́льшим смятением. Все более смутные, жуткие мысли стали приходить ему в голову.

Отложил в сторону «Подлинник» и взял другую книгу, старую Псалтырь, писанную в Угличе в 1485 году. По ней учился он грамоте и тогда уже любовался простодушными заставными картинками, объяснявшими псалмы.

Случилось так, что, с самого отъезда из Москвы, книга эта не попадалась ему на глаза. Теперь, после множества виденных им во дворцах и музеях Венеции, Рима, Флоренции, древних изваяний, эти с младенчества знакомые образы получили для него внезапный новый смысл: он понял, что голубой человек с наклоненной чашей, из которой льется вода — к стиху Псалтыри: «как желает олень на источники водные, так желает душа моя к тебе, Боже»,— есть бог речной; женщина, лежащая на земле среди злаков,— Церера, богиня земли; юноша в царском венце на колеснице, запряженной красными конями,— Аполлон; бородатый старик на зеленом чудовище с голою женщиною — к псалму: «благословите источники моря и реки»,— Нептун с Нереидою.

Каким чудом, после каких скитаний и превращений, изгнанные боги Олимпа, через древнего русского мастера, из еще более древнего византийского подлинника, дошли до города Углича?

Обезображенные рукою художника-варвара, казались они неуклюжими, робкими, словно стыдящимися наготы своей, среди суровых пророков и схимников — полузамерзшими, как будто голые тела их окоченели от холода гиперборейской ночи. А между тем, кое-где, в изгибе локтя, в повороте шеи, в округлости бедра, мерцал последний отблеск вечной прелести.

И страх, и удивление чувствовал Евтихий, узнавая в этих с детства привычных и любезных, казавшихся ему святыми, картинках Углицкой Псалтыри соблазнительную эллинскую нечисть.

В памяти его возникали и другие греховные образы, предания старых русских сборников — бледные тени языческой древности: «девица Горгонея, имеющая лицо, перси и руки человечьи, ноги же и хвост лошадиные, а на голове ее змеи, вместо волос»; гиганты одноокие, живущие в земле Сицилийской, под горою Этною; царь Китоврас или Кента́врос, который «от главы человек, а от ног осел»; Исатары или Сатиры, обитающие в лесах со зверями, «хождением скорые — никто их не догонит — а ходят нагие, шерстью обросли, как еловою корою, не говорят, только блеют по-козлиному».

Евтихий вздрогнул, очнулся, набожно перекрестился и прошептал успокоительное изречение русских книжников, которые слышал от Ильи Потапыча:

«Все лгано: не бывало Китовраса, ни девицы Горгонеи, ни людей в шерсти, но эллинские философы ввели. Прелести же сии правилами апостолов и святых отцов отречены суть и прокляты».

И тотчас подумал.

«Так ли, полно? Все ли лгано, все ли проклято? Как же в старых русских церквах, рядом со святыми угодниками, изображены языческие мудрецы, поэты и сибиллы, которые отчасти пророчествовали о Рождестве Христовом и, хотя неверные, сказано в «Подлиннике», но чистого ради жития, коснулися Духа Святого». Великая отрада чуялась Евтихию в этом слове о почти христианской святости языческих пророков.

Он встал и взял с полки дощечку с начатым рисунком, небольшую икону собственной работы — «Всякое дыхание да хвалит Господа»— многоличную, мелкописную, подробности которой можно было рассмотреть только в увеличительное стекло.

В небесах на престоле — Вседержитель; у ног Его, в семи небесных сферах — солнце, луна, звезды, с надписью: «хвалите Господа, небеса небес, хвалите, солнце и луна, хвалите, все звезды и свет»; ниже — летящие птицы; «дух бурен», град, снег, деревья, горы, огонь, выходящий из земли; различные звери, гады; бездна в виде пещеры,— с надписью: «хвалите, все деревья плодоносные и все кедры, все звери и все холмы, хвалите Господа». По обеим сторонам — лики ангелов, преподобные, цари, судьи,

сонмы человеческие: «хвалите Его, все ангелы, хвалите, сыны Израилевы, все племена и народы земные».

Принявшись за работу и не умея иначе выразить чувство, которое переполняло душу его, Евтихий прибавил уже от себя к этим обычным ликам — псоглавого мученика Христофора и бога-зверя Кентавра.

Он знал, что нарушает предание «Подлинника»; но сомнения и соблазна не было в душе его: ему казалось, что рука невидимая водит рукой его.

Вместе с небом и преисподнею, огнем и духом бурным, холмами и деревьями, зверями и гадами, людьми и силами бесплотными, псоглавым Христофором и во Христа обращенным Кентавром, душа его пела единую песнь:

«Всякое дыхание да хвалит Господа».

VII

Франциск был великим женолюбцем. Во всех походах, вместе с главными сановниками, шутами, карликами, астрологами, поварами, неграми, миньонами, псарями и священниками, следовали за королем «веселые девочки» под покровительством «почтенной дамы» Иоанны Линьер. Во всех торжествах и празднествах, даже в церковных шествиях, принимали они участие. Двор сливался с этим походным домом терпимости, так что трудно было решить, где кончается один, где начинается другой: «веселые девочки» были наполовину придворными дамами; придворные дамы распутством заслуживали мужьям своим золотое ожерелье св. Архангела Михаила.

Расточительность короля на женщин была беспредельна. Подати и налоги с каждым днем увеличивались, а все-таки денег не хватало. Когда с народа уже нечего было взять, Франциск стал отнимать у вельмож своих драгоценную столовую посуду и однажды перечеканил на монету серебряную решетку с гроба великого святителя Франции, Мартина Турского, не из вольнодумства, впрочем, а из нужды, ибо считал себя верным сыном Римской Церкви и всякую ересь и безбожие преследовал как оскорбление своего собственного величества.

Со времени Людовика Святого сохранялось в народе предание о врачующей силе, исходившей, будто бы, от королей дома Валуа: прикосновением руки исцеляли они шелудивых и золотушных; к Пасхе, Рождеству, Троице и другим праздникам чаявшие исцеления стекались не

только со всех концов Франции, но также из Испании, Италии, Савойи.

Во время торжеств по случаю бракосочетания Лоренцо Медичи и крестин дофина собралось в Амбуазе множество больных. В назначенный день впустили их во двор королевского замка. Прежде, когда вера была сильнее, его величество, обходя больных, творя по очереди над каждым из них крестное знамение и прикасаясь к ним пальцем, произносил: «Король прикоснулся — Бог исцелит». Вера оскудела, исцеления становились реже, и теперь обрядные слова произносились в виде пожелания: «Да исцелит тебя Бог — король прикоснулся».

По окончании обряда подали умывальник с тремя полотенцами, намоченными уксусом, чистою водой и апельсинными духами. Король умылся и вытер руки, лицо, шею.

После зрелища человеческой бедности, уродства и болезни захотелось ему отвести душу и дать отдых глазам на чем-нибудь прекрасном. Вспомнил, что давно собирался в мастерскую Леонардо и с немногими приближенными отправился в замок Дю Клу.

Весь день, несмотря на слабость и недомогание, художник усердно работал над Иоанном Предтечею.

Косые лучи заходящего солнца проникали в полустрельчатые окна мастерской — большой холодной комнаты с кирпичным полом и потолком из дубовых брусьев. Пользуясь последним светом дня, торопился он кончить поднятую правую руку Предтечи, которая указывала на крест.

Под окнами послышались шаги и голоса.

— Никого,— обернувшись к Франческо Мельци, проговорил учитель,— слышишь, никого не принимай. Скажи: болен или дома нет.

Ученик вышел в сени, чтобы остановить непрошенных гостей, но, увидев короля, почтительно склонился и открыл перед ним двери.

Леонардо едва успел завесить портрет Джоконды, стоявший рядом с Иоанном: он делал это всегда, потому что не любил, чтобы видели ее чужие.

Король вошел в мастерскую.

Он одет был с роскошью не совсем безупречного вкуса, с чрезмерною пестротою и яркостью тканей, обилием золота, вышивок, драгоценных каменьев: черные атласные штаны в обтяжку, короткий камзол с продольными, перемежающимися полосами черного бархата и золотой парчи, с огромными дутыми рукавами, с бесчисленными прорезами — «окнами»; черный плоский берет с белым страу-

совым пером; четырехугольный вырез на груди обнажал стройную, белую, словно из слоновой кости точеную, шею; он душился не в меру.

Ему было двадцать четыре года. Поклонники его уверяли, будто бы в наружности Франциска такое величие, что довольно взглянуть на него, даже не зная в лицо, чтобы сразу почувствовать: это король. И, в самом деле, он был строен, высок, ловок, необыкновенно силен; умел быть обаятельно любезным; но в лице его, узком и длинном, чрезвычайно белом, обрамленном черною, как смоль, курчавою бородкою, с низким лбом, с непомерно длинным, тонким и острым, как шило, словно книзу оттянутым, носом, с хитрыми, холодными и блестящими, как только что надрезанное олово, глазками, с тонкими, очень красными и влажными губами, было выражение неприятное, чересчур откровенно, почти зверски похотливое — не то обезьянье, не то козлиное, напоминавшее фавна.

Леонардо, по придворному обычаю, хотел склонить колена перед Франциском. Но тот удержал его, сам склонился и почтительно обнял.

— Давно мы с тобой не виделись, мэтр Леонар,— молвил он ласково.— Как здоровье? Много ли пишешь? Нет ли новых картин?

— Все хвораю, ваше величество,— ответил художник и взял портрет Джоконды, чтобы отставить его в сторону.

— Что это?— спросил король, указывая на картину.

— Старый портрет, сир. Изволили видеть...

— Все равно, покажи. Картины твои таковы, что, чем больше смотришь, тем больше нравятся.

Видя, что художник медлит, один из придворных подошел и, отдернув полотно, открыл Джоконду.

Леонардо нахмурился. Король опустился в кресло и долго смотрел на нее молча.

— Удивительно!— проговорил, наконец, как бы выходя из задумчивости.— Вот прекраснейшая женщина, которую я видел когда-либо! Кто это?

— Мадонна Лиза, супруга флорентинского гражданина Джокондо,— ответил Леонардо.

— Давно ли писал?

— Десять лет назад.

— Все так же хороша и теперь?

— Умерла, ваше величество.

— Мэтр Леонар-дё-Вэнси́,— молвил придворный поэт Сен-Желе, коверкая имя художника на французский

лад,— пять лет работал над этою картиною и не кончил, так, по крайней мере, он сам уверяет.

— Не кончил?— изумился король.— Чего же еще, помилуй? Как живая, только не говорит...

— Ну, признаюсь,— обратился он снова к художнику,— есть в чем тебе позавидовать, мэтр Леонар. Пять лет с такою женщиной! Ты на судьбу не можешь пожаловаться: ты был счастлив, старик. И чего только муж глядел? Если бы она не умерла, ты и доныне, пожалуй, не кончил был!

И засмеялся, прищурив блестящие глазки, сделавшись еще более похожим на фавна: мысль, что мона Лиза могла остаться верною женою, не приходила ему в голову.

— Да, друг мой,— прибавил усмехнувшись,— ты знаешь толк в женщинах. Какие плечи, какая грудь! А то, чего не видно, должно быть еще прекраснее...

Он смотрел на нее тем откровенным мужским взором, который раздевает женщину, овладевает ею, как бесстыдная ласка.

Леонардо молчал, слегка побледнев и потупив глаза.

— Чтобы написать такой портрет,— продолжал король,— мало быть великим художником, надо проникнуть во все тайны женского сердца — лабиринта Дедалова, клубка, которого сам черт не распутает! Вот ведь, кажется, тиха, скромна, смиренна, ручки сложила, как монахиня, воды не замутит, а поди-ка, доверься ей, попробуй угадать,— что у нее на душе!

Souvent femme varie,
Bien fol est qui s,y fie —[1]

привел он два стиха из собственной песенки, которую однажды, в минуту раздумья о женском коварстве, вырезал острием алмаза на оконном стекле в замке Шамбор.

Леонардо отошел в сторону, делая вид, что хочет передвинуть постав с другою картиною поближе к свету.

— Не знаю, правда ли, ваше величество,— произнес Сен-Желе полушепотом, наклонившись к уху короля так, чтобы Леонардо не мог слышать,— меня уверяли, будто бы не только Лизы Джоконды, но и ни одной женщины во всю жизнь не любил этот чудак и будто бы он совершенный девственник...

И еще тише, с игривою улыбкою, прибавил что-то, должно быть, очень нескромное, о любви сократической, о необычайной красоте некоторых учеников Леонардо, о вольных нравах флорентинских мастеров.

---

[1] Женщина изменчива,
Безумец тот, кто ей поверит (*франц.*)

Франциск удивился, но пожал плечами со снисходительной усмешкой человека умного, светского, лишенного предрассудков, который сам живет и другим жить не мешает, понимая, что в этого рода делах на вкус и на цвет товарищей нет.

После Джоконды он обратил внимание на неоконченный картон, стоявший рядом.

— А это что?

— Судя по виноградным гроздьям и тирсу, должно быть Вакх,— догадался поэт.

— А это?— указал король на стоявшую рядом картину.

— Другой Вакх?— нерешительно молвил Сен-Желе.

— Странно!— удивился Франциск.— Волосы, грудь, лицо — совсем как у девушки. Похож на Лизу Джоконду: та же улыбка.

— Может быть, Андрогин?— заметил поэт, и когда король, не отличавшийся ученостью, спросил, что значит это слово, Сен-Желе напомнил ему древнюю басню Платона о двуполых существах, муже-женщинах, более совершенных и прекрасных, чем люди,— детях Солнца и Земли, соединивших оба начала, мужское и женское, столь сильных и гордых, что, подобно Титанам, задумали они восстать на богов и низвергнуть их с Олимпа. Зевс, усмиряя, но не желая истребить до конца мятежников, дабы не лишиться молитв и жертвоприношений, рассек их пополам своею молнией, «как поселянки, сказано у Платона, режут ниткою или волосом яйца для соления впрок». И с той поры обе половины, мужчины и женщины, тоскуя, стремятся друг к другу, с желанием неутолимым, которое есть любовь, напоминающая людям первобытное единство полов.

— Может быть,— заключил поэт,— мэтр Леонар, в этом создании мечты своей, пытался воскресить то, чего уже нет в природе: хотел соединить разъединенные богами начала, мужское и женское.

Слушая объяснение, Франциск смотрел и на эту картину тем же бесстыдным, обнажающим взором, как только что на мону Лизу.

— Разреши, учитель, наши сомнения,— обратился он к Леонардо,— кто это, Вакх или Андрогин?

— Ни тот, ни другой, ваше величество,— молвил Леонардо, краснея, как виноватый.— Это Иоанн Предтеча.

— Предтеча? Не может быть! Что ты говоришь, помилуй?..

Но, вглядевшись пристально, заметил в темной глубине картины тонкий тростниковый крест и в недоумении покачал головой.

Эта смесь священного и греховного казалась ему кощунственной и в то же время нравилась. Он, впрочем, тотчас решил, что придавать этому значение не стоит: мало ли что может взбрести в голову художникам?

— Мэтр Леонар, я покупаю обе картины: Вакха, то бишь Иоанна, и Лизу Джоконду. Сколько хочешь за них?

— Ваше величество,— начал было художник робко,— они еще не кончены. Я предполагал...

— Пустяки!— перебил Франциск.— Иоанна, пожалуй, кончай,— так и быть, подожду. А к Джоконде и прикасаться не смей. Все равно лучше не сделаешь. Я хочу иметь ее у себя тотчас, слышишь? Говори же цену, не бойся: торговаться не буду.

Леонардо чувствовал, что надо найти извинение, предлог для отказа. Но что мог он сказать этому человеку, который превращал все, к чему ни прикасался, в пошлость или непристойность? Как объяснил бы ему, чем для него был портрет Джоконды, и почему ни за какие деньги не согласился бы он расстаться с ним?

Франциск думал, что Леонардо молчит потому, что боится продешевить.

— Ну, делать нечего, если ты сам не хочешь, я назначу цену.

Взглянул на мону Лизу и сказал:

— Три тысячи экю. Мало? Три с половиной?

— Сир,— начал снова художник дрогнувшим голосом,— могу вас уверить...

И остановился; лицо его опять слегка побледнело.

— Ну, хорошо: четыре тысячи, мэтр Леонар. Кажется, довольно?

Шепот удивления пробежал среди придворных: никогда никакой покровитель искусств, даже сам Лоренцо Медичи, не назначал таких цен за картины.

Леонардо поднял глаза на Франциска в невыразимом смятении. Готов был упасть к ногам его, молить, как молят о пощаде жизни, чтобы он не отнимал у него Джоконды. Франциск принял это смятение за порыв благодарности, встал, собираясь уходить, и на прощание снова обнял его.

— Ну, так, значит, по рукам? Четыре тысячи. Деньги можешь получить, когда угодно. Завтра пришлю за Джо-

кондою. Будь спокоен, я выберу такое место для нее, что останешься доволен. Я знаю цену ей и сумею сохранить ее для потомства.

Когда король ушел, Леонардо опустился в кресло. Он смотрел на Джоконду потерянным взором, все еще не веря тому, что случилось. Нелепые ребяческие планы приходили ему в голову: спрятать ее так, чтоб не могли отыскать, и не отдавать, хотя бы грозили ему смертною казнью; или отослать в Италию с Франческо Мельци: бежать самому с нею.

Наступили сумерки. Несколько раз заглядывал Франческо в мастерскую, но заговаривать с учителем не смел. Леонардо все еще сидел перед Джокондою; лицо его казалось в темноте бледным и неподвижным, как у мертвого.

Ночью вошел в комнату Франческо, который уже лег, но не мог заснуть.

— Вставай. Пойдем в замок. Мне надо видеть короля.

— Поздно, учитель. Вы сегодня устали. Опять заболеете. Вам ведь уже и теперь нездоровится. Право, не лучше ли завтра?..

— Нет, сейчас. Зажги фонарь, проводи меня.— Впрочем, все равно, если не хочешь, я один.

Не возражая более, Франческо встал, оделся, и они отправились в замок.

VIII

До замка было минут десять ходьбы; но дорога — крутая, плохо мощенная. Леонардо шел медленно, опираясь на руку Франческо.

Ночь без звезд была душная, черная, словно подземная. Ветер дул порывами. Ветви деревьев вздрагивали испуганно и болезненно. Вверху, между ветвями, рдели освещенные окна замка. Оттуда слышалась музыка.

Король ужинал в маленьком избранном обществе, забавляясь шуткою, которую особенно любил: из большого серебряного кубка, с искусною резьбою по краям и подножию, изображавшею непристойности, заставлял пить молоденьких придворных дам и девушек, в присутствии всех, наблюдая, как одни смеялись, другие краснели и плакали от стыда, третьи сердились, четвертые закрывали глаза, чтобы не видеть, пятые притворялись, что видят, но не понимают.

Среди дам была родная сестра короля, принцесса Маргарита —«Жемчужина жемчужин», как ее называли.

Искусство нравиться было для нее «привычнее хлеба насущного». Но, пленяя всех, была она равнодушна ко всем, только брата любила странною, чрезмерною любовью: слабости его казались ей совершенствами, пороки — доблестями, лицо фавна — лицом Аполлона. За него во всякую минуту жизни была она готова, как сама выражалась, «не только развеять по ветру прах тела своего, но отдать и бессмертную душу свою». Ходили слухи, будто бы она любит его более, чем позволено сестре любить брата. Во всяком случае, Франциск злоупотреблял этою любовью: пользовался услугами ее не только в трудах, болезнях, опасностях, но и во всех своих любовных похождениях.

В тот вечер должна была пить из непристойного кубка новая гостья, совсем еще молоденькая девушка, почти ребенок, наследница древнего рода, отысканная где-то в захолустье Бретани Маргаритою, представленная ко двору и уже начинавшая нравиться его величеству. Девушка не имела нужды притворяться: она, в самом деле, не понимала бесстыдных изображений; только чуть-чуть краснела от устремленных на нее любопытных и насмешливых взоров. Король был очень весел.

Доложили о приходе Леонардо. Франциск велел принять его и вместе с Маргаритою пошел к нему навстречу.

Когда художник в смущении, потупив глаза, проходил по освещенным залам сквозь ряды придворных дам и кавалеров,— не то удивленные, не то насмешливые взоры провожали его: от этого высокого старика, с длинными седыми волосами, с угрюмым лицом, с робким до дикости взглядом, на самых беспечных и легкомысленных веяло дыханием иного, чуждого мира, как веет холодом от человека, пришедшего в комнату со стужи.

— А, мэтр Леонар!— приветствовал его король и, по обыкновению, почтительно обнял.— Редкий гость! Чем потчевать? Знаю, мяса не ешь,— может быть, овощей или плодов?

— Благодарю, ваше величество... Простите, мне хотелось бы сказать вам два слова...

Король посмотрел на него пристально.

— Что с тобой, друг? Уж не болен ли?

Отвел его в сторону и спросил, указывая на сестру:

— Не помешает?

— О, нет,— возразил художник, склонившись перед Маргаритою.— Смею надеяться, что ее высочество также будет за меня ходатайствовать...

— Говори. Ты знаешь, я всегда рад.

— Я все о том же, сир,— о картине, которую вы пожелали купить, о портрете моны Лизы...

— Как? Опять? Зачем же ты мне сразу не сказал? Чудак! Я думал — мы сошлись в цене.

— Я не о деньгах, ваше величество...

— О чем же?

И Леонардо снова почувствовал, под равнодушно-ласковым взором Франциска, невозможность говорить о Джоконде.

— Государь,— произнес, наконец, делая усилие,— государь, будьте милостивы, не отнимайте у меня этого портрета! Он все равно ваш, и денег не надо мне: только на время оставьте его у меня — до моей смерти...

Замялся, не кончил и с отчаянною мольбою взглянул на Маргариту.

Король, пожав плечами, нахмурился.

— Сир,— вступилась девушка,— исполните просьбу мэтра Леонара. Он заслужил того — будьте милостивы!

— И вы за него, и вы? Да это целый заговор!

Она положила руку на плечо брата и шепнула ему на ухо:

— Как же вы не видите? Он до сих пор любит ее...

— Да ведь она умерла!

— Что из того? Разве мертвых не любят? Вы же сами говорили, что она живая на портрете. Будьте добры, братец милый, оставьте ему последнюю память о прошлом, не огорчайте старика...

Что-то шевельнулось в уме Франциска, полузабытое, школьное, книжное — о вечном союзе душ, о неземной любви, о рыцарской верности: ему захотелось быть великодушным.

— Бог с тобой, мэтр Леонар,— молвил с немного насмешливой улыбкой,— видно, тебя не переупрямишь. Ты сумел выбрать себе ходатайницу. Будь спокоен, я исполню твое желание. Только помни: картина мне принадлежит, и деньги за нее ты получишь вперед.

И потрепал его по плечу.

— Не бойся же, друг мой: даю тебе слово — никто не разлучит тебя с твоею Лизой!

У Маргариты навернулись слезы на глаза: с тихой улыбкой подала она руку художнику, и тот поцеловал ее молча.

Заиграла музыка; начался бал; закружились пары.

И уже никто не вспоминал о странном, чуждом госте, который прошел между ними, как тень, и снова скрылся во мраке беззвездной, черной, словно подземной, ночи.

IX

Франческо Мельци, чтобы вступить во владение небольшим наследством дальнего родственника, должен был получить бумаги от королевского нотариуса города Амбуаза, мэтра Гильома Боро. Это был человек любезный и дружески расположенный к Леонардо.

Однажды, беседуя с Франческо о последних работах учителя, заметил он с шуткою, что и в собственном доме его есть удивительный живописец из Гиперборейских стран. И, когда Франческо стал расспрашивать, повел его на чердак и здесь, в большой низкой комнате, рядом с голубятнею, в углублении слухового окна, показал крошечную иконописную мастерскую Евтихия Паисиевича Гагары.

Франческо, желая развеселить учителя, который в последние дни был особенно задумчив, рассказал ему о мастерской живописца-варвара как о любопытной диковинке, советуя, при случае, взглянуть на нее. Леонардо помнил разговор свой в Милане, во дворце Моро, на празднике Золотого Века, с русским послом Никитою Карачаровым о далекой Московии; ему захотелось видеть художника из этой полусказочной страны.

Однажды вечером, вскоре после покупки Франциском портрета Джоконды, пошли они к мэтру Гильому.

В тот вечер товарищи Евтихия отправились в замок, на маскарад и бал. Евтихий также собирался; но Илья Потапыч, который сам должен был присутствовать на празднике, отсоветовал ему:

— Когда в здешних поганых фряжских обычаях к питию пьянственному мужи и жены в гнусных личинах и машкерах сойдутся, тут же приходят и некии кощунники, имея гусли и скрипели, и сопели, и бубны, бесяся и скача, и скверные песни припевая: каждый муж чужой жене питие подает с лобзанием, и тут будет рукам приятие и злотайным речам соплетение, и связь диавольская...

Не столько, впрочем, из боязни соблазнов, сколько потому, что хотел в уединении поработать над новою иконою «Всякое дыхание да хвалит Господа», Евтихий остался дома один, сел на свое обычное место у окна и принялся за работу.

Все ремесленные мелочи искусства были для него не менее святы и дороги, чем высшие правила. Он заботился не об одном изяществе, но и о прочности — писал икону так, чтобы века могли пройти, не испортив ее.

Дерево, обыкновенно липу или клен, выбирал самого ровного белого цвета, выросшее на месте высоком, сухом, и потому не легко загнивающее; старательно заделывал пазы, проклеивал доску крепким стерляжьим клеем, накладывал паволоку из мягкой старой холстины, намазывал слоями жидкий левкас, отнюдь не меловой, который употреблялся мастерами, помышлявшими более о дешевизне, чем о долговечности своих произведений,— а самый дорогой, твердый и нежный алебастровый; давал ему просохнуть, выглаживал хвощом, потом «знаменил»,— рисовал тонкою кисточкой с тушью «перевод» с древнего образца и, дабы впоследствии, во время раскрашивания, не сбиться, «графовал», обводил весь очерк узкими, выскребленными острием гвоздя, канавками — «графьями»; наконец, приготовлял краски — вапы: распускал их на яичном желтке, протирал в глиняных черепках и раковинах, а иные, самые нежные, на собственных ногтях, заменявших ему палитру; затем начинал писать, сперва «доличное» — все, кроме человеческих лиц: горы, в виде круглых, плоских шапок, деревья — грибами, травы — наподобие перистых черно-красных водорослей, с голубыми точками незабудок, облака — неправильными белыми кружками; одежды грунтовал сначала темно-коричневою краскою, потом обозначал по ним складки и в высоких местах пробеливал; золотые украшения в ризах ангелов и святителей, также завитки и тончайшие усики трав золотил, при помощи спицы, «в проскребку», червонным золотом.

Вся доличная работа была уже исполнена. В тот вечер приступил он к последней, самой важной и трудной части — к писанию человеческих лиц: так же, как ризы, загрунтовал их темною краскою, потом постепенно стал «оживлять» тремя личными вохрами, из коих каждая последующая была светлее предыдущей, и, наконец, «подрумянивать щечку и уста, и бородку, и губки, и шейку».

Не довольствуясь резкими белыми «движками» старого новгородского письма, он стремился к новому, рублевскому, сходному с древневизантийским, более совершенному, как тогдашние мастера выражались, *плавкому*, *облачному*, в котором розоватое вохрение пущено в тонкую светлую тень; особенно же заботился о благолепии мужей — бороде, то короткой, курчеватой, то длинной, повившейся до земли, то широкой, распахнувшейся на оба плеча, то «рассохатой, с космочками», «продымленной», или с «подрусинками», или «с подсединками»; о выражении лиц величаво-строгом, или «страдном» и нежном.

Он совсем погрузился в работу, как вдруг за окном послышался шелест и трепет голубиных крыльев. Евтихий знал, что это кормит птиц соседка, молодая жена старого пекаря. Он часто смотрел на нее украдкою. Над палисадником, между ветвями сирени, в темном четырехугольнике открытого окна, стояла она, с голою шеей, с вырезом платья, сквозь который сверху видно ему было разделение грудей и теплая тень между ними,— с чуть заметными веснушками на белой коже и рыжими волосами, блестевшими на солнце, как золото.

«Чадо, на женскую красоту не зри,— вспоминались ему слова Ильи Потапыча,— ибо та красота сладит сперва, как медвяная сыта, а после горше полыни и желчи бывает. Не возводи на нее очей своих, да не погибнешь. Чадо, беги от красоты женской невозвратно, как Ной от потопа, как Лот от Содома и Гоморры. Ибо что есть жена? Сеть, сотворенная бесом, прельщающая сластями,— проказливая на святых клеветница, сатанинский праздник, покоище змеиное, цвет дьявольский, без исцеления болезнь, коза неистовая, ветер северный, день ненастный, гостиница жидовская. Лучше лихорадкою болеть, нежели женою обладаему быть: лихорадка потрясет да и пустит, а жена до смерти иссушит. Жена подобна перечесу: сюда болит, а сюда свербит. Кротима — высится, биема — бесится. Всякого зла злее злая жена».

Евтихий продолжал смотреть на соседку и даже ответил на улыбку ее такою же невольною улыбкою. Потом, вернувшись к работе, написал одну из святых мучениц в иконе с волосами золотисто-рыжего цвета, как у хорошенькой пекарши.

На лестнице раздались голоса. Вошел Власий, старый посольский толмач, за ним хозяин дома мэтр Гильом Боро, Франческо Мельци и Леонардо.

Когда Власий объявил Евтихию, что гости желают взглянуть на его мастерскую, он застыдился, почти испугался и все время, пока они осматривали, стоял молча, потупившись, не зная, куда деть глаза, только изредка взглядывая на Леонардо: лицо его поразило Евтихия — он казался ему похожим на Илью пророка, как тот изображался в «Иконописном подлиннике».

Осмотрев принадлежности крошечной мастерской — невиданные кисти, пилки, дощечки, раковины с вапами, горшочки с клеем и олифою,— обратил Леонардо внимание на икону «Всякое дыхание да хвалит Господа». Хотя Власий, который больше путал, чем объяснял, не умел

растолковать значение надписей, художник понял замысел иконы и удивился тому, что этот варвар, сын «зверского племени», как называли итальянские путешественники русских людей,— коснулся предела всей человеческой мудрости: не был ли Сидящий на престоле над сферами семи планет, воспеваемый всеми голосами природы — неба и преисподней, огня и духа бурного, растений и животных, людей и ангелов,— «Первым Двигателем» божественной механики — Primo Motoro самого Леонардо?

Учитель рассматривал также, с глубоким вниманием и любопытством, лицевой «Иконописный подлинник», большую тетрадь с изображением икон, слегка очерченных углем или красными чернилами. Здесь увидел он различных русских Богоматерей — Утоли моя печали, и Радость всех скорбящих, и Взыграния, и Умиления, и Живоносный Источник, где Пречистая стоит над водометом, утоляющим жажду всех тварей, и Страстну́ю с Младенцем Иисусом, Который, как бы в ужасе, отвращается от подаваемого Ему скорбным Архангелом креста; и Спаса — «мокрая брада» с прямыми, не вьющимися волосами, нерукотворного, запечатленнего на убрусе, коим Господь отирал лицо Свое, орошенное по́том, когда шел на Голгофу; и Спаса Благое Молчание с руками, сложенными на груди.

Леонардо чувствовал, что это — не живопись, или, по крайней мере, не то, чем казалась ему живопись: но, вопреки несовершенству рисунка, света и тени, перспективы и анатомии — здесь, как в старых византийских мозаиках (Леонардо видел их в Равенне), была сила веры, более древняя и вместе с тем более юная, чем в самых ранних созданиях итальянских мастеров, Чимабуэ и Джотто; было смутное чаяние великой, новой красоты,— как бы таинственные сумерки, в которых последний луч эллинской прелести сливался с первым лучом еще неведомого утра. Действие этих образов, иногда неуклюжих, варварских, странных до дикости, и в то же время бесплотных, прозрачных и нежных, как сновидения ребенка, подобно было действию музыки; в самом нарушении законов естественных досягали они мира сверхъестественного.

Особенно поразили художника два лика Иоанна Предтечи Крылатого: у одного в левой руке была золотая чаша с Предвечным Младенцем, на Которого указывал он правой рукой: «Се Агнец Божий, взе́мляй [1] грехи мира»; другой — «с усекновением», вопреки законам природы, имел две головы: одну, живую, на плечах, другую, мертвую,

[1] Взявший [на Себя] (*церковнослав.*).

в сосуде, который держал в руках, как бы в знак того, что человек, только умертвив в себе все человеческое, достигает окрыления сверхчеловеческого; лик у обоих был странен и страшен: взор широко открытых глаз похож на взор орла, вперенный в солнце; борода и волосы развевались, как бы от сильного ветра; косматая верблюжья риза напоминала перья птицы; кости исхудалых, непомерно длинных, тонких рук и ног, едва покрытые кожей, казались легкими, преображенными для полета, точно пустыми, полыми внутри, как хрящи и кости пернатых; за плечами два исполинские крыла подобны были крыльям лебедя или той *Великой Птицы*, о которой всю жизнь мечтал Леонардо.

И вспомнились художнику слова пророка Малахии, приведенные в дневнике Джованни Бельтраффио:

«Вот Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете. Вот Он идет».

X

Только что уехал король, воцарилась в Амбуазе обычная тишина и пустынность. Раздавался лишь мерный медный бой часов на башне Орлож, да по вечерам крики диких лебедей на песчаных отмелях, среди гладкой, как зеркало, отражающей бледно-зеленое небо, Луары.

Леонардо по-прежнему работал над Иоанном Предтечею. Но работа, по мере того, как шла вперед, становилась она все труднее, все медленнее. Иногда казалось Франческо, что учитель хочет невозможного. С таким же дерзновением, как некогда тайну жизни в моне Лизе, теперь, в этом Иоанне, который указывал на крест Голгофы, испытывал он то, в чем жизнь и смерть сливаются в одну, еще бо́льшую тайну.

Порою, в сумерки, Леонардо, сняв покров с Джоконды, подолгу смотрел на нее и на стоявшего рядом Иоанна, как будто сравнивал их. И тогда ученику казалось, может быть, от игры неверного света и тени, что выражение лиц у обоих, у Отрока и Женщины, меняется, что они выступают из полотна, как призраки, под пристальным взором художника, оживляясь жизнью сверхъестественною, и что Иоанн становится похожим на мону Лизу и на самого Леонардо в юности, как сын похож на отца и на мать.

Здоровье учителя слабело. Напрасно Мельци умолял его отдохнуть, оставить работу, Леонардо слышать не хотел об отдыхе.

Однажды, осенью 1518 года, особенно недомогалось ему. Но, преодолевая болезнь и усталость, проработал он весь день; кончил только раньше, чем всегда, и попросил Франческо проводить его наверх, в спальню: витая деревянная лестница была крута; вследствие частых головокружений не решался он в последние дни подыматься по ней без чьей-либо помощи.

И на этот раз Франческо поддерживал учителя. Леонардо шел медленно, с трудом, останавливаясь через каждые две, три ступени, чтобы перевести дух.

Вдруг покачнулся, опираясь на ученика всею тяжестью тела. Тот понял, что ему дурно, и боясь, что один не сможет поддержать его, кликнул старого слугу, Баттисту Вилланиса. Вдвоем подхватили они Леонардо, который опустился к ним на руки, стали звать на помощь, и когда подоспели еще двое слуг, перенесли больного в спальню.

Отказываясь, по обыкновению, от всякого лечения, шесть недель пролежал он в постели. Правая сторона тела была разбита параличом, правая рука отнялась.

К началу зимы ему сделалось лучше. Но поправлялся он трудно и медленно.

В течение всей своей жизни Леонардо владел обеими руками — левой, как и правой — одинаково, и обе были ему нужны для работы: левою рисовал, писал картины правою; то, что делала одна, не могла бы сделать другая; в этом соединении двух противоположных сил заключалось, как он утверждал, преимущество его перед другими художниками. Но теперь, когда, вследствие паралича, онемели пальцы на правой руке, так что он лишился или почти лишился ее употребления, Леонардо боялся, что живопись сделается для него невозможною.

В первых числах декабря встал с постели, сперва начал ходить по верхним покоям, потом спускаться в мастерскую. Но к работе не возвращался.

Однажды, в самый тихий час дня, когда все в доме спали после полдника, Франческо, желая о чем-то спросить учителя и, не найдя его в верхних покоях, сошел вниз, в мастерскую, осторожно приотворил дверь и заглянул. В последнее время Леонардо, более угрюмый и нелюдимый, чем когда-либо, любил подолгу оставаться один, не позволяя, чтобы к нему входили без спроса, точно боялся, что за ним подсматривают.

В приотворенную дверь Франческо увидел, что он стоит перед Иоанном и пробует писать больною рукою; лицо его искажено было судорогою отчаянного усилия; углы

крепко сжатых губ опущены; брови сдвинуты; седые пряди волос прилипли ко лбу, смоченному по́том. Окоченелые пальцы не слушались: кисть дрожала в руке великого мастера, как в руке неопытного ученика.

В ужасе, не смея шевельнуться, затаив дыхание, смотрел Франческо на эту последнюю борьбу живого духа с умирающей плотью.

XI

В тот год зима была суровая; ледоход разрушил мосты на Луаре; люди замерзали на дорогах; волки забегали в предместье города; старый садовник уверял, будто бы видел их в саду, под окнами замка Дю Клу: ночью нельзя было без оружия выйти из дому; перелетные птицы падали мертвыми. Однажды утром, выйдя на крыльцо, Франческо нашел на снегу и принес учителю полузамерзшую ласточку. Тот отогрел ее дыханием и устроил ей гнездо в теплом углу за очагом, чтобы весной выпустить на волю.

Работать он уже не пытался: неоконченного Иоанна, вместе с прочими картинами, рисунками, кистями и красками, спрятал в самый дальний угол мастерской. Дни проходили в праздности. Иногда посещал их нотариус, мэтр Гильом; он беседовал о предстоящем урожае, о дороговизне соли, о том, что у лангедокских овец шерсть длиннее, зато мясо лучше у беррийских и лимузенских; или давал советы стряпухе Матурине, как отличать молодых зайцев от старых по легкоподвижной косточке в передних лапках. Заходил к ним также францисканский монах, духовник Франческо Мельци, брат Гульельмо, родом из Италии, давно поселившийся в Амбуазе — старичок простой, веселый и ласковый; он отлично рассказывал старинные новеллы о флорентинских шалунах и проказниках. Леонардо, слушая его, смеялся таким же добрым смехом, как он. В долгие зимние вечера играли они в шашки, бирюльки и карты.

Наступали ранние сумерки; свинцовый свет лился сквозь окна; гости уходили. Тогда целыми часами расхаживал Леонардо взад и вперед по комнате, изредка поглядывая на механика Зороастро да Перетола. Теперь, более, чем когда-либо, этот калека был живым укором, насмешкой над усилием всей жизни учителя — созданием человеческих крыльев. По обыкновению, сидя в углу, поджав ноги, наматывал Астро длинную полотняную ленту на круглый шесток; выпиливал чурки для городков; вырезы-

вал волчки; или, зажмурив глаза и раскачиваясь медленно, с бессмысленной улыбкой, махал руками, точно крыльями, и, в полузабытьи, мурлыкал себе под нос все одну и ту же песенку:

Курлы, курлы,
Журавли да орлы,
Среди солнечной мглы,
Где не видно земли.
Журавли, журавли.

И от этой унылой песенки делалось еще скучнее, холодный свет сумерек казался еще безнадежнее.

Наконец совсем темнело. В доме наступала тишина. А за окнами выла вьюга, шумели голые сучья старых деревьев, и шум этот похож был на беседу злых великанов. К вою ветра присоединился другой, еще более жалобный, должно быть, вой волков на опушке леса. Франческо разводил огонь в очаге, и Леонардо присаживался.

Мельци хорошо играл на лютне, и у него был приятный голос. Иногда старался он рассеять мрачные мысли учителя музыкой. Однажды спел ему старинную песню, сложенную Лоренцо Медичи, сопровождавшую так называемый трионфо — карнавальное шествие Вакха и Ариадны — бесконечно радостную и унылую песню любви, которую Леонардо любил, потому что слышал ее часто в юности:

О, как молодость прекрасна,
Но мгновенна! Пой же, смейся,
Счастлив будь, кто счастья хочет,
И на завтра не надейся.

Учитель слушал, опустив голову: ему вспоминалась летняя ночь, черные, как уголь, тени, яркий, почти белый, свет луны в пустынной улице, звуки лютни перед мраморной лоджией, эта же самая песня любви — и мысли о Джоконде.

Последний звук дрожал, замирая, сливаясь с гулом и грохотом вьюги. Франческо, сидевший у ног учителя, поднял глаза на него и увидел, что по лицу старика текут слезы.

Иногда, перечитывая дневники свои, Леонардо записывал новые мысли о том, что теперь занимало его больше всего,— о смерти.

«Теперь ты видишь, что твоя надежда и желание вернуться на родину, к первому бытию — подобно стремлению бабочки в огонь, и что человек, который в беспрерывных

желаниях, в радостном нетерпении, ждет всегда новой весны, нового лета, новых месяцев и новых годов, думая, что ожидаемое опаздывает,— не замечает того, что желает собственного разрушения и конца. Но желание это есть сущность природы — душа стихий, которая, чувствуя себя заключенною в душе человеческой, вечно желает вернуться из тела к Пославшему ее.

В природе нет ничего, кроме силы и движения; сила же есть воля счастья — вечное стремление мира к последнему равновесию, к Первому Двигателю.

Когда желаемое соединяется с желающим, происходит утоление желания и радость: любящий, когда соединился с любимою,— покоится; тяжесть, когда упала,— покоится.

Часть всегда желает соединиться с целым, дабы избегнуть несовершенства: душа всегда желает быть в теле, потому что, без органов тела, не может ни действовать, ни чувствовать. Но с разрушением тела душа не разрушается; она действует в теле, подобно ветру в трубах органа: ежели одна из труб испорчена, ветер не производит верного звука.

Как день, хорошо употребленный, дает радостный сон, так жизнь, хорошо прожитая, дает радостную смерть.

Всякая жизнь, хорошо прожитая, есть долгая жизнь.

Всякое зло оставляет горечь в памяти, кроме величайшего — смерти, которая разрушает память вместе с жизнью.

Когда я думал, что учусь жить, я только учился умирать.

Внешняя необходимость природы соответствует внутренней необходимости разума: все разумно, все хорошо, потому что все необходимо.

Да будет воля Твоя, Отче наш, и на земле, как на небе».

Так разумом оправдывал он в смерти божественную необходимость — волю Первого Двигателя. А между тем, в глубине сердца что-то возмущалось, не могло и не хотело покориться разуму.

Однажды приснилось ему, что он очнулся в гробу, под землею, заживо погребенный, и с отчаянным усилием, задыхаясь, уперся руками в крышку гроба.— На следующее утро напомнил он Франческо свое желание, чтобы не хоронили его, пока не явятся первые признаки тления.

В зимние ночи, под стоны вьюги, глядя на подернутые пеплом угли очага, он вспоминал свои детские годы в

селении Винчи — бесконечно далекий и радостный, точно призывный, крик журавлей: «полетим! полетим!», смолистый горный запах вереска, вид на Флоренцию в солнечной долине, прозрачно-лиловую, как аметист, такую маленькую, что вся она умещалась между двумя золотистыми ветками поросли, покрывающей склоны Альбанской горы. И тогда чувствовал, что все еще любит жизнь, все еще, полумертвый, цепляется за нее и боится смерти, как черной ямы, куда, не сегодня, так завтра, провалится с криком последнего ужаса. И такая тоска сжимала сердце, что хотелось плакать, как плачут маленькие дети. Все утешения разума, все слова о божественной необходимости, о воле Первого Двигателя казались лживыми, разлетались, как дым, перед этим бессмысленным ужасом. Темную вечность, тайны неземного мира он отдал бы за один луч солнца, за одно дуновение весеннего ветра, полного благоуханием распускающихся листьев, за одну ветку с золотисто-желтыми цветами альбанской поросли.

Ночью, когда они оставались одни, а спать не хотелось — в последнее время страдал Леонардо бессонницей,— читал ему Франческо Евангелие.

Никогда не казалась ему эта книга такою новою, необычайною, непонятою людьми. Некоторые слова, по мере того, как он вдумывался в них, углублялись, как бездны. Одно из таких слов было в четвертой главе Евангелия от Луки. Когда Господь победил два первые искушения — хлебом и властью,— дьявол искушает его крыльями:

«И повел его в Иерусалим и поставил Его на крыле храма и сказал ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога Твоего».

Слово это казалось теперь Леонардо ответом на вопрос всей жизни его: будут ли крылья человеческие?

«И окончив все искушение, диавол отошел от Него *до времени*».

«До времени? Что это значит? — думал Леонардо.— Когда же дьявол приступит к Нему снова?»

Слова, которые могли бы казаться ему полными величайшего соблазна, наиболее противными опыту и познанию законов естественной необходимости, не смущали его:

«Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди туда,— она перейдет».

Ему всегда казалось, что последнее, может быть, недоступное людям, знание и последняя, столь же недоступная, вера привели бы разными путями к одному — к слиянию внутренней и внешней необходимости, воли человека и воли Бога. Кто с истинною верою скажет горе: подымись и ввергнись в море,— тот уже знает, что не может не быть по слову его; для того уже сверхъестественное — естественно. Но уязвляющее жало этих слов не заключалось ли в том, что веру, хотя бы с горчичное зерно, иметь труднее, чем сказать горе: подымись и ввергнись в море?

Тщетно старался он постигнуть и другое, еще более загадочное слово Учителя:

«Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение».

Ежели есть у Бога тайна, которую Он открывает младенцам, ежели совершенная простота не есть совершенная мудрость,— почему же сказано в той же книге:

«Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби».

Между этими двумя словами опять открывалась бездна.

И еще сказано: «посмотрите на полевые лилии,— как они растут? И так, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что нам пить? или во что одеться? Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Это все приложится вам».

Леонардо вспоминал свои открытия, изобретения, машины, которые должны были дать человеку власть над природою, и думал: «Неужели все это только забота о теле,— что есть? что пить? во что одеться? — только служение Маммону? Или в труде человеческом нет ничего, кроме пользы? И если Любовь есть Мария, которая, избрав благую часть, сидит у ног Учителя и внемлет словам Его, то неужели Мудрость — только Марфа, которая печется о многом, когда нужно одно?»

Он, впрочем, знал, по собственному опыту, что в глубочайшей мудрости, так же как на скользком краю пропасти, находятся самые страшные, неодолимые соблазны. Он вспоминал о малых сих, собственных учениках, может быть, из-за него погибших, им соблазненных — Чезаре, Астро, Джованни,— когда слышал эти слова:

«Кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на

шею и потопили его в глубине морской. Горе миру от соблазнов; ибо надобно придти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит».

И, однако, в той же книге не было ли сказано:

«*Блажен, кто не соблазнится о Мне.*— Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение».

Всего же более ужасал его рассказ Матфея и Марка о смерти Иисуса:

«В шестом часу наступила тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Элои! Элои! ламма́ савахфани! Боже мой! Боже мой! для чего Ты меня оставил? И опять возопив, испустил дух».

«*Для чего Ты оставил Меня?* — думал Леонардо; — одним ли врагам Его казался этот предсмертный крик Сына к Отцу, Того, Кто сказал: «Я и Отец одно»,— криком последнего отчаяния? И если все учение Его положить на одну чашу весов, а на другую — эти четыре слова, то какая перевесит?»

И между тем, как он думал об этом, ему казалось, что уже видит он лицом к лицу ту страшную черную яму, куда, не сегодня, так завтра, споткнувшись, провалится с криком последнего ужаса: Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?

XII

Иногда поутру, вставая, глядел он сквозь замерзшие стекла на снежные сугробы, на серое небо, на деревья, покрытые инеем — и ему казалось, что зима никогда не кончится.

Но в начале февраля повеяло теплом; на солнечной стороне домов, с висячих льдинок закапали звонкие светлые капли; воробьи зачирикали; стволы деревьев окружились темными кругами тающего снега; почки разбухли, и сквозь редеющий пар облаков засквозило бледно-голубое небо.

Утром, когда солнце проникало в мастерскую косыми лучами, Франческо ставил в них кресло учителя, и целыми часами старик сидел неподвижно, греясь, опустив голову, положив на колени исхудалые руки. И в руках этих, и в лице с полузакрытыми веками было выражение бесконечной усталости.

Ласточка, зимовавшая в мастерской, прирученная Леонардо, теперь летала, кружилась по комнате, садилась к

нему на плечо или на руку, позволяла брать себя и целовать в головку; потом, опять вспорхнув, реяла, с нетерпеливыми криками, как будто чуя весну. Внимательным взором следил он за каждым поворотом ее маленького тела, за каждым движением крыльев — и мысль о человеческих крыльях снова пробуждалась в нем.

Однажды, отперев большой сундук, стоявший в углу мастерской, начал рыться в кипах бумаг, тетрадей и бесчисленных отдельных листков, с чертежами машин, с отрывочными заметками из двухсот сочиненных им книг *О Природе*.

Всю жизнь собирался он привести в порядок этот хаос, связать общею мыслью отрывки, соединить их в стройное целое, в одну великую Книгу о Мире, но все откладывал. Он знал, что здесь были открытия, которые на несколько веков сократили бы труд познания, изменили бы судьбы человечества и повели бы его новыми путями. И, вместе с тем, знал, что этого не будет: теперь уже поздно, все погибнет так же бесплодно, так же бессмысленно, как Тайная Вечеря, памятник Сфорцы, Битва при Ангиари, потому что и в науке он только желал бескрылым желанием, только начинал и не оканчивал, ничего не сделал и не сделает, как будто насмешливый рок наказывал его за безмерность желаний ничтожеством действия. Предвидел, что люди будут искать того, что он уже нашел, открывать то, что он уже открыл,— пойдут его путем, по следам его, но мимо него, забыв о нем, как будто его вовсе не было.

Отыскав небольшую, пожелтевшую от старости тетрадку, озаглавленную *Птицы*, отложил ее в сторону.

В последние годы он почти не занимался летательной машиной, но думал о ней всегда. Наблюдая полет прирученной ласточки и чувствуя, что новый замысел созрел в нем окончательно, решил приступить к последнему опыту, с последнею, может быть, безумною надеждою, что созданием крыльев человеческих будет спасен и оправдан весь труд его жизни.

Он принялся за эту новую работу с таким же упорством, с такой же лихорадочною торопливостью, как за Иоанна Предтечу: не думая о смерти, побеждая слабость и болезнь, забывая сон и пищу, просиживал целые дни и ночи над чертежами и вычислениями. Иногда казалось Франческо, что это не работа, а бред сумасшедшего. С возрастающей тоской и страхом смотрел ученик на лицо учителя, искаженное судорогой отчаянного, как бы яро-

стного, усилия воли — желанием невозможного, того, чего людям не дано желать безнаказанно.

Прошли недели. Мельци не отходил от него, не спал ночей. Однажды, после третьей ночи, смертельная усталость одолела Франческо. Он прикорнул в кресле у потухшего очага и задремал.

Утро серело в окнах. Проснувшаяся ласточка щебетала. Леонардо сидел за маленьким рабочим столиком, с пером в руках, согнувшись, опустив голову над бумагою, испещренною цифрами.

Вдруг тихо и странно покачнулся; перо выпало из пальцев; голова стала склоняться все ниже и ниже. Сделал усилие, чтобы встать, хотел позвать Франческо; но чуть слышный крик замер на губах его; и неуклюже и грузно навалившись всею тяжестью тела на стол, опрокинул его. Заплывшая свеча упала. Мельци, разбуженный стуком, вскочил. В сумеречном свете утра, рядом с опрокинутым столом, потухшею свечою и разбросанными листками он увидел учителя, лежавшего на полу. Испуганная ласточка кружилась по комнате, задевая потолок и стены шуршащими крыльями.

Франческо понял, что это — второй удар.

Несколько дней пролежал больной без памяти, продолжая в бреду математические выкладки. Очнувшись, тотчас потребовал чертежи летательной машины.

— Ну нет, учитель, воля ваша! — воскликнул Франческо.— Я скорей умру, чем позволю вам приняться за работу, пока совсем не поправитесь...

— Куда положил их? — спрашивал больной с досадою.

— Куда бы ни положил, не бойтесь — будут в сохранности. Все возвращу, когда встанете...

— Куда положил их? — повторил Леонардо.

— На чердак отнес и запер.

— Где ключ?

— У меня.

— Дай.

— Помилуйте, мессере, на что же вам?

— Давай, давай скорее!

Франческо медлил. Глаза больного вспыхнули гневом. Чтобы не раздражать его, Мельци отдал ключ. Леонардо спрятал под подушку и успокоился.

Он стал поправляться скорее, чем думал Франческо.

Однажды, в начале апреля, провел день спокойно; играл в шашки с фра Гульельмо. Вечером Франческо, утомленный многими бессонными ночами, задремал, сидя на

скамье в ногах учителя, прислонившись головой к постели. Вдруг проснулся, как бы от внезапного толчка. Прислушался и не услышал дыхания спящего. Ночник потух. Он зажег его и увидел, что постель пуста: обошел все верхние покои дома, разбудил Баттисту Вилланиса,— и тот не видел Леонардо.

Франческо хотел уже спуститься вниз, в мастерскую, но вспомнил о бумагах, спрятанных на чердаке. Побежал туда, приотворил незапертую дверь и увидел Леонардо, полуодетого, сидевшего на полу перед опрокинутым старым ящиком, который служил ему столом; при свете сального огарка он писал — должно быть, делал вычисления для машины, что-то тихо и быстро бормоча, как в бреду. И это бормотание, и горящие глаза, и седые всклокоченные волосы, и щетинистые брови, сдвинутые как бы сверхчеловеческим усилием мысли, и углы ввалившегося рта, опущенные с выражением старческой немощи, и все лицо, которое казалось чужим, незнакомым, словно раньше никогда не видел он его, были так страшны, что Франческо остановился в дверях, не смея войти.

Вдруг Леонардо схватил карандаш и зачеркнул страницу, исписанную цифрами, так что острие карандаша сломалось, потом оглянулся, увидел ученика и встал, бледный, шатаясь.

Франческо бросился к нему, чтобы поддержать его.

— Говорил я тебе,— с тихою, странною усмешкою молвил учитель,— говорил, Франческо, что скоро кончу. Ну вот и кончил, кончил все. Теперь уж не бойся, не буду. Довольно! Стар я стал и глуп, глупее Астро. Ничего не знаю. Что и знал, то забыл. Куда уж мне с крыльями... К черту все, к черту!..

И хватая со стола листки, яростно комкал и рвал.

С того дня опять ему сделалось хуже. Мельци предчувствовал, что он уже на этот раз не встанет. Иногда на целые дни впадал больной в забытье, подобное обмороку.

Франческо был набожен. Во все, чему учит Церковь, верил с простотой. Он один не подвергся влиянию тех губительных чар — «дурному глазу» Леонардо, которые испытывали почти все, кто приближался к нему. Зная, что учитель не исполняет церковных обрядов, все-таки угадывал чутьем любви, что Леонардо — не безбожник. И далее не углублялся, не любопытствовал.

Но теперь мысль о том, что он может умереть без покаяния, ужаснула его. Он отдал бы душу свою, чтобы спасти учителя; но заговорить с ним об этом не смел.

Однажды вечером, сидя у изголовья больного, смотрел на него все с тою же страшною мыслью.

— О чем ты думаешь? — спросил Леонардо.

— Фра Гульельмо заходил сегодня утром,— ответил Франческо, немного замявшись,— хотел вас видеть. Я сказал, что нельзя...

Учитель заглянул ему прямо в глаза, полные мольбою, страхом и надеждою.

— Ты не о том, Франческо, думал. Зачем не хочешь сказать мне?

Ученик молчал, потупившись.

И Леонардо понял все. Отвернулся и нахмурился. Всегда хотелось ему умереть так же, как он жил — в свободе и в истине. Но было жаль Франческо: неужели и теперь, в последние мгновения перед смертью, возмутит он смиренную веру, соблазнит единого от малых сих?

Опять взглянул на ученика, положил ему на руку исхудалую руку свою и молвил с тихою улыбкою:

— Сын мой, пошли к фра Гульельмо, попроси его придти завтра. Я хочу исповедаться и причаститься. Пригласи также мэтра Гильома.

Франческо ничего не ответил, только поцеловал руку Леонардо с бесконечною благодарностью.

XIII

На следующее утро, 23 апреля, в субботу на Страстной неделе, когда пришел нотариус, мэтр Гильом, Леонардо сообщил ему свою последнюю волю: четыреста флоринов, отданные на сохранение камерлингу церкви Санта-Мариа Нуова в городе Флоренции, завещал братьям, с которыми вел тяжбу,— в знак совершенного примирения; ученику Франческо Мельци — книги, научные приборы, машины, рукописи и остаток жалованья, который должен был получить из королевской казны; слуге Баттисте Вилланису — домашнюю утварь в замке Дю Клу и половину виноградника за стенами города Милана, у Верчельских Ворот, а другую половину — ученику Андреа Салаино.

Что касается обряда похорон и прочего, просил нотариуса обратиться к Мельци, которого назначал своим душеприказчиком.

Франческо с мэтром Гильомом позаботились устроить такие похороны, из которых явствовало бы, что Леонардо, вопреки народной молве, умер, как верный сын католической церкви.

Больной одобрил все и, желая показать, что принимает участие в заботах Франческо о благолепии похорон, назначил, вместо предложенных восьми, десять фунтов свечей во время заупокойных обеден, вместо пятидесяти семьдесят туренских су для раздачи бедным.

Когда завещание было готово, и оставалось только скрепить его подписями свидетелей, Леонардо вспомнил о старой служанке своей, стряпухе Матурине. Мэтр Гильом должен был прибавить новую статью, по которой получала она платье доброго черного сукна, подбитый мехом головной убор, тоже суконный, и два дуката деньгами — за многолетнюю верную службу. Это внимание умирающего к бедной служанке наполнило сердце Франческо знакомым чувством нестерпимой жалости.

В комнату вошел фра Гульельмо со Святыми Дарами, и все удалились.

Выйдя от больного, монах успокоил Франческо, сообщив ему, что Леонардо исполнил обряды Церкви со смирением и преданностью воле Божьей.

— Что бы люди ни говорили о нем, сын мой,— заключил фра Гульельмо,— он оправдается, по слову Господа: «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».

Ночью у больного сделались припадки удушья. Мельци боялся, что он умрет на руках его.

К утру — это было 24 апреля, Светлое Христово Воскресенье — стало ему легче. Но, так как все еще он задыхался, а в комнате было жарко, Франческо открыл окно. В голубых небесах реяли белые голуби, и с трепетным шелестом крыльев сливался звон колоколов пасхальных. Но умирающий уже не видел и не слышал ничего.

Ему казалось, что неимоверные тяжести, подобные каменным глыбам, падают, валятся, давят его; он хочет приподняться, сбросить их, не может — и вдруг, с последним усилием, освобождается, летит на исполинских крыльях вверх; но снова камни валятся, громоздятся, давят; снова он борется, побеждает, летит,— и так без конца. И с каждым разом тяжесть все страшнее, усилие неимовернее. Наконец, чувствует, что уже не может бороться, и с криком последнего отчаяния: Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня? — покоряется. И только что покорился,— понял, что камни и крылья, давление тяжести и стремление полета, верх и низ — одно и то же: все равно — лететь или падать. И он летит и падает, уже не зная, колеблют ли его тихие волны бесконечного движения, или мать качает на руках, баюкая.

Несколько дней еще тело его казалось живым для окружающих; но он уже не приходил в себя. Наконец, однажды утром,— это было 2 мая, Франческо и фра Гульельмо заметили, что дыхание его ослабевает. Монах стал читать отходную.

Через некоторое время ученик, приложив руку к сердцу учителя, почувствовал, что оно не бьется. Он закрыл ему глаза.

Лицо умершего мало изменилось. На нем было выражение, которое часто бывало при жизни — глубокого и тихого внимания.

Пока Франческо с Баттистой Вилланисом и старой служанкой Матуриною обмывали тело,— окна и двери открыты были настежь.

В это время, снизу, из мастерской, прирученная ласточка, о которой забыли в последние дни, почуяв свободу, через лестницу и верхние покои, влетела в комнату, где лежал покойник. Покружившись над ним, среди погребальных свечей, горевших мутным пламенем в сиянии солнечного утра, опустилась, должно быть, по старой привычке, на сложенные руки Леонардо. Потом вдруг встрепенулась, взвилась и через открытое окно улетела в небо, с веселым криком. И Франческо подумал, что в последний раз учитель сделал то, что так любил,— отпустил на волю крылатую пленницу.

Согласно с желанием покойного, тело его пролежало три дня, но не в мертвецкой — этого не захотел Франческо,— а в той же комнате, где он умер.

При совершении похорон, все, сказанное в завещании, соблюдено в точности: капелланы, каноники, викарии, монахи сопровождали гроб; шестьдесят нищих несли шестьдесят свечей; в четырех церквах Амбуаза отслужены три большие и тридцать малых обеден, причем горели десять фунтов толстых восковых свечей; семьдесят туренских су розданы бедным при городской больнице Сен-Лазар. По этим признакам благочестивые люди могли убедиться, что хоронят верного сына святой католической Церкви.

Он был погребен в монастыре Сен-Флорентен. Но так как скоро забытая могила сровнялась с землею, и память о нем в Амбуазе исчезла бесследно, то для грядущих поколений место, где покоился прах Леонардо, осталось неизвестным.

Сообщая о смерти учителя братьям его во Флоренции, Франческо писал:

«Горя, причиненного мне смертью того, кто был для меня больше, чем отец, выразить я не умею. Но, пока жив,

буду скорбеть о нем, потому что он любил меня великою и нежною любовью. Да и всякий, полагаю, должен скорбеть об утрате такого человека, которому другого подобного природа не может создать.— Ныне, всемогущий Боже, даруй ему вечный покой».

XIV

В день смерти Леонардо Франциск I охотился в лесу Сен-Жерменском. Узнав о кончине художника, велел запечатать его мастерскую до своего прибытия в Амбуаз, так как желал сам выбрать для себя лучшие картины.

Впрочем, у Франциска в это время были заботы, более важные для него, чем искусство. Пять месяцев назад, 12 января 1519 года, скончался император Максимилиан I. Три короля — Англии, Испании, Франции — спорили из-за короны Священной Империи, действуя обманами и происками. Франциск уже мечтал — соединив в руках своих скипетр французских королей со скипетром римских императоров, основать небывалую в Европе монархию. На подкупы намеревался истратить три миллиона; искал союза с папою и обещал ему крестовый поход на турок для отвоевания Гроба Господня; клялся, что, через три года после своего избрания, вступит победителем в Константинополь и водрузит крест на Святой Софии. Больше, чем других соперников, ненавидел юного Карла, короля испанского, уверяя, что скорее согласится на избрание ничтожного курфюрста Бранденбургского или даже короля Польши Сигизмунда, чем Карла.

Лев X, по обыкновению, лукавил и вилял между обоими соперниками, не отвечая ни да, ни нет; в то же время продолжал переговоры, через доминиканца Дитриха Шомберга, с великим князем московским Василием Иоанновичем и, добиваясь его участия в Священной Лиге против турок, предлагал ему посредничество для заключения мира с королем Сигизмундом.

В это время один из двух, бывших в Италии русских послов, Дмитрий Герасимов, уже вернулся в Москву; другой, Никита Карачаров, остался в Риме. Узнав о предстоящем избрании кесаря и о переговорах по этому поводу Франциска с злейшим врагом своего государя, королем Сигизмундом — для более подробных и точных разведок Никита, вместе с папским легатом, поехал во Францию и, так же как в первую поездку, взял с собою старого подьячего, Илью Потапыча Копылу, толмача Власия

и двух младших писцов, Федора Игнатьевича Рудометова — Федьку Жареного и Евтихия Паисиевича Гагару.

Евтихий, по обычаю многих тогдашних русских странников, вел краткую путевую запись, где отмечал все особенно любопытное из виденного и слышанного. В этом дневнике, между прочим, описывал он так Флоренцию:

«Град, зовомый Флоренза, велик вельми, и таковаго не обрели мы в преждеписанных. Есть же прекраснейший и предобрейший сущих в Италии градов, их же сам видел. Божницы вельми красны, палаты из белого камня, вельми высоки и хитры. И есть во граде том божница великая, камень мрамор бел да черен. И у божницы той устроен столп-колокольница, так же белый камень-мрамор. И хитрости ее недоумевает ум наш. И ходили мы во столп тот вверх и сосчитали ступени: четыреста и пятьдесят. Что могли своим малоумием вместити, то и написали, как видели, иного же не мощно исписати, зане пречудно есть отнюдь и несказанно», — заключал он рассказ, и действительно, то, что́ больше всего поразило его, не сумел он выразить: среди мраморных шестигранных барельефов Джотто, которыми украшен нижний ярус исполинской «колокольницы» — Кампанилы собора Санта-Мария дель Фьоре и которые изображают последовательные ступени человеческого развития — скотоводство, земледелие, укрощение коня, изобретение кораблестроения, ткацкого станка, обработки металлов, живописи, музыки, астрономии, — заметил он хитрого механика Дедала, который испытывает изобретенные им, огромные восковые крылья: тело облеплено птичьими перьями; крылья привязаны ремнями к туловищу; обеими руками ухватился он за внутренние перекладины и, приводя ими в движение крылья, пытается взлететь.

Этот самый барельеф некогда внушил отроку Леонардо, только что приехавшему во Флоренцию из родного селения Винчи, первую мысль о летательной машине — о Великой Птице.

Загадочный образ Крылатого Человека тем более поразил Евтихия, что в те дни он работал над иконою Предтечи Крылатого. С неясною и вещею тревогою он почувствовал противоположность вещественных, устроенных, может быть, хитростью бесовскою, крыльев механика Дедала и духовных, «прообразующих парение девственников к Богу», крыльев «ангела во плоти» — Иоанна Предтечи.

Франциск I из Сен-Жермена переехал в охотничий замок Фонтенбло, затем в Амбуаз. Сюда же, в первых

числах июня 1519 года, прибыл русский посол Никита Карачаров и остановился, так же как в первый приезд, в доме нотариуса мэтра Гильома Боро, на главной улице города, у Часовой Башни.

Тотчас по приезде осмотрел король мастерскую Леонардо. В тот же день, вечером, принцесса Маргарита, с послом курфюрста Бранденбургского и другими чужеземными вельможами, в том числе Никитой Карачаровым, отправились в замок Дю Клу.

Проведав об этом, Федька Жареный посоветовал дяде, Илье Потапычу Копыле и Евтихию Гагаре также отправиться в «Дюклов», уверяя, что они могут увидеть много любопытного в доме «сего достохвального мастера Лионардуса, мужа чудного рассуждения, благосердного, в науке книжного поучения довольного, в словесной премудрости ритора, естествославного и смышлением быстроумного».

Илья Потапыч и Евтихий с толмачом Власием последовали за ним в замок Дю Клу.

Когда они пришли, Маргарита и прочие гости, уже кончив осмотр, собирались уходить. Тем не менее, Франческо принял новых гостей с тою же любезностью, с какою принимал всех чужеземцев, посещавших дом учителя, не справляясь о чинах и звании; повел их в мастерскую и стал показывать все, что в ней было.

С боязливым удивлением они разглядывали невиданные машины, астрономические сферы, глобусы, квадранты, стеклянные колбы, перегонные шлемы, огромный, сделанный из хрусталя, человеческий глаз для изучения законов света, музыкальные приборы для изучения законов звука, маленькое изображение водолазного колокола, острые, лодкообразные лыжи для хождения по морю, как посуху, анатомические рисунки и чертежи страшных военных снарядов. Федьку все это пленяло, казалось ему «астроложскою премудростью и высшей алхимеей». Но Илья Потапыч то и дело, хмурился, отворачивался и набожно крестился. Евтихия особенно поразил старый, сломанный остов крыла, похожего на крыло исполинской ласточки. Когда кое-как, через толмача Власия, Мельци объяснил ему, что это часть летательной машины, над которой учитель работал всю жизнь, Евтихию вспомнился крылатый человек Дедал на флорентинской мраморной колокольнице — и странные, жуткие мысли пробудились в нем с новою силою.

Осматривая картины, он остановился в недоумении перед Иоанном Предтечею; сначала принял его за женщину и не поверил, когда Власий, со слов Франческо, сказал, что это Креститель; но, вглядываясь пристальнее, увидел тростниковый крест — «посох кресчатый», такой же точно, с каким и русские иконники писали Иоанна Предтечу, заметил также одежду из верблюжьего волоса. Смутился. Но, несмотря на всю противоположность этого Бескрылого тому Крылатому, с которым свыкся Евтихий,— чем больше смотрел, тем больше пленяла чуждая прелесть женоподобного Отрока, полная тайны, улыбка, с которой он указывал на крест Голгофы. В оцепенении, как очарованный, стоял он перед картиною, ни о чем не думая, только чувствуя, что сердце бьется все чаще и чаще от неизъяснимого волнения.

Илья Потапыч не выдержал, яростно плюнул и выругался:

— Дьявольская нечисть! Невежество студодейное! Сей ли непотребный, аки блудница оголенный, ни брады, ни усов не имущий — Предтеча? Ежели Предтеча, то не Христа, а паче Антихриста... Пойдем, Евтихий, пойдем скорее, чадо мое, не оскверняй очей своих: нам православным и взирать не достоит на таковые иконы их, неистовые, бесоугодные — будь они прокляты!

И взяв Евтихия за руку, почти насильно оттащил от картины и долго еще, выйдя из дома Леонардо, не мог успокоиться.

— Видите ли ныне,— предостерегал своих спутников,— сколь мерзостен перед Богом всяк, любящий гиомитрию, чародейство, алхимею, звездочетие и прочее таковое? Ибо разуму верующий легко впадает в прелести различные. Любите же, дети мои, простоту паче мудрости; высочайшего не изыскуйте, глубочайшего не испытуйте, а какое вам предано готовое от Бога учение, то и содержите неблазненно. И ежели кто тебя спросит: знаешь ли всю философию? — ты ему отвечай со смирением: грамоте учился, еллинских же борзостей не проходил, риторских астрономов не читал, философию и в глаза не видел — учуся книгам благодатного закона, дабы грешную душу спасти...

Евтихий слушал, не понимая. Он думал о другом — о «бесоугодной иконе», хотел забыть ее и не мог: таинственный лик Женоподобного, Бескрылого носился перед ним, пугал и пленял его, преследуя, как наваждение.

XV

Так как в этот второй приезд Карачарова наплыв чужеземцев в Амбуаз был меньше, хозяин отвел для русского посольства помещение в нижних покоях дома, более просторное и удобное. Но Евтихий, предпочитая уединение, поселился в той же комнате, где жил два года назад — под самою крышею дома, рядом с голубятнею, и попрежнему устроил свою крошечную мастерскую в углублении слухового окна.

Вернувшись домой из замка Дю Клу и желая отогнать искушение, принялся за работу над новым, почти уже конченным, образом: Иоанн Предтеча Крылатый стоял в голубых небесах, на желтой песчаной, словно выжженной солнцем, горе, полукруглой, как бы на краю земного шара, окруженной темно-синим, почти черным, океаном. Он имел две головы — одну, живую — на плечах, другую, мертвую — в сосуде, который держал в руке своей, как бы в знак того, что человек, только умертвив в себе все человеческое, достигает окрыления сверхчеловеческого; лик был странен и страшен, взор широкооткрытых глаз похож на взор орла, вперенный в солнце; верблюжья мохнатая риза напоминала перья птицы; борода и волосы развевались, как бы от сильного ветра в полете; едва покрытые кожей кости тонких, исхудалых рук и ног, непомерно длинных, как у журавля, казались сверхъестественно легкими, точно полыми внутри, как хрящи и кости пернатых; за плечами висели два исполинские крыла, распростертые в лазурном небе, над желтою землей и черным океаном, снаружи белые, как снег, внутри багряно-золотистые, как пламя, подобные крыльям огромного лебедя.

Евтихию предстояло кончить позолоту на внутренней стороне крыльев.

Взяв несколько тонких, как бумага, листков червонного золота, он смял их в ладони и растер пальцем в раковине со свежею камедью; налил сверху воды, теплой, «в стутерп руки», и, как пало золото на дно, и вода устоялась, воду слил и острой хорьковою кисточкой начал писать перья в крыльях Предтечи золотыми черточками, тщательно, перышко к перышку, и в каждой бородке пера, усик к усику; закрепляя золото яичным белком, гладил его заячьей лапкою, вылащивал медвежьим зубом. Крылья становились все живее, все лучезарнее.

Но работа не дала ему обычного забвения: крылья Предтечи напоминали то крылья механика Дедала, то

крыло летательной машины Леонардо. И лик таинственного Отрока-Девы, лик Бескрылого вставал перед ним, заслоняя Крылатого, манил и пугал, преследуя, как наваждение.

На сердце Евтихия было тяжело и смутно. Кисть выпала из рук его. Почувствовал, что больше не в силах работать, вышел из дома и долго бродил сначала по улицам города, потом по берегу пустынной Луары.

Солнце зашло. Бледно-зеленое небо с вечернею звездою отражалось в зеркальной глади реки. А с другой стороны надвигалась туча. Зарницы трепетали в ней, как судорожно бьющиеся исполинские огненные крылья. Было душно и тихо. И в этой тишине сердце Евтихия сжималось все томительнее, все тревожнее.

Снова вернулся домой, зажег лампаду пред иконою Углицкой Божией Матери; справляя келейное правило, прочел каноны, икосы и кондаки; постлал на узкий деревянный ящик, служивший ему постелью, дорожный войлок, разделся и лег — но тщетно старался уснуть.

Часы проходили за часами. Его бросало то в жар, то в озноб. Во мраке, озаряемом вспышками бледных зарниц, он лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к тишине, в которой чудились ему странные шелесты, шепоты, шорохи, вещие звуки, приметы старых русских книжников: «ухозвон, стенотреск, мышеписк». Подобные бреду, бессвязные мысли проносились в уме его; вспоминались предания о всяких сказочных дивах и нежитях: о страшном Индрике-звере, что «ходит под землей, как солнце по небу, пропущает реки и кладязи»; о чудовищной птице Стратиме, что «живет на краю океана, колышет волны и топит корабли»; о брате царя Соломона, Китоврасе, что царствует днем над людьми, а ночью, обернувшись зверем, рыщет по земле; о людях, что носятся над бездною, над негасимым огнем, не пьют, не едят — таких длинных и тонких, что, куда ветер повеет, туда и летят, как паутина — а смерти им нет. И ему казалось, что сам он, как человек-паутина, носится в вечном вихре над бездною.

Вторые петухи пропели: и вспомнил он древнее сказание о том, как в средине ночи, когда ангелы, взяв от Божьего престола солнце, несут его на восток, херувимы ударяют в крылья свои, и на земле всякая птица трепещет от радости, и петух, открыв главу свою, пробуждается и плещет крыльями, пророчествуя миру свет.

И снова, и снова, подобные бреду, бессвязные мысли тянулись, обрывались, как гнилые нити, и путались.

Напрасно творил он молитву, удерживая дыхание, по уставу Нила Сорского: ничто не помогало — видения становились все ярче, все неотступнее.

Вдруг из мрака выплыл и встал перед ним, как живой, полный дьявольской прелестью, лик Женоподобного, Отрока-Девы, который, указывая на крест Голгофы, с нежной и насмешливой улыбкою смотрел Евтихию прямо в глаза таким пристальным, ласковым взором, что сердце его замерло от ужаса, и холодный пот выступил на лбу.

Зажег свечу, решив провести остаток ночи без сна, взял с полки книгу и начал читать. Это была древняя русская повесть *О Вавилонском Царстве.*

Во время царя Навуходоносора и его преемников город Вавилон опустел и сделался приютом бесчисленных змей. Через много веков император византийский Лев, во святом крещении Василий, послал трех мужей взять из Вавилона венец и порфиру царя Навуходоносора. Долго шли они, потому что путь был тесен и труден, наконец, дошли до града Вавилона, но ничего не увидели: ни стен, ни домов, ибо на шестнадцать поприщ вокруг запустевшего города выросло былие пустынное, «аки есть волчец, трава безугодная; а против сих трав гады, змеи, жабы огромные, им же числа нет, свившись, как великие копны сенные, вздымались и свистели, и шипели, и несло от них зимнею стужею». На третий день пришли посланники к Великому Змию, что лежал вокруг Вавилона и хобот свой пригнул с другой стороны к тем же вратам, где глава его. И лестница из древа кипариса положена была на стену города. По этой лестнице взошли они, вступили в город и в одной из царевых палат нашли венец Навуходоносора и ларец сердоликовый с порфирою и скипетром. Когда вернулись послы к императору с найденною царскою утварью, патриарх Константинопольский во храме Софии Премудрости Божией возложил на благоверного царя Василия порфиру и венец Навуходоносора, царя вавилонского и всей вселенной.— Впоследствии император Константин Мономах послал этот самый венец великому князю Владимиру Всеволодовичу, как знак всемирного владычества, уготованного Богом русской земле.

Отложив повесть «О Вавилонском Царстве», взял Евтихий другую книгу — сказание «О Белом Клобуке», посланное несколько лет назад из Рима новгородскому архиепископу Геннадию Дмитрием Герасимовым, Митей Толмачом, тем самым, который сопровождал Никиту Карачарова и у которого служил Евтихий.

В древние лета император Константин Равноапостольный, рассказывалось в этой повести, приняв христианскую веру и получив исцеление от папы Сильвестра, пожелал наградить его царским венцом. Но ангел велел ему дать венец не земного, а небесного всемирного владычества — Белый Клобук, устроенный по образцу монашеского чина, прообразующий «светлое тридневное Воскресение Христово». Православные папы долго чтили Белый Клобук, пока царь Карул с папою Формозом не впали в латинскую ересь, в признание не только небесного, но и земного владычества Церкви. Тогда ангел в новом видении одному из пап велел послать Клобук в Византию патриарху Филофею. Тот принял святыню с великою честью и пожелал удержать ее, но император Константин и папа Сильвестр, явившись ему в сновидении, велели послать Клобук еще далее — в русскую землю, в Великий Новгород. «Ибо ветхий Рим,— так сказал папа Сильвестр патриарху,— отпал от славы и веры Христовой гордостью и волею своею в прелесть латинскую, а в новом Риме, Константинополе, также погибнет вера насилием безбожных агарян. На третьем же Риме, на Русской земле, благодать Святого Духа воссияет. И ведай, Филофей, что все христианские земли приидут в конец и снидутся в единое Русское царство, православия ради. Ибо в древние лета, изволением земного царя Константина Мономаха, от царствующего града сего венец Навуходоносора дан был русскому царю; Белый же сей Клобук, изволением Царя небесного Христа, ныне дан будет архиепископу Великого Новгорода. И кольми сей — честнее оного. И вся святая предана будет от Бога Русской земле, и Русского царя возвеличит Господь над многими языками, и страна наречется Светлая Русь, по изволению Божьему, да сия третьего нового Рима святая соборная апостольская Церковь православною христианскою верою по всей вселенной паче солнца светится».

Так и совершилось. Архиепископ Новгородский принял Белый Клобук и положил его в церковь святой Софии Премудрости Божией. И благодатью Господа Иисуса Христа утвердился он отныне и во веки веков на главах русских святителей.

Повесть о Вавилонском Царстве предвещала земное — повесть о «Белом Клобуке» — небесное величие русской земли.

Каждый раз, как Евтихий читал эти сказания, душу его наполняло смутное чувство, ему самому непонятное,

подобное беспредельной надежде, от которого сердце его билось и захватывало дух, как над бездною.

Сколь ни казалась ему скудной и убогой родная земля в сравнении с чужими краями, он верил в эти пророчества о грядущем величии Третьего Рима, о «граде Иерусалиме начальном», о луче восходящего солнца на золотых семидесяти главах всемирного русского храма Софии Премудрости Божией.

Только в самой глубине души его было сомнение, чувство неразрешимого противоречия: не сказано ли, думал он, что царь Навуходоносор был царем неправосудным, «злейшим на всей земле», и что, желая, чтобы все народы служили ему одному и все языки и все племена призывали его, как Бога, объявил через глашатая: падите и поклонитесь золотому истукану царя Навуходоносора. Но истинный Бог покарал его: отнял сердце человеческое и дал ему сердце звериное, и был он отлучен от людей и ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти, как у птицы. И в Откровении не было ли сказано: «Пал, пал Вавилон — великая блудница, ибо яростным вином блудодеяния своего напоила все народы. Горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру!» — А если так, спрашивал себя Евтихий, как же в третьем Риме, в русском царстве, Белый Клобук соединится с мерзостным венцом Навуходоносора царя, проклятого Богом — венец Христа с венцом Антихриста?

Он чувствовал, что здесь — великая тайна, и что если он углубится в нее, то видения, более страшные, чем те, что отошли от него, снова приступят к нему.

Стараясь не думать, погасил свечу и лег в постель.

XVI

Приснился ему сон: с огненным лицом, огненными крыльями, в блистающих ризах, *Жена* на серповидной луне среди облаков, под седмистолпным киворием с надписью: *Премудрость созда себе дом*; пророки, святители, праотцы, дориносящие ангелы, архангелы, Силы, Престолы, Господствия, Власти окружали *Ее*; и в сонме пророков, у самого подножия Премудрости — Иоанн Предтеча, с такими же тонкими руками и ногами, длинными, как у журавля, с такими же белыми исполинскими крыльями, как на иконе, но с другим лицом: по оголенному лбу с упрямыми морщинами, по щетинистым бровям, длинной

седой бороде и седым волосам, узнал Евтихий запечатлевшееся в памяти его лицо старика, похожего на Илью пророка, который два года назад приходил к нему в мастерскую — лицо Леонардо да Винчи, изобретателя человеческих крыльев.— Внизу, под облаками, на которых стояла *Жена*, горели, как жар, в голубых небесах, золотые купола и маковки церквей; виднелись черные, только что взрытые плугом, поля, синие рощи, светлые реки и бесконечная даль, в которой узнал он Русскую землю.

Колокола загудели торжественным гулом; многоочитые запели победную песнь: *аллилуия*; шестикрылатые, закрывая в ужасе лица свои крыльями, возопили: *да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом;* и семь архангелов ударили в крылья свои; и семь громов проговорили. И над *Женою* огнезрачною, Святой Софией Премудростью Божией, небо разверзлось, и нечто явилось в нем, белое, солнцу подобное, страшное. И понял Евтихий, что это есть *Белый Клобук*, венец Христа над Русскою землею.

Свиток, который держал в руке Предтеча Крылатый, развернулся, и Евтихий прочел:

«Вот Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет во храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, Которого вы желаете. Вот Он идет».

Голоса громов, плески ангельских крыл, победная песнь аллилуия и звон колоколов слились в одну хвалебную песнь Святой Софии Премудрости Божией.

И песни этой ответили нивы, рощи, реки, горы и все бесконечные дали Русской земли.

Евтихий проснулся.

Было раннее, серое утро. Он встал и открыл окно. На него пахнуло душистою свежестью листьев и трав, омытых дождем: ночью прошла гроза. Солнце еще не всходило. Но на краю неба, над темными лесами, за рекою, там, где оно должно было взойти, столпившиеся тучи рдели пурпуром и золотом. Улицы города спали в сумерках; лишь тонкая белая колокольня св. Губерта освещалась бледно-зеленым, как будто подводным, светом. Тишина была совершенная, полная великого ожидания; только на песчаных отмелях пустынной Луары дикие лебеди перекликались.

Иконописец сел у окна за маленький столик, с наклонной доской для писания, с прикрепленною сбоку роговой чернильницей и выдвижным для перьев ящиком, очинил

гусиное перо и открыл большую тетрадь. Это был многолетний труд его, завещанный ему учителем, смиренным старцем Прохором, новый исправленный «Иконописный подлинник».

«Откуда же начало есть икон? Не от человеков, но сам Бог-Отец, первый, родил Сына, Слово Свое, живую Свою Икону»,— то были последние слова, написанные Евтихием. Он обмакнул перо и продолжал писать:

«Аз, грешный, имея от Господа талант, моей худости врученный, не хотел его в земле сокрыть, да не приму за то осуждения, но потщился алфавит художества сего, еже есть все члены тела человеческого, мастерству иконному во употребление приходящие, написать во образ и пользу всем люботщателям честной сей хитрости.— Всех вас, братья мои, их же ради положил труды сии, прилежно молю о теплой молитве ко Господу, дабы мне, образы Его и слуг святых на земле писавшему, само Лицо Его божественное и всех Его угодников узреть во царствии небесном, где честь Его и слава воспевается ото всех бесплотных. ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Пока он писал, из-за темного леса, как раскаленный уголь, показался край солнца, и что-то пронеслось по земле и по небу, подобное музыке.

Белые голуби вспорхнули из-под кровельного выступа и зашелестели крыльями.

Луч проник сквозь окно в мастерскую Евтихия, упал на икону Иоанна Предтечи, и позлащенные крылья, внутри багряно-золотистые, как пламя, снаружи белые, как снег, широко распростертые в лазурном небе над желтою землей и черным океаном, подобные крыльям исполинского лебедя, вдруг заблестели, заискрились в пурпуре солнца, словно оживившись сверхъестественною жизнью.

Евтихий вспомнил свой сон, взял кисть, обмакнул ее в алую черлень и написал на белом свитке Предтечи Крылатого:

Вот Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придет во храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, которого вы желаете. Вот Он идет.

III

АНТИХРИСТ

(ПЕТР И АЛЕКСЕЙ)

КНИГА ПЕРВАЯ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕНЕРА

I

— АНТИХРИСТ хочет быть. Сам он, последний черт, не бывал еще, а щенят его народилось — полна поднебесная. Дети отцу своему подстилают путь. Все на лицо антихристово строят. А как устроят, да вычистят гладко везде, так сам он в свое время и явится. При дверях уже — скоро будет!

Это говорил старик лет пятидесяти в оборванном подьяческом кафтане молодому человеку в китайчатом шлафроке и туфлях на босую ногу, сидевшему за столом.

— И откуда вы все это знаете?— произнес молодой человек.— Писано: ни Сын, ни ангелы не ведают. А вы знаете...

Он помолчал, зевнул и спросил:

— Из раскольников, что ли?

— Православный.

— В Петербург зачем приехал?

— С Москвы взят из домишку своего с приходн. и расходными книгами, по доношению фискальному во взятках.

— Брал?

— Брал. Не из неволи или от какого воровства, а по любви и по совести, сколько кто даст за труды наши приказные.

Он говорил так просто, что, видно было, в самом деле не считал взятки грехом.

— И ко обличению вины моей он, фискал, ничего не донес. А только по запискам подрядчиков, которые во многие годы по-небольшому давали, насчитано оных дач на меня 215 рублев, а мне платить нечем. Нищ есмь, стар, скорбен, и убог, и увечен, и мизерен, и приказных дел нести не могу — бью челом об отставке. Ваше премилосердное высочество, призри благоутробием щедрот своих, заступись за старца беззаступного, да освободи от оного

платежа неправедного. Смилуйся, пожалуй, государь царевич Алексей Петрович!

Царевич Алексей встретил этого старика несколько месяцев назад в Петербурге, в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, что близ речки Фонтанной и Шереметевского двора на Литейной. Заметив его по необычной для приказных, давно не бритой седой бороде и по истовому чтению Псалтыри на клиросе, царевич спросил, кто он, откуда и какого чина. Старик назвал себя подьячим Московского Артиллерийского приказа, Ларионом Докукиным; приехал он из Москвы и остановился в доме просвирни той же Симеоновской церкви; упомянул о нищете своей, о фискальном доношении; а также, едва не с первых слов — об Антихристе. Старик показался царевичу жалким. Он велел ему придти к себе на дом, чтобы помочь советом и деньгами.

Теперь Докукин стоял перед ним, в своем оборванном кафтанишке, похожий на нищего. Это был самый обыкновенный подьячий из тех, которых зовут чернильными душами, приказными строками. Жесткие, точно окаменелые, морщины, жесткий, холодный взгляд маленьких тусклых глаз, жесткая запущенная седая борода, лицо серое, скучное, как те бумаги, которые он переписывал; корпел, корпел над ними, должно быть, лет тридцать в своем приказе, брал взятки с подрядчиков по любви да по совести, а может быть, и кляузничал,— и вот до чего вдруг додумался: Антихрист хочет быть.

«Уж не плут ли?»— усумнился царевич, вглядываясь в него пристальнее. Но ничего плутовского или хитрого, а скорее что-то простодушное и беспомощное, угрюмое и упрямое было в этом лице, как у людей, одержимых одною неподвижною мыслью.

— Я еще и по другому делу из Москвы приехал,— добавил старик и как будто замялся. Неподвижная мысль с медленным усилием проступала в жестких чертах его. Он потупил глаза, пошарил рукою за пазухой, вытащил оттуда завалившиеся за подкладку сквозь карманную прореху бумаги и подал их царевичу.

Это были две тоненькие засаленные тетрадки в четвертую долю, исписанные крупно и четко подьяческим почерком.

Алексей начал их читать рассеянно, но потом все с большим и большим вниманием.

Сперва шли выписки из святых отцов, пророков и Апокалипсиса об Антихристе, о кончине мира. Затем —

воззвание к «архипастырям великой России и всей вселенной», с мольбою простить его, Докукина, «дерзость и грубость, что мимо их отеческого благословения написал сие от многой скорби своей и жалости, и ревности к церкви», а также заступиться за него перед царем и прилежно упросить, чтоб он его помиловал и выслушал.

Далее следовала, видимо, главная мысль Докукина: «Повелено человеку от Бога самовластну быть».

И наконец — обличие государя Петра Алексеевича: «Ныне же все мы от онаго божественного дара — самовластной и свободной жизни отрезаемы, а также домов и торгов, землевладельства и рукодельства, и всех своих прежних промыслов и древле установленных законов, паче же и всякого благочестия христианского лишаемы. Из дома в дом, из места в место, из града в град гонимы, оскорбляемы и озлобляемы. Весь обычай свой и язык, и платье изменили, головы и бороды обрили, персоны свои ругательски обесчестили. Нет уже в нас ни доброты, ни вида, ни различия с иноверными; но до конца смесилися с ними, делам их навыкли, а свои христианские обеты опровергли и святые церкви опустошили. От Востока очи смежили: на Запад ноги в бегство обратили, странным и неведомым путем пошли и в земле забвения погибли. Чужих установили, всеми благами угобзили, а своих, природных гладом поморили и, бьючи на правежах, несносными податями до основания разорили. Иное же и сказать неудобно, удобнее устам своим ограду положить. Но весьма сердце болит, видя опустошение Нового Иерусалима и люд в бедах язвлен нестерпимыми язвами!».

«Все же сие,— говорилось в заключение,— творят нам за имя Господа нашего Иисуса Христа. О, таинственные мученики, не ужасайтесь и не отчаивайтесь, станьте добре и оружием Креста вооружитесь на силу антихристову! Потерпите Господа ради, мало еще потерпите! Не оставит нас Христос, Ему же слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь!».

— Для чего ты это писал? — спросил царевич, дочитав тетрадки.

— Одно письмо такое же намедни подкинул у Симеоновской церкви на паперти,— отвечал Докукин.— Да то письмо, найдя, сожгли и государю не донесли и розыску не делали. А эту молитву прибить хочу у Троицы, возле дворца государева, чтоб все, кто бы ни читал, что в ней написано, знали о том и донесли бы его царскому вели-

честву. А написал сие во исправление, дабы некогда, пришед в себя, его царское величество исправился.

«Плут!— опять промелькнуло в голове Алексея.— А, может быть, и доносчик! И догадал меня черт связаться с ним!»

— А знаешь ли, Ларион,— сказал он, глядя ему прямо в глаза,— знаешь ли, что о сем твоем возмутительном и бунтовском писании я, по должности моей гражданской и сыновней, государю батюшке донести имею? Воинского же Устава по артикулу двадцатому: кто против его величества хулительными словами погрешит, тот живота лишен и отсечением головы казнен будет.

— Воля твоя, царевич. Я и сам думал было с тем явиться, чтобы пострадать за слово Христово.

Он сказал это так же просто, как только что говорил о взятках. Еще пристальнее вгляделся в него царевич. Перед ним был все тот же обыкновенный подьячий, приказная строка; все тот же холодный тусклый взгляд, скучное лицо. Только в самой глубине глаз опять зашевелилось что-то медленным усилием.

— В уме ли ты, старик? Подумай, что ты делаешь? Попадешь в гарнизонный застенок — там с тобой шутить не будут: за ребро повесят, да еще прокоптят, как вашего Гришку Талицкого.

Талицкий был один из проповедников конца мира и второго пришествия, утверждавший, что государь Петр Алексеевич — Антихрист, и несколько лет тому назад казненный страшною казнью копчения на медленном огне.

— За помощью Божией готов и дух свой предать,— ответил старик.— Когда не ныне, умрем же всячески. Надобно бы что доброе сделать, с чем бы предстать перед Господом, а то без смерти и мы не будем.

Он говорил все так же просто; но что-то было в спокойном лице его, в тихом голосе, что внушало уверенность, что этот отставной артиллерийский подьячий, обвиняемый во взятках, действительно пойдет на смерть, не ужасаясь, как один из тех таинственных мучеников, о которых он упоминал в своей молитве.

«Нет,— решил вдруг царевич,— не плут и не доносчик, а либо помешанный, либо в самом деле мученик!»

Старик опустил голову и прибавил еще тише, как будто про себя, забыв о собеседнике:

— Повелено от Бога человеку самовластну быть.

Алексей молча встал, вырвал листок из тетрадки, зажег его о горевшую в углу перед образами лампадку, вы-

нул отдушник, открыл дверцу печки, сунул туда бумаги, подождал, мешая кочергой, чтоб они сгорели дотла, и когда остался лишь пепел, подошел к Докукину, который, стоя на месте, только глазами следил за ним, положил руку на плечо его и сказал:

— Слушай, старик. Никому я на тебя не донесу. Вижу, что ты человек правдивый. Верю тебе. Скажи: хочешь мне добра?

Докукин не ответил, но посмотрел на него так, что не нужно было ответа.

— А коли хочешь, выкинь дурь из головы! О бунтовских письмах и думать не смей — не такое нынче время. Ежели попадешься, да узнают, что ты был у меня, так и мне худо будет. Ступай с Богом и больше не приходи никогда. Ни с кем не говори обо мне. Коли спрашивать будут, молчи. Да уезжай-ка поскорей из Петербурга. Смотри же, Ларион, будешь помнить волю мою?

— Куда нам из воли твоей выступить? — проговорил Докукин.— Видит Бог, я тебе верный слуга до смерти.

— О доносе фискальном не хлопочи,— продолжал Алексей.— Я слово замолвлю, где надо. Будь покоен, тебя освободят от всего. Ну, ступай... или нет, постой, давай платок.

Докукин подал ему большой синий клетчатый, полинялый и дырявый, такой же «мизерный», как сам его владелец, носовой платок. Царевич выдвинул ящик маленькой ореховой конторки, стоявшей рядом со столом, вынул оттуда, не считая, серебром и медью рублей двадцать — для нищего Докукина целое сокровище — завернул деньги в платок и отдал с ласковой улыбкою.

— Возьми на дорогу. Как вернешься в Москву, закажи молебен в Архангельском и частицу вынь за здравие раба Божия Алексея. Только смотри, не проговорись, что за царевича.

Старик взял деньги, но не благодарил и не уходил. Он стоял по-прежнему, опустив голову. Наконец, поднял глаза и начал было торжественно, должно быть, заранее приготовленную речь:

— Как древле Самсону утолил Бог жажду через ослиную челюсть, так и ныне тот же Бог не учинит ли через мое неразумение тебе, государь, нечто подобное и прохладительное?

Но вдруг не выдержал, голос его пресекся, торжественная речь оборвалась, губы задрожали, весь он затрясся и повалился в ноги царевичу.

— Смилуйся, батюшка! Послушай нас бедных, вопиющих, последних рабов твоих! Порадей за веру христианскую, воздвигни и досмотри, даруй церкви мир и единомыслие. Ей, государь царевич, дитятко красное, церковное, солнышко ты наше, надежда Российская! Тобой хочет весь мир просветиться, о тебе люди Божии расточенные радуются! Если не ты по Господе Боге, кто нам поможет? Пропали, пропали мы все без тебя, родимый. Смилуйся!

Он обнимал и целовал ноги его с рыданием. Царевич слушал, и ему казалось, что в этой отчаянной мольбе доносится к нему мольба всех погибающих, «оскорбляемых и озлобляемых»— вопль всего народа о помощи.

— Полно-ка, полно, старик,— проговорил он, наклонившись к нему и стараясь поднять его.— Разве я не знаю, не вижу? Разве не болит мое сердце за вас? Одно у нас горе. Где вы, там и я. Коли даст Бог, на царстве буду — все сделаю, чтоб облегчить народ. Тогда и тебя не забуду: мне верные слуги нужны. А пока терпите да молитесь, чтобы скорее дал Бог совершение — буде же воля Его святая во всем!

Он помог ему встать. Теперь старик казался очень дряхлым, слабым и жалким. Только глаза его сияли такою радостью, как будто он уже видел спасение России.

Алексей обнял и поцеловал его в лоб.

— Прощай, Ларион. Даст Бог свидимся, Христос с тобой!

Когда Докукин ушел, царевич сел опять в свое кожаное кресло, старое, прорванное, с волосяною обивкою, торчавшею из дыр, но очень спокойное, мягкое, и погрузился не то в дремоту, не то в оцепенение.

Ему было двадцать пять лет. Он был высокого роста, худ и узок в плечах, со впалою грудью; лицо тоже узкое, до странности длинное, точно вытянутое и заостренное книзу, старообразное и болезненное, со смугло-желтым цветом кожи, как у людей, страдающих печенью; рот очень маленький и жалобный, детский; непомерно большой, точно лысый, крутой и круглый лоб, обрамленный жидкими косицами длинных, прямых черных волос. Такие лица бывают у монастырских служек и сельских дьячков. Но когда он улыбался, глаза его сияли умом и добротою. Лицо сразу молодело и хорошело, как будто освещалось тихим внутренним светом. В эти минуты напоминал он деда своего, Тишайшего царя Алексея Михайловича в молодости.

Теперь, в грязном шлафроке, в стоптанных туфлях на босу ногу, заспанный, небритый, с пухом на волосах, он

мало похож был на сына Петра. С похмелья после вчерашней попойки проспал весь день и встал недавно, только перед самым вечером. Через дверь, отворенную в соседнюю комнату, видна была неубранная постель со смятыми огромными пуховиками и несвежим бельем.

На рабочем столе, за которым он сидел, валялись в беспорядке заржавевшие и запыленные математические инструменты, старинная сломанная кадиленка с ладаном, табачная терка, пеньковые пипки, коробочка из-под пудры для волос, служившая пепельницей; вороха бумаг и груды книг в таком же беспорядке: рукописные заметки ко всемирной Летописи Барония покрывала куча картузного табаку; на странице раскрытой, растерзанной, с оборванным корешком, *Книги, именуемой Геометрия или Землемерие радиксом и циркулем к научению мудролюбивых тщателей*, лежал недоеденный соленый огурец; на оловянной тарелке — обглоданная кость и липкая от померанцевой настойки рюмка, в которой билась и жужжала муха. И по стенам с ободранными, замаранными шпалерами из темно-зеленой травчатой клеенки, и по закоптелому потолку, и по тусклым стеклам окон, не выставленных, несмотря на жаркий конец июня,— всюду густыми черными роями жужжали, кишели и ползали мухи.

Мухи жужжали над ним. Он вспомнил драку, которой кончилась вчерашняя попойка. Жибанда ударил Засыпку, Засыпка — Захлюстку, и отец Ад и Грач с Молохом свалились под стол; это были прозвища, данные царевичем его собутыльникам, «за домовную издевку». И сам он, Алексей Грешный — тоже прозвище — кого-то бил и драл за волосы, но кого именно, не помнит. Тогда было смешно, а теперь гадко и стыдно.

Голова разбаливалась. Выпить бы еще померанцевой, опохмелиться. Да лень встать, позвать слугу, лень двинуться. А сейчас надо одеваться, напяливать узкий мундирный кафтан, надевать шпагу, тяжелый парик, от которого еще сильнее болит голова, и ехать в Летний сад на маскарадное сборище, где велено быть всем «под жестоким штрафом».

Со двора доносились голоса детей, игравших в веревочку и в стрякотки-блякотки. Больной взъерошенный чижик в клетке под окном изредка чирикал жалобно. Маятник высоких, стоячих, с курантным боем, английских часов — давнишний подарок отца — тикал однообразно. Из комнат верхнего жилья слышались унылые бесконечные гаммы, которые разыгрывала на дребезжащем, ста-

реньком немецком клавесине жена Алексея, кронпринцесса София Шарлотта, дочь Вольфенбюттельского герцога. Он вдруг вспомнил, как вчера, пьяный, ругал ее Жибанде и Захлюстке: «Вот жену мне на шею чертовку навязали: как-де к ней ни приду, все сердитует и не хочет со мною говорить. Этакая фря немецкая!»—«Не хорошо,— подумал он.— Много я пьяный лишних слов говорю, а потом себя очень зазираю»... И чем она виновата, что ее почти ребенком насильно выдали за него? И какая она фря? Больная, одинокая, покинутая всеми на чужой стороне, такая же несчастная, как он. И она его любит — может быть, она одна только и любит его. Он вспомнил, как они намедни поссорились. Она закричала: «Последний сапожник в Германии лучше обращается со своею женою, чем вы!» Он злобно пожал плечами: «Возвращайтесь же с Богом в Германию!..»—«Да, если бы я не была...»— и не кончила, заплакала, указывая на свой живот — она была беременна. Как сейчас, видит он эти припухшие, бледно-голубые глаза и слезы, которые, смывая пудру — только что бедняжка нарочно для него припудрилась — струятся по некрасивому, со следами оспы, чопорному, еще более подурневшему и похудевшему от беременности и такому жалкому, детски-беспомощному лицу. Ведь он и сам любит ее, или, по крайней мере, жалеет по временам внезапною и безнадежною, острою до боли, нестерпимою жалостью. Зачем же он мучит ее? Как не грешно ему, не стыдно? Даст он за нее ответ Богу.

Мухи одолели его. Косой, горячий, красный луч заходящего солнца, ударяя прямо в окно, резал глаза.

Он передвинул, наконец, кресло, повернулся спиною к окну и уставился глазами в печку. Это была огромная, с резными столбиками, узорчатыми впадинками и уступчиками, голландская печь из русских кафельных изразцов, скованных по углам медными гвоздиками. Густыми красно-зелеными и темно-фиолетовыми красками по белому полю выведены были разные затейливые звери, птицы, люди, растения — и под каждой фигуркой славянскими буквами надпись. В багровом луче краски горели с волшебною яркостью. И в тысячный раз с тупым любопытством царевич разглядывал эти фигурки и перечитывал надписи. Мужик с балалайкой: *музыку умножаю*; человек в кресле с книгою: *пользую себя*; тюльпан расцветающий: *дух его сладок*; старик на коленях перед красавицей: *не хочу старого любити;* чета, сидящая под кустами: *совет наш благ с тобою*; и березинская баба, и фран-

цузские комедианты, и попы, китайский с японским, и Диана, и сказочная птица Малкофея.

А мухи все жужжат, жужжат; и маятник тикает; и чижик уныло пищит; и гаммы доносятся сверху, и крики детей со двора. И острый, красный луч солнца тупеет, темнеет. И разноцветные фигурки движутся. Французские комедианты играют в чехарду с березинскою бабою; японский поп подмигивает птице Малкофее. И все путается, глаза слипаются. И если бы не эта огромная липкая черная муха, которая уже не в рюмке, а в голове его жужжит и щекочет, то все было бы хорошо, спокойно, и ничего бы не было, кроме тихой, темной, красной мглы.

Вдруг он вздрогнул весь и очнулся. «Смилуйся, батюшка, надежда Российская!» — прозвучало в нем с потрясающей силою. Он оглянул неряшливую комнату, себя самого — и, как режущий глаза, багровый луч солнца, залил ему лицо, обжег его стыд. Хороша «надежда Российская!» Водка, сон, лень, ложь, грязь и этот вечный подлый страх перед батюшкой.

Неужели поздно? Неужели кончено? Стряхнуть бы все это, уйти, бежать! «Пострадать за слово Христово,— прозвучали в нем опять слова Докукина.— Человеку повелено от Бога самовластну быть». О да, скорее к ним, пока еще не поздно! Они зовут и ждут его, «таинственные мученики».

Он вскочил, как будто в самом деле хотел куда-то бежать, что-то решить, что-то сделать безвозвратное — и замер весь в ожидании, прислушиваясь.

В тишине загудели медным, медленным, певучим гулом курантного боя часы. Пробило девять, и когда последний удар затих, дверь тихонько скрипнула, и в нее просунулась голова камердинера, старика Ивана Афанасьича Большого.

— Ехать пора. Одеваться прикажете? — проворчал он, по своему обыкновению, с такою злобною угрюмостью, точно обругал его.

— Не надо. Не поеду,— сказал Алексей.

— Как угодно. А только всем велено быть. Опять станут батюшка гневаться.

— Ну, ступай, ступай,— хотел было прогнать его царевич, но, взглянув на эту взъерошенную голову с пухом в волосах, с таким же небритым, измятым, заспанным лицом, как у него самого, вдруг вспомнил, что это ведь его-то, Афанасьича, он и драл вчера за волосы.

Долго царевич смотрел на старика с тупым недоумением, словно только теперь проснулся окончательно.

Последний красный отблеск потух в окне, и все сразу посерело, как будто паутина, спустившись из всех закоптелых углов, наполнила и заткала комнату серою сеткою.

А голова в дверях все еще торчала, как прилепленная, не подаваясь ни взад, ни вперед.

— Так прикажете одеваться, что ли?— повторил Афанасьич с еще бо́льшею угрюмостью.

Алексей безнадежно махнул рукою.

— Ну, все равно, давай!

И видя, что голова не исчезает, как будто ожидая чего-то, прибавил:

— Еще бы померанцевой, опохмелиться? Дюже голова трещит со вчерашнего...

Старик не ответил, но посмотрел на него так, как будто хотел сказать: «Не твоей бы голове трещать со вчерашнего!»

Оставшись один, царевич медленно заломил руки, так что все суставы пальцев хрустнули, потянулся и зевнул. Стыд, страх, скорбь, жажда раскаяния, жажда великого действия, мгновенного подвига — все разрешилось этою медленною, неудержимою до боли, до судороги в челюстях, более страшною, чем вопль и рыдание, безнадежною зевотою.

Через час, вымытый, выбритый, опохмелившийся, туго затянутый в узкий, зеленого немецкого сукна с красными отворотами и золотыми галунами мундир преображенской гвардии сержанта, он ехал на своей шестивесельной верейке вниз по Неве к Летнему саду.

II

В тот день, 26 июня 1715 года, назначен был в Летнем саду праздник Венеры в честь древней статуи, которую только что привезли из Рима и должны были поставить в галерее над Невою.

«Буду иметь сад лучше, чем в Версале у французского короля»,— хвастал Петр. Когда он бывал в походах, на море или в чужих краях, государыня посылала ему вести о любимом детище: «Огород наш раскинулся изрядно и лучше прошлогоднего: дорога, что от палат, кленом и дубом едва не вся закрылась, и когда ни выйду, часто сожалею, друг мой сердешненькой, что не вместе с вами гуляю».—«Огород наш зелененек стал; уже почало смолою пахнуть»— то есть, смолистым запахом почек.

Действительно, в Летнем саду устроено было все «регулярно по плану», как в «славном огороде Версальском». Гладко, точно под гребенку, остриженные деревья, геометрически-правильные фигуры цветников, прямые каналы, четырехугольные пруды с лебедями, островками и беседками, затейливые фонтаны, бесконечные аллеи —«першпективы», высокие лиственные изгороди, шпалеры, подобные стенам торжественных приемных зал,—«людей убеждали, чтобы гулять, а когда утрудится кто, тотчас найдет довольно лавок, феатров, лабиринтов и тапеты зеленой травы, дабы удалиться как бы в некое всесладостное уединение».

Но царскому огороду было все-таки далеко до Версальских садов.

Бледное петербургское солнце выгоняло тощие тюльпаны из жирных роттердамских луковиц. Только скромные северные цветы — любимый Петром пахучий калуфер, махровые пионы и уныло-яркие георгины — росли здесь привольнее. Молодые деревца, привозимые с неимоверными трудами на кораблях, на подводах из-за тысяч верст — из Польши, Пруссии, Померании, Дании, Голландии — тоже хирели. Скудно питала их слабые корни чужая земля. Зато, «подобно как в Версалии», расставлены были вдоль главных аллей мраморные бюсты — «грудные штуки»— и статуи. Римские императоры, греческие философы, олимпийские боги и богини, казалось, переглядывались, недоумевая, как попали они в эту дикую страну гиперборейских варваров. То были, впрочем, не древние подлинники, а лишь новые подражания плохих итальянских и немецких мастеров. Боги, как будто только что сняв парики да шитые кафтаны, богини — кружевные фонтанжи да роброны и, точно сами удивляясь не совсем приличной наготе своей, походили на жеманных кавалеров и дам, наученных «поступи французских учтивств» при дворе Людовика XIV или герцога Орлеанского.

По одной из боковых аллей сада, по направлению от большого пруда к Неве, шел царевич Алексей. Рядом с ним ковыляла смешная фигурка на кривых ножках, в потертом немецком кафтане, в огромном парике, с выражением лица растерянным, ошеломленным, как у человека, внезапно разбуженного. Это был цейхдиректор оружейной канцелярии и новой типографии, первый в Петербурге городке печатного дела мастер, Михайло Петрович Аврамов.

Сын дьячка, семнадцатилетним школьником, прямо от Часослова и Псалтыри, он попал на торговую шняву,

отправляемую из Кроншлота в Амстердам, с грузом дегтя, юфти, кожи и десятка «российских младенцев», выбранных из ребят, которые поостряе», в науку за море, по указу Петра. Научившись в Голландии отчасти геометрии, но больше мифологии, Аврамов «был тамошними жителями похвален и печатными курантами опубликован». От природы не глупый, даже «вострый» малый, но, как бы раз навсегда изумленный, сбитый с толку слишком внезапным переходом от Псалтыри и Часослова к басням Овидия и Вергилия, он уже не мог прийти в себя. С чувствами и мыслями его произошло нечто, подобное родимчику, который делается у перепуганных со сна маленьких детей. С той поры так и осталось на лице его это выражение вечной растерянности, ошеломленности.

— Государь царевич, ваше высочество, я тебе как самому Богу исповедуюсь,— говорил Аврамов однообразным плачущим голосом, точно комар жужжал.— Зазирает меня совесть, что поклоняемся, будучи христианами, идолам языческим...

— Каким идолам?— удивился царевич.

Аврамов указал на стоявшие, по обеим сторонам аллеи, мраморные статуи.

— Отцы и деды ставили в домах своих и при путях иконы святые; мы же стыдимся того, но бесстыдные поставляем кумиры. Иконы Божьи имеют на себе силу Божью; подобно тому и в идолах, иконах бесовых, пребывает сила бесовская. Служили мы доднесь единому пьянственному богу Бахусу, нареченному Ивашке Хмельницкому, во всешутейшем соборе с князем-папою; ныне же и всескверной Венус, блудной богине, служить собираемся. Называют служения те машкерадами, и не мнят греха, понеже, говорят, самих тех богов отнюдь в натуре нет, болваны же их бездушные в домах и огородах не для чего-де иного, как для украшения, поставляются. И в том весьма, с конечной пагубой души своей, заблуждаются, ибо натуральное и сущее бытие сии ветхие боги имеют...

— Ты веришь в богов?— еще больше удивился царевич.

— Верю, ваше высочество, свидетельству святых отцов, что боги суть бесы, кои, изгнаны именем Христа Распятого из капищ своих, побежали в места пустые, темные, пропастные и угнездились там, и притворили себя мертвыми и как бы не сущими — до времени. Когда же оскудело древнее христианство, и новое прозябло нечестие, то и боги сии ожили, повыползли из нор своих: точь-в-точь как вся-

кое непотребное червие и жужелица и прочая ядовитая гадина, излезая из яиц своих, людей жалит, так бесы из ветхих сих идолов — личин своих исходя, христианские души уязвляют и погубляют. Помнишь ли, царевич, видение иже во святых отца Исаакия? Благолепные девы и отроки, их же лица были аки солнца, ухватя преподобного за руки, начали с ним скакать и плясать под сладчайшие гласы мусикийские и, утрудив его, оставили еле жива и, так поругавшись, исчезли. И познал святой авва, что были то ветхие боги эллино-римские — Иовиш[1], Меркуриуш, Аполло и Венус, и Бахус. Ныне и нам, грешным, являются бесы в подобных же видах. А мы любезно приемлем их и в гнусных ма́шкерах, смесившись с ними, скачем и пляшем да все вкупе в преглубокий тартар вринемся, как стадо свиное в пучину морскую, не помышляя того, невежды, сколь страшнейшие суть самых скаредных и черных эфиопских рож сии новые, лепообразные, солнцеподобные, белые черти!

В саду, несмотря на июньскую ночь, было почти темно. Небо заволакивали низкие, черные, душные, грозовые тучи. Иллюминации еще не зажигали, праздник не начинался. Воздух был тих, как в комнате. Зарницы или очень далекие безгромные молнии вспыхивали, и с каждою вспышкою в голубоватом блеске вдруг выделялись почти ослепительно, режущей глаз белизною мраморные статуи на черной зелени шпалер по обеим сторонам аллеи, точно вдруг белые призраки выступали и потом опять исчезали.

Царевич, после того, что слышал от Аврамова, смотрел на них уже с новым чувством. «А ведь и в самом деле,— думал он,— точно белые черти!»

Послышались голоса. По звуку одного из них, негромкому, сиповатому, а также по красной точке угля, горевшего, должно быть, в глиняной голландской трубке — высота этой точки обличала исполинский рост курильщика — царевич узнал отца.

Быстро повернул он за угол аллеи в боковую дорожку лабиринта из кустов сирени и букса. «Будто заяц в кусты шмыгнул!»,— подумал тотчас со злобою об этом движении своем, почти непроизвольном, но все же унизительно трусливом.

— Черт знает, что ты такое говоришь, Абрамка!— продолжал он с притворною досадою, чтобы скрыть свой стыд.— В уме ты, видно, от многого чтения зашелся.

[1] Юпитер (*церковнослав.*).

— Сущую истину говорю, ваше высочество,— возразил Аврамов, не обижаясь.— Сам я на себе познал ту нечистую силу богов. Подустил меня сатана у батюшки твоего, государя, Овидиевых и Вергилиевых книжиц просить для печатания. Одну из оных, с абрисами скверных богов и прочего их сумасбродного действа, я уж в печать издал. И с той поры обезумился и впал в ненасытный блуд, и отступила от меня сила Господня, и стали мне являться в сонных видениях всякие боги, особливо же Бахус и Венус...

— Каким подобием?— спросил царевич не без любопытства.

— Бахус — подобием тем, как персона еретика Мартына Лютера пишется — немец краснорожий, брюхо, что пивная бочка. Венус же сначала девкою гулящею прикинулась, с коей, живучи в Амстердаме, свалялся я блудно: тело голое, белое, как кипень, уста червленые, очи похабные. А потом, как очнулся я в предбаннике, где и приключилась мне та пакость — обернулась лукавая ведьма отца-протопопа дворовою девкою Акулькою и, ругаючи, что мешаю-де ей в бане париться, нагло меня по лицу мокрым веником съездила и, выскочив во двор, в сугроб снега — дело было зимою — повалилась и тут же по ветру порошею развеялась.

— Да это, может быть, Акулька и была!..— рассмеялся царевич.

Аврамов хотел что-то возразить, но вдруг замолчал.

Опять послышались голоса, опять зарделась в темноте красная, точно кровавая, точка. Узкая тропа темного лабиринта опять свела сына с отцом в месте, слишком узком, чтобы разойтись. У царевича и тут еще мелькнула было отчаянная мысль — спрятаться, проскользнуть или опять шмыгнуть зайцем в кусты. Но было поздно. Петр увидел его издали и крикнул:

— Зоон!

По-голландски зоон значит сын. Так называл он его только в редкие минуты милости. Царевич удивился тем более, что в последнее время отец перестал говорить с ним вовсе, не только по-голландски, но и по-русски.

Он подошел к отцу, снял шляпу, низко поклонился и поцеловал сначала полу его кафтана,— на Петре был сильно поношенный темно-зеленый преображенский полковничий мундир с красными отворотами и медными пуговицами,— потом жесткую мозолистую руку.

— Спасибо, Алеша!— сказал Петр, и от этого давно

не слыханного «Алеша» сердце Алексея дрогнуло.— Спасибо за гостинец. В самую нужную пору пришелся. Мой-то ведь дуб, что плотами с Казани плавили, бурей на Ладоге разбило. Так, ежели б не твой подарок, с новым-то фрегатом и к осени бы, чай, не управились. Да и лес-от — самый добрый, крепкий что твое железо. Давно я этакого изрядного дуба не видывал!

Царевич знал, что нельзя ничем угодить отцу так, как хорошим корабельным лесом. В своей наследственной вотчине, в Порецкой волости Нижегородского края, давно уже тайно ото всех берег он и лелеял прекрасную рощу, на тот случай, когда ему особенно понадобится милость батюшки. Проведав, что в Адмиралтействе скоро будет нужда в дубе, срубил рощу, сплавил ее плотами на Неву, как раз вовремя, и подарил отцу. Это была одна из тех маленьких, робких, иногда неумелых, услуг, которые он оказывал ему прежде часто, теперь все реже и реже. Он, впрочем, не обманывал себя — знал, что и эта услуга, так же как все прежние, будет скоро забыта, что и эту случайную, мгновенную ласку отец выместит на нем же впоследствии еще большею суровостью.

И все-таки лицо его вспыхнуло от стыдливой радости, сердце забилось от безумной надежды. Он пролепетал что-то бессвязное, чуть слышное, вроде того, что «всегда для батюшки рад стараться», и хотел еще раз поцеловать руку его. Но Петр обеими руками взял его за голову. На одно мгновение царевич увидел знакомое, страшное и милое лицо, с полными, почти пухлыми щеками, со вздернутыми и распушенными усиками,—«как у кота Котабрыса», говорили шутники,— с прелестною улыбкою на извилистых, почти женственно-нежных губах; увидел большие темные, ясные глаза, тоже такие страшные, такие милые, что когда-то они снились ему, как снятся влюбленному отроку глаза прекрасной женщины; почувствовал с детства знакомый запах — смесь крепкого кнастера, водки, пота и еще какого-то другого не противного, но грубого солдатского казарменного запаха, которым пахло всегда в рабочей комнате — «конторке» отца; почувствовал тоже с детства знакомое, жесткое прикосновение не совсем гладко выбритого подбородка с маленькой ямочкой посередине, такою странною, почти забавною на этом грозном лице; ему казалось, а может быть, снилось только, что ребенком, когда отец брал его к себе на колени, он целовал эту смешную ямочку и говорил с восхищением: «совсем, как у бабушки!»

Петр, целуя сына в лоб, сказал на своем ломанном голландском языке:

— Good beware ù! Да хранит вас Бог!

И это немного чопорное голландское «вы» вместо «ты» показалось Алексею обаятельно любезным.

Все это увидел он, почувствовал, как в блеске зарницы. Зарница потухла — и все исчезло. Уж Петр уходил от него,— как всегда, подергивая судорожно плечом, закидывая голову, сильно, по-солдатски размахивал на ходу правою рукою, своим обыкновенным шагом, таким быстрым, что спутники, чтобы поспеть за ним, должны были почти бежать.

Алексей пошел в другую сторону все по той же узкой тропе темного лабиринта. Аврамов не отставал от него. Он опять заговорил, теперь об архимандрите Александро-Невской Лавры, царском духовнике Феодосии Яновском, которого Петр, назначив «администратором духовных дел», поставил выше первого сановника церкви, престарелого наместника патриаршего престола, Стефана Яворского, и которого многие подозревали в «люторстве», в тайном замысле упразднить почитание икон, мощей, соблюдение постов, монашеский чин, патриаршество и прочие уставы православной церкви. Иные полагали, что Феодосий, или попросту Федоска, мечтает сделаться сам патриархом.

— Сей Федоска, сущий афеист, к тому ж и дерзкий поганец,— говорил Аврамов,— вкрадшися в многоутружденную святую душу монарха и обольстя его, смело разоряет предания и законы христианские, славолюбное и сластолюбное вводит эпикурское, паче же свинское, житие. Он же, беснующийся ересиарх, с чудотворной иконы Богородицы Казанской венец ободрал: «ризничий, дай нож!» кричал и резал проволоку, и золотую цату рвал чеканной работы, и клал себе в карман при всех нагло. И с плачем все зрящие дивились такому похабству его. Он же, злой сосуд и самый пакостник, от Бога отвергся, рукописание бесам дал и Спасов образ и Животворящий Крест потоптать, шаленый козел, и поплевать хотел...

Царевич не слушал Аврамова. Он думал о своей радости и старался заглушить разумом эту неразумную, как теперь ему казалось, ребяческую радость. Чего он ждет? На что надеется? Примирения с отцом? Возможно ли оно, да и хочет ли он сам примирения? Не произошло ли между ними то, чего нельзя забыть, нельзя про-

стить? Он вспомнил, как только что прятался с подлою заячьей трусливостью; вспомнил Докукина, его обличительную молитву против Петра и множество других, еще более страшных, неотразимых обличений. Не за себя одного он восстал на отца. И вот, однако, достаточно было нескольких ласковых слов, одной улыбки — и сердце его снова размягчилось, растаяло — и он уже готов упасть к ногам отца, все забыть, все простить, молить сам о прощении, как будто он виноват; готов за одну еще такую ласку, за одну улыбку отдать ему снова душу свою. «Да неужели же,— подумал Алексей почти с ужасом,— неужели я его так люблю?»

Аврамов все еще говорил, точно бессонный комар жужжал в ухо. Царевич вслушался в последние слова его:

— Когда преподобный Митрофаний Воронежский увидел на кровле дворца царева Бахуса, Венус и прочих богов кумиры: «пока-де, сказал, государь не прикажет свергнуть идолов, народ соблазняющих, не могу войти в дом его». И царь почтил святителя, велел убрать идолов. Так прежде было. А ныне кто скажет правду царю? Не Федоска ли пренечестивый, иконы нарицающий идолами, идолов творящий иконами? Увы, увы нам! До того дошло, что в самый сей день, в сей час, ниспровергнув образ Богородицы, на место его воздвигает он бесоугодную и блудотворную икону Венус. И государь, твой батюшка...

— Отвяжись ты от меня, дурак!— вдруг злобно крикнул царевич.— Отвяжитесь вы все от меня! Чего хнычете, чего лезете ко мне? Ну вас совсем...

Он выругался непристойно.

— Какое мне дело до вас? Ничего я не знаю, да и знать не хочу! Ступайте к батюшке жаловаться: он вас рассудит!..

Они подходили к шкиперской площадке, у фонтана в Средней аллее. Здесь было много народу. На них уже смотрели и прислушивались.

Аврамов побледнел, как будто присел и съежился, глядя на него своим растерянным взглядом — взглядом перепуганного со сна ребенка, у которого вот-вот сделается родимчик.

Алексею стало жаль его.

— Ну, небось, Петрович,— сказал он с доброю улыбкою, которая похожа была на улыбку не отца, а деда, Тишайшего Алексея Михайловича,— небось, не выдам! Я знаю, ты любишь меня... и батюшку. Только вперед не болтай-ка лишнего...

И с внезапною тенью, пробежавшей по лицу его, прибавил тихо:

— Коли ты и прав, что толку в том? Кому ныне правда нужна? Плетью обуха не перешибешь. Тебя... да и меня никто не послушает.

Между деревьями блеснули первые огни иллюминации: разноцветные фонарики, плошки, пирамиды сальных свечей в окнах и между точеными столбиками сквозной крытой галереи над Невою.

Там уже, как значилось в реляции празднества, «убрано было зело церемониально, с превеликим довольством во всем».

Галерея состояла из трех узких и длинных беседок. В главной, средней — под стеклянным куполом, нарочно устроенным французским архитектором Леблоном, готово было почетное место — мраморное подножие для Петербургской Венеры.

III

«Венус купил,— писал Беклемишев Петру из Италии.— В Риме ставят ее за-велико. Ничем не разнится от Флорентинской (Медической) славной, но еще лучше. У незнаемых людей попалась. Нашли, как рыли фундамент для нового дома. 2000 лет в земле пролежала. Долго стояла у папы в саду Ватиканском. Хоронюсь от охотников. Опасаюсь, о выпуске. Однако она — уже вашего величества».

Петр через своего поверенного, Савву Рагузинского, и кардинала Оттобани вел переговоры с папою Климентом XI, добиваясь разрешения вывезти купленную статую в Россию. Папа долго не соглашался. Царь готов был похитить Венеру. Наконец, после многих дипломатических обходов и происков, разрешение было получено.

«Господин капитан,— писал Петр Ягужинскому,— лучшую статую Венус отправить из Ливорны сухим путем до Инзбрука, а оттоль Дунаем водою до Вены, с нарочным провожатым, и в Вене б адресовать оную вам. А понеже сия статуя, как сам знаешь, и там славится, того для сделать в Вене каретный станок на пружинах, на котором бы лучше можно было ее отправить до Кракова, чтобы не повредить чем, а от Кракова можно отправить паки водою».

По морям и рекам, через горы и равнины, города и пустыни, и, наконец, через русские бедные селенья, дремучие леса и болота, всюду бережно хранимая волей царя, то качаясь на волнах, то на мягких пружинах, в своем темном ящике, как в колыбели или в гробу, совершала

богиня далекое странствие из Вечного Города в новорожденный городок Петербург.

Когда она благополучно прибыла, царь, как ни хотелось ему поскорее взглянуть на статую, которой он так долго ждал и о которой так много слышал,— все же победил свое нетерпение и решился не откупоривать ящика до первого торжественного явления Венус на празднике в Летнем саду.

Шлюпки, верейки, ботики, эверсы и прочие «новоманерные суда» подъезжали к деревянной лесенке, спускавшейся прямо к воде, и причаливали к вбитым у берега сваям с железными кольцами. Приехавшие, выйдя из лодок, подымались по лесенке в среднюю галерею, где при огнях иллюминации уже густела, шумела и двигалась нарядная толпа: кавалеры — в цветных шелковых и бархатных кафтанах, треуголках, при шпагах, в чулках и башмаках с пряжками, с высокими каблуками, в пышных пирамидальных, с неестественно роскошными буклями, черных, белокурых, реже пудреных париках; дамы — в широчайших круглых юбках на китовом усе — роброиах, «на самый последний Версальский манер», с длинными «шелёпами»— шлейфами, с румянами и мушками на лице, с кружевными фантажами, перьями и жемчугами на волосах. Но в блестящей толпе попадались и простые, из грубого солдатского сукна, военные мундиры, даже матросские и шкиперские куртки, и пахнущие дегтем, смазные сапоги, и кожаные треухи голландских корабельщиков.

Толпа расступилась перед странным шествием: дюжие царские гайдуки и гренадеры несли на плечах с трудом, сгибаясь под тяжестью, длинный узкий черный ящик, похожий на гроб. Судя по величине гроба, покойник был нечеловеческого роста. Ящик поставили на пол.

Государь, один, без чужой помощи, принялся его откупоривать. Плотничьи и столярные инструменты так и мелькали в привычных руках Петра. Он торопился и выдергивал гвозди с таким нетерпением, что оцарапал себе руку до крови.

Все толпились, теснясь, приподымаясь на цыпочки, заглядывая с любопытством друг другу через плечи и головы.

Тайный советник Петр Андреич Толстой, долго живший в Италии, человек ученый, к тому же и сочинитель — он первый в России начал переводить «Метаморфозы» Овидия — рассказывал окружавшим его дамам и девицам о развалинах древнего храма Венеры.

— Проездом будучи в Каштель ди Байя близ Неаполя, видел и божницу во имя сей богини Венус. Город весь развалился, и место, где был тогда город, поросло лесом. Божница сделана из плинфов, архитектурою изрядною, со столпами великими. На сводах множество напечатано поганских богов. Видел там и другие божницы — Дианы, Меркурия, Бахуса, коим в местах тех проклятый мучитель Нерон приносил жертвы и за ту свою к ним любовь купно с ними есть в пекле...

Петр Андреич открыл перламутровую табакерку — на крышке изображены были три овечки и пастушок, который развязывает пояс спящей пастушке — поднес табакерку хорошенькой княгине Черкасской, сам понюхал и прибавил с томным вздохом:

— В ту свою бытность в Неаполе я, как сейчас помню, инаморат был в некую славную хорошеством читадинку Франческу. Более 2000 червонных мне стоила. Ажно и до сей поры из сердца моего тот а́мор выйти не может...

Он так хорошо говорил по-итальянски, что пересыпал и русскую речь итальянскими словами: инаморат — вместо влюблен, читадинка — вместо гражданка.

Толстому было семьдесят лет, но казалось не больше пятидесяти, так как он был крепок, бодр и свеж. Любезностью с дамами мог бы «заткнуть за пояс и молодых охотников до Венус», по выражению царя. Бархатная мягкость движений, тихий бархатный голос, бархатная нежная улыбка, бархатные, удивительно густые, черные, едва ли, впрочем, не крашеные брови: «бархатный весь, а жальце есть», говорили о нем. И сам Петр, не слишком осторожный со своими «птенцами», полагал, что «когда имеешь дело с Толстым, надо держать камень за пазухой». На совести этого «изящного и превосходительного господина» было не одно темное, злое и даже кровавое дело. Но он умел хоронить концы в воду.

Последние гвозди погнулись, дерево затрещало, крышка поднялась, и ящик открылся. Сначала увидели что-то серое, желтое, похожее на пыль истлевших в гробе костей. То были сосновые стружки, опилки, войлок, шерстяные очески, положенные для мягкости.

Петр разгребал их, рылся обеими руками и, наконец, нащупав мраморное тело, воскликнул радостно:

— Вот она, вот!

Уже плавили олово для спайки железных скреп, которые должны были соединить подножие с основанием статуи. Архитектор Леблон суетился, приготовляя что-то

вроде подъемной машины с лесенками, веревками и блоками. Но сперва надо было на руках вынуть из ящика статую.

Денщики помогали Петру. Когда один из них с нескромною шуткою схватил было «голую девку» там, где не следовало, царь наградил его такой пощечиной, что сразу внушил всем уважение к богине.

Хлопья шерсти, как серые глыбы земли, спадали с гладкого мрамора. И опять, точно так же, как двести лет назад, во Флоренции, выходила из гроба воскресшая богиня.

Веревки натягивались, блоки скрипели. Она подымалась, вставала все выше и выше. Петр, стоя на лесенке и укрепляя на подножии статую, охватил ее обеими руками, точно обнял.

— Венера в объятиях Марса!— не утерпел-таки умилившийся классик Леблон.

— Так хороши они оба,— воскликнула молоденькая фрейлина кронпринцессы Шарлотты,— что я бы, на месте царицы, приревновала!

Петр был почти такого же нечеловеческого роста, как статуя. И человеческое лицо его оставалось благородным рядом с божеским: человек был достоин богини.

Еще в последний раз качнулась она, дрогнула — и стала вдруг неподвижно, прямо, утвердившись на подножии.

То было изваяние Праксителя: Афродита Анадиомена — Пенорожденная, и Урания — Небесная, древняя финикийская Астарта, вавилонская Милитта, Праматерь сущего, великая Кормилица — та, что наполнила небо звездами, как семенами, и разлила, как молоко из груди своей, Млечный Путь.

Она была и здесь все такая же, как на холмах Флоренции, где смотрел на нее ученик Леонардо да Винчи в суеверном ужасе; и как еще раньше, в глубине Каппадокии, близ древнего замка Мацеллума, в опустевшем храме, где молился ей последний поклонник ее, бледный худенький мальчик в темных одеждах, будущий император Юлиан Отступник. Все такая же невинная и сладострастная, нагая и не стыдящаяся наготы своей. С того самого дня, как вышла из тысячелетней могилы своей, там, во Флоренции, шла она все дальше и дальше, из века в век, из народа в народ, нигде не останавливаясь, пока, наконец, в победоносном шествии, не достигла последних пределов земли — Гиперборейской Скифии, за которой уже нет ничего, кроме ночи и хаоса. И утвердившись на подножии, впервые взглянула как будто удивленными

и любопытными очами на эту чуждую, новую землю, на эти плоские мшистые топи, на этот странный город, подобный селениям кочующих варваров, на это не денное, не ночное небо, на эти черные, сонные, страшные волны, подобные волнам подземного Стикса. Страна эта не похожа была на ее олимпийскую светлую родину, безнадежна, как страна забвения, как темный Аид. И все-таки богиня улыбнулась вечною улыбкою, как улыбнулось бы солнце, если бы проникло в темный Аид.

Петр Андреич Толстой, по просьбе дам, прочел собственного сочинения вирши «О Купиде», древний анакреонов гимн Эросу:

Некогда в розах Любовь,
Спящую не усмотрев
Пчелку, ею ужаленный
В палец руки, зарыдал,
И побежав, и взлетев
К Венус красавице:
Гину я, мати, сказал,
Гину, умираю я!
Змей меня малый кольнул
С крыльями, коего пахари
Пчелкой зовут.
Венус же сыну в ответ:
Если жало пчельное
Столь тебе болезненно,
Сколь же, чай, больнее тем,
Коих ты, дитя, язвишь!

Дамам, которые никаких русских стихов еще не знали, кроме церковных кантов и псáльмов, показалась песенка очаровательной.

Она и кстати пришлась, потому что в это самое мгновение Петр собственноручно зажег и пустил вместо первой ракеты фейерверка, летучую машину в виде Купидона с горящим факелом. Скользя по невидимой проволоке, Купидон полетел от галереи к парому на Неве, где стояли щиты «для огненной потехи по плану фитильному», и факелом своим зажег первую аллегорию — жертвенник из бриллиантовых огней с двумя пылающими рубиновыми сердцами. На одном из них изумрудным огнем выведено было латинское P, на другом — C: Petrus, Catharina. Сердца слились в одно, и появилась надпись: *Из двух едино сочиняю.* Это означало, что богиня Венус и Купидо благословляют брачный союз Петра с Екатериною.

Появилась другая фигура — прозрачная, светящаяся картина-транспарант с двумя изображениями: на одной стороне — бог Нептун смотрит на только что построен-

ную среди моря крепость Кроншлот — с надписью: Videt et stupescit. *Видит и удивляется.* На другой — Петербург, новый город среди болот и лесов — с надписью: Urbs ubi silva fuit. *Град, где был лес.*

Петр, большой любитель фейерверков, всегда сам управлявший всем, объяснял аллегории зрителям.

С грохочущим свистом, снопами огненных колосьев, взвились под самое небо бесчисленные ракеты и в темной вышине рассыпались дождем медленно падавших, таявших, красных, голубых, зеленых, фиолетовых звезд. Нева отразила их и удвоила в своем черном зеркале. Завертелись огненные колеса, забили огненные фонтаны, зашипели, запрыгали швермеры; и водяные, и воздушные шары, лопаясь как бомбы, затрещали оглушительным треском. Открылись пламенные чертоги с горящими столбами, сводами, лестницами — и в ослепительной, как солнце, глубине вспыхнула последняя картина: ваятель, похожий на титана Прометея — перед недоконченною статуей, которую высекает он резцом и молотом из мраморной глыбы; вверху Всевидящее Око в лучах с надписью Deo adjuvante.— *С помощью Божией.* Каменная глыба означала древнюю Русь; статуя, недоконченная, но уже похожая на богиню Венус — новую Россию; ваятель был Петр.

Картина не совсем удалась: статуя слишком скоро догорела, свалилась к ногам ваятеля, разрушилась. Казалось, он ударял в пустоту. И молот рассыпался, рука поникла. Всевидящее Око померкло, как будто подозрительно прищурилось, зловеще подмигивая.

На это, впрочем, никто не обратил внимания, так как все были заняты новым зрелищем. В клубах дыма, освещенных радугой бенгальских огней, появилось огромное чудовище, не то конь, не то змей, с чешуйчатым хвостом, колючими плавниками и крыльями. Оно плыло по Неве от крепости к Летнему саду. Множество лодок, наполненных гребцами, тащили его на канате. В исполинской раковине на спине чудовища сидел Нептун с длинной белой бородой и трезубцем; у ног его — сирены и тритоны, трубившие в трубы: «тритоны северного Нептунуса в трубы свои, по мо́рям шествуя, царя Российского фаму[1] разносят», объяснил один из зрителей, иеромонах флота Гавриил Бужинский. Чудовище влекло за собою шесть пар пустых, плотно закупоренных бочек с кардиналами Всешутейшего Собора, сидевшими верхом и крепко привя-

[1] Славу (*лат.* fama).

занными, чтобы не упасть в воду, по одному на каждой бочке. Так они плыли гуськом, пара за парой, и звонко дудели в коровьи рога. Далее следовал целый плот из таких же бочек с огромным чаном пива, в котором плавал в деревянном ковше, как в лодке, князь-папа, архиерей бога Бахуса. Сам Бахус тут же сидел на плоском краю чана.

Под звуки торжественной музыки вся эта водяная машина медленно приблизилась к Летнему саду, причалила у средней галереи, и боги вошли в нее.

Нептун оказался царским шутом, старым боярином Семеном Тургеневым; сирены, с длинными рыбьими хвостами, которые волочились, как шлейфы, так что ног почти не видно было,— дворовыми девками; тритоны — конюхами генерал-адмирала Апраксина; сатир или пан, сопровождавший Бахуса,— французским танцмейстером князя Меньшикова. Ловкий француз проделывал такие прыжки, что можно было подумать — ноги у него козлиные, как у настоящего фавна. Бахус в тигровой шкуре, в венке из стеклянного винограда, с колбасой в одной руке и штофом в другой, был регент придворных певчих, Конон Карпов, необыкновенно жирный малый с красною рожею. Для большей естественности поили его нещадно три дня, так что, по выражению своих собутыльников, Конон налился как клюква и стал живой Ивашка Хмельницкий.

Боги окружили статую Венеры. Бахус, благоговейно поддерживаемый под руки кардиналами и князем-папою, стал на колени перед статуей, поклонился ей до земли и возгласил громоподобным басом, достойным протодьякона:

— Всечестнейшая мати Венус, смиренный холопка Ивашка-Бахус, от сожженной Семелы рожденный, изжатель виноградного веселья, на сынишку твоего Еремку челом бьет. Не вели ему, Еремке шальному, нас, людей твоих обижать, сердца уязвлять, души погублять. Ей, государыня, смилуйся, пожалуй!

Кардиналы грянули хором: Аминь!

Карпов затянул было с пьяных глаз *Достойно есть яко воистину*, но его остановили вовремя.

Князь-папа, дряхлый государев дядька, боярин и стольник царя Алексея, Никита Моисеич Зотов, в шутовской мантии из алого бархата с горностаями, в трехвенечной жестяной тиаре, украшенной непристойным изображением голого Еремки-Эроса, поставил перед подножием Венус на треножник из кухонных вертелов круглый медный таз, в котором варили обыкновенно жженку, налил в него водки и зажег. На длинных, гнувшихся от тяжести шестах цар-

ские гренадеры принесли огромный ушат перцовки. Кроме лиц духовных, которые здесь так же присутствовали, как и на других подобных шутовских собраниях, все гости, не только кавалеры, но и дамы, даже девицы, должны были по очереди подходить к ушату, принимать от князя-папы большую деревянную ложку с перцовкою и, выпив почти все, несколько оставшихся капель вылить на горящий жертвенник; потом кавалеры целовали Венус, смотря по возрасту, молодые в ручку, старые в ножку; а дамы, кланяясь ей, приседали чинно, с «церемониальным куплементом». Все это, до последней мелочи заранее обдуманное и назначенное самим государем, исполнялось с точностью, под угрозой «жестокого штрафа» и даже плетей. Старая царица Прасковья Федоровна, невестка Петра, вдова брата его, царя Иоанна Алексеевича, тоже пила водку из ушата и кланялась Венере. Она вообще угождала Петру, покоряясь всем новшествам: против ветра, мол, не подуешь. Но на этот раз у почтенной старушки в темном, вдовьем шушуне — Петр позволял ей одеваться по-старинному,— когда она приседала «на немецкий манир» перед «бесстыжею голою девкою», заскребли-таки на сердце кошки. «В землю бы легла, только бы этого всего не видеть!»— думала она. Царевич тоже с покорностью поцеловал ручку Венус. Михайло Петрович Аврамов хотел было спрятаться; но его отыскали, притащили насильно; и хотя он дрожал, бледнел, корчился, обливался потом и чуть в обморок не упал, когда, прикладываясь к бесовой иконе, почувствовал на губах своих прикосновение холодного мрамора, но исполнил обряд в точности, под строгим взором царя, которого боялся еще больше, чем белых чертей.

Богиня, казалось, безгневно смотрела на эти кощунственные маски богов, на эти шалости варваров. Они служили ей невольно и в самом кощунстве. Шутовской треножник превратился в истинный жертвенник, где в подвижном и тонком, как жало змеи, голубоватом пламени горела душа Диониса, родного ей бога. И озаренная этим пламенем, богиня улыбалась мудрою улыбкою.

Начался пир. На верхнем конце стола, под навесом из хмеля и брусничника с кочек родимых болот, заменявшего классические мирты, сидел Бахус верхом на бочке, из которой князь-папа цедил вино в стаканы. Толстой, обратившись к Бахусу, прочел другие вирши, тоже собственного сочинения — перевод Анакреоновой песенки:

Бахус, Зевсово дитя,
Мыслей гонитель Лией![1]
Когда в голову мою
Войдет, винодавец, он
Заставит меня плясать;
И нечто приятное
Бываю, когда напьюсь;
Бью в ладоши и пою,
И тешусь Венерою,
И непрестанно пляшу.

— Из оных виршей должно признать,— заметил Петр,— что сей Анакреон изрядный был пьяница и прохладного жития человек.

После обычных заздравных чаш за процветание российского флота, за государя и государыню, поднялся архимандрит Феодосий Яновский с торжественным видом и стаканом в руках.

Несмотря на выражение польского гонора в лице — он был родом из мелкой польской шляхты,— несмотря на голубую орденскую ленту и алмазную панагию с государевой персоною на одной стороне, с Распятием на другой — на первой было больше алмазов, и они были крупнее, чем на второй,— несмотря на все это, Феодосий, по выражению Аврамова, собою был видом аки изумор, то есть, заморыш или недоносок. Маленький, худенький, востренький, в высочайшем клобуке с длинными складками черного крепа, в широчайшей бейберовской рясе с развевающимися черными воскрыльями, напоминал он огромную летучую мышь. Но когда шутил и, в особенности, когда кощунствовал, чтó постоянно с ним случалось «на подпитках», хитренькие глазки искрились таким язвительным умом, такою дерзкою веселостью, что жалобная мордочка летучей мыши или недоноска становилась почти привлекательной.

— Не ласкательное слово сие,— обратился Феодосий к царю,— но суще из самого сердца говорю: через вашего царского величества дела мы из тьмы неведения на феатр славы, из небытия в бытие произведены и уже в общество политических народов присовокуплены. Ты во всем обновил, государь, или паче вновь родил своих подданных. Чтó была Россия прежде и чтó есть ныне? Посмотрим ли на здания? На место хижин грубых явились палаты светлые, на место хвороста сухого — вертограды цветущие. Посмотрим ли на градские крепости? Имеем такие вещи, каковых и фигур на хартиях прежде не видывали...

---

[1] Лией (Lyaeus — *лат.*— «отгоняющий заботы», «приносящий утешение») — поэтическое наименование Бахуса.

Долго еще говорил он о книгах судейских, свободных учениях, искусствах, о флоте — «оруженосных сих ковчегах»— об исправлении и обновлении церкви.

— А ты,— воскликнул он в заключение, в риторском жаре взмахнув широкими рукавами рясы, как черными крыльями, и сделавшись еще более похожим на летучую мышь,— а ты, новый, новоцарствующий град Петров, не высокая ли слава еси фундатора[1] твоего? Там, где и помысла никому не было о жительстве человеческом, вскоре устроилося место, достойное престола царского. Urbs ubi silva fuit. Град, идеже был лес. И кто расположение града сего не похвалит? Не только всю Россию красотою превосходит место, но и в иных европейских странах подобное обрестись не может! На веселом месте создан есть! Воистину, ваше величество, сочинил ты из России самую метаморфозис или претворение!

Алексей слушал и смотрел на Федоску внимательно. Когда тот говорил о «веселом расположении» Петербурга, глаза его встретились на одно мгновение, как будто нечаянно, с глазами царевича, которому вдруг показалось, или только почудилось, что в глубине этих глаз промелькнула какая-то насмешливая искорка. И вспомнилось ему, как часто при нем, конечно, в отсутствие батюшки, ругая это веселое место, Федоска называл его чертовым болотом и чертовой сторонушкой. Впрочем, давно уже царевичу казалось, что Федоска смеется над батюшкой почти явно, в лицо ему, но так ловко и тонко, что этого никто не замечает, кроме него, Алексея, с которым каждый раз в подобных случаях менялся Федоска быстрым, лукавым, как будто сообщническим, взглядом.

Петр, как всегда на церемониальные речи, ответил кратко:

— Зело желаю, чтобы весь народ прямо узнал, что Господь нам сделал. Не надлежит и впредь ослабевать, но трудиться о пользе, о прибытке общем, который Бог нам пред очами кладет.

И, вступив опять в обычный разговор, изложил по-голландски,— чтобы иностранцы также могли понять,— мысль, которую слышал недавно от философа Лейбница и которая ему очень понравилась —«о коловращении наук»: все науки и художества родились на Востоке и в Греции; оттуда перешли в Италию, потом во Францию, Германию и, наконец, через Польшу в Россию. Теперь пришла и наша

[1] Основателя (*лат.* fundator).

череда. Через нас вернутся они вновь в Грецию и на Восток, в первоначальную родину, совершив в своем течении полный круг.

— Сия Венус,— заключил Петр уже по-русски, с особою, свойственной ему, простодушною витиеватостью, указывая на статую,— сия Венус пришла к нам оттоле, из Греции. Уже Марсовым плугом все у нас испахано и насеяно. И ныне ожидаем доброго рождения, в чем, Господи, помози! Да не укоснеет сей плод наш, яко фиников, которого насаждающие не получают видеть. Ныне же и Венус, богиня всякого любезного приятства, согласия, домашнего и политического мира, да сочетается с Марсом на славу имени Российского.

— Виват! Виват! Виват Петр Великий, Отец отечества, Император Всероссийский!— закричали все, подымая стаканы с венгерским.

Императорский титул, еще не объявленный ни в Европе, ни даже в России,— здесь, в кругу птенцов Петровых, уже был принят.

В левом дамском крыле галереи раздвинули столы и начали танцы. Военные трубы, гобои, литавры семеновцев и преображенцев, доносясь из-за деревьев Летнего сада, смягченные далью, а, может быть, и очарованием богини — здесь, у ее подножия, звучали, как нежные флейты и виольдамуры в царстве Купидо, где пасутся овечки на мягких лугах, и пастушки развязывают пояс пастушкам. Петр Андреич Толстой, который шел в менуэте с княгинею Черкасскою, напевал ей на ухо своим бархатным голосом под звуки музыки.

Покинь, Купидо, стрелы:
Уже мы все не целы.
Но сладко уязвленны
Любовною стрелою
Твоею золотою,
Любви все покоренны.

И жеманно приседая перед кавалерами, как того требовал чин менуэта, хорошенькая княгиня отвечала томной улыбкой пастушки Хлои семидесятилетнему юноше Дафнису.

А в темных аллеях, беседках, во всех укромных уголках Летнего сада, слышались шепоты, шорохи, шелесты, поцелуи и вздохи любви. Богиня Венус уже царила в Гиперборейской Скифии.

Как настоящие скифы и варвары, рассуждали о любовных проказах своих кумушек, фрейлин, придворных мамзелей или даже попросту «девок», государевы денщики и

камер-пажи в дубовой рощице у Летнего дворца, сидя вдали от всех, особою кучкою, так что их никто не слышал.

В присутствии женщин они были скромны и застенчивы; но между собою говорили о «бабах» и «девках» со звериным бесстыдством.

— Девка-то Гаментова с Хозяином ночь переспала,— равнодушно объявил один.

Гаментова была Марья Вилимовна Гамильтон, фрейлина государыни.

— Хозяин — галант [1], не может без метресок [2] жить,— заметил другой.

— Ей не с первым,— возразил камер-паж, мальчонка лет пятнадцати, с важностью сплевывая и снова затягиваясь трубкою, от которой его тошнило.— Еще до Хозяина-то с Васюхой Машка брюхо сделала.

— И куда только они ребят девают?— удивился первый.

— А муж не знает, где жена гуляет!— ухмыльнулся мальчонка.— Я, братцы, давеча сам из-за кустов видел, как Вилька Монсов с хозяйкой амурился...

Вилим Монс был камер-юнкер государыни — «немец подлой породы», но очень ловкий и красивый.

И подсев ближе друг к другу, шепотом на ухо принялись они сообщать еще более любопытные слухи о том, что недавно, тут же в царском огороде, при чистке засоренных труб одного из фонтанов, найдено мертвое тело младенца, обернутое в дворцовую салфетку.

В Летнем саду был неизбежный по плану для всех французских садов так называемый грот: небольшое четырехугольное здание на берегу речки Фонтанной, снаружи довольно нелепое, напоминавшее голландскую кирку, а внутри действительно похожее на подводную пещеру, убранное большими раковинами, перламутром, кораллами, ноздреватыми камнями, со множеством фонтанов и водяных струек, бивших в мраморные чаши, с тем чрезмерным для петербургской сырости обилием воды, которое любил Петр.

Здесь почтенные старички, сенаторы и сановники беседовали тоже о любви и о женщинах.

— В старину-то было доброе супружество посхименье, а ныне прелюбодеяние за некую галантерию почитается, и сие от самых мужей, которые спокойным серд-

[1] Галант (франц. galant) — здесь: волокита.
[2] Метреска (франц. maîtresse) — здесь: любовница.

цем зрят, как жены их с прочими любятся, да еще глупцами называют нас, честь поставляющих в месте столь слабом. Дали бабам волю — погодите, ужо́ всем нам сядут на шею!— ворчал самый древний из старичков.

Старичок помоложе заметил, что «приятно молодым и незаматерелым в древних обычаях людям вольное обхождение с женским полом»; что «ныне страсть любовная, почти в грубых нравах незнаемая, начала чувствительными сердцами овладевать»; что «брак пожинает в один день все цветы, кои амур производил многие лета», и что «ревнование есть лихоманка амура».

— Всегда были красные жены блудливы,— решил старичок из средних.— А у нынешних верченых бабенок в ребрах бесы дома, конечно, построили. Такая уж у них политика, что и слышать не хотят ни о чем кроме амуров. На них глядя, и маленькие девочки думают, как поамуриться, да не смыслят, бедные: того ради младенческие мины употребляют. О, коль желание быть приятной действует над чувствами жен!

В грот вошла государыня Екатерина Алексеевна, в сопровождении камер-юнкера Монса и фрейлины Гамильтон, гордой шотландки с лицом Дианы.

Старичок помоложе, видя, что государыня прислушивается к беседе, любезно принял дам под свою защиту.

— Самая истина доказывает нам почтительное свойство рода женского тем, что Бог в заключение всего, в последний день сотворил жену Адамову, точно без того и свету быть несовершенным. Уверяют, что в едином составе тела женского все то собрано, что лучшего и прелестного целый свет в себе имеет. Прибавляя к толиким авантажам красоту разума. можно ли нам их добротам не дивиться, и чем может кавалер извиниться, если должное почтение им не будет оказывать? А ежели и суть со стороны их некоторые нежные слабости, то надлежит помнить, что и нежна есть материя, от которой они взяты...

Старый старичок только головой покачивал. По лицу его видно было, что он по-прежнему думает: «рак не рыба, а баба не человек; баба да бес — один в них вес».

В просвете между разорванных туч, на бездонно-ясном и грустном, золотисто-зеленом небе тонкий серебряный серп новорожденного месяца блеснул и кинул нежный луч в глубину пустынной аллеи, где у фонтана, в полукруге высоких шпалер из подстриженной зелени, под мраморной Помоной, на дерновой скамье сидела одиноко девушка лет семнадцати, в роброне на фижмах из розовой

тафтицы с желтенькими китайскими цветочками, с перетянутой в рюмочку талией, с модною прическою Расцветающая Приятность, но с таким русским, простым лицом, что видно было — она еще недавно приехала из деревенского затишья, где росла среди мамушек и нянюшек под соломенною кровлею старинной усадьбы.

Робко оглядываясь, расстегнула она две-три пуговки платья и проворно вынула спрятанную на груди, свернутую в трубочку, теплую от прикосновения тела, бумажку. То была любовная цидулка от девятнадцатилетнего двоюродного братца, которого по указу царскому забрали из того же деревенского затишья прямо в Петербург, в навигацкую школу при Адмиралтействе, и на днях отправили на военном фрегате, вместе с другими гардемаринами, не то в Кадикс, не то в Лиссабон — как он сам выражался,— к черту на кулички.

При свете белой ночи и месяца девушка прочла цидулку, нацарапанную по линейкам, крупными и круглыми детскими буквами:

— «Сокровище мое сердешное и ангел Настенька! Я желал бы знать, почему не прислала ты мне последнего поцелуя. Купидон, вор проклятый, пробил стрелою сердце. Тоска великая — сердце кровавое рудою запеклося».

Здесь между строк нарисовано было кровью вместо чернил сердце, пронзенное двумя стрелами; красные точки обозначали капли крови.

Далее следовали, должно быть, откуда-нибудь списанные вирши:

Вспомни, радость прелюбезна, как мы веселились.
И приятных разговоров с тобой насладились.
Уже ныне сколько время не зрю мою радость:
Прилети, моя голубка, сердечная сладость!
Если вас сподоблюсь видеть, закричу: ах, светик мой!
Ты ли, радость, предо мной?..

Прочитав цидулку, Настенька снова так же тщательно свернула ее в трубочку, спрятала под платье на груди, опустила голову и закрыла лицо платочком, надушенным Вздохами Амура.

Когда же отняла его и взглянула на небо, то похожая на чудовище с разинутой пастью, черная туча почти съела тонкий месяц. Последний луч его блеснул в слезинке, повисшей на реснице девушки. Она смотрела, как месяц исчезал, и напевала чуть слышно единственную знакомую, Бог весть откуда долетевшую к ней, любовную песенку:

Хоть пойду в сады и винограды,
Не имею в сердце никакой отрады.
О, коль тягостно голубою без перья летати,
Столь мне без друга мила тошно пребывати.
И теперь я, младенька, в слезах унываю,
Что я друга сердечна давно не видаю.

Вокруг нее и на ней все было чужое, искусственное — «на Версальский манир» — и фонтан, и Помона, и шпалеры, и фижмы, и роброн из розовой тафтицы с желтенькими китайскими цветочками, и прическа Расцветающая Приятность, и духи Вздохи Амура. Только сама она, со своим тихим горем и тихою песней, была простая, русская, точно такая же, как под соломенною кровлею дедовской усадьбы.

А рядом, в темных аллеях и беседках, во всех укромных уголках Летнего сада, по-прежнему слышались шепоты, поцелуи и вздохи любви. И звуки менуэта доносились, как пастушеские флейты и виольдамуры из царства Венус, томным напевом:

Покинь, Купидо, стрелы:
Уже мы все не целы,
Но сладко уязвленны
Любовною стрелою
Твоею золотою,
Любви все покоренны.

В галерее, за царским столом, продолжалась беседа.

Петр говорил с монахами о происхождении эллинского многобожия, недоумевая, как древние греки, «довольное имея понятие об уставах натуры и о принципиях математических, идолов своих бездушных богами называть и верить в них могли».

Михайло Петрович Аврамов не вытерпел, сел на своего конька и пустился доказывать, что боги существуют, и что мнимые боги суть подлинные бесы.

— Ты говоришь о них так,— удивился Петр,— как будто сам их видел.

— Не я, а другие, точно, их видели, ваше величество, собственными глазами видели!— воскликнул Аврамов.

Он вынул из кармана толстый кожаный бумажник, порылся в нем, достал две пожелтелые вырезки из голландских курантов и стал читать, переводя на русский язык:

«Из Гишпании уведомляют: некоторый иностранный человек привез с собою в Барцелону-град Сатира, мужика в шерсти, как в еловой коре, с козьими рогами и копытами. Ест хлеб и молоко и ничего не говорит, а только блеет по-козлиному. Которая уродливая фигура привлекает много зрителей».

Во второй реляции было сказано:

«В Ютландии рыбаки поймали Сирену, или морскую женщину. Оное морское чудовище походит сверху на человека, а снизу на рыбу; цвет на теле желто-бледный; глаза затворены; на голове волосы черные, а руки заросли между пальцами кожею так, как гусиные лапы. Рыбаки вытащиили сеть на берег с великим трудом, причем всю изорвали. И сделали тутошние жители чрезвычайную бочку и налили соленою водою, и морскую женщину туда посадили: таким образом надеются беречь от согнития. Сие в ведомость внесено потому, что, хотя о чудах морских многие фабулы бывали, а сие за истину уверить можно, что оное морское чудовище, так удивительное, поймано. Из Роттер-дама, 27 апреля 1714 года».

Печатаному верили, а в особенности иностранным ведомостям, ибо, если и за морем врут, то где ж правду искать? Многие из присутствующих верили в русалок, водяных, леших, домовых, кикимор, оборотней и не только верили, но и видели их, тоже собственными глазами. А ежели есть лешие, то почему бы не быть и сатирам? Ежели есть русалки, почему бы не быть морским женщинам с рыбьими хвостами? Но тогда, ведь, и прочие и даже эта самая Венус, может быть, действительно существуют?

Все умолкли, притихли — и в этой тишине пронеслось что-то жуткое — как будто все вдруг смутно почувствовали, что делают то, чего не должно делать.

Все ниже, все чернее опускалось небо, покрытое тучами. Все ярче вспыхивали голубые зарницы, или безгромные молнии. И казалось, что в этих вспышках на темном небе отражаются точно такие же вспышки голубоватого пламени на жертвеннике, все еще горевшем перед подножием статуи; или — что в самом этом темном небе, как в опрокинутой чаше исполинского жертвенника, скрыто за тучами, как за черными углями, голубое пламя и, порой вырываясь оттуда, вспыхивает молниями. И пламя небес, и пламя жертвенника, отвечая друг другу, как будто вели разговор о грозной, неведомой людям, но уже на земле и на небе совершающейся тайне.

Царевич, сидевший недалеко от статуи, в первый раз взглянул на нее пристально, после чтения курантных выдержек. И белое голое тело богини показалось ему таким знакомым, как будто он уже где-то видел его и даже больше, чем видел: как будто этот девственный изгиб спины и эти ямочки у плеч снились ему в самых грешных страстных, тайных снах, которых он перед самим собой

стыдился. Вдруг вспомнил, что точно такой же изгиб спины, точно такие же ямочки плеч он видел на теле своей любовницы, дворовой девки Евфросиньи. Голова у него кружилась, должно быть, от вина, от жары, от духоты — и от всего этого чудовищного праздника, похожего на бред. Он еще раз взглянул на статую, и это белое голое тело в двойном освещении — от красных дымных плошек иллюминации и от голубого пламени на треножнике — показалось ему таким живым, страшным и соблазнительным, что он потупил глаза. Неужели и ему, как Аврамову, богиня Венус когда-нибудь явится ужасающим и отвратительным оборотнем, дворовою девкою Афроською? Он сотворил мысленно крестное знамение.

— Не диво, что эллины, закона христианского не знавшие, поклонялись идолам бездушным,— возобновил Федоска прерванную чтением беседу,— а диво то, что мы, христиане, истинного иконопочитания не разумея, поклоняемся иконам суще как идолам!

Начался один из тех разговоров, которые так любил Петр — о всяких ложных чудесах и знамениях, о плутовстве монахов, кликуш, бесноватых, юродивых, о «бабьих баснях и мужичьих забобонах длинных бород», то есть, о суевериях русских попов. Еще раз должен был прослушать Алексей все эти давно известные и опостылевшие рассказы: о привезенной монахами из Иерусалима в дар Екатерине Алексеевне нетленной, будто бы, и на огне не горевшей срачице [1] Пресвятой Богородицы, которая по исследовании оказалась сотканной из волокон особой несгораемой ткани — аммианта; о натуральных мощах Лифляндской девицы фон-Грот: кожа этих мощей «была подобна выделанной, натянутой свиной, и будучи пальцем вдавлена, расправлялась весьма упруго»; о других поддельных, из слоновой кости, мощах, которые Петр велел отправить в новоучрежденную петербургскую Кунсткамеру, как памятник «суперстиции [2], ныне уже духовных тщанием истребляемой».

— Да, много, много в церкви российской о чудесах наплутано!— как будто сокрушенно, на самом деле злорадно заключил Федоска и упомянул о последнем ложном чуде: в одной бедной церкви на Петербургской стороне объявилась икона Божией Матери, которая источала слезы, предрекая, будто бы, великие бедствия и даже конечное разорение новому городу. Петр, услышав об

[1] Сорочке (*церковнослав.*).
[2] Суеверию (лат. superstitio).





этом от Федоски, немедленно поехал в ту церковь, осмотрел икону и обнаружил обман. Это случилось недавно: в Кунсткамеру не успели еще отправить икону, и она пока хранилась у государя в Летнем дворце, небольшом голландском домике, тут же в саду, в двух шагах от галереи, на углу Невы и Фонтанной.

Царь, желая показать ее собеседникам, велел одному из денщиков принести икону.

Когда посланный вернулся, Петр встал из-за стола, вышел на небольшую площадку перед статуей Венус, где было просторнее, прислонился спиной к мраморному подножию и, держа в руках образ, начал подробно и тщательно объяснять «плутовскую механику». Все окружили его, точно так же теснясь, приподымаясь на цыпочки, с любопытством заглядывая друг другу через плечи и головы как давеча, когда откупоривали ящик со статуей. Федоска держал свечу.

Икона была древняя. Лик темный, почти черный; только большие, скорбные, будто немного припухшие от слез глаза, смотрели как живые. Царевич с детства любил и чтил этот образ — Божией Матери Всех Скорбящих Радости.

Петр снял серебряную, усыпанную драгоценными каменьями ризу, которая едва держалась, потому что была уже оторвана при первом осмотре. Потом отвинтил новые медные винтики, которыми прикреплялась к исподней стороне иконы тоже новая липовая дощечка; посередине вставлена была в нее другая, меньшая; она свободно ходила на пружинке, уступая и вдавливаясь под самым легким нажимом руки. Сняв обе дощечки, он показал две лунки или ямочки, выдолбленные в дереве против глаз Богоматери. Грецкие губочки, напитанные водою, клались в эти лунки, и вода просачивалась сквозь едва заметные просверленные в глазах дырочки, образуя капли, похожие на слезы.

Для большей ясности Петр тут же сделал опыт: помочил водою губочки, вложил их в лунки, надавил дощечку — и слезы потекли.

— Вот источник чудотворных слез,— сказал Петр.— Нехитрая механика!

Лицо его было спокойно, как будто объяснил он любопытную «игру натуры», или другую диковинку в Кунсткамере.

— Да, много наплутано!..— повторил Федоска с тихою усмешкою.

Все молчали. Кто-то глухо простонал, должно быть, пьяный, во сне; кто-то хихикнул так странно и неожиданно, что на него оглянулись почти с испугом.

Алексей давно порывался уйти. Но оцепенение нашло на него, как в бреду, когда человек порывается бежать, и ноги не двигаются, хочет крикнуть, и голоса нет. В этом оцепенении стоял он и смотрел, как Федоска держит свечу, как по дереву иконы проворно копошатся, шевелятся ловкие руки Петра, как слезы текут по скорбному Лику, а над всем белеет голое страшное и соблазнительное тело Венус. Он смотрел — и тоска, подобная смертельной тошноте, подступала к сердцу его, сжимала горло. И ему казалось, что это никогда не кончится, что это все было, есть и будет в вечности.

Вдруг ослепляющая молния сверкнула, как будто разверзлась над головой их огненная бездна. И сквозь стеклянный купол облил мраморную статую нестерпимый, белый, белее солнца, пламенеющий свет. Почти в то же мгновение раздался короткий, но такой оглушительный треск, как будто свод неба распался и рушился.

Наступила тьма, после блеска молнии непроницаемо-черная, как тьма подземелья. И тотчас в этой черноте завыла, засвистела, загрохотала буря, с вихрем, подобным урагану, с хлещущим дождем и градом.

В галерее все смешалось. Слышались пронзительные визги женщин. Одна из них в припадке кликала и плакала, точно смеялась. Обезумевшие люди бежали, сами не зная куда, сталкивались, падали, давили друг друга. Кто-то вопил отчаянным воплем: «Никола Чудотворец!.. Пресвятая Матерь Богородица!.. Помилуй!..»

Петр, выронив икону из рук, бросился отыскивать царицу.

Пламя опрокинутого треножника, потухая, вспыхнуло в последний раз огромным, раздвоенным, как жало змеи, голубым языком и озарило лицо богини. Среди бури, мрака и ужаса оно одно было спокойно.

Кто-то наступил на икону. Алексей, наклонившийся, чтобы поднять ее, услышал, как дерево хрустнуло. Икона раскололась пополам.

КНИГА ВТОРАЯ

АНТИХРИСТ

I

Древян гроб сосновен
Ради меня строен.
Буду в нем лежати,
Трубна гласа ждати.

То была песня раскольников — гробополагателей. «Через семь тысяч лет от создания мира, говорили они, второе пришествие Христово будет, а ежели не будет, то мы и самое Евангелие сожжем, прочим же книгам и верить нечего». И покидали домы, земли, скот, имущество, каждую ночь уходили в поля и леса, одевались в чистые белые рубахи-саваны, ложились в долбленные из цельного дерева гробы и, сами себя отпевая, с минуты на минуту ожидая трубного гласа —«встречали Христа».

Против мыса, образуемого Невою и Малою Невкою, в самом широком месте реки, у Гагаринских пеньковых буянов, среди других плотов, барок, стругов и карбусов, стояли дубовые плоты царевича Алексея, сплавленные из Нижегородского края в Петербург для Адмиралтейской верфи. В ночь праздника Венеры в Летнем саду, сидел на одном из этих плотов у руля старый лодочник-бурлак, в драном овчинном тулупе, несмотря на жаркую пору, и в лаптях. Звали его Иванушкой-дурачком, считали блаженным или помешанным. Уже тридцать лет, изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, каждую ночь до «петелева глашéния»— крика петуха, он бодрствовал, встречая Христа, и пел все одну и ту же песню гробополагателей. Сидя над самою водою на скользких бревнах, согнувшись, подняв колени, охватив их руками, смотрел он с ожиданием на зиявшие меж черных разорванных туч просветы золотисто-зеленого неба. Неподвижный взор его из-под спутанных седых волос, неподвижное лицо полны были ужасом и надеждою. Медленно пока-

чиваясь из стороны в сторону, он пел протяжным, заунывным голосом:

Древян гроб сосновен
Ради меня строен.
Буду в нем лежати,
Трубна гласа ждати.
Ангелы вострубят,
Из гробов возбудят,
Пойду к Богу на́ суд.
К Богу две дороги,
Широки и долги.
Одна-то дорога —
Во царство небесно,
Другая дорога —
Во тьму кромешну.

— Иванушка, ступай ужинать!— крикнули ему с другого конца плота, где горел костер на сложенных камнях, подобии очага, с подвешенным на трех палках чугунным котелком, в котором варилась уха. Иванушка не слышал и продолжал петь.

У огня сидели кру́гом, беседуя, кроме бурлаков и лодочников, раскольничий старец Корнилий, проповедник самосожжения, шедший с Поморья в леса Керженские за Волгой; ученик его, беглый московский школяр Тихон Запольский; беглый астраханский пушкарь Алексей Семисаженный; беглый матрос адмиралтейского ведомства, конопатчик Иван Иванов сын Будлов; подьячий Ларион Докукин; старица Виталия из толка бегунов, которая, по собственному выражению, житие птичье имела, вечно странствовала — оттого, будто бы, и прозывалась Виталией, что «привитала» всюду, нигде не останавливаясь; ее неразлучная спутница Киликея Босая, кликуша, у которой было «дьявольское наваждение в утробе», и другие, всякого чина и звания, «утаенные люди», бежавшие от несносных податей, солдатской рекрутчины, шпицрутенов, каторги, рванья ноздрей, брадобритья, двуперстного сложения и прочего «страха антихристова».

— Тоска на меня напала великая!— говорила Виталия, старушка еще бодрая и бойкая, вся сморщенная, но румяная, как осеннее яблочко, в темном платке в роспуск.— А о чем тоска — и сама не знаю. Дни такие сумрачные, и солнце будто не по-прежнему светит.

— Последнее время, плачевное: антихристов страх возвеял на мир, оттого и тоска,— объяснил Корнилий, худенький старичок с обыкновенным мужичьим лицом, рябой и как будто подслеповатый, а в самом деле — с пронзительно-острыми, точно сверлящими, глазками; на нем

был раскольничий каптырь вроде монашеского куколя, черный порыжелый подрясник, кожаный пояс с ременною лестовкою; при каждом движении тихо звякали вериги, въевшиеся в тело — трехпудовая цепь из чугунных крестов.

— Я и то смекаю, отче Корнилий,— продолжала странница,— никак-де ныне остаточные веки. Немного свету жить, говорят: в пол-пол-осьмой тысяче конец будет?

— Нет,— возразил старец с уверенностью,— и того не достанет...

— Господи помилуй!— тяжело вздохнул кто-то.— Бог знает, а мы только знаем, что Господи помилуй!

И все умолкли. Тучи закрыли просвет, небо и Нева потемнели. Ярче стали вспыхивать зарницы, и каждый раз в их бледно-голубом сиянии бледно-золотая, тонкая игла Петропавловской крепости сверкала, отражаясь в Неве. Чернели каменные бастионы и плоские, точно вдавленные, берега с тоже плоскими, мазанковыми зданиями товарных складов, пеньковых амбаров и гарнизонных цейхгаузов. Вдали, на другом берегу, сквозь деревья Летнего сада, мелькали огоньки иллюминации. С острова Кейвусари, Березового, веяло последним дыханием поздней весны, запахом ели, берез и осин. Маленькая кучка людей на плоском, едва черневшем плоту, озаренная красным пламенем, между черными грозовыми тучами и черною гладью реки, казалась одинокою и потерянною, висящею в воздухе между двумя небесами, двумя безднами.

Когда все умолкли, сделалось так тихо, что слышно было сонное журчание струй под бревнами и с другого конца явственно по воде доносившаяся, все одна и та же, унылая песня Иванушки:

Древян гроб сосновен
Ради меня строен.
Буду в нем лежати,
Трубна гласа ждати.

— А что, соколики,— начала Киликея-кликуша, еще молодая женщина с нежно прозрачным, точно восковым, лицом и с отмороженными — она ходила всегда босая, даже в самую лютую стужу — черными, страшными ногами, похожими на корни старого дерева,— а что, правда ли, слыхала я давеча, здесь же, в Питербурхе, на Обжорном рынке: государя-де ныне на Руси нет, а который и есть государь — и тот не прямой, природы не русской и не царской крови, а либо немец, немцев сын, либо швед обменный?

— Не швед, не немец, а жид проклятый из колена Данова,— объявил старец Корнилий.

— О, Господи, Господи!— опять тяжело вздохнул кто-то,— видишь, роды-де их царские пошли неистовые.

Заспорили, кто Петр — немец, швед или жид?

— А черт его знает, кто он такой! Ведьма ли его в ступе высидела, от банной ли мокроты завелся, а только знатно, что оборотень,— решил беглый матрос Будлов, парень лет тридцати, с трезвым и деловитым выражением умного лица, должно быть, когда-то красивого, но обезображенного черным каторжным клеймом на лбу и рваными ноздрями.

— Я, батюшки, знаю, все про государя доподлинно знаю,— подхватила Виталия.— Слыхала я о том на Керженце от старицы бродящей нищей, да крылошанки Вознесенского монастыря в Москве о том же сказывали точно: как-де был наш царь благочестивый Петр Алексеевич за морем в немцах и ходил по немецким землям, и был в Стекольном, а в немецкой земле стекольное царство держит девица, и та девица, над государем ругаючись, ставила его на горячую сковороду, а потом в бочку с гвоздями заковала, да в море пустила.

— Нет, не в бочку,— поправил кто-то,— а в столп закладен.

— Ну, в столп ли, в бочку ли, только пропал без вести — ни слуху, ни духу. А на место его явился оттуда же, из-за моря, некий жидовин проклятый из колена Данова, от нечистой девицы рожденный. И в те поры никто его не познал. А как скоро на Москву наехал,— и все стал творить по-жидовски: у патриарха благословения не принял; к мощам московских чудотворцев не пошел, потому-де знал — сила Господня не допустит его, окаянного, до места свята; и гробам прежних благочестивых царей не поклонился, для того что они ему чужи и весьма ненавистны. Никого из царского рода, ни царицы, ни царевича, ни царевен не видал, боясь, что они обличат его, скажут ему, окаянному: «ты не наш, ты не царь, а жид проклятый». Народу в день новолетия не показался, чая себе обличения, как и Гришке Расстриге обличение народное было, и во всем по-расстригиному поступает: святых постов не содержит, в церковь не ходит, в бане каждую субботу не моется, живет блудно с погаными немцами заедино, и ныне на Московском государстве немец стал велик человек: самый ледащий немец теперь выше боярина и самого патриарха. Да он же, проклятый жидовин,

с блудницами немками всенародно пляшет; пьет вино не во славу Божию, а некако нелепо и безобразно, как пропойцы кабацкие, валяясь и глумясь в пьянстве: своих же пьяниц одного святейшим патриархом, иных же митрополитами и архиереями называет, а себя самого протодиаконом, всякую срамоту со священными глаголами смешивая, велегласно вопия на потеху своим немецким людям, паче же на поругание всей святыни христианской.

— И се, прореченная Даниилом пророком, стала мерзость запустения на месте святе!— докончил старец Корнилий.

Послышались разные голоса в толпе:

— И царица-де Авдотья Федоровна, в Суздале заточенная, сказывает: крепитесь, мол, держите веру христианскую — это-де не мой царь, иной вышел.

— Он и царевича приводит в свое состояние, да тот его не слушает. И царь-де его за то извести хочет, чтоб ему не царствовать.

— О, Господи, Господи! Видишь, какую планиду Бог наслал, что отец на сына, а сын на отца.

— Какой он ему отец! Сам царевич говорит, что сей не батюшка мне и не царь.

— Государь немцев любит, а царевич немцев не любит: дай мне, говорит, сроку, я-де их подберу. Приходил к нему немчин, сказывал неведомо какие слова, и царевич на нем платье сжег и его опалил. Немчин жаловался государю, и тот сказал: для чего вы к нему ходите? Покамест я жив, покамест и вы.

— Это так! Все в народе говорят: как-де будет на царстве наш государь царевич Алексей Петрович, тогда-де государь наш Петр Алексеевич убирайся и прочие с ним!

— Истинно, истинно так!— подтверждали радостные голоса.— Он, царевич, душой о старине горит.

— Человек богоискательный!

— Надежда российская!..

— Много басен бабьих нынче ходит в народе: всему верить нельзя,— заговорил Иван Будлов, и все невольно прислушались к его спокойной деловитой речи.— А я опять скажу: швед ли, немец ли, жид,— черт его знает, кто он таков, а только и впрямь, как его Бог на царство послал, так мы и светлых дней не видали, тягота на мир, отдыху нет. Хоть бы нашего брата служивого взять: пятнадцать лет, как со шведом воюем, нигде худо не сделали и кровь свою, не жалеючи, проливали, а и поныне себе не видим покою; через меру лето и осень ходим по

морю, на камнях зимуем, с голоду и холоду помираем. А государство свое все разорил, что в иных местах не сыщешь и овцы у мужика. Говорят: умная голова, умная голова! Коли б умная голова,— мог бы такую человеческую нужду рассудить. Где мы мудрость его видим? Выдал штуку в гражданских правах, учинил Сенат. Что прибыли? Только жалованья берут много. А спросил бы у челобитчиков, решили ль хоть одному безволокитно, прямо. Да что говорить!.. Всему народу чинится наглость. Так приводит, чтобы из наших душ не было ни малого христианства, последние животы выматывает. Как Бог терпит за такое немилосердие? Ну, да это дело даром не пройдет, быть обороту: в долге ль, в коротке ль, отольется кровь на главы их!

Вдруг одна из слушательниц, доселе безмолвная, баба Алена Ефимова, с очень простым, добрым лицом, заступилась за царя.

— Мы как и сказать не знаем,— проговорила она тихо, точно про себя,— а только молим: обрати Господи царя в нашу христианскую веру!

Но раздались негодующие голоса:

— Какой он царь? Царишка! Измотался весь. Ходит без памяти.

— Ожидовел, и жить без того не может, чтобы крови не пить. В который день крови изопьет, в тот день и весел, а в который не изопьет, то и хлеб ему не естся!

— Мироед! Весь мир переел, только на него, кутилку, переводу нет.

— Чтоб ему сквозь землю провалиться!

— Дураки вы, собачьи дети!— крикнул вдруг с яростью пушкарь Алексей Семисаженный, огромного роста рыжий детина, не то со зверским, не то с детским лицом.— Дураки вы, что за свои головы не умеете стоять! Ведь вы все пропали душою и телом: порубят вас что червей капустных. Взял бы я его, да в мелкие части изрезал и тело его истерзал!

Алена Ефимова только слабо охнула и перекрестилась; от этих слов, признавалась она впоследствии, ее в огонь бросило. И прочие оглянулись на Семисаженного со страхом. А он уставился в одну точку глазами, налитыми кровью, крепко сжал кулаки, и прибавил тихо, как будто задумчиво, но в этой тихости было что-то еще более страшное, чем ярость:

— Дивлюсь я тому, как его по ся мест не уходят. Ездит рано и поздно по ночам малолюдством. Можно бы его изрезать ножей в пять.

Алена вся побледнела, хотела что-то сказать, но только беззвучно пошевелила губами.

— Царя трижды хотели убить,— покачал головою старец Корнилий,— да не убьют: ходят за ним бесы и его берегут.

Крошечный белобрысый солдатик с придурковатым, испитым и болезненным личиком, совсем еще молоденький мальчик, беглый даточный рекрут Петька Жизла, заговорил, торопясь, заикаясь, путаясь и жалобно, по-ребячьи всхлипывая: «Ох, братики, братики!» Он сообщил, что привезены из-за моря на трех кораблях клейма, чем людей клеймить, никому их не показывают, за крепким караулом держат на Котлине острове, и солдаты стоят при них бессменно.

То были введенные по указу Петра особые рекрутские знаки, о которых в 1712 году писал царь генералу пленипотенциарию князю Якову Долгорукову: «А для знаку рекрутам значит — на левой руке накалывать иглою кресты и натирать порохом».

— Кого припечатают, тому и хлеба дадут, а на ком печатей нет, тому хлеба давать не будут, помирай с голоду. Ох, братики, братики, страшное дело!..

— Все тесноты ради пищной приидут к сыну погибели и поклонятся ему,— подтвердил старец Корнилий.

— А иных уже заклеймили,— продолжал Петька.— И меня, ведь, ох, братики, братики, и меня, окаянного...

Он с трудом поднял правою рукою бессильно, как плеть висевшую, левую, поднес ее к свету и показал на ней сверху, между большим и указательным пальцем, рекрутское клеймо, выбитое железными иглами казенного штемпеля.

— Как припечатали, рука сохнуть стала. И высохла. Сперва левая, а потом и правая: хочу крест положить — не подымается...

Все со страхом разглядывали на желто-бледной коже высохшей, как будто мертвой, руки небольшое, точно из оспенных язвинок, темное пятно. Это было человечье клеймо, казенный черный крест.

— Она самая и есть,— решил старец Корнилий,— печать антихристова! Сказано: даст им знаменье на руке, и кто примет печать его, тот власти не имеет осенять уды свои крестным знаменьем, но связана рука его будет не узами, а клятвою — и таковым нет покаяния.

— Ох, братики, братики! Что они со мной сделали!.. Когда б я знал, не дался бы им в руки живой. Человека испортили, как скотину тавром заклеймили, припечата-

ли!..— судорожно всхлипывал Петька, и крупные слезы текли по ребячьему, жалобному личику.

— Батюшки родимые!— всплеснула руками Киликея-кликуша, как будто пораженная внезапною мыслью,— ведь все, все к одному выходит: царь-то Петр и есть...

Она не кончила, на губах ее замерло страшное слово.

— А ты что думала? — посмотрел на нее острыми, точно сверлящими, глазками старец Корнилий.— Он самый и есть...

— Нет, не бойтесь. Самого еще не бывало. Разве предтеча его...— пытался было возразить Докукин.

Но Корнилий встал во весь рост, цепь из чугунных крестов на нем звякнула, поднял руку, сложил ее в двуперстное знаменье и воскликнул торжественно:

— Внимайте, православные, кто царствует, кто обладает вами с лета 1666, числа звериного. Вначале царь Алексей Михайлович с патриархом Никоном от веры отступил и был предтечею Зверю, а по них царь Петр благочестие до конца искоренил, патриарху быть не велел и всю церковную и Божью власть восхитил на себя и возвысился против Господа нашего, Исуса Христа, сам единою безглавною главою церкви учинился, самовластным пастырем. И первенству Христа ревнуя, о коем сказано: *Аз есмь первый и последний*, именовал себя: *Петр Первый*. И в 1700 году, Январия в первый день, новолетие ветхо-римского бога Януса в огненной потехе на щите объявил: *се, ныне время мое приспело*. И в кануне церковного пения о Полтавской над Шведами победе Христом себя именует. И на встречах своих, в прибытиях в Москву, в триумфальных воротах и шествиях, отрочат малых в белые подстихари наряжал и прославлял себя и петь повелевал: *Благословен грядый во имя Господне! Осанна в вышних! Бог Господь явися нам*!— как изволением Божиим дети еврейские на вход в Иерусалим хвалу Господу нашему, Исусу Христу, Сыну Божию пели. И так титлами своими превознесся паче всякого глаголемого Бога. По предреченному: *во имя Симона Петра имеет в Риме быть гордый князь мира сего, Антихрист*, в России, сиречь в Третьем Риме, и явился оный Петр, сын погибели, хульник и противник Божий, еже есть Антихрист. И как писано: *во всем хочет льстец уподобиться Сыну Божию*, так и оный льстец, сам о себе хвалясь, говорит: я сирым отец, я странствующим пристанище, я бедствующим помощник, я обидимым избавитель; для недужных и престарелых учредил гошпитали, для малолетних — училища; неполитичный народ Российский в краткое время сделал политич-

ным и во всех знаниях равным народам Европейским; государство распространил, восхищенное возвратил, рассыпанное восставил, униженное прославил, ветхое обновил, спящих в неведении возбудил, не сущее создал. Я — благ, я — кроток, я — милостив. Придите все и поклонитесь мне, Богу живому и сильному, ибо я — Бог, иного же Бога нет, кроме меня! Так возлицемерствовал благостыню сей Зверь, о коем сказано: *Зверь тот страшен и ни единому подобен;* так под шкурою овчею скрылся лютый волк, да всех уловит и пожрет. Внимайте же, православные, слову пророческому: *изыдите, изыдите, люди мои из Вавилона*! Спасайтесь, ибо нет во градах живущим спасения, бегите, гонимые, верные, настоящего града не имеющие, грядущего взыскающие, бегите в леса и пустыни, скройте главы ваши под перст, в горы и вертепы, и пропасти земные, ибо сами вы видите, братия, что на громаде всей злобы стоим — сам точный Антихрист наступил, и на нем век сей кончается. Аминь!

Он умолк. Ослепляющая зарница или молния вдруг осветила его с ног до головы; и тем, кто смотрел на него, в этом блеске маленький старичок показался великаном; и отзвук глухого, точно подземного, грома — отзвуком слов его, наполнивших небо и землю. Он умолк, и все молчали. Сделалось опять так тихо, что слышно было только сонное журчание струй под бревнами и с другого конца плота протяжная, заунывная песня Иванушки:

Гробы вы, гробы, колоды дубовые,
Всем есте, гробы, домовища вечные.
День к вечеру приближается,
Секира лежит при корени,
Приходят времена последние.

И от этой песни еще глубже и грознее становилась тишина.

Вдруг с грохочущим свистом взвилась ракета и в темной вышине рассыпалась дождем радужных звезд; Нева, отразив их, удвоила в своем черном зеркале — и запылал фейерверк. Загорелись щиты с прозрачными картинами, завертелись огненные колеса, забили огненные фонтаны, и открылись чертоги, подобные храму, из белого, как солнце пламени. С галереи над Невою, где уже стояла Венус, явственно по чуткой глади воды донесся крик пирующих: «Виват! Виват! Виват Петр Великий, Отец отечества, Император Всероссийский!» — и загремела музыка.

— Се, братья, последнее совершается знаменье!— воскликнул старец Корнилий, указывая протянутою рукою на фейерверк.— Как св. Ипполит свидетельствует:

восхвалят его, Антихриста, неисповедимыми песнями и гласами многими и воплем крепким. И свет, паче всякого света, облистает его, тьмы начальника. День во тьму претворит и ночь в день, и луну и солнце в кровь, и сведет огонь с небеси...

Внутри пылающих чертогов появился облик Петра, ваятеля России, подобного титану Прометею.

— И поклонятся ему все,— заключил старец,— и воскликнут: Виват! Виват! Виват! Кто подобен Зверю сему? И кто может сразиться с ним? Он дал нам огонь с небеси!

Все смотрели на фейерверк в оцепенении ужаса. Когда же появилось в клубах дыма, освещенных разноцветными бенгальскими огнями, плывшее по Неве от Петропавловской крепости к Летнему саду, морское чудовище с чешуйчатым хвостом, колючими плавниками и крыльями,— им почудилось, что это и есть предреченный в Откровении Зверь, выходящий из бездны. С минуты на минуту ждали они, что увидят идущего к ним по воде «немокрыми стопами», или по воздуху в громах и молниях на огненных крыльях, с несметною ратью бесовскою, летящего Антихриста.

— Ох, братики, братики!— всхлипывал Петька, дрожа, как лист, и стуча зубами.— Страшно... говорим о нем, а нет ли его самого здесь, поблизости? Видите, какое смятение и между нами...

— Я не знаю, откуда на вас такой страх бабий. Осиновый кол ему в горло и делу конец!..— начал было храбриться Семисаженный, но тоже побледнел и задрожал, когда сидевшая с ним рядом Киликея-кликуша вдруг пронзительно взвизгнула, упала навзничь, забилась в корчах и начала кликать.

Киликею испортили в детстве. Однажды, она рассказывала, мачеха налила ей щей в ставец[1], подала есть и притом избранила: трескай-де, черт с тобою!— и после того времени в третью неделю она, Киликея, занемогла и услышала, что в утробе у нее стало ворчать явственно, как щенком; и то ворчанье все слышали; и подлинно-де у нее в утробе — дьявольское наваждение, и человеческим языком и звериными голосами вслух говорит. Ее сажали за караул, по указу царя о кликушах, судили, допрашивали, били батогами, плетьми. Она давала обещания с порукою и распискою, что «впредь кликать не будет, под страхом жестокого штрафования кнутом и ссылки на

[1] Деревянная чашка.

прядильный двор в работу вечно». Но плети не могли изгнать беса, и она продолжала кликать.

Киликея приговаривала: «ох, тошно, тошно!..» и смеялась, и плакала, и лаяла собакою, блеяла овцою, квакала лягушкою, хрюкала свиньею и разными другими голосами кликала.

Жившая на плоту сторожевая собака, разбуженная всеми этими необычайными звуками, вылезла из конуры. Это была голодная тощая сука с ввалившимися боками и торчавшими ребрами. Она остановилась над водою, рядом с Иванушкою, который продолжал петь, как будто ничего не видя и не слыша,— и с поднятою кверху мордою, с поджатым между ногами хвостом, жалобно завыла на огонь фейерверка. Вой суки сливался с воем кликуши в один страшный звук.

Киликею отливали водою. Старец, наклонившись над нею, читал заклятия на изгнание бесов, дуя, плюя и ударяя ее по лицу ременною лестовкою. Наконец она затихла и заснула мертвым сном, подобным обмороку.

Фейерверк потух. Угли костра на плоту едва тлели. Наступила тьма. Ничего не случилось. Антихрист не пришел. Ужаса не было. Но тоска напала на них, ужаснее всех ужасов. По-прежнему сидели они на плоском плоту, едва черневшем между черным небом и черною водою, маленькою кучкою, одинокою, потерянною, как будто повисшею в воздухе между двумя небесами. Все было спокойно. Плот неподвижен. Но им казалось, что они стремглав летят, проваливаются в эту тьму, как в черную бездну — в пасть самого Зверя, к неизбежному концу всего.

И в этой черной, жаркой тьме, полной голубым трепетаньем зарниц, доносились из Летнего сада нежные звуки менуэта, как томные вздохи любви из царства Венус, где пастушонок Дафнис развязывает пояс пастушке Хлое:

Покинь, Купидо, стрелы:
Уже мы все не целы,
Но сладко уязвленны
Любовною стрелою
Твоею золотою.

II

На Неве, рядом с плотами царевича, стояла большая, пригнанная из Архангельска, с холмогорскою глиняною посудою, барка. Хозяин ее, богатый купец Пушников из раскольников-поморцев, укрывал у себя беглых, утаенных людей старого благочестия. В корме под палубой были крошечные досчатые каморки, вроде чуланов. В одной из них приютилась баба Алена Ефимова.

Алена была крестьянкою, женою московского денежного мастера Максима Еремеева, тайного иконоборца. Когда сожгли Фомку-цирюльника, главного учителя иконоборцев, Еремеев бежал в Низовые города, покинув жену. Сама она была не то раскольница, не то православная; крестилась двуперстным сложением, по внушению некоего старца, который являлся к ней и говаривал: «трехперстным сложением не умолишь Бога»; но ходила в православные церкви и у православных духовников исповедовалась. Несмотря на страшные слухи о Петре, верила, что он подлинно русский царь, и любила его. Просила у Бога, чтоб ей видеть его царского величества очи. И в Петербург приехала, чтобы видеть государя. Ее преследовала мысль: умолить Бога за царя Петра Алексеевича, чтобы он покаялся, вернулся к вере отцов своих, прекратил гонения на людей старого благочестия, чтобы и те, в свою очередь, соединились с православною церковью. Алена сочинила особую молитву, дабы различие вер соединено было, и хотела ту молитву объявить отцу духовному, но не посмела, «затем что написано плохо». Она ходила по монастырям; нанимала в Вознесенском, в церкви Казанской Божьей Матери, старицу на шесть недель читать акафист за царя; сама клала за него в день по две, по три тысячи поклонов. Но всего этого казалось ей мало, и она придумала последнее отчаянное средство: велела своему племяннику, четырнадцатилетнему мальчику Васе написать сочиненную ею молитву о царе Петре Алексеевиче и о соединении вер, устроила пелену под образ, зашила ту молитву в подкладку и отдала в Успенский собор попу, не объявляя о скрытом письме.

После разговора на плоту Алена вернулась в келью свою на барке Пушникова, и когда вспомнила все, что слыхала в ту ночь о государе, первый раз в жизни напало на нее сомнение: не истинно ли то, что говорят о царе, и можно ли умолить Бога за такого царя?

Долго лежала она в душной темноте чулана, с широко открытыми глазами, обливаясь холодным потом, неподвижная. Наконец встала, засветила маленький огарок желтого воска, поставила его в углу каморки перед висевшею на досчатой перегородке иконою Божьей Матери Всех Скорбящих, такою же, как та, которую показывал царь Петр у подножия Венус, опустилась на колени, положила триста поклонов и начала молиться со слезами, с воздыханиями, отчаянною молитвою, тою самою, что была зашита в пелене под образом Успенского собора:

— Услышь, святая соборная церковь, со всем херувимским и серафимским престолом, с пророками и праотцами, угодниками и мучениками, и с Евангелием, и сколько в том Евангелии слов святых — все вспомяните о нашем царе Петре Алексеевиче! Услышь, святая соборная апостольская церковь, со всеми местными иконами и честными мелкими образами, со всеми апостольскими книгами и с лампадами, и с паникадилами, и с местными свещами, и со святыми пеленами, и с черными ризами, с каменными стенами и железными плитами, со всякими плодоносными деревами и цветами! О, молю и прекрасное солнце: возмолись Царю Небесному о царе Петре Алексеевиче! О, млад светел месяц со звездами! О, небо с облаками! О, грозные тучи с буйными ветрами и вихрями! О, птицы небесные! О, синее море с великими реками и с мелкими ключами, и малыми озерами! Возмолитеся Царю Небесному о царе Петре Алексеевиче! И рыбы морские, и скоты полевые, и звери дубровные, и поля, и леса, и горы, и все земнородное, возмолитеся к Царю Небесному о царе Петре Алексеевиче!

Чулан бабы Алены отделяла досчатая перегородка от более просторной кельи, в которой жил старец Корнилий с учеником своим Тихоном. Ни слова не произнес Тихон во время разговора на плоту, но слушал с бо́льшим волнением, чем кто-либо. Когда все разошлись, старец поехал на челноке на берег для свидания и беседы с другими раскольниками о предстоявшем великом самосожжении целых тысяч гонимых людей старой веры в лесах Керженских за Волгою. Тихон вернулся в свою плавучую келью один, лег, но так же, как в соседнем чулане баба Алена, не мог заснуть и думал о том, что слышал в ту ночь. Он чувствовал, что от этих мыслей зависит все его будущее, что наступает мгновение, которое, как нож, разделит жизнь его пополам. «Я теперь, как на ножевом острие,— говорил он сам себе,— в которую сторону свалюсь, в ту и пойду».

Вместе с будущим вставало перед ним и прошлое.

Тихон был единственный сын, последний отпрыск некогда знатного, но давно уже опального и захудалого рода князей Запольских. Мать его умерла от родов. Отец, стрелецкий голова, участвовал в бунте, стал за Милославских, за старую Русь и старую веру против Петра. Во время розыска 1698 года был осужден, пытан в застенках Преображенского и казнен в Кремле на Красной площади. Всех родных и друзей его также казнили или сослали.

Восьмилетний Тихон остался круглым сиротою на попечении старого дядьки Емельяна Пахомыча. Ребенок был слаб и хил; страдал припадками, похожими на черную немочь; отца любил со страстною нежностью. Опасаясь за здоровье мальчика, дядька скрывал от него смерть отца, сказывал Тихону, будто бы отец уехал по делам в далекую Саратовскую вотчину. Но ребенок плакал, тосковал, бродил как тень в огромном опустелом доме и сердцем чуял беду. Наконец, не выдержал. Однажды, после долгих тщетных расспросов, убежал из дому один, чтобы пробраться в Кремль, где жил дядя, и разузнать у него об отце. Дяди в то время не было в живых, его казнили вместе с отцом Тихона.

У Спасских ворот мальчик встретил большие телеги, нагруженные доверху трупами казненных стрельцов, коекак набросанными, полунагими. Подобно зарезанному скоту, которого тащат с бойни, везли их к общей могиле, к живодерной яме, куда сваливали вместе со всякою поганью и падалью: таков был указ царя. Из бойниц Кремлевских стен торчали бревна; бесчисленные трупы висели на них «как полти» — соленая астраханская рыба, которую вешали пучками сушиться на солнце.

Безмолвный народ целыми днями толпился на Красной площади, не смея подходить близко к месту казней, глядя издали. Протеснившись сквозь толпу, Тихон увидел возле Лобного места, в лужах крови, длинные, толстые бревна, служившие плахами. Осужденные, теснясь друг к другу, иногда по тридцати человек сразу, клали на них головы в ряд. В то время как царь пировал в хоромах, выходивших окнами на площадь, ближние бояре, шуты и любимцы рубили головы. Недовольный их работою — руки неумелых палачей дрожали — царь велел привести к столу, за которым пировал, двадцать осужденных и тут же казнил их собственноручно под заздравные клики, под звуки музыки: выпивал стакан и отрубал голову; стакан за стаканом, удар за ударом; вино и кровь лились вместе, вино смешивалось с кровью.

Тихон увидал также виселицу, устроенную наподобие креста, для мятежных стрелецких попов, которых вешал сам всешутейший патриарх Никита Зотов; множество пыточных колес с привязанными к ним раздробленными членами колесованных; железные спицы и колья, на которых торчали полуистлевшие головы: их нельзя было снимать, по указу царя, пока они совсем не истлеют. В воздузе стоял смрад. Вороны носились над площадью стаями.

Мальчик вгляделся пристальнее в одну из голов. Она чернела явственно на голубом прозрачном небе с нежно-

золотистыми и розовыми облаками: вдали — главы Кремлевских соборов горели как жар; слышался вечерний благовест. Вдруг показалось Тихону, будто бы все — и небо, и главы соборов, и земля под ним шатается, что он сам проваливается. В торчавшей на спице мертвой голове с черными дырами вместо вытекших глаз узнал он голову отца. Затрещала барабанная дробь. Из-за угла выступила рота преображенцев, сопровождавшая телеги с новыми жертвами. Осужденные сидели в белых рубахах, с горящими свечами в руках, со спокойными лицами. Впереди ехал на коне всадник высокого роста. Лицо его было тоже спокойно, но страшно. Это был Петр. Тихон раньше никогда не видел его, но теперь тотчас узнал. И ребенку показалось, что мертвая голова отца своими пустыми глазницами смотрит прямо в глаза царю. В то же мгновение он лишился чувств. Отхлынувшая в ужасе толпа раздавила бы мальчика, если бы не заметил его старик, давнишний приятель Пахомыча, некто Григорий Талицкий. Он поднял его и отнес домой. В ту ночь у Тихона сделался такой припадок падучей, какого еще никогда не было. Он едва остался жив.

Григорий Талицкий, человек неизвестный и бедный, живший перепискою старинных книг и рукописей, один из первых начал доказывать, что царь Петр есть Антихрист. Как обвиняли его впоследствии во время розыска, «от великой своей ревности против Антихриста и сумнительного страха стал он кричать в народ злые слова в хулу и поношение государя». Сочинив тетрадки *О пришествии в мир Антихриста и о скончании света*, он задумал напечатать их и «бросать листы в народ безденежно» для возмущения против царя. Григорий часто бывал у Пахомыча и беседовал с ним о царе — Антихристе, о последнем времени. Старец Корнилий, тогда живший в Москве, также участвовал в этих беседах. Маленький Тихон слушал трех стариков, которые, как три зловещие ворона, в сумерки, в запустелом доме собирались и каркали: «Приближается конец века, пришли времена лютые, пришли года тяжкие: не стало веры истинной, не стало стены каменной, не стало столпов крепких — погибла вера христианская. А в последнее время будет антихристово пришествие: загорится вся земля и выгорит в глубину на шестьдесят локтей за наше великое беззаконие». Они рассказывали о видении «некоего мерзкого и престрашного черного Змия, который в никонианских церквах, во время богослужения, на плечах архиереев, вместо святого амофора висит, ползая и стрегочуще; или ночью, обогнувшись

около стен царских палат, голову и хобот имея внутри палаты, шепчет на ухо царю». И унылые беседы переходили в еще более унылые песни:

Говорит Христос, Царь Небесный:
Ох, вы, люди мои, люди,
Вы бегите-ка в пустыни,
В леса темные, в вертепи.
Засыпайтесь, мои светы,
Рудожелтыми песками,
Вы песками, пепелами,
Умирайте, мои светы,
Не умрете — оживете,
Божья царства не минéте!

С особенною жадностью слушал он рассказы о сокровенных обителях среди дремучих лесов и топей за Волгою, о невидимом Китеже-граде на озере Светлояре. То место кажется пустынным лесом. Но там есть и церкви, и дома, и монастыри, и множество людей. Летними ночами на озере слышится звон колоколов и в ясной воде отражаются золотые маковки церквей. Там поистине царство земное: и покой, и тишина, и веселие вечное; святые отцы процветали там, как лилии, как кипарисы и финики, как многоцветный бисер и звезды небесные; от уст их исходит непрестанная молитва к Богу, как фимиам благоуханный и кадило избранное; а когда наступит ночь, молитва их видима бывает, как столпы пламенные с искрами; и так силен тот свет, что можно читать и писать без свечи. Их возлюбил Господь и хранит, как зеницу ока, покрывая невидимо дланью Своею до скончания века. И не узрят они скорби и печали от зверя-антихриста, только о нас, грешных, день и ночь печалуют — об отступлении нашем и всего царства Русского, что Антихрист в нем царствует. В невидимый град ведет сквозь чащи и дебри одна только узкая, окруженная всякими дивами и страхами, тропа Батыева, которой никто не может найти, кроме тех, кого сам Бог управит в то благоутишное пристанище.

Слушая эти рассказы, Тихон стремился туда, в дремучие леса и пустыни. С невыразимой грустью и сладостью повторял он вслед за Пахомычем древний стих о юном пустыннике. Иосафе царевиче:

Прекрасная мати пустыня!
Пойду по лесам, по болотам,
Пойду по горам, по вертепам,
Поставлю я малую хижу.
Разгуляюсь я, млад юнош,
Иосафий царевич,
Во зеленой во дуброве.
Кукушка в ней воскукует,
Умильный глаз испущает —

И та меня поучает.
В тебе, матерь-пустыня,
Гнилые колоды —
Мне райская пища,
Сахарное яство;
Холодные воды —
Медвяное пойло.

С раннего детства у Тихона бывало иногда, особенно перед припадками, странное чувство, ни на что не похожее, нестерпимо жуткое и вместе с тем сладкое, всегда новое, всегда знакомое. В чувстве этом был страх и удивление, и воспоминание, точно из какого-то иного мира, но больше всего — любопытство, желание, чтобы скорее случилось то, что должно случиться. Никогда ни с кем не говорил он об этом, да и не сумел бы этого выразить никакими словами. Впоследствии, как уже начал он думать и сознавать, чувство это стало в нем сливаться с мыслью о кончине мира, о втором пришествии.

Порою самые зловещие каркания трех стариков оставляли его равнодушным, а что-нибудь случайное, мгновенное — цвет, звук, запах — пробуждало в нем это чувство со внезапною силою. Дом его стоял в Замоскворечье на склоне Воробьевых гор; сад кончался обрывом, откуда была видна вся Москва — груды черных изб, бревенчатых срубов, напоминавших деревню, над ними белокаменные стены Кремля и бесчисленные золотые главы церквей. С этого обрыва мальчик подолгу смотрел на те великолепные и страшные закаты, которые бывают иногда позднею бурною осенью. В мертвенно-синих, лиловых, черных, или воспаленно-красных, точно окровавленных тучах, чудились ему то исполинский Змий, обвившийся вокруг Москвы, то семиглавый Зверь, на котором сидит блудница с чашею мерзостей, то воинства ангелов, которые гонят бесов, разя их огненными стрелами, так что реки крови льются по небу, то лучезарный Сион, невидимый Град, сходящий с неба на землю во славе грядущего Господа. Как будто там, на небе, уже совершалось в таинственных знамениях то, что и на земле должно было когда-то совершиться. И знакомое чувство конца охватывало мальчика. Это же самое чувство рождали в нем и некоторые будничные мелочи жизни: запах табака; вид первой, попавшейся ему на глаза, русской книги, отпечатанной в Амстердаме, по указу Петра, новоизобретенными «гражданскими литерами»; вид некоторых вывесок над новыми лавками Немецкой слободы; особая форма париков со смешными буклями, длинными, как жидовские пейсы или собачьи уши; особое выражение на старых

русских, недавно бородатых и только что выбритых лицах. Однажды восьмидесятилетнего деда Еремеича, жившего у них в саду пасечника, царские пристава схватили на городской заставе, насильно обрили ему бороду и обрезали, окургузили по установленной мерке, до колен, полы кафтана. Дед, вернувшись домой, плакал как ребенок, потом скоро заболел и умер с горя. Тихон любил и жалел старика. Но, при виде плачущего, куцего и бритого деда, не мог удержаться от смеха, такого странного, неестественного, что Пахомыч испугался, как бы у него не сделался припадок. И в этом смехе был ужас конца. Однажды зимою появилась комета — звезда с хвостом, как называл ее Пахомыч. Мальчик давно хотел, но не смел взглянуть на нее; нарочно отвертывался, жмурил глаза, чтобы не видеть. Но увидел нечаянно, когда раз вечером дядька нес его на руках в баню через глухой переулок, заметенный снежными сугробами. В конце переулка, меж черных изб над белым снегом, внизу, на самом краю черно-синего неба сверкала огромная, прозрачная, нежная звезда, немного склоненная, как будто убегающая в неизмеримые пространства. Она была не страшная, а точно родная, и такая желанная, милая, что он глядел на нее и не мог наглядеться. Знакомое чувство сильнее, чем когда-либо, сжало сердце его нестерпимым восторгом и ужасом. Он весь потянулся к ней, как будто просыпаясь, с нежною сонной улыбкою. И в то же мгновение Пахомыч почувствовал в теле его страшную судорогу. Крик вырвался из груди мальчика. С ним сделался второй припадок падучей.

Когда ему исполнилось шестнадцать лет, забрали его, так же, как и других шляхетных детей, в «школу математических и навигацких, то есть мореходных хитростных искусств». Школа помещалась в Сухаревой башне, где занимался астрономическими наблюдениями генерал Яков Брюс, которого считали колдуном и чернокнижником: кривая баба, торговавшая на Второй Мещанской мочеными яблоками, видела, как однажды зимнею ночью Брюс полетел со своей вышки прямо к месяцу верхом на подзорной трубе. Пахомыч ни за что не отдал бы дитя в такое проклятое место, если бы ребят не забирали силою.

Укрывавшиеся дворянские недоросли, привезенные из своих поместий под конвоем, иногда женатые, тридцатилетние и даже сорокалетние младенцы, сидели рядом с настоящими детьми на одной парте и зубрили по одной книжке, с картинкою, изображавшею учителя, который огромным пуком розог сечет разложенного на скамейке

школьника — с подписью: *всяк человек в тиши поучайся.* Все буквари обильно украшались розочными виршами:

Благослови, Боже, оные леса,
Яже розги родят на долгие времена.
Малым розга березова ко умилению,
А старым жезл дубовый ко подкреплению.

И царским указом предписывалось: «выбрать из гвардии отставных добрых солдат и быть им по человеку во всякой каморе во время учения и иметь хлыст в руках; и буде кто из учеников будет бесчинствовать, оным бить, несмотря какой бы виновный фамилии не был».

Но как ни вбивали в головы науку малым — хлыстом и розгою, большим — плетьями и батогами, все одинаково плохо учились. Иногда в минуты отчаяния певали они «песнь вавилонскую». Начинали старшие хриплыми с перепою басами:

Житье в школе не по нас,
В один день секут пять раз.

Малыши подтягивали визгливыми дискантами:

Ох, горе, беда!
Секут завсегда.

И дисканты и басы сливались в дружный хор:

И лозами по бедрам,
И палями по рукам.
Ни с другого слова в рожу,
Со спины дерут всю кожу.
Геометрию смекай,
А пустые щи хлебай.
Ох, горе, беда!
Секут завсегда.
О, проклятое чернило!
Сердце наше иссушило.
И бумага, и перо
Сокрушают нас зело,
Хоть какого молодца
Сгубит школа до конца.
Ох, горе, беда!
Секут завсегда.

Немногому научился бы Тихон в школе, если бы не обратил на него внимания один из учителей, кенигсбергский немец, пастор Глюк. Выучившись русскому языку с грехом пополам у беглого польского монаха, Глюк приехал в Россию обучать «московских юношей, аки мягкую и ко всякому изображению угодную глину». Он разочаровался скоро не столько в самих юношах, сколько в русском способе «муштровать их, как цыганских лошадей», вбивать им в голову науку плетьми. Глюк был человек умный и добрый, хотя пьяница. Пил же с горя, потому что не только русские, но и немцы считали его сумасшед-

шим. Он писал головоломное сочинение, комментарии на комментарии Ньютона к Апокалипсису, где все христианские откровения о кончине мира доказывались тончайшими астрономическими выкладками на основании законов тяготения, изложенных в недавно вышедших ньютоновых Philosophiae Naturalis Principia. Mathematica.

В ученике своем, Тихоне, он открыл необыкновенные способности к математике и полюбил его как родного.

Старый Глюк сам в душе был ребенком. С Тихоном говорил он, особенно будучи навеселе, как со взрослым и единственным другом. Рассказывал ему о новых философских учениях и гипотезах, о Magna Instauratio Бэкона, о геометрической этике Спинозы, о *вихрях* Декарта, о монадах Лейбница, но всего вдохновеннее — о великих астрономических открытиях Коперника, Кеплера, Ньютона. Мальчик многого не понимал, но слушал эти сказания о чудесах науки с таким же любопытством, как беседы трех стариков о невидимом Китеже-граде.

Пахомыч считал всю вообще науку немцев, в особенности же «звездочетие», «остроумею», безбожною.

— Проклятый Коперник,— говорил он,— Богу соперник: тягостную землю поднял от кентра земного и звезды стоят, а земля оборачивается, противно священным писаниям. Смеются над ним богословы!

— Истинная философия,— говорил пастор Глюк,— вере не только полезна, но и нужна. Многие святые отцы в науках философских преизяществовали. Знание натуры христианскому закону не противно; и кто натуру исследовать тщится, Бога знает и почитает; физические рассуждения о твари служат к прославлению Творца, как и в Писании сказано: *Небеса поведают славу Господню.*

Но Тихон угадывал смутным чутьем, что в этом согласии науки с верою не все так просто и ясно для самого Глюка, как он думает, или только старается думать. Недаром иногда, в конце ученого спора с самим собою о множестве миров, о неподвижности космических пространств, сильно выпивший старик, забывая присутствие ученика, опускал, как будто в изнеможении, на край стола свою лысую, со съехавшим на сторону париком, голову, отяжелевшую не столько от вина, сколько от головокружительных метафизических мыслей, и глухо стонал, повторяя знаменитое восклицание Ньютона:

— О, физика, спаси меня от метафизики!

Однажды Тихон — ему было тогда уже девятнадцать лет, он кончал школу и хорошо читал по-латински —

случайно открыл валявшийся на рабочем столе учителя привезенный им из Голландии рукописный сборник писем Спинозы и прочел первые на глаза попавшиеся строки: «Между свойствами человека и Бога так же мало общего, как между созвездием Пса и псом, лающим животным. Если бы треугольник имел дар слова, то и он сказал бы, что Бог есть не что иное, как совершенный треугольник, а круг — что природа Бога в высшей степени кругла». И в другом письме — об Евхаристии: «О, безумный юноша! Кто же так околдовал вас, что вы вообразили, будто можно проглатывать святое и вечное, будто святое и вечное может находиться во внутренностях ваших? Ужасны таинства вашей церкви: они противоречат здравому смыслу». Тихон закрыл книгу и больше не читал. Первый раз в жизни испытал он от мысли то чувство, которое прежде испытывал только от внешних впечатлений — ужас конца.

В Сухаревой башне у генерала Якова Вилимовича Брюса была обширная библиотека и «кабинет математических, механических и других инструментов, также натуралий — зверей, инсект, кореньев, всяких руд и минералов, антиквитетов, древних монет, медалей, резных камней, личин и вообще как иностранных, так и внутренних куриезностей». Брюс поручил пастору Глюку составить ведомость, или опись, всем предметам и книгам. Тихон помогал ему и целые дни проводил в библиотеке.

Однажды, ясным летним вечером, он сидел на самом верху складной, двигавшейся на колесиках библиотечной лесенки перед стеной, сверху донизу уставленной книгами, наклеивая номера на корешки и сравнивая новую опись со старою, безграмотною, в которой заглавия иностранных книг списаны были русскими буквами. Сквозь высокие окна с мелкими круглыми стеклами в свинцовом переплете, как в старинных голландских домах, падали лучи солнца косыми пыльными снопами на сверкающие медные машины — небесные сферы, астролябии, компасы, наугольники, циркули, масштабы, ватерпасы, подзорные трубы, «микроскопиумы», на чучела разных диковинных зверей и птиц, на огромную кость мамонтовой головы, на чудовищных китайских идолов и мраморные личины прекрасных эллинских богов, на бесконечные полки книг в однообразных кожаных и пергаментных переплетах. Тихону нравилась эта работа. Здесь, в царстве книг, была такая же уютная тишина, как в лесу или на старом, людьми покинутом, солнцем излюбленном кладбище. Доносился только с улицы вечерний благовест, напоминавший звон китеж-

ских колоколов, да сквозь отворенные в соседнюю комнату двери слышались голоса пастора Глюка и Брюса. Отужинав, сидели они за столом, курили и пили, беседуя.

Тихон только наклеил новые номера на инкварто и октаво, обозначенные в старой описи под номером 473: «Философия Франциско Бакона на английском языке в трех томах»; под номером 308: «Медитацион де прима философии чрез Декартес на голанском языке»; под номером 532: «Математикал элеманс натураль философии чрез Исака Нефтона». Ставя книги на полку, в глубине ее ощупал он и вытащил завалившееся, очень ветхое, изъеденное мышами октаво под номером 461: «Лионардо Давинчи, трактат о живописном письме на немецком языке». Это был первый, изданный в Амстердаме, в 1582 году, немецкий перевод Trattato della pittura. В книгу отдельных листков вложен был гравированный на дереве портрет Леонардо. Тихон вглядывался в странное, чуждое и, вместе с тем, как будто знакомое, в незапамятном сне виденное, лицо и думал, что, верно, у Симона Мага, летавшего по воздуху, было такое же точно лицо.

Голоса в соседней комнате стали раздаваться громче. Брюс о чем-то спорил с Глюком. Они говорили по-немецки. Тихон выучился этому языку у пастора. Несколько отдельных слов поразили его; и он с любопытством прислушался, все еще держа в руках книгу Леонардо.

— Как же вы не видите, достопочтенный, что Ньютон был не в здравом уме, когда писал свои комментарии к Апокалипсису? — говорил Брюс.— Он, впрочем, в этом и сам признается в письме к Бентлею от 13 сентября 1693 года: «я потерял связь своих мыслей и не чувствую прежней твердости рассудка»— попросту, значит, рехнулся.

— Ваше превосходительство, я желал бы лучше быть сумасшедшим с Ньютоном, чем здравомыслящим со всей остальною двуногою тварью! — воскликнул Глюк и залпом выпил стакан.

— О вкусах не спорят, любезный пастор,— продолжал Яков Вилимович, засмеявшись сухим, резким, точно деревянным смехом,— но вот что всего любопытнее: в то самое время, как сэр Исаак Ньютон сочинял свои Комментарии,— на другом конце мира, именно здесь, у нас, в Московии, дикие изуверы, которых называют раскольниками, сочинили тоже свои комментарии к Апокалипсису и пришли почти к таким же выводам, как Ньютон. Ожидая со дня на день кончины мира и второго пришествия, одни из них ложатся в гробы и сами себя отпевают,

другие сжигаются. Их за то гонят и преследуют; а я сказал бы об этих несчастных словами философа Лейбница: «я не люблю трагических событий и желал бы, чтобы всем на свете жилось хорошо; что же касается заблуждения тех, которые спокойно ждут кончины мира, то оно мне кажется совсем невинным». Так вот что, говорю я, всего любопытнее: в этих апокалипсических бреднях крайний Запад сходится с крайним Востоком и величайшее просвещение — с величайшим невежеством, что действительно могло бы, пожалуй, внушить мысль, что конец мира приближается и что все мы скоро отправимся к черту!..

Он опять засмеялся своим резким, деревянным смехом и прибавил что-то, чего не расслышал Тихон, должно быть очень вольнодумное, потому что Глюк, у которого, как всегда в конце ужина, парик съехал на сторону, и в голове шумело, вдруг яростно вскочил, отодвинул стул и хотел выбежать из комнаты. Но Яков Вилимович удержал и успокоил его несколькими добрыми словами. Брюс был единственным покровителем Глюка. Он уважал и любил его за бескорыстную любовь к науке. Но, будучи скептиком, и даже, как утверждали многие, совершенным атеистом, не мог видеть бедного пастора, этого «Донкишота астрономии», чтобы не подразнить его и не посмеяться над злополучными комментариями к Апокалипсису, над примирением науки с верою. Брюс полагал, что надо выбрать одно из двух — или веру без науки, или науку без веры.

Яков Вилимович наполнил стакан Глюка и, чтобы утешить его, начал расспрашивать о подробностях ньютонова Апокалипсиса. Старик отвечал сперва неохотно, но потом опять увлекся и сообщил разговор Ньютона с друзьями о комете 1680 года. Когда его однажды спросили о ней, вместо ответа он открыл свои *Начала* и указал место, где сказано: Stellae fixae refici possunt. Неподвижные звезды могут восстановляться от падения на них комет.— «Почему же вы не писали о солнце так же откровенно, как о звездах?» — «Потому, что солнце ближе нас касается»,— отвечал Ньютон и потом прибавил, смеясь: «я, впрочем, сказал достаточно для тех, кто желает понять!»

— Как мотылек, летящий на огонь, комета упадет на солнце,— воскликнул Глюк,— и от этого падения солнечный жар возрастет до того, что все на земле истребится огнем! В Писании сказано: *небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят*. Тогда исполнятся оба пророчества — того, кто верил, и того, кто знал.

— «Hypotheses non fingo! Я не сочиняю гипотез!» — заключил он вдохновенно, повторяя великое слово Ньютона.

Тихон слушал — и давнее, вещее карканье трех стариков, трех воронов соединялось для него с точнейшими выводами знания. Закрыв глаза, увидел он глухой переулок, занесенный снежными сугробами, и в конце его, внизу, над белым снегом, меж черных изб, на краю черно-синего неба огромную, прозрачную, нежную звезду. И так же, как в детстве, знакомое чувство сжало сердце его нестерпимым восторгом и ужасом. Он уронил книгу Леонардо, которая задела, падая, трубку астролябии и повалила ее на пол с грохотом. Прибежал Глюк. Он знал, что Тихон страдает припадками. Увидев его вверху лестницы, дрожащего, бледного, он бросился к нему, обнял, поддержал и помог сойти. На этот раз припадок миновал. Пришел также Брюс. Они расспрашивали Тихона с участием. Но он молчал: чувствовал, что нельзя ни с кем говорить об *этом*.

— Бедный мальчик! — сказал Яков Вилимович Глюку, отводя его в сторону.— Наш разговор напугал его. Здесь они все таковы — только и думают о кончине мира. Я заметил, что в последнее время какое-то безумие распространяется среди них, как зараза. Бог знает, чем кончит этот несчастный народ!

По выходе из школы, Тихон должен был поступить, как все шляхетные дети, в военную службу. Пахомыч умер. Глюк собирался в Швецию и Англию, по поручению Брюса, для закупки новых математических инструментов. Он приглашал с собою Тихона, который, забыв свои детские страхи и предостережение Пахомыча, все с большей любовью предавался изучению математики. Здоровье окрепло, припадки не повторялись. Давнее любопытство влекло его в другие края, в «царство Стекольное», почти столько же для него таинственное, как невидимый Китеж-град. По ходатайству Якова Вилимовича, навигацкий ученик Запольский, в числе других «младенцев Российских», послан был царским указом для окончания наук за море. Они приехали с Глюком в Петербург в начале июня 1715 года. Тихону исполнилось 25 лет: он был ровесником царевича Алексея, но по виду все еще казался мальчиком. Через несколько дней из Кроншлота отходил купеческий корабль, на котором они должны были плыть в Стокгольм — Стекольный.

Вдруг все изменилось. Петербург видом своим, столь не похожим на Москву, поразил Тихона. Целыми днями он бродил по улицам, смотрел и удивлялся: бесконечные

каналы, першпективы, дома на сваях, вбитых в зыбкую тину болот, построенные в ряд «линейно», по указу, «так чтобы никакое строение за линию или из линии не строилось», бедные мазанки среди лесов и пустырей, крытые по-чухонски дерном и берестою, дворцы затейливой архитектуры «на прусский манир», унылые гарнизонные магазейны, цейхаузы, амбары, церкви с голландскими шпицами и курантным боем — все было плоско, пошло, буднично и в то же время похоже на сон. Порою, в пасмурные утра, в дымке грязно-желтого тумана, чудилось ему, что весь этот город подымется вместе с туманом и разлетится, как сон. В Китеже-граде то, что есть — невидимо, а здесь в Петербурге, наоборот, видимо то, чего нет; но оба города одинаково призрачны. И снова рождалось в нем жуткое чувство, которого он уже давно не испытывал — чувство конца. Но оно не разрешалось, как прежде, восторгом и ужасом, а давило тупо бесконечною тоскою. Однажды на Троицкой площади, у «кофейного дома» Четырех Фрегатов, встретил он человека высокого роста в кожаной куртке голландского шкипера. И точно так же, как и в Москве, на Красной площади, у Лобного места, где торчавшая на коле мертвая голова отца его смотрела пустыми глазницами прямо в глаза этому самому человеку,— Тихон тотчас узнал его: это был Петр. Страшное лицо как будто сразу объяснило ему страшный город: на них обоих была одна печать.

В тот же день встретил он старца Корнилия, обрадовался ему, как родному, и уже не покидал его. Ночевал у старца в келье, дни проводил на плотах, на барках с утаенными, беглыми людьми. Слушал рассказы о житии великих пустынных отцов на далеком севере, в лесах Поморских, Онежских и Олонецких, где Корнилий, уйдя из Москвы, провел много лет, о тамошних страшных гарях — многотысячных самосожжениях. Оттуда шел он теперь за Волгу на Керженец проповедовать «красную смерть».

Тихон учился недаром. Многому, чему верили эти люди, он уже не верил; думал иначе, но чувствовал так же, как они. Самое главное — чувство конца — у них было общее с ним. То, о чем он никогда ни с кем не говорил, чего никто из ученых людей и не понял бы, они понимали — этим только и жили. Все, что с раннего детства он слышал от Пахомыча, теперь вдруг ожило в душе его с новой силою. Опять потянуло его в леса, в пустыни, в сокровенные обители, в «благоутишное пристанище». Как будто при свете белых ночей над простором Невы,

сквозь бой голландских курантов, опять ему слышался звон китежских колоколов. И опять, с томительной грустью и сладостью, повторял он стих об Иосафе царевиче:

Прекрасная мати пустыня!
Пойду по лесам, по болотам,
Пойду по горам, по вертепам...

Надо было решить, надо было выбрать одно из двух: или навсегда вернуться в мир, чтобы жить, как все живут, служить человеку, который погубил отца его и, может быть, погубит Россию; или навсегда уйти из мира, сделаться нищим, бродягою, одним из утаенных, беглых людей, «настоящего града не имеющих, грядущего — взыскивающих»; на запад с пастором Глюком — в город Стекольный, или на Восток со старцем Корнилием — в невидимый Китеж-град. Что он выберет, куда пойдет? Он сам еще не знал, колебался, медлил последним решением, как будто ждал чего-то. Но в эту ночь, после разговора на плоту о Петре-антихристе, почувствовал, что медлить нельзя. Завтра отправляется корабль в Стокгольм и завтра же старец Корнилий, которому грозил донос, должен бежать из Петербурга. Он звал с собою Тихона.

«Я теперь как на ножевом острие,— опять подумал он.— В которую сторону свалюсь, в ту и пойду. Одна жизнь, одна смерть. Раз ошибешься, второй не поправишь».

Но в то же время он чувствовал, что не имеет силы решить, и что две судьбы, как два конца мертвой петли, соединяясь, стягиваясь, давят и душат его. Он встал, взял с полки рукописную книгу — «Слово св. Ипполита о втором пришествии» и, чтобы отдохнуть от мыслей, начал рассматривать, при свете лампады, горевшей перед образом, заставные картинки. На одной из них, слева, сидел на престоле Антихрист, в зеленом, с красными отворотами и медными пуговицами, преображенском мундире, в треуголке, со шпагою, похожий лицом на царя Петра Алексеевича, и указывал рукою вперед. Перед ним, вправо, преображенской и семеновской гвардии отряд направлялся к скиту среди темного леса. Вверху на горах с тремя пещерами молились иноки. Солдаты, руководимые синими бесами, взбирались вверх по горному склону. Внизу подпись: «тогда пошлет в горы и вертепы, и пропасти земные полки свои бесовские, дабы искать укрывшихся от глаз его и тех привести на поклонение себе». На другой картинке солдаты расстреливали связанных старцев: «оружием от диявола падут».

За дощатой перегородкой в соседнем чулане все еще вздыхала и плакала баба Алена, молясь Царю Небесному о царе Петре Алексеевиче. Тихон положил книгу, опустился на колени перед образом. Но молиться не мог. Тоска напала на него, какой он еще никогда не испытывал. Пламя догоревшей лампады, последний раз вспыхнув, потухло. Наступила тьма. И что-то подползало, подкрадывалось в этой тьме, хватало его за горло темною, теплою, мягкою, словно косматою, лапою. Он задыхался. Холодный пот выступал на теле. И опять ему казалось, что он летит стремглав, проваливается в черную тьму, как зияющую бездну — пасть самого Зверя. «Все равно»,— подумал он, и вдруг нестерпимым светом загорелась в сознании мысль: все равно, какой из двух путей он выберет, куда пойдет — на Восток или Запад; и здесь, и там, на последних пределах Востока и Запада — одна мысль, одно чувство: скоро конец. *Ибо, как молния исходит от Востока и видна бывает даже до Запада, так будет пришествие Сына Человеческого.* И в нем как будто сверкнула эта последняя соединяющая молния. «Ей, гряди, Господи Иисусе!» — воскликнул он, и в то же мгновение в конце кельи вспыхнул белый, страшный свет. Раздался оглушительный треск, как будто небо распалось и рушилось. Это была та самая молния, которая так напугала Петра, что он выронил икону из рук у подножия Венус. Баба Алена услышала сквозь вой, свист и грохот бури ужасный нечеловеческий крик: у Тихона сделался припадок падучей.

Он очнулся на корме барки, куда, во время припадка, вынесли его из душной кельи. Было раннее утро. Вверху голубое небо, внизу белый туман. Звезда блестела на востоке сквозь туман, звезда Венеры. И на острове Кейвусаре, Петербургской стороне, на Большой Дворянской, над куполом дома, где жил Бутурлин, «митрополит всепьянейший», позолоченная статуя Вакха, под первым лучом солнца, вспыхнула огненно-красной, кровавой звездою в тумане, как будто земная звезда обменялась таинственным взглядом с небесною. Туман порозовел, точно в тело бледных призраков влилась живая кровь. И мраморное тело богини Венус в средней галерее над Невою сделалось теплым и розовым, словно живым. Она улыбнулась вечною улыбкой солнцу, как будто радуясь, что солнце восходит и здесь, в гиперборейской полночи. Тело богини было воздушным и розовым, как облако тумана; туман — живым и теплым, как тело богини. Туман был телом ее — и все было в ней, и она во всем.

Тихон вспомнил свои ночные мысли и почувствовал в душе спокойную решимость: не возвращаться к пастору Глюку и бежать со старцем Корнилием.

Барка, на которой он лежал, сдвинутая бурей, уперлась кормою в тот самый плот, где ночью шел разговор об Антихристе. Иванушка, успевший выспаться, сидел на том же месте, как ночью, и пел ту же песенку. И музыка, или только призрак музыки — заглушенные туманом звуки менуэта:

Покинь, Купидо, стрелы,
Уже мы все не целы —

сливались с унылой, протяжною песнью Иванушки, который, глядя на Восток — начало дня, пел вечному Западу — концу всех дней:

Гробы вы, гробы, колоды дубовые,
Всем есте, гробы, домовища вечные!
День к вечеру приближается,
Солнце идет к Западу,
Секира лежит при корени.
Приходят времена последние!

III

На берегу Невы, у церкви Всех Скорбящих, рядом с домом царевича Алексея, находился дом царицы Марфы Матвеевны, вдовы сводного брата Петрова, царя Феодора Алексеевича. Феодор умер, когда Петру было десять лет. Восемнадцатилетняя царица прожила с ним в супружестве всего четыре недели. После его смерти она помешалась в уме от горя и тридцать три года прожила в заключении. Никуда не выходила из своих покоев, никого не узнавала. При чужеземных дворах считали ее давно умершею. Петербург, который она мельком видела из окон своей комнаты — мазанковые здания, построенные «голландскою и прусскою манирою», церкви шпицом, Нева с верейками и барками, каналы,— все это представлялось ей как страшный нелепый сон. А сновидения казались действительностью. Она воображала, что живет в Московском Кремле, в старых теремах, и что, выглянув в окно, увидит Ивана Великого. Но никогда не выглядывала, боялась света дневного. У нее в хоромах была вечная темнота, окна завешены. Она жила при свечах. Вековые запаны и завесы скрывали от взоров людских последнюю московскую царицу. Торжественный и пышный царский чин соблюдался *на Верху*. Служители далее сеней не смели входить без «обсылки». Здесь время остановилось, и все навеки было

неподвижно — так, как во времена Тишайшего царя Алексея Михайловича. Безумная сказка сложилась в ее больном уме, будто бы муж ее, царь Феодор Алексеевич жив и живет в Иерусалиме, у Гроба Господня, молится за Русскую землю, на которую идет Антихрист с несметными полчищами ляхов и немцев; на Руси нет царя, а тот царь, который и есть, не истинный; он — самозванец, оборотень, Гришка Отрепьев, беглый пушкарь, немец с Кукуевской Слободы; но Господь не до конца прогневался на православных; когда исполнятся времена и сроки, единый благоверный царь всея Руси, Феодор, солнышко красное, вернется в свою землю с грозною ратью, в силе и славе, и побегут перед ним басурманские полчища, как ночь перед солнцем, и сядет он вместе с царицею на дедовский престол, и восстановит суд и правду в земле своей; весь народ придет к нему и поклонится; и низринут будет Антихрист со всеми своими немцами. Тогда скоро и миру конец и второе страшное пришествие Христово. Все это близко, при дверях.

Недели через две после праздника Венеры в Летнем саду, царевна Мария пригласила Алексея в дом царицы Марфы. Здесь уже не раз бывали у них тайные свидания. Тетка передавала ему вести и письма от матери, опальной царицы Евдокии Феодоровны, во иночестве Елены, первой жены Петра, насильно постриженной им и заключенной в Суздальско-Покровском девичьем монастыре.

Алексей, войдя в дом царицы Марфы, долго пробирался по темным брусяным переходам, сеням, клетям, подклетям и лестницам. Всюду пахло деревянным маслом, рухлядью, ветошью, как будто пылью и гнилью веков. Всюду были келийки, горенки, тайнички, боковушки, чуланчики. В них ютились старые-престарые верховые боярыни и боярышни, комнатные бабы, мамы, казначеи, портомои, меховницы, постельницы, юродивые, нищие, странницы, государевы богомольцы, дураки и дурки, девочки-сиротинки, столетние сказочники-бахари и игрецы-домрачеи, которые воспевали былины под звуки заунывных домр. Дряхлые слуги в полинялых мухояровых кафтанах, седые, шершавые, точно мохом обросшие, хватали царевича за полы, целовали его в ручку, в плечико. Слепые, немые, хромые, седые, сивые от старости, безликие, следуя за ним, скользили по стенам, как призраки, кишели, копошились, ползали в темноте переходов, как в сырых щелях мокрицы. Навстречу ему попался дурак Шамыра, вечно хихикавший и щипавшийся с дуркою Манькою. Самая древняя из верховых боярынь, любимая ца-

рицею, так же, как и она, выжившая из ума, толстая, вся заплывшая желтым жиром, трясущаяся, как студень, Сундулея Вахрамеевна повалилась ему в ноги и почему-то завыла, причитая над ним, как над покойником. Царевичу стало жутко. Вспомнилось слово отца: «оный двор царевны Марфы от набожности есть гошпиталь на уродов, юродов, ханжей и шалунов».

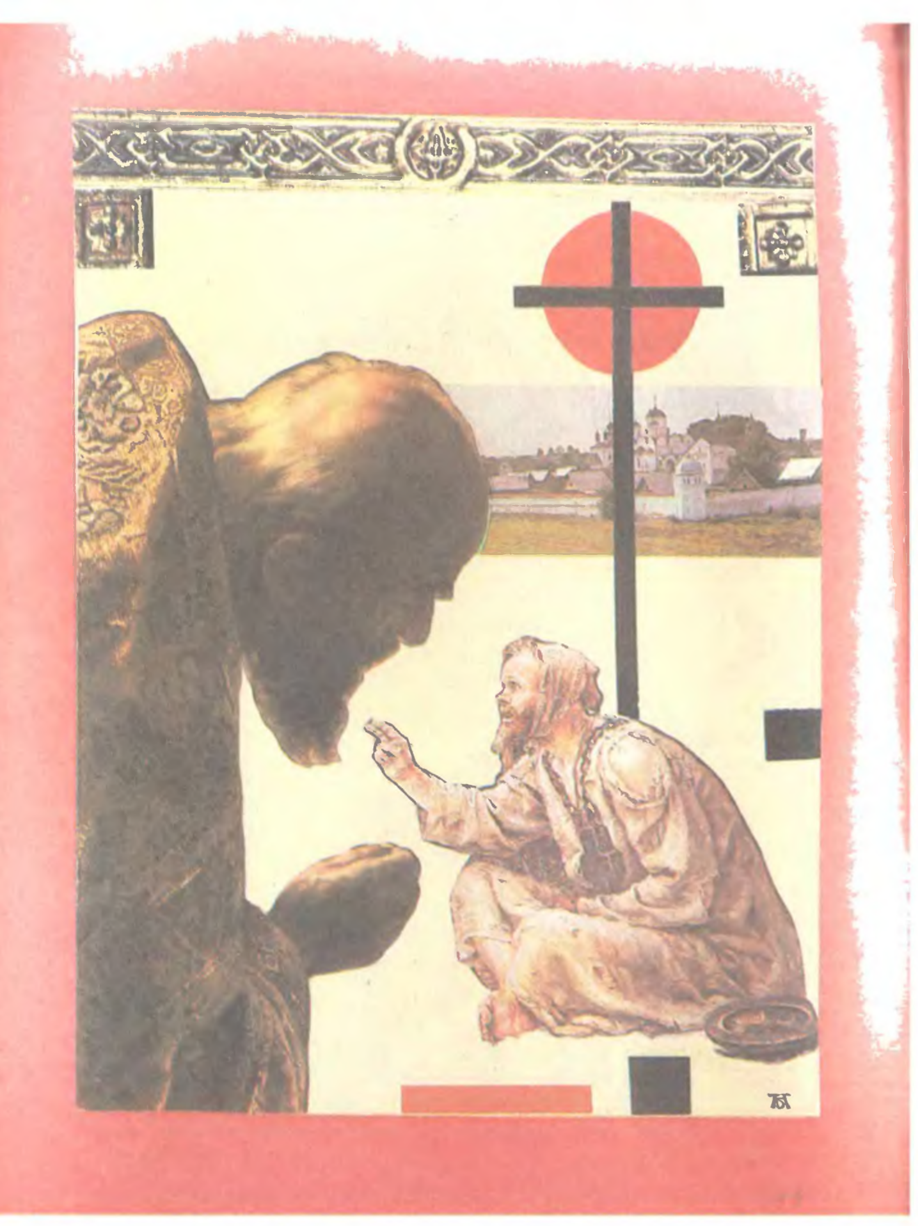
Он с облегчением вздохнул, вступив в более светлую и свежую угловую горницу, где ожидала его тетка, царевна Марья Алексеевна. Окна выходили на голубой и солнечный простор Невы с кораблями и барками. Голые бревенчатые стены, как в избе. Только в красном углу киот с образами и тускло теплившеюся лампадкою. По стенам лавки. Сидевшая за столом тетка привстала и обняла царевича с нежностью. Марья Алексеевна одета была по-старинному, в повойнике, в шерстяном шушуне смирного, то есть темного, вдовьего цвета, с коричневыми крапинками. Лицо у нее было некрасивое, бледное и одутловатое, как у старых монахинь. Но в злых тонких губах, в умных, острых, точно колючих, глазах было что-то властное и твердое, напоминавшее царевну Софью — «злое семя Милославских». Так же, как Софья, ненавидела она брата и все дела его, «душою о старине горела». Петр щадил ее, но называл старою вороною за то, что она ему вечно каркала.

Царевна подала Алексею письмо от матери из Суздаля. То был ответ на недавнюю, слишком сухую и краткую записочку сына: «Матушка, здравствуй! Пожалуй, не забывай меня в своих молитвах». Сердце Алексея забилось, когда он стал разбирать безграмотные строки с неуклюже нацарапанными, детскими буквами знакомого почерка.

«Царевич Алексей Петрович, здравствуй. А я, бедная, в печалях своих еле жива, что ты, мой батюшка, меня покинул, что в печалях таких оставил, что забыл рождение мое. А я за тобою ходила рабски. А ты меня скоро забыл. А я тебя ради по сие число жива. А если бы не ради тебя, то бы на свете не было меня в таких напастях и в бедах, и в нищете. Горькое, горькое мое житие! Лучше бы я на свет не родилась. Не ведаю, за что мучаюся. А я же тебя не забыла, всегда молюся за здоровье твое Пресвятой Богородице, чтобы она сохранила тебя и во всякой бы чистоте соблюла. Образ здесь есть Казанской Пресвятой Богородицы, по явлению построена церковь. А я за твое здоровье обещалась и подымала образ в дом свой, да сама ночью проводила, на раменах [1] своих несла. А было мне

[1] На плечах (*церковнослав.*).





видение месяца Маия двадцать третие число. Явилася пресветлая и пречистая Царица Небесная и обещалась у Господа Бога, своего Сына, упросить, да печаль мою на радость претворить. И слышала я, недостойная, от пресветлой Жены — рекла она такое слово: «предпочла-де ты Мой образ и проводила до храма Моего, и Я-де тебя возвеличу и сына-де твоего сохраню». А ты, радость моя, чадо мое. имей страх Божий в сердце своем. Отпиши, друг мой, Олешенька, хоть едину строчку, утоли мое рыдание слезное, дай хоть мало мне отдохнуть от печали, помилуй мать свою и рабу, пожалуй, отпиши! Рабски тебе кланяюся».

Когда Алексей дочитал письмо, царевна Марья отдала ему монастырские гостинцы — образок, платочек, вышитый шелками собственною рукою смиренной инокини Елены, да две липовые чашечки, «чем водку пьют». Эти жалобные подарки больше тронули его, нежели письмо.

— Забыл ты ее,— произнесла Марья, глядя ему прямо в глаза.— Не пишешь и не посылаешь ей ничего.

— Опасаюсь,— молвил царевич.

— А что? — возразила она с живостью, и острые глаза точно укололи его.— Хотя бы тебе и пострадать? Ничего! Ведь за мать, не за кого иного...

Он молчал. Тогда она начала ему рассказывать шепотом на ухо, что слышала от пришедшего из обители Суздальской юрода Михайла Босого: тамошняя радость обвеселила, там не прекращаются видения, знамения, пророчества, гласы от образов; архиерей Новгородский Иов сказывает: «тебе в Питербурхе худо готовится; только Бог тебя избавит, чаю; увидишь, что у вас будет». И старцу Виссариону, что живет в Ярославской стене замурован, было откровение, что скоро перемене быть: «либо государь умрет, либо Питербурх разорится». И епископу Досифею Ростовскому явился св. Дмитрий царевич и предрек, что некоторое смятение будет и *скоро совершится*.

— Скоро! Скоро! — заключила царевна.— Много вопиющих: Господи мсти и дай *совершение* и делу конец!

Алексей знал, что совершение значит смерть отца.

— Попомни меня! — воскликнула Марья пророчески.— Питербурх не долго за нами будет. Быть ему пусту!

И взглянув в окно на Неву, на белые домики среди зеленых болотистых топей, повторила злорадно:

— Быть пусту, быть пусту! К черту в болото провалится! Как вырос, так и сгинет, гриб поганый. И места его не найдут, окаянного!

Старая ворона раскаркалась.

— Бабьи сказки,— безнадежно махнул рукой Алексей.— Мало ли пророчеств мы слышали? Все вздор!

Она хотела что-то возразить, но вдруг опять взглянула на него своим острым, колючим взором.

— Что это, царевич, лицо у тебя такое? Не можется, что ли? Аль пьешь?

— Пью. Насильно поят. Третьего дня на спуске корабельном замертво вынесли. Лучше бы я на каторге был или лихорадкою лежал, чем там был!

— А ты пил бы лекарства, болезнь бы себе притворял, чтобы тебе на тех спусках не быть, коли ведаешь такой отца своего обычай.

Алексей помолчал, потом тяжело вздохнул.

— Ох, Марьюшка, Марьюшка, горько мне!.. Уже я чуть знаю себя от горести. Если бы не помогала сила Божья, едва можно человеку в уме быть... Я бы рад хоть куды скрыться... Уйти бы прочь от всего!

— Куда тебе от отца уйти? У него рука долга. Везде найдет.

— Жаль мне,— продолжал Алексей,— что не сделал так, как приговаривал Кикин, чтобы уехать во Францию или к кесарю. Там бы я покойнее здешнего жил, пока Бог изволит. Много ведь нашей братьи-то бегством спасалося. Да нет такого образа, чтобы уехать. Уж и не знаю, что со мною будет, тетенька, голубушка!.. Я ничему не рад, только дай мне свободу и не трогай никуды. Либо отпусти в монастырь. И от наследства бы отрекся, жил бы, отдалясь от всего, в покое, ушел бы в свои деревнишки, где бы живот скончать!

— Полно-ка ты, полно, Петрович! Государь ведь человек не бессмертен: воля Божья придет — умрет. Вот, говорят, болезнь у него падучая, а такие люди недолго живут. Даст Бог совершение... Чаю, что не умедлится... Погоди, говорю, доведется и нам свою песенку спеть. Тебя в народе любят и пьют про твое здоровье, называя надеждою Российскою. Наследство тебя не минует!

— Что наследство, Марьюшка! Быть мне пострижену, и не то, что ныне от отца, а и после него мне на себя ждать того же: что Василья Шуйского, постригши, отдадут куда в полон [1]. Мое житье худое...

— Как же быть, соколик? Час терпеть, век жить. Потерпи, Алешенька!

— Долго я терпел, больше не могу! — воскликнул он

---

[1] Василий Шуйский, русский царь в 1606—1610 гг., умер в польском плену (1616).

с неудержимым порывом, и лицо его побледнело.— Хоть бы уж один конец! Истома пуще смерти...

Он хотел что-то прибавить, но голос его пресекся. Он глухо простонал: «О, Господи, Господи!» — уронил руки на стол, прижал к ладоням лицо, стиснул голову пальцами и не заплакал, а только весь, как от нестерпимой боли, съежился. Судорога бесслезного рыдания сотрясла все его тело.

Царевна Марья склонилась над ним, положила на плечо его свою маленькую, твердую и властную руку; точно такие же руки были у царевны Софьи.

— Не малодушествуй, царевич,— проговорила она медленно, с тихою и ласковою строгостью.— Не гневи Бога, не ропщи. Помни Иова: благо есть надеятися на Господа, понеже весь живот наш и движение в руце Божией. Может Он и противными полезно нам устроить. Аще Бог с кем, что сотворит тому человек? Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, Господь воздаст за мя! Положись весь на Христа, Алешенька, друг мой сердешненькой: выше силы не попустит он быть искушению.

Она умолкла. И под эти родные, с детства знакомые звуки молитвенных слов, под этою ласковою, твердою рукою, он тоже затих.

Постучались в дверь. То Сундулея Вахрамеевна пришла за ним от царицы Марфы.

Алексей поднял голову. Лицо его все еще было бледно, но уже почти спокойно. Он взглянул на образ с тускло теплившеюся лампадкою, перекрестился и сказал:

— Твоя правда, Марьюшка! Буди воля Божья во всем. Он за молитвами Богоматери и всех святых, как хощет, совершит или разрешит о нас, в чем надежду мою имел и иметь буду.

— Аминь! — произнесла царевна.

Они встали и пошли в постельные хоромы царицы Марфы.

IV

Несмотря на солнечный день, в комнате было темно, как ночью, и горели свечи. Ни один луч не проникал сквозь плотно забитые войлоками, завешенные коврами окна. В спертом воздухе пахло росным ладаном и гуляфною водкою — розовою водою — куреньями, которые клали в печные топли для духу. Комнату загромождали казенки, поставцы, шкафы, скрыни, шкатуни, коробьи, ларцы, кованые сундуки, обитые полосами луженого железа подголовки, кипарисовые укладки, со всеми мехами, платьями

и белою казною — бельем. Посередине комнаты возвышалось царицыно ложе под шатровою сенью — пологом из алтабаса пунцового, с травами бледно-зеленого золота, с одеялом из кизылбашской золотной камки на соболях с горностаевой опушкой. Все было пышное, но ветхое, истертое, истлевшее, так что, казалось, должно было рассыпаться, как прах могильный, от прикосновения свежего воздуха. Сквозь открытую дверь видна была соседняя комната — крестовая, вся залитая сиянием лампад перед иконами в золотых и серебряных ризах, усыпанных драгоценными камнями. Там хранилась всякая святыня: кресты, панагии, складни, крабицы, коробочки, ставики с мощами; смирна, ливан, чудотворные меды, святая вода в вощанках; на блюдечках кассия, в сосуде свинцовом миро, освященное патриархами; свечи, зажженные от огня небесного; песок Иорданский; частицы Купины Неопалимой, дуба Мамврийского; млеко Пречистой Богородицы; камень лазоревый — *небеса*, «где стоял Христос на воздухе»; камень во влагалище суконном — «от него благоухание, а какой камень, про то неведомо»; онучки Пафнутия Боровского; зуб Антипия Великого, от зубной скорби исцеляющий, отобранный на себя Иваном Грозным из казны убиенного сына.

У ложа в золоченых креслах, похожих на «царское место», с резным двуглавым орлом и «коруною» на спинке, сидела царица Марфа Матвеевна. Хотя зеленая муравленая печка с узорчатыми городками и гзымзами была жарко натоплена, зябкая больная старуха куталась в телогрею киндячную на песцовом меху. Жемчужная рясна и поднизи свешивались на лоб ее из-под золотого кокошника. Лицо было не старое, но точно мертвое, каменное; густо набеленное и нарумяненное, по древнему чину Московских цариц, казалось оно еще мертвеннее. Живы были только глаза, прозрачно-светлые, но с неподвижным, как будто невидящим, взором; так смотрят днем ночные птицы. У ног ее сидел на полу монашек и что-то рассказывал.

Когда вошел царевич с теткою, Марфа Матвеевна поздоровалась с ними ласково и пригласила послушать странничка Божья. Это был маленький старичок с личиком совсем детским, очень веселым; голосок у него был тоже веселый, певучий и приятный. Он рассказывал о своих странствиях, о скитском житие на Афоне и Соловках. Сравнивая их, отдавал предпочтение обители греческой перед русскою.

— Называется обитель та Афонская *Сад Пресвятой Богородицы*, на него же всегда зрит с небес Матерь Пречи-

стая, снабдевает и хранит его нерушимо. И помощью ее стоит он и цветет, и плод приносит, внешний и внутренний, вне — красный, внутрь — душеспасительный. И всяк проникнувший в тот сад, как бы в преддверие райское, и узревший доброту и красоту его, не захочет вспять возвратиться. Воздух там легкий, и высота холмов и гор, и теплота, и свет солнечный, и различие древес и плодов, и близость прежеланного края, Иерусалима, творят веселие вечное. Соловецкий же остров имеет уныние и страх, ожесточение и тьму, и мраз, тартару подобный. Обретается же на острове том и нечто душе вредящее: живут множество птиц белых — чайки. Все лето плодятся, детей выводят, гнезда вьют на земле при путях, где ходят монахи в церковь. И великая от птиц сих тщета творится инокам. Первое, лишаются благоутишия. Второе, как видят их бьющихся да играющих, да сходящихся, то мыслью пленяются и в страсти приходят. Третье, что и жены, и девицы, и монашки часто бывают в обители той. В Афонской же горе сего соблазна нет: ни чайки не прилетают, ни жены не приходят. Единая Жена, двумя крылами орлицы парящая — Церковь святая,— привитает в пустыне той сладостной, доколе не исполнится воля Господня и времена, кои положил Он во власти своей. Ему же слава вовеки. Аминь.

Когда он кончил рассказ, царица попросила выйти из комнат всех, даже Марью, и осталась наедине с царевичем.

Она его почти не знала, не помнила, кто он и как ей родством доводится, даже имя его все забывала, а звала просто внучком, но любила, жалела какою-то странною вещею жалостью, точно знала о судьбе его то, чего он сам еще не знал.

Она долго смотрела на него молча своим светлым неподвижным взором, словно застланным пленкою, как взор ночных птиц. Потом вдруг печально улыбнулась и стала тихо гладить ему рукою щеку и волосы:

— Сиротинка ты мой бедненький! Ни отца, ни матери. И заступиться некому. Загрызут овечку волки лютые, заклюют голубчика белого вороны черные. Ох, жаль мне тебя, жаль, родненький! Не жилец ты на свете...

От этого безумного бреда последней царицы, казавшейся здесь, в Петербурге, жалобным призраком старой Москвы, от этой тлеющей роскоши, от этой тихой теплой комнаты, в которой как будто остановилось время, веяло на царевича холодом смерти и лаской самого дальнего детства. Сердце его грустно и сладко заныло. Он поцеловал мертвенно-бледную, исхудалую руку, с тонкими пальцами, с которой спадали тяжелые древние царские перстни.

Она опустила голову, как будто задумалась, перебирая круглые кральковые четки: от тех кральков — кораллов — дух нечистый бегает, «понеже кралек крестообразно растет».

— Все мятется, все мятется, очень худо деется!— заговорила она опять, точно в бреду, с возрастающей тревогою.— Читал ли ты, внучек, в Писании: *Дети, последняя година. Слышали вы, что грядет, и ныне в мире есть уже.* Это о нем, о Сыне Погибели сказано: Уже пришел он к вратам двора. Скоро, скоро будет. Уж и не знаю, дождусь ли, увижу ли друга сердешненького, солнышко мое красное, благоверного царя Феодора Алексеевича? Хоть бы одним глазком взглянуть на него, как придет он в силе и славе, с неверными брань сотворит, и победит, и воссядет на престоле величества, и поклонятся, и воскликнут ему все народы: Осанна! Благословен гря́дый [1] во имя Господне!

Глаза ее загорелись было, но тотчас вновь, как угли пеплом, подернулись прежнею мутною пленкою.

— Да нет, не дождусь, не увижу! Прогневила я, грешная, Господа... Чует, ох, чует сердце беду. Тошно мне, внучек, тошнехонько... И сны-то нынче снятся все такие недобрые, вещие...

Она оглянулась боязливо, приблизила губы к самому уху его и прошептала:

— Знаешь ли, внучек, что́ мне намедни приснилось? Он сам, во сне ли, в видении ли, не ведаю, а только *он* сам приходил ко мне, никто другой, как *он*!

— Кто, царица?

— Не разумеешь? Слушай же, как тот сон мне приснился — может, тогда и поймешь. Лежу я, будто бы на этой самой постели и словно жду чего-то. Вдруг настежь дверь, и входит *он*. Я его сразу узнала. Рослый такой, да рыжий, а кафтанишка куцый, немецкий; во рту пипка, табачище тянет; рожа бритая, ус кошачий. Подошел ко мне, смотрит и молчит. И я молчу, что-то, думаю, будет. И тошно мне стало, скучно, так скучно — смерть моя... Перекреститься хочу — рука не подымается, молитву прочесть — язык не шевелится. Лежу как мертвая. А он за руку меня берет, щупает. Огонь и мороз по спине. Взглянула я на образ, а и образ-то представляется мне разными видами; будто бы не Спасов лик пречистый, а немчин поганый, рожа пухлая, синяя, точно утопленник... А *он* все ко мне: — Больна-де ты, говорит, Марфа

---

[1] Идущий, шествующий (*церковнослав.*).

Матвеевна, гораздо больна. Хочешь, я тебе моего дохтура пришлю? Да что ты на меня так воззрилась? Аль не узнала? — Как, говорю, мне тебя не узнать? Знаю. Мало ли мы таких, как ты, видывали! — Кто же-де я, говорит, скажи, коли знаешь? — Известно, говорю, кто. Немец ты, немцев сын, солдат барабанщик.— Осклабился во всю рожу, порскнул на меня, как кот шальной.— Рехнулась же ты, видно, старуха, совсем рехнулась! Не немец я, не барабанщик, а боговенчанный царь всея Руси, твоего же покойного мужа царя Феодора сводный брат.— Тут уже злость меня взяла. Так бы ему в морду и плюнула, так бы и крикнула: пес ты, собачий сын, самозванец, Гришка Отрепьев, анафема — вот ты кто! — Да ну его, думаю, к шуту. Что мне с ним браниться? И плюнуть-то на него не стоит. Ведь это мне только сон, греза нечистая попущением Божиим мерещится. Дуну, и сгинет, рассыплется.— Петр, говорит, имя мое.— Как сказал он: «Петр», так меня ровно что и осенило. Э, думаю, так вот ты кто! Ну, погоди же. Да не будь дура, языком не могу, так хоть в уме творю заклятие святое: «Враг сатана! отгонись от меня в места пустые, в леса густые, в пропасти земные, в моря бездонные, на горы дикие, бездомные, безлюдные, иде же не пресещает свет лица Господня! Рожа окаянная! изыде от меня в тартарар, в ад кромешный, в пекло преисподнее. Аминь! Аминь! Аминь! Рассыпься! Дую на тебя и плюю». Как прочитала заклятье, так он и сгинул, точно сквозь землю провалился — нет от него и следа, только табачищем смердит. Проснулась я, вскрикнула, прибежала Вахрамеевна, окропила меня святой водою, окурила ладаном. Встала я, пошла в молельную, пала перед образом Владычицы Пречистой Влахернския Божией Матери, да как вспомнила и вздумала обо всем, тут только и уразумела, кто это был.

Царевич давно уже понял, что приходил к ней отец не во сне, а наяву. И вместе с тем чувствовал, как бред сумасшедшей передается ему, заражает его.

— Кто ж это был, царица? — повторил он с жадным и жутким любопытством.

— Не разумеешь? Аль забыл, что у Ефрема-то в книге о втором пришествии сказано: «во имя Симона *Петра* имеет быть гордый князь мира сего — Антихрист». Слышишь? Имя его — Петр. Он самый и есть!

Она уставила на него глаза свои, расширенные ужасом, и повторила задыхающимся шепотом:

— Он самый и есть. Петр — Антихрист... Антихрист!

КНИГА ТРЕТЬЯ

ДНЕВНИК ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ

I

ДНЕВНИК ФРЕЙЛИНЫ АРНГЕЙМ

1 мая 1714

Проклятая страна, проклятый народ! Водка, кровь и грязь. Трудно решить, чего больше. Кажется, грязи. Хорошо сказал датский король: «ежели московские послы снова будут ко мне, построю для них свиной хлев, ибо где они постоят, там полгода жить никто не может от смрада». По определению одного француза: «Московит — человек Платона, животное без перьев, у которого есть все, что свойственно природе человека, кроме чистоты и разума».

И эти смрадные дикари, крещеные медведи, которые становятся из страшных жалкими, превращаясь в европейских обезьян, себя одних считают людьми, а всех остальных скотами. В особенности же к нам, немцам, ненависть у них врожденная, непобедимая. Они полагают себя оскверненными нашим прикосновением. Лютеране для них немногим лучше дьявола.

Ни минуты не осталась бы я в России, если бы не долг любви и верности к ее высочеству моей милостивой госпоже и сердечному другу, кронпринцессе Софии Шарлотте. Что бы ни случилось, я ее не покину!

Буду писать этот дневник так же, как обыкновенно говорю, по-немецки, отчасти по-французски. Но некоторые шутки, пословицы, песни, слова указов, отрывки разговоров, рядом с переводом, буду сохранять и по-русски.

Отец мой — чистый немец из древнего рода саксонских рыцарей, мать — полька. За первым мужем, польским шляхтичем, долго жила она в России, недалеко от Смоленска, и хорошо изучила русский язык. Я воспитывалась в городе Торгау, при дворе польской королевы, где

также было много московитов. С детства слышала русскую речь. Говорю плохо, не люблю этого языка, но хорошо понимаю.

Чтобы хоть чем-нибудь облегчить сердце, когда бывает слишком тяжело, я решила вести записки, подражая болтуну из древней басни, который, не смея вверить тайны своей людям, нашептал ее болотным тростникам. Я не желала бы, чтобы строки эти когда-либо увидели свет; но мне отрадно думать, что они попадутся на глаза единственному из людей, чье мнение для меня всего дороже в мире,— моему великому учителю, Готфриду Лейбницу.

* * *

В то самое время, когда думала о нем, получила от него письмо. Просит разузнать о жалованье, которое следует ему в качестве состоящего на русской службе, тайного юстиц-рата [1]. Боюсь, что никогда не увидит он этого жалованья.

Чуть не плакала от грусти и радости, когда читала письмо его. Вспоминала наши тихие прогулки, и беседы в галереях Зальцдаленского замка, в липовых аллеях Герренгаузена, где нежные зефиры в листьях и шелест фонтанов как бы вечно напевают нашу любимую песенку из Mercure Galant [2]:

Chantons, dançons, tout est tranquille
Dans cet agréable sejour.
Ah, le charmant asile!
N'y parlons que de jeix, de plaisirs et d'amours. [3]

Вспоминала слова учителя, которым я тогда почти верила: «Я славянин, как и вы. Мы с вами должны радоваться, что в жилах наших течет славянская кровь. Этому племени принадлежит великая будущность. Россия соединит Европу с Азией, примирит Запад с Востоком. Эта страна — как новый горшок, еще не принявший чужого вкуса; как лист белой бумаги, на котором можно написать все, что угодно; как новая земля, которая будет вспахана для нового сева. Россия впоследствии могла бы про-

---

[1] Юстиц-рат (*нем.* Justizrat) — советник юстиции.

[2] Mercure Galant (*франц.*) — *Любезный Меркурий* [посланец богов — *миф.*]

[3] Будем петь, танцевать, все безмятежно
В этом чудесном месте.
Ах, прелестный приют!
Будем говорить здесь только об играх, о наслаждениях и о любви (*франц.*).

светить и самую Европу, благодаря тому, что избегла бы тех ошибок, которые у нас уж слишком вкоренились». И он заключил с вдохновенной улыбкой: «Я, кажется, призван судьбою быть русским Солоном, законодателем нового мира. Овладеть умом одного человека, такого как царь, и устремить его к благу людей — значит больше, чем выиграть сотню сражений!»

Увы, мой бедный, великий мечтатель, если бы вы знали и видели все, что я узнала и увидела в России!

Вот и сейчас, пока я пишу, печальная действительность напоминает мне, что я не в сладостном приюте Герренгаузена, этой немецкой Версали, а в глубине Московской Тартарии[1].

Под окнами слышатся крики, вопли, ругательства: это дворовые люди соседки нашей, царевны Натальи Алексеевны, дерутся с нашими людьми. Русские бьют немцев. Вижу, увы, на деле соединение Азии с Европою, Востока с Западом!

Прибежал наш секретарь, бледный, дрожащий, в разорванном платье, с окровавленным лицом. Увидев его, кронпринцесса едва не упала в обморок. Послали за царевичем. Но он болен своей обычною болезнью — пьян.

2 мая

Мы живем во дворце кронпринца Алексея, мазанковом домике в два жилья с черепичною кровлею, на самом берегу Невы. Помещение так тесно, что почти весь придворный штат ее высочества расположился в трех соседних домах, нанятых Сенатом. В одном из них — ни дверей, ни окон, ни печей и никакой мебели. Ее высочеству пришлось отделать его на свой счет и пристроить конюшню.

Вчера вернулся владелец дома, некто Гидеонов, служащий у царевны Натальи, приказал выгнать наших людей и выбросил вещи во двор. Потом стал выводить из конюшни лошадей ее высочества и ставить туда своих. Кронпринцесса велела сломать конюшню, дабы перенести ее на другое место. Но когда шталмейстер привел рабочих, Гидеонов послал туда своих людей, которые жестоко избили и прогнали наших. Шталмейстер грозил пожаловаться царю. Гидеонов отвечал, смеясь: «Жалуйтесь на здоровье, а я и раньше вас пожалуюсь!»

Хуже всего то, что он уверяет, будто бы делает все по приказанию царевны. Эта царевна — старая дева, самое

---

[1] От лат. Tartarus — подземное царство, ад.

злое существо в мире. В глаза любезничает, а за спиной, всякий раз, как произносит имя ее высочества, плюет, приговаривая: «Эдакая немка! Фря! Что она себе воображает? А придется таки ей хвост поджать!»

Итак, наши бедные конюхи живут под открытым небом. Во всем городе не нашлось бы для них помещения и за сто червонцев: такая здесь теснота. Когда об этом говорят царю, он отвечает, что через год будет довольно домов. Но тогда они уже не будут нужны, по крайней мере нашим людям, ибо, вероятно, бо́льшая часть их отправится на тот свет.

* * *

В Европе не поверили бы, если бы узнали о бедности, в которой мы живем. Деньги, назначенные на содержание кронпринцессы, выдаются так неправильно и скудно, что их никогда не хватает. А между тем тут страшная дороговизна. За что в Германии платят грош, за то здесь четыре. Мы задолжали всем купцам, и они нам скоро перестанут верить. Не говоря уже о людях наших, мы иногда сами нуждаемся в свечах, дровах, в съестных припасах. У царя ничего нельзя добиться, потому что ему все некогда. А царевич пьян.

— Свет исполнен горечи,— сказала мне сегодня ее высочество.— Начиная с самого детства, то есть с шестилетнего возраста, я не знаю, что такое радость, и не сомневаюсь, что судьба готовит мне еще большие несчастия в будущем...

Глядя вдаль, как будто уже видя это будущее, она повторяла: «мне не миновать беды!»— с таким безнадежным спокойствием, что я не находила слов для утешения, только молча целовала ей руки.

Раздался пушечный выстрел, и мы должны были спешить собираться на увеселительную прогулку по Неве — водяную ассамблею.

Здесь так заведено, что по выстрелу и флагам, вывешенным в разных концах города, все барки, верейки, яхты, торншхоуты и буеры должны собираться у крепости. За неявку штраф.

Мы тотчас отправились на нашем буере с десятью гребцами и долго разъезжали с прочими лодками взад и вперед по Неве, постоянно следуя за адмиралом, не смея ни отставать, ни обгонять, тоже под штрафом — здесь штрафы на все.

Играла музыка — трубы и валторны. Звуки повторяло эхо крепостных бастионов.

Нам и без того было грустно. А холодная, бледно-голубая река с плоскими берегами, бледно-голубое, как лед, прозрачное небо, сверкание золотого шпица на церкви Петра и Павла, деревянной, выкрашенной в желтую краску, под мрамор, унылый бой курантов — все наводило еще бо́льшую грусть, особенную, какой никогда нигде я не испытывала, кроме этого города.

Между тем вид его довольно красив. Вдоль низкой набережной, убитой черными смолеными сваями,— бледно-розовые кирпичные дома затейливой архитектуры, похожие на голландские кирки, с острыми шпицами, слуховыми окнами на высоких крышах и огромными решетчатыми крыльцами. Подумаешь, настоящий город. Но тут же рядом — бедные лачужки, крытые дерном и берестою; дальше — топь да лес, где еще водятся олени и волки. На самом взморье — ветряные мельницы, точно в Голландии. Все светло-светло, ослепительно и бледно, и грустно. Как будто нарисованное, или нарочно сделанное. Кажется, спишь и видишь небывалый город во сне.

Царь, со всем своим семейством в особом буере, стоял у руля и правил. Царицы и принцессы в канифасных кофточках, красных юбках и круглых клеенчатых шляпах — все «на голландский манер» — настоящие саардамские корабельщицы. «Я приучаю семейство мое к воде,— говорит царь,— кто хочет жить со мною, тот должен бывать часто на море».

Он почти всегда берет их с собою в плаванье, особенно в свежую погоду, запирает наглухо в каюту и все лавирует против ветра, пока хорошенько не укачает их и, salvo honore, не вырвет — тут только он доволен!

Мы боялись, как бы не решили ехать в Кроншлот. Участники одной из подобных прогулок в прошлом году не могут ее вспомнить без ужаса: застигнутые бурей, они едва не утонули, попали на мель, просидели несколько часов по пояс в воде, наконец, добрались до какого-то острова, развели огонь и совершенно голые — мокрое платье должны были снять — покрылись добытыми у крестьян, суровыми санными одеялами и так провели всю ночь, греясь у костра, без питья, без пищи, новые Робинзоны.

На этот раз судьба нас помиловала; на адмиральском буере спущен был красный флаг, что означало конец прогулки.

Мы возвращались каналами, осматривая город.

Каналов здесь множество. «Если Бог продлит мне жизнь и здравие, Петербург будет другой Амстердам!»—

хвастает царь. «Управить все, как в Голландии водится» — обычные слова указов о строении города.

У царя страсть к прямым линиям. Все прямое, правильное кажется ему прекрасным. Если бы возможно было, он построил бы весь город по линейке и циркулю. Жителям указано «строиться линейно, чтобы никакое строение за линию или из линии не строилось, но чтобы улицы и переулки были ровны и изрядны». Дома, выходящие за прямую линию, ломают безжалостно.

Гордость царя — бесконечно длинная, прямая, пересекающая весь город «Невская першпектива». Она совсем пустынна среди пустынных болот, но уже обсажена тощими липками в три, четыре ряда, и похожа на аллею. Содержится в большой чистоте. Каждую субботу подметают ее пленные шведы.

Многие из этих геометрически правильных линий воображаемых улиц — почти без домов. Торчат только вехи. На других, уже обстроенных, видны следы плугов, борозды недавних пашен.

Дома возводятся, хотя из кирпичей, приготовленных «по Витрувиеву наставлению», но так поспешно и непрочно, что грозят падением. Когда проезжают по улице, они трясутся: болотистая почва — слишком зыбкая. Враги царя предсказывают, что когда-нибудь весь город провалится.

Один из наших спутников, старый барон Левенвольд, генеральный комиссар Лифляндии, человек любезный и умный, рассказывал много любопытного об основании города.

Для возведения первых земляных валов Петропавловской крепости нужна была сухая земля, а ее поблизости не было — все болотная тина да мох. Тогда придумали таскать к бастионам землю из дальних мест в старых кулях, рогожах и даже просто в полах платья. При этой Сизифовой работе две трети несчастных погибло, в особенности, вследствие безбожного воровства и мошенничества тех, кому поручено было содержать их. По целым месяцам не видали они хлеба, которого, впрочем, иногда и за деньги трудно достать в этом пустынном краю; питались капустой да репой, страдали поносом, цингою, пухли от голода, мерзли в землянках, подобных звериным норам, умирали как мухи. Сооружение одной лиш… крепости на острове Веселом — Lust-Eiland (хорошо на… вание!) стоило жизни сотне тысяч переселенцев, котор… сгоняли сюда силою, как скот, со всех концов Росси… Воистину, этот противоестественный город, страшн…

Парадиз[1], как называет его царь, основан на костях человеческих!

Здесь ни с живыми, ни с мертвыми не церемонятся. Мне собственными глазами случалось видеть на Съестном рынке, или у Гостиного двора, как мертвое тело рабочего, завернутое в рогожу, привязанное веревками к шесту, несут два человека, а много что везут на дровнях, совсем голое, на кладбище, где зарывают в землю, без всякого обряда. Бедняков умирает каждый день столько, что хоронить их по-христиански некогда.

Однажды, проезжая в лодке по Неве, в жаркий летний день, заметили мы на голубой воде серые пятна: то были кучи комариных трупов — в здешних болотах их множество. Они плыли из Ладожского озера. Один из наших гребцов зачерпнул их полную шляпу.

Слушая рассказы Левенвольда о строении Петербурга, я закрыла глаза, и мне представилось, что трупы людей, серых-серых, маленьких, бесчисленных, как эти кучи комариных трупов, плывут по Неве без конца — и никто их не знает, не помнит.

Вернувшись домой, села писать дневник в моей крошечной комнатке, настоящей птичьей клетке, в мезонине, под самою крышею.

Было душно. Я открыла окно. Запахло весенней водою, дегтем, сосновыми стружками. На самом берегу Невы двое плотников, молодой и старый, чинили лодку. Слышался стук молотков и протяжная, грустная песня, которую пел молодой очень медленно, повторяя все одно и то же. Вот несколько слов этой песни, насколько я могла их расслышать:

Как в городе, во Санктпитере,
Как на матушке, на Неве реке,
На Васильевском славном острове,
Молодой матрос корабли снастил.

Глядя на вечернее, бледно-зеленое, как лед, прозрачное и холодное небо Парадиза, я слушала грустную песню, подобную плачу, и мне самой хотелось плакать.

3 мая

Сегодня ее высочество была у царицы, жаловалась на Гидеонова, просила также о более правильной выдаче денег. Я присутствовала при свидании.

Царица как всегда любезна.

---

[1] Парадиз (paradisus — лат.) — рай.

— Czaarische Majestät Euch sehr lieb,— сказала она, между прочим, кронпринцессе на своем ломаном немецком языке.

— Ей, ей, царское величество вас очень любит. Истинно, говорит, Катерина, твоя невестка зело пригожа, как станом, так и нравом.— Ваше величество, говорю, ты любишь свою дочь больше меня.— Нет, говорит, а сам смеется, не больше, но скоро буду так же любить. Сын мой, говорит, право, не стоит такой доброй жены.

Из этих слов мы могли понять, что царь не очень-то любит царевича.

Когда ее высочество, чуть не со слезами, стала просить за мужа, царица обещала быть его заступницей, все с тою же любезностью, уверяя, что «любит ее, как свое родное дитя, и что если бы носила ее под сердцем, то не могла бы сильнее любить».

Не нравится мне эта русская приторность; боюсь, как бы тут не оказался мед на острие ножа.

Кажется, впрочем, и ее высочество себя не обманывает. Однажды при мне выразилась она, что царица «хуже всех»— pire que tout le reste.

Сегодня, возвращаясь домой со свидания, заметила:

— Она никогда не простит мне, если у меня родится сын.

Одна старая женщина из простого народа, когда зашла у нас речь о царице, шепнула мне на ухо: «Не подобает ей на царстве быть — ведь она не природная и не русская; и ведаем мы, как она в полон взята: приведена под знамя, в одной рубахе, и отдана под караул; караульный, наш же офицер, надел на нее кафтан. Бог знает, какого она чина. Мыла, говорят, сорочки с чухонками».

Я вспомнила об этом сегодня, когда ее высочество, здороваясь с царицею, по придворному этикету, хотела поцеловать у нее платье. Правда, та не допустила этого — сама обняла и поцеловала ее. Но какая все-таки насмешка судьбы, что принцесса Вольфенбюттельская, наследница великих Вельфов, которые оспаривали корону у германских императоров, еще в те дни, когда о Гогенцоллернах и Габсбургах никто не слыхал,— целует платье у этой женщины, мывшей белье с чухонками!

4 мая

После теплых, как будто летних, дней, вдруг опять зима. Холод, ветер, мокрый снег с дождем. По Неве идет ладожский лед. Говорят, впрочем, что здесь выпадает снег и в июне.

Наш «дворец» доведен до такого запущения, что крыша оказалась дырявою, и сегодня ночью, во время сильного дождя, в спальне ее высочества текло с потолка, хорошо еще, что мимо постели. На полу образовалась лужа.

Потолок украшен аллегорической живописью: пылающий жертвенник, увитый розами; по бокам купидоны с двумя гербами — русским орлом и брауншвейгским конем; между ними две соединенные руки с надписью: «Non unquam junxit nobiliora fides. Никогда более благородных не соединяла верность». Как раз на жертвеннике выступило черное пятно от сырости, и с пламени Гименея капала грязная, холодная вода.

Припомнилась мне свадебная речь археолога Экгарта, в которой доказывалось, что жених и невеста происходят от Византийского императора Константина Порфирородного. Хороша страна, где каплет едва не на брачное ложе Порфирородной наследницы!

5 мая

Явился, наконец, кронпринц с другой половины дома, где живет отдельно от нас, так что мы не видим его иногда по целым неделям. Произошло объяснение. Я слышала все из соседней комнаты, где должна была остаться по желанию ее высочества.

На все ее просьбы и жалобы по Гидеоновскому делу, по невыдаче денег, он отвечал, пожимая плечами:

— Mich nichts angehen. Bekümmere mich nicht an Sie. Это меня не касается. Мне до вас дела нет!

Потом разразился упреками за то, что она, будто бы, наговаривает на него отцу.

— Как вам не стыдно? — заплакала ее высочество.— Пощадите хоть собственную честь! В Германии нет такого сапожника или портного, который позволил бы так обращаться со своею женою...

— Вы в России, не в Германии.

— Я это слишком чувствую. Но если бы исполнено было все, что обещано...

— Кто обещал?

— Не вы ли сами, вместе с царем, подписывали брачный договор?

— Halten Maul! Ich Sie nichts versprochen. Заткните глотку! Ничего я вам не обещал. Вы отлично знаете, что мне навязали вас на шею!

Он вскочил и опрокинул стул, на котором сидел.

Я готова была броситься на помощь к ее высочеству. Мне казалось, что он ее ударит. Я его так ненавидела в эту минуту, что, кажется, убила бы.

— Das danke Ihnen der Henker! Да наградит вас за это палач! — воскликнула кронпринцесса, вне себя от гнева и горя.

С непристойным ругательством он вышел, хлопнув дверью.

Кажется, в этом человеке воплотилось все дикое и подлое, что только есть в этой дикой и подлой стране. Одного не могу решить, кто он в большей мере — дурак или негодяй?

Бедная Шарлотта! — ее высочество, которая с каждым днем оказывает мне все бо́льшую дружбу не по заслугам, сама просила, чтобы я ее называла так, — бедная Шарлотта! Когда я подошла к ней, она кинулась в мои объятья и долго не могла произнести ни слова, только вся дрожала. Наконец, сказала, рыдая:

— Если бы я не была беременна и могла добрым путем возвратиться в Германию, я согласилась бы с радостью питаться там черствым хлебом и водою! Я почти с ума схожу от горя, не знаю, что говорю и делаю. Молю Бога, чтобы Он меня укрепил, и чтобы отчаянье не довело меня до чего-нибудь ужасного!

Потом прибавила уже с тихими слезами и с обычною покорностью, которая иногда меня пугает в ней больше всякого отчаянья:

— Я несчастная жертва семьи, которой не принесла я ни малейшей пользы, а сама умираю от горя медленной смертью...

* * *

Мы еще обе плакали, когда пришли сказать, что пора ехать на маскарад. Глотая слезы, мы стали наряжаться в маски. Таков здесь обычай: хочешь, не хочешь, а веселись, когда приказано.

Маскарад был на Троицкой площади, у кофейного дома, «австерии», под открытым небом. Так как это место — низкое, болотистое, с никогда не просыхающей грязью, то часть площади устлали бревнами и сверху досками; образовался помост, на котором и толпились маски. К счастью, погода опять внезапно изменилась: вечер был тихий и теплый. Но к ночи с реки поднялся туман, густой-густой, белый, как молоко, и окутал всю площадь. Многие, особенно дамы, в слишком легких нарядах, простуживались от сырости, чихали и кашляли. Вместо лекарства поили их водкою. Гренадеры, по обыкновению, разносили ее в ушатах. В белом облаке тумана, освещен-

ного зеленоватым светом долгой зари — позже, в июне здесь заря во всю ночь — все эти маски — арлекины, скарамуши, паяцы, пастушки, нимфы, китайцы, арабы, медведи, журавли, драконы — казались смешными и страшными призраками.

Тут же, рядом с помостом, где мы танцевали, виднелись черные колья с железными спицами, на которых торчали мертвые, почти истлевшие головы казненных. В смолистом запахе весенней хвои, березовых почек, которым теперь наполнен весь город, чудился мне смрад этих голов. И опять казалось, как постоянно здесь кажется,— что все это сон.

6 мая

Неожиданное примирение. Подойдя к полуоткрытой двери в комнату ее высочества, я увидела нечаянно в зеркале, что она сидит в кресле, а кронпринц, наклонившись к ней и держа голову ее обеими руками, целует в лоб с почтительной нежностью. Я хотела было скрыться, но она, заметив меня тоже в зеркале, сделала мне знак рукою. Я поняла, что она приказывает мне остаться в соседней комнате. Бедняжке хотелось, должно быть, похвастать своим счастьем.

— Der Mensch, der sagen, ich Sie nicht liebe habe, lügt wie Teuffel! Кто говорит, что я вас не люблю, лжет, как дьявол!— говорил царевич, как я догадалась, об одной из тех презренных сплетен насчет ее высочества, которых здесь ходит множество (ее обвиняют даже в измене мужу).— Я вам верю, знаю, что вы добрая, а те, кто говорит о вас дурно, не стоят вашего мизинца...

Он расспрашивал ее о делах, неприятностях, об ее здоровье, беременности, с таким участием, и слова, и черты его лица полны были таким умом и добротою, что, казалось, предо мною совсем другой человек. Я глазам и ушам своим не верила, вспоминая то, что вчера еще происходило в этой самой комнате.

Когда он ушел и мы остались одни, Шарлотта сказала мне:

— Удивительный человек! Он вовсе не то, чем кажется. Никто его не знает. Как он любит меня! Ах, милая Юльяна, только бы любовь — и все хорошо, все можно вынести... Когда у меня родится ребенок — молю Бога, чтоб сын — я буду совсем счастлива!

Я не возражала; у меня не хватило бы духу разуверять ее; она была уже и теперь так счастлива. Надолго ли? Бедная, бедная!

* * *

Может быть, я несправедлива к царевичу? Может быть, действительно, «не то, чем кажется?»

Это самый скрытный из людей. Когда не пьян, сидит, запершись со своими старыми книгами и рукописями; изучает, говорят, всемирную историю, теологию, не только русскую, но и католическую и протестантскую; раз восемь, будто бы, прочел немецкую Библию; или беседует с монахами, странниками, старцами, людьми самого низкого звания.

Один из его служителей, Федор Эварлаков, молодой человек, не глупый и тоже большой любитель чтения — он берет у меня всякие книги, даже латинские — сказал мне однажды о кронпринце слова, которые я тогда же записала по-русски, в памятную книжку, подарок Лейбница, которую всегда ношу с собою:

— Царевич имеет великое горячество к попам, и попы к нему, и почитает их, как Бога; а они его все святым называют, и в народе ж ими всегда блажим.

Помню, Лейбниц мне рассказывал, что, представившись царевичу, летом 1711 года в Вольфенбюттеле, в герцогском замке, долго беседовал с ним о своем любимом предмете — соединении Востока с Западом, Китая и России с Европою — и затем прислал ему, через его воспитателя, барона Гюйссена, извлечение из писем о китайских делах. Лейбниц утверждал, что, наперекор всему, что говорят о царевиче, он очень умен; но ум у него совсем иной, чем у отца. «Должно быть, в деда»,— заметил Лейбниц.

Ее высочество показывала мне копию с письма Королевской Берлинской Академии Наук к герцогу Людвигу Рудольфу Вольфенбюттельскому, отцу Шарлотты. В письме этом говорится о предстоящей возможности распространить истинное христианское просвещение в России, «благодаря особой и чрезвычайной склонности наследного принца к наукам и книгам».

Видела я также отчет о заседании той же Берлинской Академии в 1711 году, где один из членов ее, конректор Фриш, заявил: *наследник царя еще больше любит науки, чем сам царь, и будет им в свое время не меньше покровительствовать.*

Странно! Когда я сегодня смотрела на них обоих в зеркале,— точно в волшебном «зеркале гаданий»,— мне почудилось в этих двух лицах, таких различных, одна черта сходства — тень какой-то предчувственной грусти,

как будто оба они жертвы, и обоим предстоит великое страдание. Или это мне только так показалось в темном зеркале?

8 мая

Присутствовали в Адмиралтействе при спуске большого семидесятипушечного корабля. Царь, одетый, как простой плотник, в красной вязаной фуфайке, запачканной дегтем, с топором в руках, лазил между подпорками под самый киль, осматривая, все ли в порядке, не обращая внимания на опасность — недавно, при спуске, два человека были убиты. «Тружусь, как Ной, над ковчегом России»,— припомнились мне слова царя. Сняв шляпу перед великим адмиралом, как подчиненный перед начальником, он спросил, пора ли начинать, и получив приказание, сделал первый удар топором. Сотни других топоров начали рубить подпорки; в то же время снизу отдернули балки, державшие корабль со всех сторон на штапеле. Он скользил с намазанных жиром полозьев, сначала медленно, потом полетел, как стрела, так что полозья сломались вдребезги, и поплыл по воде, качаясь и впервые рассекая волны, при громе музыки, пушечной пальбы и кликах народа.

Мы сели на шлюпки и поехали на новый корабль. Царь был уже там. Переодевшись в мундир морского шаутбенахта — чин, в котором он теперь состоит — со звездою и голубою орденскою лентою через плечо, принимал он гостей. Стоя на палубе, окрестили новорожденного первым кубком вина. Царь произнес речь. Вот отдельные слова, которые мне припоминаются:

— Наш народ, как дети, которые за азбуку не примутся, пока приневолены не будут, и которым сперва досадно кажется, а как выучатся, то благодарят,— что ясно из всех нынешних дел: не все ли невольно сделано? и уже благодарение слышится за многое, от чего и плод произошел. Не приняв горького, не видать и сладкого...

— Не корми калачом, да не бей в спину кирпичом!— заметил один из шутов, старых бояр, должно быть, уже пьяный, своему соседу на ухо, шепотом, как раз у меня за спиной.

— Имеем,— продолжал царь,— образцы других просвещенных в Европе народов, которые также начинали с малого. Пора и нам за свое приниматься, сперва за малое, а потом будут люди, кои не оставят и великих дел. Ведаю, что сам не совершу и не увижу сего, ибо долгота дней ненадежна,— однако начну, да будет другим после меня

легче сделать. А с нас довольно ныне и сей единой славы, что мы начинаем...

Я любовалась царем. Он был прекрасен.

Спустились в каюты. Дамы сели отдельно от кавалеров, в смежной зале, куда во время пира не смел входить никто из мужчин, кроме царя. В перегородке, разделявшей обе залы, было небольшое, круглое, задернутое красною тафтою, оконце, вроде люка. Я села рядом с ним; приподымая занавеску, я могла видеть и отчасти слышать то, что происходило в мужском отделении. Кое-что по обыкновению записывала тут же в памятную книжку.

Длинные узкие столы, расположенные в виде подковы, уставлены были холодными закусками, острыми соленьями и копченьями, возбуждающими жажду. Еда дешевая, вина дорогие. На подобные празднества царь выдает из собственной казны Адмиралтейству тысячу рублей — по-здешнему, деньги огромные. Садились, как попало, без соблюдения чинов, простые корабельщики рядом с первыми сановниками. На одном конце стола восседал шутовской князь-папа, окруженный кардиналами. Он возгласил торжественно:

— Мир и благословение всей честной кумпании! Во имя Отца Бахуса, и Сына Ивашки Хмельницкого, и Духа Винного причащайтесь! Пьянство Бахусово да будет с вами!

— Аминь! — ответил царь, исполнявший при папе должность протодьякона.

Все по очереди подходили к его святейшеству, кланялись ему в ноги, целовали руку, принимали и выпивали большую ложку перцовки: это чистый спирт, настоянный на красном индийском перце. Кажется, чтобы вынудить у злодеев признание, достаточно пригрозить им этой ужасной перцовкой. А здесь ее должны пить все, даже дамы.

Пили за здравие всех членов царской семьи, кроме царевича с супругою, хотя они тут же присутствовали. Каждый тост сопровождался пушечным залпом. Палили так, что стекла на одном окне разбились.

Пьянели тем скорее, что в вино тайком подливали водку. В низких каютах, набитых народом, стало душно. Скидывали камзолы, срывали друг с друга парики насильно. Одни обнимались и целовались, другие ссорились, в особенности, первые министры и сенаторы, которые уличали друг друга во взятках, плутовствах и мошенничествах.

— Ты имеешь метреску, которая тебе вдвое коштует[1] против жалованья!— кричал один.

— А рыжечки меленькие в сулеечке забыл?— возражал другой.

Рыжечки были червонцы, преподнесенные ловким просителем в бочонке, под видом соленых грибов.

— А с пенькового постава в Адмиралтейство сколько капнул?

— Эх, братцы, что друг друга корить? Всяка жива душа калачика хочет. Грешный честен, грешный плут, яко все грехом живут!

— Взятки не что иное, как акциденция[2].

— Ничего не брать с просителей есть дело сверхъестественное.

— Однако, по закону...

— Что закон?— дышло. Куда хочешь, туда́ и воротишь..

Царь слушал внимательно. Таков у него обычай: когда уже все пьяно, ставится двойная стража у дверей с приказом не выпускать никого; в то же время царь, который сам, сколько бы ни пил, никогда не пьянел, нарочно ссорит и дразнит своих приближенных; из пьяных перебранок часто узнает то, чего никогда иначе не узнал бы. По пословице: когда воры бранятся, крестьянин получает краденый товар. Пир становится розыском.

Светлейший князь Меншиков поругался с вице-канцлером Шафировым. Князь назвал его жидом.

— Я жид, а ты пирожник — «пироги подовые»!— возразил Шафиров.— Отец твой лаптем щи хлебал. Из-под бочки тебя тащили. Недорогой ты князь — взят из грязи да посажен в князи!..

— Ах ты, жид пархатый! Я тебя на ноготок да щелкну, только мокренько будет...

Долго ругались. Русские вообще большие мастера на ругань. Кажется, такого сквернословия, как здесь, нигде не услышишь. Им заражен воздух. В одном из ругательств, и самом позорном, которое, однако, употребляют все от мала до велика, слово мать соединяется с гнуснейшими словами. Оно так и называется матерным словом. И этот народ считает себя христианнейшим!

Истощив ругательства, вельможи стали плевать друг другу в лицо. Все стояли кругом, смотрели и смеялись. Здесь подобные схватки — обычное дело и кончаются без всяких последствий.

---

[1] Коштует — стоит (от нем. kosten — стоить).

[2] Акциденция (лат. accidentia — случай) — несущественное свойство

Князь Яков Долгорукий подрался с князем-кесарем Ромодановским. Эти два почтенные, убеленные сединами, старца, ругаясь тоже по-матерному, вцепились друг другу в волосы, начали душить и бить друг друга кулаками. Когда стали разнимать их, они выхватили шпаги.

— Ei, dat ist nitt parmittet! [1]— крикнул по-голландски царь, подходя и становясь между ними.

Протодьякон Петр Михайлов имеет от папы указ: «во время шумства унимать словесно и ручно».

— Сатисфакции требую!— вопил князь Яков.— Учинен мне великий афронт...

— Камрат,— возразил царь,— на князя-кесаря где сыскать управы, кроме Бога? Я ведь и сам человек подневольный, у его величества в команде состою. Да и какой афронт? Ныне вся кумпания от Бахуса не оскорблена. Sauffen — rauffen, напьемся — подеремся, проспимся — помиримся.

Врагов заставили выпить штраф перцовкою, и скоро они вместе свалились под стол.

Шуты галдели, гоготали, блевали, плевали в лицо не только друг другу, но и порядочным людям. Особый хор, так называемая *весна*, изображал пение птиц в лесу, от соловья до малиновки, разными свистами, такими громкими, что звук отражался от стены оглушающим эхом. Раздавалась дикая плясовая песня с почти бессмысленными словами, напоминавшими крики на шабаше ведьм.

Ой, жги, ой, жги,
Шинь-пень, шиваргань!
Бей трепака,
Не жалей каблука!

В нашем дамском отделении, пьяная старая баба-шутиха, князь-игуменья Ржевская, настоящая ведьма, тоже пустилась в пляс, задрав подол и напевая хриплым с перепоя голосом:

Заиграй, моя дубинка,
Заваляй, моя волынка!
Свекор с печки свалился,
За колоду завалился.
Кабы знала, возвестила,
Я повыше б подмостила,
Я повыше б подмостила,
Свекру голову сломила.

Глядя на нее, царица, со сбившейся набок прическою, вся потная, красная, пьяная, прихлопывала, притопты-

---

[1] Эй, это запрещается!

вала: «ой, жги! ой, жги!» и хохотала, как безумная. В начале попойки приставала она к ее высочеству, убеждая пить довольно странными пословицами, которых на этот счет у русских множество: «Чарка на чарку — не палка на палку. Без поливки и капуста сохнет. И курица пьет». Но, видя, что кронпринцессе почти дурно, сжалилась, оставила ее в покое и даже потихоньку сама подливала ей, а кстати и нам, фрейлинам, воды в вино, что на подобных пирах считается великим преступлением.

В конце ночи — мы просидели за столом от шести часов вечера до четырех утра — несколько раз подходила царица к дверям, вызывая царя и спрашивая:

— Не пора ли домой, батюшка?

— Ничего, Катенька! Завтра день гулящий,— отвечал царь.

Приподымая занавеску и заглядывая в мужское отделение, я видела каждый раз что-нибудь новое.

Кто-то, шагая прямо через стол, попал сапогом в блюдо с рыбным студнем. Этот самый студень царь только что совал насильно в рот государственному канцлеру Головкину, который терпеть не мог рыбы; денщики держали его за руки и за ноги; он бился, задыхался и весь побагровел. Бросив Головкина, царь принялся за ганноверского резидента Вебера; ласкал его, целовал, одною рукою обнимал ему голову, другою — держал стакан у рта, умоляя выпить. Потом, сняв с него парик, целовал то в затылок, то в маковку; подымал ему губы и целовал в десны. Говорят, причиной всех этих нежностей было желание царя выпытать у резидента какую-то дипломатическую тайну. Мусин-Пушкин, которого щекотали под шеей — он очень боится щекотки, а царь приучает его к ней — визжал, как поросенок под ножом. Великий адмирал Апраксин плакал навзрыд. Тайный советник Толстой ползал на четвереньках; он, впрочем, как оказалось впоследствии, не был слишком пьян и притворялся, чтобы больше не пить. Вице-адмиралу Крюйсу раскроили голову бутылкою. Князь Меншиков упал замертво со страшно посиневшим лицом; его растирали и приводили в чувство, чтобы он не умер: на таких попойках часто умирают. Царского духовника, архимандрита Федоса, рвало. «Ох смерть моя! Матерь Пресвятая Богородица!»— жалобно стонал он. Князь-папа храпел, навалившись всем телом на стол, лицом в луже вина.

Свист, рев, звон разбитой посуды, матерная брань оплеухи, на которые уже никто не обращал внимания — стояли в воздухе. Смрад, как в самом грязном кабаке.

Кажется, если бы прямо со свежего воздуха привели кого-нибудь сюда, его сразу стошнило бы.

У меня в глазах темнело; иногда я почти теряла сознание. Человеческие лица казались какими-то звериными мордами, и страшнее всех было лицо царя — широкое, круглое, с немного косым разрезом больших, выпуклых, точно выпученных, глаз, с торчащими кверху острыми усиками — лицо огромной хищной кошки или тигра. Оно было спокойно и насмешливо. Взор ясен и проницателен. Он один был трезв и с любопытством заглядывал в самые гнусные тайны, обнаженные внутренности человеческих душ, которые выворачивались перед ним наизнанку в этом застенке, где орудием пытки было вино.

Князя-папу разбудили и подняли со стола. Под столом князь-кесарь тоже успел выспаться. Их заставили вдвоем друг против друга плясать, поддерживая под руки, так как оба едва стояли на ногах. Папа в шутовской тиаре, венчанный голым Вакхом, имел в руке крест из чубуков. Кесарь — в шутовской короне, со скипетром в руке. Царевич лежал на полу, совершенно пьяный, как мертвый, между этими двумя шутами, двумя призраками древнего величия — русским царем и русским патриархом.

Что было потом, не помню, да и вспоминать не хочу — слишком гадко.

На соседних кораблях пробили зорю. И у нас послышался звук барабана: сам царь — он отличный барабанщик — бил отбой. Это значило: «с Ивашкой Хмельницким (русским Вакхом) была великая баталия, и он всех пошиб». Гренадеры выносили на руках пьяных вельмож, как тела убитых с поля сражения.

Когда мы увидели небо, нам показалось, что мы выходим, говоря высоким слогом, из ада, а низким — из помойной ямы.

9 мая

Сегодня царь с большим флотом выехал из Петербурга для военных действий против шведов.

20 мая

Давно не писала дневника. Ее высочество была больна после попойки. Я от нее не отходила. Да и что писать? Все так печально, что говорить и думать не хочется. Будь что будет.

25 мая

Я не ошиблась. Мир оказался недолгим. Опять пробежала черная кошка между царевичем и ее высочеством; опять по целым неделям не видятся. Он тоже болен. Доктора говорят, чахотка. Я думаю, просто водка.

4 июня

Пришел царевич, одетый по-дорожному, в сером немецком рейзероке, поговорил о чем-то постороннем и вдруг объявил:

— Adieu. Ich gehe nach Karlsbad. [1]

Кронпринцесса так растерялась, что не нашлась, что сказать, даже не спросила, надолго ли. Я думала, он шутит. Но оказалось, почти тотчас, выйдя от нас, царевич сел в почтовую карету — и был таков. Говорят, в самом деле, едет на воды лечиться.

И вот мы одни, без царя и царевича.

Родители ее высочества, должно быть, поверив глупым здешним сплетням, рассердились на нее и тоже перестали ей писать. Мы покинуты всеми.

7 июля

Письмо царя к ее высочеству:

«Я бы не хотел вас трудить також против совести моей думать; но отлучение супруга вашего, моего сына, принуждает меня к тому, дабы предварить лаятество необузданных языков, которые обыкли истину превращать в ложь. И понеже уже везде прошел слух о чреватстве вашем вящше года, того ради, когда благоволит Бог вам приспеть к рождению, дабы о том заранее некоторый анштальт учинить, о чем вам донесет г. канцлер гр. Головкин, по которому извольте неотменно учинить, дабы тем всем, ложь любящим, уста заграждены были».

Учинили анштальт: приставили к ее высочеству трех почти незнакомых ей женщин, канцлершу Головкину, генеральшу Брюс да старую бабу-шутиху, князь-игуменью Ржевскую, ту самую, что плясала во время попойки. Эти три мегеры не спускают с нее глаз, «охраняют» или попросту шпионят.

Что все это значит? Чего боятся? Какого обмана? Неужели подмены ребенка, девочки мальчиком, по проискам тех, кто желает утвердить наследство за родом царевича? Или это чрезмерная любезность царицы?

---

[1] Прощайте. Я еду в Карлсбад (*нем.*).

Теперь мы только поняли, как подозревают и ненавидят нас. Вся вина Шарлотты в том, что она — жена мужа своего. Отец против сына, а мы между них, как между двух огней.

«Послушно исполню волю вашего величества о назначении трех женщин для моей охраны,— ответила Шарлотта царю,— тем более, что мне и на ум никогда не приходило намерение обмануть ваше величество и кронпринца; посему столь странное и мною незаслуженное распоряжение мне весьма огорчительно. Казалось бы, многократно обещанные милость и любовь вашего величества должны были служить мне залогом, что никто не обидит меня клеветою, и что виновные будут наказаны, как преступники. Прискорбно, что мои завистники и преследователи имеют довольно силы к подобной интриге. Бог моя надежда на чужбине. И как всеми я покинута, Он услышит мои сердечные вздохи и сократит мои страданья!»

12 июля.

В 7 часов утра ее высочество благополучно разрешилась от бремени дочерью.

О царевиче ни слуху, ни духу.

1 августа

Получено известие о победе русских над шведами 27 июля при Гангуте; взята, будто бы, в плен целая эскадра с шаутбенахтом Эрншильдом. Весь день трезвон в колокола и пальба из пушек. Здесь, впрочем, не жалеют пороха, и по поводу самых ничтожных побед, захватив три, четыре гнилые галеры, так палят, как будто мир побежден.

9 сент бря

Царь вернулся в Петербург. Опять пальба, точно в осажденном городе. Мы почти оглохли. Бесконечные триумфальные шествия, фейерверки с хвастливыми аллегориями: царь прославляется, как завоеватель вселенной, Цезарь и Александр. Была попойка, на которой, слава Богу, нас не было. Опять, говорят, напились, как свиньи.

13 сентября

Дождь, слякоть. В окнах — низкое, темное, точно каменное, небо. На голых сучьях мокрые вороны каркают.

Тоска, тоска!

19 сентября

Застала кронпринцессу плачущей над старыми письмами царевича, которые он писал женихом. Кривые бессвязные буквы на протянутых карандашом линейках. Пустые комплименты, дипломатические любезности. И она над ними плачет, бедняжка!

Мы узнали стороной, что царевич живет в Карлсбаде incognito; сюда вернется не раньше зимы.

20 сентября

Чтобы забыться, не думать о наших делах, решила записывать все, что вижу и слышу о царе.

Прав Лейбниц: «Quanto magis hujus Principis indolem prospicio, tanto eam magis admiror. Чем больше наблюдаю нрав этого государя, тем больше ему удивляюсь».

1 октября

Видела, как царь в адмиралтейской кузнице ковал железо. Придворные служили ему, разводили огонь, раздували меха, носили уголья, марая шелк и бархат шитых золотом кафтанов.

— Вот оно — царь так царь! Даром хлеба не ест. Лучше бурлака работает! — сказал один из стоявших тут простых рабочих.

Царь был в кожаном переднике, волосы подвязаны бечевкою, рукава засучены на голых, с выпуклыми мышцами, руках, лицо запачкано сажею. Исполинского роста кузнец, освещенный красным заревом горна, похож был на подземного титана. Он ударял молотом по раскаленному добела железу так, что искры сыпались дождем, наковальня дрожала, гудела, как будто готовая разлететься вдребезги.

— Ты хочешь, государь, сковать из Марсова железа новую Россию; да тяжело молоту, тяжело и наковальне!— вспомнились мне слова одного старого боярина.

«Время подобно железу горячему, которое, ежели остынет, не удобно кованию будет»,— говорит царь. И, кузнец России, он кует ее, пока железо горячо. Не знает отдыха, словно всю жизнь спешит куда-то. Кажется, если б и хотел, то не мог бы отдохнуть, остановиться. Убивает себя лихорадочною деятельностью, неимоверным напряжением сил, подобным вечной судороге. Врачи говорят, что

силы его надорваны, и что он проживет недолго. Постоянно лечится железными Олонецкими водами, но при этом пьет водку, так что лечение только во вред.

Первое впечатление при взгляде на него — стремительность. Он весь — движение. Не ходит, а бегает. Цесарский посол[1], граф Кинский, довольно толстый мужчина, уверяет, что согласился бы лучше выдержать несколько сражений, нежели пробыть у царя два часа на аудиенции, ибо должен, при тучности своей, бегать за ним во все это время, так что весь обливается потом, даже в русский мороз. «Время яко смерть,— повторяет царь.— Пропущение времени смерти невозвратной подобно».

* * *

Его стихии — огонь и вода. Он их любит, как существо, рожденное в них: воду — как рыба, огонь — как саламандра. Страсть к пушечной пальбе, ко всяким опытам с огнем, к фейерверкам. Всегда сам их зажигает, лезет в огонь; однажды при мне спалил себе волосы. Говорит, что приучает подданных к огню сражений. Но это только предлог: он просто любит огонь.

Такая же страсть к воде. Потомок московских царей, которые никогда не видели моря, он затосковал о нем еще ребенком в душных теремах Кремлевского дворца, как дикий гусеныш в курятнике. Плавал в игрушечных лодочках по водовзводным потешным прудам. А как дорвался до моря, то уже не расставался с ним. Бóльшую часть жизни проводит на воде. Каждый день после обеда спит на фрегате. Когда болен, совсем туда переселяется, и морской воздух его почти всегда исцеляет. Летом в Петергофе, в огромных садах ему душно. Устроил себе спальню в Монплезире, домике, одна сторона которого омывается волнами Финского залива; окна спальни прямо в море. В Петербурге Подзорный дворец построен весь на воде, на песчаной отмели Невского устья. Дворец в Летнем саду также окружен водою с двух сторон: ступени крыльца спускаются в воду, как в Амстердаме и Венеции. Однажды зимою, когда Нева уже стала и только перед дворцом оставалась еще полынья окружностью не больше сотни шагов, он и по ней плавал взад и вперед на крошечной гичке, как утка в луже. Когда же вся река покрылась крепким льдом, велел расчистить вдоль набережной пространство, шагов сто в длину, тридцать в ширину, каждый

[1] Т. е. посол Карла VI — императора Священной Римской империи.

день сметать с него снег, и я сама видела, как он катался по этой площадке на маленьких красивых шлюпках или буерах, поставленных на стальные коньки и полозья. «Мы, говорит, плаваем по льду, чтоб и зимою не забыть морских экзерциций». Даже в Москве, на Святках, катался раз по улицам на огромных санях, подобии настоящих кораблей с парусами. Любит пускать на воду молодых диких уток и гусей, подаренных ему царицею. И как радуется их радости! Точно сам он водяная птица.

* * *

Говорит, что начал впервые думать о море, когда прочел сказание летописца Нестора о морском походе киевского князя Олега под Царьград. Если так, то он воскрешает в новом древнее, в чужом родное. От моря через сушу к морю — таков путь России.

* * *

Иногда кажется, что в нем слились противоречия двух родных ему стихий — воды и огня — в одно существо, странное, чуждое — не знаю, доброе или злое, божеское или бесовское — но нечеловеческое.

* * *

Дикая застенчивость. Я видела сама, как на пышном приеме послов, сидя на троне, он смущался, краснел, потел, часто для бодрости нюхал табак, не знал, куда девать глаза, избегал даже взоров царицы; когда же церемония кончилась, и можно было сойти с трона, рад был, как школьник. Маркграфиня Бранденбургская рассказывала мне, будто бы при первом свидании с нею царь — правда тогда совсем еще юный — отвернулся, закрыл лицо руками, как красная девушка, и только повторял одно: «Je ne sais pas m'exprimer. Я не умею говорить...» Скоро, впрочем, оправился и сделался даже слишком развязным: пожелал убедиться собственноручно, что не от природной костлявости немок зависит жесткость их талий, удивлявшая русских, а от рыбьего уса в корсетах. «Il pourrait être un peu plus poli! Он бы мог быть повежливее!»— заметила маркграфиня. Барон Мантейфель передавал мне о свидании царя с королевою прусскою: «Он был настолько любезен, что подал ей руку, надев предварительно до-

вольно грязную перчатку. За ужином превзошел себя: не ковырял в зубах, не рыгал и не производил других неприличных звуков (il n'a ni roté ni peté)».

Путешествуя по Европе, требовал, чтоб никто не смел смотреть на него, чтоб дороги и улицы, когда он проезжал по ним, были пусты. Входил и выходил из домов потайными ходами. Посещал музеи ночью. Однажды в Голландии, когда ему нужно было пройти через залу, где заседали члены Генеральных Штатов,— просил, чтобы президент велел им повернуться спиною; а когда те, из уважения к царю, отказались,— стащил себе на нос парик, быстро прошел через залу, прихожую и сбежал по лестнице. Катаясь в Амстердаме по каналу и видя, что лодка с любопытными хочет приблизиться,— пришел в такое бешенство, что бросил в голову кормчего две пустые бутылки и едва не раскроил ему черепа. Настоящий дикарь-каннибал. В просвещенном европейце — русский леший.

Дикарь и дитя. Впрочем, все вообще русские — дети. Царь среди них только притворяется взрослым. Никогда не забуду, как на сельской ярмарке близ Вольфенбюттеля герой Полтавы ездил верхом на деревянных лошадках дрянной карусели, ловил медные кольца палочкой и забавлялся, как маленький мальчик.

Дети жестоки. Любимая забава царя — принуждать людей к противоестественному: кто не терпит вина, масла, сыра, устриц, уксуса, тому он, при всяком удобном случае, наполняет этим рот насильно. Щекочет боящихся щекотки. Многие, чтоб угодить ему, нарочно притворяются, что не выносят того, чем он любит дразнить.

Иногда эти шутки ужасны, особенно во время святочных попоек, так называемого славления. «Сия потеха святок,— говорил мне один старый боярин,— так происходит трудная, что многие к тем дням приуготовляются, как бы к смерти». Таскают людей на канате из проруби в прорубь. Сажают голым задом на лед. Спаивают до смерти.

Так, играя с людьми, существо иной породы, фавн или кентавр, калечит их и убивает нечаянно.

В Лейдене, в анатомическом театре, наблюдая, как пропитывают терпентином обнаженные мускулы трупа и заметив крайнее отвращение в одном из своих русских спутников, царь схватил его за шиворот, пригнул к столу и заставил оторвать зубами мускул от трупа.

Иногда почти невозможно решить, где в этих шутках кончается детская резвость и начинается зверская лютость.

* * *

Вместе с дикою застенчивостью — дикое бесстыдство, особенно с женщинами.

«Il faut que Sa Majesté ait dans le corps une légion de démons de luxure. Мне кажется, что в теле его величества — целый легион демонов похоти»,— говорит лейб-медик Блюментрост. Он полагает, что «скорбутика» [1] царя происходит от другой застарелой болезни, которую получил он в ранней молодости.

По выражению одного русского из новых, у царя — «политическое снисхождение к плотским грехам». Чем больше грехов, тем больше рекрут — а они ему нужны. Для него самого любовь — «только побуждение натуры». Однажды в Англии, по поводу жалобы одной куртизанки, недовольной подарком в пятьсот гиней, он сказал Меншикову: «Ты думаешь, что и я такой же мот, как ты? За пятьсот гиней у меня служат старики с усердием и умом; а эта худо служила — сам знаешь чем!»

Царица совсем не ревнива. Он рассказывает ей все свои похождения, но всегда кончает с любезностью: «ты все-таки лучше всех, Катенька!»

О денщиках царя ходят странные слухи. Один из них, генерал Ягужинский, угодил, будто бы, царю такими средствами, о которых неудобно говорить. Красавец Лефорт, по слову одного здешнего старичка-любезника, находился у царя «в столь крайней конфиденции интриг амурных», что они имели общую любовницу. Говорят, и царица, прежде чем сойтись с царем, была любовницей Меншикова, который заменил Лефорта. Меншиков, этот «муж из подлости происшедший», который, по изречению самого царя, «в беззаконии зачат, во грехах рожден матерью и в плутовстве скончает живот свой»,— имеет над ним почти непонятную власть. Царь, бывало, бьет его, как собаку, повалит и топчет ногами; кажется, всему конец; а глядишь — опять помирились и целуются. Я собственными ушами слышала, как царь называл его своим «Алексашею миленьким», «дитятком сердешненьким» (sein Herzenkind), и тот отвечал ему тем же. Этот бывший уличный пирожник дошел до такой наглости, что однажды, правда, во хмелю, сказал царевичу: «Не видать тебе короны, как ушей своих. Она моя!»

---

[1] Цинга.

Сегодня хоронили одну голландскую купчиху, страдавшую водянкою. Царь собственноручно сделал ей операцию, выпустил воду. Она, говорят, умерла не столько от болезни, сколько от операции. Царь был на похоронах и на поминках. Пил и веселился. Считает себя великим хирургом. Всегда носит готовальню с ланцетами. Все, у кого какой-нибудь нарыв или опухоль, скрывают их, чтоб царь не начал их резать. Какое-то болезненное анатомическое любопытство. Не может видеть трупа без вскрытия. Ближайших родных своих после смерти анатомирует.

Любит также рвать зубы. Выучился в Голландии у площадных зубодеров. В здешней кунсткамере целый мешок вырванных им гнилых зубов.

Циничное любопытство к страданиям и циническое милосердие. Своему пажу арапчонку собственноручно вытянул глисту.

* * *

Во всем существе — сочетание силы и слабости. Это и в лице: страшные глаза, от одного взора которых люди падают в обморок, глаза слишком правдивые; и губы тонкие, нежные, с лукавой усмешкой, почти женские. Подбородок мягкий, пухлый, круглый, с ямочкой.

О простреленной при Полтаве шляпе нам прожужжали уши. Я не сомневаюсь, что он может быть храбрым, особенно в победе. Впрочем, все победители храбры. Но так ли он всегда был храбр, как это кажется?

Саксонский инженер Галларт, участвовавший в Нарвском походе 1700 года, рассказывал мне, что царь, узнав о приближении Карла XII, передал все управление войсками герцогу де-Круи, с инструкцией, наскоро написанной, без числа, без печати, совершенно будто бы нелепою (nicht gehauen, nicht gestochen), а сам удалился в «сильном расстройстве».

У пленного шведа, графа Пиппера я видела медаль, выбитую шведами: на одной стороне царь, греющийся при огне своих пушек, из коих летят бомбы на осажденную Нарву; надпись: *Петр стоял у огня и грелся* — с намеком на апостола Петра во дворе Каиафы; на другой — русские, бегущие от Нарвы и впереди Петр; царская корона валится с головы, шпага брошена; он утирает слезы платком; надпись гласит: *вышед вон, плакал горько.*

Пусть все это ложь; но почему об Александре или Цезаре так и солгать никто не посмел бы?

И в Прутском походе случилось нечто странное: в самую опасную минуту перед сражением царь готов был покинуть войско, с тою целью, чтобы вернуться со свежими силами. А если не покинул, то только потому, что отступление было отрезано. «Никогда,— писал он Сенату,— как я начал служить, в такой дисперации не были». Это ведь тоже почти значит: «вышед вон, плакал горько».

Блюментрост говорит — а врачи знают о героях то, чего не узнают потомки — будто бы царь не выносит никакой телесной боли. Во время тяжелой болезни, которую считали смертельною, он вовсе не был похож на героя.

«И не можно думать,— воскликнул при мне один русский, прославлявший царя,— чтобы великий и неустрашимый герой сей боялся такой малой гадины — тараканов!» Когда царь путешествует по России, то для его ночлегов строят новые избы, потому что трудно в русских деревнях отыскать жилье без тараканов. Он боится также пауков и всяких насекомых. Я сама однажды наблюдала, как, при виде таракана, он весь побледнел, задрожал, лицо исказилось — точно призрак или сверхъестественное чудовище увидел; кажется, еще немного, и с ним сделался бы обморок или припадок, как с трусливою женщиною. Если бы пошутили с ним так, как он шутит с другими — пустили бы ему на голое тело с полдюжины пауков или тараканов — он, пожалуй, умер бы на месте, и уж, конечно, историки не поверили бы, что победитель Карла XII умер от прикосновения тараканьих лапок.

Есть что-то поразительное в этом страхе царя исполина, которого все трепещут, перед крошечной безвредной тварью. Мне вспомнилось учение Лейбница о монадах: как будто не физическая, а метафизическая, первозданная природа насекомых враждебна природе царя. Мне был не только смешон, но и страшен страх его: точно я вдруг заглянула в какую-то древнюю-древнюю тайну.

* * *

Когда однажды в здешней кунсткамере ученый немец показывал царице опыты с воздушным насосом, и под хрустальный колокол была посажена ласточка, царь, видя, что задыхавшаяся птичка шатается и бьется крыльями, сказал:

— Полно, не отнимай жизни у твари невинной; она — не разбойник.

— Я думаю, детки по ней в гнезде плачут! — прибавила царица; потом, взяв ласточку, поднесла ее к окну и пустила на волю.

Чувствительный Петр! Как это странно звучит. А между тем, в тонких, нежных, почти женственных губах его, в пухлом подбородке с ямочкой, что-то похожее на чувствительность так и чудилось мне в ту минуту, когда царица говорила своим сладким голоском с жеманно-приторной усмешечкой: «детки по ней в гнезде плачут!»

Не в этот ли самый день издан был страшный указ:

«Его Царское Величество усмотреть соизволил, что у каторжных невольников, которые присланы в вечную работу, ноздри выняты малознатны; того ради Его Царское Величество указал вынимать ноздри до кости, дабы, когда случится таким каторжным бежать, — везде утаиться было не можно, и для лучшей поимки были знатныи».

Или другой указ в Адмиралтейском Регламенте:

«Ежели кто сам себя убьет, тот и мертвый за ноги повешен быть имеет».

* * *

Жесток ли он? Это вопрос.

«Кто жесток, тот не герой» — вот одно из тех изречений царя, которым я не очень верю: они слишком — для потомства. А ведь потомство узнает, что, жалея ласточек, он замучил сестру [1], мучает жену [2] и, кажется, замучает сына.

* * *

Так ли он прост, как это кажется? Тоже вопрос. Знаю, сколько нынче ходит анекдотов о саардамском царе-плотнике. Никогда, признаюсь, не могла я их слушать без скуки: уж слишком все они нравоучительны, похожи на картинки к прописям.

«Verstellte Einfalt. Притворная простота», — сказал о нем один умный немец. Есть и у русских пословица: простота хуже воровства.

В грядущих веках узнают, конечно, все педанты и школьники, что царь Петр сам себе штопал чулки, чинил башмаки из бережливости. А того, пожалуй, не узнают, что намедни рассказывал мне один русский купец, подрядчик строевого леса.

---

[1] Царевну Софью.

[2] Первую жену — Евдокию Лопухину.

— Великое брусье дубовое лежит у Ладоги, песком засыпано, гниет. А людей за порубку дуба бьют плетьми да вешают. Кровь и плоть человечья дешевле дубового леса!

Я могла бы прибавить: дешевле дырявых чулков.

«C'est un grand poseur! Это большой актер!»— сказал о нем кто-то. Надо видеть, как, провинившись в нарушении какого-нибудь шутовского правила, целует он руку князю-кесарю:

— Прости, государь, пожалуй! Наша братия, корабельщики, в чинах неискусны.

Смотришь и глазам не веришь: не различишь, где царь, где шут.

Он окружил себя масками. И «царь-плотник» не есть ли тоже маска — «машкерад на голландский манир?»

И не дальше ли от простого народа этот новый царь в мнимой простоте своей, в плотничьем наряде, чем старые московские цари в своих златотканых одеждах?

— Ныне-де стало не по-прежнему жестоко,— жаловался мне тот же купец,— никто ни о чем доложить не смеет, не доводят правды до царя. В старину-то было попроще!

Царский духовник, архимандрит Феодос, однажды, при мне хвалил царя в лицо за «диссимуляцию» [1], которую будто бы «учителя политичные в первых царствования полагают регулах» [2].

* * *

Я не сужу его. Говорю только то, что вижу и слышу. Героя видят все, человека — немногие. А если и сосплетничаю — мне простится: я ведь женщина. «Это человек и очень хороший, и очень дурной»,— сказал о нем кто-то. А я повторяю еще раз: лучше ли он, хуже ли людей, не знаю, но мне иногда кажется, что он — не совсем человек.

* * *

Царь набожен. Сам читает Апостол [3] на клиросе, поет так же уверенно, как попы, ибо все часы и службы знает наизусть. Сам сочиняет молитвы для солдат.

Иногда, во время бесед о делах военных и государственных, вдруг подымает глаза к небу, осеняет себя кре-

---

[1] Притворство (*лат.* dissimulatio).

[2] Правило, принцип (*лат.* regula).

[3] А п о с т о л — часть Нового Завета, включающая Деяния св. Апостолов, Послания св. Апостолов и Апокалипсис (Откровение).

стным знамением и произносит с благоговением из глубины сердца краткую молитву: «Боже, не отними милость Свою от нас впредь!» или: «О, буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя!»

Это не лицемерие. Он, конечно, верит в Бога, как сам говорит, «уповает на крепкого в бранях Господа». Но иногда кажется, что Бог его — вовсе не христианский Бог, а древний языческий Марс или сам рок — Немезида. Если был когда-нибудь человек, менее всего похожий на христианина, то это Петр. Какое ему дело до Христа? Какое соединение между Марсовым железом и Евангельскими лилиями?

Рядом с набожностью кощунство.

У князя-папы, шутовского патриарха, панагию заменяют глиняные фляги с колокольчиками, Евангелие — книга-погребец со склянками водки; крест — из чубуков.

Во время устроенной царем, лет пять тому назад, шутовской свадьбы карликов, венчание происходило при всеобщем хохоте в церкви; сам священник от душившего его смеха едва мог выговаривать слова. Таинство напоминало балаганную комедию.

Это кощунство, впрочем,— бессознательное, детское и дикое, так же, как и все его остальные шалости.

* * *

Прочла весьма любопытную новую книжку, изданную в Германии под заглавием:

«Curieuse Nachricht von der itzigen Religion I. K. M. in Russland Petri Alexieviz und seines grossen Reiches, dass dieselbe itzo fast nach Evangelische-Lutherischen Grundsätzen eingerichtet sei».

«Курьезное Известие о религии царя Петра Алексеевича о том, что оная в России ныне почти по Евангелически-Лютеранскому закону установлена».

Вот несколько выписок:

«Мы не ошибемся, если скажем, что Его Величество представляет себе истинную религию в образе лютеранства.

Царь отменил патриаршество и, по примеру протестантских князей, объявил себя Верховным Епископом, то есть, Патриархом церкви Российской. Возвратясь из путешествия в чужие земли, он тотчас вступил в диспуты со своими попами, убедился, что они в делах веры ничего не смыслят, и учредил для них школы, чтоб они прилежнее учились, так как прежде едва умели читать.

И ныне, когда руссы разумно обучаются и воспитываются в школах, все их суеверные мнения и обычаи должны исчезнуть сами собою, ибо подобным вещам не может верить никто, кроме самых простых и темных людей. Система обучения в этих школах совершенно лютеранская, и юношество воспитывается в правилах истинной евангелической религии. Монастыри сильно ограничены, так что не могут уже служить, как прежде, притоном для множества праздных людей, которые представляют для государства тяжелое бремя и опасность бунта. Теперь все монахи обязаны учиться чему-нибудь полезному, и все устроено похвальным образом. Чудеса и мощи также не пользуются прежним уважением: в России, как и в Германии, стали уже верить, что в этих делах *много наплутано*».

Я знаю, что царевич читал эту книжку. С каким чувством он должен был ее читать?

* * *

Однажды при мне, за стаканом вина, в дубовой рощице в Летнем саду у дворца, где царь любит беседовать с духовенством, администратор духовных дел, архимандрит Феодос рассуждал о том, «коих ради вин и в каком разуме были и нарицалися императоры римские, как языческие, так и христианские, понтифексами, архиереями многобожного закона». Выходило так, что царь есть верховный архиерей, первосвященник и патриарх. Очень искусно и ловко этот русский монах доказывал, по *Левиафану* английского атеиста «Гоббезиа» (Гоббса), civitatem et ecclesiam eandem rem esse, что «государство и церковь есть одно и то же», разумеется, не с тем, чтобы преобразить государство в церковь, а наоборот, церковь в государство. Чудовищный зверь-машина, Левиафан проглатывал Церковь Божию, так что от нее и следа не оставалось. Рассуждения эти могли бы послужить любопытным памятником подобострастья и лести монашеской изволению государеву.

* * *

Говорят, будто бы еще в конце прошлого 1714 года, царь, созвав духовных и светских сановников, торжественно объявил, что «хочет быть один начальником Российской Церкви и представляет учредить духовное собрание под именем Святейшего Синода».

* * *

Царь замышляет поход на Индию по стопам Александра Великого. Подражание Александру и Цезарю, соединение Востока и Запада, основание новой всемирной монархии — есть глубочайшая и сокровеннейшая мысль русского царя.

* * *

Феодос говорит в лицо государю: «Ты бог земной». Это ведь и значит: Divus Caesar, Кесарь божественный, Кесарь — Бог.

* * *

В Полтавском триумфе русский царь представлен был на одной аллегорической картине в образе древнего бога солнца, Аполлона.

* * *

Я узнала. что мертвые головы, которые торчат на кольях у Троицкой церкви против Сената, головы раскольников, казненных за то, что они называли царя Антихристом.

20 октября

На кухню к нам заходит старенький инвалид-каптенармус. Жалобное, точно изъеденное молью, существо, с трясущейся головою, красным носом и деревянною ногою. Сам себя называет «магазейною крысою». Я его угощаю табаком и водкою. Беседуем о русских военных делах.

Он все смеется, говорит веселыми прибаутками «служил солдат сто лет, не выслужил ста реп; сыт крупицей, пьян водицей; шилом бреется, дымом греется; три у него доктора: Водка, Чеснок да Смерть».

Поступив почти ребенком в «барабанную науку», участвовал во всех походах от Азова до Полтавы, а в награду получил от царя горсть орехов, да поцелуй в голову.

Когда говорит о царе, то как будто весь преображается.

Сегодня рассказывал о битве у Красной Мызы.

— Стояли мы храбро за дом Пресвятой Богородицы,

за его, государево пресветлое величество и за веру христианскую, друг за друга умирали. Возопили все великим гласом: «Господи Боже, помогай!» И молитвами московских чудотворцев шведские полки, конные и пешие, порубили.

Старался также передать мне речь царя к войскам:

«— Ребятушки, родил я вас потом трудов моих. Государству без вас, как телу без души, быть нельзя. Вы любовь имели к Богу, ко мне и к отечеству — не щадили живота своего...»

Вдруг вскочил на своей деревянной ноге; нос покраснел еще больше; слезинка повисла на кончике, как на спелой сливе роса; и махая старою шляпенкой, он воскликнул:

— Виват! Виват! Петр Великий, Император Всероссийский!

При мне еще никто не называл царя императором. Но я не удивилась. В мутных глазах магазейной крысы заблестел такой огонь, что странный холод пробежал по телу моему — как будто пронеслось предо мной видение Древнего Рима: шелест победных знамен, топот медных когорт и крик солдат, приветствие «Кесарю божественному»: Divus Caesar Imperator!

23 октября

Ездили в Гостиный двор на Троицкой площади, мазанковый длинный двор, построенный итальянским архитектором Трезина, с черепичною кровлею и крытым ходом под арками, как где-нибудь в Вероне или Падуе. Заходили в книжную лавку, первую и единственную в Петербурге, открытую по указу царя. Заведует ею терередорщик[1] Василий Евдокимов. Здесь, кроме славянских и переводных книг, продаются календари, указы, реляции, азбуки, планы сражений, «царские персоны», то есть портреты, триумфальные входы. Книги идут плохо. Из целых изданий в два, три года ни одного экземпляра не продано. Лучше всего расходятся календари и указы о взятках.

Случившийся в лавке цейхдиректор первой петербургской типографии, некий Аврамов, очень странный, но глупый малый, рассказывает нам, с какими трудами переводятся иностранные книги на русский язык. Царь постоянно торопит и требует, под угрозой великого штрафа, то есть плетей, чтобы «книга не по конец рук переведе-

[1] Типографский рабочий (одна из специальностей).

на была, но дабы внятным и хорошим штилем». А переводчики жалуются: «от зело спутанного немецкого штиля невозможно поспешить; вещь отнюдь невразуменная, стропотная и жестокая, случалось иногда, что десять строк в день не мог внятно перевесть». Борис Волков, переводчик иностранной коллегии, придя в отчаяние над переводом Le jardinage de Quintiny (Огородная книга) и убоясь царского гнева, перерезал себе жилы.

Нелегко дается русским наука.

Большая часть этих переводов, которые стоят неимоверных трудов, пота и, можно сказать, крови — никому не нужна и никем не читается. Недавно множество книг, не проданных и не помещавшихся в лавке, сложили в амбар на оружейном дворе. Во время наводнения залило их водою. Одна часть подмочена, другая испорчена конопляным маслом, которое оказалось вместе с книгами, а третью съели мыши.

14 ноября

Были в театре. Большое деревянное здание, «комедиальный амбар», недалеко от Литейного двора. Начало представления в 6 часов вечера. «Ярлыки», входные билеты, на толстой бумаге, продаются в особом чулане. За самое последнее место 40 копеек. Зрителей мало. Если бы не двор, актеры умерли бы с голоду. В зале, хотя стены обиты войлоками, холодно, сыро, дует со всех сторон. Сальные свечи коптят. Дрянная музыка фальшивит. В партере все время грызут орехи, громко щелкая, и ругаются. Играли *Комедию о Дон Педре и Дон Яне*, русский перевод немецкой переделки французского Дон Жуана. После каждого явления, занавес, «шпалер», опускался, оставляя нас в темноте, что означало перемену места действия. Это очень сердило моего соседа, камергера Бранденштейна. Он говорил мне на ухо: «Какая же это, черт, комедия; Welch ein Hund von Komödie ist das!» Я едва удерживалась от смеха. Дон Жуан в саду говорит соблазненной им женщине:

«Приди, любовь моя! Вспомяни удовольствования полное время, когда мы веселость весны без препятия и овощь любви без зазрения употреблять могли. Позволь чрез смотрение цветов наши очи и чрез изрядную оных воню чувствования наши наполнить».

Мне понравилась песенка:

Кто любви не знает,
Тот не знает обманства.
Называют любовь богом,
Однако ж, пуще мучит, нежели смерть.

После каждого действия следовала интермедия, которая оканчивалась потасовкою.

У Биберштейна, успевшего заснуть, вытащили из кармана платок, а у молодого Левенвольда серебряную табакерку.

Представлена была также *Дафнис, гонением любовного Аполлона в древо лавровое превращенная.*

Аполлон грозит нимфе:

Склоню невольно тя под мои руки,
Да не буду так страдати сей муки.

Та отвечает:

Аще ты так нагло поступаешь,
То имети мя отнюдь да не чаешь.

В это время у входа в театр подрались пьяные конюхи. Их побежали усмирять; тут же высекли. Слова бога и нимфы заглушались воплями и непристойной бранью.

В эпилоге появились «махины и летания».

Наконец, утренняя звезда, Фосфорус, объявила:

Тако сие действо будет скончати:
Покорно благодарим, пора почивати.

Нам дали рукописную афишу о предстоящем в другом балагане зрелище: «С платежем по полтине с персоны, итальянские марионеты или куклы, длиною в два аршина, по театру свободно ходить и так искусно представлять будут, как почти живые, *Комедию о Докторе Фавсте.* Також и ученая лошадь будет по-прежнему действовать».

Признаюсь, не ожидала я встретить Фауста в Петербурге, да еще рядом с ученою лошадью!

Недавно, в этом же самом театре, давались «Драгие смеяныя», или «Дражайшее потешение», *Présieuses ridicules* [1] Мольера. Я достала и прочла. Перевод сделан, по приказанию царя, одним из шутов его, «Самоедским Королем», должно быть, с пьяных глаз, потому что ничего понять нельзя. Бедный Мольер! В чудовищных самоедских «галантериях» — грация пляшущего белого медведя.

---

[1] В современном переводе «Смехотворные жеманницы».

23 ноября

Лютый мороз с пронзительным ветром — настоящая ледяная буря. Прохожие не успевают заметить, как отмораживают носы и уши. Говорят, в одну ночь между Петербургом и Кроншлотом замерзло 700 человек рабочих.

На улицах, даже в середине города, появились волки. На днях, ночью, где только что играли *Дафниса и Аполлона*,— волки напали на часового и свалили его с ног, другой солдат прибежал на помощь, но тотчас же был растерзан и съеден. Также на Васильевском острове, близ дворца князя Меншикова, среди бела дня, волки загрызли женщину с ребенком.

Не менее волков страшны разбойники. Будки, шлагбаумы, рогатки, часовые с «большими грановитыми дубинами» и ночные караулы наподобие Гамбургских, повидимому, ничуть не стесняют мазуриков. Каждую ночь — либо кража со взломом, либо грабеж с убийством.

30 ноября

Подул гнилой ветер — и все растаяло. Непроходимая грязь. Вонь болотом, навозною жижей, тухлою рыбою. Повальные болезни — горловые нарывы, сыпные и брюшные горячки.

4 декабря

Опять мороз. Гололедица. Так скользко, что шагу ступить нельзя, не опасаясь сломить шею.

И такие перемены всю зиму.

Не только свирепая, но и как будто сумасшедшая природа.

Противоестественный город. Где уж тут искусствам и наукам процветать! По здешней пословице — не до жиру, быть бы живу.

10 декабря

Ассамблея у Толстого.

Зеркала, хрустали, пудра, мушки, фижмы и фантанжи, приседанья и шарканья — совсем как в Европе, где-нибудь в Париже или в Лондоне.

Сам хозяин — человек любезный и ученый. Переводит «Метаморфосеос, то есть Пременение Овидиево» и «Николы Махиавеля, мужа благородного, флорентийского, уве-

щания политические». Танцевал со мной менуэт. Говорил «куплименты» из Овидия — сравнивал меня с Галатеей за белизну кожи, «аки мрамора», и за черные волосы, «аки цвет гиацинта». Забавный старик. Умница, но в высшей степени плут. Вот некоторые изречения этого нового Макиавелли:

«Надобно, когда счастье идет, не только руками, но и ртом хватать, и в себя глотать».

«В высокой фортуне жить, как по стеклянному полу ходить».

«Без меры много давленный цитрон вместо вкусу, дает горечь».

«Ведать разум и нрав человеческий — великая философия; и труднее людей знать, нежели многие книги наизусть помнить».

Слушая умные речи Толстого — он говорил со мной то по-русски, то по-итальянски — под нежную музыку французского менуэта, глядя на изящное собрание кавалеров и дам, где все было почти совсем как в Париже или Лондоне, я не могла забыть того, что видела только что по дороге: перед сенатом, на Троицкой площади те же самые колья с теми же самыми головами казненных, которые торчали там еще в мае, во время маскарада. Они сохли, мокли, мерзли, оттаивали, опять замерзали и все-таки еще не совсем истлели. Огромная луна вставала из-за Троицкой церкви, и на красном зареве головы чернели явственно. Ворона, сидя на одной из них, клевала лохмотья кожи и каркала. Это видение носилось предо мной во время бала. Азия заслоняла Европу.

Приехал царь. Он был не в духе. Так тряс головою и подергивал плечом, что наводил на всех ужас. Войдя в залу, где танцевали, нашел, что жарко, и захотел открыть окно. Но окна забиты были снаружи гвоздями. Царь велел принести топор и вместе с двумя денщиками принялся за работу. Выбегал на улицу, чтобы видеть, как и чем окно заколочено. Наконец-таки добился своего, вынул раму. Окно оставалось открытым недолго, и на дворе опять начиналась оттепель, ветер дул прямо с запада. Но все-таки по комнатам пошли такие сквозняки, что легко одетые дамы и зябкие старички не знали, куда деваться. Царь устал, вспотел от работы, но был доволен, даже повеселел.

— Ваше Высочество,— сказал австрийский резидент Плейер, большой любезник,— вы прорубили окно в Европу.

* * *

На сургучной печати, которою скреплялись письма царя в Россию во время его первого путешествия по Европе, представлен молодой плотник, окруженный корабельными инструментами и военными орудиями с надписью:

«Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую».

* * *

Другая эмблема царя: Прометей, возвращающийся к людям от богов, с зажженным факелом.

* * *

Царь говорит: «Я создам новую породу людей».

Из рассказов «магазейной крысы»: царь, желая, чтобы везде разводим был дуб, садил однажды сам дубовые желуди близ Петербурга, по Петергофской дороге. Заметив, что один из стоявших тут сановников трудам его усмехнулся,— царь гневно промолвил:

— Понимаю. Ты мнишь, не доживу я матерых дубов. Правда. Но ты — дурак. Я оставляю пример прочим, дабы, делая то же, потомки со временем строили из них корабли. Не для себя тружусь, польза государству впредь.

* * *

Из тех же рассказов:

«По указу его величества велено дворянских детей записывать в Москве и определять на Сухареву башню для учения навигации. И оное дворянство записало детей своих в Спасский монастырь, что за Иконным рядом, в Москве, учиться по-латыни. И услыша то, государь жестоко прогневался, повелел всех дворянских детей Московскому управителю Ромодановскому из Спасского монастыря взять в Петербург, сваи бить по Мойке-реке, для строения пеньковых амбаров. И об оных дворянских детях генерал-адмирал граф Федор Матвеевич Апраксин, светлейший князь Меншиков, князь Яков Долгорукий и прочие сенаторы, не смея утруждать его величества, милостивейшую помощницу, государыню Екатерину Алексеевну просили слезно, стоя на коленях; токмо упросить от

гнева его величества невозможно. И оный граф и генерал-адмирал Апраксин взял меры собою представить: велел присматривать, как его величество поедет к пеньковым амбарам мимо оных трудившихся дворянских детей, и, по объявлении, что государь поехал к тем амбарам, Апраксин пошел к трудившимся малолетним, скинул с себя кавалерию и кафтан и повесил на шест, а сам с детьми бил сваи. И как государь возвратно ехал и увидел адмирала, что он с малолетними в том же труде, в битии свай употребил себя,— остановяся, говорил графу:

— Федор Матвеевич,— ты генерал-адмирал и кавалер, для чего ты бьешь сваи?

И на оное ему, государю, адмирал ответствовал:

— Бьют сваи мои племянники и внучата. А я что за человек? Какое имею, в родстве, преимущество? А пожалованная от вашего величества кавалерия висит на древе — я ей бесчестия не принес.

И слыша то, государь поехал во дворец, и чрез сутки учиня указ об освобождении малолетних дворян, определил их в чужестранные государства для учения разным художествам,— так разгневан, что и после биения свай не миновали в разные художества употреблены быть».

* * *

Один из немногих русских, сочувствующих новым порядкам, сказал мне о царе:

— На что в России ни взгляни, все его имеет началом, и что бы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут. Сей во всем обновил, или паче вновь родил Россию.

28 декабря

Вернулся царевич так же внезапно, как уехал.

* * *

6 января 1715.

У нас были гости: барон Левенвольд, австрийский резидент Плейер, ганноверский секретарь Вебер, царский лейб-медик Блюментрост. После ужина, за стаканами рейнского, зашла речь о вводимых царем новых порядках. Так как не было никого постороннего и никого из русских, говорили свободно.

— Московиты,— сказал Плейер,— делают все по принуждению, а умри царь — и прощай наука! Россия —

страна, где все начинают и ничего не оканчивают. На нее действует царь, как крепкая водка на железо. Науку в подданных своих вбивает батогами и палками, по русской пословице: палка нема, да даст ума; нет того спорее, что кулаком по шее. Правду сказал Пуффендорф об этом народе: «рабский народ рабски смиряется и жестокостью власти воздерживаться в повиновении любит». Можно бы о них сказать и то, что говорит Аристотель о всех вообще варварах: «Quod in libertate mali, in servitute boni sunt. В свободе — злы, в рабстве — добры». Истинное просвещение внушает ненависть к рабству. А русский царь, по самой природе власти своей — деспот, и ему нужны рабы. Вот почему усердно вводит он в народ цифирь, навигацию, фортификацию и прочие низшие прикладные знания, но никогда не допустит своих подданных до истинного просвещения, которое требует свободы. Да он и сам не понимает и не любит его. В науке ищет только пользы. Perpetuum mobile, эту нелепую выдумку шарлатана Орфиреуса, предпочитает всей философии Лейбница. Эзопа считает величайшим философом. Запретил перевод Ювенала. Объявил, что «за составление сатиры сочинитель будет подвергнут злейшим истязаниям». Просвещение для власти русских царей все равно, что солнце для снега: когда оно слабо, снег блестит, играет; когда сильно — тает.

— Как знать,— заметил Вебер с тонкой усмешкой,— может быть, русские более сделали чести Европе, приняв ее за образец, нежели она была того достойна? Подражание всегда опасно: добродетели не столь к нему удобны, как пороки. Хорошо сказал один русский: «Заразительная гнилость чужеземная снедает древнее здравие душ и тел российских; грубость нравов уменьшилась, но оставленное ею место лестью и хамством наполнилось; из старого ума выжили, нового не нажили — дураками умрем!»

— Царь,— возразил барон Левенвольд,— вовсе не такой смиренный ученик Европы, как о нем думают. Однажды, когда восхищались при нем французскими нравами и обычаями, он сказал: «Добро перенимать у французов художества и науки; а в прочем Париж воняет». И прибавил с пророческим видом: «Жалею, что город сей от смрада вымрет». Я сам не слышал, но мне передавали и другие слова его, которые не мешало бы помнить всем друзьям русских в Европе: «L'Europe nous est nécessaire pour quelques dizaines d'annees; apres' sela nous lui tournerons le dos. Европа нам еще нужна на несколько десятков лет; после того мы повернемся к ней спиною».

Граф Пиппер привел выдержки из недавно вышедшей книжки La crise du Nord[1] — о войне России со Швецией, где доказывается, что «победы русских предвещают светопреставление», и что «ничтожество России есть условие для благополучия Европы». Граф напомнил также слова Лейбница, сказанные до Полтавы, когда Лейбниц был еще другом Швеции: «Москва будет второй Турцией и откроет путь новому варварству, которое уничтожит все европейское просвещение».

Блюментрост успокоил нас тем, что водка и венерическая проказа (venerische Seuche), которая в последние годы с изумительной быстротой распространилась от границ Польши до Белого моря,— опустошат Россию меньше чем в одно столетие. Водка и сифилис — это, будто бы, два бича, посланные самим Промыслом Божиим для избавления Европы от нового нашествия варваров.

— Россия,— заключил Плейер,— железный колосс на глиняных ногах. Рухнет, разобьется — и ничего не останется!

Я не слишком люблю русских; но все-таки я не ожидала, что мои соотечественники так ненавидят Россию. Кажется иногда, что в этой ненависти — тайный страх; как будто мы, немцы, предчувствуем, что кто-то кого-то непременно съест: или мы — их, или они — нас.

17 января

— Так как же вы полагаете, фрейлин Юлиана, кто я такой, дурак или негодяй? — спросил меня царевич, встретившись со мной сегодня поутру на лестнице.

Я сначала не поняла, подумала, он пьян, и хотела пройти молча. Но он загородил дорогу и продолжал, глядя мне прямо в глаза:

— Любопытно было бы также знать, кто кого съест — мы вас, или вы нас?

Тут только я догадалась, что он читал мой дневник. Ее высочество брала его у меня ненадолго, тоже хотела прочесть; царевич, должно быть, заходил к ней в комнату, когда ее не было там, увидел дневник и прочел.

Я так смутилась, что готова была провалиться сквозь землю. Краснела, краснела до корня волос, чуть не плакала, как пойманная на месте преступления школьница. А он все смотрел, да молчал, как будто любовался моим

[1] Северный кризис (*франц.*).

смущением. Наконец, сделав отчаянное усилие, я снова попыталась убежать. Но он схватил меня за руку. Я так и обмерла от страха.

— А что, попались-таки, фрейлен,— рассмеялся он веселым, добрым смехом.— Будьте впредь осторожнее. Хорошо еще, что прочел я, а не кто другой. Ну и острый же язычок у вашей милости — бритва! Всем досталось. А ведь, что греха таить, много правды в том, что вы говорите о нас, ей, ей, много правды! И хоть не по шерстке гладите, а за правду спасибо.

Он перестал смеяться, и с ясной улыбкой, как товарищ товарищу, крепко пожал мне руку, точно в самом деле благодарил за правду.

Странный человек. Странные люди вообще эти русские. Никогда нельзя предвидеть, что они скажут или сделают.

Чем больше думаю, тем больше кажется мне, что есть в них что-то, чего мы, европейцы, не понимаем и никогда не поймем: они для нас — как жители другой планеты.

2 февраля

Когда я проходила сегодня вечером по нижней галерее, царевич, должно быть, услыхав шаги мои, окликнул меня, попросил зайти в столовую, где сидел у камелька, один, в сумерках, усадил в кресло против себя и заговорил со мной по-немецки, а потом по-русски, так ласково, как будто мы были старыми друзьями. Я услышала от него много любопытного.

Но всего не буду записывать: небезопасно и для меня и для него, пока я в России. Вот лишь несколько отдельных мыслей.

Больше всего удивило меня то, что он вовсе не такой защитник старого, враг нового, каким его считают все.

— Всякая старина свою плешь хвалит,— сказал он мне русской пословицей.— А неправда у нас, на Руси, весьма застарела, так что, хоромины ветхой всей не разобрав и всякого бревна не рассмотрев,— не очистить древней гнилости...

Ошибка царя, будто бы, в том, что он слишком торопится.

— Батюшке все бы на скорую руку: тяп-ляп и корабль. А того не рассудит, что где скоро, там не споро. Сбил, сколотил, вот колесо, сел да поехал, ах, хорошо; оглянулся назад — одни спицы лежат.

У царевича есть тетрадь, в которую он выписывает из Церковно-Гражданской Летописи Барония статьи, как сам выражается, «приличные на себя, на отца и на других — в такой образ, что прежде бывало не так, как ныне». Он дал мне эту тетрадь на просмотр. В заметках виден ум пытливый и свободный. По поводу некоторых слишком чудесных легенд, правда, католических,— примечание в скобках: «справиться с греческим»; «вещь сумнительная»; «сие не весьма правда».

Но всего любопытнее показались мне заметки, в которых сравнивается прошлое чужое с настоящим русским.

«Лето 395.— Аркадий цесарь повелел еретиками звать всех, которые хоть малым знаком от православия отличаются». Намек на православие русского царя.

«Лето 455.— Валентин цесарь убит за повреждение уставов церковных и за прелюбодеяние». Намек на уничтожение в России патриаршества, на брак царя с Екатериною при жизни первой жены, Авдотьи Лопухиной.

«Лето 514.— Во Франции носили долгое платье, а короткое Карлус Великий запрещал; похвала долгому, а короткому супротивное». Намек на перемену русского платья.

«Лето 814.— Цесаря Льва монах прельстил на иконоборство. Также и у нас». Намек на царского духовника, монаха Федоса, который, говорят, советует царю отменить почитание икон.

«Лето 854.— Михаил цесарь церковными Тайнами играл». Намек на учреждение Всепьянейшего Собора, свадьбу шутовского патриарха и многие другие забавы царя.

Вот еще некоторые мысли.

О папской власти: «Христос святителей всех уравнял. А что говорят, без решения Церкви спастися не можно — и то ложь явная, понеже Христос сам сказал: веруяй в Мя жив будет вовеки; — а не в церковь Римскую, которой в то время не было, и покамест проповедь Апостольская в Рим не дошла, много людей спаслося».

«Магометанские злочестия чрез баб расширилися. Охота баб к пророкам лживым».

В целых ученых исследованиях о Магомете сказано меньше, чем в этих четырех словах, достойных великого скептика Бейля!

* * *

Намедни Толстой, говоря о царевиче, сказал мне со своею лисьей усмешкой:

— К приведению себя в любовь — сей наилучший способ: в нужных случаях уметь прикрыться кожею простейшего в скотах.

Я не поняла тогда; теперь только начинаю понимать.

В сочинении одного старинного английского писателя — имя забыла — под заглавием *Трагедия о Гамлете, принце Датском*, этот несчастный принц, гонимый врагами, притворяется не то глупцом, не то помешанным.

Примеру Гамлета не следует ли русский принц? Не прикрывается ли «кожею простейшего в скотах»?

* * *

Говорят, царевич осмелился однажды быть откровенным, доложил отцу о нестерпимых бедствиях народа. С той поры и впал в немилость.

23 февраля

Он любит свою дочку Наташу с нежностью.

Сегодня целое утро, сидя с нею на полу, строил будки и домики из деревянных чурок; ползал на четвереньках, представлял собаку, лошадь, волка. Кидал мячик, и когда он закатывался под кровать или шкаф, лазил туда за ним, пачкался в пыли и паутине. Уносил ее в свою комнату, нянчил на руках, показывал всем и спрашивал:

— Хороша, небось, девочка? Где этакой другой сыскать?

Похож был сам на маленького мальчика.

Наташа умна не по возрасту. Если тянется к чему-нибудь, и пригрозят, что скажут маме — сейчас присмиреет; если же просто велят перестать — начинает смеяться и шалить еще больше. Когда видит, что царевич не в духе, затихает, только смотрит на него пристально; а когда он к ней обернется — громко хохочет и машет ручонками. Ласкает его, совсем как взрослая.

У меня странное чувство, когда смотрю на эти ласки: кажется, что малютка не только любит, но и жалеет царевича, словно что-то видит, знает о нем, чего никто еще не знает. Странное, жуткое чувство — как тогда, когда

я смотрела на отца и мать в темное-темное, словно пророческое, зеркало.

— Что она меня любит, я знаю: она ведь для меня все покинула,— сказал он мне однажды о своей супруге.

Теперь, когда я лучше поняла царевича, я не могу винить его одного за то, что им так трудно вместе. Оба невинны, оба виновны. Слишком различны и несчастны, каждый по-своему. Малое, среднее горе сближает, слишком большое — разделяет людей.

Они, как два тяжело больные или раненые в одной постели. Не могут друг другу помочь; всякое движение одного причиняет боль другому.

Есть люди, которые так привыкли страдать, что, кажется, душа их в слезах — как рыба в воде, без слез — как рыба на суше. Их мысли и чувства, раз поникнув долу, уже никогда не подымутся, как ветви плакучей ивы. Ее высочество из таких людей.

У царевича и своего горя много; а каждый раз, как приходит к ней,— видит и чужое горе, которому нельзя помочь. Он жалеет ее. Но любовь и жалость не одно и то же. Кто хочет быть любимым, бойся жалости. Ах, знаю, по собственному опыту знаю, какая мука жалеть, когда нельзя помочь! Начинаешь, наконец, бояться того, кого слишком жалел.

Да, оба невинны, оба несчастны, и никто им не может помочь, кроме Бога. Бедные, бедные! Страшно подумать, чем это кончится, страшно — и все-таки уж лучше бы скорей конец.

7 марта

Ее высочество опять беременна.

12 мая

Мы в Рождествене, мызе царевича, в Копорском уезде, в семидесяти верстах от Петербурга.

Я была долго больна. Думали, умру. Страшнее смерти была мысль умереть в России. Ее высочество увезла меня с собою сюда, в Рождествено, чтобы дать мне отдохнуть и окрепнуть на чистом воздухе.

Кругом лес. Тихо. Только деревья шумят, да птицы щебечут. Быстрая, словно горная, речка Оредежь журчит внизу под крутыми обрывами из красной глины, на которой первая зелень берез сквозит, как дым, зелень елок чернеет, как уголь.

Деревянные срубы усадьбы похожи на простые избы. Главные хоромы в два жилья с высоким теремом, как у старых московских дворцов, еще не достроены. Рядом — часовенка с колокольнею и двумя маленькими колоколами, в которые царевич любит сам звонить. У ворот — старая шведская пушка и горка чугунных ядер, заржавевших, проросших зеленой травой и весенними цветами. Все вместе — настоящий монастырь в лесу.

Внутри хором стены еще голые бревенчатые. Пахнет смолою; всюду янтарные капли струятся, как слезы. Образа с лампадками. Светло, свежо, чисто и невинно-молодо.

Царевич любит это место. Говорит, жил бы здесь всегда, и ничего ему больше не надо, только бы оставили его в покое.

Читает, пишет в библиотеке, молится в часовне, работает в саду, в огороде, удит рыбу, бродит по лесам.

Вот и сейчас вижу его из окна моей комнаты. Только что копался в грядках, сажая луковицы гарлемских тюльпанов. Отдыхает, стоит, опершись на лопату, и весь точно замер, к чему-то прислушиваясь. Тишина бесконечная. Только топор дровосека стучит где-то далеко, далеко в лесу да кукушка кукует. И лицо у него тихое, радостное. Что-то шепчет, напевает, должно быть, одну из любимых молитв — акафист своему святому, Алексею человеку Божьему, или псалом:

«Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь».

Нигде я не видела таких вечерних зорь, как здесь. Сегодня был особенно странный закат. Все небо в крови. Обагренные тучи разбросаны, как клочья окровавленных одежд, точно совершилось на небе убийство, или какая-то страшная жертва. И на землю с неба сочилась кровь. Среди черной, как уголь, острой щетины елового леса пятна красной глины казались пятнами крови.

Пока я смотрела и дивилась, откуда-то сверху, как будто из этого страшного неба, послышался голос:

— Фрейлейн Юлиана! Фрейлейн Юлиана!

То звал меня царевич, стоя на голубятне, с длинным шестом в руках, которым здесь гоняют голубей. Он до них большой охотник.

Я поднялась по шаткой лесенке и, когда вступила на площадку, белые голуби взвились, как снежные хлопья, на заре порозовевшие, обдавая нас ветром и шелестом крыльев.

Мы сели на скамью и, слово за слово, начали спорить, как часто в последнее время — о вере.

— Ваш Мартин Лютер все свои законы издал по умствованию мира сего и по лакомству своему, а не по духовной твердости. А вы, бедные, обрадовались легкостному житию, что́ тот прелестник сказал легонько, тому и поверили, а узкий и трудный путь, от самого Христа завещанный, оставили. И он, Мартин, явился самый всесветный дурак, и в законе его сокровен великий яд адского аспида...

Я привыкла к русским любезностям и пропускаю их мимо ушей. Спорить с ним доводами разума все равно, что выступать со шпагой против дубины. Но на этот раз почему-то рассердилась и вдруг высказала все, что у меня давно уже накипело на сердце.

Я доказывала, что русские, считая себя лучше всех народов христианских, на самом деле живут хуже язычников; исповедуют закон любви и творят такие жестокости, каких нигде на свете не увидишь; постятся и во время поста скотски пьянствуют; ходят в церковь и в церкви ругаются по-матерному. Так невежественны, что у нас, немцев, пятилетний ребенок знает больше о вере, чем у них взрослые и даже священники. Из полдюжины русских едва ли один сумеет прочесть Отче наш. На мой вопрос, кто третье лицо святой Троицы, одна благочестивая старушка назвала Николу Чудотворца. И действительно, этот Никола — настоящий русский Бог, так что можно подумать, что у них вовсе нет другого Бога. Недаром, в 1620 году, шведский богослов Иоанн Ботвид защищал в Упсальской академии диссертацию: *Христиане ли москвиты*?

Не знаю, до чего бы я дошла, если бы не остановил меня царевич, который слушал все время спокойно — это-то спокойствие меня и бесило.

— А что, фрейлейн, давно я вас хотел спросить, во Христа-то вы сами веруете?

— Как, во Христа! Да разве неизвестно вашему высочеству, что все мы — лютеране?..

— Я не о всех, а только о вашей милости. Говорил я как-то с вашим уже учителем, Лейбницем, так тот вилял, вилял, водил меня за нос, а я тогда же подумал, что он по-настоящему во Христа не верует. Ну, а вы — как?

Он смотрел на меня пристально. Я опустила глаза и почему-то вдруг вспомнила все свои сомнения, споры с Лейбницем, неразрешимые противоречия метафизики и теологии.

— Я думаю,— начала я тоже вилять,— что Христос — самый праведный и мудрый из людей...

— А не Сын Божий?
— Мы все сыны Божии...
— И Он, как все?
Мне не хотелось лгать — я молчала.
— Ну вот то-то и есть! — проговорил он с таким выражением в лице, какого я еще никогда у него не видела.— Мудры вы, сильны, честны, славны. Все у вас есть. А Христа нет. Да и на что вам? Сами себя спасаете. Мы же глупы, нищи, наги, пьяны, смрадны, хуже варваров, хуже скотов и всегда погибаем. А Христос Батюшка с нами есть и будет во веки веков. Им, Светом, спасаемся!
Он говорил о Христе так, как, я заметила, здесь говорят о Нем самые простые люди — мужики: точно Он у них свой собственный, домашний, такой же, как они, мужик. Я не знаю, что это — величайшая гордость и кощунство, или величайшее смирение и святость.
Мы оба молчали. Голуби опять слетались, и между нами, соединяя нас, трепетали их белые крылья.
От ее высочества пришли за мною.
Сойдя с вышки, я оглянулась на царевича в последний раз. Он кормил голубей. Они окружили его. Садились ему на руки, на плечи, на голову. Он стоял в вышине, над черным, словно обугленным, лесом, в красном, словно окровавленном, небе, весь покрытый, точно одетый, белыми крыльями.

31 октября 1715

Теперь, когда кончено все, кончаю и этот дневник.
В середине августа (мы вернулись в Петербург из Рождествена в конце мая), недель за десять до разрешения от бремени, ее высочество упала на лестнице и ударилась левым боком о верхнюю ступень. Говорят, споткнулась оттого, что на туфле сломался каблук. На самом деле, лишилась чувств, увидев, как внизу царевич, пьяный, обнимал и целовал дворовую девку Афросинью, свою любовницу.
Он живет с нею давно, почти на глазах у всех. Вернувшись из Карлсбада, взял ее к себе в дом, на свою половину. Я не писала об этом в дневнике, боясь, чтоб не прочла ее высочество.
Знала ли она? Если и знала, то не хотела знать, не верила, пока не увидела. Холопка — соперница герцогини Вольфенбюттельской, невестки императора! «В России и небываемое бывает», как сказал мне один русский. Отец — с портомоей, сын — с холопкою.

Одни говорят, что она чухонка, взятая в плен солдатами, подобно царице; другие — что дворовая девка царевичева дядьки, Никифора Вяземского. Кажется, последнее вернее.

Довольно красива, но сразу видна, как здесь говорят, «подлая порода». Высокая, рыжая, белая; нос немного вздернутый; глаза большие, светлые, с косым и длинным калмыцким разрезом, с каким-то диким, козьим взором; и вообще в ней что-то козье, как у самки сатира в Вакханалии Рубенса. Одно из тех лиц, которые нас, женщин, возмущают, а мужчинам почти всегда нравятся.

Царевич от нее, говорят, без ума. При первой встрече с ним, она, будто бы, была невинна и долго ему сопротивлялась. Он ей вовсе не нравился. Ни обещания, ни угрозы не помогали. Но раз, после попойки, пьяный, он бросился на нее, в одном из тех припадков бешенства, которые бывают у него, так же как у отца, избил ее, чуть не убил, грозил ножом и овладел силою. Русское зверство, русская грязь!

И это тот самый человек, который так похож был на святого, когда там, в лесах Рождествена, пел акафист Алексею человеку Божьему и, окруженный голубями, говорил о «Христе-Батюшке»! Впрочем, соединять подобные крайности — особенный русский талант — то, чего нам, глупым немцам, слава Богу, понять не дано.

— Мы, русские,— сказал мне однажды сам царевич,— меры держать не умеем ни в чем, но всегда по краям и пропастям блудим.

Ее высочество, после падения на лестнице, чувствовала боль в левом боку. «Меня по всему телу точно булавками колет», говорила она. Но вообще была спокойна, словно что-то решила и знала, что ее решения уже ничто не изменит. О царевиче больше никогда со мной не говорила и на судьбу не жаловалась. Раз только сказала:

— Я считаю гибель мою неизбежною. Надеюсь, что страдания мои скоро прекратятся. Ничего на свете так не желаю, как смерти. Это — мое единственное спасение.

12 октября благополучно разрешилась от бремени мальчиком, будущим наследником престола, Петром Алексеевичем. В первые дни после родов чувствовала себя хорошо. Но когда ее поздравляли, желали доброго здоровья, сердилась и просила всех молиться, чтобы Бог послал ей смерть.

— Я хочу умереть и умру,— говорила она все с тою же страшною спокойною решимостью, которая уже не

покидала ее до конца. Врачей и бабки не слушалась, как будто нарочно делала все, что ей запрещали. На четвертый день села в кресло, велела вынести себя в другую комнату, сама кормила ребенка. В ту же ночь ей стало хуже; началась лихорадка, рвота, судороги и такие боли в животе, что она кричала сильнее, чем во время родов.

Узнав об этом, царь, который сам был болен, прислал князя Меншикова с четырьмя лейб-медиками, Арескиным, Поликолою и двумя Блюментростами, чтобы составить консилиум. Они нашли ее при смерти — in mortis limine.

Когда убеждали ее принять лекарство, она бросала на пол стакан и говорила:

— Не мучьте меня. Дайте мне спокойно умереть. Я не хочу жить.

За день до смерти призвала барона Левенвольда и сообщила ему свою последнюю волю: чтоб никто из приближенных, ни здесь, ни в Германии, не смел дурно говорить о царевиче; она умирает рано, прежде, чем думала, но довольна судьбой своей и никого ни в чем не винит. Потом простилась со всеми. Меня благословила, как мать.

В последний день царевич не отходил от нее. У него было такое лицо, что страшно было смотреть. Три раза падал в обморок. Она не говорила с ним, как будто не узнавала его. Только перед самым концом, когда он припал к ее руке, посмотрела на него долгим взором и что-то тихо сказала; я только расслышала:

— Скоро... скоро... увидимся...

Отошла, точно уснула. У мертвой лицо было такое счастливое, как никогда у живой.

По приказанию царя анатомировали тело. Он при этом сам присутствовал.

Похороны 27 октября. Долго спорили, полагается ли, по придворному чину, стрелять из пушек при погребении кронпринцесс, и если полагается, то сколько раз. Расспрашивали всех иностранных послов. Царь беспокоился об этой стрельбе больше, чем о всей судьбе ее высочества. Решили не стрелять.

Гроб вынесли по нарочно устроенным деревянным подмосткам из дверей дома прямо к Неве. За гробом шли царь и царевич. Царицы не было. Она ждала с часу на час разрешения от бремени. На Неве стоял траурный фрегат, весь обитый черным, с черными флагами.

Медленно, под звуки похоронной музыки, поплыли к Петропавловскому собору, еще недостроенному, где могила кронпринцессы должна была оставаться до окончания свода под открытым небом. На живую шел дождь — будет идти и на мертвую.

Вечер был серый, тихий. Небо, как могильный свод; Нева, как темное-темное зеркало; весь город в тумане — точно призрак или сновидение. И все, что я испытала, видела и слышала в этом страшном городе,— теперь более чем когда-либо казалось мне сном.

Из собора ночью вернулись в дом царевича для поминальной трапезы. Здесь царь отдал сыну письмо, в котором, как я узнала впоследствии, грозил, в случае ежели царевич не исправится, лишением наследства и отцовским проклятием.

На следующий день царица разрешилась от бремени сыном.

Между этими двумя детьми — сыном и внуком царя — колеблются судьбы России.

1 ноября

Вчера перед вечером заходила к царевичу, чтобы переговорить о моем отъезде в Германию. Он сидел у топившейся печки и жег в ней бумаги, письма, рукописи. Должно быть, боится обыска.

Держал в руке и уже хотел бросить в огонь маленькую книжку в кожаном потертом переплете, когда с внезапною нескромностью, которой теперь сама удивляюсь,— я спросила, что это. Он подал мне книжку. Я заглянула в нее и увидела, что это записки или дневник царевича. Сильнейшая страсть женщин вообще и моя в частности, любопытство, внушила мне еще бóльшую нескромность попросить у него этот дневник для прочтения.

Он подумал с минуту, посмотрел на меня пристально и вдруг улыбнулся своею милою, детскою улыбкою, которую я так люблю.

— Долг платежом красен. Я читал ваш дневник — читайте мой.

Но взял с меня слово, что я ни с кем никогда не буду говорить об этих записках и возвращу их ему завтра утром для сожжения.

Просидела над ним всю ночь. Это собственно старинный русский календарь, святцы киевской печати. Их подарил царевичу в 1708 году покойный митрополит Дмит-

рий Ростовский, которого считают в народе святым. Отчасти на полях и в пробелах на страницах самой книги, отчасти на отдельных, вложенных и вклеенных листках, царевич записывал свои мысли и события своей жизни.

Я решила списать этот дневник.

Не нарушу слова: пока я жива и жив царевич, никто не узнает об этих записках. Но они не должны погибнуть бесследно.

Сына с отцом судить будет Бог. Но людьми царевич оклеветан. Пусть же этот дневник, если суждено ему дойти до потомства, обличит или оправдает его, но, во всяком случае, обнаружит истину.

II

ДНЕВНИК ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ

Благословиши венец лета благости Твоея, Господи!

* * *

В Померании будучи, для сбора провианту, по указу родшего мя (*Примечание Арнгейм*: так называл царевич отца своего), слышал, что на Москве, в Успенском соборе, митрополит Рязанский Стефан, обличая указ о фискалах, сиречь, доносителях по гражданским и духовным делам, и прочие законы, церкви противные, в народ кричал:

«Не удивляйтеся, что многомятежная Россия наша доселе в кровавых бурях волнуется. Законы человеческие о сколь великое имеют расстояние от закона Божия».

И господа Сенат, придя к митрополиту, укоряли его и претили за то, что на бунт и мятеж народ возмущает, царской чести касается. И царю о том доносили.

И я говорил Рязанскому, чтоб примириться ему с батюшкой, как возможно; что-де в том прибыли, что меж них несогласие? и чтоб весьма сего искал для того, что когда его бросят, то такого не будет.

Раньше той предики[1] писывал он мне и я к нему, хотя не часто, кроме важных дел. А как о той предике услышал, то оную корреспонденцию пресек и к нему не езжу, и к себе не пускаю, понеже у родшего мя он есть в ненавидении великом, и того ради мне писать к нему

[1] Проповедь (от лат. praedicatio).

опасно. А говорят, ему быть отлучену от сего управления, в нем же есть.

И оную предику кончал Рязанский молитвою ко св. Алексию человеку Божью обо мне, рабе грешном:

«О, угодниче Божий! не забудь и тезоименника твоего, особенного заповедей Божиих хранителя и твоего преисправного последователя, царевича Алексия Петровича. Ты оставил дом свой: он также по чужим домам скитается; ты лишен рабов и подданных, другов и сродников: он также; ты человек Божий; он также истинный раб Христов. Ей, молим, святче Божий, покрой своего тезоименника, нашу единую надежду, скрой его под покровом крыл твоих, яко любимого птенца, яко зеницу, от всякого зла соблюди невредимо!»

* * *

Будучи в чужих краях, по указу же родшего мя, для учения навигации, фортификации, геометрии и прочих наук, имел страх великий, дабы не умереть без покаяния. Писал о сем на Москву отцу нашему духовному Иакову так:

«Священника мы при себе не имеем и взять негде. Молю вашу святыню, приищи какого попа на Москве, чтоб он поехал ко мне тайно, сложа священнические признаки, то есть, усы и бороду сбрив, также и гуменцо зарастив, или всю голову обрив и волосы накладные надев и немецкое платье. И сказался бы моим денщиком. Пожалуй, пожалуй, отче! Яви милосердие к душе моей, не дай умереть без покаяния! Не для чего иного он мне, только для смертного случая, также и здоровому для исповеди тайной. А хорошо б, чтоб он под видом таким с Москвы от знаемых утаился, будто без вести пропал. А бритие бороды — не сомневался бы, ибо в нужде и закону пременение бывает: лучше малое преступить, нежели душу погубить без покаяния. Сочини сие безленостно, а буде не благоволишь сего сочинить, души нашей взыщет на вас Бог».

* * *

Когда приехал из чужих краев к родшему мя в Санктпитербурх, принял он меня милостиво и спрашивал: не забыл ли я, чему учился? На что я сказал, будто не забыл, и он мне приказал к себе принести моего труда чертежи. Но я, опасаясь, чтобы меня не заставил чертить при себе, понеже бы не умел,— умыслил испортить себе правую руку, чтоб невозможно было оною ничего

делать, и набив пистоль, взяв ее в левую руку, стрелил по правой ладони, чтоб пробить пулькою, и хотя пулька миновала руки, однако ж порохом больно опалило, а пулька пробила стену в моей каморе, где и ныне видимо. И родший мя видел тогда руку мою опаленную и спрашивал о причине, как учинилось? Я ему тогда сказал иное, но не истину.

* * *

Устава Воинского глава VII, артикул 63:

«Кто себя больным учинит или суставы свои преломает и к службе непотребными сочинит, оному надлежит ноздри распороть и потом его на каторгу сослать».

* * *

Уложение царя Алексея Михайловича, глава XXII, статья 6:

«А буде, который сын учнет бить челом на отца,— и ему на отца ни в чем суда не давать, да его же, за такое челобитье, бив кнутом, отдать отцу».

И сие не весьма справедливо, понеже, хотя чада воле родительской подлежат, но не как скоты бессловесные. Не едино естество — токмо еже родить — но добродетель отцов творит.

* * *

Слышал, что родшему мя неугодно, кто на Москве домы строит, понеже воля его есть жить в Питербурхе.

* * *

Над собою всенародного обычая переменить невозможно.

Которая земля переставляет обычаи — и та земля не долго стоит.

Забыли русские люди воду своих сосудов и начали лакомо напоеваться от чужих возмущенных вод.

* * *

Иов, архиерей Новгородский, мне сказал:

«Тебе в Питербурхе худо готовится, только Бог тебя избавит, чаю. Увидишь, что у вас будет».

* * *

Бог сделал над нами, грешными, так, что только на головах наших не ездят иноземцы.

Мы болеем чужебесием. Сия смертоносная немочь — бешеная любовь чужих вещей и народов заразила весь наш народ. Право сказует пророк Варух: *припусти к себе чужеземца и разорит тя.*

Немцы хвастают и за притчу говорят: кто-де хочет хлеб бездельно есть, да придет на Русь. Зовут нас барбарами и паче в скотском, нежели в человеческом числе поставляют. Тщатся учинить для всех народов хуже дохлых собак.

Иные их немецкие затейки можно бы приостановить. А то, хоть притыка, хоть с боку-припеку — а мы тут. С немецкой стати на дурацкую стать. Сами унижаем себя, свой язык и свой народ, выставляемся на посмех всех.

* * *

Чистота славянская от чужестранных языков засыпалась в пепел. Не знаю, на что б нужно нам чужие слова употреблять? Разве хвастая? Только в том чести мало. Иногда так говорят, что ни сами, ни другие понять не могут.

* * *

Не садись под чужой забор, а хоть на крапивку, да под свой. Чужой ум до порога. Нам надлежит свой ум держать. Славны бубны за горами, а как ближе, так лукошко.

* * *

Много немцы умнее нас науками; а наши остротою, по благодати Божьей, не хуже их, а они ругают нас напрасно. Чувствую, что Бог создал нас не хуже их людьми.

* * *

Мне сумнительно, чтоб подлинно все благополучие человека в одной науке состояло. Почто в древние времена меньше учились, но более, нежели ныне, со многими науками, благополучия видели? С великим просвещением мож-

но быть великому скареду. Наука в развращенном сердце есть лютое оружие делать зло.

У нас людей не берегут. Тирански собирают с бедного подданства слезные и кровавые подати. Вымыслили сборы поземельные, подушные, хомутейные, бородовые, мостовые, пчельные, банные, кожные и прочие, им же несть числа. С одного вола по две, по три шкуры дерут, а не могут и единой целой содрать, и, сколько ни нудятся, только лоскутье сдирают. Того ради никакие сборы и не споры, а люди все тонеют. Мужику, говорят, не давай обрасти, но стриги его догола. И так творя, все царство пустошат. Оскудение крестьянское — оскудение царственное. Правители наши за кроху умирают, а где тысячи рублев пропадают, ни за что ставят.

На пиру Иродовом едят людей, а пьют кровь их да слезы. Господам и до пресыщения всего много, а крестьянам бедным и укруха хлеба худого не стает. Сии объедаются, а те алчут.

Русские люди в последнюю скудость пришли. И никто не доводит правды до царя. Пропащее наше государство.

* * *

Нам, русским, не надобен хлеб: мы друг друга едим и сыты бываем.

* * *

Бояре — отпадшее зяблое дерево. Боярская толща царю застит народ.

Куда батюшка — умный человек, а Меншиков его всегда обманывает.

* * *

В правителях все от мала до велика стали быть поползновенны. Древние уставы обветшали, и новые ни во что обращаются. Сколько их издано, а много ль в них действа? И того ради все по-старому. Да и впредь не чаю ж проку быть.

Когда, по указу родшаго мя, в Новгородском уезде леса на скампавеи[1] рубил, говорил с крестьянином села Покровского, Ивашкою Посошковым о земском соборе и о народосоветии: подобает-де выбрать всякого звания людей и крестьян, в разуме смысленных, дабы сочинить новую книгу законов, всем народам освидетельствовав са-

[1] Военные гребные быстроходные суда.

мым вольным голосом. Понеже разделил Бог разум в людях на дробинки малые и каждому по силе дал. И маломысленными часто вещает волю и правду Свою. Унижать их душевредно есть. Того ради без многосоветия и вольного голоса быть царю невозможно.

* * *

О должности царской.

Не на свое высокоумие полагаться, но о земле и народе, о странах и селах печаловаться; и любовь, и всякое попечение, и рассмотрение, и заступление иметь о меньшей братии Христовой, понеже суд великий бывает на великих и сильных. Меньший прощен будет; крепких же крепкое ждет истязание.

Сие весьма помнить, ежели дает Бог на царстве быть.

* * *

На день великомученика Евстафия праздновали кумпанию и гораздо подпияхом. Лики со тимпанами были. Жибанде глаз подбили, да Захлюстке вышибли зуб. А я ничего не помню, едва ушел. Зело был удовольствован Бахусовым даром.

* * *

На Рождестве оставался один дома. Прошли дни, как воды протекли. Ничего, кроме тихости.

* * *

Время проходит, к смерти доводит — ближе конец дней наших.

Тленность века моего ныне познаваю,
Не желаю, не боюсь, смерти ожидаю.

* * *

Подпияхом отчасти.

* * *

Сопряженная мне (*Примечание Арнгейм*: так царевич называет свою супругу, кронпринцессу Шарлотту) имеет во чреве.

Ерёмка, Ерёмка, поганый бог! От юности моея мнози борют мя страсти. В окаянстве других обличаю, а сам окаяннее всех.

Афросинья. Беззаконья мои познах и греха моего не покрых. Отяготе на мне рука Твоя, Господи! Когда прииду и явлюся лицу Божию? Быша слезы моя хлеб мне день и нощь, желает и скончевается душа моя во дворы Господни.

С Благовещенским протопресвитером, духовным отцом нашим Яковом, куликали до ночи. Пили не по-немецки, а по-русски. Поджарились изрядно.

Афроська! Афроська! (*Примечание Арнгейм:* следует непристойное ругательство).

* * *

Из Полтавской службы стих на литии: *Враг креста Господня* — пели явно при всех, на подпитках, к лицу Феодосия, архимандрита Невского.

* * *

Дивлюся батюшке: за что любит Федоску? Разве за то, что вносит в народ люторские обычаи и разрешает на вся? Сущий есть афеист, воистину враг креста Господня!

* * *

Экого плута тонкого мало я видал! Политик, зла явно не сотворит; только надобно с ним обхождение иметь опасное и жить не явно в противность, но лицемерно, когда уже так учинилось, что у него под командою быть.

* * *

Жалость дому Твоего снедает мя, Боже! Убоялся и вострепетал, да не погибнет до конца на Руси христианство!

* * *

Федоска ересиарх и ему подобные начали явно всю церковь бороть, посты разорять, покаяние и умерщвление плоти в некое баснословие вменять, безженство и самовольное убожество в смех обращать и прочие строптивые и

узкие пути жестокого христианского жития в стези гладкие и пространные изменять. Всякое развратное и слабое житие иметь учат смело, и сим лаяньем любителей мира сего в такое бесстрашие и сластолюбие приводят, что многие и в эпикурские мнения впали: ешь, пей, веселись — по смерти же никакого воздаяния нет.

Иконы святые идолами называют, пение церковное — бычачьим рыком. Часовни разоряют, а где стены остались — табаком торговать, бороды брить попустили. Чудотворные иконы на гнойных телегах, под скверными рогожами, нагло во весь народ ругаючись, увозят. На все благочестие и веру православную наступили, но таким образом и претекстом, будто не веру, а непотребное и весьма вредительное христианству суеверие искореняют. О, сколь многое множество под сим притвором людей духовных истреблено, порастрижено и перемучено! Спроси ж, за что? Больше ответа не услышишь, кроме сего: суевер, ханжа, пустосвят негодный. Кто посты хранит — ханжа, кто молится — пустосвят, кто иконам кланяется — лицемер.

Сие же все делают такою хитростью и умыслом, дабы вовсе истребить в России священство православное и завесть свою новомышленную люторскую да кальвинскую беспоповщину.

Ей, нечувствен, кто не обоняет в них духа афейского!

* * *

Когда малый недуг сей люторства расширится и от многих размножится и растлит все тело — тогда что будет, разумевай!

Было бы суслице, доживем и до бражки.

* * *

Звоны церковные переменили. Звонят дрянью, как на пожар гонят или всполох бьют. И во всем прочем пременение. Иконы не на досках, а на холстах, с немецких персон пишут неистово. Зри Спасов образ Еммануила[1] — весь, яко немчин, брюхат и толст, учинен по плотскому умыслу. Возлюбили толстоту плотскую, опровергли долу горнее. И церкви не по старому обычаю, но шпицем наподобие кирок строить и во образ лютерских органов на колокольнях играть приказали.

Ох, ох, бедная Русь! Что-то тебе захотелось немецких поступков и обычаев?

---

[1] т. е. Христа.

* * *

Монашество искоренить желают. Готовят указ, дабы отныне впредь никого не постригать, а на убылыя места в монастыри определять отставных солдат.

А в Евангелии сказано: *грядущего ко Мне не изжену.*

Но им Св. Писание — ничто.

* * *

Вера стала духовным артикулом, как есть Артикул Воинский.

Да какова та молитва будет, что по указу, под штрафом молиться?

* * *

«Нищих брать за караул, бить батожьем нещадно и ссылать на каторгу, чтоб хлеб не даром ели».

Таков указ царев, а Христов — на Страшном Судилище: *Взалкахся бо, и не дасте Ми ясти; возжаждахся, и не напоисте Мене; странен бых, и не введосте Мене; наг, и не одеясте Мене. Аминь, глаголю вам: понеже не сотворите единому сих меньших, ни Мне сотворите.*

Так-то, под наилучшим полицейским распорядком, учат ругать самого Христа, Царя Небесного — в образе нищих бьют батожьем и ссылают на каторгу.

Весь народ Российский голодом духовным тает.

Сеятель не сеет, а земля не принимает; иереи не брегут, а люди заблуждаются. Сельские попы ничем от пахотных мужиков неотменны: мужик за соху, и поп за соху. А христиане помирают как скот. Попы пьяные в алтаре сквернословят, бранятся матерно. Риза на плечах златотканая, а на ногах лапти грязные; просфоры пекут ржаные; страшные Тайны Господни хранят в сосудцах зело гнусных, с клопами, сверчками и тараканами.

Чернецы спились и заворовались.

Все монашество и священство великого требует исправления, понеже истинного монашества и священства едва след ныне обретается.

Мы носим на себе зазор, что ни веры своей, какова она есть, ни благочиния духовного не разумеем, но живем чуть не подобны бессловесным. Я мню, что и на Москве разве сотый человек знает, что есть православная христианская вера, или кто Бог, и как Ему молиться, и как волю Его творить.

Не обретается в нас ни знака христианского, кроме того, что только именем слывем христиане.

* * *

Все объюродели. В благочестии аки лист древесный колеблемся. В учения странные и различные уклонилися, одни — в римскую, другие — в люторскую веру, на оба колена хромаем, крещеные идолопоклонники. Оставили сосцы матери нашей Церкви, ищем сосцов египетских, иноземческих, еретических. Как слепые щенята поверженные, все розно бредем, а куда, того никто не ведает.

* * *

В Чудове монастыре Фомка цырульник, иконоборец, образ Чудотворца Алексия Митрополита железным косарем изрубил для того, что святых икон и животворящего Креста, и мощей угодников Божиих, он, Фомка, не почитает; святые-де иконы и животворящий Крест — дела рук человеческих, а мощи, его, Фомку, не милуют; и догматы, и предания церковные не приемлет; и во Евхаристии не верует быть истинное Тело и Кровь Христовы, но просвира и вино церковное просто.

И Стефан митрополит Рязанский Фомку анафеме церковной и казни гражданской предал — сжег в срубе на Красной площади.

А господа Сенат митрополита к ответу за то в Питербурх призывали и еретикам поноровку чинили: Фомкина учителя, иконоборца Митьку Тверетинова лекаря оправдали, а святителя с великим стыдом из палаты судебной вон изгнали; и, плача, шел и говорил:

— Христе Боже, Спаситель наш! Ты Сам сказал: *Аще Мене изгнаша, и вас изженут*. Вот меня выгоняют вон, но не меня, Самого Тебя изгоняют. Сам ты, Всевидче, зришь, что сей суд их неправеден,— Сам их и суди!

И как вышел митрополит из Сената на площадь, весь народ сжалился над ним и плакал.

А родший мя на Рязанского в пущем гневе.

* * *

Церковь больше царства земного. Ныне же царство возобладало над церковью.

Древле цари патриархам земно кланялись. Ныне же местоблюститель патриаршего престола грамотки свои царю подписывает: «Вашего Величества раб и подножие, смиренный Стефан, пастушок рязанский».

Глава церкви стала подножием ног государевых,— вся церковь — холопскою.

На что Дмитрий, митрополит Ростовский, святой был человек, а как родший мя напоил его венгерским, да стал о делах духовной политики спрашивать, ничего святой старец не ответствовал, а только все крестил да крестил царя, молча. Так и открестился!

* * *

Против речного-де стремления, говорят отцы, нельзя плавать, плетью обуха не перешибешь.

А как же святые мученики кровей своих за церковь не щадили?

* * *

У царя архиереи на хлебах — а чей хлеб ем, того и вем.

* * *

Прежние святители печальники были всей земли русской, а нынешние архиереи не печалуются пред государем, но паче потаковники бывают и благочестивый сан царский растлевают.

* * *

Народ согрешит, царь умолит; царь согрешит, народ не умолит. За государево прегрешение Бог всю землю казнит.

* * *

Намедни, на подпитках, пастушок рязанский родшему мя говорил: «Вы, цари, земные боги, уподобляетеся самому Царю Небесному».

А князь-папа, пьяный шут, над святителем ругался:

— Я, говорит, хоть и в шутах патриарх, а такого бы слова царю не сказал! Божие больше царева.

И царь шута похвалил.

* * *

На тех же подпитках, как заговорили архиереи о вдовстве церкви и о нужде патриаршества, родший мя в великом гневе выхватил из ножен кортик, так что все затряслись, думали, рубить начнет, ударил лезвеем плашмя по столу, да закричал:

— Вот вам патриарх! Оба вместе — патриарх и царь!

* * *

Федоска родшему мя приговаривает, дабы российским царям отныне титлу принять императорскую, сиречь, древних римских кесарей.

* * *

В Москве, на Красной площади, в 1709 году, в триумфованьи на Полтавскую викторию людьми чина духовного воздвигнуто некое подобие ветхо-римского храма с жертвенником — добродетелям Российского бога Аполло и Марса — сиесть, родшего мя. И на оном ветхоэллинском капище подписано:

«Basis et fundamentum reipublicae religio. Утверждение и основание государства есть вера».

Какая вера? В коего Бога или в коих богов?

В оном же триумфованьи представлена *Политиколепная Апофеозиз Всероссийского Геркулеса* — сиесть, родшего мя, избивающего многих людей и зверей и, по совершении сих подвигов, возлетающего в небо на колеснице бога Иовиша, везомой орлами по Млечному пути — с подписью:

«Viamque effectat Olympo».

«Пути желает в Олимп».

А в книжице, сочиненной от иеромонаха Иосифа, префекта академии, об оной Апофеозиз сказано:

«Ведати же подобает, яко сия не суть храм или церковь, во имя некоего от святых созданная, но политичная, сиесть, гражданская похвала».

* * *

Федоска родшему мя приговаривал, дабы в указе долженствующей быть коллегии духовной, Св. Синода, а то и в самой присяге российской объявить во весь народ сими словами:

«Имя Самодержца своего имели бы, яко главы своея, и отца отечества, и Христа Господня».

* * *

Хотят люди восхитить Божескую славу и честь Христа, вечного и единого Царя царей. Именно в сборнике Римских Законов читаются нечестивые и богохульные слова: Самодержец Римский есть всему свету Господь.

* * *

Исповедуем и веруем, что Христос един есть Царь царей и Господь господей, и что нет человека, всего мира господа.

* * *

Камень нерукосечный от несекомой горы, Иисус Христос, ударил и разорил Римское царство и разбил в прах глиняные ноги. Мы же паки созидаем и строим то, что Бог разорил. Несть ли то — бороться с Богом?

* * *

Смотри гисторию Римскую. Говорил цесарь Калигула: «Императору все позволено. Omnia licet».

Да не единым цесарям римским, а и всяким плутам и хамам, и четвероногим скотам все позволено.

* * *

Навуходоносор, царь Вавилонский, рече: *Бог есмь аз.* Да не богом, а скотом стал.

* * *

На Васильевском острову, в доме царицы Прасковьи Матвеевны живет старец Тимофей Архипыч, прибежище отчаянных, надежда ненадежных, юродь миру, а не себе. Совести человеческие знает.

Намедни ночью ездил к нему, беседовал. Архипыч сказывает, что Антихрист-де есть ложный царь, истинный хам. И сей Хам грядет.

* * *

Читал митрополита Рязанского Знаменья Пришествия Антихристова и сего Хама Грядущего вострепетал.

На Москве Григория Талицкого сожгли за то, что в народ кричал об антихристовом пришествии. Талицкий был большого ума человек. И драгунского полка капитан, Василий Левин, что был со мною на пути из Львова в Киев в 1711 году, да светлейшего князя Меншикова духовник, поп Лебедка, да подьячий Ларивон Докукин и другие многие по сему же мыслят об Антихристе.

По лесам и пустыням сами себя сожигают люди, страха ради антихристова.

* * *

Вне членов — брани; внутри членов — страхи. Вижу, что отовсюду погибаем, а помощи и спасения ниоткуда не знаем. Молимся и боимся. Столько беззаконий, столько обид вопиют на небо и возбуждают гнев и отмщение Божие!

* * *

Тайна беззакония деется. Время приблизилось. На самой громаде злобы стоим все, а отнюдь веры не имеем.

* * *

Некий раскольщик тайну Христову всю пролил под ноги и ногами потоптал.

* * *

У Любеча пролет саранчи с полудня на полночь, а на крылах надпись: *Гнев Божий.*

* * *

Дни кратки и пасмурны. Старые люди говорят: не по-прежнему и солнце светит.

* * *

Подпияхом, водковали зело. Видит Бог, со страха пьем, дабы себя не помнить.

* * *

Страх смерти напал на меня.

Конец при дверях, секира при корени, коса смертная над главою.

* * *

Спаси, Господи, русскую землю! Заступись, помилуй, Матерь Пречистая!

* * *

Добре преподобный Семеон, Христа ради юродивый, другу своему, Иоанну диакону пред кончиною сказывал: «Между простыми людьми и земледельцами, которые в незлобии и простоте сердца живут, никого не обижают, но от труда рук своих в поте лица едят хлеб свой,— между такими многие суть великие святые, ибо видел я их, приходящих в город и причащающихся, и были они, как золото чистое».

* * *

О, человеки, последних сих времен мученики, в вас Христос ныне, яко в членах Своих, обитает. Любит Господь плачущих; а вы всегда в слезах. Любит Господь алчущих и жаждущих; а у вас есть и пить мало чего — иному и половинного нестает хлеба. Любит страждущих безвинно; а в вас страдания того не исчислишь — уже в ином едва душа в теле держится. Не изнемогайте в тер-

нении, но благодарите Христа своего, а Он к вам по воскресении Своем будет в гости — не в гости только, но и в неразлучное с вами пребывание. В вас Христос есть и будет, а вы скажите: аминь!

III

ДНЕВНИК ФРЕЙЛИНЫ АРНГЕЙМ

Этими словами кончался дневник царевича Алексея. Он при мне бросил его в огонь.

31 декабря 1715

Сегодня скончалась последняя русская царица Марфа Матвеевна, вдова брата Петрова, царя Феодора Алексеевича. При иностранных дворах ее считали давно умершею: со смерти мужа, в течение тридцати двух лет, она была помешанной, жила, как затворница, в своих покоях и никогда никому не показывалась.

Ее хоронили в вечерние сумерки с большим великолепием. Погребальное шествие совершалось между двумя рядами факелов, расставленных по всему пути от дома усопшей — она жила рядом с нами, у церкви Всех Скорбящих — к Петропавловскому собору, через Неву, по льду. Это тот же самый путь, по которому, два месяца с лишним назад, везли на траурном фрегате тело ее высочества. Тогда хоронили первую чужеземную царевну; теперь последнюю русскую царицу.

Впереди шло духовенство в пышных ризах, со свечами и кадилами, с похоронным пением. Гроб везли на санях. За ним тайный советник Толстой нес корону, всю усыпанную драгоценными каменьями.

Царь впервые на этих похоронах отменил древний русский обычай надгробных воплей и причитаний: строго приказано было, чтобы никто не смел громко плакать.

Все шли молча. Ночь была тихая. Слышался лишь треск горячей смолы, скрип шагов по снегу, да похоронное пение. Это безмолвное шествие навевало тихий ужас. Казалось, мы скользим по льду вслед за умершею, сами, как мертвые, в черную вечную тьму. Казалось также, что в последней русской царице Россия новая хоронит старую, Петербург — Москву.

Царевич, любивший покойную, как родную мать, потрясен этой смертью. Он считает ее для себя, для всей

судьбы своей дурным предзнаменованием. Несколько раз, во время похорон, говорил мне на ухо:

— Теперь всему конец!

* * *

1 января 1716

Завтра утром, вместе с баронами Левенвольдами, мы выезжаем из Петербурга прямо на Ригу и через Данциг в Германию. Навсегда покидаю Россию. Это моя последняя ночь в доме царевича.

Вечером заходила к нему проститься. По тому, как мы расстались, я почувствовала, что полюбила его и никогда не забуду.

— Кто знает,— сказал он,— может быть, еще увидимся. Хотелось бы мне снова в гости к вам, в Европу. Мне тамошние места полюбились. Хорошо у вас, вольно и весело.

— За чем же дело стало, ваше высочество?

Он тяжело вздохнул:

— Рад бы в рай, да грехи не пускают.

И прибавил со своею доброю улыбкою:

— Ну, Господь с вами, фрейлейн Юлиана! Не поминайте лихом, поклонитесь от меня Европским краям и старику вашему, Лейбницу. Может быть, он и прав: даст Бог, мы друг друга не съедим, а послужим друг другу!

Он обнял меня и поцеловал с братскою нежностью.

Я заплакала. Уходя, еще раз обернулась к нему, посмотрела на него последним прощальным взором, и опять сердце мое сжалось предчувствием, как в тот день, когда я увидела в темном-темном, пророческом зеркале соединенные лица Шарлотты и Алексея и мне показалось, что оба они — жертвы, обреченные на какое-то великое страдание. Она погибла. Очередь за ним.

И еще мне вспомнилось, как в последний вечер в Рождествене он стоял на голубятне, в вышине, над черным, точно обугленным, лесом, в красном, точно окровавленном, небе, весь покрытый, словно одетый, белыми голубиными крыльями. Таким он и останется навеки в моей памяти.

Я слышала, что узники, выпущенные на волю, иногда жалеют о тюрьме. Я теперь чувствую нечто подобное к России.

Я начала этот дневник проклятиями. Но кончу благословениями. Скажу лишь то, что, может быть, многие в Европе сказали бы, если бы лучше знали Россию: таинственная страна, таинственный народ.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

НАВОДНЕНИЕ

I

Царя предупреждали, при основании Петербурга, что место необитаемо, по причине наводнений, что за двенадцать лет перед тем вся страна до Ниеншанца была потоплена, и подобные бедствия повторяются почти каждые пять лет; первобытные жители Невского устья не строили прочных домов, а только малые хижины; и когда по приметам ожидалось наводнение, ломали их, бревна и доски связывали в плоты, прикрепляли к деревьям, сами же спасались на Дудерову гору. Но Петру новый город казался «Парадизом», именно вследствие обилия вод. Сам он любил их, как водяная птица, и подданных своих надеялся здесь скорее, чем где-либо, приучить к воде.

В конце октября 1715 года начался ледоход, выпал снег, поехали на санях, ожидали ранней и дружной зимы. Но сделалась оттепель. В одну ночь все растаяло. Ветер с моря нагнал туман — гнилую и душную желтую мглу, от которой люди болели.

«Молю Бога вывесть меня из сего пропастного места,— писал один старый боярин в Москву.— Истинно опасаюсь, чтоб не занемочь; как началась оттепель, такой стал бальзамовый дух и такая мгла, что из избы выйти неможно, и многие во всем Парадизе от воздуху помирают».

Юго-западный ветер дул в продолжение девяти дней. Вода в Неве поднялась. Несколько раз начиналось наводнение.

Петр издавал указы, которыми повелевалось жителям выносить из подвалов имущество, держать лодки наготове, сгонять скот на высокие места. Но каждый раз вода убывала. Царь, заметив, что указы тревожат народ, и, заключив по особым, ему одному известным приметам, что большого наводнения не будет, решил не обращать внимания на подъемы воды.

6 ноября назначена была первая зимняя ассамблея в доме президента адмиралтейской коллегии, Федора Матвеевича Апраксина, на Набережной, против Адмиралтейства, рядом с Зимним дворцом.

Накануне вода опять поднялась. Сведущие люди предсказывали, что на этот раз не миновать беды. Сообщались приметы: тараканы во дворце ползли из погребов на чердак; мыши бежали из мучных амбаров; государыне приснился Петербург, объятый пламенем, а пожар снится к потопу. Не совсем оправившись после родов, не могла она сопровождать мужа на ассамблею и умоляла его не ездить.

Петр во всех взорах читал тот древний страх воды, с которым тщетно боролся всю жизнь: «жди горя с моря, беды от воды; где вода, там и беда; и царь воды не уймет».

Со всех сторон предупреждали его, приставали и наконец так надоели, что он запретил говорить о наводнении. Обер-полицийместера Девьера едва не отколотил дубинкою. Какой-то мужичок напугал весь город предсказаниями, будто бы вода покроет высокую ольху, стоявшую на берегу Невы, у Троицы. Петр велел срубить ольху и на том самом месте наказать мужичка плетьми, с барабанным боем и «убедительным увещанием» к народу.

Перед ассамблеей приехал к царю Апраксин и просил позволения устроить ее в большом доме, а не во флигеле, где она раньше бывала, стоявшем на дворе и соединенным с главным зданием узкою стеклянною галереей, небезопасною в случае внезапного подъема воды: гости могли быть отрезаны от лестницы, ведущей в верхние покои. Петр задумался, но решил поставить на своем и назначил собрание в обычном ассамблейском домике.

«Ассамблея,— объяснялось в указе,— есть вольное собрание или съезд, не для только забавы, но и для дела.

Хозяин не повинен гостей ни встречать, ни провожать, ни потчевать.

Во время бытия в ассамблее вольно сидеть, ходить, играть, и в том никто другому прешкодить, или унимать, также церемонии делать вставаньем, провожаньем и прочим да не дерзает, под штрафом великого Орла».

Обе комнаты — в одной ели и пили, в другой танцевали — были просторные, но с чрезвычайно низкими потолками. В первой стены выложены, как в голландских кухнях, голубыми изразцами; на полках расставлена оловянная посуда; кирпичный пол усыпан песком; огромная кафельная печь жарко натоплена. На одном из трех длин-

ных столов — закуски,— любимые Петром фленсбургские устрицы, соленые лимоны, салакуша; на другом — шашки и шахматы; на третьем — картузы табаку, корзины глиняных трубок, груды лучинок для раскуривания. Сальные свечи тускло мерцали в клубах дыма. Низенькая комната, набитая людьми, напоминала шкиперский погреб где-нибудь в Плимуте или Роттердаме. Сходство довершалось множеством английских и голландских корабельных мастеров. Жены их, румяные, толстые, гладкие, точно глянцевитые, уткнув ноги в грелки, вязали чулки, болтали и, видимо, чувствовали себя как дома.

Петр, покуривая кнастер из глиняной короткой носогрейки, попивая флип — гретое пиво с коньяком, леденцом и лимонным соком, играл в шашки с архимандритом Федосом.

Боязливо ежась и крадучись, как виноватая собака, подошел к царю обер-полицийместер Антон Мануйлович Девьер, не то португалец, не то жид, с женоподобным лицом, с тем выражением сладости и слабости, которое иногда свойственно южным лицам.

— Вода поднимается, ваше величество.

— Сколько?

— Два фута пять вершков.

— А ветер?

— Вест-зюйд-вест.

— Врешь! Давеча я мерил сам: зюйд-вест-зюйд.

— Переменился,— возразил Девьер с таким видом, как будто виноват был в направлении ветра.

— Ничего,— решил Петр,— скоро на убыль пойдет. Бурометр кажет к облегчению воздушному. Небось, не обманет!

Он верил в непогрешимость барометра так же, как во всякую механику.

— Ваше величество! Не будет ли какого указа? — жалобно взмолился Девьер.— А то уж как и быть не знаю. Зело опасаются. Сведущие люди сказывают...

Царь посмотрел на него пристально.

— Одного из оных сведущих я уже у Троицы выпорол, и тебе по сему же будет, если не уймешься. Ступай прочь, дурак!

Девьер, еще более съежившись, как ласковая сучка Лизетта под палкой, мгновенно исчез.

— Как же ты, отче, о сем необычайном звоне полагаешь? — обратился Петр к Федосу, возобновляя беседу о полученном недавно донесении, будто бы по ночам в нов-

городских церквах каким-то чудом гудят колокола: молва гласила, что гудение это предвещает великие бедствия.

Федоска погладил жиденькую бородку, поиграл двойной панагией с распятием и портретом государя, взглянул искоса на царевича Алексея, который сидел тут же рядом, сощурил один глаз, как будто прицеливаясь, и вдруг все его крошечное личико, мордочка летучей мыши, озарилось тончайшим лукавством:

— Чему бы оное бессловесное гудение человеков учило, может всяк имеющий ум рассудить: явно — от Противника; рыдает бес, что прелесть его изгоняется от народов российских — из кликуш, раскольщиков и старцев-пустосвятов, об исправлении коих тщание имеет ваше величество.

И Федоска свел речь на свой любимый предмет, на рассуждение о вреде монашества.

— Монахи тунеядцы суть. От податей бегут, чтобы даром хлеб есть. Что ж прибыли обществу от сего? Звание свое гражданское ни во что вменяют, суете сего мира приписуют — что и пословица есть: кто пострижется, говорят,— работал земному царю, а ныне пошел работать Небесному. В пустынях скотское житие проводят. А того не рассудят, что пустыням прямым в России, студеного ради климата, быть невозможно.

Алексей понимал, что речь о пустосвятах — камень в его огород.

Он встал. Петр посмотрел на него и сказал:

— Сиди.

Царевич покорно сел, потупив глаза,— как сам он чувствовал, с «гипокритским» [1] видом.

Федоска был в ударе; поощряемый вниманием царя, который вынул записную книжку и делал в ней отметки для будущих указов,— предлагал он все новые и новые меры, будто бы для исправления, а в сущности, казалось царевичу, для окончательного истребления в России монашества.

— В мужских монастырях учредить гошпитали по регламенту для отставных драгун, также училища цыфири и геометрии; в женских — воспитательные дома для зазорных младенцев; монахиням питаться пряжею на мануфактурные дворы...

Царевич старался не слушать; но отдельные слова доносились до него, как властные окрики:

---

[1] Лицемерным (франц. hypocrite).

— Продажу меда и масла в церквах весьма пресечь. Пред иконами, вне церкви стоящими, свещевозжения весьма возбранить. Часовни ломать. Мощей не являть. Чудес не вымышлять. Нищих брать за караул и бить батожьем нещадно...

Ставни на окнах задрожали от напора ветра. По комнате пронеслось дуновенье, всколыхнувшее пламя свечей. Как будто несметная вражья сила шла на приступ и ломилась в дом. И Алексею чудилась в словах Федоски та же злая сила, тот же натиск бури с Запада.

Во второй комнате, для танцев, по стенам были гарусные тканые шпалеры; зеркала в простенках; в шандалах восковые свечи. На небольшом помосте музыканты с оглушительными духовыми инструментами. Потолок, с аллегорической картиной *Езда на остров любви* — такой низкий, что голые амуры с пухлыми икрами и ляжками почти касались париков.

Дамы, когда не было танцев, сидели, как немые, скучали и млели; танцуя, прыгали как заведенные куклы; на вопросы отвечали «да» и «нет», на комплименты озирались дико. Дочки словно пришиты к маменькиным юбкам; а на лицах маменек написано: «лучше б мы девиц своих в воду пересажали, чем на ассамблеи привозили!»

Вилим Иванович Монс говорил переведенный из немецкой книжки комплимент той самой Настеньке, которая влюблена была в гардемарина и в Летнем саду на празднике Венус плакала над нежною цыдулкою:

— Чрез частое усмотрение вас, яко изрядного ангела, такое желание к знаемости вашей получил, что я того долее скрыть не могу, но принужден оное вам с достойным почтением представить. Я бы желал усердно, дабы вы, моя госпожа, столь искусную особу во мне обрели, чтоб я своими обычаями и приятными разговорами вас, мою госпожу, совершенно удовольствовать удобен был; но, понеже натура мне в сем удовольствии мало склонна есть, то благоволите только моею вам преданною верностью и услужением довольствоваться...

Настенька не слушала — звук однообразно жужжащих слов клонил ее ко сну. Впоследствии жаловалась она тетке на своего кавалера: «Иное говорит он, кажется, и по-русски, а я, хоть умереть, ни слова не разумею».

Секретарь французского посланника, сын московского подьячего, Юшка Проскуров, долго живший в Париже и превратившийся там в monsieur George'а, совершенного

петиметра и галантома [1], пел дамам модную песенку о парикмахере Фризоне и уличной девке Додене:

La Dodun dit à Frison:
Coiffez moi avec adresse.
Je prétends avec raison
Inspirer de la tendresse.
Tignonnez, tignonnez, bichonnez moi! [2]

Прочел и русские вирши о прелестях парижской жизни:

Красное место, драгой берег Сенской,
Где быть не смеет манир деревенской,
Ибо все держит в себе благородно —
Богам и богиням ты — место природно.
А я не могу никогда позабыти,
Пока имею на земле быти!

Старые московские бояре, враги новых обычаев, сидели поодаль, греясь у печки, и вели беседу полунамеками, полузагадками:

— Как тебе, государь мой, питербурхская жизнь кажется?

— Прах бы вас побрал и с жизнью вашею! Финтифанты, немецкие куранты! От великих здешних кумплиментов и приседаний хвоста и заморских яств глаза смутились.

— Что делать, брат! На небо не вскочишь, в землю не закопаешься.

— Тяни лямку, пока не выкопают ямку.

— Трещи, не трещи, да гнись.

— Ой-ой-ошеньки, болят боченьки, бока болят, а лежать не велят.

Монс шептал на ухо Настеньке только что сочиненную песенку:

Без любви и без страсти,
Все дни суть неприятны:
Вздыхать надо, чтоб сласти
Любовны были златны.
　　На что и жить,
　　Коль не любить?

Вдруг почудилось ей, что потолок шатается, как во время землетрясения, и голые амуры падают прямо ей на голову. Она вскрикнула. Вилим Иванович успокоил ее:

---

[1] Петиметр (франц. petit-maître) — молодой щеголь; галантом (франц. galant homme) — галантный человек.

[2] Додена сказала Фризону:
Хорошенько меня причеши.
Я хочу с полным на то правом
Внушать любовь.
Завивай, завивай, наряжай меня! (*франц.*)

это ветер; шаталось полотно с картиной, прибитое к потолку и раздуваемое, как парус. Опять ставни задрожали, на этот раз так, что все оглянулись со страхом.

Но заиграл полонез, пары закружились — и бурю заглушила музыка. Только зябкие старички, греясь у печки, слышали, как ветер воет в трубе, и шептались, и вздыхали, и качали головами; в звуках бури, еще более зловещих сквозь звуки музыки, им слышалось: «жди горя с моря, беды от воды».

Петр, продолжая беседу с Федоскою, расспрашивал его об ереси московских иконоборцев, Фомки цирюльника и Митьки лекаря.

Оба ересиарха, проповедуя свое учение, ссылались на недавние указы царя: «Ныне-де у нас на Москве, говорили они, слава Богу, вольно всякому,— кто какую веру себе изберет, в такую и верует».

— По-ихнему, Фомки да Митьки, учению,— говорил Федос с такой двусмысленной усмешкой, что нельзя было понять, осуждает ли он ересь, или сочувствует,— правая вера от святых писаний и добрых дел познается, а не от чудес и преданий человеческих. Можно-де спастись во всех верах, по слову апостола: делающий правду во всяком народе Богу угоден.

— Весьма разумно,— заметил Петр, и усмешка монаха отразилась в такой же точно усмешке царя: они понимали друг друга без слов.

— А иконы-де, учат, дела рук человеческих, суть идолы,— продолжал Федос.— Крашеные доски как могут чудеса творить? Брось ее в огонь — сгорит, как и всякое дерево. Не иконам в землю, а Богу в небо подобает кланяться. И кто-де им, угодникам Божьим, дал такие уши долгие, чтоб с неба слышать моления земных? И если, говорят, сына у кого убьют ножом или палкою, то отец того убитого как может ту палку или нож любить? Так и Бог как может любить древо, на коем распят Сын его? И Богородицу, вопрошают, чего ради весьма почитаете? Она-де подобна мешку простому, наполненному драгоценных каменьев и бисеров, а когда из мешка оные драгие каменья иссыпаны, то какой он цены и чести достоин? И о таинстве Евхаристии мудрствуют: как может Христос повсюду раздробляем и раздаваем, и снедаем быть в службах, коих бывает в свете множество в един час? Да как может хлеб переменяться в Тело Господне молитвами поповскими? А попы-де всякие бывают — и пьяницы, и блудники, и сущие злодеи. Отнюдь сего статься не может; и

в том-де мы весьма усомневаемся: понюхаем — хлебом пахнет; также и Кровь, по свидетельству данных нам чувств, является красное вино просто...

— Сих непотребств еретических нам, православным, и слушать зазорно! — остановил Федоску царь.

Тот замолчал, но усмехался все наглее, все злораднее.

Царевич поднял глаза и посмотрел на отца украдкою. Ему показалось, что Петр смутился: он уже не усмехался; лицо его было строго, почти гневно, но, вместе с тем, беспомощно, растерянно. Не сам ли он только что признал основание ереси разумным? Приняв основание, как не принять и выводов? Легко запретить, но как возразить? Умен царь; но не умнее ли монах и не ведет ли он царя, как злой поводырь — слепого в яму?

Так думал Алексей, и лукавая усмешка Федоски отразилась в точно такой же усмешке, уже не отца, а сына: царевич и Федоска теперь тоже понимали друг друга без слов.

— На Фомку да Митьку дивить нечего,— проговорил вдруг, среди общего неловкого молчания, Михайло Петрович Аврамов.— Какова погудка, такова и пляска; куда пастух, туда и овцы...

И посмотрел в упор на Федоску. Тот понял намек и весь пришипился от злости.

В это мгновение что-то ударило в ставни — словно застучали в них тысячи рук — потом завизжало, завыло, заплакало и где-то в отдалении замерло. Вражья сила все грознее шла на приступ и ломилась в дом.

Девьер каждые четверть часа выбегал во двор узнавать о подъеме воды. Вести были недобрые. Речки Мья и Фонтанная выступали из берегов. Весь город был в ужасе.

Антон Мануйлович потерял голову. Несколько раз подходил к царю, заглядывал в глаза его, старался быть замеченным, но Петр, занятый беседою, не обращал на него внимания. Наконец, не выдержав, с отчаянной решимостью, наклонился Девьер к самому уху царя и пролепетал:

— Ваше величество! Вода...

Петр молча обернулся к нему и быстрым, как будто невольным, движением, ударил его по щеке. Девьер ничего не почувствовал, кроме сильной боли — дело привычное.

«Лестно,— говаривали птенцы Петровы,— быть биту от такого государя, который в одну минуту побьет и пожалует».

И Петр, со спокойным лицом, как ни в чем не бывало, обратившись к Аврамову, спросил, почему до сей поры не напечатано сочинение астронома Гюйгенса *«Мирозрение или мнение о небесноземных глубусах»*.

Михайло Петрович смутился было, но, тотчас оправившись и смотря прямо в глаза царю, ответил с твердостью:

— Оная книжица самая богопротивная, не чернилом, но углем адским писанная и единому только скорому сожжению в срубе угодная...

— Какая ж в ней противность?

— Земли вращение около солнца полагается и множенность миров, и все оные миры такие же, будто, суть земли, как и наша, и люди на них, и поля, и луга, и леса, и звери, и все прочее, как на нашей земле. И так вкрадшись, хитрит везде прославить и утвердить натуру, что́ есть жизнь самобытную. А Творца и Бога в небытие низводит...

Начался спор. Царь доказывал, что «Коперников чертеж света все явления планет легко и способно изъясняет».

Под защитой царя и Коперника высказывались мысли все более смелые.

— Ныне уже вся философия механична стала! — объявил вдруг адмиралтейц-советник Александр Васильевич Кикин.— Верят ныне, что весь мир таков есть в своем величестве, как часы в своей малости, и что все в нем делается чрез движение некое установленное, которое зависит от порядочного учреждения атомов. Единая всюду механика...

— Безумное атейское мудрование! Гнилое и нетвердое основание разума! — ужасался Аврамов, но его не слушали.

Все старались перещеголять друг друга вольномыслием.

— Весьма древний философ Дицеарх писал, что человека существо есть тело, а душа только приключение и одно пустое звание, ничего не значащее,— сообщил вице-канцлер Шафиров.

— Через микроскопиум усмотрели в семени мужском животных, подобных лягушкам, или головашкам,— ухмыльнулся Юшка Проскуров так злорадно, что вывод был ясен: никакой души нет. По примеру всех парижских щеголей, была и у него своя «маленькая философия», «une petite philosophie», которую излагал он с такою же галантною легкостью, с какою напевал парикмахерскую песенку: «tignonnez, tignonnez, bichonnez moi».

— По Лейбницеву мнению, мы только гидраулические мыслящие махины. Устерц нас глупее...

— Врешь, не глупее тебя! — заметил кто-то, но Юшка продолжал невозмутимо:

— Устерц глупее нас, душу имея прилипшую к раковине, и по сему пять чувств ему ненадобны. А может быть, в иных мирах суть твари о десяти и более чувствах, столь совершеннее нас, что они так же дивятся Невтону и Лейбницу, как мы обезьяньим и пауковым действиям...

Царевич слушал, и ему казалось, что в этой беседе происходит с мыслями то же, что со снегом во время петербургской оттепели: все расползается, тает, тлеет, превращается в слякоть и грязь, под веянием гнилого западного ветра. Сомнение во всем, отрицание всего, без оглядки, без удержу, росло, как вода в Неве, прегражденной ветром и грозящей наводнением.

— Ну, будет врать! — заключил Петр вставая.— Кто в Бога не верует, тот сумасшедший, либо с природы дурак. Зрячий Творца по творениям должен познать. А безбожники наносят стыд государству и никак не должны быть в оном терпимы, поелику основание законов, на коих утверждается клятва и присяга властям, подрывают.

— Беззаконий причина,— не утерпел-таки, вставил Федоска,— не есть ли в гиппокритской ревности, паче нежели в безбожии, ибо и самые афеисты учат, дабы в народе Бог проповедан был: иначе, говорят, вознерадит народ о властях...

Теперь уже весь дом дрожал непрерывною дрожью от натиска бури. Но к звукам этим так привыкли, что не замечали их. Лицо царя было спокойно, и видом своим он успокаивал всех.

Кем-то пущен был слух, что направление ветра изменилось, и есть надежда на скорую убыль воды.

— Видите? — сказал Петр, повеселев.— Нечего было и трусить. Небось, буромётр не обманет!

Он перешел в соседнюю залу и принял участие в танцах.

Когда царь бывал весел, то увлекал и заражал всех своею веселостью. Танцуя, подпрыгивал, притопывал, выделывал коленца — «каприоли», с таким одушевлением, что и самых ленивых разбирала охота пуститься в пляс.

В английском контрдансе дама каждой первой пары придумывала новую фигуру. Княгиня Черкасская поцеловала кавалера своего, Петра Андреевича Толстого, и стащила ему на нос парик, что должны были повторить

за нею все пары, а кавалер стоял при этом неподвижно как столб. Начались возни, хохот, шалости. Резвились как школьники. И веселее всех был Петр.

Только старички по-прежнему сидели в углу своем, слушая завывание ветра, и шептались, и вздыхали, и качали головами.

— Многовертимое плясанье женское,— вспоминал один из них обличение пляски в древних святоотеческих книгах,— людей от Бога отлучает и во дно адово влечет. Смехотворцы отыдут в плач неутешный, плясуны повешены будут за пуп...

Царь подошел к старичкам и пригласил их участвовать в танцах. Напрасно отказывались они, извиняясь неумением и разными немощами — ломотою, одышкою, подагрою — царь стоял на своем и никаких отговорок не слушал.

Заиграли важный и смешной гросфатер. Старички — им дали нарочно самых бойких молоденьких дам — сначала еле двигались, спотыкались, путались и путали других; но, когда царь пригрозил им штрафным стаканом ужасной перцовки, запрыгали не хуже молодых. Зато, по окончании танца, повалились на стулья, полумертвые от усталости, кряхтя, стеная и охая.

Не успели отдохнуть, как царь начал новый, еще более трудный, цепной танец. Тридцать пар, связанных носовыми платками, следовали за музыкантом — маленьким горбуном, который прыгал впереди со скрипкою.

Обошли сначала обе залы флигеля. Потом через галерею вступили в главное здание, и по всему дому, из комнаты в комнату, с лестницы на лестницу, из жилья в жилье, мчалась пляска, с криком, гиком, свистом и хохотом. Горбун, пиликая на скрипке и прыгая неистово, корчил такие рожи, как будто бес обуял его. За ним, в первой паре, следовал царь, за царем остальные, так что, казалось, он ведет их, как связанных пленников, а его самого, царя-великана, водит и кружит маленький бес.

Возвращаясь во флигель, увидели в галерее бегущих навстречу людей. Они махали руками и кричали в ужасе:

— Вода! Вода! Вода!

Передние пары остановились, задние с разбега налетели и смяли передних. Все смешалось. Сталкивались, падали, тянули и рвали платки, которыми были связаны. Мужчины ругались, дамы визжали. Цепь разорвалась. Большая часть, вместе с царем, кинулась назад к выходу из галереи в главное здание. Другая, меньшая, нахо-

дившаяся впереди, ближе к противоположному выходу во флигель, устремилась было туда же, куда и прочие, но не успела добежать до середины галереи, как ставня на одном из окон затрещала, зашаталась, рухнула, посыпались осколки стекол, и вода бушующим потоком хлынула в окно. В то же время, напором сдавленного воздуха снизу, из погреба, с гулами и тресками, подобными пушечным выстрелам, стало подымать, ломать и вспучивать пол.

Петр с другого конца галереи кричал отставшим:

— Назад, назад, во флигель! Небось, лодки пришлю!

Слов не слышали, но поняли знаки и остановились.

Только два человека все еще бежали по наводненному полу. Один из них — Федоска. Он почти добежал до выхода, где ждал его Петр, как вдруг сломанная половица осела, Федоска провалился и начал тонуть. Толстая баба, жена голландского шкипера, задрав подол, перепрыгнула через голову монаха; над черным клобуком мелькнули толстые икры в красных чулках. Царь бросился к нему на помощь, схватил его за плечи, вытащил, поднял и понес, как маленького ребенка, на руках, трепещущего, машущего черными крыльями рясы, с которых струилась вода, похожего на огромную мокрую летучую мышь.

Горбун со скрипкою, добежав до середины галереи, тоже провалился, исчез в воде, потом вынырнул, поплыл. Но в это мгновение рухнула средняя часть потолка и задавила его под развалинами.

Тогда кучка отставших — их было человек десять — видя, что уже окончательно отрезана водою от главного здания, бросилась назад во флигель, как в последнее убежище.

Но и здесь вода настигала. Слышно было, как плещутся волны под самыми окнами. Ставни скрипели, трещали, готовые сорваться с петель. Сквозь разбитые стекла вода проникала в щели, сочилась, брызгала, журчала, текла по стенам, разливалась лужами, затопляла пол.

Почти все потерялись. Только Петр Андреевич Толстой да Вилим Иванович Монс сохранили присутствие духа. Они нашли маленькую, скрытую в стене за шпалерами дверь. За нею была лесенка, которая вела на чердак. Все побежали туда. Кавалеры, даже самые любезные, теперь, когда в глаза глядела смерть, не заботились о дамах; ругали, толкали их; каждый думал о себе.

На чердаке было темно. Пробравшись ощупью среди бревен, досок, пустых бочек и ящиков, забились в самый

дальний угол, несколько защищенный от ветра выступом печной трубы, еще теплой, прижавшись к ней, и некоторое время сидели так в темноте, ошеломленные, оглупелые от страха. Дамы, в легких бальных платьях, стучали зубами от холода. Наконец, Монс решил сойти вниз, не найдет ли помощи.

Внизу конюхи, ступая в воде по колено, вводили в залу хозяйских лошадей, которые едва не утонули в стойлах. Ассамблейная зала превратилась в конюшню. Лошадиные морды отражались в зеркалах. С потолка висели и трепались клочья сорванного полотна с *Ездой на остров любви*. Голые амуры метались, как будто в смертном ужасе. Монс дал конюхам денег. Они достали фонарь, штоф сивухи и несколько овечьих тулупов. Он узнал от них, что из флигеля выхода нет: галерея разрушена; двор залит водою; им самим придется спастись на чердак; ждут лодок, да, видно, не дождутся. Впоследствии оказалось, что посланные царем шлюпки не могли подъехать к флигелю: двор окружен был высоким забором, а единственные ворота завалены обломками рухнувшего здания.

Монс вернулся к сидевшим на чердаке. Свет фонаря их немного ободрил. Мужчины выпили водки. Женщины закутались в тулупы.

Ночь тянулась бесконечно. Под ними весь дом сотрясался от напора волн, как утлое судно перед крушением. Над ними ураган, пролетая то с бешеным ревом и топотом, как стадо зверей, то с пронзительным свистом и шелестом, как стая исполинских птиц, срывал черепицы с крыш. И порой казалось, что вот-вот сорвет он и самую крышу и все унесет. В голосах бури слышались им вопли утопающих. С минуты на минуту ждали они, что весь город провалится.

У одной из дам, жены датского резидента, сделались от испуга такие боли в животе,— она была беременна,— что бедняжка кричала, как под ножом. Боялись, что выкинет.

Юшка Проскуров молился: «Батюшка, Никола Чудотворец! Сергий Преподобный! помилуйте!» И нельзя было поверить, что это тот самый вольнодумец, который давеча доказывал, что никакой души нет.

Михайло Петрович Аврамов тоже трусил, но и злорадствовал.

— С Богом не поспоришь! Праведен гнев Его. Истребился город сей с лица земли, как Содом и Гоморра. Воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть

извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог: конец всякой плоти пришел пред лице Мое. Я наведу на землю потоп водный и истреблю все сущее с лица земли...

И слушая эти пророчества, люди испытывали новый неведомый ужас, как будто наступал конец мира, светопреставление.

В слуховом окне вспыхнуло зарево на черном небе. Сквозь шум урагана послышался колокол. То били в набат. Пришедшие снизу конюхи сказали, что горят избы рабочих и канатные склады в соседней Адмиралтейской слободке. Несмотря на близость воды, пожар был особенно страшен при такой силе ветра: пылающие головни разносились по городу, который мог вспыхнуть каждую минуту со всех концов. Он погибал между двумя стихиями — горел и тонул вместе. Исполнялось пророчество: «Питербурху быть пусту».

К рассвету буря утихла. В прозрачной серости тусклого дня кавалеры в париках, покрытых пылью и паутиною, дамы в робронах и фижмах «на версальский манир», под овечьими тулупами, с посиневшими от холода лицами, казались друг другу привидениями.

Монс выглянул в слуховое окно и увидел там, где был город, безбрежное озеро. Оно волновалось — как будто не только на поверхности, но до самого дна кипело, бурлило, и клокотало, как вода в котле над сильным огнем. Это озеро была Нева — пестрая, как шкура на брюхе змеи, желтая, бурая, черная, с белыми барашками, усталая, но все еще буйная, страшная под страшным, серым как земля и низким небом.

По волнам носились разбитые барки, опрокинутые лодки, доски, бревна, крыши, остовы целых домов, вырванные с корнем деревья, трупы животных.

И жалки были, среди торжествующей стихии, следы человеческой жизни — кое-где над водою торчавшие башни, шпицы, купола, кровли потопленных зданий.

Монс увидел вдали на Неве, против Петропавловской крепости, несколько гребных галер и буеров. Поднял валявшийся на полу чердака длинный шест из тех, которыми гоняют голубей, привязал к нему красную шелковую косынку Настеньки, высунул шест в окно и начал махать, делая знаки, призывая на помощь. Одна из лодок отделилась от прочих и, пересекая Неву, стала приближаться к ассамблейному домику.

Лодки сопровождали царский буер.

Всю ночь работал Петр без отдыха, спасая людей от

воды и огня. Как простой пожарный, лазил на горящие здания; огнем опалило ему волосы; едва не задавило рухнувшей балкою. Помогая вытаскивать убогие пожитки бедняков из подвальных жилищ, стоял по пояс в воде и продрог до костей. Страдал со всеми, ободрял всех. Всюду, где являлся царь, работа кипела так дружно, что ей уступали вода и огонь.

Царевич был с отцом в одной лодке, но всякий раз, как пытался чем-либо помочь, Петр отклонял эту помощь, как будто с брезгливостью.

Когда потушили пожар и вода начала убывать, царь вспомнил, что пора домой, к жене, которая всю ночь провела в смертельной тревоге за мужа.

На возвратном пути захотелось ему подъехать к Летнему саду, взглянуть, какие опустошения сделала вода.

Галерея над Невою была полуразрушена, но Венера цела. Подножие статуи — под водою, так что казалось, богиня стоит на воде, и, Пенорожденная, выходит из волн, но не синих и ласковых, как некогда, а грозных, темных, тяжких, точно железных, Стиксовых волн.

У самых ног на мраморе что-то чернело. Петр посмотрел в подзорную трубу и увидел, что это человек. По указу царя, солдат днем и ночью стоял на часах у драгоценной статуи. Настигнутый водою и не смея бежать, он взлез на подножие Венеры, прижался к ногам ее, обнял их, и так просидел, должно быть, всю ночь, окоченелый от холода, полумертвый от усталости.

Царь спешил к нему на помощь. Стоя у руля, правил буер наперерез волнам и ветру. Вдруг налетел огромный вал, хлестнул через борт, обдал брызгами и накренил судно так, что, казалось, оно опрокинется. Но Петр был опытный кормчий. Упираясь ногами в корму, налегая всею тяжестью тела на руль, побеждал он ярость волн и правил твердою рукою прямо к цели.

Царевич взглянул на отца и вдруг почему-то вспомнил то, что слышал однажды в беседе «на подпитках» от своего учителя Вяземского:

— Федос, бывало, с певчими при батюшке твоем поют: *Где хочет Бог, там чин естества побеждается* — и тому подобные стихи; и то-де поют, льстя отцу твоему: любо ему, что его с Богом равняют; а того не рассудит, что не только от Бога,— но и от бесов чин естества побеждается: бывают и чуда бесовские!

В простой шкиперской куртке, в кожаных высоких сапогах, с развевающимися волосами,— шляпу только что

сорвало ветром — исполинский Кормчий глядел на потопленный город — и ни смущения, ни страха, ни жалости не было в лице его, спокойном, твердом, точно из камня изваянном — как будто, в самом деле, в этом человеке было что-то нечеловеческое, над людьми и стихиями властное, сильное, как рок. Люди смирятся, ветры утихнут, волны отхлынут — и город будет там, где он велел быть городу, *ибо чин естества побеждается, где хочет...*

«Кто хочет?» — не смея кончить, спросил себя царевич: «Бог или бес?»

Несколько дней спустя, когда обычный вид Петербурга уже почти скрыл следы наводнения, Петр писал в шутливом послании к одному из птенцов своих:

«На прошлой неделе ветром вест-зюйд-вестом такую воду нагнало, какой, сказывают, не бывало. У меня в хоромах было сверху пола 21 дюйм; а по огороду и по другой стороне улицы свободно ездили в лодках. И зело было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа сидели, не только мужики, но и бабы. Вода, хотя и зело велика была, а беды большой не сделала».

Письмо было помечено: *Из Парадиза.*

II

Петр заболел. Простудился во время наводнения, когда, вытаскивая из подвалов имущество бедных, стоял по пояс в воде. Сперва не обращал внимания на болезнь, перемогался на ногах; но 15 ноября слег, и лейб-медик Блюментрост объявил, что жизнь царя в опасности.

В эти дни судьба Алексея решалась. В самый день похорон кронпринцессы, 28 октября, возвратясь из Петропавловского собора в дом сына для поминальной трапезы, Петр отдал ему письмо, «объявление сыну моему», в котором требовал его немедленного исправления, под угрозой жестокого гнева и лишения наследства.

— Не знаю, что делать,— говорил царевич приближенным,— нищету ли принять, да с нищими скрыться до времени, отойти ли куда в монастырь, да быть с дьячками, или отъехать в такое царство, где приходящих принимают и никому не выдают?

— Иди в монахи,— убеждал адмиралтейц-советник Александр Кикин, давний сообщник и поверенный Алек-

сея.— Клобук не прибит к голове гвоздем: можно его и снять. Тебе покой будет, как ты от всего отстанешь...

— Я тебя у отца с плахи снял,— говорил князь Василий Долгорукий.— Теперь ты радуйся, дела тебе ни до чего не будет. Давай писем отрицательных хоть тысячу Еще когда что́ будет; старая пословица: улита едет, коли-то будет. Это не запись с неустойкою...

— Хорошо, что ты наследства не хочешь,— утешал князь Юрий Трубецкой.— Рассуди, чрез золото слезы не текут ли?..

С Кикиным у царевича были многие разговоры о бегстве в чужие края, «чтоб остаться там где-нибудь, ни для чего иного, только бы прожить, отдалясь от всего, в покое».

— Коли случай будет,— советовал Кикин,— поезжай в Вену к цесарю. Там не выдадут. Цесарь сказал, что примет тебя как сына. А не то к папе, либо ко двору французскому. Там и королей под своею протекцией держат, а тебя бы им было не великое дело...

Царевич слушал советы, но ни на что не решался и жил изо дня в день, «до воли Божьей».

Вдруг все изменилось. Смерть Петра грозила переворотом в судьбах не только России, но и всего мира. Тот, кто вчера хотел скрыться с нищими, мог завтра вступить на престол.

Внезапные друзья окружили царевича, сходились, шептались, шушукались.

— Ждем подождем, а что-то будет.

— Вынется — сбудется,— а сбудется — не минуется.

— Доведется и нам свою песенку спеть.

— И мыши на погост кота волокут.

В ночь с 1 на 2 декабря царь почувствовал себя так дурно, что велел позвать духовника, архимандрита Федоса, исповедался и приобщился. Екатерина и Меншиков не выходили из комнаты больного. Резиденты иностранных дворов, русские министры и сенаторы ночевали в покоях Зимнего дворца. Когда поутру приехал царевич узнать о здоровье государя, тот не принял его, но, по внезапному безмолвию расступившейся толпы, по раболепным поклонам, по ищущим взорам, по бледным лицам, особенно мачехи и светлейшего, Алексей понял, как близко то, что всегда казалось ему далеким, почти невозможным. Сердце у него упало, дух захватило, он сам не знал отчего — от радости или ужаса.

В тот же день вечером посетил Кикина и долго бесе-

довал с ним наедине. Кикин жил на конце города, прямо против Охтенских слобод, недалеко от Смольного двора. Оттуда поехал домой.

Сани быстро неслись по пустынному бору и столь же пустынным, широким улицам, похожим на лесные просеки, с едва заметным рядом темных бревенчатых изб, занесенных снежными сугробами. Луны не было видно, но воздух пропитан был яркими лунными искрами, иглами. Снег не падал сверху, а снизу клубился по ветру столбами, курился как дым. И светлая лунная вьюга играла, точно пенилась, в голубовато-мутном небе, как вино в чаше.

Он вдыхал морозный воздух с наслаждением. Ему было весело, словно в душе его тоже играла светлая вьюга, буйная, пьяная и опьяняющая. И как за вьюгой луна, так за его весельем была мысль, которой он сам еще не видел, боялся увидеть, но чувствовал, что это ему от нее так пьяно, страшно и весело.

В заиндевелых окнах изб, под нависшими с кровель сосульками, как пьяные глаза под седыми бровями, тускло рдели огоньки в голубоватой лунной мгле. «Может быть,— подумал он, глядя на них,— там теперь пьют за меня, *за надежду Российскую!*» И ему стало еще веселее.

Вернувшись домой, сел у камелька с тлеющими углями и велел камердинеру Афанасьичу приготовить жженку. В комнате было темно; свечей не приносили; Алексей любил сумерничать. В розовом отсвете углей забилось вдруг синее сердце спиртового пламени. Лунная вьюга заглядывала в окна голубыми глазами сквозь прозрачные цветы мороза, и казалось, что там, за ними, тоже бьется живое огромное синее пьяное пламя.

Алексей рассказывал Афанасьичу свою беседу с Кикиным: то был план целого заговора, на случай если бы пришлось бежать и, по смерти отца, которой он чаял быть вскоре — у царя-де болезнь эпилепсия, а такие люди не долго живут — вернуться в Россию из чужих краев: министры, сенаторы — Толстой, Головкин, Шафиров, Апраксин, Стрешнев, Долгорукие — все ему друзья, все к нему пристали бы — Боур в Польше, архимандрит Печерский на Украйне, Шереметев в главной армии:

— Вся от Европы граница была бы моя!

Афанасьич слушал со своим обычным, упрямым и угрюмым видом: хорошо поешь, где-то сядешь?

— А Меншиков?—спросил он, когда Алексей кончил.

— А Меншикова на кол!

Старик покачал головою:

— Для чего, государь-царевич, так продерзливо говоришь? А ну, кто прислушает, да пронесут? В совести твоей не кляни князя и в клети ложницы твоей не кляни богатого, яко птица небесная донесет...

— Ну, пошел брюзжать! — махнул рукою царевич с досадою и все-таки с неудержимою веселостью.

Афанасьич рассердился:

— Не брюзжу, а дело говорю! Хвали сон, когда сбудется. Изволишь, ваше высочество, строить гишпанские замки. Нашего мизерства не слушаешь. Иным веришь, а они тебя обманывают. Иуда Толстой, да Кикин безбожник — предатели! Берегись, государь: им тебя не первого кушать...

— Плюну я на всех: здорова бы мне чернь была! — воскликнул царевич.— Когда будет время без батюшки — шепну архиереям, архиереи приходским священникам, а священники прихожанам. Тогда учинят меня царем и нехотя!

Старик молчал, все с тем же упрямым и угрюмым видом: хорошо поешь, где-то сядешь?

— Что молчишь? — спросил Алексей.

— Что мне говорить, царевич? Воля твоя, а чтоб от батюшки бежать, я не советчик.

— Для чего?

— Того ради: когда удастся, хорошо; а если не удастся, ты же на меня будешь гневаться. Уж и так от тебя принимали всячину. Мы люди темненькие, шкурки на нас тоненькие...

— Однако же, ты смотри, Афанасьич, никому про сие не сказывай. Только у меня про это ты знаешь, да Кикин. Буде скажешь, тебе не поверят; я запруся, а тебя станут пытать...

О пытке царевич прибавил в шутку, чтобы подразнить старика.

— А что, государь, когда царем будешь, да так говорить и делать изволишь — верных слуг пыткой стращать?

— Небось, Афанасьич! Коли будем царем, честью вас всех удовольствую... Только мне царем не быть,— прибавил он тихо.

— Будешь, будешь! — возразил старик с такою уверенностью, что у Алексея опять, как давеча, дух захватило от радости.

Бубенчики, скрип саней по снегу, лошадиное фырканье и голоса послышались под окнами. Алексей переглянулся

с Афанасьичем: кто мог быть в такой поздний час? Уж не из дворца ли, от батюшки?

Иван побежал в сени. Это был архимандрит Федос. Царевич, увидев его, подумал, что отец умер — и так побледнел, что, несмотря на темноту, монах заметил это, благословляя его, и чуть-чуть усмехнулся.

Когда они остались с глазу на глаз, Федоска сел у камелька против царевича и, молча поглядывая на него, все с тою же, едва заметною усмешкою, начал греть озябшие руки над углями, то разгибая, то сгибая кривые пальцы, похожие на птичьи когти.

— Ну, что, как батюшка? — проговорил, наконец, Алексей, собравшись с духом.

— Плохо,— тяжело вздохнул монах,— так плохо, что и в живых быть не чаем...

Царевич перекрестился:

— Воля Господня.

— Видех человека, яко кедры Ливанские,— заговорил Федос нараспев, по-церковному,— мимо идох — и се не бе. Изыдет дух его и возвратится в землю свою; в той же день погибнут все помышления его...

Но вдруг оборвал, приблизил крошечное сморщенное личико свое к самому лицу Алексея и зашептал быстрым-быстрым, вкрадчивым шепотом:

— Бог долго ждет, да больно бьет. Болезнь государю пришла смертельная от безмерного пьянства, женонеистовства и от Божиего отмщения за посяжку на духовный и монашеский чин, который хотел истребить. Доколе тиранство будет над церковью, дотоле добра ждать нечего. Какое тут христианство! Нешто турецкая хочет быть вера, но и в турках того не делается. Пропащее наше государство!..

Царевич слушал и не верил ушам своим. Всего ожидал он от Федоскиной наглости, только не этого.

— Да вы-то сами, архиереи, церкви Российской правители, чего смотрите? Кому бы и стоять за церковь, как не вам? — произнес он, глядя в упор на Федоску.

— И, полно, царевич! Какие мы правители? Архиереи наши так взнузданы, что куда хошь поведи. Что земские ярыжки, наставлены. От кого чают, того и величают. И так, и сяк готовы в один час перевернуться. Не архиереи, а шушера...

И, опустив голову, прибавил он тихо, как будто про себя — Алексею послышался голос веков в этом тихом слове монаха:

— Были мы орлы, а стали ночные нетопыри!

В черном клобуке, с черными крыльями рясы, с безобразным востреньким личиком, озаренный снизу красным отсветом потухающих углей, он, в самом деле, походил на огромного нетопыря. Только в умных глазах тускло тлел огонь, достойный орлиного взора.

— Не тебе бы говорить, не мне бы слушать, ваше преподобие! — не выдержав, наконец, воскликнул царевич.— Кто церковь царству покорил? Кто люторские обычаи в народ вводить, часовни ломать, иконы ругать, монашеский чин разорять царю приговаривал? Кто ему разрешает на вся?..

Вдруг остановился. Монах глядел на царевича таким пристальным, пронзающим взором, что ему стало жутко. Уж не хитрость ли, не ловушка ли все это? Не подослан ли к нему Федос шпионом от Меншикова, или от самого батюшки?

— А знаешь ли, ваше высочество,— начал Федоска, прищурив один глаз, с бесконечно лукавой усмешкой,— знаешь ли фигуру, в логике именуемую reducto ad absurdum, сведение к нелепому? Вот это самое я и делаю. Царь на церковь наступил, да явно бороть не смеет, исподтишка разоряет, гноит, да гношит. А по мне, ломать — так ломай! Что делаешь, делай скорее. Лучше прямое люторство, нежели кривое православие; лучше прямое атейство, нежели кривое люторство. Чем хуже, тем лучше! К тому и веду. Чтó царь начинает, то я кончаю; что на ухо шепчет, то я во весь народ кричу. Им же самим его обличаю: пусть ведают все, как церковь Божия поругана. Слюбится — стерпится, а не слюбится — дождемся поры, так и мы из норы. Отольются кошке мышкины слезки!..

— Ловко! — рассмеялся царевич, почти любуясь Федоскою и не веря ни единому его слову.— Ну и хитер же ты, отче, как бес...

— А ты, государь, не гнушайся и бесами. Нехотя черт Богу служит...

— С чертом, ваше преподобие, себя равняешь?

— Политик я,— скромно возразил монах.— С волками жить, по-волчьи выть. Диссимуляцию не только учителя политичные в первых царствования полагают регулах, но и сам Бог политике нас учит: яко рыбарь облагает удильный крюк червем, так обложил Господь Дух Свой Плотью Сына и впустил уду в пучину мира и прехитрил, и уловил врага-диавола. Богопремудрое коварство! Небесная политика!

— А что, отче святый, в Бога ты веруешь? — опять посмотрел на него царевич в упор.

— Какая же, государь, политика без церкви, а церковь без Бога? *Несть, бо власть, аще не от Бога...*

И странно, не то дерзко, не то робко, хихикнув, прибавил:

— А ведь и ты умен, Алексей Петрович! Умнее батюшки.. Батюшка, хотя и умен, да людей не знает — мы его, бывало, частехонько за нос поваживаем. А ты умных людей знать будешь лучше... Миленький!..

И вдруг, наклонившись, поцеловал руку царевича так быстро и ловко, что тот не успел ее отдернуть, только весь вздрогнул.

Но, хотя он и почувствовал, что лесть монаха — мед на ноже, все же сладок был этот мед. Он покраснел и, чтобы скрыть смущение, заговорил с притворною суровостью:

— Смотри-ка ты, брат Федос, не сплошай! Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить. Ты-де царя батюшку, словно кошка медведя, задираешь лапою, а как медведь тот, обратясь, да давнет тебя — и дух твой не попахнет!..

Личико Федоски болезненно сморщилось, глаза расширились, и, оглядываясь, точно кто-то стоял у него за спиною, зашептал он, как давеча, быстрым, бессвязным, словно горячечным шепотом:

— Ох, миленький, ох, страшно, и то! Всегда я думал, что мне от *его* руки смерть будет. Как еще в младых летах приехал на Москву с прочею шляхтою, и приведены в палату и пожалованы к ручке, кланялся я дяде твоему, царю Иоанну Алексеевичу; а как пришел до руки царя Петра Алексеевича — такой на меня страх напал, такой страх, что колена потряслися, едва стою, и от сего времени всегда рассуждал, что мне от той же руки смерть будет!..

Он и теперь весь дрожал от страха. Но ненависть была сильнее страха. Он заговорил о Петре так, что Алексею почудилось, будто Федоска не лжет, или не совсем лжет. В мыслях его узнавал он свои собственные самые тайные, злые мысли об отце:

— Великий, говорят, великий государь! А в чем его величество? Тиранским обычаем царствует. Топором да кнутом просвещает. На кнуте далеко не уедешь. И топор — инструмент железный — не велика диковинка: дать две гривны! Все-то заговоров, бунтов ищет. А того не видит, что весь бунт от него. Сам он первый бунтовщик и есть. Ломает, валит, рубит с плеча, а все без толку. Сколько людей переказнено, сколько крови пролито! А воровство

не убывает. Совесть в людях незавязанная. И кровь не вода — вопиет о мщении. Скоро, скоро снидет гнев Божий на Россию, и как станет междоусобие, тут-то и увидят все, от первых до последних; такая раскачка пойдет, такое глав посечение, что только — швык — швык — швык...

Он проводил рукою по горлу и «швыкал», подражая звуку топора.

— И тогда-то, из великих кровей тех, выйдет церковь Божия, омытая, паче снега убеленная, яко Жена, солнцем одеянная, над всеми царящая...

Алексей глядел на лицо его, искаженное яростью, на глаза, горевшие диким огнем,— и ему казалось, что перед ним сумасшедший. Он вспомнил рассказ одного из келейников Лаврских: «бывает над ним, отцом Феодосием, меленколия, и мучим бесом, падает на землю, и что́ делает, сам не помнит».

— Сего я чаял, к сему и вел,— заключил монах.— Да сжалился, видно, Бог над Россией: царя казнил, народ помиловал. Тебя нам послал, тебя, избавитель ты наш, радость наша, дитятко светлое, церковное, благочестивый государь Алексей Петрович, самодержец всероссийский, ваше величество!..

Царевич вскочил в ужасе. Федоска тоже встал, повалился ему в ноги, обнял их и возопил с неистовою и непреклонною, точно грозящею, мольбою:

— Призри, помилуй раба твоего! Все, все, все тебе отдам! Отцу твоему не давал, сам хотел для себя, сам думал патриархом быть; а теперь не хочу, не надо мне, не надо ничего!.. Все — тебе, миленький, радость моя, друг сердечный, свет-Алешенька! Полюбил я тебя!.. Будешь царем и патриархом вместе! Соединишь земное и небесное, венец Константинов, Белый Клобук с венцом Мономаховым! Будешь больше всех царей на земле! Ты — первый, ты — один! Ты, да Бог!.. А я — раб твой, пес твой, червь у ног твоих, Федоска мизерный! Ей, ваше величество, яко самого Христа ножки твои объемля, кланяюсь!

Он поклонился ему до земли, и черные крылья рясы распростерлись, как исполинские крылья нетопыря, и алмазная панагия с портретом царя и распятием, ударившись об пол, звякнула. Омерзение наполнило душу царевича, холод пробежал по телу его, как от прикосновения гадины. Он хотел оттолкнуть его, ударить, плюнуть в лицо; но не мог пошевелиться, как будто в оцепенении страшного сна. И ему казалось, что уже не плут «Федоска мизерный», а кто-то сильный, грозный, царственный лежит

у ног его — тот, кто был орлом и стал ночным нетопырем — не сама ли Церковь, Царству покоренная, обесчещенная? И сквозь омерзение, сквозь ужас безумный восторг, упоение властью кружили ему голову. Словно кто-то подымал его на черных исполинских крыльях ввысь, показывал все царства мира и всю славу их и говорил: *Все это дам тебе, если падши поклонишься мне.*

Угли в камельке едва рдели под пеплом. Синее сердце спиртного пламени едва трепетало. И синее пламя лунной вьюги померкло за окнами. Кто-то бледными очами заглядывал в окна. И цветы мороза на стеклах белели, как призраки мертвых цветов.

Когда царевич опомнился, никого уже не было в комнате. Федоска исчез, точно сквозь землю провалился, или рассеялся в воздухе.

«Что он тут врал? что он бредил? — подумал Алексей, как будто просыпаясь от сна.— Белый Клобук... Венец Мономахов... Сумасшествие, меленколия!.. И почем он знает, почем знает, что отец умрет? Откуда взял? Сколько раз в живых быть не чаяли, а Бог миловал»...

Вдруг вспомнил слова Кикина из давешней беседы:

— Отец твой не болен тяжко. Исповедывается и причащается нарочно, являя людям, что гораздо болен, а все притвор; тебя и других испытывает, каковы-то будете, когда его не станет. Знаешь басню: собралися мыши кота хоронить, скачут, пляшут, а он как прыгнет, да цапнет — и пляска стала... Что же причащается, то у него закон на свою стать, не на мышиную...

Тогда от этих слов что-то стыдное и гадкое кольнуло царевичу сердце. Но он пропустил их мимо ушей нарочно: уж очень ему было весело, ни о чем не хотелось думать.

«Прав Кикин! — решил он теперь, и словно чья-то мертвая рука сжала сердце.— Да, все — притвор, обман, диссимуляция, чертова политика, игра кошки с мышкою. Как прыгнет, да цапнет... Ничего нет, ничего не было. Все надежды, восторги, мечты о свободе, о власти — только сон, бред, безумие»...

Синее пламя в последний раз вспыхнуло и потухло. Наступил мрак. Один только рдеющий под пеплом уголь выглядывал, точно подмигивал, смеясь, как лукаво прищуренный глаз. Царевичу стало страшно; почудилось, что Федоска не уходил, что он все еще тут, где-то в углу — притаился, пришипился и вот-вот закружит, зашуршит, зашелестит над ним черными крыльями, как нетопырь,

и зашепчет ему на ухо: *Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она передана мне, и я, кому хочу, даю ее...*

— Афанасьич! — крикнул царевич.— Огня! Огня скорее!

Старик сердито закашлял и заворчал, слезая с теплой лежанки.

«И чему обрадовался? — спросил себя царевич в первый раз за все эти дни с полным сознанием.— Неужели?..»

Афанасьич, шлепая босыми ногами, внес нагоревшую сальную свечку. Прямо в глаза Алексею ударил свет, после темноты, ослепительный, режущий.

И в душе его как будто блеснул свет: вдруг увидел он то, чего не хотел, не смел видеть — от чего ему было так весело — надежду, что отец умрет.

III

— Помнишь, государь, как в селе Преображенском, в спальне твоей, перед святым Евангелием, спросил я тебя: будешь ли меня, отца своего духовного, почитать за ангела Божия и за апостола, и за судию дел своих, и веруешь ли, что и я, грешный, такую же имею власть священства, коей вязать и разрешать могу, какую даровал Христос апостолам? И ты отвечал: верую.

Это говорил царевичу духовник его, протопоп собора Спаса-на-Верху в Кремле, отец Яков Игнатьев, приехавший в Петербург из Москвы, три недели спустя после свидания Алексея с Федосом.

Лет десять назад, о. Яков для царевича был тем же, что для деда его, Тишайшего царя Алексея Михайловича, патриарх Никон. Внук исполнил завет деда: «Священство имейте выше главы своей, со всяким покорением, без всякого прекословия; священство выше царства». Среди всеобщего поругания и порабощения церкви, сладко было царевичу кланяться в ноги смиренному попу Якову. В лице пастыря видел он лицо самого Господа и верил, что Господь — Глава над всеми главами, Царь над всеми царями. Чем самовластнее был о. Яков, тем смиреннее царевич, и тем слаще ему было это смирение. Он отдавал отцу духовному всю ту любовь, которую не мог отдать отцу по плоти. То была дружба ревнивая, нежная, страстная, как бы влюбленная. «Самим истинным Богом свидетельствуюсь, не имею во всем Российском государстве такого друга, кро-

ме вашей святыни,— писал он о. Якову из чужих краев.— Не хотел бы говорить сего, да так и быть, скажу: дай Боже вам долговременно жить; но если бы вам переселение от здешнего века к будущему случилось, то уже мне весьма в Российское государство не желательно возвращение».

Вдруг все изменилось.

У о. Якова был зять, подьячий Петр Анфимов. По просьбе духовника, царевич принял к себе на службу Анфимова и поручил ему управление своей Порецкою вотчиною в Алаторской волости Нижегородского края. Подьячий разорил мужиков самоуправством и едва не довел их до бунта. Много раз били они челом царевичу, жаловались на Петьку-вора. Но тот выходил сух из воды, потому что о. Яков покрывал и выгораживал зятя. Наконец, мужики догадались послать ходока в Петербург к своему земляку и старому приятелю, царевичеву камердинеру, Ивану Афанасьевичу. Иван ездил сам в Порецкую вотчину, расследовал дело и, вернувшись, донес о нем так, что не могло быть сомнения в Петькиных плутнях и даже злодействах, а главное, в том, что о. Яков знал о них. Это был жестокий удар для Алексея. Не за себя и не за крестьян своих, а за церковь Божию, поруганную, казалось ему, в лице недостойного пастыря, восстал царевич. Долго не хотел видеть о. Якова, скрывал свою обиду, молчал, но наконец не выдержал.

Под кличкою о. Ада, вместе с Жибандою, Засыпкою, Захлюсткою и прочими собутыльниками, участвовал протопоп в «кумпании», «всепьянейшем соборе» царевича, малом подобии большого батюшкина собора. На одной из попоек Алексей стал обличать русских иереев, называя их «Иудами предателями», «христопродавцами».

— Когда-то восстанет новый Илья пророк, дабы сокрушить вам хребет, жрецы Вааловы! — воскликнул он, глядя прямо в глаза о. Якову.

— Непотребное изволишь говорить, царевич,— начал было тот со строгостью.— Не довлеет тебе так укорять и озлоблять нас, ничтожных своих богомольцев...

— Знаем ваши молитвы,— оборвал его Алексей,— «Господи, прости да и в клеть пусти, помоги нагрести, да и вынести». Хорошо сделал батюшка, царь Петр Алексеевич — пошли ему Господь здоровья — что поубавил вам пуху, длинные бороды! Не так бы вас еще надо, фарисеи, лицемеры, порождения ехиднины, гробы повапленные!..

Отец Яков встал из-за стола, подошел к царевичу и спросил торжественно:

— Кого разумеешь, государь? Не наше ли смирение?..

В эту минуту «велелепнейший отец протопресвитер Верхоспасский» похож был на патриарха Никона; но сын Петра уже не был похож на Тишайшего царя Алексея Михайловича.

— И тебя,— ответил царевич, тоже вставая и по-прежнему глядя в упор на о. Якова,— и тебя, батька, из дюжины не выкинешь! И ты черту душу продал, поискал Иисуса не для Иисуса, а для хлеба куса. Чего гордынею дуешься? В патриархи, небось, захотелось? Так не та, брат, пора. Далеко кулику до Петрова дня! Погоди, ужо низринет тебя Господь от Златой Решетки, что у Спаса-на-Верху, пятами вверх, да рожей вниз — прямо в грязь, в грязь, в грязь!..

Он прибавил непристойное ругательство. Все расхохотались. У о. Якова в глазах потемнело; он был тоже пьян, но не столько от вина, сколько от гнева.

— Молчи, Алешка! — крикнул он.— Молчи, щенок!..

О. Яков весь побагровел, затрясся, поднял обе руки над головой царевича и тем самым голосом, которым некогда, в Благовещенском соборе, будучи протодиаконом, возглашал с амвона анафему еретикам и отступникам, крикнул:

— Прокляну! Прокляну! Властью, данною нам от самого Господа через Петра Апостола...

— Чего, поп, глотку дерешь? — возразил царевич со злобною усмешкою.— Не Петра Апостола, а Петра Анфимова, подьячего, вора, зятюшку своего родного помилуй! Он в тебе и сидит, он из тебя и вопит — Петька хам, Петька бес!..

О. Яков опустил руку и ударил Алексея по щеке — «заградил уста нечестивому».

Царевич бросился на него, одною рукою схватил за бороду, другою уже искал ножа на столе. Искривленное судорогою, бледное, с горящими глазами, лицо Алексея вдруг стало похоже мгновенным, страшным и точно нездешним, призрачным сходством на лицо Петра. Это был один из тех припадков ярости, которые иногда овладевали царевичем, и во время которых он способен был на злодейство.

Собутыльники вскочили, кинулись к дерущимся, схватили их за руки, за ноги и, после многих усилий, оттащили, розняли.

Ссора эта, как и все подобные ссоры, кончилась ничем: кто, мол, пьян не живет; дело привычное, напьются — подерутся, проспятся — помирятся. И они помирились. Но

прежней любви уже не было. Никон пал при внуке, точно так же, как при деде.

О. Яков был посредником между царевичем и целым тайным союзом, почти заговором врагов Петра и Петербурга, окружавших «пустынницу», опальную царицу Авдотью, заточенную в Суздале. Когда пришла весть о смертельной, будто бы, болезни царя, о. Яков поспешил в Петербург, по поручению из Суздаля, где ожидали великих событий со вступлением Алексея на престол.

Но к приезду протопопа все изменилось. Царь выздоравливал, и так быстро, что исцеление казалось чудесным, или болезнь мнимою. Исполнилось предсказание Кикина: кот Котабрыс вскочил — и стала мышиная пляска, бросились все врассыпную, попрятались опять в подполье. Петр достиг цели, узнал, какова будет сила царевича, если он, государь, действительно умрет.

До Алексея доходили слухи, что отец на него в жестоком гневе. Кто-то из шпионов — не сам ли Федос? — шепнул, будто бы, отцу, что царевич изволил веселиться о смерти батюшки, лицом-де был светел и радостен, точно именинник.

Опять вдруг все его покинули, отшатнулись от него, как от зачумленного. Опять с престола на плаху. И он знал, что теперь ему уже не будет пощады. Со дня на день ждал страшного свидания с отцом.

Но страх заглушали ненависть и возмущение. Гнусным казался ему весь этот обман, «диссимуляция», кошачья хитрость, кощунственная игра со смертью. Припоминалась и другая «диссимуляция» батюшки: письмо с угрозою лишения наследства, «объявление сыну моему», переданное в самый день смерти кронпринцессы Шарлотты, 22 октября 1715 года, подписано было 11 того же октября, то есть как раз накануне рождения у царевича сына, Петра Алексеевича. Тогда не обратил он внимания на эту подмену чисел. Но теперь понял, какая тут хитрость: после того, как родился у него сын, нельзя было батюшке не упомянуть о нем в Объявлении, нельзя было грозить безусловным лишением наследства, когда явился новый наследник. Подлогом чисел дан вид законный беззаконию.

Царевич усмехнулся горькой усмешкой, когда вспомнил, как батюшка любил казаться человеком правдивым.

Все простил бы он отцу — все великие неправды и злодейства — только не эту маленькую хитрость.

В этих мыслях и застал царевича о. Яков. Алексей обрадовался ему в своем одиночестве, как и всякой живой душе. Но в протопопе силен был дух Никона: чувствуя,

что царевич теперь более, чем когда-либо, нуждается в помощи его, он решил напомнить ему старую обиду.

— Ныне же, государь-царевич,— продолжал о. Яков,— то обещание свое, данное нам в Преображенском, пред святым Евангелием, уничтожил ты, в игру или в глумление вменил. Имеешь меня не за ангела Божия и не за Апостола Христова и за судию дел твоих, но сам судишь нас, уязвляешь словами ругательными. И по делу зятя нашего Петра Анфимова с мужиками порецкими, плач многий в домишко наш водворил, и меня, отца своего духовного, за бороду драл, чего милости твоей чинить не надлежало, за страх Бога живого. Хотя грешен и скверен есмь — но служитель пречистому Телу и Крови Господней. Имеем же о том судиться, с тобою, чадо, пред Царем царствующих, в день второго пришествия, где нет лицеприятия. Когда земная власть изнеможет, там и царь как един от убогих предстанет...

Царевич поднял на него глаза молча, но с таким выражением не скорби, не отчаяния, а бесчувственной, точно мертвой, пустоты, что о. Яков вдруг замолчал. Понял, что теперь сводить старые счеты не время. Он был человек добрый и Алексея любил как родного.

— Ну, Бог простит, Бог простит,— договорил он.— И ты, дружок, прости меня, грешного...

Потом прибавил, заглядывая в лицо его, с нежною тревогою:

— Да что ты такой скучный, Алешенька?..

Царевич опустил голову и ничего не ответил.

— А я тебе гостинец привез,—усмехнулся с веселым и таинственным видом о. Яков,—письмецо от матушки. Ездил нынче к *пустынным*. Тамошняя радость весьма обвеселила; были паки видения, гласы — скоро-де, скоро совершится...

Он полез в карман за письмом.

— Не надо,— остановил его царевич,— не надо, Игнатьич! Лучше не показывай. Что пользы? И без того тяжко. Еще пронесут — отец узнает. Смотрельщиков за нами много. Не езди ты к пустынным и писем ко мне впредь не вози. Не надо...

О. Яков посмотрел на него опять долго и пристально. «Вот до чего довели,— подумал,— сын от матери, кровь от крови отрекается!»

— Аль плохо у батюшки? — спросил он шепотом.

Алексей махнул рукою и еще ниже опустил голову.

О. Яков понял все. Слезы навернулись на глазах старика. Он склонился к царевичу и положил одну руку

на руку его, другою начал ему гладить волосы, с тихою ласкою, как больному ребенку, приговаривая:

— Что ты, светик мой? Что ты, родненький? Господь с тобою! Коли есть на сердце что, скажи, не таись — легче будет, вместе рассудим. Я ведь батька твой. Хоть и грешен, а может, умудрит Господь...

Царевич все еще молчал, отвертывался. Но вдруг лицо его сморщилось, губы задрожали. С глухим бесслезным рыданием упал он к ногам отца Якова:

— Тяжко мне, батюшка, тяжко!.. Не знаю, что и делать... Сил больше нет... Я ведь отцу моему...

И не кончил, как будто сам испугался того, что хотел сказать.

— Пойдем в крестовую! Пойдем скорее! Там все скажу. Исповедаться хочу. Рассуди меня, отче, с отцом перед Господом!..

В крестовой, маленькой комнатке рядом со спальней, стены уставлены были сплошь старинными иконами в золотых и серебряных, усыпанных дорогими камнями, окладах — наследием царя Алексея Михайловича. Ни один луч дневного света не проникал сюда; в вечном сумраке теплились неугасимые лампады.

Царевич стал на колени перед аналоем, на котором лежало Евангелие. О. Яков, облаченный в ризы, торжественный, как будто весь преобразившийся — лицо у него было вблизи самое простое, мужицкое, несколько отяжелевшее, обрюзгшее от старости, но издали все еще благообразное, напоминавшее лик Христа на древних иконах,— держал крест и говорил:

— Се, чадо, Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое; не усрамися, ниже убойся и да не скроеши что от мене, но не обинуяся рцы вся, елика соделал еси, да приемлеши оставление от Господа нашего Иисуса Христа.

И по мере того, как, называя грехи, один за другим, по чину исповеди, духовный отец спрашивал, и кающийся отвечал,— ему становилось все легче и легче, словно кто-то сильный снимал с души его бремя за бременем, кто-то легкий легкими перстами прикасался к язвам совести — и они исцелялись. Сладко ему было и страшно; сердце горело, как будто не о. Яков стоял перед ним, а сам Христос.

— Рцы ми, чадо, не убил ли еси человека волею или неволею?

Это был тот вопрос, которого ждал и боялся царевич.

— Грешен, отче,— пролепетал он чуть слышно,— не делом, не словом, но помышлением. Я отцу моему...

И опять, как давеча, остановился, словно сам испу-

гавшись того, что хотел сказать. Но всевидящий взор проникал в самую тайную глубину его сердца. От этого взора нельзя было скрыть ничего.

С усилием, дрожа и бледнея, обливаясь холодным потом, он кончил:

— Когда батюшка был болен, я ему смерти желал.

И весь сжался, съежился, опустил голову, закрыл глаза, чтобы не видеть Того, Кто стоял перед ним, замер от ужаса, как будто ждал, что раздастся слово, подобное грому небесному — последнее осуждение или оправдание, как на Страшном суде.

И вдруг знакомый, обыкновенный, человеческий голос о. Якова произнес:

— Бог тебя простит, чадо. Мы и все ему желаем смерти.

Царевич поднял голову, открыл глаза и увидел то же знакомое, обыкновенное, человеческое, совсем не страшное лицо — тонкие морщинки около добрых и немного хитрых карих глаз, бородавку с тремя волосками на круглой пухлой щеке, рыжеватую с проседью бороду — ту самую, за которую некогда он таскал батьку, пьяный, во время драки. Поп как поп — ничего и никого не было за ним. Но если бы, в самом деле, разразился над царевичем гром, он бы, кажется, был меньше поражен, чем этими простыми словами: «Бог тебя простит. Мы и все ему желаем смерти».

А священник продолжал, как ни в чем не бывало, спрашивать по чину Требника:

— Рцы ми, чадо: не ял ли еси мертвечины, или крове, или удавленное, или волкохищное, или птицею пораженное? Не осквернился ли еси от иного чесоже, яже заповедана суть в священных правилах? Или во святую четыредесятницу, или в среду, или в пяток — от масла или сыра?

— Отче! — воскликнул царевич.— Велик мой грех, видит Бог, велик...

— Оскоромился? — спросил о. Яков с тревогою.

— Не о том я, отче! Я о государе батюшке. Как же так? Ведь родной я ему, родной сын, кровь от крови. Смерти сын отцу пожелал. А кто кому смерти желает, тот того убийца. Мысленный есмь отцеубийца. Страшно, Игнатьич, страшно. Ей, отче, яко самому Христу, тебе исповедуюсь. Рассуди, помоги, помилуй, Господи!..

Отец Яков посмотрел на него сначала с удивлением, потом с гневом.

— Что на отца по плоти восстал — каешься, а что на

отца по духу — о том и не вспомнишь? Колико же дух паче плоти, толико отец духовный паче отца плотского...

И опять заговорил длинно, книжно, пусто, все об одном и том же: «священство имети выше главы своей».

— Ты же, чадо, освоеволился. Яко исступленный, или яко блекотливый козел, вопил на меня. Да не вменит тебе сего Господь, ибо не от тебя сие, но дьявол пакоствует мне через тебя,—взнуздал тебя, яко худую клячу, и ездит на тебе, величаяся, как на свиние, по видению святых отец, куда хочет, пока в совершенную погибель не вринет...

И слово за слово, свел таки речь на дело о мужиках порецких и о зяте своем, Петре Анфимове.

Что-то серое-серое, сонное, липкое, как паутина, застилало глаза царевичу — и расплывалось, двоилось, как в тумане, лицо того, кто стоял перед ним, как будто выступало из-за этого лица другое, тоже знакомое — с красным востреньким носиком, вечно нюхающим воздух, с подслеповатыми, слезящимися хитрыми хищными глазками — лицо Петьки подьячего; как будто в лице «его превосходительства, велелепнейшего отца протопресвитера Верхоспасского», благообразном, напоминавшем лик Христа на древних иконах, соединялась, смешивалась в страшном и кощунственном смешении с ликом Господним гнусная рожица Петьки-вора, Петьки-хама.

— Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, да простит ти, чадо Алексие, вся согрешения твоя,—произнес о. Яков, покрывая голову царевичу эпитрахилью,—и аз, недостойный иерей, властию Его, мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Пустота была в сердце Алексея, и слова эти звучали для него — пустые, без власти, без тайны, без ужаса. Он чувствовал, что прощалось здесь, но не простилось там; разрешалось на земле, но не разрешалось на небе.

В тот же день перед вечером пошел о. Яков париться в баню. Вернувшись, сел у камелька против царевича пить горячий сбитень, дымившийся в котле из яркой красной меди, в которой отражалось красное как медь лицо протопопа. Пил, не торопясь, кружку за кружкой и вытирал пот большим клетчатым платком. Он и в бане парился, и сбитень пил, точно обряд совершал. В том, как прихлебывал и причмокивал, и закусывал хрустящим сдобным бубликом, была такая же благолепная чинность и важность, как в церковнослужении; виден был хранитель дедовских обычаев, слышен завет всей стари-

ны православной: буди неподвижен, яко мраморный столп, не склоняйся ни на шуе, ни на десно.

Царевич слушал рассуждения о том, какими вениками мягче париться; от какой травы, мяты или калуфера бывает слаще в бане дух; и повествование, как матушка-протопопица на Николу Зимнего едва до смерти не за..арилась. А также, к слову — поучения и назидания от святых отцов: «червь смирен зело, и худ, ты же славен и горд; но аще разумен еси, то сам уничижи гордость свою, помышляя, яко крепость и сила твоя снедь червям будет. Высокоумия хранися, гневодержания удаляйся...»

И опять, опять — о деле мужиков порецких, о неизбежном Петьке Анфимове.

Царевичу хотелось спать, и порой казалось ему, что это не человек перед ним говорит, а вол жует и отрыгает, и снова жует бесконечную сонную жвачку.

Надвигались унылые сумерки. На дворе была оттепель с желтым, грязным туманом. На окнах бледные цветы мороза таяли, плакали. И в окна глядело небо, грязное, подслеповатое, слезящееся, как хитрые, подлые глазки Петьки подьячего.

О. Яков сидел против царевича на том же месте, где три недели назад сидел архимандрит Федос. И Алексей невольно сравнивал обоих пастырей церкви старой и новой.

«Не архиереи, а шушера! Были мы орлы, а стали ночные нетопыри»,— говорил поп Федос. «Были мы орлы, а стали волы подъяремные»,— мог бы сказать поп Яков. За Федоской был вечный Политик, древний князь мира сего; и за о. Яковом был тот же Политик, новый князь мира сего — Петька-хам. Один стоил другого; древнее стоило нового. И неужели за этими двумя лицами, прошлым и будущим — единое третье — лицо всей Церкви?

Он смотрел то на грязное небо, то на красное лицо протопопа. И здесь, и там было что-то плоское-плоское, пошлое, вечное в пошлости, то, что всегда есть и что все-таки призрачнее самого дикого бреда. И пустота была в сердце его и скука, страшная, как смерть.

И опять, как тогда, зазвенел колокольчик, сперва глухо, вдали, потом все громче, ближе.

Царевич прислушался и вдруг весь насторожился.

— Едет кто-то,— сказал о. Яков.— Не сюда ли?

Послышалось шлепанье лошадиных копыт в лужах талого снега, визг полозьев по голым камням, голоса на крыльце, шаги в передней. Дверь открылась и вошел великан с красивым глупым лицом, странною смесью рим-

ского легионера с русским Иванушкой-дурачком. То был денщик царя, Преображенской гвардии капитан, Александр Иванович Румянцев.

Он подал письмо царевичу. Тот распечатал и прочел:

«Сын. Изволь быть к нам завтра на Зимний двор.— Петр».

Алексей не испугался, не удивился; как будто заранее знал об этом свидании — и ему было все равно.

В ту ночь приснился царевичу сон, который часто снился ему, всегда одинаковый.

Сон этот связан был с рассказом, который слышал он в детстве.

Во время стрелецкого розыска царь Петр велел вырыть погребенное в трапезе церкви Николы-на-Столпах и пролежавшее семнадцать лет в могиле тело врага своего, друга Софьи, главного мятежника, боярина Ивана Милославского; открытый гроб везти на свиньях в Преображенское и там, в застенке, поставить под плахою, где рубили головы изменникам, так, чтобы кровь лилась в гроб на покойника; потом разрубить труп на части и зарыть их тут же, в застенке, под дыбами и плахами — «дабы, гласил указ, оные скаредные части вора Милославского умножаемою воровскою кровью обливались вечно, по слову Псаломскому: *Мужа кровей и льсти гнушается Господь*».

В этом сне своем Алексей сначала как будто ничего не видел, только слышал тихую-тихую, страшную песенку из сказки о сестрице Аленушке и братце Иванушке, которую часто в детстве ему сказывала бабушка, старая царица Наталья Кирилловна Нарышкина, мать Петра. Братец Иванушка, превращенный в козлика, зовет сестрицу Аленушку; но во сне, вместо «Аленушка», звучало «Алешенька»— грозным и вещим казалось это созвучье имен:

Алешенька, Алешенька!
Огни горят горючие,
Котлы кипят кипучие,
Ножи точат булатные,
Хотят тебя зарезати.

Потом видел он глухую пустынную улицу, рыхлый талый снег, ряд черных бревенчатых срубов, свинцовые маковки старенькой церкви Николы-на-Столпах. Раннее, темное, как будто вечернее, утро. На краю неба огромная «звезда с хвостом», комета, красная, как кровь. Чудские свиньи, жирные, голые, черные, с розовыми пятнами, тащат шутовские сани. На санях открытый гроб. В гробу что-то черное, склизкое, как прелые листья в гнилом

дупле. В луче кометы бледные маковки отливают кровью. Под санями тонкий лед весенних луж хрустит, и черная грязь брызжет, как кровь. Такая тишина — как перед кончиной мира, перед трубой архангела. Только свиньи хрюкают. И чей-то голос, похожий на голос седенького старичка в зеленой полинялой ряске, св. Дмитрия Ростовского, которого видел Алеша в детстве, шепчет ему на ухо: *Мужа кровей и льсти гнушается Господь.* И царевич знает, что муж кровей — сам Петр.

Он проснулся, как всегда от этого сна, в ужасе. В окно глядело раннее, темное, словно вечернее, утро. Была такая тишина — как перед кончиною мира.

Вдруг послышался стук в дверь и заспанный, сердитый голос Афанасьича:

— Вставай, вставай, царевич! К отцу пора!

Алексей хотел крикнуть, вскочить и не мог. Все члены точно отнялись. Он чувствовал тело свое на себе, как чужое. Лежал, как мертвый, и ему казалось, что сон продолжается, что он во сне проснулся. И в то же время слышал стук в дверь и голос Афанасьича:

— Пора, пора к отцу!

А голос бабушки, дряхлый, дребезжащий, как блеянье козлика, пел над ним тихую-тихую, страшную песенку:

Алешенька, Алешенька!
Огни горят горючие,
Котлы кипят кипучие,
Ножи точат булатные,
Хотят тебя зарезати.

IV

Петр говорил Алексею:

— Когда война со шведом началась, о, коль великое гонение, ради нашего неискусства, претерпели; с какою горестью и терпением сию школу прошли, доколе сподобились видеть, что оный неприятель, от коего трепетали, едва не вяще от нас ныне трепещет! Что все моими бедными и прочих истинных сынов Российских трудами достижено. И доселе вкушаем хлеб в поте лица своего, по приказу Божию к прадеду нашему, Адаму. Сколько могли, потрудились, яко Ной, над ковчегом России, имея всегда одно в помышлении: на весь свет славна бы Русь была. Когда же сию радость, Богом данную отечеству нашему, рассмотрев, обозрюсь на линию наследства, едва не равная радости горесть меня снедает, видя тебя весьма на правление дел государственных непотребна...

Подымаясь по лестнице Зимнего дворца и проходя мимо гренадера, стоявшего на часах у двери в конторку — рабочую комнату царя, Алексей испытывал, как всегда перед свиданием с отцом, бессмысленный животный страх. В глазах темнело, зубы стучали, ноги подкашивались; он боялся, что упадет.

Но, по мере того, как отец говорил спокойным ровным голосом длинную, видимо, заранее обдуманную и, как будто, наизусть заученную речь, Алексей успокаивался. Все застывало, каменело в нем — и опять было ему все равно — точно не о нем и не с ним говорил отец.

Царевич стоял, как солдат, навытяжку, руки по швам, слушал и не слышал, украдкою оглядывая комнату, с рассеянным и равнодушным любопытством.

Токарные станки, плотничьи инструменты, астролябии, ватерпасы, компасы, глобусы и другие математические, артиллерийские, фортификационные приборы загромождали тесную конторку, придавая ей сходство с каютою. По стенам, обитым темным дубом, висели морские виды любимого Петром голландского мастера Адама Сило, «полезные для познания корабельного искусства». Все — предметы, с детства знакомые царевичу, рождавшие в нем целые рои воспоминаний: на газетном листке, голландских курантах — большие круглые железные очки, обмотанные синей шелковинкой, чтобы не терли переносицы; рядом — ночной колпак из белого дорожчатого канифаса с шелковой зеленой кисточкой, которую Алеша, играя, однажды оборвал нечаянно, но отец тогда не рассердился, а, бросив писать указ, тут же пришил ее собственноручно.

За столом, заваленным бумагами, Петр сидел в старых кожаных креслах с высокою спинкою, у жарко натопленной печи. На нем был голубой, полинялый и заношенный халат, который царевич помнил еще до Полтавского сражения, с тою же заплатою более яркого цвета на месте, прожженном трубкою; шерстяная красная фуфайка с белыми костяными пуговицами; от одной из них, сломанной, оставалась только половинка; он узнал ее и сосчитал, как почему-то всегда это делал, во время длинных укоризненных речей отца — она была шестая снизу; исподнее платье из грубого синего стамеда; серые гарусные штопаные чулки, старые, стоптанные туфли. Царевич рассматривал все эти мелочи, такие привычные, родные, чуждые. Только лица батюшки почти не видел. Из окна, за которым белела снежная скатерть Невы, косой луч желтого зимнего солнца падал между ними, тонкий, длинный

и острый, как меч. Он разделял их и заслонял друг от друга. В солнечном четырехугольнике оконной рамы на полу, у самых ног царя, спала, свернувшись в клубочек, его любимица, рыжая сучка Лизетта.

И ровным, однозвучным, немного сиповатым от кашля голосом царь говорил, точно писаный указ читал:

— Бог не есть виновен в твоем непотребстве, ибо разума тебя не лишил, ниже́ крепость телесную отнял: хотя не весьма крепкой природы, однако и не слабой; паче же всего, о воинском деле и слышать не хочешь, чем от тьмы к свету мы вышли, и за что нас, которых не знали в свете, ныне почитают. Я не научаю, чтоб охоч был воевать без законной причины, но любить сие дело и всею возможностью снабдевать и учить; ибо сие есть единое из двух необходимых дел к правлению, еже распорядок и оборона. От презрения к войне общая гибель следовать будет, как то в падении Греческой монархии явный пример имеем: не от сего ли пропали, что оружие оставили и единым миролюбием побеждены, желая жить в покое, всегда уступали неприятелю, который их покой в нескончаемое рабство тиранам отдал? Если же кладешь в уме своем, что могут то генералы по повелению управлять, то сие воистину не есть резон, ибо всяк смотрит начальника, дабы его охоте последовать: до чего охотник начальствующий, до того и все; а от чего отвращаешься, о том не радят и прочие. К тому же не имея охоты, ни в чем не обучаешься и так не знаешь дел воинских. А не зная, как повелевать оными можешь и как доброму доброе воздать и нерадивого наказать, не разумея силы в их деле? Но принужден будешь, как птица молодая, в рот смотреть. Слабостью ли здоровья отговариваешься, что воинских трудов понести не можешь? Но и сие не резон. Ибо не трудов, но охоты желаю, которую никакая болезнь отлучить не может. Думаешь ли, что многие не хотят сами на войну, а дела правятся? Правда, хотя не ходят, но охоту имеют, как и умерший король Французский, Людвиг, который немного на войне сам был, но какую охоту великую имел к тому и какие славные дела показал, что его войну театром и школою света называли,— и не только к одной войне, но и к прочим делам и мануфактурам, чем свое государство паче всех прославил! Сие все представя, обращуся паки на первое, о тебе рассуждая. Ибо я есмь человек и смерти подлежу...

Разделявший их солнечный луч отодвинулся, и Алексей взглянул на лицо Петра. Оно так изменилось, как

будто не месяц, а годы прошли с тех пор, как он видел отца в последний раз; тогда Петр был в цвете сил и мужества, теперь — почти старик. И царевич понял, что болезнь отца была не притворною, что, может быть, действительно он ближе был к смерти, чем думал сам, чем думали все. В оголенном черепе,— волосы спереди вылезли — в мешках под глазами, в выступавшей вперед нижней челюсти, во всем бледно-желтом, одутловатом, точно налитом и опухшем лице было что-то тяжкое, грузное, застывшее, как в маске, снятой с мертвого. Только в слишком ярком, словно воспаленном блеске огромных расширенных, как у пойманной хищной птицы, выпуклых, словно выпученных, глаз, было прежнее, юное, но теперь уже бесконечно усталое, слабое, почти жалкое.

И Алексей понял также, что хотя много думал о смерти отца и ждал, и желал этой смерти, но никогда не понимал ее, как будто не верил, что отец действительно умрет. Только теперь в первый раз вдруг поверил. И недоумение было в этом чувстве и новый, никогда не испытанный страх, уже не за себя, а за него: чем должна быть для такого человека смерть? как он будет умирать?

— Ибо я есмь человек и смерти подлежу,— продолжал Петр,— то кому сие начатое с помощью Вышнего насаждение и уже некоторое взращенное оставлю? Тому, кто уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю, сиречь, все, что Бог дал, бросил! Еще же и сие вспомяну, какого злого нрава и упрямого ты исполнен. Ибо сколь много за сие тебя бранивал, и не только бранил, но и бивал; к тому же сколько лет, почитай, не говорю с тобою. Но ничто сие успело, ничто пользует; все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только б дома в прохладу жить и всегда веселиться, хоть от другой половины и все противно идет! Ибо с единой стороны имеешь царскую кровь высокого рода, с другой же — мерзкие рассуждения, как бы наинизший из низких холопов, всегда обращаясь с людьми непотребными, от коих ничему научиться не мог, опричь злых и пакостных дел. И чем воздаешь за рождение отцу своему? Помогаешь ли в таких моих несносных печалях и трудах, достигши столь совершенного возраста? Ей, николи! Что всем известно есть. Но паче ненавидишь дел моих, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья, делаю и, конечно, по мне разорителем оных будешь! Что все размышляя с горестью и видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо изобрел сей послед-

ний тестамент тебе объявить и еще мало пождать, аще нелицемерно обратишься. Если же нет, то известен будь...

На этом слове закашлялся он долгим, мучительным кашлем, который остался после болезни. Лицо побагровело, глаза вытаращились, пот выступил на лбу, жилы вздулись. Он задыхался и от яростных тщетных усилий отхаркнуть еще больше давился, как неумеющие кашлять маленькие дети. В этом детском, старческом было смешное и страшное.

Лизетта проснулась, подняла мордочку и уставилась на господина умным, как будто жалеющим, взором. Царевич тоже взглянул на отца — и вдруг что-то острое-острое пронзило ему сердце, точно ужалило: «И пес жалеет, а я...»

Петр наконец отхаркнул, выплюнул, выругался своим обычным, непристойным ругательством и, вытирая платком пот и слезы с лица, тотчас же продолжал с того места, где остановился, хотя еще более хриплым, но по-прежнему бесстрастным, ровным голосом, точно писаный указ читал:

— Паки подтверждаю, дабы ты известен был...

Платок нечаянно выпал из рук его; он хотел наклониться, чтобы поднять, но Алексей предупредил его, бросился, поднял, подал. И эта маленькая услуга вдруг напомнила ему то робкое, нежное, почти влюбленное, что он когда-то чувствовал к отцу.

— Батюшка! — воскликнул он с таким выражением в лице и в голосе, что Петр посмотрел на него пристально и тотчас опустил глаза.— Видит Бог, ничего лукавого по совести не учинил я пред тобою. А лишения наследства я и сам для слабости моей желаю, понеже что на себя брать, чего не снесть. Куда уж мне! И разве я, батюшка... для тебя, для тебя... о, Господи!

Голос его оборвался. Он отчаянно, судорожно поднял руки, точно хотел схватиться за голову, и замер так, со странною, растерянной усмешкой на губах, весь бледный, дрожащий. Он сам не знал, что это,— только чувствовал, как росло, подымалось что-то, рвалось из груди с потрясающей силой. Одно слово, один взор, один знак отца — и сын упал бы к ногам его, обнял бы их, зарыдал бы такими слезами, что распалась бы, растаяла, как лед от солнца, страшная стена между ними. Все объяснилось бы, нашел бы такие слова, что отец простил бы, понял бы, как он любил его всю жизнь, его одного, и теперь еще любит, сильнее, чем прежде — и ничего не нужно ему — только бы он позволил любить его, умереть за него, только б хоть раз пожалел и сказал, как было говаривал в детстве, прижимая к сердцу своему: «Алеша, мальчик мой милый!»

— Младенчество свое изволь оставить! — раздался грубый, но как будто нарочно грубый, а, на самом деле, смущенный и старающийся скрыть смущение, голос Петра.— Не чини отговорки ничем. Покажи нам веру от дел своих, а словам верить нечего. И в Писании сказано: не может древо злое плодов добрых приносить...

Избегая глаз Алексея, Петр глядел в сторону; а между тем в лице его что-то мелькало, дрожало, словно сквозь мертвую маску сквозило живое лицо, царевичу слишком знакомое, милое. Но Петр уже овладел своим смущением. По мере того, как он говорил, лицо становилось все мертвенней, голос все тверже и беспощаднее:

— Ныне тунеядцы не в высшей степени суть. Кто хлеб ест, а прибытку не делает Богу, царю и отечеству, подобен есть червию, которое токмо в тлю все претворяет, а пользы людям не чинит ни малой, кроме пакости. А Апостол глаголет: праздный да не яст, и проклят есть тунеядец. Ты же явился, яко бездельник...

Алексей почти не слышал слов. Но каждый звук ранил душу его и врезался в нее с нестерпимою болью, как нож врезается в живое тело. Это было подобно убийству. Он хотел закричать, остановить его, но чувствовал, что отец ничего не поймет, не услышит. Опять между ними вставала стена, зияла пропасть. И отец уходил от него с каждым словом все дальше и дальше, все невозвратнее, как мертвые уходят от живых.

Наконец, и боль затихла. Все опять окаменело в нем. Опять ему было все равно. Томила лишь сонная скука от этого мертвого голоса, который даже не ранил, а пилил, как тупая пила.

Чтобы кончить, уйти поскорее, он выбрал минуту молчания и произнес давно обдуманный ответ, с таким же, как у батюшки, мертвым лицом и таким же мертвым голосом:

— Милостивый государь батюшка! Иного донести не имею, только, буде изволишь за мою непотребность меня короны Российской наследия лишить,— буди по воле вашей. О чем я вас, государя, всенижайше прошу, видя себя к делу о сем неудобна и непотребна, понеже памяти весьма лишен, без коей ничего не можно делать, и всеми силами умными и телесными от различных болезней ослабел и негоден стал к толикаго народа правлению, где надобно человека не столь гнилого, как я. Того ради, наследия Российского по вас — хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава Богу, брат есть, которому дай Боже здравие,— не претендую и впредь претендовать не буду, в чем Бога свидетеля полагаю на душу мою и, ради истин-

ного свидетельства, написать сию клятву готов рукою своею. Детей вручаю в волю вашу, себе же прошу пропитания до смерти.

Наступило молчание. В тишине зимнего полдня слышно было лишь мерное, медное тиканье маятника на стенных часах.

— Отречение твое токмо протяжка времени, а не истина! — произнес, наконец, Петр.— Ибо, когда ныне не боишься и не зело смотришь на отцово прощение, то как по мне станешь завет хранить? Что же приносишь клятву, тому верить нельзя, жестокосердия ради твоего. К тому ж и Давидово слово: всяк человек ложь. Также, хотя бы и подлинно хотел хранить, то возмогут тебя склонить и принудить длинные бороды, попы, да старцы, которые, ради тунеядства своего, не в авантаже ныне обретаются,— к ним же ты склонен зело. Того для, так остаться, как желаешь, ни рыбою, ни мясом, невозможно. Но, или отмени свой нрав и нелицемерно удостой себя наследником, ибо дух наш без сего спокоен быть не может, а особливо ныне, что мало здоров стал,—или будь монах...

Алексей молчал, опустив глаза. Лицо его казалось теперь такою же мертвою маской, как лицо Петра. Маска против маски — и в обеих внезапное, странное, как будто призрачное, сходство — в противоположностях подобье. Как будто широкое, круглое, пухлое лицо Петра, отражаясь в длинном и тощем лице Алексея, точно во вогнутом зеркале, чудовищно сузилось, вытянулось.

Молчал и Петр. Но в правой щеке, в углу рта и глаза, во всей правой стороне лица его началось быстрое дрожание, подергивание; постепенно усиливаясь, перешло оно в судорогу, которая сводила лицо, шею, плечо, руку и ногу. Многие считали его одержимым падучею, или даже бесноватым за эти судорожные корчи, которые предвещали припадки бешенства. Алексей не мог смотреть на отца в такие минуты без ужаса. Но теперь он был спокоен, точно окружен невидимой, непроницаемой бронею. Что еще мог ему сделать батюшка? Убить? Пусть. Разве то, что он уже сделал только что, не хуже убийства?

— Что молчишь? — крикнул вдруг Петр, ударяя кулаком по столу в одном из судорожных движений, сотрясшем все его тело.— Берегись, Алешка! Думаешь, не знаю тебя? Знаю, брат, вижу насквозь! На кровь свою восстал, щенок, отцу смерти желаешь!.. У, тихоня, святоша проклятый! От попов да старцев, небось, научился оной политике? Недаром Спаситель ничего апостолам бояться не велел, а сего весьма велел: берегитесь, сказал, закваски фари-

сейской, что есть лицемерие монашеское — диссимуляция!..

Тонкая злая усмешка сверкнула в потупленном взоре царевича. Он едва удержался, чтобы не спросить отца: что значит подлог чисел в *Объявлении сыну моему* — октября 11 вместо 22? У кого-де сам батюшка научился этой диссимуляции, плутовству, достойному Петьки подьячего, Петьки-хама, или Федоски, «князя мира», с его «богопремудрым коварством», «небесной политикой»?

— Последнее напоминание еще,— заговорил Петр опять прежним, ровным, почти бесстрастным голосом, неимоверным усилием воли сдерживая судорогу.— Подумай обо всем гораздо и, взяв резолюцию, дай о том ответ немедленно. А ежели нет, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу. Ибо, когда гангрена сделалась в пальце моем, не должен ли я отсечь оный, хотя и часть тела моего? Так и тебя, яко уд [1] гангренный, отсеку! И не мни, что сие только в устрастку тебе говорю: воистину, Богу извольшу, исполню. Ибо за народ мой и отечество живота своего не жалел и не жалею — то как могу тебя, непотребного, пожалеть? Лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный. О чем паки подтверждаем, дабы учинено было, конечно, одно из сих двух — либо нрав отменить, либо постричься. А буде того не учинишь...

Петр поднялся во весь свой исполинский рост. Опять одолевала его судорога; тряслась голова, дергались руки и ноги. Кривлявшаяся, как будто шутовские рожи корчившая, мертвая маска лица с неподвижным воспаленным взором была ужасна. Глухое рычание зверя послышалось в голосе.

— А буде того не учинишь, то я с тобою, как с злодеем, поступлю!..

— Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого соизволения,— произнес царевич тихим, твердым голосом.

Он лгал. Петр знал, что он лжет. И Алексей знал, что отец его знает. Злая радость мщения наполняла душу царевича. В его бесконечной покорности было бесконечное упрямство. Теперь сын был сильнее отца, слабый сильнее сильного. Что пользы царю в пострижении сына? «Клобук не гвоздем к голове прибит, можно-де и снять». Вчера — монах, завтра — царь. Повернутся в земле кости батюшки, когда над ним надругается сын — все расточит, разорит, не оставит камня на камне, погубит Россию. Не постричь, а убить бы его, истребить, стереть с лица земли.

— Вон! — простонал Петр в бессильном бешенстве.

Царевич поднял глаза и посмотрел на отца в упор, исподлобья: так волчонок смотрит на старого волка, ос-

[1] Часть тела (*церковнослав.*).

калив зубы, ощетинившись. Взоры их скрестились, как шпаги в поединке — и взор отца потупился, точно сломался, как нож о твердый камень.

И опять зарычал он, как раненый зверь, и с матерным ругательством вдруг поднял кулаки над головою сына, готовый броситься, избить, убить его.

Вдруг маленькая, нежная и сильная ручка опустилась на плечо Петра.

Государыня Екатерина Алексеевна давно уже подслушивала у дверей комнаты и пыталась подглядеть в замочную скважину. Катенька была любопытна. Как всегда, явилась она в самую опасную минуту на выручку мужа. Притворила дверь неслышно и подкралась к нему сзади на цыпочках.

— Петенька! Батюшка! — заговорила она с видом смиренным и немного шутливым, притворным, как добрые няни говорят с упрямыми детьми, или сиделки с больными.— Не замай себя, Петенька, не круши, светик, сердца своего. А то паче меры утрудишься, да и сляжешь опять, расхвораешься... А ты ступай-ка, царевич, ступай, родной, с Богом! Видишь, государю неможется...

Петр обернулся, увидел спокойное, почти веселое лицо Катеньки и сразу опомнился. Поднятые руки упали, повисли как плети, и все громадное, грузное тело опустилось в кресло, точно рухнуло, как мертвое, в корне подрубленное дерево.

Алексей, глядя на отца по-прежнему в упор, исподлобья, сгорбившись, точно ощетинившись, как зверь на зверя, медленно пятился к выходу и только на самом пороге вдруг быстро повернулся, открыл дверь и вышел.

А Катенька присела сбоку на ручку кресла, обняла голову Петра и прижала ее к своей груди, толстой, мягкой как подушка, настоящей груди кормилицы. Рядом с желтым, больным, почти старым лицом его, совсем еще молодым казалось румяное лицо Катеньки, все в маленьких пушистых родинках, похожих на мушки, в миловидных шишечках и ямочках, с высокими соболиными бровями, с тщательно завитыми колечками крашеных черных волос на низком лбу, с большими глазами навыкате, с неизменною, как на царских портретах, улыбкою. Вся она, впрочем, похожа была не столько на царицу, сколько на немецкую трактирную служанку, или на русскую бабу-солдатку — портомою, как называл ее сам царь,— которая сопровождала «старика» своего во всех походах, собственноручно «обмывала», «обшивала» его, а когда «припадал

ему рез», грела припарки, терла живот Блюментростовой мазью и давала «проносное».

Никто, кроме Катеньки, не умел укрощать тех припадков безумного царского гнева, которых так боялись приближенные. Обнимая голову его одной рукой, она другою — гладила ему волосы, приговаривая все одни и те же слова: «Петенька, батюшка, свет мой, дружочек сердешненькой!..» Она была как мать, которая баюкает больного ребенка, и как ласкающая зверя укротительница львов. Под этою ровною тихою ласкою царь успокаивался, точно засыпал. Судорога в теле слабела. Только мертвая маска лица, теперь уже совсем окаменелая, с закрытыми глазами, все еще порою дергалась, как будто корчила шутовские рожи.

За Катенькой вошла в комнату обезьянка, привезенная в подарок Лизаньке, младшей царевне, одним голландским шкипером. Шалунья мартышка, следуя как паж за царицей, ловила подол ее платья, точно хотела приподнять его с дерзким бесстыдством. Но, увидев Лизетту, испугалась, вскочила на стол, со стола на сферу, изображавшую ход небесных светил по системе Коперника,— тонкие медные дуги погнулись под маленьким зверьком, шар вселенной тихо зазвенел,— потом еще выше, на самый верх стоячих английских часов в стеклянном ящике красного дерева. Последний луч солнца падал на них, и, качаясь, маятник блестел, как молния. Мартышка давно уж не видела солнца. Точно стараясь что-то припомнить, глядела она с грустным удивлением на чужое бледное зимнее солнце и щурилась, и корчила смешные рожицы, как будто передразнивая судорогу в лице Петра. И страшно было сходство шутовских кривляний в этих двух лицах — маленькой зверушки и великого царя.

Алексей возвращался домой.

С ним было то, что бывает с людьми, у которых отрезали ногу или руку: очнувшись, стараются они ощупать место, где был член, и видят, что его уже нет. Так царевич чувствовал в душе своей место где была любовь к отцу, и видел, что ее уже нет. «Яко уд гангренный, отсеку»,— вспоминалось ему слово батюшки. Как будто, вместе с любовью, из него вынули все. Пусто — ни надежды, ни страха. ни скорби, ни радости — пусто, легко и страшно.

И он удивлялся, как быстро, как просто исполнилось его желание: умер отец.

КНИГА ПЯТАЯ

МЕРЗОСТЬ ЗАПУСТЕНИЯ

I

— Как ездил царь в Воронеж корабли строить в 1701 году,— волею Божией пожар на Москве учинился великий. Весь государев дом на Кремле погорел, деревянные хоромы, и в каменных нутры, и святые церкви, и кресты, и кровли, и внутри иконостасы, и образа горели. И на Иване Великом колокол большой в 8.000 пуд подгорел и упал, и раскололся, также Успенский разбился, и другие колокола падали. И так было, что земля горела...

Это говорил царевичу Алексею Московского Благовещенского собора ключарь, о. Иван, семидесятилетний старик.

Петр уехал в чужие края тотчас после болезни, 27 января 1716 года. Царевич остался один в Петербурге. Не получая от отца известий, последнее решение — либо исправить себя к наследству, либо постричься — он «отложил вдаль» и по-прежнему жил изо дня в день, до воли Божьей. Зиму провел в Петербурге, весну и лето в Рождествене. Осенью поехал в Москву повидаться с родными.

10 сентября, вечером, накануне отъезда, навестил своего старого друга, мужа кормилицы, ключаря Благовещенского, и вместе с ним пошел осматривать опустошенный пожаром старый Кремлевский дворец.

Долго ходили они из палаты в палату, из терема в терем, по бесконечным развалинам. Что пощадило пламя, то разрушалось временем. Многие палаты стояли без дверей, без окон, без полов, так что нельзя было войти в них. Трещины зияли на стенах. Своды и крыши обвалились. Алексей не находил или не узнавал покоев, в которых провел детство.

Без слов угадывал он мысль о. Ивана о том, что пожар, случившийся в тот самый год, как царь начал старину ломать, был знаменьем гнева Господня.

Они вошли в маленькую ветхую домовую церковь, где еще царь Грозный молился о сыне, которого убил.

Сквозь трещину свода глядело небо, такое глубокое, синее, какое бывает только на развалинах. Паутина между краями трещины отливала радугой, и, готовый упасть, едва висел на порванных цепях сломанный бурею крест. Оконницы слюдяные ветром все выбило. В дыры налетали галки, вили гнезда под сводами и пакостили иконостас. Одна половина царских врат была сорвана. В алтаре перед престолом стояла грязная лужа.

О. Иван рассказал царевичу, как священник этой церкви, почти столетний старик, долго жаловался во все приказы, коллегии и даже самому государю, моля о починке храма, ибо «за ветхостью сводов так умножилась теча, что опасно — святейшей Евхаристии не учинилось бы повреждения». Но никто его не слушал. Он умер с горя, и церковь разрушилась.

Потревоженные галки взвились со зловещими криками. Сквозной ветер ворвался в окно, застонал и заплакал. Паук забегал в паутине. Из алтаря что-то выпорхнуло, должно быть, летучая мышь, и закружилось над самой головой царевича. Ему стало жутко. Жалко поруганной церкви. Вспомнилось слово пророка о мерзости запустения на месте святом.

Пройдя мимо Золотой Решетки, по передним переходам Красного крыльца, они спустились в Грановитую палату, которая лучше других уцелела. Но, вместо прежних посольских приемов и царских выходов, здесь теперь давались новые комедии, *диалогии;* праздновались свадьбы шутов. А чтобы старое не мешало новому, бытейское письмо по стенам забелили известью, замазали вохрою с веселеньким узорцем на новый «немецкий манир».

В одном из чуланов подклетной кладовой о. Иван показал царевичу два львиные чучела. Он тотчас узнал их, потому что видел часто в детстве. Поставленные во времена царя Алексея Михайловича в Коломенском дворце подле престола царского, они, как живые, рыкали, двигали глазами, зияли устами. Медные туловища оклеены были под львиную стать бараньими кожами. Механика, издававшая «львово рыканье» и приводившая в движение их пасти и очи, помещалась рядом, в особом чулане, где устроен был стан с мехами и пружинами. Должно быть, для починки перевезли их в Кремлевский дворец и здесь в кладовой, среди хлама, забыли. Пружины сломались, меха продырявились, шкуры облезли, из брюха ви-

села гнилая мочала — и жалкими казались теперь грозные некогда львы российских самодержцев. Морды их полны были овечьей глупостью.

В запустелых, но уцелевших палатах помещались новые коллегии. Так, в набережных, ответной и панихидной,— камер-коллегия, под теремами — сенатские департаменты, в кормовом и хлебном дворце — соляная контора, военная коллегия, мундирная и походная канцелярии, в конюшенном дворце — склады сукон и амуниции. Каждая коллегия переехала не только со своими архивами, чиновниками, сторожами, просителями, но и с колодниками, которые проживали по целым годам в дворцовых подклетях. Все эти новые люди кишели, копошились в старом дворце, как черви в трупе, и была от них нечистота великая.

— Всякий пометный и непотребный сор от нужников и от постою лошадей, и от колодников,— говорил царевичу о. Иван,— подвергают царскую казну и драгоценные утвари, кои во дворце от древних лет хранятся,— немалой опасности. Ибо от сего является дух смрадный. И золотой, и серебряной посуде, и всей казне царской можно ожидать от оного духу опасной вреды — отчего б не почернело. Очистить бы сор, а подколодников свесть в иные места. Много мы о том просили, жаловались, да никто нас не слушает...— заключил старик уныло.

День был воскресный, в коллегиях пусто. Но в воздухе стоял тяжелый дух. Всюду видны были сальные следы от спин посетителей, которые терлись о стены, чернильные пятна, похабные рисунки и надписи. А из тусклой позолоты древней стенописи все еще глядели строгие лики пророков, праотцев и русских святителей.

В самом Кремле, вблизи дворцов и соборов, у Тайницких ворот, был питейный дом приказных и подьячих, называвшийся *Каток*, по крутизне сходов с Кремлевской горы. Он вырос, как поганый гриб, и процветал много лет втихомолку, несмотря на указы: «из Кремля вывесть оный кабак немедленно вон, а для сохранения питейного сбора толикой же суммы вместо того одного кабака, хотя, по усмотрению, прибавить несколько кабаков, в месте удобном, где приличествует».

В одной из канцелярских палат была такая духота и вонь, что царевич поскорей открыл окно. Снизу из Катка, набитого народом, донесся дикий, точно звериный, рев, плясовой топот, треньканье балалайки и пьяная песня:

Меня матушка плясамши родила,
А крестили во царевом кабаке,
А купали во зеленыим вине,—

знакомая песня, которую певала князь-игуменья Ржевская на батюшкиных пиршествах.

И царевичу казалось, что из Катка, как из темной зияющей пасти, с этою песнью и матерным ругательством, и запахом сивухи подымается к царским чертогам и наполняет их удушающий смрад, от которого тошнило, в глазах темнело, и сердце сжималось тоскою смертною.

Он поднял глаза к своду палаты. Там изображены были «беги небесные», лунный и солнечный круг, ангелы, служащие звездам, и всякие иные «утвари Божьи»; и Христос Еммануил, сидящий на небесных радугах с колесами многоочитыми; в левой руке Его златой потир, в правой — палица; на главе седмиклинный венец; по золотому и празеленому полю надпись: *Предвечное Слово Отчее, иже во образе Божием сый и составляй тварь от небытия в бытие, даруй мир церквам Твоим, победы верному царю.*

А снизу песня заливалась:

Меня матушка плясамши родила,
А крестили во царевом кабаке.

Царевич прочел надпись в солнечном кругу:

Солнце позна запад свой, и бысть нощь.

И слова эти отозвались в душе его пророчеством: древнее солнце московского царства познало запад свой в темном чухонском болоте, в гнилой осенней слякоти — *и бысть нощь* — не черная, а белая страшная петербургская ночь. Древнее солнце померкло. Древнее золото, венец и бармы Мономаха почернели от нового смрадного духа. И стала мерзость запустения на месте святом.

Как будто спасаясь от невидимой погони, он бежал из дворца, без оглядки, по ходам, переходам и лестницам, так что о. Иван на своих старых ногах едва поспевал за ним. Только на площади, под открытым небом, царевич остановился и вздохнул свободнее. Здесь осенний воздух был чист и холоден. И чистыми, и новыми казались древние белые камни соборов.

В углу, у самой стены Благовещения, при церкви придела св. великомученика Георгия, под кельями, где жил о. Иван, была низенькая лавочка, вроде завалинки; на ней он часто сиживал, грея старые кости на солнце.

Царевич опустился в изнеможении на эту лавочку.

Старик пошел домой, чтоб позаботиться о ночлеге. Царевич остался один.

Он чувствовал себя усталым, как будто прошел тысячи верст. Хотелось плакать, но не было слез; сердце горело, и слезы сохли на нем, как вода на раскаленном камне.

Тихий свет вечерний теплился, как свет лампады, на белых стенах. Золотые соборные главы рдели как жар. Небо лиловело, темнело; цвет его подобен был цвету увядающей фиалки. И белые башни казались исполинскими цветами с огненными венчиками.

Раздался бой часов, сначала на Спасских, Тайницких, Ризположенских воротах, потом на разных других, близких и далеких башнях. В чутком воздухе дрожали медленные волны протяжного гула и звона, как будто часы перекликались, переговаривались о тайнах прошлого и будущего. Старинные — били «перечасным боем» множества малых колоколов, подзванивавших «в подголос» большому боевому колоколу, с охрипшею, но все еще торжественною, церковною музыкой; а новые голландские — отвечали им болтливыми курантами и модными танцами, «против манира, каковы в Амстердаме». И все эти древние и новые звуки напоминали царевичу дальнее-дальнее детство.

Он смежил глаза, и душа его погрузилась в полузабытье, в ту темную область между сном и явью, где обитают тени прошлого. Как пестрые тени проходят по белой стене, как солнечный луч проникает сквозь щель в темную комнату, проходили перед ним воспоминания — виденья. И над всеми царил один ужасающий образ — отец. И как путник, озираясь ночью с высоты, при блеске молнии, вдруг видит весь пройденный путь, так он, при страшном блеске этого образа, видел всю свою жизнь.

II

Ему шесть лет. В старинной царской колымаге «на рыдванную стать», раззолоченной, но неуклюжей и тряской, как простая телега, внутри обитой гвоздишным бархатом, со слюдяными затворами и тафтяными завесами, он сидит на руках бабушки, среди пуховых подушек и пухлых, как подушки, постельниц и мам. Тут же мать его, царица Авдотья. В подубруснике с жемчужными рясами — у нее круглое, белое, всегда удивленное лицо, совсем как у маленькой девочки.

Он глядит сквозь занавеску в открытое оконце колымаги на триумфальное шествие войск по случаю Азовского похода. Ему нравится однообразная стройность полков, блестящие на солнце медные пушки и грубо намалеванные на щитах аллегории: два скованные турка с надписью:

Ах! Азов мы потеряли
И тем бедств себе достали.

И в море синем, как синька, красный голый человек, «слывущий бог морской Нептунус» — на чешуйчатом зеленом звере Китоврасе, с острогой в руках: *Се, и аз поздравляю взятием Азова и вам покоряюсь.* Великолепным кажется ему в наряде римского воина ученый немец Виниус, гласящий российские вирши с высоты триумфальных ворот в полуторасаженную трубу.

В строю, рядом с простыми солдатами, идет Преображенской роты бомбардир, в темно-зеленом кафтане с красными отворотами и в треугольной шляпе. Он ростом выше всех, так что виден издали. Алеша знает, что это отец. Но лицо у него такое юное, почти детское, что он кажется Алеше не отцом, а старшим братом, милым товарищем, таким же маленьким мальчиком, как он. Душно в старой колымаге, среди пуховых по́душек и пухлых, как подушки, нянюшек-мамушек. Хочется на волю и солнце, к этому веселому кудрявому быстроглазому мальчику.

Отец увидел сына. Они улыбались друг другу, и сердце Алеши забилось от радости. Царь подходит к дверям колымаги, открывает их, почти насильно берет сына из рук бабушки — мамы так и взахались — нежно, нежнее матери, обнимает, целует его; потом, высоко подняв на руках, показывает войску, народу, и, посадив к себе на плечо, несет над полками. Сначала вблизи, потом все дальше и дальше, над морем голов, раздается, подобный веселому грому, тысячеголосый крик:

— Виват! Виват! Виват! Здравствуй, царь с царевичем!

Алеша чувствует, что все на него смотрят и любят его. Ему страшно и весело. Он крепко держится за шею отца, прижимается к нему доверчиво, и тот несет его бережно — небось, не уронит. И кажется ему, что все движения отца — его собственные движения, вся сила отца — его собственная сила, что он и отец — одно. Ему хочется смеяться и плакать — так радостны крики народа и грохот пушек, и звон колоколов, и золотые главы

соборов, и голубое небо, и вольный ветер, и солнце. Голова кружится, захватывает дух — и он летит, летит прямо в небо, к солнцу.

А из окна колымаги высовывается голова бабушки. Смешно и мило Алеше ее старенькое и добренькое сморщенное личико. Она машет рукою и кричит, и молит, чуть не плачет:

— Петенька, Петенька, батюшка! Не замай Олешеньку!

И опять его укладывают нянюшки и мамушки в пуховую постельку, под мягкое одеяльце из кизылбашской золотой камки на собольих пупках, и баюкают, и нежат, чешут пяточки, чтобы слаще спалось, и укутывают, и укручивают, чтобы ветром на него не венуло, берегут, как зеницу ока, царское дитятко. Прячут, как красную девушку за вековыми запанами и завесами. Когда идет он в церковь, то со всех сторон несут по́лы суконные, чтоб никто не мог видеть царевича, пока его не «объявят», по старому обычаю; а как объявят, то из дальних мест люди будут ездить нарочно смотреть на него, как на «дивовище».

В низеньких теремных покойцах душно. Двери, ставни, окна, втулки тщательно обиты войлоком, чтоб ниоткуда не дунуло. На полу — также войлоки, «для тепла и мягкого хождения». Муравленые печки жарко натоплены. Пахнет гуляфною водкою и росным ладаном, которые подкладывают в печные топли «для духу». Свет дневной, проникая сквозь слюду косящатых оконниц, становится янтарно-желтым. Всюду теплятся лампады. Алеше темно, но покойно и уютно. Он как будто вечно дремлет и не может проснуться. Дремлет, слушая однообразные беседы о том, как «дом свой по Богу строить — все было бы упрятано, и причищено, и приметено, убережено от всякой пакости — не заплесневело бы, не загноилось — и всегда замкнуто, и не раскрадено, и не распрокужено, доброму была бы честь, а худому гроза»; и как «обрезки бережно беречи»; как рыбу прудовую в рогожку вертеть; рыжечки, грузди моченые в кадушках держать — и теплою верою в неразделимую Троицу веровать. Дремлет, под унылые звуки домры слепых игрецов домрачеев, которые воспевают древние былины, и под сказки столетних старцев бахарей, которые забавляли еще деда его, Тишайшего царя Алексея Михайловича. Дремлет и грезит наяву, под рассказы верховых богомольцев, нищих странничков о горе Афоне, острой-преострой, как еловая шишка — на самом верху ее, выше облаков, стоит Матерь Пресвятая Богородица и покровом ризы своей гору осеняет; о Симео-

не столпнике, который, сам тело свое гноя, весь червями кишел; о месте рая земного, которое видел издали с корабля своего Моислав-новгородец; и о всяких иных чудесах Божиих и наваждениях бесовских. Когда же Алешеньке станет скучно, то, по приказу бабушки, всякие дураки и дурки-шутихи, юродивые, девочки-сиротинки, валяются на полу, таскают друг друга за волосы и царапаются до крови. Или старушка сажает его к себе на колени и начинает перебирать у него пальчики, один за другим, от большого к мизинцу, приговаривая: «Сорока-ворона кашу варила́, на порог скакала, гостей созывала; этому дала, этому дала, а этому не досталось — шиш на головку!» И бабушка щекочет его, а он смеется, отмахивается. Она обкармливает его жирными караваями и блинцами, и луковниками, и левашниками, и оладийками в ореховом маслице, кисленькими, и драченою в маковом молоке, и белью можайскою, и грушею, и дулею в патоке.

— Кушай, Олешенька, кушай на здоровье, светик мой!

А когда у Алеши заболит животик, является баба знахарка, которая пользует малых детей шепотами, лечит травами от нутряных и кликотных болезней, горшки на брюха наметывает, наговаривает на громовую стрелку, да на медвежий ноготь, и от того людям бывает легкость. Едва чихнет, или кашлянет — поят малиною, натирают винным духом с камфарою, или проскурняком в корыте парят.

Только в самые жаркие дни водят гулять в Красный Верхний сад, на взрубе береговой Кремлевской горы. Это подобие висячих садов — продолжение терема. Тут все искусственно: тепличные цветы в ящиках, крошечные пруды в ларях, ученые птицы в клетках. Он смотрит на расстилающуюся у ног его Москву, на улицы, в которых никогда не бывал, на крыши, башни, колокольни, на далекое Замоскворечье, на синеющие Воробьевы горы, на легкие золотистые облака. И ему скучно. Хочется прочь из терема и этого игрушечного сада в настоящий лес, на поле, на реку, в неизвестную даль; хочется убежать, улететь — он завидует ласточкам. Душно, парит. Тепличные цветы и лекарственные травы — маерам, темьян, чабер, пижма, иссоп — пахнут пряно и приторно. Ползет синяя-синяя туча. Побежали вдруг тени, пахнуло свежестью, и брызнул дождь. Он подставляет под него лицо и руки, жадно ловит холодные капли. А нянюшки и мамушки уже ищут, кличут его:

— Олешенька! Олешенька! Пойдем домой, дитятко! Ножки промочишь.

Но Алеша не слушает, прячется в кусты сереборинника. Запахло мятой, укропом, сырым черноземом, и влажная зелень стала темно-яркою, махровые пионы загорелись алым пламенем. Последний луч прорезал тучу — и солнце смешалось с дождем в одну золотую дрожащую сетку. У него уже промокли ноги и платье. Но любуясь, как в лужах крупные капли дробятся алмазною пылью, он скачет, пляшет, бьет в ладоши и напевает веселую песенку под шум дождя, повторяемый гулким сводом водовзводной башни.

Дождик, дождик, перестань!
Мы поедем на Иордань,
Богу молиться,
Христу поклониться.

Вдруг, над самой головой его, словно раскололась туча — сверкнула ослепляющая молния, грянул гром, и закрутился вихрь. Он замер весь от ужаса и радости, как тогда, на плече у батюшки, в триумфованьи Азовской виктории. Вспомнился ему веселый кудрявый быстроглазый мальчик — и он почувствовал, что любит его так же, как эту страшную молнию. Голова закружилась, дух захватило. Он упал на колени и протянул руки к черному небу, боясь и желая, чтоб опять сверкнула молния еще грознее, еще ослепительнее.

Но трепетные старческие руки уже подхватывают его, несут, раздевают, укладывают в постельку, натирают винным духом с камфарою, дают внутрь водки-апоплектики и поят липовым цветом до седьмого пота, и укутывают, и укручивают. И опять он дремлет. И снится ему Аспид-зверь, живущий в каменных горах, лицо имеющий девичье, хобот змеиный, ноги василиска, коими железо рассекает; ловят его трубным гласом, не стерпя которого, он прокалывает себе уши и умирает, обливая камни синею кровью. Снится ему также Сирин птица райская, что поет песни царские, на востоке, в Эдемских садах пребывает, праведным радость возвещает, которую Господь им обещает; всяк человек, во плоти живя, не может слышать гласа ее, а ежели услышит, то весь пленяется мыслью и, шествуя вслед, и слушая пение, умирает. И кажется Алеше, что идет он за поющим Сирином и, слушая сладкую песню, умирает, засыпает вечным сном.

Вдруг точно буря влетела в комнату, распахнула двери, завесы, пологи, сорвала с Алеши одеяло и обдала его холодом. Он открыл глаза и увидел лицо батюшки. Но не испугался, даже не удивился, как будто знал и ждал, что он придет. С еще звеневшею в ушах райскою песнею

Сирина, с нежною сонною улыбкой, протянул он руки, вскрикнул: «Батя! Батя! Родненький!» — вскочил и бросился к отцу на шею. Тот обнял его крепко, до боли, и прижал к себе, целуя лицо и шейку, и голые ножки, и все его теплое под ночною рубашечкой сонное тельце. Отец привез ему из-за моря хитрую игрушку: в ящике деревянном под стеклом три немки вощаные, да ребенок, а за ними зеркальце; внизу костяная ручка; ежели вертеть ее, то и немки с ребенком вертятся, пляшут под музыку. Игрушка нравится Алеше. Но он едва взглянул на нее — и уже опять глядит, не наглядится на батюшку. Лицо у него похудело, осунулось; он возмужал, как будто еще вырос. Но Алеше кажется, что, хотя он и большой-большой, а все-таки маленький, все такой же, как прежде, веселый кудрявый быстроглазый мальчик. От него пахнет вином и свежим воздухом.

— А у бати усики выросли. Да какие махонькие! Чуть видать...

И с любопытством проводит он пальчиком над верхнею губой отца по мягкому темному пуху.

— А на бороде ямочка. Точь-в-точь, как у бабушки!

Он целует его в ямочку.

— А отчего у бати на руках мозоли?

— От топора, Алешенька: корабли за морем строил. Погоди, ужо вырастешь, и тебя возьму с собою. Хочешь за море?

— Хочу. Куда батя, туда и я. Хочу всегда с батей...

— А бабушки не жаль?

Алеша вдруг заметил в полуотворенных дверях перепуганное лицо старушки и бледное-бледное, точно мертвое, лицо матери. Обе смотрят на него издали, не смея подойти, и крестят его, и сами крестятся.

— Жаль бабушки!..— проговорил Алеша и удивился, почему отец не спрашивает его также о матери.

— А кого любишь больше, меня или бабушку?

Алеша молчит, ему трудно решить. Но вдруг еще крепче прижимается к отцу и, весь дрожа, замирая от стыдливой нежности, шепчет ему на ухо:

— Люблю батю, больше всех люблю!..

...И сразу все исчезло — и теремные покойчики, и пуховая постелька, и мать, и бабушка, и нянюшки. Он точно провалился в какую-то черную яму, выпал, как птенец из гнезда, прямо на мерзлую жесткую землю.

Большая холодная комната с голыми серыми стенами, с железными решетками в окнах. Он теперь уже не спит, а только всегда хочет спать и не может выспаться — будят

слишком рано. Сквозь туман, который ест глаза, видны длинные казармы, желтые цейхгаузы, полосатые будки, земляные валы с пирамидами ядер, с жерлами пушек, и Сокольничье поле, покрытое талым серым снегом, под серым небом, с мокрыми воронами и галками. Слышна барабанная дробь, окрики военных экзерциций: Во фрунт! Мушкет на плечо! Мушкет на караул! Направо кругом! — и сухой треск ружейной пальбы, и опять барабанная дробь.

С ним — тетка, царевна Наталья Алексеевна, старая дева с желтым лицом, костлявыми пальцами, которые пребольно щиплют, и злыми колючими глазами, которые смотрят на него так, как будто хотят съесть: «У, паршивый, Авдоткин щенок!»...

Лишь долгое время спустя узнал он, что случилось. Царь, вернувшись из Голландии, сослал жену, царицу Авдотью, в Суздальский монастырь, где насильно постригли ее под именем Елены, а сына взял из Кремлевских теремов в село Преображенское, в новый Потешный дворец. Рядом с дворцом — застенки Тайной Канцелярии, где производится розыск о стрелецком бунте. Там каждый день пылает более тридцати костров, на которых пытают мятежников.

Наяву, или во сне было то, что ему вспоминалось потом, он и сам не знал. Крадется, будто бы, ночью вдоль острых бревен забора, которым окружен тюремный двор. Оттуда слышатся стоны. Свет блеснул в щель между бревнами. Он приложил к ней глаз и увидел подобие ада.

Огни горят горючие,
Котлы кипят кипучие,
Ножи точат булатные,
Хотят тебя зарезати.

Людей жарят на огне; подымают на дыбу и растягивают, так что суставы трещат; раскаленными докрасна железными клещами ломают ребра,— «подчищают ногти», колют под них разожженными иглами. Среди палачей — царь. Лицо его так страшно, что Алеша не узнает отца: это он и не он — как будто двойник его, оборотень. Он собственноручно пытает одного из главных мятежников. Тот терпит все и молчит. Уже тело его — как окровавленная туша, с которой мясники содрали кожу. Но он все молчит, только смотрит прямо в глаза царю, как будто смеется над ним.

Умирающий вдруг поднял голову и плюнул в глаза царю.

— Вот тебе, собачий сын, Антихрист!..

Царь выхватил кортик из ножен и вонзил ему в горло. Кровь брызнула царю в лицо.

Алеша упал без чувств. Утром нашли его солдаты под забором, на краю канавы. Он долго пролежал больным, без памяти.

Едва оправившись, присутствовал, по воле батюшки, на торжественном посвящении дворца Лефорта богу Бахусу. Алеша — в новом немецком кафтане с жесткими фалдами на проволоках, в огромном парике, который давит голову. Тетка — в пышном роброне. Они в особой комнате, смежной с тою, где пируют гости. Тафтяные завесы, последний остаток теремного затвора, скрывают их от гостей. Но Алеше видно все: члены всепьянейшего собора, несущие, вместо священных сосудов, кружки с вином, фляги с медом и пивом; вместо Евангелия — открывающийся в виде книги погребец со склянками различных водок; курящийся в жаровнях табак — вместо ладана. Верховный жрец, князь-папа, в шутовском подобье патриаршей ризы, с нашитыми игральными костями и картами, в жестяной митре, увенчанной голым Вакхом, и с посохом, украшенным голою Венерою, благословляет гостей двумя чубуками, сложенными крест-накрест. Начинается попойка. Шуты ругают старых бояр, бьют их, плюют им в лицо, обливают вином, таскают за волосы, режут насильно бороды, выщипывают их с кровью и мясом. Пиршество становится застенком. Алеше кажется, что он все это видит в бреду. И опять не узнает отца: это двойник его, оборотень.

«Светлопорфирный великий государь царевич Алексей Петрович, сотворив о Безначальном альфы начало, и в немного ж времени, совершив литер и слогов учение, по обычаю аз-буки, учит Часослов»,— доносил царю «последнейший раб», Никишка Вяземский, царевичев дядька. Он учил Алешу по Домострою, «как всякой святыни касаться: чудотворные образа и многоцелебные мощи целовать с опасением и губами не плескать, и дух в себе удерживать, ибо мерзко Господу наш смрад и обоняние; просвиру святую вкушать бережно, крохи наземь не уронить, зубами не откусывать, как прочие хлебы, но, уламываючи кусочками, класть в рот и есть с верою и со страхом». Слушая эти наставления, Алеша вспоминал, как во дворце Лефорта перед бесстыжею немкою Монсихой пьяный Никишка, вместе с князем-папою и прочими шутами, отплясывал вприсядку под свист «весны» и кабацкую песенку:

На поповском лугу, их! вох!
Потерял я дуду, их! вох!

Ученый немец, барон Гюйссен представил царю Methodus instructionis, «Наказ, по коему тот, ему же учение

его высочества государя царевича поверено будет, поступать имеет».

«В чувстве и сердце любовь к добродетелям всегда насаждать и утверждать, також о том трудиться, дабы ему отвращение и мерзость ко всему, еже пред Богом злодеяние именуется, внушено, и из того происходящие тяжкие последствия основательно представлены и прикладами из Божественного Писания и светских гисторий освидетельствованы были. Французскому языку учить, который ни чрез что иное лучше, как чрез повседневное обходительство, изучен быть может. Расцвеченные маппы географические показывать. К употреблению цыркуля помалу приучать, изрядство и пользу геометрии представлять. Начало к военным экзерцициям, штурмованью, танцованью и конской езде учинить. К доброму русскому штилю, то есть слогу приводить. Во все почтовые дни французские куранты с Меркурием гисторическим прилежно читать, и купно о том политические и нравоучительные напоминания представлять. *Телемака* к наставлению его высочества, яко зерцало и правило предбудущего его правительства, во всю жизнь употреблять. А дабы непрестанным учением и трудами чувств не наскучить, к забаве игру труктафель в умеренное употребление привесть. Все труды сии возможно в два года удобно отправить и потом его высочество в науках к совершенству приводить, без потеряния времени, дабы он к основательному известию приступить мог: о всех делах политических в свете; о истинной пользе сего государства; о всех потребных искусствах, якоже фортификации, артиллерии, архитектуре гражданской, навигации и прочее, и прочее — к наивящей его величества радости и к собственной его высочества бессмертной славе».

Для исполнения Наказа выбрали первого попавшегося немца, Мартына Мартыновича Нейбауера. Он учил Алешу правилам «европейских кумплиментов и учтивств», по книжке «Юности честное зерцало».

«Наипаче всего должны дети отца в великой чести содержать. И когда от родителей что им приказано, всегда шляпу в руках держать и не с ним в ряд, но немного уступя, позади оных, к стороне стоять, подобно яко паж некоторый, или слуга. Также встретившего, на три шага не дошед и шляпу приятным образом сняв, поздравлять. Ибо лучше, когда про кого говорят: он есть вежлив, смиренный кавалер и молодец, нежели когда скажут: он есть спесивый болван. На стол, на скамью, или на что иное не опираться, и не быть подобным деревенскому мужику,

который на солнце валяется. Младые отроки не должны носом храпеть и глазами моргать. И сия есть не малая гнусность, когда кто часто сморкает, яко бы в трубу трубит, или громко чихает, и тем других людей, или в церкви детей малых устрашает. Обрежь ногти, да не явятся, яко бы оные бархатом обшиты. Сиди за столом благочинно, прямо, зубов ножом не чисти, но зубочисткою, и одною рукою прикрой рот, когда зубы чистишь. Над ествою не чавкай, как свинья, и головы не чеши, ибо так делают крестьяне. Младые отроки должны всегда между собою иностранными языками говорить, дабы тем навыкнуть могли, и можно бы их от других незнающих болванов распознать».

Так пел в одно ухо царевичу немец, а в другое — русский: «Не плюй, Олешенька, направо — там ангел хранитель; плюй налево — там бес. Не обувай, дитятко, левую ножку наперед правой — грешно. Собирай в бумажку и храни ноготки свои стриженные, было бы чем на гору Сионскую, в царство небесное лезть». Немец смеялся над русским, русский над немцем — и Алеша не знал, кому верить. «Горделивый студент, мещанский сын из Гданска» ненавидел Россию. «Что это за язык? — говаривал он.— Риторики и грамматики на этом языке быть не может. Сами русские попы не в силах объяснить, что они в церкви читают. От русского языка одно непросвещение и невежество!» Он всегда был пьян и, пьяный, еще пуще ругался:

— Вы-де ничего не знаете, у вас все варвары! Собаки, собаки! Гундсфоты!..[1]

Русские дразнили немца «Мартынушкой — мартышкою» и доносили царю, что «вместо обучения государя царевича, он, Мартын, подает ему злые приклады, сочиняет противность к наукам и к обхождению с иностранными». Алеше казалось, что оба дядьки — и русский, и немец — одинаковые хамы.

Так надоест, ему, бывало, Мартын Мартынович за день, что ночью снится в виде ученой мартышки, которая, по правилам европейских кумплиментов и учтивств, кривляется перед Юности честным зерцалом. Кругом стоят, как на стенах Золотой палаты с иконописными ликами, древние московские цари, патриархи, святители. А Мартышка смеется над ними, ругается: «Собаки, собаки! Гундсфоты! Вы все ничего не знаете, у вас все варвары!» И чудится Алеше сходство этой обезьяньей морды с искаженным судорогой, лицом не царя, не батюшки, а

---

[1] Сукины дети, подлецы (нем. Hundsfott).

того, другого, страшного двойника его, оборотня. И мохнатая лапа тянется к Алеше и хватает его за руку, и тащит.

И опять он проваливается, теперь уже на самый край света, на плоское взморье со мшистыми кочками ржавых болот, с бледным, точно мертвым, солнцем, с низким, точно подземным, небом. Здесь все туманно, похоже на призрак. И он сам себе кажется призраком, как будто умер давно и сошел в страну теней.

Тринадцати лет записан царевич в солдаты бомбардирской роты и взят в поход под Нотебург. Из Нотебурга в Ладогу, из Ладоги в Ямбург, в Копорье, в Нарву,— всюду таскают его за войском в обозе, чтоб приучить к военным экзерцициям. Почти ребенок, терпит он со взрослыми опасности, лишения, холод, голод, бесконечную усталость. Видит кровь и грязь, все ужасы и мерзости войны. Видит отца, но мельком, издали. И каждый раз, как увидит — сердце замрет от безумной надежды: вот подойдет, подзовет, приласкает. Одно бы слово, один взор — и Алеша ожил бы, понял, чего хотят от него. Но отцу все некогда: то шпага, то перо, то циркуль, то топор в руке его. Он воюет со Шведом и вбивает первые сваи, строит первые домики Санкт-Питерсбурха.

«Милостивый мой Государь Батюшка, прошу у тебя, Государя, милости, прикажи о своем здравии писанием посетить, мне во обрадование, чего всегда слышать усердно желаю.

Сынишко твой Алешка благословения твоего прошу
и поклонение приношу.

Из Питербурха. 25 августа 1703».

И в письмах, которые пишет под диктовку учителя, не смеет прибавить сердечного слова — ласки или жалобы. Одинокий, одичалый, запуганный, растет, как под забором полковых цейхгаузов или в канаве сорная трава.

Нарва взята приступом. Царь, празднуя победу, делает смотр войскам, при пушечной пальбе и музыке. Царевич стоит перед фронтом и видит издали, как подходит к нему юный великан с веселым и грозным лицом. Это он, он сам — не двойник, не оборотень, а настоящий прежний родной батюшка. Сердце у мальчика бьется, замирает опять от безумной надежды. Глаза их встретились — и точно молния ослепила Алешу. Подбежать бы к отцу, броситься на шею, обнять и целовать, и плакать от радости.

Но резко и отчетливо, как барабанная дробь, раздаются слова, подобные словам указов и артикулов:

— Сын! Для того я взял тебя в поход, чтобы ты видел, что я не боюсь ни трудов, ни опасностей. Понеже я, как смертный человек, сегодня или завтра могу умереть, то помни, что радости мало получишь, ежели не будешь моему примеру следовать. Никаких трудов не щади для блага общего. Но если разнесет мои советы ветер, и не захочешь делать то, что я желаю, то не признаю тебя своим сыном и буду молить Бога, чтоб Он тебя наказал и в сей, и в будущей жизни...

Отец берет Алешу за подбородок двумя пальцами и смотрит ему в глаза пристально. Тень пробегает по лицу Петра. Как будто в первый раз увидел он сына: этот слабенький мальчик, с узкими плечами, впалою грудью, упрямым и угрюмым взором — его единственный сын, наследник престола, завершитель всех его трудов и подвигов. Полно, так ли? Откуда взялся этот жалкий заморыш, галчонок в орлином гнезде? Как мог он родить такого сына?

Алеша весь сжался, съежился, как будто угадывал все, что думал отец, и был виноват перед ним неизвестною, но бесконечною виною. Так стыдно и страшно ему, что он готов разреветься, как маленький мальчик, в виду всего войска. Но, сделав над собой усилие, дрожащим голоском лепечет заученное приветствие:

— Всемилостивейший государь батюшка! Я еще слишком молод и делаю, что могу; но уверяю ваше величество, что, как покорный сын, я буду всеми силами стараться подражать вашим деяниям и примеру. Боже сохрани вас на многие годы в постоянном здравии, дабы еще долго я мог радоваться столь знаменитым родителем...

По наставлению Мартына Мартыновича, шляпу сняв «приятным образом, как смиренный кавалер», он делает немецкий «кумплимент»:

— Meines gnädigsten Papas gehorsamster Diener und Sohn[1].

И чувствует себя перед этим исполином, прекрасным, как юный бог, маленьким уродцем, глупою мартышкою.

Отец сунул ему руку. Он поцеловал ее. Слезы брызнули из глаз Алеши, и ему показалось, что отец с отвращением, почувствовав теплоту этих слез, отдернул руку.

Во время триумфального входа войск в Москву, 17 декабря 1704 года, по случаю Нарвской победы, царевич шел в строевом Преображенском платье, с ружьем, как простой солдат. Была стужа. Озяб, чуть не замерз. Во

[1] Моего досточтимого батюшки покорнейший слуга и сын (*нем.*).

дворце, за обычной попойкой, первый раз в жизни выпил стакан водки, чтобы согреться, и сразу охмелел. Голова закружилась, в глазах потемнело. Сквозь эту тьму, с мутно зелеными и красными, быстро вертящимися, переплетающимися кругами, видел ясно только лицо батюшки, который смотрел на него с презрительной усмешкою. Алеша почувствовал боль нестерпимой обиды. Шатаясь, встал он, подошел к отцу, посмотрел на него исподлобья, как затравленный волчонок, хотел что-то сказать, что-то сделать, но вдруг побледнел, слабо вскрикнул, покачнулся и упал к ногам отца, как мертвый.

III

— Уже временная жизнь моя старостью кончается, безгласием, и глухотою, и слепотою. Того ради милости прошу уволить меня от ключарства, отпустить на покой во святую обитель...

Погруженный в воспоминания, царевич не слышал однообразно журчащих слов о. Ивана, который, выйдя из кельи, сел снова рядом с ним на лавочку.

— Еще и домишко мой, и домовые пожитчонки, и рухледишко излишний продал бы, и двух сироток, у меня живущих, племянниц моих безродных, управить бы в какой монастырь. А что приданого соберется, то принести бы вкладу в обитель, дабы мне, грешному, не туне ясти монастырские хлеба, и дабы то от меня принято было, как от вдовицы Евангельской две лепты. И пожить бы мне еще малое время в безмолвии и в покаянии, доколе Божьим повелением не взят буду от здешней в грядущую жизнь. А лета мои мню быть при смерти моей, понеже и родитель мой, в сих летах быв, преставился...

Очнувшись, как от глубокого сна, царевич увидел, что давно уже ночь. Белые башни соборов сделались воздушноголубыми, еще более похожими на исполинские цветы, райские лилии. Золотые главы тускло серебрились в черносинем звездном небе. Млечный путь слабо мерцал. И в дуновении горней свежести, ровном, как дыхание спящего, сходило на землю предчувствие вечного сна — тишина бесконечная.

И с тишиной сливались медленно журчавшие слова о. Ивана:

— Отпустили б меня на покой во святую обитель, пожить бы в безмолвии, доколе не взят буду от здешней в грядущую жизнь...

Он говорил еще долго, умолкал, опять говорил; ухо-

дил, возвращался, звал царевича ужинать. Но тот ничего не видел и не слышал. Опять смежил глаза и погрузился в забвенье, в ту темную область между явью и сном, где обитают тени прошлого. Опять проходили перед ним воспоминанья — видения, образ за образом, как длинная цепь звено за звеном; и над всеми царил один ужасающий образ — отец. И как путник, озираясь ночью с высоты при блеске молнии, вдруг видит весь пройденный путь, так он, при страшном блеске этого образа, видел всю свою жизнь. . . . .

. . . .

Ему семнадцать лет — те годы, когда на прежних московских царевичей, только что «объявленных», люди съезжались смотреть, как на «дивовище». А на Алешу уже взвален труд непосильный: ездит из города в город, закупает провиант для войска, рубит и сплавляет лес для флота, строит фортеции, печатает книги, льет пушки, пишет указы, набирает полки, отыскивает кроющихся недорослей под страхом смертной казни, почти ребенок, над такими же ребятами, как он, «без всякого пардона, чинит экзекуцию», сам накрепко смотрит за всем, «дабы фальшиво не было», и посылает батюшке точнейшие реляции.

От немецких склонений к болверкам [1], от болверков к попойкам, от попоек к сыску беглых — голова кругом идет. Чем больше старается, тем больше требуют. Ни сроку, ни отдыху. Кажется, издохнет от усталости, как загнанная лошадь. И знает, что напрасно все — «на батюшку не угодит никто ничем».

В то же время учится, как школьник. «Недели две будем твердить одного немецкого языка, чтоб склонениям в твердость было, а потом будем учить французского и арифметики. А учение бывает по вся дни».

Наконец, надорвался. В январе 1709 года, в великие морозы, когда отводил из Москвы к отцу в Украйну, в город Сумы, пять полков, которые сам набрал, и которые должны были участвовать в Полтавском бою, по дороге простудился, заболел и несколько недель пролежал без памяти — «отчаян был в смерть».

Очнулся в солнечный день ранней весны. Вся комната залита косыми лучами желтого света. За окнами еще снежные сугробы. Но с ледяных сосулек уже падают капли. Журчат весенние воды, и в небесах звенит, как колокольчик, песня жаворонка. Алеша видит над собой склоненное лицо батюшки, прежнее, милое, полное нежностью.

[1] Крепостным валам, бастионам.

— Светик мой родненький, легче ли?..

Не имея сил ответить, Алеша только улыбается.

— Ну, слава Богу, слава Богу!— крестится отец благоговейно.— Помиловал Господь, услышал молитвы мои. Теперь, небось, поправишься!

Царевич узнал впоследствии, что батюшка не отходил от него во время болезни, забросил все свои дела, ночей не спал. Когда становилось ему хуже, назначал молебствия и дал обет построить церковь во имя св. Алексия человека Божия.

Наступили радостные медленные дни выздоровления. Алеше казалось, что ласки отца, как солнечный свет и тепло, исцеляют его. В блаженной истоме, со сладостной слабостью в теле, целыми днями лежал неподвижно, смотрел и не мог насмотреться на простое величавое лицо батюшки, на светлые страшные милые очи, на прелестную, как будто немного лукавую, улыбку женственно-тонких, извилистых губ. Отец не знал, как приласкать Алешу, как угодить ему. Однажды подарил собственного изделия, точеную из слоновой кости табакерку, с надписью: *Малое, только от доброго сердца.* Царевич хранил ее долгие годы, и каждый раз, бывало, как взглянет на нее,— что-то острое, жгучее, подобное безмерной жалости к отцу, пронзит ему сердце.

В другой раз, тихонько гладя сыну волосы, Петр проговорил смущенно и робко, точно извиняясь:

— Ежели сказал я тебе, или сделал что огорчительное, то для Бога, не имей о том печали. Прости, Алеша. В трудном житии и малая противность приводит в сердце. А житие мое истинно трудно: не с кем ни о чем подумать! Ни единого помощника!..

Алеша, как бывало в детстве, обвил отцу шею руками, и весь дрожа, замирая от стыдливой нежности, шепнул ему на ухо:

— Батя милый, родненький, люблю, люблю!..

Но по мере того, как возвращался он к жизни, отец уходил от него. Словно положен был на них беспощадный зарок: быть вечно друг другу родными и чуждыми, тайно друг друга любить, явно ненавидеть.

И все пошло опять по-старому: сбор провианта, сыск беглых, литье пушек, рубка лесов, строенье болверков, скитанье из города в город. Опять работает, как каторжный. А батюшка все недоволен, все ему кажется, сын ленится — «дела оставив, ходит за бездельем». Иногда Алеше хочется напомнить ему о том, что было в Сумах. Но язык не поворачивается.

«Зоон! Объявляем вам ехать в Дрезден. Между тем

приказываем, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали больше учению, а именно языкам, геометрии и фортификации, также отчасти и политических дел. А когда геометрию и фортификацию окончишь, отпиши к нам».

В чужих краях жил покинутый всеми изгнанником. Отец опять забыл о нем. Вспомнил, чтобы женить. Невеста, дочь Вольфенбюттельского герцога Шарлотта, не нравилась царевичу. Ему не хотелось жениться на иноземке. «Вот жену мне на шею чертовку навязали!»— ругался он, пьяный.

Перед свадьбою должен был вести унизительный торг о приданом. Царь старался оттягать у немцев каждый грош.

Прожив с женою полгода, покинул ее для новой «волокиты»: из Штетина в Мекленбург, из Мекленбурга в Або, из Або в Новгород, из Новгорода в Ладогу — опять бесконечная усталость, бесконечный страх.

Этот страх перед каждым свиданьем с отцом возрастал до безумного ужаса. Подходя к дверям батюшкиной комнаты, царевич шептал, крестясь: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его»; бессмысленно твердил урок навигации, не в силах запомнить варварских слов: круп-камеры, балк-вегерсы, гайген-блокены, анкар-штоки — и щупал на груди ладанку, подарок няни, с наговоренною травкою, вмятою в воск, и бумажкою, на которой написан был древний заговор — для умягчения сердца родительского:

«На велик день я родился, тыном железным оградился и пошел я к своему родимому батюшке. Загневался мой родимый родушка, ломал мои кости, щипал мое тело, топтал меня в ногах, пил мою кровь. Солнце ясное, звезды светлые, море тихое, поля желтые — все вы стоите смирно и тихо; так был бы тих и смирен мой родимый батюшка, по вся дни, по вся часы, в нощи и полунощи».

— Ну, брат, нечего сказать, изрядная фортеция!— разглядывая поданный сыном чертеж, пожимал плечами отец.— Многому ты, видно, в чужих краях научился.

Алеша окончательно терялся, пугался, как провинившийся школьник перед розгою.

Чтоб избавиться от этой пытки, принимал лекарства, «притворял себе больным».

Ужас превращался в ненависть.

Перед Прутским походом царь тяжело заболел — «не чаял живота себе». Когда царевич узнал об этом, у него впервые промелькнула мысль о возможной смерти отца,

вместе с радостью. Он испугался этой радости, отогнал ее, но истребить не мог. Она притаилась где-то в самой глубине души его, как зверь в засаде.

Однажды, во время попойки, когда царь, по обыкновению, ссорил пьяных, чтоб узнать из перебранки тайные мысли своих приближенных, царевич, тоже пьяный, заговорил о делах государственных, об угнетении народа.

Все притихли, даже шуты перестали галдеть. Царь слушал внимательно. У Алеши сердце замирало от надежды: что, если поймет, послушает?

— Ну, полно врать!— вдруг остановил его царь, с тою усмешкою, которая была так знакома и ненавистна Алеше.— Вижу, брат, что ты политичные и гражданские дела столь остро знаешь, сколь медведь играть на органах...

И, отвернувшись, сделал знак шутам. Они опять загалдели. Князь Меншиков, пьяный, с другими вельможами пустился в пляс.

Царевич все еще что-то говорил, кричал срывающимся голосом. Но отец, не обращая на него внимания, притопывал, прихлопывал, подсвистывал пляшущим:

Тары-бары, растобары,
Белы снеги выпадали,
Серы зайцы выбегали.
Ой, жги! Ой, жги!

И лицо у него было солдатское, грубое — лицо того, кто писал: «неприятелю от нас добрый трактамент был, что и младенцев немного оставили».

Запыхавшийся от пляски Меншиков остановился вдруг перед царевичем, руки в боки, с наглою усмешкою, в которой отразилась усмешка царя.

— Эй, царевич!—крикнул светлейший, произнося «царевич», по своему обыкновению, так, что выходило «псаревич».

— Эй, царевич Федул, что ты губы надул? Ну-ка, с нами попляши!

Алеша побледнел, схватился за шпагу, но тотчас опомнился и, не глядя на него, проговорил сквозь зубы:

— Смерд!..

— Что? Что ты сказал, щенок?..

Царевич обернулся, посмотрел ему прямо в глаза и произнес громко:

— Я говорю: смерд! Смерда взгляд хуже брани...

В то же мгновение мелькнуло перед Алешею искаженное судорогой лицо батюшки. Он ударил сына по лицу так, что кровь полилась изо рта, из носу; потом схватил его за горло, повалил на пол и начал душить. Старые

сановники, Ромодановский, Шереметев, Долгорукие, которым царь сам поручил удерживать его в припадках бешенства, бросились к нему, ухватили за руки, оттащили от сына — боялись, что убьет.

Дабы «учинить сатисфакцию» светлейшему, царевича выгнали из дома и поставили на караул у дверей, как ставят в угол школьника. Была зимняя ночь, мороз и вьюга. Он — в одном кафтане, без шубы. На лице слезы и кровь замерзали. Вьюга выла, кружилась, точно пела и плясала, пьяная. И за освещенными окнами дома, тоже плясала и пела пьяная старая шутиха, князь-игуменья Ржевская. С диким воем вьюги сливалась дикая песня:

Меня матушка плясамши родила,
А крестили во царевом кабаке,
А купали во зеленыим вине.

Такая тоска напала на Алешу, что он готов был размозжить себе голову о стену.

Вдруг, в темноте, кто-то сзади подкрался к нему, накинул на плечи шубу, потом опустился перед ним на колени и начал целовать ему руки — точно лизал их ласковый пес. То был старый солдат преображенской гвардии, случайный товарищ Алеши по караулу, тайный раскольник.

Старик смотрел ему в глаза с такою любовью, что, видно, готов был за него отдать душу свою, и плакал, и шептал, словно молился за него.

— Государь царевич, свет ты наш батюшка, солнышко красное! Сиротка бедненький — ни отца, ни матери. Сохрани тебя Отец Небесный, Матерь Пречистая!..

Отец бивал Алешу не раз, и без чинов кулаками, и по чину дубинкою. Царь делал все по-новому, а сына бил по-старому, по Домострою о. Сильвестра, советника царя Грозного, сыноубийцы:

«Не дай сыну власти в юности, но сокруши ребро, донележе ростет; аще бо жезлом его биеши, то не умрет, но здравее будет».

Алеша чувствовал животный страх побоев — «убьет, искалечит» — но к душевной боли и стыду привык. Порой загоралась в нем злобная радость. «Ну, что ж, бей! Не меня, себя срамишь»— как будто говорил он отцу, глядя на него бесконечно-покорным и бесконечно-дерзким взглядом.

Но, должно быть, отец догадался об этом; он прекратил побои и придумал злейшее: перестал говорить с ним вовсе. Когда Алеша сам заговаривал,— молчал, точно

не слышал, и глядел на него, как на пустое место. Молчание длилось недели, месяцы, годы. Он чувствовал его всегда, везде, и с каждым днем оно становилось все нестерпимее. Оскорбительнее всякой брани, страшнее всяких побоев. Оно казалось ему медленным убийством — такою жестокостью, которой не простят ни люди, ни Бог.

Это молчание было конец всего. Дальше — ничего, кроме мрака, и во мраке — мертвое, неподвижное, точно каменная маска, лицо батюшки, каким видел он его в последний раз. И мертвые слова из мертвых уст: «Яко уд гангренный отсеку, как со злодеем поступлю!» . . . . .

. . . .

Нить воспоминаний оборвалась. Он очнулся и открыл глаза. Ночь все так же тиха; так же синеют белые башни соборов; золотые главы тускло серебрятся в черном звездном небе; млечный путь слабо мерцает. И в дуновении горней свежести, ровном, как дыхание спящего, с неба на землю сходит предчувствие вечного сна — тишина бесконечная.

Царевич испытывал в это мгновение как будто усталость всей своей жизни; спину, руки, ноги, все члены ломило; кости ныли от усталости.

Хотел встать, но не было сил, только руки поднял к небу и простонал, точно позвал Того, Кто мог ответить:

— Боже мой! Боже мой!..

Но никто не ответил. Молчанье было на земле и на небе, как будто и Отец Небесный покинул его, так же, как земной.

Он закрыл лицо руками, склонился головой на каменную лавку и заплакал, сначала тихо, жалобно, как плачут брошенные дети; потом — все громче и громче, все безумнее. Рыдал и бился головой о камни и кричал от обиды, от возмущения, от ужаса. Плакал о том, что нет отца — и в этом плаче был вопль Голгофы, вечный вопль Сына к Отцу:

Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?

Вдруг услышал, как тогда, зимнею ночью, на карауле, что кто-то в темноте подошел к нему, склонился и обнял. То был о. Иван, старый ключарь Благовещенский.

— Что ты, родимый? Господь с тобой! Кто обидел тебя, светик мой?..

— Отец!.. Отец!..— мог только простонать Алеша.

Старик понял все. Тяжело вздохнул, помолчал, потом зашептал с такою безнадежною покорностью, что, казалось, устами его говорит сама дряхлая мудрость веков.

— Что делать, Алешенька? Смирись, смирись, дитятко! Плетью обуха не перешибешь. С царем не поспоришь. Бог на небе, царь на земле. Несудима воля царская. Одному Богу государь ответ держит. А он тебе не только царь, но и отец богоданный...

— Не отец, а злодей, мучитель, убийца! — крикнул Алеша. — Будь он проклят, будь он проклят, изверг!..

— Государь царевич, ваше высочество, не гневи Бога, не говори слов неистовых! Велика власть отчая. И в Писании сказано: *чти отца своего...*

Царевич перестал вдруг плакать, быстро обернулся и посмотрел на старика долго, пристально.

— А ведь и другое тоже, батька, в Писании сказано: *не приидох вложити мир, но рать и нож — приидох разлучити человека сына от отца.* Слышишь, старик? Господь разлучил меня от отца моего! От Господа я — рать и нож в сердце родшаго мя, я — суд и казнь ему от Господа! Не за себя я восстал, а за церковь, за царство, за весь народ христианский! Ревнуя, поревновал о Господе! И не смирюсь, не покорюсь ему — даже до смерти! Тесно нам обоим в мире! Или он, или я!..

С лицом, искаженным судорогой, с трясущейся нижнею челюстью, с глазами, горящими грозным огнем, он стал похож на отца внезапным, точно призрачным, сходством.

Старик смотрел на него в ужасе, как на одержимого, и крестил его, и сам крестился, и качал головою, и шамкал дряхлыми устами слова дряхлой мудрости:

— Смирись, смирись, дитятко! Покорись отцу!..

И казалось, древние стены Кремля, и дворцы, и соборы, и самая земля с гробами отцов — здесь все повторяло: «Смирись, смирись!»

Когда царевич вошел в дом ключаря Благовещенского, сестра его, Алешина кормилица, старушка Марфа Афанасьевна, взглянув на лицо его, подумала, что он болен. Она еще больше перепугалась, когда он отказался от ужина и прошел прямо в спальню. Старушка хотела было напоить его липовым цветом и натереть камфарою с винным духом. Чтоб успокоить ее, он должен был принять водки-апоплектики. Собственными руками она уложила его в постель, мягкую-премягкую, с целою горою пуховиков и подушек, в такой он уже давно не спал. Так мирно теплилась лампада перед образом; веяло таким знакомым запахом сушеных лекарственных трав, кипариса и ладана; так усыпителен был шепот старушки, которая сказывала старые детские сказки об Иване царевиче и

сером волке, о петушке-золотом-гребешке, о лапте, пузыре да соломинке, что хотели вместе реку перейти, соломинка сломалась, лапоть потонул, а пузырь дулся, дулся и лопнул; — что Алеше казалось сквозь дремоту, будто бы он, маленький мальчик, лежит в своей постельке, у бабушки в тереме, и всего, что было, не было, и не Марфа Афанасьевна, а бабушка склоняется над ним, укрывает его, укутывает, укручивает, и крестит, и шепчет: «Спи, свет Олешенька, спи с Богом, дитятко». И тихо, тихо. И Сирин, птица райская, поет песни царские. И слушая сладкое пение, он, точно умирает, засыпает вечным сном без сновидений.

Но перед утром приснилось ему, будто бы идет он в Кремле, по Красной площади, среди народа, совершая Шествие на Осляти в Неделю Ваий — Воскресение Вербное. В большом царском наряде, в златой порфире, златом венце и бармах Мономаха, ведет за повод Осля, на котором сидит патриарх, старенький-старенький, седенький, весь белый, светлый от седины. Но вглядевшись пристальнее, Алеша видит, что это не старик, а юноша в одежде белой, как снег, с лицом, как солнце,— Сам Христос. Народ не видит или не узнает Его. У всех лица страшные, серые, землистые, как у покойников. И все молчат — такая тишина, что Алеша слышит, как бьется его собственное сердце. И небо тоже страшное, полное трупною серостью, как перед затмением солнца. А под ногами у него все вертится горбун, в треуголке, с глиняной трубкою в зубах, и дымит ему прямо в нос вонючим голландским канастером, и что-то лопочет, и нагло ухмыляется, указывая пальцем туда, откуда доносится растущий, приближающийся гул, подобный гулу урагана. И видит Алеша, что это — встречное шествие: протодиакон всепьянейшего собора, царь Петр Алексеевич, ведет за повод, вместо осляти, невиданного зверя; на звере сидит некто с темным ликом; Алеша рассмотреть его не может, но кажется, что он похож на плута Федоску и на Петьку-вора, Петьку-хама, только страшнее, гнуснее обоих; а перед ними — бесстыжая голая девка, не то Афроська, не то петербургская Венус. Встречное шествие, звонят во все колокола и в самый большой, на Иване Великом, называемый *Ревутом*. И народ кричит, как на бывшей свадьбе князя-папы, Никиты Зотова.

— Патриарх женился! Патриарх женился! Да здравствует патриарх с патриаршею!

И падая ниц, поклоняется Зверю, Блуднице и Хаму Грядущему:

— Осанна! Осанна! Благословен Грядый!

Покинутый всеми, Алеша — один со Христом, среди обезумевшей черни. И дикое шествие мчится прямо на них, с криком и гиком, с мраком и смрадом, от которого чернеет золото царских одежд и самое солнце Лика Христова. Вот налетят, раздавят, растопчут, все сметут — и станет на месте святом мерзость запустения.

Вдруг все исчезло. Он на берегу широкой пустынной реки, как будто на большой дороге из Польши в Украйну. Поздний вечер поздней осени. Мокрый снег, черная грязь. Ветер срывает последние листья с дрожащих осин. Нищий в лохмотьях, озябший, посиневший, просит жалобно: «Христа ради, копеечку!» — «Вишь, клейменый,— думает Алеша, глядя на руки и ноги его с кровавыми язвами,— должно быть, беглый из рекрут». И так жалеет «малаго озяблаго», что хочет дать ему не копеечку, а семь гульденов. Вспоминает во сне, что записал в путевом дневнике, среди прочих расходов: «22 ноября — За перевоз через реку 3 гульдена; за постой в жидовской корчме 5 гульденов; *малому озяблому* 7 гульденов». Уже протягивает руку нищему — вдруг чья-то грубая рука ложится на плечо Алеши, и грубый голос, должно быть, караульного солдата при шлагбауме, говорит:

— За подаянье милостыни штрафу пять рублев, а нищих, бив батожьем, и ноздри рвав, ссылать на Рогервик.

— Смилуйся,— молит Алеша.— Лисицы имеют норы, и птицы — гнезда, а Сей не имеет, где приклонить голову...

И вглядываясь в малого озяблого, видит, что лицо Его, как солнце, что это — Сам Христос.

IV

«Мой сын!

Понеже, когда прощался я с тобою и спрашивал тебя о резолюции твоей на известное дело, на что ты всегда одно говорил, что к наследству быть не можешь за слабостью своею и что в монастырь удобнее желаешь; но я тогда тебе говорил, чтобы еще ты подумал о том гораздо и писал ко мне, какую возьмешь резолюцию, чего я ждал семь месяцев; но по ся поры ничего о том не пишешь. Того для, ныне (понеже время довольное на размышление имел), по получении сего письма, немедленно резолюцию возьми — или первое, или другое. И буде первое возьмешь, то более недели не мешкай, приезжай сюда, ибо еще можешь к действам поспеть. Буде же другое возьмешь, то отпиши, куды и в которое время, и день (дабы я покой имел в своей совести, чего от тебя ожидать могу).

А сего доносителя пришли с окончанием: буде по первому, то когда выедешь из Питербурха; буде же другое, то когда совершишь. О чем паки подтверждаем, чтобы сие конечно учинено было, ибо я вижу, что только время проводишь в обыкновенном своем неплодии».

Курьер Сафонов привез письмо из Копенгагена на мызу Рождествено, куда царевич вернулся из Москвы.

Он ответил отцу, что едет к нему тотчас. Но никакой резолюции не взял. Ему казалось, что тут не выбор одного из двух — или постричься или исправить себя к наследству — а только двойная ловушка: постричься с мыслью, что клобук-де не гвоздем к голове прибит, значило дать Богу лживую клятву — погубить душу; а для того, чтобы исправить себя к наследству, как требовал батюшка, нужно было снова войти в утробу матери и снова родиться.

Письмо не огорчило и не испугало царевича. На него нашло то бесчувственное и бессмысленное оцепенение, которое в последнее время все чаще находило на него. В таком состоянии он говорил и делал все, как во сне, сам не зная, что скажет и сделает в следующую минуту. Страшная легкость и пустота были в сердце — не то отчаянная трусость, не то отчаянная дерзость.

Он поехал в Петербург, остановился в доме своем у церкви Всех Скорбящих и велел камердинеру Ивану Афанасьеву Большому «убрать, что надобно в путь против прежнего, как в немецких краях с ним было».

— К батюшке изволишь ехать?

— Еду, Бог знает, к нему или в сторону,— проговорил Алексей вяло.

— Государь царевич, куда в сторону?— испугался или притворился Афанасьич испуганным.

— Хочу посмотреть Венецию...—усмехнулся было царевич, но тотчас прибавил уныло и тихо, как будто про себя:

— Я не ради чего иного, только бы мне себя спасти... Однако ж, ты молчи. Только у меня про это ты знаешь, да Кикин..

— Я тайну твою хранить готов,— ответил старик со своею обычной угрюмостью, под которою, однако, светилась теперь в глазах его бесконечная преданность.— Только нам беда будет, когда ты уедешь. Осмотрись, что делаешь...

— Я от батюшки не чаял к себе присылки быть,— продолжал царевич все так же сонно и вяло.— И в уме моем того не было. А теперь вижу, что мне путь правит Бог. А се, и сон я ныне видел, будто церкви строю, а то значит — путь достроить...

И зевнул.

— Многие, ваша братья,— заметил Афанасьич,— спасалися бегством. Однако в России того не бывало, и никто не запомнит...

Прямо из дому царевич поехал к Меншикову и сообщил ему, что едет к отцу. Князь говорил с ним ласково. Под конец спросил:

— А где же ты Афросинью оставишь?

— Возьму до Риги, а потом отпущу в Питербурх,— ответил царевич наугад, почти не думая о том, что говорит; он потом сам удивился этой безотчетной хитрости.

— Зачем отпускать?— молвил князь, заглянув ему прямо в глаза.— Лучше возьми с собою...

Если бы царевич был внимательнее, он удивился бы: не мог не знать Меншиков, что сыну, который желал «исправить себя к наследству», нельзя было явиться к батюшке в лагерь «для обучения воинских действ» с непотребною девкою Афроською. Что же значили эти слова? Когда впоследствии узнал о них Кикин, то внушил царевичу благодарить князя письмом за совет; «может-де быть, что отец найдет письмо твое у князя и будет иметь о нем суспект.[1] в твоем побеге».

На прощание Меншиков велел ему зайти в Сенат, чтобы получить паспорт и деньги на дорогу.

В Сенате все старались наперерыв услужить царевичу, как будто желали тайно выразить сочувствие, в котором нельзя было признаться. Меншиков дал ему на дорогу 1.000 червонных. Господа Сенат назначили от себя другую тысячу и тут же устроили заем пяти тысяч золотом и двух мелкими деньгами у обер-комиссара в Риге. Никто не спрашивал, все точно сговорились молчать о том, на что царевичу может понадобиться такая куча денег.

После заседания князь Василий Долгорукий отвел его в сторону.

— Едешь к батюшке?

— А как же быть, князь?

Долгорукий осторожно оглянулся, приблизил свои толстые, мягкие, старушечьи губы к самому уху Алексея и шепнул:

— Как? А вот как: взявши шлык да в подворотню шмыг, поминай как звали — был не был. а и след простыл, по пусту месту хоть обухом бей!..

И помолчав, прибавил, все так же на ухо шепотом:

— Кабы не государев жестокий нрав да не царица, я бы в Штетин первый изменил, лытка бы задал!

Он пожал руку царевичу, и слезы навернулись на хитрых и добрых глазах старика.

---

[1] Подозрение (от франц. suspect).

— Ежели в чем могу впредь служить, то рад хотя бы и живот за тебя положить...

— Пожалуй, не оставь, князенька!— проговорил Алексей, без всякого чувства и мысли, только по старой привычке.

Вечером он узнал, что вернейший из царских слуг, князь Яков Долгорукий посылал ему сказать стороной, чтоб он к отцу не ездил: «худо-де ему там готовится».

На следующее утро, 26 сентября 1716 года, царевич выехал из Петербурга в почтовой карете, с Афросиньей и братом ее, бывшим крепостным человеком, Иваном Федоровым.

Он так и не решил, куда едет. Из Риги, однако, взял с собою Афросинью дальше, сказав, что «велено ему ехать тайно в Вену, для делания алианцу против Турка, и чтобы там жить тайно, дабы не сведал Турок».

В Либаве встретил его Кикин, возвращавшийся из Вены.

— Нашел ты мне место какое?— спросил его царевич.

— Нашел: поезжай к цесарю, там не выдадут. Сам цесарь сказал вице-канцлеру Шенборну, что примет тебя, как сына.

Царевич спросил:

— Когда ко мне будут присланные в Данциг от батюшки, что делать?

— Уйди ночью,— ответил Кикин,— или возьми детину одного; а багаж и людей брось. А ежели два присланы будут, то притвори себе болезнь, и из тех одного пошли наперед, а от другого уйди.

Заметив его нерешительность, Кикин сказал:

— Попомни, царевич: отец не пострижет тебя ныне, хотя б ты и хотел. Ему друзья твои, сенаторы приговорили, чтоб тебя ему при себе держать неотступно и с собою возить всюду, чтоб ты от волокиты умер, понеже-де труда не понесешь. И отец сказал: хорошо-де так. И рассуждал ему князь Меншиков, что в чернечестве тебе покой будет и можешь долго жить. И по сему слову, я дивлюсь, что давно тебя не взяли. А может быть, и то сделают: как будешь в Дацкой земле, и отец, под протекстом обучения, посадя на один воинский свой корабль, даст указ капитану вступить в бой со шведским кораблем, который будет в близости, чтобы тебя убить, о чем из Копенгагена есть ведомость. Для того тебя ныне и зовут, и, кроме побегу, тебе спастись ничем нельзя. А самому лезть в петлю — сие было бы глупее всякого скота!— заключил Кикин и посмотрел на царевича пристально:

— Да что ты такой сонный, ваше высочество, словно не в себе? Аль не можется?

— Устал я очень,— ответил царевич просто.

Когда они уже простились и разошлись, Кикин вдруг вернулся, догнал его, остановил и, глядя ему прямо в глаза, проговорил медленно, упирая на каждое слово — и такая уверенность была в этих словах, что у царевича, несмотря на все его равнодушие, мороз пробежал по телу:

— Буде отец к тебе пришлет кого тебя уговаривать, чтоб ты вернулся, и простить обещает, то не езди: он тебе голову отсечет публично.

При отъезде из Либавы Алексей точно так же ничего не решил, как при отъезде из Петербурга. Он, впрочем, надеялся, что и решать не придется, потому что в Данциге ждут посланные от батюшки. С Данцига дорога разделялась на две: одна на Копенгаген, другая через Бреславль на Вену. Посланных не оказалось. Нельзя было медлить решением. Когда хозяин вирцгауза [1], где царевич остановился на ночь, пришел вечером спросить, куда ему угодно заказать лошадей на завтра, он посмотрел на него с минуту рассеянно, как будто думал о другом, потом произнес, почти не сознавая, что говорит:

— В Бреславль.

И тотчас же сам испугался этого слова, которое решало судьбу его. Но подумал, что можно перерешить утром. Утром лошади были поданы, оставалось сесть и ехать. Он отложил решение до следующей станции; на следующей станции — до Франкфурта-на-Одере, во Франкфурте до Цибингена, в Цибингене до Гросена — и так без конца. Ехал все дальше и уже не мог остановиться, точно сорвался и катился вниз по скользкой круче. Та же сила страха, которая прежде его удерживала, теперь гнала вперед. И по мере того, как он ехал, страх возрастал. Он понимал, что бояться нечего — отец еще не мог знать о побеге. Но страх был слепой, бессмысленный. Кикин снабдил его ложными пасами. Царевич выдавал себя то за польского кавалера Кременецкого, то за полковника Коханского, то за поручика Балка, то за купца из русской армии. Но ему казалось, что хозяева вирцгаузов, ландкучера, фурманы, почтмейстеры — все знают, что он — русский царевич и бежит от отца. На ночевках просыпался и вскакивал в ужасе от каждого шороха, скрипа шагов и треска половицы. Когда однажды в полутемную столовую, где он ужинал, вошел человек в сером кафтане, похожем на дорожное платье отца, и почти такого же ро-

[1] Здесь: гостиница, постоялый двор (нем. Wirtshaus).

ста, как батюшка, царевичу едва не сделалось дурно. Всюду мерещились ему шпионы. Щедрость, с которою он сыпал деньгами, действительно, внушала подозрение бережливым немцам, что они имеют дело с особою царственной крови. На экстрапочтах давали ему лучших лошадей, и кучера гнали их во весь опор. Раз в сумерки, когда он увидел ехавшую сзади карету, ему представилось, что это погоня. Он пообещал фурману на водку десять гульденов. Тот поскакал сломя голову. На повороте ось зацепила за камень, колесо отскочило. Должны были остановиться и вылезти. Ехавшие сзади настигали. Царевич так перепугался, что хотел бросить все и уйти с Афросиньей пешком в лес, чтобы спрятаться. Он уже тащил ее за руку. Она едва его удержала.

Проехав Бреславль, он уже почти нигде не останавливался. Скакал днем и ночью, без отдыха. Не спал, не ел. Горло сжимала судорога, когда он старался проглотить кусок. Стоило ему задремать, чтобы тотчас проснуться, вздрогнув всем телом и обливаясь холодным потом. Хотелось умереть, или сразу быть пойманным, только бы избавиться от этой пытки.

Наконец, после пяти бессонных ночей, заснул мертвым сном.

Проснулся в карете ранним, еще темным утром. Сон освежил его. Он чувствовал себя почти бодрым.

Рядом с ним спала Афросинья. Было холодно. Он укутал ее теплее и поцеловал спящую. Они проезжали неизвестный маленький город с высокими узкими домами и тесными улицами, в которых отдавался гулко грохот колес. Ставни были заперты; должно быть, все спали. Посередине рыночной площади, перед ратушей, журчали струи фонтана, стекая с краев зелено-мшистой каменной раковины, которую поддерживали плечи сгорбленных тритонов. Лампада теплилась в углублении стены перед Мадонною.

Проехав город, поднялись на холм. С холма дорога спускалась на широкую, слегка отлогую равнину. Карета, запряженная шестеркою цугом, мчалась, как стрела. Колеса мягко шуршали по влажной пыли. Внизу еще лежал ночной туман. Но вверху уже светлело, и туман, оставляя на сухих былинках цепкие нити паутины, унизанные каплями росы, точно бисером, подымался, как занавес. Открылось голубое небо. Там осенняя станица журавлей, озаренная первым лучом на земле еще не взошедшего солнца, летела с призывными криками. На краю равнины синели горы; то были горы Богемии. Вдруг сверкнул из-

за них ослепляющий луч прямо в глаза царевичу. Солнце всходило — и радость подымалась в душе его, ослепляющая, как солнце. Бог спас его, никто, как Бог!

Он смеялся и плакал от радости, как будто в первый раз видел землю, и небо, и солнце, и горы. Смотрел на журавлей — и ему казалось, что у него тоже крылья, и что он летит.

Свобода! Свобода!

V

Курьер Сафонов, посланный из Петербурга вперед, донес государю, что вслед за ним едет царевич. Но прошло два месяца, а он не являлся. Царь долго не верил, что сын бежал — «куда ему, не посмеет»! — но, наконец, поверил, разослал по всем городам сыщиков и дал резиденту в Вене, Авраму Веселовскому, собственноручный указ: «Надлежит тебе проведывать в Вене, в Риме, в Неаполе, Милане, Сардинии, а также в Швейцарской земле. Где проведаешь сына нашего пребывание, то, разведав о том подлинно, ехать и последовать за ним во все места, и тотчас о том, чрез нарочные стафеты и курьеров, писать к нам; а себя содержать весьма тайно».

Веселовский, после долгих поисков, напал на след. «След идет до сего места,— писал он царю из Вены.— Известный подполковник Коханский стоял в вирцгаузе *Черного орла*, за городом. Кельнер сказывает, что он признал его за некоторого знатного человека, понеже платил деньги с великою женерозите [1] и показался-де подобен царю московскому, яко бы его сын, которого царя видел здесь, в Вене».

Петр удивился. Что-то странное, как будто жуткое, было для него в этих словах: «показался подобен царю». Никогда не думал он о том, что Алексей похож на него лицом.

«Только постояв одни сутки в том месте,— продолжал Веселовский,— вещи свои перевез на наемном фурмане; а сам на другой день, заплатя иждивение, пешком отошел от них, так что они неизвестны, не отъехал ли куды. А будучи в том вирцгаузе, купил готовое мужское платье кофейного цвету своей жене, и оделась она в мужской убор». Далее след исчезал. «Во всех здешних вирцгаузах и почтовых дворах, и в партикулярных и публичных домах спрашивал, но нигде еще допроситься не мог; также через шпионов искал; ездил по двум почтовым до-

[1] Щедрость (франц. générosité).

рогам, ведущим отсюда к Италии, по тирольской да каринтийской: никто не мог дать мне известия».

Царь, догадываясь, что царевича принял и скрыл в своих владениях цесарь, послал ему из Амстердама письмо:

«Пресветлейший, державнейший Цесарь!

Я принужден вашему цесарскому величеству с сердечною печалью своею о некотором мне нечаянно случившемся случае в дружебнобратской конфиденции объявить, а именно о сыне своем Алексие, как оный, яко же чаю вашему величеству, по имеющемуся ближайшему свойству не безызвестно есть, к высшему нашему неудовольству, всегда в противном нашему отеческому наставлению являлся, також и в супружестве с вашею сродницею непорядочно жил. Пред несколько временем, получа от нас повеление, дабы ехал к нам, чтобы тем отвлечь его от непотребного жития и обхождения с непотребными людьми,— не взяв с собой никого из служителей своих, от нас ему определенных, но прибрав несколько молодых людей,— с пути того съехав, незнамо куды скрылся, что мы по се время не могли уведать, где обретается. И понеже мы чаем, что он к тому превратному намерению, от некоторых людей совет приняв, заведен, и отечески о нем сожалеем, чтоб тем своим бесчинным поступком не нанес себе невозвратной пагубы, а наипаче не впал бы каким случаем в руки неприятелей наших, того ради, дали комиссию резиденту нашему при дворе вашего величества пребывающему, Веселовскому, онаго сыскивать и к нам привезть. Того ради, просим вашего величества, что ежели он в ваших областях обретается тайно или явно, повелеть его с сим нашим резидентом, придав для безопасного проезду несколько человек ваших офицеров, к нам прислать, дабы мы его отечески исправить для его благосостояния могли, чем обяжете нас вечно к своим услугам и приязни. Мы пребываем при сем

вашего цесарского величества верный брат

Петр»

В то же время доведено стороною до сведения цесаря, что, ежели не выдаст он царевича по доброй воле, царь будет искать его, как изменника, «вооруженною рукою».

Каждое известие о сыне было оскорблением для царя. Под лицемерным сочувствием сквозило тайное злорадство Европы.

«Некий генерал-маиор, возвратившийся сюда из Ганновера,— доносил Веселовский,— будучи при дворе, гово-

рил мне явно, в присутствии мекленбургского посланника сожалея о болезни, приключившейся вашему величеству от печалей, из коих знатнейшая та, что-де ваш кронпринц «невидим учинился», а по-французски в сих терминах: Il est eclipsé. Я спросил, от кого такую фальшивую ведомость имеет. Отвечал, что ведомость правдивая и подлинная; я слышал ее от ганноверских министров. Я возражал, что это клевета по злобе ганноверского двора».

«Цесарь имеет не малый резон кронпринца секундовать[1],— сообщал Веселовский мнение, открыто высказываемое при чужеземных дворах,— понеже-де оный кронпринц прав перед отцом своим и имел резон спастись из земель отцовых. Вначале, будто, ваше величество, вскоре после рождения царевича Петра Петровича, принудили его силою дать себе реверс, по силе коего он отрекся от короны и обещал ретироваться во всю свою жизнь в пустыню. И как ваше величество в Померанию отлучились, и видя, что он, по своему реверсу, в пустыню не пошел, тогда, будто, вы вымыслили иной способ, а именно призвать его к себе в Дацкую землю и под претекстом[2] обучения, посадя на один воинский свой корабль, дать указ капитану вступить в бой со шведским кораблем, который будет в близости, чтоб его, царевича, убить. Чего ради принужден был от такой беды уйти».

Царю доносили также о тайных переговорах цесаря с королем английским, Георгом I: «Цесарь, который, по родству, по участию к страданиям царевича и по великодушию цесарского дома к невинно гонимым, дал сыну царя покровительство и защиту», спрашивал английского короля, не намерен ли и он, «как курфирст и родственник брауншвейгского дома, защищать принца», причем указывалось на «бедственное положение — miseranda conditio — доброго царевича», и на «явное и непрерывное тиранство отца — clara et continua paterna tyrannidis, не без подозрения яда и подобных русских galanterien[3]».

Сын становился судьею отца.

А что еще будет? Царевич может сделаться оружием в руках неприятельских, зажечь мятеж внутри России, поднять войною всю Европу — и Бог весть, чем это кончится.

«Убить, убить его мало!»— думал царь в ярости.

Но ярость заглушалась другим, доселе неведомым чувством: сын был страшен отцу.

---

[1] Помочь (франц. seconder).

[2] Предлог (франц. prétéxte).

[3] Иронич. «учтивостей, галантностей» (нем.).

КНИГА ШЕСТАЯ

ЦАРЕВИЧ В БЕГАХ

I

Царевич с Евфросиньей катались в лодке лунною ночью по Неаполитанскому заливу.

Он испытывал чувство, подобное тому, которое рождает музыка: музыка — в трепете лунного золота, что протянулось, как огненный путь, по воде, от Позилиппо до края небес; музыка — в ропоте моря и в чуть слышном дыхании ветра, приносившего, вместе с морскою соленою свежестью, благоухание апельсинных и лимонных рощ от берегов Сорренто; и в серебристо-лазурных, за месячной мглою, очертаниях Везувия, который курился белым дымом и вспыхивал красным огнем, как потухающий жертвенник умерших, воскресших и вновь умерших богов.

— Маменька, друг мой сердешный, хорошо-то как!— прошептал царевич.

Евфросинья смотрела на все с таким же равнодушным видом, как, бывало, на Неву и Петропавловскую крепость.

— Да, тепло; на воде, а не сыро,— ответила она, подавляя зевоту.

Он закрыл глаза, и ему представилась горница в доме Вяземских на Малой Охте; косые лучи весеннего вечернего солнца; дворовая девка Афроська в высоко подоткнутой юбке, с голыми ногами, низко нáгнувшись, моет мочалкою пол. Самая обыкновенная деревенская девка из тех, о которых парни говорят: вишь, ядреная, кругла, бела, как мытая репка. Но иногда, глядя на нее, вспоминал он о виденной им в Петергофе у батюшки старинной голландской картине — Искушение св. Антония: перед отшельником стоит голая рыжая дьяволица с раздвоенными козьими копытами на покрытых шерстью ногах, как у самки фавна. В лице Евфросиньи — в слиш-

ком полных губах, в немного вздернутом носе, в больших светлых глазах с поволокою и слегка скошенным, удлиненным разрезом — было что-то козье, дикое, невинно-бесстыдное. Вспоминал он также изречения старых книжников о бесовской прелести жен: от жены начало греху, и тою мы все умираем; в огонь и в жену впасть едино есть.

Как это случилось, он и сам не знал, но почти сразу полюбил ее грубою, нежною, сильною, как смерть, любовью.

Она была и здесь, на Неаполитанском заливе, все та же Афроська, как в домике на Малой Охте; и здесь точно так же, как, бывало, сидя по праздникам на завалинке с дворнею,— грызла, за неимением подсолнухов, кедровые орешки, выплевывая скорлупу в лунно-золотые волны: только, наряженная по французской моде, в мушках, фижмах и роброне, казалась еще более непристойно-соблазнительной, невинно-бесстыдною. Не даром пялили на нее глаза два цесарских драбанта и сам изящный молоденький граф Эстергази, который сопровождал царевича во всех его выездах из крепости Сант-Эльмо. Алексею были противны эти мужские взоры, которые вечно льнули к ней, как мухи к меду.

— Так как же, Езопка, надоело тебе здешнее житье, хочется, небось, домой?— проговорила она ленивым певучим голосом, обращаясь к сидевшему рядом с нею в лодке, маленькому, плюгавенькому человеку, корабельному ученику, Алешке Юрову; Езопкою звали его за шутовство.

— Ей, матушка, Евфросинья Федоровна, житие нам здесь пришло самое бедственное. Наука определена такая премудрая, что, хотя нам все дни жизни на той науке трудить, а не принять будет, для того — не знамо, учиться языка, не знамо — науки. А в Венеции ребята наши помирают, почитай, с голоду — дают всего по три копейки на день, и воистину уже пришли так, что пить, есть нечего, и одежишки нет, ходят срамно и наго. Оставляют нас бедных помирать, как скотину. А паче всего в том тягость моя, что на море мне быть невозможно, того ради, что весьма болен. Я человек не морской! Моя смерть будет, ежели не покажут надо мною милосердия божеского. В Петербург рад и готов пешком идти, только чтоб морем не ехать. Милостыню буду просить на дороге, а морем не поеду — воля его величества!..

— Ну, брат, смотри, попадешь из кулька в рогожку: в Петербурге-то тебя плетьми выпорют за то, что сбежал от учения,— заметил царевич.

— Плохо твое дело, Езопка! Что же с тобой, сиротой, будет? Куда денешься? — сказала Евфросинья.

— А куда мне, матушка, деваться? Либо удавлюсь, либо на Афон уйду, постригусь...

Алексей посмотрел на него с жалостью и невольно сравнил судьбу беглого навигатора с судьбою беглого царевича.

— Ничего, брат, даст Бог, счастливо вместе вернемся в отечество!— молвил он с доброю усмешкою.

Выехав из лунного золота, возвращались они к темному берегу. Здесь, у подошвы горы, была запустевшая вилла, построенная во времена Возрождения, на развалинах древнего храма Венеры.

По обеим сторонам полуразрушенной лестницы к морю, теснились, как факельщики похоронного шествия, исполинские кипарисы; их растрепанные острые верхушки, вечно нагибаемые ветром с моря, так и оставались навсегда склоненными, точно грустно поникшие головы. В черной тени изваяния богов белели, как призраки. И струя фонтана казалась тоже бледным призраком. Светляки под лавровою кущею горели, как погребальные свечи. Тяжелый запах магнолий напоминал благовоние, которым умащают мертвых. Один из павлинов, живших на вилле, пробужденный голосами и шумом весел, выйдя на лестницу, распустил хвост, заигравший в лунном сияньи, как опахало из драгоценных камней, тусклою радугой. И жалобные крики пав похожи были на пронзительные вопли плакальщиц. Воды фонтана, стекая с нависшей скалы по длинным и тонким, как волосы, травам, падали в море, капля за каплей; как тихие слезы,— словно там, в пещере, плакала нимфа о своих погибших сестрах. И вся эта грустная вилла напоминала темный Элизиум, подземную рощу теней, кладбище умерших, воскресших и вновь умерших богов.

— Веришь ли, государыня милостивая,— в бане вот уж третий год не парился!— продолжал Езопка свои жалобы.

— Ох, веничков бы свеженьких березовых да после баньки медку вишневого! — вздохнула Евфросинья.

— Как здешнюю кислятину пьешь да вспомнишь о водке, индо заплачешь!— простонал Езопка.

— Икорки бы паюсной!— подхватила Евфросинья.

— Балычка бы солененького!

— Снеточков белозерских!

Так они перекликались, растравляя друг другу сердечные раны.

Царевич слушал их, глядел на виллу и невольно усмехался: странно было противоречие этих будничных грез и призрачной действительности.

По огненной дороге в море двигалась другая лодка, оставляя черный след в дрожащем золоте. Послышался звук мандолины и песня, которую пел молодой женский голос.

Quant' è bella giovinezza,
Che si fugge tuttavia.
Chi vuol' esser' lieto, sia —
Di doman' non c' è certezza.

Эту песню любви сложил Лоренцо Медичи Великолепный для триумфального шествия Вакха и Ариадны на флорентийских праздниках. В ней было краткое веселье Возрождения и вечная грусть о нем.

Царевич слушал, не понимая слов; но музыка наполняла душу его сладкою грустью.

О, как молодость прекрасна.
Но мгновенна! Пой же, смейся,
Счастлив будь, кто счастья хочет,
И на завтра не надейся.

— А ну-ка, матушка, русскую!— взмолился Езопка, хотел даже стать на колени, но покачнулся и едва не упал в воду: он был не тверд на ногах, потому что все время тянул «кислятину» из плетеной фляжки, которую стыдливо прятал под полой кафтана. Один из гребцов, полуголый смуглый красавец, понял, улыбнулся Евфросинье, подмигнул Езопке и подал ему гитару. Он забренчал на ней, как на трехструнной балалайке.

Евфросинья усмехнулась, поглядела на царевича и вдруг запела громким, немного крикливым, бабьим голосом, точно так же, как певала в хороводах на вечерней заре весною у березовой рощи над речкою. И берега Неаполя, древней Партенопеи, огласились неслыханными звуками:

Ах, вы сени мои, сени, сени новые мои,
Сени новые, кленовые, решетчатые!

Бесконечная грусть о прошлом была в песне чужой:

Chi vuol' esser' lieto, sia —
Di doman' non c'è certezza.

Бесконечная грусть о будущем была в песне родной:

Полети ты, мой сокóл, высокó и далекó,
И высóко, и далéко, на родиму сторону!
На родимой, на сторонке грозен батюшка живет;
Он грозен, сударь, грозен, да немилостивый.

Обе песни, своя и чужая, сливались в одну.

Царевич едва удерживал слезы. Никогда еще, казалось, он так не любил Россию, как теперь. Но он любил ее новою всемирною любовью, вместе с Европою; любил чужую землю, как свою. И любовь к родной и любовь к чужой земле сливались, как эти две песни, в одну.

II

Цесарь, приняв под свое покровительство царевича, поселил его, чтобы вернее укрыть от отца, под видом некоторого Венгерского графа, или, как сам царевич выражался, под невольницким лицом, в уединенном неприступном замке Эренберг, настоящем орлином гнезде, на вершине высокой скалы, в горах Верхнего Тироля, по дороге от Фюссена к Инсбруку.

«Немедленно, по получении сего,— сказано было в цесарской инструкции коменданту крепости,— прикажи изготовить для главной особы две комнаты, с крепкими дверями и железными в окнах решетками. Как солдатам, так и женам их, не дозволять выходить из крепости под опасением жестокой казни, даже смерти. Если главный арестант захочет говорить с тобою, ты можешь исполнить его желание, как в сем случае, так и в других: если, например, он потребует книг, или чего-либо иного к своему развлечению, даже если пригласит тебя к обеду или какой-нибудь игре. Можешь, сверх того, дозволить ему прогулку в комнатах, или во дворе крепости, для чистого воздуха, но всегда с предосторожностью, чтоб не ушел».

В Эренберге прожил Алексей пять месяцев — от декабря до апреля.

Несмотря на все предосторожности, царские шпионы, гвардии капитан Румянцев с тремя офицерами, имевшие тайное повеление схватить «известную персону» во что бы то ни стало и отвезти ее в Мекленбургию, узнали о пребывании царевича в Эренберге, прибыли в Верхний Тироль и поселились тайно в деревушке Рейте, у самой подошвы Эренбергской скалы.

Резидент Веселовский объявил, что государю его «будет зело чувственно слышать ответ министров именем цесаря, будто известной персоны в землях цесарских не обретается, между тем, как посланный курьер видел людей ее в Эренберге, и она находится на цесарском коште. Не только капитан Румянцев, но и вся, почитай, Европа ведает, что царевич в области цесаря. Если бы эрцгер-

цог, отлучась отца своего, искал убежища в землях Российского государя, и оно было бы дано тайно, сколь болезненно было бы это цесарю!»

«Ваше величество,— писал Петр императору,— можете сами рассудить, коль чувственно то нам, яко отцу, быть иметь, что наш перворо́дный сын, показав нам такое непослушание и уехав без воли нашей, содержится под другою протекциею или арестом, чего подлинно не можем признать и желаем на то от вашего величества изъяснения».

Царевичу объявили, что император предоставляет ему возвратиться в Россию, или остаться под его защитою, но в последнем случае признает необходимым перевести его в другое, отдаленнейшее место, именно в Неаполь. Вместе с тем, дали ему почувствовать желание цесаря, чтобы он оставил в Эренберге, или вовсе удалил от себя своих людей, о которых с неудовольствием отзывался отец его в письме, дабы тем отнять у царя всякий повод к нареканию, будто император принимает под свою защиту людей непотребных. То был намек на Евфросинью. Казалось, в самом деле, непристойным, что, умоляя цесаря о покровительстве именем покойной Шарлотты, сестры императрицы, царевич держит у себя «зазорную девку», с коей вступил в связь, как молва гласила, еще при жизни супруги.

Он объявил, что готов ехать, куда цесарь прикажет, и жить, как велит,— только бы не выдавали его отцу.

15-го апреля, в 3 часа ночи, царевич, не взирая на шпионов, выехал из Эренберга под именем императорского офицера. При нем был только один служитель — Евфросинья, переодетая пажем.

«Наши неаполитанские пилигримы благополучно прибыли,— доносил граф Шенборн.— При первой возможности пришлю секретаря моего с подробным донесением об этом путешествии, столь забавном, как только можно себе представить. Между прочим, наш маленький паж, наконец, признан женщиною, но без брака, по-видимому, также и без девства, так как объявлен любовницей и необходимой для здоровья».— «Я употребляю все возможные средства, чтобы удержать наше общество от частого и безмерного пьянства, но тщетно»,— доносил секретарь Шенборна, сопровождавший царевича.

Он ехал через Инсбрук, Мантую, Флоренцию, Рим. В полночь 6-го мая 1717 года прибыл в Неаполь и остановился в гостинице *Трех Королей*. Вечером на следу-

ющий день вывезен в наемной карете из города к морю, затем тайным ходом введен в королевский дворец, и оттуда, через два дня, по изготовлении особых покоев, в крепость Сант-Эльмо, стоявшую на высокой горе над Неаполем.

Хотя и здесь он жил под «невольницким лицом», но не скучал и не чувствовал себя в тюрьме; чем выше были стены и глубже рвы крепости, тем надежнее они защищали его от отца.

В покоях окна с крытым ходом перед ними выходили прямо на море. Здесь проводил он целые дни; кормил, так же, как, бывало, в Рождествене, отовсюду слетавшихся к нему и быстро прирученных им голубей, читал исторические и философские книги, пел псалмы и акафисты, глядел на Неаполь, на Везувий, на горевшие голубым огнем, точно сапфирные, Исхию, Прочиду, Капри, но больше всего на море — глядел и не мог наглядеться. Ему казалось, что он видит его в первый раз. Северное, серое, торговое, военное море Корабельного Регламента и петербургского Адмиралтейства, то, которое любил отец,— непохоже было на это южное, синее, вольное.

С ним была Евфросинья. Когда он забывал об отце, то был почти счастлив.

Ему удалось, хотя с большим трудом, выхлопотать для Алексея Юрова пропуск в Сант-Эльмо, несмотря на строжайшие караулы. Езопка сумел сделаться необходимым человеком: потешал Евфросинью, которая скучала, играл с нею в карты и шашки, забавлял ее шутками, сказками и баснями, как настоящий Эзоп.

Охотнее всего рассказывал он о своих путешествиях по Италии. Царевич слушал его с любопытством, снова переживая свои собственные впечатления. Как ни стремился Езопка в Россию, как ни тосковал о русской бане и водке, видно было, что и он, подобно царевичу, полюбил чужую землю, как родную, полюбил и Россию, вместе с Европою, новою всемирною любовью.

— Альпенскими горами путь зело прискорбен и труден,— описывал он перевал через Альпы.— Дорога самая тесная. С одной стороны — горы, облакам высокостью подобные, а по другую сторону — пропасти зело глубокие, в которых от течения быстрых вод шум непрестанный, как на мельнице. И от видения той глубокости приходит человеку великое ужасание. И на тех горах всегда лежит много снегов, потому что солнце промеж ими никогда лучами своими не осеняет...

— А как съехали с гор, на горах еще зима, а внизу уж лето красное. По обе стороны дороги виноградов и дерев плодовитых, лимонов, померанцев и всяких иных множество, и лозное плетение около дерев изрядными фигурами. Вся, почитай, Италия — единый сад, подобье рая Божьего! Марта в седьмой день видели плоды — лимоны и померанцы зрелые и мало недозрелые, и гораздо зеленые, и завязь, и цвет — все на одном дереве...

— Там, у самых гор, на месте красовитом, построен некий дом, именуемый виллою, зело господственный, изрядною архитектурою. И вокруг того дома — предивные сады и огороды: ходят в них гулять для прохладу. И в тех садах деревья учинены по препорции, и листья на них обрываны по препорции ж. И цветы и травы сажены в горшках и ставлены архитектурально. Першпектива зело изрядная! И в тех же садах поделано фонтан преславных множество, из коих воды истекают зело чистые всякими хитрыми штуками. И вместо столпов, по дорогам ставлены мужики и девки мраморные: Иовиш, Бахус, Венус и иные всякие боги поганские работы изрядной, как живые. А те подобья древних лет из земли вырыты...

О Венеции он сказывал такие чудеса, что Евфросинья долго не верила и смешивала Венецию с Леденцом-городом, о котором говорится в русских сказках.

— Врешь ты все, Езопка!— смеялась она, но слушала с жадностью.

— Венеция вся стоит на море, и по всем улицам и переулкам — вода морская, и ездят в лодках. А лошадей и никакого скота нет; также карет, колясок, телег никаких нет, а саней и не знают. Воздух летом тягостен, и бывает дух зело грубый от гнилой воды, как и у нас, в Петербурге, от канавы Фонтанной, где засорено. И по всему городу есть много извозчичьих лодок, которые называются гундалами, а сделаны особою модою: длинны да узки, как бывают однодеревые лодки; нос и корма острые, на носу железный гребень, а на середине чердак с окончинами хрустальными и завесами камчатными; и те гундалы все черные, покрыты черными сукнами, похожи на гробы; а гребцы — один человек на носу, другой на корме гребет, стоя, тем же веслом и правит; а руля нет, однакож, и без него управляют изрядно...

— В Венеции оперы и комедии предивные, которых в совершенство описать никто не может, и нигде во всем свете таких предивных опер и комедий нет и не бывает.

И те палаты, в которых те оперы действуют,— великие, округлые, и называют их итальяне театрум. И в тех палатах поделаны чуланы многие, в пять рядов вверх, прехитрыми золочеными работами. А играют на тех операх во образ древних гишторий о преславных мужах и богах эллинских да римских: кто которую гишторию излюбит, тот в своем театруме и сделает. И приходит в те оперы множество людей в машкерах, по-славянски в харях, чтоб никто никого не познал. Также и все время карнавала, сиречь, масляной, ходят в машкерах и в странном платье; и гуляют все невозбранно, кто где хочет, и ездят в гундалах с музыкою, и танцуют, и едят сахары, и пьют всякие изрядные лимонаты и чекулаты. И так всегда в Венеции увеселяются и не хотят быть никогда без увеселения, в которых своих веселостях и грешат много, понеже, когда сойдутся в машкерах, то многие жены и девицы берут за руки иноземцев и гуляют с ними, и забавляются без стыда. А народ женский в Венеции зело благообразен, высок и строен, и политичен, убирается зело чисто, а к ручному делу не охочь, больше заживают в прохладах, всегда любят гулять и быть в забавах, и ко греху телесному слабы, ни для чего иного, токмо для богатства, что тем богатятся, а иного никакого промыслу не имеют. И многие девки живут особыми домами и в грех и в стыд себе того не вменяют, ставят себе то вместо торгового промыслу; а другие, у которых своих домов нет, те живут в особых улицах, в поземных малых палатах; из каждой палаты поделаны на улицу двери, и когда увидят человека приходящего к ним, того с великим прилежанием каждая к себе зазывает; и на который день у которой будет приходящих больше, и та себе тот день вменяет за великое счастье; и от того сами страждут францоватыми болезнями, также и приходящих тем и своим богатством наделяют довольно и скоро. А духовные особы им в том возбраняют поучением, а не принуждением. А болезней францоватых в Венеции лечить зело горазды...

С таким же сочувствием, как венецианские увеселения, описывал он и всякие церковные святыни, чудеса и мощи.

— Сподобился видеть крест: в оном кресте под стеклом устроено и положено: часть Пупа Христова и часть Обрезания. А в ином кресте — часть малая от святого Крестителева носа. В городе Баре видел мироточивые мощи св. Николы Чудотворца: видна кость ноги его; и

стоит над оною костью миро святое, видом подобное чистому маслу, и никогда не оскудевает; множественное число того святого мира молебщики приезжие на всякий день разбирают; однакож, никогда не умаляется, как вода из родника течет; и весь мир тем святым миром преизобилует и освящается. Видел также кипение крови св. Януария и кость св. мученика Лаврентия — положена та кость в хрусталь, а как поцелуешь, то сквозь хрусталь является тепло, чему есть немалое удивление...

С неменьшим удивлением описывал он и чудеса науки:

— В Падве, в академии дохтурской, бальзамные младенцы, которые бывают выкидки, а другие выпоротые из мертвых матерей, в спиртусах плавают, в склянницах стеклянных, и стоят так, хотя тысячу лет, не испортятся. Там же, в библиотеке, видел зело великие глобусы, земные и небесные, изрядным математицким мастерством устроенные...

Езопка был классик. Средневековое казалось ему варварским. Восхищало подражание древнему зодчеству — всякая правильность, прямолинейность, «препорция» — то, к чему глаз его привык уже и в юном Петербурге.

Флоренция ему не понравилась.

— Домов самых изрядных, которые были бы нарочитой препорции, мало; все дома Флоренские древнего здания; палаты есть и высокие, в три, четыре жилья, да строены просто, не по архитектуре...

Больше всего поразил его Рим. Он рассказывал о нем с тем благоговейным, почти суеверным чувством, которое Вечный город всегда внушал варварам.

— Рим есть место великое. Ныне еще значится старого Риму околичность — и знатно, что был Рим неудобьсказуемого величества; которые места были древле в середине города, на тех местах ныне великие поля и пашни, где сеют пшеницы и винограды заведены многие, и буйволов, и быков, и всякой иной животины пасутся стада; и на тех же полях есть много древнего строения каменного, безмерно великого, которое от многих лет развалилось, преславным мастерством построенного, по самой изрядной препорции, как ныне уже никто строить не может. И от гор до самого Риму видны древнего строения столбы каменные с перемычками, а вверху тех столбов колоды каменные, по которым из гор текла ключевая вода, зело чистая. И те столбы — акведуки именуются, а поля — Кампанья ди Рома...

Царевич только мельком видел Рим; но теперь, когда он слушал и вспоминал,— словно какая-то грозная тень «неудобь-сказуемого величества» проносилась над ним.

— И на тех полях меж разваленного зданья римского есть вход в пещеры. В пещерах тех скрывались христиане во время гонений, и были мучены; и доныне там обретаются многие кости тех святых мучеников. Которые пещеры, именуемые катакумбы, так велики, что под землею, сказывают, проход к самому морю; и другие есть проходы неисповедимые. И близ тех катакумбов, в единой малой церковке, стоит Гроб Бахусов, из камня порфира высечен, зело великий, и в том гробу нет никого — стоит пуст. А в древние лета, сказывают, было в нем тело нетленное, лепоты неописуемой, наваждением дьявольским богу нечистому Бахусу видом подобилось. И святые мужи ту погань извергли, и место освятили, и церковь построили...

— Потом приехал я в иное место, именуемое Кулизей, где, при древних цесарях римских, которые были гонители на христианскую веру и мучители за имя Христово, святых мучеников отдавали на съедение зверям. То место сделано округло — великая махина — вверх будет сажен пятнадцать; стены каменные, по которым оные древние мучители ходили и смотрели, как святых мучеников звери терзали. И при тех стенах в земле поделаны печуры каменные, в коих жили звери. И в одном Кулизее съеден от зверей св. Игнатий Богоносец; и земля в том месте вся обагрена есть кровью мучеников...

Царевич помнил, как твердили ему с детства, что одна на свете Русь — земля святая, а все остальные народы — поганые. Помнил и то, что сам говорил однажды фрейлине Арнгейм на голубятне в Рождествене: «только с нами Христос». Полно, так ли?— думал он теперь. Что, если у них тоже Христос, и не только Россия, но и вся Европа — святая земля? Земля в том месте вся обагрена кровью мучеников. Может ли быть такая земля поганою?

Что третьему Риму, как называли Москву старики, далеко до первого настоящего Рима, так же, как и Петербурской Европе до настоящей,— в этом он убедился воочию.

— Как Москвы еще початку не слыхивано,— утверждал Езопка,— на западе много было иных государств, которые старее и честнее Москвы...

Описание венецианского карнавала заключил он словами, которые запомнились царевичу:

— Так всегда веселятся и ни в чем друг друга не зазирают, и ни от кого ни в чем никакого страха никто не имеет: всякий делает по своей воле, кто что хочет. И та вольность в Венеции бывает, и живут венециане всегда во всяком покое, без страху и без обиды, и без тягостных податей...

Недосказанная мысль была ясна: не то-де, что у нас на Руси, где никто ни о какой вольности пикнуть не смей.

— Особливо же тот порядок у всех европейских народов хвален есть,— заметил однажды Езопка,— что дети их никакой косности, ни ожесточения от своих родителей, ни от учителей не имеют, но от доброго и старого наказания словесного, паче нежели от побоев, в прямой воле и смелости воспитываются. И ведая то, в старину люди московские для науки в чужие земли детей своих не посылали вовсе, страшась того: узнав тамошних земель веры и обычаи, и вольность благую, начали бы свою веру отменять и приставать к иным, и о возвращении к домам своим никакого бы попечения не имели и не мыслили. А ныне, хотя и посылают, да все толку мало, понеже, как птице без воздуху, так наукам без воли быть не можно; а у нас-де и новому учат по-старому: палка нема, да даст ума; нет того спорее, чем кулаком по шее...

Так оба они, и беглый навигатор, и беглый царевич, смутно чувствовали, что та Европа, которую вводил Петр в Россию — цифирь, навигация, фортификация — еще не вся Европа и даже не самое главное в ней; что у настоящей Европы есть высшая правда, которой царь не знает. А без этой правды, со всеми науками — вместо старого московского варварства, будет лишь новое петербургское хамство. Не обращался ли к ней, к этой вольности благой, и сам царевич, призывая Европу рассудить его с отцом?

Однажды Езопка рассказал *Гисторию о российском матросе Василии Кориотском и о прекрасной королевне Ираклии Флоренской земли.*

Слушателям, может быть, так же, как самому рассказчику, темен и все же таинственно-внятен был смысл этой сказки: венчание Российского матроса с королевною Флоренции, весенней земли Возрождения — прекраснейшим цветом европейской вольности — как прообраз еще неизвестного, грядущего соединения России с Европою.

Царевич, выслушав *Гисторию*, вспомнил об одной картине, привезенной отцом из Голландии: царь, в матросском платье, обнимающий здоровенную голландскую девку. Алексей невольно усмехнулся, подумав, что этой краснорожей девке так же далеко до «сияющей, аки солнце неодеянное», королевны Флоренской, как и всей Российской Европе — до настоящей.

— А небось, в Россию-то матрос твой не вернулся?— спросил он Езопку.

— Чего он там не видел?— проворчал тот, с внезапным равнодушием к той самой России, в которую еще недавно так стремился.— В Питербурхе-то его, пожалуй, по указу о беглых, кошками бы выдрали, да на Рогервик сослали, а королевну Флоренскую — на прядильный двор, яко девку зазорную!..

Но Евфросинья заключила неожиданно:

— Ну, вот видишь, Езопка — наукою каких чинов матрос твой достиг; а если б от учения бегал, как ты,— не видать бы ему королевны Флоренской, как ушей своих. Что же здешнюю вольность хвалишь, так не вороньему клюву рябину клевать. Дай вам волю — совсем измотаетесь. Как же вас, дураков, не учить палкою, коли добром не хотите? Спасибо царю-батюшке. Так вас и надо!

III

Тихий Дон-река,
Родной батюшка,
Ты обмой меня,
Сыра земля,
Мать родимая,
Ты прикрой меня.

Евфросинья пела, сидя у окна за столом в покоях царевича в крепости Сант-Эльмо и спарывая красную тафтяную подкладку с песочного камзола своего мужского наряда; она объявила, что ни за что больше не будет рядиться шутом гороховым.

На ней был шелковый, грязный, с оторванными пуговицами шлафор, серебряные, стоптанные, на босую ногу туфли. В стоящей перед ней жестяной скрыне — рабочей шкатулке, валялись в беспорядке пестрые лоскутки и ленточки, «махальце женское» — веер, «рукавицы» лайковые — перчатки, любовные письма царевича и бумажки с курительным порошком, ладан от святого старца и пудра Марешаль от знаменитого парикмахера Фризона с улицы Сент-Оноре, афонские четки и париж-

ские мушки и баночки с «поматом». Целые часы проводила она в притираниях и подкрашиваниях, вовсе ненужных, потому что цвет лица у нее был прекрасный.

Царевич за тем же столом писал письма, которые предназначались для того, чтобы их «в Петербурхе подметывать», а также подавать архиереям и сенаторам.

«Превосходительнейшие господа сенаторы.

Как вашей милости, так, чаю, и всему народу не без сумления мое от Российских краев отлучение и пребывание безвестное, на что меня принудило ничто иное, только всегдашнее мне безвинное озлобление и непорядок, а паче же, что́ было в начале прошлого года — едва было и в черную одежду не облекли меня силою, без всякой, как вам всем известно, моей вины. Но всемилостивый Господь, молитвами всех оскорбляемых Утешительницы, пресвятой Богородицы и всех святых, избавил меня от сего и дал мне случай сохранить себя отлучением от любезного отечества, которого, если бы не сей случай, никогда бы не хотел оставить. И ныне обретаюся благополучно и здорово под хранением некоторого великого государя, до времени, когда сохранивший меня Господь повелит явиться мне паки в Россию, при котором случае прошу, не оставьте меня забвенна. Буде же есть какие ведомости обо мне, дабы память обо мне в народе изгладить, что меня в живых нет, или иное что зло, не извольте верить и народ утвердите, чтобы не имели веры. Богу хранящу мя, жив есмь и пребываю всегда, как вашей милости, так и всему отечеству доброжелательный до гроба моего

Алексей».

Он взглянул сквозь открытую дверь галереи на море. Под свежим северным ветром оно было синее, мглистое, точно дымящееся, бурное, с белыми барашками и белыми парусами, надутыми ветром, крутогрудыми, как лебеди. Царевичу казалось, что это то самое синее море, о котором поется в русских песнях, и по которому вещий Олег со своею дружиной ходил на Царьград.

Он достал несколько сложенных вместе листков, исписанных его рукою по-немецки крупным, словно детским, почерком. На полях была приписка: «Nehmen sie nicht Uebel, das ich so schlecht geschrieben, weil ich kann nicht besser. Не посетуйте, что я так плохо написал, потому что не могу лучше». Это было длинное письмо

к цесарю, целая обвинительная речь против отца. Он давно уже начал его, постоянно поправлял, перечеркивал, снова писал и никак не мог кончить: то, что казалось верным в мыслях, оказывалось неверным в словах; между словом и мыслью была неодолимая преграда — и самого главного нельзя было сказать никакими словами.

«Император должен спасти меня,— перечитывал он отдельные места.— Я не виноват перед отцом; я был ему всегда послушен, любил и чтил его, по заповеди Божьей. Знаю, что я человек слабый. Но так воспитал меня Меншиков: ничему не учил, всегда удалял от отца, обходился, как с холопом или собакой. Меня нарочно спаивали. Я ослабел духом от смертельного пьянства и от гонений. Впрочем, отец в прежнее время был ко мне добр. Он поручил мне управление государством, и все шло хорошо — он был мною доволен. Но с тех пор, как у жены моей пошли дети, а новая царица также родила сына, с кронпринцессой стали обращаться дурно, заставляли ее служить, как девку, и она умерла от горя. Царица и Меншиков вооружили против меня отца. Оба они исполнены злости, не знают ни Бога, ни совести. Сердце у царя доброе и справедливое, ежели оставить его самому себе; но он окружен злыми людьми, к тому же неимоверно вспыльчив и во гневе жесток, думает, что, как Бог, имеет право на жизнь и смерть людей. Много пролил крови невинной и даже часто собственными руками пытал и казнил осужденных. Если император выдаст меня отцу, то все равно, что убьет. Если бы отец и пощадил, то мачеха и Меншиков не успокоятся, пока не запоят, или не отравят меня. Отреченье от престола вынудили у меня силою; я не хочу в монастырь; у меня довольно ума, чтобы царствовать. Но свидетельствуюсь Богом, что никогда не думал я о возмущении народа, хотя это не трудно было сделать, потому что народ меня любит, а отца ненавидит за его недостойную царицу, за злых и развратных любимцев, за поругание церкви и старых добрых обычаев, а также за то, что, не щадя ни денег, ни крови, он есть тиран и враг своего народа»...

«Враг своего народа?» — повторил царевич, подумал и вычеркнул эти слова: они показались ему лживыми. Он ведь знал, что отец любит народ, хотя любовь его иногда беспощаднее всякой вражды: кого люблю, того и бью. Уж лучше бы, кажется, меньше любил. И его, сына, тоже любит. Если бы не любил, то не мучил бы так. И теперь, как всегда, перечитывая это письмо, он смутно чув-

ствовал, что прав перед отцом, но не совсем прав; одна черта, один волосок отделял это «не совсем прав» от «совсем не прав», и он постоянно, хотя и невольно, в своих обвинениях переступал за эту черту. Как будто у каждого из них была своя правда, и эти две правды были навеки противоположны, навеки непримиримы. И одна должна была уничтожить другую. Но, кто бы ни победил, виноват будет победитель, побежденный — прав.

Все это не мог бы он сказать словами даже самому себе, не то что другим. Да и кто понял бы, кто поверил бы? Кому, кроме Бога, быть судьею между сыном и отцом?

Он отложил письмо с тягостным чувством, с тайным желанием его уничтожить, и прислушался к песне Евфросиньи, которая, кончив пороть, примеряла перед зеркалом новые французские мушки. Это вечное тихое пение в тюремной скуке у нее было невольно, как пение птицы в клетке: она пела, как дышала, почти сама не сознавая того, что поет. Но царевичу странным казалось противоречие между вознею с французскими мушками и родною унылою песней:

Сырая земля,
Мать родимая,
Ты прикрой меня,
Соловей в бору,
Милый братец мой,
Ты запой по мне.
Кукушечка в лесу,
Во дубровушке,
Сестрица моя,
Покукуй по мне.
Белая березушка,
Молода жена,
Пошуми по мне.

По гулким переходам крепости послышались шаги, перекликанье часовых, звон отпираемых замков и засовов. Караульный офицер постучал в дверь и доложил о Вейнгарте, кригс-фельдконциписте, секретаре вице-короля — по русскому произношению, вице-роя, цесарского наместника в Неаполе.

В комнату вошел, низко кланяясь, толстяк с одышкою, с лицом красным, как сырое мясо, с отвислою нижнею губою и заплывшими свиными глазками. Как многие плуты, он имел вид простодушный. «Этот претолстый немец — претонкая бестия»,— говорил о нем Езопка.

Вейнгарт принес ящик старого фалернского и мозельвейна в подарок царевичу, которого называл, соблюдая инкогнито при посторонних, высокородным графом; а

Евфросинье, у которой поцеловал ручку — он был большой дамский угодник — корзину плодов и цветов.

Передал также письма из России и на словах поручения из Вены.

— В Вене охотно услышали, что высокородный граф в добром здравии и благополучьи обретается. Ныне надобно еще терпение, и более, нежели до сих пор. Сообщить имею, как новую ведомость, что уже в свете начинают говорить: царевич пропал. Одни полагают, что он от свирепости отца ушел; по мнению других, лишен жизни его волею; иные думают, что он умерщвлен в пути убийцами. Но никто не знает подлинно, где он. Вот копия с донесения цесарского резидента Плейера на тот случай, ежели любопытно будет высокорожденному графу узнать, что пишут о том из Петербурга. Его величества цесаря слова подлинные: милому царевичу к пользе советуется держать себя весьма скрытно, потому что, по возвращении государя, отца его, в Петербург, будет великий розыск.

И наклонившись к уху царевича, прибавил шепотом:

— Будьте покойны, ваше высочество! Я имею самые точные сведения: император ни за что вас не покинет, а ежели будет случай, после смерти отца, то и вооруженною рукою хочет вам помогать на престол...

— Ах, нет, что вы, что вы! Не надо...— остановил его царевич с тем же тягостным чувством, с которым только что отложил письмо к цесарю.— Даст Бог, до того не дойдет, войны из-за меня не будет. Я вас не о том прошу — только чтоб содержать меня в своей протекции! А этого я не желаю... Я, впрочем, благодарен. Да наградит Господь цесаря за всю его милость ко мне!

Он велел откупорить бутылку мозельвейна из подаренного ящика, чтобы выпить за здоровье цесаря.

Выйдя на минуту в соседнюю комнату за какими-то нужными письмами и вернувшись, застал Вейнгарта объясняющим mademoiselle Eufrosyne с галантною любезностью, не столько впрочем словами, сколько знаками, что напрасно не носит она больше мужского платья — оно ей очень к лицу:

— L'Amour même ne saurait se presenter avec plus de grâces![1] — заключил он по-французски, глядя на нее в упор свиными глазками тем особенным взором, который так противен был царевичу.

Евфросинья, при входе Вейнгарта, успела накинуть

[1] Сам Амур не мог бы явиться с большим изяществом! (*франц.*)

на грязный шлафор новый щегольский кунтыш тафты двуличневой, на нечесаные волосы — чепец дорогого брабантского кружева, припудрилась и даже налепила мушку над левою бровью, точно так, как видела на Корсо в Риме у одной приезжей из Парижа девки. Выражение скуки исчезло с лица ее, она вся оживилась, и, хотя ни слова не понимала ни по-немецки, ни по-французски, поняла и без слов то, что говорил немец о мужском наряде, и лукаво смеялась, и притворно краснела, и закрывалась рукавом. как деревенская девка.

«Этакая туша свиная! Тьфу, прости Господи! Нашла с кем любезничать,— посмотрел на них царевич с досадою.— Ну, да ей все равно кто, только бы новенький. Ох, евины дочки, евины дочки! Баба да бес. один в них вес»...

По уходе Вейнгарта, он стал читать письма.

Всего важнее было донесение Плейера.

«Гвардейские полки, составленные большею частью из дворян, вместе с прочею армией, учинили заговор в Мекленбургии, дабы царя убить, царицу привезти сюда с младшим царевичем и обеими царевнами, заточить в тот самый монастырь, где ныне старая царица, а ее освободив, сыну ее, законному наследнику, правление вручить».

Царевич выпил залпом два стакана мозельвейна, встал и начал ходить быстро по комнате, что-то бормоча и размахивая руками.

Евфросинья молча, пристально, но равнодушно следила за ним глазами. Лицо ее, по уходе Вейнгарта, приняло обычное выражение скуки.

Наконец, остановившись перед ней, он воскликнул:

— Ну, маменька, снеточков Белозерских скоро кушать будешь! Вести добрые. Авось, Бог даст нам случай возвратиться с радостью...

И он рассказал ей подробно все донесение Плейера; последние слова прочел по-немецки, видимо, не нарадуясь на них:

— «Alles zum Aufstand allhier sehr geneiget ist. Везде в Питербурхе к бунту зело склонны. Все жалуются, что знатных с незнатными в равенстве держат, всех равно в матросы и солдаты пишут, а деревни от строения городов и кораблей разорились».

Евфросинья слушала молча, все с той же равнодушной скукой на лице, и только когда он кончил, спросила своим протяжным, ленивым голосом:

— А что, Алексей Петрович, ежели убьют царя и за тобой пришлют,— к бунтовщикам пристанешь?

И посмотрела на него сбоку так, что, если бы он меньше был занят своими мыслями, то удивился бы, может быть, даже почувствовал бы в этом вопросе тайное жало. Но он ничего не заметил.

— Не знаю,— ответил, подумав немного.— Ежели присылка будет по смерти батюшки, то, может быть, и пристану... Ну да что вперед загадывать. Буди воля Господня!— как будто спохватился он.— А только вот говорю я, видишь, Афросьюшка, что Бог делает: батюшка делает свое, а Бог свое!

И усталый от радости, опустился на стул и опять заговорил, не глядя на Евфросинью, как будто про себя:

— Есть ведомость печатная, что шведский флот пошел к берегу лифляндскому транспортовать людей на берег. Велико то худо будет, ежели правда: у нас в Питербурхе не согласится у князя Меншикова с сенаторами. А войско наше главное далеко. Они друг на друга сердятся, помогать не станут — великую беду шведы починить могут. Питербурх-то под боком! Когда зашли далеко в Копенгаген, то не потерять бы и Питербурха, как Азова. Недолго ему быть за нами: либо шведы возьмут, либо разорится. Быть ему пусту, быть пусту!— повторял он, как заклинание, пророчество тетушки, царевны Марфы Алексеевны.

— А что ныне там тихо — и та тишина не даром. Вот дядя Аврам Лопухин пишет: всех чинов люди говорят обо мне, спрашивают и жалеют всегда, и стоять за меня готовы, а кругом-де Москвы уже заворашиваются. И на низу, на Волге, не без замешанья будет в народе. Чему дивить? Как и по сю пору еще терять? А не пройдет даром. Я, чай, не стерпя что-нибудь да сделают. А тут и в Мекленбургии бунт, и шведы, и цесарь, и я! Со всех сторон беда! Все мятется, мятется, шатается. Как затрещит, да ухнет — только пыль столбом. Такая раскачка пойдет, что ай, ай! Не сдобровать и батюшке!..

Первый раз в жизни он чувствовал себя сильным и страшным отцу. Как тогда, в ту памятную ночь, во время болезни Петра, когда за морозным окном играла лунная вьюга, синяя, точно горящая синим огнем, пьяная — у него захватило дух от радости. Радость опьяняла сильнее вина, которое он продолжал пить, почти сам того не замечая, стакан за стаканом, глядя на море, тоже синее, точно горящее синим огнем, тоже пьяное и опьяняющее.

— В немецких курантах [1] пишут: младшего-то братца

[1] К у р а н т ы — газеты, ведомости (*устар.*).

моего, Петиньку, нынешним летом в Петергофе чуть громом не убило; мама на руках его держала, так едва жива осталась; а солдата караульного зашибло до смерти. С той поры младенец все хиреет, да хиреет — видно, не жилец на свете. А уж ведь как берегли, как холили! Жаль Петиньки. Младенческая душенька, пред Богом неповинная. За чужие грехи терпит, за родительские, бедненький. Спаси его Господь и помилуй! А только вот, говорю, воля-то Божья, чудо-то, знаменье! И как батюшка не вразумится? Страшно, страшно впасть в руки Бога живого!..

— А кто из сенаторов станет за тебя? — спросила вдруг Евфросинья, и опять та же странная искра промелькнула в глазах ее и тотчас потухла — словно пронесли свечу за темным пологом.

— А тебе для чего? — посмотрел на нее царевич с удивлением, как будто совсем забыл о ней и теперь только вспомнил, что она его слушает.

Евфросинья больше не спрашивала. Но едва уловимая чуждая тень прошла между ними.

— Хоть и не все мне враги, а все злодействуют, в угоду батюшке, потому что трусы,— продолжал царевич.— Да мне никого и не нужно. Плюну я на всех — здорова бы мне чернь была!— повторил он свое любимое слово.— Как буду царем, старых всех выведу, а изберу новых, по своей воле. Облегчу народ от тягостей — пусть отдохнет. Боярскую толщу поубавлю, будет им жиру нагуливать — о крестьянстве порадею, о слабых и сирых, о меньшей братье Христовой. И церковный и земский собор учиню, от всего народа выборных: пусть все доводят правду до царя, без страха, самым вольным голосом, дабы царство и церковь исправить многосоветием общим и Духа Святого нашествием на веки вечные!..

Он грезил вслух, и грезы становились все туманнее, все сказочнее.

Вдруг злая острая мысль ужалила сердце, как овод: ничему не бывать; все врешь; славу пустила синица, а моря не зажгла.

И представилось ему, что рядом с отцом — исполином, кующим из железа новую Россию — сам он со своими грезами — маленький мальчик, пускающий мыльные пузыри. Ну куда ему тягаться с батюшкой?

Но он тотчас прогнал эту мысль, отмахнулся от нее, как от назойливой мухи: буди воля Божья во всем; пусть батюшка кует железо на здоровье, он делает свое, а Бог — свое; захочет Бог — и лопнет железо, как мыльный пузырь.

И он еще слаще отдался мечтам. Чувствуя себя уже не сильным, а слабым — но это была приятная слабость — с улыбкой, все более кроткой и пьяной, слушал, как море шумит, и чудилось ему в этом шуме что-то знакомое, давнее-давнее — то ли бабушка баюкает, то ли Сирин, птица райская, поет песни царские.

— А потом, как землю устрою и народ облегчу — с великим войском и флотом пойду на Царьград. Турок повыбью, славян из-под ига неверных освобожу, на Св. Софии крест водружу. И соберу вселенский собор для воссоединения церквей. И дарую мир всему миру, да притекут народы с четырех концов земли под сень Софии Премудрости Божией, в царство священное, вечное, во сретение Христу Грядущему!..

Евфросинья давно уже не слушала,— все время зевала и крестила рот; наконец, встала, потягиваясь и почесываясь.

— Разморило меня что-то. С обеда, чай, немца-то ждавши, не выспалась. Пойду-ка-сь я, Петрович, лягу, что ль?

— Ступай, маменька, спи с Богом. Может и я приду, погодя — только вот голубков покормлю.

Она вышла в соседнюю комнату — спальню, а царевич — на галерею, куда уже слетались голуби, ожидая обычного корма.

Он разбрасывал им крошки и зерна с тихим ласковым зовом:

— Гуль, гуль, гуль.

И так же, как, бывало, в Рождествене, голуби, воркуя, толпились у ног его, летали над головой, садились на плечи и руки, покрывали его, точно одевали, крыльями. Он глядел с высоты на море, и в трепетном веяньи крыльев казалось ему, что он сам летит на крыльях туда, в бесконечную даль, через синее море, к светлой, как солнце, Софии Премудрости Божией.

Ощущение полета было так сильно, что сердце замирало, голова кружилась. Ему стало страшно. Он зажмурил глаза и судорожно схватился рукою за выступ ограды: почудилось, что он уже не летит, а падает.

Нетвердыми шагами вернулся он в комнату. Туда же из спальни торопливо вышла Евфросинья уже совсем раздетая, в одной сорочке, с босыми ногами влезла на стул и стала заправлять лампадку перед образом. Это была старинная любимая царевичева икона Всех Скорбящих Матери; всюду возил он ее за собою и никогда не расставался с нею.

— Грех-то какой! Завтра Успение Владычицы, а я и забыла. Так бы и осталась без лампадки Матушка. Часы-то, Петрович. будешь читать? Налой готовить ли?

Перед каждым большим праздником, за неимением попа, он сам справлял службы, читал часы и пел стихеры.

— Нет, маменька, разве к ночи. Устал я что-то, голова болит.

— Вина бы меньше пил, батюшка.

— Не от вина, чай — от мыслей: вести-то больно радостные!..

Засветив лампадку и возвращаясь в спальню, она остановилась у стола, чтобы выбрать в подаренной немцем корзине самый спелый персик: в постели перед сном любила есть что-нибудь сладкое.

Царевич подошел к ней и обнял ее.

— Афросьюшка, друг мой сердешненький, аль не рада? Ведь будешь царицею, а Селебеный...

«Серебряный» или, нежнее, как выговаривают маленькие дети — «Селебеный» было прозвище ребенка, непременно, думал он, сына, который должен был родиться у Евфросиньи: она была третий месяц беременна. «Ты у меня золотая, а сынок будет серебряный», говорил он ей в минуты нежности.

— Будешь царицею, а Селебеный наследником!— продолжал царевич.— Назовем его Ваничкой — благочестивейший, самодержавнейший царь всея России, Иоанн Алексеевич!..

Она освободилась тихонько из его объятий, оглянулась через плечо, хорошо ли лампадка горит, закусила персик и, наконец, ответила ему спокойно:

— Шутить изволишь, батюшка. Где мне, холопке, царицею быть?

— А женюсь, так будешь. Ведь и батюшка таковым же образом учинил. Мачеха-то, Катерина Алексеевна тоже не знамо какого роду была — сорочки мыла с чухонками, в одной рубахе в полон взята, а ведь вот же царствует. Будешь и ты, Евфросинья Федоровна, царицею, небось не хуже других!..

Он хотел и не умел сказать ей все, что чувствовал: за то, может быть, и полюбил он ее, что она простая холопка; ведь и он, хотя царской крови — тоже простой, спеси боярской не любит, а любит чернь; от черни-то и царство примет; добро за добро: чернь сделает его царем, а он ее, Евфросинью, холопку из черни — царицею.

Она молчала, потупив глаза, и по лицу ее видно было только, что ей хочется спать. Но он обнимал ее все крепче и крепче, ощущая сквозь тонкую ткань упругость и свежесть голого тела. Она сопротивлялась, отталкивая руки его. Вдруг нечаянным движением потянул он вниз полурасстегнутую, едва державшуюся на одном плече сорочку. Она совсем расстегнулась, соскользнула и упала к ее ногам.

Вся обнаженная, в тусклом золоте рыжих волос, как в сиянии, стояла она перед ним. И странною и соблазнительною казалась черная мушка над левою бровью. И в скошенном, удивленном разрезе глаз было что-то козье, чуждое и дикое.

— Пусти, пусти же, Алешенька. Стыдно!

Но если она стыдилась, то не очень: только немного отвернулась со своей обычною, ленивою, как будто презрительной усмешкою, оставаясь, как всегда, под ласками его, холодною, невинною, почти девственной, несмотря на чуть заметную округлость живота, которая предрекала полноту беременности. В такие минуты казалось ему, что тело ее ускользает из рук его, тает, воздушное, как призрак.

— Афрося! Афрося!— шептал он, стараясь поймать, удержать этот призрак, и вдруг опустился перед ней на колени.

— Стыдно,— повторила она.— Перед праздником. Вон и лампада горит... Грех, грех!

Но тотчас опять равнодушно, беспечно поднесла закушенный персик ко рту, полураскрытому, алому и свежему, как плод.

«Да, грех,— мелькнуло в уме его,— от жены начало греху, и тою мы все умираем»...

И он тоже невольно оглянулся на образ, и вдруг вспомнил, как точно такой же образ в Летнем саду, ночью, во время грозы, упал из рук батюшки и разбился у подножия Петербургской Венус — Белой Дьяволицы.

В четырехугольнике дверей, открытых на синее море, тело ее выступало, словно выходило, из горящей синевы морской, золотисто-белое, как пена волн. В одной руке держала она плод, другую опустила, целомудренным движением закрывая наготу свою, как Пеннорожденная. А за нею играло, кипело синее море, как чаша амврозии, и шум его подобен был вечному смеху богов.

Это была та самая дворовая девка Афроська, которая однажды весенним вечером в домике Вяземских на

Малой Охте, наклонившись низко в подоткнутой юбке, мыла пол шваброю. Это была девка Афроська и богиня Афродита — вместе.

«Венус, Венус, Белая Дьяволица!» — подумал царевич в суеверном ужасе и готов был вскочить, убежать. Но от грешного и все-таки невинного тела, как из раскрытого цветка, пахнуло на него знакомым упоительным и страшным запахом, и, сам не понимая, что делает — он еще ниже склонился перед ней и поцеловал ее ноги, и заглянул ей в глаза, и прошептал, как молящийся:

— Царица! Царица моя!..

А тусклый огонек лампадки мерцал перед святым и скорбным Ликом.

IV

Наместник цесаря в Неаполе, граф Даун пригласил царевича на свидание к себе в Королевский дворец вечером 26-го сентября.

В последние дни в воздухе чувствовалось приближение сирокко, африканского ветра, приносящего из глубин Сахары тучи раскаленного песку. Должно быть, ураган уже разразился и бушевал в высочайших воздушных слоях, но внизу была бездыханная тишь. Листья пальм и ветви мимоз висели, недвижные. Только море волновалось громадными беспенными валами мертвой зыби, которые разбивались о берег с потрясающим грохотом. Даль была застлана мутною мглою, и на безоблачном небе солнце казалось тусклым, как сквозь дымчатый опал. Воздух пронизан тончайшею пылью. Она проникала всюду, даже в плотно запертые комнаты, покрывала серым слоем белый лист бумаги и страницы книг; хрустела на зубах; воспаляла глаза и горло. Было душно, и с каждым часом становилось все душнее. В природе чувствовалось то же, что в теле, когда нарывает нарыв. Люди и животные, не находя себе места, метались в тоске. Народ ожидал бедствий — войны, чумы, или извержения Везувия.

И действительно, в ночь с 23-го на 24-е сентября жители Торре дель Греко, Резины и Портичи почувствовали первые подземные удары. Появилась лава. Огненный поток уже приближался к самым верхним, расположенным по склону горы, виноградникам. Для умилостивления гнева Господня совершались покаянные шествия с зажженными свечами, тихим пением и громкими вопля-

ми самобичующихся. Но гнев Божий не утолялся. Из Везувия днем валил черный дым, как из плавильной печи, расстилаясь длинным облаком от Кастелламаре до Позиллиппо, а ночью вздымалось красное пламя, как зарево подземного пожара. Мирный жертвенник богов превращался в грозный факел Евменид. Наконец, в самом Неаполе послышались, точно подземные громы, первые гулы землетрясения, как будто снова пробуждались древние Титаны. Город был в ужасе. Вспоминались дни Содома и Гоморры. А по ночам, среди мертвой тишины, где-нибудь в щелях окна, под дверью или в трубе очага раздавался тонкий-тонкий. ущемленный визг, точно пойманный комар жужжал: то сирокко заводило свои песни. Звук разрастался, усиливался, и казалось, вот-вот разразится неистовым воем,— но вдруг замирал, обрывался — и опять наступала тишина, еще более мертвая. Как будто злые духи, и внизу, и вверху, перекликались, совещались о страшном дне Господнем, которым должен кончиться мир.

Все эти дни царевич чувствовал себя больным. Но врач успокоил его, сказав, что это с непривычки от сирокко, и прописал освежающую кислую микстуру, от которой ему действительно сделалось легче. В назначенный день и час поехал он во дворец на свидание с наместником.

Встретивший его в передней караульный офицер передал ему почтительнейшее извинение графа Дауна, что его высочеству придется несколько минут подождать в приемной зале, так как наместник принужден был отлучиться по важному и неотложному делу.

Царевич вошел в огромную и пустынную приемную залу, убранную с мрачною, почти зловещею, испанскою роскошью: кроваво-красный шелк обоев, обилие тяжелой позолоты, резные шкафы из черного дерева, подобные гробницам, зеркала, такие тусклые, что в них, казалось, отражались только лица призраков. По стенам — большие, темные полотна — благочестивые картины старинных мастеров: римские солдаты, похожие на мясников, жгли, секли, резали, пилили и всякими иными способами терзали христианских мучеников; это напоминало бойню, или застенки Святейшей Инквизиции. А вверху, на потолке, среди раззолоченных завитков и раковин — Триумф Олимпийских богов: в этом жалком ублюдке Тициана и Рубенса виден был конец Возрождения — в утонченной изнеженности варварское одичание и огрубение искусства; груды голого тела, голого мяса — жирные спины,

пухлые, в складках, животы, раскоряченные ноги, чудовищно-отвислые женские груди. Казалось, что все эти боги и богини, откормленные, как свиные туши, и маленькие амуры, похожие на розовых поросят,— весь этот скотоподобный Олимп предназначался для христианской бойни, для пыточных орудий Святейшей Инквизиции.

Царевич долго ходил по зале, наконец, устал и сел. В окна вползали сумерки, и серые тени, как пауки, ткали паутину по углам. Кое-где лишь выступала, светлея, позолоченная львиная лапа и острогрудый гриф, которые поддерживали яшмовую или малахитовую доску круглого стола, да закутанные кисеею люстры тускло поблескивали хрустальными подвесками, как исполинские коконы в каплях росы. Царевичу казалось, что удушье сирокко увеличивается от этого множества голого тела, голого мяса, упитанного, языческого — вверху, и страдальческого, христианского — внизу. Рассеянный взгляд его, блуждая по стенам, остановился на одной картине, непохожей на другие, выступавшей среди них, как светлое пятно: обнаженная до пояса девушка с рыжими волосами, с почти детскою, невинною грудью, с прозрачно-желтыми глазами и бессмысленной улыбкою; в приподнятых углах губ и в слегка скошенном, удлиненном разрезе глаз было что-то козье, дикое и странное, почти жуткое, напомнившее девку Афроську. Ему вдруг смутно почуялась какая-то связь между этою усмешкою и нарывающим удушением сирокко. Картина была плохая, снимок со старинного произведения ломбардской школы, ученика учеников Леонардо. В этой обессмысленной, но все еще загадочной усмешке отразилась последняя тень благородной гражданки Неаполя, моны Лизы Джоконды.[1]

Царевич удивлялся, что наместник, всегда изысканно вежливый заставляет его ждать так долго; и куда запропастился Вейнгарт, и почему такая тишина — весь дворец точно вымер?

Хотел встать, позвать кого-нибудь, велеть принести свечи. Но на него напало странное оцепенение, как будто и он был заткан, облеплен тою серою паутиною, которую тени, как пауки, ткали по углам. Лень было двинуться. Глаза слипались. Он открывал их с усилием, чтобы не заснуть. И все-таки заснул на несколько мгновений. Но когда проснулся, ему показалось, что прошло много времени.

Он видел во сне что-то страшное, но не мог вспомнить что. Только в душе осталось ощущение несказан-

[1] Мона Лиза была жительницей Флоренции.

ной тяжести, и опять почудилась ему связь между этим страшным сном, бессмысленной усмешкой рыжей девушки и нарывающим удушьем сирокко. Когда он открыл глаза, то увидел прямо перед собою лицо бледное-бледное, подобное призраку. Долго не мог понять, что это. Наконец понял, что это его же собственное лицо, отраженное в тусклом простеночном зеркале, перед которым, сидя в кресле, он заснул. В том же зеркале, как раз у него за спиною, видна была закрытая дверь. И ему казалось, что сон продолжается, что дверь сейчас откроется, и в нее войдет то страшное, что он только что видел во сне и чего не мог вспомнить.

Дверь отворилась беззвучно. В ней появился свет восковых свечей и лица. Глядя по-прежнему в зеркало, не оборачиваясь, он узнал одно лицо, другое, третье. Вскочил, обернулся, выставив руки вперед, с отчаянною надеждою, что это ему только почудилось в зеркале, но увидел в действительности то же, что в зеркале — и из груди его вырвался крик беспредельного ужаса:

— Он! Он! Он!

Царевич упал бы навзничь, если бы не поддержал его сзади секретарь Вейнгарт.

— Воды! Воды! Царевичу дурно!

Вейнгарт бережно усадил его в кресло, и Алексей увидел над собою склоненное доброе лицо старого графа Дауна. Он гладил его по плечу и давал ему нюхать спирт.

— Успокойтесь, ваше высочество! Ради Бога, успокойтесь! Ничего дурного не случилось. Вести самые добрые...

Царевич пил воду, стуча зубами о края стакана. Не отводя глаз от двери, он дрожал всем телом непрерывною мелкою дрожью, как в сильном ознобе.

— Сколько их?— спросил он графа Дауна шепотом.

— Двое, ваше высочество, всего двое.

— А третий? Я видел третьего...

— Вам, должно быть, почудилось.

— Нет, я видел *его!* Где же *он?*

— Кто он?

— Отец!..

Старик посмотрел на него с удивлением.

— Это от сирокко,— объяснил Вейнгарт.— Маленький прилив крови в голове. Часто бывает. Вот и у меня с утра нынче все какие-то синие зайчики в глазах прыгают. Пустить кровь — и как рукой снимет.

— Я видел его!— повторял царевич.— Клянусь Богом, это был не сон! Я видел его, граф, вот как вас теперь вижу...

— Ах, Боже мой, Боже мой!— воскликнул старик с искренним огорчением.— Если бы только знал, что ваше высочество не совсем хорошо себя чувствует, я ни за что не допустил бы... Можно, впрочем, и теперь еще отложить свидание?..

— Нет, не надо — все равно. Я хочу знать,— проговорил царевич.— Пусть подойдет ко мне один старик, А того, другого, не допускайте...

Он судорожно схватил его за руку:

— Ради Бога, граф, не допускайте того!.. Он — убийца!.. Видите, как он смотрит... Я знаю: он послан царем, чтобы зарезать меня!..

Такой ужас был в лице его, что наместник подумал: «А кто их знает, этих варваров, может быть, и в самом деле?..»— И вспомнились ему слова императора из подлинной инструкции:

«Свидание должно быть устроено так, чтобы никто из москвитян (отчаянные люди и на все способные!) не напал на царевича и не возложил на него рук, хотя я того не ожидаю».

— Будьте покойны, ваше высочество: жизнью и честью моей отвечаю, что они не сделают вам никакого зла.

И наместник шепнул Вейнгарту, чтобы он велел усилить стражу.

А в это время уже подходил к царевичу неслышными скользящими шагами, выгнув спину с почтительнейшим видом и нижайшими поклонами, Петр Андреевич Толстой.

Спутник его, капитан гвардии, царский денщик исполинского роста с добродушным и красивым лицом не то римского легионера, не то русского Иванушки-дурачка, Александр Иванович Румянцев, по знаку наместника остановился в отдалении у дверей.

— Всемилостивейший государь царевич, ваше высочество! Письмо от батюшки,— проговорил Толстой и, склонившись еще ниже, так что левою рукою почти коснулся пола, правою передал ему письмо.

Царевич узнал в написанном на обертке одном только слове *Сыну* почерк отца, дрожащими руками распечатал письмо и прочел:

«Мой сын!

Понеже всем есть известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал, и ни от слов, ни от наказа-

ния не последовал наставлению моему; но, наконец, обольстя меня и заклинаясь Богом при прощании со мною, потом что̀ учинил? Ушел и отдался, яко изменник, под чужую протекцию! Что не слыхано не точию между наших детей, но ниже между нарочитых подданных. Чем какую обиду и досаду отцу своему, и стыд отечеству своему учинил! Того ради, посылаю ныне сие последнее к тебе, дабы ты по воле моей сделал, о чем тебе господин Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать. Буде же побоишься меня, то я тебя обнадеживаю и обещаю Богом и судом Его, что никакого наказания тебе не будет; но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься. Буде же сего не учинишь, то яко отец, данною мне от Бога властию, проклинаю тебя вечно; а яко государь твой, за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцову, учинить, в чем Бог мне поможет в моей истине. К тому помяни, что я все не насильством тебе делал; а когда б захотел, то почто на твою волю полагаться? Что б хотел, то б сделал.

Петр»

Прочитав письмо, царевич взглянул опять на Румянцева. Тот поклонился и хотел подойти. Но царевич побледнел, задрожал, привстал в кресле и проговорил:

— Петр Андреич... Петр Андреич... не вели ему подходить!.. А то уйду... уйду сейчас... Вот и граф говорит, чтоб не смел...

По знаку Толстого, Румянцев опять остановился, с недоумением на своем красивом и неумном лице.

Вейнгарт подал стул. Толстой придвинул его к царевичу, сел почтительно на самый кончик, наклонился, заглянул ему прямо в глаза простодушным доверчивым взором и заговорил так, как будто ничего особенного не случилось, и они сошлись для приятной беседы.

Это был все тот же изящный и превосходительный господин тайный советник и кавалер, Петр Андреевич Толстой: черные бархатные брови, мягкий бархатный взгляд, ласковая бархатная улыбка, вкрадчивый бархатный голос — бархатный весь, а жальце есть.

И хотя царевич помнил изречение батюшки: «Толстой — умный человек; но когда с ним говоришь, следует держать камень за пазухой» — он все-таки слушал его с удовольствием. Умная, деловитая речь успокаивала его, пробуждала от страшных видений, возвращала к дейст-

вительности. В этой речи все умягчалось, углаживалось. Казалось, можно было устроить так, что и волки будут сыты, и овцы целы. Он говорил, как опытный старый хирург, который убеждает больного в почти приятной легкости труднейшей операции.

«Употреблять ласку и угрозы, приводя, впрочем, удобь-вымышленные рации и аргументы»,— сказано было в царской инструкции,— и если бы царь его слышал, то остался бы доволен.

Толстой подтвердил на словах то, что было в письме — совершенную милость и прощение в том случае, ежели царевич вернется.

Затем привел подлинные слова царя из данной ему, Толстому, инструкции о переговорах с цесарем, причем в голосе его сквозь прежнюю уветливую ласковость звучала твердость.

— «Буде цесарь станет говорить, что сын наш отдался под его протекцию, что он не может против воли его выдать, и иные отговорки и затейные опасения будет объявлять,— представить, что нам не может то иначе, как чувственно быть, что он хочет меня с сыном судить, понеже, по натуральным правам, особливо же нашего государства, никто и меж партикулярными подданными особами отца с сыном судить не может: сын должен повиноваться воле отцовой. А мы, самодержавный государь, ничем цесарю не подчинены, и вступаться ему не следует, а надлежит его к нам отослать; мы же, как отец и государь, по должности родительской, его милостиво паки примем и тот его проступок простим, и будем его наставлять, чтобы, оставив прежние непотребные дела, поступал в пути добродетели, последовал нашим намерениям; таким образом может привратить к себе паки наше отеческое сердце; чем его царское величество покажет и над ним милость и заслужит себе от Бога воздаяние, а от нас благодарение; да и от сына нашего более будет за вечно возблагодарен, нежели за то, что ныне содержится, как невольник или злодей, за крепким караулом, под именем некоторого бунтовщика, графа венгерского, к предосуждению чести нашей и имени. Но буде, паче чаяния, цесарь в том весьма откажет,— объявить, что мы сие примем за явный разрыв и будем пред всем светом на цесаря чинить жалобы и искать неслыханную и несносную нам и чести нашей обиду отомстить».

— Пустое!— перебил царевич.— Николи из-за меня батюшка с цесарем войны не начнет.

— Я чаю, войны не будет,— согласился Толстой.— Да цесарь и без войны тебя выдаст. Никакой ему пользы нет, но больше есть трудность, что ты в его области пребываешь. А свое обещание тебе он уже исполнил, протектовал, доколе батюшка изволил простить, а ныне, как простил, то уже повинности цесаревой нет, чтобы против всех прав удерживать тебя и войну с цесарем чинить будучи и кроме того в войне с двух сторон, с турками да гишпанцами: и тебе, чай, ведомо, что флот гишпанский стоит ныне между Неаполем и Сардинией и намерен атаковать Неаполь, понеже тутошняя шляхта сделала комплот[1] и желает быть лучше под властью гишпанскою, нежели цесарскою. Не веришь мне, так спроси вице-роя: он получил от цесаря письмо саморучное, дабы всеми мерами склонил тебя ехать к батюшке, а по последней мере, куды ни есть, только бы из его области выехал. А когда добром не выдадут, то государь намерен тебя доставать и оружием; конечно, для сего и войска свои в Польше держит, чтобы их вскоре поставить на квартиры зимовые в Слезию: а оттуда недалече и до владений цесарских...

Толстой заглянул ему в глаза еще ласковее и тихонько дотронулся до руки его:

— Государь-царевич батюшка, послушай-ка увещания родительского, возвратись к отцу! «А мы, говорит царь,— слова его величества подлинные,— простим и примем его паки в милость нашу, и обещаем содержать отечески во всякой свободе и довольстве, без всякого гнева и принуждения».

Царевич молчал.

— «Буде же, говорит, к тому весьма не склонится,— продолжал Толстой с тяжелым вздохом,— объявить ему именем нашим, что мы, за такое преслушание, предав его клятве отеческой и церковной, объявим во все государство наше изменником; пусть-де рассудит, какой ему будет живот? Не думал бы, что может быть безопасен; разве вечно в заключении и за крепким караулом. И так душе своей в будущем, а телу и в сем еще веке мучение заслужит. Мы же искать не оставим всех способов к наказанию непокорства его; даже вооруженною рукою цесаря к выдаче его принудим. Пусть рассудит, что из того последует».

Толстой умолк, ожидая ответа, но царевич тоже молчал. Наконец поднял глаза и посмотрел на Толстого пристально.

— А сколько тебе лет, Петр Андреич?

[1] Заговор (франц. complot).

— Не при дамах будь сказано, за семьдесят перевалило,— ответил старик с любезною улыбкою.

— А кажись, по Писанию-то, семьдесят — предел жизни человеческой. Как же ты, Петр Андреич, одной ногой во гробе стоя, за этакое дело взялся? А я-то еще думал, что ты любишь меня...

— И люблю, родимый, видит Бог, люблю! Ей, до последнего издыхания, служить тебе рад. Одно только в мыслях имею — помирить тебя с батюшкой. Дело святое: блаженны-де, сказано, миротворцы...

— Полно-ка врать, старик! Аль думаешь, не знаю, зачем вы сюда с Румянцевым присланы? На него, разбойника, дивить нечего. А ты, ты, Андреич... На будущего царя и самодержца руку поднял! Убийцы, убийцы вы оба! Зарезать меня батюшкой присланы!..

Толстой в ужасе всплеснул руками.

— Бог тебе судья, царевич!..

Такая искренность была в лице его и в голосе, что, как ни знал его царевич, все-таки подумал: не ошибся ли, не обидел ли старика напрасно? Но тотчас рассмеялся — даже злоба прошла: в этой лжи было что-то простодушное, невинное, почти пленительное, как в лукавстве женщин и в игре великих актеров.

— Ну, и хитер же ты, Петр Андреич! А только никакою, брат, хитростью в волчью пасть овцу не заманишь.

— Это отца-то волком разумеешь?

— Волк не волк, а попадись я ему — и костей моих не останется! Да что мы друг друга морочим? Ты и сам, чай, знаешь...

— Алексей Петрович, ах, Алексей Петрович, батюшка! Когда моим словам не веришь, так ведь вот же в письме собственной его величества рукой написано: *обещаю Богом и судом Его*. Слышишь, Богом заклинается! Ужли же царь клятву преступит перед всею Европою?..

— Что ему клятвы?— перебил царевич.— Коли сам не разрешит, так Федоска. За архиереями дело не станет. Разрешат соборне. На то самодержец российский! Два человека на свете, как боги — царь Московский да папа Римский: что хотят, то и делают... Нет, Андреич, даром слов не трать. Живым не дамся!

Толстой вынул из кармана золотую табакерку с пастушком, который развязывает пояс у спящей пастушки,— не торопясь, привычным движением пальцев размял понюшку, склонил голову на грудь и произнес, как будто про себя, в глубоком раздумьи:

— Ну, видно, быть так. Делай как знаешь. Меня, старика, не послушал — может быть, отца послушаешь. Он и сам, чай, скоро будет здесь...

— Где здесь?.. Что ты врешь, старик? — произнес царевич, бледнея, и оглянулся на страшную дверь.

Толстой, по-прежнему не торопясь, засунул понюшку сначала в одну ноздрю, потом в другую — затянулся, стряхнул платком табачную пыль с кружева на груди и произнес:

— Хотя объявлять не велено, да уж, видно, все равно, проговорился. Получил я намедни от царского величества письмо саморучное, что изволит немедленно ехать в Италию. А когда приедет сам, кто может возбранить отцу с тобою видеться? Не мысли, что сему нельзя сделаться, понеже ни малой в том дификульты[1] нет, кроме токмо изволения царского величества. А то тебе и самому известно, что государь давно в Италию ехать намерен, ныне же наипаче для сего случая всемерно поедет.

Еще ниже опустил он голову, и все лицо его вдруг сморщилось, сделалось старым-престарым, казалось, он готов был заплакать — даже как будто слезинку смахнул. И еще раз услышал царевич слова, которые так часто слышал.

— Куда тебе от отца уйти? Разве в землю, а то везде найдет. У царя рука долга. Жаль мне тебя, Алексей Петрович, жаль, родимый...

Царевич встал, опять, как в первые минуты свидания, дрожа всем телом.

— Подожди, Петр Андреич. Мне надобно графу два слова сказать.

Он подошел к наместнику и взял его за руку.

Они вышли в соседнюю комнату. Убедившись, что двери заперты, царевич рассказал ему все, что говорил Толстой, и в заключение, схватив руки старика похолодевшими руками, спросил:

— Ежели отец будет требовать меня вооруженною рукою, могу ли я положиться на протекцию цесаря?

— Будьте покойны, ваше высочество! Император довольно силен, чтобы защищать принимаемых им под свою протекцию, во всяком случае...

— Знаю, граф. Но говорю вам теперь не как наместнику императора, а как благородному кавалеру, как доброму человеку. Вы были ко мне так добры всегда. Скажите же всю правду, не скрывайте от меня ничего, ради

[1] Трудность, затруднение (франц. difficulté).

Бога, граф! Не надо политики! Скажите правду!.. О, Господи!.. Видите, как мне тяжело!..

Он заплакал и посмотрел на него так, как смотрят затравленные звери. Старик невольно потупил глаза.

Высокий, худощавый, с бледным, тонким лицом, несколько похожим на лицо Дон Кихота, человек добрый, но слабый и нерешительный, с двоящимися мыслями, рыцарь и политик граф Даун вечно колебался между старым неполитичным рыцарством и новою нерыцарской политикой. Он чувствовал жалость к царевичу, но, вместе с тем, страх, как бы не впутаться в ответственное дело — страх пловца, за которого хватается утопающий.

Царевич опустился перед ним на колени.

— Умоляю императора именем Бога и всех святых не покидать меня! Страшно подумать, что будет, если я попадусь в руки отцу. Никто не знает, что это за человек... я знаю... Страшно, страшно!

Старик наклонился к нему, со слезами на глазах.

— Встаньте, встаньте же, ваше высочество! Богом клянусь, что говорю вам всю правду, без всякой политики: насколько я знаю цесаря, ни за что не выдаст он вас отцу; это было бы унизительно для чести его величества и противно всесветным правам — знаком варварства!

Он обнял царевича и поцеловал его в лоб с отеческою нежностью.

Когда они вернулись в приемную, лицо царевича было бледно, но спокойно и решительно. Он подошел к Толстому и, не садясь и его не приглашая сесть, видимо, давая понять, что свидание кончено, сказал:

— Возвратиться к отцу опасно и пред разгневанное лицо явиться не бесстрашно; а почему не смею возвратиться, о том донесу письменно протектору моему, цесарскому величеству. Отцу, может быть, буду писать, ответствуя на его письмо, и тогда уже дам конечный ответ. А сего часу не могу ничего сказать, понеже надобно мыслить о том гораздо.

— Ежели, ваше высочество,— начал опять Толстой вкрадчиво,— какие предложить имеешь кондиции, можешь и мне объявить. Я чай, батюшка на все согласится. И на Евфросинье жениться позволит. Подумай, подумай, родной. Утро вечера мудрее. Ну, да мы еще поговорить успеем. Не в последний раз видимся...

— Говорить нам, Петр Андреич, больше не о чем и видеться незачем. Да ты долго ли здесь пробудешь?

— Имею повеление,— возразил Толстой тихо и по-

смотрел на царевича так, что ему показалось, будто из глаз его глянули глаза батюшки,— имею повеление не удаляться отсюда, прежде чем возьму тебя, и если бы перевезли тебя в другое место,— и туда буду за тобою следовать.

Потом прибавил еще тише:

— Отец не оставит тебя, пока не получит, живым или мертвым.

Из-под бархатной лапки высунулись когти, но тотчас же спрятались. Он поклонился, как при входе, глубочайшим поклоном, хотел даже поцеловать руку царевича, но тот ее отдернул.

— Всемилостивейшей особы вашего высочества всепокорный слуга!

И вышел с Румянцевым в ту же дверь, в которую вошел.

Царевич проводил их глазами и долго смотрел на эту дверь неподвижным взором, словно промелькнуло перед ним опять ужасное видение.

Наконец опустился в кресло, закрыл лицо руками и согнулся, съежился весь, как будто под страшною тяжестью.

Граф Даун положил руку на плечо его, хотел сказать что-нибудь в утешение, но почувствовал, что сказать нечего, и молча отошел к Вейнгарту.

— Император настаивает,— шепнул он ему,— чтоб царевич удалил от себя ту женщину, с которой живет. У меня не хватило духу сказать ему об этом сегодня. Когда-нибудь, при случае скажите вы.

V

«Мои дела в великом находятся затруднении,— писал Толстой резиденту Веселовскому в Вену.— Ежели не отчаится наше дитя протекции, под которою живет, никогда не помыслит ехать. Того ради, надлежит вашей милости во всех местах трудиться, чтобы ему явно показали, что его оружием защищать не будут; а он в том все свое упование полагает. Мы должны благодарствовать усердие здешнего вице-роя в нашу пользу; да не можем преломить замерзелого упрямства. Сего часу не могу больше писать, понеже еду к нашему *зверю*, а почта отходит».

Толстому случалось не раз бывать в великих затруднениях, и всегда выходил он сух из воды. В молодости участвовал в стрелецком бунте — все погибли — он спасся. Сидя на Устюжском воеводстве, пятидесяти лет от роду, имея жену и детей, вызвался ехать, вместе с прочими «рос-

сийскими младенцами», в чужие края для изучения навигации — и выучился. Будучи послом в Константинополе, трижды попадал в подземные тюрьмы Семибашенного замка и трижды выходил оттуда, заслужив особую милость царя. Однажды собственный секретарь его написал на него донос в растрате казенных денег, но не успев отослать, умер скоропостижно; а Толстой объяснил: «Вздумал подьячий Тимошка обусурманиться, познакомившись с турками; Бог мне помог об этом сведать; я призвал его тайно и начал говорить, и запер в своей спальне до ночи, а ночью выпил он рюмку вина и скоро умер: так его Бог сохранил от беды».

Недаром он изучал и переводил на русский язык «Николы Макиавеля, мужа благородного флорентинского, Увещания Политические». Сам Толстой слыл Макиавелем Российским. «Голова, голова, кабы не так умна ты была, давно б я отрубить тебя велел!»— говорил о нем царь.

И вот теперь боялся Толстой, как бы в деле царевича эта умная голова не оказалась глупою, Макиавель Российский — в дураках. А между тем он сделал все, что можно было сделать; опутал царевича тонкою и крепкою сетью: внушил каждому порознь, что все остальные тайно желают выдачи его, но сами, стыдясь нарушить слово, поручают это сделать другим: цесарева [1] — цесарю, цесарь — канцлеру, канцлер — наместнику, наместник — секретарю. Последнему Толстой дал взятку в 160 червонных и пообещал прибавить, ежели он уверит царевича, что цесарь протектовать его больше не будет. Но все усилия разбивались о «замерзелое упрямство».

Хуже всего было то, что он сам напросился на эту поездку. «Должно знать свою планету»,— говаривал он. И ему казалось, что его планета есть поимка царевича, и что ею увенчает он все свое служебное поприще, получит андреевскую ленту и графство, сделается родоначальником нового дома графов Толстых, о чем всю жизнь мечтал.

Что-то скажет царь, когда он вернется ни с чем?

Но теперь он думал не о потере царской милости, андреевской ленты, графского титула; как истинный охотник, все на свете забыв, думал он только о том, что *зверь* уйдет.

Через несколько дней после первого свидания с царевичем, Толстой сидел за чашкой утреннего шоколада на балконе своих роскошных покоев, в гостинице Трех Ко-

---

[1] Императрица.

ролей на самой бойкой улице Неаполя, Виа-Толедо. В ночном шлафоре, без парика, с голым черепом, с остатками седых волос только на затылке, он казался очень старым, почти дряхлым. Молодость его — вместе с книгой «Метаморфосеос, или «Применение Овидиево», которую он переводил на русский язык — его собственная метаморфоза, баночки, кисточки и великолепный алонжевый парик с юношескими черными как смоль кудрями — лежали в уборной на столике перед зеркалом.

На сердце кошки скребли. Но, как всегда, в минуты глубоких раздумий о делах политики, имел он вид беспечный, почти легкомысленный; переглядывался с хорошенькою соседкою, тоже сидевшею на балконе в доме через улицу, смуглолицею черноглазою испанкою из тех, которые, по слову Езопки, «к ручному труду не охочи, а заживают больше в прохладах»; улыбался ей с галантною любезностью, хотя улыбка эта напоминала улыбку мертвого черепа, и напевал своего собственного сочинения любовную песенку «К девице», подражание Анакреону:

Не бегай ты от меня,
Видя седу голову;
Не затем, что красоты
Блистает в тебе весна,
Презирай мою любовь.
Посмотри хотя в венцах
Сколь красивы, с белыми
Ландышами смешанны,
Розы нам являются!

Капитан Румянцев рассказывал ему о своих любовных приключениях в Неаполе.

По определению Толстого, Румянцев «был человек сложения веселого, жизнь оказывал приятную к людям и паче касающееся до компании; но более был счастлив, нежели к высоким делам способен — только имел смельство доброго солдата» — попросту, значит, дурак. Но он его не презирал за это, напротив, всегда слушал и порою слушался: «Дураками-де свет стоит,— замечал Петр Андреич.— Катон, советник римский, говаривал, что дураки умным нужнее, нежели умные дуракам».

Румянцев бранил какую-то девку Камилку, которая вытянула у него за одну неделю больше сотни ефимок.

— Тутошние девки к нашему брату зело грабительницы!

Петр Андреевич вспомнил, как сам был влюблен много лет назад, здесь же, в Неаполе; про эту любовь рассказывал он всегда одними и теми же словами:

— Был я инаморат в синьору Франческу, и оную имел за метресу во всю ту свою бытность. И так был инаморат, что не мог ни часу без нее быть, которая коштовала мне в два месяца 1.000 червонных. И расстался с великою печалью, аж до сих пор из сердца моего тот амор не может выйти...

Он томно вздохнул и улыбнулся хорошенькой соседке.

— А что наш *зверь?* — спросил вдруг с видом небрежным, как будто это было для него последнее дело.

Румянцев рассказал ему о своей вчерашней беседе с навигатором Алешкой Юровым, Езопкою то ж.

Напуганный угрозою Толстого схватить его и отправить в Петербург, как беглого, Юров, несмотря на свою преданность царевичу, согласился быть шпионом, доносить обо всем, что видел и слышал у него в доме.

Румянцев узнал от Езопки много любопытного и важного для соображений Толстого о чрезмерной любви царевича к Евфросинье.

— Она девка весьма в амуре профитует и, в большой конфиденции плезиров ночных, такую над ним силу взяла, что он перед ней пикнуть не смеет. Под башмаком держит. Что она скажет, то он и делает. Жениться хочет, только попа не найдет, а то б уж давно повенчались.

Рассказал также о своем свидании с Евфросиньей, устроенном, благодаря Езопке и Вейнгарту, тайно от царевича, во время его отсутствия.

— Персона знатная, во всех статьях — только волосом рыжая. По виду тиха, воды, кажись, не замутит, а должно быть, бедовая,— в тихом омуте черти водятся.

— А как тебе показалось,— спросил Толстой, у которого мелькнула внезапная мысль,— к амуру инклинацию [1] имеет?

— То есть, чтобы нашего-то зверя с рогами сделать?— усмехнулся Румянцев.— Как и все бабы, чай, рада. Да ведь не с кем...

— А хотя бы с тобой, Александр Иванович. Небось, с этаким-то молодцом всякой лестно!— лукаво подмигнул Толстой.

Капитан рассмеялся и самодовольно погладил свои тонкие, вздернутые кверху, так же, как у царя кошачьи усики.

— С меня и Камилки будет! Куда мне двух?

— А знаешь, господин капитан, как в песенке поется:

---

[1] Склонность (франц. inclination).

Перестань противляться сугубому жару:
Две девы в твоем сердце вместятся без свару.
Не печалься, что будешь столько любви иметь,
Ибо можно с услугой к той и другой поспеть;
Уволив первую, уволь и вторую,
А хотя б и десяток — немного сказую.

— Вишь ты какой, ваше превосходительство, бедовый!— захохотал Румянцев, как истый денщик, показывая все свои белые ровные зубы.— Седина в бороду, а бес в ребро!

Толстой возразил ему другою песенкой:

Говорят мне женщины:
«Анакреон, ты уж стар.
Взяв зеркало, посмотрись,
Волосов уж нет над лбом».
Я не знаю, волосы
На голове ль, иль сошли;
Одно только знаю — то,
Что наипаче старику
Должно веселиться,
Ибо к смерти ближе он.

— Послушай-ка, Александр Иванович,— продолжал он, уже без шутки,— заместо того, чтоб с Камилкой-то без толку хороводиться, лучше бы ты с оною знатною персоной поамурился. Большая из того польза для дела была б. Дитя наше так жалузией[1] опутали бы, что никуда не ушел бы, сам в руки дался. На нашего брата, кавалера, нет лучше приманки, как баба!

— Что ты, что ты, Петр Андреич? Помилуй! Я думал, шутить изволишь, а ты и впрямь. Это дело щекотное. А ну, как он царем будет, да про тот амур узнает — так ведь на моей шее места не хватит, где топоров ставить...

— Э, пустое! Будет ли Алексей Петрович царем, это, брат, вилами на воде писано, а что Петр Алексеевич тебя наградит, то верно. Да еще как наградит-то! Александр Иваныч, батюшка, пожалуй, учини дружбу, родной, ввек не забуду!..

— Да я, право, не знаю, ваше превосходительство, как за этакое дело и взяться?..

— Вместе возьмемся! Дело не мудреное. Я тебя научу, ты только слушайся...

Румянцев еще долго отнекивался, но, наконец, согласился, и Толстой рассказал ему план действий.

Когда он ушел, Петр Андреевич погрузился в раздумье, достойное Макиавеля Российского.

Он давно уже смутно чувствовал, что одна только Евфросинья могла бы, если бы захотела, убедить царе-

[1] Ревностью (франц. jalousie).

вича вернуться — ночная-де кукушка дневную перекукует — и что, во всяком случае, на нее — последняя надежда. Он и царю писал: «невозможно описать, как царевич оную девку любит и какое об ней попечение имеет». Вспомнил также слова Вейнгарта: «больше всего боится он ехать к отцу, чтоб не отлучил от него той девки. А я-де намерен его ныне постращать, будто отнимут ее немедленно, ежели к отцу не поедет; хотя и неможно мне сего без указа учинить, однако ж, увидим, что из того будет».

Толстой решил ехать тотчас к вицерою и требовать, чтобы он велел царевичу, согласно с волей цесаря, удалить от себя Евфросинью. «А тут-де еще и Румянцев со своим амуром — подумал он с такою надеждою, что сердце у него забилось.— Помоги, матушка Венус! Авось-де, чего умные с политикой не сделали, то сделает дурак с амуром».

Он совсем развеселился и, поглядывая на соседку, напевал уже с непритворною резвостью:

Посмотри хотя в венцах
Сколь красивы, с белыми
Ландышами смешанны,
Розы нам являются!

А плутовка, закрываясь веером, выставив из-под черного кружева юбки хорошенькую ножку в серебряной туфельке, в розовом чулочке с золотыми стрелками, делала глазки и лукаво смеялась,— как будто в образе этой девочки сама богиня Фортуна, опять, как уже столько раз в жизни, улыбалась ему, суля успех, андреевскую ленту и графский титул.

Вставая, чтобы идти одеваться, он послал ей через улицу воздушный поцелуй, с галантнейшей улыбкой: казалось, Фортуне-блуднице улыбается бесстыдною улыбкой мертвый череп.

Царевич подозревал Езопку в шпионстве, в тайных сношениях с Толстым и Румянцевым. Он прогнал его и запретил приходить. Но однажды, вернувшись домой неожиданно, столкнулся с ним на лестнице. Езопка, увидев его, побледнел, задрожал, как пойманный вор. Царевич понял, что он пробирался к Евфросинье с каким-то тайным поручением, схватил его за шиворот и столкнул с лестницы.

Во время встряски выпала у него из кармана круглая жестянка, которую он тщательно прятал. Царевич поднял ее. Это была коробка «с французским чекуладом лепе-




N 6

шечками» и вложенною в крышку запискою, которая начиналась так:

«Милостивая моя Государыня, Евфросинья Феодоровна!

Поелику сердце во мне не топорной работы, но рождено уже с нежнейшими чувствованиями...»

А кончалась виршами:

Я не в своей мочи огнь утушить,
Сердцем я болею, да чем пособить?
Что всегда разлучно — без тебя скучно;
Легче б тя не знати, нежель так страдати.
Аще же отвергнешь, то в Везувий ввергнешь.

Вместо подписи — две буквы: *А. Р.* «Александр Румянцев»,— догадался царевич.

У него хватило духу не говорить Евфросинье об этой находке.

В тот же день Вейнгарт сообщил ему полученный, будто бы, от цесаря указ — в случае, ежели царевич желает дальнейшей протекции, немедленно удалить от себя Евфросинью.

На самом деле указа не было; Вейнгарт только исполнял свое обещание Толстому: «я-де намерен его постращать, и хотя мне и неможно сего без указу чинить, однакож, увидим, что из того будет».

VI

В ночь с 1 на 2 октября разразилось, наконец, сирокко.

С особенной яростью выла буря на высоте Сант-Эльмо. Внутри замка, даже в плотно запертых покоях, шум ветра был так силен, как в каютах корабля под самым сильным штормом. Сквозь голоса урагана — то волчий вой, то детский плач, то бешеный топот, как от бегущего стада, то скрежет и свист, как от исполинских птиц с железными крыльями — гул морского прибоя похож был на далекие раскаты пушечной пальбы. Казалось, там, за стенами, рушилось все, наступил конец мира, и бушует беспредельный хаос.

В покоях царевича было сыро и холодно. Но развести огонь в очаге нельзя было, потому что дым из трубы выбивало ветром. Ветер пронизывал стены, так что сквозняки ходили по комнате, пламя свечей колебалось, и капли воска на них застывали висячими длинными иглами.

Царевич ходил быстрыми шагами взад и вперед по комнате. Угловатая черная тень его мелькала по белым

стенам, то сокращалась, то вытягивалась и, упираясь в потолок, переламывалась.

Евфросинья, сидя с ногами в кресле и кутаясь в шубку, следила за ним глазами, молча. Лицо ее казалось равнодушным. Только в углу рта что-то дрожало едва уловимою дрожью, да пальцы однообразным движением то расплетали, то скручивали оторванный от застежки на шубе золотой шнурок.

Все было так же, как полтора месяца назад, в тот день, когда получил он радостные вести.

Царевич, наконец, остановился перед ней и произнес глухо:

— Делать нечего, маменька! Собирайся-ка в путь. Завтра к папе в Рим поедем. Кардинал мне тутошний сказывал, папа-де примет под свою протекцию...

Евфросинья пожала плечами.

— Пустое, царевич! Когда и цесарь держать не хочет девку зазорную, так где уж папе. Ему, чай, нельзя, и по чину духовному. И войска нет, чтоб защищать, коли батюшка тебя с оружием будет требовать.

— Как же быть, как же быть, Афросьюшка?..— всплеснул он руками в отчаяньи.— Указ получен от цесаря, чтоб отлучить тебя немедленно. До утра едва ждать согласились. Того гляди, силой отнимут. Бежать, бежать надо скорее!..

— Куда бежать-то? Везде поймают. Все равно один конец — поезжай к отцу.

— И ты, и ты, Афрося! Напели тебе, видно, Толстой да Румянцев, а ты и уши развесила.

— Петр Андреич добра тебе хочет.

— Добра!.. Что ты смыслишь? Молчи уж, баба — волос долог, ум короток! Аль думаешь, не запытают и тебя? Не мысли того. И на брюхо не посмотрят: у насде то не диво, что девки на дыбах раживали...

— Да ведь батюшка милость обещал.

— Знаю, знаю батюшкины милости. Вот они мне где!— показал он себе на затылок.— Папа не примет — так во Францию, в Англию, к Шведу, к Турку, к черту на рога, только не к батюшке! Не смей ты мне и говорить об этом никогда, Евфросинья, слышишь, не смей!..

— Воля твоя, царевич. А только я с тобой к папе не поеду,— произнесла она тихо.

— Как не поедешь? Это ты что еще вздумала?

— Не поеду,— повторила она все так же спокойно, глядя ему в глаза пристально.— Я уж и Петру Андреи-

чу сказывала: не поеду-де с царевичем никуды, кроме батюшки; пусть едет один, куда знает, а я не поеду.

— Что ты, что ты, Афросьюшка?— заговорил он, бледнея, вдруг изменившимся голосом.— Христос с тобою, маменька! Да разве... о, Господи!... разве я могу без тебя? .

— Как знаешь, царевич. А только я не поеду. И не проси.

Она оторвала от петли и бросила шнурок на пол.

— Одурела ты, девка, что ль?— крикнул он, сжимая кулаки, с внезапною злобою.— Возьму, так поедешь! Много ты на себя воли берешь! Аль забыла, кем была?

— Кем была, тем и осталась: его царского величества, государя моего, Петра Алексеича раба верная. Куда царь велит, туда и поеду. Из воли его не выйду. С тобой против отца не пойду.

— Вот ты как, вот ты как заговорила!.. С Толстым да с Румянцевым снюхалась, со злодеями моими, с убийцами!.. За все, за все добро мое, за всю любовь!.. Змея подколодная! Хамка, отродие хамово...

— Вольно тебе, царевич, лаяться! Да что же толку? Как сказала, так и сделаю.

Ему стало страшно. Даже злоба прошла. Он весь ослабел, изнемог, опустился в кресло рядом с нею, взял ее за руку и старался заглянуть ей в глаза:

— Афросьюшка, маменька, друг мой сердешненький, что же, что же это такое? Господи! Время ли ссориться? Зачем так говоришь? Знаю, что того не сделаешь — одного в такой беде не покинешь — не меня, так Селебеного, чай, пожалеешь?..

Она не отвечала, не смотрела, не двигалась — точно мертвая.

— Аль не любишь?— продолжал он с безумно молящею ласкою, с жалобной хитростью любящих.— Ну что ж? Уходи, коли так. Бог с тобой. Держать силой не буду. Только скажи, что не любишь?..

Она вдруг встала и посмотрела, усмехаясь так, что сердце у него замерло от ужаса.

— А ты думал, люблю? Когда над глупой девкой ругался, насильничал, ножом грозил,— тогда б и спрашивал, люблю, аль нет!..

— Афрося, Афрося, что ты? Аль слову моему не веришь? Ведь женюсь на тебе, венцом тот грех покрою. Да и теперь ты мне все равно что жена!..

— Челом бью, государь, на милости! Еще бы не милость! На холопке царевич изволит жениться! А ведь

вот, поди ж ты, дура какая — этакой чести не рада! Терпела, терпела — мочи моей больше нет! Что в петлю, аль в прорубь, то за тебя постылого! Лучше б ты и впрямь убил меня тогда, зарезал! Царицей-де будешь — вишь, чем вздумал манить. Да, может, мне девичий-то стыд и воля дороже царства твоего? Насмотрелась я на ваши роды царские — срамники вы, паскудники! У вас во дворе, что в волчьей норе: друг за дружкой так и смотрите, кто кому горло перервет. Батюшка — зверь большой, а ты — малый: зверь зверушку и съест. Куда тебе с ним спорить? Хорошо государь сделал, что у тебя наследство отнял. Где этакому царствовать? В дьячки ступай грехи замаливать, святоша! Жену уморил, детей бросил, с девкой приблудной связался, отстать не может! Ослаб, совсем ослаб, измотался, испаскудился! Вот и сейчас баба ругает в глаза, а ты молчишь, пикнуть не смеешь. У, бесстыдник! Избей я тебя, как собаку, а потом помани только, свистни — опять за мной побежишь, язык высуня, что кобель за сукою! А туда же, любви захотел! Да разве этаких-то любят?..

Он смотрел на нее и не узнавал. В сиянии огненно-рыжих волос, бледное, точно нестерпимым блеском озаренное, лицо ее было страшно, но так прекрасно, как еще никогда. «Ведьма!»— подумал он, и вдруг ему почудилось, что от нее — вся эта буря за стенами, и что дикие вопли урагана повторяют дикие слова:

— Погоди, ужо узнаешь, как тебя люблю! За все, за все заплачу! Сама на плаху пойду, а тебя не покрою! Все расскажу батюшке — как ты оружия просил у цесаря, чтобы войной идти на царя, возмущению в войске радовался, к бунтовщикам пристать хотел, отцу смерти желал, злодей! Все, все донесу, не отвертишься! Запытает тебя царь, плетьми засечет, а я стану смотреть, да спрашивать: что, мол, свет Алешенька, друг мой сердешненький, будешь помнить, как Афрося любила?.. А щенка твоего, Селебеного, как родится — я своими руками...

Он закрыл глаза, заткнул уши, чтобы не видеть, не слышать. Ему казалось, что рушится все, и сам он проваливается. Так ясно, как еще никогда, понял вдруг, что нет спасения — и как бы ни боролся, что бы ни делал — все равно погиб.

Когда царевич открыл глаза, Евфросиньи уже не было в комнате. Но виден был свет сквозь щель неплотно притворенной двери в спальню. Он понял, что она там, подошел и заглянул.

Она торопливо укладывалась, связывала вещи в узел, как будто собиралась уходить от него тотчас. Узел был маленький: немного белья, два-три простых платья, которые она сама себе сшила, да слишком ему памятная старенькая девичья шкатулка, со сломанным замком и облезлою птицей, клюющей кисть винограда, на крышке — та самая, в которой, еще дворовою девкою в доме Вяземских, она копила приданое. Дорогие платья и другие вещи, подаренные им, тщательно откладывала, должно быть, не хотела брать его подарков. Это оскорбило его больше, чем все ее злые слова.

Кончив укладку, присела к ночному столику, очинила перо и принялась писать медленно, с трудом, выводя, точно рисуя, букву за буквою. Он подошел к ней сзади на цыпочках, нагнулся, заглянул ей через плечо и прочитал первые строки:

«Александр Иванович.

Понеже царевич хочит ехать к папе а я отгаваривала штоп не ездил токмо не слушаит зело сердитуит то исволь ваша милость прислати за мной наискаряи а лучшеп сам приехал не увесбы мне силой а чай без меня никуды не поедит».

Половица скрипнула. Евфросинья быстро обернулась, вскрикнула и вскочила. Они стояли, молча, не двигаясь, лицом к лицу, и смотрели друг другу в глаза долгим взглядом, точно так же, как тогда, когда он бросился на нее, грозя ножом.

— Так ты и впрямь к нему?— прошептал он хриплым шепотом.

Чуть-чуть побледневшие губы ее искривились тихою усмешкою.

— Хочу — к нему, хочу — к другому. Тебя не спрошусь.

Лицо его исказилось судорогою. Одной рукой схватил он ее за горло, другою за волосы, повалил и начал бить, таскать, топтать ногами.

— Тварь! Тварь! Тварь!

Тонкое лезвие кортика-грифа, который носила она, одеваясь пажем, и которым только что, вместо ножа, отрезала от большого листа бумаги четвертушку для письма,— сверкало на столе. Царевич схватил его, замахнулся. Он испытывал безумный восторг, как тогда, когда овладевал ею силою; вдруг понял, что она его всегда обманывала, не принадлежала ему ни разу, даже в самых страстных ласках, и только теперь, убив ее, овладеет он ею до конца, утолит свое неимоверное желание.

Она не кричала, не звала на помощь и боролась молча, ловкая, гибкая, как кошка. Во время борьбы он толкнул стол, на котором стояла свеча. Стол опрокинулся. Свеча упала и потухла. Наступил мрак. В глазах его, быстро, точно колеса, завертелись огненные круги. Голоса урагана завыли где-то совсем близко от него, как будто над самым ухом, и разразились неистовым хохотом.

Он вздрогнул, словно очнулся от глубокого сна, и в то же мгновение почувствовал, что она повисла на руке его, не двигаясь, как мертвая. Разжал руку, которою все еще держал ее за волосы. Тело упало на пол с коротким безжизненным стуком.

Его обуял такой ужас, что волосы на голове зашевелились. Он далеко отшвырнул от себя кортик, выбежал в соседнюю комнату, схватил шандал с нагоревшими свечами, вернулся в спальню и увидел, что она лежит на полу распростертая, бледная, с кровью на лбу и закрытыми глазами. Хотел было снова бежать, кричать, звать на помощь. Но ему показалось, что она еще дышит. Он упал на колени, наклонился к ней, обнял, бережно поднял и положил на постель.

Потом заметался по комнате, сам не помня, что делает: то давал ей нюхать спирт, то искал пера, вспомнив, что жженым пером пробуждают от обморока, то мочил ей голову водою. То опять склонялся над нею, рыдая, целовал ей руки, ноги, платье и звал ее, и бился головой об угол кровати, и рвал на себе волосы.

— Убил, убил, убил, окаянный!..

То молился.

— Господи Иисусе, Матерь Пречистая, возьми душу мою за нее!..

И сердце его сжималось с такою болью, что ему казалось, он сейчас умрет.

Вдруг заметил, что она открыла глаза и смотрит на него со странною улыбкою.

— Афрося, Афрося... что с тобою, маменька?.. Не послать ли за дохтуром?..

Она продолжала смотреть на него молча, все с тою же непонятною улыбкою.

Сделал усилие, чтобы приподняться. Он ей помог и вдруг почувствовал, что она обвила его шею руками и прижалась щекой к щеке его с такою тихою детски-доверчивой лаской, как еще никогда:

— Что, испугался небось? Думал, до смерти убил? Пустое! Не так-то легко бабу убить. Мы, что кошки, живучи. Милый ударит — тела прибавит!

— Прости, прости, маменька, родненькая!..

Она смотрела в глаза его, улыбалась и гладила ему волосы с материнскою нежностью.

— Ах, мальчик ты мой, мальчик глупенький. Посмотрю я на тебя — совсем дитятко малое. Ничего не смыслишь, не знаешь ты нашего норова бабьего. Ах, глупенький, так, ведь, и поверил, что не люблю? Поди-ка, я тебе на ушко словечко скажу.

Она приблизила губы к самому уху его и шепнула страстным шепотом:

— Люблю, люблю, как душу свою, душа моя, радость моя! Как мне на свете быть без тебя, как живой быть? Лучше бы мне — душа моя с телом рассталась. Аль не веришь?

— Верю, верю!..— плакал он и смеялся от счастия.

Она прижималась к нему все крепче и крепче.

— Ох, свет мой, батюшка мой, Алешенька, и за что ты мне таков мил?.. Где твой разум, тут и мой, где твое слово, тут и мое — где твое слово, тут и моя голова! Вся всегда в воле твоей... Да вот горе мое: и все-то мы, бабы глупые, злые, а я пуще всех. Что же мне делать, коли такову меня Бог бессчастную родил? Дал мне сердце несытое, жадное. И вижу, что любишь меня, а мне все мало, чего хочу, сама не знаю. Что-то, думаю, что-то мальчик мой такой тихонький да смирненький, никогда поперек слова не молвит, не рассердится, не поучит меня, глупую? Рученьки его я над собою не слышу, грозы не чую. Не мимоде молвится: кого люблю, того и бью. Аль не любит? А нука рассержу его, попытаю, что из него будет... А ты — вот ты каков! Едва не убил! Совсем в батюшку. Аж дух из меня вон от страху-то. Ну, да впредь наука, помнить буду и любить буду, вот как!..

Он как будто в первый раз видел эти глаза, горящие грозным тусклым огнем, эти полураскрытые, жаркие губы; чувствовал это скользящее, как змея, трепещущее тело. «Вот она какая!»— думал он с блаженным удивлением.

— А ты думал, ласкать не умею?— как будто угадывая мысль его, засмеялась она тихим смехом, который зажег в нем всю кровь.— Погоди, ужо так ли еще приласкаю... Только утоли ты, утоли мое сердце глупое, сделай, о чем попрошу, чтоб знала я, что любишь ты меня, как я тебя — до смерти!.. Ох, жизнь моя, любонька, лапушка!.. Сделаешь? Сделаешь?..

— Все сделаю! Видит Бог, нет того на свете, чего бы не сделал. На смерть пойду — только скажи...

Она не шепнула, а как будто вздохнула чуть слышным вздохом:

— Вернись к отцу!

И опять, как давеча, сердце у него замерло от ужаса. Почудилось, что из-под нежной руки тянется и хватает его за сердце железная рука батюшки. «Лжет!»— блеснуло в нем, как молния. «Пусть лжет, только бы любила!»— прибавил он с беспечностью.

— Тошно мне,— продолжала она,— ох, смерть моя, тошнехонько — во грехе с тобой да в беззаконьи жить! Не хочу быть девкой зазорною, хочу быть женою честною пред людьми и пред Богом! Говоришь: и ныне-де я тебе все равно что жена. Да полно, какая жена? Венчали вокруг ели, а черти пели. И мальчик-то наш, Селебеный, приблудным родится. А как вернешься к отцу, так и женишься. И Толстой говорит: пусть-де царевич предложит батюшке, что вернется, когда позволят жениться; а батюшка, говорит, еще и рад сему будет, только б-де он, царевич, от царства отрекся да жил в деревнях на покое. Что-де на рабе жениться, что клобук одеть — едино — не бывать ему же царем. А мне-то, светик мой, Алешенька, только того и надобно. Боюсь я, ох, родненький, царства-то я пуще всего и боюсь! Как станешь царем — не до меня тебе будет. Голова кругом пойдет. Царям любить некогда. Не хочу быть царицей постылою, хочу быть любонькой твоею вечною! Любовь моя — царство мое! Уедем в деревни, либо в Порецкое, либо в Рождествено, будем в тишине да в покое жить, я да ты, да Селебеный — ни до чего нам дела не будет... Ох, сердце мое, жизнь моя, радость моя!.. Аль не хочешь? Не сделаешь... Аль царства жаль?..

— Что спрашиваешь, маменька? Сама знаешь — сделаю...

— Вернешься к отцу?

— Вернусь.

Ему казалось, что теперь происходит обратное тому, что произошло между ними когда-то: уже не он — ею, а она овладевала им силою; ее поцелуи подобны были ранам, ее ласки — убийству.

Вдруг она вся замерла, тихонько его отстраняя, отталкивая и вздохнула опять чуть слышным вздохом:

— Клянись!

Он колебался, как самоубийца в последнюю минуту, когда уже занес над собою нож. Но все-таки сказал:

— Богом клянусь!

Она потушила свечу и обняла его всего одной бесконечною ласкою, глубокою и страшною как смерть.

Ему казалось, что он летит с нею, ведьмою, белою дьяволицей, в бездонную тьму на крыльях урагана.

Он знал, что это — погибель, конец всему, и рад был концу.

VII

На следующий день, 3 октября, Толстой писал царю в Петербург:

«Всемилостивейший Государь!

Сим нашим всеподданнейшим доносим. что сын вашего величества, его высочество государь царевич Алексей Петрович изволил нам сего числа объявить свое намерение: оставя все прежние противления, повинуется указу вашего величества и к вам в С.-Питербурх едет беспрекословно с нами, о чем изволил к вашему величеству саморучно писать и оное письмо изволил нам отдать незапечатанное, чтобы его к вашему величеству под своим кувертом послали, с которого при сем копия приложена, а оригинальное мы оставили у себя, опасаясь при сем случае отпустить. Изволит предлагать токмо две кондиции: первая: дабы ему жить в его деревнях, которые близ С.—Питербурха; а другая: чтоб ему жениться на той девке, которая ныне при нем. И когда мы его сначала склоняли, чтобы к вашему величеству поехал, он без того и мыслить не хотел, ежели вышеписанные кондиции ему позволены не будут. Зело, государь, стужает, чтобы мы ему исходатайствовали от вашего величества позволения обвенчаться с тою девкою, не доезжая до С.—Питербурха. И хотя сии государственные кондиции паче меры тягостны, однакож, я и без указу осмелился на них позволить словесно. О сем я вашему величеству мое слабое мнение доношу: ежели нет в том какой противности,— чтоб ему на то позволить, для того, что он тем весьма покажет себя во весь свет, какого он состояния, еже не от какой обиды ушел, токмо для той девки; другое, что цесаря весьма огорчит, и он уже никогда ему ни в чем верить не будет; третье, что уже отъимется опасность о его пристойной женитьбе к доброму свойству, от чего еще и здесь не безопасно. И ежели на то позволишь, государь,— изволил бы ко мне в письме своем, при других делах, о том написать. чтоб я ему мог показать, а не отдать. А ежели ваше величество

изволит рассудить, что непристойно тому быть, то не благоволишь ли его токмо ныне милостиво обнадежить, что может то сделаться не в чужом, но в нашем государстве, чтоб он, будучи тем обнадежен, не мыслил чего иного и ехал к вам без всякого сумнения. И благоволи, государь, о возвращении к вам сына вашего содержать несколько времени секретно для того: когда сие разгласится, то не безопасно, дабы кто-либо, кому то есть противно, не написал к нему какого соблазна, от чего (сохрани Боже!) может, устрашась, переменить свое намерение. Также, государь, благоволи прислать ко мне указ к командирам войск своих, ежели которые обретаются на том пути, которым поедем, буде понадобится конвой, чтоб дали.

Мы уповаем выехать из Неаполя сего октября в 6, или конечно в 7 день. Однакож, царевич изволит прежде съездить в Бар, видеть мощи св. Николая, куда и мы с ним поедем. К тому же дороги в горах безмерно злые, и хотя б, нигде не медля, ехать, но поспешить невозможно. А оная девка ныне брюхата уже четвертый, аль пятый месяц, и сия причина путь наш продолжить может, понеже он для нее скоро не поедет: ибо невозможно описать, как ее любит и какое об ней попечение имеет.

И так, с рабскою покорностью и высоким решпектом всеподданнейше пребываем

Петр Толстой

P. S. А когда, государь, благоволит Бог мне быть в С.—Питербурхе, уже безопасно буду хвалить Италию и штрафу за то пить не буду, понеже не токмо действительный поход, но и одно намерение быть в Италии добрый эффект вашему величеству и всему Российскому государству принесло».

Он писал также резиденту Веселовскому в Вену:

«Содержите все в высшем секрете, из опасения чтобы какой дьявол не написал к царевичу и не устрашил бы его от поездки. Какие в сем деле чинились трудности, одному Богу известно!

О наших чудесах истинно описать не могу».

Петр Андреевич сидел ночью один в своих покоях в гостинице Трех Королей за письменным столом перед свечкою.

Окончив письмо государю и сняв копию с письма царевича, он взял сургуч, чтобы запечатать их вместе в один

конверт. Но отложил его, еще раз перечел подлинное письмо царевича, глубоко, отрадно вздохнул, открыл золотую табакерку, вынул понюшку и, растирая табак между пальцами, с тихой улыбкой задумался. Он едва верил своему счастью. Ведь еще сегодня утром он был в таком отчаяньи, что, получив записку от царевича: «самую нужду имею с тобою говорить, что не без пользы будет»,— не хотел к нему ехать: «только-де разговорами время продолжает».

И вот вдруг «замерзелаго упрямства» как не бывало — он согласен на все. «Чудеса, истинно чудеса! Никто, как Бог, да св. Никола!..» Недаром Петр Андреевич всегда особенно чтил Николу и уповал на «святую протекцию» Чудотворца. Рад был и ныне ехать с царевичем в Бар. «Есть-де за что угоднику свечку поставить!» Ну, конечно, кроме св. Николы, помогла и богиня Венус, которую он тоже чтил усердно: не постыдила-таки, вывезла матушка! Сегодня на прощанье поцеловал он ручку девке Афроське. Да что ручку — он бы и в ножки поклонился ей, как самой богине Венус. Молодец девка! Как оплела царевича! Ведь, не такой он дурак, чтоб не видеть, на что идет. В том-то и дело, что слишком умен. «Сия генеральная регула,— вспомнил Толстой одно из своих изречений,— что мудрых легко обмануть, понеже они, хотя и много чрезвычайного знают, однакож, ординарного в жизни не ведают, в чем наибольшая нужда; ведать разум и нрав человеческий — великая философия, и труднее людей знать, нежели многие книги наизусть помнить».

С какою беспечною легкостью, с каким веселым лицом объявил сегодня царевич, что едет к отцу. Он был точно сонный или пьяный; все время смеялся каким-то жутким, жалким смехом.

«Ах, бедненький, бедненький!— сокрушенно покачал Петр Андреевич головою и, затянувшись понюшкою, смахнул слезинку, которая выступила на глазах, не то от табаку, не то от жалости.— Яко агнец безгласный ведом на заклание. Помоги ему, Господь!»

Петр Андреевич имел сердце доброе и даже чувствительное.

«Да, жаль, а делать нечего,— утешился он тотчас, на то и щука в море, чтоб карась не дремал! Дружба дружбою, а служба службою». Заслужил-таки он, Толстой, царю и отечеству, не ударил лицом в грязь, оказался достойным учеником Николы Макиавеля, увенчал свое поприще: теперь уже сама планета счастия сойдет к нему на

грудь андреевской звездою — будут, будут графами Толстые и ежели в веках грядущих прославятся, достигнут чинов высочайших, то вспомнят и Петра Андреевича! «Ныне отпущаеши раба Твоего, Господи!».

Мысли эти наполнили сердце его почти шаловливою резвостью. Он вдруг почувствовал себя молодым, как будто лет сорок с плеч долой. Кажется, так бы и пустился в пляс, точно на руках и ногах выросли крылышки, как у бога Меркурия.

Он держал сургуч над пламенем свечи. Пламя дрожало, и огромная тень голого черепа — он снял на ночь парик — прыгала на стене, словно плясала и корчила шутовские рожи, и смеялась, как мертвый череп. Закипели, закапали красные, как кровь, густые капли сургуча. И он тихонько напевал свою любимую песенку:

Покинь, Купидо, стрелы:
Уже мы все не целы,
Но сладко уязвлены
Любовною стрелою
Твоею золотою,
Любви все покорены.

В письме, которое Толстой отправлял государю, царевич писал:

«Всемилостивейший Государь-батюшка!

Письмо твое, государь, милостивейшее через господ Толстого и Румянцева получил, из которого — также из устного мне от них милостивое от тебя, государя, мне, всякой милости недостойному, в сем моем своевольном отъезде, буде я возвращуся, прощение принял; о чем со слезами благодаря и припадая к ногам милосердия вашего, слезно прошу о оставлении преступлений моих мне, всяких казней достойному. И надеяся на милостивое обещание ваше, полагаю себя в волю вашу и с присланными от тебя, государя, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в Санкт-Питербурх.

Всенижайший и непотребный раб и недостойный назватися сыном

Алексей»

КНИГА СЕДЬМАЯ

ПЕТР ВЕЛИКИЙ

I

Петр встал рано. «Еще черти в кулачки не били»,— ворчал сонный денщик, затоплявший печи. Ноябрьское черное утро глядело в окна. При свете сального огарка, в ночном колпаке, халате и кожаном переднике, царь сидел за токарным станком и точил из кости паникадило в собор Петра и Павла, за полученное от Марциальных вод облегчение болезни; потом из карельской березы — маленького Вакха с виноградною гроздью — на крышку бокала. Работал с таким усердием, как будто добывал этим хлеб насущный.

В половине пятого пришел кабинет-секретарь, Алексей Васильевич Макаров. Царь стал к налою — ореховой конторке, очень высокой, человеку среднего роста по шею, и начал диктовать указы о коллегиях, учреждаемых в России по совету Лейбница, «по образцу и прикладу других политизованных государств».

«Как в часах одно колесо приводится в движение другим,— говорил философ царю,— так в великой государственной машине одна коллегия должна приводить в движение другую, и если все устроено с точною соразмерностью и гармонией, то стрелка жизни непременно будет показывать стране счастливые часы».

Петр любил механику, и его пленяла мысль превратить государство в машину. Но то, что казалось легким в мыслях, оказывалось трудным на деле.

Русские люди не понимали и не любили коллегий, называли их презрительно калегами и даже калеками. Царь пригласил иностранных ученых и «в правостях искусных людей». Они отправляли дела через толмачей. Это было неудобно. Тогда посланы были в Кенигсберг русские молодые подьячие «для научения немецкому языку, дабы удобнее в коллегиум были, а за ними надзиратели, чтоб не гуляли». Но надзиратели гуляли вместе

с надзираемыми. Царь дал указ: «Всем коллегиям надлежит ныне на основании шведского устава сочинить во всех делах и порядках регламент по пунктам; а которые пункты в шведском регламенте не удобны, или с ситуациею здешнего государства несходны,— оные ставить по своему рассуждению». Но своего рассуждения не было, и царь предчувствовал, что в новых коллегиях дела пойдут так же, как в старых приказах. «Все тщетно,— думал он,— пока у нас не познают прямую пользу короны, чего и во сто лет неуповательно быть».

Денщик доложил о переводчике чужестранной коллегии, Василии Козловском. Вошел молодой человек, бледный, чахоточный. Петр отыскал в бумагах и отдал ему перечеркнутую, со многими отметками карандашом на полях, рукопись — трактат о механике.

— Переведено плохо, исправь.

— Ваше величество!— залепетал Козловский, робея и заикаясь.— Сам творец той книги такой стилус положил, что зело трудно разуметь, понеже писал сокращенно и прикрыто, не столько зря на пользу людскую, сколько на субтильность своего философского письма. А мне за краткостью ума моего невозможно понять.

Царь терпеливо учил его.

— Не надлежит речь от речи хранить, но самый смысл выразумев, на свой язык уже так писать, как внятнее, только храня то, чтоб дела не проронить, а за штилем их не гнаться. Чтоб не праздной ради красоты, но для пользы было, без излишних рассказов, которые время тратят и у читающих охоту отнимают. Да не высоким славянским штилем, а простым русским языком пиши, высоких слов класть ненадобно, посольского приказу употреби слова. Как говоришь, так и пиши, просто. Понял?

— Точно так, ваше величество!— ответил переводчик, как солдат по команде, и понурил голову с унылым видом, как будто вспомнил своего предшественника, тоже переводчика иностранной коллегии, Бориса Волкова, который, отчаявшись над французскою *Огородною книгою*, Le jardinage de Quintiny и убоясь царского гнева, перерезал себе жилы.

— Ну, ступай с Богом. Явись же со всем усердием. Да скажи Аврамову: печать в новых книгах перед прежней толста и нечиста. Литеры *буки* и *покой* переправить — почерком толсты. И переплет дурен, а паче оттого, что в корне гораздо узко вяжет — книги таращатся. Надлежит слабко и просторно в корне вязать.

Когда Козловский ушел, Петр вспомнил мечты Лейбница о всеобщей русской Энциклопедии, «квинтэссенции наук, какой еще никогда не бывало», о Петербургской Академии, верховной коллегии ученых правителей с царем во главе, о будущей России, которая, опередив Европу в науках, поведет ее за собою.

«Далеко кулику до Петрова дня!»— усмехнулся царь горькою усмешкою. Прежде чем просвещать Европу, надо самим научиться говорить по-русски, писать, печатать, переплетать, делать бумагу.

Он продиктовал указ:

— В городах и уездах по улицам пометный негодный всякий холст и лоскутья сбирая, присылать в Санктпетербургскую канцелярию, а тем людям, кто что оного собрав объявит, платить по осьми денег за пуд.

Эти лоскутья должны были идти на бумажные фабрики.

Потом указы — о сальном топлении, об изрядном плетении лаптей, о выделке юфти для обуви: «понеже юфть, которая употребляется на обуви, весьма негодна к ношению, ибо делается с дегтем, и когда мокроты хватит, расползывается и вода проходит, того ради оную надлежит делать с ворваньим салом».

Заглянул в аспидную доску, которую вешал с грифелем на ночь у изголовья постели, чтобы записывать, просыпаясь, приходившие ему в голову мысли о будущих указах. В ту ночь было записано:

«Где класть навоз?— Не забывать о Персии.— О рогожах.»

Велел Макарову прочитать вслух письмо посланника Волынского о Персии.

«Здесь такая ныне глава, что, чаю, редко такого дурачка можно сыскать и между простых, не только из коронованных. Бог ведет к падению сию корону. Хотя настоящая война наша шведская нам и возбраняла б, однако, как я здешнюю слабость вижу, нам не только целою армиею, но и малым корпусом великую часть Персии присовокупить без труда можно, к чему удобнее нынешнего времени будет».

Отвечая Волынскому, приказал отпустить купчину по Амударье реке, дабы до Индии путь водяной сыскать, и все описывая, делать карту; заготовить также грамоту к Моголу — Далай-Ламе Тибетскому.

Путь в Индию, соединение Европы с Азией было давнею мечтой Петра.

Еще двадцать лет тому назад в Пекине основана была православная церковь во имя Св. Софии Премудрости Божьей. «Le czar peut unir la Chine avec l'Europe. Царь может соединить Китай с Европою»,— предсказывал Лейбниц. «Завоеваниями царя в Персии основано будет государство сильнее Римского»,— предостерегали своих государей иностранные дипломаты. «Царь, как другой Александр, старается всем светом завладеть»,— говорил султан. Петр достал и развернул карту земного шара, которую сам начертил однажды, размышляя о будущих судьбах России; надпись *Европа* —к западу, надпись *Азия* — к югу, а на пространстве от Чукотского мыса до Немана и от Архангельского до Арарата — надпись *Россия* — такими же крупными буквами, как *Европа*, *Азия*. «Все ошибаются,— говорил он,— называя Россию государством, она *часть света*».

Но тотчас, привычным усилием воли, от мечты вернулся к делу, от великого к малому.

Начал диктовать указы о «месте, приличном для навозных складов»; о замене рогожных мешков для сухарей на галеры — волосяными; для круп и соли — бочками, или мешками холщовыми; «а рогож отнюдь бы не было», о сбережении свинцовых пулек при учении солдат стрельбе; о сохранении лесов; о неделании выдолбленных гробов — «делать только из досок сшивные»; о выписке в Россию образца английского гроба.

Перелистывал записную книжку, проверяя, не забыл ли чего-нибудь нужного. На первой странице была надпись: *In Gottes Namen — Во имя Господне*. Следовали разнообразные заметки; иногда в двух, трех словах обозначался долгий ход мысли:

«О некотором вымышлении, через которое многие разные таинства натуры можно открывать.

Пробовательная хитрость. Как тушить нефть купоросом. Как варить пеньку в селитренной воде. Купить секрет, чтоб кишки заливные делать.

Чтоб мужикам учинить какой маленький регул о законе Божием и читать по церквам для вразумления.

О подкидных младенцах, чтоб воспитывать.

О заведении китовой ловли.

Падение греческой монархии от презрения войны.

Чтобы присылали французские ведомости.

О приискании в Немецкой земле комедиантов за большую плату.

О русских пословицах. О лексиконе русском.

О химических секретах, как руду пробовать.

Буде мнят законы естества смышленые, то для чего животные одно другое едят, и мы на что им такое бедство чиним?

О нынешних и старых делах, против афеистов.

Сочинить самому молитву для солдат: «*Боже великий, вечный и святый*, и проч.»

Дневник Петра напоминал дневники Леонардо да Винчи.

В шесть часов утра стал одеваться. Натягивая чулки, заметил дыру. Присел, достал иголку с клубком шерсти и принялся чинить. Размышляя о пути в Индию, по следам Александра Македонского, штопал чулки.

Потом выкушал анисовой водки с кренделем, закурил трубку, вышел из дворца, сел в одноколку с фонарем, потому что было еще темно, и поехал в Адмиралтейство.

II

Игла Адмиралтейства в тумане тускло рдела от пламени пятнадцати горнов. Недостроенный корабль чернел голыми ребрами, как остов чудовища. Якорные канаты тянулись, как исполинские змеи. Визжали блоки, гудели молоты, грохотало железо, кипела смола. В багровом отблеске люди сновали, как тени. Адмиралтейство похоже было на кузницу ада.

Петр обходил и осматривал все.

Проверял в оружейной палате, точно ли записан калибр чугуных ядер и гранат, сложенных пирамидами под кровлями, «дабы ржа не брала»; налиты ли внутри салом флинты и мушкеты; исполнен ли указ о пушках: «надлежит зеркалом высмотреть, гладко ль проверчено, и нет ли каких раковин, или зацепок от ушей к дулу; ежели явятся раковины, надлежит освидетельствовать трещоткою, сколь глубоки».

По запаху различал достоинство моржового сала, на ощупь — легкость парусных полотен — от тонкости ли ниток или от редко́сти тканья эта легкость. Говорил с мастерами, как мастер.

— Доски притесывать плотно. Выбирать хотя б двухгодовалые, а что более, то лучше, понеже когда не высохнут и выконопачены будут, то не токмо рассохнутся, но еще от воды разбухнут и конопать сдавят...

— Вегерсы сшивать нагелями сквозь борт. По концам класть букбанды, крепить в баркгоуты и внутри расклепывать...

— Дуб надлежит в дело самый добрый зеленец, видом бы просинь, а не красен был. Из такого дуба корабль уподобится железному, ибо и пуля фузейная не весьма его возьмет, полувершка не проест...

В пеньковых амбарах брал из бунтов горсти пеньки между колен, тщательно рассматривал, встряхивал и разнимал по-мастерски.

— Канаты корабельные становые дело великое и страшное: делать надлежит из самой доброй и здоровой пеньки. Ежели канат надежен, кораблю спасение, а ежели худ, кораблю и людям погибель.

Всюду слышались гневные окрики царя на поставщиков и подрядчиков:

— Вижу я, в мой отъезд все дело раковым ходом пошло!

— Принужден буду вас великим трудом и непощадным штрафом живота паки в порядок привесть!

— Погодите, задам я вам памятку, до новых веников не забудете!

Длинных разговоров не терпел. Важному иностранцу, который говорил долго о пустяках, плюнул в лицо, выругал его матерным словом и отошел.

Плутоватому подьячему заметил:

— Чего не допишешь на бумаге, то я тебе допишу на спине!

На ходатайство об увеличении годовых окладов господам адмиралтейцам-советникам положил резолюцию:

— Сего не надлежит, понеже более клонится к лакомству и карману, нежели к службе.

Узнав, что на нескольких судах галерного флота «солонина явилась гнилая, пять недель одних снятков ржавых и воду солдаты употребляли, отчего 1.000 человек заболело и службы лишились»,— разгневался не на шутку. Старого, почтенного капитана, отличившегося в битве при Гангуте, едва не ударил по лицу:

— Ежели впредь так станешь глупо делать, то не пеняй, что на старости лет обесчещен будешь! Для чего с таким небрежением делается главное дело, которое тысячи раз головы твоей дороже? Знать, что устав воинский редко чтешь! Повешены будут офицеры оных галер, и ты за слабую команду едва не тому ж последовать будешь!

Но опустил поднятую руку и сдержал гнев.

— Никогда б я от тебя того не чаял,— прибавил уже тихо, с таким упреком, что виновному было бы легче, если бы царь его ударил.

— Смотри же,— сказал Петр,— дабы отныне такого немилосердия не было, ибо сие пред Богом паче всех грехов. Слышал я намедни, что и здесь, в Питербурхе, при гаванной работе, летошний год так без призрения люди были, особливо больные, что по улицам мертвые валялись, что противно совести и виду не только христиан но и варваров. Как у вас жалости нет? Ведь не скоты, а души христианские. Бог за них спросит!

III

В своей одноколке Петр ехал по набережной в Летний дворец, где в тот год зажился до поздней осени, потому что в Зимнем шли перестройки.

Думал о том, почему прежде возвращаться домой к обеду и свиданию с Катенькой было радостно, а теперь почти в тягость. Вспомнил подметные письма с намеками на жену и молоденького смазливого немчика, камер-юнкера Монса.

Катенька всегда была царю верною женою, доброю помощницей. Делила с ним все труды и опасности. Следовала с ним в походах, как простая солдатка. В Прутском походе, «поступая по-мужски, а не по-женски», спасла всю армию. Он звал ее своею «маткою». Оставаясь без нее, чувствовал себя беспомощным, жаловался, как ребенок: «Матка! обшить, обмыть некому».

Они ревновали друг друга, шутя. «Письмо твое прочитав, гораздо я задумался. Пишешь, чтоб я не скоро к тебе приезжал, якобы для лекарства, а делом знатно, сыскала кого-нибудь моложе меня: пожалуй, отпиши, из наших или из немцев? Так-то вы, Евины дочки, делаете над нами, стариками!» — «Стариком не признаваю,— возражала она,— и напрасно затеяно, что старик, а надеюсь, что и вновь к такому дорогому старику с охотою сыщутся. Таково-то мне от вас! Да и я имею ведомость, будто королева шведская желает с вами в амуре быть: и мне в том не без сумнения».

Во время разлуки обменивались, как жених и невеста, подарками. Катенька посылала ему за тысячи верст венгерского, водки-«крепыша», свежепросольных огурцов, «цытронов», «аплицынов»,— «ибо наши вам приятнее будут. Даруй Боже во здравие кушать».

Но самые дорогие подарки были дети. Кроме двух старших, Лизаньки и Аннушки, рождались они хилыми и скоро умирали. Больше всех любил он самого последнего, Петиньку, «Шишечку», «Хозяина Питербурхского», объяв-

ленного, вместо Алексея, наследником престола. Петинька родился тоже слабым, вечно болел и жил одними лекарствами. Царь дрожал над ним, боялся, что умрет. Катенька утешала царя, «я чаю, что ежели б наш дорогой старик был здесь, то и другая шишечка на будущий год поспела».

В этой супружеской нежности была некоторая слащавость — неожиданная для грозного царя, галантная чувствительность. «Я здесь остригся, и хотя неприятно будет, однако ж, обрезанные свои волосища посылаю тебе».— «Дорогие волосочки ваши я исправно получила и о здоровьи вашем довольно уведомилась». — «Посылаю тебе, друг мой сердешненькой, цветок да мяты той, что ты сама садила. Слава Богу, все весело здесь, только когда на загородный двор придешь, а тебя нет, очень скушно»,— писал он из Ревеля, из ее любимого сада Катеринenталя. В письме были засохший голубенький цветок, мята и выписка из английских курантов: «В прошлом году, октября 11 дня, прибыли в Англию из провинции Моумут два человека, которые по женитьбе своей жили 110 лет. а от рождения мужского полу — 126 лет, женского 125 лет». Это значило: Дай Боже и нам с тобою прожить так же долго в счастливом супружестве.

И вот теперь, на склоне лет, в это унылое осеннее утро, вспоминая прожитую вместе жизнь и думая о том, что Катенька может ему изменить, променять своего «старика» на первого смазливого мальчишку, немца подлой породы, он испытывал не ревность, не злобу, не возмущение, а беззащитность ребенка, покинутого «маткою».

Отдал вожжи денщику, согнулся, сгорбился, опустил голову, и от толчков одноколки по неровным камням голова его качалась, как будто от старческой слабости. И весь он казался очень старым, слабым.

Куранты за Невою пробили одиннадцать. Но свет утра похож был на взгляд умирающего. Казалось, дня совсем не будет. Шел снег с дождем. Лошадиные копыта шлепали по лужам. Колеса брызгали грязью. Сырые тучи, медленно ползущие, пухлые, как паучьи брюха, такие низкие, что застилали шпиц Петропавловской крепости, серые воды, серые дома, деревья, люди — все, расплываясь в тумане, подобно было призракам.

Когда въехали на деревянный подъемный мостик Лебяжьей канавы, из Летнего сада запахло земляною, точно могильною, сыростью и гнилыми листьями — садовники в аллеях сметали их метлами в кучи. На голых липах каркали вороны. Слышался стук молотков; то мраморные

статуи на зиму, чтоб сохранить от снега и стужи, заколачивали в узкие длинные ящики. Казалось, воскресших богов опять хоронили, заколачивали в гробы.

Меж лилово-черных мокрых стволов мелькнули светло-желтые стены голландского домика с железною крышею шашечками, жестяным флюгером в виде Георгия Победоносца, белыми лепными барельефами, изображавшими басни о чудах морских, тритонах и нереидах, с частыми окнами и стеклянными дверями прямо в сад. Это был Летний дворец.

IV

Во дворце пахло кислыми щами. Щи готовились к обеду. Петр любил их так же, как другие простые солдатские кушанья.

В столовую через окно прямо из кухни, очень опрятной, выложенной изразцами, с блестящей медной посудой по стенам, как в старинных голландских домах, подавались блюда быстро, одно за другим — царь не охотник был долго сидеть за столом — кроме щей и каши, фленсбургские устрицы, студень, салакуша, жареная говядина с огурцами и солеными лимонами, утиные ножки в кислом соусе. Он вообще любил кислое и соленое; сладкого не терпел. После обеда — орехи, яблоки, лимбургский сыр. Для питья квас и красное французское вино — эрмитаж. Прислуживал один только денщик.

К обеду, как всегда, приглашены были гости: Яков Брюс, лейб-медик Блюментрост, какой-то английский шкипер, камер-юнкер Монс и фрейлина Гамильтон. Монса пригласил Петр неожиданно для Катеньки. Но, когда она узнала об этом, то пригласила в свою очередь фрейлину Гамильтон, может быть, для того, чтобы дать понять мужу, что и ей кое-что известно об его «метресишках». Это была та самая Гамильтон «девка Гаментова», шотландка, по виду, гордая, чистая и холодная, как мраморная Диана, о которой шептались, когда нашли в водопроводе фонтана в Летнем саду труп младенца, завернутый в дворцовую салфетку.

За столом сидела она, бледная, ни кровинки в лице, и все время молчала.

Разговор не клеился, несмотря на усилия Катеньки. Она рассказала свой сегодняшний сон: сердитый зверь, с белою шерстью, с короной на голове и тремя зажженными свечами в короне, часто кричал: *салдореф! салдореф!*

Петр любил сны и сам нередко ночью записывал их

грифелем на аспидной доске. Он тоже рассказал свой сон: все — вода, морские экзерциции, корабли, галиоты; заметил во сне, что «паруса да мачты не по препорции».

— Ах, батюшка!— умилилась Катенька.— И во сне-то тебе нет покою: о делах корабельных печешься!

И когда он опять угрюмо замолчал, завела речь о новых кораблях.

— «Нептун» зело изрядный корабль и так ходок, что, почитай, лучший во флоте. «Гангут» также хорошо ходит и послушен рулю, только для своей высоты не гораздо штейф — от легкого ветру более других нагибается; что-то будет на нарочитой погоде? А большой шлюпс-бот, что делал бас Фон-Рен, я до вашего прибытия не спущала и на берегу, чтобы не рассохся, велела покрыть досками.

Она говорила о кораблях, как о родных детях:

— «Гангут», да «Лесной» — два родные братца, им друг без друга тошно; ныне же, как вместе стоят, воистину радостно на них смотреть. А покупные против наших подлинно достойны звания — приемыши, ибо столь отстоят от наших, как отцу приемыш от родного сына!..

Петр отвечал неохотно, как будто думал о другом. Поглядывал украдкою то на нее, то на Монса. С твердым и гладким, точно из розового камня выточенным, лицом, с голубыми, точно бирюзовыми, глазами, изящный камер-юнкер напоминал фарфоровую куклу.

Катенька чувствовала, что «старик» наблюдает за ними. Но владела собой в совершенстве. Если и знала о доносе, то не обнаружила ничем своей тревоги. Только разве в глазах, когда глядела на мужа, была более вкрадчивая ласковость, чем всегда; да говорила, может быть, через-чур много,— быстро переходя от одного к другому, как будто искала, чем бы занять мужа,— «заговаривает зубы», мог бы он подумать.

Не успела кончить о кораблях, как начала о детях, Лизаньке и Аннушке, которые летом «едва оспою личик своих не повредили», о Шишечке, который «в здоровьи своем к последним зубкам слабенек стал».

— Однако же, ныне, при помощи Божьей, в свое состояние приходит. Уж пятый зубок благополучно вырезался — дай Боже, чтоб и все так! Только вот глазок правый болит.

Петр опять на минуту оживился, начал расспрашивать лейб-медика о здоровьи Шишечки.

— Глазку его высочества есть легче,— сообщил Блюментрост.— Также и зубок на другой стороне внизу ока-

зался. Изволит ныне далее пальчиками щупать — знатно, что и коренные хотят выходить.

— Храбрый будет генерал! — вмешалась Катенька.— Все бы ему играть в солдатики, непрестанно веселиться муштрованьем рекрут да пушечною стрельбою. Речи же его: папа, мама, солдат! Да прошу, батюшка мой, обороны, понеже немалую имеет со мною ссору за вас, когда уезжаете. Как помяну, что папа уехал, то не любит той речи, но более любит и радуется, как молвишь, что здесь папа,— протянула она певучим голоском и заглянула в глаза мужу с приторною улыбкой.

Петр ничего не ответил, но вдруг посмотрел на нее и на Монса так, что всем стало жутко. Катенька потупилась и чуть-чуть побледнела. Гамильтон подняла глаза и усмехнулась тихою усмешкою. Наступило молчание. Всем стало страшно.

Но Петр, как ни в чем не бывало, обратился к Якову Брюсу и заговорил об астрономии, о системе Ньютона, о пятнах на солнце, которые видны в зрительную трубу, ежели покоптить ближайшее к глазу стекло, и о предстоящем солнечном затмении. Так увлекся разговором, что не обращал ни на что внимания до конца обеда. Тут же, за столом, вынув из кармана памятную книжку, записал:

«Объявлять в народе о затмениях солнечных, дабы в чудо не ставили, понеже, когда люди про то ведают прежде, то не есть уже чудо. Чтоб никто ложных чудес вымышлять и к народному соблазну оглашать не дерзал».

Все облегченно вздохнули, когда встал Петр из-за стола и вышел в соседнюю комнату.

Он сел в кресло у топившегося камина, надел круглые железные очки, закурил трубку и начал просматривать новые голландские куранты, отмечая карандашом на полях, что надо переводить на русские ведомости. Опять вынул книжку и записал:

«О счастьи и несчастьи все печатать, что делается и не утаивать ничего».

Бледный луч солнца блеснул из-за туч, робкий, слабый, как улыбка смертельно больного. Светлый четырехугольник от оконной рамы протянулся на полу до камина, и красное пламя сделалось жиже, прозрачнее. За окном на расплавленно-серебряном небе вырезались тонкие сучья, как жилки. Апельсинное деревцо в кадке, которое садовники переносили из одной оранжереи в другую, нежное, зябкое, обрадовалось солнцу, и плоды зардели в темной подстриженной зелени, как золотые шарики. Меж черных

стволов забелели мраморные боги и богини, последние, еще не заколоченные в гробы — тоже зябкие, голые — как будто торопясь погреться на солнце.

В комнату вбежали две девочки. Старшая, девятилетняя Аннушка — с черными глазами, с очень белым лицом и ярким румянцем, тихая, важная, полная, немного тяжелая на подъем — «дочка-бочка», как звал ее Петр. Младшая, семилетняя Лизанька — золотокудрая, голубоглазая, легкая, как птичка, резвая шалунья, ленивая к ученью, любившая только игры, танцы, да песенки, очень хорошенькая и уже кокетка.

— А, разбойницы!— воскликнул Петр и, отложив куранты, протянул к ним руки с нежною улыбкою. Обнял их, поцеловал и усадил одну на одно, другую на другое колено.

Лизанька стащила с него очки. Они ей не нравились, потому что старили его — он казался в них дедушкой. Потом зашептала ему на ухо, поверяя свою давнюю мечту:

— Сказывал голландский шкипер Исай Кониг, есть в Амстердаме мартышечка зеленого цвета, махонькая-махонькая, что входит в индийский орех. Вот бы мне эту мартышечку, папа, папочка миленький!

Петр усумнился, чтобы мартышки могли быть зеленого цвета, но обещал торжественно — трижды должен был повторить: ей Богу!— со следующей почтой написать в Амстердам. И Лизанька в восторге занялась игрой: старалась просунуть ручку, как в ожерелья, в голубые кольца табачного дыма, которые вылетали из трубки Петра.

Аннушка рассказывала чудеса об уме и кротости любимца своего Мишки, ручного тюленя в среднем фонтане Летнего сада.

— Отчего бы, папочка, не сделать Мишке седло и не ездить на нем по воде, как на лошади?

— А ну, как нырнет, ведь утонешь?— возражал Петр.

Он болтал и смеялся с детьми, как дитя.

Вдруг увидел в простеночном зеркале Монса и Катеньку. Они стояли рядом в соседней комнате перед баловнем царицы, зеленым гвинейским попугаем и кормили его сахаром.

«Ваше Величество... дурак!» пронзительно хрипел попугай. Его научили кричать «здравия желаю, ваше величество!» и «попка дурак!» но он соединил то и другое вместе.

Монс наклонился к царице и говорил ей почти на ухо. Катенька опустила глаза, чуть-чуть зарумянилась и слушала с жеманною сладенькой улыбочкой пастушки из «Езды на остров любви».

Лицо Петра внезапно омрачилось. Но он все-таки поцеловал детей и отпустил их ласково:

— Ну, ступайте, ступайте с Богом, разбойницы! Мишке от меня поклонись, Аннушка.

Луч солнца померк. В комнате стало мрачно, сыро и холодно. Над самым окном закаркала ворона. Застучал молоток. То заколачивали в гробы, хоронили воскресших богов.

Петр сел играть в шахматы с Брюсом. Играл всегда хорошо, но сегодня был рассеян. С четвертого хода потерял ферзя.

— Шах королеве!— сказал Брюс.

«Ваше Величество дурак!»— кричал попугай.

Петр, нечаянно подняв глаза, опять увидел в том же зеркале Монса с Катенькой. Они так увлеклись беседою, что не заметили, как маленькая, похожая на бесенка, мартышка подкралась к ним сзади и, протянув лапку, скорчив плутовскую рожицу, приподняла подол платья у Катеньки.

Петр вскочил и опрокинул ногою шахматною доску, все фигуры полетели на пол. Лицо его передернула судорога. Трубка выпала изо рта, разбилась, и горящий пепел рассыпался. Брюс тоже вскочил в ужасе. Царица и Монс обернулись на шум.

В то же время в комнату вошла Гамильтон. Она двигалась, как сонная, словно ничего не видя и не слыша. Но, проходя мимо царя, чуть-чуть склонила голову и посмотрела на него пристально. От прекрасного, бледного, точно мертвого, лица ее веяло таким холодом, что, казалось, то была одна из мраморных богинь, которых заколачивали в гробы.

Царь проводил ее глазами до двери. Потом оглянулся на Брюса, на опрокинутую шахматную доску, с виноватою улыбкой:

— Прости, Яков Вилимович... нечаянно!

Вышел из дворца, сел в шлюпку и поехал отдыхать на яхту.

V

Сон Петра был болезненно чуток. Ночью запрещено было ездить и даже ходить мимо дворца. Днем, так как нельзя в жилом доме избегнуть шума, он спал на яхте.

Когда лег, почувствовал сильную усталость: должно быть, слишком рано встал и замучился в Адмиралтей-

стве. Сладко зевнул, потягиваясь, закрыл глаза и уже начал засыпать, но вдруг весь вздрогнул, как от внезапной боли. Эта боль была мысль о сыне, царевиче Алексее. Она всегда в нем тупо ныла. Но порою, в тишине, в уединении, начинала болеть с новою силою, как разбереженная рана.

Старался заснуть, но сна уже не было. Мысли сами собой лезли в голову.

На днях получил он письмо, которым Толстой извещал, что Алексей ни за что не вернется. Неужели придется самому ехать в Италию, начинать войну с цесарем и Англией, может быть, со всей Европою, теперь, когда надо бы думать только об окончании войны с шведами и о мире? За что наказал его Бог таким сыном?

— Сердце Авессаломле [1], сердце Авессаломле, все дела отеческие возненавидевшее и самому отцу смерти желающее!..— глухо простонал он, сжимая голову руками.

Вспомнил, как сын перед цесарем, перед всем светом называл его злодеем, тираном, безбожником; как друзья Алексея, «длинные бороды», старцы да монахи, ругали его, Петра, «антихристом».

«Глупцы!»— подумал со спокойным презрением. Да разве мог бы он сделать то, что сделал, без помощи Божьей? И как ему не верить в Бога, когда Бог — вот Он — всегда с ним, от младенческих лет до сего часа.

И пытая совесть свою, как бы сам себя исповедуя, припоминал всю свою жизнь.

Не Бог ли вложил ему в сердце желанье учиться? Шестнадцати лет едва умел писать, знал с грехом пополам сложение и вычитание. Но тогда уже смутно чуял то, что потом ясно понял: «Спасение России — в науке; все прочие народы политику имеют, чтоб Россию в неведении содержать и до света разума, во всех делах, а наипаче в воинском, не допускать, чтобы не познала силы своей». Решил ехать сам в чужие края за наукою. Когда узнали о том на Москве,— патриарх и бояре, и царицы и царевны пришли к нему, положили к ногам его сына Алешеньку и плакали, били челом, чтоб не ездил к немцам — от начала Руси того не бывало. И народ плача провожал его, как на смерть. Но он все-таки уехал — и неслыханное дело свершилось: царь, вместо скипетра взял в руки топор, сделался простым работником. «Аз есмь в чину учимых и учащих мя требую. Того никакою ценою не купишь,

[1] Авессалом, сын царя Давида, поднял мятеж против отца.

что сделал сам». И Бог благословил труды его: из потешных, которых Софья с презрением называла «озорниками-конюхами», вышло грозное войско; из маленьких игрушечных стружков, в которых плавал он по водовзводным прудам Красного сада,— победоносный флот.

Первый бой со шведом, поражение при Нарве. «Все то дело яко младенческое играние было, а искусства ниже вида. И ныне, как о том подумаю, за милость Божию почитаю, ибо, когда сие несчастие получили, тогда неволя леность отогнала и к трудолюбию и к искусству день и ночь принудила». Поражение казалось отчаянным. «Русскую каналью,— хвастал Карл,— мы могли бы не шпагой, а плетью из всего света,— не то что из собственной земли их выгнать!» Если бы Господь не помог Петру тогда, он бы погиб.

Не было меди для пушек; велел переливать колокола на пушки. Старцы грозили — Бог-де накажет. А он знал, что Бог с ним. Не было коней; люди, впрягаясь, тащили на себе орудия новой артиллерии, «слезами омоченной».

Все дела «идут, как молодая брага». Извне — война, внутри — мятеж. Астраханский, булавинский бунт. Карл перешел Вислу, Неман, вступил в Гродно, два часа спустя после того, как Петр оттуда выехал. Он ждал со дня на день, что шведы двинутся на Петербург, или Москву, укреплял оба города, готовил к осаде. И в это же время был болен, так что «весьма отчаялся жизни». Но опять — чудо Божие. Карл, наперекор всем ожиданиям и вероятиям, остановился, повернул и пошел на юго-восток, в Малороссию. Бунт сам собою потух. «Господь чудным образом огнь огнем затушить изволил, дабы могли мы видеть, что вся не в человеческой, но в Его суть воле».

Первые победы над шведами. В битве при Лесном, поставив позади фронта казаков и калмыков с пиками, дал повеление колоть беглецов нещадно, не исключая и его самого, царя. Весь день стояли в огне, шеренг не помешали, пядени места не уступили; четыре раза от стрельбы ружья разгорались, четыре раза сумы и карманы патронами наполняли. «Я, как стал служить, такой игрушки не видал; однако, сей танец в очах горячего Карлуса изрядно станцевали!» Отныне «шведская шея мягче гнуться стала».

Полтава. Никогда во всю свою жизнь не чувствовал он так помогающей руки Господней, как в этот день. Опять — чуду подобное счастие. Карл накануне ночью ранен шальною казацкою пулей. В самом начале боя ударило ядро в носилки короля; шведы подумали, что он

убит — ряды их смешались. Петр глядел на бегущих шведов, и ему казалось, что его несут невидимые крылья; знал, что день Полтавы — «день русского воскресения», и лучезарное солнце этого дня — солнце всей новой России.

«Ныне уже совершенно камень во основание Санкт-Питербурха положен. Отселе в Питербурхе спать будет покойно». Этот город, созданный, наперекор стихиям, среди болот и лесов — «яко дитя в красоте растущее, святая земля, Парадиз, рай Божий» — не есть ли тоже великое чудо Божие, знаменье милости Божией к нему — уже непрестанное, явное, пред лицом грядущих веков?

И вот теперь, когда почти все сделано,— рушится все. Бог отступил, покинул его. Дав победы над врагами внешними, поразил внутри сердца, в собственной крови и плоти его — в сыне.

Самые страшные союзники сына — не полки чужеземные, а кишащие внутри государства полчища плутов, тунеядцев, взяточников и всяких иных непотребных людишек. По тому, как шли дела в последний отъезд его из России, Петр видел, как они пойдут, когда его не станет: за эти несколько месяцев все заскрипело, зашаталось, как в старой гнилой барке, севшей на мель, под штормом.

«Явилось воровство превеликое». О взяточниках следовали указы за указами, один жестче другого. Почти каждый начинался словами: «ежели кто презрит сей наш последний указ», но за этим последним следовали другие с теми же угрозами и прибавлением, что последний.

Иногда опускались у него руки в отчаяньи. Он чувствовал страшное бессилие. Один против всех. Как большой зверь, заеденный насмерть комарами да мошками.

Видя, что ничего не возьмешь силою, прибегал к хитростям. Поощрял доносы. Учредил особую должность фискалов. Тогда началась по всей стране кляуза и ябеда. «Фискалы ничего не смотрят, живут, как сущие тунеядцы, и покрывают друг друга, потому что у них общая компания». Плуты доносят на плутов, доносчики — на доносчиков, фискалы — на фискалов, и сам архифискал, кажется — архиплут.

Гнусная пропасть, бездонная помойная яма, Авгиевы конюшни, которых никакой Геркулес не вычистит. Все течет грязью, расползается, как в оттепель. Выходит наружу «древняя гнилость». Такой смрад по всей России — как после сражения под Полтавою, откуда армия должна была уйти, потому что люди задыхались от смрада бесчисленных трупов.

Тьма в сердцах, потому что тьма в умах. Добра не хотят, потому что добра не знают. Шляхта и простой народ, как Ерема да Фома в присловьи: Ерема не учит, Фома не умеет. Ничего никакими указами и тут не поделаешь.

— Разумы наши тупы, и руки неуметельны; люди нашего народа суть косного разума,— говорили ему старики.

Однажды слышал он от голландского шкипера старинное предание: корабельщики видели среди океана неведомый остров, причалили, высадились и развели костер, чтобы сварить пищу; вдруг земля заколебалась, опустилась в воду, и они едва не утонули: то, что казалось им островом, было спиною спящего кита. Все новое просвещение России не есть ли огонь, разведенный на спине Левиафана, на косной громаде спящего народа?

Проклятая, Сизифова работа, подобная работе каторжных на Рогервике, где строят мол; не успеет подняться буря, как в один час разрушит все, что годами воздвигнуто; опять строят, опять рушится — и так без конца.

— Видим мы все,— говорил ему однажды умный мужик,— как ты, великий государь, трудишь себя; да ничего не успеешь, потому что пособников мало: ты на гору аще и сам-десять тянешь, а под гору миллионы,— то какое дело споро будет?

— Бремя, бремя несносное!..— лежа на койке без сна, стонал Петр в такой тоске, как будто вправду навалилась на него одного вся тяжесть России.

— Для чего ты мучишь раба Твоего?— повторял слова Моисея к Богу.— И почему я не нашел милости пред очами Твоими, и Ты возложил и на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей и разве я родил его, что Ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, к земле, которую Ты обещал? Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда Ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я и не нашел милости пред очами Твоими, чтоб мне не видеть бедствия моего.

Вдруг опять вспомнил сына и почувствовал, что вся эта страшная тяжесть, мертвая косность России — в нем, в нем одном — в сыне!

Наконец, неимоверным усилием воли овладел собою, позвал денщика, оделся, сел в шлюпку и вернулся во дворец, где ожидали его вызванные по делу о плутовстве и взятках сенаторы.

VI

Князь Меншиков, князья Яков и Василий Долгорукие, Шереметев, Шафиров, Ягужинский, Головкин, Апраксин и прочие теснились в маленькой приемной рядом с токарною.

Все были в страхе. Помнили, как года два назад двух взяточников, князя Волконского и Опухтина, публично секли кнутом, жгли им языки раскаленным железом. Передавались шепотом странные слухи: будто бы офицеры гвардии и другие военные чины назначены судьями сенаторов.

Но за страхом была надежда, что минует гроза, и все пойдет по-старому. Успокаивали изречения древней мудрости: «кто пред Богом не грешен, кто пред царем не виноват? Неужто всех станут вешать? У всякого Ермишки свои делишки. Всяка жива душа калачика хочет. Грешный честен, грешный плут, яко все грехом живут».

Вошел Петр. Лицо его было сурово и неподвижно; только глаза блестели, да в левом углу рта была легкая судорога.

Ни с кем не здороваясь, не приглашая сесть, обратился он к сенаторам с речью, видимо заранее обдуманной:

— Господа Сенат! Понеже я писал и говорил вам сколько крат о нерадении вашем и лакомстве, и презрении законов гражданских; но ничего слова не пользуют, и все указы в ничто обращаются; того ради, ныне паки и в последний подтверждаю: всуе законы писать, когда их не хранить, или ими играть, как в карты, прибирая масть к масти, чего нигде в свете так нет, как у нас. Что же из сего последует? Видя воровство ненаказанное, редкий кто не прельстится — и так мало-помалу все в бесстрашие придут, людей разорят, Божий гнев подвигнут, и сие паче партикулярной измены может быть всему государству не токмо бедство, но и конечное падение. Того ради, надлежит взяточников так наказывать, яко бы кто в самый бой должность свою преступил, или как самого государственного изменника...

Он говорил, не глядя им в глаза. Опять чувствовал свое бессилие. Все слова, как об стену горох. В этих покорных, испуганных лицах, смиренно опущенных глазах — все та же мысль: «Грешный честен, грешный плут, яко все грехом живут».

— Отныне чтоб никто не надеялся ни на какие свои заслуги!— заключил Петр, и голос его задрожал гневом.— Сим объявляю: вор, в каком бы звании ни был, хотя б и сенатор, судим быть имеет военным судом...

— Нельзя тому статься!— заговорил князь Яков

Долгорукий, грузный старик, с длинными белыми усами на одутловатом, сизо-багровом лице, с детски-ясными глазами, которые смотрели прямо в глаза царю.— Нельзя тому статься, государь, чтоб солдаты судили сенаторов. Не токмо чести нашей, но и всему государству Российскому сим афронт учинишь неслыханный!

— Прав князь Яков!— вступился Борис Шереметев, рыцарь Мальтийского ордена.— Ныне вся Европа российских людей за добрых кавалеров почитает. Для чего же ты бесчестишь нас, государь, кавалерского звания лишаешь? Не все же воры...

— Кто не вор,— изменник! — крикнул Петр, с лицом, искаженным яростью.— Аль думаешь, не знаю вас? Знаю, брат, вижу насквозь! Умри я сейчас — ты первый станешь за сына моего, злодея! Все вы с ним заодно!..

Но опять неимоверным усилием воли победил свой гнев. Отыскал глазами в толпе князя Меншикова и проговорил глухим, сдавленным, но уже спокойным голосом:

— Александра, ступай за мною!

Они вместе вышли в токарную. Князь, маленький, сухонький, с виду хрупкий, на самом деле, крепкий как железо, подвижный как ртуть, с худощавым, приятным лицом, с необыкновенно живыми, быстрыми и умными глазами, напоминавшими того уличного мальчишку-разносчика, который некогда кричал: «Пироги подовы!»— юркнул в дверь за царем, весь съежившись, как собачонка, которую сейчас будут бить.

Низенький, толстый Шафиров отдувался и вытирал пот с лица. Длинный, как шест, тощий Головкин весь трясся, крестился и шептал молитву. Ягужинский упал в кресло и стонал; у него подвело живот от страху.

Но, по мере того, как из-за дверей слышался гневный голос царя и однообразно-жалобный голос Меншикова — слов нельзя было разобрать — все успокаивались. Иные даже злорадствовали: светлейшему-де не впервой: кости у него крепкие — с малых лет к царской дубинке привык. Ништо ему! Изловчится, вывернется!

Вдруг за дверью послышался шум, крики, вопли. Обе половинки двери распахнулись, и вылетел Меншиков. Шитый золотом кафтан его был разодран; голубая андреевская лента в клочьях, ордена и звезды на груди болтались, полуоторванные; парик из царских волос — некогда Петр в знак дружбы дарил ему свои волосы, каждый раз, когда стригся — сбит на сторону; лицо окровавлено. За ним гнался царь с обнаженным кортиком и с неистовым криком:

— Я тебя, сукин сын!..

— Петинька! Петинька! — раздался голос царицы, которая, как всегда, в самую нужную минуту точно из-под земли выросла.

Она удержала его на пороге, заперла дверь токарной, и оставшись наедине с ним, прижалась к нему всем телом и уцепилась, повисла у него на шее.

— Пусти, пусти! Убью...— кричал он в бешенстве.

Но она обнимала его все крепче и крепче, повторяя:

— Петинька! Петинька! Господь с тобою, друг мой сердешненький! Брось ножик, ножик-то брось, беды наделаешь...

Наконец, кортик выпал из рук его. Сам он повалился в кресло. Страшная судорога сводила ему члены.

Точно так же, как тогда, во время последнего свидания отца с сыном, Катенька присела на ручку кресел, обняла ему голову, прижала к своей груди, и начала тихонько гладить волосы, лаская, баюкая, как мать — больного ребенка. И мало-помалу, под этою тихою ласкою, он успокаивался. Судорога слабела. Иногда еще вздрагивал всем телом, но все реже и реже. Не кричал, а только стонал, точно всхлипывал, плакал без слез:

— Трудно, ох, трудно, Катенька! Мочи нет!.. Не с кем подумать ни о чем. Никакого помощника. Все один да один!.. Возможно ли одному человеку? Не только человеку, нижé ангелу!.. Бремя несносное!..

Стоны становились все тише и тише, наконец, совсем затихли — он уснул.

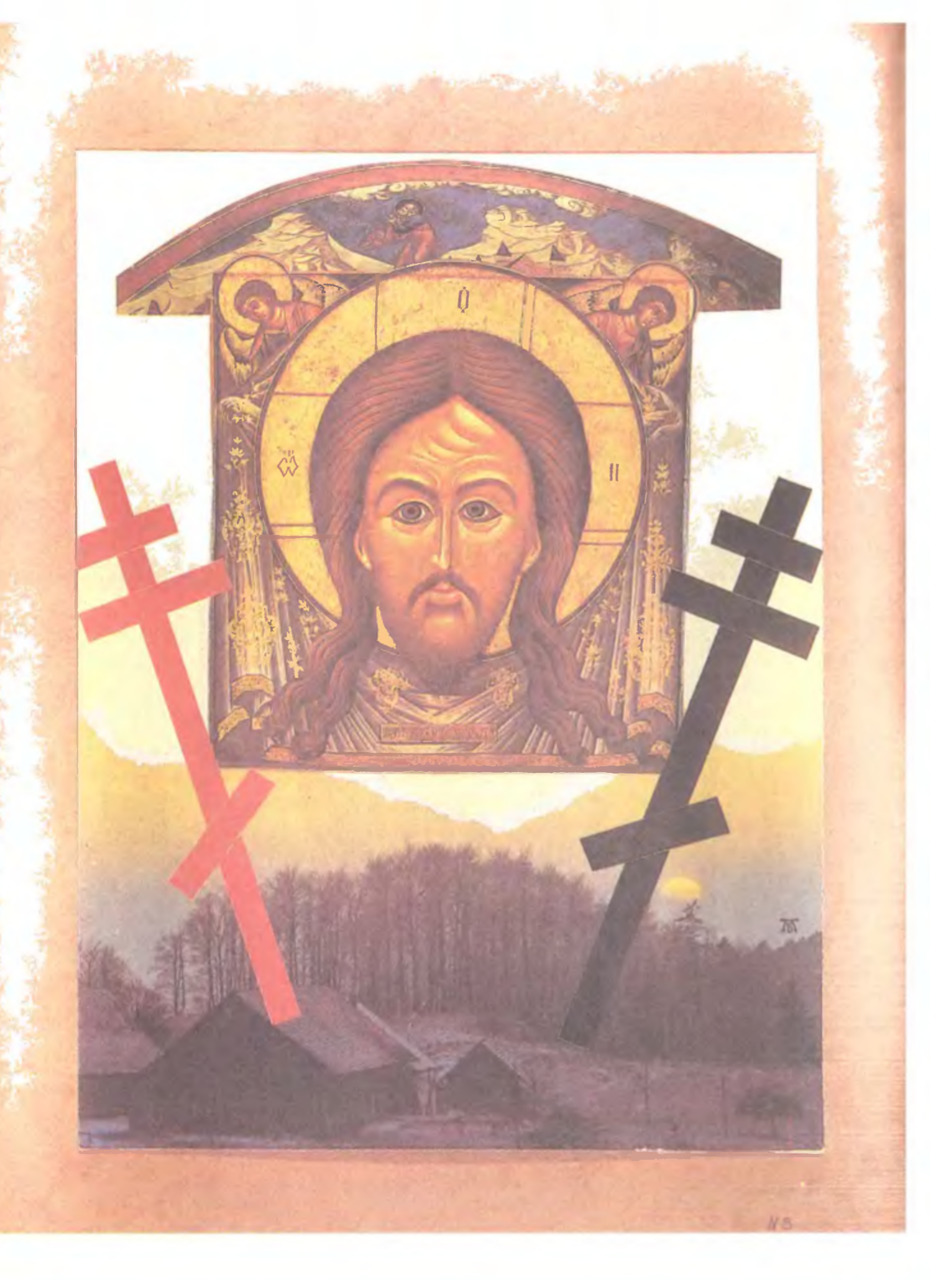
Она прислушалась к его дыханию. Оно было ровно. Всегда после таких припадков он спал очень крепко, так что ничем не разбудишь, только бы от него не отходила Катенька.

Продолжая обнимать его голову одной рукой, другою, как будто тоже лаская, она шарила, щупала на груди его под кафтаном быстрым воровским движением пальцев. Нащупав пачку писем в боковом кармане, вытащила, пересмотрела, увидела большое, запачканное, должно быть, подметное, в синей обертке, за печатью красного воска, нераспечатанное, догадалась, что это то самое, которого она ищет: второй донос на нее и Монса, более страшный, чем первый. Монс предупреждал ее об этом синем письме; сам он узнал о нем из разговора пьяных денщиков.

Катенька удивилась, что муж не распечатал письма. Или боялся узнать истину?

Чуть-чуть побледнев, крепко стиснув зубы, но не те-





ряя присутствия духа, заглянула в лицо его. Он спал сладко — как маленькие дети, наплакавшись. Она тихонько положила голову его на спинку кресла, расстегнула на груди своей несколько пуговиц, скомкала письмо, сунула в углубление груди, наклонилась, подняла кортик, надпорола карман, где лежали письма, и снизу полу кафтана по самому шву так, что можно было принять эти надрезы за случайные дыры, и положила остальную пачку на прежнее место в карман. Если бы он заметил пропажу синего письма, то подумал бы, что оно завалилось за подкладку и оттуда сквозь нижнюю прореху выпало и потерялось. Дыры случались нередко в заношенном платье царя.

Мигом кончила все это Катенька. Потом опять взяла голову Петиньки, положила ее к себе на грудь и начала тихонько гладить, лаская, баюкая, глядя на спящего исполина, как мать на больного ребенка, или укротительница львов на страшного зверя.

Через час проснулся он бодрым и свежим, как ни в чем не бывало.

Недавно умер царский карлик. В тот день назначены были похороны — одно из тех шутовских маскарадных шествий, которые так любил Петр. Катенька убеждала его отложить на завтра похороны, и сегодня больше никуда не ездить, отдохнуть. Но Петр не послушался, велел бить в барабаны, выкинуть флаги для сбора, поспешно, как будто для самого важного дела, собрался, нарядился в полутраурное, полумаскарадное платье и поехал.

VII

«О монстрах или уродах.

Понеже известно есть, что как в человеческой породе, так в зверской и птичьей, случается, что родятся монстры, то есть, уроды, которые всегда во всех государствах сбираются для диковинки, чего для, пред несколькими летами уже указ сказан, чтобы оных приносили; но таят невежды, чая, что такие уроды родятся от действа диавольского, через ведовство и порчу, чему быть невозможно, ибо един Творец всея твари Бог, а не диавол, которому ни над каким созданием власти нет,— но от повреждения внутреннего, также от страха и мнения матерного во время бремени, как тому многие есть примеры,— чего испужается мать, такие знаки на дитяти бывают; того ради, паки сей указ подновляется, дабы, конечно, такие, как человечьи, так скотские, звериные и птичьи уроды, при-

носили в каждом городе к комендантам своим, и им за то будет давана плата, а именно: за человеческую — по десяти рублев, за скотскую и звериную — по пяти, а за птичью — по три рубли, за мертвых. А за живые, за человеческую — по сту рублев, за скотскую и звериную — по пятнадцати рублев, за птичью — по семи рублев. А ежели гораздо чудное, то дадут и более. А кто против сего указу будет таить, на таких возвещать; а кто обличен будет, на том штрафу брать в десятую против платежа за оные, и те деньги отдавать изветчикам. Вышереченные уроды, как человечьи, так и животных, когда умрут, класть в спирты, буде же того нет, то в двойное, а по нужде в простое вино и закрыть крепко, дабы не испортилось, за которое вино заплачено будет из аптеки особливо».

Петр любил своего карлика — «нарочитую монстру» и устроил ему великолепные похороны.

Впереди шло попарно тридцать певчих — все маленькие мальчики. За ними — в полном облачении, с кадилом в руках, крошечный поп, которого из всех петербургских священников выбрали за малый рост. Шесть маленьких вороных лошадок, в черных до земли попонах, везли маленький, точно детский, гробик на маленьких, точно игрушечных, дрогах. Потом выступали торжественно, взявшись за руки, под предводительством крошечного маршала с большим жезлом, двенадцать пар карликов в длинных траурных мантиях, обшитых белым флером, и столько же карлиц — все по росту, меньшие впереди, большие позади, наподобие органных дудок — горбатые, толстобрюхие, косолапые, криворожие, кривоногие, как собаки барсучьей породы, и множество других, не столько смешных, сколько страшных уродов. По обеим сторонам шествия, рядом с карликами, шли великаны-гренадеры и царские гайдуки, с горящими факелами и погребальными свечами в руках. Одного из этих великанов, наряженного в детскую распашонку, вели на помочах два самых крошечных карлика с длинными седыми бородами; другого, спеленатого, как грудной младенец, везли в тележке шесть ручных медведей.

Шествие заключал царь со всеми своими генералами и сенаторами. В наряде голландского корабельного барабанщика, шел он все время пешком и, с таким видом, как будто делал самое нужное дело, бил в барабан.

Невской першпективой, от деревянного моста на речке Фонтанной к Ямской Слободе, где было кладбище, двигалось шествие и за ним толпа. Люди выглядывали из

окон, выбегали из домов, и в суеверном страхе не знали православные — креститься или отплевываться. А немцы говорили: «такого-де шествия едва ли где придется увидеть, кроме России!»

Был пятый час вечера. Быстро темнело. Шел мокрый снег хлопьями. По обеим сторонам першпективы два ряда голых липок и крыши низеньких домиков белели от снега. Густел туман. И в мутно-желтом тумане, и в мутно-красном свете факелов это шествие казалось бредом, наваждением дьявольским.

Но толпа, хотя и в страхе, бежала, не отставая, шлепая по грязи и рассказывая шепотом страшные, тоже подобные бреду, слухи о нечистой силе, которая будто бы завелась в Петербурге.

Намедни ночью караульный у Троицы слышал в трапезе церковной стук, подобием бегания; и в колокольне кто-то бегал по деревянной лестнице, так что ступени тряслись; а утром псаломщик, когда пошел благовестить, увидел, что стремянка-лестница оторвана, и веревка, спущенная для благовесту, обернута вчетверо.

— Никто другой, как черт,— догадывались одни.

— Не черт, а кикимора,— возражали другие.

Старушка селедочница с Охты собственными глазами видела кикимору, как она пряжу прядет:

— Вся голая, тонешенька, чернешенька, а головенка махонькая, с наперсточек, а туловища не спознать с соломинкой.

— Не домовой ли?— спросил кто-то.

— Домовых в церкви не водится,— отвечали ему.

— А может, какой заблудящий? На них-де бывает чума, что на коров и собак — оттого и проказят.

— То к весне: по веснам домовые линяют, старая шкура сползает — тогда и бесятся.

— Домовой ли, черт ли, кикимора,— а только знатно, сила нечистая!— решили все.

В мутно-желтом тумане, в мутно-красном свете факелов, от которого бегали чудовищные тени гигантов и карликов, само это шествие казалось нечистою силою, петербургскою нежитью.

Сообщались еще более страшные вести.

На Финляндской стороне какой-то поп «для соделания некоего неистовства» нарядился в козью шкуру с рогами, которая тотчас к нему приросла, и в сем виде повезут его ночью на казнь. Драгунский сын Зварыкин продал душу дьяволу, объявившемуся у Литейного двора, в образе

немца, и договор подписал кровью. В Аптекарском саду, на кладбище разрыли воры могилу, разбили заступами гроб, принялись тащить покойника за ноги, но не вытащили, испугались и убежали; утром увидел кто-то ноги, торчавшие из могилы,— и прошел слух о воскресении мертвых. В Татарской слободе, за крепостным Кронверком, родился младенец с коровьим рогом вместо носа; а на Мытном дворе — поросенок с человечьим лицом. «Не знаменуется благое в городах, где такое рождается!» Где-то явился пастух о пяти ногах. На Ладоге выпал кровавый дождь; земля тряслась и ревела, как вол; на небе было три солнца.

— Быть худу, быть худу,— повторяли все.

— Питербурху пустеть будет!

— Не одному Питербурху — всему миру конец! Светопреставление! Антихрист!

Наслушавшись этих рассказов, маленький мальчик, которого мать тащила за руку в толпе, вдруг заплакал, закричал от страха. Женщина в отрепьях, с полоумным лицом, должно быть, юродивая, нечеловеческим голосом закликала. Ее поскорее увели в соседний двор. Царь не любил шутить с кликушами: выгонял из них бесов кнутом. «Хвост кнута длиннее хвоста бесовского!»— говорил он, когда ему докладывали о «суеверных шалостях».

Среди вельмож и сенаторов было тоже много испуганных лиц. Перед самым выступлением шествия, Шафиров поднес государю только что полученные с курьером письма из Неаполя от Толстого и царевича. Государь спрятал их в карман, не распечатав,— должно быть, не хотел читать при свидетелях. Шафиров, однако, из полученной им коротенькой записки Толстого уже знал страшную весть. Она тотчас облетела всех:

— Царевич едет сюда!

— Йуда, Петр Толстой выманил — ему-де не первого кушать.

— Батюшка, слышь, посулил его на Афросинье женить.

— Женить? Как бы не так. Держи карман. Жолв ему, а не женитьба!

— А ну, как даст Бог свадьбу?

— Венчали ту свадьбу на Козьем болоте, а дружка да свашка — топорик да плашка!

— Дурак, дурак! Погубит он себя напрасно.

— Быть бычку на обрывочке!

— Не сносить ему головы своей!

— Под обух идет!

— А может и помилуют? Не чужой ведь,— родной: и змея своих черев не ест. Поучат и помилуют!

— Учить поздно, распашонка на нем не сойдется.

— Не учили, покуда поперек лавки укладывался, а во всю вытянулся, не научишь!

— Поди ко мне в ступу, я тя пестом приглажу — вот вся и наука!

— Уняньчат дитятку, что не пикнет,— упестуют!

— Да и нам, чай, всем такая будет баня, что небо с овчинку покажется.

— Беда, братцы, беда — тут и о двух головах пропадешь!

И в толпе вельмож все повторяли, так же, как в толпе народа:

— Быть худу! быть худу!

А царь все шагал да шагал по грязи и бил в барабан, заглушая унылое пение: Со святыми упокой. Вечная память!

Туман густел. Все расплывалось в нем, таяло, делалось призрачным — и вот-вот, казалось, весь город, со всеми своими людьми и домами, и улицами, подымется, вместе с туманом, и разлетится, как сон.

VIII

Вернувшись с похорон в Летний дворец, Петр сел в маленькую верейку, переехал через темную ночную Неву, один, без гребцов, сам работая веслами, и причалил у небольшой деревянной пристани на противоположном берегу.

Здесь, почти у самой реки, недалеко от Троицкого собора, стоял маленький низенький домик, один из первых домов, построенных голландскими плотниками, при самом основании Петербурга — первый дворец Петра, похожий на бедные хижины саардамских корабельщиков. Он был срублен из соснового леса, который рос тут же, на диком болоте Кейвусари, Березового острова; выкрашен масляною краскою под кирпич и крыт дощечками под черепицу.

Комнаты низенькие, тесные — всего три: направо от сеней конторка, налево столовая и за нею спальня — самая крошечная из трех, четыре аршина в длину, три в ширину — едва повернуться. Убранство, хотя очень простое, но уютное и опрятное, на голландский образец.

Потолок и стены обиты выбеленным холстом; окна широкие, низкие, с переплетом из свинцовых желобков и мелкими стеклами, с дубовыми ставнями на железных болтах. Двери не по росту Петра — он должен был наклоняться, чтобы не удариться головой о притолку.

После постройки Летнего и Зимнего дворца, стоял этот домик пустой. Только изредка царь ночевал в нем, когда ему хотелось остаться совсем одному, даже без Катеньки.

Войдя в сени, растолкал храпевшего на войлоке денщика, велел дать огня, прошел в конторку, запер дверь на ключ, поставил свечу на стол, сел в кресло, вынул из кармана письма Толстого, Румянцева и царевича, но перед тем, чтоб их распечатать, остановился, как будто в нерешимости, прислушиваясь к мерному гулкому бою часов на колокольне у Троицы. Пробило девять. Последний звук замер, и наступала тишина, такая же, как в те дни, когда Петербурга еще не было, и кругом этого бедного домика были только бесконечные леса да непроходимые топи.

Наконец, распечатал. Пока читал, лицо чуть-чуть побледнело, руки задрожали. Когда же прочел последние слова в письме царевича: «поеду из Неаполя на сих днях к тебе, государю, в Санктпитербурх» — дух захватило от радости. Дальше не мог читать. Перекрестился.

Это ли еще не знаменье, не чудо Божие? Только что изнемогал, отчаивался, думал, что Бог забыл его, отступил навсегда — и вот опять рука Господня поддерживает.

Почувствовал себя вновь сильным и бодрым, как будто помолодевшим, готовым ко всякому труду и подвигу.

Потом опустил голову и, глядя на пламя свечи, глубоко задумался.

Когда сын вернется, что с ним делать? «Убить!» — в ярости думал он прежде, когда не надеялся на возвращение. Но теперь, когда знал, что вернется,— ярость потухла, и он спрашивал себя впервые, спокойно, разумно: что делать?

Вдруг вспомнил слова свои в первом письме, отправленном в Неаполь с Толстым и Румянцевым: «обещаюсь Богом и судом Его, что никакого наказания не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели возвратишься». Теперь, когда сын поверил этой клятве, она приобретала страшную силу.

Но как исполнить ее?

Простить сына не значит ли простить и всех остальных, таких же, как он, изменников, злодеев царю и отечеству?

Все людишки негодные, взяточники, воры, тунеядцы, ханжи, лицемеры, длинные бороды соединятся с ним и в такое бесстрашие придут, что никакой грозы на них не будет. Учинят всему государству падение конечное. И ежели сын над отцом надругается так, при жизни его, то что же будет после смерти? Все разорит, расточит, не оставит камня на камне, погубит Россию!

Нет, хотя б и клятву нарушить, а нельзя простить.

Значит, опять — розыск, опять — пытки, костры, топоры, плахи и кровь?

Вспомнилось ему, как однажды, во время стрелецких казней, когда он ехал верхом на Красную площадь, где в тот же день должно было пасть более трехсот голов,— вышел к нему навстречу патриарх с чудотворной иконой Божией Матери просить о пощаде стрельцов. Царь поклонился иконе, но патриарха отстранил рукою гневно и сказал: «Зачем пришел сюда? Я Матерь Божию чту не меньше твоего. Но долг велит мне добрых миловать, а злых казнить. Ступай же прочь, старик! Я знаю, что делаю».

Патриарху сумел ответить, но как-то ответит Богу?

И представился ему, как в видении, бесконечный ряд голов, лежащих у Лобного места, на длинном бревне, вместо плахи, затылками вверх, лицами вниз — русые, рыжие, черные, седые, лысые, кудрявые. Навеселе, только что с попойки, вместе с Данилычем и прочими гостями, он ходит с топором в руках, засучив рукава, как палач, и рубит одну за другой эти головы. А когда устает, гости берут у него топор, по очереди, и тоже рубят. Все пьяны от крови. Платье обрызгано кровью; на земле лужи крови; ноги скользят в крови. Вдруг одна из этих голов, когда он уже занес над нею топор, тихонько приподымается, оборачивается и глядит ему прямо в глаза. Это он, Алеша!

«Алешенька, мальчик мой родненький!» — представилось ему другое видение — как, вернувшись из чужих краев, пробрался он тайком ночью в спальню царевича, наклонился над его постелькой, взял на руки сонного, и обнимал, и целовал, чувствуя сквозь рубашку теплоту его голого тельца.

«Убить сына» — только теперь понял он, что это значит. Почувствовал, что это самое страшное, самое важное во всей его жизни — важнее, чем Софья, стрельцы, Европа, наука, армия, флот, Петербург, Полтава; что тут решается вечное: на одну чашу весов положится все, что он сделал великого, доброго, на другую — кровь сына —

и как знать, что перевесит? Не померкнет ли вся его слава от этого кровавого пятна? Что скажет Европа, что скажет потомство о клятвопреступнике, сыноубийце? Труден разбор его невинности тому, кто не знает всего. А кто знает все?

И перед Богом может ли человек, хотя б и за благо отечества, взять на душу такой грех, как пролитие крови от крови своей?

Но что же, что делать? Простить сына — погубить Россию; казнить его — погубить себя. Он чувствовал, что этого никогда не решит.

Да и нельзя решить одному. Но кто поможет? Церковь? Что на земле свяжете, то связано будет на небе, и что разрешите на земле, то разрешено будет на небе. Так было прежде. А теперь — где церковь? Патриарх? Его уже нет. Он сам отменил патриаршество. Или митрополит, «Степка холопка», который, пав до земли, челом бьет государю? Или администратор дел духовных, плут Федоска, с прочими архиереями, которые «так взнузданы, что куда хошь поведи?» Что он им скажет, то они и сделают. Он сам — патриарх, сам — церковь. Он один перед Богом.

И чему, безумец, радовался только что? Да, рука Господня простерлась к нему и отяготела на нем страшною тяжестью. Страшно, страшно впасть в руки Бога живого!

Точно пропасть разверзлась у ног его, и повеяло оттуда ужасом, от которого на голове его зашевелились волосы.

Он закрыл лицо руками.

— «Отступи от меня, Господи! Избавь душу мою от кровей, Боже, Боже спасения моего!»

Потом встал и пошел в спальню, где в углу, над изголовьем постели неугасимая лампада теплилась перед чудотворною иконою Спаса Нерукотворенного, писанной в поднос царю Алексею Михайловичу жалованным царским иконописцем, Симоном Ушаковым и хранившейся некогда вверху, в сенях Кремлевских палат. То был русский перевод с незапамятно древнего, византийского образа: по преданию, когда Господь восходил на Голгофу, то, изнемогая под ношею крестной, вытер пот с лица полотенцем — убрусом, и на нем отпечатался Лик.

С тех пор, как мать Петра, царица Наталья Кирилловна. благословила сына этим образом, он уже никогда не расставался с ним. Во всех походах и путешествиях, на кораблях и в палатках, при основании Петербурга и на полях Полтавы — везде образ был с ним.

Войдя в спальню, прибавил в лампадку масла и поправил светильню. Пламя затеплилось ярче, и в золотом окладе, вокруг темного Лика в терновом венце, заблестели алмазы, как слезы, рубины, как кровь.

Стал на колени и начал молиться.

Икона была такая привычная, что он уже почти не видел ее, и сам того не сознавая, всегда обращался с молитвой к Отцу, а не к Сыну — не к Богу, умирающему, изливающему кровь Свою на Голгофу, а к Богу живому, крепкому и сильному во брани, Воителю грозному, Победодавцу праведному — Тому, Кто говорит о Себе устами пророка: «*Я топтал народы во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние Свое*».

Но теперь, когда поднял взор на икону и хотел, как всегда, обратиться с молитвою мимо Сына к Отцу,— не мог. Как будто в первый раз увидел скорбный Лик в терновом венце, и Лик этот ожил и заглянул ему в душу кротким взором; как будто в первый раз понял то, о чем слышал с детства и чего никогда не понимал: что значит — Сын и Отец.

И вдруг вспомнил страшную древнюю повесть, тоже об отце и сыне:

«Бог искушал Авраама и сказал ему: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака и принеси его во всесожжение. И устроил Авраам жертвенник и, связав сына своего, положил его на жертвенник. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего».

Это лишь земной прообраз еще более страшной жертвы небесной. Бог так возлюбил мир, что не пожалел для него Сына Своего, Единственного своего, и вечно изливаемою Кровью Агнца, Кровью Сына Отчий гнев утоляется.

Тут чувствовал он какую-то самую близкую, самую нужную тайну, но такую страшную, что не смел думать о ней. Мысль его изнемогала, как в безумии.

Хочет или не хочет Бог, чтоб он казнил сына? Простится или взыщется на нем эта кровь? И что, если не только — на нем, но и на детях его и внуках, и правнуках — на всей России?

Он упал лицом на пол и долго лежал так, распростертый, недвижимый, как мертвый.

Наконец, опять поднял взор на икону, но уже с отчаянной, неистовой молитвой мимо Сына к Отцу:

— Да падет сия кровь на меня, на меня одного! Казни меня, Боже,— помилуй Россию!

КНИГА ВОСЬМАЯ

ОБОРОТЕНЬ

I

Царевич смотрел на дверь, в которую должен был войти Петр.

Маленькую приемную Преображенского дворца, почти такого же бедного, как петербургский домик царя, заливало февральское солнце. В окнах был вид, знакомый царевичу с детства — снежное поле с черными галками, серые стены казарм, тюремный острог, земляной вал с пирамидами ядер, караульною будкою и неподвижным часовым на прозрачно-зеленом небе. Воробьи на подоконниках чирикали уже по-весеннему. С ледяных сосулек падали светлые капли, как слезы. Был предобеденный час. Пахло пирогами с капустою. В тишине маятник стенных часов однообразно тикал.

На пути из Италии в Россию царевич был спокоен, даже весел, но точно в полусне, или забытьи. Не совсем понимал, что с ним происходит, куда и для чего везут его.

Но теперь, сидя с Толстым в приемной и так же, как тогда ночью в королевском дворце, в Неаполе, во время бреда, глядя на страшную дверь,— как будто пробуждался, начинал понимать. И так же, как тогда, весь дрожал непрерывною мелкою дрожью, точно в сильном ознобе. То крестился и шептал молитвы, то хватал за руку Толстого:

— Петр Андреич, ох, Петр Андреич, что-то будет, родимый? Страшно! Страшно!..

Толстой успокаивал его своим бархатным голосом:

— Будьте благонадежны, ваше высочество! Повинную голову меч не сечет. Даст Бог, потихоньку да полегоньку, ладком да мирком...

Царевич не слушал и твердил, чтобы не забыть, приготовленную речь:

«Батюшка, я ни в чем оправдаться не могу, но слезно прошу милостивого прощения и отеческого рассуждения, понеже, кроме Бога и твоей ко мне милости, иного никакого надеяния не имею и отдаюсь во всем в волю твою».

За дверью послышались знакомые шаги. Дверь отворилась. Вошел Петр.

Алексей вскочил, пошатнулся и упал бы навзничь, если бы Толстой не поддержал его.

Перед ним, как бы в мгновенном превращении оборотня, промелькнули два лица: чуждое, страшное, как мертвая маска, и родное, милое, каким он помнил отца только в самом раннем детстве.

Царевич подошел к нему и хотел упасть к его ногам, но Петр протянул к нему руки, обнял и прижал к своей груди.

— Алеша, здравствуй! Ну, слава Богу, слава Богу! Наконец-то, свиделись.

Алексей почувствовал знакомое прикосновение пухлых бритых щек и запах отца — крепкого табаку с потом; увидел большие темные ясные глаза, такие страшные, такие милые, прелестную, немного лукавую улыбку на извилистых, почти женственно-тонких губах. И, забыв свою длинную речь, пролепетал только:

— Прости, батюшка...

И вдруг зарыдал неудержимым рыданием, все повторяя:

— Прости! Прости!..

Сердце его растаяло мгновенно, как лед в огне.

— Что ты, что ты, Алешенька!..

Отец гладил ему волосы, целовал его в лоб, в губы, в глаза, с материнскою нежностью.

А Толстой, глядя на эти ласки, думал:

«Зацелует ястреб курочку до последнего перышка!»

По знаку царя он исчез. Петр повел сына в столовую. Сучка Лизетта сперва зарычала, но потом, узнав царевича, смущенно завиляла хвостом и лизнула ему руку. Стол накрыт был на два прибора. Денщик принес все блюда сразу и вышел. Они остались одни. Петр налил две чарки анисовой.

— За твое здоровье, Алеша!

Чокнулись. У царевича так дрожали руки, что он пролил половину чарки.

Петр приготовил для него свою любимую закуску — ломоть черного хлеба с маслом, рубленым луком и чесноком. Разрезал хлеб пополам, одну половину для себя, другую — для сына.

— Вишь, ты как отощал на чужих-то хлебах,— молвил он, вглядываясь в сына.— Погоди, живо откормим — станешь гладкий! Сытнее-де русский хлеб немецкого.

Угощал с прибаутками.

— Чарка на чарку — не палка на палку. Без троицы дом не строится. Учетверить — гостей развеселить.

Царевич ел мало, но много пил и быстро пьянел, не столько, впрочем, от вина, сколько от радости.

Все еще робел, не мог прийти в себя, не верил глазам и ушам своим. Но отец говорил с ним так просто и весело, что нельзя было не верить. Расспрашивал обо всем, что он видел и слышал в Италии, о войске и флоте, о папе и цесаре. Шутил, как товарищ с товарищем.

— А у тебя губа не дура,— подмигнул смеясь.— Афрося — девка хоть куда! Годов бы мне десять с плеч, так пришлось бы, чего доброго, сынку батьки беречься, чтоб с рогами не быть. Недалеко, видно, яблочко от яблони падает. Батька — с портомоей, сынок — с поломоей; полы-де, говорят, Афрося мыла у Вяземских. Ну, да ведь и Катенька белье стирала... А жениться охота?

— Ежели позволишь, батюшка.

— Да что мне с тобой делать? Обещал, небось, так позволю.

Петр налил красного вина в хрустальные кубки. Подняли, сдвинули. Хрусталь зазвенел. Вино в луче солнца зардело, как кровь.

— За мир, за дружбу вечную! — сказал Петр.

Оба выпили сразу до дна.

У царевича голова кружилась. Он точно летел. Сердце то замирало, то билось так, что казалось, вот-вот разорвется, и он сейчас умрет от радости. Настоящее, прошлое, будущее — все исчезло. Он помнил, видел, чувствовал только одно: отец любит его. Пусть на мгновение. Если бы надо было снова принять муку всей жизни за одно такое мгновение, он принял бы.

И ему захотелось сказать все, признаться во всем.

Петр, как будто угадывая мысль его, положил свою руку на руку сына, с тихою ласкою.

— Расскажи-ка, Алеша, как ты бежал.

Царевич почувствовал, что судьба его решается. И вдруг ясно понял то, о чем все время, с той самой минуты, как решил ехать к отцу, старался не думать. Одно из двух: или сказать все, выдать сообщников и сделаться предателем; или запереться во всем и допустить, чтобы снова вырылась бездна, встала глухая стена между ним и отцом.

Он молчал, потупив глаза, боясь увидеть опять, вместо родного лица, то другое, чуждое, страшное, как мертвая маска. Наконец, встал, подошел к отцу и упал перед ним на колени. Лизетта, спавшая в ногах Петра на подушке, проснулась, поднялась и отошла, уступив царевичу место. Он опустился на подушку. Лежать бы так вечно у ног отца, как собака, смотреть ему в глаза и ждать ласки.

— Все скажу, батюшка, только прости всех, как меня простил! — поднял он взор с бесконечной мольбою.

Отец наклонился к нему и положил ему руки на плечи, все с тою же тихою лаской.

— Слушай. Алеша. Как прощу, когда вины не знаю, ниже виновных? За себя могу простить, не за отечество. Бог сие взыщет. Кто злым попускает, сам зло творит. Одно обещаю: кого назовешь, помилую, а чью вину скроешь, тем лютая казнь. Итак, не доносчик, но паче заступник будешь друзей своих. Говори же все, не бойся. Никого не обижу. Вместе рассудим...

Алексей молчал. Петр обнял, прижал к себе его голову и, тяжело вздохнув, прибавил:

— Ах, Алеша, Алеша, если бы видел ты сердце мое, знал скорбь мою! Тяжко мне, тяжко, сынок!.. Никого не имею помощника. Все один да один. Все враги, все злодеи. Пожалей хоть ты отца. Будь другом. Аль не хочешь, не любишь?..

— Люблю, люблю, батенька родненький!..— прошептал царевич, с тою же стыдливою нежностью, как, бывало, в детстве, когда отец приходил к нему ночью тайком и брал его на руки, сонного.— Все, все скажу, спрашивай!..

И рассказал все, назвал всех.

Но, когда кончил, Петр ждал еще главного. Искал дела, а никакого дела не было; были только слова, слухи, сплетни — неуловимые призраки, за которые и ухватиться нельзя было для настоящего розыска.

Царевич принимал всю вину на себя и оправдывал всех.

— Я, пьяный, всегда вирал всякие слова и рот имел незатворенный в компаниях, не мог быть без противных разговоров и такие слова с надежи на людей бреживал.

— Кроме слов, не было ль умысла к делу, возмущенью народному, или чтоб силой учинить тебя наследником?

— Не было, батюшка, видит Бог, не было! Все пустое.

— Знала ли мать о побеге твоем?

— Не знала, чай...

И подумав, прибавил:

— Подлинно о том не ведаю.

Вдруг замолчал, потупив глаза. Вспомнились ему видения, пророчества епископа ростовского Досифея и прочих старцев, которым верила и радовалась мать,— о погибели Петербурга, о смерти Петра, о воцарении сына. Скажет ли он о том? Предаст ли мать? Сердце его сжалось тоскою смертною. Он почувствовал, что нельзя об этом говорить. Да ведь батюшка и не спрашивает. Что ему за дело? Такому ли, как он, бояться бабьих бреден?

— Все ли? Или еще что есть в тебе? — спросил Петр.

— Есть еще одно. Да как сказать, не знаю. Страшно...

Он весь прижался к отцу, спрятал лицо на груди его.

— Говори. Легче будет. Объяви и очисти себя, как на сущей исповеди.

— Когда ты был болен,— шепнул ему царевич на ухо,— думал я, что умрешь, и радовался. Желал тебе смерти...

Петр тихонько отстранил его, посмотрел ему прямо в глаза и увидел в них то, чего никогда не видел в глазах человеческих.

— Думал ли с кем о смерти моей?

— Нет, нет, нет! — воскликнул царевич с таким ужасом в лице и в голосе, что отец поверил.

Они молча смотрели друг другу в глаза одинаковым взором. И в этих лицах, столь разных, было сходство. Они отражали и углубляли друг друга, как зеркала, до бесконечности.

Вдруг царевич усмехнулся слабою усмешкою и сказал просто, но таким странным, чуждым голосом, что казалось, что не он сам, а кто-то другой, далекий, из него говорит.

— Я ведь знаю, батюшка: может быть, и нельзя тебе простить меня. Так не надо. Казни, убей. Сам я умру за тебя. Только люби, люби всегда! И пусть о том никто не ведает. Только ты да я. Ты да я.

Отец ничего не ответил и закрыл лицо руками.

Царевич смотрел на него, как бы ждал чего-то.

Наконец, Петр отнял руки от лица, опять наклонился к сыну, обнял голову его обеими руками, поцеловал молча в голову, и царевичу показалось, что первый раз в жизни он видит на глазах отца слезы. Алексей хотел еще что-то сказать. Но Петр быстро встал и вышел.

В тот же день вечером явился к царевичу новый духовник его, о. Варлаам.

По приезде в Москву, Алексей просил, чтобы допустили к нему прежнего духовника его, о. Якова Игнатьева.

Но ему отказали и назначили о. Варлаама. Это был старичок, по виду «самый немудреный — сущая курочка», как шутил о нем Толстой. Но царевич и ему был рад, только бы поскорей исповедаться. На исповеди повторил все, что давеча сказал отцу. Прибавил и то, что скрыл от него — о матери царице Авдотье, о тетке царевне Марье и дяде Аврааме Лопухине — об их общем желании «скорого совершения», смерти батюшки.

— Надо бы отцу правду сказать,— заметил о. Варлаам и как-то вдруг заспешил, засуетился.

Что-то промелькнуло между ними странное, жуткое, но такое мгновенное, что царевич не мог дать себе отчета, было ли что-нибудь действительно, или ему только померещилось.

II

Через день после первого свидания Петра с Алексеем, утром в понедельник 3 февраля 1718 г., велено было министрам, сенаторам, генералам, архиереям и прочим гражданским и духовным чинам собираться в Столовую Палату, Аудиенц-залу старого Кремлевского дворца, для выслушания манифеста об отрешении царевича от престола и для присяги новому наследнику Петру Петровичу.

Внутри Кремля, по всем площадям, дворцовым переходам и лестницам стояли батальоны преображенской лейбгвардии. Опасались бунта.

В Аудиенц-зале от старой Палаты оставалась только живопись на потолке — «звездотечное движение, двенадцать месяцев и прочие боги небесные». Все остальное убранство было новое: голландские тканые шпалеры, хрустальные шандалы, прямоспинные стулья, узкие зеркала в простенках. Посередине палаты, под красным шелковым пологом, на возвышении с тремя ступенями — царское место — золоченое кресло с вышитым по алому бархату золотым двуглавым орлом и ключами св. Петра.

Из окон косые лучи солнца падали на белые парики сенаторов и черные клобуки архиереев. На всех лицах был страх и то жадное любопытство, которое бывает в толпе во время казней. Застучал барабан. Толпа всколыхнулась, раздвинулась. Вошел царь и сел на трон.

Двое рослых преображенцев, со шпагами наголо, ввели царевича, как арестанта.

Без парика и без шпаги, в простом черном платье, бледный, но спокойный и как будто задумчивый, он шел,

не спеша, опустив голову. Подойдя к трону и увидев отца, улыбнулся тихою улыбкою, напоминавшею деда, царя Алексея Тишайшего.

Длинный, узкий в плечах, с узким лицом, обрамленным жидкими косицами прямых, гладких волос, похожий не то на сельского дьячка, не то на иконописного Алексея человека Божьего, среди всех этих новых петербургских лиц казался он далеким, чуждым всему, как бы выходцем иного мира, призраком старой Москвы. И сквозь любопытство, сквозь страх во многих лицах промелькнула жалость к этому призраку.

Остановился у трона, не зная, что делать.

— На коленки, на коленки и говори, как заучено,— шепнул ему на ухо подбежавший сзади Толстой.

Царевич опустился на колени и произнес громким спокойным голосом:

— Всемилостивейший государь, батюшка! Понеже узнав свое согрешение перед вами, яко родителем и государем своим, писал повинную и прислал из Неаполя,— так и ныне оную приношу, что я, забыв должность сыновства и подданства, ушел и поддался под протекцию цесарскую и просил его о своем защищении. В чем прошу милостивого прощения и помилования.

И не по чину церемонии, а от всего сердца поклонился в ноги отцу.

По знаку царя, вице-канцлер Шафиров начал читать манифест, который в тот же день должны были прочесть на Красной площади народу:

«Мы уповаем, что большей части верных подданных наших ведомо, с каким прилежанием и попечением мы сына своего перворожденного Алексея воспитать тщились. Но все сие радение ничто пользовало, и семя учения на камени пало, понеже не токмо одному оному не следовал, но и ненавидел, и ни к воинским, ни к гражданским делам никакой склонности не являл, упражняясь непрестанно в обхождении с непотребными и подлыми людьми, которые грубые и замерзелые обыкности имели».

Алексей почти не слушал. Он искал глазами глаз отца. Но тот смотрел мимо него неподвижным, непроницаемым взором.

«Притворство, диссимуляция! — успокаивал себя царевич.— Теперь, хоть ругай, хоть бей — знаю, что любишь!»

«И видя мы его упорность в тех непотребных поступках,— продолжал читать Шафиров,— объявили ему, что ежели он впредь следовать воле нашей не будет, то его

лишим наследства. И дали ему время на исправление. Но он, забыв страх и заповеди Божии, которые повелевают послушну быть и простым родителям, а не то что властелинам, заплатил нам за столь многие вышеобъявленные наши родительские о нем попечения и радения неслыханным неблагодарением. Ибо, когда по отъезде нашем для воинских действий в Дацкую землю оставили его в Санктпитербурге и потом писали к нему, чтоб он был к нам в Копенгаген для присутствия в компании военной и лучшего обучения, то он, сын наш, вместо того, чтоб к нам ехать,— забрав с собою деньги и некую жонку, с коей беззаконно свалялся, уехал и отдался под протекцию цесарскую. И объявляя многие на нас, яко родителя своего и государя, неправедные клеветы, просил цесаря, дабы его не токмо от нас скрыл, но и оборону свою вооруженною рукою дал против нас, аки некакого ему неприятеля и мучителя, от которого будто он чает пострадать смерть. И как тем своим поступком стыд и бесчестие пред всем светом нам и всему государству нашему учинил, то всяк может рассудить, ибо такого приклада и в историях сыскать трудно! И хотя он, сын наш, за все сии преступления достоин смерти, но мы, отеческим сердцем о нем соболезнуя, прощаем его и от всякого наказания освобождаем... Однакож...»

Прерывая чтение, раздался глухой, сиповатый и грозный голос Петра, полный таким гневом и скорбью, что вся церемония как будто исчезла, и все вдруг поняли ужас того, что совершается:

— Не могу такого наследника оставить, который бы растерял то, что чрез помощь Божию отец получил, и ниспроверг бы славу и честь народа Российского — к тому же и боясь Суда Божия — вручить такое правление, знав непотребного к тому! А ты...

Он посмотрел на царевича так, что у него сердце упало: ему показалось, что это уже не притворство.

— А ты помни: хотя и прощаю тебя, но ежели всей вины не объявишь и что укроешь, а потом явно будет, то на меня не пеняй: за сие пардон не в пардон. Казнен будешь смертью!

Алексей поднял было руки и весь потянулся к отцу, хотел что-то сказать, крикнуть,— но тот уже опять смотрел мимо него неподвижным непроницаемым взором. По знаку царя, Шафиров продолжал чтение:

«И тако мы, сожалея о государстве своем и верных подданных, властию отеческою и яко самодержавный госу-

дарь, лишаем его, сына своего Алексея, за те вины и преступления, наследства по нас престола Всероссийского, хотя б ни единой персоны нашей фамилии по нас не осталось. И определяем и объявляем помянутого престола наследником другого сына нашего, Петра, хотя еще и малолетна суща, ибо иного возрастного наследника не имеем. И заклинаем сына нашего родительскою нашею клятвою, дабы того наследства не искал. Желаем же от всех верных наших подданных и всего народа Российского, дабы по сему нашему изволению и определению, сего от нас назначенного в наследство наше сына нашего Петра за законного наследника признавали и почитали, и на сем обещанием пред святым алтарем, над святым Евангелием и целованием Креста утвердили. Всех же тех, кто сему нашему изволению в которое-нибудь время противны будут и сына нашего Алексея отныне за наследника почитать и ему в том вспомогать станут, изменниками нам и отечеству объявляем».

Царь встал, сошел с трона и велел присутствующим, не дожидаясь его, идти в Успенский собор для целования креста.

Когда все, кроме Толстого, Шафирова и нескольких других ближайших сановников, двинулись к выходу и зала опустела, Петр сказал ему:

— Ступай!

Они вместе прошли через сени столовой в Тайник Ответной палаты, откуда в старину московские цари, скрытые за тафтяными пологами, слушали совещания посольские. Это была маленькая комната, вроде кельи, с голыми стенами, со слюдяным оконцем, пропускавшим янтарно-желтый, как бы вечно-вечерний, свет. В углу, перед образом Спасителя с темным ликом в терновом венце и кротким скорбным взором, теплилась неугасимая лампада. Петр запер дверь и подошел к сыну.

Опять, как тогда в Неаполе, во время бреда, и намедни в Преображенском,— царевич весь дрожал непрерывною мелкою дрожью, точно в сильном ознобе. Но все еще надеялся: вот сейчас обнимет, приласкает, скажет, что любит — и все эти страхи кончатся уже навсегда.

«Знаю, что любишь! Знаю, что любишь!» — твердил про себя, как заклятие. Но все-таки сердце билось от ужаса.

Он опустил глаза и не смел их поднять, чувствуя на себе тяжелый, пристальный взор отца. Оба молчали. Было очень тихо.

— Слышал ли,— произнес наконец Петр,— что давеча перед всем народом объявлено — ежели что укроешь, то смерть?

— Слышал, батюшка.

— И ничего донести не имеешь к тому, что третьего дня объявил?

Царевич вспомнил о матери и опять почувствовал, что не предаст ее, хотя бы ему грозила смерть сейчас же.

— Ничего,— как будто не сам он, а кто-то за него проговорил чуть слышно.

— Так ничего? — повторил Петр.

Алексей молчал.

— Говори!..

У царевича в глазах темнело, ноги подкашивались. Но опять, как будто не сам он, а кто-то за него ответил:

— Ничего.

— Лжешь! — крикнул Петр, схватив его за плечо и сжав так, что казалось, раздробятся кости.— Лжешь! Утаил о матери, о тетках, о дяде, о Досифее Ростовском, обо всем гнезде их проклятом — корне злодейского бунта!..

— Кто тебе сказал, батюшка? — пролепетал царевич и взглянул на него в первый раз.

— Аль не правда? — посмотрел ему отец прямо в глаза.

Рука его все тяжелела, тяжелела. Вдруг царевич зашатался, как тростинка, под этой тяжестью и упал к ногам отца.

— Прости! Прости! Ведь матушка! Родная мне!..

Петр склонился к нему и занес кулаки над головой его с матерной бранью.

Алексей протянул руки, как будто защищаясь от смертельного удара, поднял взор и увидел над собой в таком же быстром, как намедни, но теперь уже обратном превращении оборотня, вместо родного лица, то, другое, чуждое, страшное, как мертвая маска — лицо зверя.

Он слабо вскрикнул и закрыл глаза руками.

Петр повернулся, чтобы уйти. Но царевич, услышав это движение отца, бросился к нему на коленках, ползком, как собака, которую бьют, и которая все-таки молит прощения,— припал к ногам его, обнял их, ухватился за них.

— Не уходи! Не уходи! Лучше убей!..

Петр хотел оттолкнуть его, освободиться. Но Алексей держал его, не пускал, цеплялся все крепче и крепче.

И от этих судорожно хватающих, цепляющихся рук пробегала по телу Петра леденящая дрожь того омерзения, которое он чувствовал всю жизнь к паукам, тараканам и всяким иным копошащимся гадам.

— Прочь, прочь, прочь! Убью! — кричал он в ярости, смешанной с ужасом.

Наконец, с отчаянным усилием, стряхнул его, отшвырнул, ударил ногой по лицу.

Царевич, с глухим стоном, упал ничком на пол, как мертвый.

Петр выбежал из комнаты, точно спасаясь от какого-то страшилища.

Когда он проходил мимо сановников, ожидавших его в Столовой палате, они поняли по лицу его, что случилось недоброе.

Он только крикнул:

— В собор.

И вышел.

Одни побежали за ним, другие — в том числе Толстой и Шафиров — в Тайник Ответной, к царевичу.

Он лежал по-прежнему ничком на полу, как мертвый.

Стали поднимать его, приводить в чувство. Члены не разгибались, как будто окоченели, сведенные судорогой. Но это не был обморок. Он дышал часто, глаза были открыты.

Наконец, подняли его, поставили на ноги. Хотели провести в соседнюю комнату, чтоб уложить на лавку. Он оглядывался мутным, словно невидящим, взором и бормотал, как будто старался припомнить:

— Что такое?.. Что такое?..

— Небось, небось, родимый! — успокаивал Толстой.— Дурно тебе стало. Упал, должно быть, ушибся. До свадьбы заживет. Испей водицы. Сейчас дохтур придет.

— Что такое?.. Что такое? — повторял царевич бессмысленно.

— Не доложить ли государю? — шепнул Толстой Шафирову.

Царевич услышал, обернулся, и вдруг бледное лицо его побагровело. Он весь затрясся и начал рвать на себе воротник рубашки, как будто задыхался.

— Какому государю? — в одно и то же время заплакал и засмеялся он таким диким плачем и смехом, что всем стало жутко.

— Какому государю? Дураки, дураки! Да разве не видите?.. Это не он! Не государь и не батюшка мне, а барабанщик, жид проклятый, Гришка Отрепьев, самозванец, оборотень! Осиновый кол ему в горло — и делу конец!..

Прибежал лейб-медик Арескин.

Толстой, за спиной царевича, указал сперва на него, потом на свой лоб: в уме-де царевич мешается.

Арескин усадил больного в кресло, пощупал ему пульс, дал понюхать спирта, заставил выпить успокоительных капель и хотел пустить кровь, но в это время пришел посланный и объявил, что царь ждет в соборе и требует к себе царевича немедленно.

— Доложи, что его высочеству неможется,— начал было Толстой.

— Не надо,— остановил его царевич, как будто очнувшись от глубокого сна.— Не надо. Я сейчас. Только отдохнуть минутку, и вина бы...

Подали венгерского. Он выпил с жадностью. Арескин положил ему на голову полотенце, смоченное холодной водой с уксусом.

Его оставили в покое. Все отошли в сторону, совещаясь, что делать.

Через несколько минут он сказал:

— Ну, теперь ничего. Прошло. Пойдем.

Ему помогли встать и повели под руки.

На свежем воздухе, при переходе из дворца в собор, он почти совсем оправился.

Но все же, когда проходил через толпу, все заметили его бледность.

На амвоне, перед открытыми царскими вратами, ожидал новопоставленный архиерей Псковский, Феофан Прокопович, в полном облачении, с крестом и Евангелием. Рядом стоял царь.

Алексей взошел на амвон, взял поданный Шафировым лист и стал читать слабым, чуть внятным голосом,— но было так тихо в толпе, что слышалось каждое слово:

«Я, нижеименованный, обещаю пред святым Евангелием, что, понеже я за преступление мое пред родителем моим и государем лишен наследства престола Российского, то ради признаваю то́ за праведно и клянусь всемогущим, в Троице славимым Богом и судом Его той воли родительской во всем повиноваться и наследства того никогда не искать и не желать, и не принимать ни под каким предлогом. И признаваю за истинного наследника брата моего, царевича Петра Петровича. И на том целую святый крест и подписуюсь собственною моею рукою».

Он поцеловал крест и подписал отречение.

В это же самое время читали манифест народу.

III

Петр через Толстого передал сыну «вопросные пункты». Царевич должен был ответить на них письменно. Толстой советовал ему не скрывать ничего, так как царь, будто бы, уже знает все и требует от него только подтверждения.

— От кого батюшка знает? — спрашивал царевич.

Толстой долго не хотел говорить. Но, наконец, прочел ему указ, пока еще тайный, но впоследствии, при учреждении Духовной Коллегии — Святейшего Синода, объявленный:

«Ежели кто на исповеди духовному отцу своему некое злое и нераскаянное умышление на честь и здравие государево, наипаче же измену или бунт объявит, то должен духовник донести вскоре о том, где надлежит, в Преображенский приказ, или Тайную канцелярию. Ибо сим объявлением не порокуется исповедь и духовник не преступает правил евангельских, но еще исполняет учение Христово: обличи брата, аще же не послушает, повеждь церкви. Когда уже так о братнем согрешении Господь повелевает, то кольми паче о злодейственном на государя умышлении».

Выслушав указ, царевич встал из-за стола — они разговаривали с Толстым наедине за ужином — и, точно так же, как намедни во время припадка в тайнике Ответной палаты, бледное лицо его вдруг побагровело. Он посмотрел на Толстого так, что тот испугался и подумал, что с ним опять припадок. Но на этот раз кончилось благополучно. Царевич успокоился и как будто задумался.

В течение нескольких дней не выходил он из этой задумчивости. Когда с ним заговаривали, глядел рассеянно, как будто не совсем понимал, о чем говорят, и весь как-то внезапно осунулся — стал как не живой, по слову Толстого. Написал, однако, точный ответ на вопросные пункты и подтвердил все, что сказал на исповеди, хотя предчувствовал, что это бесполезно, и что отец ничему не поверит.

Алексей понял, что о. Варлаам нарушил тайну исповеди,— и вспомнил слова св. Дмитрия Ростовского:

«Если бы какой государь или суд гражданский повелел и силой понуждал иерея открыть грех духовного сына и если бы мукой и смертью грозил, иерей должен умереть, паче и мученическим венцом венчаться, нежели печать исповеди отрешить».

Вспомнились ему также слова одного раскольничьего старца, с которым он беседовал однажды в глуши новго-

родских лесов, где рубил сосну на скампавеи, по указу батюшки:

«Благодати Божией нет ныне ни в церквах, ни в попах, ни в таинствах, ни в чтении, ни в пении, ни в иконах и ни в какой вещи,— все взято на небо. Кто Бога боится тот в церковь не ходит. Знаешь ли, чему подобен агнец вашего причастия? Разумей, что говорю: подобен псу мертву, поверженну на стогнах града. Как причастился,— только и житья тому человеку — умер бедный! Таково-то причастие ваше емко, что мышьяк аль сулема — во вся кости и мозги пробежит скоро, до самой души лукавой промчит — отдыхай-ка после в геене огненной да в пекле горящем стони, яко Каин, необратный грешник!»

Слова эти, которые тогда казались царевичу пустыми, теперь приобрели вдруг страшную силу. Что, в самом деле, если мерзость запустения стала на месте святом — церковь от Христа отступила, и Антихрист в ней царствует?

Но кто же Антихрист?

Тут начинался бред.

Образ отца двоился: как бы в мгновенном превращении оборотня, царевич видел два лица — одно доброе, милое, лицо родимого батюшки, другое — чуждое, страшное, как мертвая маска — лицо зверя. И всего страшнее было то, что не знал он, какое из этих двух лиц настоящее — отца или зверя? Отец ли становится зверем или зверь отцом? И такой ужас овладел им, что ему казалось, он сходит с ума.

В это время в застенках Преображенского приказа шел розыск.

На следующий день после объявления манифеста, 4-го февраля, поскакали курьеры в Петербург и Суздаль, с повелением привезти в Москву всех, на кого донес царевич.

В Петербурге схватили Александра Кикина, царевичева камердинера Ивана Афанасьева. учителя Никифора Вяземского и многих других.

Кикин, по дороге в Москву, пытался задушить себя кандалами, но ему помешали.

На допросе под пыткою он показал на князя Василия Долгорукого, как на главного советника Алексея.

«Взят я из С.-Питербурха нечаянно,— рассказывал впоследствии сам князь Василий,— и повезен в Москву окован, от чего был в великой десперации [1] и беспамятстве, и привезен в Преображенское, и отдан под крепкий

---

[1] Отчаяние (лат. desperatio).

арест, и потом приведен на Генеральный двор пред царское величество, и был в том же страхе, видя, что слова, написанные на меня царевичем, приняты за великую противность».

За князя Василия заступился родственник его, князь Яков Долгорукий.

«Помилуй, государь,— писал он царю.— Да не снидем в старости нашей во гроб с именем рода злодеев, которое может не токмо отнять доброе имя, но и безвременно вервь живота пресечь. И паки вопию: помилуй, помилуй, премилосердый!»

Тень подозрения пала и на самого князя Якова. Кикин показал, что Долгорукий советовал царевичу не ездить к отцу в Копенгаген.

Петр не тронул старика, но пригрозил ему так, что князь Яков счел нужным напомнить царю свою прежнюю верную службу: «за что мне ныне в воздаяние обещана, как я слышу, лютая на коле смерть», заключал он с горечью.

Еще раз почувствовал Петр свое одиночество. Ежели и праведный князь Яков — изменник, то кому же верить?

Капитан-поручик Григорий Скорняков-Писарев привез в Москву из Суздаля бывшую царицу Авдотью, инокиню Елену. Она писала с дороги царю:

«Всемилостивейший государь!

В прошлых годах, а в котором, не помню, по обещанию своему, пострижена я в Суздальском Покровском монастыре в старицы, и наречено мне имя Елена. И по пострижении, в иноческом платье ходила с полгода; и не восхотя быть инокою, оставя монашество и скинув платье, жила в том монастыре скрытно, под видом иночества, мирянкою. И то мое скрытье объявилось чрез Григорья Писарева. И ныне я надеюсь на человеколюбные вашего величества щедроты. Припадая к ногам вашим, прошу милосердия, того моего преступления о прощении, чтоб мне безгодною смертью не умереть. А я обещаюся по-прежнему быть инокою и пребыть во иночестве до смерти своей и буду молить Бога за тебя, государя.

Вашего величества нижайшая раба

бывшая жена ваша Авдотья».

Того же монастыря старица-казначея Маремьяна показала:

— Мы не смели говорить царице, для чего платье сняла? Она многажды говаривала: «все-де наше, государево;

и государь за мать свою что воздал стрельцам, ведь вы знаете; а и сын мой из пеленок вывалялся!» Да как был в Суздале для набора солдат майор Степан Глебов, царица его к себе в келью пускала: запершися говаривали между собою, а меня отсылали телогрей кроить в свою келью, и дав гривну, велят идтить молебны петь. И как являл себя Глебов дерзновенно, то я ему говаривала: «что ты ломаешься? народы знают!» И царица меня за то бранила: «черт тебя спрашивает? Уж ты и за мною примечать стала». И другие мне говорили: «что ты царицу прогневала?» Да он же, Степан, хаживал к ней по ночам, о чем сказывали мне дневальный слуга, да карлица Агафья: «мимо нас Глебов проходит, а мы не смеем и тронуться».

Старица Каптелина призналась:

— К ней, царице-старице Елене, езживал по вечерам Глебов и с нею целовался и обнимался. Я тогда выхаживала вон. Письма любовные от Глебова я принимала.

Сам Глебов показал кратко:

— Сшелся я с нею, бывшею царицею, в любовь и жил с нею блудно.

Во всем остальном заперся. Его пытали страшно: секли, жгли, морозили, ломали ребра, рвали тело клещами, сажали на доску, убитую гвоздями, водили босого по деревянным кольям, так что ноги начали гнить. Но он перенес все муки и никого не выдал, ни в чем не признался.

Бывшая царица показала: «Февраля в 21 день я, старица Елена, привожена на Генеральный двор и со Степаном Глебовым на очной ставке сказала, что я с ним блудно жила, и в том я виновата. Писала своею рукою — Елена».

Это признание царь намерен был впоследствии объявить в манифесте народу.

Царица показала также:

— Монашеское платье скинула потому, что епископ Досифей пророчествовал, говорил о гласах от образов и о многих видениях, что будет гнев Божий и смущение в народе, и государь скоро умрет, и она-де, царица, впредь царствовать будет, вместе с царевичем.

Схватили Досифея, обнажили от архиерейского сана соборне и назвали расстригою Демидом.

— Только я один в сем деле попался,— говорил Досифей на соборе.— Посмотрите и у всех что на сердцах? Извольте пустить уши в народ — что говорят!

Расстрига Демид в застенке подыман и спрашиван: «для чего желал царскому величеству смерти?» — «Желал для того, чтоб царевичу Алексею Петровичу на царстве

быть, и было бы народу легче, и строение С.-Питербурха умалилось бы и престало»,— отвечал Демид.

Он донес на брата царицы, дядю царевича, Авраама Лопухина. Его тоже схватили и пытали на очной ставке с Демидом. Лопухину дано 15 ударов, Демиду 19. Оба признались, что желали смерти государю и воцарения царевичу.

Показал Демид и на царевну Марью, сестру государя. Царевна говорила: «Когда государя не будет, я-де царевичу рада о народе помогать, сколько силы будет, и управлять государство». Да она же говорила: «Для чего вы, архиереи, за то не стоите, что государь от живой жены на другой женился? Или бы-де взял бывшую царицу и с нею жил, или бы умер!» И когда, по присяге Петру Петровичу, он, расстрига Демид, приехал из собора к ней, царевне Марье, она говорила: «Напрасно-де государь так учинил, что большего сына оставил, а меньшего произвел; он только двух лет, а тот уже в возрасте».

Царевна заперлась; но когда ее привели в застенок на очную ставку с Демидом, созналась во всем.

Розыск длился более месяца. Почти каждый день присутствовал Петр в застенках, следил за пытками, иногда сам пытал. Но, несмотря на все усилия, не находил главного, чего искал,— настоящего дела, «корня злодейского бунта». Как в показаниях царевича, так и всех прочих свидетелей, никакого дела не было, а были только слова, слухи, сплетни, бред кликуш, юродивых, шушуканье полоумных стариков и старух по монастырским углам.

Иногда он смутно чувствовал, что лучше бы все это бросить, плюнуть на все, презреть — простить. Но уже не мог остановиться и предвидел, что один конец всему — смерть сына.

Все это время царевич жил под караулом во дворце Преображенском, рядом с Генеральным двором и застенками. Днем и ночью слышались или чудились ему вопли пытаемых. Постоянно водили его на очные ставки. Ужаснее всего была встреча с матерью. До царевича дошли слухи, будто бы отец собственноручно сек ее кнутом.

Почти каждый день к вечеру Алексей бывал пьян до бесчувствия. Лейб-медик Арескин предсказывал ему белую горячку. Но, когда переставал он пить, на него нападала такая тоска, что нельзя было вынести, и он опять спешил напиться. Арескин предупреждал и государя о болезни, грозящей царевичу. Но Петр ответил:

— Сопьется, околеет — туда ему и дорога. Собаке собачья смерть!

Впрочем, в последнее время и водка уже не давала царевичу забвения, а лишь заменяла страшную действительность еще более страшными снами. Не только ночью во сне, но и наяву, среди белого дня, мучили видения. Он жил двумя жизнями — действительной и призрачной; и они перемежались, перепутывались, так что не умел он отличить одну от другой, не знал, что было во сне, что наяву.

То снилось ему, будто бы в застенке отец сечет мать; он слышит свист кнута в воздухе и гнусное, как будто мокрое шлепанье ударов по голому телу; видит, как ложатся, одна за другой, темно-багровые полосы на это бледное-бледное тело, и, отвечая на страшный крик матери еще более страшным криком, падает мертвый.

То, будто бы, решив отомстить отцу за мать, за себя и за всех, просыпается ночью в постели, достает из-под подушки бритву, встает в одной рубахе, крадется по темным переходам дворца; перешагнув через спящего на пороге денщика, входит в спальню отца, наклоняется над ним, нащупывает горло и режет, и чувствует, что кровь у него холодная, как сукровица мертвых тел; в ужасе бросает недорезанного и бежит без оглядки.

То, будто бы, вспомнив слова Писания об Иуде Предателе: *пошел и удавился*,— пробирается в чулан под лестницей, где свален всякий хлам. становится на сломанный трехногий стул, подперев его опрокинутым ящиком, снимает с крюка на потолке веревку, на которой висит фонарь, делает петлю, накидывает ее на шею и перед тем, чтобы оттолкнуть ногою стул, хочет перекреститься, но не может, рука не подымается — и вдруг, откуда ни возьмись, большой черный кот прыгает ему под ноги. ластится, трется, мурлычет, выгибает спину; и, став на задние лапы, передние кладет ему на плечи — и это уже не кот, а исполинский зверь. И царевич узнает в звериной морде лицо человечье — широкоскулое, пучеглазое, с усами торчком, как у «Кота-котабрыса». И хочет вырваться из лап его. Но зверь, повалив его, играет с ним, как кошка с мышью, то схватит, то выпустит и ласкает, и царапает. И вдруг впивается когтями в сердце. И он узнает того, о ком сказано: «Поклонились Зверю, говоря: кто подобен Зверю сему и кто может сразиться с ним?»

IV

В Воскресение Православия, 2 марта, совершал богослужение в Успенском соборе новопоставленный архиерей Псковский, Феофан Прокопович.

В собор пускали только знатных и чиновных лиц.

У одного из четырех исполинских столбов, поддерживавших свод, покрытых иконописными темными ликами по тусклому золоту, под шатровой синью, где молились древние московские цари, стоял Петр. Рядом с ним Алексей.

Глядя на Феофана, царевич вспомнил то, что слышал о нем.

Феофан заменил Федоску, главного администратора дел духовных, который устарел и в последнее время все чаще впадал в «меланколию». Это он, Феофан, сочинил указ, повелевавший доносить о преступлениях государственных, открытых на исповеди. Он же составлял Духовный Регламент, по коему имел учрежден быть Святейший Синод.

Царевич с любопытством вглядывался в нового архиерея.

Родом *черкас* — малоросс, лет тридцати восьми, полнокровный, с лоснящимся лицом, лоснящейся черной бородой и большими лоснящимися черными усами, он походил на огромного жука. Усмехаясь, шевелил усами, как жук. По одной этой усмешке видно было, что он любит скоромные латинские шуточки — фацетии Поджо не менее, чем жирные галушки, и острую диалектику не менее, чем добрую горилку. Несмотря на святительскую важность, в каждой черточке лица его так и дрожало, так и бегало, как живчик, что-то слишком веселое, точно пьяное: он был пьян собственным умом своим, этот румянорожий Силен в архиерейской рясе. «О, главо, главо, разума упившись, куда ся преклонишь?» говаривал в минуты откровенности.

И царевич дивился удивлением великим, как сказано в Апокалипсисе, думая о том, что этот бродяга, беглый униат, римского костела присягатель, ученик сперва иезуитов, а потом протестантов и безбожных философов, может быть и сам безбожник, сочиняет Духовный Регламент, от которого зависят судьбы русской церкви.

По возглашении соборным протодиаконом обычной в Воскресение Православия анафемы всем еретикам и отступникам, от Ария до Гришки Отрепьева и Мазепы, архиерей взошел на амвон и сказал слово *О власти и чести царской.*

В слове этом доказывалось то, что должно было сделаться краеугольным камнем Святейшего Синода: государь глава церкви.

Вопиет учитель народов, апостол Павел: *несть бо власть аще не от Бога; сущия же власти от Бога учинены суть. Тем же противляяйся власти, Божию повелению про-*

тивляется. Дивная воистину вещь! Сказал бы, что от самих государей послан был Павел на проповедь, так прилежно увещевает, как бы молотом толчет, тоже паки и паки повторяет: от Бога, от Бога власть. Молю всякого рассудить: что бы мог сказать больше самый верный министр царский? Приложим же еще учению сему, как бы венец, имена и титлы властям высоким приличные, которые паче украшают царей, нежели порфиры и диадимы. Какие же титлы? какие имена? *Богами* и *Христами* самодержцы нарицаются. За власть от Бога данную *богами*, сиесть наместниками Божиими на земле наречены. Другое же имя — *Христос*, сиесть, *Помазанный*,— глаголется от древней оной церемонии, когда елеем помазаны были цари. И апостол Павел говорит: *раби, послушайте господий своих, якоже и Христа.* Се, господ со Христом равняет апостол. Но что весьма удивляет нас и как бы адамантовою бронею истину сию утверждает,— того преминуть не можем: не только добрым, но и злым и неверным, и нечестивым властям повиноваться велит Писание. Ведомо всякому апостола Петра слово: *Бога бойтеся, Царя чтите. Раби, повинуйтеся во всяком страхе владыкам, не точию благим и кротким, но и строптивым.* И Давид пророк, сам царь, царя Саула, от Бога отверженного, нечестивого, *Христом Господним* нарицает. *Яко,* рече, *Христос Господень есть.* Но, скажешь: каков бы ни был Саул, однако, явным повелением Божиим на царство помазан, и того ради той чести сподобился. Добро! Но скажи, кто был Кир Персидский, кто Навуходоносор Вавилонский? Однако же, нарицает их сам Бог у пророков помазанниками Своими, сиречь, по слову Давидову, *Христами Господними.* Кто Нерон, римский кесарь? Однако же, учит апостол Петр повиноваться и ему, лютому христиан мучителю, яко Помазаннику, *Христу Господню.* Остается единое сумнительство: что не все-де люди сею должностью повиновения царям обязаны суть, но некие выключаются, именно священство и монашество. Се терн, или паче жало, жало змеино! Папежский се дух! Ибо священство иной чин есть в народе, а не иное царство. И как одно дело — воинству, другое — гражданству, и врачам, и купцам, и мастерам различным, так и пастыри, и все духовные имеют собственное дело свое — быть служителями Божиими, однако же, покорены суть властям державным. В церкви ветхозаветной левиты царям израильским подчинены были во всем. Если же так в Ветхом, почто и не в Новом завете? Ибо закон о властях непременный и вечный, с пребыванием мира сего пребывающий.

И, наконец, вывод:

— Все люди Российского царства, не только мирские, но и духовные, да имеют имя самодержца своего, благочестивейшего государя Петра Алексеевича, яко главы своей и отца отечества, и Христа Господня!

Последние слова произнес он громким голосом, глядя прямо в лицо государю и подняв правую руку к своду собора, где на тусклом золоте темнел Лик Христа.

И опять царевич дивился удивлением великим.

Ежели, думал он, все цари, даже отступники от Бога, суть Христы Господни, то кто же последний и величайший из них, грядущий царь земли — Антихрист?

Кощунство это произносилось архиереем православной церкви в древнейшем соборе Москвы, перед царем и народом. Казалось бы, земля должна, раскрывшись, поглотить богохульника, или попалить его огонь небесный.

Но все было спокойно. За косыми снопами лучей, за голубыми волнами дыма кадильного, в глубине свода, исполинский Лик Христов как будто возносился от земли, недосягаемый.

Царевич взглянул на отца. Он был тоже спокоен и слушал с благоговейным вниманием.

Поощренный этим вниманием, Феофан заключил торжественно:

— Благодушествуй, Россия! Величься, хвалися! Да взыграют все пределы и грады твои: се бо на твоем оризонте, аки светозарное солнце, восходит пресветлейшего сына царева, трехлетнего младенца, Богом избранного наследника, Петра Петровича, слава! Да здравствует всерадостно, да царствует благополучно Петр Вторый, Петр Благословенный! Аминь.

Когда Феофан умолк, из толпы раздался голос, не громкий, но внятный:

— Боже, спаси, сохрани и помилуй единого истинного наследника престола всероссийского, благочестивейшего государя царевича Алексея Петровича!

Толпа, как один человек, дрогнула и замерла от ужаса. Потом зашумела, заволновалась:

— Кто это? Кто это?

— Полоумный, что ль?

— Кликуша, чай, бесноватый.

— Чего караульные смотрят? Как впустили?

— Схватить бы скорей, а то уйдет — в толпе не сыщешь...

В дальних концах собора, где ничего не было видно и слышно, распространялись нелепые слухи:

— Бунт! Бунт!

— Пожар! В алтаре загорелось!

— С ножом человека поймали: царя убить хотел!

И тревога все увеличивалась.

Не обращая на нее внимания, Петр подошел к архиерею, приложился ко кресту и, вернувшись на прежнее место, велел привести к себе человека, кричавшего «слова неистовые».

Капитан Скорняков-Писарев и два караульные сержанта подвели к царю маленького худенького старичка.

Старичок подал царю бумагу — печатный лист присяги новому наследнику. Внизу, на месте, оставленном для подписи, что-то было написано тесным крючковатым приказным почерком.

Петр взглянул на бумагу, потом опять на старичка и спросил:

— Ты кто?

— Артиллерийского приказа бывший подьячий Ларивон Докукин.

Стоявший рядом царевич посмотрел на него и узнал тотчас: это был тот самый Докукин, которого весною 1715 года встретил он в Петербурге, в Симеоновской церкви, и который потом в день праздника Венус в Летнем саду приходил к нему на дом.

Он был все тот же: обыкновенный подьячий из тех, которых зовут чернильными душами, приказными строками — весь жесткий, точно окаменелый, тусклый, серый, как те бумаги, над которыми корпел он в своем приказе лет тридцать, пока не выгнали его по фискальному доношению о взятках. Только в самой глубине глаз светилась, так же как тогда, три года назад, неподвижная мысль.

Докукин тоже взглянул на царевича украдкою, и что-то промелькнуло в жестких чертах старика, что вдруг напомнило Алексею, как Докукин молил его порадеть за веру христианскую, и плакал, и обнимал ему ноги, и называл его надеждою российскою.

— Присягать не хочешь? — проговорил Петр спокойно, как будто с удивлением.

Докукин, глядя царю прямо в глаза, тем же, как давеча, голосом, не громким, но внятным, так что слышно было по всему собору, повторил наизусть то, что написано было его рукой на печатном листе:

— «За неповинное отлучение и изгнание от престола

всероссийского единого истинного наследника, Богом хранимого государя Алексея Петровича не присягаю и на том пресвятым Евангелием не клянусь, и животворящего Креста не целую, и наследника царевича Петра Петровича за истинного не признаваю. Хотя за то и царский гнев на мя прозлиется, буди в том воля Господа Бога моего, Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь».

Петр посмотрел на него еще с большим удивлением.

— А знаешь ли, что за такую противность воле нашей — смерть?

— Знаю, государь. С тем и пришел, чтобы пострадать за слово Христово,— ответил Докукин просто.

— Ну, храбрый же ты, старик. Да погоди, то ли ужо запоешь, как вздерну на дыбу!..

Докукин молча поднял руку и перекрестился широким крестом.

— Слышал ли,— продолжал царь,— что архиерей говорил о повиновении властям предержащим? *Несть бо власть аще не от Бога...*

— Слышал, государь. От Бога всякая власть, а что не от Бога, то и не власть. Называть же царей нечестивейших, Антихристов Христами Господними не подобает, и за такое слово язык бы вырвать изрекшему!

— Да ты и меня, что ль, почитаешь Антихристом? — спросил Петр, с едва уловимою, печальною и почти доброю усмешкою.— Говори правду!

Старик потупился было, но тотчас же поднял взор и опять посмотрел царю прямо в глаза.

— Благочестивейшим православным царем и самодержцем всероссийским, помазанником Божиим тебя почитаю,— произнес он твердо.

— А коли так, слушался бы воли нашей да молчал бы.

— Царь-государь, ваше величество! Ин и хотел бы молчать, да невозможное дело — горит во утробе моей, яко пламя палит, понеже совесть нудит — претерпеть не могу... Ежели нам умолчать, то камни возопиют!

Он упал к ногам царя.

— Государь, Петр Алексеевич, батюшка, послушай нас, бедных, вопиющих к тебе! Преложить или применить ничего мы не смеем, но как родители твои и прародители, и святейшие патриархи спасалися, так и мы хотим спастися и горняго Иерусалима достигнуть. Бога ради истинного, взыщи истины. Крови ради Христовой, взыщи истины! Своего ради спасения, взыщи истины! Умири церковь святую, матерь твою. Рассуди нас без гнева и ярости. Помилуй народ свой, помилуй царевича!..

Петр слушал сперва со вниманием и даже с любопытством, как будто стараясь понять. Но потом отвернулся, пожимая плечами со скукой.

— Ну, будет. Не переслушаешь тебя, старик. Мало я, видно, вас, дураков, казнил да вешал. И чего вы лезете? Какого вам рожна? Аль думаете, меньше вашего я церковь Божию чту и во Христа, Спасителя моего, верую? И кто поставил вас, рабов, судить между царем и Богом? Как дерзаете?

Докукин встал и поднял взор к темному Лику в своде собора. Упавший оттуда луч солнца окружил сияющим венцом седую голову.

— Как дерзаем, царь? — воскликнул он громким голосом.— Слушай, ваше величество! Божественное писание глаголет: что есть человек, что помнишь его, Господи, или сын человеческий, что посещаешь его? Умалил его малым чем от ангелов, славою и честью венчал его, поставил над делами рук Твоих, все покорил ему под ноги его. И самовластну повелено человеку быть!..

Медленно, как будто с усилием, Петр отвел глаза от глаз Докукина,— уходя, повернулся к стоявшему рядом Толстому и произнес:

— Взять в приказ, держать за крепким караулом до розыску.

Старика схватили. Он отбивался и кричал, все еще порываясь что-то сказать. Его связали, подняли на руки и понесли.

— О, таинственные мученики, не ужасайтесь и не отчаивайтесь! — продолжал он кричать, глядя на царевича.— Потерпите, мало еще потерпите, Господи Иисусе! Аминь!

Царевич смотрел и слушал, весь бледный, дрожащий.

«Вот как нужно, вот как нужно!» — думал он, словно только теперь вдруг понял всю свою жизнь, и точно все перевернулось, опрокинулось в душе его: то, что было тяжестью, сделалось крыльями. Он знал, что опять впадет в слабость, уныние, отчаяние; но также знал, что не забудет того, что понял.

И он, как Докукин, поднял взор к темному Лику в своде собора. И почудилось ему, что в косых лучах солнца, в голубых волнах дыма кадильного этот исполинский Лик движется, но уже не уходит прочь от земли, как давеча, а спускается, сходит с неба на землю, и что это сам Господь грядет.

И с радостью, подобной ужасу, повторял он:

— Ей, гряди, Господи Иисусе! Аминь.

V

Московский розыск окончен был к 15 марта. Приговором царя и министров на Генеральном дворе в Преображенском решена участь обвиняемых.

Царицу-инокиню Елену отправить в Старую Ладогу в девичий монастырь, а царевну Марью в Шлиссельбург; держать обеих под крепким караулом. Авраама Лопухина — в С.-Петербург, в Петропавловскую крепость до нового розыска. Прочих казнить.

В тот же день утром на Красной площади, у Лобного места, начались казни. Накануне железные спицы, на которых торчали в течение двадцати лет головы стрельцов, обезглавленных в 1698 году, очистили, для того, чтобы воткнуть новые головы.

Степана Глебова посадили на кол. Железный кол через затылок вышел наружу. Внизу была дощечка для сиденья. Чтоб не замерз и мучился долее, на него надели меховое платье и шапку. Три духовника сторожили по очереди днем и ночью, не откроет ли он чего-нибудь перед смертью. «И с того времени,— доносил один из них,— как посажен Степка на кол, никакого покаяния им, учителям, не принес; только просил в ночи тайно через иеромонаха Маркелла, чтобы он сподобил его св. Таин, как бы он мог принести к нему каким образом тайно; и в том душу свою испроверг, марта против 16 числа, по полунощи в 8 часу, во второй четверти».

Архиерея Ростовского, расстригу Демида колесовали. Рассказывали, будто бы секретарь, которому поручена была казнь, ошибся: вместо того, чтобы отрубить голову, а труп сжечь, колесовал архиерея.

Кикина также колесовали. Мучения его были медленны, с промежутками: ломали руки и ноги, одну за другою; пытка длилась более суток. Жесточайшее страдание было оттого, что туго привязанный к колесу, не мог пошевелиться ни одним членом, только стонал и охал, умоляя о смерти. Рассказывали также, будто бы на другой день царь, проезжая мимо Кикина, наклонился к нему и сказал: «Александр, ты человек умный. Как же дерзнул на такое дело?» — «Ум любит простор; а от тебя ему тесно»,— ответил, будто бы, Кикин.

Третьим колесован духовник царицы, ключарь Федор Пустынный, за то, что свел ее с Глебовым.

Кого не казнили смертью, тем резали носы, языки, рвали ноздри. Многих, которые только слышали о постри-

жении царицы и видели ее в мирском платье, велено «бить батоги нещадно».

На площади поставлен четырехугольный столп из белого камня, вышиною в шесть локтей, с железными по бокам спицами; на них воткнуты головы казненных; на вершине столпа — широкий плоский камень; на нем трупы; между ними — Глебов, как бы сидящий в кругу сообщников.

Царевич должен был присутствовать при всех этих казнях.

Последним колесован Ларион Докукин. На колесе объявил, что имеет нечто открыть государю; снят с колеса и привезен в Преображенское. Когда царь подошел к нему, он был уже в предсмертном бреду, лепетал что-то невнятное о Христе Грядущем. Потом как будто пришел в себя на мгновение, посмотрел в глаза царю пристально и сказал:

— Ежели, государь, казнишь сына, то падет сия кровь на весь твой род, от главы на главу, до последних царей. Помилуй царевича, помилуй Россию!

Петр молча отошел от него и велел отрубить ему голову.

На другой день после казней, накануне отъезда царя в Петербург, назначено было в Преображенском «нощеденствие» всепьянейшего собора.

В эти кровавые дни, так же, как во время стрелецких казней и как вообще в самые черные дни своей жизни, Петр усерднее, чем когда-либо, занимался шутовским собором. Как будто нарочно оглушал себя смехом.

Недавно был избран на место покойного Никиты Зотова новый князь-папа, Петр Иванович Бутурлин, бывший «Санкт-Петербурхский митрополит». Избрание «Бахусоподражительного отца» совершилось в Петербурге, рукоположение в Москве, перед самым приездом царевича.

Теперь, в Преображенском, предстояло облачение новоизбранного папы в ризы и митру — шутовское подобие облачения патриаршего.

Царь нашел время среди Московского розыска сам сочинить и расписать весь чин церемонии.

«Нощеденствие» происходило в обширной бревенчатой, обитой алыми сукнами, освещенной восковыми свечами палате, рядом с Генеральным двором и пыточным застенком. Узкие длинные столы расположены были подковою; среди них — возвышение со ступенями, на которых сидели жрецы-кардиналы и другие члены собора; под бархатным пологом — трон из бочек, уставленный сверху донизу стеклянными шкаликами и бутылками.

Когда все собрались, ключарь и кардинал-протодиакон — сам царь — ввели торжественно под руки новоизбранного папу. Перед ним несли две фляги с «вином пьянственнейшим», одну — позолоченную, другую — посеребренную, и два блюда, одно — с огурцами, другое — с капустою, а также непристойные иконы голого Бахуса. Князь-папа, трижды кланяясь князю-кесарю и кардиналам, поднес его величеству дары — фляги и блюда.

Архижрец спросил папу:

— Зачем, брате, пришел и чего от нашей немерности просишь?

— Еже облеченным быть в ризы отца нашего Бахуса,— отвечал папа.

— Как содержишь закон Бахусов и во оном подвизаешься?

— Ей, всепьянейший отче! Возставь поутру, еще тьме сущей и свету едва являющуюся, а иногда и о полунощи, слив две-три чарки, испиваю и остальное время дня не туне, но сим же образом препровождаю, разными питиями чрево свое, яко бочку, добре наполняю, так что иногда и яства мимо рта моего ношу от дрожания десницы и предстоящей в очах моих мглы; и так всегда творю и учить мне врученных обещаюсь, инако же мудрствующих отвергаю и яко чуждых, анафематствую всех пьяноборцев. Аминь.

Архижрец возгласил:

— Пьянство Бахусово да будет с тобою, затмевающее и дрожащее, и валяющее, и безумствующее, во все дни жизни твоей!

Кардиналы возвели папу на амвон и облачили его в ризы — шутовское подобие саккоса, омофора, эпитрахили, набедренника с вышитыми изображениями игральных костей, карт, бутылок, табачных трубок, голой Венус и голого Еремки — Эроса. На шею надели ему, вместо панагии, глиняные фляги с колокольчиками. Вручили книгу-погребец со склянками различных водок, и крест из чубуков. Помазали крепким вином голову и около очей «образом круга»:

— Так да будет кружиться ум твой, и такие круги разными видами да предстанут очам твоим от сего дня во все дни живота твоего!

Помазали также обе руки и четыре пальца, которыми чарка приемлется:

— Так да будут дрожать руки твои во все дни жизни твоей!

В заключение архижрец возложил ему на голову жестяную митру:

— Венец мглы Бахусовой да будет на главе твоей! Венчаю аз пьяный сего нетрезвого —

Во имя всех пьяниц,
Во имя всех стекляниц,
Во имя всех дураков,
Во имя всех шутов,
Во имя всех вин,
Во имя всех пив,
Во имя всех бочек,
Во имя всех ведер,
Во имя всех табаков,
Во имя всех кабаков —
Яко жилища отца нашего Бахуса.
Аминь!

Возгласили:

— Аксиос! Достоин!

Потом усадили папу на трон из бочек. Над самой головой его висел маленький серебряный Вакх верхом на бочке. Наклонив ее, папа мог цедить водку в стакан или даже прямо в рот.

Не только члены собора, но и все прочие гости подходили к его святейшеству по очереди, кланялись ему в ноги, принимали, вместо благословения, удар по голове свиным пузырем, обмоченным в водке, и причащались из огромной деревянной ложки перцовкою.

Жрецы пели хором:

— О, честнейший отче Бахус, от сожженной Семелы рожденный, в Юпитеровом недре взрощенный, изжатель виноградного веселия! Просим тя со всем сим пьянейшим собором: умножи и настави стопы князя — папы вселенского, во еже тещи вслед тебе. И ты, всеславнейшая Венус...

Следовали непристойные слова.

Наконец, сели за стол. Против князя-папы Феофан Прокопович, рядом с ним Петр, тут же Федоска, против Петра царевич.

Царь заговорил с Феофаном про только что полученные вести о многотысячных самосожжениях раскольников в лесах Керженских и Чернораменских за Волгою. Пьяные песни и крики шутов мешали беседе.

Тогда, по знаку царя, жрецы прервали песнь Бахусу, все притихли и в этой внезапно наступившей тишине раздался голос Феофана:

— О, окаянные сумасброды, неистовые страдальцы! Ненасытною похотью жаждут мучения, волей себя переда-

ют сожжению, мужественно в пропасть адскую летят и другим путь показуют. Мало таких называть бешеными: есть некое зло, равного себе не имеющее имени! Да отвержет их всяк и поплюет на них...

— Что же делать? — спросил Петр.

— Объяснить надлежит увещанием, ваше величество, что не всякое страдание, но только законно бываемое богоугодно есть. Ибо не просто глаголет Господь: *блаженны изгнанные*, но: *блаженны изгнанные правды ради*. Такового же, правды ради, гонения никогда в Российском, яко православном, государстве опасаться не подобает, понеже то и быть не может...

— Увещания! — злобно ухмыльнулся опальный Федоска.— Проймешь их, небось, увещаниями! Сокрушить бы челюсти отступникам! Ибо, ежели в церкви ветхозаветной повелено убивать непокорных, тем паче в новой благодати — понеже там образы, здесь же истина. Самим еретикам полезно умереть, и благодеянье им есть, когда их убивают: чем более живут, тем более согрешают, множайшие прелести изобретают, множайших развращают. А руками убить грешника, или молитвою — едино есть.

— Не подобает сего,— возразил Феофан спокойно, не глядя на Федоску.— Таковыми лютостями более раздражается, нежели преклоняется сердце мучимых. Обращать должно к церкви святой не страхом и принуждением, но прямой евангельской любви проповеданием.

— Истинно так,— согласился Петр.— Совести человеческой приневоливать не желаем и охотно оставляем каждому пещись о блаженстве души своей. По мне, пусть веруют, чему хотят, и если уж нельзя обратить их рассудком, то, конечно, не пособят ни меч, ни огонь. А за глупость мучениками быть — ни они той чести, ни государство пользы не будет иметь.

— Потихоньку да полегоньку — глядишь, все и уладится,— подхватил Феофан.

— Однако же,— прибавил он вполголоса, наклонившись к царю,— постановить бы двойной оклад с раскольщиков, дабы под тесноту штрафов удобнее к церкви святой присоединить заблудших. Также и при наказании оных, буде возможно, явную вину сыскать, кроме раскола,— таковых, бив кнутом и ноздри рвав, ссылать на галеры, по закону, а буде нет причины явной, поступать по указу словесному...

Петр молча кивнул головой. Царь и архиерей понимали друг друга.

Федоска хотел что-то сказать, но промолчал, только ехидная усмешка скривила его маленькое личико — мордочку летучей мыши — и весь он съежился, пришипился, позеленел, точно ядом налился, от злости. Он понимал, что значит «поступать по указу словесному». Питирим епископ, посланный на Керженец для увещания раскольников, доносил недавно царю: «зело жестоко пытаны и рваны, даже внутренностям их являтися». И царь в указах своих запрещал возбранять о. Питириму «в сем его равноапостольном подвиге». Любовь — на словах, а на деле, как жаловались раскольники, «немые учителя в застенках у дыб стоят; вместо Евангелия, кнутом просвещают; вместо апостола, огнем учат». Это, впрочем, и была та «духовная политика — диссимуляция», которую проповедовал сам Федоска. Но Феофан перехитрил его, и он чувствовал, что песенка его спета.

— Да не диво то,— продолжал архиерей опять громко, во всеуслышание,— что мужики грубые, невежды крайние, так заблуждая, беснуются. Воистину же диво есть, что и в высоком звании шляхетском, среди самих слуг царских, мудрецы обретаются некие, смиренники мрачные, что злее раскольщиков. До того пришло, что уже самые бездельные в дело, да в дело мерзкое и дерзкое! Уже и дрожжи народа, души дешевые, люди, ни к чему иному, токмо к пояденню чужих трудов рожденные — и те на царя своего, и те на Христа Господня! Да вам, когда хлеб ядите, подобало бы удивляться и говорить: откуда нам сие? Возобновилась повесть о царе Давиде, на кого слепые и хромые бунт подняли. Монарх наш благоверный, сколько Россию пользовавший, коего промыслом славу и беспечалие все получили, сам имя хульное и житие многобедное имеет. И когда трудами тяжкими сам себе безвременную старость привлекает, когда за целость отечества, вознерадев о здравии своем, как бы скороходным бегом, сам спешит к смерти,— тогда возмнилося неким — долго живет! О, скорбь, о, стыд России! Остережемся, дабы не выросла в мире сия притча о нас: достоин-де царь такого царства, да не стоит народ такого царя.

Когда Феофан умолк, заговорил Петр:

— Богу известны сердце и совесть моя, сколько блага желаю отечеству. Но враги демонские пакости деют. Едва ли кто из государей сносил столько бед и напастей, как я. Говорят чужестранцы, что я управляю рабами. Но англинская вольность здесь не у места — что к стене горох. Надлежит знать народ, как оным управлять. Труден

разбор невинности моей тому, кто всего дела не знает. Един Бог зрит правду. Он мой Судия...

Никто не слушал царя. Все были пьяны.

Он умолк, не кончив, сделал знак — и жрецы снова затянули песнь Бахусову; шуты загалдели; хор — *весна* — засвистел разными птичьими высвистами, от соловья до малиновки, так пронзительно, что стены отражали звук.

Все было, как всегда. Также опивались, обжирались до бесчувствия. Почтенные сановники дрались, таскали друг друга за волосы и потом, помирившись, сваливались вместе под стол. Князь Шаховской, кавалер потешного ордена Иуды, принимал за деньги пощечины. Старому боярину, который отказался пить, вливали водку в рот воронкою. Князя-папу рвало с высоты престола на парики и кафтаны сидевших внизу. Пьяная баба-шутиха, князь-игуменья Ржевская плясала, бесстыдно задравши подол, и пела хриплым голосом:

Шинь-пень, шиваргань!
Эх, раз, по два-раз,
Расподмахивать горазд!

Ей присвистывали, притопывали так, что пыль стояла столбом:

Ой, жги! Ой, жги!

Все было, как всегда. Но Петр чувствовал скуку. Нарочно пил как можно больше самой крепкой английской водки — pepper and brandy, чтобы поскорей опьянеть, но хмель не брал его. Чем больше пил, тем становилось скучнее. Вставал, садился, опять вставал, бродил между телами пьяных, лежавших на полу, как тела убитых на поле сражения, и не находил себе места. Что-то подступало к сердцу тошнотою смертною. Убежать бы или разогнать всю эту сволочь!

Когда же со смрадною мглою и тусклым светом догоревших свечей смешался холодный свет зимнего утра, человеческие лица сделались еще страшнее, еще более похожи на звериные морды или чудовищные призраки.

Взор Петра остановился на лице сына.

Царевич был пьян. Лицо мертвенно бледно; длинные жидкие пряди волос прилипли к потному лбу; глаза осоловели; нижняя губа отвисла; пальцы, которыми держал он полную рюмку, стараясь не расплескать вина, тряслись, как у пропойцы.

— Винцо не пшеничка — прольешь, не подклюешь! — бормотал он, поднося рюмку ко рту.

Проглотил, поморщился, крякнул и, желая закусить моченым рыжиком, долго и тщетно тыкал вилкою в скользкий гриб — так и не поймал его, бросил, сунул в рот мякиш черного хлеба и начал жевать медленно.

— Друг ты мой сердешный, пьян я? Скажи мне правду, пьян я? — приставал он к сидевшему рядом Толстому.

— Пьян, пьян! — согласился Толстой.

— Ну, вот то-то и есть,— заплетающимся языком продолжал царевич.— Мне ведь что? Покуда чарки не выпил, так его и хоть бы и век не было. А как выпил одну, то и пропал. Сколько ни подноси, не откажусь. Хорошо еще, что я во хмелю-то угож...

Он захихикал пьяным смешком и вдруг посмотрел на отца.

— Батя, а, батя! Что ты такой скучный? Поди-ка сюда, выпьем вместе. Я тебе спою песенку. Веселее будет, право!

Улыбнулся отцу, и в этой улыбке было прежнее, милое, детское.

«Совсем дурачок, блаженненький! Ну, как такого казнить?» — подумал Петр, и вдруг дикая, страшная, лютая жалость вгрызлась ему в сердце, как зверь.

Он отвернулся и сделал вид, что слушает Феофана, который говорил ему об учреждении Св. Синода. Но ничего не слышал. Наконец, подозвал денщика, велел подавать лошадей, чтобы тотчас ехать в Петербург, и в ожидании опять пошел бродить, скучный, трезвый между пьяными. Сам того не замечая — словно какая-то сила влекла их друг к другу — подошел к царевичу, присел рядом за стол и снова отвернулся от него, притворился, что занят беседою с князем Яковом Долгоруким.

— Батя, а, батя! — тихонько дотронулся царевич до руки отца.— Да что ты такой скучный? Аль *он* тебя обижает? Осиновый кол ему в горло — и делу конец!..

— Кто он? — обернулся Петр к сыну.

— А я почем знаю, кто?— усмехнулся царевич такою странною усмешкою, что Петру стало жутко.— Знаю только, что вот теперь ты настоящий, а тот, черт его знает кто, самозванец, что ли, зверь проклятый, оборотень?..

— Что ты? — посмотрел на него отец пристально.— Ты бы, Алексей, поменьше пил...

— И пить — помрешь, и не пить — помрешь; уж лучше же умереть да пить! И тебе лучше: помру, казнить не надо!..— захихикал он опять, совсем как дурачок, и вдруг запел тихим-тихим, чуть слышным голосом, доносившимся будто издали:

Пойду, млада, тишком-лужком,
Тишком-лужком, бережочком,
Нарву, млада, синь цветочек,
Синь цветочек василечек.
Совью, млада, я веночек,
Пойду, млада, я на речку,
Брошу веночек вдоль по речке,
Задумаю про милого...

— Снилось мне, батя, намедни: сидит, будто бы, ночью в поле на снегу Афрося, голая да страшная, точно мертвая, качает, баюкает ребеночка, тоже, будто бы, мертвого, и поет, словно плачет, эту самую песенку.

Мой веночек тонет-тонет,
Мое сердце ноет-ноет.
Мой веночек потопает,
Меня милый покидает.

Петр слушал — и жалость, дикая, страшная, лютая грызла ему сердце, как зверь.

А царевич пел и плакал. Потом склонил голову на стол, опрокинув стакан с вином,— по скатерти разлилась красная, точно кровавая, лужа,— подложил руку под голову, закрыл глаза и заснул.

Петр долго смотрел на это бледное, как будто мертвое, лицо рядом с красною, словно кровавою, лужею.

Денщик подошел к царю и доложил, что лошади поданы.

Петр встал, последний раз взглянул на сына, наклонился к нему и поцеловал его в лоб.

Царевич, не открывая глаз, улыбнулся отцу во сне такою нежною улыбкою, как бывало в детстве, когда он брал его к себе на руки, сонного.

Царь вышел из палаты, где продолжалась попойка, никем не замеченный, сел в кибитку и поехал в Петербург.

КНИГА ДЕВЯТАЯ

КРАСНАЯ СМЕРТЬ

1

В лесах Ветлужских был скит раскольничий Долгие Мхи. Непроходимые топи залили все дороги в тот скит. Летом едва пробирались в него по узеньким кладкам сквозь такие чащи, что и днем в них было почти так же темно, как ночью; зимой — на лыжах.

Предание гласило, будто бы трое старцев из лесов Олонецких, с озера Толвуя, по разорении тамошних скитов никонианами, следуя за чудотворной иконой Божией Матери, шедшей по воздуху, пришли в те места, поставили малую хижину там, где икона опустилась на землю, и начали жить пустынным житием, пахать пашню копорюгою и, сожигая лес по кряжам, сеять под гарью. Братия сходилась к ним. Старцы завещали ей, умирая, все трое в тот же день и в тот же час: «Живите тут, где мы благословили, детушки, хотя и много ходите да ищете, такого места не найдете — тут сорока-ворона кашу варила, и быть скиту большому».

Пророчество исполнилось: выросла в дебрях лесных обитель и расцвела, как лилия райская, под святым покровом Богородицы.

«Чудо великое! — говорилось в скитском житии. — Светлая Россия потемнела, а мрачная Ветлуга воссияла, преподобными пустыня наполнилась — налетели, яко шестокрылые».

Здесь, после долгих странствий по лесам Керженским и Чернораменским, поселился проповедник самосожжения, старец Корнилий с учеником своим, беглым школяром, стрелецким сыном, Тихоном Запольским.

Однажды июньскою ночью, вблизи Долгомшинской обители, на крутом обрыве над Ветлугою, пылал костер. Пламя освещало снизу ветви старой сосны с прибитой к стволу меднолитой поморской иконою. У огня сидели двое — молодая скитница Софья и послушник Тихон.

Она ходила в лес за пропавшею телкою. Он возвращался от схимника из дальней пустыни, куда носил от старца грамоту. Встретились на перекрестке двух тропинок, ночью поздно, когда ворота обители были уже заперты, и решили вместе у огня дождаться утра.

Софья, глядя на огонь, пела вполголоса:

Как возговорит сам Христос, Царь Небесный:
Не сдавайтесь вы, Мои светы,
Тому Змию седмиглаву.
Вы бегите в горы, вертепы,
Вы поставьте там костры большие,
Положите в них серы горючей,
Свои телеса вы сожгите.
Пострадайте за Меня, Мои светы,
За Мою веру Христову.
Я за то вам, Мои светы,
Отворю райские светлицы
И введу вас в царство небесно,
И Сам буду с вами жить вековечно.

— Так-то, братец,— заключила девушка, посмотрев на Тихона долгим взором.— Кто сожжется, тот и спасется. Добро всем погореть за любовь Сына Божьего!

Он молчал и, глядя на ночных мотыльков, кружившихся над пламенем, падавших в него и сгоравших, вспоминал слова старца Корнилия: «яко комары или мошки, чем больше их давят, тем больше пищат и в глаза лезут, так и русачки миленькие рады мучиться — полками дерзают в огонь!»

— Что думаешь, братец?— опять заговорила девушка.— Аль боишься печи той? Дерзай, плюнь на нее, небось! В огне здесь мало потерпеть — аки оком мигнуть — так душа из тела и выступит! До печи страх-от, а как в нее вошел, то и забыл все. Загорится, а ты и видишь Христа и ангельские лики с Ним — вынимают душу из тела, а Христос-надежда Сам благословляет и силу ей дает божественную. И не тяжка тогда уже бывает, но яко восперенна, туда же летает со ангелами, ровно птичка попархивает — рада, из темницы той, из тела вылетела. Вот пела до того, плакала: изведи из темницы душу мою исповедатися имени Твоему. Ну, а то выплакала. Темница та горит в печи, а душа, яко бисер и яко злато чисто, возносится к Господу!..

В глазах ее была такая радость, как будто она уже видела то, о чем говорила.

— Тиша, Тишенька миленький, аль тебе красной смерти не хочется? Аль боишься?— повторила вкрадчивым шепотом.

— Боюсь греха, Софьюшка! Есть ли воля Господня, чтоб жечься? Божье ли то в нас, полно, не вражье ли?

— Где же деться? Нужда стала!— заломила она свои бледные, худенькие, совсем еще детские, руки.

— Не уйти, не укрыться от Змия ни в горах, ни в вертепах, ни в пропастях земных. Отравил он своим богоборным ядом и землю, и воду, и воздух. Все скверно, все проклято!

Ночь была тиха. Звезды невинны, как детские очи. Опрокинутый ущербный месяц лежал на черных верхушках елового леса. Внизу, в болотном тумане, коростели скрипели усыпительно. Сосновый бор дышал сухим теплом смолистой хвои. У самого костра лиловый колокольчик, освещенный красным пламенем, склонялся на стебель, как будто кивал своей нежной и сонной головкою.

А мотыльки все летели, летели на огонь и падали, и сгорали.

Тихон смежил глаза, утомленные пламенем. Вспомнился ему летний полдень, запах елей, в котором свежесть яблок смешана с ладаном, лесная прогалина, солнце, пчелы над кашкой, медуницей и розовой липкой дремой; среди поляны ветхий полусгнивший голубец-крест, должно быть, над могилою святого отшельника. «Прекрасная мати пустыня!»— повторял он свой любимый стих. Исполнил, наконец, Господь его желание давнее — привел в «благоутишное пристанище». Он стал на колени, раздвинул высокие травы, припал к земле и целовал, и плакал, и молился:

Чудная Царица Богородица,
Земля, земля, Мати сырая!

И глядя на небо, твердил:

С небес сойдет Мати Всепетая,
Госпожа Владычица Богородица!

И земля, и небо были одно. В лике небесном, подобном солнцу, Лик Жены огнезрачной, огнекрылой, Святой Софии Премудрости Божией он видел лик земной, который хотел и боялся узнать. Потом встал, пошел дальше в лес. Куда и сколько времени шел, не помнит. Наконец, увидел озеро, малое, круглое, как чаша, в крутых берегах, поросших ельником и отражавшихся в воде, как в зеркале сплошными зелеными стенами. Вода, густая, как смола, зеленая, как хвоя, была так тиха, что ее почти не видно было, и она казалась провалом в подземное небо. На камне у самой воды сидела скитница Софья. Он узнал

и не узнал ее. Венок из белых купав на распущенных косах, черная скитская ряска приподнята, голые белые ноги в воде, глаза, как у пьяной. И покачиваясь мерно, глядя на подземное небо, пела она тихую песню, подобную тем, что певали в хороводах среди купальных огней, в Иванову ночь, на древних игрищах:

Солнышко, солнышко красное!
Ой, дид Ладо, ой, дид Ладо!
Цветки, цветики, милые!
Ой, дид Ладо, ой, дид Ладо!
Земля, земля, мати сырая!

И древнее, дикое было в этой песне, похожей на грустную жалобу иволги в мертвом затишье полдня перед грозой. «Точно русалка!»— подумал он, не смея шевельнуться, притаив дыхание. Под ногой его хрустнул сучок. Девушка обернулась, вскрикнула, спрыгнула с камня и убежала в лес. Только от венка, упавшего в озеро, медленные круги расходились по воде. И жутко ему стало, как будто в самом деле увидел он чудо лесное, наваждение бесовское. И вспомнив лик земной в Лике Небесном, он узнал сестру Софью — и кощунственной показалась молитва сырой Земле Матери.

Никогда ни с кем не говорил он о том, что видел там, на Круглом озере, но часто думал об этом и, сколько ни боролся с искушением, не мог победить его. Порой, в самых чистых молитвах, узнавал земной лик в Лике Небесном.

Софья, по-прежнему глядя на пламя костра неотступно-жадным взором, пела стих о св. Кирике, младенце-мученике, которого неверный царь Максимиан бросил в печь раскаленную:

Кирик-свет в печи стоит,
Стихи поет херувимские.
В печи растет трава-мурава,
Цветут цветочки лазоревы.
Во цветах младенец играет.
На нем риза солнцем сияет.

Тихон тоже глядел на огонь, и ему казалось, что в прозрачно-синем сердце огня видит он райские цветы, о которых говорилось в песне. Синева их, подобная чистому небу, сулила блаженство нездешнее; но надо было пройти через красное пламя — красную смерть, чтобы достигнуть этого неба.

Вдруг Софья обернулась к нему, положила руку на руку его, приблизила лицо к лицу его, так что он почув-

ствовал ее дыхание, жаркое, страстное, как поцелуй, и зашептала вкрадчивым шепотом:

— Вместе, вместе сгорим, братец мой, светик мой, родненький! Одной страшно, сладко с тобой! Вместе пойдем ко Христу на вечерю брачную!..

И она повторяла, как бесконечную ласку:

— Сгорим! Сгорим!..

В бледном лице ее, в черных глазах, отражавших блеск пламени, опять промелькнуло то древнее, дикое, что и там, на Круглом озере — в песне купальных огней.

— Сгорим, сгорим, Софьюшка!— прошептал он с ужасом, который тянул его к ней, как мотыльков тянет огонь.

Внизу на тропинке, которая шла по обрыву, послышались шаги.

— Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных!— произнес чей-то голос.

— Аминь!— ответили Тихон и Софья.

То были странники. Они заблудились в лесу, едва не увязли в болоте; наконец увидели пламя костра и кое-как выбрались.

Все уселись кру́гом, у огня.

— До скита, родимые, далече ли?

— Тут под горою сейчас,— молвил Тихон и, вглядевшись в лицо говорившей, узнал Виталию, ту самую, которая «птичье житие имела», всюду «привитала», странствовала, и которую видел он два года назад на плотах царевича Алексея в Петербурге, на Неве, в ночь праздника Венус. Она также узнала Тихона и обрадовалась. С нею была ее неразлучная спутница Киликея-кликуша, беглый рекрут Петька Жизла с высохшею рукою, клейменой казенным клеймом, печатью Антихриста, и старый лодочник Иванушка-дурачок, который каждую ночь, встречая Христа, пел песню гробополагателей.

— Откуда, православные?— спросила Софья.

— Мы люди странные,— ответила Виталия,— странствуем по миру, скитаемся, гонимы от веры еретической, настоящего града не имеем, грядущего взыскуем. А ныне с Керженца идем. Там гонение лютое. Питирим, волк хищный, церковный кровоядец, семьдесят семь скитов разорил и спасительное житие в киновиях все испроверг.

Начались рассказы о гонениях.

Одного святого старца в трех застенках били, клещами ломали ребра, пуп тянули; потом в «зимнее время,

в жестокий мороз, обнажили и студеную воду со льдом на голову лили, пока от бороды до земли соски не смерзли, аки поросшие; наконец, огнем сожгли, и так скончался».

Иных томили в хомутах железных; «хомуты те стягивают голову, руки и ноги в одно место, от коего злейшего мучительства кости хребта по суставам сокрушают, и кровь изо рта, из ноздрей, из глаз, из ушей брызжет».

Иных насильно причащали, вкладывая в рот кляп. Одного отрока приволокли солдаты в церковь, положили на лавку, поп да диакон пришли с чашею, а дьячки растянули его, раскрыли рот и насильно влили причастие. Он выплюнул. Тогда диакон ударил его кулаком по скулам так, что отскочила нижняя челюсть. От этой раны страдалец умер.

Одна женщина, чтобы уйти от гонителей, пробила во льду прорубь и сначала семерых малолетных детей своих опустила под лед, а потом сама утопилась.

Некий муж благочестивый перекрестил жену беременную с тремя детьми и в ту же ночь сонных зарезал. А поутру пришел в приказ и объявил: «Я мучитель был своим, а вы будете мне; и так, они — от меня, а я от вас пострадаю; и будем вкупе за старую веру в царстве небесном мученики».

Многие, убегая от Антихриста, сами сжигаются.

— И добро делают. Блажен извол сей о Господе! Понеже впадшим в руки Антихриста и Бог не помогает, нельзя стерпеть мучения, никто не устаевает. Лучше в огонь здешний, нежели в вечный!— заключила Виталия.

— В огонь да в воду только и уходу!— подтвердила Софья.

Звезды меркли. По краю неба меж туч тянулись бледные полосы. Тусклою сталью в тумане блестели извивы реки среди бесконечных лесов. Внизу, под обрывами, у самой Ветлуги, выступала из мрака обитель, огороженная островерхим тыном из бревен, похожая на древнее лесное городище. С реки — большие врата рубленые, над ними образ Деисуса. Внутри ограды —«стая» бревенчатых изб на высоких подклетях, с крыльцами, сенями, переходами, тайниками, светелками, летниками, вышками, смотрильнями с узкими оконцами, наподобие крепостных бойниц, с крутыми тесовыми двускатными кровлями; кроме братских келий — разные хозяйственные службы — кузня, швальня, кожевня, чеботная, больница, громотная, иконная, гостиная; часовня во имя Божьей Матери Толвуйской — тоже простой бревенчатый сруб, но больше всех

прочих, с деревянным крестом и тесовой чешуйчатой маковкой, рядом колокольня-звонница, черневшая на бледном небе.

Послышался тонкий, жалобно-певучий звон: то ударили к заутрене в била — служившие колоколами дубовые доски, подвешенные на веревках из крученых воловьих струн; ударяли в них большим гвоздем троетесным; по преданию, Ной таким благовестом созывал животных в ковчег. В чутком безмолвии лесов был сладостно грустен и нежен этот деревянный звон.

Странники крестились, глядя на святую обитель — последнее убежище гонимых.

— *Святися, святися, Новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия*! — запела Киликея с умиленною радостью на прозрачно-бледном, точно восковом, лице.

— Все скиты разорили, а этого не тронули! — заметила Виталия.— Покрывает, видно, сама Царица Небесная дом свой покровом святым. В Откровении-де писано: дано Жене два крыла орлия, да парит в пустыню...

— У царя рука долга, а сюда не хватит,— проговорил один из странников.

— Последняя Русь здесь!— заключил другой.

Звон умолк, и все притихли. То был час великого безмолвия, когда, по преданию — воды покоятся, и ангелы служат, и серафимы ударяют крыльями в священном ужасе перед престолом Всевышнего.

Иванушка-дурачок, сидя на корточках, обняв колени руками, глядел недвижным взором на светлеющий восток и пел свою вечную песенку:

Древян гроб сосновен
Ради меня строен:
Буду в нем лежати,
Трубна гласа ждати.

И опять, как тогда, на плотах в Петербурге, в ночь праздника Венус — заговорили о последних временах, об Антихристе.

— Скоро, скоро, при дверях есть!— начала Виталия.— Ныне еще кое-как перебиваемся; а тогда, при Антихристе, и пошевелить губами нельзя будет, разве сердцем держаться Бога...

— Тошно! тошно!— стонала Киликея кликуша.

— Сказывал намедни Авилка, беглый казак с Дону,— продолжала Виталия,— было-де ему в степи видение: подошли к хате три старца, все трое образом равны, а

говорят по-русски, только на греческую речь походит.— Откуда, говорит, идете и куда?— Из Иерусалима, говорят, от Гроба Господня в Санкт-Питербурх смотреть Антихриста.— А какой, говорит, там Антихрист?— Которого, говорят, называете царь Петр Алексеевич — тот и Антихрист. Он-де Царьград возьмет и соберет жидов, и пойдет во Иерусалим, и там станет царствовать. И жиды-де познают, что он — Антихрист подлинный. И на нем век сей кончается...

Все опять смолкли, как будто ждали чего-то. Вдруг из леса, еще темного, раздался протяжный крик, похожий на плач ребенка — должно быть, крик ночной птицы. Все вздрогнули.

— Ох, братики, братики!— залепетал Петька Жизла, заикаясь и всхлипывая.— Страшно... Называем его Антихристом, а нет ли его здесь, в лесу?.. Видите, какое смятение и между нами...

— Дураки вы, дураки, бараньи головы!— произнес вдруг чей-то голос, похожий на сердитое, медвежье ворчанье.

Оглянулись и увидели странника, которого не замечали раньше. За разговором, должно быть, вышел он прямо из лесу, сел поодаль, в тени, и все время молчал. Это был высокий старик, сутулый, сгорбленный, обросший волосами рыжими с проседью. Лица почти не видно было в утренних сумерках.

— Куда ему, царю Петру, в Антихристы, такому пьянице, блудяге, бабоблудишке! — продолжал старик.— Так, разве — шиш Антихристов. Последний-то черт не на тех санях поедет, да будет у него догадок не с Петрово, ни!..

— Авва отче,— взмолилась Виталия, вся трясясь от страха и любопытства,— научи ты нас, глупых, просвети светом истины, поведай все по подробну: как быть имеет пришествие Сына Погибели?

Старик закряхтел, завозился и, наконец, с трудом поднялся на ноги. Было что-то грузное, медвежье, косолапое во всем его огромном облике. Мальчик подал ему руку и подвел к огню. Под заскорузлым овчинным тулупом, видимо, никогда не снимавшимся, висели каменные вериги на железных цепях, одна плита спереди, другая сзади; на голове — железный колпак; на пояснице — железный пояс, вроде обруча с петлею. Тихон вспомнил про житие древнего подвижника Муромского Капитона Великого: петля была ему пояс, а крюк — в потолке, и то постеля; процепя крюк в петлю, да так повиснув, спал.

Старик присел на корневище сосны и обернул лицо к заре. Она осветила его бледным светом. Вместо глаз были черные впадины — язвы с кровавыми бельмами. Острия гвоздей, которыми подбит был железный колпак спереди, впивались в кости черепа, и оттого глаза вытекли, и он ослеп. Все лицо страшное, а улыбка нежная, детская.

Он заговорил так, как будто слепыми глазами видел то, о чем говорил.

— Ох, батюшки, батюшки бедненькие! Чего испугались? *Самого-то* нет еще, не видим и не слышим. Предтечи были многие и ныне есть, и по сих еще будут. Путь ему гладок творят. А как выгладят, да вычистят все, тут *сам* он и явится. От нечистой девы родится, и войдет в него сатана. И во всем уподобится льстец Сыну Божию: чистоту соблюдет; будет постен и кроток, и милостив; больных исцелит, голодных накормит, бездомных приютит и успокоит страждущих. И придут к нему званые и незваные, и поставят царем над всеми народами. И соберет он всю силу свою, от восхода солнца до запада; убелит море парусами, очернит поле щитами. И скажет: обойму вселенную горстью моею, яко гнездо, и яко оставленные яйца, восхищу! И чудеса сотворит и великие знаменья: переставит горы, пойдет по водам стопами немокрыми, сведет огонь с неба и бесов покажет, яко ангелов света, и воинства бесплотных, им же нет числа; и с трубами и гласами, и воплем крепким, и неимоверными песнями, возблистает, яко солнце, тьмы начальник, и на небо взлетит, и на землю сойдет, со славою многою. И сядет во храме Бога Всевышнего и скажет: Бог есмь аз. И поклонятся ему все, говоря: Ты Бог, и нет иного Бога, кроме тебя. И станет мерзость запустения на месте святом. И тогда восплачется земля, и возрыдает море; небо не даст росы своей, тучи — дождя; море исполнится смрада и гнуса; реки иссохнут, студенцы оскудеют. Люди будут умирать от глада и жажды. И придут к Сыну Погибели, и скажут: дай нам есть и пить. И посмеется над ними и поругается. И познают, яко Зверь есть. И побегут от лица его, но нигде не укроются. И тьма на них будет — плач на плач, горе на горе. И будут видом человеки, как мертвые, и лепоты увянут женские, и у мужей не станет похоти. Повергнут злато и сребро на торжищах — и никто не подымет. И будут издыхать от скорби своей, и кусать языки свои, и хулить Бога Живого. И тогда силы небесные поколеблются, и явится знамение Сына Человеческого на небе. Се грядет. Ей, гряди, Господи! Аминь. Аминь. Аминь.

Он умолк и вперил слепые глаза на восток, как будто уже видел то, чего еще никто не видел, там, на краю небес, в громадах темных туч, залитых кровью и золотом. Огненные полосы ширились по небу, как огненные крылья серафимов, павших ниц, во славе грядущего Господа. Над черною стеною леса появился раскаленный уголь, ослепительный. Лучи его, дробясь об острые верхушки черных елей, заиграли многоцветной радугой. И огонь костра померк в огне солнца. И земля, и небо, и воды, и листья, и птицы — вся тварь — и сердца человеческие восклицали с великою радостью: ей, гряди, Господи!

Тихон испытывал знакомый ему с детства ужас и радость конца.

Софья, крестясь на солнце, призывала крещение огненное, вечное солнце — красную смерть.

А Иванушка-дурачок, по-прежнему сидя на корточках, обняв колени руками, тихонько покачиваясь и глядя на Восток — начало дня, пел вечному Западу — концу всех дней:

Гробы вы, гробы, колоды дубовые,
Всем есте, гробы, домовища вечные!
День к вечеру приближается,
Солнце идет к Западу,
Секира лежит при корени,
Приходят времена последние.

II

В скиту был братский сход для совещания о спорных письмах Аввакумовых.

Многострадальный протопоп послал на Керженец другу своему, старцу Сергию письма о св. Троице с надписью: «прими, Сергий, вечное сие Евангелие, не мною, но перстом Божиим писанное».

В письмах утверждалось: «Существо св. Троицы секомо на три равных и раздельных естества. Отец, Сын и Дух Святый имеют каждый особое сидение на трех престолах, как три Царя Небесные. Христос сидит на четвертом престоле, особом, соцарствуя св. Троице. Сын Божий воплотился во утробу Девы, кроме существа, только благодатью, а не Ипостасью».

Диакон Федор обличал Аввакума в ереси. Старец Онуфрий, ученик Аввакума обличал в том же диакона Федора. Последователи Федора, единосущники, обзывали онуфриян трисущниками, а те в свою очередь поносили единосущников кривотолками. И учинилось великое

рассечение, «и вместо горящей прежней любви, вселилася в братию ненависть и оболгание, и всякая злоба».

Дабы утолить раздор церковный, собран был сход в Долгие Мхи, и призван для ответа ученик старца Онуфрия, по кончине его, единый глава и учитель онуфриева толка, о. Иерофей.

Сошлись у матери Голиндухи в келье, стоявшей на поляне среди леса, вне скитской ограды. Онуфрияне отказались вести спор в самом скиту, опасаясь обычной рукопашной схватки, которая могла для них кончиться плохо, так как единосущников было больше, чем трисущников.

Тихон присутствовал на сходе. А старец Корнилий не пошел: «Чего болтать попусту,— говорил он,— гореть надо; в огне и познаешь истину».

Келья, просторная изба, разделялась на две половины: малую боковушку — жилую светлицу — и большую моленную. Кругом, вдоль бревенчатых стен, стояли на полках образа. Перед ними теплились лампады и свечи. На подсвечниках висели тетеревиные хвосты для гашения свечей. По стенам лавки. На них толстые книги в кожаных и деревянных переплетах с медными застежками и рукописные тетрадки; самые древние писания великих пустынных отцов — на бересте.

Было душно и темно, несмотря на полдень: ставни на окнах с паюсными окончинами из мутного рыбьего пузыря закрыты от солнца. Лишь кое-где из щелей протянулись иглы света, от которых огни лампад и свечей краснели тускло. Пахло воском, кожей, потом и ладаном. Дверь на крыльцо была открыта, сквозь нее видна залитая солнцем поляна и темный лес.

Старцы в черных рясах и куколях-кафтырях теснились, окружая стоявшего посредине моленной, перед налоем, о. Иерофея. У него был вид степенный, лицо белое, как просвирка, сытое, глаза голубые, немного раскосые и с разным выражением: в одном — христианское смирение, в другом — «философское кичение». Голос имел он уветливый, «яко сладковещательная ластовица». Одет щеголем; ряса тонкого сукна, кафтырь бархатный, наперсный крест с лалами. От золотистых седин его веяло благоуханием розового масла. Среди убогих старцев, лесных мужиков — настоящий боярин, или архиерей никонианский.

О. Иерофей был муж ученый; «книжную мудрость и разум, яко губа воду, в себя почерпал». Но враги утверждали, что мудрость его не от Бога; имел он, будто бы, два учения: одно явное, православное — для всех; другое

тайное, еретическое — для избранных, большею частью знатных и богатых людей. Простых же и бедных прельщал милостыней.

С раннего утра до полудня прелися единосущники с трисущниками, но ни к чему не пришли. О. Иерофей все увиливал —«глаголал семо и вамо». Как ни наседали на него старцы, не могли обличить.

Наконец, в жару спора, ученик о. Иерофея, брат Спиридон, востроглазый, черномазый, с кудерками, похожими на пейсы жидовские, вдруг выскочил вперед и крикнул во весь голос:

— Троица рядком сидит, Сын одесную, а Дух ошуюю Отца. На разных престолах, не спрятався, сидят три Царя Небесные, а Христос на четвертом престоле особном!

— Четверишь Троицу!— закричали отцы в ужасе.

— А по-вашему кучею надобно, едино Лицо? Врешь, не едино, а три, три, три! — махал о. Спиридон рукою, как будто рубил топором.— Веруй в Трисущную, Несекомую секи, небось, едино не трое, а Естество Христа — четвертое!..

И он пустился толковать различие существа от естества: Существо-де Сына внутрь, а Естество подле ног Отца сидит.

— Не существом, а естеством единым Бог вочеловечился. Аще бы существом сошел на землю, всю бы вселенную попалило, и пречистой Богоматери чрево не возмогло бы понести всего Божества — так бы и сожгло ей чрево-то!

— О, заблудший и страстный, вниди в совесть свою, познай Господа, исторгни от себя корень ереси, престани, покайся, миленький!— увещевали старцы.— Кто тебе сказал, или когда видел: особно и не спрятався, сидят три Царя Небесные? Его же бо ангелы и архангелы не могут зрети, а ты сказал: не спрятався, сидят! И как не опалился язык сказавшаго такое?..

Но Спиридон продолжал вопить, надседаясь:

— Три, три, три! Умру за три! У меня-де и огнем из души не выжжешь!..

Видя, что с ним ничего не поделаешь, приступили опять к самому о. Иерофею.

— Чего мотаться? Говори прямо: как веруешь, в Единосущную, аль Трисущную?

О. Иерофей молчал и только брезгливо усмехнулся в бороду. Видно было, что он презирает с высоты своей учености всех этих простецов, как смердов.

Но отцы приставали к нему все яростнее — «яко козлы, на него пырскали».

— Чего молчишь? Аль оглох? Затыкаешь уши свои, яко аспид глухий!

— Зашибся и вознесся, яко гордый Фараон!

— Не захотел с отцами в совете быть, всех возгнушался, рассек любовь отеческую!

— Мятежник и смутитель христианский!

— Чего лезете?— не выдержав, наконец, огрызнулся о. Иерофей, отступая незаметно к дверям боковуши.— Не находите! Не вам за меня отвечать. Спасусь ли, аль не спасусь, вам какое дело? Вы себе живите, а мы себе. Нам с вами не сообщно. Пожалуйте, не находите!

О. Пров, седой, как лунь, но еще крепкий и кряжистый старик, махал перед самым носом о. Иерофея вязовою дубиною.

— Еретичище безумный! Как такою дубиною судия градской да станет тя по бокам похаживать, так ты скажешь едину у себя веру, трисущную, либо единосущную. А то стало тебе на воле, так и бредишь, что хошь...

— Мир вам, братья о Христе!— раздался голос тихий, но такой не похожий на другие голоса, что его услышали все; то говорил схимник о. Мисаил, пришедший из дальней пустыни, великий подвижник — «летами млад, но ум столетен».—Что се будет, родимые батюшки? Не диавол ли воюет в вас и распаляет мятежом братоубийственным? И никто не ищет воды живой, дабы пламень сатанинский угасить, но всяк ищет смолы, изгребия и тростия сухого на распаление горшее. Ей, отцы, не слыхал я и в никонианах такого братоненавидения! И ежели они про то уведают и начнут нас паки мучить и убивать, то уже неповинны будут пред Богом, и нам те муки начало болезням будут вечных мук.

Все замолчали, как будто вдруг опомнились.

О. Мисаил стал на колени и поклонился в ноги сперва всему сходу, потом отдельно о. Иерофею.

— Простите, отцы! Прости, Иерофеюшка, братец миленький! Велика премудрость твоя, огненный в тебе ум. Помилуй же нас, убогих, отложи письма спорные, сотвори любовь!

Он встал и хотел обнять Иерофея. Но тот не позволил, сам опустился на колени и поклонился в ноги о. Мисаилу.

— Прости, отче! Я — кто? Мертвый пес. И как могу разуметь выше собора вашего священного? Ты говоришь, огненный во мне ум. Ей, тщету наводишь душе моей! Я — человек, равный роду, живущему в тинах кальных, их же лягушками зовут. Яко свиния от рожец, наполняю чрево свое. Аще бы не Господь помогал мне, вмале не во

ад вселилась бы душа моя. Еле-еле отдыхаю от похотей, задавляющих мя. Ох, мне, грешнику! А тебя, Мисаилушка, спаси Бог, на поученьи твоем...

О. Мисаил с кроткой улыбкой опять протянул было руки, что бы обнять о. Иерофея. Но тот поднялся на ноги и оттолкнул его, с лицом, искаженным такою гордыней и злобою, что всем стало жутко.

— Спаси Бог на поучении твоем,— продолжал он вдруг изменившимся, дрожащим от ярости голосом,— что нас, неразумных, поучаешь и наказуешь! А хорошо бы, друг, и меру свою знать! Высоко летаешь, да лишь бы с высоты той не свалиться вниз! От кого ты учительской-от сан восприял, и кто тебя в учители поставил? Все ныне учители стали, а послушать некому! Горе нам и времени сему, и живущим в нем! Дитя ты молоденькое, а дерзаешь высоко. Нам, право, и слушать-то тебя не хочется. Учи себе, кто твоему разуму последует, а от нас поотступи, пожалуй. Хороши учители! Иной дубиной грозит, а иной любовью льстит. Да что в любви той, когда на разрушение истины любимся. И сатана любит верных своих. Мы же, яко сытости не имеем любить Христа, так и врагов Его ненавидеть! Аще и умереть мне Бог изволит, не соединюсь с отступниками! Чист есмь аз и прах прилипший от ног своих отрясаю пред вами, по писанному: лучше один творящий волю Божию, нежели тьмы беззаконных!

И среди всеобщего смятения, о. Иерофей, прикрываемый своими подручными, шмыгнул в дверь боковуши.

О. Мисаил отошел в сторону и начал тихонько молиться, повторяя все одно и то же:

— Беда идет, беда идет. Помилуй, Матерь Пречистая!

А старцы опять закричали, заспорили, пуще прежнего.

— Спирка, а, Спирка, поганец, слушай: Сын одесную Отца на престоле сидит. Да и ладно так, дитятка бешеное, не замай Его, не пихай поганым своим языком с престола того царского к ногам Отца!..

— Проклят, проклят, проклят! Анафема! Аще бы и ангел возвестил что паче Писания, анафема!

— Невежды вы! Не умеете рассуждать Писания. Что с вами, деревенскими олухами, речи терять!

— Затворил тя Бог в противление истине! Погибай со своими, окаянный!

— Да не буди нам с вами общения ни в сем веке, ни в будущем!

Все говорили вместе, и никто никого не слушал.

Теперь уже не только единосущники трисущникам, но и братья братьям в обоих толках готовы были перервать горло из-за всякой малости: крестообразного или троекратного каждения, ядения чесноку в день Благовещенья и Сорока мучеников, воздержания попов от луку за день до литургии, правила не сидеть в говении, возложивши ноги на ногу, чтения *вовеки веком*, или *вовеки веков* — из-за каждой буквы, запятой и точки в старых книгах.

— И малая-де опись содевает великую ересь!

— Умрем за один аз!

— Тверди, как в старых книгах писано, да молитву Исусову грызи — и все тут!

— Разумей, Федька, враг Божий, собака, блядин сын, адов пес — Христос и Петров крест: у Христова чебышок над колодкою, а у Петрова нет чебышка,— доказывал осипшим голосом брат Улиан, долгомшинский начетчик, всегда тихий и кроткий, а теперь точно исступленный, с пеною у рта, со вздувшимися на висках жилами и налитыми кровью глазами.

— Чебышок, чебышок над колодкою!— надрывался Федоська.

— Нет чебышка! Нет чебышка!— вопил Улиан.

А на поддачу ему, о. Трифилий, другой начетчик выскочил, рассказывали впоследствии, «яко ерш из воды, выя колом, глава копылом, весь дрожа и трясыйся, от великой ревности; кости сжимахуся, члены щепетаху, брада убо плясаша, а зубы щелкаху, глас его бяша, яко верблюда в мести, непростим, и неукротим, и ужасен от дикости».

Он уже ничего не доказывал, а только ругался по-матерному. Ему отвечали тем же. Начали богословием, кончили сквернословием.

— Сатана за кожу тебе залез!..

— Чернечишка плут, за стекляницу вина душу продал!..

— О, дерзости, о, мерзости! Свинья сый, окаянный и земли недостойный, ниже света сего зрети! Заблудящий скот!..

— Обретаются некоторые гады, из чрева своего гадят, будто бы св. Троица...

— Слушайте, слушайте о Троице!..

— Есть чего слушать? Не мощно твоего плетения расковыряти: яко лапоть сковырял, да и концы потерял...

— Я небесныя тайны вещаю, мне дано!

— Полно молоть! Заткни хайло онучей!

— Прокляты! Прокляты! Анафема!

На мужичьем соборе в Ветлужских лесах спорили почти так же, как четырнадцать веков назад, во времена Юлиана Отступника, на церковных соборах при дворе византийских императоров.

Тихон глядел, слушал — ему казалось, что не люди спорят о Боге, а звери грызутся, и что тишина его прекрасной матери — пустыни навеки поругана этими кощунственными спорами.

Под окнами кельи послышались крики. Мать Голиндуха, мать Меропия и мать Улея старая выглянули в окна и увидели, что целая толпа выходит на поляну из лесу, со стороны обители. Тогда вспомнили, как однажды, во время такого же братского схода на Керженце в Ларионовом починке, подкупленные бельцы, трудники и бортники пришли к избе, где был сход, с пищалями, рогатинами, дреколием и напали на старцев.

Опасаясь, как бы и теперь не случилось того же, матери бросились в моленную и задвинули наружную дверь толстыми дубовыми засовами в то самое мгновение, когда толпа уже ломилась и стучалась:

— Отворите! Отворите!

Кричали и еще что-то. Но мать Голиндуха, которая всем распоряжалась, тугая на ухо, не расслышала. А прочие матери только без толку метались и кудахтали, как перепуганные курицы. Оглушали их и крики внутри моленной, где отцы, не обращая ни на что внимания, продолжали спорить.

О. Спиридон объявил, что «ухом-де Христос вниде в Деву и неизреченно боком изыде».

О. Трифилий плюнул ему в лицо. О. Спиридон схватил о. Трифилия за бороду, сорвал с него кафтырь и хотел ударить по плеши медным крестом. Но старец Пров вязовою дубиною вышиб у о. Спиридона крест из руки. Онуфрианский начетчик, здоровенный детина Архипка. ринулся на о. Прова и так хватил его кулаком по виску, что старик упал замертво. Началась драка. Точно бесы обуяли старцев. В душной тьме, едва озаренной тусклым светом лампад и тонкими иглами солнца, мелькали страшные лица, сжатые кулаки, ременные четки, которыми хлестали по глазам друг друга, разорванные книги, оловянные подсвечники, горящие свечи, которыми тоже дрались. В воздухе стояла матерная брань, стон, рев, вой, визг.

Снаружи продолжали стучать и кричать:

— Отворите! Отворите!

Вся изба тряслась от ударов: то рубили топором ставню.

Мать Улия, рыхлая, бледная, как мучная опара, опустилась на пол и закликала таким пронзительным икающим кликом, что все ужаснулись.

Ставня затрещала, рухнула, и в лопнувший рыбий пузырь просунулась голова скитского шорника о. Мин с вытаращенными глазами и разинутым кричащим ртом:

— Команда, команда идет! Чего, дураки, заперлись? Выходи скорее!

Все онемели. Кто как стоял с поднятыми кулаками, или пальцами, вцепившимися в волосы противника, так и замер на месте, окаменев, подобно изваянию.

Наступила тишина мертвая. Только о. Мисаил плакал и молился:

— Беда пришла, беда пришла. Помилуй, Матерь Пречистая!

Очнувшись, бросились к дверям, отперли их и выбежали вон.

На поляне от собравшейся толпы узнали страшную весть: воинская команда, с попами, понятыми и подьячими, пробирается по лесу, уже разорила соседний Морошкин скит на реке Унже и не сегодня, завтра будет в Долгих Мхах.

III

Тихон увидел старца Корнилия, окруженного толпою скитников, мужиков, баб и ребят из окрестных селений.

— Всяк верный не развешивай ушей и не задумывайся,— проповедовал старец,— гряди в огонь с дерзновением, Господа ради, постражди! Так размахав, да и в пламя! На вось, диавол, еже мое тело; до души моей дела тебе нет! Ныне нам от мучителей — огнь и дрова, земля и топор, нож и виселица; там же — ангельские песни и славословие, и хвала, и радование. Когда оживотворятся мертвые тела наши Духом Святым — что ребенок из брюха, вылезем паки из земли-матери. Пророки и праотцы не уйдут от искуса, всех святых лики пройдут реку огненную — только мы свободны: то-де нам искус, что ныне сгорели; то нам река огненная, что сами — в огонь. Загоримся, яко свечи, в жертву Господу! Испечемся, яко хлеб сладок, Св. Троице! Умрем за любовь Сына Божьего! Краше солнца красная смерть!

— Сгорим! Сгорим! Не дадимся Антихристу!— заревела толпа неистовым ревом.

Бабы и дети громче мужиков кричали:

— Беги, беги в полымя! Зажигайся! Уходи от мучителей!

— Ныне скиты горят,— продолжал старец,— а потом и деревни, и села, и города зажгутся! Сам взял бы я огонь и запалил бы Нижний, возвеселился бы, дабы из конца в конец сгорел! Ревнуя же нам Россия и вся погорит!..

Глаза его пылали страшным огнем; казалось, что это огонь того последнего пожара, которым истребится мир.

Когда он кончил, толпа разбрелась по поляне и по опушке леса.

Тихон долго ходил по рядам, прислушиваясь к тому, что говорили в отдельных кучках. Ему казалось, что все сходят с ума.

Мужик говорил мужику:

— Само царство небесное в рот валится, а ты откладываешь: ребятки-де малые, жена молода, разориться не хочется. А ты, душа, много ли имеешь при них? Разве мешок да горшок, а третье — лапти на ногах. Баба, и та в огонь просится. А ты — мужик, да глупее бабы. Ну, детей переженишь и жену утешишь. А потом что? Не гроб ли? Гореть не гореть, все одно умереть!

Инок убеждал инока:

— Какое-де покаянье — десять лет эпитимья! Где-то поститься да молиться? А то, как в огонь, так и покаяние все — ни трудись, ни постись, да часом в рай вселись: все-то грехи очистит огонь. Как уж сгорел, ото всего ушел!

Дед звал деда:

— Полно уже, голубок, жить. Репа-де брюхо проела. Пора на тот свет, хоть бы в малые мученики!

Парнишки играли с девчонками:

— Пойдем в огонь! На том свете рубахи будут золотые, сапоги красные, орехов и меду, и яблок довольно.

— Добро и младенцы сгорят,— благословляли старцы,— да не согрешат, выросши, да не брачатся и не родятся, но лучше чистота да не растлится!

Рассказывали о прежних великих гарях.

В скиту Палеостровском, где со старцем Игнатием сожглось 2.700 человек, было видение: когда загорелась церковь — после большого дыму, из самой главы церковной, изшел о. Игнатий со крестом, а за ним прочие старцы и народа множество, все в белых одеждах, в великой славе и светлости, рядами шли на небо и, прошедши небесные двери, сокрылись.

А на Пудожском погосте, где сгорело душ 1.920, ночью караульные солдаты видели спустившийся с неба столп светлый, цветами разными цветущий, подобно радуге; и

с высоты столпа сошли три мужа в ризах, сиявших как солнце, и ходили около огнища по-солонь; один благословлял крестом, другой кропил водой, третий кадил фимиамом, и все трое пели тихим гласом; и так обойдя трикраты, опять вошли в столп и поднялись на небо. После того многие видели в кануны Вселенских суббот в ночи на том же месте горящие свечи и слышали пение неизреченное.

А мужику в Поморье было иное видение. Огневицей лежал он без памяти и увидел колесо вертящееся, огненное, и в том колесе человеков мучимых и вопиющих: се место не хотевших самосгореть, но во ослабе живущих и Антихристу работающих; иди и проповеждь во всю землю, да все погорят!— Уканула же ему капля на губу от колеса. Мужик проснулся, а губа сгнила. И проповедал людям: добро-де гореть, а се-де мне знаменье на губе покойники сделали, кои не хотели гореть.

Кликея кликуша, сидя на траве, пела стих о жене Аллилуевой.

Когда жиды, посланные Иродом, искали убить младенца Христа, жена Аллилуева укрыла Его, а свое собственное дитя бросила в печь.

Как возговорит ей Христос, Царь Небесный:
Ох ты гой еси, Аллилуева жена милосерда,
Ты скажи Мою волю всем Моим людям,
Всем православным христианам,
Чтобы ради Меня они в огонь кидались
И кидали бы туда младенцев безгрешных.

Но кое-где уже слышались голоса против самосожжения:

— Батюшки миленькие,— умолял о. Мисаил,— добро ревновать по Боге, да знать меру! Самовольно-мученичество не угодно Богу. Един путь Христов: не взятым утекать, взятым же терпеть, а самим не наскакивать. Отдохните от ужаса, бедные!

И неистовый о. Трифилий соглашался с кротким о. Мисаилом.

— Не полено есть, чтоб ни за что гореть! Ужли же, собравшись, яко свиньи в хлеве, запалитесь?

— Бессловесие глубокое!— брезгливо пожимал плечами о. Иерофей.

Мать Голендуха, которая уже горела раз, да не сгорела — вытащили и водой отлили,— устрашала всех рассказами о том, как тела в огне пряжатся и корчатся, голова с ногами аки вервью скручиваются, а кровь кипит и пенится, точно в горшке варево. Как, после гари, тела лежат, в толстоту велику раздувшись и огнем упекшись,

мясом жареным пахнут; иныя же целы, а за что ни потянешь, то и оторвется. Псы ходят, рыла зачернивши, печеных тех мяс жрут, окаянные. На пожарище смрад тяжкий исходит долгое время, так что невозможно никому пройти, не заткнувши носа. А во время самой гари, вверху пламени, видели однажды двух бесов черных, наподобие эфиопов, с нетопырьими крыльями, ликующих и плещущих руками, и вопиющих: наши, наши есте! И многие годы на месте том каждую ночь слышались гласы плачевные: ох, погибли! ох, погибли!

Наконец, противники самосожжения приступили к старцу Корнилию:

— Почто сам не сгорел? Когда то добро, вам бы, учителям, наперед! А то послушников бедных в огонь пихаете, животишек ради отморных себе на разживу. Все-то вы таковы, саможжения учители; хорошо, хорошо, да иным, а не вам. Бога побойтесь, довольно прижгли, хоть останки помилуйте!

Тогда, по знаку старца, выступил парень Кирюха, лютый зажигатель. Помахивая топором, крикнул он зычным голосом:

— Кто гореть не хочет добром, выходи с топором — будем биться. Кто кого зарубит, тот и прав будет. Меня убьет — неугодно-де Богу сожжение, а я убью — зажигайся!

Никто не принял вызова, и за Кирюхой осталась победа.

Старец Корнилий вышел вперед и сказал:

— Хотящие гореть — стань одесную, не хотящие — ошую!

Толпа разделилась. Одна половина окружила старца; другая отошла в сторону. Самосожженцев оказалось душ восемьдесят, не желавших гореть — около ста.

Старец осенил насмертников крестным знаменем и, подняв глаза к небу, произнес торжественно:

— Тебя ради, Господи, и за веру Твою, и за любовь Сына Божия Единородного умираем. Не щадим себя сами, души за Тя полагаем, да не нарушим своего крещения, принимаем второе крещение огненное, сожигаемся, Антихриста ненавидя. Умираем за любовь Твою пречистую!

— Гори, гори! Зажигайся! — опять заревела толпа неистовым ревом.

Тихону казалось, что, если он останется дольше в этой безумной толпе, то сам сойдет с ума.

Он убежал в лес. Бежал до тех пор, пока не смолкли крики. Узкая тропинка привела его к знакомой лужайке, поросшей высокими травами и окруженной дремучими

елями, где некогда молился он сырой земле-матери. На темных верхушках гасло вечернее солнце. По небу плыли золотые тучки. Чаща дышала смолистою свежестью. Тишина была бесконечная.

Он лег ничком на землю, зарылся в траву и опять, как тогда, у Круглого озера, целовал землю, молился земле, как будто знал, что только земля может спасти его от огненного бреда красной смерти:

Чудная Царица Богородица,
Земля, земля, Мати сырая!

Вдруг почувствовал, что кто-то положил ему руку на плечо — обернулся и увидел Софью.

Она склонилась над ним и смотрела в лицо его молча, пристально.

Он тоже молчал, глядя на нее снизу, так что лицо девушки, под черным скитским платком в роспуск, выделялось четко на золотистой лазури неба, как лик святой на золоте иконы. Бледною ровною матовой бледностью, с губами алыми и свежими, как полураскрытый цветок, с глазами детскими и темными, как омут — лицо это было так прекрасно, что дух у него захватило, точно от внезапного испуга.

— Вот ты где, братец! — проговорила, наконец, Софья.— А старец-то ищет везде, ума не приложит, куда пропал. Ну, вставай же, пойдем, пойдем скорее!

Она была вся торопливая и радостная, словно праздничная.

— Нет, Софья,— произнес он спокойно и твердо.— Не пойду я больше туда. Полно, будет с меня. Насмотрелся, наслушался. Уйду, совсем уйду из обители...

— И гореть не будешь?

— Не буду.

— Без меня уйдешь?

Он взглянул на нее с мольбою.

— Софьюшка, голубушка! Не слушай безумных. Не надо гореть,— нет на то воли Господней! Грех великий, искушение бесовское! Уйдем вместе, родная!..

Она склонилась к нему еще ниже, с лукавой и нежной улыбкою, приблизила к его лицу лицо свое, уста к устам, так что он почувствовал ее горячее дыхание.

— Не уйдешь никуда! — прошептала страстным шепотом.— Не пущу тебя, миленький!..

И вдруг охватила голову его обеими руками, и губы их слились.

— Что ты, что ты, сестрица? Разве можно? Увидят...

— Пусть видят! Все можно, все очистит огонь. Только скажи, что хочешь гореть... Хочешь?— спросила она чуть слышным вздохом, прижимаясь к нему все крепче и крепче.

Без мысли, без силы, без воли, ответил он таким же вздохом:

— Хочу!

На темных елях последний луч солнца погас, и золотые тучки посерели, как пепел. Воздух дохнул благовонною влажностью. Лес приосенил их дремучею тенью. Земля укрыла высокими травами.

А ему казалось, что лес и трава, и земля, и воздух, и небо — все горит огнем последнего пожара, которым должен истребиться мир — огнем красной смерти. Но он уже не боялся и верил, что краше солнца Красная Смерть.

IV

Скит опустел. Иноки разбежались из него, как муравьи из разоренного муравейника.

Самосожженцы собрались в часовню, стоявшую в стороне от скита, на высоком холме, так что приближение команды не могли не заметить издали.

Это был сруб из очень ветхого сухого леса, построенный так, чтоб из него нельзя было во время гари «выкинуться». Окна — как щели. Двери — такие узкие, что едва мог войти в них один человек. Крыльцо и лестницу сломали. К дверям прикрепили щиты для запора. На окна опустили слеги и запуски — все из толстых бревен. Потом стали поджогу прилаживать: набросали кудель, солому, пеньку, смолье, бересту; стены обмазали дегтем; в особых деревянных желобах, обнимавших строение, насыпали пороху, а несколько фунтов оставили про запас, чтобы в последнюю минуту рассыпать по полу дорожками. На крышу поставили двух караульных, которые должны были, сменяясь, днем и ночью сторожить, не идут ли гонители.

Работали радостно, словно готовились к празднику. Дети помогали взрослым. Взрослые становились, как дети. И все были веселы, точно пьяны. Веселее всех Петька Жизла. Он работал за пятерых. Высохшая рука его, с казенным клеймом, печатью Зверя, исцелялась, начинала двигаться.

Старец Корнилий бегал, сновал, как паук в паутине. В глазах его, таких светлых, что, казалось, они должны в темноте светиться, как зрачки у кошки — с тяжелым и

ласковым взглядом, были странные чары: на кого эти глаза смотрели, тот становился без воли и творил волю старца во всем.

— Ну-ка, дружнее, ребятушки!— шутил он с насмертниками. Я старик кряжик, а вы детки подгнедки: въедем прямо на небо, что Илья пророк на колеснице огненной!

Когда все было готово, стали запираться. Окна, кроме одного, самого узкого, и входные двери забили наглухо. Все слушали в молчании удары молотка: казалось, что над ними, живыми, заколачивают крышку гроба.

Только Иванушка-дурачок пел свою вечную песенку:

Древян гроб сосновен
Ради меня строен.
Буду в нем лежати,
Трубна гласа ждати.

Желавшим исповедаться старец говорил:

— Полно-ка, детушки! Чего-де вам каяться? Вы теперь, как ангелы Божьи, и паче ангелов — по слову Давидову — *аз рече: вы бози есте.* Победили всю силу вражью. Нет над вами власти греха. Уже согрешить не можете. И аще бы кто из вас отца родного убил да соблудил с матерью — свят есть и праведен. Все очистит огонь!

Старец приказал Тихону читать Откровение Иоанново, которое никогда ни на каких церковных службах не читается.

— *И видех небо ново и землю нову: первое бо небо и земля перваяприидоша. И рече Седяй на престоле: се нова вся творю. И глагола ми: напиши, яко сии слова истинна и верна суть. И рече ми: совершишася.*

Тихон, читая, испытывал знакомое чувство конца, с такою силою, как еще ни разу в жизни. Ему казалось, что стены сруба отделяют их от мира, от жизни, от времени, как стены корабля от воды: там, извне, еще продолжается время, а здесь оно уже остановилось, и наступил конец — совершилося.

— Вижу... вижу... вижу... ох, батюшки миленькие!— прерывая чтение, закричала Киликея кликуша, вся бледная, с искаженным лицом и неподвижным взором широко открытых глаз.

— Что видишь, мать?— спросил старец.

— Вижу град великий, святый Иерусалим, нисходящ с небеси от Бога, подобен камени драгому, яко камени яспису кристалловидну, и смарагду, и сапфиру, и топазию. И двенадцать врат — двенадцать бисеров. И стогны града — злато чисто, яко стекло пресветло. А солнца нет, но слава Божия просвещает все. Ох, страшно, страшно, ба-

тюшки!.. Вижу Лицо Его светлее света солнечного... Вот Он, вот Он!.. К нам идет!..

И слушавшим ее казалось, что они видят все, о чем она говорит.

Когда наступила ночь, зажгли свечи и, стоя на коленях, запели тропарь:

— *Се Жених грядет во полунощи, и блажен раб, его же обрящет бдяща. Блюди убо, душе моя, да не сном отяготися, да не смерти предана будеши и Царствия вне затворишися; но воспряни, зовущи: свят, свят, свят, Боже, Богородицею помилуй нас. День он страшный помышляюще, душе моя, побди, вжигающе свещу твою, елеем просвещающи; не веси бо, когда приидет к тебе глас глаголящий: се Жених!*

Софья, стоя рядом с Тихоном, держала его за руку. Он чувствовал пожатие трепетной руки ея, видел на лице ее улыбку застенчивой радости: так улыбается невеста жениху под брачным венцом. И ответная радость наполнила душу его. Ему казалось теперь, что прежний страх его — искушение бесовское, а воля Господня — красная смерть: *ибо, кто хочет душу свою спасти, погубит ее, а кто погубит душу свою, Меня ради и Евангелия, тот спасет ее.*

Ждали в ту же ночь прихода команды. Но она не пришла. Настало утро и, вместе с ним — усталость, подобная тяжелому похмелью.

Старец зорко следил за всеми. Кто унывал и робел, тем давал катыши, вроде ягод, из пахучего темного теста, должно быть, с одуряющим зельем. Съевший такую ягоду приходил в исступление, переставал бояться огня и бредил им, как райским блаженством.

Чтоб ободрить себя, рассказывали о несравненно, будто бы, более страшной, чем самосожжение, голодной смерти в морильнях.

Запощеванцев, посхимив, сажали в пустую избу, без дверей, без окон, только с полатями. Чтоб не умертвили себя, снимали с них всю одежду, пояс и крест. Спускали в избу потолком и потолок закрепляли, чтоб кто не «выдрался». Ставили караульных с дубинами. Насмертники мучились по три, по четыре, по шести дней. Плакали, молили: «дайте нам есть!» Собственное тело грызли и проклинали Бога.

Однажды двадцать человек, посаженных в ригу, что стояла в лесу для молотьбы хлеба — как стало им тошно, взявши каменья, выбили доску и поползли вон; а сторожа дубинами по голове их били и двоих убили, и загородивши дверь, донесли о том старцу: что с ними делать велит? И велел соломой ригу окласть и сжечь.

— Куда-де легче красная смерть: сгоришь — не почувствуешь!— заключали рассказчики.

Семилетняя девочка Акулька, все время сидевшая смирно на лавке и слушавшая внимательно, вдруг вся затряслась, вскочила, бросилась к матери, ухватила ее за подол и заплакала, закричала пронзительно:

— Мамка, а, мамка! Пойдем, пойдем вон! Не хочу гореть!..

Мать унимала ее, но она кричала все громче, все неистовее:

— Не хочу гореть! Не хочу гореть!

И такой животный страх был в этом крике, что все содрогнулись, как будто вдруг поняли ужас того, что совершалось.

Девочку ласкали, грозили, били, но она продолжала кричать и, наконец, вся посиневшая, задохшаяся от крика, упала на пол и забилась в судорогах.

Старец Корнилий, склонившись над ней, крестил ее, ударял четками и читал молитвы на изгнание беса.

— Изыде, изыде, ду́ше окаянный!

Ничто не помогало. Тогда он взял ее на руки, открыл ей рот насильно и заставил проглотить ягоду из темного теста. Потом начал тихонько гладить ей волосы и что-то шептал на ухо. Девочка мало-помалу затихла, как будто заснула, но глаза были открыты, зрачки расширены, и взор неподвижен, как в бреду. Тихон прислушался к шепоту старца. Он рассказывал ей о царствии небесном, о райских садах.

— А малина, дяденька, будет?— спросила Акулька.

— Будет, родимая, будет, во какая большущая — каждая ягодка с яблоко — и душистая да сладкая, пресладкая.

Девочка улыбалась. Видно было, что у нее слюнки текут от предвкушения райской малины. А старец продолжал ее ласкать и баюкать с материнскою нежностью. Но Тихону чудилось в светлых глазах его что-то безумное, жалкое и страшное, паучье. «Словно к мухе паук присосался!»— подумал он.

Наступила вторая ночь, а команда все еще не приходила.

Ночью одна старица выкинулась. Когда все заснули, даже сторожа, она взлезла к ним на вышку, хотела спуститься на связанных платках, но оборвалась, упала, расшиблась и долго стонала, охала под окнами. Наконец, замолкла, должно быть, отползла, или прохожие подобрали и унесли.

В часовне было тесно. Спали на полу вповалку, братья на правой, сестры на левой стороне. Но греза ли сонная, или наваждение бесовское — только в середине ночи стали шнырять в темноте осторожные тени, справа налево и слева направо.

Тихон проснулся и прислушался. За окном пел соловей, и в этой песне слышалась лунная ночь, свежесть росистого луга, запах елового леса, и воля, и нега, и счастье земли. И точно в ответ соловью, слышались в часовне странные шепоты, шелесты, шорохи, звуки, подобные вздохам и поцелуям любви. Силен, видно, враг человеческий: не угашал и страх смерти, а распалял уголь грешной плоти.

Старец не спал. Он молился и ничего не видел, не слышал, а если и видел, то, верно, прощал своих «бедненьких детушек»:

«Един Бог без греха, а человек немощен — падает, яко глина, и восстает, яко ангел. Не то блуд, еже с девицею, или вдовицею, не то блуд, еже в вере блудить: не мы блудим, егда телом дерзаем, но церковь, когда ересь держит».

Тихону вспомнился рассказ о том, как два старца увели одну девушку в лес, верст за двадцать, и среди леса начали нудить: «Сотвори с нами, сестра, Христову любовь». — «Какую, говорит, любовь Христову имею с вами творить?» — «Буди, говорят, с нами совокуплением плотским — то есть любовь Христова». Плачет девица: «Бога побойтесь!» А старцы утешают: «Огонь-де нас очистит». Еще бедная упрямится, а они запрещают: «Аще не послушаешь, венца не получишь!»

Вдруг Тихон почувствовал, что кто-то обнимает его и прижимается к нему. Это была Софья. Ему стало страшно. Но он подумал: все очистит огонь. И ощущая сквозь черную скитскую ряску теплоту и свежесть невинного тела, припал к ее устам устами с жадностью.

И ласки этих двух детей в темном срубе, в общем гробу, были так же безгрешны, как некогда ласки пастушка Дафниса и пастушки Хлои на солнечном Лесбосе.

А Иванушка-дурачок, сидя в углу на корточках, со свечою в руках и мерно покачиваясь, ожидая «петелева глашения», пел свою вечную песенку:

Гробы вы, гробы, колоды дубовые,
Всем есте, гробы, домовища вечные!

И соловей тоже пел, заливался о воле, о неге, о счастье земли. И в этом соловьином рокоте слышался как будто нежный и лукавый смех над гробовою песнью дурачка Иванушки.

И вспомнилась Тихону белая ночь, кучка людей на плоту над гладью Невы, между двумя небесами — двумя безднами — и тихая, томная музыка, которая доносилась по воде из Летнего сада, как поцелуи и вздохи любви из царства Венус:

Покинь, Купидо, стрелы:
Уже мы все не целы,
Но сладко уязвленны
Любовною стрелою
Твоею золотою,
Любви все покоренны.

Перед рассветом восьмидесятилетний старик Миней хотел тоже выкинуться. Его поймал Кирюха. Они подрались, и Миней едва не зарубил Кирюху топором. Старика связали, заперли в чулане. Он кричал оттуда и бранил старца Корнилия непристойною бранью.

Когда на заре Тихон выглянул в окошко, чтобы узнать, не пришла ли команда, то увидел лишь пустынную, залитую солнцем поляну, ласково-хмурые, сонные ели и лучезарную радугу в каплях росы. На него пахнуло такой благовонною свежестью хвои, таким нежным теплом восходящего солнца, таким кротким затишьем голубого неба, что опять показалось ему все, что делалось в срубе, сумасшедшим бредом, или злодейством.

Опять потянулся долгий летний день, и напала на всех тоска ожидания.

Грозил голод. Воды и хлеба было мало — только куль ржаных сухарей, да корзины две просфор. Зато вина много, церковного красного. Его пили с жадностью. Кто-то, напившись, затянул вдруг веселую кабацкую песню. Она была ужаснее самого дикого вопля.

Начинался ропот. Сходились по углам, перешептывались и смотрели на старца недобрыми глазами. А что, если команда не придет? Умирать, что ли, с голоду? Одни требовали, чтобы выломали дверь и послали за хлебом; но в глазах у них видна была тайная мысль: убежать. Другие хотели зажечься тотчас, не дожидаясь гонителей. Иные молились, но с таким выражением в лице, точно богохульствовали. Иные, наевшись ягод с дурманом, которые старец раздавал все чаще, бредили — то смеялись, то плакали. Один парень, придя в исступление, бросился, схватил свечу, горевшую перед образом, и начал зажигать поджогу. Едва потушили. Иные целыми часами сидели в молчанье, в оцепенении, не смея смотреть друг другу в глаза.

Софья сидя рядом с Тихоном, который лежал на полу, ослабев от бессонных ночей и от голода, напевала унылую

песенку, которую пели хлысты на радениях — о великом, сиротстве души человеческой, покинутой в жизни, как в темном лесу, Господом Батюшкой и Богородицей Матушкой:

Тошным было мне, тошнехонько,
Грустным было мне, грустнехонько.
Мое сердце растоскуется,
Мне к Батюшке в гости хочется.
Я пойду, млада, ко Батюшке,
Что текут ли реки быстрые,
Как мосты все размостилися.
Перевозчики отлучилися.
Мне пришло, младой, хоть вброд брести.
Как вброд брести, обмочитися,
У Батюшки обсушитися.
Мое сердце растоскуется,
Сердечный ключ подымается;
Мне к Матушке в гости хочется,
Со любезною повидеться,
Со любезною побеседовать.

И песня кончалась рыданием:

Пресвятая Богородица,
Упроси, мой Свет, об нас!
Без Тебя, мой Свет, много грешных на земле,
На сырой земле, на матушке,
На сударыне кормилице!

Никто их не видел. Софья склонила голову на плечо Тихона, прислонилась щекой к щеке его, и он почувствовал, что она плачет.

— Ох, жаль мне тебя, жаль, Тишенька родненький!— шептала ему на ухо.— Загубила я твою душеньку, окаянная!.. Хочешь бежать? Веревку достану. Аль старцу скажу: подземный ход есть в лес — он тебя выведет...

Тихон молчал в бесконечной усталости и только улыбался ей сонною детской улыбкою.

В уме его проносились далекие воспоминания, подобные бреду: самые отвлеченные математические выводы: почему-то теперь он особенно чувствовал их стройное и строгое изящество, их ледяную прозрачность и правильность, за которую, бывало, старый Глюк сравнивал математику с музыкой — с хрустальною музыкой сфер. Припомнился также спор Глюка с Яковом Брюсом о Комментариях Ньютона к Апокалипсису и сухой, резкий, точно деревянный, смех Брюса, и слова его, которые отозвались тогда в душе Тихона таким предчувственным ужасом: «В то самое время, когда Ньютон сочинял свои Комментарии,— на другом конце мира, именно здесь, у нас, в Московии, дикие изуверы, которых называют раскольниками, сочиняли тоже свои комментарии к Апокалипси-

су и пришли почти к таким же выводам, как Ньютон. Ожидая со дня на день кончины мира и второго пришествия, одни из них ложатся в гробы и сами себя отпевают, другие сжигаются. Так вот что, говорю я, всего любопытнее: в этих апокалипсических бреднях крайний Запад сходится с крайним Востоком и величайшее просвещение — с величайшим невежеством, что действительно, могло бы, пожалуй, внушить мысль, что конец мира приближается, и что все мы скоро отправимся к черту!» И новый, грозный смысл приобретало пророчество Ньютона: «Hupotheses non fungo! Я не сочиняю гипотез! Как мотылек, летящий на огонь, комета упадет на солнце — и от этого падения солнечный жар возрастет до того, что все на земле истребится огнем. В Писании сказано: *небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят*. Тогда исполнятся оба пророчества — того, кто верил, и того, кто знал». Припомнилось ветхое, изъеденное мышами октаво из библиотеки Брюса, под номером 461, с безграмотной русскою надписью: «Лионардо Давинчи трактат о живописном письме на немецком языке», и вложенный в книгу портрет Леонардо — лицо Прометея, или Симона Мага. И вместе с этим лицом — другое, такое же страшное — лицо исполина в кожаной куртке голландского шкипера, которого однажды встретил он в Петербурге на Троицкой площади у кофейного дома Четырех Фрегатов — лицо Петра, некогда столь ненавистное, а теперь вдруг желанное. В обоих лицах было что-то общее, как бы противоположно-подобное: в одном — великое созерцание, в другом — великое действие разума. И от обоих лиц веяло на Тихона таким же благодатным холодом, как от горных снегов на путника, изможденного зноем долин. «О физика, спаси меня от метафизики!»— вспоминалось ему слово Ньютона, которое твердил, бывало, пьяный Глюк. В обоих лицах было единое спасение от огненного неба Красной Смерти —«земля, земля, Мати сырая».

Потом все смешалось, и он заснул. Ему приснилось, будто бы он летит над каким-то сказочным городом, не то над Китежем-градом, или Новым Иерусалимом, не то Стекольным, подобным «стклу чисту и камени иаспису кристалловидну»; и математика — музыка была в этом сияющем Граде.

Вдруг проснулся. Все суетились, бегали и кричали с радостными лицами.

— Команда, команда пришла!

Тихон выглянул в окно и увидел вдали, на опушке леса, в вечернем сумраке, вокруг пылавшего костра, людей в треуголках, в зеленых кафтанах с красными отворотами и медными пуговицами: это были солдаты.

— Команда, команда пришла! Зажигайся, ребята! С нами Бог!

V

Капитан Пырский имел предписание нижегородской архиерейской канцелярии:

«До раскольничьего жительства дойти секретно, так чтобы не зажглись. А буде в скиту своем, или часовне запрутся, то команде стоять около того их пристанища денно и нощно, со всяким остерегательством, неоплошно ратным строем, и смотреть, и беречь их накрепко, и жечься им отнюдь не давать, и уговаривать, чтоб сдались и принесли вину свою, весьма обнадеживая, что будут прощены без всякого озлобления. И буде сдадутся, то всех переписать и положа им на ноги колодки, или что может заблагоприобретено быть, чтоб в дороге утечки не учинили и со всеми их пожитками, при конвое, отправить в Нижний. А буде, по многому увещанию, повиновения не принесут и учнут сидеть в запоре упорно, то потеснить их и добывать, как возможно, чтоб конечно тех воров переимать, а распространению воровства их не допустить и взять бы их взятьем, или голодом выморить без кровопролития. А буде они свои воровские пристанища или часовню зажгут, то вам бы те пристанища заливать водою и, вырубя или выломав двери и окна, выволакивать их живыми».

Капитан Пырский, храбрый старый солдат, раненый при Полтаве, считал разорение скитов «кляузной выдумкой долгогривой поповской команды» и лучше пошел бы в самый жестокий огонь под шведа и турку, чем возиться с раскольниками. Они сжигались, а он был в ответе и получал выговоры: «Оному капитану и прочим светским командирам такие непорядочные поступки воспретить, ибо по всему видно, что предали себя сожжению, видя от него, капитана, страх». Он объяснил, что «раскольники не от страха, а от замерзелости своей умирают, понеже надуты страшною злобою и весьма нас имеют отпадших от благочестия, и объявляют, что стоят даже до смерти и переменять себя к нынешнему обыкновению не будут — столь надуты и утверждены в такой безделице». Но объяснений этих не слушали, и архиерейская канцелярия требовала:

«Понеже раскольники чинят самосожжения притворные, чтоб не платить двойного оклада, на самом же деле в глухих местах поселяются и, скрывшись там, свободно предаются своему мерзкому злочестию, то светским командирам надлежит по требухам сгоревших сосчитывать и, сосчитав, в реестр записывать, того для, что требуха в пожаре, хотя бы в каком великом строении, в пепел сгореть не может».

Но капитан, полагая это для военного звания своего унизительным, требуху считать не ездил и получил за то новый выговор.

В Долгих Мхах решил он быть осторожнее и сделать все, что возможно, чтоб не давать раскольникам жечься.

Перед наступлением ночи, приказав команде отойти подальше от сруба и не трогаться с места, подошел к часовне, один, без оружия, оглядел ее тщательно и постучался под окном, творя молитву по-раскольничьи:

— Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Никто не ответил. В срубе было тихо и темно, как в гробу. Кругом пустыня. Верхушки деревьев глухо шумели. Подымался ночной свежий ветер. «Если зажгутся, беда!» — подумал капитан, постучал и повторил:

— Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!

Опять молчание: только коростели на болоте скрипели, да где-то далеко завыла собака. Падучая звезда сверкнула огненной дугою по темному небу и рассыпались искрами. Ему стало вдруг жутко, как будто, в самом деле, стучался он в гроб к мертвецам.

— Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! — произнес он в третий раз.

Ставня на окне зашевелилась. Сквозь узкую щель блеснул огонек. Наконец, окно открылось медленно, и голова старца Корнилия высунулась.

— Чего надобно? Что вы за люди и зачем пришли?

— По указу его величества, государя Петра Алексеевича, пришли мы вас увещевать: объявили бы вы о себе, какого вы звания, чину и роду, давно ли сюда в лес пришли и с какими отпусками из домов своих вышли, и по каким указам и позволениям жительствуете? И ежели на святую восточную церковь и тайны ее какое сумнительство имеете, о том показали бы письменно и наставников своих выдали бы для разглагольствия с духовным начальством без всякого страха и озлобления...

— Мы, крестьяне и разночинцы, собрались здесь все во имя Исуса Христосика, и жен, и детей своих уберем и упокоим,— ответил старец тихо и торжественно.— Хотим

умереть огнесожжением за старую веру, а вам, гонителям, в руки не дадимся, понеже-де у вас вера новая. А ежели кто хочет спастись, тот бы с нами шел сюда гореть: мы ныне к самому Христу отходим.

— Полно, братец! — возразил капитан ласково.— Господь с вами, бросьте вы свое мерзкое намерение сжигаться, разойдитесь-ка по домам, никто на вас не подымет руки своей. Заживите по-старому в деревнях своих припеваючи. Будете лишь дань платить, двойной оклад...

— Ну, капитан, ты сказывай это малым зубочным ребятам, а мы таковые обманы уже давно знаем: по усам текло, да в рот не попало.

— Честью клянусь, всех отпущу, пальцем не трону! — воскликнул Пырский.

Он говорил искренно: он, в самом деле, решил отпустить их, вопреки указу, на свой собственный страх, ежели они сдадутся.

— Да чего нам с тобою глотку-то драть, охрипнем!— прибавил с доброй улыбкой.— Вишь, высоко до окна, не слышно. А ты вот что, старик; вели-ка выкинуть ремень, я подвяжусь, а вы меня к себе подымайте в окошко, только не в это, в другое, пошире, а то не пролезу. Я один, а вас много, чего вам бояться? Потолкуем,— даст Бог, и поладим...

— Что с вами говорить? Куда же нам, нищим и убогим, с такими тягаться? — усмехнулся старец, наслаждаясь, видимо, своей властью и силой.— Пропасть великая между нами и вами утвердилася,— заключил он опять торжественно,— яко да хотящие прийти отсюда к вам не возмогут, ниже оттуда к нам приходят... А ты ступай-ка прочь, капитан, а то, смотри, сейчас загоримся!

Окошко захлопнулось. Опять наступило молчание. Только ветер шумел в верхушках деревьев, да коростели на болоте скрипели.

Пырский вернулся к солдатам, велел им дать по чарке вина и сказал:

— Драться мы с ними не станем. Мало-де, слышь, у них мужиков, а все бабы да дети. Выломаем двери и без оружия голыми руками всех переловим.

Солдаты приготовили веревки, топоры, лестницы, ведра, бочки с водою, чтобы заливать пожар, и особые длинные шесты с железными крючьями — кокоты, чтобы выволачивать горящих из пламени. Наконец, когда совсем стемнело, двинулись к часовне, сперва обходом, по опушке леса, потом по полянке, крадучись ползком в высоких травах и кустах. словно охотники на облаву зверя.

Подойдя вплотную к срубу, начали приставлять лестницы. В срубе все было темно и тихо, как в гробу.

Вдруг окошко открылось и старец крикнул:

— Отойдите! Как начнет селитра и порох рвать, тогда и вас побьет бревнами!

— Сдавайтесь! — кричал капитан.— Все равно с бою возьмем! Видите, у нас мушкеты да пистоли...

— У кого пистоли, а у нас дубинки Христовы! — ответил чей-то голос из часовни.

В задних рядах команды появился поп с крестом и стал читать увещание пастырское от архиерея:

— «Аще кто беззаконно постраждет, окаяннейший есть всех человек: и временное свое житие мучением погубит, и муки вечной не избегнет»...

Из окошка высунулось дуло ветхой дедовской пищали, и грянул выстрел холостым зарядом: стреляли не для убийства, а только для устрашения гонителей.

Поп спрятался за солдатские спины. А вдогонку ему старец, грозя кулаком, закричал с неистовой яростью:

— Адские преисподние головни! Содомского пламени останки! Разоренного вавилонского столпотворения семя! Дайте только срок, собаки, не уйдете от меня — я вам, и лучшим, наступлю на горло о Христе Исусе, Господе нашем! Се, приидет скоро и брань сотворит с вами мечом уст Своих, и двигнет престолы, и кости ваши предаст псам на съядение, якож Иезавелины! Мы горим здешним огнем, вы же огнем вечным и ныне горите и там гореть будете! Куйте же мечи множайшие, уготовляйте муки лютейшие, изобретайте смерти страшнейшие, да и радость наша будет сладчайшая!.. Зажигайся, ребята! С нами Бог!

В окно полетели порты, сарафаны, тулупы, рубахи и чуйки:

— Берите их себе, гонители! Метайте жеребий! Нам ничего не нужно. Нагими родились и предстанем нагими пред Господом!..

— Да пощадите же хоть детей своих, окаянные! — воскликнул капитан с отчаяньем.

Из часовни послышалось тихое, как бы надгробное, пение.

— Взлезай, руби, ребята!— скомандовал Пырский.

Внутри сруба все было готово. Поджога прилажена. Кудель, пенька, смолье, солома и береста навалены грудами. Восковые свечи перед образами прикреплены к паникадилам так слабо, что от малейшего сотрясения должны были попадать в желоба с порохом: это всегда делали нарочно для того, чтобы самосожжение походило как можно меньше

на самоубийство. Ребят-подростков усадили на лавки; одежду их прибили гвоздями так, чтобы они не могли оторваться; скрутили им руки и ноги веревками, чтобы не метались; рты завязали платками, чтоб не кричали. На полу в череповой посуде зажгли ладан фунта с три, чтоб дети задохлись раньше взрослых и не видели самого ужаса гари.

Одна беременная баба только что родила девочку. Ее положили тут же на лавке, чтобы крестить крещением огненным.

Потом, раздевшись донага, надели новые белые рубахи-саваны, а на головы — бумажные венцы с писанными красным чернилом, осьмиконечными крестами и стали на колени рядами, держа в руках свечи, дабы встретить Жениха с горящими светильниками.

Старец, воздев руки, молился громким голосом:

— Господи Боже, призри на нас, недостойных рабов Твоих! Мы слабы и немощны, того ради не смеем в руки гонителям вдатися. Призри на сие собранное стадо, Тебе, Доброму Пастырю последующее, волка же лютаго, Антихриста убегающее. Спаси и помилуй, ими же веси судьбами Своими, укрепи и утверди на страдание огненное. Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Всякого бо ответа недоумевающе, сию Ти молитву, яко Владыце, грешные приносим: помилуй нас! Умираем за любовь Твою пречистую!

Все повторили за ним в один голос — и жалок, и страшен был этот вопль человеческий к Богу:

— Умираем за любовь Твою пречистую!

В то же время, по команде Пырского, солдаты, окружив со всех сторон часовню и взлезая на лестницы, рубили толстые бревенчатые стены сруба, запуски и слеги на окнах, щиты на дверях.

Стены дрожали. Свечи падали, но все мимо желоба с порохом. Тогда, по знаку старца, Кирюха схватил пук свечей, горевших перед иконой Божьей Матери, бросил прямо в порох и отскочил. Порох взорвало. Поджога вспыхнула. Огненные волны разлились по стенам и стропилам. Густой, сперва белый, потом черный, дым наполнил часовню. Пламя задыхалось, гасло в нем; только длинные красные языки выбивались из дыма, свистя и шипя, как змеиные жала — то тянулись к людям и лизали их, то отпрядывали, словно играя.

Послышались неистовые вопли. И сквозь вопли горящих, сквозь грохот огня звучала песнь торжествующей радости:

— *Се, Жених грядет во полунощи.*

С того мгновения, как вспыхнул огонь и до того, как

Тихон потерял сознание, прошли две, три минуты, но он увидел и навеки запомнил все, что делалось в часовне.

Старец схватил новорожденную, перекрестил: «Во имя Отца, Сына и Духа Святаго!» — и бросил в огонь — первую жертву.

Иванушка-дурачок протянул руки к огню, как будто встречая грядущего Господа, которого ждал всю жизнь.

На Киликее кликуше рубаха затлела и волосы вспыхнули, окружая голову ей огненным венцом; а она, не чувствуя боли, окаменела, с широко-раскрытыми глазами, как будто видела в огне великий Град, святой Иерусалим, сходящий с неба.

Петька Жизла кинулся в огонь вниз головой, как веселый купальщик в воду.

Тихону тоже чудилось что-то веселое, пьяное в страшном блеске огня. Ему вспомнилась песня:

> В печи растет трава-мурава,
> Цветут цветочки лазоревы.

Казалось, что в прозрачно-синем сердце огня он видит райские цветы. Синева их, подобная чистому небу, сулила блаженство нездешнее; но надо было пройти через красное пламя — красную смерть, чтобы достигнуть этого неба.

Осаждавшие выбили два, три бревна. Дым хлынул в полое место. Солдаты, просунув кокоты, стали вылакивать горевших и отливать водой. Столетнюю мать Феодулию вытащили за ноги, обнажив ее девичий срам. Старица Виталия уцепилась за нее и тоже вылезла, но тотчас испустила дух: все тело ее от обжогов было как один сплошной пузырь. О. Спиридон, когда его вытащили, схватил спрятанный за пазухой нож и зарезался. Он был еще жив четыре часа, непрестанно на себе двоеперстный крест изображал, ругал никониан и радовался, как сказано было в донесении капитана, «что так над собою учинить ему удалось смертную язву».

Иные, после первых обжогов, сами кидались к пробоине, падали, давили друг друга, лезли вверх по груде свалившихся тел, как по лестнице, и кричали солдатам:

— Горим, горим! Помогите, ребятушки!..

На лицах ангельский восторг сменялся зверским ужасом.

Бегущих старались удержать оставшиеся. Дедушка Михей ухватился обеими руками за край отверстия, чтобы выскочить, но семнадцатилетний внук ударил его бердышом по рукам, и дед упал в огонь. Баба урвалась из пламени, сынишка — за нею, но отец ухватил его за ноги, раскачал и ударил головой о бревно. Тучный скитский

келейник, упавший навзничь в лужу горящей смолы, корчился и прыгал, точно плясал: «Как карась на сковороде!»— подумал Тихон с ужасным смехом и закрыл глаза, чтобы не видеть.

Он задыхался от жара и дыма. Темно-лиловые колокольчики на кроваво-красном поле закивали ему, зазвенели жалобно. Он почувствовал, что Софья обнимает его, прижимается к нему. И сквозь полотно ее рубахи-савана свежесть невинного тела, как бы ночного цветка, была последнею свежестью в палящем зное.

А голоса живых раздавались все еще сквозь вопли умирающих:

— *Се, Жених грядет...*

— Жених мой, Христос мой возлюбленный! — шептала Софья на ухо Тихону. И ему казалось, что огонь, горящий во теле его — сильнее огня Красной Смерти. Они поникли вместе, как будто обнявшись легли, жених и невеста, на брачное ложе. Жена огнезрачная, огнекрылая, уносила его в пламенную бездну.

Жар был так силен, что солдаты должны были отступить. Двух спалило. Один упал в сруб и сгорел.

Капитан ругался:

— Ах, дурачки, дурачки окаянные! Легче со шведом и с туркой, чем с этою сволочью!

Но лицо старика было бледнее, чем когда лежал он раненый на поле Полтавского боя.

Раздуваемое бурным ветром, пламя вздымалось все выше, и шум его подобен был грому. Головни летели по ветру, как огненные птицы. Вся часовня была как одна раскаленная печь, и в этой печи, как в адском огне, копошилась груда сваленных, скорченных, скрюченных тел. Кожа на них лопалась, кровь клокотала, жир кипел. Слышался смрад паленого мяса.

Вдруг балки обвалились, крыша рухнула. Огненный столб взвился под самое небо, как исполинский светоч. И землю, и небо залило красное зарево, точно это был, в самом деле, последний пожар, которым должен истребиться мир.

Тихон очнулся в лесу, на свежей росистой траве.

Потом он узнал, что в последнее мгновение, когда лишился он чувств, старец с Кирюхою подхватили его вдвоем на руки, бросились в алтарь часовни, где под престолом была дверца, вроде люка, в подполье, спустились в этот никому неведомый тайник и подземным ходом вышли в лес,

в самую густую чащу, где не могли отыскать их гонители.

Так поступали почти все учители самосожжения: других сжигали, а себя и ближайших учеников своих спасали для новой проповеди.

Тихон долго не приходил в себя; долго старец с Кирюхою отливали его водою; думали, что он умрет. Обжоги, впрочем, на нем были не тяжкие.

Наконец, очнувшись, он спросил:

— Где Софья?

Старец посмотрел на него своим светлым и ласковым взглядом:

— Не замай себя, дитятко, не горюй о сестрице невестушке! В царствии небесном душенька пречистая, купно с прочими святыми страдальцами.

И подняв глаза к небу, перекрестился с умиленною радостью:

— Рабам Божиим, самовольно сгоревшим вечная память! Почиваете, миленькие, до общего воскресения и о нас молитеся, да и мы ту же чашу испием о Господе, егда час наш приидет. А ныне еще не пришел, поработать еще надо Христу... Прошел и ты, чадо, искус огненный,— обратился он к Тихону,— умер для мира, воскрес для Христа. Потщися же сию вторую жизнь не себе пожить, но Господу. Облекись в оружие света, стань добре, будь воин о Христе Исусе, в красной смерти проповедник, яко же и мы, грешные!

И прибавил с почти резвой веселостью:

— На Океан гулять пойдем, в пределы Поморские. Запалим и там огоньки! Да учиним похрабрее, прижжем батюшек миленьких поболее. Ревнуя же нам, даст Бог, Россия и вся погорит, а за Россией — вселенная.

Тихон молчал, закрыв глаза. Старец, подумав, что он опять впал в забытье, прошел в землянку, чтобы приготовить травы, которыми лечил обжоги.

А Тихон, оставшись один, отвернулся от неба, все еще пылавшего кровавым заревом, и припал лицом к земле.

Сырость земли утоляла боль обжогов, и ему казалось, что земля услышала мольбу его, спасла от огненного неба Красной Смерти, и что снова выходит он из чрева земли, как младенец рождающийся, мертвец воскресающий. И он обнимал, целовал ее, как живую, и плакал, и молился:

Чудная Царица Богородица,
Земля, земля, Мати сырая!

Через несколько дней, когда старец уже собирался в путь, Тихон от него бежал.

Он понял, что церковь старая не лучше новой, и решил вернуться в мир, чтоб искать истинной церкви, пока не найдет.

КНИГА ДЕСЯТАЯ

СЫН И ОТЕЦ

I

Церковь перестала быть церковью для царевича с тех пор, как узнал он о царском указе, которым нарушалась тайна исповеди. Ежели Господь допустил такое поругание церкви, значит, Он отступил от нее,— думал царевич.

По окончании московского розыска, в канун Благовещения, 24 марта, Петр вернулся в Петербург. Он занялся своим Парадизом, постройкою флота, учреждением коллегий и другими делами так усердно, что многим казалось, будто розыск совсем кончен, и дело предано забвению. Царевича, однако, привезли из Москвы под караулом, вместе с прочими колодниками, и поместили в особом доме, рядом с Зимним дворцом. Здесь держали его, как арестанта: никуда не пускали, никому не показывали. Ходили слухи, что он помешался в уме от безмерного пьянства.

Наступила Страстная.

Первый раз в жизни царевич не говел. К нему подсылали священников уговаривать его, но он отказывался слушать их: все они казались ему сыщиками.

13 апреля была Пасха. Светлую Заутреню служили в Троицком соборе, заложенном при основании Петербурга, маленьком, темном, бревенчатом, похожем на сельскую церковь. Государь, государыня, все министры и сенаторы присутствовали. Царевич не хотел было идти, но, по приказу царя, повели его насильно.

В полутемной церкви, над Плащаницею, канон Великой Субботы звучал, как надгробное пение:

Содержай вся на кресте, вознесеся, и рыдает вся тварь, Того видяща нага, висяща на древе, солнце лучи сокры, и звезды отложиша свет.

Священнослужители вышли из алтаря еще в черных, великопостных ризах, подняли Плащаницу, внесли в алтарь и затворили царские врата — погребли Господа.

Пропели последний тропарь полунощницы:

Егда снисшел еси к смерти, Животе Бессмертный.

И наступила тишина.

Вдруг толпа зашевелилась, задвигалась, будто спешно готовясь к чему-то. Стали затепливать свечи одна о другую. Церковь вся озарилась ярким тихим светом. И в этой светлой тишине было ожидание великой радости.

Алексей зажег свечу о свечу соседа, Петра Андреевича Толстого, своего «Иуды Предателя». Нежное пламя напомнило царевичу все, что он когда-то чувствовал во время Светлой Заутрени. Но теперь заглушал он в себе это чувство, не хотел и боялся его, бессмысленно глядя на спину стоявшего впереди князя Меншикова, старался думать только о том, как бы не закапать воском золотого шитья на этой спине.

Из-за царских врат послышался возглас диакона:

Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех.

Врата открылись, и оба клира запели:

И нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити.

Священнослужители, уже в светлых, пасхальных ризах, вышли из алтаря, и крестный ход двинулся.

Загудел соборный колокол, ему ответили колокола других церквей; начался трезвон, и грохот пушечной пальбы с Петропавловской крепости.

Крестный ход вышел из церкви. Наружные двери закрылись, храм опустел, и опять затихло все.

Царевич стоял неподвижно, опустив голову, глядя перед собою все так же бессмысленно, стараясь ничего не видеть, не слышать, не чувствовать.

Снаружи раздался старчески слабый голос митрополита Стефана:

Слава святей и единосущней, и животворящей, и неразделимей Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков.

И сначала глухо, тихо, точно издали, послышалось:

Христос воскресе из мертвых.

Потом все громче, громче, все ближе и радостней. Наконец, двери церкви раскрылись настежь и, вместе с шумом входящей толпы, грянула песнь, как победный вопль, потрясающий небо и землю:

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.

И такая радость была в этой песне, что ничто не могло устоять перед ней. Казалось, вот-вот исполнится все, чего ждет мир от начала своего — совершится чудо.

Царевич побледнел; руки его задрожали; свеча едва не выпала из них. Он все еще противился. Но уже подымалась, рвалась из груди нестерпимая радость. Вся жизнь, все муки и самая смерть перед ней казались ничтожными.

Он заплакал неудержимо и, чтобы скрыть свои слезы, вышел из церкви на паперть.

Апрельская ночь была тиха и ясна. Пахло талым снегом, влажною корою деревьев и нераспустившимися почками. Церковь окружал народ, и внизу, на темной площади, теплились свечи, как звезды, и звезды мерцали как свечи вверху, на темном небе. Пролетали тучки, легкие, как крылья ангелов. На Неве шел лед. Радостный гул и треск ломающихся льдин сливался с гулом колоколов. Казалось, что земля и небо поют: Христос воскресе.

После обедни царь, выйдя на паперть, христосовался со всеми, не только с министрами, сенаторами, но и с придворными служителями, до последнего истопника и поваренка.

Царевич смотрел на отца издали, не смея подойти. Петр увидел сына и сам подошел к нему.

— Христос воскресе, Алеша! — сказал отец с доброю, милою, прежней улыбкой.

— Воистину воскресе, батюшка!

И они поцеловались трижды.

Алексей почувствовал знакомое прикосновение бритых пухлых щек и мягких губ, знакомый запах отца. И вдруг опять, как бывало в детстве, сердце забилось, дух захватило от безумной надежды: «что, если простит, помилует!»

Петр был так высок ростом, что, целуясь, должен был, почти для всех, нагибаться. Спина и шея у него заболели. Он спрятался в алтарь от осаждавшей толпы.

В шесть часов утра, когда уже рассвело, перешли из собора в сенат, мазанковое, низенькое, длинное здание, вроде казармы, тут же рядом, на площади. В тесных присутственных палатах приготовлены были столы с куличами, пасхами, яйцами, винами и водками для разговенья.

На крыльце сената князь Яков Долгорукий догнал царевича, шепнул ему на ухо, что Ефросинья на днях будет в Петербург и, слава Богу, здорова, только на последних сносях, не сегодня, завтра должна родить.

В сенях встретился царевич с государыней. В голубой андреевской ленте через плечо, с бриллиантовой звездою,

в пышном роброне из белой парчи, с вышитым спереди жемчугом и алмазами двуглавым орлом, слегка нарумяненная и набеленная, казалась Катенька молодой и хорошенькой. Встречая гостей, как добрая хозяйка, улыбалась всем своей однообразною, жеманною улыбкою. Улыбнулась и царевичу. Он поцеловал у нее руку. Она похристосовалась в губы, обменялась яичком и хотела уже отойти, как вдруг он упал на колени так внезапно, посмотрел на нее так дико, что она попятилась.

— Государыня матушка, смилуйся! Упроси батюшку, чтоб дозволил на Евфросинье жениться... Ничего мне больше не надо, видит Бог, ничего! И жить-то, чай, недолго... Только б уйти от всего, умереть в покое... Смилуйся, матушка, ради светлого праздника!..

И опять посмотрел на нее так, что ей стало жутко. Вдруг лицо ее сморщилось. Она заплакала. Катенька любила и умела плакать: недаром говорили русские, что глаза у нее на мокром месте, а иностранцы, что, когда она плачет, то, хотя и знаешь, в чем дело,— все-таки чувствуешь себя растроганным, «как на представлении *Андромахи*». Но на этот раз она плакала искренно: ей, в самом деле, было жаль царевича.

Она склонилась к нему и поцеловала в голову. Сквозь вырез платья увидел он пышную белую грудь с двумя темными прелестными родинками, или мушками. И по этим родинкам понял, что ничего не выйдет.

— Ох, бедный, бедный ты мой! Я ли за тебя не рада, Алешенька!.. Да что пользы? Разве *он* послушает? Как бы еще хуже не вышло...

И, быстро оглянувшись — не подслушал бы кто — и приблизив губы к самому уху его, прошептала торопливым шепотом:

— Плохо твое дело, сынок, так плохо, что, коли можешь бежать, брось все и беги.

Вошел Толстой. Государыня, отойдя от царевича, незаметно смахнула слезинки кружевным платком, обернулась к Толстому с прежним веселым лицом и спросила, не видал ли он, где государь, почему не идет разговляться.

Из дверей соседней палаты появилась высокая, костлявая, празднично и безвкусно одетая немка, с длинным узким лошадиным стародевическим лицом, принцесса Ост-Фрисландская, гофмейстерина покойной Шарлотты, воспитательница двух ее сирот. Она шла с таким решительным, вызывающим видом, что все невольно расступались

перед ней. Маленького Петю несла на руках, четырехлетнюю Наташу вела за руку.

Царевич едва узнал детей своих — так давно их не видел.

— Mais saluez donc monsieur votre père, mademoiselle! [1] — подталкивала немка Наташу, которая остановилась, видимо, тоже не узнавая отца. Петя сперва уставился на него с любопытством, потом отвернулся, замахал ручонками и разревелся.

— Наташа, Наташа, деточка! — протянул к ней руки царевич.

Она подняла на него большие грустные, совсем как у матери, бледно-голубые глаза, вдруг улыбнулась и бросилась к нему на шею.

Вошел Петр. Он взглянул на детей и сказал принцессе гневно по-немецки:

— Зачем их сюда привели? Им здесь не место. Ступайте прочь!

Немка посмотрела на царя, и в добрых глазах ее блеснуло негодование. Она хотела что-то сказать, но увидев, что царевич покорно выпустил Наташу из рук, пожала плечами, яростно встряхнула все еще ревевшего Петю, яростно схватила девочку за руку и молча направилась к выходу, с таким же вызывающим видом, как вошла.

Наташа, уходя, обернулась к отцу и посмотрела на него взглядом, который напомнил ему Шарлотту: в этом взгляде ребенка было такое же, как у матери, тихое отчаяние. Сердце царевича сжалось. Он почувствовал, что не увидит больше детей своих никогда.

Сели за стол. Царь — между Феофаном Прокоповичем и Стефаном Яворским. Против них князь-папа со всешутейшим собором. Там уже успели разговеться и начинали буянить.

Для царя был праздник двойной: Пасха и вскрытие Невы. Думая о спуске новых кораблей, он весело поглядывал в окно на плывущие, как лебеди, по голубому простору, в утреннем солнце, белые льдины.

Зашла речь о делах духовных.

— А скоро ли, отче, патриарх наш поспеет? — спросил Петр Феофана.

— Скоро, государь: уж рясу дошиваю,— ответил тот.

— А у меня шапка готова! — усмехнулся царь.

Патриарх был Св. Синод; ряса — Духовный Регламент, который сочинял Прокопович; шапка — указ об учреждении Синода.

---

[1] Поздоровайтесь же с вашим батюшкой, мадмуазель! (*франц.*)

Когда Феофан заговорил о пользе новой коллегии,— в каждой черточке лица его заиграло, забегало, как живчик, что-то слишком веселое: казалось иногда, что он сам смеется над тем, что говорит.

— Коллегиум свободнейший дух в себе имеет, нежели правитель единоличный. Велико и сие, что от соборного правления — не опасаться отечеству бунтов. Ибо простой народ не ведает, как разнствует власть духовная от самодержавной, но великого высочайшего пастыря честью и славою удивляемый, помышляет, что таковой правитель есть второй государь, самодержцу равный, или больше его. И когда услышится некая между оными распря, все духовному паче, нежели мирскому последуют, и за него поборствовать дерзают, и льстят себя, окаянные, что по самом Боге поборствуют, и руки свои не оскверняют, но паче освящают, аще бы и на кровопролитие устремилися. Изречь трудно, коликое отсюда бедствие бывает. Вникнуть только в историю Константинопольскую, ниже Иустиниановых времен — и много того покажется. Да и папа не иным способом превозмог и не токмо государство римское пополам рассек и себе великую часть похитил, но и прочие государства едва не до крайнего разорения потряс. Да не вспомянутся подобные и у нас бывшие замахи! Таковому злу в соборном духовном правительстве нет места. Народ пребудет в кротости и весьма отложит надежду иметь помощь к бунтам своим от чина духовного. Наконец, в таком правительстве соборном будет аки некая школа правления духовного, где всяк удобно может научиться духовной политике. И так, в России, помощью Божией, скоро и от духовного чина грубость отпадет, и надеяться должно впредь всего лучшего...

Глядя прямо в глаза царю с усмешкою подобострастною, но, вместе с тем, такою хитрою, что она казалась почти дерзкою, заключил архиерей торжественно:

— *Ты еси Петр, Камень, и на сем камени созижду церковь Мою.*

Наступило молчание. Только члены всепьянейшего собора галдели, да праведный князь Яков Долгорукий бормотал себе под нос, так что никто не слышал:

— *Воздадите Божия Богови и кесарева кесареви.*

— А ты, отче, что скажешь? — обернулся царь к Стефану.

Пока говорил Прокопович, Стефан сидел, опустив голову, смежив глаза, как будто дремал, и старчески бескровное лицо его казалось мертвым. Но Петру чудилось в этом

лице то, чего боялся и что ненавидел он больше всего — смиренный бунт. Услышав голос царя, старик вздрогнул, как будто очнулся, и произнес тихо:

— Куда уж мне говорить о толиком деле, ваше величество! Стар я да глуп. Пусть говорят молодые, а мы послушаем...

И опустил голову еще ниже,— еще тише прибавил:

— Против речного стремления нельзя плавать.

— Все-то ты, старик, хнычешь, все куксишься! — пожал царь плечами с досадою.— И чего тебе надо? Говорил бы прямо!

Стефан посмотрел на царя, вдруг съежился весь, и с таким видом, в котором было уже одно смирение, без всякого бунта, заговорил быстро-быстро и жадно, и жалобно, словно спеша и боясь, что царь не дослушает:

— Государь премилостивейший! Отпусти ты меня на покой, на безмолвие. Служба моя и трудишки единому Богу суть ведомы, а отчасти и вашему величеству, на которых силу, здравие, а близко того, и житие погубил. Зрение потемнело, ноги ослабли, в руках персты хирагма скривила, камень замучил. Одначе, во всех сих бедствиях моих, единою токмо милостию царскою и благопризрением отеческим утешался, и все горести сахаром тем усладился. Ныне же вижу лицо твое от меня отвращенно и милость не по-прежнему. Господи, откуда измена сия?..

Петр давно уже не слушал: он занят был пляской князь-игуменьи Ржевской, которая пустилась вприсядку, под песню пьяных шутов:

Заиграй, моя дубинка,
Заваляй, моя волынка.

— Отпусти меня в Донской монастырь, либо где будет воля и произволение вашего величества,— продолжал «хныкать» Стефан.— А ежели имеешь об удалении моем какое сумнительство, кровь Христа да будет мне в погибель, аще помышляю что лукавое. Петербург ли, Москва ли, Рязань — везде на мне власть самодержавия вашего, от нее же укрыться не можно, и нет для чего укрываться. *Камо*[1] *бо пойду от духа Твоего и от лица Твоего камо бегу?..*

А песня заливалась.

Заиграй, моя волынка.
Свекор с печи свалился,
За колоду завалился,

---

[1] Куда (*церковнослав.*).

Кабы знала, возвестила,
Я повыше б подмостила,
Я повыше б подмостила,
Свекру голову сломила.

И царь притоптывал, присвистывал:

Ой, жги! Ой, жги!

Царевич взглянул на Стефана. Глаза их встретились. Старик умолк, как будто вдруг опомнился и застыдился. Он потупил взор, опустил голову, и две слезинки скатились вдоль дряхлых морщин. Опять лицо его стало, как мертвое.

А Феофан, румянорожий Силен, усмехался. Царевич сравнивал невольно эти два лица. В одном прошлое, в другом — будущее церкви.

В низеньких и тесных палатах было душно. Петр велел открыть окна.

На Неве, как это часто бывает во время ледохода, поднялся холодный ветер с Ладожского озера. Весна превратилась вдруг в осень. Тучки, которые казались ночью легкими, как крылья ангелов, стали тяжелыми, серыми и грубыми, как булыжники; солнце — жидким и белесоватым, словно чахоточным.

Из питейных домов и кружал, которых было множество по соседству с площадью, в Гостином дворе и далее за Кронверком, на Съестном и Толкучем рынке, доносился гул голосов, подобных звериному реву. Где-то шла драка, и кто-то вопил:

— Бей его гораздо, он, Фома, жирен!

И врывавшийся в окна, вместе с этим пьяным ревом, оглушительный трезвон колоколов казался тоже пьяным. грубым и наглым.

Перед самым Сенатом среди площади, над грязною лужею, по которой плавали скорлупы красных пасхальных яиц, стоял мужик, в одной рубахе — должно быть, все остальное платье пропил — шатался, как будто раздумывал, упасть, или не упасть в лужу, и непристойно бранился, и громко, на всю площадь, икал. Другой уже свалился в канаву, и торчавшие оттуда босые ноги барахтались беспомощно. Как ни строга была полиция, но в этот день ничего не могла поделать с пьяными: они валялись всюду по улицам, как тела убитых на поле сражения. Весь город был сплошной кабак.

И Сенат, где разговлялся царь с министрами, был тот же кабак; здесь так же галдели, ругались и дрались.

Шутовской хор князя-папы заспорил с архиерейскими певчими, кто лучше поет. Одни запели:

Христос воскресе из мертвых.

А другие продолжали петь:

Заиграй, моя дубинка,
Заваляй, моя волынка.

Царевич вспомнил святую ночь, святую радость, умиление, ожидание чуда — и ему показалось, что он упал с неба в грязь, как этот пьяный в канаву. Стоило так начинать, чтобы кончить так. Никакого чуда нет и не будет, а есть только мерзость запустения на месте святом.

II

Петр любил Петергоф не меньше Парадиза. Бывая в нем каждое лето, сам наблюдал за устройством «плезирских садов, огородных линей, кашкад и фонтанов».

«Одну кашкаду,— приказывал царь,— сделать с брызганьем, а другую, дабы вода лилась к земле гладко, как стекло; пирамиду водяную сделать с малыми кашкадами; перед большою, наверху, историю Еркулову, который дерется с гадом седмиглавым, называемым Гидрою, из которых голов будет идти вода; также телегу Нептунову с четырьмя морскими лошадями, у которых изо ртов пойдет вода, и по уступам делать тритоны, яко бы играли в трубы морские, и действовали бы те тритоны водою, и образовали бы различные игры водяные. Велеть срисовать каждую фонтанну, и прочее хорошее место в першпективе, как французские и римские сады чертятся».

Была белая майская ночь над Петергофом. Взморье гладко, как стекло. На небе, зеленом, с розовым отливом перламутра, выступали черные ели и желтые стены дворцов. В их тусклых окнах, как в слепых глазах, мерцал унылый свет зари неугасающей. И все в этом свете казалось бледным, блеклым; зелень травы и деревьев серой, как пепел, цветы увядшими. В садах было тихо и пусто. Фонтаны спали. Только по мшистым ступеням кашкад, да с ноздревых камней, под сводами гротов, падали редкие капли, как слезы. Вставал туман, и в нем белели, как призраки, бесчисленные мраморные боги — целый Олимп воскресших богов. Здесь, на последних пределах земли, у Гиперборейского моря, в белую дневную ночь, подобную ночному дню Аида, в этих бледных тенях теней умершей Эллады была бесконечная грусть. Как будто,

воскреснув, они опять умирали уже второю смертью, от которой нет воскресения.

Над низеньким стриженым садом, у самого моря, стоял кирпичный голландский домик — государев дворец Монплезир. Здесь также все было тихо и пусто. Только в одном окне свет: то горела свеча в царской конторке.

За письменным столом сидели друг против друга Петр и Алексей. В двойном свете свечи и зари лица их, как в эту ночь, казались призрачно-бледными.

В первый раз, по возвращении в Петербург, царь допрашивал сына.

Царевич отвечал спокойно, как будто уже не чувствовал страха перед отцом, а только усталость и скуку.

— Кто из светских, или духовных ведал твое намерение к противности, и какие слова бывали от тебя к ним, или от них к тебе?

— Больше ничего не знаю,— в сотый раз отвечал Алексей.

— Говорил ли такие слова, что я-де плюну на всех — здорова бы мне чернь была?

— Может быть, и говаривал спьяна. Всего не упомню. Я пьяный всегда вирал всякие слова и рот имел незатворенный, не мог быть без противных разговоров в кумпаниях и такие слова с надежи на людей бреживал. Сам ведаешь, батюшка, пьян-де кто не живет... Да это все пустое!

Он посмотрел на отца с такою странною усмешкою, что тому стало жутко, как будто перед ним был сумасшедший.

Порывшись в бумагах, Петр достал одну из них и показал царевичу.

— Твоя рука?

— Моя.

То была черновая письма, писанного в Неаполе, к архиереям и сенаторам, с просьбой, чтоб его не оставили.

— Волей писал?

— Неволей. Принуждал секретарь графа Шенборна, Кейль. «Понеже, говорил, есть ведомость, что ты умер, того ради, пиши, а буде не станешь писать, и мы тебя держать не станем» — и не вышел вон, покамест я не написал.

Петр указал пальцем на одно место в письме; то были слова:

«Прошу вас *ныне* меня не оставить *ныне*».

Слово *ныне* повторено было дважды и дважды зачеркнуто.

— Сие *ныне* в какую меру писано и зачем почернено?

— Не упомню,— ответил царевич и побледнел.

Он знал, что в этом зачеркнутом *ныне* — единственный ключ к самым тайным его мыслям о бунте, о смерти отца, о возможном убийстве его.

— Истинно ли писано неволею?

— Истинно.

Петр встал, вышел в соседнюю комнату, позвал денщика, что-то приказал, вернулся, опять сел за стол и начал записывать последние показания царевича.

За дверью послышались шаги. Дверь отворилась. Алексей слабо вскрикнул, как будто готов был лишиться чувств. На пороге стояла Евфросинья.

Он ее не видел с Неаполя. Она уже не была беременна. Должно быть, родила в крепости, куда посадили ее, тотчас по приезде в Петербург, как узнал он от Якова Долгорукова.

«Где Селебеный?»— подумал царевич и задрожал, потянулся к ней весь, но тотчас же замер под пристальным взором отца, только искал глазами глаз ее. Она не смотрела на него, как будто не видала вовсе.

Петр обратился к ней ласково:

— Правда ли, Феодоровна, сказывает царевич, что письмо к архиереям и сенаторам писано неволею, по принуждению цесарцев?

— Неправда,— отвечала она спокойно.— Писал один, и при том никого иноземцев не было, а были только я да он, царевич. И говорил мне, что пишет те письма, чтоб в Питербурхе подметывать, а иные архиереям подавать и сенаторам.

— Афрося, Афросьюшка, маменька!.. Что ты?..— залепетал царевич в ужасе.

— Не ведает она, забыла, чай спутала,— обернулся он к отцу опять с тою странною усмешкой, от которой становилось жутко.— Я тогда план Белгородской атаки отсылал секретарю вицероеву, а не то письмо...

— То самое, царевич. При мне и печатал. Аль забыл? Я видела,— проговорила она все так же спокойно и вдруг посмотрела на него в упор тем самым взором, как три года назад, в доме Вяземских, когда он, пьяный, бросился на нее, чтоб изнасиловать, и замахнулся ножом.

По этому взору он понял, что она предала его.

— Сын,— сказал Петр,— сам, чай, видишь, что дело сие нарочитой важности. Когда письма те волей писал, то явно намерение к бунту не токмо в мыслях имел, но и в действо весьма произвесть умышлял. И то все в прежних повинных своих утаил не беспамятством, а лукавством,

знатно, для таких же впредь дел и намерения. Однако же, совесть нашу не хотим иметь пред Богом нечисту, дабы наносам без испытания верить. В последний спрашиваю, правда ль, что волей писал?

Царевич молчал.

— Жаль мне тебя, Феодоровна,— сказал Петр,— а делать нечего. Буду пытать.

Алексей взглянул на отца, на Евфросинью и понял, что ей не миновать пытки, ежели он, царевич, запрется.

— Правда,— произнес он чуть слышно, и только что это произнес, страх опять исчез, опять ему стало все безразлично.

Глаза Петра блеснули радостью.

— В какую же меру *ныне* писал?

— В ту меру, чтоб за меня больше вступились в народе, применяясь к ведомостям печатным о бунте войск в Мекленбургии. А потом подумал, что дурно, и вымарал...

— Так значит бунту радовался?

Царевич не ответил.

— А когда радовался,— продолжал Петр, как будто услышав неслышный ответ,— то, чаю, не без намерения: ежели б впрямь то было, к бунтовщикам пристал бы?

— Буде прислали б за мной, то поехал бы. А чаял быть присылке по смерти вашей, для того...

Остановился, еще больше побледнел и кончил с усилием:

— Для того, что хотели тебя убить, а чтоб живого отлучили от царства, не чаял...

— А когда бы при живом? — спросил Петр поспешно и тихо, глядя сыну прямо в глаза.

— Ежели б сильны были, то мог бы и при живом,— ответил Алексей так же тихо.

— Объяви все, что знаешь,— опять обратился Петр к Евфросинье.

— Царевич наследства всегда желал прилежно,— заговорила она быстро и твердо, как будто повторяла то, что заучила наизусть.— А ушел оттого, будто ты, государь, искал всячески, чтоб ему живу не быть. И как услышал, что у тебя меньшой сын царевич Петр Петрович болен, говорил мне: «Вот, видишь, батюшка делает свое, а Бог — свое!» И надежду имел на сенаторей: «Я-де старых всех переведу, а изберу себе новых, по своей воле». И когда слыхал о каких видениях, или читал в курантах, что в Питербурхе тихо, говаривал, что видение и тишина недаром: «либо-де отец мой умрет, либо бунт будет»...

Она говорила еще долго, припоминала такие слова его, которых он сам не помнил, обнажала такие тайны сердца его, которых он сам не видел.

— А когда господин Толстой приехал в Неаполь, царевич хотел из цесарской протекции к папе римскому, и я его удержала,— заключила Евфросинья.

— Все ли то правда? — спросил Петр сына.

— Правда,— ответил царевич.

— Ну, ступай, Феодоровна. Спасибо тебе!

Царь подал ей руку. Она поцеловала ее и повернулась, чтобы выйти.

— Маменька! Маменька! — опять вдруг весь потянулся к ней царевич и залепетал, как в бреду, сам не помня, что говорит.— Прощай, Афросьюшка!.. Ведь, может быть, больше не свидимся. Господь с тобой!..

Она ничего не ответила и не оглянулась.

— За что ты меня так?..— прибавил он тихо, без упрека, только с бесконечным удивлением, закрыл лицо руками и услышал, как за нею затворилась дверь.

Петр, делая вид, что просматривает бумаги, поглядывал на сына исподлобья, украдкою, как будто ждал чего-то. Был самый тихий час ночи, и тишина казалась еще глубже, потому что было светло, как днем.

Вдруг царевич отнял руки от лица. Оно было страшно.

— Где ребеночек?.. Ребеночек где?..— заговорил он, уставившись на отца недвижным и горящим взором.— Что вы с ним сделали?..

— Какой ребенок? — не сразу понял Петр.

Царевич указал на дверь, в которую вышла Евфросинья.

— Умер,— сказал Петр, не глядя на сына.— Родила мертвым.

— Врешь! — закричал Алексей и поднял руки, словно грозя отцу.— Убили, убили!.. Задавили, аль в воду как щенка выбросили!.. Его-то за что, младенца невинного?.. Мальчик, что ль?

— Мальчик.

— Когда б судил мне Бог на царстве быть,— продолжал Алексей задумчиво, как будто про себя,— наследником бы сделал... Иваном назвать хотел... Царь Иоанн Алексеевич... Трупик, трупик-то где?.. Куда девали?.. Говори!..

Царь молчал.

Царевич схватился за голову. Лицо его исказилось, побагровело.

Он вспомнил обыкновение царя сажать в спирт мертворожденных детей, вместе с прочими «монстрами», для сохранения в кунсткамере.

— В банку, в банку со спиртом!.. Наследник царей всероссийских в спирту, как лягушонок, плавает! — захохотал он вдруг таким диким хохотом, что дрожь пробежала по телу Петра. Он подумал опять: «Сумасшедший!» — и почувствовал то омерзение, подобное нездешнему ужасу, которое всегда испытывал к паукам, тараканам и прочим гадам.

Но в то же мгновение ужас превратился в ярость: ему показалось, что сын смеется над ним, нарочно «дурака ломает», чтоб запереться и скрыть свои злодейства.

— Что еще больше есть в тебе? — приступил он снова к допросу, как будто не замечая того, что происходит с царевичем.

Тот перестал хохотать так же внезапно, как начал, откинулся головой на спинку кресла, и лицо его побледнело, осунулось, как у мертвого. Он молча смотрел на отца бессмысленным взором.

— Когда имел надежду на чернь,— продолжал Петр, возвышая голос и стараясь сделать его спокойным,— не подсылал ли кого к черни о том возмущении говорить, или не слыхал ли от кого, что чернь хочет бунтовать?

Алексей молчал.

— Отвечай! — крикнул Петр, и лицо его передернула судорога.

Что-то дрогнуло и в лице Алексея. Он разжал губы с усилием и произнес:

— Все сказал. Больше говорить не буду.

Петр ударил кулаком по столу и вскочил.

— Как ты смеешь!..

Царевич тоже встал и посмотрел на отца в упор. Опять они стали похожи друг на друга мгновенным и как будто призрачным сходством.

— Что грозишь, батюшка? — проговорил Алексей тихо.— Не боюсь я тебя, ничего не боюсь. Все ты взял у меня, все погубил, и душу, и тело. Больше взять нечего. Разве убить. Ну что ж. убей! Мне все равно.

И медленная, тихая усмешка искривила губы его. Петру почудилось в этой усмешке бесконечное презрение.

Он заревел, как раненый зверь, бросился на сына, схватил его за горло, повалил и начал душить, топтать ногами, бить палкою, все с тем же нечеловеческим ревом.

Во дворце проснулись, засуетились, забегали, но никто не смел войти к царю. Только бледнели да крестились, подходя к дверям и прислушиваясь к страшным звукам, которые доносились оттуда: казалось, там грызет человека зверь.

Государыня спала в Верхнем дворце. Ее разбудили. Она прибежала, полуодетая, но тоже не посмела войти.

Только когда все уже затихло, приотворила дверь, заглянула и вошла на цыпочках, крадучись за спиною мужа.

Царевич лежал на полу без чувств, царь — в креслах, тоже почти в обмороке.

Послали за лейб-медиком Блюментростом. Он успокоил государыню, которая боялась, что царь убил сына. Царевич был избит жестоко, но опасных ран и переломов не было. Он скоро пришел в себя и казался спокойным.

Царю было хуже, чем сыну. Когда его перевели, почти перенесли на руках в спальню, с ним сделались такие судороги, что Блюментрост опасался паралича.

Но к утру полегчало, а вечером он уже встал и, несмотря на мольбы Катеньки и предостережения лейб-медика, велел подать шлюпку и поехал в Петербург. Царевича везли рядом в другой закрытой шлюпке.

На следующий день, 14-го мая, объявлен был народу второй манифест о царевиче, в котором сказано, что государь изволил обещать сыну прощение, «ежели он истинное во всем принесет покаяние, и ничего не утаит; но понеже он, презрев такое отцово милосердие, о намерении своем получить наследство, чрез чужестранную помощь, или чрез бунтовщиков силою, утаил, то прощение не в прощение».

В тот же день назначен был над царевичем, как над государственным изменником, Верховный суд.

Через месяц, 14-го июня, привезли его в гварнизон Петропавловской крепости и посадили за караул в Трубецкой раскат.

III

«Преосвященным митрополитам, и архиепископам, и епископам, и прочим духовным. Понеже вы ныне уже довольно слышали о малослыханном в свете преступлении сына моего против нас, яко отца и государя своего, и, хотя я довольно власти над оным, по божественным и гражданским правам, имею, а особливо, по правам Российским (которые суд между отца и детей, и у партикулярных людей, весьма отмещут), учинить за пре-

ступление по воле моей, без совета других, а однако ж, боюсь Бога, дабы не погрешить: ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие — в их; тако ж и врачи: хотя б и всех искуснее который был, то не отважится свою болезнь сам лечить, но призывает других; — подобным образом и мы сию болезнь свою вручаем вам, прося лечения оной, боясь вечныя смерти. Ежели б один сам оную лечил, иногда бы не познал силы в своей болезни, а наипаче в том, что я, с клятвою суда Божия, письменно обещал оному своему сыну прощение и потом словесно подтвердил,— ежели истинно вины свои скажет. Но, хотя он сие и нарушил утайкою наиважнейших дел и особливо замысла своего бунтовного противу нас, яко родителя и государя своего, однакож, мы, вспоминая слово Божие, где увещевает в таковых делах вопрошать и чина священного, как написано во главе 17 Второзакония, желаем от вас архиереев и всего духовного чина, яко учителей слова Божия,— не издадите каковый о сем декрет, но да взыщете и покажете от Священного Писания нам истинное наставление и рассуждение, какого наказания сие богомерзкое и Авессаломову прикладу уподобляющееся намерение сына нашего по божественным заповедям и прочим святого Писания прикладам и по законам, достойно. И то нам дать за подписанием рук своих на письме, дабы мы, из того усмотря, неотягченную совесть в сем деле имели. В чем мы на вас, яко по достоинству блюстителей заповедей Божиих и верных пастырей Христова стада и доброжелательных отечествия, надеемся и судом Божиим и священством вашим заклинаем, да без всякого лицемерства и пристрастия в том поступите.

Петр»

Архиереи ответили:

«Сие дело весьма есть гражданского суда, а не духовного, и власть превысочайшая суждению подданных своих не подлежит, но творит, что хочет, по своему усмотрению, без всякого совета степеней низших, однакож, понеже велено нам, приискали мы от Священных Писаний то, что возмнилося быть сему ужасному и бесприкладному делу сообщно».

Следовали выписки из Ветхого и Нового Завета, а в заключение повторялось:

«Сие дело не нашего суда; ибо кто нас поставил судьями над тем, кто нами обладает? Как могут главу наставлять члены, которые сами от нее наставляемы и обладаемы? К тому же суд наш духовный по духу должен быть, а не по плоти и крови; ниже вручена есть духовному чину власть меча железного, но власть духовного меча. Все же сие превысочайшему монаршескому рассуждению с должным покорением подлагаем, да сотворит Государь, что есть благоугодно пред очами его: ежели, по делам и по мере вины, хочет наказать падшего, имеет образцы Ветхого Завета; ежели благоизволит помиловать, имеет образ самого Христа, который блудного сына принял и милость паче жертвы превознес. Кратко сказав: *сердце Царево в руце Божией.* Да изберет ту часть, куда Божия рука его преклоняет».

Подписались:

«Смиренный Стефан, митрополит Рязанский.

Смиренный Феофан, епископ Псковский».

Еще четыре епископа, два митрополита греческих, Ставропольский и Фифандский, четыре архимандрита, в том числе Федос, и два иеромонаха — все будущие члены Святейшего Правительствующего Синода.

На главный вопрос государя — о клятве, данной сыну, простить его, во всяком случае — отцы не ответили вовсе.

Петр, когда читал это рассуждение, испытывал жуткое чувство: словно то, на что он хотел опереться, провалилось под ним, как истлевшее дерево.

Он достиг того, чего сам желал, но, может быть, слишком хорошо достиг: церковь покорилась царю так, что ее как бы не стало вовсе; вся церковь — он сам.

А царевич об этом рассуждении сказал с горькой усмешкой:

— Хитрее-де черта смиренные! Еще духовной коллегии нет, а уже научились духовной политике.

Еще раз почувствовал он, что церковь для него перестала быть церковью, и вспомнил слово Господне тому, о ком сказано: «Ты — Петр, Камень, и на сем камне созижду Церковь Мою».

Когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил куда хотел; а когда состареешься, то прострешь руки твои и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь.

IV

Первое заседание Верховного суда назначено было 17-го июня в аудиенц-зале Сената.

В числе судей были министры, сенаторы, генералы, губернаторы, гвардии и флота капитаны, майоры, поручики, подпоручики, прапорщики, обер-кригс-комиссары, чины новых коллегий, и старые бояре, стольники, окольничьи — всего гражданского и воинского чина 127 человек — с борка, да с сосенки, жаловались знатные. Иные даже не умели грамоте, так что не могли подписаться под приговором.

Отслужив обедню Духу Святому у Троицы, для испрошения помощи Божией в столь трудном деле, судьи перешли из собора в Сенат.

В палате открыли окна и двери, не только для свежего воздуха — день был знойный, предгрозный,— но и для того, чтобы суд имел вид всенародный. Загородили, однако, рогатками, заперли шлагбаумами соседние улицы, и целый батальон лейб-гвардии стоял под ружьем на площади, не пропуская «подлого народа».

Царевича привели из крепости как арестанта, под караулом четырех офицеров со шпагами наголо.

В аудиенц-зале находился трон. Но не на трон, а на простое кресло, в верхнем конце открытого четырехугольника, образуемого рядами длинных, крытых алыми сукнами, столов, за которыми сидели судьи, сел царь прямо против сына, как истец против ответчика.

Когда заседание объявили открытым, Петр встал и произнес:

— Господа Сенат и прочие судьи! Прошу вас, дабы истиною сие дело вершили, чему достойно, не флатируя и не похлебствуя, и отнюдь не опасаясь того, что, ежели дело сие легкого наказания достойно, и вы так учините, мне противно было б,— в чем клянусь самим Богом и судом Его! Також не рассуждайте того, что суд надлежит вам учинить на моего, яко государя вашего, сына; но, несмотря на лицо, сделайте правду и не погубите душ своих и моей, чтоб совести наши остались чисты в день страшного испытания, и отечество наше безбедно.

Вице-канцлер Шафиров прочел длинный перечень всех преступлений царевича, как старых, уже объявленных в прежних повинных, так и новых, которые он, будто бы, скрыл на первом розыске.

— Признаешь ли себя виновным? — спросил царевича князь Меншиков, назначенный президентом собрания.

Все ждали того, что, так же, как в Москве, в Столовой палате, царевич упадет на колени, будет плакать и молить о помиловании. Но по тому, как он встал и оглянул собрание спокойным взором, поняли, что теперь будет не то.

— Виновен я, иль нет, не вам судить меня, а Богу единому,— начал он и сразу наступила тишина; все слушали, притаив дыхание.— И как судить по правде, без вольного голоса? А ваша воля где? Рабы государевы — в рот ему смотрите: что велит, то и скажете. Одно звание суда, а делом — беззаконие и тиранство лютое! Знаете басню, как с волком ягненок судился? И ваш суд волчий. Какова ни будь правда моя, все равно засудите. Но если бы не вы, а весь народ Российский судил меня с батюшкой, то было бы на том суде не то, что здесь. Я народ пожалел. Велик, велик, да тяжеленек Петр — и не вздохнуть под ним. Сколько душ загублено, сколько крови пролито! Стоном стонет земля. Аль не видите, не слышите?.. Да что говорить! Какой вы Сенат — холопы царские, хамы, хамы все до единого!..

Ропот возмущения заглушил последние слова царевича. Но никто не смел остановить его. Все смотрели на царя, ждали, что он скажет. А царь молчал. На застывшем, как будто окаменелом лице его ни один мускул не двигался. Только взор горящих, широко раскрытых глаз уставился в глаза царевичу.

— Что молчишь, батюшка? — вдруг обернулся он к отцу с беспощадной усмешкою.— Аль правду слушать в диковину? Отрубить бы велел мне голову попросту, я б слова не молвил. А вздумал судиться, так любо, не любо,— слушай! Когда манил меня к себе из протекции цесарской, не клялся ли Богом и судом Его, что все простишь? Где ж клятва та? Опозорил себя перед всею Европою! Самодержец Российский — клятворугатель и лжец!

— Сего слушать не можно! Оскорбление величества! Помешался в уме! Вывести, вывести вон! — послышался гул голосов.

К царю подбежал Меншиков и что-то сказал ему на ухо. Но царь молчал, как будто ничего не видел и не слышал в своем оцепенении, подобном столбняку, и мертвое лицо его было как лицо изваяния.

— Кровь сына, кровь русских царей на плаху ты первый прольешь! — опять заговорил царевич, и казалось, что он уже не от себя говорит: слова его звучали, как про-

рочество.— И падет сия кровь от главы на главу, до последних царей, и погибнет весь род наш в крови. За тебя накажет Бог Россию!..

Петр зашевелился медленно, грузно, с неимоверным усилием, как будто стараясь приподняться из-под страшной тяжести; наконец, поднялся, лицо исказилось неистовой судорогой — точно лицо изваяния ожило — губы разжались, и вылетел из горла сдавленный хрип:

— Молчи, молчи... прокляну!

— Проклянешь? — крикнул царевич в исступлении, бросился к царю и поднял над ним руки.

Все замерли в ужасе. Казалось, что он ударит отца или плюнет ему в лицо.

— Проклянешь?.. Да я тебя сам... Злодей, убийца, зверь, Антихрист!.. Будь проклят! проклят! проклят!..

Петр повалился навзничь в кресло и выставил руки вперед, как будто защищаясь от сына.

Все вскочили. Произошло такое смятение, как во время пожара или убийства. Одни закрывали окна и двери; другие выбегали вон из палаты; иные окружили царевича и тащили прочь от отца; иные спешили на помощь к царю. Ему было дурно. С ним сделался такой же припадок, как месяц назад, в Петергофе. Заседание объявили закрытым.

Но в ту же ночь Верховный суд опять собрался и приговорил царевича пытать.

V

«Обряд, како обвиненный пытается.

Для пытки приличившихся в злодействах сделано особливое место, называемое застенок, огорожен палисадником и покрыт, для того, что при пытках бывают судьи и секретарь и для записки пыточных речей подьячий.

В застенке же для пытки сделана дыба, состоящая в трех столбах, из которых два вкопаны в землю, а третий сверху, поперек.

И когда назначено будет время, то кат или палач явиться должен в застенок с инструментами; а оные суть: хомут шерстяной, к нему пришита веревка долгая; кнутья и ремень.

По приходе судей в застенок, долгую веревку палач перекинет через поперечный в дыбе столб и взяв подлежащего к пытке, руки назад заворотит, и положа их в хомут, через приставленных для того людей встягивает, дабы пытанный на земле не стоял, у которого руки и выворотит совсем назад, и он на них висит; потом свяжет

ремнем ноги и привязывает к сделанному нарочно впереди дыбы столбу; и растянувши сим образом, бьет кнутом, где и спрашивается о злодействах и все записывается, что таковой сказывать станет».

Когда утром 19 июня привели царевича в застенок, он еще не знал о приговоре суда.

Палач Кондрашка Тютюн подошел к нему и сказал:

— Раздевайся!

Он все еще не понимал.

Кондрашка положил ему руку на плечо. Царевич оглянулся на него и понял, но как будто не испугался. Пустота была в душе его. Он чувствовал себя как во сне; и в ушах его звенела песенка давнего вещего сна:

Огни горят горючие,
Котлы кипят кипучие,
Точат ножи булатные,
Хотят тебя зарезати.

— Подымай! — сказал Петр палачу.

Царевича подняли на дыбу. Дано 25 ударов.

Через три дня царь послал Толстого к царевичу:

— Сегодня, после обеда, съезди, спроси и запиши не для розыску, но для ведения:

1. Что есть причина, что не слушал меня и нимало ни в чем не хотел угодное делать; а ведал, что сие в людях не водится, также грех и стыд?

2. Отчего так бесстрашен был и не опасался наказания?

3. Для чего иною дорогою, а не послушанием, хотел наследства?

Когда Толстой вошел в тюремный каземат Трубецкого раската, где заключен был царевич, он лежал на койке. Блюментрост делал ему перевязку, осматривал на спине рубцы от кнута, снимал старые бинты и накладывал новые, с освежительными примочками. Лейб-медику велено было вылечить его, как можно скорее, дабы приготовить к следующей пытке.

Царевич был в жару и бредил:

— Федор Францович! Федор Францович! Да прогони ты ее, прогони, ради Христа... Вишь, мурлычит, проклятая, ластится, а потом как выскочит на грудь, станет душить, сердце когтями царапать...

Вдруг очнулся и посмотрел на Толстого:

— Чего тебе?

— От батюшки.

— Опять пытать?..

— Нет, нет, Петрович! Не бойся. Не для розыска, а только для ведения...

— Ничего, ничего, ничего я больше не знаю! — застонал и заметался царевич.— Оставьте меня! Убейте, только не мучьте! А если убить не хотите, дайте яду, аль бритву,— я сам... Только скорее, скорее, скорее!..

— Что ты, царевич! Господь с тобою,— глядя на него нежным бархатным взором, заговорил Толстой тихим бархатным голосом.

— Даст Бог, все обойдется. Перемелется, мука будет. Полегоньку, да потихоньку. Ладком, да мирком. Мало ли чего на свете не бывает. Дело житейское. Бог терпел и нам велел. Аль думаешь, мне тебя не жаль, родимый?..

Он вынул свою неизменную табакерку с аркадским пастушком и пастушкою, понюхал и смахнул слезинку.

— Ох, жаль, болезный ты наш, так тебя жаль, что, кажись, душу бы отдал!..

И, наклонившись к нему, прибавил быстрым шепотом:

— Верь, не верь, а я тебе всегда добра желал и теперь желаю...

Вдруг запнулся, не кончил под взором широко открытых недвижных глаз царевича, который медленно приподымался с подушек:

— Иуда Предатель! Вот тебе за твое добро! — плюнул он Толстому в лицо и с глухим стоном — должно быть, повязка слезла — повалился навзничь.

Лейб-медик бросился к нему на помощь и крикнул Толстому:

— Уходите, оставьте его в покое, или я ни за что не отвечаю!

Царевич опять начал бредить:

— Вишь, уставилась... Глазища, как свечи, а усы торчком, совсем как у батюшки... Брысь, брысь!.. Федор Францович, Федор Францович, да прогони ты ее, ради Христа!..

Блюментрост давал ему нюхать спирт и клал лед на голову.

Наконец, он опять пришел в себя и посмотрел на Толстого, уже без всякой злобы, видимо, забыв об оскорблении.

— Петр Андреич, я ведь знаю, сердце у тебя доброе. Будь же другом, заставь за себя Бога молить! Выпроси у батюшки, чтоб с Афросей мне видеться...

Толстой припал осторожно губами к перевязанной руке его и проговорил голосом, дрожавшим от искренних слез:

— Выпрошу, выпрошу, миленький, все для тебя сделаю! Только бы вот как-нибудь нам по вопросным-то пунктам ответить. Немного их, всего три пунктика...

Он прочел вслух вопросы, писанные рукою царя.

Царевич закрыл глаза в изнеможении.

— Да ведь что ж отвечать-то, Андреич? Я все сказал, видит Бог, все. И слов нет, мыслей нет в голове. Совсем одурел...

— Ничего, ничего, батюшка! — заторопился Толстой, придвигая стол, доставая бумагу, перо и чернильницу.— Я тебе говорить буду, а ты только пиши...

— Писать-то сможет? — обратился он к лейб-медику и посмотрел на него так, что тот увидел в этом взоре непреклонный взор царя.

Блюментрост пожал плечами, проворчал себе под нос: «Варвары!» и снял повязку с правой руки царевича.

Толстой начал диктовать. Царевич писал с трудом, кривыми буквами, несколько раз останавливался; голова кружилась от слабости, перо выпадало из пальцев. Тогда Блюментрост давал ему возбуждающих капель. Но лучше капель действовали слова Толстого:

— С Афросьюшкой свидишься. А может, и совсем простит, жениться позволит! Пиши, пиши, миленький!

И царевич опять принимался писать.

«1718 года, июня в 22 день, по пунктам, по которым спрашивал меня господин Толстой, ответствую:

1. Моего к отцу непослушания причина та, что с младенчества моего жил с мамой и с девками, где ничему иному не обучился, кроме избных забав, а также научился ханжить, к чему я и от натуры склонен. И отец мой, имея о мне попечение, чтоб я обучался делам, которые пристойны царскому сыну, велел мне учиться немецкому языку и другим наукам, что мне было зело противно, и чинил то с великою леностью, только чтоб время проходило, а охоты к тому не имел. А понеже отец мой часто тогда был в воинских походах и от меня отлучался, того ради те люди, которые при мне были, видя мою склонность ни к чему иному, только чтоб ханжить и конверсацию иметь с попами и чернецами и к ним часто ездить и подпивать, в том во всем не токмо мне не претили, но и сами то ж со мною делали. И отводили меня от отца моего, и мало-помалу, не токмо воинские и прочие отца моего дела, но и самая его особа зело мне омерзела.

2. А что я был бесстрашен и не боялся за непослушание от отца своего наказания,— и то происходило ни от чего иного, токмо от моего злонравия, как сам истинно признаю,— понеже, хотя имел страх от него, но не сыновский.

3. А для чего я иною дорогою, а не послушанием хотел наследства, то может всяк легко рассудить, что, когда я уже от прямой дороги вовсе отбился и не хотел ни в чем отцу моему последовать, то каким же было иным образом искать наследства, кроме того, как я делал, хотя свое получить через чужую помощь? И ежели б до того дошло, и цесарь бы начал то производить в дело, как мне обещал, дабы вооруженною рукою доставать мне короны Российской, то б я тогда, не жалея ничего, доступал наследства, а именно: ежели бы цесарь за то пожелал войск Российских в помощь себе против какого-нибудь своего неприятеля, или бы пожелал великой суммы денег, то б я все по его воле учинил, также и министрам его и генералам дал бы великие подарки. А войска его, которые бы мне он дал в помощь, чем бы доступать короны Российской, взял бы я на свое иждивение и, одним словом сказать, ничего бы не пожалел, только чтобы исполнить в том свою волю.

Алексей»

Подписав, он вдруг опомнился, как будто очнулся от бреда, и с ужасом понял, что делает. Хотел закричать, что все это ложь, схватить и разорвать бумагу. Но язык и все члены отнялись, как у погребаемых заживо, которые все слышат, все чувствуют и не могут пошевелиться, в оцепенении смертного сна. Без движения, без голоса, смотрел он, как Толстой складывал и прятал бумагу в карман.

На основании этого последнего показания, прочитанного в присутствии Сената, 24 июня, Верховный суд постановил:

«Мы, нижеподписавшиеся, министры, сенаторы, и воинского, и гражданского стану чины, по здравому рассуждению и по христианской совести, по заповедям Божиим Ветхого и Нового Заветов, по священным писаниям святого Евангелия и Апостол, канонов и правил соборов святых отец и церковных учителей, по статьям римских и греческих цесарей и прочих государей христианских, також по правам всероссийским, единогласно и без всякого прекословия, согласились и приговорили, что он, царевич Алексей, за умысел бунтовный против отца и государя своего и намеренный из давних лет подыск и проискивание к престолу отеческому, при животе государя отца своего не токмо чрез бунтовщиков, но и чрез чужестранную цесарскую помощь и войска иноземные, с разорением всего государства,— достоин смерти».

VI

В тот же день его опять пытали. Дали 15 ударов и, не кончив пытки, сняли с дыбы, потому что Блюментрост объявил, что царевич плох и может умереть под кнутом.

Ночью сделалось ему так дурно, что караульный офицер испугался, побежал и доложил коменданту крепости, что царевич помирает,— как бы не помер без покаяния. Комендант послал к нему гварнизонного попа, о. Матфея. Тот сначала не хотел идти и молил коменданта:

— Увольте, ваше благородие! Я к таковым делам необычен. Дело сие страшное, царственное. Попадешь в ответе — не открутишься. У меня жена, дети... Смилуйтесь!

Комендант обещал все взять на себя, и о. Матфей, скрепя сердце, пошел.

Царевич лежал без памяти, никого не узнавал и бредил. Вдруг открыл глаза и уставился на о. Матфея.

— Ты кто?

— Гварнизонный священник, отец Матфей. Исповедывать тебя прислали.

— Исповедывать?.. А почему у тебя, батька, голова телячья?.. Вот и лицо в шерсти, и рога на лбу...

О. Матфей молчал, потупив глаза.

— Так как же, государь царевич, угодно исповедаться? — наконец, проговорил он с робкою надеждой, что тот откажется.

— А знаешь ли, поп, царский указ, коим об открытой на исповеди измене, или бунте вам, духовным отцам, в тайную канцелярию доносить повелевается?

— Знаю, ваше высочество.

— И буде я тебе что на духу открою, донесешь?

— Как же быть, царевич? Мы люди подневольные... Жена, дети...— пролепетал о. Матфей и подумал: «Ну вот, начинается!»

— Так прочь, прочь, прочь от меня, телячья твоя голова! — крикнул царевич яростно.— Холоп царя Российского! Хамы, хамы вы все до единого! Были орлы, а стали волы подъяремные! Церковь Антихристу продали! Умру без покаяния, а Даров твоих не причащусь!.. Кровь змеина, тело сатанино...

О. Матфей отшатнулся в ужасе. Руки у него так задрожали, что он едва не выронил чаши с Дарами.

Царевич взглянул на нее и повторил слова раскольничьего старца:

— Знаешь ли, чему подобен Агнец ваш? Подобен псу мертву, повержену на стогнах града! Как причастился — только и жития тому человеку: таково-то Причастие ваше емко — что мышьяк, аль сулема; во все кости и мозги пробежит скоро, до самой души лукавой промчит — отдыхай-ка после в геенне огненной и в пламени адском стони, яко Каин, необратный грешник... Отравить меня хотите, да не дамся вам!

О. Матфей убежал.

Черный кот-оборотень вспрыгнул на шею царевичу и начал душить его, царапать ему сердце когтями.

— Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил? — стонал и метался он в смертной тоске.

Вдруг почувствовал, что у постели, на том самом месте, где только что сидел о. Матфей, теперь сидит кто-то другой. Открыл глаза и взглянул.

Это был маленький, седенький старичок. Он опустил голову так, что царевич неясно видел лицо его. Старичок похож был не то на о. Ивана, ключаря Благовещенского, не то на столетнего деда-пасечника, которого Алексей встретил однажды в глуши Новгородских лесов, и который все, бывало, сидел в своем пчельнике, среди ульев, грелся на солнце, весь белый, как лунь, пропахший насквозь медом и воском; его тоже звали Иваном.

— Отец Иван? аль дедушка? — спросил царевич.

— Иван, Иван — я самый и есть! — молвил старичок ласково, с тихою улыбкой, и голос у него был тихий, как жужжание пчел или далекий благовест. От этого голоса царевичу стало страшно и сладко. Он все старался увидеть лицо старичка и не мог.

— Не бойся, не бойся, дитятко, не бойся, родненький,— проговорил он еще тише и ласковей.— Господь послал меня к тебе, а за мной и Сам будет скоро.

Старичок поднял голову. Царевич увидел лицо юное, вечное и узнал Иоанна, сына Громова.

— Христос воскресе, Алешенька!

— Воистину воскресе! — ответил царевич, и великая радость наполнила душу его, как тогда, у Троицы, на Светлой Христовой заутрене.

Иоанн держал в руках своих как бы солнце: то была чаша с Плотью и Кровью.

— Во имя Отца и Сына, и Духа Святого.

Он причастил царевича. И солнце вошло в него, и он почувствовал, что нет ни скорби, ни страха, ни боли, ни смерти, а есть только вечная жизнь, вечное солнце — Христос.

VII

Утром, осматривая больного, Блюментрост удивился: лихорадка прошла, раны затягивались; улучшение было так внезапно, что казалось чудом.

— Ну, слава Богу, слава Богу,— радовался немец,— теперь все до свадьбы заживет!

Весь день чувствовал себя царевич хорошо; с лица его не сходило выражение тихой радости.

В полдень объявили ему смертный приговор.

Он выслушал его спокойно, перекрестился и спросил, в какой день казнь. Ему ответили, что день еще не назначен.

Приносили обед. Он ел охотно. Потом попросил открыть окно.

День был свежий и солнечный, как будто весенний. Ветер приносил запах воды и травы. Под самым окном, из щелей крепостной стены росли желтые одуванчики.

Он долго смотрел в окно; там пролетали ласточки с веселыми криками; сквозь тюремные решетки небо казалось таким голубым и глубоким, как никогда на воле.

К вечеру солнце осветило белую стену у изголовья царевича. И почудился ему в этом луче белый как лунь старичок с юным лицом, с тихой улыбкой и чашей в руках, подобный солнцу. Глядя на него, заснул он так тихо и сладко, как уже давно не спал.

На следующий день, в четверг, 26 июня, в 8 часов утра, опять собрались в гварнизонном застенке царь, Меншиков, Толстой, Долгорукий, Шафиров, Апраксин и прочие министры. Царевич был так слаб, что его перенесли на руках из каземата в застенок.

Опять спрашивали: «Что еще больше есть в тебе? Не поклепал ли, не утаил ли кого?» — но он уже ничего не отвечал.

Подняли на дыбу. Сколько дано было плетей, никто не знал — били без счета.

После первых ударов он вдруг затих, перестал стонать и охать, только все члены напряглись и вытянулись, как будто окоченели. Но сознание, должно быть, не покидало его. Взор был ясен, лицо спокойно, хотя что-то было в этом спокойствии, от чего и самым привычным к виду страданий становилось жутко.

— Нельзя больше бить, ваше величество! — говорил Блюментрост на ухо царю.— Умереть может. И бесполезно. Он уже ничего не чувствует: каталепсия...

— Что? — посмотрел на лейб-медика царь с удивлением.

— Каталепсия — это такое состояние...— начал тот объяснять по-немецки.

— Сам ты каталепсия, дурак! — оборвал его Петр и отвернулся.

Чтобы перевести дух, палач остановился на минуту.

— Чего зеваешь? Бей! — крикнул царь.

Палач опять принялся бить. Но царю казалось, что он уменьшает силу ударов нарочно, жалея царевича. Жалость и возмущение чудилось Петру на лицах всех окружающих.

— Бей же, бей! — вскочил он и топнул ногою в ярости; все посмотрели на него с ужасом: казалось, что он сошел с ума.— Бей во всю, говорят! Аль разучился?

— Да я и то бью. Как еще бить-то? — проворчал себе под нос Кондрашка и опять остановился.— По-русски бьем, у немцев не учились. Мы люди православные. Долго ли греха взять на душу? Немудрено забить и до смерти. Вишь, чуть дышит, сердечный. Не скотина чай,— тоже душа христианская!

Царь подбежал к палачу.

— Погоди, чертов сын, ужо самого отдеру, так научишься!

— Ну что ж, государь, поучи — воля твоя! — посмотрел тот на царя исподлобья угрюмо.

Петр выхватил плеть из рук палача. Все бросились к царю, хотели удержать его, но было поздно. Он замахнулся и ударил сына изо всей силы. Удары были неумелые, но такие страшные, что могли переломить кости.

Царевич обернулся к отцу, посмотрел на него, как будто хотел что-то сказать, и этот взор напомнил Петру взор темного Лика в терновом венце на древней иконе, перед которой он когда-то молился Отцу мимо Сына и думал, содрогаясь от ужаса: «Что это значит — Сын и Отец?» И опять, как тогда, словно бездна разверзлась у ног его, и оттуда повеяло холодом, от которого на голове его зашевелились волосы.

Преодолевая ужас, поднял он плеть еще раз, но почувствовал на пальцах липкость крови, которой была смочена плеть, и отбросил ее с омерзением.

Все окружили царевича, сняли с дыбы и положили на пол.

Петр подошел к сыну.

Царевич лежал, закинув голову; губы полуоткрылись, как будто с улыбкою, и лицо было светлое, чистое, юное, как у пятнадцатилетнего мальчика. Он смотрел на отца по-прежнему, словно хотел ему что-то сказать.

Петр стал на колени, склонился к сыну и обнял голову его.

— Ничего, ничего, родимый! — прошептал царевич.— Мне хорошо, все хорошо. Буди воля Господня во всем.

Отец припал устами к устам его. Но он уже ослабел и поник на руках его; глаза помутились, взор потух.

Петр встал, шатаясь.

— Умрет? — спросил он лейб-медика.

— Может быть, до ночи выживет,— ответил тот. Все подбежали к царю и повлекли его вон из палаты.

Петр вдруг весь опустился, ослабел, присмирел и стал послушен, как ребенок: шел, куда вели, делал, что хотели.

В сенях застенка Толстой, заметив, что у царя руки в крови, велел подать рукомойник. Он стал покорно умываться. Вода порозовела.

Его вывели из крепости, усадили в шлюпку и отвезли во дворец.

Толстой и Меншиков не отходили от царя. Чтобы занять и развлечь, говорили о посторонних делах. Он слушал спокойно, отвечал разумно. Давал резолюции, подписывал бумаги. Но потом не мог вспомнить того, что делал тогда, как будто провел все это время во сне или в обмороке. О сыне сам не заговаривал, точно забыл о нем вовсе.

Наконец, в шестом часу вечера, когда донесли Толстому и Меншикову, что царевич при смерти, они должны были напомнить о нем государю. Тот выслушал рассеянно, как будто не понимал, о чем говорят. Однако сел опять в шлюпку и поехал в крепость.

Царевича перенесли из пыточной палаты в каземат на прежнее место. Он уже не приходил в себя.

Государь и министры пошли в комнату умирающего. Когда узнали, что он не причащался, то захлопотали, забегали с растерянным видом. Послали за соборным протопопом, о. Георгием. Он прибежал, запыхавшись, с таким же испуганным видом, как у всех, торопливо вынул из дароносицы запасные Дары, совершил глухую исповедь, пробормотал разрешительные молитвы, велел приподнять голову умирающего, поднес потир и лжицу к самым губам его. Но губы были сжаты; зубы крепко стиснуты. Золотая лжица ударялась о них и звенела в трепетной руке о. Георгия. На плат спадали капли крови. На лицах у всех был ужас.

Вдруг в бесчувственном лице Петра промелькнула гневная мысль.

Он подошел к священнику и сказал:

— Оставь! Не надо.

И царю показалось, или только почудилось, что умирающий улыбнулся ему последнею улыбкою.

В тот же самый час, как вчера, на том же самом месте, у изголовья царевича, солнце осветило белую стену. Белый как лунь старичок держал в руках чашу, подобную солнцу.

Солнце потухло. Царевич вздохнул, как вздыхают засыпающие дети.

Лейб-медик пощупал руку его и сказал что-то на ухо Меншикову. Тот перекрестился и объявил торжественно:

— Его высочество, государь царевич Алексей Петрович преставился.

Все опустились на колени, кроме царя. Он был неподвижен. Лицо его казалось мертвее, чем лицо умершего.

VIII

«В России когда-нибудь кончится все ужасным бунтом, и самодержавие падет, ибо миллионы вопиют к Богу против царя»,— писал ганноверский резидент Вебер из Петербурга, извещая о смерти царевича.

«Кронпринц скончался не от удара, как здесь утверждают, а от меча или топора,— доносил резидент императорский, Плейер.— В день его смерти никого не пускали в крепость, и перед вечером заперли ее. Голландский плотник, работавший на новой башне собора и оставшийся там на ночь незамеченным, вечером видел сверху, близ пыточного каземата, головы каких-то людей и рассказал о том своей теще, повивальной бабке голландского резидента. Тело кронпринца положено в простой гроб из плохих досок; голова несколько прикрыта, а шея обвязана платком со складками, как бы для бритья».

Голландский резидент Яков де Би послал донесение Генеральным Штатам, что царевич умер от растворения жил, и что в Петербурге опасаются бунта.

Письма резидентов, вскрываемые в почтовой конторе, представлялись царю. Якова де Би схватили, привели в посольскую канцелярию и допрашивали «с пристрастием». Взяли за караул и голландского плотника, работавшего на Петропавловском шпице, и тещу его, повивальную бабку.

В опровержении этих слухов, послано от имени царя русским резидентам при чужеземных дворах составленное Шафировым, Толстым и Меншиковым известие о кончине царевича:

«По объявлении сентенции суда сыну нашему, мы, яко отец, боримы были натуральным милосердия подвигом с одной стороны, попечением же должным о целости и впредь будущей безопасности государства нашего с другой,— и не могли еще взять в сем многотрудном и важном деле своей резолюции. Но всемогущий Бог, восхотев чрез Собственную волю и праведным Своим судом, по милости Своей, нас от такого сумнения и дом наш, и государство от опасности и стыда освободити, пресек вчерашнего дня (писано июня в 27 день) его, сына нашего Алексея, живот, по приключившейся ему, при объявлении оной сентенции и обличении его столь великих против нас и всего государства преступлений, жестокой болезни, которая вначале была подобна апоплексии. Но, хотя потом он и паки в чистую память пришел и, по должности христианской, исповедался и причастился Св. Таин, и нас к себе просил, к которому мы, презрев все досады его, со всеми нашими здесь сущими министры и сенаторы пришли, и он чистое исповедание и признание тех всех своих преступлений против нас, со многими покаятельными слезами и раскаянием, нам принес и от нас в том прощение просил, которое мы, по христианской и родительской должности, и дали. И тако, он сего июня 26, около 6 часов пополудни, жизнь свою христиански скончал».

Следующий за смертью царевича день, 27 июня, девятую годовщину Полтавы, праздновали, как всегда: на крепости подняли желтый, с черным орлом, триумфальный штандарт, служили обедню у Троицы, палили из пушек, пировали на почтовом дворе, а ночью — в Летнем саду, на открытой галерее над Невою, у подножия петербургской Венус, как сказано было в реляции, довольно веселились, под звуки нежной музыки, подобной вздохам любви из царства Венус:

Покинь, Купидо, стрелы:
Уже мы все не целы...

В ту же ночь тело царевича положено в гроб и перенесено из тюремного каземата в пустые деревянные хоромы близ комендантского дома в крепости.

Утром вынесено к Троице, и «дозволено всякого чина людям, кто желал, приходить ко гробу его, царевича и видеть тело его, и со оным прощаться».

В воскресенье, 29 июня, опять был праздник — тезоименитство царя. Опять служили обедню, палили из пушек, звонили во все колокола, обедали в Летнем дворце; вечером прибыли в адмиралтейство, где спущен был

новый фрегат «Старый Дуб»; на корабле происходила обычная попойка; ночью сожжен фейерверк, и опять веселились довольно.

В понедельник, 30 июня, назначены похороны царевича. Отпевание было торжественное. Служили митрополит Рязанский, Стефан, епископ Псковский, Феофан, еще шесть архиереев, два митрополита палестинских, архимандриты, протопопы, иеромонахи, иеродиаконы и восемнадцать приходских священников. Присутствовали государь, государыня, министры, сенаторы, весь воинский и гражданский стан. Несметные толпы народа окружали церковь.

Гроб, обитый черным бархатом, стоял на высоком катафалке, под золотою белою парчою, охраняемый почетным караулом четырех лейб-гвардии Преображенского полка сержантов, со шпагами наголо.

У многих сановников головы болели от вчерашней попойки: в ушах звенели песни шутов:

Меня матушка плясамши родила,
А крестили во царевом кабаке.

И в этот ясный летний день казались особенно мрачными тусклое пламя надгробных свечей, тихие звуки надгробного пения:

Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.

И заунывно повторяющийся возглас диакона:

Еще молимся о упокоении души усопшаго раба Божия Алексия, и о еже проститися ему всякому прегрешению вольному же и невольному.

И глухо замирающий вопль хора:

Надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа!

Кто-то в толпе вдруг заплакал громко, и содрогание пронеслось по всей церкви, когда запели последнюю песнь:

Зряще мя безгласна и бездыханна, приидите, вси любящие мя, и целуйте мя последним целованием.

Первым подошел прощаться митрополит Стефан. Старик едва держался на ногах. Его вели под руки два протодиакона. Он поцеловал царевича в руку и в голову, потом наклонился и долго смотрел ему в лицо. Стефан хоронил в нем все, что любил — всю старину Московскую, патриаршество, свободу и величие древней церкви, свою последнюю надежду — «надежду Российскую».

После духовных по ступеням катафалка взошел царь. Лицо его было такое же мертвое, как все последние дни. Он взглянул в лицо сына.

Оно было светло и молодо, как будто еще просветлело и помолодело после смерти. На губах улыбка говорила: все хорошо, буди воля Господня во всем.

И в неподвижном лице Петра что-то задрожало, задвигалось, как будто открывалось с медленным, страшным усилием — наконец, открылось — и мертвое лицо ожило, просветлело, точно озаренное светом от лица усопшего.

Петр склонился к сыну и прижал губы к холодным губам его. Потом поднял глаза к небу — все увидели, что он плачет — перекрестился и сказал:

— Буди воля Господня во всем.

Он теперь знал, что сын оправдает его перед Вечным Судом и там объяснит ему то, чего не мог понять он здесь: что значит — Сын и Отец?

IX

Народу объявили так же, как чужеземным дворам, что царевич умер от удара.

Но народ не поверил. Одни говорили, что он умер от побоев отца. Другие покачивали головами сомнительно: «Скоро-де это дело сделалось!», а иные утверждали прямо, что, вместо царевича, положено в гроб тело какого-то лейб-гвардии сержанта, который лицом похож на него, а сам царевич, будто бы, жив, от отца убежал не то в скиты за Волгу, не то в степные станицы, «на вольные реки», и там скрывается.

Через несколько лет, в Яменской казачьей станице, на реке Бузулук, появился некий Тимофей Труженик, по виду нищий бродяга, который на вопросы: кто он и откуда? — отвечал явно:

— С облака, с воздуха. Отец мой — костыль, сума — матушка. Зовут меня Труженик, понеже тружусь Богу на дело великое.

А тайно говорил о себе:

— Я не мужик и не мужичий сын; я орел, орлов сын, мне орлу и быть! Я — царевич Алексей Петрович. Есть у меня на спине крест, а на лядвее[1] шпага родимая...

И другие говорили о нем:

— Не простой он человек, и быть ему такому человеку, что потрясется вся земля!..

И в ярлыках подметных, которые рассылались от него по казачьим станицам, было сказано:

«Благословен еси Боже наш! Мы, царевич Алексей

---

[1] На бедре (*церковнослав.*).

Петрович, идем искать своих законов отчих и дедовских, и на вас, казаков, как на каменную стену покладаемся, дабы постояли вы за старую веру и за чернь, как было при отцах и дедах наших. И вы, голытьба, бурлаки, босяки бесприютные, где нашего гласа не заслышите, идите до нас денно и нощно!»

Труженик ходил по степям и собирал вольницу, обещая «открыть Городище, в коем есть знамение Пресвятыя Богородицы, и Евангелие, и Крест, и знамена царя Александра Македонского; и он, царевич Алексей Петрович, будет по тем знаменам царствовать; и тогда придет конец века и наступит Антихрист; и сразится он, царевич, со всею силой вражьей и с самим Антихристом».

Труженика схватили, пытали и отрубили ему голову как самозванцу.

Но народ продолжал верить, что истинный царевич Алексей Петрович, когда придет час его,— явится, сядет на отчий престол, бояр переказнит, а чернь помилует.

Так для народа остался он и после смерти своей «надеждой Российскою».

X

Окончив розыск о царевиче, Петр 8 августа выехал из Петербурга в Ревель морем, во главе флота из 22 военных судов. Царский корабль был новый, недавно спущенный с Адмиралтейской верфи, девяностопушечный фрегат «Старый Дуб» — первый корабль, построенный по чертежам царя, без помощи иноземцев, весь из русского леса, одними русскими мастерами.

Однажды вечером, при выходе из Финского залива в Балтийское море, Петр стоял на корме у руля и правил.

Вечер был ненастный. Тяжкие, черные, словно железные, тучи громоздились низко над тяжкими, черными, тоже словно железными гребнями волн. Была сильная качка. Бледные клочья пены мелькали, как бледные руки яростно грозящих призраков. Порою волны перехлестывали за борт и дождем соленых брызг окачивали всех, стоявших на палубе, и больше всех царя-кормчего. Платье на нем вымокло; ледяная сырость пронизывала; ледяной ветер бил в лицо. Но, как всегда на море, он чувствовал себя бодрым, сильным и радостным. Смотрел пристально в темную даль и твердою рукою правил. Все исполинское тело фрегата дрожало от натиска волн, но крепок был «Старый Дуб» и слушался руля, как добрый конь — узды, прыгал с волны на волну, иногда опускался, как будто

нырял, в седые пучины — казалось, не вынырнет,— но каждый раз вылетал, торжествующий.

Петр думал о сыне. В первый раз думал обо всем, как о прошлом — с великою грустью, но без страха, без муки и раскаяния, чувствуя и здесь, как во всей своей жизни, волю Вышних Судеб. «Велик, велик, да тяжеленек Петр — и не вздохнуть под ним. Стоном стонет земля!» — вспомнились ему слова сына перед Сенатом.

«Как же быть?—думал Петр.—Стонет, небось, наковальня под молотом. Он, царь, и был в руке Господней молотом, который ковал Россию. Он разбудил ее страшным ударом. Но если бы не он, спала бы она и доныне сном смертным».

И что случилось бы, останься царевич в живых?

Рано или поздно, воцарился бы, возвратил бы власть попам, да старцам, длинным бородам, а те повернули бы назад от Европы в Азию, угасили бы свет просвещения — и погибла бы Россия.

— Будет шторм! — молвил старый голландский шкипер, подходя к царю.

Тот ничего не ответил и продолжал смотреть пристально вдаль.

Быстро темнело. Черные тучи спускались все ниже и ниже к черным волнам.

Вдруг, на самом краю неба, сквозь узкую щель из-под туч, сверкнуло солнце, как будто из раны брызнула кровь. И железные тучи, железные волны обагрились кровью. И чудно, и страшно было это кровавое море.

«Кровь! Кровь!» — подумал Петр и вспомнил пророчество сына:

«Кровь сына, кровь русских царей ты, первый, на плаху прольешь — и падет сия кровь от главы на главу до последних царей, и погибнет весь род наш в крови. За тебя накажет Бог Россию!»

— Нет, Господи! — опять, как тогда, перед старой иконой с темным Ликом в терновом венце, молился Петр, мимо Сына Отцу, который жертвует Сыном.— Накажи меня, Боже,— помилуй Россию!

— Будет шторм! — повторил старый шкипер, думая, что царь не расслышал его.— Говорил я давеча вашему величеству — лучше бы вернуться назад...

— Не бойся,— ответил Петр с улыбкою.— Крепок наш новый корабль: выдержит бурю. С нами Бог!

И твердою рукою правил Кормчий по железным и кровавым волнам в неизвестную даль.

Солнце зашло, наступил мрак, и завыла буря.

ЭПИЛОГ

ХРИСТОС ГРЯДУЩИЙ

I

— Не истинна вера наша — и постоять не за что. О, если бы нашел я самую истинную веру, то отдал бы за нее плоть свою на мелкие части раздробить!

Эти слова одного странника, который прошел все веры и ни одной не принял, часто вспоминал Тихон в своих долгих скитаниях, после бегства из лесов Ветлужских, от Красной Смерти.

Однажды, позднею осенью, в Нижегородской Печерской обители, где остановился он для отдыха и служил книгописцем, один из монахов, о. Никодим, беседуя с ним наедине о вере, сказал:

— Знаю, чего тебе надо, сынок. Живут на Москве люди умные. Есть у них вода живая. Той воды напившись, жаждать не будешь вовек. Ступай к ним. Ежели сподобишься, откроют они тебе тайну великую...

— Какую тайну? — спросил Тихон жадно.

— А ты не спеши, голубок,— возразил монах строго и ласково,— поспешишь, людей насмешишь. Ежели и впрямь хочешь тайне той приобщиться, искус молчания прими. Что ни увидишь, ни услышишь,— знай, молчи, да помалкивай. *Не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзание Ти дам, яко Иуда.* Разумеешь?

— Разумею, отче! Как мертвец, безгласен буду...

— Ну, ладно,— продолжал о. Никодим.— Дам я тебе грамотку к Парфену Парамонычу, купцу Сафьянникову, мукой на Москве торгует. Отвезешь ему поклон мой, да гостинчик махонький, морошки керженской моченой кадушку. Кумовья мы с ним старые. Он тебя примет. Ты по счетной части горазд, а ему такого молодца в лавку надобно... Сейчас пойдешь, что ль, аль до весны погодишь? Время-то скоро зимнее. А у тебя одежишка плохенькая. Как бы не замерз?

— Сейчас, отче, сейчас!

— Ну, с Богом, сынок!

О. Никодим благословил Тихона в путь и дал ему обещанную грамотку, которую позволил прочесть:

«Возлюбленному брату во Христе, Парфену Парамонычу — радоваться.

Се — отрок Тихон. Черствым хлебом не сыт, пирожков хочет мягоньких. Накорми голодного. Мир вам всем и радость о Господе.

Смиренный о. Никодим»

По зимнему первопутку, с Макарьевским рыбным обозом, отправился Тихон в Москву.

Мучные лавки Сафьянникова находились на углу Третьей Мещанской и Малой Сухаревой площади.

Здесь приняли Тихона, несмотря на письмо о. Никодима, подозрительно. Назначили на испытание подручным к дворнику для черной работы. Но видя, что он малый трезвый, усердный и хорошо умеет считать, перевели в лавку и засадили за счетные книги.

Лавка была как лавка. Покупали, продавали, говорили об убытках и прибылях. Иногда только шептались о чем-то по углам.

Однажды Митька крючник, простодушный, косолапый великан, весь обсыпанный белою мучною пылью, таская на спине кули, запел при Тихоне странную песню:

Как у нас было на святой Руси,
В славной матушке, каменной Москве,
Во Мещанской Третьей улице —
Не два солнышка сокатилися,
Тут два гостя ликовалися:
Поклоняется гость Иван Тимофеевич
Дорогому гостю богатому,
Даниле Филипповичу:
Ты добро, сударь, пожаловал
В мою царскую палатушку
Хлеба с солью покушати,
И я рад тебя послушати,
Про твое время последнее,
И про твой Божий страшный суд.

— Митя, а Митя, кто такие Данило Филиппович да Иван Тимофеевич? — спросил Тихон.

Застигнутый врасплох, Митька остановился, согнувшись под тяжестью огромного куля и выпучил глаза от удивления:

— Аль Бога Саваофа да Христа не знаешь?

— Как же так Бог Саваоф, да Христос на Третьей Мещанской улице?.. — посмотрел на него Тихон с еще большим удивлением.

Но тот уже спохватился и, уходя, проворчал угрюмо:

— Много будешь знать, рано состаришься...

Вскоре после того у Митьки сделалась ломота в пояснице — должно быть, надорвался, таскавши кули. Целые дни лежал он в своей подвальной каморке, стонал и охал. Тихон посещал больного, поил шалфейной настойкой, натирал камфарным духом и другими зельями от знакомого немца-аптекаря и, так как в подвале было сыро, то перевел Митьку в свою теплую светелку во втором жилье над главным амбаром. У Митьки сердце было доброе. Он привязался к Тихону и стал беседовать с ним откровеннее.

Из этих бесед, а также из песен, которые певал он при нем, узнал Тихон, что в начале царствования Алексея Михайловича, в Муромском уезде, в Стародубской волости, в приходе Егорьевском, близ деревень Михайлицы и Бобынина, на гору Городину, перед великим собранием людей, «сокатил» на колеснице огненной, с ангелами и архангелами, херувимами и серафимами, сам Господь Бог Саваоф. Ангелы взлетели на небо, а Господь остался на земле, вселился в пречистую плоть Данилы Филипповича, беглого солдата, а мужика оброчного, Ивана Тимофеевича, объявил своим Сыном Единородным, Иисусом Христом. И пошли они ходить по земле в образах нищенских.

Бегая от гонителей, терпели холод и голод, укрывались в свином хлеву, в яме падежной, в стогах соломы. Однажды спрятала их баба в подполье скотной избы. На полу стоял теленок и намочил — «мокро полилося под пол; Данило Филиппович, увидев то, сказал Ивану Тимофеевичу: тебя замочит! — а тот отвечал: чтобы Царя-то не замочило!»

Последние годы жили они в Москве, на Третьей Мещанской, в особом доме, который назван Сионским. Тут оба скончались и вознеслись на небеса во славе.

После Ивана Тимофеевича так же, как до него, «открывались» многие христы, «ибо Господь нигде так любезно обитать не желает, как в пречистой плоти человеческой, по реченному: *вы есте храм Бога живого.* Бог тогда Христа рождает, когда все умирает. Христос во единой плоти подвиг свой кончил, а в других плотях начинает.

— Значит, много христов? — спросил Тихон.

— Дух един, плотей много,— отвечал Митька.

— И ныне есть? — продолжал Тихон, у которого сердце вдруг замерло от предчувствия тайны.

Митька молча кивнул головою.

— Где же Он?

— Не пытай. Сказать не можно. Сам увидишь, ежели сподобишься...

И Митька замолчал, как воды в рот набрал.

Не бо врагом Твоим тайну повем — вспомнил Тихон.

Несколько дней спустя, сидел он вечером в лавке над счетными книгами.

Вечер был субботний. Торговля уже кончилась. Но подъехал новый обоз, и крючники таскали кули с подвод. В отворявшуюся дверь врывались клубы морозного пара, скрип шагов по снегу и вечерний благовест. Снежные белые крыши черных бревенчатых домиков Третьей Мещанской светились долгим и ровным, розовым светом на ясном, золотисто-лиловом небе. В лавке было темно; только в глубине ее, среди наваленных до потолка мучных кулей, перед образом Николы Чудотворца теплилась лампадка.

Парфен Парамоныч Сафьянников, толстый, белобородый, красноносый старик, похожий на дедушку-Мороза, и старший приказчик Емельян Ретивой, сутулый, рыжий, лысый, с безобразным и умным лицом, напоминавшим древнюю маску Фавна, пили горячий сбитень и слушали рассказы Тихона про житие старцев заволжских.

— А ты, Емельян Иваныч, как мыслишь, по старым, аль новым книгам спастись надлежит? — спросил Тихон.

— Жил-был человек на Руси, Данилой Филипповичем звать,— произнес Емельян, усмехаясь,— читал книги, читал, все прочел, а толку, видит, мало — собрал их в куль, да бросил в Волгу. Ни в старых-де книгах, ни в новых нет спасения,— а нужна единая —

Книга золотая,
Книга животная,
Книга голубиная —
Сам Сударь Дух Святой!

Последние слова он спел на тот же лад, как Митька певал свои странные песни.

— Где ж эта книга? — допытывался Тихон робко и жадно.

— А вон, гляди!

Он указал ему в открытую дверь на небо.

— Вот тебе и книга! Солнышком, что перышком златым, сам Господь Бог пишет в ней словеса жизни вечной. Как прочтешь их,— постигнешь всю тайну небесную и тайну земную...

Емельян посмотрел на него пристально, и от этого взора стало вдруг Тихону жутко, как будто заглянул он в бездонно-прозрачную темную воду.

А Емельян, перемигнувшись с хозяином, внезапно умолк.

— Так значит ни в старой, ни в новой церкви нет спасения? — заговорил поспешно Тихон, боясь, чтобы он совсем не замолчал, как давеча Митька.

— Что ваши церкви? — пожал Емельян плечами презрительно.— Мурашиные гнезда, синагоги ветхие, толкучки жидовские! Воры рубили, волы возили. Благодать-то вся у вас окаменела. Духом была и огнем, стала дорогим каменьем, да золотом на иконах ваших, да ризах поповских. Очерствело слово Божие, сухарями стало черствыми — не сжуешь, только зубы обломаешь!

И наклонившись к Тихону, прибавил шепотом:

— Есть церковь истинная, новая, тайная, светлица светлая, из кипариса, барбариса и аниса срубленная, горница Сионская! Не сухарей тех черствых, а пирожков горяченьких, да мягоньких, прямо из печи там кушают — слов живых из уст пророческих; там веселие райское, небесное, пиво духовное, о нем же церковь поет; *приидите, пиво пием новое, нетления источник, из гроба одождивша Христа.*

— То-то пивушко! Человек устами не пьет, а пьян живет,— воскликнул Парфен Парамоныч и, вдруг закатив глаза к потолку, фистулою неожиданно тонкой запел вполголоса:

Варил пивушко-то Бог,
Затирал Святой Дух...

И Ретивой, и Митька подпевали, подтягивали, притопывали в лад ногами, подергивали плечами, словно подмывало их пуститься в пляс. И у всех троих глаза стали пьяные.

Варил пивушко-то Бог,
Затирал Святой Дух,
Сама Матушка сливала,
Вкупе с Богом пребывала;
Святы ангелы носили,
Херувимы разносили.

Тихону казалось, что до него доносится топот бесчисленных ног, отзвук стремительной пляски, и было в этой песне что-то пьяное, дикое, страшное, от чего захватывало дух и хотелось слушать, слушать без конца.

Но сразу, так же внезапно как начали, умолкли все трое.

Емельян стал просматривать счетные книги. Митька поднял сброшенный куль и понес дальше, а Парфен Парамоныч провел рукою по лицу, как будто стирая с него что-то, встал, зевнул, лениво потягиваясь, перекрестил рот и проговорил обыкновенным хозяйским голосом, каким, бывало, каждый вечер говаривал:

— Ну, молодцы, ступай ужинать! Щи да каша простынут.

И опять лавка стала, как лавка — словно ничего и не было.

Тихон очнулся, тоже встал, но вдруг, точно какая-то сила бросила его на пол — весь дрожащий, бледный, упал на колени, протянул руки и воскликнул:

— Батюшки родимые! Сжальтесь, помилуйте! Мочи моей больше нет, истомилась душа моя, желая во дворы Господни! Примите в общение святое, откройте мне тайну вашу великую!..

— Вишь, какой прыткий! — посмотрел на него Емельян со своей хитрой усмешкой.— Скоро, брат, сказка сказывается, да не скоро дело делается. Надо сперва спросить Батюшку. Может, и сподобишься. А пока ешь пирог с грибами, да держи язык за зубами — знай, молчи да помалкивай.

И все пошли ужинать, как ни в чем не бывало.

Ни в этот день, ни в следующий не было речи ни о каких тайнах. Когда Тихон сам заговаривал, все молчали и глядели на него подозрительно. Словно какая-то завеса приподнялась перед ним и тотчас вновь опустилась. Но он уже не мог забыть того, что видел.

Был сам не свой, ходил, как потерянный, слушал и не понимал, отвечал невпопад, путал счеты. Хозяин бранил его. Тихон боялся, что его совсем прогонят из лавки. Но в субботу, ровно через неделю, поздно вечером, когда он сидел у себя в светелке один, вошел Митька.

— Едем! — объявил он поспешно и радостно.

— Куда?

— К Батюшке в гости.

Не смея расспрашивать, Тихон торопливо оделся, сошел вниз и увидел у крыльца хозяйские сани. В них

сидел Емельян и Парфен Парамоныч, закутанный в шубу. Тихон примостился у ног их, Митька сел на облучок, и они понеслись по ночным пустынным улицам. Ночь была тихая, светлая. Луна — в чешуе перламутровых тучек. Переехали по льду через Москву-реку и долго кружили по глухим переулкам Замоскворечья. Наконец, мелькнули в лунной мгле, среди снежного поля, мутно-розовые, с белыми зубцами и башнями, стены Донского монастыря.

На углу Донской и Шабельской слезли с саней. Митька въехал во двор и, оставив там сани с лошадьми, вернулся. Пошли дальше пешком вдоль длинных, покривившихся, занесенных снегом, заборов. Завернули в тупик, где по колено увязли в снегу. Подойдя к воротам о двух щитках с железными петлями, постучались в калитку. Им отворили не сразу, сперва окликнули, кто и откуда. За калиткой был большой двор со многими службами. Но, кроме старика-привратника, кругом ни души — ни огня, ни лая собаки — точно все вымерло. Двор кончился, и они стали пробираться узенькою, хорошо протоптанною тропинкою, между высокими сугробами снега, по каким-то задворкам, не то пустырям, не то огородам. Пройдя вторые ворота, уже с незапертою калиткою, вошли в плодовый сад, где яблони и вишни белели в снегу, как в весеннем цвету. Была такая тишина, словно за тысячи верст от жилья. В конце сада виделся большой, деревянный дом. Взошли на крыльцо, опять постучались, опять изнутри окликнули. Отворил угрюмый малый в скуфейке и долгополом кафтане, похожий на монастырского служку. В просторных сенях висело по стенам, лежало на сундуках и лавках много верхнего платья, мужского и женского, простые тулупы, богатые шубы, старинные русские шапки, новые немецкие треуголки и монашеские клобуки.

Когда вошедшие сняли шубы, Ретивой спросил Тихона трижды:

— Хочешь ли, сыне, причаститься тайне Божьей?

И Тихон трижды ответил:

— Хочу.

Емельян завязал ему глаза платком и повел за руку.

Долго шли по бесконечным переходам, то спускались, то подымались по лестницам.

Наконец, остановившись, Емельян велел Тихону раздеться донага и надел на него длинную, полотняную рубаху, на ноги нитяные чулки без сапог, произнося слова Откровения:

— *Побеждаяй, той облечется в ризы белыя.*

Потом пошли дальше. Последняя лестница была такая крутая, что Тихон должен был держаться обеими руками за плечи Митьки, шедшего впереди, чтоб не оступиться сослепу.

Пахнуло земляною сыростью, точно из погреба, или подполья. Последняя дверь отворилась, и они вошли в жарко натопленную горницу, где, судя по шепоту и шелесту шагов, было много народу. Емельян велел Тихону стать на колени, трижды поклониться в землю и произносить за ним слова, которые говорил ему на ухо:

— Клянусь душою моею, Богом и страшным судом Его претерпеть кнут и огонь, и топор, и плаху, и всякую муку и смерть, а от веры святой не отречься, и о том, что увижу, или услышу, никому не сказывать, ни отцу родному, ни отцу духовному. *Не бо врагам Твоим тайну повем, ни лобзание Ти дам, яко Иуда.* Аминь.

Когда он кончил, усадили его на лавку и сняли с глаз повязку.

Он увидел большую низкую комнату; в углу образа; перед ними множество горящих свечей; на белой штукатурке стен — темные пятна сырости; кое-где даже струйки воды, которая стекала с потолка, просачиваясь в щели меж черных просмоленных досок. Было душно, как в бане. Пар стоял в воздухе, окружая пламя свечей туманною радугой. На лавках по стенам сидели мужчины с одной стороны, с другой — женщины, все в одинаковых длинных белых рубахах, видимо, надетых прямо на голое тело и в нитяных чулках без сапог.

— Царица! Царица! — пронеслось благоговейным шепотом.

Открылась дверь и вошла высокая стройная женщина в черном платье и с белым платком на голове. Все встали и поклонились ей в пояс.

— Акулина Мокеевна, Матушка, Царица Небесная! — шепнул Тихону Митька.

Женщина прошла к образам и села под ними, сама как образ. Все стали подходить к ней, по очереди, кланяться в ноги и целовать в колено, как будто прикладывались к образу.

Емельян подвел Тихона и сказал:

— Изволь крестить, Матушка! Новенький...

Тихон стал на колени и поднял на нее глаза: она была смугла, уже не молода, лет под сорок, с тонкими морщинками около темных, словно углем подведенных век,

с густыми, почти сросшимися, черными бровями, с черным пушком над верхней губой — «точно цыганка, аль черкешенка», подумал он. Но когда она глянула на него своими большими тускло-черными глазами, он вдруг понял, как она хороша.

Трижды перекрестила его Матушка свечою, почти касаясь пламенем лба, груди и плеч.

— Во имя Отца и Сына и Духа Святого, крещается раб Божий Тихон Духом Святым и огнем!

Потом легким и быстрым, видимо, давно привычным движением, распахнула на себе платье, и он увидел все ее прекрасное, юное, как у семнадцатилетней девушки, золотисто-смуглое, точно из слоновой кости точеное, тело.

Ретивой подталкивал его сзади и шептал ему на ухо:

— Целуй во чрево пресвятое, да в сосцы пречистые!

Тихон потупил глаза в смущеньи.

— Не бойся, дитятко! — проговорила Акулина с такою лаской, что ему почудилось, будто бы слышит он голос матери и сестры, и возлюбленной вместе.

И вспомнилось, как в дремучем лесу у Круглого озера, целовал он землю и глядел на небо, и чувствовал, что земля и небо — одно, и плакал, и молился:

Чудная Царица Богородица,
Земля, земля, Мати сырая!

С благоговением, как образ, поцеловал он трижды это прекрасное тело. На него повеяло страшным запахом; лукавая усмешка промелькнула на губах ее — и от этого запаха и от этой усмешки ему стало жутко.

Но платье запахнулось — и опять сидела она перед ним, величавая, строгая, святая — икона среди икон.

Когда Тихон с Емельяном вернулись на прежнее место, все запели хором, по-церковному, уныло и протяжно:

Дай нам, Господи, Исуса Христа,
Дай нам, Сударь, Сына Божия,
И Святого Духа Утешителя!

Умолкли на минуту; потом начали снова, но уже другим, веселым, быстрым, словно плясовым, напевом, притопывая ногами, прихлопывая в ладоши — и у всех глаза стали пьяные.

Как у нас на Дону
Сам Спаситель во дому,
И со ангелами,
Со архангелами,
С херувимами, Сударь,
С серафимами
И со всею Силою Небесною.

Вдруг вскочил с лавки старик благообразного постного вида, каких пишут на иконах св. Сергия Радонежского, выбежал на середину горницы и начал кружиться.

Потом девушка, лет четырнадцати, почти ребенок, но уже беременная, тоненькая как тростинка, с шеей длинной. как стебель цветка, тоже вскочила и пошла кругом, плавно, как лебедь.

— Марьюшка-дурочка,— указал на нее Емельян Тихону,— немая, говорить не умеет, только мычит, а как Дух накатит, поет что твой соловушко!

Девушка пела детским, как серебро звенящим голосом:

Полно, пташечки, сидеть,
Нам пришла пора лететь
Из острогов, из затворов,
Из темничныих запоров.

И махала рукавами рубахи, как белыми крыльями.

Парфен Парамоныч сорвался с лавки, словно вихрем подхваченный, подбежал к Марьюшке, взял ее за руки и завертелся с нею, как белый медведь со Снегурочкой. Никогда не поверил бы Тихон, чтоб эта грузная туша могла плясать с такою воздушною легкостью. Кружась, как волчок, заливался он, пел своею тонкой фистулою:

На седьмом на небеси
Сам Спаситель закатал.
Ай, душки, душки, душки!
У Христа-то башмачки,
Ведь сафьяненькие,
Мелкостроченные!

Все новые и новые начинали кружиться.

Плясал, и не хуже других, человек с деревяшкой вместо ноги — как узнал впоследствии Тихон — отставной капитан Смурыгин, раненный при штурме Азова.

Низенькая, кругленькая тетка, с почтенными седыми буклями, княжна Хованская вертелась, как шар. А рядом с нею долговязый сапожный мастер, Яшка Бурдаев прыгал, высоко вскидывая руки и ноги, кривляясь и корчась, как тот огромный вялый комар, с ломающимися ногами, которого зовут *карамориой*, и выкрикивал:

Поплясахом, погорахом
На Сионскую гору!..

Теперь уже почти все плясали, не только в «одиночку» и «всхватку» — вдвоем, но и целыми рядами — «стеночкой», «уголышком», «крестиком», «кораблем Давидовым», «цветочками и ленточками».

— Сими различными круженьями,— объяснял Емельян Тихону,— изображаются пляски небесные ангелов и архангелов, парящих вкруг престола Божия, маханьем же рук,— мановенье крыл ангельских. Небо и земля едино суть: что на небеси горе, то и на земле низу.

Пляска становилась все стремительней, так что вихрь наполнял горницу, и, казалось, не сами они пляшут, а какая-то сила кружит их с такой быстротою, что не видно было лиц, на голове вставали дыбом волосы, рубахи раздувались, как трубы, и человек превращался в белый вертящийся столб.

Во время кружения, одни свистели, шипели, другие гоготали, кричали неистово, и казалось тоже, что не сами они, а кто-то за них кричит:

Накатил! Накатил!
Дух, Свят, Дух,
Кати, кати! Ух!

И падали на пол, в судорогах, с пеною у рта, как бесноватые, и пророчествовали, большею частью, впрочем, невразумительно. Иные в изнеможении останавливались, с лицами красными как кумач, или белыми как полотно; пот лил с них ручьями; его вытирали полотенцами, выжимали мокрые насквозь рубахи, так что на полу стояли лужи; это потение называлось «банею пакибытия». И едва успев отдышаться, опять пускались в пляс.

Вдруг все сразу остановились, пали ниц. Наступила тишина мертвая, и, так же как давеча при входе Царицы, пронеслось благоговейнейшим шепотом:

— Царь! Царь!

Вошел человек лет тридцати в белой длинной одежде из ткани полупрозрачной, так что сквозило тело, с женоподобным лицом, таким же нерусским, как у Акулины Мокеевны, но еще более чуждой и необычайной прелести.

— Кто это? — спросил Тихон рядом с ним лежавшего Митьку.

— Христос Батюшка! — ответил тот.

Тихон узнал потом, что это беглый казак, Аверьянка Беспалый, сын запорожца и пленной гречанки.

Батюшка подошел к Матушке, которая встала перед ним почтительно, и «поликовался» с нею, обнял и поцеловал трижды в уста.

Потом вышел на середину горницы и стал на небольшое круглое возвышение из досок, вроде тех крышек, которыми закрываются устья колодцев.

Все запели громогласно и торжественно:

Растворилися седьмые небеса,
Сокатилися златые колеса,
Золотые, еще огненные —
Сударь Дух Святой покатывает.
Под ним белый конь не прост,
У коня жемчужный хвост,
Из ноздрей огонь горит,
Очи камень маргарит.
Накатил! Накатил!
Дух, Свят, Дух,
Кати, кати! Ух!

Батюшка благословил детушек — и опять началось кружение, еще более неистовое, между двумя недвижными пределами — Матушкой на самом краю и Батюшкой в самом средоточии вертящихся кругов. Батюшка изредка медленно взмахивал руками, и при каждом взмахе ускорялась пляска. Слышались нечеловеческие крики:

— Эва́-эво́! Эва́-эво́!

Тихону вспомнилось, что в старинных латинских комментариях к Павсанию читал он, будто бы древние вакхи и вакханки приветствовали бога Диониса почти однозвучными криками: «Эва́н-Эво́!» Каким чудом проникли, словно просочились вместе с подземными водами, эти тайны умершего бога с вершин Киферона в подполья Замоскворецких задворков?

Он смотрел на крутящийся белый смерч пляски и минутами терял сознание. Время остановилось. Все исчезло. Все цвета слились в одну белизну — казалось, в белую бездну белые птицы летят. И ничего нет — его самого нет. Есть только белая бездна, белая смерть.

Он очнулся, когда Емельян взял его за руку и сказал:

— Пойдем!

Хотя свет дневной не проникал в подполье, Тихон чувствовал утро. Догоревшие свечи коптили. Духота была нестерпимая, смрадная. Лужи пота на полу подтирали ветошками. Радение кончилось. Царь и царица ушли. Одни, пробираясь к выходу, шатаясь и держась за стены, ползли, как сонные мухи. Другие, свалившись на пол, спали мертвым сном, похожим на обморок. Иные сидели на лавках, понурив головы, с такими лицами, как у пьяных, которых тошнит. Словно белые птицы упали на землю и расшиблись до смерти.

С этого дня Тихон стал ходить на все радения. Митька научил его плясать. Сначала было стыдно, но потом он привык и так пристрастился к пляске, что не мог без нее жить.

Все новые и новые тайны открывались ему на радениях.

Но порой казалось, что самую главную и страшную тайну от него скрывают. По тому, что видел и слышал, догадывался он, что братья и сестры живут в плотском общении.

— Мы — херувимы неженимые, в чистоте живем огненной,— говорили они.— То не блуд, когда брат с сестрой в любви живут Христовой, истинной, а блуд и скверна — брак церковный. Он пред Богом мерзость, пред людьми дерзость. Муж да жена — одна сатана, проклятые гнездники; а дети — осколки, щенята поганые!

Детей, рожденных от мужей неверных, матери подкидывали в бани торговые, или убивали собственными руками.

Однажды Митька простодушно объявил Тихону, что живет с двумя родными сестрами, монашками из монастыря Новодевичьего; а Емельян Иванович, пророк и учитель, с тринадцатью женами и девками.

— Которая у него на духу побывает, та с ним и живет.

Тихон был смущен этим признанием и после того несколько дней избегал Ретивого, не смел глядеть ему в глаза.

Тот, заметив это смущение, заговорил с ним наедине ласково:

— Слушай-ка, дитятко, открою тебе тайну великую! Ежели хочешь быть жив, умертви, Господа ради, не токмо плоть свою, но и душу, и разум, и самую совесть. Обнажись всех уставов и правил, всех добродетелей, поста, воздержания, девства. Обнажись самой святости. Сойди в себя, как в могилу. Тогда, мертвец таинственный, воскреснешь, и вселится в тебя Дух Святый, и уже не лишишься Его, как бы ни жил и что бы ни делал...

Безобразное лицо Ретивого — маска фавна — светилось таким дерзновением и такою хитростью, что Тихону стало страшно: не мог он решить, кто перед ним — пророк или бесноватый?

— Аль о том соблазняешься,— продолжал тот еще ласковей,— что творим блуд, как люди о нас говорят? Знаем, что несходны дела наши многие с праведностью вашей человеческой. Да как нам быть? Нет у нас воли своей. Дух нами действует, и самые неистовства жизни нашей суть непостижный путь Промысла Божия. Скажу о себе: когда с девами и женами имею соитие,— совесть меня в том отнюдь не обличает, но паче радость и сладость в сердце кипят несказанные. Сойди с небес ангел тогда и скажи: не так-де живешь, Емельян! — и то не послушаю. Бог мой меня оправдал, а вы кто судите? Грех мой знаете,

а милости Божией со мною не знаете. Вы скажете: кайся,— а я скажу, не в чем. Кто пришел, тому не нужно, что прошел. На что нам ваша праведность? Пошли нас в ад — и там спасемся; всели в рай — и там радости больше не встретим. В пучине Духа, яко камень в море, утопаем. Но от внешних таимся: сего ради, инде и подуриваем, дабы совсем-то не узнали... Так-то, миленький!

Емельян смотрел в глаза Тихону, усмехаясь двусмысленно, а тот испытывал от этих слов учителя такое чувство, как от кружения пляски: точно летел и не знал, куда летит, вверх или вниз, к Богу или к черту.

Однажды Матушка в конце радения, на Вербной неделе, раздала всем пучки вербы и святые жгутики, свернутые из узких полотенец. Братья спустили рубахи по пояс, сестры — сзади тоже по пояс, а спереди по груди, и пошли кругом, ударяя себя розгами и святыми жгутиками, одни с громкой песней:

Богу порадейте,
Плотей не жалейте!
Богу послужите,
Марфу не щадите!

Другие с тихим свистом:

Хлыщу, хлыщу,
Христа ищу!

Били себя также завернутыми в тряпки железными ядрами, подобием пращей; резались ножами, так что кровь текла, и, глядя на Батюшку, кликали:

— Эвá-эвó! Эвá-эвó!

Тихон ударял себя жгутиком, и, под ласковым взором Акулины Мокеевны, которая, казалось ему, глядит на него, на него одного, боль от ударов была чем острее, тем сладостней. Все тело истаивало от сладости, как воск от огня, и он хотел бы истаять, сгореть до конца перед Матушкой, как свеча перед образом.

Вдруг свечи стали гаснуть, одна за другой, как будто потушенные вихрем пляски. Погасли все, наступила тьма — и так же, как некогда в срубе самосожженцев, в ночь перед Красною Смертью, послышались шепоты, шорохи, шелесты, поцелуи и вздохи любви. Тела с телами сплетались, как будто во тьме шевелилось одно исполинское тело со многими членами. Чьи-то жадные цепкие руки протянулись к Тихону, схватили, повалили его.

— Тишенька, Тишенька, миленький, женишок мой, Христосик возлюбленный! — услышал он страстный шепот и узнал Матушку.

Ему казалось, что какие-то огромные насекомые, пау-

ки и паучихи, свившись клубом, пожирают друг друга в чудовищной похоти.

Он оттолкнул Матушку, вскочил, хотел бежать. Но с каждым шагом наступал на голые тела, давил их, скользил, спотыкался, падал, опять вскакивал. А жадные цепкие руки хватали, ловили, ласкали бесстыдными ласками. И он слабел и чувствовал, что сейчас ослабеет совсем, упадет в это страшное общее тело, как в теплую темную тину — и вдруг перевернется все, верхнее сделается нижним, нижнее — верхним — и в последнем ужасе будет последний восторг.

С отчаянным усилием рванулся, добрался до двери, схватился за ручку замка, но не мог отпереть: дверь была заперта на ключ. Упал на пол в изнеможении. Тут было меньше тел, чем на середине горницы, и его на минуту оставили в покое.

Вдруг опять чьи-то худенькие, маленькие, точно детские, руки прикоснулись к нему. Послышался косноязычный лепет Марьюшки-дурочки, которая старалась что-то сказать и не могла. Наконец он понял несколько слов:

— Пойдем, пойдем... Выведу...— лепетала она и тащила его за руку. Он почувствовал в руке ее ключ и пошел за нею.

Вдоль стен, где было свободнее, она провела его к углу с образами. Здесь наклонилась и его заставила нагнуться, приподняла висевшую перед образом Еммануила парчовую пелену, нащупала дверцу, вроде люка в погреб, отперла, шмыгнула в щель проворно, как ящерица, и ему помогла пролезть. Подземным ходом вышли они на знакомую Тихону лестницу. Поднявшись по ней, вошли в большую горницу, которая служила для переодевания. Луна глядела в окна. По стенам висели белые радельные рубахи, похожие, в лунном свете, на призраки.

Когда Тихон вздохнул свежим воздухом, увидел в окне голубой искрящийся снег и звезды,— такая радость наполнила душу его, что он долго не мог прийти в себя, только пожимал худенькие детские руки Марьюшки.

Теперь только заметил он, что она уже не беременна, и вспомнил, что на днях ему сказывал Митька, будто бы родила она мальчика, который объявлен Христосиком, потому что зачат от самого Батюшки. по наитию Духа: «Не от крови-де, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родился».

Марьюшка усадила на лавку Тихона, сама села рядом с ним и опять с неимоверным усилием начала ему гово-

рить что-то. Но, вместо слов, выходило бормотание, мычание, в котором он, сколько ни вслушивался, ничего не мог понять. Наконец, убедившись, что он ее не поймет, умолкла и заплакала. Он обнял ее, положил голову ее к себе на грудь и стал тихонько гладить волосы, мягкие и светлые, как лен в лунном луче. Она вся дрожала, и ему казалось, что в руках его бьется пойманная птичка.

Наконец, подняла на него свои большие влажные глаза, темно-голубые, как васильки под росою, улыбнулась сквозь слезы, чутко насторожилась, как будто прислушиваясь, вытянула шею, длинную, тонкую, как стебель цветка, и вдруг детским, ясным как серебро, голоском, каким певала на радениях, не то зашептала, не то запела ему на ухо — и тотчас перестала заикаться, слова сделались внятными в этом полупении, полушепоте:

— Ох, Тишенька, ох, Тишенька, спаси меня от лишенька! Убьют они, убьют Иванушку!..

— Какого Иванушку!..

— А сыночек-то мой, мальчик мой бедненький...

— Зачем убивать? — усумнился Тихон, которому слова ее казались бредом.

— Чтобы кровью живой причаститься,— шепнула Марьюшка, прижимаясь к нему с беспредельным ужасом.— Для того-де, говорят, Христосик и рождается, Агнец пренепорочный, чтоб заклатися и датися в снедь верным. Не живой, будто, младенец, а только видение, иконка святая, плоть нетленная — ни страдать, ни умереть не может... Да врут они все, окаянные! Я знаю, Тишенька: мальчик мой — живенький. И не Христосик он, а Иванушка... Родненький мой! Никому не отдам, сама пропаду, а его не отдам... Тишенька, ох, Тишенька, спаси меня от лишенька!..

Опять речь ее стала невнятною. Наконец она умолкла, склонилась головой на плечо его и не то забылась, не то задремала.

Наступило утро. За дверью послышались шаги. Марьюшка встрепенулась, готовясь бежать. Они попрощались, перекрестили друг друга, и Тихон обещал ей, что защитит Иванушку.

— Дурочка! — успокаивал он себя.— Сама не знает, что говорит. Должно быть, померещилось.

На Страстной Четверг назначено было радение. По неясным намекам Тихон догадывался, что на этом радении совершится великое таинство — уж не то ли, о котором говорила Марьюшка? — думал он с ужасом. Искал ее,

хотел посоветоваться, что делать, но она пропала. Может быть, ее нарочно спрятали. На него нашло оцепенение бреда. Он почти не мог думать о том, что будет. Если бы не Марьюшка,— бежал бы тотчас.

В Страстной Четверг, около полуночи, как всегда, поехали на радение.

Когда Тихон вошел в Сионскую горницу и оглянул собрание, ему показалось, что все в таком же ужасе и оцепенении бреда, как он. Словно не по своей воле делали то, что делали.

Матушки не было.

Вошел Батюшка. Лицо его было мертвенно-бледное, необычайно-прекрасное, напомнило Тихону виденное им в собрании древностей у Якова Брюса на резных камнях и камеях изображение бога Вакха-Диониса.

Началось радение. Никогда еще не кружился так бешено белый смерч пляски. Как будто летели, гонимые ужасом, белые птицы в белую бездну.

Чтобы не внушить подозрений, Тихон тоже плясал. Но старался не поддаться опьянению пляски. Часто выходил из круга, присаживался на лавку, как будто для отдыха, следил за всеми и думал об Иванушке.

Уже приходили в исступление, уже не своими голосами вскрикивали: «Накатил!»

Тихон, как ни боролся, чувствовал, что слабеет, теряет над собою власть. Сидя на лавке, судорожно хватался за нее руками, чтобы не сорваться и не улететь в этом бешеном смерче, который кружился быстрее, быстрее, быстрее. Вдруг также вскрикнул не своим голосом — и на него накатило, подняло, понесло, закружило.

Последний страшный общий вопль:

— Эва́-эво́!

И вдруг все остановились, пали ниц, как громом пораженные, закрыв лица руками. Белые рубахи покрыли пол, как белые крылья.

— *Се, Агнец непорочный приходит заклатися и датися в снедь верным*,— в тишине раздался из подполья голос Матушки, глухой и таинственный, как будто говорила сама «Земля-Земля, Мати сырая».

Царица вышла оттуда, держа в руках серебряную чашу, вроде небольшой купели, с лежавшим в ней на свитых белых пеленах голым младенцем. Он спал: должно быть, напоили сонным зельем. Множество горящих восковых свечей стояло на тонком деревянном обруче, прикрепленном спицами к подножию купели, так что огни

приходились почти в уровень с краями чаши и озаряли младенца ярким светом. Казалось, он лежит внутри купавы с огненным венчиком.

Царица поднесла купель к Царю, возглашая:

— *Твоя от Твоих Тебе приносяща за всех и за вся.*

Царь осенил младенца трижды крестным знамением.

— *Во имя Отца, и Сына, и Духа Святого.*

Потом взял его на руки и занес над ним нож.

Тихон лежал, как все, ничком, закрыв лицо руками. Но глядел одним глазом сквозь пальцы украдкою и видел все. Ему казалось, что тело Младенца сияет, как солнце, что это не Иванушка, а таинственный Агнец, закланный от начала мира, и что лицо того, кто занес над ним нож, как лицо Бога. И ждал он с непомерным ужасом и желал непомерным желанием, чтоб вонзился нож в белое тело, и пролилась алая кровь. Тогда все исполнится, перевернется все — и в последнем ужасе будет последний восторг.

Вдруг младенец заплакал. Батюшка усмехнулся — и от этой усмешки лицо бога превратилось в лицо зверя.

«Зверь, дьявол, Антихрист!»...— блеснуло в уме Тихона. И внезапная, страшная, нездешняя тоска сжала ему сердце. Но в то же мгновение — словно кто-то разбудил его — он очнулся от бреда. Вскочил, бросился на Аверьянку Беспалого, схватил его за руку и остановил удар.

Все вскочили, устремились на Тихона и растерзали бы его, если бы не послышался громовой стук в дверь. Ее ломали снаружи. Обе половинки зашатались, рухнули, и в горницу вбежала Марьюшка, а за нею люди в зеленых кафтанах и треуголках, со шпагами наголо: это были солдаты. Тихону казались они ангелами Божьими.

В глазах его потемнело. Он почувствовал тяжесть в плече, поднял к нему руку и нащупал что-то теплое, липкое: то была кровь; должно быть, в свалке ранили его ножом.

Он закрыл глаза и увидел красное пламя горящего сруба, красную смерть. Белые птицы летели в красном пламени. Он подумал: «Страшнее, чем красная, белая смерть» — и лишился сознания.

II

Дело о еретиках разбиралось в новоучрежденном Св. Синоде.

По приговору суда, беглого казака Аверьянку Беспалого и родную сестру его, Акулину, колесовали. Остальных били плетьми, рвали им ноздри, мужчин сослали на

каторгу, баб — на прядильные дворы и в монастырские тюрьмы.

Тихона, который едва не умер от раны в острожной больнице, спас прежний покровитель, генерал Яков Вилимович Брюс. Он взял его к себе в дом, вылечил и ходатайствовал за него у Новгородского архиерея, Феофана Прокоповича. Феофан принял участие в Тихоне, желая показать на нем пастырское милосердие к заблудшим овцам, которое всегда проповедовал: «С противниками церкви поступать надлежит с кротостью и разумом, а не так, как ныне, жестокими словами и отчуждением». Хотел также, чтобы отречение Тихона от ереси и принятие его в лоно православной церкви послужили примером для прочих еретиков и раскольников.

Феофан избавил его от плетей и от ссылки, взял к себе на покаяние и увез в Петербург.

В Петербурге архиерейское подворье находилось на Аптекарском острове, на речке Карповке, среди густого леса. В нижнем жилье дома помещалась библиотека. Заметив любовь Тихона к книгам, Феофан поручил ему привести в порядок библиотеку. Окна ее, выходившие прямо в лес, часто бывали открыты, потому что стояли жаркие летние дни, и тишина леса сливалась с тишиною книгохранилища, шелест листьев — с шелестом страниц. Слышался стук дятла, кукованье кукушки. Видно было, как на лесную прогалину выходит чета круторогих лосей, которых пригнали сюда с Петровского, тогда еще совсем дикого, острова. Зеленоватый сумрак наполнял комнату. Было свежо и уютно. Тихон проводил здесь целые дни, роясь в книгах. Ему казалось, что он вернулся в библиотеку Якова Брюса и что все эти четыре года скитаний — только сон.

Феофан был к нему добр. Не торопил возвращением в лоно православной церкви, только указал для прочтения, за недостатком русского катехизиса, на нескольких немецких богословов и на досуге беседовал с ним о прочитанном, исправляя ошибки протестантов, согласно с учением церкви греко-российской. В остальное время давал ему свободу заниматься чем угодно.

Тихон опять принялся за математику. В холоде разума отдыхал он от огня безумия, от бреда Красной и Белой смерти.

Перечитывал также философов — Декарта, Лейбница, Спинозу. Вспоминал слова пастора Глюка: «Истинная философия, если отведать ее слегка, уводит от Бога; если же глубоко зачерпнуть, приводит к Нему».

Бог для Декарта был Первый Двигатель первой материи. Вселенная — машина. Ни любви, ни тайны, ни жизни — ничего, кроме разума, который отражается во всех мирах, как свет в прозрачных ледяных кристаллах. Тихону было страшно от этого мертвого Бога.

«Природа полна жизни,— утверждал Лейбниц в своей «Монадологии».— Я докажу, что причина всякого движения — дух, а дух — живая монада, которая состоит из идей, как центр из углов». Монады соединены предустановленной Богом гармонией в единое целое. «Мир — Божьи часы, horologium Dei». Опять вместо жизни — машина, вместо Бога — механика,— подумал Тихон, и опять ему стало страшно.

Но всех страшнее, потому что всех яснее, был Спиноза. Он договаривал то, что другие не смели сказать. «Утверждать воплощение Бога в человеке — так же нелепо, как утверждать, что круг принял природу треугольника, или квадрата. *Слово стало плотью* — восточный оборот речи, который не может иметь никакого значения для разума. Христианство отличается от других исповеданий не верою, не любовью, не какими-либо иными дарами Духа Святого, а лишь тем, что своим основанием делает чудо, то есть невежество, которое есть источник всякого зла, и таким образом, самую веру превращает в суеверие». Спиноза обнаружил тайную мысль всех новых философов: или со Христом — против разума; или с разумом — против Христа.

Однажды Тихон заговорил о Спинозе с Феофаном.

— Оной философии основание глупейшее показуется,— объявил архиерей с презрительной усмешкою,— понеже Спиноза свои умствования из единых скаредных контрадикций [1] сплел и только словами прелестными и чвановатыми ту свою глупость покрыл...

Тихона эти ругательства не убедили и не успокоили.

Не нашел он помощи и в сочинениях иностранных богословов, которые опровергали всех древних и новых философов с такою же легкостью, как русский архиерей Спинозу.

Иногда Феофан давал Тихону переписывать бумаги по делам Св. Синода. В присяге Духовного Регламента его поразили слова: «Исповедую с клятвою крайнего Судию духовные сея коллегии быти Самого Всероссийского Монарха, Государя нашего Всемилостивейшего». Государь — глава церкви; государь — вместо Христа.

[1] Возражения, противоречия (лат. contradictio).

«Magnus ille Leviathan, quae Civitas appelatur, officium artis est et Homo artificialis. Великий оный Левиафан, государством именуемый, есть произведение искусства и Человек искусственный»,— вспомнил он слова из книги «Левиафан» английского философа Гоббса, который также утверждал, что церковь должна быть частью государства, членом великого Левиафана, исполинского Автомата — не той ли *Иконы зверя*, созданной по образу и подобию самого бога-зверя, о которой сказано в Апокалипсисе?

Холод разума, которым веяло на Тихона от этой мертвой церкви мертвого Бога, становился для него таким же убийственным, как огонь безумия, огонь Красной и Белой смерти.

Уже назначили день, когда должен был совершиться торжественно в Троицком соборе обряд миропомазания над Тихоном в знак его возвращения в лоно православной церкви.

Накануне этого дня собрались на Карповском подворье к ужину гости.

Это было одно из тех собраний, которые Феофан в своих латинских письмах называл noctes atticae — аттические ночи. Запивая соленую и копченую архиерейскую снедь знаменитым пивом о. эконома Герасима, беседовали о философии, о «делах естества» и «уставах натуры», большею частью в вольном, а по мнению некоторых, даже «афейском» духе.

Тихон, стоя в стеклянной галерее, соединявшей библиотеку со столовой, слушал издали эту беседу.

— Распри о вере между людьми умными произойти не могут, понеже умному до веры другого ничто касается и ему все равно — лютор ли, кальвин ли, или язычник, ибо не смотрит на веру, но на поступки и нрав,— говорил Брюс.

— Uti boni vini non est quaerenda regio, sic nec boni viri religio et patria. Как о происхождении доброго вина, так о вере и отечестве доброго мужа пытать не следует,— подтвердил Феофан.

— Запрещающие философию суть либо самые невежды, либо попы злоковарные,— заметил Василий Никитич Татищев, президент берг-коллегии.

Ученый иеромонах о. Маркелл доказывал, что многие жития святых в истине оскудевают.

— Много наплутано, много наплутано! — повторял он знаменитое слово Федоски.

— В наше время чудес не бывает,— согласился с иеромонахом доктор Блюментрост.

— На сих днях,— с тонкой усмешкой заговорил Петр Андреевич Толстой,— случилось мне быть у одного приятеля, где видел я двух гвардии унтер-офицеров. Они имели между собою большое прение: один утверждал, другой отрицал бытие Божие. Отрицающий кричал: «Нечего пустяки молоть, а Бога нет!» Я вступился и спросил: «Да кто тебе сказал, что Бога нет?» — «Подпоручик Иванов вчера на Гостином дворе!» — «Нашел и место!»

Все смеялись, всем было весело.

А Тихону — жутко.

Он чувствовал, что люди эти начали путь, который нельзя не пройти до конца, и что, рано или поздно, дойдут они до того же в России, до чего уже дошли в Европе: или со Христом — против разума, или с разумом — против Христа.

Он вернулся в библиотеку, сел у окна, рядом со стеною, уставленной ровными рядами книг в одинаковых кожаных и пергаментных переплетах, взглянул на ночное, белое, над черными елями, пустое, мертвое, страшное небо, и вспомнил слова Спинозы:

Между Богом и человеком так же мало общего, как между созвездием Пса и псом, лающим животным. Человек может любить Бога, но Бог не может любить человека.

Казалось, что там, в этом мертвом небе — мертвый Бог, который не может любить. Уж лучше бы знать, что совсем нет Бога. А может быть и нет? — подумал он и почувствовал тот же самый ужас, как тогда, когда Иванушка заплакал, а поднявший над ним нож Аверьян усмехнулся.

Тихон упал на колени и начал молиться, глядя на небо, повторяя одно только слово:

— Господи! Господи! Господи!

Но молчание было в небе, молчание в сердце. Беспредельное молчание, беспредельный ужас.

Вдруг, из последней глубины молчания, Кто-то ответил — сказал, что надо делать.

Тихон встал, пошел в свою келью, вытащил из-под кровати укладку, вынул из нее свой страннический старый подрясник, кожаный пояс, четки, скуфейку, образок св. Софии Премудрости Божией, подаренный Софьей; снял с себя кафтан и все остальное немецкое платье, надел вынутое из укладки, навязал на плечи котомку, взял в руки палку, перекрестился и никем не замеченный вышел из дома в лес.

На следующее утро, когда пора было идти в церковь

для совершения обряда миропомазания, Тихона стали искать. Долго искали, но не нашли. Он пропал бесследно, точно в воду канул.

III

По преданию, апостол Андрей Первозванный, прибывший из Киева в Новгород, приплыл в ладье к острову Валааму на Ладожском озере и водрузил здесь каменный крест. Задолго до крещения Руси, два инока, преподобные Сергий и Герман, придя на Русь от стран восточных, устроили на Валааме святую обитель.

С той поры теплилась вера Христова на диком севере, как лампада в полуночной тьме.

Шведы, овладев Ладожским озером, разоряли Валаамскую обитель много раз. В 1611 году разорили ее так, что не осталось камня на камне. Целое столетие остров был в запустении. Но в 1715 году царь Петр дал указ о возобновлении древней обители. Построена была маленькая деревянная церковь, во имя Преображения Господня, над мощами св. чудотворцев Сергия и Германа, и несколько убогих келий, в которые переведены были иноки из Кирилло-Белозерской пустыни. Лампада веры Христовой затеплилась вновь и было пророчество, что уже не угаснет она до второго пришествия.

Тихон бежал из Петербурга с одним старцем из толка *бегунов*.

Бегуны учили, что православным, дабы спастись от Антихриста, подобает бегать из града в град, из веси в весь, до последних пределов земли. Старец звал Тихона в какое-то неизвестное Опоньское царство на семидесяти островах Беловодья, где в 179 церквах Ассирского языка сохраняется, будто бы, нерушимо старая вера; царство то находится за Гогом и Магогом, на самом краю света, откуда солнце всходит. «Ежели сподобит Бог, то лет в десять дойдем»,— утешал старец.

Тихон мало верил в Опоньское царство, но пошел с бегуном, потому что ему было все равно куда и с кем идти.

На плотах доехали до Ладоги. Здесь пересели в сойму — утлое озерное суденышко, которое шло в Сердоболь. На озере застигла буря. Долго носились по волнам и едва не погибли. Наконец, вошли в Скитскую гавань Валаамской обители. К утру буря утихла, но надо было чинить сойму.

Тихон пошел бродить по острову.

Остров был весь гранитный. Берега над водой подни-

мались отвесными скалами. Корни деревьев не могли укрепиться в тонком слое земли на граните, и лес был низкий. Зато мох рос пышно, заволакивал ели, как паутиною, висел на стволах сосен длинными космами.

День был жаркий, мглистый. Небо — молочно-белое, с едва сквозившею туманною голубизною. Воды зеркально-гладкого озера сливались с небом, так что нельзя было отличить, где кончается вода и где начинается воздух; небо казалось озером, озеро — небом. Тишина — бездыханная, даже птицы молчали. И тишину нездешнюю, успокоение вечное навевала на душу эта святая пустыня, суровый и нежный полуночный рай.

Тихону вспомнилась песня, которую певал он в лесах Долгомшинских:

Прекрасная мати-пустыня!
Пойду по лесам, по болотам,
Пойду по горам, по вертепам...

Вспоминалось и то, что говорил ему один из Валаамских иноков:

— Благодать у нас! Хоть три дня оставайся в лесу,— ни дикого зверя, ни злого человека не встретишь — Бог да ты, ты да Бог!

Он долго ходил, далеко отошел от обители, наконец заблудился. Наступил вечер. Он боялся, что сойма уйдет без него.

Чтоб оглядеться, взошел на высокую гору. Склоны поросли частыми елями. На вершине была круглая поляна с цветущим лилово-розовым вереском. Посередине — столпообразный черный камень.

Тихон устал. Увидел на краю поляны, между елками, углубление скалы, как бы колыбель из мягкого мха, прилег и заснул.

Проснулся ночью. Было почти так же светло, как днем. Но еще тише. Берега острова отражались в зеркале озера четко, до последнего крестика острых еловых верхушек, так что казалось, там внизу — другой остров, совершенно подобный верхнему, только опрокинутый — и эти два острова висят между двумя небесами. На камне среди поляны стоял коленопреклоненный старец, незнакомый Тихону — должно быть, схимник, живший в пу́стыне. Черный облик его в золотисто-розовом небе был неподвижен, словно изваян из того же камня, на котором он стоял. И в лице — такой восторг молитвы, какого никогда не видал Тихон в лице человеческом. Ему казалось, что такая тишина кругом — от этой молитвы, и для нее

возносится благоухание лилово-розового вереска к золотисто-розовому небу, подобно дыму кадильному.

Не смея ни дохнуть, ни шевельнуться, он долго смотрел на молящегося, молился вместе с ним и в бесконечной сладости молитвы как будто потерял сознание — опять уснул.

Проснулся на восходе солнечном.

Никого уже не было на камне. Тихон подошел к нему, увидел в густом вереске едва заметную тропинку и пустился по ней в долину, окруженную скалами. Внизу была березовая роща. В середине рощи — лужайка с высокой травою. Невидимый ручей лепетал в ней детским лепетом.

На лужайке стоял схимник, тот самый, которого Тихон видел ночью,— и кормил из рук хлебом лосиху с маленьким смешным сосунком.

Тихон глядел и не верил глазам. Он знал, как пугливы лоси, особенно самки, недавно отелившиеся. Ему казалось, что он подглядел вещую тайну тех дней, когда человек и звери жили вместе в раю.

Съев хлеб, лосиха начала лизать руку старца. Он осенил ее крестным знамением, поцеловал в косматый лоб и проговорил с тихою лаской:

— Господь с тобою, матушка!

Вдруг она оглянулась дико, шарахнулась и пустилась бежать, вместе с детенышем, в глубину ущелья — только треск и гул пошел по лесу — должно быть, учуяла Тихона.

Он приблизился к старцу:

— Благослови, отче!

Старец осенил его крестным знамением с такою же тихою лаской, как только что зверя.

— Господь с тобою, дитятко. Звать-то как?

— Тихоном.

— Тишенька — имечко тихое. Откуда Бог принес? Место тут лесное, пустынное, чади мирской маловходное — редко странничков Божьих видим.

— В Сердоболь плыли из Ладоги,— отвечал Тихон,— сойму бурею прибило к острову. Вчера пошел в лес, да заблудился.

— В лесу и ночевал?

— В лесу.

— Хлебушка-то есть ли? Голоден, чай?

Ломоть хлеба, который взял с собою Тихон, доел он вчера вечером и теперь чувствовал голод.

— Ны, пойдем-ка в келью, Тишенька. Чем Бог послал, накормлю.

О. Сергию — так звали схимника,— судя по сильной проседи в черных волосах, было лет за пятьдесят; но походка и все движения его были так быстры и легки, как у двадцатилетнего юноши; лицо — сухое, постное, но тоже юное; карие, немного близорукие глаза постоянно щурились, как будто усмехались неудержимою, почти шаловливою и чуть-чуть лукавою усмешкою: похоже было на то, что он знает про себя что-то веселое, чего другие не знают, и вот скажет сейчас, и будет всем весело. Но, вместе с тем, в этом веселье была та тишина, которую видел в лице его Тихон во время ночной молитвы.

Они подошли к отвесной гранитной скале. За ветхим покосившимся плетнем были огородные грядки. В расщелине скалы — самородная келья: три стены — каменные; четвертая — сруб с оконцем и дверью; над нею — почерневшая иконка валаамских чудотворцев св. Сергия и Германа, кровля — земляная, крытая мохом и берестою, с деревянным осмиконечным крестом. Устье долины, выходившее к озеру, кончалось мелью, нанесенной ручьем, который протекал на дне долины и здесь вливался в озеро. На берегу сушились мережки и сети, растянутые на кольях. Тут же другой старец, в заплатанной сермяжной рясе, похожей на рубище, с босыми ногами, по колено в воде, коренастый, широкоплечий, с обветренным лицом, остатками седых волос вкруг лысого черепа,— «настоящий рыбарь Петр»,— подумал Тихон,— чинил и смолил дно опрокинутой лодки. Пахло еловыми стружками, водою, рыбой и дегтем.

— Ларивонушка! — окликнул его о. Сергий.

Старик оглянулся, бросил тотчас работу, подошел к ним и молча поклонился Тихону в ноги.

— Небось, дитятко,— со своей шаловливой усмешкой успокоил о. Сергий смущенного Тихона,— не тебе одному, он всем в ноги кланяется — и малым ребяткам. Такой уж смирненький! Приготовь-ка, Ларивонушка, трапезу, накормить странничка Божьего.

Поднявшись на ноги, о. Иларион посмотрел на Тихона смиренным и суровым взглядом. *Всех люби и всех бегай* — было в этом взгляде слово великого отшельника Фиваидского, преподобного аввы [1] Арсения.

Келья состояла из двух половин — крошечной курной избенки и пещеры в каменной толще скалы, с образами по стенам, такими же веселыми, как сам о. Сергий — Богородица Взыграния, Милостивая, Благоуханный

---

[1] Авва — отец (*евр.*).

Цвет, Блаженное Чрево, Живодательница, Нечаянная Радость; перед этою последнею, особенно любимою о. Сергием, теплилась лампада. В пещере, темной и тесной, как могила, стояли два гроба с камнями вместо изголовий. В этих гробах почивали старцы.

Сели за трапезу — голую доску на мшистом обрубке сосны. О. Иларион подал хлеб, соль, деревянные чаши с рубленой кислой капустой, солеными огурцами, грибною похлебкою и взваром из каких-то лесных душистых трав.

О. Сергий с Тихоном вкушали в безмолвии. О. Иларион читал псалом:

Вся к Тебе, Господи, чают, дати пищу им во благо время.

После трапезы о. Иларион пошел опять смолить лодку. А о. Сергий с Тихоном сели на каменные ступеньки у входа в келью. Перед ними расстилалось озеро, все такое же тихое, гладкое, бледно-голубое, с отраженными белыми круглыми большими облаками — как бы другое, нижнее небо, совершенно подобное верхнему.

— По обету, что ль, странствуешь, чадушко? — спросил о. Сергий.

Тихон взглянул на него, и ему захотелось сказать всю правду.

— По обету великому, отче: истинной Церкви ищу...

И рассказал ему всю свою жизнь, начиная с первого бегства от страха антихристова, кончая последним отречением от мертвой церкви.

Когда он кончил, о. Сергий долго сидел молча, закрыв лицо руками; потом встал, положил руку на голову Тихона и произнес:

— Рече Господь: *Грядущаго ко Мне не изжену.* Гряди же ко Господу, чадо, с миром. Небось, небось, миленький: будешь в Церкви, будешь в Церкви, будешь в Церкви истинной!

Такая вещая сила и власть была в этих словах о. Сергия, что казалось, он говорит не от себя.

— Будь милостив, отче! — воскликнул Тихон, припадая к ногам его.— Прими меня в свое послушание, благослови в пустыне с вами жить!

— Живи, дитятко, живи с Богом! — обнял и поцеловал его о. Сергий.— Тишенька — тихонькой, жития нашего тихого не разорит,— прибавил он уже со своею обычною веселою улыбкою.

Так Тихон остался в пустыне и зажил с обоими старцами.

О. Иларион был великий постник. Иногда целыми неделями не вкушал хлеба. Драл с больших сосен кору, сушил, толок в ступе и с мукой пек, то и ел, а пил воду, нарочно из луж, теплую, ржавую. Зимою молился, по колено в снегу. Летом стоял, голый, в болоте, отдавая тело на съедение комарам. Никогда не мылся, приводя слова преподобного Исаака Сирина: «да не обнажиши что от уд твоих и аще нужда тебе будет от свербения, обвей руку твою срачицею, или портищем и так почеши — никогда же не простирай руки твоей нагому телу, ни на тайные уды смотри никакоже, аще и изгниют». О. Иларион рассказывал Тихону о своем бывшем учителе, иноке Кирилло-Белозерской пустыни, некоем о. Трифоне, нарицаемом *Похабный*, «иже блаженным похабством прозревать будущее сподобился».— «Сей Трифон воды на главу и на ноги не полагал во всю свою жизнь, а вшей у себя не имел, о чем вельми плакал, что в том-де веке будут мне вши, аки мыши. Он же, Трифон, денно и нощно молитву Иисусову творил, и в таковом обыкновении молитвенном уста его устроились до того, что сами двигались на всякое время неудержимо, на челе от крестного знамени синева была и язва; часы ли, утреню ль, вечерню пел,— столько плакал, что в забытье приходил от многого хлипанья. Перед смертью лежал семь нощеденств вельми тяжко, а не постонул, не охнул и пить не просил, и ежели кто приходил посетить и спрашивал: «батюшка, не можешь гораздо?» — отвечал: «все хорошо».— Раз отец Иларион подошел к нему тихо, чтоб тот не слышал,— и увидел, что он «устами маленько почавкал, а сам тихошенько шепчет: «напиться бы досыта!» — «Хочешь, батюшка, пить?» — спросил о. Иларион, а о. Трифон: «нет, говорит, не хочу». И по сему уразумел о. Иларион, что великою жаждой мучится о. Трифон, но терпит — постится последним постом.

Несмотря на все эти посты, труды и подвиги, человеку, как видно было из слов о. Илариона, почти невозможно спастись. По видению некоего святого, из тридцати тысяч душ умерших всего две пошли в рай, а все остальные в ад.

— Силен черт, ох, силен! — иногда вздыхал он с таким сокрушением, что казалось еще неизвестно, кто кого сильнее и кто победит — Бог или черт?

Порой казалось также Тихону, что, если бы о. Иларион довел мысли свои до конца, то пришел бы к тому же, к чему пришли учителя Красной Смерти.

О. Сергий противоположен был о. Илариону во всем. «Безмерное и нерассудное воздержание,— учил он,— боль-

ший вред приносит, нежели до сытости ядение. Меру пищи пусть каждый сам для себя установляет. От всяких яств, хотя бы и сладких, подобает принимать помалу, ибо все чисто чистым, всякое создание Божие — добро, и ничто же отметно».

Не в наружных подвигах телесных полагал он спасение, а во внутреннем «умном делании». Каждую ночь молился на камне, стоя недвижно, как изваяние. Но Тихону чудился в этой недвижности более стремительный полет, чем в бешеной пляске хлыстов.

— Как надо молиться? — однажды спросил он о. Сергия.

— Молчи мыслью,— ответил тот,— и зри всегда во глубину свою сердечную и говори: *Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя*! — и так молись, аще стоя, и сидя, лежа, и ум в сердце затворяя, и дыхание держа, сколько можно, да не часто дышешь. И сначала найдешь ты в себе большой мрак, жесткость, и в молитве внешней познаешь преграждение некое, аки стену медяну, между тобой и Богом. Но не унывай, молись прилежнее, и стена медяна падет. И увидишь внутри сердца Свет несказанный. Тогда слова умолкнут и прекратятся молитвы и воздыхания, и коленопреклонения, и сердечные прошения, и вопли сладчайшие. Тогда — тишина великая. Тогда — исступление великое, и человек уже знает, в теле он, или без тела. Тогда — ужасание и видение Бога. Тогда человек и Бог — одно. Тогда совершается слово пророческое: *Бог богом соединяем же и познаваем*. То есть молитва умная, чадушко!

Тихон заметил, что у о. Сергия, когда он говорил это, глаза были такие же пьяные, как у «детушек Божьих»: только там краткое, буйное,— а здесь вечное, тихое, как бы трезвое, пьянство.

О. Иларион и о. Сергий были столь разного духа, что, казалось, не могли согласиться ни в чем, а между тем соглашались.

— Отец Сергий — сосуд избранный! — говорил о. Иларион.— Бог избрал его для употребления честного, а меня — для низкого; он — кости беленькой, а я — черненькой; ему все простится, а с меня все взыщется; он орлом летает, а я муравьем ползаю. Он спасен уже ведомо, а я спасусь ли, нет ли, Бог весть. Но ежели погибать буду, ухвачу отца Сергия за полу,— он меня и вытащит!

— Отец Иларион,— камешек крепонький, столп православия, стена нерушимая,— говорил о. Сергий.— Я же —

лист, ветром колеблемый. Без него бы давно я пропал, отступил от преданий отеческих. Только им и держусь. Покойно мне за ним, как у Христа за пазушкой!

О первой беседе своей с Тихоном о. Сергий ничего не говорил о. Илариону, но тот обо всем догадался, учуял еретика, как овца чует волка. Однажды подслушал нечаянно Тихон разговор его с о. Сергием:

— Потерпи, Ларивонушка! — умолял о. Сергий.— Потерпи на нем, ради Христа! Сотвори мир и любовь...

— С еретиком какой мир? — возражал о. Иларион.— Бранися с ним до смерти, не повинуйся уму его развращенному. Своего врага люби, а не Божия! Беги от еретика и не говори ему ничего о правоверии, токмо плюй на него. Ей, собаки и свиньи хуже еретик! Будь он проклят. Анафема!

— Потерпи, Ларивонушка!..— повторял о. Сергий с мольбой бесконечной, но бессильной, как будто и сам втайне сомневался в правоте своей.

Тихон отошел прочь. Он вдруг понял, что напрасно ждет помощи от о. Сергия, и что этот великий святой, пред Господом сильный, как ангел, пред людьми — слаб, как дитя.

Спустя несколько дней опять сидел Тихон с о. Сергием на каменных ступеньках у входа в келью, точно так же, как в первый день. Они были одни. О. Иларион поехал в лодке рыбу ловить.

Была знойная белая, но от грозовых облаков темная ночь. В последние дни все собиралась гроза, но не могла собраться. На земле — тишина мертвая. А на небе неслись бурные, быстрые, но тоже безмолвные тучи — словно немые великаны бежали на бой. Изредка слышался тихий, далекий, точно подземный, гром, похожий на ворчание сонного зверя. Вспыхивали бледные зарницы, как будто ночь содрогалась от ужаса. И, при каждой вспышке, явственно, четко, до последнего крестика острых еловых вершин, выступали на зареве белого пламени все очертания острова и отражались в воде, точно там, внизу, был другой остров, совершенно подобный верхнему, только опрокинутый, и эти два острова висели между двумя небесами. Зарница потухала — и все опять погружалось во мрак, в тишину — слышалось только ворчание сонного зверя.

Тихон молчал, а о. Сергий, глядя в темную грозную даль, пел акафист Иисусу Сладчайшему. И тихие слова молитвы сливались со звуками грома:

Иисусе, сило непобедимая,
Иисусе, милосте бесконечная,
Иисусе, красото пресветлая,
Иисусе, любы неизреченная,
Иисусе, Сыне Бога Живаго,
Иисусе, помилуй мя грешнаго.

Тихон чувствовал, что о. Сергий хочет ему что-то сказать, но не решается. Лица его во мраке не видно было Тихону, но когда он взглядывал на него в кратком блеске зарниц, оно казалось ему таким скорбным, как еще никогда.

— Отче,— наконец заговорил Тихон, первый,— скоро уйду от вас...

— Куда пойдешь, дитятко?

— Не знаю, отче. Все равно. Пойду, куда глаза глядят...

О. Сергий взял его за руку, и Тихон услышал трепетный ласковый шепот:

— Вернись, вернись, чадушко!..

— Куда? — спросил Тихон, и вдруг стало ему страшно, он сам не знал отчего.

— В церковку, в церковку! — шептал о. Сергий все ласковей, все трепетней.

— В какую церковь, отче?

— Ох, искушение, искушение! — вздохнул о. Сергий, и кончил с усилием:

— Во единую святую соборную апостольскую...

Но такая мертвая тяжесть и косность была в этих словах, как будто говорил их не сам он, а кто-то другой заставлял его говорить.

— Да где же церковь та? — простонал Тихон с невыразимою мукою.

— Ох, бедненький, бедненький! Как же без церкви-то?..— опять зашептал о. Сергий с ответною и равною мукою, по которой Тихон почувствовал, что он понимает все.

Вспыхнула зарница — он увидел лицо старика, дрожащие губы с беспомощною улыбкою, широко открытые глаза, полные слезами — и понял, отчего так страшно: страшно то, что это лицо могло быть жалким.

Тихон упал на колени и протянул к о. Сергию руки с последнею надеждою, с последним отчаянием.

— Спаси, помоги, заступись! Разве не видишь? Погибает церковь, погибает вера, погибает все христианство! Уже тайна беззакония деется, уже мерзость запустения стала на месте святом, уже антихрист хочет быть.

Восстань, отче, на подвиг великий, гряди в мир на брань с Антихристом!..

— Что ты, что ты, дитятко? Куда мне, грешному?..— залепетал о. Сергий со смиренным ужасом.

И Тихон понял, что все его мольбы напрасны, и что о. Сергий навеки отошел от мира, как от живых отходят мертвые. *Всех люби и всех бегай*,— вспомнилось Тихону страшное слово.— А что, если так? — подумал он с тоскою смертною.— Что, если надо выбрать одно из двух: или Бог без мира, или мир без Бога?

Он упал ничком на землю и долго лежал, не двигаясь, не слыша, как старец обнимал и утешал его.

Когда пришел в себя, о. Сергия уже не было с ним: должно быть, пошел молиться на гору.

Тихон встал, вошел в келью, надел дорожное платье, навязал на плечи котомку, на шею образ св. Софии Премудрости Божией, взял в руки палку, перекрестился и вышел в лес, чтобы продолжать свое вечное странствие.

Хотел уйти, не прощаясь, потому что чувствовал, что прощание будет для обоих слишком тягостно.

Но, чтобы взглянуть на о. Сергия в последний раз, хоть издали, пошел на гору.

Там, среди поляны, старец, как всегда, молился на камне.

Тихон отыскал углубление в скале, как бы колыбель из мягкого мха, где провел первую ночь,— лег и долго глядел на недвижный черный облик молящегося, на ослепительно белое пламя зарницы и безмолвно летящие, бурые тучи.

Наконец, уснул тем сном, которым ученики Господни спали тогда, как Учитель молился на вержении камня и, придя к ним, нашел их *спящими от печали*.

Когда проснулся, солнце уже встало, и о. Сергия не было на камне. Тихон подошел к нему, поцеловал то место, где стояли ноги старца. Потом спустился с горы и по глухим тропинкам через лесные дебри пошел к Валаамской обители.

После тяжелого сна он чувствовал себя разбитым и слабым, как после обморока. Казалось, все еще спит, хочет и не может проснуться. Была та страшная тоска, которая бывала у него всегда перед припадками падучей. Голова кружилась. Мысли путались. В уме проносились обрывки далеких воспоминаний. То пастор Глюк, повторяющий слова Ньютона о кончине мира. «Комета упадет на солнце и от этого падения солнечный жар возрастет до того, что все на земле истребится огнем. Hypotheses

non fungo! Я не сочиняю гипотез!» То унылая песня гробополагателей:

Гробы вы, гробы, колоды дубовые!
Всем есте, гробы, домовища вечные.

То в пылающем срубе последний вопль насмертников: *Се, жених грядет во полунощи*! То бешеный белый смерч пляски и пронзительный крик:

Эва́-эво́! Эва́-эво́!

И тихий плач Иванушки, Непорочного агнца, под ножом Аверьянки Беспалого. И тихие слова Спинозы о «разумной любви к Богу» — amor Dei intellectualis: «Человек может любить Бога, но Бог не может любить человека». И присяга Духовного Регламента самодержцу Российскому, как самому Христу Господню. И суровое смирение о. Илариона: «Всех люби и всех бегай!» И ласковый шепот о. Сергия: «В церковку, в церковку, дитятко!»

На минуту пришел в себя. Оглянулся. Увидел, что сбился с пути.

Долго отыскивал тропинку, пропавшую в вереске. Наконец, совсем заблудился и пошел наугад.

Гроза опять ушла. Тучи рассеялись. Солнце жгло. Томила жажда. Но не было ни капли влаги в этой гранитной и хвойной пустыне — только сухие серые паучьи мхи, лишаи, ягели, тощие серые сосенки, затканные мохом, как паутиною; слишком тонкие, часто надломленные стволы их тянулись вверх, как исхудалые больные ноги и руки с красноватою, воспаленной и шелушащейся кожей. Между ними воздух дрожал и струился от зноя. А над всем — беспощадное небо, как раскаленная добела медь. Тишина мертвая. И беспредельный ужас в этой ослепительно-сверкающей полдневной тишине.

Опять оглянулся и узнал место, на котором бывал часто и где проходил еще сегодня утром. В самом конце длинной просеки, может быть, лесной дороги, проложенной некогда шведами, но давно покинутой и заросшей вереском, блестело озеро. Это место было недалеко от кельи о. Сергия. Верно, блуждая, сделал круг и вернулся туда, откуда вышел. Почувствовал смертельную усталость, как будто прошел тысячи верст, шел и будет идти так всегда. Подумал, куда идет и зачем? В неведомое Опоньское царство, или невидимый Китеж-град, в которые уж сам не верит?

Опустился в изнеможении на корни сухой сосны, одиноко возвышавшейся над мелкою порослью. Все равно,

идти некуда. Лежать бы так, закрыв глаза, не двигаясь, пока смерть не придет.

Вспомнил то, что говорил ему один из учителей новой веры, которых называли *нетовцами*, потому что на всякое церковное *да* они отвечали *нет*: «нет церкви, нет священства, нет благодати, нет таинств — все взято на небо».— Ничего нет, ничего не было, ничего не будет,— думал Тихон.— Нет Бога, нет мира. Все погибло, все кончено. И даже конца нет. А есть бесконечность ничтожества.

Долго лежал в забытьи. Вдруг очнулся, открыл глаза и увидел, что с востока надвинулась и уже охватила полнеба огромная синяя, черная туча с белесоватыми пятнами, словно гнойными нарывами на посиневшем и распухшем теле. Медленно, медленно, как исполинский паук с отвислым жирным брюхом, с косматыми косыми лапами, подползла она к солнцу, точно подкралась, протянула одну лапу — и солнце задрожало, померкло. По земле побежали быстрые-быстрые серые паучьи тени, и воздух сделался мутным, липким, как паутина. И пахнуло удушливым зноем, как из открытой пасти зверя.

Тихон задыхался; кровь стучала в виски; в глазах темнело; холодный пот выступал на теле от страшной истомы, подобной тошноте смертной. Хотел встать, чтоб как-нибудь дотащиться до кельи о. Сергия и умереть при нем — но не было сил: хотел крикнуть — но не было голоса.

Вдруг далеко, далеко, в самом конце просеки, на черно-синей туче забелело что-то, зареяло, как освещенный солнцем белый голубь. Стало расти, приближаться. Тихон вглядывался пристально и, наконец, увидел, что это — старичок беленький идет по просеке шажками быстрыми, легкими, как будто несется по воздуху — прямо к нему.

Подошел и сел рядом на корни сосны. Тихону казалось, что он уже видел его, только не помнит, где и когда. Старичок был самый обыкновенный, как будто один из тех странничков, которые ходят с иконами по городам и селеньям, по церквам и обителям, собирая подаяния на построение нового храма.

— Радуйся, Тишенька, радуйся! — молвил он с тихой улыбкой, и голос у него был тихий, как жужжание пчел или дальний благовест.

— Кто ты? — спросил Тихон.

— Иванушка я, Иванушка. Аль не узнал? Господь послал меня к тебе, а за мной и Сам будет скоро.

Старичок положил руки на голову Тихона, и ему стало покойно, как ребенку на руках матери.

— Устал, бедненький? Много вас у меня, много детушек. Ходите по миру, нищие, сирые, терпите холод и голод, и скорбь, и тесноту, и гонение лютое. Да не бойтеська, миленькие. Погодите, ужо соберу я вас всех в новую Церковь Грядущего Господа. Была древняя Церковь Петра, Камня стоящего, будет новая Церковь Иоанна, Грома летящего. Ударит в камень гром, и потечет вода живая. Первый завет Ветхий — Царство Отца, второй завет Новый — Царство Сына, третий завет Последний — Царство Духа. Едино — Три, и Три — едино. Верен Господь обещающий, Который есть, и был, и грядет!

Лицо у старичка стало вдруг юное, вечное. И Тихон узнал Иоанна, сына Громова.

А старичок беленький поднял руки свои к черному небу и воскликнул громким голосом:

— И Дух, и Невеста говорят: Прииди! И слышавший да скажет: Прииди! И Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!

— Ей, гряди, Господи!— повторил Тихон и тоже поднял руки к небу с великою радостью, подобной великому ужасу.

И засверкала молния, белая в черном небе — как будто небо разверзлось.

И Тихон увидел Подобного Сыну Человеческому. Глаза его и волосы были белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи; и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей.

И семь громов проговорили:

— Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, Который есть, и был, и грядет.

И громы умолкли, и наступила тишина великая, и в тишине послышался голос, более тихий, чем сама тишина:

— Я есмь альфа и омега, начало и конец, первый и последний. И живой. И был мертв. И се, жив вовеки веков. Аминь.

— Аминь! — повторил Иоанн сын Громов.

— Аминь! — повторил Тихон, первый сын Церкви Громовой. И пал на лицо свое, как мертвый, и онемел навеки . . . .

. . . .

Очнулся в келье о. Сергия.

Весь день тосковал старец о Тихоне, томимый предчувствием, что с ним случилось недоброе. Часто выходил из кельи, блуждал по лесу, искал и кликал: «Тишень-

ка! Тишенька!» — но только пустынный отзвук отвечал ему в предгрозной тишине.

Когда надвинулась туча, в келье стало темно, как ночью. Лампада теплилась в глубине пещеры, где оба старца молились.

О. Иларион пел псалом:

Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими.

Глас Господа силен, глас Господа величествен.

Вдруг ослепительно белое пламя наполнило келью, и раздался такой оглушающий треск, что казалось, гранитные стены, в которых построена келья, рушатся.

Оба старца выбежали вон из кельи и увидели, что сухая сосна, которая возвышалась одиноко на краю просеки, над мелкою порослью, горит, как свеча, ярким огнем на черном небе, должно быть, зажженная молнией.

О. Сергий пустился бежать с громким криком: «Тишенька! Тишенька!» О. Иларион — за о. Сергием. Подбежав к сосне, нашли они Тихона, лежавшего без чувств, у самого подножия горящего дерева. Подняли его, перенесли в келью, и так как не было другой постели, то уложили в один из гробов, в которых сами спали. Думали сперва, что он убит громом. О. Иларион хотел уже читать отходную. Но о. Сергий запретил ему и стал читать Евангелие. Когда прочел слова:

Истинно, истинно говорю вам: наступает время и наступило уже, когда все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божьего и, услышавши, оживут — Тихон очнулся и открыл глаза. О. Иларион упал на пол от ужаса: ему казалось, что о. Сергий воскресил мертвого.

Скоро Тихон совсем пришел в себя, встал и сел на лавку. Он узнавал о. Сергия и о. Илариона, понимал все, что ему говорили, но сам не говорил и отвечал только знаками. Наконец, они поняли, что он онемел — должно быть, от страха язык отнялся. Но лицо у него было светлое; только в этой светлости — что-то страшное, как будто, в самом деле, воскрес он из мертвых.

Сели за трапезу. Тихон пил и ел. После трапезы стали на молитву. О. Иларион в первый раз молился с Тихоном, как будто забыл, что он — еретик, и, видимо, чувствовал к нему благоговение, смешанное с ужасом.

Потом легли спать, старцы, как всегда, в свои гробы в пещере, а Тихон в избе на полати над печкою.

Гроза бушевала, выл ветер, лил дождь, шумели волны озера, гром гремел, не умолкая, и в оконце светил почти

непрерывный белый свет молний, сливаясь с красным светом лампадки, которая теплилась в пещере перед образом Нечаянной Радости. Но Тихону казалось, что это — не молнии, а старичок беленький склоняется над ним, говорит ему о Церкви Иоанна, сына Громова, и ласкает его, и баюкает. Под шум грозы заснул он, как ребенок под колыбельную песенку матери.

Проснулся рано, задолго до восхода солнечного. Поспешно оделся, собрался в путь, подошел к о. Сергию, который почивал еще в гробу своем, так же, как о. Иларион, стал на колени и тихонько, стараясь не разбудить спящего, поцеловал его в лоб. О. Сергий открыл на мгновение глаза, поднял голову и проговорил: «Тишенька!» — но тотчас опять опустил ее на камень, который служил ему изголовьем, закрыл глаза и заснул еще глубже.

Тихон вышел из кельи.

Гроза миновала. Снова наступила тишина великая. Только с мокрых веток падали капли. Пахло смолистою хвоей. Над черными острыми елями в золотисто-розовом небе светил тонкий серп юного месяца.

Тихон шел, бодрый и легкий, как бы окрыленный великою радостью, подобной великому ужасу, и знал, что будет так идти, в немоте своей вечной, пока не пройдет всех путей земных, не вступит в Церковь Иоаннову и не воскликнет осанну Грядущему Господу.

Чтоб не заблудиться, как вчера, он шел высокими скалистыми кряжами, откуда видны были берег и озеро. Там, на краю небес, лежала грозовая туча, все еще синяя, черная, страшная, и заслоняла восход солнечный. Вдруг первые лучи, как острые мечи, пронзили ее, и хлынули в ней потоки огня, потоки крови, как будто уже совершалась там, в небесных знамениях, последняя битва, которою кончится мир: *Михаил и Ангелы его воевали против Дракона, и Дракон и Ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий Дракон, древний Змий.*

Солнце выходило из-за тучи, сияя в силе и славе своей, подобное лику Грядущего Господа.

И небеса, и земля, и вся тварь пели безмолвную песнь восходящему солнцу:

— Осанна! Тьму победит Свет.

И Тихон, спускавшийся с горы, как бы летевший навстречу солнцу, сам был весь, в немоте своей вечной, вечная песнь Грядущему Господу:

— Осанна! Антихриста победит Христос.

ТРИЛОГИЯ
«ХРИСТОС И АНТИХРИСТ»

В предисловии к своему собранию сочинений Мережковский писал: «Трилогия «Христос и Антихрист» изображает борьбу двух начал во всемирной истории, *в прошлом*... «Стихотворения» отмечают вехами те побочные пути, которые привели меня к единому и всеобъединяющему вопросу об отношении двух правд — Божеской и человеческой — в явлении Богочеловека. Наконец, «Павел I» и «Александр I» исследуют борьбу тех же двух начал в ее отношении *к будущим* судьбам России.

Это, разумеется, только внешняя, мертвая схема, геометрический рисунок лабиринта; внутреннее же строение тех тканей, которые образуют рост живого растения, я сам, по всей вероятности, меньше, чем кто-либо, знаю» [1].

Таким образом, Мережковский как бы сам дает ключ к пониманию своего творчества вообще, трилогии «Христос и Антихрист» в частности. Схематичность, искусственность замысла наиболее отчетливо проступают именно в этой трилогии, в искусственном сближении Юлиана, Леонардо и Петра, в схематизме их образов.

Отдавая должное своеобразию мысли, писательскому мастерству и эрудиции Мережковского, необходимо помнить, что он часто попадал в плен к своей мысли, и уже не он владел ею, а она всецело завладевала им. Человек увлекающийся, он в своих увлечениях был далеко не беспристрастен. Это видно и в его романах «Леонардо да Винчи» и «Петр и Алексей».

По Мережковскому, вечная борьба Христа и Антихриста особенно обостряется в кульминационные моменты истории, и души его главных героев являют собой арену этой борьбы, как и борьбы христианства и язычества.

Император Юлиан(IV век) действительно пытался воскресить языческих богов. Но эта задача была невыполнима: уходившее с исторической арены язычество не могло выдержать борьбу с победившим христианством. Совсем другой характер носило обращение к античности в эпоху Ренессанса. Великие мыслители, писатели, художники, зодчие Возрождения стремились почерпнуть в античной культуре ее непреходящие ценности; для итальянцев же культура Древнего Рима была, кроме того, их великим национальным наследием. Раскопки, собирание и изучение античных образцов имели огромное значение не только для деятелей итальянской культуры — дело это приобрело общенациональный размах.

---

[1] Д. С. Мережковский. Полн. собр. соч., т. 1, М., 1914, стр. VIII.

Что же представлял собой Леонардо да Винчи и каковы отличительные черты его творчества?

Вот что говорит об этом выдающийся советский искусствовед М. В. Алпатов:

«Леонардо принадлежит к числу общепризнанных гениев Возрождения. Многие считают его первым художником той поры, во всяком случае, его имя прежде всего первым приходит на ум, когда заходит речь о замечательных людях Возрождения<...>

Леонардо был великим ученым, проницательным мыслителем, писателем, автором «Трактата» («Трактата о живописи» — *Е. Л.*), изобретательным инженером. Его всесторонность поднимала его над уровнем большинства художников того времени и вместе с тем ставила перед ним трудную задачу — сочетать научный аналитический подход со способностью художника видеть мир и непосредственно отдаваться чувству... У Леонардо она приобрела характер неразрешимой проблемы.

Забудем на время все, что нашептывает нам прекрасный мир о художнике-ученом и будем судить об его живописи так, как мы судим о живописи других мастеров его времени. Что выделяет его работы среди их работ? Прежде всего зоркость видения и высокий артистизм выполнения. На них лежит отпечаток изысканного мастерства и тончайшего вкуса<...>

Было бы неверно утверждать, что увлечение наукой мешало художественному творчеству Леонардо... Его дар художника постоянно прорывался сквозь все ограничения. В его созданиях захватывает безошибочная верность глаза, ясность сознания, послушность кисти, виртуозная техника...

И все же при всем совершенстве и обаянии в работах Леонардо есть и некоторые утраты... Они особенно заметны благодаря совершенству их выполнения. Казалось бы, художник, овладев всеми средствами выполнения, стал всевластным, как государь. Но он остыл к творчеству, как к созданию прекрасных произведений. Его влекла только возможность ставить и решать новые задачи, и если он справлялся с ними, то бросал работу или предоставлял ее завершать помощникам. Сам он владел всеми тайнами мастерства, но «святое ремесло» художника для него не существовало, он почти пренебрегал им, презирал его. Живопись — дело ума (cosa mentale), утверждал он без устали.

Ум художника, знания, умелый расчет — все это вооружало, обогащало его. Но чувство, непосредственность, способность радоваться всему, что находит вокруг себя, все это оказалось оттесненным на второй план. Искусство перестало быть делом веры, убеждения, воли — это тонкая, холодная игра. Универсализм художника не спас его от мучительной двойственности.

Искусство освобождалось от своего назначения наставлять, внушать благоговение к тайне. Казалось, художник мог упиваться безграничной свободой, но в душе его открывалась пустота и он попадал в иную, более тяжелую неволю. Искусство стало служить наслаждением. Кому? Земным владыкам, которым служит тот, кому платят. В искусство получила доступ частица голого расчета и даже житейского цинизма, и этого было довольно, чтобы нарушить в нем цельность, которой обладали предшественники Леонардо<...>

В рисунках Леонардо особенно ясен его душевный разлад... временами все... прекрасное, достойное удивления исчезает из поля зрения художника... Восхищение человеком сменяется готовностью отдаться человеконенавистничеству» [1].

---

[1] М. В. Алпатов. Художественные проблемы Итальянского Возрождения. М., «Искусство», 1976, стр. 119—121.

Эти противоречия и привлекали Мережковского.

Заметно в романе и стремление автора возвысить своего героя за счет его великих современников. Микеланджело и — в большей, пожалуй, степени — Рафаэля. В каких только грехах не обвиняет последнего Мережковский — это и тщеславие, и восхваление могущественных покровителей ради богатства и славы. Ну, а если разобраться беспристрастно?

Князья церкви и государства, вельможи той эпохи были главными заказчиками художников. Художники жили, как правило, в богатстве и почете, случалось, сильные мира сего заискивали перед ними. Известный эпизод, когда испанский король Карл I поднял кисть, которую уронил Тициан, обычно приводят в доказательство того, что художников Возрождения удостаивали наивысшей чести. Папа Юлий II угадал в молодом художнике, чья роль в росписи Ватиканского дворца была, нужно думать, достаточно скромной, великого Рафаэля и велел все «станцы» (залы) поручить ему.

Художники, разумеется, не могли не считаться с пожеланиями своих высокопоставленных заказчиков. И действительно, на рафаэлевских фресках Ватиканских станц фигурируют и папа Лев X и Юлий II, что не мешает лучшим из этих творений живописца принадлежать к величайшим произведениям Возрождения.

Далее. Никаких конюшен Рафаэль не расписывал, хотя бы это и были конюшни банкира. Он расписывал лоджии и залы виллы «Фарнезина», принадлежавшей его другу, банкиру Агостино Киджи, и опять-таки эти фрески, хотя и не столь прославленные, как ватиканские, стали одними из самых поэтических его созданий.

Мастерская у Рафаэля, как почти у всех выдающихся художников того времени, разумеется, была, и многое делали по его эскизам его ученики — Джулио Романо и Франческо Пенни. Вполне естественно: одному человеку не под силу справиться с таким объемом работ, а Рафаэль к тому же был главным архитектором собора св. Петра и осуществлял наблюдение за всеми археологическими раскопками в Риме и его окрестностях.

И, пожалуй, самое страшное обвинение: для грядущего искусства, утверждает Мережковский, была пагубна «легкая гармония Санти, академически мертвое, лживое примирение... за этими двумя вершинами, за Микеланджело и Рафаэлем, нет путей к будущему — далее обрыв, пустота».

С этим утверждением Мережковского трудно согласиться. Нет надобности рассказывать, сколь почитаемы Микеланджело и Рафаэль во всем мире. Но были у Рафаэля и эпигоны, а впоследствии — приверженцы из академической школы, что дало повод считать Рафаэля виновником возникновения академизма.

В романе «Петр и Алексей» Мережковский снова использует излюбленную схему: противоборство двух начал — Христа и Антихриста. Но если в душе Леонардо Антихрист только пытался бороться с Христом (поражает всяческое подчеркивание Мережковским нравственного безразличия великого художника, от природы доброго человека), то в душе Петра Антихрист торжествует. Петр Великий отходит далеко на задний план и на авансцену выходит Петр-Антихрист, губитель русской церкви, палач, собственноручно рубящий головы стрельцам, замучивший почти до смерти родного сына, потехи ради издевающийся над людьми, распутник, пьяница и сквернослов.

Взгляд Мережковского на Петра грешит односторонностью. Можно ли согласиться с таким взглядом?

Заслуги Петра перед Россией велики и неисчислимы. Благодаря его деятельности духовные силы русской нации достигли не-

бывалого размаха. Он, «чтобы цивилизовать свой народ, работал над ним как... над железом, был законодателем, основателем обширной империи; он создал людей, солдат, министров, основал Петербург, завел значительный флот и заставил всю Европу уважать свой народ и свои удивительные таланты» [1].

«Какой нынче день? 1 января 1841 года — Петр Великий велел считать годы от Рождения Христова...

Пора одеваться — наше платье сшито по фасону, данному Петром Первым, мундир по его форме. Сукно выткано на фабрике, которую завел он; шерсть настрижена с овец, которых развел он.

Попадается на глаза книга — Петр Великий ввел в употребление этот шрифт и сам вырезал буквы. Вы начинаете читать ее — этот язык при Петре Первом сделался письменным, литературным...

Приносят газеты — Петр Великий их начал...

За обедом, от соленых сельдей и картофелю, который указал он сеять, до виноградного вина, им разведенного, все блюда будут говорить нам о Петре Великом.

После обеда вы едете в гости — это ассамблея Петра Великого. Встречаете там дам — допущенных до мужской компании по требованию Петра Великого...» [2]

Указ Петра Великого переславльским воеводам называют первым российским законом об охране памятников истории.

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник,—

писал о нем Пушкин. Это пушкинское определение необходимо иметь в виду, если мы хотим правильно понять семейную трагедию Петра.

Когда отец и сын являют собой диаметрально противоположные друг другу натуры, в обычной семье это приводит к ссорам и столкновениям; в семье самодержца, где от характера и склонностей наследника престола зависит судьба страны, это подчас приводит к трагической развязке.

Царевич Алексей был человеком по-видимому не злым и отнюдь не глупым («Бог разума тебя не лишил»,— писал ему сам Петр). Но, по меткому определению Соловьева, он «был образованным, передовым человеком XVII века, был представителем старого направления; Петр был передовой русский человек XVIII века, представитель иного направления: отец опередил сына!» [3]

Петр был герой — на его шляпе, седле и на нательном кресте остались следы пуль: чудом уцелел он в Полтавском бою; Алексей не отличался ни отвагой в битве, ни мужеством в жизни.

Петр был мореплаватель, обладавший профессиональными познаниями в навигации и кораблестроении; Алексей не желал заниматься ни тем, ни другим.

Петр «на троне вечный был работник», он знал в совершенстве до 14 ремесел (В. О. Ключевский); Алексей упорно отлынивал

---

[1] С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. Книга пятая. Т. XXI, гл. 1, кол. 55. Третье издание.

[2] М. П. Погодин. Историко-критические отрывки. Книга I. М., 1946, стр 341—342.

[3] С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. Книга четвертая. Т. XVII, гл. II, кол. 406. Третье издание.

от всякого дела, где нужно было проявить сколько-нибудь энергии или усидчивости.

Петр вел Россию по пути преобразований, благодаря которым она становилась одной из самых могущественных держав Европы и мира: необходим был тяжкий и неустанный труд, чтобы страна, только что родившаяся великой державой, не остановилась на этом пути и не повернула вспять; Алексей не желал идти этим путем.

По-разному представляли себе отец и сын будущее России, по-разному представляли они себе и роль монарха в стране.

Петр с полным правом говорил о себе, что для отечества он «живота своего не жалел»; Алексей, так жаждавший взойти на престол, отнюдь не стремился при этом обременять себя ни трудом, ни подвигами.

Все это в конце концов и завело Алексея в гибельные дебри предательства и вины: он не мог не понимать, что может превратиться в орудие шантажа в руках иностранных держав.

Петр мог быть истинно великодушен, как и весьма жесток (не забудем, однако, что пытки и казни были повсеместно достаточно заурядным явлением до последних десятилетий XVIII века, не забудем и о том, что личное участие Петра в стрелецких казнях достоверно не доказано, а в пытке Алексея, пожалуй, и вовсе недоказуемо). Он, по-видимому, искренно обещал Алексею, что, если тот добровольно вернется в Россию, «никакого наказания ему не будет». Но уже в первый день следствия царевич был честно предупрежден: «А ежели что утаено будет, лишен будешь живота». В ходе следствия выяснилось стремление Алексея скрыть главную и самую страшную цель его бегства: намерение взойти на российский престол с помощью внешних врагов России и внутренних противников деятельности Петра.

Как видим, концепция Петра и Алексея, созданная Мережковским в последнем романе трилогии «Христос и Антихрист», при всей своей оригинальности, далека от истинного смысла этой трагедии. Еще раз напомним: нельзя забывать, что Мережковский был человеком увлекающимся и в своих увлечениях далеко не беспристрастным.

Е. Любимова

БИБЛИОГРАФИЯ

Роман «Смерть богов» впервые под названием «Отверженный» был напечатан в журнале «Северный вестник», 1895, книги 1—6. Под таким же названием вышел отдельным изданием в 1896 г. со значительными изменениями. Название «Смерть богов (Юлиан Отступник)» появилось во втором издании (СПб., изд. М. В. Пирожкова, 1902). Роман вошел в собрания сочинений Д. С. Мережковского, изданные Товариществом М. О. Вольф (1911) и Товариществом И. Д. Сытина (1914).

Первые главы романа «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)» были напечатаны под заглавием «Возрождение» в журнале «Начало» в 1899 г., №№ 1—2 и 4. В 1900 г. роман был целиком напечатан в журнале «Мир Божий» (№№ 1—12). Отдельным изданием роман выходил в 1901, 1902 и 1906 гг., вошел в собрания сочинений Д. С. Мережковского, изданные Товариществом М. О. Вольф (1911) и Товариществом И. Д. Сытина (1914).

Роман «Петр и Алексей» впервые был напечатан в журнале «Новый Путь», 1904, кн. I—V, IX—XII. Отдельным изданием роман выходил в 1905 и 1906 гг., вошел в собрания сочинений Д. С. Мережковского, изданные Товариществом М. О. Вольф (1911) и Товариществом И. Д. Сытина (1914).

СОДЕРЖАНИЕ

Дмитрий Сергеевич
МЕРЕЖКОВСКИЙ

Собрание сочинений
в четырех томах

Том II

Редактор тома
Е. Н. Любимова

Оформление художника
А. И. Неровного

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 2235

Сдано в набор 22.09.89. Подписано к печати 03.01.90. Формат 84 × 108 1/32.
Бумага книжно-журнальная. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 40,74. Усл. кр.-отт. 42,00. Уч.-изд. л. 45,39. Тираж 1 700 000 экз.
(5-й завод: 700 001—900 000). Заказ № 683. Цена 4 р. 20 к.

Типография изд-ва «Уральский рабочий»,
620151, г. Свердловск, проспект Ленина, 49.

Индекс 70655

